АМОН

ФЕЙХТВАНГЕР

Библиотека
всемирной литературы

Серия третья ***

Литература XX века

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Бээкман В. Э.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Кербабаев Б. М.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Самарин Р. М.
Сомов В. С.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР

УСПЕХ

РОМАН

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1973

Вступительная статья
Б. Сучкова

И (Нем)
Ф 36-

© Издательство «Художественная литература», 1973 г.

Перевод
М. Вершининой и Э. Линецкой

© Перевод на русский язык, «Художественная литература», 1973 г.

Иллюстрации
М. Туровского

© Издательство «Художественная литература», 1973 г.

7-3-4
Подп. изд.

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР
И ЕГО РОМАН «УСПЕХ»

Произведение искусства становится реалистическим лишь тогда, когда художник изображает в нем жизнь не как сцепление разрозненных «частных случаев», но улавливает за единичными фактами более общую картину движения и противоборства различных общественных сил.

«Чтобы схватить преходящее явление, человек должен сковать его узами закона, прекрасное тело расчленить на понятия и сохранить его живой дух в скудном словесном остове»,— писал некогда Шиллер. И действительно, реалистическое произведение искусства есть в первую очередь плод мысли художника, дитя познания.

Подобно тому как спектральный анализ позволяет физику разгадывать тайны движения материи, так и социальный анализ, составляющий душу реализма, дает возможность художнику выделить в жизни главные ее черты и приблизиться к пониманию действующих в ней сил и законов. Чем внимательнее всматривается художник-реалист в действительность, чем яснее прослежена им взаимосвязь событий, положенных в основу его произведения, тем полнокровнеее и чувственно-зримее воспроизводится увиденное, ибо оно не только воспринято писателем эмоционально, но осмыслено им и обобщено.

Но каждый художник видит мир по-своему. Самый характер познания объективного хода событий и понимание художником правды жизни и правды истории связаны с его отношением к современной ему социальной борьбе, участником которой он неизбежно становится.

Запечатлевая образы мира, произведение искусства органически отражает и особенности сознания художника, который никогда не бывает бесстрастным летописцем своего времени, но всегда защищает идеи, представляющиеся ему мудростью века. Однако субъективное понимание художником истины истории не бывает равнозначно ее объективному содержанию. Сознание писателя, творящего в условиях собственнического общества, даже если он и не является защитником

существующих порядков, покрыто амальгамой социальных предубеждений, и мудрость века не отражается в нем автоматически и непосредственно. Путь ее познания труден и непрост.

Ценность и жизненность произведений критического реализма XX века определяется не только их изобразительной силой, но и тем, что в них запечатлены поиски художником истины истории, понуждающие его осознавать смысл общественной борьбы современной эпохи.

* * *

Создавая свое самое зрелое, обдуманное и значительное произведение — роман «Успех», Лион Фейхтвангер вложил в него не только огромный запас наблюдений над жизнью послеверсальской Германии, но и свои раздумья над судьбами капиталистического мира. Роман явился одновременно и объемной картиной нравов, возникшей в результате тщательного аналитического изучения писателем обстановки, где существовали и действовали его герои, и ареной страстной дискуссии Фейхтвангера с главными направлениями европейской общественной мысли современности. В этой дискуссии весьма полно и откровенно раскрылось его мировоззрение, его реальные противоречия, в значительной мере преодоленные писателем к концу жизни.

Фейхтвангер опубликовал свой роман в 1929 году, то есть когда был уже вполне сложившимся художником, автором «Безобразной герцогини» и «Еврея Зюсса» — произведений, где совершенно недвусмысленно были выражены его воззрения на общество и историю.

К этим взглядам Фейхтвангер пришел довольно сложным и извилистым путем.

Его ранние литературные опыты, относящиеся еще к 1903 году, и произведения, написанные перед первой мировой войной, не принесли ему славы и не определили его творческого лица. Правда, в них ощущалось скептическое отношение писателя к игре интересов, которую он наблюдал в буржуазном обществе. Не случайно в ряду духовных учителей Фейхтвангера видное место занимал Аристофан. Молодому писателю импонировала сатирическая едкость великого грека, однако Фейхтвангер, используя иронию как манеру отношения к изображаемому, не поднимался до свойственного всем великим сатирикам, в том числе и Аристофану, гневного пафоса обличения общества.

Фейхтвангер видел,— и это было нетрудно увидеть,— что жизнь, какой живут его современники, неразумна и жестока. Он видел, что буржуазная демократия торопливо растрачивает свой моральный капитал, а великие идейные традиции, восходящие к Просвещению, наследником которого он считал себя,— изживаются.

Писатель ощущал, что общество больно, однако он отнюдь не считал эту болезнь смертельной, а силы буржуазной демократии, с ко-

торой был органически связан всем строем своего мировоззрения,— исчерпанными.

Критика действительности, содержавшаяся в ранних произведениях Фейхтвангера, была направлена на частные недостатки общества. Ей не хватало решительности и определенности, ясного понимания причин, вызывающих кризис буржуазной цивилизации.

Но с подлинными традициями Просвещения Фейхтвангер имел мало общего. Разум просветителей, бывший для них судьей мира, превращался у Фейхтвангера в холодноватую рассудочность, а его общественные взгляды своим либерализмом принципиально отличались от боевого и бунтарского характера идеологии Просвещения. Знатоку античности, Фейхтвангеру внутренне скорее был ближе Плотин, отрицавший действие во имя углубленного созерцания, нежели жизнерадостная и действенная философия Просвещения.

Типичный буржуазный интеллигент, Фейхтвангер достаточно трезво смотрел на жизнь и весьма недоверчиво относился к массе, толпе, иными словами — к народу. Разделяя многие предрассудки своей среды, он жил интересами буржуазной интеллигенции, считавшей себя солью земли и единственной хранительницей завоеваний культуры.

Когда в 1914 году разразилась мировая война, потрясшая устои мирового капитализма, история обпажила перед Фейхтвангером зияющие противоречия жизни, доселе ему неведомые, и внесла смятение в его душу, отразившееся в произведениях писателя в двадцатые годы.

Окончание первой мировой войны ознаменовалось на родине Фейхтвангера — в Германии — мощным ростом революционного движения, подкрепленного идеями и практикой Октябрьской революции. На волне общественного подъема возникла Баварская советская республика, произошли восстания рабочих в Руре и Саксонии. Но буржуазия, опираясь на военщину, введя кровавый белый террор, организовав карательные экспедиции против восставших пролетариев, расстрелы и тайные убийства вождей рабочих, сумела подавить революцию.

В эти годы разгула насилия и жестокости история открыто поставила вопрос о путях и способах разрешения главного конфликта современности — между капиталистическим миром и рождающимся миром социальной справедливости.

Фейхтвангеру, свидетелю злодеяний военщины, предательской политики социал-демократических лидеров, свирепости озлобленного мещанства, стали ненавистны все виды общественной реакции, но его испугали размах и решительность движения народа. Либерально-демократические убеждения взяли верх в его сознании, и Фейхтвангер начал искать путей улучшения мира вне прямого революционного действия.

Он не потерял веры в жизнеспособность буржуазной демократии, хотя критическое отношение его к собственническому миру и усилилось.

Герой его романа «1918 год» Томас Вендт, вождь баварской революции, отрекался от своей политической деятельности потому, что не смог соединить ни в душе своей, ни в деяниях своих революционность и человечность. «Я думал: быть революционером — значит быть человеком. Я думал: революция — это человечность. Я больше не хочу. Не хочу больше никакой политики. Я хочу быть самим собой...» Фейхтвангер не желал видеть, что устами его героя говорил мелкобуржуазный утопист, ничего общего не имевший с подлинными революционерами, боровшимися с капитализмом во имя человека и человечности.

Писатель не отгораживался от своего героя и тоже хотел «быть самим собой», то есть гуманистом, стоящим вне политики, созерцателем, а не деятелем.

Послеверсальская Европа оказалась под властью предпринимателей, спекулянтов и дельцов; Фейхтвангер пришел к выводу, что после всех апокалиптических потрясений общество в своей сути не изменилось, а усилия народных масс и тех, кто пошел с ними, были растрачены напрасно и безрезультатно.

Победа реакции была воспринята Фейхтвангером как победа варварства над прогрессом. С этого времени писатель стал рассматривать историю как трагическое равновесие сил Разума и Варварства. Не веря в созидательные силы народа, считая, что в массе своей он неразумен и слеп, Фейхтвангер противопоставил косным силам общества одиноких носителей Разума, отрешающихся от низменной и нечистой суеты жизни и переходящих от действия к созерцанию, в котором они только и могут обрести свое человеческое достоинство. Мысль о бесцельности деяния проходит и через роман о Маргарите Тирольской — «безобразной герцогине», и через роман о еврее Зюссе. Хотя события, описанные в этих произведениях, относились к временам отдаленным — к XIV и XVIII столетиям, хотя Фейхтвангер очень умело насыщал свое повествование бытовыми деталями ушедшей эпохи, создавая иллюзию исторической достоверности рассказа,— проблематика романов была в высшей степени злободневна и современна. Сложившееся у Фейхтвангера представление о роли действия в общественной борьбе отнюдь не имело отвлеченно философского характера, но было тесно связано с усилением пессимизма в его мировоззрении.

Подвергая в «Еврее Зюссе» жестокой критике варварство общества, создавая превосходные сатирические портреты озверевших буржуа, настойчиво снимая покров мнимого благородства с дворян и владетельных князей, что же противопоставил Фейхтвангер насилию, лицемерию и корыстности, властвующим в обществе? Преображенный личным горем, грязный делец Зюсс приходит к отрицанию действия и покорно отдается в руки палачей, надеясь, что в мире утвердится мудрость созерцания и всепрощения, которую он познал за время страдания. Но

пока созерцатели занимались нравственным совершенствованием, варварство, не утрачивая своей активности, распространяло свое влияние, и его носители заключали своих противников в железные клетки, чиня расправу над непокорными, спокойно переступая через чужую кровь.

Исторические романы Фейхтвангера по существу были романами о современности, ибо под прозрачным псевдонимом «исторического» варварства угадывалось варварство современного буржуазного мира. Вместе с тем они подтверждали, что Фейхтвангер, ненавидя реакцию, утвердившуюся в послевоенной Европе, не зная силы, способной ей противостоять, и не желая идти на компромисс с социальным злом, предпочитал в новых общественных условиях замкнуться в служении чистому Разуму, отрешенному от деяния. Социально-политические воззрения, сложившиеся у Фейхтвангера к середине двадцатых годов, позволили ему критиковать буржуазный мир и одновременно сковывали критическое начало его творчества, сужали его диапазон.

Но, как всегда, жизнь оказывалась сильнее мертворожденных абстракций и, неумолимо опровергая схему исторического процесса, построенную Фейхтвангером, заставляла писателя почувствовать, что содержавшаяся в его романах критика капиталистического общества явно недостаточна. В Версальской Германии назревали новые важные и грозные явления, затрагивавшие самые основы существования буржуазной демократии. Финансовая олигархия, рурские магнаты, ост-эльбские юнкеры — правящие круги Веймарской республики,— при попустительстве лидеров социал-демократии спускали на немецкий народ вскормленного реакцией фашистского пса.

К концу двадцатых годов — ко времени создания «Успеха» — фашистская опасность становилась реальностью, и, наблюдая нарастание политического кризиса внутри Германии, Фейхтвангер стал отдавать себе отчет в том, что буржуазный мир болен гораздо серьезнее, чем это представлялось ему ранее.

Писатель — и это подтверждало его художническую проницательность — почувствовал, что начинается новый этап в истории Европы и без тщательного исследования причин, вызывающих кризисные явления, без анализа расстановки действующих на исторической арене политических сил стало невозможным предвидеть ближайшее будущее Германии и мира.

Несмотря на то, что Фейхтвангер загримировал «Успех» под историческую хронику и описывал наш век как уже минувший этап в истории человеческого общества, роман был полностью повернут к современности. Он составил первую часть трилогии, куда впоследствии вошли «Семья Опперман» (прежнее название — «Семья Оппенгейм») и «Изгнание» — произведения, объединенные единством антифашистской темы, но различные по своим художественным достоинствам.

Свою трилогию Фейхтвангер назвал «Зал ожидания», уподобляя современное человечество пассажирам, ждущим отправки поездов на огромной станции истории. Много дорог скрестилось на этой узловой станции — к ней идут и широкие магистрали, и короткие ветки, кончающиеся тупиками. Разные машинисты ведут по ним свои поезда, и пассажирам не безразлично, по каким путям пойдет локомотив истории и кто будет им управлять. Не безразлично это и Фейхтвангеру, тоже одному из пассажиров, расположившемуся со своим багажом в «зале ожидания», и он считает своим долгом указать современникам на ту кассу, где, по его мнению, продается транзитный билет на главный поезд истории.

Поэтому в «Успехе» автор не прячет своих симпатий и антипатий, своих убеждений и общественных идеалов. Он раскрывает их языком художника — логикой образов, многочисленными авторскими комментариями к происходящему, манерой характеристики главных действующих лиц, прямым выражением своего отношения к политическим идеям, борьба которых описана в романе. Тревога и беспокойство за судьбы мира накаляют атмосферу романа, прорываясь сквозь свойственную Фейхтвангеру эпическую размеренность повествования.

Как и в предыдущих произведениях писатля, в «Успехе» тщательно и с большим знанием нарисован исторический фон, на котором действуют герои романа, очень точно и добротно очерчены их характеры, внимательно и художественно правдиво прослежены и объяснены их взаимоотношения.

Роман построен как разъяснение природы одного «частного случая» — дела искусствоведа Мартина Крюгера, обвиненного баварским судом в пропаганде безнравственности, а на деле подвергшегося тюремному заключению за свои убеждения, не совпадавшие с мнениями и убеждениями судивших его хозяев Баварской республики. В самом сюжетосложении романа проявился аналитический характер реалистического метода писателя. Дело Крюгера, борьба, завязавшаяся вокруг него, позволили писателю показать, как и почему стало фашизироваться послеверсальское немецкое общество, какие политические силы благословляли немецких националистов на кровавые подвиги и стояли за кулисами событий. Фейхтвангер запечатлел в своем романе первую стадию превращения буржуазно-демократического государства, каким была Веймарская Германия, в государство тоталитарное и уловил момент, когда немецкая буржуазия стал переходить к открытым формам террористической фашистской диктатуры.

Бесспорна и велика заслуга Фейхтвангера, который одним из первых писателей на Западе понял опасность фашизма и выступил против него во всеоружии крупного таланта, со всем блеском холодной, разя-

щей сатиры, создав произведение, исследующее социальные истоки фашистского движения.

Возникновение фашизма — начало конца буржуазной демократии; это чувствовал Фейхтвангер, и не случайно роман начинается философской прелюдией — рассказом о картине «Справедливость», написанной безумным художником Ландхольцером на сюжет библейской легенды об Иосифе Прекрасном и его братьях. Художник изобразил братьев Иосифа — вполне «приличных» господ — в тот момент, когда стража, подосланная Иосифом, обнаруживает в их вещах серебряную чашу, спрятанную там нарочно их братом. Эти «благопристойные» господа с возмущением отстаивают свою невиновность, но они забыли, что некогда ими был продан в рабство родной брат.

Таков современный мир — обобщает Фейхтвангер сюжет этой символической картины; он внешне благопристоен, но в нем попрано главное, на чем может и должно держаться общество,— справедливость, уважение к человеку и его личности.

Все, кого политические интересы втянули в борьбу против Крюгера, кто обладает властью и должен, казалось бы, защищать человека во имя права, ибо это их долг,— министр юстиции Кленк, министр просвещения Флаухер и чиновники меньшего масштаба и ранга,— все они служат воцарившейся в жизни неправде. Они творят беззакония во имя «юстиции», «правосудия», «процветания нации» и прочих, ныне ставших отвлеченными, понятий, некогда составлявших боевой арсенал буржуазной демократии.

Сама идея справедливости, во славу которой в 1789 году была взята штурмом Бастилия и в 1848 году лилась кровь на баррикадах Берлина и других европейских столиц, идея, освобождавшая человека от вековых предрассудков, превратилась в современном буржуазном мире в собственную противоположность. Сияние ее потускнело, и если раньше она, словно нимб, озряла головы мучеников и героев прогресса, то ныне ее свет приспособлен для рекламных целей «мужами закона», представляющими так называемую демократию в Веймарской Германии.

Реалист Фейхтвангер, с неумолимой последовательностью развенчивавший псевдодемократов, стоявших у кормила Баварской республики, в своей критике реакции не останавливается на полпути. «После подавления революции стало как бы традицией, что лучшие умы из влиятельных семейств воздерживались от непосредственного участия в управлении страной. Они ставили на министерские посты марионеток, а сами довольствовались ролью закулисных дирижеров». Писатель извлекает на свет этих закулисных деятелей вроде графа Ротенкампа, барона Рейндля, тайного советника Бихлера, дирижировавших политическими марионетками, сидевшими в государственном аппарате и занимавшимися проведением в жизнь указаний тайных властителей Баварии.

Политика Баварской республики, получившей по Веймарской конституции автономию, отличалась в своих деталях и частностях от общеимперской политики,— у баварских промышленников и помещиков были особые интересы; кленки и флаухеры играли в независимость от берлинских властей, но на деле они проводили ту политическую линию, которую диктовала им германская крупная буржуазия. Именно на правящие классы возлагает ответственность за происходящее Фейхтвангер, именно они осквернили жизнь, изгнав из нее справедливость, и прибегли к террору для сохранения своих достатков, привилегий и господства.

Обрушившаяся на Германию в начале двадцатых годов (время, описанное в «Успехе») инфляция не нанесла ущерба интересам крупной буржуазии. Германский капитализм использовал падение реальной стоимости денег для освобождения от государственных и прочих долгов. Перестраивая и перевооружая промышленность, немецкие капиталисты готовились к экономической схватке на внешнем рынке.

Трудности, вызванные инфляцией, легли в первую очередь на плечи народа. Марка падала, ее покупательная способность почти равнялась нулю, печатные станки выбрасывали вместо денег цветные бумажки. Население, и главным образом пролетарии, несло бремя огромных материальных тягот; бесчисленные драмы разыгрывались в германских городах. Напряжение в стране росло.

Фейхтвангер подробно описывает в «Успехе», как крупная буржуазия меняла формы управления страной и поддерживала фашистское движение, демагогически спекулировавшее на тяжелом положении масс. Властители Германии объединяли вокруг себя всю реакцию, продолжая политику террора, начатую еще во времена подавления Ноябрьской революции. За фасадом демократической республики свирепствовали темные силы. Доктор Гейер — адвокат Крюгера, собиравший факты беззаконий, совершенных в Баварии, пытался обратить на них внимание имперского министра юстиции: «Напомнил о бесчисленных жертвах мюнхенских процессов, о расстрелянных и томящихся в тюрьмах, о людях, казненных по ложному обвинению в убийстве, и об убийцах, избежавших заслуженного наказания... Министр юстиции, хотя и относился неодобрительно к вышеприведенным фактам, все же был склонен и им найти какое-то оправдание... и эти судебные ошибки и несправедливые приговоры... вливались в море теории права». Крупная буржуазия возводила политический террор в ранг государственной политики, широко распахивая двери фашизму. Придя в тридцатые годы к власти, фашисты охотно переняли и применяли на практике кровавый опыт «демократических» правителей республики.

Формальное и отвлеченное «право» и его адепты были бессильны перед натиском «реальной» политики. Воспитанные на правовых понятиях, унаследованных от юных лет буржуазной демократии, «мужи за-

кона» в годы, когда бесправие стало законом, а беззаконие правом, погибают, словно допотопные пресмыкающиеся, очутившиеся в ледниковом периоде. Трагикомична и вместе с тем знаменательна в романе фигура Антона фон Мессершмидта, недолгое время подвизавшегося на посту баварского министра юстиции. Этот ограниченный и по-своему честный человек считал в простоте душевной, что в государстве, где он живет, юстиция может быть независимой от политики. Он даже пытался внести порядок в хаос беззакония, захлестывающий страну, но его усилия парализовались чиновничьим аппаратом, прекрасно знавшим, откуда дует ветер. В конце концов, почтенный господин Мессершмидт вынужден был удалиться от государственной деятельности в лоно частной жизни, очистив место другим почтенным господам, отличавшимся большей, чем он, гибкостью совести и позвоночника.

Естественно, что в этих условиях «случай» или «дело» Крюгера лишалось даже малейшего оттенка исключительности и становилось явлением типическим. Фейхтвангер объективным содержанием романа, анализом состояния буржуазного общества показывал, что справедливость и мораль в нем умирали. Что же заменило эти обветшавшие и превратившиеся в пустой звук понятия? Знамением времени стал *успех:* он подменил и общественную и частную нравственность.

Как истинный реалист, Фейхтвангер сознавал, что в собственническом обществе главным двигателем человеческих поступков является частный интерес. Он разъединяет людей и лежит в основе антагонистичности их отношений, характерных для общества, где идет непрекращающаяся война всех против всех. Удовлетворение интереса становится содержанием и целью человеческой жизни; реализовать интерес можно, только одержав успех — то есть утвердив свой частный интерес, каков бы он ни был, над интересами других индивидуумов и всего общества в целом. Погоня за успехом, осуществление эгоистических интересов напрягает жизнь, делает ее взвинченной, трагичной, свирепой.

Фанси де Лукка — чемпионка по теннису, кончает самоубийством, чувствуя, что успех ускользает от нее; обыватели, растеряв силы в погоне за успехом, означавшим для них материальное благополучие, гибнут в нищете; актеры и писатели, утратив успех, тонут в безвестности; финансисты и промышленники — разоряются; политики — сходят с арены истории.

Борьба за успех освобождает ее участников от заботы о чистоте своей совести, ибо одержанный успех снимает все сомнения насчет того, какими путями и средствами, какой нравственной ценой он был достигнут.

Подобный взгляд Фейхтвангера на буржуазный мир, раскрытый в художественно полноценных образах, делает его роман одним из крупнейших достижений критического реализма XX века.

Критический пафос реализма Фейхтвангера, многосторонне проявившийся в романе, достигает сатирического накала в описании мюнхенского путча 1923 года — первого открытого выступления фашистов в Германии.

Выпестованный крупной буржуазией фашизм на первых порах, и особенно в годы, описанные в романе, использовал в качестве живой силы и массовой основы движения мелкую буржуазию. Фейхтвангер вложил в уста барону Рейндлю — одному из фактических правителей Германии, субсидировавшему фашистов,— очень точную характеристику причин роста фашистских настроений в среде мелкой буржуазии. Барон Рейндль, изображенный в романе умным и проницательным человеком, не менее точно определил и границы, до которых будет дозволено дойти фашистским демагогам: «Мелкий буржуа всегда втайне жаждет сильной власти, вождя, которому он мог бы бездумно подчиняться. По сути дела он никогда и не был настоящим демократом. А сейчас, чем больше обесцениваются деньги мелкого буржуа, тем сильнее линяет и его демократизм. В своем нынешнем бедственном положении он хватается за Кутцнера, как за последний оплот, якорь спасения: Кутцнер — герой мелкого буржуа, фюрер в лучистом озарении славы, изрекающий благозвучные словеса, которым так отрадно повиноваться.

— И вы полагаете, что, если удастся справиться с инфляцией, «истинным германцам» придет конец?» — спрашивает один из собеседников барона Рейндля и получает ясный и определенный ответ:

«Конечно. Но пока немецкая тяжелая индустрия не наладит связей с международной, никакое правительство не справится с обесценением денег».

Тогда — в двадцатые годы — финансово-промышленная олигархия остановила рвавшийся к власти фашизм, подавив «пивной путч», ибо считала себя способной после достижения экономической стабилизации самостоятельно справиться с недовольством трудящихся. А пока она рассматривала фашистское движение как своего рода оттягивающий пластырь, помогавший ей укрепить свое господство в стране.

Поэтому она сквозь пальцы смотрела на разгул и бесчинства вооруженных фашистских банд, поощряла травлю и убийство ими «красных». Роман переполнен фактами, почерпнутыми из живой истории тех лет и показывающими размах террористической деятельности «истинных германцев» (так в романе названы национал-социалисты).

Туманная, полумистическая псевдофилософия «истинных германцев», рассчитанная на внешний эффект демагогия их политической программы, балаганная помпезность их сборищ привлекали к себе выбитую из жизненной колеи мелкобуржуазную массу, удовлетворяя ее темные инстинкты, ибо любое преступление, совершенное «истинным германцем», оправдывалось и освящалось, как «подвиг», совершенный

во имя нации или ради ее блага. Под знаменем Руперта Кутцнера — трусливого истерика и ловкого демагога, вождя «истинных германцев» — собирались все отбросы общества — наемные убийцы, погромщики, а также люди, запутавшиеся в долгах, разоренные инфляцией и стиснутые нуждой бюргеры, бывшие кадровые офицеры, ищущие приложения своим военным талантам и жаждущие реванша.

Рядом с Кутцнером, в котором легко угадываются черты его исторического прототипа — Адольфа Гитлера, стояла зловещая фигура генерала Феземана, под именем которого Фейхтвангер вывел одного из главных главарей путча 1923 года — генерала Людендорфа, бывшего фактическим главнокомандующим германской армией на последнем этапе первой мировой войны.

Образы вождей фашизма Фейхтвангер рисует в подчеркнуто гротесковой манере, сгущая краски и заостряя характеристики. С жалящим презрением описывает Фейхтвангер личность Кутцнера, его способность верить в собственную ложь, его самовлюбленность, атмосферу надрыва и фальши, сопутствующую ему и его поступкам. С такой же ненавистью пишет он о Феземане — Людендорфе. Истерик Кутцнер и авантюрист Феземан стояли во главе фашистского движения и неистово рвались к успеху, создавая и вооружая отряды отпетых головорезов и пытаясь совершить государственный переворот.

Для Фейхтвангера лидеры фашизма — персонифицированное историческое зло, а само фашистское движение — взрыв варварства, которое таится под тонким покровом цивилизации и время от времени вырывается на поверхность истории, сея смерть и разрушение.

Подобный взгляд на фашизм, вытекавший из особенностей мировоззрения писателя, однако, не исказил в романе изображения фашистского движения, ибо Фейхтвангер был весьма конкретен в социальном анализе условий, приведших к рождению национал-социализма в послеверсальской Германии, и не отрывался от почвы живой истории. Он поднялся до понимания того, что сопутствующие фашизму жестокость и бесчеловечность обусловлены бесчеловечностью самого буржуазного общества.

Эту мысль Фейхтвангер подкрепляет образами Эриха Борнхаака и его приятеля фон Дельмайера — молодых людей, со школьной скамьи брошенных в горнило войны и вернувшихся оттуда с окаменевшими сердцами и выжженными душами. Логика событий привела их в ряды «истинных германцев».

Молодые люди, которые должны были стать надеждой нации, залогом ее будущего, опустошены и развращены самим обществом. У них нет никаких моральных устоев, ибо их нет и в самом обществе; у них нет и ясных жизненных перспектив, ибо их нет у того общества,

сынами которого они являются. Они ведут призрачное существование, добывая себе средства к жизни из самых сомнительных источников — становясь сутенерами, подобно пресловутому Хорсту Весселю, обожествленному гитлеровцами, или изобретая фантастические проекты, вроде «кошачьей фермы» Эриха Борнхаака. Они выросли и созрели для самых грязных и кровавых дел — шпионажа, «ликвидации» неугодных политических деятелей, убийств, бьющих на сенсацию и устрашение, подобно организованной Борнхааком «казни» девицы Амалии Зандхубер.

Их образ мыслей чудовищен и извращен, но он отражает извращенность самого собственнического мира. «На войне нас называли героями, теперь — убийцами. Я нахожу это нечестным и нелогичным»,— говорит Эрих Борнхаак, и его насмешка над лицемерием буржуазной морали вполне обоснованна, ибо общество, допустившее и освятившее величайшее преступление против человечества — войну — и поощрявшее «истинных германцев», зиждилось на насилии. Когда в 1933 году настало время безраздельного господства Кутцнера — Гитлера и его приспешников, ничем не ограниченное насилие превратилось в норму государственной практики.

Изображая фашистское движение со многих сторон, Фейхтвангер рассматривает его как величайшую угрозу человеческой культуре, возникшую в недрах самой буржуазной цивилизации. Но фашизм не смог бы так легко проложить себе дорогу, если бы ему противилась та часть буржуазии, которую вполне устраивали даже выхолощенные и урезанные формы буржуазной демократии. Особенности классовой психологии этих слоев буржуазии, не примыкавших к открытой реакции, но своей половинчатостью и склонностью к компромиссам способствовавших усилению ее позиций, Фейхтвангер с блеском раскрыл в образе коммерсанта Гесрейтера.

Господин Гесрейтер брезгливо относится к шовинистическим крайностям «истинных германцев». Тоскуя и сокрушаясь, он наблюдает за тем, как меняется облик его времени и страны, где все меньше места остается уюту и покою, столь дорогим его бюргерскому, не очень горячему сердцу. Он в меру терпим и либерален: в деле Мартина Крюгера он на стороне невинно осужденного человека и даже пытается предпринять кое-какие шаги, чтобы добиться исправления допущенной несправедливости, но все его позывы к добру остаются только в области благих намерений.

Он не против того, чтобы приобщиться к большой игре, которую открывала перед ним экономическая конъюнктура. Но так как ему не хватает решительности и внутренней стойкости (Фейхтвангер подчеркивает, что эта черта социальная, а не индивидуальная), то Гесрейтер терпит неудачу во всех своих делах. В тридцатые годы — в дни утверждения гитлеризма — люди такого рода покорно и послушно пойдут за

сильной властью, продав свое буржуазно-демократическое первородство новым хозяевам Германии.

Свойственный «Успеху» критический пафос, страстное и безжалостное разоблачение реакционных сил, составляющее одно из главных достоинств романа, возникли на очень сложной идейной основе.

Фейхтвангер чувствовал, что мир, в котором он живет, находится на переломе и реакция, столь ожесточенно отстаивающая свои позиции, борется не только со своими внутренними противниками, но и с более опасным врагом — духом времени, то есть глубинным, необратимым ходом самой истории.

Бывший баварский министр юстиции Кленк — человек, связанный с самыми консервативными кругами немецкой буржуазии, расчищавший как политик дорогу фашизму, ненавидящий прогресс и презирающий свободу, циник и узколобый националист,— попав в Берлин, посещает кино, где идет фильм «Броненосец «Орлов» (так Фейхтвангер, очевидно, во избежание документальной точности, переименовывает знаменитый советский фильм «Броненосец «Потемкин»). Увиденное взволновало его: «Запретить это? А какой смысл? Это есть, люди вбирают это с каждым вдохом, это существует в мире, это само — целый мир, и отрицать это бессмысленно. На это нельзя не смотреть, эту музыку нельзя не слушать, это нельзя запретить».

Маленький эпизод со знаменитым фильмом имеет в романе большой и многозначительный смысл. Тонко и художественно убедительно описаны Фейхтвангером душевные переживания Кленка, столкнувшегося воочию с социальными идеями, которые ненавистны и враждебны ему. Кленк захвачен зрелищем не потому, что оно экзотично,— в действительности оно сурово и просто. Его берет в плен суть увиденного, и невольно он — столп реакции — начинает сочувствовать восставшим матросам российского флота, ибо на их стороне истина жизни. Этого он не мог не ощутить.

Правда, Кленк быстро освобождается от магической власти искусства, несущего на своих крылах правду истории, и делает вид, что рассказанное фильмом его не касается и вопреки всему он и люди его взглядов будут делать свое дело,— но ему не изгнать из сердца щемящей и грозной тревоги.

Его мир, который он считал незыблемым, потрясен в своих основах. Внутри некогда прочного бытия возникли и действуют силы, разрушающие его устои, способные смести собственническое общество. Кленк догадывается об этом, но не хочет признать, что близится конец господства капитализма, и всеми средствами, которыми располагает, стремится отдалить этот конец и задушить рвущееся к победе будущее.

Иначе кленки не могли ни рассуждать, ни поступать. Фейхтвангер, художник-реалист, наблюдающий и изучающий мятущуюся жизнь

нашего века, не мог обойти главного конфликта современности. Он тоже ощущает, что «это существует» и мир стоит перед лицом гигантских событий, меняющих его облик. Поэтому «Успех» стал для Фейхтвангера рубежным произведением. Роман обнаруживал, что писатель начал воспринимать современный период истории как переломный в жизни человечества, как время мучительного и трудного рождения новых форм общественных отношений, идущих на смену умирающей собственнической цивилизации. Тема смерти старого мира введена в роман не произволом автора — ее подсказала самое жизнь.

Но Фейхтвангер — один из мастеров европейской культуры, стоявший на великих росстанях истории,— не только воспроизводит черты и приметы своего времени, но имеет и собственное суждение о нем, свой взгляд на пути и методы изменения жизни. Кредо Фейхтвангера, ставящее, кстати сказать, пределы его критике буржуазного общества, раскрывается в образах героев, противостоящих реакции.

При всей широте воспроизведения социального фона, на котором сталкиваются интересы вокруг дела Крюгера, нельзя не отметить, что в этом фоне существуют некие пробелы. Их появление в романе нельзя объяснить отсутствием соответствующего жизненного материала. Они — следствие особенностей мировоззрения Фейхтвангера.

В те годы, о которых он писал, внутри немецкой нации существовали силы, боровшиеся за социальную справедливость; в сознании немецких пролетариев жива была память о недавних баррикадных боях под знаменем свободы. Существовала не одна партия «истинных германцев» — партий было много, в том числе и коммунистическая, основанная Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург, и социал-демократическая, лидеры которой не однажды стояли у власти в Веймарской республике.

Фейхтвангер, заметно схематизируя истинную картину социальной борьбы тех лет, не включил в роман описания непосредственно народной жизни. О борьбе немецкого народа за свободу он упоминает в публицистических отступлениях, но изображение народной жизни, настроений, чувств, мыслей трудящихся в романе отсутствует. Что же касается крестьянства, то весь этот класс представляется писателю как одна сплошная, безликая масса, не знающая социальных различий. Фейхтвангер постоянно подчеркивает, что *все* баварское крестьянство будто бы представляло собою темную силу, наживавшуюся на инфляции и служившую верным оплотом поднимающегося фашизма. Неким полумистическим символом этой реакционной силы, не имеющим никакого противовеса, становится Рохус Дайзенбергер, «деревенский апостол Петр».

Фейхтвангер и в «Успехе» не преодолел своего скептического отношения к народу, по-прежнему рассматривая его как начало, еще не проникнутое разумом. Но он не может не считаться с фактами жизни,

с тем, что в мире существуют идеи, исходящие от масс и несущие им освобождение. Стремясь быть объективным, Фейхтвангер вводит в повествование образы людей, разделяющих эти идеи.

Одним из самых активных защитников Мартина Крюгера является коммунист Каспар Прекль, инженер, служащий на автомобильных заводах барона Рейндля. Для Прекля осуждение Крюгера не просто акт несправедливости. Он считает своим долгом выступить в защиту Крюгера потому, что борьба за освобождение злополучного искусствоведа помогает разоблачить классовую, реакционную природу буржуазной юстиции, а его освобождение могло бы нанести серьезный удар по престижу правящих классов. Мотивы, приведшие Прекля в ряды защитников Крюгера, продиктованы, как хочет доказать Фейхтвангер, отнюдь не гуманистическими соображениями, а политическими интересами. И это не случайно, так как писатель видит в Прекле человека, настолько поглощенного идеей, что в сердце его почти не осталось места для человечности. Прекль талантлив, полон напряженного интереса к окружающему и творческих сил, говорящих о богатстве его интеллекта. Вместе с тем ему почти недоступны простые человеческие чувства; аскетизм мышления делает его угловатым, прямолинейным, лишает тепла. Сколько горя доставляет он своей подруге Анни Лехнер, преданной, простой женщине, попросту не замечая чувств и страданий человека, живущего с ним бок о бок. А между тем он любит Анни, но любовь его рационалистична, как и он сам.

Он непримирим и бескомпромиссен в своей ненависти к капитализму: барону Рейндлю не удается подкупить Прекля, так же как не удается склонить его к либеральной терпимости писателю Жаку Тюверлену — его союзнику в борьбе за освобождение Крюгера и одновременно идейному антагонисту. Прекль выдерживает «малую войну» с прозой жизни — нуждой и безработицей. Эту войну не выдержал Бенно Лехнер, который предпочел трудной жизни борца за дело пролетариата «разумный» брак с Ценци, кассиршей ресторана, получив в придачу к дебелой супруге еще и ее кругленький капиталец.

Фейхтвангер стремится полнее обрисовать новый для него характер Прекля и новый тип его мышления, рожденный современной классовой борьбой, не прибегая к прямым авторским оценкам, к открытому выражению своего отношения к нему.

Писатель раскрывает характер Прекля и его мировоззрение в столкновении с другими действующими лицами романа, и особенно в интеллектуальных поединках и дискуссиях с Жаком Тюверленом. Противоборство этих двух умов позволяет Фейхтвангеру не только яснее выразить свое представление о Прекле, но и отчетливей обрисовать иной, не преклевский тип мышления и отношения к жизни, представленный в романе Тюверленом.

Но истинное отношение писателя к Преклю проступает с неопровержимой наглядностью в описании его взаимоотношений с другим персонажем романа — безумным художником Ландхольцером, создавшим картину «Справедливость».

Ландхольцер — гениальный художник, но его мозг и творчество изуродованы нелепой жизнью современного мира. Его фантасмагоричные и усложненные аллегорические картины начисто отрицают буржуазную действительность, обнажая ее алогичность.

Прекль, испытывающий внутреннюю тягу к творчеству Ландхольцера, тоже начисто отрицает буржуазный мир, но с принципиально иных общественных позиций. Отрицание настолько объединяет их, что Фейхтвангер, прибегая к символике, делает их двойниками. Сходство их не только внешнее — оно более глубоко.

Ландхольцер так отделил свое «я» от общества и замкнулся в собственном мирочувствии, что потерял представление о реальности окружающего, и его потускневший разум порабощен бредом.

Прекль тоже отделил себя от общества и замкнулся в собственной идее, оказавшись тем самым как бы в безвоздушном пространстве. «Инженер Каспар Прекль искренне тяготился своей индивидуальностью. Ему хотелось освободиться от нее, хотелось стать атомом в ряду подобных же атомов. А получалось так, что какая-то часть его «я» все время заносилась над другими»,— утверждает Фейхтвангер, и оба отрицателя капитализма изображаются им в романе не только последовательными индивидуалистами, но и некими инородными телами в сфере человеческих отношений. Вполне закономерно, по мнению Фейхтвангера, Прекль не находит себе места в западном мире и уезжает в СССР на строительство автомобильного завода в Нижнем Новгороде.

Фейхтвангер нигде не выражает своего враждебного или отрицательного отношения к Преклю, но весь строй его мировоззрения чужд писателю. Перенеся идейный конфликт, намеченный еще в романе о Томасе Вендте, в «Успех», Фейхтвангер считает, что идеи гуманизма, которым он служит сам, и освободительная идея, которой столь искренне предан Прекль, несовместимы.

Писатель сознает силу и дееспособность взглядов Прекля, но не видит их надлежащего исторического места в умственной и общественной жизни современности. По мнению Фейхтвангера, эти взгляды — лишь одно из слагаемых в параллелограмме исторических сил, один из элементов, входящих в мозаичную картину духовных исканий современного общества. Это — коренное заблуждение писателя, прошедшее через всю его жизнь и творчество.

Рассматривая Прекля только как рупор идей одного из умственных течений XX века, Фейхтвангер изображал его вне конкретного действия и реальных связей с борющейся за свои права рабочей массой и тем

самым обеднил правду жизни, ибо без освещения положения рабочего класса в Веймарской республике нельзя было дать объективную характеристику исторической обстановки тех лет. Поэтому в романе и возникают односторонности в описании социальных конфликтов, раздиравших тогдашнюю Германию.

Неполнота постижения писателем сущности и особенностей природы общественных противоречий незамедлительно сказывается на художественной стороне произведения. Обеднение жизненного содержания порождает схематизм некоторых характеров, в частности Прекля, от чего Фейхтвангера не может спасти ни его искусство рассказчика, ни совершенное владение секретами писательского ремесла. Образ Каспара Прекля — наименее художественно убедительный из всех главных образов романа. Нельзя считать также случайностью, что из всех героев, которые борются за спасение Крюгера, именно Прекль, по существу, оказывается и самым пассивным.

Обеднение жизненного материала деформировало в романе и образ доктора Гейера, связавшего себя с социал-демократической партией.

Исследование и осмысление причин фашизации Германии не может быть полным и верным без точного анализа роли германской социал-демократии в те годы, ибо трусливая и предательская политика ее лидеров, отрицательно влиявшая на сознание немецкого рабочего класса, в огромной мере способствовала утверждению гитлеризма.

Фейхтвангер изображает Гейера человеком органически враждебным возникшему фашистскому движению, но неспособным бороться с захлестывающей страну реакцией. Гейер, коллекционирующий в своей книге «История беззаконий в Баварии» факты насилий, совершенные реакцией в Баварии, надеется, что ему удастся воздействовать на общественное мнение и остановить преступления, творящиеся за фасадом республики. Но книга его так и не появляется на свет божий. Он защищает Крюгера по убеждению и поддерживает Иоганну Крайн, твердо и мужественно ставшую на защиту своего друга, попавшего в беду. Но Крюгер, не дождавшись освобождения, так и умирает в тюрьме.

Доктор Гейер, став депутатом рейхстага и получив возможность открыто выражать свои взгляды с общегосударственной трибуны, не завоевывает, однако, славы оратора и смелого борца с реакцией. Его деятельность и в Баварии и в Берлине равно бесплодна.

Тем не менее Фейхтвангер его образом не критикует половинчатость и робость немецкой социал-демократии, как того требовала истина жизни. Образы Гейера и Прекля в значительной мере лишились в романе исторической достоверности потому, что писатель подчинил в них жизненную правду своим субъективным представлениям о ней. Если в характере Прекля писатель запечатлел свое непонимание и неприятие коммунистической идеологии, то с личностью Гейера он свя-

зал свои размышления о судьбах еврейства, занимающие в его творчестве весьма значительное место.

Драма Гейера развертывается в «Успехе» в первую очередь в национальном аспекте. Его политическая неудачливость рассматривается и истолковывается Фейхтвангером как следствие взаимоотношений Гейера с его внебрачным сыном — Эрихом Борнхааком, примкнувшим к «истинным германцам» и отвергающим свое еврейское происхождение. Между отцом и сыном нет никаких точек духовного соприкосновения, и даже кровная, родовая связь, соединяющая их, рвется навсегда. Разрыв этот кончается для Гейера трагически, сминая его душу, убивая и парализуя в нем волю. Жизнь Гейера обессмысливается, и его общественные идеалы обесцениваются.

Сосредоточив внимание на внутренней драме Гейера, явившейся следствием его национальной принадлежности, Фейхтвангер фактически опустил в анализе причин фашизации Германии вопрос о роли социал-демократии в этом процессе. Кое-где он даже, явно греша против исторической правды, говорит о социал-демократической партии как о единственном серьезном противнике «истинных германцев», о настойчивости и смелости, с которыми эта партия якобы восставала против все усиливавшегося нажима фашистов.

Сумма столь несходных политических взглядов коммуниста Прекля и социал-демократа Гейера воспринимается Фейхтвангером лишь как выражение кризисных явлений века. Позитивное жизненное начало Фейхтвангер связывает с образами близких ему по духу героев, которые, как он думает, находятся на главной магистрали истории.

С Преклем полемизирует по всем вопросам мировоззрения, политической тактики, отношения к жизни писатель Жак Тюверлен. Он — полная противоположность фанатичному инженеру. Тюверлен — типичный интеллигент-скептик, весьма далекий от революционных идей, убежденный в том, что прямая политическая борьба — в общем, дело довольно бесполезное, так как усилия людей, ставших на ее путь, натолкнутся и наталкиваются на непреодолимую преграду общественного неразумия. В широко представленных в романе рассуждениях Тюверлена легко улавливаются отзвуки философских и социологических теорий, бывших модными в двадцатые годы нашего века. Тюверлен то пытается истолковать современную историю с точки зрения борьбы молодой варварской культуры Европы со старой культурой азиатских народов, то ищет объяснение причин возникновения фашизма в извечно присущих человеческой натуре зверских инстинктах. Его взгляды пестры и не очень устойчивы, в чем Фейхтвангер не видит большой беды, ибо с точки зрения автора подвижность настроений и мнений Тюверлена отражает его близость к подвижной и изменчивой жизни. Тюверлен ироничен и превыше всего ценит собственную неза-

висимость, считая, что он ее неизбежно утратит, если ввяжется в общественную борьбу. Первоначально он весьма легко и без большого интереса отнесся к судьбе Крюгера, в защиту которого включился стихийно, поддерживая Иоганну Крайн. Для него дело Крюгера — еще один из симптомов бедственного неразумия, которым охвачено современное общество.

Ироническое отношение Тюверлена к жизни проявилось в замысле его пьесы, выдержанной в аристофановском духе, в которой Тюверлен предполагал осмеять современный мир с царящими в нем нелепыми представлениями, создав веселую и острую шутку, смелую сатиру. Герой представления Касперль должен был олицетворять здравый смысл, осуждающий мышиную возню, затеянную современными Тюверлену политиками и наложившую свой отпечаток на общественные нравы.

Но Тюверлен — и Фейхтвангер не отступает здесь от правды жизни — терпит чувствительное поражение в своем столкновении с грубой и прозаической реальностью. Задуманное им представление, в котором должен был ожить дух Аристофана, превращается по воле предприимчивого дельца Пфаундлера, купившего пьесу Тюверлена, в рядовое ревю, с обилием более или менее раздетых девиц.

Время, в какое живет Тюверлен, серьезнее и строже, чем он думал. Оно покушается не только на личную свободу человека, но и на духовную свободу человечества — это понял Тюверлен, участвуя в борьбе за освобождение Крюгера и подробнее вникая в секреты государственного механизма, раздавившего не одного Крюгера. Жизнь начинает воспитывать Тюверлена, который обретает новое представление о ней. Тюверлен даже приходит к согласию со своим духовным антагонистом Преклем в главном — сущее, действительность необходимо изменить, так как она неразумна и бесчеловечна. Но он не приемлет методов изменения мира, которые Прекль считает единственно правильными, ибо верит не в силу действия, а в силу слова, считая, что мир можно переделать только властью слова, медленным воспитанием человечности в человеке, без коренной ломки системы сложившихся общественных отношений. Тюверлен не желает считаться с тем, что правящие классы не собираются отказываться из филантропических соображений от власти и не ставят перед собой задачи усовершенствования общества в интересах всех его членов. Он не хочет понять, что общество может быть перестроено лишь силами народных масс и в борьбе за изменение общества человек совершенствует самого себя, утверждая высокие и благородные стороны своего разума и натуры.

С Тюверленом сплетена личная судьба Иоганны Крайн. Соединяя этих двух героев романа любовной привязанностью, Фейхтвангер стремился не только к внешней занимательности интриги: союз Иоганны и Тюверлена имеет в романе глубокий, мировоззренческий смысл.

Иоганна Крайн — женщина, далекая от политики, тесно слитая с национальной почвой и средой, поднимает свой голос против реакции, повинуясь чувству справедливости. Она как бы олицетворяет в романе стихийное начало жизни — крепкая, волевая, твердо стоящая на земле.

В плотно населенном разнохарактерными героями романе Фейхтвангера образ Иоганны занимает одно из главных мест. Борьба Иоганны за свободу Крюгера является основным двигателем сюжета, придавая роману большую динамичность повествования и сообщая дополнительный драматизм действию.

Писатель проводит свою героиню по разным этажам жизни: вводит Иоганну в кабинет министра юстиции, в здание тюрьмы, сталкивает ее с великосветским обществом, беззаботно развлекающимся на фешенебельном курорте, с людьми, стоящими у кормила власти, и теми, кого эта власть подавляет.

Иоганна вдумчиво и серьезно смотрит на открывающуюся ей пеструю панораму жизни, калейдоскоп событий, игру интересов. Но смутное, запутанное время, в которое она живет, распад социальных и моральных его устоев наложили отпечаток и на ее личность. Жизнь расставляет перед Иоганной множество ловушек и соблазнов, толкая ее на легкий путь компромисса с собственной совестью, понуждает Иоганну плыть по течению, покоряясь власти обстоятельств. Иоганна поддается искушениям, щедро рассыпанным на ее пути, и не сразу освобождается от их засасывающего, порабощающего влияния. Но, проходя через грязь жизни, она теряет многие иллюзии и начинает судить о событиях и явлениях, о людях и их отношениях здраво, повинуясь чувству нравственного долга.

Иоганна презирает своих туповатых и ограниченных земляков за то, что они бессмысленно и жестоко расправляются с человеком, который не причинил им вреда. Она встает на защиту Крюгера не только потому, что он дорог и близок ей, но, защищая его, она защищает человечность.

В Тюверлене Иоганну привлекла его органическая благорасположенность к людям. Оба они — родственные натуры и одинаково смотрят на жизнь, хотя Иоганна лишена интеллектуальной рафинированности своего возлюбленного. Но она нравственно цельнее и сильнее Тюверлена, которому не хватает жизненной стойкости — того, чем в изобилии располагает Иоганна. Именно она доводит до конца начатое ими вместе дело и добивается того, чтобы созданный ими фильм «Мартин Крюгер», рассказывающий о судьбе распятого реакцией человека, вышел на экраны германских кинотеатров. Гневный, обличительный пафос этого фильма привнесен в него Иоганной.

Как и Тюверлен, она думает, что действие, приносящее наиболь-

ший эффект и практическую пользу,— это обращение с нравственной проповедью к современникам, призыв к их совести.

К этому же выводу приходит и Мартин Крюгер, у которого было время поразмыслить в тюрьме не только над собственной судьбой, но и над долгом и местом человека в общественной борьбе своего века. Отделенный решеткой от мира, лишенный возможности реализовать свои идеи в действии, он влагает их в свои сочинения. Объективные условия его существования впрямую и вплотную столкнули Крюгера с жестокостью жизни, и те мысли, к которым Иоганна и Тюверлен пришли, защищая его свободу, рождаются у Крюгера из самого непосредственного опыта. Внутренне он становится бунтарем, теряя свои гедонистические иллюзии, которые составляли суть его воззрений до того, как его постигла жизненная катастрофа. Но бунтарство Крюгера, или, как полагает Фейхтвангер, революционность его вновь обретенных взглядов, по существу не выходит за пределы защиты принципов буржуазной демократии.

Идеалом общественного деятеля для Крюгера становится Франсиско Гойя — великий испанский художник, чье мощное реалистическое искусство развивалось под знаком идей французской буржуазной революции.

«Франсиско Гойя... безусловно был революционером»,— говорит Крюгер, противопоставляя взглядам Каспара Прекля собственное представление о революционности. Но именно потому, продолжает Крюгер, Гойя стал революционером, что «он острее всех других испытывал сострадание к людям и умел наслаждаться жизнью». Аргументация весьма примечательная. Действительно, бунтующая и скорбная человечность искусства Гойи, его блистательные портреты аристократов, фантасмагоричные офорты «Капричос», беспощадно правдивые, реалистические рисунки цикла «Бедствия войны» были полны ненависти к мертвящим все живое, косным силам старого мира. Творчество Гойи объективным своим содержанием служило прогрессу, хотя сам Гойя отнюдь не был революционером.

Крюгер, противопоставляя духовную широту, гуманизм и жизнелюбие Гойи мнимой узости революционеров, поступает как заурядный буржуазный либерал и впадает в догматизм худшего толка. Он не желает видеть, что те, кто восстает против капиталистического рабства, кто бесстрашно защищает свободу, действуют во имя любви к человеку, руководствуясь высочайшими нравственными идеалами.

Настойчиво и последовательно Фейхтвангер проводит в «Успехе» мысль о несовпадении революционного и гуманистического начал. Осуждая в своем полном напряженной борьбы идей романе темные стороны капиталистического мира, решительно и мужественно выступая против фашизма, ощущая кризис собственнического общества, Фейхтвангер

тем не менее оказался в положении странника, прошедшего полдороги и думающего, что весь его путь уже позади. Жизнь подвела Фейхтвангера к идейному рубежу, переступив который он мог бы обрести новое качество сознания. Но этот рубеж в романе преодолен не был. Царство Разума, которое виделось Фейхтвангеру впереди, куда стремились его положительные герои, куда он звал своим романом, практически было не чем иным, как реформированной, облагороженной, улучшенной буржуазно-демократической системой общественных отношений. И остальные романы цикла «Зал ожидания» развивали тот же комплекс идей, который столь полно и многосторонне раскрылся в «Успехе».

Написанный в 1933 году небольшой по размерам роман «Семья Опперман (Еврейские судьбы)» углубил антифашистскую тему «Успеха». Многие страницы этого произведения, написанного в роковой год торжества гитлеризма, принадлежат к лучшим образцам боевой антифашистской публицистики. Боль и тревога за будущее не только национальной немецкой культуры, но и всей культуры человечества пронизывает роман, хотя Фейхтвангер и выдвинул в нем на первый план вопрос о расовых преследованиях.

Герои романа, почтенные негоцианты и ученые обыватели, выбиты фашизмом из весьма комфортабельной жизненной обстановки. Их вера в незыблемость мира рухнула. Перед ними встала беспощадная альтернатива — или жить, борясь, или бесславно и бессмысленно погибать. Буржуа до мозга костей, Оппермаиы начинают искать пути борьбы, медленно, но верно отрешаясь от своей сытой буржуазности. Они ненавидят фашизм потому, что он угрожает их существованию и нарушил привычную для них «меру вещей», сместил все представления о нравственности, о человеческих правах. «Мера вещей», столь дорогая Оппермаиам, по существу тот же идеал облагороженной буржуазной демократии, в который верили Тюверлен, Крюгер, Иоганна Крайн, а с ними и сам Фейхтвангер.

Свидетели победы фашизма у себя на родине, Оппермаиы оказались в трагическом положении, ибо они лишь «видели то, что есть, но не умели сказать, что нужно сделать». Не знающие и не нашедшие реальных путей борьбы против фашизма, Бертольд и Густав Оппермаиы погибают. Но Густав пробует незадолго до гибели нащупать связь с теми, кто знал, «что делать». Это были сверстники Прекля, люди его склада души, ставшие подпольщиками.

Фейхтвангер не смог придать их образам художественной законченности, но он начал приходить к мысли, что не только слово, но и действие является знаменем времени, а идеи, вдохновившие Прекля, имеют силу большую, чем он предполагал, когда писал «Успех». Судьба гибнущих и погибших членов семейства Опперман была тому достаточно убедительным примером.

Перед второй мировой войной, когда уже была ясна расстановка сил на арене мировой истории, Фейхтвангер закончил роман об антифашитской эмиграции — «Изгнание», в котором возвращался к некоторым проблемам, намеченным в «Семье Опперман».

«Изгнание» написано под знаком слов Гете: «Умри и возродись». Немецкие интеллигенты-эмигранты — те, кто близок по духу Фейхтвангеру, как, например, главный герой романа музыкант Зепп Траутвейн — несли в сердцах своих нежную и глубокую любовь к той жизни, которую у них отнял фашизм. Но они знали, что их мир был слаб, неустойчив и упал под ветром событий, как подгнивший плод с дерева. Им предстояло или умертвить в себе прошлое, чтобы возродиться для новой жизни, или «скорбными гостями» пройти свой короткий путь по жизни, минуя главную магистраль истории.

Однако молодое поколение эмиграции — это убедительно показал Фейхтвангер — не может довольствоваться поздним опытом отцов. Сын Зеппа Траутвейна, угловатый и непримиримый Ганс, идет к коммунистам. Замкнувшийся в жгучей иронии, воспринимающий мир как пекую трагикомедию, молодой поэт Гарри Майзель погибает. Другие юноши, не связанные с эмиграцией, но ощущающие накаленность общественной атмосферы, тревожную тишину предгрозья, или колеблются, или связывают свою судьбу с фашизмом. Но для положительных героев романа действие, борьба с фашизмом уже становятся непременным условием бытия. Даже Зепп Траутвейн начинает чувствовать старомодность своих убеждений. Но на чьей стороне историческая истина, кто прав — Зепп или его сын, какой способ борьбы с фашизмом более верен и результативен, чьи воззрения на историю и общество возобладают в битве идей, отражавшей битву социальных интересов,— Фейхтвангеру было еще неясно.

Вторую мировую войну писатель встретил полный внутренних сомнений, но весь богатый опыт, который он почерпнул из жизни за годы войны, наблюдая обострение конфликта между идеями прогресса и идеями реакции, возросшую активность и роль народных масс в истории, оставил в его сознании глубочайший след.

Послевоенные годы были для него в творческом отношении весьма продуктивны, а созданные им на материале событий, связанных с французской буржуазной революцией, романы «Гойя, или Тяжкий путь познания», «Лисицы в винограднике», «Мудрость чудака, или Смерть и преображение Жан-Жака Руссо», а также «Испанская баллада», «Иеффай и его дочь» обозначили новый этап в его идейном и художественном развитии.

Изображая смену феодальных отношений капиталистическими, крушение монархической Франции, расшатывание здания феодальной Европы или обращаясь в глубь испанской и библейской истории, Фейхт-

вангер насыщал свои послевоенные произведения параллелями с современностью.

В послесловии к роману «Лисицы в винограднике» он писал, что подлинным его героем является не та или иная историческая личность, а сам прогресс, «тот незримый кормчий истории, который в восемнадцатом столетии был открыт, в девятнадцатом тщательно изучен, описан и оценен, с тем чтобы в двадцатом веке быть тяжко оклеветанным и отвергнутым».

Несмотря на горечь, присутствующую в этих словах, Фейхтвангер, пересматривая свой прежний взгляд на историю как на трагическое равновесие сил Разума и Варварства, начал признавать неуклонность движения человечества вперед. Идея исторического прогресса становится в его последних романах главной, привнося в них отсутствовавший ранее дух исторического оптимизма. Несомненно, общественная борьба масс привела Фейхтвангера к этой идее. Признавая неизбежность утверждения в жизни новой системы социальных отношений, основанной на началах справедливости, Фейхтвангер писал, что «великие перемены могут совершаться только снизу, массами, народом». Но он по-прежнему полагал, что изменение жизни произойдет лишь тогда, когда изменится сам человек. Умонастроение, объединившее в «Успехе» Тюверлена, Иоганну Крайн, Мартина Крюгера, их вера в стихийную созидательную мощь жизни, которая сама пробьет путь к справедливости, находит в послевоенных романах Фейхтвангера философское обоснование. «Если окинуть взором события последних лет в целом, то, к счастью, можно признать: человечество, вопреки всему, движется вперед, по законам великой, доброй необходимости»,— писал он в «Мудрости чудака».

До конца дней своих Фейхтвангер продолжал веровать в силу «доброй необходимости». Но объективное содержание его творчества составляла защита достоинства человека, борьба за его духовную и социальную свободу. Крупный критический реалист XX века, Фейхтвангер своими произведениями способствовал тому, чтобы мир изменялся не только волей «доброй необходимости», но и волей тех, кто сознательно встал на защиту свободы, ибо социальная справедливость может быть достигнута действием, вдохновляющим и самое слово — то есть прогрессивное, гуманистическое искусство, которому принадлежат лучшие, сохранившие свое значение и по сей час романы писателя.

Б. СУЧКОВ

УСПЕХ

КНИГА ПЕРВАЯ

ПРАВОСУДИЕ

1. Иосиф и его братья
2. Два министра
3. Шофер Ратценбергер и баварское искусство
4. Кое-какие сведения о правосудии тех лет
5. Господин Гесрейтер бросает вызов
6. Дом по Катариненштрассе дает показания
7. Человек из камеры 134
8. Адвокат доктор Гейер предостерегает
9. Политические деятели Баварского плоскогорья
10. Художник Алонсо Кано (1601—1667)
11. Министр юстиции едет по стране
12. Письма с того света
13. Голос с того света и множество ушей
14. Свидетельница Крайн и ее память
15. Господин Гесрейтер ужинает на Штарнбергском озере
16. Обнюхивают спальню
17. Письмо из камеры 134
18. Прошения о помиловании
19. Речь в суде и голос в эфире
20. Несколько хулиганов и один джентльмен

1

ИОСИФ И ЕГО БРАТЬЯ

В первый послевоенный год в шестом зале мюнхенского государственного музея современной живописи несколько месяцев висело большое полотно, у которого часто толпился народ. На нем был изображен плотный человек средних лет; с презрительной усмешкой на властных губах он разглядывал миндалевидными, глубоко посаженными глазами группу мужчин, стоявших перед ним с оскорбленным видом. То были уже немолодые, степенные люди; лица у всех были разные: открытые, замкнутые, жесткие, добродушные. Общим было только одно: они крепко стояли на земле, сытые, добропорядочные, уверенные в себе и в своей правоте. Очевидно, произошла нелепая ошибка, и вот они справедливо оскорбились и даже вознегодовали. Лишь на лице одного из них, совсем еще юноши, не было и тени обиды, хотя стража на заднем плане особенно зорко следила за ним. Напротив, он внимательно и доверчиво смотрел на человека с миндалевидными глазами, который явно выступал здесь в роли властелина и судьи.

Люди на картине и чувства, их волновавшие, казались и очень знакомыми, и вместе с тем чуждыми. Их одежда никого не удивила бы и в наши дни, но все же художник старательно избегал точных примет времени, так что нельзя было определить, какому народу и какой эпохе они принадлежат.

В каталоге было сказано, что автор картины под номером 1437 (310 × 190) — некто Франц Ландхольцер, а название ее: «Иосиф и его братья», или «Справедливость».

Другие картины этого художника известны не были. Сам факт приобретения картины государственным музеем вызвал много толков. Художник нигде не показывался. Ходили слухи,

будто он из породы чудаков и бродяг, живет в деревне отшельником, и еще говорили, что у него неприятные, вызывающие манеры.

Профессиональные критики не знали, с какой меркой подойти к этой картине. Она не поддавалась точной классификации. В ней явственно ощущались известный дилетантизм и небрежность письма. Казалось, художник даже бравирует этим. На удивление старомодная, тяжеловесная манера возмутила кое-кого из критиков, хотя ни в ней, ни в самой теме картины не было ничего сенсационного. Подзаголовок «Справедливость» также звучал как вызов. Консервативные газеты отнеслись к картине отрицательно, новаторы хотя и защищали ее, но без воодушевления.

Добросовестные люди признавали, что бесспорно сильное воздействие картины невозможно объяснить, пользуясь общепринятым словарем искусствоведения. Многие посетители снова и снова возвращались к ней, многие задумывались над самым ее сюжетом, многие обращались к Библии. Там они находили рассказ о шутке, которую сыграл Иосиф со своими братьями, продавшими его в рабство египтянам только за то, что он, любимец отца, стоял им поперек дороги и вообще был не похож на них; потом он сделался влиятельным человеком, министром продовольствия богатой страны. Братья являются к Иосифу и, не узнав его, пытаются заключить с ним сделку — купить зерно. Иосиф же велит слугам подложить в мешок одного из них серебряную чашу и, когда они соберутся в обратный путь, задержать по подозрению в воровстве. Не чувствуя за собой вины, братья справедливо возмущаются и клятвенно уверяют, что они порядочные люди.

Этих, стало быть, порядочных людей и изобразил автор картины под номером 1437. И вот они перед нами. Они негодуют и требуют восстановить справедливость. Они прибыли сюда, чтобы заключить взаимовыгодную сделку с важным государственным сановником. И вдруг их подозревают ни больше ни меньше, как в краже серебряной чаши. Они забыли, что некогда продали в рабство некоего мальчика, который доводится им братом: ведь с тех пор много воды утекло. Они возмущены, но держатся с достоинством. А этот человек насмешливо глядит на них своими миндалевидными глазами, а на заднем плане — стражники, туповатые, полные служебного рвения, и сама картина называется «Справедливость».

Впрочем, картина за номером 1437 через несколько месяцев исчезла из государственной картинной галереи. Две-три га-

зеты мельком упомянули об этом, многие посетители сожалели об ее исчезновении. Но вскоре газеты умолкли, постепенно перестали задавать вопросы и посетители, и о картине, как и о ее создателе, уже никто не вспоминал.

2

ДВА МИНИСТРА

Хотя шел дождь, министр юстиции доктор Отто Кленк отослал домой ожидавший его автомобиль. Он возвращался с очередного концерта Музыкальной Академии и был приятно возбужден. Теперь он немного погуляет, а затем, пожалуй, выпьет стаканчик вина.

В ушах у него все еще звучала симфония Брамса. В своем любимом непромокаемом плаще, накинутом на плечи, огромного роста и могучего сложения, он умиротворенно шагал в ночи под моросящим июньским дождем, покуривал неизменную трубку. Он свернул в обширный городской парк, именуемый Английским садом. Со старых высоких деревьев падали капли дождя, от газонов исходил острый аромат. Приятно было идти, вдыхая чистый воздух Баварского плоскогорья.

Министр юстиции доктор Кленк снял шляпу, обнажив кирпично-красную лысину. Позади остался нелегкий трудовой день, но ведь сейчас он слушал музыку. Настоящую музыку. Что бы там ни говорили всякие скептики, а настоящую музыку услышишь только в Мюнхене. Во рту у него трубка, а впереди целая ночь, свободная от дел. Он чувствует себя бодрым, как на охоте в горах.

Собственно, ему живется совсем не плохо, даже отлично живется. Он любит подводить итоги, уяснять для себя самого, как обстоят его дела. Ему сорок семь лет, для здорового мужчины это еще не старость. Правда, почки у него пошаливают, вероятно, когда-нибудь это перейдет в почечную болезнь, от которой он протянет ноги. Но еще пятнадцать — двадцать лет ему обеспечены. Двое его детей умерло, а ожидать потомства от жены, жалкой, тощей безответной козы уже бесполезно. Но в Аллертсхаузене преуспевает этот славный паренек Симон, которого родила ему Вероника, теперь она ведет хозяйство в его горном поместье Берхтольдсцель. Он пристроил Симона в Аллертсхаузенский филиал государственного банка. Там его сын сделает карьеру, и он, министр Отто Кленк, еще дождется внуков с завидным положением в обществе.

Так что с этим все обстоит вполне сносно. А его служебные дела обстоят просто хорошо, лучшего и желать грешно. Уже год, как он возглавляет министерство юстиции своей любимой Баварии. За это время он сильно шагнул вперед. И сколь разительно выделялся он своей могучей фигурой и продолговатым красно-кирпичным черепом среди низкорослых, круглоголовых коллег по кабинету, столь же остро он чувствовал свое превосходство над ними в силу своего происхождения, манер, интеллекта. После подавления революции стало как бы традицией, что лучшие умы из влиятельных семейств воздерживались от непосредственного участия в управлении страной. Они ставили на министерские посты марионеток, а сами довольствовались ролью закулисных дирижеров. Их удивляло, что он, Отто Кленк, выходец из семьи крупных буржуа, человек несомненно способный, вошел в состав правительства. Но он чувствовал себя там как рыба в воде; ожесточенно сражался в парламенте со своими противниками, проводил в области юстиции политику, отвечающую национальным интересам.

Довольный собой, он уверенно ступал под мокрыми от дождя деревьями. Меньше чем за год пребывания в правительстве он показал, что хватка у него железная. Примером тому процесс Во́дички, на котором он отстоял права баварской железной дороги и обвел вокруг пальца общегерманское правительство; или, скажем, процесс Горнауэра, когда он спас местную пивоваренную промышленность от позорного скандала. И в особенности дело Крюгера. Что до него, так этот Крюгер мог бы оставаться заместителем директора государственных музеев хоть до самой смерти. Лично он, Кленк, не испытывает к нему никакой вражды. Он даже не ставил этому Крюгеру в вину, что тот повесил в музее картины, вызвавшие протест. Он, Кленк, неплохо разбирается в картинах. Но вот то, что этот Крюгер ни с кем не считался, вечно кичился своей незаменимостью, позволял себе насмехаться над правительством, открыто заявлял, что ни в грош его не ставит, это уж слишком. Все же на первых порах с этим приходилось мириться. Флаухер, министр просвещения и вероисповеданий, этот жалкий человечишка, не сумел обуздать Крюгера. Но тут у него, Кленка, родилась блестящая идея, и он дал ход судебному делу против Крюгера...

Он улыбнулся во весь рот, тщательно выбил трубку и мощным басом стал напевать что-то из симфонии Брамса, вдыхая запах трав и постепенно слабеющего дождя. При воспоминании о министре просвещения и вероисповеданий он всякий раз приходил в хорошее расположение духа. Доктор Флаухер принадле-

жал именно к тому типу чиновников, выходцев из среды зажиточных крестьян, каких его партия любила ставить на министерские посты. Ему, Кленку, доставляло удовольствие изводить этого господина. Было любопытно наблюдать, как этот грузный, неуклюжий человек, придя в крайнее раздражение, затравленно наклонял голову, точно желая боднуть, а его маленькие глазки из-под тупого бычьего лба, злобно сверлили противника, после чего неизменно следовала какая-нибудь неуместная, бездарная грубость, которую он, Кленк, играючи парировал.

Человек в непромокаемом плаще вытянул руку ладонью кверху и, убедившись, что дождь почти совсем перестал, отряхнулся и повернул назад. Он решил позабавиться. Флаухер с самого начала мечтал как можно сильнее раздуть дело Крюгера, превратить его в сенсацию. Каких только болванов подсовывают ему эти «черные» в коллеги по кабинету министров! Эти круглые идиоты вечно что-то доказывают, ничем не брезгуют да еще взывают к справедливости. Он, Кленк, хотел разделаться с Крюгером тихо, изящно. В конце концов, пересадить человека прямо из кресла заместителя директора государственных музеев в тюрьму лишь за то, что тот клятвенно отрицал интимную близость с женщиной, не слишком цивилизованно. Но Флаухер растрезвонил об этом деле на весь свет, раструбил о нем во всех газетах. Тогда он, Кленк, послал своего референта в поместье Бихлера, чтобы конфиденциально выяснить точку зрения этого руководителя крестьянской партии, а фактически — закулисного правителя Баварии. Само собой разумеется, доктор Бихлер, как и следовало ожидать от умного, практичного землевладельца, согласился с его точкой зрения. Кстати, Бихлер упомянул в беседе об этих «ослах из Мюнхена», которые вечно тщатся показать, что власть не в чьих-нибудь, а в их руках. Будто дело не в подлинной власти, а лишь в ее видимости. Об этих «ослах» Флаухер наверняка еще не знает; ведь референт вернулся только сегодня. Флаухер сейчас определенно в «Тирольском кабачке», ресторане старого города,— он обычно засиживается там допоздна — и хвастливо разглагольствует по поводу завтрашнего процесса. Он, Кленк, лично преподнесет ему слова всемогущего человека насчет «ослов», просто невозможно отказать себе в таком удовольствии.

Он повернул назад. Быстро зашагал к выходу из парка и там сразу нашел такси.

Да, Флаухер был в «Тирольском кабачке». Он сидел со своими друзьями в небольшой боковой комнате, где за четверть литра вина брали на десять пфеннигов дороже. Кленк нашел,

что в этом ресторане коллега Флаухер глядится куда лучше, чем в министерском кабинете, обставленном богатой мебелью в стиле ампир.

Поистине бюргерский уют — деревянная обшивка стен, массивные, не покрытые скатертями столы, допотопные прочные, сколоченные для увесистых задов скамьи и стулья, рассчитанные на людей, которые никуда не торопятся,— все это было вполне достойным обрамлением для доктора Франца Флаухера. Здесь главенствовал он, грузный человек с квадратным бычьим лбом упрямца, а вокруг него, на привычных местах, сидели люди с твердым положением и твердыми взглядами. В комнате плавал дым от дорогих сигар, вкусно пахло обильной едой. Окна были открыты, и из соседней пивной доносилось пение — популярная труппа исполняла народные песни; слова песен — помесь сентиментальности с неприкрытой похабщиной. Из окон видна была небольшая, узкая, неправильной формы площадь со всемирно известной пивоварней. Итак, здесь, как всегда, на давно облюбованном прочном деревянном стуле, с таксой Вальдман в ногах, восседал доктор Франц Флаухер в обществе художников, писателей, ученых. Министр пил, прислушивался к разговорам, кормил таксу. Сегодня, накануне процесса над Крюгером, ему внимали с особым почтением. Он никогда не скрывал своей ненависти к этому Крюгеру. А теперь выяснилось, что человек с таким порочным художественным вкусом и в своей личной жизни грязен и аморален.

Стоило появиться министру юстиции Кленку, его коллеге по кабинету, как настроение у доктора Флаухера сразу испортилось. Мысль, что он одержал верх над Крюгером лишь благодаря Отто Кленку, изрядно отравляла ему радость победы. Потому что он, министр Флаухер, недолюбливал министра Отто Кленка, несмотря на то, что оба принадлежали к одной и той же партии и проводили одну и ту же политику. Его раздражал аристократически-высокомерный тон, какой позволял себе Кленк в обращении с ним, раздражало его богатство, два автомобиля, его поместье и охота в горах, его импозантная фигура, барские замашки, ироничность — словом, и сам он, и все, что было с ним связано. Этому Кленку с первых дней все дороги были открыты. Ведь не только его родители, но деды и прадеды принадлежали к «большеголовым». Много ли он знал о жизни простого чиновника? Ему, Францу Флаухеру, четвертому сыну секретаря королевского нотариуса в Ландсхуте, в Нижней Баварии, каждый шаг, от колыбели до министерского кресла, давался поистине ценою пота и молча проглоченных унижений. Сколько он провел бес-

сонных ночей, сколько сил потратил, чтобы, не в пример своим братьям, не только одолеть греческий, но и окончить среднюю школу, ни разу не оставшись на второй год. А когда, наконец, перед ним открылась карьера влиятельного чиновника, сколько ему понадобилось хитрости, сколько желаний пришлось в себе подавить, чтобы не застрять на этом пути. Сколько подобострастных просьб, чтобы каждый раз сызнова заполучить одну из церковных стипендий! А как часто ему приходилось нижайше умолять редакторов поместить статьи, всесторонне разбиравшие вопрос о праве студентов отказываться от дуэли, статьи, которые он писал, будучи членом католического студенческого союза, не признающего поединков. И если бы не счастливый случай, когда члены студенческой корпорации после буйной попойки отколотили Флаухера, чтобы испытать степень его смирения, он так и остался бы на дне. И даже после всего этого сколько раз он вынужден был смиренно, но весьма настойчиво напоминать о жестоком избиении, в котором, к счастью, принимал участие сын одного влиятельного лица, и упорно просить возмещения убытков за причиненные увечья, прежде чем он пробился наверх. А как мучительно трудно было ему молчать и соглашаться, в душе сознавая свою правоту, с мнением этих вонючих партийных вождей из страха, что бóльшее послушание другого человека сделает кандидатуру того более подходящей для министерского поста.

С затаенной враждебностью он смотрел, как Отто Кленк, встреченный шумными приветствиями, усаживался за стол, небрежно, с медвежьей грацией отпуская тяжеловесные шутки, то язвительно, то добродушно подсмеиваясь над кем-нибудь из компании. Неприятный субъект этот Кленк! Баловень судьбы, для которого политика — такое же развлечение, как по вечерам покер в «Мужском клубе» или охота в Берхтольдсцеле. Разве этот Кленк мог понять, насколько он, Флаухер, чувствует себя внутренне обязанным в эту падкую до наслаждений эпоху, когда распущенность так вошла в моду, отстаивать традиционные, испытанные временем взгляды и обычаи? Война, переворот, все более развивающиеся международные связи уже сокрушили немало твердынь, и он, Франц Флаухер, призван защитить последние рубежи от зловредных веяний современности.

Что Кленку до всего этого? Вот он сидит, этот субъект с крупным черепом, положив на стол свои лапищи с длинными ногтями. Обычное тирольское вино для него, конечно же, недостаточно хорошо, ему пристало лакать лишь дорогое, бутылочное. Для него и процесс Крюгера только азартная увлекатель-

ная забава. Этот суетный человек просто не способен понять, что обезвредить такого вот Крюгера не менее важно, чем, скажем, излечить больного от мокнущего лишая.

Ведь обвиняемый по этому процессу доктор Мартин Крюгер — отвратительный нарост на теле общества, каких немало развелось в это ужасное послевоенное время. Заняв свой пост во время революции, Крюгер на правах заместителя директора государственных музеев приобрел картины, которые вызвали недовольство всех благонамеренных и преданных церкви людей. К счастью, от двусмысленной, подрывающей устои картины «Иосиф и его братья» удалось избавиться довольно быстро. Но вот садистское, кровавое «Распятие» Грейдерера и «Нагое тело», полотно тем более непристойное, что, оказывается, оно изображало самое художницу (какой же надо быть порочной, чтобы написать себя голой и, словно девка, выставить напоказ свои бедра и грудь!),— эти две картины еще совсем недавно осквернили государственную картинную галерею. *Его* галерею, за которую он, Франц Флаухер, несет ответственность. Стоило господину министру Флаухеру вспомнить об этих картинах, как его охватывало чуть ли не физическое отвращение. Виновника же всей этой мерзости, господина Крюгера, он не выносил, терпеть не мог его резко очерченного чувственного рта, его серых глаз и густых бровей. Как-то раз ему пришлось пожать теплую, волосатую руку этого Крюгера своей жесткой, жилистой рукой — у него появилось после этого ощущение изжоги.

Он незамедлительно предпринял все необходимое, чтобы разделаться с этим Крюгером. Но его коллеги по кабинету, и прежде всего, разумеется, Отто Кленк, возражали против крайних мер. Увольнение доктора Крюгера, общепризнанного авторитета в области истории искусства, в административном порядке за «несоответствие должности» — подорвало бы, видите ли, артистический престиж города, а на такой шаг кабинет министров тогда еще не решался.

Вспомнив о возражениях коллег, которые помешали ему уже давным-давно покончить с этим Крюгером, министр Флаухер так громко заворчал, что лежавшая у его ног такса Вальдман встревожилась. Артистический престиж города! Он, Флаухер, служил стране, где основа всего — земледелие. А город Мюнхен, расположенный в самом центре этой страны, и по своему укладу, и по населению, главным образом — крестьянский. Об этом не мешало бы поразмыслить его коллегам. Их долг оградить свою столицу от безудержной, неприкрытой жажды наслаждений, словно мутной волной захлестнувшей все крупные города.

Вместо этого они занимаются дурацкой болтовней об артистическом престиже Мюнхена и тому подобной чепухе.

Министр Флаухер проворчал что-то, вздохнул, рыгнул, отпил вина, облокотился обеими руками о стол и, наклонив шишковатую голову, впился маленькими глазками в Отто Кленка, уютно расположившегося напротив. Кельнерша Ценци, которая много лет подряд обслуживала в «Тирольском кабачке» этот стол, прислонившись к буфету, хозяйским глазом надзирала за своей помощницей Рези и с легкой, снисходительной улыбкой поглядывала на расшумевшихся мужчин, не забывая, однако, следить за изменением их настроения и уровня жидкости в стаканах. Эта крепко сбитая женщина с приятным, широким лицом, страдавшая плоскостопием, профессиональной болезнью кельнеров, прекрасно знала своих постоянных клиентов; она тотчас заметила, как изменился министр Флаухер при появлении министра Кленка. Она знала также, что доктор Флаухер в это время, если он в хорошем настроении, непременно закажет вторую порцию сосисок, а если в плохом — редьку. Не успел он буркнуть: «Мне ре...», как редька уже стояла на столе.

Артистический престиж! Как будто он сам не разбирается, например, в музыке. Но только декаденты и снобы могут ради этого артистического престижа спускать всякому чужаку вызывающее, неприкрытое свинство. Министр Флаухер, вконец расстроившись, машинально пододвинул к себе тарелку соседа с остатками ужина и бросил таксе Вальдман кость. И когда он по всем правилам искусства стал нарезать редьку, душа его все еще ныла оттого, что ему так долго пришлось терпеть этого нигилиста Крюгера на посту заместителя директора музеев.

Такса у его ног чавкала, грызла кость, давилась от жадности, жрала. Нарезав редьку, министр Флаухер стал ждать, пока ломтики водянистого клубня не пропитаются как следует солью. В ресторане было шумно, и все же через открытые окна отчетливо доносились слова мюнхенского гимна, который в пивной напротив растроганно и с чувством пели сотни голосов:

Пока у подножья горы старый Петер главу возвышает,
Пока зеленый Изар стены Мюнхена омывает,
Будет в наших домах царить благообразный уют.

Да, долго ему, Флаухеру, пришлось ждать, прежде чем он разделался с Крюгером. До тех пор,— увы, отрицать это невозможно,— пока Отто Кленк не дал ему в руки оружие против этого Крюгера. Флаухеру необычайно живо вспомнился тот

знаменательный час. Это произошло в такой же, как сегодня вечер, здесь, в «Тирольском кабачке», за тем вон столиком, наискосок, под большим, выжженным на стене пятном, которое писатель Маттеи истолковывал так непристойно. Тогда, сидя на этом самом месте, Отто Кленк, с трудом умеряя свой мощный бас, вначале намеками, в своей обычной, насмешливой, интригующей манере, а затем совершенно недвусмысленно, преподнес ему «дело Крюгера», ниспосланное богом дело о лжесвидетельстве, которое давало возможность немедленно отстранить этого Крюгера от должности, а теперь, прибегнув к судебному процессу, раз и навсегда обезвредить. То был великий день: он готов был даже простить Кленку его спесивое высокомерие,— такую радость он испытывал от сознания того, что правое дело восторжествовало над неправым.

И вот теперь он, Флаухер, у цели. Завтра начнется процесс. И он, Флаухер, полностью вкусит сладость победы. Он встанет, массивный, внушительный, как те деревенские священники, которых он столько раз видел на амвоне, и зычным голосом возгласит: «Глядите же, вот каковы безбожники! Я, Франц Флаухер, сразу почуял в нем дьявола!»

Он принялся за редьку, уже достаточно пропитавшуюся солью, на каждый ломтик он клал немного масла и заедал его кусочком хлеба. Но ел он механически, не испытывая привычного удовольствия. Да, то приподнятое настроение, в котором он полтора часа назад вышел из дома, исчезло, испарилось в ту самую минуту, когда в ресторане появился Отто Кленк. Внешне корректный, он будто бы не проявляет особого интереса к Флаухеру, но это сплошное притворство, сейчас он с лицемерным дружелюбием выставит его на всеобщее осмеяние.

И, действительно, Флаухер почти тотчас услышал густой бас Кленка.

— Да, кстати, коллега, мне нужно вам кое-что сообщить.

Наверняка это сообщение будет не из самых приятных. Раскатистый бас Кленка звучал спокойно, но в нем угадывалась скрытая издевка. Отто Кленк неторопливо поднялся во весь свой гигантский рост. Флаухер продолжал сидеть, доедая редьку. Но Кленк пригласил его приветливым, дружеским жестом, и Флаухер медленно и неохотно тоже поднялся из-за стола. Стоя у буфета, кельнерша Ценци смотрела на него. Ее расторопная помощница Рези, продолжая болтать с одним из посетителей и одновременно меняя тарелки на другом столике, тоже поглядывала вслед обоим мужчинам, когда они вместе, словно двое заговорщиков, направились в уборную. Флаухера терзали

мрачные предчувствия, и вид у него был как в былые студенческие годы, когда его вызывали на дуэль.

В выложенной кафелем уборной министр юстиции поведал министру просвещения и вероисповеданий о беседе своего референта с руководителем крестьянской партии Бихлером. Нет, Бихлер не был в восторге от тактики коллеги Флаухера в связи с процессом. «Осел»,— сказал Бихлер,— так вот прямо, без обиняков, и сказал: «осел», референту незачем выдумывать. Кстати и он, Кленк, глубоко убежден, что коллега Флаухер избрал слишком прямолинейную тактику. Но «осел» — это, разумеется, сказано слишком сильно. Все это Отто Кленк выкладывал, даже не пытаясь умерить могучий бас, он орал так громко, что его, конечно, было слышно и за стеной.

Понурый, обмякший, сутулясь сильнее обычного, возвращался министр просвещения и вероисповеданий Флаухер вместе с весело болтавшим Кленком из выложенного кафелем клозета. Так он и знал, не дадут ему вкусить радость победы. Бессмысленно противиться воле самого Бихлера, главы крупных землевладельцев и фактического правителя Баварии. Остается лишь уйти в тень, добровольно отказаться от триумфа. Изгадили ему все, весь этот судебный процесс! Молча, отупело сидел министр Флаухер над остатками редьки; отпихнув ногой тихо скулившую таксу, он угрюмо слушал, как остроты Кленка то и дело вызывали громкий смех у шумного застолья.

Подавленный, раздраженный, возвратился министр просвещения и вероисповеданий Флаухер домой, откуда еще совсем недавно вышел в столь приподнятом настроении: ведь завтра должен был начаться процесс над Крюгером. Уставшая за вечер такса Вальдман, смутно чуя, что ее хозяин чем-то сильно расстроен, тут же забралась в свой угол.

3
ШОФЕР РАТЦЕНБЕРГЕР И БАВАРСКОЕ ИСКУССТВО

Председательствующий, глава земельного суда Баварии доктор Гартль, всегда оживленный, светловолосый господин, отнюдь не старый (ему не было и пятидесяти), но уже успевший слегка облысеть, любил вести судебные процессы изящно и тонко. А умело провести процесс, приковавший к себе внимание всей страны, могли лишь очень немногие баварские судьи. Поэтому он знал, что правительство в известной мере зависит от него и

что он не слишком стеснен в своих действиях,— понятно, при том непременном условии, что конечный результат, в данном случае, приговор обвиняемому, будет отвечать политике кабинета. Состоятельный, независимый и честолюбивый, этот человек чувствовал себя важной персоной. Правительству полезно будет убедиться в многогранности его способностей и в том, что он фигура, с которой нельзя не считаться: Его консервативные, истинно баварские убеждения были вне подозрений; заранее подобранный состав присяжных обеспечивал ему тыл, а юридически он был достаточно широко образован, чтобы, манипулируя податливыми параграфами уголовного кодекса, с формальной точки зрения убедительно обосновать любое выгодное ему судебное решение. Так почему же ему тогда не провести столь громкое дело, как процесс Крюгера, провести артистично, ловко, щегольнув при этом своей терпимостью к человеческим слабостям?

Безошибочным чутьем угадав, как наиболее эффектно подать процесс, он при допросе ограничился процедурными формальностями и сухими данными следствия, а когда интерес публики начал угасать, вновь подогрел напряжение в зале. Прошло немало времени, прежде чем он вызвал главного свидетеля обвинения.

И когда, наконец, шофер Франц Ксавер Ратценбергер, толстый человечек с круглым, розовым черепом и светло-рыжими усами, важно вышел вперед, польщенный общим вниманием, все вытянули шеи, поднесли лорнеты к глазам, а художники из крупных газет схватились за карандаши. Неловкий, в стеснявшем его черном костюме, он старался ступать как можно шире и естественнее, что выходило у него крайне неуклюже. Каркающим голосом, на диалекте, он подробно ответил на вопросы касательно его личности.

В полнейшей тишине публика слушала невразумительную, косноязычную речь приземистого человека с маленькими глазками, в которой он решительно изобличал обвиняемого Крюгера. Итак, три с половиной года тому назад, в ночь с четверга 23 февраля на пятницу 24 февраля, он без четверти два вез обвиняемого Крюгера и какую-то даму с Виденмайерштрассе до дома № 94 на Катариненштрассе. Там доктор Крюгер вышел из машины, расплатился с ним и вместе с дамой вошел в дом. Поскольку обвиняемый в ходе разбора дела, возбужденного против ныне покойной Анны Элизабет Гайдер дирекцией Мюнхенской художественной школы, показал под присягой совершенно противоположное, а именно, что в ту ночь он довез даму до ее дома

и затем в той же машине поехал дальше, то, в случае правдивости показаний шофера, налицо ложная присяга.

Председатель суда, с подчеркнутым беспристрастием, предупреждая вмешательство защитника Гейера, обращает внимание шофера на неправдоподобность его показаний. Ведь все это произошло более трех лет назад. Как же мог Ратценбергер, который за это время, конечно же, перевез не одну тысячу пассажиров, столь точно запомнить доктора Крюгера и его спутницу? Не спутал ли он место, дату, да и самих людей? Небрежно, покровительственным тоном, каким он привык разговаривать с простонародьем, председатель суда так настойчиво допрашивал свидетеля, что прокурор даже слегка обеспокоился.

Но шофера Ратценбергера хорошо выдрессировали, и у него на все был готов ответ. Конечно, при других обстоятельствах он бы не запомнил так твердо дату, место и людей. Но двадцать третье февраля — день его рождения; он его отметил и, говоря по правде, не собирался в ту ночь работать. Но потом все-таки передумал, потому как за электричество было не плачено, и его старуха так въедалась ему в печенку, что он не выдержал и поехал. (В этот момент корреспонденты отметили веселое оживление в зале.) Холод был собачий, и он бы зверски злился, когда б ему не подвернулся пассажир. Его стоянка была на Мауэркирхенштрассе, а там живут одни только знатные господа. Вот тут ему и подвезло на пассажиров, на господина доктора Крюгера с дамой. Господа вышли из дома на Виденмайерштрассе, там еще во всех окнах свет горел, видно, праздник какой справляли.

Каркающим голосом он рассказывал все это с видимым чистосердечием, причмокивая после каждой фразы и стараясь объяснить все как можно понятнее. Производил впечатление человека приятного, простодушного, располагал к себе и внушал доверие. Судьи, присяжные заседатели, журналисты и публика в зале жадно следили за его показаниями.

Почему он обратил внимание на то, что доктор Крюгер с дамой вошли в дом на Катариненштрассе,— спросил председатель, тоже перейдя на диалект, чем сразу завоевал всеобщую симпатию. Ратценбергер ответил, что и он, и все его приятели-шоферы очень даже интересуются этим, потому как господа, которые провожают даму и потом заходят к ней в дом, обычно не только не требуют сдачи, но и щедро дают на чай.

Но как он мог в темноте так хорошо разглядеть обвиняемого, что сейчас безошибочно признал его?

— Помилуйте,— возразил шофер,— да разве можно не запомнить такого человека, как господин доктор?

Взгляды всех присутствующих устремлены на обвиняемого, на его крупное лицо, низко заросший лоб, иссиня-черные волосы, серые глаза под темными, густыми бровями, на большой мясистый нос и резко очерченный рот.

Обвиняемый сидел неподвижно. Доктор Гейер убедил его ни в коем случае не вмешиваться в прения, а предоставить все ему, адвокату. Доктор Гейер с радостью стер бы с его лица и эту высокомерную усмешку, которая определенно не шла ему на пользу и отнюдь не вызывала симпатии.

Адвокат Гейер, худощавый человек с быстрым взглядом голубых глаз за толстыми стеклами очков, редкими светлыми волосами и тонким носом с горбинкой на нервном, выдававшем огромное внутреннее волнение лице, отлично понимал, что председатель суда задает наводящие вопросы, стремясь не поколебать, а лишь укрепить доверие к показаниям свидетеля Ратценбергера. Ему было ясно, что противники предвидели вопрос — может ли шофер через три с половиной года во всех подробностях припомнить, как вел себя пассажир. И тогда доктор Гейер решил атаковать позиции свидетеля с другого фланга. Он весь подобрался и сидел, предельно напряженный, точно автомобиль с уже заведенным мотором, подрагивающий перед тем, как рвануться с места. Лицо его то багровело от прилива крови, то мгновенно бледнело. Вкрадчивым голосом, издалека, не спуская с шофера проницательного взгляда, он начал с самым простодушным видом ворошить сомнительное прошлое свидетеля.

Шофер Ратценбергер часто менял место службы. Потом, во время войны, он долго околачивался в тылу, а когда, наконец, все же попал на передовую, его засыпало при взрыве землей, и вследствие тяжелого ранения он был снова отправлен в тыл. Там он благодаря чьей-то протекции сумел в конце концов демобилизоваться. Потом женился на получившей в ту пору небольшое наследство женщине, которая уже имела от него двух детей, далеко не младенцев. На деньги жены он купил таксомотор. Детей — особенно сына Людвига — он по-своему баловал, явно им во вред, а вот жена неоднократно обращалась в полицию с жалобами на жестокие мужнины побои. Поговаривали и о семейной ссоре, во время которой Франц Ксавер Ратценбергер, уличенный родственниками во лжи, ранил в голову одного из своих братьев. Владельцы и шоферы частных машин неоднократно жаловались на него за то, что он оскорблял их нецензурными сло-

вами и угрожал физической расправой. Ратценбергер объяснял эти жалобы кознями владельцев автомобилей, враждебно настроенных, по его словам, к таксистам из-за того, что те лучше водят машину. К тому же со времен войны он-де выходит из себя по малейшему поводу. Однажды даже пытался покончить жизнь самоубийством, а почему, и сам понять не мог. Неподалеку от Мюнхена, на переправе через Изар, он с криком «Адью, чудный край» неожиданно прыгнул с парома в реку, но его вытащили из воды.

Адвокат Гейер выразил недоумение по поводу того, что такому неуравновешенному человеку выдали права на вождение таксомотора. К тому же все знают, что свидетель Ратценбергер часто выпивает.

— Примерно сколько? — вкрадчивым, не слишком приятным голосом задает вопрос доктор Гейер.

— Литра три в день.

— А бывает и больше?

— Иной раз и пять.

— Случалось и шесть?

— Случалось.

А не был ли однажды составлен полицейский протокол о том, что Ратценбергер избил пассажира, когда тот не дал ему на чай? Возможно. Наверно, этот нахал оскорбил его, а оскорблять себя он никому не позволяет. Дал ли ему доктор Крюгер на чай в ту ночь? Как, свидетель этого не помнит? Но ведь именно из-за чаевых он обычно и присматривался к пассажирам, провожавшим женщин домой. (Резкий, звенящий голос адвоката обрушивается на свидетеля, сбивая его с толку.) А не припомнит ли свидетель, возил ли он обвиняемого еще когда-нибудь? Как, и этого он не помнит? Ну, а верно ли, что однажды против него было возбуждено дело, грозившее ему лишением водительских прав?

Доктор Гейер обрушивает на свидетеля град вопросов, и тот все больше теряется. Он все чаще причмокивает, жует рыжеватые, обвислые усы и уже совсем переходит на местный диалект, так что корреспонденты из других городов почти перестают его понимать. И тут вмешивается прокурор. Вопросы, мол, не имеют никакого отношения к делу. Но председатель суда, демонстрируя тем самым свое гуманное отношение к обвиняемому, разрешает защитнику задать еще несколько вопросов.

Да-а, против него однажды было возбуждено дело о лишении водительских прав: из-за той истории, когда он будто бы избил пассажира. Но ведь дело-то было прекращено. Показания

того гнусного типа, чужака, которому просто не хотелось платить за такси, не подтвердились.

Лицо Гейера мгновенно залилось краской. Он повел наступление еще настойчивее. Его тонкокожие, узкие руки спокойно лежали на столе (но каких это ему стоило усилий!), а резкий, высокий голос неотвратимо и безжалостно преследовал свидетеля. Доктор Гейер хотел выявить связь между нынешними показаниями шофера и тем делом о лишении водительских прав. Он стремился доказать, что дело было прекращено только потому, что представилась возможность использовать показания Ратценбергера для привлечения Крюгера к суду. Он задавал внешне безобидные вопросы и, словно охотник, подкрадывался все ближе и ближе. Но тут Ратценбергер обратил молящий о помощи взгляд на председателя суда.— и не зря: доктор Гартль сразу вмешался, и сразу же перед Гейером выросла глухая стена. Суду так и не стало известно, что Ратценбергер вначале давал весьма туманные показания, что затем ему пригрозили лишением водительских прав, а потом пообещали их оставить, и так до тех пор, пока он не утвердился в своих показаниях. Никто так и не узнал про нити, которые вели от полиции к судебным властям и от судебных властей к министерству просвещения и вероисповеданий. Здесь все было туманно, неопределенно, расплывчато. И все-таки пьедестал, на который водрузили свидетеля Ратценбергера, покачнулся. Но с помощью председателя суда он кое-как удержался на нем, пошутив с грубым юмором, что, возможно, он разок-другой и обошелся нелюбезно с кем-нибудь из пассажиров, но спросите кого угодно — любой шофер в городе лучше ведет машину, когда в брюхе у него булькает кружки две пива. С тем его и отпустили. Он удалился, глубоко убежденный, что честно, по совести выполнил свои обязанности свидетеля, унося с собой симпатии многих, непоколебимую надежду на дальнейшие чаевые и полную уверенность, что, если впредь какой-нибудь болван из числа пассажиров и обвинит его в рукоприкладстве, прав у него никто уже больше не отберет.

Затем суд стал выяснять, что происходило на вечеринке, предшествовавшей той поездке в машине. Одна дама родом из Вены в конце войны пригласила к себе человек тридцать гостей. Квартира была скромная и обставлена без всяких претензий, гости пили, танцевали. Но жильцы из квартиры этажом ниже, по каким-то причинам враждебно настроенные к даме из Вены, вызвали полицию. Пить и веселиться во время войны считалось неприличным, и полиция подвергла всех гостей строгой проверке. Лица призывного возраста, даже имевшие броню, либо при-

знанные ранее непригодными к строевой службе, если только у них не нашлось влиятельных друзей, были отправлены на фронт.

Так как хозяйка дома, устроившая вечеринку, была близка к депутатам левых оппозиционных партий, власти постарались по мере сил раздуть эту историю. Вполне невинные танцы мгновенно превратились в непристойную, разнузданную оргию, из уст в уста передавались живописные подробности о творившихся там безобразиях. Дама была выслана из Баварии. У нее был ребенок от одного весьма почтенного человека, умершего два года тому назад. Теперь родственники этого человека пытались лишить ее, как морально неблагонадежную, права опеки над ребенком. Мюнхенские обыватели с плотоядной улыбкой без устали смаковали пикантные подробности вечеринки. Они с негодованием, но при этом весьма увлеченно и входя во все подробности, обменивались впечатлениями о моральном падении «чужаков»,— этим словом в Мюнхене называли всех, кто своим внешним видом, образом жизни или талантом не укладывался в филистерские мерки.

Признает ли доктор Крюгер, что он и его дама принимали участие в той сомнительной вечеринке на Виденмайерштрассе? Да, признает. С помощью замысловатых аргументов обвинение силилось доказать, что непристойная атмосфера, царившая на том вечере, делает вдвойне правдоподобным факт, о котором под присягой рассказал на суде шофер, иными словами подтверждает то, что доктор Крюгер поднялся вместе со своей дамой в ее квартиру. Прокурор потребовал в дальнейшем вести заседание при закрытых дверях ввиду опасности, которой подвергается общественная нравственность. Доктору Гейеру, правда, удалось парировать этот выпад, прежде всего благодаря тому, что председатель суда боялся потерять расположение публики, выразившей недовольство подобным предложением. И тогда тут же, на открытом заседании, публике было красочно представлено, что происходило на вечеринке: диванные подушки валялись на полу, свет был притушен, что создавало соответствующую атмосферу, а танцы отличались чувственностью и бесстыдством. На это доктор Гейер заметил, что, если б вечеринка была столь завлекательной, Крюгер вряд ли ушел бы так рано. Однако прокурор нашел ловкое возражение: именно благодаря порочной атмосфере того вечера доктору Крюгеру захотелось как можно скорее остаться наедине со своей дамой. Председатель суда держал себя со свидетелями мягко, дружелюбно и умудрялся выуживать у каждого из них все новые подробности того вечера: безобид-

ные сами по себе, они в интерпретации прокурора приобретали весьма сомнительную окраску. Присутствовали ли на том вечере лица обоего пола? А не лежали ли гости на разбросанных по квартире диванных подушках? Не подавались ли там возбуждающие кушанья, немецкая икра, например?

Подверглась допросу и устроительница вечеринки. Верно ли, что она пригласила к себе в тот вечер двух мужчин, с которыми прежде состояла в связи? И не танцевала ли она и с тем, и с другим? Не оказала ли она сопротивления полицейским, этим представителям власти, не вступила ли с ними в драку? Дама была крупная, пышнотелая, с красивым полным лицом. В зале суда было душно; свидетельница страдала от жары, нервничала, и ее показания были опрометчивы и истеричны. В публике она вызывала смех и то пренебрежительное расположение, с каким мюнхенцы относятся к своим, местным шлюхам. На суде выяснилось, что она отнюдь не вступала с полицейскими в драку, а всего лишь, не оборачиваясь, ударила веером по руке одного из них, когда тот схватил ее сзади за плечо. И осуждена она была не за сопротивление властям, а только за нарушение правил расходования угля и электроэнергии, так как, вопреки этим правилам, свет у нее горел не в одной, а сразу в нескольких комнатах. Однако, если к факту избиения какого-то чужака шофером Ратценбергером публика отнеслась благодушно-одобрительно, то, услышав об ударе веером, сидевшие в зале стали многозначительно переглядываться и покачивать головой. Во всяком случае, все вновь убедились в том, как гнусно ведут себя эти чужаки. Публика получила полное удовольствие. В зале царило приятное возбуждение, и все готовы были даже признать, что налицо — «смягчающие вину обстоятельства».

Несмотря на все искусство доктора Гейера, суд добился того, что теперь все в зале поверили в виновность Крюгера.

Когда тем же вечером в кабачке «Гайсгартен» шофер Ратценбергер, восседая с приятелями за неизменным столиком, носившим название «Здесь не скупятся», праздновал свое выступление на суде, все завсегдатаи выражали ему почтительное восхищение. Даже родне, всегда считавшей его негодяем и бездельником, он в тот вечер казался молодчагой, а жена, которая прежде не раз после побоев жаловалась на него в полицию и прекрасно знала, что он и женился-то на ней только ради таксомотора и не чает, как бы от нее избавиться, сейчас была прямо-таки влюблена в своего Ратци.

Однако восторженнее всех внимал Ксаверу Ратценбергеру его старший сын Людвиг, красивый, рослый малый. Он благого-

вейно впитывал в себя каждое слово, которое отец неторопливо и самодовольно цедил, облизывая обвислые, влажные от пивной пены усы. Мать с ее вечным нытьем Людвиг и раньше ни во что не ставил. Даже когда, еще совсем маленьким, он вместе с сестренкой нес за матерью шлейф ее подвенечного платья, даже в тот торжественный для нее день изрядно запоздавшего бракосочетания, он испытывал к этой истеричке нечто похожее на презрение. А вот отец всегда, при любых обстоятельствах, оставался для него воплощением силы.

Паренек смутно, с каким-то животным удовольствием вспоминал, как отец, когда он, Людвиг, еще и ходить не умел, совал в его жадно раскрытый ротик смоченную пивом тряпку. Каким образцом истинно мужской доблести казались ему отцовские крики и грубая брань, непрерывно звучавшая в доме! А часы тайной, запретной радости, когда отец, в нарушение всех правил, потому что Людвиг был еще слишком мал, учил его водить машину! И блаженство бешеных ночных гонок на чужих машинах, чьи владельцы, узнай они об этом, вряд ли пришли бы в восторг. Но особенно его потряс случай, когда отец, поссорившись из-за какой-то чепухи с одним владельцем машины, наорал на него, а тот в ответ возвысил голос, и тогда отец отомстил ему — проколол этому нахалу шину. Как ловко отец подобрался к машине, как торжествовал, отомстив врагу! И теперь, когда отца превозносили до небес и завсегдатаи «Гайсгартена», и газеты, венчая славой всю его прошлую жизнь, сердце Людвига полнилось счастьем. Однако оппозиционная печать и некоторые газеты других немецких земель многозначительно намекали на связь между отменной памятью шофера Ратценбергера и неусыпной заботой об искусстве баварских властей. И в самом деле, не запомни шофер Ратценбергер так хорошо Мартина Крюгера, было бы невозможно уволить последнего со службы и изъять из галереи картины, которые и попали-то туда лишь благодаря его усилиям и настойчивости.

4

КОЕ-КАКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРАВОСУДИИ ТЕХ ЛЕТ

В те годы, после великой войны, юстиция на всем земном шаре больше чем когда-либо подчинялась политике.

В Китае, где шла гражданская война, очередное правительство по приговору суда вешало и расстреливало за мнимые пре-

ступления государственных чиновников всех рангов, служивших при свергнутом режиме.

В Индии учтивые судьи-колонизаторы на все лады превозносили благородство вождей национально-освободительного движения и их верность своим убеждениям. Тем не менее, с помощью весьма сомнительных юридических аргументов они приговаривали этих людей к длительному тюремному заключению за их статьи и книги.

В Румынии, Венгрии, Болгарии после нелепого судебного фарса вешали, расстреливали, приговаривали к пожизненному тюремному заключению тысячи евреев и социалистов за якобы содеянные ими преступления, в то время как националистов, действительно совершавших преступления, либо вовсе не привлекали к ответу, либо подвергали весьма мягкому наказанию, а затем амнистировали.

Примерно то же самое происходило и в Германии.

В Италии приверженцы диктаторского режима, несмотря на то, что их уличили в убийствах, судом были оправданы, а противники диктатуры постановлением тайных судов были лишены имущества и всех прав и высланы из страны.

Во Франции оправдали офицеров оккупационной армии на Рейне, обвиненных в убийстве немцев. Между тем парижских коммунистов, арестованных во время уличных столкновений, безо всяких доказательств на долгие годы упрятали в тюрьму за будто бы совершенные ими насилия.

В Англии примерно такая же участь постигла ирландских борцов за независимость. Некоторые из них умерли во время голодовки.

В Америке были освобождены члены расистского клуба, учинившие суд Линча над ни в чем не повинными неграми. А итальянские иммигранты-социалисты, обвиненные в убийстве, были приговорены присяжными одного крупного американского города к смертной казни на электрическом стуле — и это несмотря на убедительное алиби.

Все это вершилось во имя Республики, Народа или Короля и, уж во всяком случае, во имя Справедливости.

В числе прочих подобных дел в июне месяце такого-то года в Германии, в земле Бавария, разбиралось и дело Крюгера. В те годы Германия еще была разделена на отдельные самостоятельные провинции, и в состав Баварии входили баюварские, алеманские, франкские земли, а также, как это ни странно, часть левобережья Рейна, именуемая Пфальцем.

5

ГОСПОДИН ГЕСРЕЙТЕР БРОСАЕТ ВЫЗОВ

Коммерции советник Пауль Гесрейтер, один из присяжных на процессе Крюгера, вышел из своей тихой, уединенной виллы на Зеештрассе в Швабинге, неподалеку от Английского сада. На нем был модный серый костюм, и он изящно вскидывал на ходу красивую фамильную трость с набалдашником из слоновой кости. Начало судебного заседания по каким-то техническим причинам было перенесено на одиннадцать утра, и он решил прогуляться, благо выпало несколько свободных часов. Он хотел было поехать в Луитпольдсбрун, великолепное поместье своей приятельницы, г-жи фон Радольной, искупаться там в Штарнбергском озере и потом вместе с ней позавтракать. На своем новом, купленном три недели назад американском автомобиле он вполне успел бы вернуться к началу заседания. Однако по телефону ему ответили, что г-жа фон Радольная еще не вставала и не велела будить себя раньше десяти.

Упругой походкой Пауль Гесрейтер с ленивым изяществом шествовал по освещенному июньским солнцем городу Мюнхену. Небо было ясное, воздух любезного его сердцу Баварского плоскогорья свежий, бодрящий, и все же он против обыкновения не испытывал умиротворенности, довольства собой, всем вокруг и своим родным городом. Он шел по широкой, обсаженной тополями аллее Леопольдштрассе, вдоль уютных домов и палисадников. Мимо, весело позванивая, проносились трамвайные вагоны ослепительно голубого цвета. Он по привычке посматривал на ноги садившихся в трамвай женщин, в очень коротких, по моде того времени, юбках. Любезно, но без обычной непринужденности отвечал на многочисленные поклоны, потому что его здесь многие знали.

Кое-кто смотрел ему вслед с завистью, большинство же провожало доброжелательными взглядами. Да, под счастливой звездой родился этот Гесрейтер! Отпрыск богатой буржуазной семьи, владелец процветающей фабрики «Южногерманская керамика Людвиг Гесрейтер и сын», которая досталась ему по наследству вместе с солидным состоянием, хороший, но не заядлый спортсмен, приятный собеседник, неизменно обходительный, всеобщий любимец и один из пяти признанных бонвиванов Мюнхена, он в свои сорок два года выглядел очень молодо. Никуда так охотно не ездили в гости, как в его дом на Зеештрассе и в Луитпольдсбрун — поставленное на широкую ногу поместье его возлюбленной.

Родной город г-на Гесрейтера Мюнхен, окруженный озерами и горами, прославленный замечательными музеями и домами легкой, радующей глаз архитектуры, карнавалами и празднествами, был самым красивым городом Германии, район Швабинг, где жил г-н Гесрейтер,— самым красивым районом в Мюнхене, дом г-на Гейсрейтера — самым красивым в Швабинге, а сам г-н Гесрейтер — самым лучшим человеком в собственном доме. И все же сегодня прогулка не доставляла ему ни малейшего удовольствия. Он остановился под большой Триумфальной аркой, над ним высилась Бавария, правившая четверкой львов — гигантская эмблема крохотной страны. Задумчиво щуря карие с поволокой глаза, он озабоченно глядел на залитую солнцем Людвигштрассе, и ее приятные уютные дома в стиле провинциального Ренессанса не вызывали привычного радостного чувства. Он стоял, неловко опираясь на трость с набалдашником из слоновой кости, и, всегда такой бодрый, жизнерадостный, казался сейчас вовсе не молодым.

Неужели всему виной этот идиотский судебный процесс? Получив повестку, он должен был послушаться внутреннего голоса и под любым предлогом отказаться от обязанностей присяжного. Ему, члену аристократического «Мужского клуба», связанному через свою приятельницу, баронессу Радольную, с бывшими придворными кругами, с самого начала были известны все хитросплетения, вся подоплека дела Крюгера. И вот теперь он вынужден копаться в этой грязной истории, изо дня в день сидеть в большом зале Дворца Правосудия чуть поодаль от председателя земельного суда Гартля, доктора Крюгера, адвоката Гейера и за одним столом с остальными пятью присяжными: придворным поставщиком Дирмозером, у которого он всегда покупал перчатки, антикваром Лехнером, действовавшим ему на нервы своим огромных размеров клетчатым носовым платком, в который этот Лехнер сморкался часто и обстоятельно, учителем гимназии Фейхтингером, человеком с водянистыми глазами, напряженно и растерянно следившим из-под больших очков в стальной оправе за судебным разбирательством и тщетно пытавшимся что-либо понять, страховым агентом фон Дельмайером, происходившим из очень родовитой, уважаемой в Мюнхене семьи (одна из улиц города даже называлась «Дельмайер»), но теперь опустившимся, пустопорожним пошляком, и, наконец, почтальоном Кортези, тяжеловесным, старательным и учтивым человеком, от которого разило потом. Он ничего не имел против этих людей, но не очень-то приятно вместе с ними выступать на процессе в роли статиста. Политика его не интере-

совала, и ему казалось изрядной низостью снимать человека с поста только за то, что он из рыцарских побуждений дал под присягой ложные показания. Надо было держаться подальше от столь некрасивого дела. Всему виной его проклятое любопытство, из-за него-то он и впутался в эту гнусную историю. И во все-то ему надо лезть! Его привлекла та сложная интрига, которая плелась вокруг этого незадачливого Мартина Крюгера. Вот он и добился своего — все прекрасные июньские дни торчит во Дворце Правосудия.

Он прошел под Триумфальной аркой, миновал университет. По левую руку были расположены здания, где помещались духовные учебные заведения,— оттуда выходили одетые в черные сутаны студенты-богословы с грубоватыми, бесстрастными мужицкими лицами. Древний профессор богословия, дряхлый старец с тусклыми глазами и желтой пергаментной кожей,— живой мертвец, шаркая ногами, плелся вдоль мирно журчащих фонтанов. Так было испокон веков, так, верно, будет еще какое-то время, и это приносило некоторое умиротворение. Но сегодня Гесрейтер смотрел на студентов весьма неодобрительно. Карие с поволокой глаза сосредоточенно вглядывались в этих воображавших о себе невесть что молодых людей. Одни в удобных, ладно сшитых грубошерстных тужурках, перехваченных узким ремнем, выглядели совсем как спортсмены. Другие, одетые очень тщательно, по-военному резко чеканили шаг, в прошлом они, очевидно, были офицерами. Не сумев пристроиться где-нибудь в кино или в промышленности, они без всякого интереса поспешно одолевали науку в надежде пролезть в судебные или государственные учреждения. Их тела были стройны и натренированы, а нагловатые лица говорили о неплохих технических и отличных спортивных данных и о твердой решимости прийти к цели первыми. И все-таки эти напряженные лица казались ему странно вялыми, словно автомобильные шины, еще упругие, но уже проколотые, из которых вот-вот выйдет весь воздух.

Перед широко раскинувшимся зданием государственной библиотеки, изваянные из камня, мирно грелись на солнце четверо древних греков с обнаженными торсами. В школе он заучивал их имена. Теперь, разумеется, все перезабыл. А ведь когда каждый день проходишь мимо, надо бы знать, кто они такие. В ближайшие же дни он это непременно выяснит. Так или иначе, а библиотека хороша. Даже слишком хороша для этих молодых людей с лицами спортсменов. Лишь немногие из этих будущих учителей, судей, чиновников были уроженцами Мюнхена. В былые времена красивый, уютный город привлекал к себе

лучшие умы страны, почему же так случилось, что постепенно все они куда-то подевались, а сюда, словно влекомая магической силой, устремилась вся дрянь и гниль, которой не нашлось места ни в одном другом городе?

Кто-то из встречных прохожих, пробурчав слова приветствия, остановился и заговорил с ним. Широкоплечий мужчина с маленькими глазками на круглом лице, одетый в серовато-зеленую куртку, был писатель Маттеи. Широкую известность ему принесли книги, в которых он описывал быт и нравы Верхней Баварии. Вместе с Гесрейтером они просиживали ночи напролет в «Тирольском кабачке». Гесрейтер бывал у Маттеи в Тегернзее, а тот гостил у него и у г-жи фон Радольной в Луитпольдсбруне. Неуклюжий, ворчливый человек в куртке и флегматичный, элегантный господин в модном сером костюме охотно встречались и были друг с другом на «ты». Лоренц Маттеи возвращался из частной галереи Новодного, где в тот день впервые после изъятия из государственного музея были выставлены для всеобщего обозрения картины, навлекшие на доктора Крюгера гнев благонамеренной публики. Узнав о предстоящей выставке, кто-то из «благонамеренных» накануне ночью выбил стекла в галерее Новодного. Лоренц Маттеи, захлебываясь от восторга, рассказывал об этой потехе. Он поинтересовался, не собирается ли Гесрейтер взглянуть на эту мазню. Отпустил несколько смачных острот по поводу столь «гениальных творений». Потом упомянул о том, что намерен написать стихотворение и высмеять снобов, млеющих перед такими картинами, рассказал скабрезный анекдот про Андреаса Грейдерера, художника, наделавшего много шума своим «Распятием». Но Гесрейтер без обычного восхищения следил за движением толстых губ писателя. Он рассеянно выслушал анекдот, натянуто улыбнулся. На все вопросы о своей заседательской деятельности отвечал уклончиво и вскоре откланялся. Лоренц Маттеи поправил пенсне и задумчиво покачал ему вслед тыквообразной головой.

Господин Гесрейтер направился к Дворцовому парку. В тот день речи писателя Маттеи, чьи описания верхнебаварского быта и нравов считались классическими, вызвали у него раздражение. Он пребывал в столь скверном расположении духа, что даже готов был сейчас признать нападки на Маттеи со стороны его противников довольно справедливыми. Разве и сам Лоренц не был когда-то бунтарем? Разве он не писал тогда буйных, едких стихов, бичевавших жестокий, глупый, ханжеский, закосневший в своем эгоизме баварский клерикализм? Эти смелые стихи, точный слепок с оригинала, разили противника на-

повал. Но теперь Маттеи оброс жиром,— все мы с годами обрастаем жиром,— его остроумие притупилось, стало беззубым. Нет, в этом Маттеи уже не было ничего приятного; Гесрейтер не мог понять, почему у них до сих пор такие сердечные отношения. Маленькие, злые глазки на жирном, исполосованном шрамами лице: можно ли испытывать приязнь к подобному типу! Разве не отвратительно, что́ он говорил здесь о Крюгере и о картинах? И вообще, разве не омерзительно, что даже такой человек, как Лоренц Маттеи, из-за своего желчного характера, не раздумывая, стал ныне рьяным защитником правящей крестьянской партии? В сущности, настоящим бунтарем Маттеи никогда не был — как, впрочем, и все мы,— и сердцем он, вероятно, всегда был на стороне власть имущих.

Гесрейтер дошел до Одеонсплац. Перед ним высилась Галерея полководцев, точная копия флорентийской Лоджии дей Ланци, воздвигнутая в честь двух величайших баварских полководцев, Тилли и Вреде, из коих один не был баварцем, а другой — полководцем. Всякий раз при виде этой Галереи Гесрейтер испытывал неприятное чувство. Он хорошо помнил, как еще мальчишкой восхищался этим великолепным сооружением, выполненным архитектором Гертнером с истинным художественным вкусом и достойно венчавшим Людвигштрассе. Но уже подростком ему довелось стать свидетелем того, как на косоуры лестницы были водружены два важно выступающих льва, нарушившие строгие вертикали строения. Позднее эти кретины изуродовали заднюю стену Галереи идиотской скульптурной группой в академическом стиле, так называемым Памятником армии. С той поры Гесрейтер всякий раз с опаской поглядывал на Галерею полководцев; не появилось ли там за ночь еще какое-нибудь чудище. Лоджию с каждым годом уродовали все больше, и это стало для него мерилом непрерывно растущего отупения жителей его родного Мюнхена.

Сегодня в Галерее гремел военный оркестр, обрушивая на запруженную людьми площадь проникновенную арию из вагнеровской оперы. Голубые трамваи, непрерывно давая звонки, с трудом прокладывали себе путь сквозь толпу, автомобили то и дело останавливались, а временами уличное движение вообще замирало. Среди гуляющих было много студентов в традиционных шапочках. Держась отдельными группами, они наслаждались игрой духового оркестра и приветствовали друг друга, снимая шапочки и церемонно раскланиваясь. До Гесрейтера долетали обрывки их разговоров. Согласно корпоративному уставу, раз и навсегда было установлено, что, когда подают горячие

блюда, цветные шапочки положено снимать, и, наоборот, когда подают холодные, шапочки снимать не надо. Рассуждали о том, следует ли сырое мясо, мелко изрубленное и смешанное с луком и яйцом, так называемый татарский бифштекс, считать горячим блюдом, вернее, сойдет ли оно за горячее. Студенты различных корпораций спорили яростно, приводя множество убедительных доводов. Женщины и дети кормили жирных голубей, свивших гнезда в Галерее сомнительных полководцев и на старинной, в стиле барокко Театинеркирхе. У ворот Дворцового парка живым продолжением статуй Галереи стоял, подобно идолу, один из военачальников великой войны генерал Феземан, властно возвышаясь над почтительно взиравшими на него людьми,— напряженно-молодцеватое лицо, скошенный затылок, толстая шея.

Прежде чем отправиться в суд, Гесрейтер собирался выпить бокал вермута в одном из тихих, скромных кафе, приютившихся в тени старых каштанов Дворцового парка. Но в последнюю минуту ему почему-то расхотелось тут оставаться. Он посмотрел на часы. У него еще было немного времени. Он все-таки взглянет на картины в Галерее Новодного.

Гесрейтер был человеком мирного нрава, жизнь его сложилась более чем благополучно, и он вовсе не собирался восставать против общепринятых взглядов. Но Маттеи его раздражал. Кое-что из написанного Крюгером он читал,— книги и эссе, прежде всего книгу об испанцах. Ему далеко не все в ней нравилось, она показалась ему излишне чувственной, непомерно много места занимали в ней проблемы секса, и вообще заметна была склонность автора к гротеску. Ему довелось несколько раз встречаться и с самим Крюгером. Тот показался ему позером и фатом. Но разве это причина, чтобы так злобно набрасываться на человека? И вообще, допустимо ли тут же сажать человека в тюрьму только за то, что он выставил в музее картины, которые пришлись не по вкусу нескольким выжившим из ума академикам, предпочитающим видеть в картинной галерее собственную мазню. Пухлое лицо Гесрейтера было сейчас озабоченно и грустно; он сердито жевал губами, на тронутых сединой висках слегка пульсировали вены. К чему же мы придем, если станем сажать в тюрьму каждого, кто, однажды переспав с женщиной, вздумал бы затем это отрицать? Впрочем, в большинстве своем его сограждане не такие. Свернув на Бриеннерштрассе, ведущую к галерее Новодного, Гесрейтер лишь усилием воли заставил себя замедлить шаги, не идти столь неприлично быстро,— до того ему вдруг захотелось посмотреть картины, из-за

которых он теперь вместе с пятью другими мюнхенцами сидел на скамье присяжных в большом зале Дворца Правосудия.

И вот он, наконец, в Галерее. Ему было жарко, и он облегченно вздохнул в прохладном зале, куда не проникали лучи солнца. Владелец галереи Новодный, смуглый, элегантный господин небольшого роста, с готовностью повел богатого посетителя, знатока живописи, к картинам, перед которыми уже стояло несколько человек, под неусыпным наблюдением двух верзил. Пришлось завести собственную полицию, как пояснил г-н Новодный, поскольку государственная охранять картины отказалась. Он продолжал рассказывать, как всегда, захлебываясь словами. Действия баварского правительства, торопливо выкладывал он, вызвали к картинам такой интерес, какого он и сам не ожидал. Он уже получил от покупателей несколько выгодных предложений. Подумать только, за одну ночь художник Грейдерер прославился, стал модным, его картины сразу подскочили в цене.

Гесрейтер был знаком с Грейдерером. Заурядный художник, говоря по совести. Но в обществе довольно приятен, в его грубоватом обхождении есть что-то располагающее. Он играл на губной гармонике и умел с чувством исполнить на ней даже такие сложные вещи, как, скажем, Брамса или что-нибудь из «Кавалера Роз». Нередко он солировал и в «Тирольском кабачке».

Господин Новодный засмеялся. Завсегдатаи «Тирольского кабачка», мюнхенские художники, чье место в истории живописи установлено раз и навсегда, а репутация у известной части состоятельных покупателей уже завоевана, буквально позеленели от злости, когда вдруг объявился новый конкурент. Еще бы, ведь картины Грейдерера пользовались сейчас не меньшим успехом, чем их собственные творения. Впрочем, Грейдерер говорил о своем неожиданном успехе с такой искренней, обезоруживающей радостью, что все, кроме, конечно, художников-конкурентов, прощали ему эту внезапную славу. Он много лет пребывал в полной безвестности и с годами потерял всякую надежду на успех. И как трогательно он уговаривает теперь свою старушку-мать перебраться из глухой средневековой деревушки в Мюнхен и зажить там столичной барыней с автомобилем, шофером и компаньонкой, а старушка отбивается изо всех сил.

Гесрейтер хмуро слушал болтовню владельца галереи. Этот поток слов раздражал его, и он испытал чувство облегчения, когда юркий господин наконец убрался.

Гесрейтер внимательно рассматривал картину Грейдерера. Он понимает, что это «Распятие» может плохо подействовать на людей со слабыми нервами. О, господи, но ведь те самые господа, которые сейчас столь шокированы, в других ситуациях проявляли завидную выдержку, они спокойно перенесли войну, а впоследствии творили сами или, во всяком случае, не мешали свершаться таким делам, которые предполагают в людях, стоящих у власти, изрядное хладнокровие. Притом они не могли не знать, что во всех музеях, и, разумеется, в Мюнхенском, есть немало других картин, изображающих распятого Христа, которые действуют на человека не самым приятным образом.

И все-таки успех Грейдерера поразителен! Лишь потому, что такой кретин, как Франц Флаухер, ненавидит Крюгера, к художнику Грейдереру приходит успех, и он заставляет старуху мать, вполне довольную своей тихой, деревенской жизнью, переехать в город, который вызывает в ней один только страх. Нет, что-то тут не так, неладно все это.

А вот Анна Элизабет Гайдер, художница, написавшая этот автопортрет, ничего не извлечет из скандального интереса к ее картине. Она умерла, покончила с собой самым отвратительным образом, грязное судебное разбирательство и одна-единственная картина,— вот все, что от нее осталось. Странная особа была эта самая Гайдер — она уничтожила все свои картины. А вокруг единственной, спасенной Мартином Крюгером, сгустилось зловоние омерзительного процесса.

Вглядевшись в автопортрет, Гесрейтер почувствовал глубокое волнение. Непонятно, что в картине могло будить плотское желание. И что это за мужчины, у которых одна мысль о том, что женщина способна изобразить себя голой, вызывает похоть! Женщина глядела вдаль потерянно и в то же время сосредоточенно, в ее не очень тонкой шее, наверняка написанной без всяких прикрас, было что-то жалостно-беспомощное, груди неясно обрисовывались в нежно-молочном свете и все же казались упругими. Все вместе было анатомически точно и тем не менее поэтично. Попробовали бы самодовольные мужи из академии создать нечто подобное!

Господин Новодный снова оказался рядом и заговорил с ним.

— Во сколько вы оцениваете этот портрет? — неожиданно прервал его Гесрейтер.

Застигнутый врасплох, Новодный быстро взглянул на Гесрейтера, не веря своим ушам. Обычно такой находчивый, он не сразу сообразил, что ответить, и, наконец, назвал крупную сумму.

— Хм,— произнес Гесрейтер.— Благодарю вас,— и церемонно откланялся.

Минут через пять он вернулся.

— Я покупаю эту картину,— деланно-небрежным тоном сказал он.

Господину Новодному, при всей его многоопытности, не удалось скрыть изумления, и это совсем не понравилось Гесрейтеру. Если уж это так поразило Новодного, то что скажет г-жа Радольная, какие разговоры пойдут по городу, когда станет известно, что он купил картину Анны Гайдер? Тем более что покупка картины и в самом деле была явным вызовом. Ему не по душе процесс Крюгера и все, что с ним связано. Из чувства внутреннего протеста он в пику всем и купил картину. Но не признак ли дурного тона такой вызывающий поступок? Не правильнее ли было бы спокойно и решительно уяснить все для самого себя, твердо определить свою позицию?

Неуверенно, даже несколько смешавшись, стоял он перед г-ном Новодным, хранившим вежливое молчание.

— Эту картину я покупаю по поручению одного приятеля,— произнес он, наконец,— и был бы вам признателен, если б вы пока не упоминали о том, что покупка совершена при *моем* посредничестве.

От готовности, с какой г-н Новодный выразил свое согласие, за сто километров веяло недоверием, едва прикрытым профессиональной вежливостью. Раздосадованный, злой, браня себя за трусость и одновременно испытывая удовлетворение от собственной храбрости, Гесрейтер распрощался и поехал во Дворец Правосудия, где уселся на свое место присяжного заседателя, лицом к председателю земельного суда доктору Гартлю и обвиняемому Крюгеру, рядом с остальными присяжными — придворным поставщиком Дирмозером, учителем гимназии Фейхтингером, антикваром Лехнером, страховым агентом фон Дельмайером и почтальоном Кортези.

6

ДОМ ПО КАТАРИНЕНШТРАССЕ ДАЕТ ПОКАЗАНИЯ

Председатель земельного суда Гартль начал заседание с допроса лиц, проживавших в одном доме с девицей Анной Элизабет Гайдер, ныне покойной. Девица Гайдер снимала в доме 94 по Катариненштрассе квартиру-мастерскую. В этом убогом доходном доме по Катариненштрассе 94 жили мелкие торговцы,

служащие, ремесленники. Девица Гайдер была не самостоятельной сьемщицей, а всего лишь жилицей у некоей надворной советницы фрау Берадт, сын которой, художник, пропал без вести во время войны. Фрау Берадт отзывалась о покойной не слишком лестно. Почти сразу же у нее с фрейлейн Гайдер начались нелады. Эта девица была неряшлива, неопрятна, являлась домой, когда ей вздумается, и, несмотря на строжайшее запрещение, готовила еду прямо в мастерской, что могло вызвать пожар, платила за жилье неаккуратно, принимала у себя подозрительных, шумных гостей и не соблюдала элементарных правил. А когда Анна Гайдер вступила в интимные отношения с обвиняемым Крюгером,— резким голосом продолжала свой рассказ надворная советница Берадт,— она предложила фрейлейн немедленно съехать с квартиры. Но, к сожалению, нынешние законы защищают интересы жильцов, разбор дела в жилищно-конфликтном бюро затянулся до бесконечности, и ей так и не удалось выдворить эту неприятную особу. Первое время доктор Крюгер приходил очень часто, почти каждый день. Она, да и все в доме были возмущены предосудительными отношениями между этим господином и фрейлейн Гайдер. «Откуда госпоже Берадт известно,— спросил доктор Гейер,— что их отношения не были чисто дружескими?» Надворная советница Берадт, покраснев и несколько раз откашлявшись, объяснила, что г-н Крюгер и фрейлейн Гайдер смеялись вульгарным смехом, до неприличия интимно. К тому же г-н Крюгер на лестнице не раз брал фрейлейн за руку, обнимал за плечи, за шею, что не водится между людьми, если только между ними нет близких отношений. А еще из мастерской доносился визгливый смех, отрывистые, точно от щекотки вскрики, шепот, словом, всякие непристойные звуки.

— Значит, соседи могли слышать все, что делается в мастерской?

Хотя между ее комнатой и мастерской есть еще одна комната,— объяснила надворная советница Берадт,— но если хорошенько прислушаться, да еще при таком отличном слухе, как у нее, ночью все эти звуки, конечно, можно услышать.

— Можно услышать или было слышно? — чуть покраснев, спросил доктор Гейер, еле сдерживаясь и досадливо щурясь из-за очков с толстыми стеклами. Тут присяжный заседатель фон Дельмайер, легкомысленного вида человек, засмеялся, но мгновенно притих под укоризненным взглядом своего соседа, почтальона Кортези, и тупо недоуменным — учителя гимназии Фейхтингера.

Был ли доктор Крюгер в ту ночь у девицы Гайдер, надворная советница по прошествии столь долгого времени сказать не может. Но она не раз слышала, да и своими глазами видела, как этот господин приходил и уходил из мастерской в самое неподходящее время.

Другие свидетели дали примерно такие же показания. О фрейлейн ходило много всяких слухов. Она была странная, неопрятная особа, одевалась плохо и неряшливо. «Потому-то она и изобразила себя голой»,— сострил один из журналистов. Иной раз она так на тебя взглянет, что аж дрожь пробирает. К ней невозможно было подступиться. Но вот ребятишки — а их в доме было великое множество — любили ее. Хотя жилось ей трудно, она давала им фрукты, конфеты. Но, в общем, ее недолюбливали, особенно после того, как она однажды притащила облезлую бродячую кошку, от которой потом другая кошка заразилась паршой. В доме все были уверены, что у нее с доктором Крюгером интимные отношения. Хилых, высохших, либо, наоборот, расплывшихся жен обывателей, населявших дом, больше всего бесило, что жилица Гайдер даже не пыталась эти отношения скрывать.

Присяжный заседатель Фейхтингер, учитель гимназии, сквозь очки в стальной оправе внимательно и озадаченно смотрел на свидетелей бесцветными глазами. Он старательно, с сознанием долга следил за их показаниями, но, любя во всем обстоятельность и к тому же туговато соображая, никак не мог уразуметь, к чему они клонят. И, главное, ему никак не удавалось сквозь показания отдельных свидетелей продраться к сути дела. Для него все происходило слишком быстро, такой новомодный метод судопроизводства казался ему чересчур стремительным. Глядя бесцветными глазами прямо в рот многочисленным свидетелям, он беспрестанно грыз ногти, а иногда мысленно, почти машинально исправлял неловко построенную фразу.

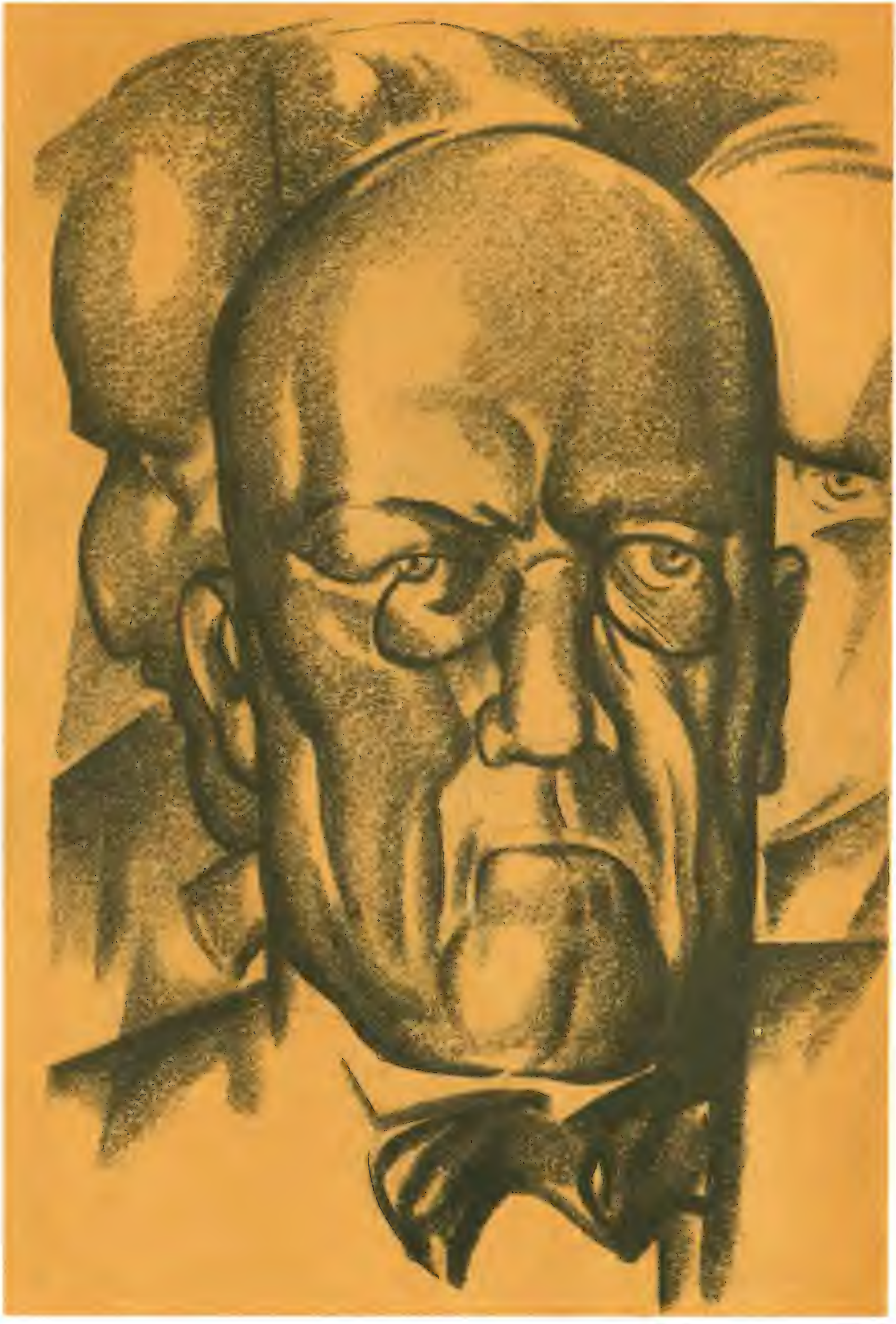
Присяжный заседатель почтальон Кортези про себя подсчитывал, сколько же всего семей в доме по Катариненштрассе 9/1. С виду не такой уж большой дом, а как много в нем народу живет! Кто же из его коллег разносит сейчас почту в этой нижней части улицы? Он вспомнил, что однажды вышла неприятность с доставкой почты именно в этот дом: пакет был вручен дочери адресата, а та его по назначению не передала. Ну, а всю вину потом, конечно, свалили на почтальона.

Присяжный заседатель Каэтан Лехнер все время ерзал на месте, то и дело поглаживал низко подстриженные бачки, вынимал клетчатый платок, сморкался, вздыхал. И не только из-за

жары: всю эту историю он принимал близко к сердцу. С одной стороны, он, как благонамеренный гражданин, склонялся к тому, что Крюгера следует засадить за решетку, ибо право и порядок — превыше всего. Но с другой стороны, он сочувствовал этому чужаку и даже испытывал к нему некоторую симпатию. Ведь и его собственная работа граничила с искусством. Он умел так реставрировать пришедшую в негодность дорогую старинную мебель, что знатоки приходили в восторг. Ему часто приходилось иметь дело с этими чужаками, и он довольно хорошо представлял себе их жизнь. К тому же у его дочери Анни было интимное знакомство, любовная связь, или, как говорится, роман с человеком, который, как там ни крути, тоже чужак. Из-за этого он каждый божий день скандалил с Анни, иногда очень сильно, но если говорить по правде, не очень ее осуждал. За свою долгую жизнь он, Каэтан Лехнер, кое-что понял. Во время ежегодной ярмарки, когда он обходил лавки старьевщиков, ему нередко попадалась мебель, на вид сохранившаяся так хорошо, будто она может простоять еще двадцать — тридцать лет. Но стоило ее получше осмотреть — и выяснялось, что она вся источена червями и никуда не годится: просто чудо, что она до сих пор не развалилась. Жизнь, оказывается, штука сложная, даже для такого образованного человека, как доктор Крюгер, она совсем не проста, особенно если этот человек по натуре своей чужак. Присяжный заседатель Лехнер разглядывал Крюгера водянисто-голубыми глазами, поглаживал бачки, пыхтел, сморкался в клетчатый платок, вздыхал.

Присяжный заседатель Пауль Гесрейтер следил за рассказом о покойной Анне Гайдер с необъяснимым для него самого жгучим интересом. Маленький рот Гесрейтера был слегка приоткрыт, что придавало его пухлому лицу несколько глуповатое выражение.

Придворный поставщик Дирмозер, сидевший с ним рядом, изредка косился на него. Для Дирмозера дурацкие обязанности присяжного были неприятной формальностью, он бы с радостью от них уклонился. Но побаивался, что это может повредить его доброму имени и деловой репутации не меньше, чем если бы он не явился, скажем, на похороны одного из своих богатых клиентов. Он страдал от духоты в зале, мысли его перескакивали с одного предмета на другой. К счастью, он умел изобразить на лице глубокую заинтересованность, подобающую случаю, и без труда подолгу сохранять это выражение напряженного внимания. Как скверно, что старшая продавщица филиала его перчаточного магазина на Терезиенштрассе заболела. Эта кретинка,



наверно, снова объелась мороженым. И теперь его жена должна одна управляться с двумя магазинами сразу. Это тем более некстати, что их двухлетний Пепи опять приболел, а на новую служанку положиться нельзя. Думая об этом, он машинально разглядывал нитяные перчатки одной из свидетельниц. Они сделаны в Бадене. Не мешало бы потребовать у тамошней фабрики отсрочки платежей.

Жильцы дома 94 по Катаринепштрассе единодушно показывали, что доктор Крюгер несколько раз в ночное время бывал в мастерской фрейлейн Гайдер. Но в каком часу точно, один или вместе с другими, этого никто из них с уверенностью утверждать не решался.

Обвиняемый Крюгер придерживался своих первоначальных показаний. Да, он часто и охотно проводил время с Анной Элизабет Гайдер, бывал у нее дома, и она тоже заходила к нему. В ту ночь он отвез ее после вечера домой, но затем в той же машине поехал дальше. Интимных отношений у него с Анной Гайдер не было. Его показания на процессе, возбужденном против Анны Гайдер дирекцией художественной школы, были правдивы от начала до конца, он и сейчас не отказывается от них.

Несмотря на длительное пребывание в следственной тюрьме, обвиняемый выглядел в тот день бодрым и полным энергии. Его крупное лицо с массивными челюстями, с большим мясистым носом и резко очерченным ртом слегка побледнело и осунулось, но он с напряженным вниманием неотрывно следил за всеми поворотами судебного заседания. Ему, видимо, стоило больших усилий сохранять, по совету своего защитника, спокойствие и не вступать в ожесточенные пререкания. Жительниц дома 94 он окидывал лишь беглым безразличным взглядом, полным презрения. Лишь однажды, когда показания давала надворная советница Берадт, он чуть не вскочил и взглянул на нее с такой яростью, что слабонервная дама, негромко вскрикнув, даже отшатнулась.

Как знать, не прояви Мартин Крюгер в свое время такого оскорбительного равнодушия, а вступись он тогда с такой же горячностью, как сейчас, за ныне покойную Анну Гайдер, когда надворная советница изводила ее своими придирками, быть может, все кончилось бы куда более благополучно. Во всяком случае, хотя резкий жест обвиняемого и стоил ему мягкого замечания со стороны председателя суда, зато свидетельницы больше не смотрели на него с той глубокой неприязнью, какой они прежде платили ему за его уничтожающее высокомерие.

7

ЧЕЛОВЕК ИЗ КАМЕРЫ 134

Вечером того же дня Мартин Крюгер сидел один в камере. Камера 134 была невелика по размеру, с голыми стенами, однако особых причин для жалоб не давала. Было без восьми минут девять. Ровно в девять погаснет свет, а в темноте в голову лезут самые мрачные и гнетущие мысли.

Первые дни после ареста Мартин Крюгер отчаянно сопротивлялся. Сверкая безумными глазами, он вопил, и его лицо превращалось в один огромный неистовствующий рот. Сжав кулаки, он изо всех сил колотил волосатыми руками в дверь.

Адвокат Гейер, которому удалось, наконец, благодаря редкой выдержке, успокоить Крюгера, сказал совершенно обессилевшему узнику, что его удивляют эти вспышки ярости. Он, Гейер, сам лишь ценой тяжких усилий научился владеть собой. Да, нелегко сдерживать себя, особенно когда ты познал, какое лицемерие и несправедливость царят в стране. То, что случилось с ним, Мартином Крюгером, происходит с тысячами других людей, с ними происходят еще более страшные вещи, и, уж конечно, не воплями можно все это изменить. И за то время, пока адвокат Гейер своим резким, нервным голосом, словно бичом, хлестал сидевшего перед ним в угрюмом молчании Мартина Крюгера, сердито сверля его проницательными голубыми глазами за толстыми стеклами очков, тот успел снова взять себя в руки. Было просто удивительно, как безропотно с того дня переносил все тяготы заключения этот избалованный человек. Привыкший к полному комфорту, к тому, что, скажем, вода в ванне всегда должна быть определенной температуры, выходивший из себя из-за малейшей перестановки мебели в квартире, он теперь без жалоб сносил все неудобства жизни в голой тюремной камере.

И все-таки часто, когда Крюгер оставался один, сознание своего превосходства, позволявшее ему иронически воспринимать заключение как неприятный, преходящий эпизод, внезапно сменялось приступами бешенства и наступавшей затем депрессией. Первые два дня процесса он не терял присутствия духа, убежденный в том, что всю эту историю не стоит принимать всерьез. Никто не решится на основании подобных идиотских показаний судить такого человека, как он, занимающего видное место среди немецких искусствоведов. Ему, уроженцу Бадена, трудно было постичь то тупое, тягучее, как смола, упорство, с каким жители Баварского плоскогорья добивали человека, став-

шего им ненавистным. Он не мог себе представить, что ревностный служака-прокурор состряпает из грязных сплетен обывательниц юридически обоснованное обвинение, а уважаемый придворный поставщик Дирмозер и простодушный почтальон Кортези из грязной болтовни воздвигнут для него тюремные стены.

Но в тот день, во время допроса надворной советницы Берадт, когда печальное дело покойной Анны Элизабет Гайдер получило столь отвратительную окраску, он вдруг с пугающей ясностью осознал всю опасность своего положения среди этих баварцев. И только теперь понял причину предельной сосредоточенности доктора Гейера. Наделенный богатым воображением, он, правда, и раньше рисовал себе картины предстоящего ему мученичества, представлял, как все это будет: отказ от сложившихся годами приятных привычек, от разумных занятий, от искусства, бесед с людьми тонкого вкуса, от женщин, от изысканных кушаний, от бодрящей утренней ванны. И столь разительный контраст между прошлым и будущим он живописал себе с тайной болезненной радостью. Там, за окном — июнь, и кто-то уже загорает на песчаном, прокаленном солнцем морском пляже, плывет в лодке, флиртуя с милыми девушками, мчится в пропыленной машине по белым дорогам, сидит вечером в горах у альпийской хижины, потягивая вино и чувствуя приятную усталость во всем теле; а его жизнь будет выглядеть совсем иначе: голые, серые стены камеры, четыре шага от стены до стены, утром — бурая жидкость в жестяной кружке, и весь день подчиняйся приказаниям угрюмых, скверно пахнущих надзирателей, днем — получасовая прогулка во дворе, затем до девяти вечера — снова голые, серые стены, потом свет гаснет. И так круглый год, потом еще пятьдесят две недели, а может быть, и еще триста шестьдесят пять бесконечных дней. Но в реальность всего этого он никогда до конца не верил, даже в минуты приступов ярости. И когда в то утро неумолимая действительность зримо предстала перед его глазами, он ощутил неприятную пустоту в желудке, к горлу подступила тошнота, и все тело стало ватным.

До того, как погаснет свет, оставалось еще четыре с половиной минуты. Он со страхом ждал этого мига. Он сидел в пижаме на откинутой койке, а рядом стояли стол, стул, кувшин с водой, эмалированная миска для еды и, наконец, белая параша для отправления естественных надобностей. Сейчас, когда он сидел с отвисшей челюстью, положив руки на колени, в нем не было ничего пугающего.

Об Анне Элизабет Гайдер он больше не вспоминал с тех пор, как она так отвратительно покончила с собой. Он находился тогда в Испании — заканчивал там книгу об испанской живописи, и, откровенно говоря, был даже рад, что не виделся с ней в последние, мучительно тяжкие для нее дни. Его всегда удивляло, как это человек вдруг решает покончить с собой, ему это было непонятно, и разбираться во всем этом не хотелось. Но сейчас, четвертого июня, в восемь часов пятьдесят семь минут, невозможно было отделаться от этих мыслей. Покойная Анна Элизабет Гайдер уже незримо проникла в камеру 134, хотя свет еще не погас и хотя Крюгер хорошо понимал, как важно ему собраться с мыслями для более серьезного дела: продумать, как защитить себя на суде от чудовищно нелепых обвинений.

В своих показаниях он не лгал. В тот вечер он в самом деле не поднимался к Анне Гайдер в квартиру, и между ними никогда не было физической близости. Под умным, испытующим взглядом голубых глаз доктора Гейера он впервые понял, что́ было тому причиной. Вообще-то, это простая случайность, что он не сошелся с нею, как сходился с другими женщинами. Вначале причиною тому были чисто внешние обстоятельства. Потом она написала свой портрет, и у него вдруг пропало всякое влечение к ней. Портрет преградой встал между нами,— объяснил он доктору Гейеру.

Он вспоминал сейчас Анну, вспоминал, как она вприпрыжку спускалась по лестнице — такая порывистость вообще не вязалась с ее зрелой женской фигурой; вспоминал ее круглое, широкое, совсем как у молодых крестьянок, простодушное лицо, густые, светлые, небрежно причесанные волосы, большие серые глаза, смущавшие своим задумчиво-рассеянным выражением. С ней непросто было иметь дело, она была какая-то диковатая, пренебрегала всякими условностями и житейскими благами, пока проза жизни не хватала ее за горло, одевалась всегда небрежно, до неприличия неряшливо. Да еще приступы чувственной страсти, которые временами находили на нее, отталкивая его своей неистовостью. Однако, несмотря на эти ее неприятные свойства, он безошибочным чутьем художника угадывал в ней несомненный талант, в это смутное для нее время ощупью, неуклонно прокладывающий себе путь: и такая редкая цельность натуры привлекала его к ней. Ибо он считал эту ущербную, несуразную женщину, вполне отвечавшую всему тому, что мюнхенцы вкладывали в слово «чужачка», которая с трудом зарабатывала себе на жизнь скудно оплачиваемыми уроками рисования в Мюнхенской художественной школе, одним

из немногих настоящих художников своего времени. Она работала мучительно, с большим напряжением и срывами, снова и снова уничтожала написанное, ее цели и методы нелегко было понять, но он ощущал в ее работах неоспоримое, самобытное и цельное дарование. Быть может, именно эта ее глубокая причастность к подлинному искусству и мешала ему бездумно сойтись с ней, как он обычно сходился с другими женщинами. Она страдала от этого, страдала из-за его непонятного равнодушия к ней, довольно неразборчиво вступала в случайные связи. И так продолжалось до тех пор, пока из-за пропусков занятий, а главное из-за приобретения при его содействии государственным музеем ее автопортрета, дирекция художественной школы не возбудила против нее дело. Тогда-то он и принес ту злосчастную присягу, оказавшуюся к тому же бесполезной.

Потому что ее, как и должен был предвидеть любой здравомыслящий человек, живущий в этой стране, несмотря на его благоприятные показания, со службы уволили. Он уехал в Испанию, не дождавшись исхода дела и не предотвратив трагических последствий, которые, знай он получше людей и жизнь, должен был предугадать. В конце концов по-человечески вполне понятно, что, в кои-то веки освободившись на время от служебных обязанностей, он хотел спокойно, без помех, поработать над своей книгой и потому распорядился не пересылать ему корреспонденции из Мюнхена. Но по-человечески было понятно и то, что, отправив ему множество писем и не получив никакого ответа, в отчаянье, не находя выхода, она отравилась светильным газом. Когда он вернулся, ее уже не было в живых, она стала горсткой пепла. Госпожа Берадт, с которой ему волей-неволей пришлось встретиться по поводу художественного наследия и бумаг покойной (из родственников осталась лишь сестра Анны, выказавшая полное безразличие), вела себя крайне враждебно. Бумаги покойной были опечатаны судебными властями. Сохранилось лишь несколько эскизов; все свои картины покойная, очевидно, уничтожила. Один из служителей государственного музея рассказал, что фрейлейн Гайдер за день до самоубийства была в галерее и долго стояла у своего портрета; своим расстроенным видом она привлекла его внимание, а когда он, пораженный ее странным поведением, попытался заговорить с ней, она без видимой причины дала ему две марки на чай. Этот поступок вызвал у госпожи надворной советницы Берадт решительное осуждение; ведь после покойной остались еще неоплаченные долги. Она задолжала за квартиру и, кроме того, попортила мебель в своих комнатах, так что теперь предстояли рас-

ходы на ремонт, не говоря уже о большом счете за газ, подскочившем из-за этого ее самоубийства.

До девяти оставалось еще полминуты. А Крюгеру никак не удавалось зримо представить себе живую Анну Гайдер. Он с затаенным страхом пытался воссоздать ее облик, вспомнить, как она курила, пристроившись в небрежной позе в углу дивана, как под проливным дождем без зонтика, напряженно глядя перед собой, неторопливо семенила по улице маленькими шажками или как, танцуя, опиралась на руку партнера, невесомая и одновременно странно отяжелевшая. Но портрет заслонял собой все, кроме него ничего не осталось.

Свет погас, в камере было душно, руки вспотели, одеяло неприятно царапало кожу. Мартин Крюгер поднял воротничок пижамы, штаны спустил ниже, тяжело вздохнул. Он закрыл глаза, и сразу же перед ним заколыхались разноцветные блики, тогда он снова открыл глаза и лежал, уставившись в гнетущую ночную тьму.

Он был слишком мягок, недостаточно энергичен — в этом причина всех бед. В ночной темноте его со всех сторон обступили воспоминания о прошлом. То было возмездие и испытание. Он был беспечен, давал себе поблажки. Не выполнял обязанностей, которые налагали на него хотя бы его способности. Ему слишком хорошо жилось, вот в чем дело. Ему все давалось слишком легко. Он почти не испытывал недостатка в деньгах, был недурен собой, женщины баловали его, талант его не вызывал у других чувства раздражения, свои мысли он излагал доступным, приятным слогом, облегчавшим читателю знакомство с теми произведениями искусства, которые он анализировал. От высказываний более резких, идущих вразрез с общепринятыми взглядами, он воздерживался. Правда, в его книгах не было ни одного слова, под которым он не мог бы подписаться с чистой совестью, однако в них отсутствовало и многое такое, что могло бы кое-кому не понравиться и о чем небезопасно было заявлять во всеуслышание. Были истины, о которых он догадывался, но старательно избегал формулировать их самому себе и уж тем более другим. У него был один-единственный настоящий друг, Каспар Прекль, инженер «Баварских автомобильных заводов», сумрачный, не слишком следивший за своей внешностью человек, живо интересовавшийся политикой и искусством, фанатичный и очень волевой. Каспар часто упрекал его в душевной лености, и временами под испытующим взглядом молодого инженера, который, впрочем, был к нему очень привязан, Мартин Крюгер казался самому себе шарлатаном.

Да, но разве он не сознавал своей ответственности? И разве не доказал этого на деле? И если он сидит сейчас в тюрьме, то не потому ли, что был последователен и отстаивал картины, которые считал подлинными произведениями искусства?

Допустим. Но как обстояло дело с картиной «Иосиф и его братья»? Это была сложная история, и поначалу он вел себя достойно. Ему прислали снимок с картины и окружили все многозначительной таинственностью. Говорили, что художник болен, нелюдим и очень нелегок в общении — лишь с большим трудом удалось уговорить его не уничтожать и эту картину. Снимок был сделан без его ведома и, конечно же, против его воли. Теряя порою веру в себя, убежденный в бессмысленности художественного творчества в наше время, он пристроился ради заработка мелким чиновником в какое-то учреждение. Вся надежда на него, Мартина Крюгера, с книгами которого художник знаком.

Под сильным впечатлением от картины, Мартин Крюгер с жаром принялся за дело. Правда, с самим художником встретиться ему так и не удалось. Но картину он спас. Серьезно рискуя своим положением, он поставил министра перед выбором: либо купить картину, либо уволить его, Крюгера. А когда ему со злорадством указали на то, что за картину запросили слишком высокую цену, он, как ни противен ему был автомобильный магнат Рейндль, не без труда уговорил его выложить солидную сумму. До тех пор он поступал последовательно. Что же, однако, случилось потом? Об этом «потом», о дальнейшем, он старался не думать, подыскивая всевозможные хитроумные отговорки. Но сейчас, взмокший от пота, задыхаясь, он лежал в темноте и, до боли стиснув зубы, перебирал в памяти всю эту историю, заставляя себя взглянуть правде в глаза.

А произошло потом вот что: когда картину наконец выставили в музее, его пыл заметно убавился. Если о посредственных работах ранних испанцев он писал проникновенно и ярко, то для «Иосифа и его братьев» даже убедительных слов не мог найти и ограничился ничего не значащими фразами. Он обязан был увлечь этим творением других не менее сильно, чем увлекся сам — как бы заново воссоздать его в слове, чтобы оно стало зримым. Но передать все своеобразие картины словами было мучительно трудно, надо было сосредоточиться, это стоило нервов, а он был ленив. Уже одно это было непростительной слабостью. Но худшее произошло потом — до власти дорвался этот законченный кретин Флаухер и, конечно же, постарался всеми правдами и неправдами убрать картину из

музея. Ему, Крюгеру, настоятельно предложили взять длительный отпуск. Это было весьма кстати, ибо давало возможность основательно поработать над книгой об испанцах. А когда он вернулся, картины «Иосиф и его братья», или «Справедливость», в музее уже не было, на ее месте висело несколько добросовестных поделок, вполне пригодных для заполнения пустот на стенах. Он еще до своего отъезда знал, что так случится. И хотя об этом не было сказано ни слова, понимал, что идет на явную сделку: отпуск ему дают, как вознаграждение за молчаливое согласие предать художника Ландхольцера и его творение.

И теперь, когда во тьме камеры 134 он безжалостно сказал себе всю правду, все в нем восстало против этого, и он сердито засопел. Слишком много разных дел осаждало его каждый божий день. Конечно, многое из того, что надо было сделать, он не сделал. Но ведь он не всемогущий господь, а всего лишь человек, у которого две руки, две ноги и одна голова. Достаточно и того, что он хоть кое-что успевал сделать. «Кое-что»,— проворчал он. «Не все, а кое-что». Но оттого, что он произнес эти слова вслух, они не стали более убедительными. Он представил себе своего молодого друга Каспара Прекля, его худое, небритое лицо с глубоко запавшими глазами и острыми скулами. Он почувствовал себя слабым, беспомощным и тяжело повернулся на другой бок.

Но, черт побери, какое отношение имеет эта история с «Иосифом и его братьями» к его собственным бедам? Должно быть, он здорово издерган, если апеллирует к таким мифическим понятиям, как «вина», «провидение», «возмездие». Сумел бы кто-нибудь другой в его положении добиться большего? Нет, другой не сумел бы, а вот он сам мог бы. Он обязан был пойти дальше, бороться до конца. Он скверный, ленивый человек, он не боролся до конца. А тот, кто не борется до конца,— ленивый человек.

В коридоре равномерные шаги надзирателя приближались к дверям его камеры. Девять шагов были слышны совершенно отчетливо, еще девять — глуше, потом они совсем замирали.

Да, он скверный, ленивый человек, и его не зря привлекли к суду, хотя придворный поставщик Дирмозер и антиквар Лехнер и не догадываются о подлинной его вине. Ведь он-то сам хорошо знал, как обстояло дело с «Иосифом и его братьями». Вероятно, «Иосиф и его братья» — не шедевр. Но ему, Крюгеру, представилась возможность открыть дорогу художнику, какие рождаются, может быть, лишь один раз на целое поколе-

ние, он оценил эту редкую возможность и сам же, из душевной лености, ее упустил.

Разве он однажды полушутя,— а что он делал не полушутя? — не вывел свою шкалу жизненных ценностей? Да, однажды, дождливым днем, гуляя с Иоганной по тихому парку королевского замка в альпийском предгорье, он нарисовал ей эту шкалу. Он отлично помнит тот день. В аккуратно подстриженном парке на каждом шагу попадались фигуры мифических зверей, выполненные в версальском вкусе. Он уселся верхом на одну из этих деревянных фигур,— сезон уж кончился, вечерело, и они были одни на всем острове. И вот, сидя на спине деревянного зверя, он выстроил перед Иоганной свою лестницу жизненных ценностей. В начале, на самой нижней ступени — комфорт, повседневные удобства, затем, чуть повыше — путешествия, счастье познания всего многообразия мира, еще ступенью выше — женщины, все радости утонченных наслаждений, еще одной ступенью выше — успех. Да, успех — это прекрасно, успех всегда вкусно пахнет. Но все это — нижние ступени, а совсем высоко — на верхних ступенях стояли его друг Каспар Прекль и она, Иоганна Крайн. Однако, если быть совсем откровенным, то и это еще не последняя ступень. Последняя, самая верхняя ступень для него — работа.

Иоганна задумчиво слушала его, стоя внизу под моросящим дождем. Но прежде, чем она успела ответить, появился сторож с огромным псом на поводке и грозно спросил, что он делает там наверху; садиться верхом на произведения искусства строго воспрещается. Мартин Крюгер слез с деревянного мифа, показал свое удостоверение директора государственного музея, и сторож, встав навытяжку, почтительно выслушал целую лекцию о том, что для всестороннего изучения подобных произведений искусства совершенно необходимо сидеть на них верхом.

Да. его самого удивляет, как это Иоганна вот уже четвертый год терпит его. Он отчетливо видел ее сейчас, видел ее широкоскулое лицо с очень гладкой кожей, каштановые волосы, своенравно, наперекор моде собранные в узел, темные брови над большими, серыми, смелыми глазами. Да, удивительно, что она так долго терпит его при всей своей любви к ясности и определенности. По одному тому, как он повел себя в истории с «Иосифом и его братьями», даже и менее прямому и сильному человеку, чем Иоганна, нетрудно было понять, каким пассивным он оказывался на деле, как трусливо оберегал свой покой. Увы, таким он и был: горячо брался за дело, но когда нужно

было проявить выдержку и характер, всячески избегал решительных действий, заранее готовый на компромисс.

Внезапно его буквально захлестнуло желание увидеть Иоганну. В зале суда он искал ее волевое, широкоскулое лицо. Но тщетно. Этот отвратительный доктор Гейер по каким-то своим мудреным юридическим соображениям, видимо, не разрешил ей прийти. А между тем ей ведь совсем не обязательно давать показания. Он не хочет, чтобы она давала показания. Он уже несколько раз говорил об этом защитнику. Он не хочет, чтобы Иоганну впутывали в эту грязную историю, из которой невозможно выйти незапятнанной.

Но узник камеры 134 был наделен богатым воображением, и потому невольно вновь и вновь представлял себе, как Иоганна своим спокойным голосом станет давать показания в его пользу. Будет чертовски обидно, если доктор Гейер действительно послушается его и откажется от показаний Иоганны. До чего же будет здорово, если Иоганна выскажет этим тупицам все, что она о них думает! И если развеются как дым все нелепые обвинения. А потом эти болваны явятся к нему с извинениями. И первым — министр Флаухер, этот форменный кретин с квадратным черепом. Нет, он, Крюгер, не станет разводить антимоний. Без лишних эмоций, с легкой усмешкой, почти искренне пожмет руку старому раскаявшемуся ослу, удовлетворившись тем, что отныне его врагам, хочешь не хочешь, придется предоставить ему большую свободу действий.

Во всяком случае, до смерти обидно, что он все эти дни ни разу не видел Иоганну. Этот несносный оппортунист, вечно осторожничающий доктор Гейер считает, что эффект от ее показаний окажется слабее, если станет известно, что она в эти дни не раз виделась с Крюгером. А о том, что свидание с Иоганной придало бы ему сил, Гейер, конечно, не подумал. Он почти с ненавистью вспоминал сейчас светлые, пытливые глаза адвоката за толстыми стеклами очков.

И все-таки давняя и стойкая преданность Иоганны укрепляет его веру в себя. Да, однажды он показал свою полную несостоятельность. Но теперь он снова владеет собой и сумеет взять верный курс. Только бы разделаться с этой невеселой историей. Тогда он отыщет картину «Иосиф и его братья», окажись она даже в далекой Сибири, и, самое главное, непременно найдет художника Ландхольцера. Он будет искать вместе с Каспаром Преклем, настойчиво, с фанатичным упорством. С прежней своей бесхребетностью он покончит раз и навсегда.

Снова слышны шаги надзирателя. Девять шагов — отчетливо, девять — глуше, потом они совсем замирают. От этих мыслей у него становится легче на душе, одеяло уже не так царапает кожу. Он смело поворачивается на левый бок, не боясь, что у него заболит сердце. Естественная усталость превозмогает нервное возбуждение, порождаемое мраком тюремной камеры, и он засыпает с легкой, довольной улыбкой.

8

АДВОКАТ ДОКТОР ГЕЙЕР ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ

Адвокат доктор Зигберт Гейер велел своей экономке и в свободный от судебных заседаний воскресный день разбудить его ровно в восемь утра. Каждый час этого воскресенья также расписан заранее. Он должен принять свидетельницу Крайн, должен удержать не слишком гибких членов своей партии от глупых выходок в «Тирольском кабачке»,— по воскресеньям ресторан превращается в клуб, открытый для всех политических деятелей этой маленькой страны. Но прежде всего должен поработать над своей рукописью «История беззаконий в Баварии с момента заключения перемирия 1918 года до наших дней». Он не может допускать слишком больших перерывов в работе, иначе никогда не доведет ее до конца.

Едва его разбудил сиплый, плаксивый голос экономки Агнессы, как он усилием воли оторвал от постели свое вялое, непослушное тело. В ванне он расслабился и не старался больше подчинить каждую свою мысль неумолимой логике.

Если бы кто-нибудь знал, каких усилий стоит ему каждый день снова и снова аккумулировать и напрягать всю энергию, чтобы сохранить свою хваленую выдержку. Разве по природе своей он не созерцатель, вовсе не приспособленный для такой сумасшедшей работы? Разве не мечтает он уехать куда-нибудь в деревню и, отойдя от служебных дел и политической борьбы, посвятить себя изучению теоретических проблем политики?

Сможет ли он сегодня сосредоточиться и спокойно посидеть над «Историей беззаконий»? Чертовски трудно избавиться от мыслей о Крюгере и о себе самом. Если он действительно хочет довести книгу до конца, то должен когда-нибудь бросить все дела и на несколько месяцев уединиться в тиши.

Увы, он знал, чем бы все это кончилось. Нежась в теплой ванне, он грустно улыбался тонкими губами, вспоминая, к чему приводили все его прежние попытки сбежать от этой раздражаю-

щей суеты. Всякий раз, после двух недель мирной сельской жизни, он начинал тосковать по письмам, газетам, по юридическим и политическим конференциям, тосковать по заседаниям суда или ландтага, когда он, стоя на трибуне, смотрел на лица людей в зале, жадно ловивших каждое его слово. Он прекрасно понимал, что это пустая трата времени, но как трудно было от всего этого отказаться!

Адвокат доктор Гейер нежился в ванне, его тело колыхалось в прозрачной зеленоватой воде. Он думал сейчас о книге «Право, политика, история», о большой книге, которую когда-нибудь все же напишет. С удовольствием вспоминал некоторые найденные им формулировки, которые представлялись ему удачными, улыбался, закрыв глаза. Эти вопросы волновали его еще в студенческие годы. Он знал: «Право, политика, история» будет хорошей книгой, в ней он куда подробнее и серьезнее, чем на суде или в ландтаге, сможет осветить многие важные проблемы. Она окажет свое влияние на людей более достойных, чем судьи и депутаты ландтага, и, возможно, однажды попадет даже в руки к человеку, который сумеет воплотить его мысли в дела. Он накопил большой материал, отобрал все ценное и расположил по порядку. Из года в год перегруппировывал его, менял план книги, ее архитектонику. Но вплотную к работе над этой книгой, требовавшей полной отдачи сил, все не приступал. Наконец принялся писать книгу поменьше — «История беззаконий в Баварии», вяло оправдываясь перед собственной совестью тем, что это, мол, лишь подготовительная работа к главному труду. Но в глубине души,— не сейчас, нежась в ванне, а в минуты предельной искренности с самим собой,— он понимал, что никогда не напишет такую книгу, что всю жизнь будет метаться между суетным политиканством и адвокатскими дрязгами, подменяя настоящую работу мышиной возней.

Адвокат доктор Зигберт Гейер, слегка покачиваясь в воде, тер тонкую, на редкость белую кожу холодной резиновой щеткой. Взгляд снова стал острым и проницательным. Все это — переливание из пустого в порожнее. Сплошной вздор! Вредно так долго лежать в теплой ванне. Необходимо собраться с мыслями, заняться обвиняемым Мартином Крюгером.

Несдержанность и сангвинический темперамент Крюгера были ему противны. Но хотя он испытывал неприязнь именно к этой жертве судебного произвола, хотя защита права перед государством, не желавшим признавать никакого права, была затеей безнадежной, все же ему приносило моральное удовлетворение, что он может открыто высказать свои взгляды, пред-

принять какие-то шаги, привлечь внимание широкой общественности к частному случаю.

Он торопливо завтракал, машинально запихивая в рот большие куски и поспешно их пережевывая. Экономка Агнесса, костлявая, желтолицая особа, ходила взад и вперед, сердито ворча, что есть нужно медленнее, не то еда не пойдет впрок. И вдобавок он опять надел старый, совершенно неприличный костюм, а нового, который она ему специально приготовила, он, конечно, не заметил. Он сидел в некрасивой, неудобной позе и, не слушая ее, быстро жевал, пачкая при этом костюм, просматривал газетные отчеты, присланные ему управляющим конторой. Его взгляд вновь стал таким же быстрым, трезвым и пытливым, как в зале суда. Многие газеты поместили его портрет. Он всматривался в свое лицо: тонкий с горбинкой нос, резко выступающие скулы, острый, нервный подбородок. Он сейчас, несомненно, один из лучших адвокатов Баварии. Ему следовало уехать из этого равнодушного города, перебраться в Берлин. Никто не может понять, почему он довольствуется ролью депутата ландтага маленькой провинции, не участвует в большой политической борьбе. Должно быть, он действительно глубоко увяз в нелепых сражениях с надменным карликовым диктатором Кленком и, видно, одурманен призрачными успехами в этой жалкой провинции.

Листая газеты, Гейер вдруг болезненно вздрогнул, точно так же, как недавно в зале суда, когда он смешался от глупого, неприличного смешка присяжного фон Дельмайера. Он просматривал сейчас берлинскую дневную газету; ее художник сделал смелые, меткие зарисовки присяжных на процессе Крюгера: лица людей, безнадежно посредственных. Скупыми штрихами, с неумолимой достоверностью художник передал выражение беспросветной тупости. С газетной полосы, заслоняя два других лица, на него глядело пустое, дерзкое, худощавое лицо страхового агента фон Дельмайера, которое ему, Гейеру, теперь еще много дней придется долгими часами лицезреть. Лишь ценой огромного напряжения ему удается сохранять душевное равновесие, а это наглое лицо каждый раз выводит его из себя. Ведь там, где Дельмайер, там поблизости непременно должен быть и Эрих. Эти молодчики, столь непостоянные и ненадежные во всем остальном, в своей дружбе проявляли завидное постоянство. Эрих! Все, что связано с этим именем, он уже обдумал, выяснил, четко сформулировал словами. С этой проблемой покончено. Раз и навсегда. И все-таки он знал: если мальчик сам придет к нему,— а когда-нибудь это случится, он придет к нему

и заговорит с ним,— то окажется, что как раз ни с чем и не покончено. В одной руке он держал газету, в другой — недоеденную булочку, он поднес было ее ко рту, но так и застыл на полдороге. Взгляд его впился в наглое, пустое и насмешливое лицо присяжного, переданное лишь несколькими штрихами. Но он тут же усилием воли оторвал глаза от газеты и заставил себя не думать больше о Дельмайере и тем более о его друге и приятеле Эрихе, о своем мальчике, о собственном сыне.

Он еще не кончил завтракать, когда пришла Иоганна Крайн. И когда она вошла в комнату, в кремовом костюме, плотно облегавшем сильное, ладное, как у спортсменки, тело и открывавшем крепкие стройные ноги, когда Гейер взглянул на ее широкоскулое мужественное, чуть загоревшее лицо, его поразило сходство с той, другой, о которой он старался не вспоминать. Всякий раз, когда он видел Иоганну, он снова удивлялся, что связывало эту сильную, волевую женщину с вечно переменчивым Крюгером.

Иоганна попросила разрешения открыть окно. В душную, неуютную комнату ворвался июньский день. Иоганна села на один из узких, расставленных как попало стульев с жесткой спинкой. На какую-то долю секунды Гейеру, который никогда не задумывался над подобными вещами, пришла в голову мысль, что было бы неплохо, если бы кто-нибудь позаботился обставить его квартиру более светлой мебелью.

Иоганна попросила его не прерывать завтрака и, не сводя с него серых, решительных глаз, стала внимательно слушать, как обстоят дела на процессе. Изредка бросая на нее быстрый, проницательный взгляд, отламывая по кусочку хлеб, скатывая крошки в шарики, он объяснял ей, что показания шофера Ратценбергера делают защиту Крюгера почти безнадежной. Перед другим судом, возможно, и имело бы смысл оспаривать достоверность показаний свидетеля, но данный суд не позволит выяснить вопрос о том, как фабриковались эти показания.

— А мои показания? — помолчав, спросила Иоганна.

Бросив на нее быстрый взгляд и не переставая ковырять ложечкой в яйце, Гейер еще раз уточнил факты, которые Иоганна сообщила ему ранее.

— Итак, вы намерены показать, что в ту ночь с двадцать третьего на двадцать четвертое февраля Крюгер пришел к вам и лег с вами в постель?

Иоганна молчала.

— Мне незачем говорить вам,— продолжал Гейер, снова быстро взглянув из-под очков на Иоганну,— что добьемся мы

этим немногого. Тот факт, что Крюгер в ту ночь был у вас, сам по себе не опровергает показаний шофера.

— Неужели Крюгера можно считать способным...

— Его сочтут способным,— сухо сказал Гейер.— Я бы посоветовал вам вообще отказаться от дачи показаний. Ведь из того, что Крюгер в ту ночь был у вас, не обязательно следует, что перед этим он не побывал у фрейлейн Гайдер. Обвинение, разумеется, примет версию, что он в ту ночь был *также* у вас.

Иоганна молчала; на ее всегда совершенно гладком лбу обозначились три вертикальные морщинки. Зигберт Гейер упорно крошил хлеб.

— Сомневаюсь, чтобы ваши показания повлияли на судей и присяжных заседателей. Напротив, они могут произвести отрицательное впечатление, если выяснится, что обвиняемый и с вами был в близких отношениях. Давать на суде такие показания вам будет неприятно,— отчетливо произнес он, снова устремив на нее проницательный взгляд.— Вас будут расспрашивать о подробностях. Советую вам подумать и отказаться от дачи показаний.

— Я хочу дать показания,— упрямо повторила Иоганна, глядя ему прямо в глаза; всякий раз, обращаясь к кому-нибудь, она смотрела собеседнику прямо в глаза.

— Я хочу дать показания,— повторила она,— я не представляю себе, чтобы...

— Вы, кажется, не первый год живете в этом городе,— нетерпеливо прервал ее Гейер.— И можете с математической точностью рассчитать, какое впечатление произведут ваши показания.

Иоганна сидела перед ним с мрачным видом. Крепко сжатые губы красным пятном выделялись на смуглом, побледневшем лице. Гейер добавил, что и сам Крюгер против того, чтобы она давала показания.

— Ах, это всего лишь красивый жест! — воскликнула Иоганна и вдруг лукаво улыбнулась.— Как бы сильно он чего-нибудь ни желал, вначале он всегда играет в благородство и ломается.

— Конечно, я постараюсь извлечь из ваших показаний максимум возможного,— продолжал Гейер.— А вы смелая женщина,— добавил он со смущенной улыбкой: он не привык делать комплименты.— Вы ясно представляете себе всю неловкость вашего положения при даче показаний? — внезапно повторил он свой вопрос подчеркнуто деловым тоном.

— Да,— ответила Иоганна, сердито фыркнув.— Я это выдержу.

— И все-таки я советую вам отказаться от дачи показаний,— твердо стоял на своем Гейер.— Это все равно ничего не изменит.

В комнату вошла экономка Агнесса, очень худая, высокая женщина, ее коричневато-желтое лицо хранило следы былых лишений и преждевременной старости. Она недружелюбно, с недоверчивым любопытством взглянула черными глазами на молодую, цветущую клиентку, не спеша убрала посуду — дешевые тарелки с синим узором, продукция фабрики «Южногерманская керамика Людвиг Гесрейтер и сын» и сменила скатерть; все это время Гейер и Иоганна молчали.

— Не можете ли вы вспомнить,— спросил Гейер, едва экономка вышла из комнаты,— когда именно в ту ночь Крюгер пришел к вам? Я имею в виду точный час.

Иоганна задумалась.

— Прошло так много времени,— наконец сказала она.

— Это понятно,— сказал Гейер.— Но вот шофер Ратценбергер, например, сумел все же вспомнить точное время. Когда я спросил его, в котором часу господин Крюгер вышел из такси, он ответил, что сразу после двух ночи. Этой подробности не придали никакого значения, но она занесена в протокол.

— Постараюсь все хорошенько припомнить,— неторопливо произнесла Иоганна Крайн.— А если мне, к примеру, удастся вспомнить, что Мартин Крюгер в два часа уже был у меня? — задумчиво спросила она.

— Тогда, по крайней мере, доверие к показаниям шофера было бы сильно подорвано,— быстро ответил Гейер. Он взял в руки газету, развернул ее, и сразу же на глаза ему попался рисунок с лицами присяжных, и всех их заслонило пустое лицо Дельмайера.

— Вероятно, даже тогда шоферу поверят скорее, чем вам,— сказал Гейер, снова тщательно складывая газету.— Тем не менее в этом случае ваши показания имели бы смысл.

— Постараюсь все хорошенько вспомнить,— сказала Иоганна и поднялась. Она стояла перед ним — широкоскулое, ясное лицо, смелые серые глаза, вздернутый нос, волевой рот,— рослая баварка, твердо решившая, пусть даже с опасностью для себя, помочь своему неосмотрительному другу выпутаться из этой нелепой истории.

— И все же,— вновь повторил Гейер,— советую вам отка-

заться от дачи показаний. Особенно если вы так и не сумеете вспомнить точный час.

Иоганна своей широкой, грубоватой рукой пожала узкую, тонкокожую руку Гейера и вышла.

Из окна смежной комнаты ей вслед неотрывно, со жгучим любопытством глядела экономка Агнесса. Ее глаза на коричневато-желтом лице, в обрамлении черных растрепанных волос, были прикованы к Иоганне, которая в кремовом, плотно облегавшем костюме шла по залитой июньским солнцем улице.

Доктор Гейер, жалкий, бесконечно усталый, сидел за столом, на котором в беспорядке валялись газеты. Эта женщина слишком хороша для Крюгера. И несмотря на то, что она баварка, с широким баварским лицом и характерным, тягучим баварским говором, в ней есть сходство с... Но ведь он решил не думать об этом, ни о мальчике, ни о его матери. Она умерла, со всей этой давней историей покончено.

Покряхтывая, он поднялся. Заметил, что сильно запачкал костюм. Позвонил. Прибежала экономка Агнесса. Он набросился на нее: когда в ней нет никакой нужды, она тут как тут, а когда нужна, ее не дозовешься. Она раздраженно огрызнулась, что-то нудно забубнила в ответ. Хоть теперь-то одел бы хороший костюм, который она ему приготовила. Но он уже не слушал ее, сел за стол и на газетных полях стал делать какие-то пометки, а может быть, просто выводил завитушки.

И когда экономка уже ушла, он все еще долго сидел вот так у стола. Болели глаза, и он опустил чуть воспаленные веки под толстыми стеклами очков. Он выглядел сейчас усталым стариком, и при всей своей выдержке не в силах был, думая о свидетельнице Крайн, одновременно не думать о некоей Эллис Борнхлак, уроженке Северной Германии, умершей много лет назад.

9

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ БАВАРСКОГО ПЛОСКОГОРЬЯ

Погожее воскресенье многих сманило в горы и на озеро, а в «Тирольском кабачке» в это июньское утро все равно было полно народу. Все окна были распахнуты навстречу солнцу, но в залах царила приятная прохлада. Над массивными деревянными столами плыл густой табачный дым. Посетители жевали хорошо поджаренные, хрустящие свиные сосиски, посасывали

толстую и сочную ливерную колбасу, высказывали безапелляционные суждения по вопросам искусства, философии и политики.

Воскресным утром в «Тирольском кабачке» собирались по большей части политические деятели. Они гордо восседали за столами в своих черных праздничных сюртуках. Бавария была автономным государством, и быть баварским политическим деятелем — это кое-что да значило.

Если Европа в то время состояла из многочисленных суверенных государств, одним из которых была Германия, то Германия, в свою очередь, состояла из восемнадцати союзных государств. Эти так называемые *земли* во главе с Баварией ревниво оберегали свою независимость, хотя они по своей экономической структуре давно уже превратились в провинции. У них были свои традиции, свои «исторические чувства», свои «племенные особенности», свои кабинеты министров. Германией правили восемьдесят министров, две тысячи триста шестьдесят пять парламентариев. Облеченные пышными титулами господа из правительств земель, все эти президенты, министры, депутаты ландтагов не желали исчезнуть с политической арены или, в лучшем случае, превратиться в провинциальных чиновников. Они не желали признать, что их земли низведены до положения провинции: тщась доказать свое самостоятельное государственное значение, они всячески противились любой реорганизации, ораторствовали, демонстрировали свою власть, распоряжались. А возглавляли борьбу земель против общегерманского правительства баварские министры и парламентарии. Они находили в защиту автономии союзных земель самые убедительные слова. И держались необычайно величественно.

Отблеск этого величия падал и на представителей оппозиции, партийных единомышленников доктора Гейера, несмотря на то, что они, в соответствии со своей программой, вели борьбу против баварского партикуляризма. Благодаря особенностям политической структуры Германии, они в известной мере находились в самой гуще большой политики и тоже считали себя важными фигурами, так что эти воскресные утра в «Тирольском кабачке» были для них событием огромной значимости.

Они, деятели оппозиции, устраивались не в маленькой, несколько более дорогой боковой комнате, а с подчеркнутым демократизмом — в переполненном главном зале. Худой, с измученным лицом, всем чужой, Гейер сидел между двумя лидерами своей фракции, г-ном Иозефом Винингером и Амбросом Грунером. Первым делом он заглянул в боковую комнату, где часто

сиживал министр юстиции. Но там он обнаружил не Кленка, а лишь неуклюжего грузного Флаухера. Слегка разочарованный отсутствием врага и все же от безмерной усталости довольный тем, что не придется вести спор, он сидел, торопливо и без всякого удовольствия глотая вино и разглядывая сквозь табачный дым лица соседей по столу. Иозеф Винингер принадлежал к характерному баварскому типу «круглоголовых». На бледно-розовом, поросшем светлым пушком лице таращились добродушные, водянистые глаза. Неторопливо прожевывая сосиски, он время от времени беззлобно что-то шамкал. У Амброса Грунера, наоборот, усы были молодцевато закручены, он отличался энергичной жестикуляцией и сидел, по-фельдфебельски выпятив толстый живот, которым терся об стол. И ругательски ругал правительство. Зачем, собственно, он, Гейер, теряет время с этими людьми? Он точно знал: как ни разнятся Винингер и Грунер, они совершенно одинаково отреагируют на слова министра просвещения и вероисповеданий, и оба клюнут на приманку его грубой приветливости. У них одни и те же духовные корни, и, несмотря на разглагольствования о социализме, они оба глубоко увязли в болоте крестьянской идеологии.

Из боковой комнаты теперь отчетливо доносился ворчливый голос Флаухера. Там громко спорили о Бисмарке, об особых правах баварского эмиссионного банка, о причинах смерти только что извлеченного из гробницы египетского царя Тутанхамона, о качестве пива «Шпатенбрей», о транспортных проблемах Советской России, о зобе, этой характерной болезни баварцев, об экспрессионизме, о достоинствах кухни ресторана на Штарнбергском озере. То и дело разговор возвращался к автопортрету Анны Элизабет Гайдер, изобразившей себя в голом виде. Из галереи Новодного просочился слух, будто портрет продан за изрядную сумму в Мюнхен, продан влиятельному лицу. Но кому именно, оставалось неизвестным... Многие предполагали, что барону Рейндлю, крупному промышленнику. Об этом долго судили-рядили. Спорили о достоинствах картины. Писатель Маттеи намеревался в ближайшем номере своего журнала опубликовать стихотворение, о котором он накануне при встрече говорил коммерции советнику Гесрейтеру. Он его уже почти написал. Он прочел вслух грубые, сальные строки. Этот человек с исполосованным сабельными ударами лицом, жадно, словно голодный пес, следил из-за стекол пенсне за впечатлением, производимым его злыми, грубыми стихами. Стоял оглушительный хохот, все пили за его здоровье. Сытый, удовлетворенный, он снова уселся на место, сунув в рот трубку. Однако

второй сидевший за этим столом писатель, доктор Пфистерер, нашел стихи цинпчными. Он был убежден, что Анна Элизабет Гайдер непременно отыскала бы правильный путь, если бы ее так не травили. Доктор Пфистерер, как и доктор Лоренц Маттеи, носил серую куртку и, как он, писал пространные рассказы из жизни баварских горцев, принесшие ему широкую известность во всей стране. Но его рассказы отличались оптимизмом, они трогали, взывали к благородным чувствам. Он верил в доброе начало в людях и отказывал в этом одному лишь Маттеи, которого терпеть не мог. Они сидели друг против друга, эти баварские писатели, и, налившись кровью, буравили один другого злобными взглядами маленьких глаз из-за стекол пенсне. Маттеи, отяжелевший, с исполосованным сабельными ударами лицом, сидел набычившись, а Пфистерер нервно и беспомощно тряс рыжей, седеющей бородой.

Все орали, перебивая один другого. Победителем оказался профессор Бальтазар фон Остернахер. Голос его не отличался особой силой, но он так владел им, был так сдержанно-настойчив, что в конце концов заставил умолкнуть остальных и решительно обрушился на умершую. Разве сам он не революционер? Разве он не выступал всегда за полную свободу искусства, даже эротического? Но живопись подобного рода — не что иное, как грубый физиологический процесс, акт самоудовлетворения сексуально неудовлетворенной женщины, и с искусством она не имеет ничего общего.

Кельнерша Ценци стояла, прислонясь к буфету и вслушиваясь в разговор; она озабоченно отметила про себя, что в пылу спора профессор Остернахер забыл про сосиски и они совсем остыли. Она была отлично осведомлена о том, какое положение занимают ее клиенты в глазах света и знатоков. Ей многое довелось слышать и теперь было совсем нетрудно понять, в чем суть дела. Она могла бы порассказать немало любопытного о подоплеке многих событий в политике, экономике и искусстве. Знала она и то, почему профессор Остернахер так горячился сейчас и дал остыть своим сосискам.

Он знаменитость, этот профессор, он занимает прочное место в истории искусства, и за его картины платят большие деньги, особенно по ту сторону океана. Когда она называла имя господина профессора приезжим гостям, они смотрели на него с почтительным любопытством. Только кельнерша Ценци хорошо помнит, как он изменился в лице, когда один из его близких друзей по секрету рассказал ему, что Крюгер отозвался о нем как о «способном декораторе». Она отлично понимала, что по-

купку картины, которую превозносил Крюгер, да еще мюнхенцем, да еще за высокую цену, профессор воспринял как личное оскорбление. Она знала Остернахера лучше, чем его собственные жена и дочь. Да, когда-то он действительно был революционером в живописи, но застыл в своей манере письма, которая, как со временем выяснилось, была лишь данью моде. Он постарел, и когда ему казалось, что за ним никто не наблюдает, по-стариковски горбился,— уж она-то, Ценци, это знала. И понимала, почему он вдруг начинал вот так возмущаться. В сущности, он не столько обрушивался на других, сколько терзался, мучился, злился от ощущения собственной несостоятельности. В такие минуты она обращалась с ним особенно ласково и по-матерински успокаивала его до тех пор, пока он, охрипнув от ожесточенных споров, не принимался за сосиски.

В самый разгар спора к ресторану подкатил новехонький темно-зеленый автомобиль. Из него вышел человек с добродушно-хитрым, изборожденным глубокими морщинами мужицким лицом — автор «Распятия», художник Андреас Грейдерер. Он широкими шагами, доверчиво, с сияющей улыбкой, направился к столу своих именитых коллег. До сих пор они вполне спокойно переносили его присутствие,— ведь никому не приходило в голову считать его, Грейдерера, конкурентом. Его простоватый мужицкий юмор и мастерская игра на губной гармонике снискали ему место в их обществе. Но сегодня, когда он, приблизившись к столу, добродушно сострил насчет своего нежданного-негаданного успеха, его встретили кислые, надутые физиономии. Никто не выказал готовности потесниться, никто не предложил ему места. Воцарилось неловкое молчание. С противоположной стороны площади, из пивной, доносились звуки духового оркестра, с чувством исполнявшего популярную песню «Томился в Мантуе, в оковах, верный Гофер...». Обескураженный холодным приемом, Грейдерер вернулся в главный зал и увидел там вождей оппозиции. В другое время Винингер и Грунер встретили бы художника, вызвавшего неудовольствие министра просвещения и вероисповеданий, с подчеркнутым радушием. Однако сейчас они предпочли поскорее отделаться от него, справедливо полагая, что, пока он сидит с ними, долгожданная воскресная беседа с «большеголовыми», протекавшая обычно в дружелюбно-полемическом тоне, так и не начнется. Они держались с ним все более сухо, пили, курили, ограничиваясь односложными фразами. Грейдерер долго не замечал, что он-то и есть виновник их мрачного настроения, но, когда это все же до него дошло, он мгновенно ретировался в темно-зеле-

ном автомобиле, провожаемый взглядами всех сидевших в зале.

Зато теперь, вместо него, в большой зал к столу оппозиции наконец-то пожаловали Флаухер и писатель Пфистерер. Ибо по давней традиции министры правящей партии, льстя таким образом мелкому самолюбию оппозиции, по воскресеньям перебирались в главный зал и там за утренней кружкой пива вступали в беззлобный спор со своими противниками. И вот они теперь собрались все вместе, эти политические деятели Баварского плоскогорья. Вели вежливую беседу, осторожно нащупывали уязвимые места собеседников. Франц Флаухер, чье грузное, приземистое тело было облачено в черный долгополый, изрядно поношенный сюртук, убеждал в чем-то г-на Винингера, стараясь быть любезным, изредка что-то бурча себе под нос; писатель Пфистерер завладел Амбросом Грунером и то и дело дружелюбно похлопывал его по плечу.

Гейеру все четверо казались людьми одной и той же породы, крутой, баварской породы: хитрыми, ограниченными, с узким кругозором, угрюмыми, как долины их родных гор. Они всячески старались придать своим грубым голосам, привыкшим пробиваться сквозь шум людных сборищ, пивные испарения и дым от дешевых сигар, сдержанную приветливость, тужились говорить литературно, но то и дело переходили на тягучий местный диалект. Массивные, они прочно сидели на крепких деревянных скамьях, с неуклюжей вежливостью улыбались один другому — ни дать ни взять, богатые крестьяне, ни на йоту не доверяющие друг другу, когда случается на ярмарке продавать или покупать скот.

Разговор шел о введенном недавно возрастном пределе для государственных служащих. Как только чиновник достигал шестидесяти шести лет, его немедленно отправляли на пенсию. Все же в виде исключения разрешалось оставлять на службе чиновников, которым очень трудно было подобрать замену. Министр Флаухер и хотел воспользоваться этой лазейкой, чтобы не увольнять из университета профессора истории, тайного советника Каленеггера, давно уже перешагнувшего предельный возраст. В Мюнхенском университете имелось три кафедры истории. Назначение на одну из них по заключенному с папой конкордату происходило с согласия епископа, и ее, понятно, занимал ревностный католик. Вторая предназначалась в первую очередь для исследователя истории Баварии, и ее, естественно, тоже мог занимать только ревностный католик. Третью,— самую почетную, основанную некогда королем Мак-

сом Вторым для великого ученого Ранке, в настоящее время занимал глубокий старик, тайный советник Каленеггер. Он посвятил всю жизнь изучению биологических закономерностей, присущих городу Мюнхену. С поистине маниакальным упорством он собирал материалы, соотнося все космические явления, все биологические, геологические и палеонтологические данные с историей города Мюнхена, и неизменно приходил к выводу, что согласно законам природы Мюнхен был, есть и должен остаться крестьянским земледельческим центром. При этом он никогда не вступал в конфликт с церковным учением и, более того, неизменно выказывал себя ревностным католиком. Впрочем, за пределами Мюнхена, несмотря на достоверность собранных им данных,— если только рассматривать их по отдельности,— окончательные выводы Каленеггера признавались ученым миром совершенно нелепыми. Каленеггер не учитывал ни того, что технический прогресс сделал человека почти независимым от местного климата, ни социальных изменений, происшедших за последние столетия.

Теперь факультет намеревался, в случае ухода Каленеггера на пенсию, предложить кафедру одному ученому, хотя и коренному баварцу, но протестанту. Больше того, этот ученый,— протеже университета,— в одной из своих работ о политике Ватикана пришел к выводу, что действия папской власти в отношении английской королевы Елизаветы противоречили требованиям христианской морали: ведь папе было заранее известно о заговоре Марии Стюарт, ставившем своей целью убийство английской королевы, и он одобрял это злодеяние. Поэтому Флаухер твердо решил воспрепятствовать назначению подобного человека и оградить тайного советника Каленеггера от действия закона о предельном возрасте.

Пока Флаухер многословно и восторженно распространялся о заслугах Каленеггера, Зигберт Гейер разглядывал старого профессора, сидевшего в боковой комнате за столом «большеголовых». Долговязый, худой и нескладный, с большим горбатым носом, он сидел на стуле, ворочая костистой, узкой головой на длинной тощей шее. Его странно беспомощные птичьи глаза тупо глядели на окружающих. Изредка старец громким и в то же время бессильно-напряженным голосом изрекал несколько нудных, трафаретных фраз. Гейер подумал о том, как давно иссякли умственные способности этого старика. Весь научный мир Германии уже не первый год потешался над этим человеком. Ведь последние десять лет он посвятил служению одной-единственной идее: он изучал происхождение слоповьего

чучела, хранившегося в мюнхенском музее зоологии, того самого слона, который после неудачной осады Вены войсками султана Сулеймана Второго достался в качестве трофея императору Максимилиану Второму и впоследствии был им подарен баварскому герцогу Альбрехту Пятому.

Зигберт Гейер относился к Каленеггеру совершенно равнодушно, но не мог равнодушно слушать, как Флаухер лицемерно превозносил старца, нарочито преувеличивая его заслуги перед наукой.

— Ну, а что вы скажете насчет четырех томов слоновьих исследований вашего Каленеггера? — неожиданно раздался тонкий, неприятный голос доктора Гейера.

Все замолчали. Затем почти одновременно на защиту Каленеггера встали Пфистерер и Флаухер. Доктор Пфистерер воздал хвалу краеведческим изысканиям престарелого тайного советника, в которых знание неотделимо от искреннего чувства. Неужели доктор Гейер в самом деле считает, что такие краеведческие изыскания не имеют никакого значения?

— Не будем из каленеггеровского слона делать муху,— добродушно заключил он.

В свою очередь Флаухер строго и с неодобрением заметил, что если кое-кто и не в состоянии оценить всю важность подобных изысканий, то народ в целом решительно отвергает эти взгляды в духе американизма. Народу этот слон так же дорог, как башни Фрауэнкирхе или любые другие достопримечательности города Мюнхена. Разумеется, едва ли можно требовать от господина депутата Гейера, чтобы его волновали наши священные реликвии.

— Ибо эти чувства доступны лишь тем, кто корнями врос в родную землю,— почти соболезнующим тоном произнес господин министр. И, обдав Гейера уничтожающим презрением, он посмотрел на депутата Винингера туповато-простодушным взглядом. Затем таким же взглядом, в котором сквозило и дружеское предостережение, поглядел на депутата Грунера.

— Величайшего уважения достоин седовласый ученый Каленеггер. Да, да, величайшего,— закончил он.

И все посмотрели в ту сторону, где сидел немощный старец. Депутат Винингер, слегка растрогавшись, смущенно кивнул. Депутат Амброс Грунер задумчиво бросил таксе министра Флаухера колбасную кожуру.

Внезапно Гейер ощутил полное свое одиночество. Каленеггер и его слон! Все они — реакционный министр, реакционный писатель и депутаты оппозиции, несмотря на свои политические

расхождения, составляли единое целое, все четверо были кровными сынами Баварского плоскогорья, а он, адвокат-еврей, сидел среди них чужой, лишний, враждебный им. Он вдруг заметил, что его костюм испачкан и поношен, и ему стало не по себе. Он неловко поднялся и быстро вышел из зала. Из пивной по ту сторону площади доносились мощные звуки большого духового оркестра, с чувством исполнявшего старинную песню о зеленом Изаре и благообразном уюте. Глядя вслед Гейеру, удалявшемуся столь поспешно, точно он спасался бегством, кельнерша Ценци, хоть она и получила от него щедрые чаевые, подумала, что этот адвокат — препротивный тип и что вообще ему здесь не место. И заботливо подлила вина в стакан клюющему носом тайному советнику Каленеггеру.

Просторная контора Гейера, в которой обычно было полно снующих взад и вперед служащих и где неумолчно стучали пишущие машинки, сейчас, в этой воскресной тиши, казалась унылой и пустынной. Пахло бумагами, застоявшимся табачным дымом. Яркие солнечные лучи высвечивали каждую пылинку в голом помещении, светлыми бликами ложились на неубранный, усыпанный пеплом письменный стол. Гейер с тяжким вздохом достал объемистую рукопись, закурил сигару. Озаренный солнцем, Гейер казался стариком, на его тонкой, бледно-розовой коже особенно четко обозначились морщины. Он писал, фиксировал события, уточнял цифры и даты, подтверждал документами бесконечную цепь беззаконий, творимых на земле Баварии в исследуемый им период. Писал, курил, потом сигара потухла, а он все продолжал писать. Сухо, объективно, упорно, безнадежно.

10
ХУДОЖНИК АЛОНСО КАНО (1601—1667)

В это самое время Мартин Крюгер сидел в камере 134. Перед ним стояла на столе хорошая репродукция автопортрета испанского художника Алонсо Кано, хранящегося в Кадисском музее. Об этом автопортрете нетрудно было написать несколько броских фраз. Беспечный идеализм Алонсо Кано, его привлекательный талант, облегчавший ему работу настолько, что он из лени никогда не творил в полную меру своих возможностей, невесомая, пустая декоративность — было бы заманчиво показать, как все это отразилось в чертах выхоленного, изящного,

очень выразительного лица. Но фразы выходили из-под пера Крюгера чересчур гладкими и легковесными. Автопортрет сковывал его, мешал ему сосредоточиться и найти в себе силы для серьезного суждения о художнике и его творчестве.

Тесная камера, освещенная яркими солнечными лучами, выглядела в тот день особенно голой и убогой. Мартин Крюгер вспомнил город Кадис на фоне моря — четкое, белое пятно в палящих лучах солнца. Он чувствовал себя совсем неплохо, но не было в нем окрыленности, душевного подъема. Стол, стул, откинутая койка, белая параша, и среди всего этого — изящное лицо художника Алонсо Кано, денди с холеной, белокурой бородкой на декоративном фоне цвета ржавчины. У Крюгера мелькнула мысль, что, собственно, безразлично, на каком фоне все происходит: на фоне ли серой камеры, на фоне живописного портрета или на фоне безликих фраз, которые он сейчас пишет.

В камеру впустили Каспара Прекля. Молодой инженер бросил неодобрительный взгляд на автопортрет художника, его глубоко запавшие глаза гневно блеснули. Он ценил умение Крюгера проникновенно передать впечатления и чувства, вызванные в нем картиной, но был убежден, что его талантливый друг идет по ложному пути. Он, Каспар Прекль, считал, что задача искусствоведения в нашу эпоху заключается совсем в ином. Под воздействием теорий последнего десятилетия, согласно которым в основе всех исторических событий лежит экономика, он был твердо убежден, что у искусствоведения одна цель — изучение роли искусства в социалистическом обществе. Марксизм, понятно, не мог достаточно ясно определить эту особую роль, ибо ему приходилось изучать более важные проблемы. Впервые со времени своего возникновения искусствоведение ожило, перестало быть сухим перечнем, и в ближайшее десятилетие ему надлежало в содружестве с общественно-политическими науками прокладывать дорогу искусству в пролетарском государстве. Он, молодой, беспокойный, полный деятельной любви к искусству человек, старался наставить на путь истинный своего друга, к которому был искренне привязан.

Увидев на столе у Крюгера автопортрет Алонсо Кано, он рассердился. Вначале ему было жаль Крюгера, на свою беду, угодившего в самый водоворот баварской политики. Но потом он почти обрадовался этому: он надеялся, что тот, на собственном опыте испытав все прелести царящих в государстве порядков, наконец очнется, избавится от своего барства и пойдет по тому же пути, что и Прекль. Он хмуро глядел на автопортрет глубоко запавшими на худом, скуластом и небритом лице глазами.

Все же он промолчал и сразу перешел к изложению цели своего визита. Владелец «Баварских автомобильных заводов», где служит Прекль, барон Рейндль — пренеприятный субъект, но он интересуется живописью. Рейндль пользуется большим влиянием. Быть может, ему, Преклю, удастся уговорить своего хозяина вмешаться в дело Крюгера. Сам Крюгер не слишком надеялся на успех этой затеи. Он знал г-на фон Рейндля, и у него сложилось впечатление, что барон его не выносит. Немного спустя, как это часто случалось и прежде, друзья отклонились от первоначальной темы разговора и увлеклись спором о перспективах и действительном положении искусства в большевистском государстве. Когда время свидания истекло, Каспар Прекль вспомнил о своем предложении, и они наспех, в какие-нибудь две минуты, обсудили, какие шаги Преклю следует предпринять, чтобы помочь Крюгеру.

Расставшись с молодым инженером, Крюгер ощутил необычайный прилив сил и энергии. Он порывисто смел со стола репродукцию. Затем набросал на бумаге мысли, возникшие у него после разговора с Преклем. Разумеется, самые интересные соображения пришли ему на ум лишь теперь, задним числом. Он улыбнулся: то был хороший признак. Теперь он писал так живо, смело и убедительно, как ему редко удавалось прежде. Работа до того захватила его, что только приход надзирателя, принесшего ужин, снова напомнил ему, где он находится.

11
МИНИСТР ЮСТИЦИИ ЕДЕТ ПО СТРАНЕ

В тот же воскресный день министр Отто Кленк отправился в горы по зеленовато-желтым отрогам Баварских Альп. Человек солидный, он ехал не чрезмерно быстро. Дорога почти не пылила, легкий встречный ветерок приятно холодил лицо. Машина углубилась в густой лес. Кленк, одетый в грубошерстный костюм горца, самозабвенно наслаждался ездой.

Он расслабился, его кирпично-красное лицо утратило напряженное выражение. Попыхивая трубкой, он с необычной для этих мест свободной небрежностью вел машину. Как прекрасен здешний край! В чистом, живительном воздухе все предметы вокруг обозначились зримо и рельефно. Как чудесно вдыхать полной грудью этот живительный воздух, не думать ни о чем докучном, целый день извилистыми тропами бродить по горам,

дорожа каждым глотком воздуха. А ветер, снег и солнце дубят кожу и закаляют душу. Кленк распорядился, чтобы его ждал егерь: он обойдет свои охотничьи угодья. Он заранее радовался простой еде, которую приготовит для него Вероника. Кстати, надо будет как-нибудь при случае поинтересоваться делами Симона, их с Вероникой сына, которого он пристроил в Аллертсхаузенский банк. Этот сопляк доставлял окружающим немало хлопот. Ему, Кленку, это нравилось. Вероника — покладистая бабенка, не лезет к нему с разговорами насчет парня. И вообще все неплохо устроилось. Жена, жалкая, ссохшаяся коза, нисколько ему не мешает, она рада уже и тому, что он иногда приласкает ее из милости.

Автомобиль скользил вдоль живописного, вытянутого в длину озера. Холмистые берега, за ними мягкие очертания гор.

Его обогнал роскошный туристский автомобиль. В нем ехала веселая компания весьма экзотического вида. Много иностранцев путешествует нынче по стране. Недавно он прочитал статью о том, будто расширяющиеся связи неизбежно вызовут своеобразное переселение народов: на смену малоподвижным, оседлым людям придут люди более легкие на подъем, настоящие кочевники. Назревает великое смешение рас и народов, оно уже началось.

Министр насмешливо и не без отвращения поглядел вслед машине этих пришлых. Он-то, к счастью, вряд ли доживет до этого распрекрасного времени. Лично он ничего не имеет против иностранцев. Вполне возможно, что, скажем, китайцы — представители более древней и зрелой культуры, чем баварцы. Но он предпочитает клецки и ливерные сосиски — запеченным плавникам акулы, и книги Лорснца Маттеи — книгам Ли Бо. Он не позволит, чтобы его поглотила чужая культура.

Внимание Кленка привлек ранее не замеченный им щит у обочины, каких немало поставлено вдоль баварских дорог в память тех, кто погиб в дорожной катастрофе, а также в назидание живым. Он остановил машину и стал с интересом разглядывать бесхитростный рисунок какого-то крестьянина, изобразившего во всех подробностях, как почтенный пятидесятичетырехлетний земледелец вместе с возом сена рухнул в пропасть. Написанные под рисунком нескладные стихи призывали путника помолиться о душе погибшего. Господь непременно сжалится над ним, потому что при жизни у него была такая жена, которая даже кабачок превращала в ад. Министр, ухмыляясь, прочел эти плутовато-грубые вирши, автор которых бесцеремонно торговался с богом за душу покойного.

Кленк испытывал глубокий, неподдельный интерес к подобным вещам. Как и многие его соотечественники, он занимался ими основательно и с большой любовью. Знал тьму курьезов из баварской истории и этнографии. Точно знал, например, почему его зовут Кленк, а не Гленк или Кленх, и мог часами вести с писателем Маттеи, лучшим знатоком этих вопросов, аргументированный спор о тончайших нюансах баварского диалекта.

Рядом с его машиной остановилась еще одна. Какой-то любопытный пялился на разрисованный щит с надписью, и явно не баварские уста с трудом выговаривали стишки, не понимая их смысла. Очевидно, приезжий из северной Германии. Скоро здесь вообще будет больше приезжих, чем местных. Гостиницы и бары для иностранцев уже и теперь изрядно потеснили дома коренных жителей. Надо будет как-нибудь поинтересоваться статистическими данными и проверить, сколько небаварцев поселилось тут со времен войны.

Кленк поехал дальше. Горделиво выпрямившись, он вел машину с еще большей скоростью. Внезапно вспомнил об адвокате докторе Гейере; мысленно представил себе его рыжеватые волосы, узкое, обтянутое тонкой кожей лицо, его пронзительный взгляд из-за толстых стекол очков, нервное подергивание рук, которое ему едва удается унять. В ушах звучал его резкий, неприятный голос. Кленк крепко сжал зубами мундштук трубки. Попадись ему в руки этот субъект, он стер бы его в порошок. ЛОГИКА, ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЕДИНСТВО, ДЕМОКРАТИЯ, ДВАДЦАТЫЙ ВЕК, ЕВРОПЕЙСКИЕ ВЗГЛЯДЫ: сплошная ерунда. Он злобно фыркнул, не разжимая губ, зарычал, словно разъяренный зверь при виде врага. Много ли смыслит этот выскочка, этот назойливый тип, карьерист, эта еврейская свинья в том, что нужно Баварии, что в ней хорошо и что ей полезно? Его никто сюда не звал. Здесь никто не нуждается в его нравоучениях. Когда такой баран суется со своей тупой мордой, куда не следует, то ничего путного не получается.

Но вскоре под высоким, светлым небом Баварии гнев его испарился. Министр Кленк,— человек умный, широко образованный, знающий. Превосходный юрист из старинной, состоятельной семьи с давними культурными традициями, много веков подряд поставлявшей государству крупных чиновников, великолепно знавший людей со всеми их слабостями, он, конечно, мог бы, если б только пожелал, по достоинству оценить Гейера. Но вот желания-то у него как раз и не было.

Он добрался до южного края вытянутого в длину озера. Горы были прекрасны, их зеленые и голубые контуры четко обрисовывались в вышине. Погода стояла чудесная, просто идеальная для езды. Он прибавил скорость. Свободно, без малейшего напряжения сидел он за рулем, и мысли его, под стать живописному, яркому пейзажу, были живописно пестрыми, словно красочные детские игрушки.

Воспринимаешь ты красоту картины либо не воспринимаешь,— незачем столько рассусоливать, как это делает Крюгер. А все-таки у Крюгера светлая голова. Надо же было этому олуху забраться в лабиринт баварской политики. Надо же ему было лезть на рожон. Неужели этот дурень не мог держать язык за зубами? Кто его просил соваться? Нет уж, друг любезный, там, где речь идет о наших баварских делах, мы не церемонимся.

Конечно, этот горлопан Флаухер — осел. Просто позор, что в состав кабинета входят одни дураки. А ведь есть и подходящие люди, он мог бы назвать три-четыре имени. Почему среди его коллег нет таких людей, как, скажем, утонченный аристократ, старый граф Ротенкамп? Осторожный, предусмотрительный, он укрылся в своем замке в Химгау, время от времени наведывается в Рим, где ведет закулисные политические переговоры с папскими дипломатами, а иногда навещает в Берхтесгадене кронпринца Максимилиана. Почему позволяют оставаться в тени Рейндлю, хозяину «Баварских автомобильных заводов», который благодаря своим связям с концернами Рура фактически контролирует всю промышленность Баварии? Не говоря уже о лидере крестьянской партии, докторе Бихлере,— ведь этот старый, хитрый лис, о чем его ни спроси, ничего не знает, ни к чему не причастен, никогда ни о чем не говорил. Но горе министру или депутату, рискнувшему что-либо сказать или сделать без его ведома. Еще бы, эти бонзы предпочитают действовать незаметно, из-за кулис, а ответственность должны брать на себя другие, честные, но довольно ограниченные и, разумеется, не слишком самостоятельные люди.

А вот и поместье Тони Ридлера. Этот тоже отошел от государственных дел. В бытность свою баварским дипломатом он кутил напропалую, затем во время войны и после нее изрядно разбогател и продолжал и дальше приумножать свои капиталы. Теперь он и вовсе разжирел, недавно обзавелся третьим автомобилем, отличной машиной итальянской марки, наплодил целую кучу внебрачных детей. Забавы ради создал несколько нелегальных союзов, так что ему, Кленку, иной раз нелегко бывает делать вид, будто он ничего не замечает. Определенно, мы в на-

шей клерикальной Южной Баварии, пожалуй, перебарщиваем с внебрачными детьми, их у нас в процентном отношении больше, чем где бы то ни было в Центральной Европе. Да, не повезло бедняге Крюгеру: сесть в тюрьму из-за того, что ты переспал с женщиной. Мерзкая это работа — делать в Баварии официальную политику. Тем, кто в действительности делает ее,— только тайно,— куда легче. Судя по последним статистическим данным, число тяжких преступлений и даже убийств к югу от Дуная выше, чем в любом другом районе Германии. Хороши мы, нечего сказать: цифры преступности у нас такие, что всех за пояс заткнем. Мы народ боевой, этого отрицать нельзя.

Гоп-ля! Он чуть было не наехал на велосипедиста. Стрелка спидометра застыла на цифре девяносто.

— Лучше зенки протри, осел, дохлая мартышка! — смачно по-баварски выругался он в ответ на вопли испуганного велосипедиста. Приятнее всего иметь дело с собаками. А велосипедисты — самый глупый народ на свете. Он улыбнулся, вспомнив, что из всех немецких городов самый большой процент велосипедистов в Мюнхене. С какой бы радостью и треском оппозиционная печать принялась бы его травить, задави он по неосторожности одного из этих велосипедистов.

Зря он не захватил с собой нового издания «Философии права». Сидя в засаде, он любил читать, особенно его интересовали вопросы философии права. Он хорошо разбирался в сложных проблемах гетерономии и автономии, законности и морали, теории естественного и договорного права. Нередко он поражал парламентариев всеми давно забытой, меткой цитатой. Он может позволить себе роскошь интересоваться теоретическими проблемами. Это весьма любопытное занятие. «И-де-о-ло-ги-че-ская надстройка» — с усмешкой произносит он, смакуя каждый слог. Смешно! Он прибавил скорость. Теории теориями, а вот он, Кленк,— законодатель, одного его слова довольно, чтобы, согласно известному изречению, целые библиотеки превратились в груды устаревшего книжного хлама.

Мерзкая все-таки физиономия у этого Гейера. Отвратный тип, надутый индюк. Истерик, возомнивший себя великим умником. С Тони Ридлером он тоже когда-нибудь схлестнется. Спеси у того хоть отбавляй. Да, философия права. Обширная сфера деятельности. Нет, его, Кленка, не интересует, что́ справедливо и что́ несправедливо. Его долг уберечь страну и народ от любых вредоносных влияний. Он поступает так же, как ветеринар, принимающий необходимые меры против эпидемии ящура.

Ветер усилился. Сразу после обеда он с егерем Алоисом отправится к охотничьему домику. Он прибавил скорость, снял шапку, подставив порядком облысевшую голову встречному ветру. С трубкой в зубах, предвкушая вкусный обед, довольный собой, всегда на страже интересов родины, министр Кленк едет по стране.

12
ПИСЬМА С ТОГО СВЕТА

На следующий день прокурор нанес решительный удар, потребовав оглашения ряда документов, оставшихся после смерти Анны Элизабет Гайдер. Они сразу же после ее самоубийства были опечатаны властями, и ознакомиться с ними смогли лишь члены суда.

Зачитывал документы чиновник судебной канцелярии. Это были отрывки из дневника и неотправленные письма. Из опасения, что чиновник при чтении не разберется в скверном почерке покойной, имевшей привычку писать на отдельных листках фиолетовыми чернилами и очень тонким пером, все эти послания были аккуратно перепечатаны на машинке. Из уст секретаря, из его совсем еще юных, благодушных уст, над которыми, с наивной претензией на лихость, топорщились усики, услышали судьи, присяжные заседатели, журналисты, публика, доктор Гейер, услышал впервые и сам Крюгер выплеснувшиеся в смятении из глубины души и обращенные к нему слова. Секретарь суда, чтобы публично не оскандалиться, заранее прочитал все эти письма. Но в них говорилось о совершенно необычных для него вещах, к тому же общее внимание хотя и льстило ему, но одновременно сковывало, и он читал, запинался, потел, часто откашливался, а в трудных местах невольно переходил на диалект. Крюгеру, впервые услышавшему в такой неподходящей обстановке, из этих чужих уст, обращенные к нему, полные страстной тоски слова, было мучительно трудно сохранить на лице бесстрастное выражение.

Из множества бумаг прокурор отобрал две выдержки из дневника и одно неоконченное письмо. Стиль его был столь же безотраден, как стиль ее живописи. Бесстыдно, подробно, предельно откровенно рассказывала она о том, как на нее действует малейшее прикосновение Крюгера: его рук, губ, тела. В словах таился и пламень страсти, и религиозная экзальтация, порожденная, вероятно, ее монастырским воспитанием. И все это было исполнено мрачной, то загнанной внутрь, то вновь прорывавшейся чувственности. Необычные слова, вопли заточенного в клетке

зверя. Непостижимые, иногда звучавшие в устах секретаря почти комично. Во всяком случае, эти признания звучали совсем не так, как если бы речь шла о чисто дружеских отношениях.

Публика в зале разглядывала руки Крюгера, о которых столько говорилось в дневнике, его губы, его самого. Неловкость, охватившая вначале кое-кого в зале, оттого что интимные признания умершей в присутствии множества людей, при ярком свете ламп, с величайшим бесстыдством были брошены обвиняемому в лицо, уступила место общему возбуждению. Точно так же, как зрители следят за боксером, обессилевшим в последнем раунде под градом неотразимых ударов противника, стараясь угадать, устоит ли он на ногах,— так публика ждала, рухнет ли Крюгер под тяжестью этих писем. Адвокат доктор Гейер, не сводивший голубых глаз с секретаря, сидел, плотно сжав губы, и его застывшее в неимоверном напряжении лицо то и дело покрывалось красными пятнами. Он проклинал поэтически страстные признания покойной, позволявшие любому противнику истолковать их, как ему вздумается. Он не мог не видеть, что они производят на суд, на публику и на журналистов сильное впечатление. Прокурор не промахнулся: пуля попала прямо в цель, это бесспорно. По выражению лиц даже доброжелательно настроенных людей было видно, что уверенность в предосудительности отношений Мартина Крюгера с покойной крепла с каждым словом.

В заключение прокурор предложил зачитать письмо Анны Гайдер, начатое, но так и не отправленное ею. Все ее тело — бушующее пламя, когда рядом нет его, Мартина; она в такие дни бегает под дождем, ей нечем дышать. Ее картины заброшены, а она долгими часами простаивает под окнами его дома и перед музсем. Она понимает, что он не испытывает того религиозного экстаза, не жаждет ее с такой необузданной страстью, с какой жаждет его она. Но она сможет дышать, лишь сгорев в его огне. Когда она слышит его шаги на лестнице, у нее подгибаются колени. Однако проходит бесконечно много дней, прежде чем он появляется. Она заставляет себя работать, но у нее все валится из рук, тоска и страстное желание отгоняют прочь все образы. Разбитая, с пересохшими губами и горячими руками, сидит она, и нет на свете ничего, кроме ее страшной тоски и безмерного смятения, да еще голоса надворной советницы, требующей денег.

Все это при напряженном внимании публики было прочитано вслух секретарем Иоганном Гутмюллером в судебном зале номер три Дворца Правосудия. Некоторые дамы сидели с глупо-

ватым выражением лица, мило приоткрыв рот, другие слушали, тяжело дыша, смущенные тем, что женщина могла писать мужчине подобные вещи. Женщины и раньше подолгу и охотно разглядывали Мартина Крюгера. Но никогда еще так много женских глаз столь пристально не изучали его, как в тот день пятого июня.

Председатель суда, доктор Гартль, улыбался философски печальной улыбкой. Письма покойной,— находил он,— очень характерны, это настоящий обличительный документ. Таковы они все, эти чужаки. У них нет морального стержня, нет гордости. Позволяют себе невесть что. Открыто болтают обо всем, что им взбредет на ум,— никакого стыда, никакой сдержанности. А что в итоге? В итоге — смятение чувств, тоска, отвернутый газовый кран и возбуждающая, непристойная картина. Доктор Гартль ловко направлял чтение в нужное русло, любезно помог секретарю разобраться в двух-трех трудных выражениях, а когда в тот жаркий день на улице повеял ветерок, распорядился открыть окно.

Прокурор упивался каждым словом письма: вытянув шею и наклонив голову с оттопыренными ушами, поросшими редкими волосками, стараясь не проронить ни звука, он втайне ликовал, видя, какой эффект производит чтение письма.

На скамье присяжных все пятеро слушали с огромным вниманием. Антиквар Каэтан Лехнер ошеломленно, с глуповатым видом смотрел секретарю прямо в рот; поглаживая бачки, он теперь лишь изредка, почти машинально, доставал клетчатый носовой платок. Он думал о дочери Анни и о ее связи с этим мерзким типом, Каспаром Преклем. Просто невероятно, до каких глупостей может додуматься эта девчонка. Правда, представив себе свежее, пышущее здоровьем лицо своей Анни, он подумал, что она вряд ли способна насочинять такую ерунду. С другой стороны, разве мыслимо заранее предугадать, до чего можно дойти, если свяжешься с чужаком. Воистину, век живи — век учись. С трудом вертя головой на зобастой шее, он с отвращением глядел на Мартина Крюгера водянистыми голубыми глазками. Учитель гимназии Фейхтингер и почтальон Кортези, соображавшие хуже других, тем не менее уразумели, что речь идет о чем-то грязном, непристойном, явно уличавшем Крюгера в лжесвидетельстве. Придворный поставщик Дирмозер, хотя мысли его были заняты делами перчаточного магазина и болезнью ребенка, все же прислушивался к чтению и удивлялся, сколько, оказывается, мудреных слов можно сказать о той простой вещи, которая произошла между Крюгером и Анной Гай-

дер. Если уж они столько болтали, прежде чем лечь в постель, то нетрудно себе представить, сколько бы они наговорили лишнего, доведись им заняться таким тонким делом, как продажа перчаток. Особенно живо следил за чтением страховой агент фон Дельмайер. На его бледных губах играла ироническая улыбка эдакого бонвивана, он презрительно щурил водянистые глаза и беспрестанно разражался резким, блеющим, каким-то дурацким смехом. Гейер же всякий раз бросал на него взгляд, полный гадливости.

И, наконец, со скамьи присяжных пристально глядел на Мартина Крюгера карими с поволокой глазами коммерции советник Пауль Гесрейтер. Человек обходительный, он хоть и ворчал изредка, все же был вполне доволен людьми, миром и всем порядком вещей, а прежде всего своим родным Мюнхеном. Но это уж слишком! Крюгер — господин не столь уж симпатичный, однако преследовать человека любовными письмами с того света — просто неприлично. Лицо Пауля Гесрейтера утратило обычное выражение флегматичной терпимости, привычной, все маскирующей любезности, он напряженно и досадливо наморщил лоб и вдруг задышал так тяжело, что сосед удивленно посмотрел на него, решив, что тот задремал и вот-вот захрапит. Быть может, коммерции советник Гесрейтер думал сейчас о том, как немыслимо трудно расторгнуть брак, особенно в их клерикальном Мюнхене. Быть может, он думал и о том, что буквально каждый мужчина оказывается перед необходимостью под присягой давать ложные показания, будто он не состоит в связи с такой-то и такой-то женщиной; ему самому уже пришлось это делать дважды.

Между тем секретарь продолжал зачитывать длинное письмо покойной девицы Анны Элизабет Гайдер, написанное ею в ночь с шестнадцатого на семнадцатое октября в нетопленном ателье, окоченевшими пальцами, «перебиравшими клавиши сердца», и столь необычным путем, слишком поздно дошедшее до адресата.

13

ГОЛОС С ТОГО СВЕТА И МНОЖЕСТВО УШЕЙ

Газетные отчеты о дневниковых записях покойной девицы Анны Гайдер отличались яркостью красок, а само оглашение этих записей характеризовалось как сенсационный поворот в ходе судебного процесса. Бойкие репортеры подробно описывали, какое тягостное впечатление произвело на присутствую-

щих мистическое, загробное объяснение в любви, при свете дня и при большом стечении народа, увы, слишком поздно дошедшее до адресата и к тому же грозившее ему тюрьмой. Многие выдержки из дневника и из писем приводились дословно, а некоторые были набраны жирным шрифтом.

Эти отчеты читали жители города Мюнхена, широкоплечие, круглоголовые мужчины, медлительные в движениях, жестах и мыслях; уверенные в себе, они ухмыляясь, с наслаждением, неторопливо и обстоятельно тянули из серых глиняных кружек крепкое пиво, хлопали по ляжкам кельнерш. Читали этот отчет и пожилые женщины, приходившие к заключению, что в прежние времена такого бесстыдства не было, читали его и молодые девушки, прерывисто дыша и чувствуя, как слабеют их колени. Летним вечером, возвращаясь со службы или с работы на империалах автобусов, несшихся по раскаленному асфальту, либо прижатые друг к другу в длинных вагонах метро, уцепившись за поручни, эти отчеты читали и жители города Берлина, безмерно уставшие, разомлевшие, захваченные странно наивными и одновременно бесстыдными словами умершей, не переставая, однако, поглядывать на плечи, грудь и шею женщин, весьма обнаженных по моде того времени. Читали их и совсем еще юные мальчишки, четырнадцати- и пятнадцатилетние подростки, завидуя тому, к кому были обращены эти слова, досадуя на свою молодость и возбужденно рисуя себе то время, когда и они будут получать такие письма.

Читал этот отчет и министр просвещения и вероисповеданий Флаухер, сидя в своей душной квартире с низкими потолками, заставленной старой, обитой плюшем мебелью. На такую удачу он и не рассчитывал. Чрезвычайно довольный, он даже замурлыкал какую-то песенку, так что такса Вальдман удивленно подняла голову. Читал его и профессор фон Остернахер, известный художник, которого Крюгер как-то назвал «декоратором». Он улыбнулся и снова с удвоенной энергией принялся за работу, хотя не собирался больше писать в тот вечер. Оценку, которую дал ему Крюгер, он считал теперь опровергнутой раз и навсегда. Читал этот отчет и писатель Лоренц Маттеи, не имевший себе равных в изображении истинных баварцев; его мясистое, по-бульдожьи злое лицо стало еще злее, а шрамы от сабельных ударов, полученных в студенческие годы, стали еще более багровыми. Он снял пенсне, за которым прятались недобрые глазки, тщательно протер его и вновь без особого удовольствия перечитал этот отчет. Возможно, ему вспомнились балы-маскарады, на которых он, тогда еще молодой адвокат, часто бы-

вал, быть может, всплыло в памяти лицо молодой девушки-фотографа, писавшей в том же стиле, что и Анна Гайдер, и потом бесследно исчезнувшей. Достоверно лишь одно — он поудобнее уселся за письменный стол и сочинил покойной художнице грубую, ядовитую эпитафию, наподобие тех надписей, какие можно увидеть в горах Баварии на щитах у дорожных обочин. Он откинулся назад, перечитал стихи и остался ими доволен. Да, Мартин Крюгер дал тонкий, импульсивный анализ творчества Анны Элизабет Гайдер; но его, Маттеи, стихи безыскусны, и в них заключена сила молотильных цепов. Он осклабился: суждения Крюгера забудутся, а его стихи станут окончательной эпитафией умершей.

Супруга придворного поставщика Дирмозера, прочитав отчет, испытала горькую обиду. Ее муж слушает всю эту похабщину, а ей из-за этого приходится торчать в филиале магазина на Терезиенштрассе, оставив без присмотра малыша, двухлетнего Пепи. Без ее мужа, видно, не обойтись! Без него баварское государство, верно, развалится. Она долго еще бранилась, то и дело озабоченно заглядывая к маленькому Пепи, который не переставая вопил до тех пор, пока она, вопреки запрету врача, сжалившись, не влила в рот этому негоднику теплое питье — смесь молока с пивом.

Красивое, без единой морщинки лицо кассирши Ценци, когда она в «Тирольском кабачке» прочла отчет, наоборот, стало задумчивым, как это иногда случалось с ней в кино, и она на несколько минут поручила заботу о посетителях своей помощнице Рези. Ценци хорошо знала Мартина Крюгера; симпатичный, веселый господин, нередко откровенно заигрывавший с ней. Нехорошо печатать в газете всю эту ерунду, которую ему писала покойная девушка. Это очень неприличные письма, о таких вещах писать не положено. И все же некоторые выражения произвели на Ценци сильное впечатление. Там, в большом зале, часто бывал один молодой человек, некто Бенно Лехнер, сын антиквара Лехнера: семейное положение — холост, профессия — электромонтер на «Баварских автомобильных заводах». Но, очевидно, он там долго не продержится, он вообще нигде долго не задерживается: у него дерзкий, непокорный нрав. И чему тут удивляться, если он целыми днями пропадает у этого чужака, этого отвратительного типа Каспара Прекля. В тюрьме он тоже успел побывать, этот Бени, правда, по политическому делу. Но тюрьма есть тюрьма. И все же, несмотря на все очевидные изъяны, он ей очень нравится, и просто свинство, что он уделяет ей так мало внимания. Вот уже три года прошло, как ее

повысили, сделали старшей кельнершей и кассиршей и дали в помощницы Рези, которой она может командовать. Многие посетители большого зала и более дорогого, бокового, очень даже хотели бы проводить с ней время. Завидные кавалеры. Она ими вертит, как хочет. Однако Ценци сберегает немногие свободные вечера для электромонтера Бенно Лехнера. А тот еще задирает нос, хоть он всего-навсего сын захудалого старьевщика, и заставляет себя долго упрашивать, прежде чем соглашается провести с нею вечер. Горе с ним, да и только. Но у него есть эдакая возвышенность в мыслях, он романтик и большой фантазер, возможно, при случае удастся в разговоре с ним вставить какое-нибудь из выражений покойной художницы. Ценци аккуратно вырезала из газеты отчет и подклеила его в свой альбом для стихов, пестревший наряду с изречениями ее родных и друзей также сентенциями и автографами наиболее знаменитых людей из числа посетителей «Тирольского кабачка».

С легким отвращением, но и с чувством удовлетворения прочитал отчет и граф Ротенкамп, тот самый, что тихо сидел в своем горном замке в юго-восточном уголке Баварии и часто наезжал в Рим, Ватикан и Берхтесгаден к кронпринцу Максимилиану, самый богатый человек к югу от Дуная, осторожный, избегавший всяких официальных выступлений и, однако же, имевший огромное влияние на правящую клерикальную партию. Даже кронпринц Максимилиан прочитал этот отчет. Прочитал его и барон Рейндль, генеральный директор «Баварских автомобильных заводов», прозванный «Пятым евангелистом», безраздельно хозяйничавший в баварской промышленности благодаря своим связям с концернами Рура. Он просмотрел отчет бегло, без особого интереса. На мгновение у него мелькнула мысль позвонить главному редактору «Генеральанцейгера». Финансовое благополучие газеты целиком зависело от Рейндля, и одного его слова было бы достаточно, чтобы отчету о процессе была придана совершенно иная окраска. Один из его инженеров, некий Каспар Прекль, прелюбопытный субъект и чрезвычайно способный человек, с дерзкой беспомощностью уговаривал его, Рейндля, вступиться за Крюгера. Вероятно, он бы и вступился за него. Но вспомнил, что однажды за его спиной этот самый Крюгер назвал его «трехгрошовым Медичи». Он, барон Рейндль, конечно, не злопамятен. Но, разумеется, он и не «трехгрошовый Медичи». Разве не благодаря его щедрости музей смог приобрести картину «Иосиф и его братья»? Со стороны Крюгера подобный отзыв был явной дерзостью, и уж, во всяком случае, теперь подтвердилось, что он был человеком недальновидным. Барон

Рейндль внимательнее перечитал отчет, при этом его одутловатое лицо выражало наслаждение истинного гурмана. В редакцию «Генеральанцейгера» он не позвонил.

Отчет прочли и писатель-оптимист Пфистерер, и экономка Агнесса, и владелец картинной галереи Новодный. С восторгом и гордостью за своего доблестного папашу прочел его сын шофера Ратценбергера, Людвиг. Но его не прочел самый могущественный из пяти негласных правителей Баварии доктор Бихлер. Ибо он был слеп. В то утро он сидел в одной из больших, низких, затхлых комнат своего старинного нижнебаварского помещичьего дома, который его предки с незапамятных времен строили, ремонтировали и вновь перестраивали. Он сидел мрачный, плохо выбритый и что-то ворчал, шевеля узловатыми иссиня-красными руками. Тайный советник из министерства земледелия робко пытался привлечь его внимание к своей персоне. Тут же рядом стоял с газетами в руках личный секретарь Бихлера, готовый приступить к чтению вслух. А грузный, неповоротливый человек извергал какие-то обрывки фраз. Секретарю показалось, что он назвал имя Крюгера, и он начал читать отчет о процессе. Доктор Бихлер поднялся; секретарь хотел ему помочь, но Бихлер раздраженно оттолкнул его и ощупью побрел через анфиладу комнат. Тайный советник и секретарь последовали за ним в надежде, что он согласится их выслушать.

14
СВИДЕТЕЛЬНИЦА КРАЙН И ЕЕ ПАМЯТЬ

Свидетельница Иоганна Крайн читала судебный отчет с таким напряжением, что ее рот приоткрылся, обнажив крепкие зубы. Она морщила высокий лоб, обрамленный темными волосами, которые она, вопреки моде тех лет, зачесывала назад и собирала на затылке в узел. Нервно хрустя пальцами крепких, грубоватых рук и сердито фыркая, она упругой, спортивной походкой несколько раз прошлась по комнате, достаточно просторной и все же слишком тесной для ее стремительного шага. Затем подошла к телефону, после нескольких неудачных попыток дозвонилась в контору доктора Гейера и узнала, что там его нет, как она, впрочем, и предполагала заранее.

От досады ее лицо с волевым ртом и решительными серыми глазами так исказилось, что на миг стало почти безобразным. Брезгливо морща губы, она снова пробежала глазами отчет.

На газетном листе еще не просохла типографская краска, и от него исходил резкий запах. Не говоря уже о неприятном чувстве личной причастности ко всей этой истории, удушливая страсть, заключенная в каждом слове умершей, вызывала у нее отвращение. Мартину не следовало так много заниматься этой Гайдер. Разве не противно быть адресатом подобных писем?

Она хорошо помнила эту Гайдер, помнила, как та однажды вместе с ней и Мартином сидела за столиком в «Минерве», небольшом танцевальном зале Латинского квартала, сидела, вся съежившись, посасывая через соломинку коктейль, и как потом во время танца она, словно позабыв обо всем на свете, безвольно повисла на руке Мартина. Как-то Мартин спросил, не сделает ли она для Анны графологический анализ. Эти анализы — в то время они еще не стали ее профессией — пользовались успехом среди ее друзей, и ее буквально замучили просьбами. Но Гайдер поспешно, прямо-таки невежливо отказалась. Быть может, она просто боялась. «Людские свойства — как текучая вода,— объяснила она.— При разных обстоятельствах и в отношениях с разными людьми человек бывает совершенно иным». Она не хочет, чтобы ей приписали раз навсегда определенные свойства характера.

Иоганна продолжала мерить шагами комнату, просторную, оклеенную светлыми обоями, обставленную удобной, практичной мебелью. Убранство комнаты составляли книжные полки, графологический аппарат, необъятный письменный стол и пишущая машинка. В зеркале отражались то светлый Изар, то бульвар, то широкая набережная. Нет, они с Анной не понравились друг другу. Гайдер, со свойственной ей прилипчивостью, чуть ли не силой навязала Мартину свою дружбу, и добром все это кончиться не могло. Ей, Иоганне, давно следовало предостеречь Мартина. Наверно, и для него эти дружеские отношения, с самого начала неестественные, стали со временем тяжкой обузой, но он вечно нуждался в подсказке. Он и тут старался избежать сцен, как всегда старался избегать всяких неприятностей. Это, безусловно, и было единственной причиной, почему он не порывал с Гайдер.

Но что толку теперь досадовать. Все это уже в прошлом. Единственное, что остается сейчас — это ждать, пока она сможет поговорить с доктором Гейером.

Ох, ведь ей нынче вечером надо сделать графологический анализ одного женского почерка! Номер двести сорок семь. Да, да. Она сейчас же сядет за работу, а через полчаса снова попытается дозвониться Гейеру. Иоганна берет со стола газету и ак-

куратно подкладывает ее к другим, уже прочитанным. Вынимает образец почерка двести сорок семь и вставляет в небольшой, похожий на пюпитр графологический аппарат. Задергивает шторы, включает лампу с рефлектором, и теперь буквы с почти пластической четкостью выступают на светлом фоне бумаги. Затем принимается дробить линии почерка в соответствии с тонкими методами анализа, которым ее учили. Однако она понимает, что таким образом не сумеет по почерку четко уяснить себе характер человека. Да она и не пытается сосредоточиться как следует.

Нет, она вовсе не обязана была тогда ограждать Мартина от этой Гайдер. Она ему не нянька. И вообще глупо пытаться изменить человека — пытаться сделать его другим. Прежде чем связать свою судьбу с мужчиной, надо сначала до конца понять, что он собой представляет. Жаль все-таки, что у Мартина никак невозможно добраться до твердого костяка. Лучше всего он чувствует себя в полумраке. Только тогда он раскрывается. В своей откровенности он доходит до того,— ей это особенно не нравилось,— что первому встречному готов рассказать о самом сокровенном. Его можно разобрать по листикам, как луковицу, но так и не добраться до сердцевины. Как бы ни усложнялись обстоятельства, он все откладывал и откладывал решение: ведь рано или поздно все устроится само собой, так стоит ли ломать голову над всеми этими запутанными проблемами?

За дверью послышались тяжелые шаги ее тетушки, Франциски Аметсридер, которая жила с ней и вела хозяйство. Тетушка, как всегда, не удержится, конечно, от весьма категоричных суждений о процессе и от сильных выражений по адресу «этого Крюгера». Обычно Иоганна не обижалась на добродушно-ворчливые замечания тетушки Аметсридер и в ответ к взаимному удовольствию дружески подтрунивала над ней. Но сегодня она не была расположена обмениваться с тетушкой нравственными оценками и впечатлениями. Через закрытую дверь она звенящим голосом резко ответила, что ей надо работать, и тетушка удалилась, разгневанная и оскорбленная.

Иоганна снова попыталась сосредоточиться на графологическом анализе. Она обещала закончить его в тот вечер, и ей не хотелось подводить клиентов. Но работа не клеилась.

Лучше всего им с Мартином было во время путешествий. Беззаботный, по-мальчишески веселый, он не уставал удивляться всему вокруг, бурно радовался каждому погожему дню, огорчался из-за неудобств в какой-нибудь захудалой гостинице. Ей вспоминались вечера, когда они, сидя в вестибюле какого-нибудь

отеля, вместе определяли по лицам приезжих их характер, профессию, судьбу. Мартин сочинял увлекательные, необычайно интересные биографии этих людей, по мельчайшим черточкам лица угадывал подробности их жизни. Но в целом его наблюдения очень часто бывали ошибочны. Просто удивительно, как человек, столь глубоко понимавший живопись, так плохо разбирался в людях.

Он, как никто другой, умел воспринимать искусство; преображенный, с величайшим трепетом, позабыв обо всем на свете, он упивался творениями художника,— видеть все это было радостно и прекрасно. Ей самой многие картины нравились, волновали ее до глубины души. Но когда человек, только что капризничавший, словно ребенок, внезапно откинув все личное ради искусства, мгновенно проникался благоговением — это чудо вновь и вновь потрясало ее.

Доктор Гейер, конечно, прав, считая, что в эти дни она не должна видеться с Мартином. Но это дается ей нелегко. С каким удовольствием она погладила бы его по пухлой щеке, подергала за густые брови. Она и этот тщеславный, жизнерадостный человек, франтоватый, темпераментный, живо воспринимающий искусство, подходят друг другу.

Она порывисто встала, подняла жалюзи, отложила в сторону графологический анализ. Невозможно сидеть вот так в бездействии и ждать. Она снова позвонила доктору Гейеру. На этот раз домой. В ответ раздался нервный, сиплый голос экономки Агнессы. Нет, она не знает, где сейчас доктор Гейер. Но раз уж фрейлейн Крайн позвонила, она очень просит ее все же поговорить с господином доктором. Ее, экономку, он совсем не слушает. Мука с ним, да и только. На себя у него никогда времени не хватает, он даже не замечает, что ест. Спит плохо. Одевается как попало, срам да и только! А из близких у него никого нет. Если фрейлейн ему скажет, может, он и прислушается к ее словам. А когда она, Агнесса, с ним об этом заговаривает, он тут же берет книгу или газету.

Иоганна в ответ неопределенно обещала ей поговорить с доктором Гейером. Все чего-то от нее требуют. А у нее, видит бог, есть сейчас заботы поважнее, чем костюм адвоката Гейера.

Но так было всегда, сколько она себя помнит. Когда у родных что-то не ладилось, они, как это ни странно, помощи ждали именно от нее; почему-то считалось само собой разумеющимся, что она все должна улаживать. Так повелось с раннего детства, когда отец с матерью после развода то и дело подбрасывали ее один другому. Отец, замкнутый, погруженный в работу, рассчи-

тывал, что она будет образцово вести хозяйство, а это было довольно сложно при его беспорядочном образе жизни, и всякий раз возмущался, когда что-нибудь не клеилось. Ей, тогда еще подростку, приходилось добиваться кредита у все новых поставщиков, заботиться об удобствах нежданных гостей и вести хозяйство, все время приноравливаясь к постоянно менявшимся финансовым возможностям отца. Когда же она жила у матери, на ее плечи ложились самые тяжелые и неприятные обязанности, ибо мать, обожавшая сплетничать с приятельницами за чашкой кофе, оставляла за собой право на нытье, а за дочерью — на работу. Позже, когда после смерти отца она окончательно рассорилась с матерью, вторично вышедшей замуж, буквально все друзья и знакомые считали себя вправе пользоваться ее, Иоганны, услугами и в самых невероятных случаях искали у нее совета и помощи.

И то, что сейчас, в истории с Крюгером, где ее помощь действительно нужна, она оказалась бессильной, приводило ее в ярость. Теперь она точно знала, что допустила ошибку, вовремя и энергично не вмешавшись в дела Мартина. Ее теория о праве каждого на полную самостоятельность, на которую нельзя посягать, пока тебя об этом не попросят, была лишь удобной отговоркой. Если ты связан с человеком так тесно, как она с Мартином, и знаешь, что он собой представляет, нельзя отказываться от ответственности за него.

Опираясь подбородком о маленькую, крепкую, грубоватую руку, она сидела за столом, вспоминая Мартина в те дни и часы, когда он вызывал у нее особенное восхищение. Однажды они были вместе в небольшом, тихом городке с превосходной картинной галереей, которую Мартин намеревался «разграбить» в пользу Мюнхенского музея. Как легко он убедил и обвел вокруг пальца недоверчивых провинциальных ученых, навязав им старую мазню, от которой давно хотел избавить Мюнхенский музей, и выманив у них самые лучшие картины. А когда после долгих словопрений стороны договорились произвести обмен, Мартин, себе и ей на потеху, еще нагло выставил условие, чтобы магистрат достойным образом отблагодарил его за труды, обогатившие фонд городской галереи, и устроил в его честь банкет. Опустив свое пышущее здоровьем лицо со вздернутым носом, она сидела, подперев рукой подбородок. Отчетливо видела перед собой плутоватую физиономию Мартина, который с комической важностью слушал утомительный тост, произносимый бургомистром в его честь.

Потом она мысленно перенеслась в Тироль, где тоже была с Мартином. Их соседом по купе был педантичный англосакс. Близоруко уткнувшись носом в путеводитель, он растерянно вертел головой и никак не мог разобраться, слева или справа находятся упомянутые в справочнике достопримечательности. Мартин, к удовольствию остальных пассажиров, с самым серьезным видом беспрестанно пичкал чудака неверными сведениями, остроумно и находчиво гася все его сомнения и убеждая его, что ничем не примечательные холмы — это знаменитые горные вершины, а крестьянские дворы — развалины замка. А когда поезд проезжал через какой-то городок, Мартин даже убедил иностранца, что статуя Пресвятой девы — памятник национальному герою.

Она помнит все, и помнит до мелочей. О да, все до самых мельчайших подробностей. Уважение к старым традициям, святость присяги, ответственность перед обществом и тому подобное — все это звучит прекрасно. Но она сыта подобными прописными истинами по горло и теперь тоже призовет на помощь свою хорошую память. Она точно помнит время — Мартин пришел к ней тогда в два часа ночи. Почему она это запомнила с такой точностью? Да потому, что вначале они собирались на следующее утро отправиться в горы. Но Мартин настаивал на том, чтобы пойти на вечеринку. Они тогда даже поссорились. А потом Мартин неожиданно явился к ней. Разбудил ее. Разве не естественно, что она взглянула на часы и точно запомнила время. Да, так оно и было, и все выглядит вполне убедительно. Если у шофера Ратценбергера есть основания так хорошо все запомнить, то у нее оснований ничуть не меньше. Именно так все и было. Так она и покажет на суде. Под присягой. И чем скорее, тем лучше.

Она не знает, спал ли Мартин с умершей. Едва ли. Она никогда не говорила с ним об этом, ее подобные вещи не интересуют. Но она твердо знает,— это подсказывает ей обыкновенный здравый смысл — человеку даже одну ночь трудно прожить под тяжестью таких обвинений, какими стали для Мартина письма и дневники Аппы Гайдер. Она начнет действовать. Будет бороться. Опровергнет показания Ратценбергера, опираясь на бесспорные свидетельства.

Она снова позвонила Гейеру и на сей раз застала его дома. Торопливо, решительным тоном сказала ему, что еще раз проверила свою память и теперь все точно вспомнила. Она хочет дать показания. Завтра. Как можно скорее. Доктор Гейер отве-

тил, что это не телефонный разговор и что он будет ждать ее через час у себя дома.

Еще целый час! Она пойдет пешком. Но и тогда в ее распоряжении остается много времени.

Если уж она не может увидеться с Мартином, то ведь у нее есть его письма. Она подошла к шкатулке, где хранились эти письма, множество писем из разных городов, написанных в самом разном настроении и при самых разных обстоятельствах. Мартин писал легко и свободно, как мало кто в ту эпоху предельно занятых людей. Письма были самые разнообразные. Одни — сухие, деловые, другие — по-юношески озорные, полные невероятных фантазий. А затем вдруг шли длинные, эмоциональные рассуждения о картинах, о проблемах искусствоведения, и все это излагалось хаотично, непоследовательно.

Вот они, его письма, которые она хранит педантично и бережно. «Уж не собирается ли она и их пронумеровать?» — спросил однажды Мартин, подтрунивая над ее страстью к порядку во всем. Она вынула один из листков, взглянула на торопливый, размашистый и, как ни странно, безвольный почерк. Но почти сразу отвела от него взгляд решительных серых глаз. И положила листок на место.

В своем неуютном кабинете доктор Гейер сухо обратил ее внимание на то, что в этой стране ее хорошая память вещь далеко не безопасная. К судебной ответственности за лжесвидетельство скорее привлекут ее, чем шофера Ратценбергера. Гладкое лицо Иоганны осталось спокойным, лишь над переносицей обозначились три морщинки. Она спросила его: почему он говорит это именно ей? Не думает ли он, что это ее испугает? Он сдержанно ответил, что считает своим долгом предупредить ее о возможных последствиях таких показаний. Она так же сдержанно поблагодарила его за добрые намерения и с улыбкой попрощалась.

Улыбаясь, она шла домой кружным путем через Английский сад. Немилосердно фальшивя, еле слышно, почти не разжимая губ, напевала мелодию из старинной оперы, повторяя все те же несколько тактов. Большой красивый парк был по-вечернему прохладен и тих. По аллеям бродили влюбленные. Пожилые люди, рано отужинав, наслаждались наступившей прохладой. Они сидели на скамейках, курили, болтали, невозмутимо читали подробные газетные отчеты о любви покойной чужачки к некоему Мартину Крюгеру.

15

ГОСПОДИН ГЕСРЕЙТЕР УЖИНАЕТ НА ШТАРНБЕРГСКОМ ОЗЕРЕ

По той самой дороге, по которой накануне проезжал министр Кленк, вечером следующего дня ехал коммерции советник Пауль Гесрейтер. Он ехал вместе со своей возлюбленной, Катариной фон Радольной: большую часть лета он обычно проводил в ее прекрасном поместье Луитпольдсбрун на берегу Штарнбергского озера.

Автомобиль вел Гесрейтер. Это была та самая американская машина, которую он приобрел три недели тому назад. После тягостного дня, проведенного в суде, было особенно приятно ехать в вечерней мгле, по широкой дороге, сквозь негустой лес. Свет фар выхватывал куски дороги и обступившие ее деревья. Гесрейтер ехал не особенно быстро, наслаждаясь наступившей прохладой и спокойной близостью Катарины. Из множества женщин, с которыми он, один из пяти жуиров Мюнхена, был в интимной связи, Катарина нравилась ему больше всех. Они не были женаты. Катарина соединяла в себе все достоинства любовницы и жены.

Сидя рядом, они вели неторопливую беседу, часто перемежавшуюся паузами. Разговор, разумеется, шел о процессе Крюгера. Гесрейтер заметил, что не слишком-то приятно участвовать в этом процессе в качестве присяжного, а отчасти — и судьи. Но все же перед Катариной старался разыгрывать из себя человека практичного, уверенного в себе циника. В конце концов все мы деловые люди; откажись он выполнить свой гражданский долг, вполне возможно, что многие влиятельные лица стали бы приобретать керамику у других поставщиков. К тому же и сама по себе история очень любопытна,— этого отрицать нельзя, взять хотя бы письма покойной Гайдер, зачитанные сегодня. Правда, они очень неаппетитны. Уму непостижимо, как мужчина мог иметь дело с такой изломанной истеричкой. И все-таки это бесспорно интересно. Кстати, почему Катарина не бывает на заседаниях суда? Он видел там г-жу фон Бальтазар, сестру барона Рейндля, актрису Клере Хольц.

Он сидел за рулем и плавно вел бесшумную, послушную машину. Ночь была чудесная. Они миновали городок Штарнберг. На берегу озера было много народу, но ночь гасила все звуки, и кругом царила тишина. Они ехали через лиственный лес и наблюдали, как по озеру плывет ярко освещенный пароход.

Нет, Катарина не испытывала ни малейшего желания бывать на заседаниях суда. Ее красивый звучный голос был полон той ленивой уверенности, которая всякий раз так волновала его. Она терпеть не может политики. От господ, занявшихся ею после революции, пахнет гнилью. Травля Крюгера ей совсем не по душе. Все это отдает прокисшим молоком. Подумать только, в какое ложное положение можно попасть из-за дурацкой политики! Мужчины постоянно в присутствии судей и газетчиков вынуждены под присягой давать показания, с какими женщинами они состояли в интимных отношениях, а ведь это личное дело каждого и уж никак не влияет на управление государством.

Красивая, пышнотелая женщина излагала все это спокойным, низким голосом, таявшим в ночной тьме. Гесрейтер краешком глаза поглядывал на нее. Нет, она не улыбалась. Наверное, она запамятовала, что и он в свое время в связи с требованием ныне почившего в мире господина Радольного под присягой показал, что не находился с ней в интимных отношениях. Он дал эти показания без малейших колебаний или угрызений совести. Разве г-н фон Радольный, женившийся на Катарине после ее многолетней связи с принцем Альбрехтом, не был достаточно сговорчивым человеком, вполне удовлетворенным тем видным положением, какого он достиг при дворе благодаря удачному браку? А когда он вдруг сделался сварливым, стал устраивать сцены и требовать развода,— разве не естественно было ему, Гесрейтеру, оградить свою прекрасную, достойную любви подругу от незаслуженных оскорблений? Теперь г-на фон Радольного уже нет в живых, и Катарина унаследовала его солидное состояние. Как хорошо, что она тогда так энергично воспротивилась разводу. Деньги покойного супруга помогли ей восстановить пришедшее в упадок поместье Луитпольдсбрун — прощальный дар принца Альбрехта. На доходы с поместья и на ренту, которую она получает от управления имуществом бывшего королевского двора, Катарина может вести жизнь светской дамы. Хозяйство в ее поместье, куда нередко наезжают знатные гости, ведется образцово, она желанная гостья при дворе, особенно у претендента на престол, бывшего кронпринца Максимилиана. Ее отношения с ним, Гесрейтером, покоятся на прочной основе, она много путешествует, живо интересуется искусством. Все ее высказывания о процессе Крюгера отличаются ясностью и умом, как нельзя более соответствуют ее характеру и положению в обществе. Так почему же он, Гесрейтер, упорно продолжает говорить о том, что уже

давно ясно и понятно? Он, Гесрейтер, разумеется, не настолько бестактен, чтобы проводить сейчас аналогию между своей тогдашней присягой на бракоразводном процессе и делом Крюгера. Но все-таки он не удерживается и замечает, что только над таким несведущим в житейских делах человеком, как этот чужак Крюгер, могли учинить подобное судилище. Ведь теперь присяга мужчины, рыцарски отрицающего на суде близость с той или иной женщиной, стала чистой формальностью, подобные присяги даются на каждом шагу, и любой судья это отлично понимает. Все равно как люди говорят «здравствуйте» человеку, которому вовсе не желают здравствовать, и никто не принимает этого всерьез. Но нельзя же вкладывать прокурору в руки такое грозное оружие, как это сделал Крюгер. Брак сам по себе должен находиться под защитой государства. Г-жа Радольная молчала, и тогда он немного спустя добавил, что, собственно, не очень-то разбирается в социальных вопросах. Но семью он считает основной ячейкой государства, а потому брак так же, как, например, религию, упразднить невозможно. Однако обязательства брак налагает только на чернь, но не на мыслящих людей.

Гесрейтер редко высказывался столь пространно по вопросам общественной морали. Катарина искоса поглядела на своего друга. Когда на него находил приступ местного патриотизма, он начинал отращивать длинные баки, как это принято у благонамеренных мюнхенцев, во время же путешествий и вообще, когда ощущал себя космополитом, подстригал их покороче. В тот день, как и все последнее время, баки на его пухлых щеках были достаточно длинны. Что это с ним творится? Она помолчала. Наконец решила, что лучше всего отнести его тираду за счет легкого недомогания. Ровным голосом она неодобрительно заметила, прекращая тем самым дальнейшие разговоры на эту тему, что, по ее мнению, несправедливо лишать Крюгера возможности отправиться летом к морю или в горы, тогда как, например, они с Гесрейтером едут сейчас по берегу Штарнбергского озера. Статная женщина с легкой гримасой неудовольствия поправила прядь медно-рыжих волос, выбившихся из-под дорожной шапочки; карие глаза на ее красивом лице с волевым ртом и крупным носом невозмутимо глядели в уплывающую ночную тьму.

С лодок, скользивших по озеру, доносились песни. Гесрейтер, досадуя на себя за то, что затронул тему, очевидно, мало интересовавшую его возлюбленную, заговорил о другом; он глубокомысленно заметил, что вода явно располагает к занятиям

эстетического свойства. Он и сам, лежа в ванне, часто испытывает недолимое желание петь.

Всю остальную дорогу они молчали. Гесрейтер всегда считал, что подруга умней его и лучше знает жизнь. Но в тот вечер он в душе сознавал свое превосходство. Однажды он, шутки ради, попросил графолога Иогапну Крайн проанализировать почерк Катарины. Конечно, сперва его немного мучила совесть: не очень-то корректно, даже бестактно при помощи третьего лица разузнавать самое сокровенное о близком тебе человеке. Но потом он все же остался доволен, ибо результат анализа, сформулированный в самых осторожных выражениях, подтвердил то, что он знал и раньше. В житейском смысле Катарина несомненно умна, но совершенно лишена романтики, ей чужды воспарения духа. Так оно и было. Она не только не разделяла, но больше того, не одобряла его стремления заглянуть в неизведанные глубины бытия; и уж совсем ей не нравилось, что, при всем внешнем благополучии и размеренности своей жизни, он старался сохранить своеобычный образ мыслей. И то, что в этом он превосходил Катарину, тешило его мужское самолюбие. Как изумилась бы Катарина, узнай она о тайной покупке портрета Анны Гайдер, благодаря чему он ловко и смело оправдался перед самим собой и светом и выказал себя истинным европейцем, свободным от предрассудков. Он живо представил себе ее удивление. «Так-то вот!» — подумал он, довольно улыбаясь и ловко управляя машиной, которая везла его возлюбленную сквозь ночную мглу.

Приехав в Луитпольдсбрун, они застали там г-на Пфаундлера, который жил на соседней вилле и по вечерам нередко захаживал к ним в гости. Фрау Радольная с удовольствием принимала у себя этого предприимчивого человека. Кельнер, ставший впоследствии владельцем ресторана, Алоис Пфаундлер во время войны занимался поставками мяса для армии. Благодаря этому он имел возможность, несмотря на строгие продовольственные ограничения, подавать в своих шикарных заведениях самые изысканные и редкостные блюда, за которые посетители в те трудные времена с радостью платили втридорога, и быстро сколотил изрядный капитал. Нажитые деньги он вложил в «индустрию увеселений», стал совладельцем множества театров, варьете и кабаре не только в самой Германии, но и в соседних странах. В этой сфере он безусловно был самым крупным дельцом во всей Южной Германии. Он мог бы спокойно наслаждаться благоприобретенным, если бы не упорное желание содержать и в родном Мюнхене большие увеселительные заведения,

где дело было бы поставлено на широкую ногу. Он был владельцем самого роскошного варьете Мюнхена, великолепного кабаре и двух первоклассных ресторанов. В то лето он намеревался открыть на озере большую купальню. Умный и ловкий делец, он отлично понимал, что подобные заведения в таком типично баварском полукрестьянском городе, как Мюнхен, имеют мало шансов на успех. Ведь если до войны город слыл одним из крупнейших в Германии курортов и увеселительных мест, то теперь узколобая внутренняя политика нового баварского правительства отпугнула приезжих. И все-таки Пфаундлер убедил себя, что именно на долю Мюнхена, единственного большого города в центре крестьянской по преимуществу области, выпала миссия быть отличным от остальной, сельской Баварии. Приезжая в Мюнхен после целой недели серой, однообразной работы, земледельцы ищут здесь прежде всего городских развлечений. Пфаундлер буквально помешался на идее возродить индустрию развлечений в родном городе. Вероятно, им двигало и инстинктивное стремление ко всему декоративному, театральному, время от времени пробуждающееся в душе каждого жителя Баварского плоскогорья. Мюнхенские народные празднества, ежегодные гулянья на городском лугу с балаганами и аттракционами, на которые он мальчишкой глазел с восторгом, традиционные карнавальные шествия под бой барабанов, постановки вагнеровских опер под открытым небом, состязания в стрельбе, пышные процессии в праздник тела господня, балы-маскарады в Немецком театре, веселые хмельные оргии в огромных залах пивоварни — все эти шумные торжества оставили в его душе глубокий след. Теперь он хотел сам устраивать такие зрелища, усилив их эффект средствами современной техники, сделать шум еще более шумным, упоение — более упоительным, блеск — более блистательным. С чисто крестьянским упорством он вкладывал деньги, которые приносила ему жажда развлечений, обуявшая остальную Германию, в эти вновь и вновь терпевшие крах мюнхенские затеи.

Госпожа фон Радольная протянула г-ну Пфаундлеру большую белую руку и приветствовала его с несвойственной ей живостью. Ее дебют на жизненной стезе был окутан мраком, она никогда не упоминала о нем. Так или иначе, она охотно поддерживала разговор о варьете и кабаре, проявляя при этом удивительную профессиональную осведомленность, и, соблюдая необходимую осторожность, принимала участие в некоторых предприятиях г-на Пфаундлера.

Во время ужина на прекрасной террасе с видом на озеро,

г-жа фон Радольная с явным интересом беседовала с этим расплывшимся, массивным баварцем. Ее грубоватый, но хорошо поставленный грудной голос сливался с его громким, начальственным. Грузный человек с бледным лицом и крошечными, хитрыми мышиными глазками под шишковатым лбом не составил себе твердого мнения о процессе Крюгера. Конечно, когда с провинциальной бесцеремонностью хватают постельное белье известного искусствоведа и начинают его обнюхивать, это не может не повредить репутации города, из которого ослиная глупость правительства и без того уже выжила всех приезжих и сколько-нибудь видных интеллектуалов. Не мешало бы кому-нибудь вмешаться и приструнить этих высокопоставленных болванов. И сделать это должен кто-либо из промышленных магнатов. Он, Пфаундлер, знает одного такого человека, который, будь у него желание, мог бы многое сделать для Мюнхена. Этот человек — г-н фон Рейндль. Но, к сожалению, Рейндль из-за связей с концернами Рура поддерживает Пруссию, а на Баварию, несмотря на всю его патриотическую болтовню, ему глубоко начхать. При упоминании имени Рейндля лицо господина Гесрейтера помрачнело. Этот Рейндль был для него постоянным немым укором. Он был богаче Гесрейтера, занимал более видное положение среди промышленников и в обществе и был еще большим бонвиваном.

Гесрейтер подумал о своей керамической фабрике, о том, что ее художественный цех сейчас выпускает главным образом одни лишь статуэтки «Пьеро и Коломбина». Вначале «Южногерманская керамика Людвиг Гесрейтер и сын» выпускала предметы домашнего обихода и, прежде всего, посуду. Большинство баварцев, живших к югу от Дуная, ело из мисок, тарелок и чашек этой фирмы и опорожнялось в ее изделия. Особым успехом пользовалась дешевая посуда с синим узором: горечавка и эдельвейс. Еще отец Пауля Гесрейтера открыл при керамической фабрике художественный цех. Однако он так и не занял на фабрике достойного места. Попытка завоевать широкий рынок сбыта для художественно оформленных пивных кружек окончилась чувствительным провалом. Но в последнее время художественный цех стал значительно расширяться. Немецкая марка сильно упала в цене — за доллар уже давали шестьдесят пять марок. Рабочая сила в Германии стоила дешево, и это позволило предпринимателям совершать выгодные сделки за границей. Гесрейтеровские предприятия вовремя перестроились, так как теперь наибольшим спросом пользовалась продукция художественного цеха: исполинские мухоморы, бородатые гномы и тому подобные

вещи наводнили весь мир. Самому Гесрейтеру такие изделия не нравились, но что поделаешь, не уступать же из-за этого фабрику другому владельцу.

Господин Пфаундлер, заметив, что Гесрейтеру разговор о Рейндле неприятен, с тем же озабоченным видом спросил Катарину, остался ли у нее еще «форстер» 1911 года, а то он может прислать ей еще бутылок пятьдесят. Затем принялся излагать свои планы насчет строительства в Гармише нового большого кабаре «Пудреница». Он еще в прошлом году приступил к грандиозной перестройке этого зимнего курорта. В нынешнем сезоне Гармиш-Партенкирхен должен стать самым модным зимним курортом Германии. Он, Пфаундлер, и за границей широко и успешно его разрекламировал, особенно в Америке.

Катарина стала подробно, с большим интересом расспрашивать его об увеселительной программе, которую он готовил для гармишского кабаре. Да, он, Пфаундлер, трудится не покладая рук: программа эстрадных номеров уже почти готова. Особые надежды он возлагает на выступления неизвестной пока в Германии русской танцовщицы Инсаровой, имя которой он произнес почти благоговейно и с весьма таинственным видом. Г-жа фон Радольная стала со знанием дела разбирать достоинства названных им артистов, а затем даже спела вполголоса коронную песенку одной из звезд кабаре. Г-н Пфаундлер вставлял дельные реплики, объяснял, что в исполнении этой артистки выглядит неэффектно, а что производит сильное впечатление. Потом попросил Катарину спеть песенку еще раз. Пышнотелая, красивая женщина без всякого жеманства согласилась. Своим низким грудным голосом она спела слащаво-непристойные куплеты, извиваясь и подергиваясь грузноватым телом в такт танцевальному ритму. В глазах г-на Пфаундлера зажглись похотливые искорки. Он весь загорелся и с живостью заметил, что как раз полнота г-жи фон Радольной придает песенке особую прелесть. Завязался спор о нюансах исполнения. Для сравнения прослушали граммофонную пластинку. Г-н Гесрейтер слушал молча, разглядывая две огромные вазы, которые украшали балюстраду террасы, выходившей на озеро. Здесь, в Луитпольдсбруне, в поместье Катарины, повсюду, в доме и в парке, на каждом шагу попадались изделия его керамической фабрики: то огромные фигуры, то фарфоровые безделушки. Как ни странно, но за все время их долголетней связи г-жа фон Радольная ни разу не полюбопытствовала, почему в его собственном доме на Зеештрассе нет ни одного предмета с маркой «Южногерманская керамика Людвиг Гесрейтер и сын».

Исполняя эстрадный номер, г-жа фон Радольная не испытывала никакого стеснения, хотя со стороны ее жесты и телодвижения при такой полноте выглядели довольно странно. Она и не подумала прервать пение, даже когда вошла служанка, чтобы убрать со стола, ей было, видимо, приятно, что девушка замешкалась, желая послушать.

Гесрейтер, которому ужины на террасе с видом на озеро всегда были по душе, сегодня чувствовал себя не в своей тарелке. Озеро мирно поблескивало в лунном свете, приятный ветерок шелестел в листве и доносил свежий запах лугов и лесов. Жареные сиги таяли во рту, вино было отменного букета и в меру холодное. Катарина, прекрасно одетая, крупная, соблазнительная, сидела рядом с ним. Пфаундлер, немало повидавший на своем веку, говорил о том, какую он видит связь между судьбой города Мюнхена и развитием событий в остальном мире. Обычно в такие вечера Гесрейтер, жизнерадостный, общительный человек, испытывал неизъяснимую умиротворенность и весь излучал благодушное веселье — он так и сыпал сочными, подчас весьма двусмысленными остротами. Но в тот вечер он с самого начала почти не принимал участия в разговоре, а потом и вовсе умолк. В сущности, он был даже рад, когда Пфаундлер наконец откланялся.

Пока шум удалявшейся машины был слышен в ночной тишине, Гесрейтер и Катарина продолжали сидеть на террасе. Неторопливо попыхивая сигарой, Гесрейтер обронил, что таким, как Пфаундлер, хорошо: он увлечен своей работой, вокруг него и благодаря ему что-то делается. А чем занят он, Гесрейтер? Раз в две недели наведывается на фабрику, которая и без него работала бы не хуже, и убеждается, что там выпускают все ту же безвкусицу, как и десятки лет тому назад. Его коллекцию мюнхенских антикварных редкостей с таким же успехом мог бы собирать дальше любой другой. Г-жа фон Радольная молча глядела на своего чем-то встревоженного друга, на то, как энергично он загребает руками, на его по-баварски длинные, ухоженные баки. Потом завела граммофон и поставила подряд две его любимые пластинки. Спросила, не хочет ли он вина. Он вежливо поблагодарил, отказался. Сигара погасла, он мрачно засопел. Минут пять они молча сидели рядом. Г-жа фон Радольная подумала, что неразумно двум людям проводить вместе слишком много времени. На днях она уедет в Зальцбург. Оттуда недалеко до Берхтесгадена, а в этом юго-восточном уголке Баварии живут сейчас ее друзья из придворных кругов. Да и с претендентом на престол она охотно повидается: ему — она это знала — нра-

вится ее трезвый взгляд на жизнь, а она тоже очень его ценит.

Наутро, когда она спустилась к завтраку, выяснилось, что Гесрейтер уже успел искупаться в озере и уехал в город на заседание суда. Проезжая по Одеонсплац, он заметил, что Галерея полководцев опять в лесах. Он припомнил, что читал о новых чудищах, которые там собирались установить. И решил в ближайшее же время выпустить несколько керамических образцов по эскизам одного неизвестного молодого художника, которые хотя и не сулили коммерческого успеха, но казались ему весьма стоящими с точки зрения искусства. И прежде всего, скульптурную группу «Бой быков», вызвавшую неудовольствие у господ из фабричной администрации,— они считали ее чудовищной нелепицей.

16
ОБНЮХИВАЮТ СПАЛЬНЮ

Свидетельница Крайн, двадцати четырех лет, баварская подданная, вероисповедания евангелического, родилась в Мюнхене, не замужем. Все время, пока она давала показания, ее слегка загорелое лицо сохраняло напряженное выражение. Она ничуть не пыталась скрыть сильного волнения. Серые глаза под темными ресницами горели решимостью, высокий лоб был гневно нахмурен.

Подсудимый Крюгер смотрел на нее со смешанным чувством. Совсем неплохо, конечно, что в это зловещее средневековое судилище вмешался наконец разумный человек. Но в то же время неприятно было сознавать, что по его вине Иоганна станет объектом дурацких пересудов всей Германии. А ему останется лишь беспомощно наблюдать, как миллионы обывателей будут трепать ее имя. Даже если ты и не признаешь устаревших рыцарских предрассудков, все же порядочнее отказаться от такой жертвы. Собственно, он так и сделал. Но сегодня, при ярком свете дня, ему казалось, что он должен был воспрепятствовать этому более решительно.

Он давно не видел Иоганну. И сейчас, когда она в кремовом, хорошо сидевшем на ней платье взволнованно выступила вперед, уверенная в себе, непреклонная, его сердце наполнилось любовью и надеждой. Ее густые, темные волосы были красиво зачесаны над высоким лбом, и вся она казалась ему олицетворением здравого смысла, способного вырвать его из лап тупого мещанского фанатизма.

Такое же чувство охватило многих сидевших в зале мужчин, когда перед судьями предстала эта разгневанная женщина. Широко раскрытыми глазами, чуть приоткрыв маленький рот, с глуповатым выражением на пухлом лице, глядел на нее элегантный господин Гесрейтер. Стало быть, эта Иоганна Крайн, которой он однажды давал на графологический анализ почерк Катарины — любовница Крюгера. Незаурядная женщина, она понравилась ему еще в тот раз, когда он встретился с ней по поводу анализа. Она нравилась ему и сейчас. Он вспомнил о письмах девицы Гайдер и мысленно сравнил женские достоинства Анны Элизабет Гайдер и Иоганны Крайн. Нет, он не мог понять этого Крюгера, находил его неумным, неотесанным и несимпатичным. Не сводил со свидетельницы настойчивых, светлых глаз из-за толстых стекол очков и доктор Гейер, а его лицо с тонкой кожей то покрывалось краской, то снова бледнело. Волнение Иоганны поколебало его уверенность в успехе, но одновременно он возлагал большие надежды на то, что ее неподдельный гнев произведет сильное впечатление на присяжных. На скамье репортеров возникло движение. Сдержанно-торжествующий тон, каким Гейер потребовал вызова свидетельницы, обещал интересный поворот дела, и теперь главное — как можно полнее использовать в своих репортерских целях ее показания. Рисовальщики старались изо всех сил наиболее эффектно передать характерные черты ее выразительного лица: высокий лоб, вздернутый нос, решительный рот, гневную позу свидетельницы. Какой-то закоренелый скептик объяснял окружающим, что эта стройная особа живет якобы на доходы с графологических анализов. Анализы ей заказывают почти одни только мужчины, и еще неизвестно, только ли за ее профессиональные познания они платят.

В крайне неприятном положении из-за неожиданного вызова новой свидетельницы оказался прокурор. Едва ли на эту разгневанную женщину с твердым и смелым взглядом можно повлиять в духе, угодном баварским властям, вряд ли удастся сбить ее с толку ловко поставленными вопросами, вряд ли он сумеет навязать ей свою точку зрения по поводу виновности обвиняемого. Своей привлекательной внешностью она, очевидно, успела завоевать симпатии зала еще прежде, чем раскрыла рот. К тому же защитник доктор Гейер — в этом ему не откажешь — выбрал удачный с психологической точки зрения момент.

Председательствующий, глава земельного суда доктор Гартль, впервые за все время процесса, забеспокоился. Он несколько раз высморкался, после чего и присяжный Лехнер стал

еще чаще вытаскивать из кармана клетчатый носовой платок. А еще г-н Гартль снял судейскую шапочку и вытер пот с лысины, чего раньше, несмотря на жару, ни разу не делал. Неожиданное появление новой свидетельницы внесло некоторые осложнения в процесс, доселе протекавший гладко, но вместе с тем открывало перед честолюбивым председателем суда возможность проявить свои способности в сложной ситуации: не ограничивая прав обвиняемого на защиту, в то же время обеспечить вынесение обвинительного приговора.

Свидетельница Крайн показала следующее: обвиняемый доктор Крюгер — ее друг. «Как это понимать?» Тут уже защита потребовала дальше вести заседание при закрытых дверях. Но поскольку председатель суда именно с помощью многочисленной публики надеялся запугать нежелательную свидетельницу, требование защиты было отклонено. Иоганне Крайн пришлось давать показания публично.— Не хочет ли она этим сказать, что была с обвиняемым в интимных отношениях? — Да.— Итак, что ей известно о событиях той ночи, когда доктор Крюгер был на вечеринке в доме на Виденмайерштрассе? — В ту ночь Крюгер приезжал к ней.— Присяжные, словно по команде вытянув шеи, уставились на свидетельницу. Даже на тупом, массивном лице почтальона Кортези отразилось напряженное внимание, мягкий рот учителя гимназии Фейхтингера, обрамленный черной, пушистой бородой, округлился от удивления, что прокурору было весьма неприятно видеть. Встревоженный произведенной показаниями свидетельницы Крайн сенсацией, прокурор спросил, не помнит ли она точно, в котором часу Крюгер пришел к ней тогда. В зале — ни звука, лишь громкое, прерывистое, напряженное дыхание. Да, четко ответила Иоганна Крайн, она помнит. Было два часа ночи.

В душном, переполненном зале стояла мертвая тишина.— Каким образом она сумела столь точно запомнить время? — чуть осевшим голосом спросил прокурор. Спокойно, уверенно, не слишком кратко, но и не вдаваясь в ненужные подробности, Иоганна Крайн рассказала о предполагавшейся прогулке в горы. Вначале Мартин не хотел ехать с ней, и они из-за этого поссорились, но потом, очевидно, раскаявшись, он уехал с вечеринки, явился к ней посреди ночи и разбудил ее. Вполне естественно, что она первым делом взглянула на часы. Потом они еще долго обсуждали, стоит ли наутро ехать в горы: ведь если тебя будят в два часа ночи, потом не очень-то приятно вставать в половине пятого утра. Подсудимый Крюгер слушал очень внимательно, он и сам почти поверил ее словам. Теперь она весьма

сожалеет, закончила свидетельница Крайн свой рассказ, что не пошла вместе с ним на ту вечеринку: тогда не было бы и всего этого процесса. Последнее высказывание свидетельницы было доктором Гартлем решительно отклонено, «как к делу не относящееся».

Пока по требованию прокурора разыскивали шофера Ратценбергера, чтобы устроить ему очную ставку с Иоганной Крайн, бесконечно длинный допрос свидетельницы продолжался с прежней бесцеремонностью. Прежде всего ее спросили, была ли она с обвиняемым Крюгером в интимной близости в ночь с двадцать третьего на двадцать четвертое февраля. Доктор Гейер вновь потребовал провести дальнейший допрос свидетельницы при закрытых дверях, и вновь его требование было отклонено. Сильно побледнев, злым, отчетливым голосом, невольно перейдя на диалект, Иоганна подтвердила, что — да, и в ту ночь она принадлежала Мартину. Каждое ее слово, малейшее движение были проникнуты силой и прямотой, ее переполняла ярость к своим землякам. Учитель гимназии Фейхтингер испытывал самый настоящий страх перед гневным, решительным взглядом ее серых глаз. Следующий вопрос был,— одна ли она живет, и каким образом обвиняемый мог пройти к ней незамеченным. Иоганна ответила, что живет вместе со своей теткой Франциской Аметсридер, пожилой женщиной, которая ложится спать рано и всегда в одно и то же время. Ее, Иоганны, комнаты — изолированные. У Крюгера был ключ от дверей, и потому он мог незаметно и без помех приходить к ней. С лица легкомысленного присяжного фон Дельмайера исчезла язвительная усмешка, и он одобрительно и со знанием дела закивал головой. Прокурор тут же решил про себя, что не мешает проверить, не занимается ли сия почтенная тетушка сводничеством.

— Знала ли свидетельница Крайн,— продолжал допрос прокурор,— что доктор Крюгер находился в интимных отношениях и с другими женщинами? — Да, она об этом знала. Но это были мимолетные связи, и она смотрела на них довольно спокойно. Заявление свидетельницы произвело неприятное впечатление. Господин прокурор не преминул выразить свое крайнее удивление. Однако совершенно исключено,— продолжала Иоганна, чтобы Крюгер пришел к ней прямо из спальни другой женщины. — Гм, гм,— хмыкнул прокурор. Другие также поспешили выразить свое сомнение многозначительным хмыканьем.— Абсолютно исключено,— взволнованно, с силой повторила Иоганна. Председательствующий предложил ей проявлять большую сдержанность. Художнику из «Берлинер иллюстрирте цейтунг» уда-

лось схватить тот эффектный момент, когда Иоганна в порыве гнева повернулась своим красивым лицом к прокурору и взглянула в его грубую физиономию; разговаривая с человеком, она всегда смотрела ему прямо в глаза.— На какие средства она существует? — задал очередной вопрос прокурор.— У нее есть кое-какие сбережения,— ответила Иоганна,— кроме того, определенный доход ей приносят и графологические анализы. Впрочем, она не понимает, какое это имеет отношение к делу? Председательствующий, доктор Гартль, в третий раз вежливо, но твердо призвал ее к порядку.

— Получала ли она от доктора Крюгера деньги? — вызывающе, с расстановкой продолжал задавать вопросы прокурор. Тут уж Мартин Крюгер, следивший за последними вопросами прокурора с мрачным, замкнутым выражением лица, не выдержал. Художники схватились за карандаши, но лишь одному корреспонденту «Лейпцигер иллюстрирте цейтунг» удалось запечатлеть выразительную позу Крюгера, который, в бешенстве замахав руками и подавшись вперед, впился в прокурора серыми выпуклыми глазами, сверкавшими из-под густых бровей. Прокурор с иронической усмешкой стоически выдержал этот бешеный взгляд. Он даже не потребовал от председательствующего, чтобы тот вмешался, но г-н Гартль, дождавшись, когда Крюгер окончательно выдохнется, сам мягко его пожурил.

— Итак,— невозмутимо продолжал прокурор, словно ничего не произошло,— итак, получала ли фрейлейн Крайн подношения в виде денег или других ценностей? — Да,— отвечала свидетельница,— она получала от Крюгера цветы, однажды корзинку со съестным, как-то — пару перчаток, а также книги. Придворный поставщик Дирмозер с интересом поглядел на крепкую, маленькую руку Иоганны. Во время принесения свидетельницей присяги он с неодобрением отметил, что ей не пришлось снимать перчаток, так как она пришла без них. Теперь он уже с куда меньшей неприязнью смотрел на Иоганну и Крюгера.

— Что же до ценности подарков,— спокойно вставил Мартин Крюгер,— то, если ему не изменяет память, корзина со съестным стоила восемнадцать марок пятьдесят пфеннигов; впрочем, не исключено, что и двадцать две марки. Деньги так быстро падают в цене, что он уже не в состоянии вспомнить это точно. Председательствующий и сам натянуто улыбнулся, однако же выказал неудовольствие по поводу неуместного веселья в зале.— Не предъявлялись ли когда-либо Иоганне обвинения в шарлатанстве? — Нет, подобные обвинения ей никогда

не предъявлялись.— Защитник предложил зачитать заключения экспертов о том, что графологические анализы свидетельницы научно обоснованы. Но суд не пожелал ознакомиться с этими отзывами, признав, что они не имеют значения для хода дела. В глубине души доктор Гартль злился на прокурора, который от неожиданности потерял, очевидно, всякую способность логически мыслить и прибегнул к тактике грубого нажима. Свидетельница явно завоевывала симпатии даже у тех, кого она вначале восстановила против себя независимой манерой держаться, и теперь пользовалась всеобщим расположением. К тому же она, все сильнее волнуясь, постепенно совсем перешла на привычный баварский диалект; ее речь, все ее поведение были таковы, что никому не приходило в голову заподозрить в ней пришлую, чужачку.

Делился ли с ней обвиняемый Крюгер подробностями своих отношений с другими женщинами? — упрямо продолжая идти явно ложным путем, спросил прокурор.— Нет, она никогда не спрашивала его об этом, и он сам никогда не касался этой темы. Она знала об этих отношениях лишь в самых общих чертах.— Не может ли тогда свидетельница,— продолжал прокурор,— сказать что-либо относительно писем покойной девицы Гайдер, в частности, известны ли Иоганне эротические наклонности доктора Крюгера? — При этих словах зал неодобрительно загудел. Бледный молодой человек, пустопорожний фон Дельмайер глупо захихикал, но под полным безграничной ненависти взглядом доктора Гейера смешался от испуга, буквально подавившись своим идиотским блеющим смешком.

Но тут, тяжело дыша и резко взмахнув рукой, поднялся присяжный заседатель Гесрейтер. Эта смелая баварская девушка была ему симпатична. Он считал недостойным так вот травить женщину. «Когда бодрый дух полнит мужеством грудь»,— вспомнил он слова из некогда популярного стихотворения баварского короля Людвига Первого, не зная, правда, отнести ли эти строки к себе или к Иоганне. Внушительно возвышаясь над всеми, он непривычно твердым голосом заявил, что считает вопрос прокурора совершенно неуместным и надеется, что остальные присяжные разделяют его мнение. Присяжный заседатель, антиквар Лехнер, неторопливо и решительно кивнул головой в знак согласия. Ему с самого начала не понравилось обращение со свидетельницей Крайн. С ней обошлись просто неприлично. Он вспомнил покойную жену Розу, в девичестве носившую фамилию Хубер и работавшую кассиршей. Он был глубоко убежден, что нельзя так грубо обращаться с жен-

щиной, как обращается с Иоганной Крайн прокурор. Подумал он и о своей дочке, негоднице Анни; кто знает, не попадет ли она когда-нибудь в такое же положение, как эта свидетельница Иоганна Крайн. Но с особой болью он подумал о сыне, о Бени, которого упекли в тюрьму: сейчас баварская юстиция не слишком-то ему, Лехнеру, нравилась. Председательствующий тоном вежливого порицания заявил, что решение о допустимости того или иного вопроса целиком относится к компетенции суда. Свидетельница Крайн сказала, что вопрос ей не совсем понятен. Прокурор ответил, что этого ему вполне достаточно.

Во время очной ставки между шофером и Иоганной Крайн Франц Ксавер Ратценбергер вел себя крайне заносчиво. Снова последовали обстоятельные вопросы, не мог ли один из свидетелей ошибиться в дне или часе. Нет, здесь никакой ошибки быть не могло. Он, Ратценбергер, в ночь с двадцать третьего на двадцать четвертое февраля в два часа подвез доктора Крюгера к дому номер девяносто четыре на Катариненштрассе, и доктор Крюгер вместе с девицей Анной Гайдер вошли в дом. Да, но ведь Крюгер в те же два часа ночи был в постели у свидетельницы Крайн на Штейнсдорфштрассе. В ходе очной ставки шофер вдруг резко изменил тон, стал фамильярно простодушен. Все-таки барышня, видно, ошибается. Девичья память — вещь ненадежная. Он производил довольно приятное впечатление. Но упорство и непритворный гнев Иоганны Крайн, несомненно, также сильно подействовали на присяжных и на публику. Председательствующий Гартль, весьма честолюбивый господин, закрыл судебное заседание не без некоторой озабоченности, впервые испытывая опасения за исход дела.

17
ПИСЬМО ИЗ КАМЕРЫ 134

О показаниях Иоганны Крайн г-жа Франциска Аметсридер узнала из газет. И поняла, наконец, почему не умолкает телефон и приходят все новые и новые посетители, причем ясно, что далеко не все — ради графологических анализов.

Госпожа Аметсридер всех выпроваживала и в конце концов отключила телефон и дверной звонок. И пошла к Иоганне. Она, словно танк, устремилась своим мощным дородным телом на коротких, крепких ногах в атаку на неразумную племянницу. Ясные, светлые глаза на крупном мужеподобном лице воин-

ственно поблескивали, черные с едва намечающейся проседью волосы были подстрижены совсем коротко. Она побаивалась, что Иоганна не захочет с ней разговаривать.

Однако Иоганна впустила ее. Выжидательно, даже вполне миролюбиво смотрела она на свою круглую, исполненную решимости тетушку. Не касаясь моральной стороны дела, та постаралась втолковать Иоганне, что, во-первых, ее показания вряд ли изменят что-либо в участи Мартина Крюгера, а во-вторых, Иоганна, при тех настроениях, которые царят сейчас в городе Мюнхене, раз и навсегда подорвала материальную основу своего существования. Иоганна не стала разбирать все доводы тетушки, а лишь коротко спросила, что же, по ее мнению, следует сейчас предпринять. И тут выяснилось, что хотя у тетушки Аметсридер, как это часто бывает, есть свое определенное и твердое мнение о случившемся, но вот как быть в дальнейшем, она представляет себе крайне смутно и неопределенно. Иоганна добавила, что если тетушка испытывает неудобства от ее соседства, то пусть она откровенно скажет, когда ей, Иоганне, съехать с квартиры. Застигнутая врасплох, тетушка Аметсридер, лишь с трудом сохраняя прежний решительный тон, возразила, что хоть слово-то о происходящем она имеет право сказать? Иоганна, с потемневшими от гнева глазами, неожиданно громко и с сильным местным акцентом потребовала, чтобы тетушка оставила ее в покое, и вообще, пусть она выметается, да поживее. Г-жа Аметсридер, пробормотав, что пришлет Иоганне чай и бутерброды, удалилась, не очень удовлетворенная разговором.

Уходя, она оставила кипу писем и газет. В них Иоганну поносили самыми грязными словами. Многие писали, что ее выступление в суде нисколько не доказывает невиновности Крюгера. Что стоит такому чужаку, как он, за несколько минут перебраться от одной легко доступной особы к другой? В газетах она была запечатлена в самых разных позах, за одним исключением столь неестественных, что она подумала, уж не держалась ли она и в самом деле так театрально. Некоторые газеты выступали в ее защиту, но с обидной снисходительностью людей, «способных все понять». Большинство издевалось над ее профессией графолога, а кое-кто даже в осторожной форме высказывал предположение, что это лишь предлог для заманивания мужчин. Но и те, кто защищал ее профессиональную честность, прибегали к столь высокомерно-покровительственному тону, что их благожелательные замечания были Иоганне еще неприятнее, чем откровенно враждебные выпады. Во многих письмах угрожали «проучить ее». Эти письма были полны гряз-

ной площадной брани, иногда весьма колоритной, подчас вообще непопятной Иоганне, хотя ей и приходилось сталкиваться с обитателями заречных предместий.

Ее захлестнула новая волна бешенства, она побледнела как полотно. Резким движением смела на пол стопку газет и писем и начала топтать ногами всю эту кучу рукописного и печатного дерьма. Хоть что-то сделать! Стукнуть кого-нибудь! Залепить по физиономии одному из этих негодяев! Но приступ гнева длился недолго. Она замерла посреди комнаты, закусила верхнюю губу и стала напряженно обдумывать план действий. Главное — не терять присутствия духа. Раз уж Мартин так нелепо попался в лапы ее тупых земляков, его будет чертовски трудно вызволить.

Стряхнув с себя оцепенение, она села, машинально начала перебирать груду валявшихся на полу писем. Почерк на одном из конвертов озадачил ее. Это было письмо от Мартина Крюгера.

После заседания суда она не повидалась с Мартином. У него есть склонность к театральным сценам, которая ей не по душе. Наверняка он произнес бы нечто весьма патетическое. И вот теперь он ей написал. Она досадливо оглядела конверт — ну, о чем тут писать! Лоб прорезали три морщинки. Сердито фыркнув, она вскрыла конверт.

Он не хочет этой жертвы, писал Мартин. Рыцарские жесты, как ей известно, ему несвойственны. Но он не хочет, чтобы именно сейчас, когда он попал в беду и, очевидно, надолго, кто-то связывал с ним свою судьбу. Он просит предоставить его самому себе и милости баварской юстиции. Она может считать себя свободной.

Иоганна закусила верхнюю губу. Только этого недоставало! Может считать себя свободной! Она не позволит уговорить себя подобными глупыми фразами. Тривиальные сентенции из «Семейного журнала». Он сильно сдал за время предварительного следствия.

Она держит письмо в руках. Внезапно, под влиянием безотчетного порыва, вставляет его в небольшой аппарат, которым пользуется при своих графологических анализах. Начинает разбирать почерк, пользуясь тонкими методами, которым ее учили. Таким образом она играет с Мартином и одновременно с собой: ведь эти методы для нее всего лишь способ привести себя в состояние опьянения, когда она обретает способность живо истолковывать почерк. Иной раз она часами сидит, глядя на маленький пюпитр, но озарение так и не приходит. Иногда почерк

вообще ни о чем не хочет рассказать, и тогда, признав свое бессилие, она бывает вынуждена вернуть образец. Порой, напротив, чей-то почерк действует на нее столь сильно, что она, словно каменной стеной, отгораживается от него трезвыми, рассудочными методами. Ей душно, она жаждет ясности; но озарение для нее почти всегда неразрывно связано с мукой. Двойственное чувство стыда и запретной радости овладевает ею, когда сквозь написанные кем-то буквы постепенно проступает характер человека, принимая все более четкие очертания, пока не наступит чувство полной слитности с ним. Вначале, когда она занималась графологией из спортивного интереса, чтобы развлечь веселую компанию, ей было любопытно смотреть на задумчивые, озадаченные лица. Позже ей нелегко было заставить себя превращать в деньги этот странный и зловещий дар. Сейчас в ней все притупилось. Она относится к своим графологическим анализам серьезно. Не говорит ничего, в чем полностью не убеждена. Но нередко умалчивает о том, что ей открылось. Часто она просто не находит нужных слов, нередко избегает говорить людям неприятные вещи.

Она сидит в затемненной комнате, уставившись в аппарат. В ярком свете лампы на нее почти осязаемо надвигаются буквы, написанные рукой Мартина. Еще немного, скоро, вот-вот, с все нарастающей четкостью проявляемой пленки возникнет перед ней образ писавшего письмо. Она уже ощущает знакомое напряжение, одухотворенность, легкость во всем теле, сухость во рту, раскрепощение всех чувств — все те признаки, которые возвещают озарение. Порывисто встает. Решительно отдергивает шторы, и в комнату врывается дневной свет. Тушит лампу, раскрывает окна, всей грудью вдыхает свежий воздух. Человек в беде, человек в тюремной камере. Человек, с которым она была в горах, на море. Человек, лукаво подмигивавший ей, когда бургомистр того провинциального города произносил длинный тост за его здоровье. Человек, с которым она была близка, который шептал ей слова ребячливые и суровые, глупые, добрые и мудрые.

Она вынимает письмо из аппарата. Быть может, Мартин Крюгер плохой человек, быть может, хороший. Так или иначе, но он ее друг. И она не хочет его испытывать. Ей и так ясно, почему она ввязалась в эту историю. Она не собирается оправдываться перед самой собой, прибегая к хитроумным доводам. Черт побери, неужели она не сумеет справиться со всей этой мерзостью? Неторопливо и спокойно она разрывает на мелкие клочки неумное письмо подсудимого Крюгера, своего друга.

Взгляд ее снова падает на груду писем и газет. Она пытается сохранить хладнокровие, но ее неудержимо захлестывает новый приступ ярости. Ее широкоскулое лицо искажается гримасой гнева. Что ж, хоть ее земляки упрямы как ослы, она их все равно переупрямит. Если б адвокат Гейер увидел сейчас, как она сидит, глядя перед собой глазами, полными решимости и гнева, он бы не отважился с твердостью сказать, кто из двух баварцев возьмет верх, министр юстиции или эта рослая девушка.

18

ПРОШЕНИЯ О ПОМИЛОВАНИИ

Перед министром юстиции Отто Кленком лежали два прошения о помиловании, к которым было приковано внимание широкой общественности.

На одной из магистралей баварской железной дороги сошел с рельсов скорый поезд: девятнадцать человек погибло, тридцать один получил ранения. Точную причину катастрофы установить не удалось. Кое-кто объяснял ее несоблюдением элементарных норм безопасности движения, утверждая, что верхний настил пути непригоден для новых тяжелых составов. Поскольку как раз в тот период возникли серьезные трения между Дирекцией железных дорог Германии и Правлением баварского округа, это происшествие оказалось весьма некстати для баварских сепаратистов. Решение вопроса о том, произошла ли катастрофа в результате преступного акта или халатности, имело важное значение и с точки зрения гражданско-правовой ответственности железной дороги. Если налицо преступление, то железная дорога ответственности не несла, в противном случае пострадавшие и семьи погибших вправе были требовать возмещения убытков. Железнодорожная администрация категорически отрицала свою вину и утверждала, что катастрофа — результат диверсии, о чем свидетельствуют, мол, полуотвинченные болты и ряд других подобных же фактов.

Так обстояло дело до тех пор, пока баварская жандармерия не задержала подозрительного субъекта по имени Прокоп Водичка, который, как было со всей достоверностью установлено, в момент крушения слонялся у полотна железной дороги. Этот двадцатидевятилетний чех, у себя на родине, в Чехословакии, неоднократно привлекался к суду за различные тяжкие преступления. Последние несколько недель он бродяжничал по Баварии,

пробавляясь украденным с поля картофелем и другими овощами и зарабатывая иной раз несколько пфеннигов в придорожных кабачках игрой на гармонике и танцами; этот неуклюжий малый с бледным и всегда потным лицом, не загоравшим даже под лучами солнца, был страстным музыкантом и плясуном, которого охотно слушали в кабачках шоферы и кельнерши. И вот однажды он высказался в большевистском духе, пригрозив задать перцу этим «большеголовым», устроить им такой концерт, что о нем заговорят все газеты. Было также доказано, что за час до крушения его видели вблизи места катастрофы. К тому же при нем были найдены подозрительные инструменты, которыми при случае вполне можно ослабить болты и расшатать шпалы, что, очевидно, и вызвало катастрофу. Возбуждал подозрение и тот факт, что после крушения Водичка мгновенно покинул место происшествия.

Так или иначе, но баварский суд, перед которым он предстал, признал его на основании косвенных улик виновным в катастрофе и приговорил к десяти годам тюремного заключения. Администрация баварских железных дорог избавилась от нападок северогерманских критиканов, а ее касса — от неприятных обязательств.

Но тут чешский бродяга нашел себе горячего заступника — разумеется, из окружения доктора Гейера,— в лице некоего адвоката Лёвенмауля, вступившего в поединок с баварской юстицией. Сомнения в виновности Водички, как объяснил суду, а затем и на страницах оппозиционных газет адвокат Лёвенмауль, возникли у него прежде всего по соображениям психологического порядка: ведь сначала этот увалень Водичка решил, что его задержали за какие-то другие преступления. Когда же его обвинили в совершении диверсии на железной дороге, он в первый момент просто опешил, а затем громко, от души, расхохотался, приняв это за удачную шутку. Он был очень мало похож на фанатика, приносящего себя в жертву идее, да и какую выгоду сулили ему подобного рода действия? И впоследствии, доказывая свою непричастность к железнодорожной катастрофе, он приводил именно эти вполне разумные доводы. И вообще ему было невдомек, как это его могли заподозрить в таком злодействе, а что он как раз перед самым крушением слонялся вблизи железной дороги,— чистейшая случайность. Грозиться он, правда, грозился, но кто в его положении не наболтал бы лишнего? Судя по его щекастому лицу, он был человек неглупый, скорее злой, чем добрый, и в то же время безвольный; во всяком случае отнюдь не из породы людей, готовых во имя принципа

совершить преступление. Он неутомимо втолковывал это всем и каждому, уверенный, что, вняв его убедительным аргументам, власти в конце концов освободят его. Но когда Водичка случайно узнал из газет, как сильно администрация заинтересована в том, чтобы представить несчастье не следствием халатности железнодорожных властей, а результатом диверсии, он с фатализмом, совершенно потрясшим адвоката Лёвенмауля, отказался от всякой попытки оправдаться. Если целая страна с шестимиллионным населением,— объяснил этот апатичный человек адвокату,— решила любой ценой заклеймить его как преступника, то он не так глуп, чтобы в одиночку затевать борьбу с шестью миллионами. И с этого момента он ограничивался тем, что не без ехидства, но довольно вяло издевался над баварской юстицией. Такое поведение подсудимого как раз и убедило адвоката в том, что бродяга Водичка не виновен в крушении на железной дороге.

Не добившись успеха в суде, адвокат Лёвенмауль умно и настойчиво, не прибегая, однако, к резким выпадам, продолжал борьбу за своего подзащитного в печати. И вот теперь обстоятельное, тщательно мотивированное адвокатом прошение о помиловании заключенного Прокопа Водички лежало перед доктором Кленком. Хотя Кленк и был человеком вспыльчивым, с ним можно было договориться: тупое упорство он проявлял лишь, когда задевали его личные интересы либо интересы его родной Баварии. Последние в данном случае были надежно защищены юридически обоснованным приговором, тем более что Водичка воспротивился подаче Лёвенмаулем кассационной жалобы. По правде говоря, адвокат весьма рассчитывал на то, что министру Кленку, по складу его характера, должен был понравиться наглый, ленивый и неглупый малый, и потому он, Лёвенмауль, подавая прошение, очень надеялся на успех.

Вопрос престижа на этот раз мало беспокоил Кленка. В случае помилования оппозиционная печать, конечно же, станет разглагольствовать о том, что, мол, особенной уверенности в виновности Прокопа Водички не было с самого начала и что дело так и осталось нераскрытым. Но все это ерунда, пустая брехня. История с крушением поезда снята с повестки дня, с ней, благодаря законному, вступившему в силу приговору, покончено раз и навсегда. Сам Водичка как таковой его мало интересовал. Как отметил поддержавший прошение опытный и вдумчивый референт, единственным реальным последствием помилования была бы выдача Водички властям Чехословакии, и тогда уже ей, а не Баварии пришлось бы позаботиться об этом бродяге.

Читая строки прошения, министр Кленк внезапно отвлекся мыслями в сторону: перед ним возникли проницательные голубые глаза доктора Гейера за толстыми стеклами очков, узкие, нервные руки этого человека, не имевшего никакого отношения к делу Водички. Однако же ловко эта скотина Гейер приурочил выступление свидетельницы Крайн к самому концу процесса. Тонко задумано! Кленку хитрость Гейера даже понравилась, тем более что на исход процесса она все равно не повлияет.

Сделав над собой усилие, Кленк снова занялся прошением. «Единственным реальным последствием помилования была бы...» Все-таки этот Гейер на редкость противный тип! «Если принять во внимание, что имеются лишь косвенные улики». На его месте Флаухер отклонил бы прошение. С Лёвенмаулем можно найти общий язык. А Гейер, когда прочтет о помиловании, скорчит кислую мину.

Своим крупным почерком, наискось через всю последнюю страницу отпечатанного на машинке прошения, Кленк не торопясь вывел красным карандашом: «Отклонить. К.»

Теперь этот Гейер уже не скорчит кислую мину.

Зазвонил телефон. Звонили по какому-то пустяковому вопросу. Отделываясь краткими, ничего не значащими фразами, министр Кленк старается припомнить лицо Прокопа Водички. Бледная щекастая физиономия с хитрыми глазками. Пожалуй, даже симпатичная. Значит, он так и останется в тюрьме, будет и дальше плести соломенные циновки, шнырять хитрыми глазками по углам? Попытается бежать? Нет, он не так глуп и благоразумно дождется конца срока.

Голос в телефоне умолк. Министр Кленк положил трубку. А ведь этот арестант Водичка и в самом деле не так уж антипатичен. В сравнении с омерзительным Гейером, с его вечно мигающими глазками и обтянутым тонкой кожей лицом, тот просто симпатичный малый. Толстым красным карандашом Кленк старательно зачеркивает слово «Отклонить. К.» и еще более крупными буквами, твердо и четко выводит рядом «Удовлетворить. К.».

Второе прошение подал адвокат истопника Антона Горнауэра. Этот истопник работал на «Капуцинербрауэрей»,— одной из самых старых и крупных пивоварен, принесших Мюнхену мировую славу. В будни он работал восемь часов, в воскресенье — двенадцать. Исправно топил свой котел, следил за уровнем воды и давлением пара, подбрасывал уголь. Так он и трудился — восемь часов в будни, двенадцать в воскресенье. Дважды в день

поворачивал рычаг, и тогда пар, доведенный до температуры сто тридцать градусов, устремлялся в трубу, затем в люк, по пути унося с собой все, что засоряло котел. Так всегда очищали котел.

Но однажды в вокресенье, когда истопник, как всегда, повернул рычаг, он услышал отчаянный вопль. В котельную вбежали люди. «Перекрой! Перекрой пар!!!» Истопник Горнауэр перекрыл пар и выскочил во двор. Из люка вытащили рабочего. Ему было велено прочистить люк. Не успел он спуститься вниз на несколько ступенек, как его обдало волной раскаленного пара. Бедняга умер на глазах истопника. Он оставил жену и четырех детей.

На суде эксперты спорили об ответственности истопника. Соответствовала ли установка эксплуатационным нормам? Обязан ли был по закону Антон Горнауэр заранее проверить, не работает ли кто-либо в люке? Было ли ему известно, куда попадает выпускаемый им пар? Обязан ли он был это знать? Завод «Капуцинербрауэрей», на котором произошло несчастье, был известен во всем мире. Он экспортировал пиво во все уголки земного шара. Безупречная работа этого завода и соблюдение всех правил безопасности было вопросом чести не только для его дирекции, но и для всей баварской промышленности. Страна была удовлетворена, когда суд признал, что ответственность за несчастье несет один человек, а не старинное, пользующееся всеобщим уважением предприятие, приносящее тридцать девять процентов прибыли. К тому же дирекция по собственной инициативе, помимо обычного пособия, обязалась ежемесячно выплачивать семье заживо сварившегося рабочего двадцать три марки и восемьдесят пфеннигов. Виновный в случившемся истопник Горнауэр был приговорен к шести месяцам тюрьмы.

Он принял этот приговор с тупой, безразличной покорностью человека, который так ничего и не понял. Ведь он столько лет проработал на пивоваренном заводе и все эти годы два раза в день поворачивал рычаг. У него была хворая жена и двое хилых детишек. И вот теперь на министерском столе лежало прошение о его помиловании.

Директора и кое-кто из главных акционеров пивоваренного завода состояли членами аристократического «Мужского клуба», где иной раз проводил вечера и сам Кленк. Это дело носило более личный характер, чем дело Прокопа Водички. Если истопник Горнауэр не виновен, значит, виновны тайные советники Беттингер и Дингхардер, уважаемые, солидные люди, крупные буржуа. Правда, тогда вина падает и на Рейндля, чему Кленк был бы только рад. Собственно, тот числился всего лишь членом

наблюдательного совета «Капуцинербрауэрей», но фактически,— и это знали все,— был там полновластным хозяином.

Неплохо бы избавить от нескольких месяцев тюрьмы несчастного истопника, да еще при этом попортить кровь Рейндлю. Но, с другой стороны, речь шла о старинном предприятии с весьма солидной репутацией, о важнейшей отрасли баварской промышленности, об интересах всей Баварии. Нет, Кленк не может позволить себе это маленькое удовольствие.

Мысли министра юстиции в то время, как он механически, крупными, четкими буквами выводил: «Отклонить. К», были уже далеко, они сосредоточились на речи, с которой ему предстояло выступить по радио в тот вечер. Он любил слушать себя. Его густой, добродушный бас располагал к нему аудиторию, и он это знал. Его положение и манера говорить как нельзя лучше сочетались друг с другом. Тема речи была: «Идеалы современного правосудия». И теперь перед окончанием процесса Крюгера, уже почти год стоя у власти, министр Кленк решил противопоставить идеалы подлинно национального правосудия ложно понятым идеалам застывшего, косного, абсолютного римского права.

РЕЧЬ В СУДЕ И ГОЛОС В ЭФИРЕ

Речь в защиту обвиняемого надо было построить так, чтобы она подействовала на чувства присяжных. В Верхней Баварии глупо было бы апеллировать к здравому смыслу присяжных заседателей, скорее следовало бить на их эмоции. Гейеру было бы легче с неумолимой логичностью и математической точностью доказать, как слабы доводы в пользу виновности Крюгера и как сильны — в пользу его невиновности. Но он знал, что не следует рассчитывать на здравомыслие толпы, а здесь, в Баварии, особенно. Он представил себе лица присяжных — Фейхтингера, Кортези, Лехнера — и твердо решил держать себя в руках, не выказывать открыто отвращения ко всей этой государственной системе. Правильнее всего говорить самые банальные вещи, доступные их пониманию. Если депутату Гейеру и еще больше Гейеру-гражданину сердце повелевало громко, на весь мир кричать о чувстве стыда, отвращения и гнева, которое вызывает у него официальная баварская юстиция, то Гейер-адвокат обязан был добиваться одного — оправдания своего подзащитного, и только. Поэтому благоразумие диктовало ему единственно вер-

ную линию поведения: скрепя сердце попытаться установить контакт с присяжными заседателями.

Он позволил себе немного отвлечься. Теперь он может разрешить себе и такую роскошь: ведь план защитительной речи уже готов. Его рабочий кабинет, несмотря на все старания экономки Агнессы, снова приобрел неуютный и неприбранный вид. Повсюду были разбросаны бумаги, книги. Грязные ботинки он снял здесь, в кабинете, вместо того чтобы снять их в прихожей, и они стояли прямо посреди комнаты. Пиджак бросил на спинку стула. На столе под бумагами лежала плитка шоколада, на батарее стояла недопитая чашка остывшего чая, все кругом было усыпано пеплом от сигарет.

Гейер прилег на оттоманку; заложив нервные руки под голову, уставился в потолок. Зачем он взялся защищать обвиняемого Крюгера? Что ему Крюгер? И вообще, стоит ли защищать отдельных людей? Разве у него нет более важных дел? Кто такой этот Крюгер, чтобы ради него не щадить себя, опустошать душу, пытаясь шутовскими приемами произвести впечатление на кретинов-присяжных? Он еще сильнее замигал, машинально закурил сигарету и, часто затягиваясь, задымил, лежа на спине.

Что ему вообще нужно в этом городе на редкость тупых, нелюбопытных людей? Ведь этот народ вполне удовлетворен своим дремучим невежеством и прекрасно себя чувствует в гнилом болоте всевозможных предрассудков. Господь наделил этих людей равнодушным сердцем, что, впрочем, огромное благо на нашей планете. Он был на представлении комика Бальтазара Гирля, мрачного шута, который с меланхолической псевдологичностью упрямо копается в самых нелепых проблемах. Когда, к примеру, его спрашивают, почему у него очки без стекол, Гирль отвечает, что это все же лучше, чем ничего. Ему объясняют, что не оправа, а стекла улучшают зрение. «Зачем же тогда носят оправу?» — спрашивает он. «Чтобы держались стекла»,— отвечают ему. «Ну вот,— удовлетворенно заключает он,— я и говорю, что это лучше, чем ничего». Он очень популярный комик, и его знают далеко за пределами Мюнхена. У него, Гейера, он вызывает омерзение. Но здесь все таковы, как этот человек в очках без стекол. Этих людей вполне устраивает пустая оправа правосудия, даже если она больно врезается в тело. Внутреннего смысла им не нужно. И ради таких вот людишек он изнуряет себя. Зачем? Стоит ли стараться очистить грязную машину юстиции, если сами потерпевшие прекрасно чувствуют себя в дерьме? Ему, Гейеру, свойственны неподвластная законам логики и разума фанатичная потребность в безупречности правосудия,

стремление к абсолютной ясности. Хорошо понимая негодность всего аппарата, он хочет, чтобы этот аппарат, по крайней мере, действовал с математической точностью. Зачем? Все равно «спасибо» ему никто не скажет. Он напоминает хозяйку, которая из кожи вон лезет, стараясь прибрать дом, где жильцы чувствуют себя уютно лишь в душных, грязных комнатах. Он похож на свою экономку Агнессу. Этих людей вполне устраивает «национальная юстиция» их Кленка.

Вот он лежит на оттоманке, смертельно измученный, безмерно уставший от непрестанного нервного напряжения, от постоянной необходимости сдерживать себя. Разве не умнее было бы в полном уединении завершить работу над «Историей беззаконий в Баварии?» О книге «Право, политика, история» он даже и не мечтает.

Он лежит на спине, сигарета погасла. Глаза его закрыты, но он слишком устал, чтобы снять очки. Веки за толстыми стеклами покраснели, все в прожилках. Он тяжело дышит. Тонкая кожа лица, несмотря на красные пятна, кажется дряблой и, оттого что он плохо выбрит, топорщится редкой щетиной.

Так он лежит некоторое время, стараясь ни о чем не думать, но услужливая память подсовывает ему все новые и новые мысли и образы: стихи о справедливом судье из старинной индийской пьесы, умствования популярного комика, рассуждения Мартина Крюгера в одном из его эссе о взаимосвязи фламандской и испанской живописи, лица присяжных на процессе. И среди них лицо фон Дельмайера. Пустое, бледное, заостренное книзу лицо страхового агента фон Дельмайера, помимо воли, всплывает в памяти усталого человека, лежащего на оттоманке. Узкое, с мелкими острыми зубами лицо это напоминает крысиную морду. Да и тонкий, глупый смех присяжного заседателя фон Дельмайера имеет что-то общее с крысиным писком. Весь этот человек — прожорливая, отвратительная крыса. А за ним, из-за его плеча выглядывает еще более бледное лицо. Гейер тяжко вздыхает, и вздох его звучит как подавленный мучительный стон. Усилием воли он заставляет себя подняться. Нет, так не отдохнешь. Он потягивается, зевает, блуждающим взглядом окидывает неприбранный кабинет. Время совсем не позднее. Пожалуй, можно еще отшлифовать кое-какие места своей защитительной речи. Нет, хотя сейчас и рано, разумнее лечь спать, чтобы завтра быть свежим. Почти машинально он надевает наушники; ему хочется на сон грядущий послушать немного музыки. Внезапно лицо его напрягается, взгляд становится острым, злым, сосредоточенным. Он слышит густой, бла-

годушный, насмешливый бас министра Кленка: «Человеку не дано достичь абсолюта. Изменить нормы, пронизав их насквозь национальным духом, помня, что они обретают плоть и кровь лишь в применении к живым людям,— вот наш идеал».

Адвокат и депутат ландтага Зигберт Гейер неторопливо снимает наушники, очень бережно кладет их на место. На лбу у него проступают пятна. Тыльной стороной руки он вытирает пот; теперь он уже не выглядит усталым. Извлекает из-под груды бумаг рукопись в синей папке, на обложке которой выведено: «История беззаконий». Эту рукопись он всюду таскает за собой: из конторы домой, из дому снова в контору. Он перелистывает страницы, сосредоточивается, что-то перечеркивает, пишет. В комнату осторожными, крадущимися шагами проскальзывает экономка Агнесса; хриплым, нервным голосом она ворчливо бубнит, что опять он не ужинал, а завтра у него тяжелый день, так никуда не годится, пусть он наконец поест. Он поднимет голову, невидящим взглядом смотрит куда-то мимо нее. Она начинает кричать. Он продолжает писать. В конце концов она удаляется. Проходит два часа. Он все еще сидит и пишет.

На другой день во время выступления в суде он держался превосходно. Его руки не дрожали, щеки не подергивались и не вспыхивали внезапным румянцем. Резкий голос звучал не очень приятно, но он владел собой и говорил не слишком быстро. Видел лица людей, следивших за движением его губ. Но чаще всего устремлял пронизывающий взгляд в напряженное лицо антиквара Лехнера, и по тому, как часто тот пользовался клетчатым носовым платком, определял, не сбился ли он с курса. Все стрелы его ораторского красноречия попадали в цель.

Правда, такой дока, как адвокат Лёвенмауль, заметил, что Гейер дважды отклонился в сторону. Первый раз он слишком долго распространялся о соблазнах современной эпохи, о распущенности нравов, о легкомысленной, опустошающей и в сущности бесстрастной погоне за наслаждениями. Он с трудом вернулся к основной теме речи, и совершенно зря, даже во вред подзащитному, отметил, что Мартин Крюгер тоже поддался жажде наслаждений, но что у него она во многом претворялась в любовь к искусству. Адвокат Лёвенмауль не заметил, что во время этой гневной филиппики Гейер, оторвав глаза от лица антиквара Лехнера, впился взглядом в бледное, прыщеватое лицо страхового агента фон Дельмайера, который, однако же, не отвел скучающего, насмешливого, нагло-вызывающего взгляда от быстро шевелившихся губ адвоката. Немного позже, как отметил про себя адвокат Лёвенмауль, его коллега вновь отклонился в

сторону и увлекся анализом общих проблем, о которых он первоначально говорить явно не собирался; он принялся рассуждать, кстати весьма темпераментно, об этике правосудия, что, однако, было бы более уместно в парламенте, чем в суде перед присяжными заседателями. А случилось это в тот момент, когда в зале неожиданно появился министр юстиции.

Но оба раза доктор Гейер быстро овладел собой. Даже враждебно настроенные газеты вынуждены были признать, что речь в суде известного адвоката Гейера произвела на присутствующих сильное впечатление.

20
НЕСКОЛЬКО ХУЛИГАНОВ И ОДИН ДЖЕНТЛЬМЕН

На следующий день после вынесения Крюгеру обвинительного приговора Иоганна Крайн отправилась к доктору Гейеру. Она шла бульварами вдоль берега реки Изар. Платье фисташкового цвета, узкое и короткое по моде того времени, не закрывало ее сильных ног, слишком полных для вкусов тех лет. Времени у нее было достаточно, и она шла медленно, не торопясь. Под ногами в туфлях на низком каблуке похрустывал песок. Дул свежий ветерок, в ярком свете баварского солнца город был виден как на ладони, и Иоганна испытывала к нему сейчас чувство нежной привязанности. Она наслаждалась дорогой и не без удивления отметила, что гнев ее прошел. Статная, высокая, она шла по аллее, опушенной молодой зеленью, вдыхая аромат раннего лета. Внизу быстро и мощно несла свои воды река. Иоганна была спокойна, полна готовности продолжать борьбу.

На боковой дорожке показались четверо парней, громко болтавших о чем-то. На одном была спортивная куртка серо-зеленого цвета. Они оглядели Иоганну с ног до головы, один из них помахал тонкой тростью. Затем, весело насвистывая, обогнали ее, несколько раз оглянулись, громко, с преувеличенной веселостью засмеялись и шумно расселись на скамейке. У Иоганны мелькнула мысль, не повернуть ли ей назад и не перейти ли на другую дорожку. Но эти четверо не спускали с нее глаз и явно выжидали, что она предпримет. Не ускоряя шага, Иоганна прошла мимо них. «Конечно, это она!» — сказал тот, что был в куртке. Другой, с тростью, смерив ее взглядом, громко присвистнул.

Едва она прошла, все четверо поднялись и последовали за ней. Навстречу ей шли двое маленьких детей, дальше никого на дорожке не было. Она шла все так же медленно, на ее высоком лбу обозначились три гневные морщинки. Еще минуты три хода, и эту дорожку пересечет другая, да и на этой должен же в конце концов кто-нибудь появиться. Четверо за ее спиной отпускают скабрезные замечания так громко, что она не может их не слышать. Они явно ждут какого-нибудь ответа с ее стороны, и тогда наверняка затеют скандал. Нет, она проявит выдержку и не будет им отвечать. Ведь как только на дорожке кто-нибудь появится, эти мерзавцы от нее отстанут. Вон там, впереди, уже мелькнула чья-то фигура, кажется, прилично одетый человек. Она смотрит прямо перед собой, на мост, узкой лентой протянувшийся над рекой, и на пелену тумана за мостом. Идущий навстречу человек быстро приближается. Четверо юнцов неотступно преследуют ее, чуть не наступая ей на пятки. Их грубые, циничные голоса звучат у нее в ушах, похоже, они выпили. Встречный, должно быть, заметив что-то неладное, ускоряет шаги.

— Барышня, вы что, с утра пораньше решили подыскать себе кавалера на ночь? А из нас никто не подойдет? Мы и четыре раза можем, и уж поверьте, не осрамимся. Ну хоть бы одним глазком на нас поглядели. Понятно, вам сначала нужно представить справку, что мы уже принесли ложную присягу.

Все это время она шла все так же спокойно и неторопливо. Но теперь, когда незнакомец уже близко, она ускоряет шаги и даже бежит ему навстречу так быстро, что развевается на ветру юбка. У худощавого незнакомца, одетого в хороший серый костюм, острые черты лица и светло-рыжие волосы.

— В чем дело? — спрашивает он скрипучим фальцетом.— Что вам угодно от этой дамы?

Полураскрыв от волнения рот, Иоганна Крайн стоит совсем рядом, протянув к нему руку, словно собираясь ухватиться за него, сейчас она уже скорее испугана, чем разгневана.

— Ну, на шлюху, которая вышла на промысел, смотреть пока еще можно,— поясняет один из парней. Сказано это было спокойно, почти добродушно и немного смахивало на отступление. Но незнакомец уже бросился на парня. Однако подставить парню подножку ему не удалось. Очевидно, господин обучался приемам джиу-джитсу, но недостаточно серьезно. Во всяком случае, он тут же очутился на земле, а четверо негодяев набросились на него и стали изо всех сил пинать ногами.

— Вы-то чего лезете? — кричат они.

— Верно, кот этой дамочки? — вопит один из них.

Позади них на дорожке показалась пожилая супружеская чета, и навстречу идут люди. Светловолосый господин молча и неподвижно лежит на земле. Иоганна Крайн отчаянно кричит, кричит в голос. Люди, идущие навстречу, ускоряют шаги, супружеская чета, видимо, боясь быть замешанной в драку, останавливается, затем поворачивает назад.

А те четверо смотрят на лежащего человека. Он по-прежнему недвижим, весь в грязи, изрядно помят, по руке и лицу текут струйки крови. Глаза его закрыты, но он дышит, хотя и очень слабо.

— Получил сполна, идиот, скотина,— не слишком уверенно говорит один из парней.

— Вам, барышня, вовсе незачем было так орать,— замечает тот, что в куртке.— Эти дамочки вечно орут, будто их режут!

— Никто вас не собирался трогать,— подает реплику третий.

Но четвертый, взмахнув тросточкой, весело и нагло бросает на прощание: «Уж не взыщите, барышня!» После чего все четверо отступают в полном порядке, однако весьма поспешно, в том самом направлении, куда удалилась супружеская чета, и как раз до того, как успевают подоспеть люди, идущие навстречу.

Иоганна Крайн опускается на колени рядом с лежащим, песок колет ей кожу. Подходят люди, вдруг собирается много народу: приятного вида рабочий, влюбленная парочка, должно быть, из мещан, девочка-подросток с портфелем, двое юношей, видимо, студенты, пожилая дама, опирающаяся на палку.

Светловолосый господин чуть приоткрывает один глаз.

— Они ушли? — негромко спрашивает он. Затем, с некоторым усилием выговаривая слова, своим высоким, скрипучим голосом добавляет: — Вы испачкаетесь.

— Вы в состоянии подняться? Не позвать ли врача? Скорую помощь? Полицейского? Что, собственно, произошло? — сыплются со всех сторон вопросы.

Незнакомец с оханьем и стоном, поддерживаемый со всех сторон, становится на ноги.

— Благодарю вас, но мне не требуется больше никакой помощи,— говорит он.

— Так отделать человека! — возмущается пожилая дама с палкой.— Такой прекрасный костюм!

— Вот если б достать щетку,— говорит светловолосый господин, тщетно пытаясь оттереть носовым платком кровь. Иоганна протягивает ему свой носовой платок.— Нет, дамские носовые платки для этого не годятся,— деловито замечает он. Он стоит, слегка пошатываясь, окруженный тесным кольцом зевак, его руки и лицо в крови, но, похоже, это его нисколько не смущает.

— Мне, право же, ничего не нужно, дамы и господа,— наконец говорит он,— там у моста всегда стоят такси. Тут всего пять минут ходьбы, и я вполне смогу добраться до них сам. Да и потом мне ничего, кроме воды и щетки, не нужно.

— Так отделать человека! — снова возмущается пожилая дама с палкой. Светловолосый господин направляется к мосту, а оживленный обмен мнениями все еще продолжается. Он, словно это само собой разумеется, берет Иоганну под руку. Окружающие слегка разочарованы: все кончилось, а подробностей узнать так и не удалось. Но поскольку все считают, что господин и дама — старые знакомые, им беспрепятственно дают уйти.

— Что-то ее лицо мне очень знакомо,— говорит один из студентов.

— Она не киноактриса? — мечтательно спрашивает девочка-подросток с портфелем.

— Он сам к нему пристал,— авторитетно сообщает кто-то.

— Кто? К кому? — восклицают другие, и новоявленный очевидец сообщает красочные подробности.

— Поглядите только, как они его отделали! — возмущенно взывает к остальным пожилая женщина с палкой, и все в некотором отдалении следуют за светловолосым господином, который идет, прихрамывая и опираясь на руку Иоганны. Теперь он уже не испытывает чувства досады.

— Разве не ловко я их провел? — с плутоватым видом обращается он к Иоганне.

— Как? Каким образом? — удивленно переспрашивает Иоганна, стараясь одновременно оттереть приставшую к юбке грязь.

— Я схватил его слишком низко и уж потом ничего не мог поделать,— объясняет он.— Ясно, что в этом случае самое умное — закрыть глаза и прикинуться мертвым.— Он все еще силь-

но прихрамывает.— По-вашему, было бы геройством, если бы я дал им избить себя еще сильнее?

Иоганна невольно улыбнулась.

— Кстати, вы знакомы с этими молодыми людьми? — спросил он, повернув к ней умное, в мелких морщинках лицо и хитро улыбаясь.

— То есть как это? — вскинув брови, изумилась Иоганна.

— Раз вы не хотите мне рассказать об этом инциденте, у вас, вероятно, есть на то свои основания,— сказал он.— А я не отказался бы узнать подробности. Должен вам признаться, я от природы любопытен.— Он снова доверчиво и лукаво посмотрел на нее.— Ой! — внезапно вскрикнул он оступившись. Но, когда она хотела его поддержать, он сразу же заворчал:

— Да уберите же руку, вы только измажетесь в крови.

— Конечно же, я не знаю этих молокососов,— сказала Иоганна,— но они, должно быть, меня узнали.

— Как это узнали? — спросил он фальцетом.— Вас непременно все должны узнавать? Вы что, кинозвезда? Или чемпионка по плаванию? Впрочем, теперь мне ваше лицо в самом деле кажется знакомым.

— Как хорошо, что мы уже добрались до машины,— сказала Иоганна, так как лицо его снова исказилось гримасой боли.— Эта история, кажется, не прошла для вас даром. Может, мне все-таки проводить вас?

— Ерунда,— сказал он. И после короткого молчания добавил: — Меня зовут Жак Тюверлен. Если пожелаете, можете справиться о моем здоровье. Мой номер есть в телефонной книжке.

Она вспомнила, что где-то встречала это имя, но все же попросила Тюверлена продиктовать его по буквам. Потом сказала:

— А меня зовут Иоганна Крайн.

— Ах так, припоминаю,— подумав, после короткой паузы сказал он.— Но тогда, пожалуй, и впрямь будет лучше, если вы поедете со мной. Не ради меня, а в силу сложившихся обстоятельств.— Лицо его покрылось сетью морщинок. Он умолк и выжидательно поглядел на нее.

Она тоже взглянула на него и увидела, что у него широкие плечи и узкие бедра. Мотор уже был заведен. Помедлив с минуту, он сел в машину.

— О, не думаю, чтобы кто-нибудь снова пристал ко мне.— не сразу ответила Иоганна.— Эти четверо, верно, были пьяны. В общем-то здешние обитатели вполне миролюбивы.

— Вы так думаете? — протянул он.— Тем не менее при всем своем миролюбии они за последние годы убили немало людей.

Он уже сидел в машине, мотор громко урчал.

— Вы владеете приемами джиу-джитсу? — спросил он. И, так как она, смеясь, покачала головой, добавил: — Тогда вам все же лучше поехать со мной.— Прищурившись, он глядел на нее лукавыми, немного сонными глазами.

— Но в половине двенадцатого мне нужно быть у адвоката,— сказала она, ставя ногу на подножку.

— Так-то благоразумнее,— весело сказал он, когда она села рядом с ним, и машина тронулась.

КНИГА ВТОРАЯ

СУЕТА

1. В вагоне метро
2. Несколько попутных замечаний о правосудии
3. Посещение тюрьмы
4. Пятый евангелист
5. Fundamentum Regnorum
6. Необходимы законные основания
7. Господин Гесрейтер ужинает в Мюнхене
8. Некоторые замечания по делу Крюгера
9. Жених в арестантской одежде
10. Письмо в снегу
11. «Пудреница»
12. Живая стена Тамерлана
13. Смерть и преображение шофера Ратценбергера
14. Кое-какие исторические сведения
15. Комик Гирль и его народ
16. Свадьба в Одельсберге
17. Заветный ларец Каэтана Лехнера
18. Керамическая фабрика
19. Давид играет перед царем Саулом
20. И все же — ничто не гнило в Баварском государстве
21. Долг писателя.
22. Шофер Ратценбергер в чистилище
23. «Ночные бродяги»

1

В ВАГОНЕ МЕТРО

Вагон номер четыреста девятнадцать берлинской наземно-подземной дороги был в тот час, после окончания работы, битком набит. Одна половина вагона с красными кожаными сиденьями сверкала красным лаком, другая — с деревянными скамьями — желтым. Люди стояли, держась за поручни, стиснутые со всех сторон, прижатые к коленям сидящих. Они толкали друг друга локтями, сжимались, как могли, бранились, извинялись. Один из пассажиров, от которого сильно пахло карболкой, сидел в углу, прислонившись к стене вагона забинтованной головой и прикрыв глаза; какая-то дама посасывала шоколадные конфеты с начинкой, извлекая их из пакетика, другая поминутно роняла то сумочку, то какой-нибудь из бесчисленных свертков. Беспомощный господин в очках, несмотря на все старания, непрерывно толкал соседей, какой-то ловкий жулик обшаривал карман стоявшего рядом, какая-то дама возилась с губной помадой. Две молодые девушки мешали другим пассажирам своими теннисными ракетками, а человек в синей блузе — похожим на пилу инструментом, который, по убеждению большинства, вообще не положено возить в метро.

Весь этот людской конгломерат, хихикая, споря, заключая сделки, флиртуя, распространяя запах духов, с отупевшим видом цеплялся за поручни, в том же механическом ритме, что и сам поезд, шатался и покачивался на крутых поворотах в такт его движению, одинаково щурился, когда поезд из освещенного электричеством туннеля выскакивал наверх, навстречу яркому предзакатному июньскому солнцу.

Многие читали свежие выпуски вечерних газет с фотографиями и огромными, возбуждавшими любопытство заголов-

ками. ПОКУШЕНИЕ НА ДЕПУТАТА ГЕЙЕРА гласил набранный крупными буквами заголовок одной из газет. Другая газета, наоборот, напечатала это сообщение мелким шрифтом и на второй полосе, отведя на первой главное место броскому заголовку: КРУПНЫЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ЧИНОВНИКОВ-СОЦИАЛИСТОВ.

Но независимо от крупного или мелкого шрифта читатели обеих газет могли узнать, что пополудни на одной из тихих улиц города Мюнхена трое неизвестных напали на адвоката Гейера и так избили его дубинками, что он, истекая кровью, остался лежать на земле. Преступники скрылись. Первая газета бурно негодовала на то, что в Мюнхене можно среди бела дня безнаказанно напасть на человека, и объясняла одичание нравов попустительством со стороны властей. Вторая упоминала лишь о «легком ранении» доктора Гейера и высказывала предположение, что скорее всего — это акт личной мести. Все, кому известно, сколь вызывающе ведет себя этот адвокат, что вновь проявилось на недавнем процессе Крюгера, если и не оправдают эксцесс, то, во всяком случае, поймут его причину.

Вот каким образом эту новость узнало двадцать восьмого июня большинство пассажиров вагона номер четыреста девятнадцать берлинского метро. «А все потому,— подумал тучный, страдавший одышкой господин,— что слишком уж этот Гейер лез на рожон. Я при своем слабом сердце не мог бы себе позволить подобных вещей. Разумеется, это создает человеку рекламу. Но платить за нее ценой таких волнений — себе дороже». Он вытер мокрое от пота лицо, погладил собаку, которая беспокойно терлась о его ноги, и твердо решил и в дальнейшем держаться от политики подальше.

«А все потому, что эти евреи вмешиваются в наши дела, которые их вовсе не касаются,— подумал внушительного вида господин в охотничьем костюме и высоких сапогах.— Сами во всем виноваты».

«Мюнхен,— подумал толстяк с массивной тростью,— акции пивоваренных заводов. Не повлияет ли эта история на их курс? Если он не поднимется выше, так я и останусь без автомобиля».

Двое молодых людей, склонившихся над газетой, прочтя эту новость, переглянулись и продолжали сидеть молча, взволнованные и расстроенные.

— Когда реакционная сволочь избивает рабочего,— высоким, прерывающимся голосом произнес молодой человек в плохоньком пиджаке, обращаясь к двум другим,— а это происходит

чуть ли не каждый день, заголовков жирным шрифтом в газетах не найдешь.

Какой-то здоровенный детина в куртке враждебно поглядел на говорившего, раздумывая, не следует ли вмешаться, но поняв, что в этом вагоне он вряд ли найдет поддержку у большинства пассажиров, ограничился свирепым взглядом.

«Опять эта грязная политика»,— подумал человек с огромным перстнем на пальце, на лице которого, точно маска, застыло выражение мужественности, и стал перелистывать газету, пока не нашел рецензию на вчерашнюю премьеру, где играл его товарищ.

— Я всегда говорил,— басистым голосом произнес еврейского вида господин, обращаясь к даме,— не нужно ездить на баварские курорты. Когда туристов там поубавится, эти субъекты сразу перестанут выкидывать такие фокусы.

— Если они и дальше будут выкидывать такие фокусы,— сокрушалась молодая женщина в очках,— цены на масло подскочат еще выше. Уже сейчас фунт стоит двадцать семь марок двадцать пфеннигов. К концу недели и так приходится давать Эмилю с собой на завтрак сухой хлеб.

«Не послать ли телеграмму с выражением сочувствия? — думал про себя бледный, аскетического вида господин в пенсне, с громадным, мешавшим его соседям портфелем.— Если не пошлю, скажут: «Вас вообще ничто не волнует». А если пошлю, и потом дело обернется скверно, эти деятели начнут ворчать».

— Ну и времена пошли! — сокрушалась какая-то нервная дама, через плечо соседа прочитав новость о покушении.

— Кого это казнили? — громко спросила ее полуглухая дряхлая старуха-мать.

— Доктора Гейера.

— Это не тот ли министр, который вызвал инфляцию? — кричала мамаша с другого конца вагона. Кто-то пытался ей объяснить, в чем дело, кто-то возмущенно требовал прекратить, наконец, шум.

— Значит, тот самый министр,— удовлетворенно констатировала глухая.

На каждой остановке люди выскакивали из вагона, быстрым шагом направлялись к выходу, торопясь к ужину, к девушке, к другу, в кино. Уже на лестнице, ведущей на улицу, они успевали забыть о газетной новости, и громкие, пронзительные крики продавцов газет: «Покушение на депутата Гейера!» — для этих куда-то спешивших людей звучали как нечто устаревшее и докучное.

2

НЕСКОЛЬКО ПОПУТНЫХ ЗАМЕЧАНИЙ О ПРАВОСУДИИ

Экономка Агнесса провела Иоганну Крайн в спальню, где лежал больной адвокат Гейер. Тщетно стараясь говорить потише, экономка плаксивым голосом запричитала, что с доктором нет никакого сладу. Всего только второй день, как вернулся из больницы, а уж рад бы отослать сиделку и засесть за работу. Несмотря на запрет врача, он на сегодняшний вечер вызвал своего помощника, а на завтра — управляющего конторой. И с Иоганной наверняка собирается беседовать не только о предписанной ей диете.

Едва Иоганна вошла, Гейер отослал сиделку. Иоганна внимательно и сочувственно оглядела худое, бледное лицо адвоката. Теперь особенно четко обозначился его крупный череп, высокий лоб, впалые виски, тонкий, заострившийся нос. Голова была забинтована, щеки поросли рыжеватой щетиной, голубые глаза потускнели и казались больше обычного. Не успела сиделка выйти, как он исхудалой рукой нашарил очки, пользоваться которыми ему было запрещено. И как только он ими вооружился, так сразу же стал похож на прежнего энергичного Гейера.

О случившемся он говорил с подчеркнутым безразличием. Смеялся над бесконечными газетными вымыслами. Ведь покушение не повлекло за собой серьезных последствий. Сотрясение мозга уже почти не дает себя знать, рана над глазом не опасна. В худшем случае тазобедренный сустав станет менее подвижным.

Как только температура спала и он снова обрел способность мыслить трезво и ясно, он решил не принимать эту историю всерьез. Перебирая в уме все подробности, он приходил к выводу, что держался тогда достойно. Услышав на тихой, безлюдной улице позади себя торопливые шаги, он обернулся, и в краткий, но для него бесконечно долгий миг до удара уже понял, что сейчас его ранят — возможно, даже смертельно. В то мгновение он не ощутил страха, не струсил, сохранил хладнокровие перед лицом опасности. Он был доволен собой.

Правда, было одно обстоятельство, которое его угнетало. Тогда, обернувшись, он увидел трех парней. Он видел их какие-нибудь доли секунды; к тому же тот, который интересовал его больше всего, укрылся за двумя другими и нагнул голову. И все же он был почти уверен, что узнал это наглое, пустое,

насмешливое лицо с мелкими, крысиными зубами. Возможно, это была лишь бредовая идея, плод воображения. Но мысли Гейера, как он ни боролся с собой, беспрестанно возвращались к этому лицу. Было бы нетрудно получить более достоверные сведения: достаточно было назвать следователю имя страхового агента фон Дельмайера. Но если пустонорожний страховой агент был замешан в этом деле, тогда о покушении наверняка знал и кое-кто другой. Но об этом Гейер узнавать не желал; он предпочитал оставаться в неведении.

В общем же он отнесся к покушению довольно спокойно. С подобными неприятностями может столкнуться всякий, кто борется во имя идеи. Если бы не воспоминание о том лице, он испытывал бы даже некоторое удовлетворение от своих страданий. Но стоило ему вспомнить о том мелькнувшем на миг лице, как раны его начинали ныть, и появлялось такое чувство, будто череп сверлят острым буравом, что-то жгло под закрытыми веками — на кровати лежал беспомощный, разбитый человек.

Спокойная, ясная сидела Иоганна в спальне, кое-как обставленной случайной, стандартной мебелью. Всякое кокетство было противно ее натуре, и в подчеркнутом безразличии, с каким Гейер рассказывал о случившемся, ей почудилась рисовка. Поэтому она почти не поддерживала разговора и вскоре перевела его на дело Крюгера, ради которого, собственно, и пришла.

Мартин Крюгер после приговора наотрез отказался от подачи кассационной жалобы. Иоганна сочла это просто театральным жестом, позой обиженного: чем мне, мол, хуже, тем лучше. Но она не смогла переубедить его. По-видимому, его фатализм имел глубокие корни. Она надеялась, что резонные доводы адвоката поколеблют решение Мартина, заставят его бороться с проклятым невезением. Но за день до истечения срока подачи кассационной жалобы на Гейера было совершено нападение. Его помощнику не удалось уговорить Крюгера изменить свое решение. Срок был упущен, и Мартина перевели в исправительную тюрьму Одельсберг.

Гейер сухо обрисовал ей положение вещей. На пересмотре дела согласно параграфу триста пятьдесят девятому можно настаивать лишь в случае предъявления новых фактов или доказательств, могущих в совокупности с уже ранее приведенными доказательствами послужить для суда основанием для вынесения оправдательного приговора. К примеру, если б удалось доказать, что шофер Ратценбергер дал ложную присягу. Он, Гейер, само собой разумеется, уже предпринял необходимые шаги

и подал соответствующее заявление о лжесвидетельстве Ратценбергера. Но крайне сомнительно, что прокуратура возбудит дело против шофера, раз уж у нее достало ума не возбуждать дело даже против нее, Иоганны Крайн. Больше того, власти решили предать эту историю полному забвению. Добиться помилования сейчас — почти нереально. В этом смысле ожесточенные нападки прессы других германских земель на позорный приговор приносят больше вреда, чем пользы.

— Так что юридическим путем,— резюмировал он,— помочь Крюгеру невозможно.

— А другим? — спросила Иоганна, подняв к нему лицо и устремив на него свои большие серые глаза.

Гейер снял очки и, полузакрыв покрасневшие веки, снова откинулся на подушки. Он потратил слишком много сил. И ради чего, собственно?

— Возможно, вы смогли бы повлиять на власти с помощью светских связей,— вялым голосом ответил он наконец.

И когда он говорил это, перед Иоганной по странному совпадению возникло пухлое лицо с задумчивыми, подернутыми поволокой глазами и маленьким ртом, произносившим слова медленно и осмотрительно. Но ей никак не удавалось вспомнить имя этого человека. Это был один из присяжных заседателей, который вступился за нее, когда прокурор так нелепо к ней придрался. Иоганна взглянула на лежавшего Гейера, очень худого, вялого, сильно уставшего от разговора. Ясно, что пора встать и распрощаться. И все же она резко спросила его:

— Скажите, доктор, как звали того господина, ну, того присяжного заседателя, который вступился за меня перед прокурором?

— Это был коммерции советник Гесрейтер,— ответил адвокат.

— Вы думаете, он может чем-нибудь помочь? — спросила Иоганна.

— Вполне возможно,— сказал Гейер.— Правда, я имел в виду других.

— А именно? — спросила Иоганна.

В дверь постучали; должно быть, экономка Агнесса напоминала, что пора уходить. Гейер с видимым трудом назвал Иоганне пять имен. Она старательно записала их. И лишь после этого ушла. Вначале Гейер был рад приходу Иоганны Крайн. Теперь же, после ее ухода, он совсем обессилел. Оттопыренная верхняя губа обнажала крепкие желтые сухие зубы. Его мучило

воспоминание о том лице. Экономка шепотом объясняла сиделке, что неразумно было допускать к больному эту даму.

Перед своим домом на Штейнсдорфштрассе Иоганна увидела Жака Тюверлена, ожидавшего ее в своем маленьком французском автомобиле. Она обещала поехать с ним сегодня за город.

— Видите,— весело сказал он,— я был благоразумен и посигналил всего два раза. Потом сообразил, что вас нет дома, и сидел тихо как мышь. Если бы я продолжал гудеть, верно, переполошилась бы вся улица. Хотите, поедем на Аммерзее? — предложил он. Она согласилась: ей нравилось это тихое, непритязательное место.

Тюверлен вел машину не очень быстро, но уверенно. Из-под больших автомобильных очков его лицо в мелких морщинках светилось умом, он был в превосходном настроении, говорил много и откровенно. За это время они уже встречались дважды, но, занятая своими мыслями, Иоганна пропускала тогда его откровения мимо ушей. Сегодня она слушала Тюверлена более внимательно.

Справедливость,— говорил он, в то время как машина по диагонали пересекала плоскую равнину, направляясь к бледным расплывчатым горам вдали,— жажда справедливости во времена политических неурядиц — это своего рода эпидемия, которой следует остерегаться. Одного подстерегает грипп, другого — юстиция. В Баварии эта эпидемия особенно опасна. Мартин Крюгер предрасположен к болезни, именуемой жаждой справедливости, и ему следовало принять профилактические меры. Ему не повезло. Но для общества этот случай интереса не представляет, и трагедии здесь нет. Впрочем, все это он ей уже говорил.— И он стал объяснять различные тонкости управления машиной.

Ее удивляет,— сказала она немного позднее, так как была медлительна и часто отвечала лишь спустя какое-то время,— ее удивляет, что он еще не потерял желания встречаться с ней. Ведь ее мысли заняты почти исключительно судьбой Крюгера.

Жак Тюверлен искоса поглядел на нее. Она имеет на это полное право, невозмутимо заметил он, сосредоточенно и безупречно выполнив поворот.— Ведь это дело ее занимает. Единственным оправданием наших поступков является удовольствие, которое мы от них получаем. Стоит незаурядному человеку внести в какое-нибудь самое скучное дело элемент удовольствия, как оно сразу же становится интересным.

Его поросшие рыжеватым пушком, веснушчатые, мускулистые руки уверенно лежали на руле. Верхняя челюсть с крупными, здоровыми зубами, резко выдавалась вперед на странно голом лице, глубоко сидящие глаза над тонким носом окидывали все и всех быстрым взглядом, успевая следить за дорогой, местностью, встречными, за спутницей.

— Я люблю говорить обо всем с предельной откровенностью,— пояснил он своим высоким, скрипучим голосом.— Изыскивать хитроумные окольные пути — слишком долго и сложно, для нашего времени они не подходят, быстрее и удобнее — прямой путь. Итак, я вам сразу признаюсь, что однажды в своей жизни совершил большую глупость. Это случилось, когда я принял германское подданство. Сентиментальный жест из жалости к побежденной стране — глупость в квадрате! Впрочем, курс моих швейцарских марок и Лига Наций, повысившая доход с моей женевской гостиницы, позволяют мне, не отказываясь от жизненных благ, говорить то, что я думаю. Мои книги столь же высоко ценятся за границей, сколь мало — в самой Германии. Мне лично процесс творчества доставляет удовольствие. Я пишу медленно, с трудом, но читаю свои опусы с наслаждением и нахожу их превосходными. Прибавьте к этому, что я слыву богатым, и потому мне платят большие гонорары. По-моему, жизнь очень приятная штука. Я предлагаю вам, Иоганна Крайн, соглашение на деловой основе. Я, Жак Тюверлен, проявлю интерес к делу Крюгера, в которое вы вложили свое удовольствие, а вы заинтересуетесь тем, что доставляет удовольствие мне.

Они пообедали в деревенском кабачке. Им подали наваристый суп, большой кусок сочной телятины, приготовленной просто и бесхитростно, картофельный салат. Перед ними лежало озеро, широкое и светлое, горы позади него были окутаны туманом. Было безветренно, и старые каштаны в саду кабачка словно замерли. Иоганну удивило, с каким аппетитом ел Жак Тюверлен, худощавый на вид.

Потом они катались на лодке по озеру. Он греб не напрягаясь, вскоре вообще опустил весла, и лодка медленно покачивалась на волнах. Разомлев, они грелись на солнце. Тюверлен щурился и был похож на веселого, бесшабашного мальчишку.

— Вы считаете меня циником, потому что я обо всем говорю откровенно? — спросил он.

Иоганна рассказала ему о своем визите к доктору Гейеру. Жак Тюверлен находил, что мученики всегда немного смешны. Физическое насилие над доктором Гейером относится к издерж-

кам его профессии. Мнение о том, будто мученики приносят пользу делу, в которое верят,— всего лишь модный предрассудок. Смерть человека ничего не говорит о его истинных достоинствах. Остров Святой Елены еще не делает человека Наполеоном. Неудачники обычно ссылаются на удары судьбы. Обагрить дело кровью, конечно, верное средство, но это должна быть кровь врага. Справедливость — лишь результат успеха. Победителей не судят.

Все это писатель Жак Тюверлен объяснял Иоганне Крайн, плывя по Аммерзее на старой, рассохшейся лодке. Иоганна слушала его, высоко подняв брови. Ее, истинную баварку, коробили его слова, ей был неприятен его бесцеремонный, деловой тон.

— Так вы согласны помочь мне в деле Крюгера? — спросила она, когда он умолк.

— Разумеется,— лениво ответил он, лежа на дне лодки и беззастенчиво оглядывая ее с ног до головы.

3

ПОСЕЩЕНИЕ ТЮРЬМЫ

Поездка в тюрьму Одельсберг, находившуюся в Нижней Баварии, была долгая и утомительная. Инженер Каспар Прекль вызвался отвезти Иоганну на автомашине, предоставленной ему правлением «Баварских автомобильных заводов». У этой машины был хороший мотор, но комфортабельной ее никак нельзя было назвать. Шел дождь и было прохладно. Плохо выбритый, мрачный и худой, в кожаной куртке и кожаной кепке, Каспар Прекль сидел в принужденной, некрасивой позе рядом с рослой, цветущей женщиной и весьма резко высказывал крайние взгляды. Иоганна не знала, как себя держать с ним. Его мысли отличались оригинальностью, остротой, фанатизмом, умом.

Молодой инженер, начисто лишенный светского лоска, создал себе теорию, согласно которой с людьми надо беседовать об их делах, а не о своих, и тем более не на общие темы. Ведь обычно люди хорошо разбираются в своих делах, а в чужих — ничего не смыслят, и уж тут от них вряд ли услышишь что-либо интересное и полезное. Поэтому с Иоганной Крайн он заговорил о женских делах — о браке, о женском труде, о моде. Он зло высмеивал брак, как нелепый капиталистический институт, издевался над представлением о том, будто человеком можно владеть. Заметил, что сейчас, после войны, смешно сохранять фикцию «культа дамы». Постепенно он разговорился, подобрел, стал

живым и находчивым. Иоганна почувствовала, что лед взаимного отчуждения начал понемногу таять. Но тут Прекль затеял шумную ссору с возницей какой-то колымаги, который не расслышал его сигнала и вовремя не свернул с дороги. Прекль покраснел, стал кричать. Людей в повозке было больше, и настроены они были весьма воинственно: дело едва не кончилось дракой. Всю остальную дорогу Каспар Прекль был угрюм и молчалив.

Оформление пропусков длилось целую вечность.

— Вы родственница Крюгера?

— Нет.

Чиновник снова взглянул на фамилию в пропуске.

— Ах так...

Еще секунда, и Иоганна не выдержала бы и взорвалась. Затем им пришлось бесконечно долго стоять в мрачных коридорах и в холодной канцелярии под любопытными взглядами писарей и надзирателей. Сквозь зарешеченное окно был виден двор с шестью жалкими, замурованными деревьями. Наконец в зал свиданий первым вызвали Каспара Прекля.

Иоганна осталась ждать. Вернувшись, Прекль сказал, что не в силах больше оставаться здесь и подождет ее у главных ворот. Сейчас он казался Иоганне деятельным, оживленным, не таким мрачным, как обычно.

Увидев Крюгера, Иоганна испугалась. Она ожидала встретить человека опустившегося. Но ее испугало не то, что этот прежде крепкий, довольно полный человек стоял теперь перед ней изможденный, неряшливый и вялый, с поросшим густой щетиной серым лицом и угасшими глазами, а то, что он так мирно улыбался. Жалобы она бы перенесла, стерпела бы и слезы, но от этой спокойной улыбки на сером лице веяло чем-то замогильным. Безропотное приятие собственной погибели человеком, которого она знала таким жизнерадостным и темпераментным, привело ее в смятение, лишило дара речи.

Доктор Гейер рассказывал ей, что на второй день после перевода Крюгера в эту тюрьму он впал в буйство, что привело к сердечному приступу. Тюремный врач склонен был считать этот приступ симуляцией. Но так как за последнее время несколько случаев «симуляции», к удивлению врача, окончились смертью «симулянтов», Крюгера из предосторожности положили в лазарет. Доктор Гейер выяснил, что и после выздоровления Крюгера с ним обращались довольно осторожно. У него сложилось такое впечатление, объяснил адвокат Иоганне, что Крюгер так же ошеломлен своей участью, как зверь, попавший

в неволю. Таким она и ожидала увидеть его. Но перед ней, отделенный решеткой, стоял совсем другой человек, посеревший, старый, опустившийся и совершенно чужой; он улыбался странной, умиротворенной улыбкой. И с этим человеком она путешествовала? Много раз! Спала с ним? Неужели это тот самый человек, который из озорства заставил бургомистра того провинциального городка произнести забавный тост? Тот самый, который в баре «Одеон» дал пощечину какому-то господину весьма импозантного вида только за то, что сальные замечания этого человека о писателе Ведекинде действовали ему на нервы?

Он очень рад ее приезду, сказал человек за решеткой. О своем теперешнем положении он старался не говорить. Нет, он не чувствует себя несчастным. Ему абсолютно все безразлично. По работе он не соскучился. Все написанное им прежде, по его мнению — сплошная ерунда. Есть лишь одно, о чем, возможно, стоило бы написать, он говорил об этом с Каспаром Преклем. Очень благородно, что Иоганна борется за его освобождение. Он уверен, что она и Гейер все сделают наилучшим образом. Он понимает, что со стороны его положение кажется хуже, чем здесь, в этих стенах. Его серое, худое лицо сейчас, когда он так спокойно ронял слова, казалось ей совсем не похожим на лицо человека, со страстью отстаивавшего прежде свои взгляды. Он говорил как-то вяло, миролюбиво, очень вежливо и туманно. У надзирателя не было ни малейшего повода вмешаться. Она даже обрадовалась, когда надзиратель объявил наконец, что время свидания истекло. Вялый, с землистым лицом человек протянул ей сквозь прутья решетки руку, несколько раз поклонился. Пораженная разительной переменой в нем, Иоганна только теперь заметила, что его еще и коротко остригли.

Почти бегом бросилась она по длинным коридорам к выходу, к главным воротам. Спокойствие Мартина было страшнее любого приступа бешенства. Она сбилась с дороги и вынуждена была вернуться назад. Через окно она снова увидела исхлестанный дождем двор с шестью жалкими, замурованными деревьями. Однажды сторож зоопарка объяснял ей, что звери не чувствуют неволи. Когда они, бегая взад-вперед по своей клетке, отмеряют десять тысяч раз подряд короткие шесть метров, они испытывают то же ощущение, как если б одолели расстояние в шестьдесят километров. Львица, родившая детеныша в неволе, весь день таскает его взад и вперед, очевидно, желая унести как можно дальше от логова, и тем самым спасти от прожорливого отца. Значит, для зверя важен путь, а не расстояние.

Вероятно, адвокат прав: Мартин Крюгер так же плохо представляет себе свое положение, как только что пойманный зверь.

Каспар Прекль все еще находился под впечатлением короткого разговора с другом. Его худое лицо с низко заросшим лбом выражало сильнейшее волнение. Он находил, что Мартин Крюгер в отличной форме.

— Он отыщет путь к истине,— убежденно сказал Прекль.— Вот увидите, он отыщет путь к истине.

Единственное, что продолжало занимать Мартина (об этом они с ним и говорили), это картина «Иосиф и его братья». Иоганна заметила, что для поисков исчезнувшей картины, наверно, следовало бы прибегнуть к помощи какого-нибудь сыскного бюро. Но выяснилось, что Крюгер категорически это запретил.

Иоганна никак не могла забыть о том, каким странным, деловым тоном говорил Мартин о ее хлопотах. «Она и адвокат Гейер все сделают наилучшим образом»,— да, точно так он и сказал. Однако с Каспаром Преклем он беседовал об «Иосифе и его братьях».

На обратном пути она была куда менее разговорчива, чем ее спутник. А Каспар Прекль все пытался втолковать ей, что ему в книгах Мартина нравится и что нет. То, что Мартин назвал их «сплошной ерундой», конечно, преувеличение. Но совсем неплохо, что он теперь так считает. «Он отыщет путь к истине»,— убежденно повторил Прекль, пристально глядя на Иоганну глубоко запавшими, горящими глазами.

Когда она, простившись с Преклем, поднималась к себе домой по лестнице, перед ее глазами все еще стояли три образа: миролюбивый, вялый, серолицый человек за решеткой, горящие, глубоко запавшие глаза молодого инженера, шесть жалких, замурованных деревьев на тюремном дворе.

4
ПЯТЫЙ ЕВАНГЕЛИСТ

Барон Андреас фон Рейндль, генеральный директор «Баварских автомобильных заводов», взглянув на часы, увидел, что уже почти половина одиннадцатого. А он пометил в календаре, что ровно в половине одиннадцатого должен принять своих директоров Отто и Шрейнера. Сейчас на телефонном аппарате загорится сигнальная лампочка, и секретарь доложит об их при-

ходе. Г-н фон Рейндль не испытывал ни малейшего желания проводить это совещание. Технологические тонкости работы «Баварских автомобильных заводов» его не интересовали, и если он обсуждал их со своими подчиненными, то это была лишь простая формальность, скучная необходимость.

Он порылся в письмах и в вырезках из газет, которые уже лежали на его помпезном письменном столе. Окинул довольно безразличным взглядом карих глаз всю эту кипу бумаг. Наконец, извлек из пачки берлинский журнал в ядовито-зеленой обложке. Бледными, пухлыми пальцами перелистал его и остановился на статье «Пятый евангелист», жирно отчеркнутой карандашом. Он, видно, входит в моду у фельетонистов, пишущих на экономические темы. Общество явно проявляет интерес к его духовной жизни. По мере того как он неторопливо читал статью, его верхняя губа под иссиня-черными усами на одутловатом лице оттопыривалась все сильнее. В статье говорилось:

«Господин фон Рейндль, генеральный директор «Баварских автомобильных заводов» и «Дунайской пароходной компании», фактический владелец пивоваренного завода «Капуцинербрауэрей» и газеты «Генеральанцейгер», совладелец ряда других предприятий, безусловно занимающий ведущее положение среди баварских промышленников, несмотря на свою принадлежность к партии баварских автономистов, все же не соответствует обычному представлению о баварцах. Сейчас ему под пятьдесят, в молодости же он слыл тем, что в Мюнхене принято называть «фруктец» или же «блудный сын». Он много путешествовал, проявляя странные, необычные для мюнхенца пристрастия. Возвратившись в Баварию, господин фон Рейндль стал кумиром немногочисленных местных бонвиванов. Вероятно, именно с того времени и прилепилось к нему прозвище «Пятый евангелист». Это прозвище, несмотря на его туманный смысл, сохраняется за ним вот уже целых двадцать лет. Молодой человек необычайно красивой наружности, он со своими иссиня-черными волосами и пушистыми усами резко выделялся в среде мюнхенцев. Красоту он, вероятно, унаследовал от своей бабки, Марианны фон Плачотта, портрет которой король Людвиг Первый заказал для «галереи красавиц» в своей резиденции. В те времена фон Рейндль был предметом безграничного обожания всех без исключения мюнхенских дам, душою всех празднеств, начиная от великосветских балов и кончая пирушками простонародья в пивных погребках, и наряду с принцем Альфонсом — одним из самых популярных людей в городе. Однако, несмотря на изящество, светскость, успех у женщин, этот отпрыск бога-

той, старинной и аристократической семьи ни при дворе, ни в «Купеческом клубе», ни в обществе, ни в «Мужском клубе» никогда не пользовался особыми симпатиями».

Дойдя до этого пассажа, г-н фон Рейндль удивился — он прежде не замечал ничего такого, о чем писал берлинский журналист, и ни разу никто не говорил ему об этом. Но теперь, научившись с годами более трезво смотреть на прошлое, он нашел, что автор фельетона, пожалуй, прав, и улыбнулся не без некоторого удовлетворения.

«Характер и судьба Андреаса Рейндля,— читал он дальше,— резко изменились, когда после преждевременной кончины Рейндля-старшего в его руки перешло управление многочисленными предприятиями. С невероятной энергией он окунулся в деловую жизнь, не отказываясь, впрочем, и от личной, по-прежнему весьма бурной. Уволил ряд старых служащих, своевременно почувствовал неизбежность войны и вовремя перестроился. Вопреки всем мюнхенским традициям, установил выгодные связи с тяжелой промышленностью Запада».

Вспыхнул сигнал телефонного аппарата. Г-н фон Рейндль не обратил на него никакого внимания. Поднялся, и, тяжелый, массивный, заходил взад и вперед по комнате, не выпуская из бледных, пухлых рук журнала в ядовито-зеленой обложке.

«Этот глава баварских промышленников,— читал он дальше,— слабо разбираясь в технике, острым чутьем сумел уловить, откуда дует ветер. Он основал первое в Германии общество воздушных сообщений и немецкий автомобильный завод. Когда во время войны наиболее крупные промышленники делили между собой страну, «сферой влияния» г-на фон Рейндля была определена Юго-Восточная Германия. Но господам с Рейна и Рура не всегда удавалось удержать этого деятельного господина в пределах его «владений» и отстранить от других начинаний.

Фон Рейндль резко отличается от остальных крупных промышленников. Создается такое впечатление, будто он производит автомобили не для того, чтобы делать деньги, и еще меньше — для того, чтобы делать автомобили, а просто потому, что ему доставляет удовольствие самый процесс производства. В сущности, ему доставляет удовольствие производить в огромном количестве автомобили и пиво, вдохновлять националистические боевые союзы и бурлящую толпу, управлять судоходными линиями, газетами и гостиницами. Он оказывал большую поддержку искусству, исходя, впрочем, только из своих собственных пристрастий. Когда в недавнем прошлом парламент

из тупого упрямства лишил дотации мюнхенскую картинную галерею, фон Рейндль выложил требуемую сумму из своего кармана. Он содействовал также покупке государством картины «Иосиф и его братья», вызвавшей столь шумные споры. Многие мюнхенцы видят в нем сумасброда. Дела, религия, любовные увлечения, произведения искусства в жизни Пятого евангелиста сплелись в один клубок. Для внимательного наблюдателя единственным бесспорным мотивом его действий, наряду с пресловутой смятенностью баварской души, были любопытство, жажда сильных ощущений, погоня за сенсацией».

Закончив чтение статьи, г-н фон Рейндль прошелся по просторному кабинету легкой походкой, сохранившейся еще с прежних лет, и как-то не вязавшейся с его отяжелевшей фигурой. Он взглянул на картину «Похищение Европы», приписываемую Джорджоне, и остался недоволен. Даже на знаменитый портрет своей матери работы Ленбаха он поглядел неприязненно. Вся комната внезапно показалась ему похожей больше на залу музея, чем на кабинет. Какая чушь! Он посмотрелся в узкое зеркало и нашел, что лицо его обрюзгло и что вообще у него нездоровый вид. Бросив на письменный стол ядовито-зеленый журнал, он произнес скорее со скукой, чем с раздражением: «Болван». Снова зажглась сигнальная лампочка телефонного аппарата. Он снял трубку. Секретарь спрашивал, может ли господин фон Рейндль принять директоров Отто и Шрейнера. «Нет»,— властным и неожиданно тонким для такой массивной фигуры голосом ответил фон Рейндль и добавил, что просит зайти к нему инженера Каспара Прекля.

Оба директора будут, конечно, в обиде на него за то, что он отослал их и вызвал этого молодого бунтаря. Действительно, глупо, что он возится с этим парнем, когда его день забит делами до отказа. Прекль замучает его бесконечными техническими подробностями. Он наверняка припас что-нибудь новенькое насчет выпуска своего дешевого серийного автомобиля и тому подобной ерунды. Он, Рейндль, потратит впустую двадцать драгоценных минут. Было бы куда разумнее попытаться за это время вдолбить своим тупоголовым директорам наиболее важные положения.

Каспар Прекль явился. Небритый, в поношенной кожаной куртке, он неловко присел на краешек роскошного стула, довольно далеко от Рейндля. Сутулясь, недоверчиво глядел своими глубоко запавшими глазами на шефа. Вынул проект, чертежи. Стал увлеченно, на диалекте, объяснять суть своего плана. Увидев, что Рейндль плохо понимает его, потерял терпение,

начал кричать. Все чаще вставлял в разговор грубое, резкое «понятно?».

Как всегда, когда ему приходилось иметь дело с Пятым евангелистом, он чувствовал себя неуютно. Он прекрасно знал, что Рейндля не интересуют технические проблемы автомобильного завода. Непонятно, почему он принял его, а не директоров. Вообще зачем, собственно, его, Прекля, держат на заводе? Для чего ему поручают разработку все новых проектов, позволяют производить дорогостоящие опыты, если их результаты потом все равно не применяются на практике? Вот он бьется над созданием серийного автомобиля, который действительно способен затмить американские машины. Ведь должен Рейндль понять, какие грандиозные возможности таит в себе этот проект.

А бледное лицо этого чертова капиталиста с густыми распушенными усами оставалось непроницаемым. Рейндль ни слова не понимал и ни слова не произносил. Но молодой инженер не хотел замечать, насколько безразличны были его объяснения этому тучному, холеному человеку. Призвав на помощь все свое красноречие, он изо всех сил старался втолковать шефу вещи, о которых тот ничего не желал знать.

Тем временем г-н фон Рейндль печальными карими глазами с любопытством рассматривал дыру на кожаной куртке Прекля, у правого плеча. Он хорошо помнил, что та же дыра точно на том же месте была у Прекля и полгода назад. Побриться этот тип также не счел нужным. Правда, в его манере оставлять волосы на лбу есть даже доля наивного кокетства. Странно, почему этот молодой человек нравится женщинам? Актриса Клере Хольц, женщина умная, с тонким вкусом, от него без ума. А уж она-то не могла не заметить, какой у него неряшливый вид. Она как-то даже подшутила над этим. От малого пахло, как от солдат на марше. Его колючий едкий юмор тоже должен был раздражать женщин. От него веяло духом революции. Очевидно, он покорял женщин своими вульгарными балладами. Когда он пел их своим резким голосом, женщины буквально таяли. Несколько его приятельниц рассказывали об этом Рейндлю с особенным, подозрительным блеском в глазах. Собственно, он не прочь как-нибудь пригласить Прекля, чтобы тот спел ему несколько своих баллад. Но ведь он ему наверняка грубо откажет, этот малый.

А Прекль все распространялся о серийном автомобиле — сплошная окрошка из сцеплений и выхлопных газов. Должно быть, все это хитро придумано, он, несомненно, толковый, знающий инженер, иначе остальные не ругали бы его так яростно.

Хваткий малый, жох, голова. А головы — редкость в их родной Баварии. Да и в производстве им трудно найти применение. И все-таки он, Рейндль, коллекционирует головы,— Пятый евангелист может себе позволить подобную роскошь, иногда ему даже удавалось извлекать из голов прибыль.

Удивительно, что такой талантливый человек, как Прекль, не имеет ни малейшего понятия о нем и о его делах. Должно быть, этот малый вообразил, что он, Рейндль, действительно интересуется его серийным автомобилем, всякими там сцеплениями и выхлопными газами. Эти коммунисты с умным видом разглагольствуют об «империализме», о «международном единении капитала», а на практике такой вот тип настолько далек от жизни, что наивно верит, будто его, Рейндля, интересуют сцепления или там выхлопные газы. Стану ли я выпускать серийный автомобиль или нет, это зависит, милейший господин Прекль, не от ваших конструкций, а от французского синдиката черной металлургии. Сейчас, в период инфляции, рабочая сила в Германии дешева, куда дешевле, чем вам кажется, мой милый. Теперь — самое подходящее время для того, чтобы одолеть иностранных конкурентов. Но тут есть одна тонкость, господин инженер: выпуск ваших простых, дешевых машин может осложнить отношения с американской автомобильной промышленностью. Ну, а решусь ли я осложнять эти отношения, будет зависеть от того, договорятся ли рейнские и рурские промышленники с французами. А ты, любезнейший, досаждаешь мне своими хитроумными сцеплениями!

Каспар Прекль, подыскивая все новые, убедительные доводы в защиту своего проекта, вдруг задал себе вопрос — а чего ради он так старается что-то втолковать этой жирной свинье? Да и вообще — полный идиотизм, что он до сих пор остается в этой стране. Почему он не уезжает в Москву? Там ему наверняка легче будет пробить свой серийный автомобиль. Ведь именно там нужны толковые инженеры, нужны такие люди, как он, убежденные марксисты. С какой стати он пытается убедить этого борова, вместо того чтобы выложить ему все начистоту.

Плотоядные губы тучного человека, уныло и грузно сидевшего перед ним, мгновенно разомкнулись, едва он, Прекль, сделал небольшую паузу в своих объяснениях, и шеф произнес:

— Послушайте, дорогой Прекль, вы мне как-то рассказывали о своем друге Крюгере. Видели вы его с тех пор?

Каспар Прекль знает, что г-н фон Рейндль вовсе не ради него говорит на верхнебаварском диалекте, но сегодня, как и прежде, его больше поражает не сам вопрос, а именно этот диа-

лект. Он смотрит на массивного человека, с мечтательным выражением на лице сидящего перед ним. Затем вспоминает, что Иоганна Крайн на днях снова говорила ему, что, по ее сведениям, есть пять человек, каждый из которых при желании мог бы вызволить Мартина Крюгера из тюрьмы: архиепископ Мюнхена, министр юстиции Кленк, глава крестьянской партии и закулисный правитель Баварии старик Бихлер, кронпринц Максимилиан и барон Рейндль. Он, Прекль, однажды уже просил Рейндля вступиться за Крюгера, но безуспешно. Ему совершенно непонятно, для чего Рейндль вдруг задал этот вопрос. На всякий случай он отвечает грубым контрвопросом:

— Не понимаю, какое это имеет отношение к моему серийному автомобилю?

Рейндль теперь и сам удивляется, зачем он задал Преклю этот вопрос. Ведь его совершенно не волнует дело Крюгера. Разве не Крюгер съязвил как-то насчет «трехгрошового Медичи»? Он не собирается, конечно, мстить Крюгеру за эту остроту, но с какой стати именно ему, «трехгрошовому Медичи», вытаскивать этого человека из тюрьмы?

Но так всегда бывает, когда он встречается с Преклем,— каждый раз его снова подмывает затронуть в разговоре с этим молодым человеком какую-нибудь щекотливую тему.

— Дорогой Прекль,— после небольшой паузы примирительно говорит он тонким властным голосом,— я мало что смыслю в технике, но верю вам на слово, что ваши проекты хороши. Однако поймите — решение вопроса о том, есть ли смысл расширять сейчас производство, зависит не только от качества ваших проектов. Что же до вашего друга, доктора Крюгера,— продолжает он с непроницаемым видом,— то, насколько я помню, вы однажды уже говорили со мной о нем. В то время я не мог сказать вам ничего определенного. К сожалению, мне как раз пришлось тогда уехать в Москву. Кстати, с вашими товарищами при всем желании невозможно вести дела, мой милый. Чересчур утомительное занятие. Слишком много в них доктринерства и поистине мужицкой хитрости. В этом они несколько похожи на наших с вами земляков, дорогой Прекль.

Каспар Прекль глубоко запавшими, пронизывающими глазами посмотрел в мечтательные глаза шефа. Он вдруг обнаружил, что у Рейндля зловещий лоб, и решил не просить его вступиться за Мартина Крюгера — все равно пользы от этого не будет. Он молчал. Внезапно Рейндль высоким голосом очень вежливо произнес:

— Послушайте, дорогой Прекль, не дадите ли вы мне прочесть одну или две ваших баллады?

— Откуда вы о них знаете? — покраснев, мрачно спросил Прекль.

Выяснилось, что господин фон Рейндль слышал об этих балладах от актрисы Клере Хольц. Прекль, ничего не ответив, хотел было снова перевести разговор на технические темы, однако г-н фон Рейндль неожиданно повелительным тоном объявил, что у него больше нет времени. Даже для баллад господина Прекля, добавил он более мягко. Каспар Прекль подумал, что в данном случае шеф, должно быть, сказал правду.

Он попрощался отрывисто, грубо. Он немного злился на себя: ему следовало воспользоваться благодушным настроением Рейндля и, по совету своей подруги Анни, выжать из него что-либо реальное, ну хотя бы прибавку к жалованью. Но еще больше Каспара злил сам Рейндль, его самодовольная, невозмутимая наглость и чванство. И все-таки он не мог не признать, что при всей манерности Рейндля за печальной маской толстяка кроется довольно любопытный человек. Да и баварский говор шефа настраивал Прекля в его пользу. Покидая обставленный с раздражающей помпезностью кабинет, Прекль признался себе, что в случае переворота он не без некоторого сожаления велел бы пустить Пятого евангелиста в расход.

5

FUNDAMENTUM REGNORUM[1]

Доктор Кленк и доктор Флаухер вместе возвращались с торжественного открытия авиационной выставки. Флаухер спросил коллегу по кабинету министров, есть ли у него сведения о поведении Крюгера в тюрьме. Да, он, Кленк, имел такие сведения. Заключенный Крюгер строптив, заключенный Крюгер ведет себя вызывающе.

— Похоже на него! — буркнул Флаухер. Ничего другого он от этого чужака и не ждал. Но в чем именно выражается это вызывающее поведение?

— Господин Крюгер улыбается,— пояснил Кленк.

На лице Флаухера отразилось изумление.

— Да, мне сообщают, что Крюгер вызывающе улыбается,—

[1] Основы государства *(лат.)*

продолжал Кленк.— Его неоднократно предостерегали, но так ничего и не добились. Им не терпится его наказать.

— Похоже на него,— повторил министр просвещения и вероисповеданий Флаухер, оттягивая пальцем крахмальный воротничок.

— Лично я,— сказал Кленк,— не слишком доверяю проницательности тюремной администрации. Не думаю, чтобы инкриминируемая ему улыбка была умышленно провокационной.

— Она безусловно провокационна! — горячо настаивал Флаухер.

— Такое объяснение было бы чересчур упрощенным,— сказал Кленк, глядя на Флаухера.— Я распорядился не подвергать пока Крюгера наказанию за его вызывающую улыбку.

— И вы заражены гнусными бациллами гуманности! — сокрушенно воскликнул Флаухер, неодобрительно покосившись на долговязого, костлявого собеседника.

— Надо полагать, мы его когда-нибудь даже помилуем,— сказал Кленк, насмешливо прищурившись и с довольным видом поглядывая на шипящего от злости Флаухера.— Когда-нибудь,— успокоил он коллегу, увидев, что тот готов взорваться.— Не сегодня и не завтра. В конце концов, вы от него избавились, а мы ведь вовсе не мстительны.

С этими словами он высадил у здания министерства просвещения и вероисповеданий Флаухера, оставив коллегу в самом скверном расположении духа.

В приемной Кленка ожидал доктор Гейер. Адвокат при ходьбе опирался на палку. Он отрастил себе рыжеватые бачки. На бледном лице резко выдавался узкий с горбинкой нос.

«Разыгрывает из себя великомученика»,— подумал Кленк.

Он охотно задирал ненавистного адвоката. Обычно Гейер являлся к нему три-четыре раза в год по делам, по которым Кленк других бы не принял. Собственно, их беседы ни к каким практическим результатам не приводили, тем не менее оба с нетерпением ждали очередной встречи.

На этот раз Гейер пришел по делу заключенного Трибшенера. Механик, специалист по точным приборам, Хуго Трибшенер в молодости, испытывая нужду, покусился на чужую собственность и двадцатилетним юнцом был приговорен к двум годам тюрьмы. Отбыв срок, он упорным трудом выбился в люди. Во всей округе не было часовых дел мастера искуснее, чем Хуго. Вскоре он поселился в небольшом северогерманском городке, где стал владельцем четырех часовых мастерских. В другом городке он открыл часовой магазин для своего отца, кормил мать, помо-

гал всей семье. Но тут началась война, и часовых дел мастер Трибшенер, как и все лица, имевшие судимость, был взят под полицейский надзор, что означало постоянные явки к полицейскому комиссару, царившую вокруг него атмосферу подозрительности, полицию, с которой он сталкивался буквально на каждом шагу.

В начале войны среди населения господствовали самые пуританские настроения. Люди обрадовались возможности унизить человека, столь быстро добившегося благосостояния. Положение изгоя, торговый бойкот. Разорение. Дойдя до последней степени обнищания, вынужденный по приказанию органов надзора кочевать с места на место, он как-то купил у одного знакомого, с которым его свела судьба в приемной полицейского комиссара, краденые серебряные ложки. Его поймали с поличным, вновь предали суду. Случилось это в маленьком прусском городке. Закон давал судьям право покарать рецидивиста Хуго Трибшенера лишением свободы от трех месяцев до десяти лет. К несчастью для Хуго, среди потерпевших оказались и лица судейского звания, представшие на процессе в качестве свидетелей перед своими коллегами, которым надлежало вынести приговор. К тому же гуманность в период войны была не в моде. Суд счел нужным приговорить обвиняемого к десяти годам тюрьмы.

В военное время заключенным приходилось совсем не сладко. Даже те, кто находился на воле, получали урезанный продовольственный паек, что уж тут говорить о заключенных! Впрочем, сокращение пайка коснулось и охраны. Трибшенер был человек ловкий, и ему удалось совершить побег. Но в Гамбурге полиция напала на его след и после долгой погони по крышам сумела его схватить. Беглец, сорвавшись с крыши, был с переломом костей доставлен в портовый госпиталь; снова бежал и снова был пойман. Газеты на все лады расписывали «фантастические приключения короля грабежей и побегов». Разгневанные члены гамбургского суда к десяти прусским добавили от себя еще восемь гамбургских лет тюремного заключения.

Десятого ноября тысяча девятьсот восемнадцатого года революция распахивает двери его тюрьмы. Трибшенер добывает необходимые ему часовые инструменты и пытается бежать через закрытую границу в Голландию. Но тщетно. Его преследуют по всей Германии. Доведенный нуждой до крайности, он в эпоху всеобщей разрухи и хаоса, когда сотни тысяч других безнаказанно делали то же самое, купил краденое добро. Задержанный на баварско-чешской границе, этот «король грабежей и

побегов» теперь уже от баварских властей получает сравнительно легкое наказание — еще четыре года тюрьмы.

Приговоренный в общей сложности к двадцати двум годам заключения, после бесчисленных переводов из одной тюрьмы в другую, проведя больше года в кандалах, часовой мастер Трибшенер попал, наконец, в вестфальский город Мюнстер. На этот раз ему повезло. Начальнику местной тюрьмы понравился спокойный и услужливый заключенный. Он позволил Трибшенеру заниматься любимой работой. И тут проявились необыкновенные способности арестанта Трибшенера. Он сумел починить часы, исправить которые не брался ни один мастер в стране. Вскоре его камера превратилась в самую популярную часовую мастерскую на сотни километров вокруг. Начальник тюрьмы не мог нахвалиться своим заключенным, немного спустя он разрешил ему без конвоя отправляться в город, чтобы закупать необходимый материал и выполнять всевозможные работы. Заключенный Трибшенер свободно разгуливал по городу и, преисполненный благодарности к начальнику тюрьмы, даже не пытался воспользоваться многочисленными возможностями для побега. Он подбирал необходимый материал, выполнял тончайшую шлифовальную работу, пригонял колесики, сгибал пружинки. Часы на башне мюнстерского кафедрального собора были разбиты анабаптистами, и вот уже четыре столетия, как их стрелки неподвижно застыли. Заключенный Трибшенер, на радость горожанам и на удивление специалистам, снова пустил их в ход.

История с часами Мюнстерского кафедрального собора наделала много шума и даже попала в печать. Пресса раструбила об этом на всю Германию и занялась расследованием дела часового мастера Трибшенера; она проливала слезы по поводу его злосчастной судьбы, превозносила его искусство, требовала помиловать беднягу. Пруссия объявила, что дарует заключенному свободу, Гамбург — тоже.

Однако предшественник Кленка не снял с человека, помилованного Пруссией и Гамбургом, баварского наказания, пожелав продемонстрировать этим силу баварского правосудия. В итоге помилование для часовых дел мастера обернулось переводом из довольно сносной тюрьмы в Мюнстере в куда менее приятную баварскую исправительную тюрьму. Теперь Гейер в качестве баварского защитника Трибшенера явился к министру Кленку, чтобы сообщить тому единодушное мнение всей Германии, сколь достоин помилования его подзащитный, и просить Кленка отменить решение своего предшественника.

Кленк принял Гейера весьма любезно, заботливо предложил ему самое удобное кресло, стал подробно расспрашивать о здоровье, спросил, не поступает ли тот неблагоразумно, столь быстро вновь принявшись за адвокатские дела.

Доктор Гейер, еще больше побледнев от едва сдерживаемой ярости, ответил, что чрезмерная радость некоторых лиц отнюдь несоразмерна той пустяковой неприятности, которая с ним приключилась. В ответ Кленк своим мощным басом пророкотал, что — да, позлорадствовать всегда приятно, и спросил, можно ли ему позавтракать в присутствии господина депутата. После чего велел дежурившему в приемной служителю принести ливерные сосиски и его любимое шерри-бренди, Гейер довольно неучтиво отказался принять участие в трапезе.

Что же до дела часового мастера Трибшенера, то для начала министр юстиции высказал несколько общих замечаний, не преминув поиронизировать над теориями адвоката Гейера. Лично он, сказал Кленк, испытывает сожаление, когда приятного самого по себе человека из политико-юридических соображений держат в заключении. Впрочем, приговор баварского суда сравнительно мягок. Да и кто может поручиться, что свобода пойдет Трибшенеру на пользу. А общие рассуждения, вроде приведенных Гейером доводов прессы, будто налицо тот случай, когда необходимо помиловать заключенного, на него, Кленка, не произвели особого впечатления. Он распорядился, чтобы с Трибшенером обращались как можно лучше. Лично ему, как он уже сказал, этот человек даже симпатичен, он намерен дать ему кое-какую работу. С часами на Мюнстерском кафедральном соборе Трибшенер справился превосходно. Но и в одном из некогда вольных городов баварской Франконии есть башенные часы, бездействующие еще со времен Тридцатилетней войны. У него, Кленка, есть снимок с этих часов. Не желает ли доктор Гейер взглянуть на снимок? Вот Трибшенер и сможет поколдовать над ними.

Гейер слушал молча, его душила ярость. Он побывал у заключенного Трибшенера. Это был спокойный, худощавый человек с густыми волосами, такими светлыми, что трудно было понять, белокурые они или седые. «Верно, все-таки седые»,— подумал сейчас Гейер. Он хорошо разбирался в том, что такое справедливость и человечность, но плохо разбирался в отдельных людях. Не исключено, что Кленк прав, и сознание этого вызывало у Гейера чувство бессильной ярости. Он ничего не ответил на любезные и одновременно покровительственные слова Кленка и разом отмел их, невежливо пожав плечами.

Кленк и бровью не повел, продолжал спокойно сидеть, терпеливо ожидая, нет ли у Гейера к нему других дел. И адвокат Гейер, крепко сжимая тонкими пальцами палку, чтобы как-то унять дрожь в руках, не очень уверенным голосом неожиданно спросил, имеет ли какие-либо шансы на успех прошение о помиловании доктора Крюгера, если таковое будет подано. Кленк, помолчав, вежливо ответил, что он уже и сам об этом подумывал, но оппозиционная пресса чрезвычайно затруднила ему, Кленку, возможность вмешаться в это дело, ибо теперь оно столь раздуто, что без санкции всего кабинета министров он, Кленк, не рискует что-либо предпринимать. Костлявый, гигантского роста человек с хитро улыбающимися карими глазами на удлиненном, обветренном лице с благодушной издевкой глядел на тщедушного изможденного адвоката, у которого от еле сдерживаемого гнева на щеках выступили красные пятна.

Служитель подал аппетитные ливерные сосиски и бутылку шерри. Министр юстиции сказал, что ему как должностному лицу нечего больше сообщить господину депутату, но он не прочь дружески побеседовать с ним. С позволения доктора Гейера, он переоденется. В этой черной хламиде он чувствует себя неуютно. И, сняв сюртук, надел свою любимую грубошерстную куртку. Затем, вновь предложив адвокату отведать сосисок, налил себе стакан ароматного, золотистого вина, неторопливо набил трубку. Так вот, он читал превосходную статью доктора Гейера в «Монатсхефте». В подобного рода абстрактных рассуждениях и теоретизировании мало проку. Тем не менее на охоте, сидя в засаде, или по утрам, принимая ванну, да и во время длительных поездок на автомобиле он иногда ради спортивного интереса пытается глубже осмыслить вопросы, которые интуитивно уже решил так, как подсказывала ему совесть. Он высасывал мякоть из кожуры сосисок, вытирал жирные губы, маленькими глотками с наслаждением попивал вино. Если говорить начистоту, то у него создается впечатление, что некоторыми своими едкими формулировками общего характера доктор Гейер метит в него, Кленка. Но он зря старается. Его, Кленка, это мало трогает. Надо признать, что в его положении, да еще живя в этой особой части планеты, совсем непросто принять единственно верное решение: Бавария или всегерманский союз, государство или право, гарантия безопасности или справедливость. Можно даже сказать: сколько слов — столько проблем. Но для того, чтобы разобраться в этих проблемах, ему нет даже нужды искать опоры в католической философии права,

которая в наш век политики насилия одна имеет смелость не всегда подчиняться жестокой логике фактов.

Доктор Гейер разволновался, шумно дышал, был не в силах усидеть на стуле. Он встал и, опираясь на палку, заковылял по комнате, пока наконец даже не прислонился, а буквально приклеился к стене в какой-то неестественной позе. Министр Кленк, не переставая есть и пить, продолжал небрежно и невозмутимо излагать свои воззрения. Он, Кленк, с уверенностью естествоиспытателя может сказать: то, что он делает, полезно для его Баварии. Это нужно и полезно стране так же, как ей нужны и полезны ее леса и горы, ее люди и электростанции, ее кожаные штаны и картинные галереи, ее карнавалы и ее пиво. Это истинно баварское, достойное ее правосудие. Между правом и этикой, утверждал известный северогерманский философ по имени Иммануил Кант, нет ни малейшей связи. А вот он, Отто Кленк из Мюнхена, убежден, что право и почва, право и климат, право и народ составляют двуединое и нераздельное целое. Не исключено,— он говорит это конфиденциально, как частное лицо, а не как государственный чиновник,— что доктор Крюгер и не давал ложной клятвы. Вообще сам он по многим причинам считает защиту истинности присяги сомнительным занятием и вполне сочувствует доктору Крюгеру. С точки зрения строгого правопорядка, вероятно, было бы правильнее, если б он, Кленк, самолично пришел к обвиняемому и сказал: «Ты, Мартин Крюгер, вреден для страны Баварии, и, к сожалению, я должен тебя расстрелять». При нынешних обстоятельствах он, Кленк, твердо убежден, что его баварское правосудие — лучшее из всех мыслимых в этой стране. Он берет на себя полную ответственность. Правосудие — основа государства. Но как раз поэтому правосудие каждого отдельного государства должно быть из того же самого материала, что и оно само. Он, Кленк, с чистой совестью и абсолютной убежденностью представляет юстицию своей страны. И в то время, как доктор Гейер еще сильнее подался назад, чуть не вдавившись в стену, министр закончил свою тираду словами: господин депутат может не волноваться. Он, Кленк, спит спокойно, хотя доктор Крюгер и часовых дел мастер Трибшенер томятся за тюремными стенами.

Он так и сказал «томятся», он высасывал губами мякоть сосисок, сидя верхом на стуле, в своей грубошерстной куртке, и его веселые карие глаза благосклонно и простодушно смотрели на толстые стекла очков, из-за которых за каждым его движением следили голубые, проницательные глаза адвоката. И чем больше адвокат Гейер вслушивался в бездушные фразы, кото-

рые выплевывал энергично жующий рот высшего судебного чиновника этой страны, тем сильнее его охватывало чувство отвращения, стыда и омерзения, отчего рвущиеся наружу слова застревали в горле. Он заметил, что еще недостаточно окреп для философских споров, поблагодарил господина министра юстиции за разъяснения и удалился, тяжело опираясь на палку. Кленк, больше не улыбаясь, отодвинул в сторону тарелку с недоеденными сосисками и углубился в бумаги.

6

НЕОБХОДИМЫ ЗАКОННЫЕ ОСНОВАНИЯ

Некто Георг Дурнбахер попросил Иоганну Крайн сделать графологический анализ одного почерка. На Иоганну этот человек произвел неприятное впечатление. Она отказалась, сославшись на то, что завалена работой. Однако господин Дурнбахер настаивал. В конце концов Иоганна дала свое заключение. Она довольно осторожно перечислила все отрицательные свойства, обнаруженные ею при анализе почерка, и охарактеризовала человека, чей почерк исследовала, как субъекта, наделенного болезненным воображением, склонного обманывать не только самого себя, но и других.

Впоследствии выяснилось, что Иоганна анализировала почерк государственного советника Тухера. Рьяный сторонник старого режима и уже потому враг Иоганны Крайн и Мартина Крюгера, он, собственно, и не стремился получить результаты исследования своего почерка, а лишь преследовал цель проверить компетентность Иоганны. И поскольку графологический анализ в завуалированной форме аттестовал безупречного государственного чиновника как авантюриста, это само по себе вполне убедительно доказывало, что так называемое графологическое искусство Иоганны — просто надувательство. Государственный советник обвинил лжеграфолога Иоганну Крайн в шарлатанстве. Немецким законодательством такое правонарушение не предусматривалось. Тем не менее баварская полиция оставила за собой право наказывать в уголовном порядке за подобные действия. Против Иоганны Крайн было возбуждено судебное дело по обвинению в шарлатанстве, и ей на неопределенный срок было запрещено заниматься графологией.

Доктор Гейер, когда Иоганна заговорила с ним об этом, особого интереса к ее рассказу не проявил. Он выглядел очень усталым и, отвечая, снял очки, прищурился и даже прикрыл глаза.

Это дело, объяснил он, как и все, что касается ее и Мартина Крюгера, давно уже из сферы юридической перешло в сферу политическую. А так как ни он, ни она не пользуются достаточным влиянием, остаются только те светские связи, о которых он, Гейер, уже упоминал. Впрочем, он не думает, что ее действительно собираются преследовать в судебном порядке. Скорее всего это лишь предостережение. Власти хотят показать, что против нее есть оружие на тот случай, если она вздумает поднять шум. Но если она все-таки решится протестовать, то вместо безобидного дела о шарлатанстве против нее могут выдвинуть обвинение в лжесвидетельстве. Там, где правосудие вершит доктор Кленк, этот бессовестный властолюбец (тонкокожее лицо Гейера исказилось болезненной гримасой), возможно любое беззаконие.

— Значит, остаются лишь светские связи,— задумчиво подвела итог Иоганна.

Она давно выучила наизусть список из пяти имен, которые продиктовал ей Гейер тогда, во время своей болезни. Однако эти пятеро — их лица она видела лишь в газетах,— и сами, и круг их друзей были для нее недоступны. Она не знала, с какой стороны взяться за это дело. В памяти снова и снова всплывало лишь пухлое лицо присяжного заседателя Гесрейтера.

Доктор Гейер молчал. Он опять, но теперь скорее с досадой, отметил про себя сходство этой рослой девушки с той, умершей.

Да,— произнес он наконец,— светские связи. Совет весьма неопределенный, но другого, увы, он дать не может.

Иоганна злилась на доктора Гейера. Ей сказали, что для ее дела лучшего адвоката не найти. Но сейчас он казался ей человеком вялым, нерешительным. Она поднялась. Крепкая, плотная, она стояла перед Гейером и, глядя в его подергивавшееся от нервного тика лицо, рассказывала о бесконечных придирках властей. Посылки Крюгеру возвращаются назад либо попадают к нему, когда продукты уже успевают испортиться. Разрешение увидеться с ним было получено лишь с огромным трудом. Всякий раз ее спрашивают, на каком основании она хлопочет за Мартина.

— Действительно, на каком основании? — с мрачной усмешкой спросил Гейер.— Быть может, из человеколюбия? Или во имя вашей дружбы с Крюгером? Подобные причины для баварских властей недостаточны. Чтобы связь между мужчиной и женщиной была признана властями, ее требуется узаконить в бюро записи актов гражданского состояния.

Иоганна закусила верхнюю губу. Тонкая ирония Гейера раздражала ее. Манера держать себя, светло-рыжые бачки — все раздражало ее в этом человеке.

— Я выйду за него замуж,— сказала она.

Помолчав, Гейер заметил, что тут ее ждут определенные трудности. Однако, какие именно формальности требуется выполнить и в чем ей могут помешать, он точно не знает. Иоганна попросила его как можно скорее и энергичнее предпринять все необходимые шаги.

Оставшись один, доктор Гейер устало откинулся на спинку кресла, смежив покрасневшие веки. Крепкие желтые зубы еще резче обнажились в неприятной усмешке. Казалось бы, подозрения насчет Эриха не подтвердились, и с этой историей покончено раз и навсегда. А на самом деле ничего не кончено, и, верно, было бы лучше, если б он рассказал следователю о том, как перед ним за миг до удара, свалившего его на землю, мелькнуло фатально знакомое лицо.

За последнее время доктор Гейер сильно изменился, уже не так старался совладать со своими нервами, утратил прежнюю уверенность в делах. Давал волю едкому, полному сарказма красноречию. В разговорах его звучали мрачные, тревожные нотки, он не в состоянии был унять дрожь в руках, веки его нервно подергивались. Заботы о еде, квартире, одежде и даже о денежных делах он все больше перекладывал на плечи экономки Агнессы. Порой на него наваливалась страшная усталость,— и тогда он сидел с потухшим взором, бессильно свесив руки. Впрочем, такие приступы слабости, как правило, быстро проходили. Он все чаще подумывал, не отказаться ли ему совсем от адвокатской практики и даже от парламентской деятельности, ограничившись только литературной работой.

Уж не нападение ли так изменило его? Нет, он всегда знал, что его деятельность сопряжена с опасностью, и был готов к худшему. Должно быть, суть происшедшей с ним перемены лежала глубже. Это было нечто совсем иное — внезапное озарение, нечаянный взгляд.

Взгляд на мощный, жующий рот доктора Кленка, взгляд в его простодушные глаза, взгляд в самое нутро неприкрытого насилия,— вот что потрясло доктора Гейера. После той беседы с Кленком он надолго ушел в себя, его прежде проницательный взор потускнел, утратил живость. Он анализировал свои действия, подводил итоги и убеждался, что строил расчеты на песке. Собственно, он давно знал о положении дел в области правосудия, не раз произносил об этом речи, высказывал ум-

ные, тонкие мысли. Но своими глазами увидел произвол впервые лишь сейчас. Отныне он понял — ему нет дела до Мартина Крюгера, его не волнует судьба часовщика Трибшенера. Все триста случаев, приведенные в его книге «История беззаконий в Баварии», будь они даже проанализированы вдвое тщательнее и понятнее для последних болванов, не имели решительно никакого значения. Такими примитивными средствами невозможно одолеть «исконно-народную и национальную» юстицию Кленка.

Он, Зигберт Гейер, обязан бороться тем же грозным оружием, что и Кленк. Его больше не должна интересовать судьба отдельного человека. Стремление помочь отдельному человеку, жертве насилия — просто сентиментальность. Он направит свой удар против самого беззакония.

В глубине души он знал: уедет ли он во имя своих идей в Берлин или даже в Москву,— символом насилия и произвола для него навсегда останется облик одного-единственного человека: маленькие, самодовольные глаза на обветренном, кирпично-красном лице, крупный, энергично жующий рот и грубошерстная куртка.

Гейер поник в своем неуютном кресле, но затем неимоверным усилием воли взял себя в руки, кряхтя, достал объемистую папку с бумагами: «История беззаконий в Баварии с момента заключения перемирия 1918 года до наших дней. Случай номер 237».

7

ГОСПОДИН ГЕСРЕЙТЕР УЖИНАЕТ В МЮНХЕНЕ

Иоганна Крайн стояла на трамвайной остановке и ждала один из тех голубых, крытых лаком вагонов, который отвезет ее в Швабинг к г-ну Гесрейтеру. Вечер был пасмурный и прохладный. В одной из зеркальных витрин в свете дуговых фонарей отразилось ее лицо, наперекор моде ненакрашенное и лишь слегка напудренное.

Кто-то прошел мимо, вежливо и равнодушно поклонившись ей. Иоганна никак не могла вспомнить имя этого человека. Такие лица были в те времена у многих представителей правящего класса — умные, немного скучающие, пытливые глаза под широким лбом. Лицо человека, знающего, сколь преходящи и условны все суждения этой эпохи. Люди с такими лицами, признавая, что Мартин Крюгер — жертва возмутительной истории

и достоин всяческого сочувствия, тем не менее не проявляли ни сочувствия, ни гнева, ибо такие случаи, увы, встречались на каждом шагу. Иоганна знала их образ мыслей, знала людей и жизнь, но постичь этого не могла. Потому что сама она, какими бы привычными ни становились несчастья, которые несла людям целиком подчиненная политическим целям юстиция тех лет, так и не очерствела душой. Она беспрерывно возмущалась, каждый раз снова бросалась в схватку.

Подошел ее трамвай. Она устроилась в углу, машинально протянула кондуктору билет и вновь попыталась разобраться в создавшемся положении. Хотя Гесрейтер и не входил в число тех пяти «всемогущих», которые в состоянии были вызволить Мартина Крюгера из тюрьмы, он мог оказаться очень полезным. Разве когда она, теряя мужество, перебирала в уме своих бесчисленных знакомых, перед ее глазами не вставало неизменно лицо Гесрейтера? То самое лицо, которое она впервые увидела в огромном, битком набитом людьми зале суда. Озадаченное и от этого даже немного глупое лицо. Но затем приоткрылся маленький чувственный рот, он-то и защитил ее от гнусного вопроса прокурора.

Нет, она правильно сделала, позвонив ему и без колебаний приняв его несмелое приглашение поужинать с ним. Сидя в углу трамвайного вагона, она испытывала сейчас смутное беспокойство. Ужин с этим чудаковатым г-ном Гесрейтером был для нее своего рода дебютом, преодолением некоего рубежа. До сих пор, встречаясь с людьми, она беседовала с ними о делах, о работе или просто болтала о всякой всячине. Теперь она внезапно столкнулась с необходимостью просить что-то у совершенно чужого ей человека, просто так, за красивые глаза. Ей, рано привыкшей к самостоятельности, было неприятно сознавать, что она не в состоянии сама справиться с чем-то. А завязывать светские связи — занятие не из приятных. Да и вообще, как их завязывают? И можно ли принимать услугу, не давая ничего взамен? Она отправлялась на поиски светских знакомств, как другие отправляются в неведомую страну на поиски приключений.

Мартин Крюгер иногда говорил, что ей недостает хорошего воспитания. Пожалуй, так оно и есть. Ей вспомнился безалаберный образ жизни в доме отца, где она провела свою юность. Ей-богу, скорее уж она воспитывала этого вспыльчивого, талантливого человека, чем он ее. Стремясь любой ценой осуществить свои идеи и планы, явно опережавшие время, он не удосуживался подумать о таком пустяке, как хорошие манеры. А мать тем

более. Бог ты мой! Ленивая, обожавшая обывательские сплетни, она кидалась из одной крайности в другую; то вдруг судорожно начинала навязывать дочери свои сумасбродные манеры, то столь же быстро забывала о ней. В смысле воспитания ей еще повезло, что мать, уже немолодой женщиной, вторично вышла замуж за колбасника Ледерера, и это позволило Иоганне окончательно с ней порвать. Она не могла без содрогания вспомнить о том, как жила эта стареющая женщина, окружившая себя множеством злоязычных сплетниц, ее бескопечные ссоры, ее лень, суетливость, вечное пытье. Нет, немногому можно было у нее научиться. Тут ни о каком воспитании не могло быть и речи.

Иоганна поглядела на ногти своей небольшой грубоватой руки. Она не очень-то следила за ними. Однажды она сделала маникюр в парикмахерской. С большой неохотой. Ей было неприятно, что чужой человек подстригает, подпиливает и красит ее ногти. Но лучше, если б они были не такими некрасивыми, квадратными.

Сойдя на нужной остановке, она несколько минут шла пешком по довольно тускло освещенным улицам, пока не добралась до дома г-на Гесрейтера, прятавшегося за каменной оградой и старыми каштанами у самого Английского сада. Дом был невысокий, старомодный, построенный, должно быть, в восемнадцатом веке каким-нибудь придворным. Слуга провел ее по длинным коридорам. Хотя в убранстве комнат все дышало стариной, дом был тем не менее оборудован всеми современными удобствами. Это своеобразное уютное строение показалось Иоганне довольно забавным и даже симпатичным.

Господин Гесрейтер встретил гостью очень радушно и, рассыпаясь в любезностях, крепко сжал ее руки в своих. У себя дома он выглядел еще более внушительным и элегантным и был неотделим от него, как рак от своего панциря. Карие с поволокой глаза на пухлом лице хитро глядели на Иоганну. Он сказал, что приготовил для нее сюрприз, но сначала надо поужинать.

Хозяин дома оказался приятным собеседником, он шутил, рассказывал смешные истории. Он говорил на одном с ней диалекте, употреблял те же выражения. Они с полуслова понимали друг друга. Рассказал о своей керамической фабрике и о том, что она не приносит ему подлинного удовлетворения. Как хорошо было бы выпускать одни лишь произведения искусства. Но людям это не нужно, они не дают ему, Гесрейтеру, развернуться. И вообще, слава Мюнхена как центра искусства — сплошная мистификация. Ведь до чего, скажем, изуродовали Галерею полководцев! Его все время мучило любопытство, что

скрывается за лесами, заслонившими заднюю стену. Теперь все выяснилось: они «увенчали» ее аляповатыми металлическими щитами желтого цвета, украшенными железными крестами — по щиту на каждую из утраченных в последней войне провинций. Да еще развесили на щитах пестрые венки. Обезобразить прекрасное сооружение горделиво выступающими львами и Памятником армии — этого им показалось недостаточно! Он патриот Мюнхена, и подобный вандализм ему претит. Сейчас, например, на своей керамической фабрике, хотя это не сулит ему никакой выгоды, он собирается наладить выпуск совершенно оригинальных статуэток одного молодого, никому не известного скульптора, в частности, серию «Бой быков». Этого скульптора открыл он, Гесрейтер. Затем хозяин дома упомянул о процессе Крюгера. Оказалось, что в ходе процесса он уловил и запомнил несколько мелких штришков, ускользнувших от ее внимания. И теперь в его рассказе они предстали выпукло, точно под увеличительным стеклом.

В конце ужина, составленного хозяином дома с тонким вкусом, его срочно вызвали к телефону. Вернувшись, он смущенно сказал, что одна его приятельница, милая и приятная дама, собирается заехать к нему вечером вместе с несколькими друзьями. Этой даме, которая большую часть времени живет в своем поместье на берегу Штарнбергского озера, он обещал сюрприз, впрочем, тот же, что он хочет показать и Иоганне. Этим вечером его приятельница неожиданно оказалась в городе и решила воспользоваться случаем, чтобы вместе с друзьями взглянуть на обещанный сюрприз. Зовут даму — г-жа фон Радольная. Он надеется, что фрейлейн Крайн не вспугнут новые гости. Иоганна, не задумываясь, ответила, что охотно останется. Взглянув на Гесрейтера, она сочла, что самое время приступить к делу, и без утайки рассказала ему о своем желании завязать светские знакомства и потом воспользоваться ими. Г-н Гесрейтер, сразу же воодушевившись этой идеей, стал энергично загребать руками. Светские связи! Великолепно! Он для этого самый подходящий человек. Как хорошо, что она к нему пришла именно сегодня. Это большая удача — он сможет тут же познакомить ее с г-жой фон Радольной. Дело Крюгера приобрело теперь такой характер, что он готов поддержать ее всем сердцем и умом. В известной мере это дело из сферы политических интриг перешло в сферу общечеловеческих отношений.

Пока он распространялся на эту тему, приехала г-жа фон Радольная со своей свитой. Пышнотелая, невозмутимая, самоуверенная, она словно заполнила собой просторную комнату.

Должно быть, она повсюду мгновенно привлекала к себе всеобщее внимание. Иоганну она окинула холодным, откровенно испытующим взглядом, но ту ее взгляд не покоробил. В свою очередь Катарина осталась довольна впечатлением, которое она произвела на Иоганну, сразу почувствовала расположение к этой девушке и подсела к ней. Г-жа фон Радольная знала, как тяжело утвердиться в этом большом, полном опасностей мире. Она вышла из низов, добилась видного положения и теперь чувствовала себя уверенно. Но пришлось ей нелегко, и поэтому, радуясь прочности собственного положения, она до сих пор еще преисполнялась симпатией ко всякой смелой женщине, не дававшей себя в обиду. Разумеется, она совершенно искренне одобряла методы правящих кругов. Но при этом,— она-то своей цели уже достигла,— в отдельных случаях, если сталкивалась с ними непосредственно, столь же естественно проявляла терпимость, сколь естественно была нетерпима вообще. Очень внимательно, с глубоким сочувствием слушала она рассказ Иоганны о ее нелегком детстве, ссорах с матерью, о работе, об ее отношениях с Мартином Крюгером. Обе женщины, одна — широкоскулая, с решительными серыми глазами, другая — медноволосая и пышнотелая, с самодовольным, многоопытным выражением лица, казалось, столь быстро нашли общий язык, так дружелюбно обменивались фразами на тягучем баварском диалекте, что склонный к оптимизму Гесрейтер уже не сомневался в окончательном успехе Иоганны.

Не упуская ни одного слова г-жи фон Радольной, Иоганна исподволь приглядывалась к другим гостям. Так, значит, человек с добродушным, изборожденным глубокими морщинами лицом, похожий на крестьянина, напялившего смокинг, и есть художник Грейдерер! Исполосованное шрамами бульдожье лицо доктора Маттеи было знакомо ей по иллюстрированным журналам. Розовощекий господин в пенсне, с окладистой, седеющей бородой,— конечно же, доктор Пфистерер — писатель, а старик, в чем-то убеждающий его,— тайный советник Каленеггер. Хотя Пфистерер иной раз приходил к совершенно иным выводам, он все же слушал тайного советника внимательно, почти благоговейно. Было что-то привлекательное и волнующее в том, как тайный советник всю историю города Мюнхена объяснял законами естествознания, с тупым упорством отказываясь признать серьезнейшее влияние таких факторов, как причуды коронованных особ, беспорядочное развитие путей сообщения и экономики. Каленеггер определил семь основных биологических принципов, семь основных типов, из свойств которых он выво-

дил историю города Мюнхена. Иоганна то и дело бросала взгляд на этого сухощавого человека с большим горбатым носом, с усилием извлекавшего из самых глубин гортани трафаретные фразы.

Внезапно он без видимой причины умолк. В комнате сразу же воцарилась тишина. И в наступившей тишине г-н Гесрейтер, объявив, что теперь он, наконец, хотел бы показать обещанный сюрприз, повел заинтригованных гостей в небольшой, увешанный картинами кабинет и включил электричество. На ровной серой стене среди немногих картин висел автопортрет обнаженной Анны Элизабет Гайдер. В этом продуманно и красиво освещенном кабинете умершая девушка потерянно и в то же время сосредоточенно смотрела на висевшую напротив картину — написанный сочными мазками крестьянский дом в горах Баварии. Беспомощно и жалостно вытянутая, не слишком тонкая шея, расплывающиеся в нежно-молочном свете грудь и бедра.

Обуреваемая противоречивыми чувствами, стояла Иоганна перед портретом. Вот она, эта картина, причинившая столько неприятностей многим людям, неизменно вызывавшая у нее острую неприязнь. Безмолвная, бесхитростная и отталкивающая висела она здесь, а стоявший рядом г-н Гесрейтер с добродушной, победоносной улыбкой указывал на нее. Чего, собственно, добивался этот странный человек? Зачем он купил эту картину? С какой целью показывает ее сейчас? Иоганна переводила вопросительный взгляд с картины на г-на Гесрейтера и с г-на Гесрейтера вновь на картину. Она быстро перебрала в уме все вероятные резоны, но так ни до чего определенного не додумалась. Долго стояла она в молчании перед картиной. Остальные гости тоже были озадачены. Г-жа фон Радольная разглядывала вызвавшее столько толков полотно с выражением крайнего удивления на лице. Она не была равнодушна к истинному искусству и отнюдь не склонна была принимать на веру газетные суждения. Но от картины веяло чем-то скандальным, неприличным. Такие вещи она угадывала безошибочным чутьем. Несмотря на это, а быть может, как раз поэтому, картина представляла значительную художественную ценность. Но стоило ли такому человеку, как Пауль, занимавшему столь видное положение в мюнхенском обществе, именно сейчас приобретать ее? Это может произвести неприятное впечатление. Он словно демонстрирует всем: «да, вот именно сейчас», будто бросает вызов обществу, да еще в такое время! Душой истинной баварки она его понимала, но одобрить не могла.

Первым молчание нарушил Грейдерер. Он громким голосом с простецкой доброжелательностью отозвался о картине. Старик

Каленеггер отрешенно сидел в своем кресле. Это не входило в круг его интересов, и он прямо на глазах угас, превратился в дряхлого, допотопного старца. Г-н Пфистерер свое пассивное и поверхностное одобрение картине в слова не облек, умолк наконец и художник Грейдерер. С минуту длилось полное молчание, слышно было лишь, как тяжело дышат оба писателя. Все с тайным любопытством поглядывали на Иоганну Крайн, смутно ощущая, что есть нечто двусмысленное и скользкое уже в том, что эта девушка стоит сейчас в этом кабинете перед этим портретом. С благодушного пухлого лица г-на Гесрейтера постепенно сходило выражение гордости хозяина, показывающего приятным гостям хорошую вещь. Его щеки обвисли, что придавало ему какой-то беспомощный вид.

И вдруг тишину нарушил злой, ворчливый голос доктора Маттеи.

— Черт знает что за мерзость! — завопил он.— Даже наши враги не осмеливаются отрицать выдающиеся способности баварцев в области изобразительного искусства. Баварское барокко, баварское рококо, готика того же Йорга Гангхофера или Мэлескирхнера, мюнхенская школа ваятелей во главе с вейльгеймцем Крумпером. А братья Азам... Ну и, разумеется, классика эпохи Людвига Первого. Подлинное искусство,— высокое, благопристойное и самобытное! И все это хотят выхолостить, заменить всякой дрянью. Черт знает что за мерзость!

Все чувствовали, что эти резкие суждения — крик его души. Гости, все до одного баварцы, ощущали в словах писателя, от которого они привыкли слышать лишь едкие нападки,— любовь к их родному краю. После столь гневной тирады писатель Маттеи чуть смущенно, но со злым упрямством уставился куда-то в пространство. Писатель Пфистерер кивнул косматой головой, примирительно приговаривая: «Ну, ну». Гесрейтер в замешательстве поглаживал тщательно расчесанные баки. Он вспомнил о продукции своей керамической фабрики, о бесчисленных бородатых гномах и гигантских мухоморах. Натянуто улыбнулся, сделав вид, будто принимает резкие выпады доктора Маттеи за беззлобную шутку.

Когда в комнату стремительно вошел г-н Пфаундлер, все испытали истинное облегчение. Этот магнат «индустрии увеселений» был приглашен г-жой фон Радольной, и он привез с собой русскую даму, которую вовсю рекламировал вот уже несколько месяцев. Он представил ее гостям,— «Ольга Инсарова»,— и произнес это имя так, будто оно принадлежит человеку, снискавшему известность во всем мире. Знаменитая дама

оказалась всего лишь тоненькой, хрупкой женщиной с изменчивым лицом и раскосыми, живыми глазами, грациозной, хотя и несколько жеманной. Доктор Маттеи сразу принялся неуклюже ухаживать за ней и громко заявил, что, не в обиду господину Гесрейтеру будь сказано, но живая танцовщица ему милее мертвой художницы. Все облегченно вздохнули и вернулись в библиотеку.

Иоганна с изумлением наблюдала, с какой алчностью доктор Маттеи завладел русской танцовщицей. Тяжеловесному, с простоватым, исполосованным шрамами лицом Маттеи нелегко было парировать колкие остроты маленькой женщины, которая ловко загоняла его в угол и часто смеялась, обнажая в улыбке влажные, мелкие зубы; она, вообще, была удивительно мила. В споре она выказывала втрое больше находчивости и ума, безжалостно издевалась над своим поклонником.

— Ну теперь Маттеи пропал! — добродушно заметил Пфистерер. Г-жа фон Радольная и Иоганна уже не беседовали между собой — все наблюдали, как Маттеи отчаянно и безуспешно пытался защищаться. Он счел за лучшее перевести разговор в ту область, где чувствовал себя куда увереннее, и внезапно обрушился на Пфистерера, нанеся коварный удар по розовому оптимизму популярного писателя. При этом Маттеи попал в самое его больное место. Добродушный человек, снискавший шумную славу, никак не мог понять, почему некоторые писатели, чьим талантом он искренне восхищался, не желали признавать его лучезарного мироощущения: это уязвляло и мучило его. Почему ему отказывали в праве нести народу свои жизнеутверждающие творения, дарить радость всюду — от королевского дворца до лачуги углекопа. Он старался понять своих недругов, уяснить себе их позицию. Но честность здесь, увы, не в почете! Наглость, с какой доктор Маттеи обрушился на него, граничила с подлостью. Он побагровел. Коренастые, плотные, оба писателя стояли друг против друга, рыча от ярости. Инсарова, глядя на них с интересом и немного свысока, улыбалась, по-мальчишески озорно облизывая уголки рта. А Иоганна с присущим ей тактом пришла Пфистереру на помощь, и он сумел быстро овладеть собой. Его возмущение сменилось печалью. Энергично встряхивая золотистой гривой курчавых волос, протирая запотевшие стекла пенсне, он стал сетовать на злобные, разрушительные инстинкты некоторых господ.

В то самое время, как Маттеи снова повернулся к проказливой русской танцовщице и, не переставая дымить трубкой, с нескрываемым удовольствием уставился на нее маленькими, ко-

лючими глазками, Пфистерер подсел к Иоганне Крайн. Эта крепкая, добрая баварка напоминала ему героинь его произведений — такая же смелая и душевная. Иоганна тоже испытывала к нему симпатию. Конечно, на самом деле жизнь была совсем не такой, как в его книгах,— мрачнее и без позолоты. Но она понимала тех людей, которые на досуге охотно читали такого рода книги, при этом горы представлялись им не менее глянцевыми, а суровые горцы — не менее прямодушными, чем самому Пфистереру. Да и она сама читала его романы с удовольствием. Он, безусловно, пользуется влиянием, его любезно принимают при дворе, он наверняка мог бы ей помочь. Так что Иоганна обрадовалась, когда Пфистерер подсел к ней. Она завела с ним разговор о деле Крюгера. Осторожно, всячески смягчая акценты, постаралась втолковать ему, что здесь налицо произвол. В ответ Пфистерер кивал головой с гривою золотистых волос, явно не понимая, как такое могло случиться. Он был приверженцем старых порядков, и баварская революция оставила в его душе незаживающую рану. К счастью, теперь Бавария вновь на верном пути, она, собственно, уже отыскала дорогу к славному прошлому. Немпого доброй воли — и все образуется. А то, что она сейчас рассказала о прискорбной судебной ошибке, этому, пусть уж она не обессудит, он просто не в силах поверить. Он был любезен и участлив, задумчиво тряс гривой лохматых волос, протирал пенсне. Зачем же так уж сразу думать, что имеешь дело с жуликами. Недоразумения, ошибки. Он этим займется. При первом же удобном случае поговорит с кронпринцем Максимилианом, этим замечательным, добрейшей души человеком.

Господин Пфаундлер сказал, что зимой кронпринц будет отдыхать в Гармиш-Партенкирхене. Все высшее общество съедется в Гармиш; реклама, которую он создал этому курорту, сделала свое дело. Увеселительное заведение «Пудреница», которое он намерен там открыть, отвечает самым изысканным вкусам. Художники — г-н Грейдерер и создатель скульптурной группы «Бой быков»,— превзошли самих себя. Изящество в стиле восемнадцатого века и одновременно редкий уют. Шикарное заведение, высший класс! Керамические плитки с фабрики г-на Гесрейтера совершенно великолепны. И наконец, в «Пудренице» состоится выступление Ольги Инсаровой, впервые в Германии. Г-н Пфаундлер говорил ровным голосом, негромко, но его мышиные глазки под большим шишковатым лбом горели такой фанатичной убежденностью, что придавали особую весомость каждому слову. Назвав имя танцовщицы, Пфаундлер слегка кивнул в ее сторону, бесцеремонно, по-хозяйски небрежно.

И сразу же лицо Инсаровой утратило мальчишескую живость, стало вялым и каким-то тусклым.

Да, заключил Пфаундлер, зимой Гармиш будет самым модным курортом Европы.

Иоганна подумала, что ради Крюгера неплохо было бы побывать в Гармише. Фешенебельный зимний курорт! До сих пор подобные вещи ее нисколько не трогали. Скорее даже были противны. Она взглянула на свои почти квадратные, далеко не изящные ногти. Люди целеустремленные, занятые серьезным делом, чья жизнь наполнена смыслом, там чужие. Да к тому же это, верно, стоит бешеных денег, а она и так скоро останется без гроша,— ведь графологией-то ей заниматься запретили.

Гости стали прощаться. Иоганна, в отличие от других, решила пойти пешком, и Гесрейтер вызвался ее проводить. Он гордо шагал с нею рядом. Она произвела впечатление и тем самым уже кое-чего добилась. Он воспринимал это как свой личный успех. Этот грузный человек сейчас весь излучал оптимизм. Иоганна была настроена скептически и не разделяла девяти десятых его радужных надежд, но, готовая удовольствоваться и одной десятой, весело шла рядом; его массивная фигура казалась ей неплохой опорой.

Во время совсем не близкого пути он болтал о всяких пустяках, пока наконец не заговорил о дурацком запрете заниматься графологией. Высказал предположение, что это, очевидно, отразится на материальном положении Иоганны. Можно себе представить, что без особой нужды человек не станет корпеть над каракулями всяких там идиотов. Иоганна, вспомнив, как резко и недвусмысленно выражался Жак Тюверлен, наслаждалась сейчас той деликатностью, с какой Гесрейтер делал свои намеки. После короткого молчания она ответила, что да, покупать картины ей, не в пример Гесрейтеру, не по карману. Затем, словно невзначай, обронила, что рассказ г-на Пфаундлера натолкнул ее на мысль съездить зимой в Гармиш. Гесрейтер бурно выразил свой восторг. Съездить в Гармиш — великолепная идея! Там в непринужденной обстановке проще завязать нужные связи, люди там приветливы и очень дружелюбны. Разумеется, ей нужно поехать в Гармиш. Пусть она заблаговременно сообщит ему, когда соберется туда. Он непременно хочет ей помочь и будет ужасно огорчен, если она лишит его этой возможности. Иоганна может на него положиться, он все сделает наилучшим образом. При словах «сделает наилучшим образом» Иоганна слегка вздрогнула, как вздрогнула, когда он

под благовидным предлогом заговорил о деньгах. У дверей ее дома он, задержав крепкую, с квадратными ногтями руку Иоганны в своей пухлой и холеной, доверительно и настойчиво поглядел томными глазами в ее широкоскулое, открытое лицо.

Ложась спать, Иоганна улыбалась. Она с улыбкой вспоминала старомодные, приятные манеры фабриканта Пауля Гесрейтера, пыталась воспроизвести размашистые движения его рук — словно он загребал воздух — и твердо решила ехать в Гармиш. Так с улыбкой она и заснула.

8

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ДЕЛУ КРЮГЕРА

Жак Тюверлен диктовал своей миловидной чистенькой секретарше статью о деле Крюгера: «Мартин Крюгер,— диктовал он, небрежно расхаживая по кабинету в своем свободном одноцветном домашнем костюме,— пресловутый Мартин Крюгер неудобен правительству. Взгляды этого человека противоречат самой сути баварцев и методам управления страной. Его воззрения на искусство также находятся в противоречии с нравами и обычаями, столь дорогими сердцу консервативного горного племени, населяющего Баварское плоскогорье. Ну, а тот факт, что эти нравы и обычаи отличаются от нравов и обычаев остальной Европы, что некогда они определялись условиями жизни и потребностями мелких селений либо отдельных хуторов, что они патриархальны и, следовательно, нелогичны и вредны, ровным счетом ничего не значит. Уже одно то, что Мартин Крюгер в своей области претворял в жизнь более широкие взгляды, отвечающие нынешним оживленным связям, но противоречащие взглядам общепринятым, узким и ограниченным, дало правительству этой косной страны право объявить человека с неугодными ему воззрениями преступником и отделаться от него».

Из громкоговорителя неслись пронзительные звуки танца, приятельница по телефону упрекала Жака Тюверлена за то, что она напрасно прождала его в ресторане. Он действительно забыл о ней, но свалил все на секретаршу, хотя та была ни при чем, потому что он ее не предупредил. Курьер издательства настойчиво требовал гранки. Он не уйдет, пока не получит гранок,— так ему было велено. Жак Тюверлен любил шум во время работы. Секретарша терпеливо ждала, и он снова начал диктовать. «Более объективный и совершенный суд назвал бы истинные причины, из-за которых человека считают общественно опасным

и, следовательно, подлежащим устранению. Этот человек выставил в национальной галерее произведения искусства, неприятные обществу,— значит, его необходимо устранить и для устрашения других — покарать. Но почему — и это ведь вредит престижу баварского правосудия,— нужно карать человека не за то, что он выставил в галерее хорошие картины, а за мнимую связь с женщиной и за ложную присягу, которой он не давал? Почему министр юстиции не заявит открыто и недвусмысленно: «Ты подрываешь наши устои, ты для нас неприемлем, тебя нужно убрать — уничтожить или, по крайней мере, изолировать!»

Пришел портной примерить новый смокинг, курьер издательства все еще ждал, громкоговоритель извергал пронзительные визгливые звуки, из спортивного магазина позвонили, что поступили новые лыжи. «Безусловно, на Мартина Крюгера падает даже бо́льшая вина, чем на баварское правительство,— продолжал диктовать Тюверлен, в то время как портной, вооружившись булавками и мелом, колдовал над его широкими плечами и узкими бедрами.— Как человек образованный, он должен был понимать, что совершает преступление, приобретая для нынешней Баварии прекрасные картины. Кроме того, он обязан был помнить изречение некоего мудреца, сказавшего, что умный человек тут же удирает за границу, если его обвиняют в том, будто он спрятал в карман Лувр. Тем более следовало удрать ему, когда баварский суд обвинил его в том, что он несколько лет назад был в интимной близости с женщиной, а затем под присягой отрицал это. Итак, Мартин Крюгер достоин наказания. Однако нельзя не удивляться поистине смехотворному макиавеллизму баварской юстиции. Даже если допустить, что истинная вина Крюгера не позволяла по-настоящему расправиться с ним, то разве не честнее и порядочнее было бы привлечь его к суду за деяния, относящиеся к той же сфере, что и совершенное им преступление, иначе говоря, за нарушение общепринятых в Баварии норм. Но кто же всерьез станет утверждать, что переспать с женщиной, а затем под присягой отрицать этот факт — не в обычаях Баварии?»

Такими были основные положения статьи, которую писатель Жак Тюверлен, прохаживаясь по комнате, диктовал секретарше, успевая знаками давать указания отчаявшемуся портному.

Затем он отпустил курьера, заказал новые лыжи, договорился о встрече с обиженной приятельницей и послал набросок статьи Иоганне Крайн.

Прочитав статью, Иоганна помрачнела. Ей и в голову не

пришло, что трезвый, здравомыслящий Тюверлен, случись с ним нечто подобное, главным виновником посчитал бы самого себя. Она не поняла главного: Тюверлен написал эту статью, чтобы разобраться в собственных запутанных взглядах на дело Крюгера, оправдаться перед ней, Иоганной, и перед самим собой. Статья показалась ей просто циничной издевкой над ее борьбой за справедливое дело, которую она вела открыто и честно. На следующий день у нее с Тюверленом было назначено свидание. Теперь она решила больше с ним не встречаться, порвать с ним раз и навсегда. Но, уже сняв трубку, передумала — решила поговорить с ним прямо, без обиняков. На следующее утро она встретилась с адвокатом Гейером. Рассказала ему о знакомстве с г-жой фон Радольной в доме у Гесрейтера и о своем намерении поехать в Гармиш.

— Хорошо,— сказал доктор Гейер.— Даже очень хорошо. Нужны светские связи, как я вам уже говорил. С этими людьми нужно бороться их же оружием: необходимо завоевать их расположение. Воевать с ними бесполезно, зубы у них покрепче ваших.

Иоганне показалось, что адвокат отделывается общими фразами, точно дело Крюгера перестало его по-настоящему интересовать. Он сидел, закрыв глаза, прятавшиеся за стеклами очков. Иоганна сердито закусила верхнюю губу. Тюверлен, адвокат: похоже, что всерьез судьбой Крюгера озабочены лишь нищие духом. Внезапно Гейер сказал:

— Зимой в Гармиш приедет отдохнуть на две недели имперский министр юстиции Гейнродт. Я напишу ему, и он не откажется вас принять.

Он попытался вернуть ее доверие прежним проникновенным взглядом. Но она не дала себя обмануть — взгляд адвоката оставил ее равнодушной.

Вечером следующего дня она ужинала с Жаком Тюверленом в ресторане Пфаундлера. Тюверлена удивило, что Иоганна рассердилась на него за статью.

— Разумеется, я готов вам помочь,— непринужденно, фальцетом объяснил он.— Но это не мешает мне откровенно высказывать свое суждение. Ведь дело только выигрывает, если к нему подходишь трезво. Кстати, мне недавно представился случай познакомиться с министром Кленком. Исключительно симпатичный человек.

— Он защищает самое неправое дело на земле,— бросив на Тюверлена гневный взгляд, произнесла Иоганна побелевшими губами.

— И что же? — удивился Жак Тюверлен.— Бывает, что хорошие люди защищают неправое дело.

— Я по горло сыта вашими афоризмами! — оборвала его Иоганна, швырнув салфетку на стол.

Ноздри ее вздернутого носа раздувались. Удивительно, что у этого вздернутого носа такие тонкие, выразительные ноздри! Эта женщина необычайно нравилась Тюверлену.

— Слушаешь вас, и кажется, будто ступаешь по осколкам стекла,— продолжала Иоганна.— Вы хуже баварского правосудия.

Не закончив ужина, она встала. Жак Тюверлен тоже поднялся из-за стола и спросил, когда они увидятся снова.

— Я уезжаю на несколько недель в Гармиш,— ответила Иоганна.

— Это великолепно,— воскликнул Жак Тюверлен.— Я тоже в скором времени собираюсь туда.

Он проводил ее до выхода, затем вернулся к столу и закончил ужин.

9

ЖЕНИХ В АРЕСТАНТСКОЙ ОДЕЖДЕ

Над рабочим столом заключенного Мартина Крюгера висел календарь, выше — распятие, грубая фабричная копия со средненемецких распятий пятнадцатого века. Мартин Крюгер большую часть дня проводил за этим столом, его лицо посерело, а руки потрескались оттого, что он непрерывно смывал с них клей. Нарезанная бумага, горшок с клеем, кисточки, деревянная фальцовка, шаблон для сгибания дна. Так Мартин Крюгер сидел с утра до обеденного перерыва, затем — до прогулки, и снова — до вечера. Он намазывал клей, потом вклеивал подкладку, придавая кульку нужную форму, опять клеил, загибал донышко и в последний раз промазывал клеем уже готовый кулек.

А когда он поднимал глаза, то видел на высоте двух метров от каменного пола оконце, забранное снаружи железными прутьями — пять вертикальных и два продольных. Под оконцем на полке — несколько эмалированных посудин: таз для умывания, мыльница, кувшин, кружка. Время от времени он вставал и мерил шагами тесную — четыре метра в длину и два в ширину! — камеру. Плотная, дубовая дверь, запертая на два железных засова и тяжелый замок. Голые стены — бледно-зеленые внизу и беленые — сверху. Он знал наизусть мельчайшие полоски,

оставленные малярной кистью: оба места, откуда были выдраны гвозди, и совершенно точно — пять замазанных краской вмятин, где прежде торчали гвозди. Рядом с полкой был прибит небольшой, оклеенный белым листом бумаги кусок картона с надписью: «Мартин Крюгер, регистрационный номер 2478, три года». Там же были указаны даты начала и конца срока наказания, и внизу — «дача под присягой ложного показания». В углу камеры стояла белая параша для отправления естественных надобностей и, как ни странно, висел термометр. Для письма — аспидная доска и грифель. В бумаге и чернилах ему было пока отказано.

Он снова и снова перелистывал четыре брошюрки, висевшие в углу на нитке, продетой в продырявленные уголки. Одна из них была о борьбе с туберкулезом и алкоголизмом, другая — о страховании на случай утраты кормильца либо потери трудоспособности, третья — вдвойне бессмысленная во времена инфляции — «Руководство для вкладчиков сберегательных касс» и, наконец, книжица в черной обложке: «Правила для заключенных».

Он давно уже знал все, что запрещено, знал, что во втором абзаце пункта «Дисциплинарные взыскания» недостает одной буквы, а над вклеенным дополнением к «Прогрессивной шкале наказаний» — большое бурое пятно. Он знал наизусть каждую букву и каждую неровность бумаги, на которой была напечатана брошюра. И все же вновь и вновь перечитывал сухие правила для заключенных. Запрещалось смотреть в окно, поддерживать контакт с другими заключенными посредством разговоров, переписки или подачи знаков. Запрещалось также прибегать к меновой торговле, принимать или делать подарки. Запрещалось вступать в беседу с надзирателем, петь, свистеть и вообще шуметь. За каждое нарушение заключенному грозило соответствующее наказание: сокращение тюремного пайка, лишение койки, перевод в железную клетку или темный карцер.

В дополнении приводились выдержки из министерских предписаний о «Прогрессивной шкале наказаний». За хорошее поведение заключенного через определенный срок могли перевести на «вторую ступень». В этом случае заключенный получал право выписывать газету и даже разговаривать во время прогулки по тюремному двору.

Свидание с родными и близкими Мартину Крюгеру полагалось только раз в три месяца. Разрешение на свидание с лицами, не состоявшими с ним в родстве, такими, как Иоганна Крайн или Каспар Прекль, давалось в виде особой милости, и Крюгер

жадно считал дни, отделявшие его от каждой новой встречи. На свидание отводилось пятнадцать минут, посетителей и заключенных разделяла решетка.

На «первой ступени» разрешалось получать и писать письма раз в два месяца, на «второй ступени» — раз в месяц. Все письма подвергались цензуре. Недозволенные сообщения влекли за собой суровое наказание. Часто заключенному сообщались лишь имя и адрес отправителя. Само письмо заключенному не зачитывалось, а подшивалось к делу.

Однажды Мартин Крюгер попросил, чтобы его принял начальник тюрьмы. Он стоял в коридоре вместе с другими заключенными, построенными в два ряда. Надзиратель ощупал его, чтобы проверить, не прячет ли Мартин Крюгер какого-либо инструмента, тупого или холодного оружия. Он вошел в кабинет начальника тюрьмы и, в строгом соответствии с правилами, назвал свое имя и номер.

— Что вам угодно? — спросил начальник тюрьмы, подвижной человечек в пенсне, с высохшим, кроличьим лицом и щетинистыми усиками.

Звали его Фертч, чин — старший государственный советник, оклад по двенадцатому разряду и возраст уже такой, что для увенчания карьеры у него оставались считанные годы. В эти оставшиеся несколько лет должно было решиться, добьется ли он солидного положения. Он мечтал получить следующий чин и оклад по высшему, тринадцатому разряду, чтобы затем выйти на пенсию в чине директора департамента. О персональном окладе директора департамента, превышавшем все разрядные оклады, он даже мечтать не смел. Но остаться тем же старшим советником, было равносильно бесславному, печальному концу всей карьеры. Если ему суждено навсегда остаться старшим советником, тогда жизнь утрачивала всякий смысл. Итак, он жаждал сделать карьеру, с каждым днем все нетерпеливее высматривал подходящий случай, который привлек бы к нему внимание начальства, и всегда был начеку. Его губы беспрестанно шевелились, одновременно подрагивали отдельные волоски вокруг них, что придавало господину начальнику сходство с кроликом.

— Что вам угодно? — спросил он. Он был преисполнен любопытства, смешанного с недоверием, и постоянно ждал какого-нибудь подвоха, особенно со стороны этого арестанта номер 2478, этого Крюгера со скандальной славой. Мартин Крюгер просил разрешение на выписку книг.

— Стало быть, книг тюремной библиотеки вам недостаточно? — сказал начальник тюрьмы. Дрогнули губы, и в унисон им

радостно затрепетали волоски в ноздрях. Начальник был сообразителен. Его «пансионеры» прибегали ко всевозможным хитростям и уловкам, это было вполне естественно, но он всякий раз оказывался чуть хитрее их. Он не верил в любознательность Мартина Крюгера. Пересылка книг нередко служила лишь предлогом для того, чтобы тайком передать заключенному либо получить от него запрещенные сведения. Приходилось тщательно проверять книги, не вложена ли в переплет либо между двумя склеенными страницами записка. А этот просмотр отнимал много времени.

— Какие у вас еще будут пожелания? — поинтересовался г-н Фертч. Он любил едко и игриво подшучивать над своими «пансионерами».

— У меня их много,— ответил Мартин Крюгер.

— Послушайте, милейший,— с наигранным дружелюбием произнес старший советник,— вам никогда не приходило в голову, что вы здесь не свободный художник, а арестант?

Такая просьба со стороны заключенного да еще первой ступени, заявил г-н Фертч, граничит с цинизмом. Следует подумать, не наложить ли на него взыскание за подобную наглость. Отдает ли себе доктор Крюгер отчет в том, что тогда отпадет всякая возможность сократить ему срок наказания?

Мартин Крюгер, несмотря на многократные замечания, вызывающе улыбнулся и вежливо поправил Фертча.

— Я, милостивый государь, рассчитываю не на сокращение срока, а на оправдание и реабилитацию.

На столь непостижимую дерзость и особенно на «милостивого государя» человек с кроличьей мордочкой не нашелся, что ответить.

— Вон отсюда! — рявкнул он и судорожно проглотил слюну.

Широкая, чуть сутулая, серо-коричневая спина Крюгера не спеша поплыла к двери и вскоре исчезла за ней.

Удивительно, что заключенный номер 2478 после этого случая не только не был наказан, но после посещения тюрьмы каким-то высокопоставленным чиновником его даже перевели на вторую ступень. Тут, видимо, действовала чья-то невидимая рука, стремившаяся смягчить наказание заключенному, что, однако, постоянно наталкивалось на упорное сопротивление. Ходили слухи, будто министр юстиции не слишком склонен применять к заключенному всякие строгости, но на этом настаивает министр просвещения и вероисповеданий, доктор Флаухер, в компетенцию которого, правда, подобные вопросы не входят.

Начальник тюрьмы Фертч неусыпно следил за малейшей переменой, готовый мгновенно услужить членам кабинета министров, подобно тому как собака во время трапезы своего хозяина внимательно следит за каждым его движением, боясь упустить момент, когда ей бросят лакомый кусочек.

На второй ступени Мартину Крюгеру было разрешено во время ежедневной прогулки разговаривать с одним из товарищей по заключению. Ему стали также довольно часто выдавать письма и, уж во всяком случае, знакомили его с их содержанием, за исключением тех мест, которые признавались недозволенными. В этих случаях начальник тюрьмы лично читал ему письма своим тусклым голосом, шутливо-иронической интонацией выделяя самые любопытные пассажи и беспрестанно запинаясь, так как пропуски часто делались буквально средп фразы. Однажды он прочел заключенному письмо Каспара Прекля.

Молодой инженер писал: «Дорогой доктор Крюгер, в свободное время я работаю над статьей «Искусство и техника». Часть предоставленных вами материалов я смогу использовать. Мужайтесь. Вам еще многое предстоит сделать. Надеюсь, моя статья понравится вам. Как только разрешат, я вышлю вам рукопись».— Этому господину придется запастись терпением,— добродушно заметил начальник тюрьмы Фертч.— «Я напал на след «Иосифа». На этом начальник тюрьмы чтение письма прервал: остальное, по его убеждению, явно походило на тайный воровской жаргон, а он, Фертч, водить себя за нос никому не позволит. Мартин Крюгер со своей спокойной, вежливой, доводившей начальника до бешенства улыбкой поблагодарил и вышел из конторы менее вялой, чем обычно, походкой.

Недавно ему выдали из тюремной библиотеки один из томов «Жизни животных» Брема. Книга захватила его. Он прочел ее трижды от корки до корки: о миграциях леммингов, о воинственности и стадном чувстве диких ослов, о простодушии слонов. Когда настало время сдавать книгу, он так настойчиво стал просить, чтобы ее не забирали, что ему оставили книгу еще на неделю. В тот день, когда пришло письмо от Каспара Прекля, он читал о сурках, об истреблении старых и больных животных молодыми перед переселением на зимнее жилье. Он прочел о том, как сурки накапливают в своем организме жир впрок, а нору набивают землей, камнями, глиной, травой и сеном, и о том, что время холодов они проводят в спячке — лежат, оцепенев как мертвецы, неподвижные, одеревенелые от холода, выдыхая углекислоты в тридцать раз меньше, чем летом, а зна-

чит — сберегая в тридцать раз больше кислорода. Так, в этом мудром самоусыплении они ждут прихода тепла.

В ту ночь Мартину Крюгеру приснилось, будто он праздно сидит в одном из красивых кожаных кресел своего кабинета после трудной, но успешной работы, почитывая какой-то легковесный, модный роман. Внезапно зазвонил телефон, и чей-то голос произнес: «Не правда ли, вы тот самый господин, что интересуется библейской картиной некоего Ландхольцера?» Голос был грубый, мужицкий, изъяснялся незнакомец высокопарным литературным языком, тоном сельского священника, читающего проповедь.

«Да,— поспешно ответил Крюгер.— Разумеется, я весьма этим интересуюсь».— «Тогда я мог бы...» — продолжал незнакомый голос, но здесь связь прервалась. Мартин Крюгер тут же позвонил на телефонную станцию и спросил, откуда ему звонили. Но там грубо накричали на него и пригрозили, что, если он еще раз позволит себе столь наглую выходку, его сурово накажут. Буквально через секунду ему вновь позвонили — в трубке звучал тот же голос, незнакомец произнес те же слова, и на том же месте разговор прервался. Звонить на станцию Крюгер больше не решился; он вспомнил, что у него нет проездного билета, и стал лихорадочно рыться во всех карманах, но билета не нашел. Он решил, что его долг, невзирая ни на что, справиться обо всем на телефонной станции, но снять трубку так и не отважился. Ему позвонили в третий раз, и на том же месте разговор снова прервали.

Спустя несколько дней его вызвали в контору. Низкорослый начальник саркастически улыбался бесчисленными морщинками лица, и даже волоски у губ и те, что торчали из ноздрей, иронически подрагивали, когда он приготовился зачитать письмо.

— Поздравляю вас, номер две тысячи четыреста семьдесят восемь,— сказал он в виде предисловия.— Вам сделали предложение.

Против обыкновения, он не назвал имя отправителя письма, а сразу же приступил к чтению.

«Дорогой Мартин! Я считаю, что настало время осуществить наше давнишнее желание и путем брака узаконить наши отношения. Юристы заверили меня, что даже при нынешних условиях этому ничто не препятствует». Человечек с кроличьими усиками не удержался и сделал перед словами «нынешних условиях» короткую многозначительную паузу. «Я позабочусь обо всех необходимых формальностях». Заключенный, с лица которого после первой фразы письма исчезла обычная вызы-

вающая усмешка, при этих словах заметно вздрогнул. «Надеюсь, уже в наше ближайшее свидание сообщить тебе все окончательно».

— Вероятно, нет необходимости зачитывать вам подпись, номер две тысячи четыреста семьдесят восемь? — с хитрой усмешкой добавил начальник тюрьмы.— Кстати, дама права. Здесь у нас заключалось немало браков при «нынешних условиях». Примите мои поздравления! На ваше имя прибыла также посылка. Поскольку вы теперь жених, я разрешу выдать ее вам, хотя ваше поведение и внушает некоторые сомнения.

Мартин Крюгер весь дрожал. С огромным трудом выдавил из себя:

— Благодарю.— Потом добавил: — Нельзя ли мне взглянуть на письмо?

— Уж не думаете ли вы, что я его подделал? — насмешливо произнес начальник тюрьмы.— И швырнул Крюгеру письмо.— Возьмите! — Отпечатанное на машинке и напоминавшее коммерческий документ, оно было таким же безликим, сухим и казенным, как и стиль, каким было написано.

С того дня Мартину Крюгеру стало совсем невмоготу. В голую камеру, пугая его буйством красок, ворвались картины прошлого: Иоганна Крайн с крепкими ногами и широкоскулым смелым лицом, сильная, открытая; затем — ослепительный, южный пейзаж, потом — большие, белые листы бумаги, заполнявшиеся прыгающими буквами, от которых исходил едкий запах блистательной и не до конца искренней работы. В его камере воцарился дух смятения и сразу вытеснил «Иосифа и его братьев». Этот пестрый туман тревожил его во сне и вызывал дрожь в руках, когда он клеил кульки.

В первый же отведенный для переписки день он отправил Иоганне ответное письмо. Он благодарит ее, но должен все как следует обдумать. Это, безусловно, будет плохо для нее, и, вероятно, для него — тоже. «Юродивый какой-то! — подумал начальник тюрьмы Фертч, проверяя текст письма.— А может, они заранее обо всем сговорились? — подумал он.— Ну уж меня-то они не проведут».

10

ПИСЬМО В СНЕГУ

Иоганне было приятно лежать на снегу и отдыхать, ни о чем не думая. Она была в лыжном костюме, с длинными на мужской манер брюками, сшитыми по последней моде, и в тя-

желых, низких ботинках. Она собиралась отдохнуть всего несколько минут и даже не отстегнула лыжи — они торчали под углом к ее распластанному на снегу и казавшемуся синим пятном телу.

Вот уже восемь дней, как она в Гармише. Г-н Пфаундлер был прав, этот зимний курорт стал в этом сезоне местом встречи «большеголовых» со всего света. Но из окружения г-жи фон Радольной пока никто не приехал, а на этих людей она возлагала больше всего надежд. Впрочем, она не очень-то огорчалась, что приходится ждать. Она с детства часто бывала в горах, и лыжные прогулки доставляли ей огромное удовольствие.

Вдруг она почувствовала, что в кармане ее костюма что-то хрустнуло,— письмо, врученное ей перед самой посадкой в поезд на Гохэк. Она, не читая, сунула в карман это письмо со штемпелем Одельсберга, почтового отделения тюрьмы, где сидел Крюгер. Странно, что за все это время она ни разу не вспомнила о нем.

Но теперь ей захотелось прочесть его. Доносившиеся с противоположной стороны крики мешали ей. Это новички занимались с инструктором. Лучше спуститься вниз, в долину. Уже в нескольких минутах ходьбы отсюда будет тихо, и она спокойно прочтет письмо.

Она выехала на широкое, открытое место. Дальше начинался лесок, его можно обойти. Но она пошла прямо через лес, менее удобным, но зато более коротким путем. Закусив верхнюю губу, она с трудом пробиралась меж деревьев. Выйдя наконец из леса, не снимая лыж, повалилась на снег. Впереди ее ждал самый легкий отрезок дороги — длинная, плавно спускавшаяся вниз лыжня. Расслабившись, с бездумной улыбкой лежала она на снегу и глубоко дышала, ощущая приятную усталость во всем теле. Но тут же вновь сосредоточилась. Теперь она прочтет письмо. Должно быть, это ответ на ее предложение обвенчаться.

Она сунула руку в карман, но письма нащупать не смогла. Сняла перчатку, еще раз порылась в кармане. Письма не было, должно быть, она его потеряла. Ей стало не по себе от мысли, что письмо Мартина валяется сейчас где-то в снегу. Видимо, она обронила его в лесу. Надо поискать. Если вернуться по своей же лыжне, есть надежда его найти. Правда, дело близится к вечеру, солнце вот-вот зайдет, и скоро все окутает густой туман. Мартину Крюгеру не часто разрешают писать, для него каждое письмо — целое событие.

На опушке леса появилась чья-то фигура. Полный, но еще довольно изящный мужчина в кофейного цвета спортивном костюме. Он подъехал ближе, весело взглянул на нее своими томными глазами, снял толстую шерстяную перчатку, запорошенную снегом, протянул руку и сказал: «Добрый день».

Да, Пауль Гесрейтер приехал раньше, чем предполагал вначале. С его стороны, вероятно, было легкомысленно бросить на произвол судьбы керамическую фабрику сейчас, в период инфляции, когда приходится ежечасно следить за колебаниями закупочных и продажных цен. Но теперь это его нисколько не волнует. Ведь Иоганна уже целую неделю здесь, и он не хотел терять ни минуты времени. В отеле ему сказали, что она отправилась на Гохэк. Он позвонил туда. Не дозвонившись, взял да и поехал за нею следом. Ну разве он не молодчина, что безошибочным чутьем угадал, какую она выбрала дорогу, и пошел прямо через лес?

Человек в костюме кофейного цвета был весел, как мальчишка, и болтал без умолку. Так вот — в одном с ним поезде ехала целая компания: Пфаундлер, художник Грейдерер, а также Пятый евангелист — Рейндль. Кстати сказать, неприятный субъект, просто отвратительный, с кислой миной добавил он. Через несколько дней приедет и г-жа фон Радольная. Говорила ли она уже с министром юстиции Гейнродтом? Ну это доктор Гейер устроит. А пока она должна как можно скорее побывать с ним, Гесрейтером, в «Пудренице» — новом увеселительном заведении Пфаундлера. Через два-три дня здесь некуда будет деваться от знакомых. Все-таки приятно вихрем слететь с этого склона! В эту зиму он всего три раза вставал на лыжи. Из-за идиотской инфляции буквально ни на что не остается времени. Доллар стоит уже сто девяносто три марки пятьдесят пфеннигов. Между прочим, он не зря шел по ее следу — он кое-что нашел. Поставив лыжу на ребро, этот полный, жизнерадостный человек, не снимая запорошенной снегом перчатки, любезно протянул ей письмо из Одельсберга.

Иоганна взяла письмо, поблагодарила. Вскрыла его. Прочла. Три морщинки прорезали ее лоб, серые глаза потемнели. Она порвала письмо Мартина Крюгера. Сотни кружившихся в воздухе клочков казались грязными и неуместными на бескрайнем фоне сверкавшего белизной снега.

— Поехали! — сказала Иоганна.

Позже, в ванне, смывая с себя тяжесть грубой, теплой одежды, она фразу за фразой обдумывала все, что написал Крюгер. Как он ломается, как заставляет упрашивать себя, хотя сам

этого хочет. Она надеялась, что хоть в тюрьме он перестанет рисоваться. А он пишет такие дурацкие письма! Теперь его письмо сотней мелких, грязных клочков валяется в снегу.

Впрочем, легко здесь в Гармише, в уютной комнате отеля, возмущаться письмом, написанным в Одельсберге, где из окопца видны лишь шесть замурованных деревьев. Легко предъявлять претензии к человеку с серым лицом, когда сама можешь холить себя, вкусно есть, наслаждаться солнцем и снегом.

Она сидела в купальном халате за туалетным столиком, подпиливая и полируя ногти. Было заметно, что в прошлом за ними плохо ухаживали, они еще не утратили прежней грубой формы, но скоро станут округлыми и засверкают перламутром.

За ужином тетушка Аметсридер громким голосом рассказала Иоганне о появившейся в одном американском журнале пространной статье о деле Крюгера. Г-жа Франциска Аметсридер была женщина благоразумная и крепко стояла на своих коротких, проворных ногах. Правда, ее участие в борьбе Иоганны ограничивалось в сущности лишь замечаниями абстрактно-назидательного свойства. И все-таки она производила внушительное впечатление, когда, плотно сбитая, крепкая, глядя на очередного корреспондента ясными, смелыми глазами и наклонив вперед крупную мужеподобную голову с коротко подстриженными черными волосами, давала интервью по делу Крюгера и Иоганны Крайн, уснащая свою речь сентенциями, полными житейского здравого смысла, и сочными характеристиками баварских политических деятелей и журналистов.

А теперь она читала проповедь Иоганне. В общих словах распространялась о людской склонности проводить моральные аналогии там, где они, вероятно, неуместны. Например, между роскошной жизнью на зимнем курорте Гармиш и тюремными буднями в Одельсберге.

Иоганна не прерывала ее, слушала довольно вежливо и без раздражения. Она теперь часто беседовала с тетушкой Аметсридер, терпеливо входя во все подробности. Но о том, что собирается выйти за Мартина Крюгера замуж, не обмолвилась ни словом.

11
«ПУДРЕНИЦА»

Директор Пфаундлер провел г-на Гесрейтера и фрейлейн Крайн по всей «Пудренице», с гордостью показывая, насколько удачно использован каждый уголок, как встроены всюду скры-

тые от глаз ниши, ложи,— «укромные гнездышки», как он их называл. Ему изрядно пришлось повоевать с художниками — господином Грейдерером и автором серии «Бой быков», прежде чем они согласились отделать эти «укромные гнездышки» по его вкусу. Эти остолопы возражали и против кафельных плиток в таком большом количестве. Видите ли, все, мол, должно быть в стиле восемнадцатого века — изящным, легким и элегантным. Прекрасно, отвечал он им, а как же иначе, это ведь «Пудреница». Но главное, в конце концов, уют. Ну а теперь,— скажите сами, друг мой Гесрейтер,— разве господа художники не должны испытывать такое же чувство удовлетворения, как и я сам, владелец заведения? Получилась настоящая «Пудреница», восемнадцатый век и в то же время — уютно! Он не пожалел денег, и теперь здесь можно получить все, что душе угодно. Ноги приятно, со старомодным изяществом скользили по желтоватым и голубым плиткам — керамическим изделиям гесрейтеровской фабрики; услаждая взор, манили к себе гостей «укромные гнездышки». Тут даже чопорная иностранная публика должна была прийти в полнейший восторг.

И публика приходила в восторг. Не было ни одного свободного места. Казалось, все туристы Гармиша проводят свои вечера в «Пудренице».

Сейчас на сцене шла тщательно продуманная эстрадная программа. Г-н Пфаундлер приберег для своих мюнхенских друзей хорошее место, одно особенно укромное гнездышко, откуда они могли, оставаясь незамеченными для большинства посетителей, сами видеть все. Иоганна сидела рядом с Гесрейтером и почти все время молчала. Неспешно разглядывала всех этих разряженных господ и дам, которые на разных языках негромко болтали о всяких милых, приятных пустяках. Особое ее внимание привлекла худощавая горбоносая женщина с нервным, оливкового цвета лицом. По-видимому, она знала многих в зале, для каждого у нее находилось приветливое слово, она бесспрестанно разговаривала по телефону, стоявшему у нее на столике, и в сторону Иоганны не глядела. Иоганна, напротив, не сводила с нее глаз и вдруг заметила, как в какой-то миг, когда эта худощавая женщина, думая, что за ней никто не следит, расслабилась, она сразу же страшно изменилась: живое, умное лицо внезапно посерело, стало безнадежно усталым и дряблым, как у дряхлой старухи. Эта худощавая дама, объяснил г-н Пфаундлер,— знаменитая чемпионка по теннису, Фанси де Лукка. В те годы теннис был единственной популярной игрой в мяч. Да, г-н Гесрейтер тотчас узнал ее. Он однажды видел, как она

играет. Когда она, вытянувшись всем своим тренированным телом в прыжке, доставала мяч, это было изумительное зрелище. Она два года подряд побеждает на чемпионате Италии по теннису. Но многие предполагают, что скоро она уступит свое чемпионское звание, долго ей первенство не удержать.

На столике Иоганны зазвонил телефон. Ее приветствовал художник Грейдерер. Она не видела его, и он подробно объяснил, где находится его столик. Да, там собственной персоной восседал автор «Распятия» в обществе шумных, дешевого пошиба девиц. Он поднял бокал за ее, Иоганны, здоровье. Вид у него в смокинге был диковатый: дюжей шее добродушного крестьянина было тесно и неуютно в белом воротничке, руки нелепо торчали из белых манжет. Он что-то сказал Гесрейтеру по телефону. Иоганна теперь видела, как подмигивают его хитрые глазки и как хохочут дешевого пошиба девицы. Нет, поздний успех не пошел ему на пользу. Гесрейтер был убежден, что он деградирует в кругу «курочек», как сам Грейдерер называл этих девиц. Г-н Пфаундлер заметил, что «придворная челядь» Грейдерера и его матери влетает им в копеечку. Господин художник умеет заламывать цены, и ему, Пфаундлеру, тоже пришлось отвалить знаменитости немалые деньги. Но, во-первых, сейчас в стране инфляция, а во-вторых, слава художника — такая вещь, которую он бы не принял в обеспечение долга. Впрочем, инфляция не может продолжаться вечно, неопределенно заметил он.

Над переносицей у Иоганны прорезались три вертикальные морщинки. Разве сама она не живет здесь, в Гармише, не по средствам? С тех пор как она стала зарабатывать больше, чем требовалось для ее скромных нужд, она уже не подсчитывала со страхом каждый грош, но и на ветер денег не швыряла. А теперь ей нужно столько денег, чтобы их можно было тратить без счета. В то время, как во всей остальной Германии царили голод и нищета, здесь, в Гармише, люди утопали в роскоши и изобилии. Сюда приезжали, главным образом, иностранцы, которые, тратя благодаря инфляции сущие пустяки, могли жить в свое удовольствие; о ценах никто не спрашивал. Лишь тетушка Аметсридер мрачно покачивала своей крупной, мужеподобной головой и в резких словах предсказывала неизбежную катастрофу. Когда у нее, Иоганны, на текущем счету не останется ни марки, что ей тогда делать? Обратиться за помощью к Гесрейтеру? Она взглянула на г-на Гесрейтера, сидевшего рядом: ровный, обходительный, веселый, он ритмично постукивал паль-

цами в такт музыке. Очень трудно так вот вдруг попросить у кого-нибудь денег. В жизни она этого не делала!

Гесрейтер посмотрел на нее своими томными глазами и показал на человека, в поте лица трудившегося на сцене. Это был своеобразный музыкальный клоун. Он зло и остроумно искажал знакомые всем музыкальные произведения. «Когда-то,— не без издевки прокомментировал Пфаундлер,— этот человек пропагандировал новаторскую музыку. Его программой была полная независимость художника-исполнителя. Он утверждал, что для подлинного художника — оригинал, в данном случае творение композитора,— лишь сырой материал, с которым он имеет право делать все, что подсказывает ему чутье. Еще совсем недавно его произведения и бесцеремонная интерпретация произведений классической музыки имели огромный успех, вызывая дикий восторг одних и бешеные нападки других. Затем он постепенно наскучил публике. И вот теперь,— закончил г-н Пфаундлер,— этот новатор стал артистом кабаре. И правильно сделал».

От природы не очень музыкальная, Иоганна рассеянно слушала, как изощряется человек на эстраде. Ей показалось, что она привлекает к себе больше внимания, чем в начале вечера. Она поделилась своим впечатлением с Гесрейтером. Тот ответил, что уже давно наблюдает за художником Грейдерером, который, переходя от столика к столику, живописует ее историю. С каждой минутой все больше людей отыскивало глазами «укромное гнездышко», где она сидела.

Зазвонил телефон, стоявший на ее столике. Голос в трубке попросил Иоганну взглянуть на ложу госпожи Фанси де Лукки. Грациозным жестом смуглая дама подняла бокал, ее оливкового цвета лицо озарилось теплой лучезарной улыбкой. Так под пристальным взглядом всего зала, который следил за каждым ее движением с гораздо большим интересом, чем за происходящим на сцене, Фанси де Лукка пила за здоровье Иоганны, неотрывно глядя на нее черными, горячими глазами. Иоганна зарделась от счастья, ее серые глаза засветились благодарностью к знаменитой итальянке, столь явно выразившей свое сочувствие ей, незнакомке, и ее борьбе.

Но вот, впервые за весь вечер, в зале погасли огни. На сцене появилась Инсарова. Это был ее дебют перед взыскательной публикой. Все россказни Пфаундлера были, разумеется, всего лишь рекламным трюком. На самом деле Инсарова была обычной шансонеткой, которую Пфаундлер отыскал в захудалом берлинском ресторанчике. И теперь, горя желанием убедиться, что

чутье не изменило ему и на сей раз, он, шумно сопя, жадно следил мышиными глазками за тем, какой эффект производит его протеже. В движениях гибкого, податливого тела женщины, скользившей по сцене, не было подлинной грации, ее раскосые глаза смотрели на зрителей беспомощно-дерзко и одновременно доверчиво. В довольно шумном зале воцарилась тишина. Англосаксы выпрямились и застыли, один из них хотел было набить трубку, но тут же забыл о ней. Инсарова исполняла небольшую пантомиму. Она танцевала бесстыдно и трогательно, несколько примитивно, как показалось Иоганне, и, уж конечно, чересчур банально. Вначале танец ее был беспечен, казалось, она танцует для собственного удовольствия, но потом она вдруг стремительно повернулась к зрителям: маленькая сцена погрузилась в темноту. Прожектор выхватил из тьмы танцовщицу и ту часть зала, которой Инсарова словно дарила свой танец. По рядам пробежал шумок, все головы повернулись к освещенной части зала. За одним из столиков, залитых светом прожектора, сидел фатоватый молодой человек, бесспорно не актер, а один из зрителей, таких же, как все. Сомнений больше не было — именно для него танцевала эта хрупкая, сладострастная женщина, ему принадлежал скользящий взгляд ее влажных, чуть раскосых глаз, для него извивалось на сцене ее податливое тело. Волнение в зале росло, а юный хлыщ сидел с невозмутимым видом, потягивая свой напиток. Заметил ли он, что из темноты на него с завистью и жадным любопытством глядят десятки глаз? А на эстраде хрупкая женщина, казалось, испытывала растущее чувство страстной покорности, ее щеки запали, в лице появилось что-то детское, всем своим телом она с щемяще-откровенной мольбой тянулась к неподвижно сидевшему за столиком человеку. Внезапно она рухнула наземь. Женщины испуганно вскрикнули, мужчины нерешительно привстали, музыка умолкла. Но занавес не опустился. Прошло несколько секунд томительного ожидания, затем Инсарова с улыбкой поднялась и продолжала танец, столь же бесстыдный и сентиментальный, как и вначале; ее мелкие влажные зубы обнажились, она опять казалась по-детски милой, ее чуть раскосые глаза смотрели беспомощно, дерзко и доверчиво. Еще несколько тактов, и танец окончен. В зале — мертвая тишина, затем отдельные свистки и, наконец, шквал аплодисментов.

— Рискованный номер! — вслух выражает свое мнение Гесрейтер.

Господин Пфаундлер удовлетворенно сопит и с улыбкой раскланивается. Он гордится своим безошибочным чутьем. Даже

денежные неудачи огорчали его не столь сильно, как те редкие случаи, когда его подводило чутье — ведь оно было самым больным его даром. Сегодня этой Инсаровой он снова всем доказал, что у него превосходный нюх.

Едва он отошел, как Гесрейтер спросил у Иоганны:

— Правда, что вы собираетесь замуж за доктора Крюгера? — Задавая вопрос, он не смотрел на Иоганну, взгляд его больших с поволокой глаз блуждал по залу, холеные пухлые руки поигрывали бокалом. Иоганна молчала. Свет люстры отражался в ее сверкающих лаком ногтях, она смотрела прямо перед собой, и нельзя было понять, о чем она думает. Гесрейтер не уверен даже, расслышала ли она его вопрос. Но зачем притворяться перед самим собой? Конечно же, он знает, что она слышала. Знает также, что эта рослая девушка волнует его больше, чем ему того хотелось бы. Но он не желает признаваться себе в этом и даже мысли не допускает, что с ним такое может случиться. Закоренелый жуир, он предпочел бы совсем другое и поэтому, обращаясь к Иоганне, небрежно отпускает циничное замечание насчет одной из голых девиц, которые честно отрабатывают свой хлеб на сцене г-на Пфаундлера.

С непроницаемым видом Иоганна заявляет, что устала. Но когда Гесрейтер, слегка задетый ее словами, предлагает проводить ее домой, появляется г-н Пфаундлер. Он просит их непременно заглянуть в игорные залы, и, прежде всего, в боковую гостиную, пока там идет игра. Он уговаривает, чуть не умоляет до тех пор, пока Иоганна не уступает его просьбе.

В боковой гостиной Гесрейтер быстро нашел хорошие места для себя и Иоганны. Сделал крупную ставку, проиграл. При первой же возможности поставил снова. Глядя на руки крупье, произнес:

— Значит, вы выходите замуж за этого Крюгера. Странно.

Он продолжал играть задумчиво, меланхолично, рискованно. Ему сильно не везло. Он предложил Иоганне сделать ставку с ним вместе. Иоганна безучастно следила за игрой и не поняла его. Подумала, что это огромная сумма и что на такие деньги можно прожить в Гармише не одну неделю. Вдруг позади нее очутилась Инсарова. Она неожиданно тепло поздоровалась с Иоганной и стала горячо убеждать ее попытать счастья и сделать ставку вместе с Гесрейтером. Гесрейтер выложил целую кучу фишек, пробормотав, что это он ставит за Иоганну. Иоганна рассеянно переводила взгляд с напряженных лиц игроков то

на пухлые руки Гесрейтера, то на тонкий нервный профиль Инсаровой. Склонившись над столом, та сопровождала каждую ставку Гесрейтера восхищенными возгласами, обнажая мелкие влажные зубы.

Иоганна не следила за игрой; у нее сложилось впечатление, что Гесрейтеру ужасно не везет. Внезапно он решил: хватит — игра, очевидно, нагоняет на нее скуку. Подвинул ей пачку банкнот и марок, сказав, что это ее доля выигрыша. Иоганна удивленно подняла голову; русская танцовщица, сильно побледнев, переводила напряженный взгляд с Гесрейтера на Иоганну. Лежавшие перед Иоганной деньги составляли изрядную сумму. Даже если ей еще многие месяцы не разрешат заниматься графологией и жизнь в Гармише станет еще дороже, этих денег теперь хватит надолго. Она взглянула на Гесрейтера, он стоял с деланно-безразличным видом, держа в руках остаток выигрыша, его бачки слегка подрагивали. Он нравился Иоганне: он умел красиво дарить деньги.

Ночь была светлая, морозная. Гесрейтер проводил ее до гостиницы, расположенной совсем близко. Инсарова все еще стояла у окна игорного зала, она молча смотрела им вслед. Сейчас она выглядела осунувшейся, усталой. Стоявший рядом с ней Пфаундлер что-то доказывал ей. Его маленькие мышиные глазки под шишковатым лбом бесцеремонно ощупывали ее хрупкое тело.

От гостиницы навстречу им шел какой-то человек. Бесформенный в несоразмерно толстой шубе, делавшей его вдвое толще, он шел себе и шел один в эту светлую снежную ночь, необычайно легкой для его грузной фигуры походкой.

— Пятый евангелист,— мрачно шепнул Гесрейтер.— Облапывает очередное грязное дельце с одним из своих приятелей, рурским угольным королем.

В бледном свете Иоганна разглядела лишь обрамленное темно-коричневым воротником одутловатое лицо, вздернутую верхнюю губу и густые черные усы. Гесрейтер неуверенно потянулся рукой к шляпе, намереваясь раскланяться с этим господином. Но тот его не заметил либо не узнал, и Гесрейтер счел возможным не здороваться.

Остаток пути он шел молча. И лишь возле самой гостиницы снова сказал:

— Так, значит, вы выходите замуж за Крюгера. Странно, очень странно.

12

ЖИВАЯ СТЕНА ТАМЕРЛАНА

Иоганна Крайн вместе с адвокатом Гейсром побывала у имперского министра юстиции Гейнродта, на короткое время приехавшего в Гармиш отдохнуть. Гейнродт остановился не в большом, роскошном отеле, а в недорогом, скромном пансионе «Альпийская роза». Пансион стоял в конце главной улицы, которая пересекала оба селения, Гармиш и Партенкирхен, являвшиеся, собственно, одно продолжением другого.

Министр юстиции принял своих гостей в маленьком кафе, принадлежавшем пансиону «Альпийская роза». В зале с круглыми, мраморными столиками и обитыми плюшем диванчиками вдоль стен, плавали клубы дыма, а от большой кафельной печи тянуло жаром. Стены были пестро расписаны гирляндами альпийских роз, и среди них, хлопая себя по заду, лихо отбивали чечетку бравые парни в зеленых шляпах и деревенские девицы в широких юбках и узких корсажах, и рисунок этот повторялся до бесконечности. За мраморными столиками, макая жирное печенье в кофе, сидели бюргеры в причудливой зимней одежде: в шарфах, грубошерстных куртках, крылатках. Доктор Гейнродт оказался приветливым господином в очках, с мягкой окладистой бородой. Ему доставляло истинное удовольствие, когда люди поражались его сходству со знаменитым индийским писателем Тагором. Он посмотрел гостям прямо в глаза, пристально и доброжелательно. Помог Иоганне снять куртку, дружески похлопал Гейера по плечу. Потом они сидели за круглым столиком в углу зала на плюшевом диванчике и, беседуя вполголоса, пили кофе. Вокруг сидели другие посетители,— стоило им прислушаться, и они могли уловить каждое слово.

Иоганна почти не принимала участия в беседе, больше говорил Гейер и еще больше — министр юстиции. Он проявил удивительную эрудицию, выяснилось, что он читал большую часть книг, написанных Крюгером, весьма его ценил и бесконечно сожалел о его печальной участи. Склонен был допустить, что, скорее всего, Мартин Крюгер невиновен. Но господин министр был человек с широким кругозором: любой частный случай давал ему повод для обобщений, в которых он в конце концов безнадежно запутывался. Иоганной овладела усталость и апатия, ее до тошноты раздражала эта бесплодная, всепрощающая доброта. Из остроумных, проницательных суждений министра она уловила лишь, что подчас обеспечение правопорядка важнее справедливости, что мыслимы случаи, когда несправедливость

по отношению к отдельным людям бывает оправдана, что преуспевающая власть сама творит право и, в сущности, спор сам по себе нередко важнее его результата.

В маленьком зале было слишком жарко, беспрестанно входили и выходили люди. По стенам — сплетение альпийских роз и пляшущие пары в зеленых шляпах и широких юбках; позвякивали кофейные чашки. Мягкая, белоснежная борода министра юстиции чуть подрагивала, взгляд его добродушных глаз снисходительно скользил по широкому смуглому лицу Иоганны, понимал и прощал неистового страдальца Гейера, сдержанное недоброжелательство Иоганны, нерадивое обслуживание посетителей в маленькой кондитерской, весь этот овеянный зимней свежестью роскошный курорт в центре обнищавшего континента.

Адвокат и министр вели умный, оживленный спор о философии права. Оба они давно забыли о судьбе Мартина Крюгера. Это больше походило на захватывающий поединок, который два свободомыслящих юриста вели перед случайной зрительницей. От этого отвратительного всепрощения, исповедуемого незлобивым старцем, который из самых лучших побуждений топил подлейшие судебные решения в море пустопорожнего многословия, а незаконные, бесчеловечные приговоры укутывал ватой философских сентенций о добре, Иоганна почувствовала себя совершенно разбитой.

Она многого ждала от разговора с министром юстиции, широко известным своей гуманностью. Собственно, и в Гармиш-то она приехала, главным образом, ради встречи с ним. И вот теперь она сидит в этом невзрачном, душном зале, где после свежего, бодрящего воздуха на вас нападает сонливость и лень и все выглядит беспросветно мрачным. Старый человек что-то говорит, макая печенье в кофе с молоком, другой человек импульсивнее и моложе первого, занятый множеством других дел, тоже что-то говорит, а тем временем Мартин Крюгер томится в камере размером четыре метра на два, и за весь день самые счастливые минуты для него — это прогулка по тюремному двору с шестью замурованными деревьями.

Иоганна невольно еще ниже склонилась над столом. Зачем она сидит здесь, с этими людьми? Зачем она вообще приехала в Гармиш? Во всем этом нет никакого смысла. Уж скорее имело бы смысл уехать в деревню, работать в поле, родить ребенка. Между тем министр юстиции ударился в лирику. Ровным назидательным голосом он изрек:

— Жестокий правитель Тамерлан повелел замуровать живых людей в стену, окружавшую его империю. Стена права стоит таких человеческих жертв!

Но тут адвокат Гейер стремительно атаковал противника. Он был в ударе: его умные, проницательные, голубые глаза впились в собеседника; не повышая голоса, чтобы не привлекать внимания окружающих, он излагал свои мысли проникновенно, с глубокой убежденностью. Напомнил о бесчисленных жертвах мюнхенских процессов, о расстрелянных и томящихся в тюрьмах, о людях, казненных по ложному обвинению в убийстве, и об убийцах, избежавших заслуженного наказания. Привел примеры того, как многие преступники, за которыми полиция охотилась по всей Германии, в Мюнхене безнаказанно разгуливали на свободе, а сколько людей за ничтожные проступки были заточены там в тюрьмы и казнены! Не забыл упомянуть о самых мелких фактах: о мебели, описанной у жены человека, осужденного за какую-то мелкую провинность, так как она не могла оплатить огромные судебные издержки за время сильно затянувшегося процесса, о дважды предъявленном матери мнимого государственного изменника требовании возместить расходы на казнь сына во избежание принудительной распродажи ее личного имущества.

Иоганна, отупевшая от болтовни старика и жары в зале, с трудом успевала следить за взволнованной, быстрой речью адвоката. Как ни странно, но все эти подробности потрясли ее сильнее, чем самые разительные случаи произвола. Чудовищно много людей было безвинно убито и ночью торопливо зарыто в лесу либо, как при охотничьей облаве, целыми партиями расстреляно в каменоломне и потом свалено в яму и засыпано сверху известью. И все эти люди с пожелтевшими лицами и простреленной грудью так и остались неотомщенными. Страшное зрелище являли собой трупы убитых, безвинных жертв права, послуживших мишенью для десяти безжалостных ружейных дул и валявшихся у стены казармы — во имя права. Но еще более мерзко становилось на душе при мысли о бесстрастной руке чиновника, предъявившей матери счет за пули, сразившие ее сына.

Министр юстиции, хотя и относился неодобрительно к вышеприведенным фактам, все же был склонен и им найти какое-то оправдание. Под мелодичные звуки маленького трио — скрипки, цитры и гармоники — и эти судебные ошибки, и несправедливые приговоры журча вливались в море теории права. Независимость судей — вещь незыблемая, без нее не может быть надежного правопорядка. Впрочем, он, Гейнродт, соблю-

дая, разумеется, основные принципы, по возможности всегда старается смягчить приговор.

Но в деле Крюгера он, увы, бессилен. Формально нет оснований для вмешательства. Какой параграф закона позволил бы ему вторгнуться в сферу компетенции баварского коллеги?

Иоганна наконец стряхнула с себя тупую апатию и стала горячо возражать кроткому человеколюбивому старцу, который погребал под слоем песка любой крик боли. Неужели нет никакой возможности вызволить из стен одельсбергской тюрьмы ни в чем не повинного человека? Неужели любой гражданин беззащитен перед произволом судебного чиновника?

Здесь имеется известный риск, с которым обществу, где существуют определенные социально-правовые отношения, приходится мириться, пояснил министр Гейнродт, с отеческой снисходительностью относясь к волнению Иоганны и ее неподобающе резкому тону. По официальным каналам, как уже было сказано, он ничем помочь не может, он советует обратиться к доктору Бихлеру, крупному влиятельному землевладельцу, человечному и не придающему большого значения вопросам престижа.

Министру положили на стол стопку газет. Продолжая снисходительно излагать свою точку зрения, он то и дело косился на них. Кельнерша принесла счет. Адвокат Гейер церемонно, как коллега с коллегой, распрощался с господином министром. Иоганна почувствовала в своей ладони немощную руку старца. Сейчас она испытывала потребность побродить в одиночестве, подышать свежим, морозным воздухом. Но доктор Гейер пошел в гостиницу вместе с нею. Ему явно нелегко было поспевать за ней, но он, прихрамывая, шел рядом и убеждал ее, изверившуюся и раздраженную, что он лично от встречи с министром вынес благоприятное впечатление. Красивая, хорошо одетая женщина и прихрамывающий мужчина с выразительным, измученным лицом обращали на себя внимание.

В большом зале гостиницы, где они потом пили чай, адвокат Гейер тоже привлекал внимание, но, конечно, не мог соперничать,— он и сам это чувствовал,— с элегантными профессиональными танцорами, которых Пфаундлер ангажировал для вечернего чая, ибо в те годы вошел в моду обычай в общественных местах специально держать для женщин, любивших повеселиться, профессиональных танцоров. В гостинице, где остановилась Иоганна, их было четверо. Один из Вены, беспрестанно улыбавшийся, несколько полный, но очень подвижный, второй — с севера Германии, стройный, подтянутый, с жестким, сухим лицом

и неизменным моноклем, третий — румын, брюнет невысокого роста с иронически сентиментальным взглядом больших глаз, четвертый — невозмутимый норвежец, худощавый и какой-то развинченный. Эти четверо были к услугам дам, желавших потанцевать. Мастерски и совершенно бесстрастно выполняли они стремительные движения распространенных в те годы негритянских танцев. Холеная кожа, ухоженные волосы и изысканный костюм — все в полном соответствии с модой. Партнерши в их объятиях выглядели весьма эффектно. Каждый танец учитывался и наряду с пирожным и чаем включался затем в поданный даме счет.

После безрезультатной беседы с министром юстиции он утратил, как показалось Гейеру, прежний вес в глазах Иоганны и теперь всячески старался его вернуть. Для начала он дал Иоганне несколько практических советов, как добиться встречи с доктором Бихлером, этим всемогущим кротом из Нижней Баварии. Поймать его можно было лишь во время путешествий. А путешествовал он много: слепой старец любил делать большую политику, рыл все новые и новые тайные ходы в Париж и Рим.

Доктор Гейер наконец-то попал в ту сферу, где мог во всем блеске проявить свои способности. Пока наемные танцоры изящно и равнодушно извивались в танце, он принялся в манере излюбленного им римского историка Тацита четко, горячо и логично излагать Иоганне основы баварской политики. Бавария не случайно согласилась принять разработанную Гуго Прейсом общегерманскую конституцию. Хотя рядовые баварцы ворчат, бранятся и даже изрыгают проклятия по ее адресу, несколько фактических, закулисных правителей страны, и среди них, разумеется, экономический советник Бихлер, отлично понимают, что именно им эта конституция выгодна чрезвычайно. Ибо на деле они толкуют ее так, что почти вся власть в Германском государстве сосредоточилась в их руках. Военный министр всегда их ставленник. Они с успехом интерпретируют конституцию таким образом, что все происходящее в Баварии не касается Германии, а вот то, что происходит в Германии, нуждается в одобрении Баварии. Они дают выход своей страсти к потасовкам, избивая иностранные комиссии, а возмещение убытков перекладывают затем на плечи имперских властей. Они дают выход своей страсти к фиглярству и помпезности, издеваясь над четкими параграфами конституции, и осыпают своих приверженцев самыми немыслимыми титулами. Они дают выход своей ребячески упрямой страсти к произволу и усилению ба-

варского партикуляризма, не желая осуществлять у себя общегерманских амнистий, и создают автономные «народные суды» для расправы над всеми неугодными баварскому правительству людьми. Они проводят сепаратную внешнюю политику, заключают особые договоры с Римом, вынуждая общегерманское правительство давать затем свою санкцию на это. На средства всей Германии они воздвигают чудо-музей, музей техники, подчеркивая одновременно, что это творение принадлежит одной лишь Баварии. В праздник они вывешивают на здании музея баварские флаги, отказываясь вывесить общегерманский флаг. В экономике их унитаризм выражается в том, что они добиваются от общегерманского правительства денежных субсидий куда больших, чем составляет доля их участия в расходах общегосударственного бюджета. И не случайно, что человек, который собственно всего этого добивается, нижнебаварский крот Бихлер, чувствует себя вершителем судеб не только Баварии, но и всей Германии.

Все это доктор Гейер, не останавливаясь на деталях, четко и несколько высокопарно излагал Иоганне. Он сидел предельно собранный, его глаза из-за толстых стекол сосредоточенно смотрели прямо перед собой, тонкокожие руки спокойно лежали на столе. Государственные проблемы не очень интересовали Иоганну, но ее увлекла страстность, с какой Гейер, сгорая в холодном огне, деловито и в то же время взволнованно развивал свои взгляды. Иоганна задавалась вопросом, почему человек, способный заставить ее, баварку, увидеть свою страну его глазами, растрачивает недюжинные способности на пустяковые будничные дела, вместо того чтобы посвятить себя науке и пропаганде своих воззрений. Она подумала, что и адвокат Гейер и министр Гейнродт, оба они хоть и способны видеть реальное положение вещей, но не способны воплотить свои познания в конкретные дела.

Адвокат Гейер умолк. Он вспотел, снял и протер очки; помешивая ложечкой чай, сидел с несчастным видом, время от времени впиваясь проницательным взглядом в кого-нибудь из посетителей. Наемные танцоры то плавно вели своих дам в ритме медленного танго, то привлекали их к себе, то вихрем кружили по залу,— и все это корректно, с бесстрастным выражением лица. Кто-то, пройдя через весь зал, подошел к их столику: хорошо одетый молодой человек, с худым, насмешливым, легкомысленным лицом и ослепительно-белыми зубами. От него исходил слабый запах сена и кожи — запах превосходных мужских духов.

Гейер, заметив молодого человека, вздрогнул, часто замигал, его руки задрожали. Юноша нагло, фамильярно и полупрезрительно кивнул адвокату и, пристально посмотрев на Иоганну светлыми, дерзкими глазами, склонился перед ней в поклоне. Усилием воли Гейер превозмог себя, продолжая спокойно сидеть, и смотрел не на молодого человека, а только на Иоганну. А она, та самая Иоганна Крайн, перед которой он только что расточал свое красноречие и ум, поднялась и пошла танцевать с чужим, совершенно незнакомым ей человеком сомнительного, легкомысленного вида, пахнущим сеном и кожей. Но откуда было ей знать, что это Эрих Борнхаак, его сын.

Лишь когда Иоганна отошла от стола, позволив молодому человеку кружить, бросать и швырять себя по залу, Гейером овладел панический страх, который он с трудом подавлял. Что делает мальчик здесь, в Гармише? Тренирует лыжников? Пользуясь инфляцией, занимается темными махинациями? А может быть, использует в своих целях падких до приключений дамочек с толстыми чековыми книжками? Они очень давно не виделись. Мальчик обычно появлялся неожиданно, затем снова надолго исчезал. Когда кончится танец, Эрих наверняка подойдет к столику. Тогда он сможет расспросить его. Либо просто поговорить с ним о том, о сем. Ведь Эрих лишь молча поклонился, и он, Гейер, так и не услышал от него ни слова. Вернувшись к столику, мальчик, верно, разожмет свои красные губы, и он услышит наконец его голос. Иначе снова могут пройти годы.

Ерунда. Довольно. Хватит. Он возвратится в Мюнхен сегодня же, вечерним поездом. Но не следует ли ему предостеречь Иоганну насчет ее партнера? Ерунда. Зачем искать предлог? Он что, опекун этой решительной женщины? Она лучше, чем он, разбирается во всем. Он не стал ждать, пока Иоганна вернется. С трудом поднялся. Было заметно, что негнущаяся нога причиняет ему неудобство при ходьбе. Да, он выедет в Мюнхен вечерним поездом. Прихрамывая, он пересек зал, глаза его часто мигали, и теперь лицо не казалось больше выразительным. Он скрылся в лифте. Молодой человек, проводив Иоганну к столику и не увидев там адвоката, презрительно и понимающе усмехнулся своими красными губами. Какой-то миг он колебался, не подсесть ли к Иоганне. Без стеснения окинул ее оценивающим взглядом светлых, наглых глаз. Потом довольно небрежно поклонился, сказал, что курортик-то невелик и они наверняка еще встретятся. И ушел, оставив после себя характерный запах сена и кожи.

А Иоганна еще некоторое время сидела одна за столиком,

слегка взбудораженная. Она смотрела прямо перед собой, машинально кроша пирожное. И среди танцующих в сплетении роз крестьян в зеленых шляпах ей виделись люди с пожелтевшими лицами, вероятно, мертвецы, а позади всех — министр юстиции Гейнродт, который, то и дело изысканно-вежливо кланяясь, предъявлял счета родственникам убитых.

13
СМЕРТЬ И ПРЕОБРАЖЕНИЕ ШОФЕРА РАТЦЕНБЕРГЕРА

Ресторанчик «Гайсгартен», в котором шофера Ратценбергера и его единомышленников всегда ждал стол завсегдатаев, прозванный ими «Здесь не скупятся», находился в одном из переулков, в старой части города. За этим столом вместе с Ксавером Ратценбергером обычно усаживалось человек двенадцать — монтеры, извозчики, булочник, а также владелец небольшой типографии. Собутыльники пили много пива, ели мелко нарубленное легкое под кислым соусом, жареную телятину, картофельный салат, спорили о делах городских и государственных, толковали о «большеголовых», о трамвае, об иностранцах, революции, духовенстве, монархии, о боге, о Ленине, о погоде. Компания, восседавшая за столом завсегдатаев, была для ресторанчика верным источником дохода. Без нее хозяину заведения, существовавшего почти семьдесят лет, пришлось бы, пожалуй, его прикрыть.

В последнее время владелец типографии Гшвендтнер стал частенько приводить с собой двух братьев, боксера Алоиса Кутцнера и монтера Руперта Кутцнера. Тяжелодум Алоис, тупой, неуклюжий боксер старой школы, сидел облокотившись о стол, прислушиваясь к разговорам, пыхтел, часто вздыхал, что-то бурчал про себя, но сам говорил мало. Зато монтер Руперт Кутцнер, в то время безработный, был куда как словоохотлив. Он говорил много и напыщенно, и в его звонком голосе звучали истерические нотки. Слова беспрестанно слетали с его тонких, бледных губ. Речь его подкреплялась убедительными жестами, которые он, очевидно, перенял у сельских проповедников. Его охотно слушали, у него на все была своя точка зрения, позволявшая удивительно легко разрешить общегосударственные и каждодневные проблемы. Во всех бедах виноват финансовый капитал, Иуда и Рим. Подобно тому как туберкулезные палочки разрушают здоровое легкое, так породнившиеся между собой еврей-

ские капиталисты разрушают немецкий народ. Стоит только выкурить этих паразитов, как все устроится и станет на свои места. Когда монтер Руперт Кутцнер умолкал, его лицо с тонкими губами, крохотными темными усиками над ними и расчесанными на пробор напомаженными волосами, становилось похоже на пустую маску. Но едва этот человек открывал рот, как его лицо начинало странно подергиваться в беспрестанном тике, утиный нос мелко подрагивал; Руперт Кутцнер неизменно вселял в своих собутыльников энергию и веру.

Молва о красноречивом Руперте Кутцнере, который нашел гениально простой способ оздоровить и очистить от скверны общество, распространилась по городу. Все больше людей приходило, чтобы послушать новоявленного проповедника, они внимательно, с явным одобрением внимали его речам. Владелец типографии стал выпускать газетенку, пропагандировавшую идеи Кутцнера. Правда, в напечатанном виде они выглядели малоубедительно. И все-таки, благодаря газете, в памяти людей запечатлевался живой образ человека, убежденно размахивающего руками в такт своим словам. Так или иначе, но в ресторан «Гайсгартен» стало захаживать все больше людей. Хозяин ресторана, владелец типографии, боксер и два шофера основали партию «истинных германцев», во главе которой стал Руперт Кутцнер, отныне именовавший себя уже не монтером, а политическим писателем.

Франц Ксавер Ратценбергер, как и прежде, восседал на своем месте за столом завсегдатаев «Здесь не скупятся». Вначале ему не очень-то нравилась вся эта кутерьма в ресторанчике. Но, как большинство жителей Баварского плоскогорья, он обожал всякого рода лицедейство и шумное, хмельное веселье. Постепенно он смирился с переменами, потом они стали ему даже нравиться. Примитивные, легко доступные идеи Руперта Кутцнера пришлись ему по вкусу. К тому же Кутцнер еще выше поднял его, Ксавера Ратценбергера, престиж, которым он по-прежнему пользовался как главный свидетель обвинения на крупном процессе, имевшем политическую окраску. Кутцнер постоянно выставлял его мучеником, который из-за своих показаний стал предметом гнусных инсинуаций врагов.

Стол завсегдатаев «Здесь не скупятся» принимал самое активное участие в спорах, подогреваемых красноречием Руперта Кутцнера. Трезвость марксистских идей, о которых они вообще-то знали лишь понаслышке, отталкивала этих мелких буржуа, а программа Руперта Кутцнера отвечала их романтическим чувствам. Им повсюду мерещились тайные союзы и заговоры; стои-

ло городским властям снизить тарифы таксомоторов, как они усматривали в этом козни масонов, евреев, иезуитов.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что за столом «Здесь не скупятся» горячо обсуждались всякие романтические версии. Известны ли досконально все те способы, с помощью которых евреи добились мирового господства? Жив ли еще баварский король Людвиг Второй, который, по утверждению его рвавшихся к власти родственников, якобы в состоянии помешательства бросился в Штарнбергское озеро, что, однако, никем не доказано?

За столом завсегдатаев эти вопросы без конца жевали и пережевывали. Приводили всевозможные подробности, точные данные о состояниях наиболее крупных еврейских денежных тузов. Эти цифровые данные покоились не на научном анализе, бухгалтерских выкладках или сведениях о налогах, а исключительно на эмоциях. Например, в душу шофера Ратценбергера мысль о несметных капиталах евреев запала глубоко и мучительно с тех самых пор, как однажды он увидал в одном иллюстрированном журнале снимок надгробия некоего Ротшильда, известного еврея-банкира. Этот поистине княжеский памятник на могиле иудея стал для него олицетворением бурной, роскошной жизни этих людей, вызывая жгучую зависть.

Вообще шофер Ратценбергер по сугубо личным мотивам проявлял живейший интерес к надгробным памятникам. Дело в том, что его старшая сестра, умершая старой девой, большую часть своего наследства завещала на сооружение внушительных размеров медного ангела на ее могиле. Сильно разросшейся семье Ратценбергеров после смерти сестры жилось трудно. Все пятеро оставшихся в живых братьев и сестер Ратценбергер, за исключением одного, жили в предместьях Гизинг и Хейдхаузен, все они во время войны и затем в период инфляции изрядно голодали. Семья одного из братьев, Людвига Ратценбергера, состоявшая из семи человек, ютилась в единственной комнате, и все — мужчины, женщины, дети,— спали буквально вповалку. Между родственниками начался раздор: все следили друг за другом, как бы кто-нибудь не продал медного ангела и не прикарманил деньги, которые каждому очень бы пригодились. Ангел был средних размеров, вернее, даже вполне солидных, он скорбно склонял большую пальмовую ветвь и был облачен в широкое, с пышными складками одеяние, на которое ушло немало меди. Государство тогда нуждалось в меди, и по закону ангела полагалось переплавить на пушку. Но то ли случайно, то ли, как предполагали родичи Ратценбергера, благодаря его связям

с местной полицией, но только ангел уцелел во время кампании по сбору металлолома. Права собственности на ангела были достаточно спорными. Однако бесспорной оставалась попытка одного из наследников — а подозрения падали на Людвига, сына Франца Ксавера Ратценбергера — утащить сей надгробный памятник, каковая потерпела крах лишь из-за непомерной тяжести медного ангела. После этого семьи долго еще следили друг за другом, постоянно выставляя на кладбище настоящие дозоры. Какой-то практичный человек посоветовал памятник продать, а деньги поделить между всеми родственниками. Но так как старая дева, над бренными останками которой безутешно горевал ангел, была добрейшей души существом, а самое главное, так как семейство никак не могло договориться, кому сколько причитается, то полюбовное соглашение не состоялось. Из-за этих семейных дрязг, в которых Франц Ксавер Ратценбергер принимал самое деятельное участие, однажды даже ранив в голову одного из братьев, о чем упоминалось на процессе Крюгера, он живо интересовался надгробными памятниками, и мавзолей Ротшильда запал ему в завистливую душу как грандиозный символ полноты власти.

В городе Мюнхене в те времена проживало несколько евреев по фамилии Ротшильд. Падкий, как и большинство жителей Баварского плоскогорья, до романтических измышлений, шофер Ратценбергер находил прямую связь между этими Ротшильдами и величественным надгробным памятником. В частности, он утверждал, будто Ротшильд, владелец шляпного магазина в центре города,— из семьи этих магнатов. Когда же ему заметили, что вряд ли столь богатый человек стал бы лично обслуживать покупателей и подбирать им шляпы по размеру, Ратценбергер, ловко нарезая редьку на ломтики, объяснил, что это-то как раз и подозрительно и тут ярко проявляется коварство и хитрость этих зловредных подонков. Однако собутыльники скептически отнеслись к его доводам. И тогда шофер Ратценбергер вконец распалился, отшвырнул редьку, соль и нож и предложил собутыльникам разнести вдребезги витрины у этого поганого пса Ротшильда, а его самого избить. Приятели встретили предложение шофера без особого энтузиазма, а булочник, его сосед по столу, принялся даже защищать владельца шляпного магазина, которому он уже не один год поставлял хлеб. Ротшильд, по его словам, очень спокойный человек, и весьма неправдоподобно, чтобы он развязал войну. Шофер Ратценбергер совершенно рассвирепел: он злобно кусал свои густые, пше-

ничные усы, а его круглые светло-голубые глаза в бессильной ярости сверлили булочника. Он отхлебнул пиво.

— Таких убивать мало,— сказал он, вытирая пену с усов и злобно глядя на булочника. Он, Ратценбергер, точно знает, что этот Ротшильд входит в тайный союз. Однажды он вез на своей машине этого Ротшильда вместе с галицийским раввином и понял из их разговора, что они готовят заговор. Шофер снова отпил пива.

Столь явная ложь возмутила булочника, человека вообще-то смирного. Это был худой, меланхоличного вида человек с похожей на грушу головой и зобастой, как у многих жителей этих мест, шеей. Он глотнул пива. Затем негромко сказал:

— Собачья ты морда, лжесвидетель, прохвост.

Шофер Ратценбергер, собиравшийся было поставить кружку, так и застыл, держа ее на весу. Секунду-другую он сидел с раскрытым ртом, потом вскинул голову, и щеки его порозовели, как у ребенка.

— Ну-ка, повтори еще раз,— сказал он.

Все притихли. Ведь каждый отлично понимал, почему булочник обозвал шофера Ратценбергера «лжесвидетелем и прохвостом».

Однажды вечером, спустя несколько месяцев после процесса Крюгера, а точнее, в день поминовения усопших, когда члены семейства Ратценбергер никак не могли договориться, сколько с кого причитается на фонарики и бумажные цветы для медного ангела, угасшая было ссора вспыхнула с новой силой. В тот день в ресторанчик «Гайсгартен» заявился один из братьев Франца Ксавера, и начался громкий скандал с грубыми взаимными оскорблениями. В пылу спора брат обозвал Франца Ксавера подлым лгуном. Его показания насчет Крюгера, вопил он, тоже сплошные враки. Он, Франц, сам ему в том признался, да еще хвастался своей ловкостью. При этой перепалке присутствовало человек пять, в том числе и булочник. Они ясно слышали слова брата шофера, тот несколько раз повторил их,— то с ядовитой угрозой в голосе, то злобно крича, он называл вещи своими именами. Впрочем, Франц Ксавер ничего и не оспаривал, а лишь бурчал в ответ: «Кто? Я? Это я-то лгун?» Пятеро присутствовавших при этой сцене больше помалкивали, ограничиваясь неопределенными восклицаниями: «Подумать только! Ну и чудеса!» А так они все больше молча переглядывались. Ведь шофер Ратценбергер-то давал свои показания во имя упрочения порядка и нравственности. И потому не положено иметь на сей счет собственное мнение и подходить к его поступку с обычной

меркой. Все же слова брата крепко засели в памяти у всех сидевших тогда за столом, и теперь они прекрасно понимали, что имеет в виду булочник, называя лжесвидетелем и прохвостом мученика, смело дававшего на суде свои показания.

Итак, все молча, напряженно смотрели на худого, унылого вида булочника и побагровевшего от ярости шофера, который, сказав: «Ну-ка, повтори еще раз»,— ждал, вытянув шею и подавшись всем телом вперед. А булочник тихо, упрямо и мрачно сказал: «И повторю. Ты собачья морда, лжесвидетель и прохвост». Тут шофер неторопливо, как при замедленной съемке, встал и поднял пивную кружку, намереваясь разбить ее о голову врага. Но враг тоже поднял свою кружку и столь же неторопливо, но весьма сильно первым опустил ее па голову шофера.

И пока Франц Ксавер Ратценбергер валился на пол, перед ним быстро и удивительно отчетливо пронеслась вся его жизнь. Как он, окровавленный, грязный, дико вопя, играл с мальчишками в цветные камешки, умудряясь ловко их дурачить. Как в школе, спасаясь от побоев после очередной двойки, он приносил господину учителю пиво с меньшей шапкой пены, чем другие ученики. Как, во время конфирмации, наряженный в черный костюм, растерянный, он, будто проглотив аршин, держал в руке свечку, косясь на брелок своего крестного отца. Как его, уже работавшего механиком, из-за недобросовестности, лени, злоязычия, отовсюду выгоняли. Как он спутался с Кресценцией и сделал ей ребенка, как влил первый глоток пива в рот своему сынишке Людвигу. Как ему пришлось пойти на фронт, как сперва он слонялся по тылам, по польским кабакам и публичным домам, как не раз посылал товарищей на верную смерть, хитро подменяя приказы, пока его самого в конце концов не засыпало землей в разрушенном снарядами окопе. Как он валялся в лазарете, бездельничал, теперь уже на законном основании. Быть может, это было самое счастливое время в его жизни: пива, правда, малость жидковатого, было хоть залейся, а бабы были сговорчивы. Как потом на деньги невесты купил таксомотор, стал сам себе хозяин, как лупцевал жену, буянил. Как мчался на чужих роскошных машинах со своим карапузом Людвигом по почному Форстенридскому парку, распугивая кабанов королевского заповедника. Как отомстил владельцу частной машины, проколов ему шину. Как на Изаре с криком «Адью, чудный край» прыгнул с парома в реку. Как яро сражался со своими братьями и сестрами за медного ангела. Как отличился в деле Крюгера, оказав большую услугу отечеству. Как он, всеми уважаемый, заслуженный борец, сидел за столом завсегдатаев в

ресторанчике «Гайсгартен». Все это шофер Ратценбергер успел пережить в те мгновения, когда кости раздробленного черепа вонзались ему в мозг. Прекрасная была жизнь. Как хорошо было бы пережить все это снова. Он охотно прожил бы ее в третий и в четвертый раз. Но ему суждено было всей тяжестью рухнуть на стол и отдать богу душу.

Собутыльники, увидев, что Ратценбергер так и остался лежать между кружкой пива и нарезанной ломтиками, но не съеденной редькой, были сильно озадачены. Булочник, правда, пробормотал: «Получил теперь свое, тупой баран»,— но всеобщая ярость обратилась на шляпочника Ротшильда, явившегося подлинным виновником смерти заслуженного шофера.

Похороны Ратценбергера были обставлены с большой помпой. Умерший был смелый человек, не побоявшийся сказать слово правды, за что его и преследовали столь жестоко чужаки и красные. Но он мужественно выполнял свой долг, неколебимо стоял за правду, был настоящим немцем. «Истинные германцы» устроили грандиозный, торжественный митинг, их вождь Руперт Кутцнер произнес пламенную речь. Стоя у гроба, белокурый Людвиг Ратценбергер-младший молча, с мрачным выражением на красивом лице слушал речь в честь отца. Они своего добились, эти подлые Иуда и Рим. Все-таки укокошили его отца. Но на свете есть он, Людвиг Ратценбергер, и он им еще покажет! «Истинные германцы» заказали надгробный памятник до того великолепный, что о лучшем и сам покойник не мог бы мечтать. Барельеф изображал человека на колесе (намек на профессию усопшего), поднявшего для клятвы руку — намек на его доблестный поступок.

Следствие по делу булочника было проведено наспех и поверхностно. Ведь дело-то было простое. Ссора произошла из-за еврея Ротшильда. Булочник защищал еврея, а шофер, понятно, обозленный гонениями, которые ему приходилось терпеть, вышел из себя. Драки были не редкостью для баварских кабачков.

У булочника хватило ума не вдаваться в подробности. С печальным, покорным выражением лица он повторял: «Да так уж оно получилось». Стоял, скорбно понурив свою похожую на грушу голову. Приговор суда был мягким.

Но хотя на заседании суда об этом даже не упоминалось, слухи о подлинной причине смерти Ратценбергера распространились по предместьям Гизинг и Хейдхаузен, их не могло даже остановить причисление покойного к лику мучеников. Эти слухи дошли и до вдовы шофера, Кресцепции Ратценбергер. Между нею и сыном Людвигом, который свято чтил память отца

и теперь, захватив всю власть в доме, не желал больше терпеть ханжества матери, то и дело вспыхивали жестокие ссоры. Он твердо заявил матери, что слухи, будто отец принес ложную присягу, распространяют его политические враги. Дикие, неистовые крики сына заставили бедную Кресценцию в конце концов умолкнуть. Но то, что она знала, оставалось при ней. Ведь все, в чем Франц Ксавер признался брату, он говорил и ей. И вдова Ратценбергер видела в его гибели кару господню и перст судьбы. Она была набожна, любила своего умершего супруга, но, даже заказывая мессу за упокой его души, не находила успокоения. Ее терзала мысль, что он, видно, томится в чистилище, а может, даже угодил прямо в ад. Однажды под впечатлением какого-то фильма она попросила мужа публично покаяться во зле, которое он причинил Крюгеру. Но супруг в ответ дал ей затрещину. Теперь он был мертв, она давно простила ему побои и вся была преисполнена неподдельной заботой о спасении его души. Она обратилась за советом к духовнику. Тот был неприятно удивлен и велел ей молиться и служить панихиды. Но ей этого казалось мало. Ночами она часто лежала без сна и все думала, как бы помочь покойному.

КОЕ-КАКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Численность населения нашей планеты в те годы составляла один миллиард восемьсот миллионов человек, из них белокожих — около семисот миллионов. Культура белых считалась более высокой, чем другие культуры. Европа слыла лучшей из всех пяти частей света; однако наблюдалось постепенное смещение центра тяжести в сторону Америки, где проживала примерно пятая часть всех белых.

Белые воздвигали между собой всевозможные границы, часто произвольные. Они говорили на разных языках. Группы, в несколько миллионов человек каждая, имели свой особый язык, непонятный для других. Они намеренно раздували противоречия между индивидуумами и между группами и по всякому поводу воевали друг с другом. Правда, постепенно они приходили к выводу, что убивать людей нехорошо. Все же во многих жила атавистическая страсть к убийству себе подобных. Например, войну объявляли из национальных соображений, иными словами потому, что кто-то родился в другом месте земного шара. Используя групповой аффект, правители объявляли высшей доброде-

телью ненависть к людям, родившимся за пределами установленных ими государственных границ, и в этих неполноценных людей полагалось стрелять в выбранное властителями время. Такие и подобные им добродетели, внушаемые детям чуть ли не с пеленок, объединялись в понятие «патриотизм». Другие причины для объявления войны именовались у белых социологическими. В этой борьбе играли роль такие понятия, как «прибавочная стоимость», «эксплуатация», «класс», «пролетарий», «буржуазия». Однако и здесь дифференциация была произвольной. и вождям партий нелегко было определить, какими именно качествами должен обладать тот или иной человек, чтобы его можно было причислить к своим сторонникам или противникам.

Образ жизни в ту эпоху не отвечал требованиям гигиены. Люди теснились в прижавшихся друг к другу огромных домах из камня и железа, плохо проветриваемых и почти совсем без зелени. В Северной Америке 25,9 процента людей проживало в городах с населением свыше ста тысяч человек, в Европе — 13,7 процента, в Германии — 26,5 процента, в Англии — 39,2 процента. Люди вдыхали дым высушенной, медленно тлеющей травы, именуемой «табаком», отравляя воздух себе и окружающим. В больших количествах поедали мясо убитых животных. Напротив, употребление в пищу человечьего мяса стало аномалией у белых людей. Употребление алкогольных напитков в Америке было запрещено, но этот закон всеми нарушался; дошло до того, что однажды в ночь под рождество только в Нью-Йорке погибло двадцать три человека, выпивших суррогат алкоголя.

Население Европы в то время составляло 463 миллиона, 63 миллиона приходилось на Германию, 72 миллиона — на страны, говорящие на немецком языке, 7 миллионов на Баварию. Городов с населением свыше миллиона, где говорили на немецком языке, было четыре: Берлин, Вена, только что созданный центр Рурской области и Гамбург. В Баварии — ни одного. Городов с населением, превышающим сто тысяч, в Германии насчитывалось 46, в Баварии — три. На каждую тысячу жителей в Германии приходилось 652,1 протестанта, 330,6 католиков, 9,2 лиц иудейского вероисповедания. В Баварии проживало 2 миллиона лютеран, 5 миллионов католиков, 55 тысяч лиц иудейского вероисповедания.

В год, когда состоялся процесс Крюгера, в Германии умерло 379 920 человек, из них самоубийством покончили 14 352 человека. Иными словами, из каждых ста умерших четверо были самоубийцами.

На доходы с сельского хозяйства в те годы в Германии существовало 14 373 000 работоспособных с их семьями, 25 781 000 жили доходами от ремесел и промышленности. В Германии на доходы от ремесел и промышленности жил 41,4 процента всего трудоспособного населения, доходами от сельского хозяйства — 30,5 процента. Между тем в Баварии 43,8 процента жили доходами от сельского хозяйства, а доходами от промышленности всего лишь 33,7 процента. Привести более или менее точные данные о заработной плате тех лет крайне сложно, так как с помощью хитроумного трюка, именуемого инфляцией, было выпущено огромное количество банкнот, вследствие чего ценность и покупательная способность немецких денег с каждым днем падала, и подавляющая часть населения при номинально возраставшей заработной плате терпела нужду и голод. Из всего населения Германии по самым скромным подсчетам, судя по жизненному уровню, к так называемому пролетариату можно было отнести 64,2 процента. Однако при опросе к этой группе населения причислили себя всего 43,6 процента. В Баварии соответственно — 29,1 процента.

667 884 немца работали на почте и железнодорожном транспорте, в гостиницах, ресторанах и питейных заведениях — 650 897. Рыбаков насчитывалось 24 805, врачей — 40 150, писателей — 8 257, акушерок — 15 043. В Берлине были официально зарегистрированы 13 502 профессиональные проститутки.

Немецкие железные дороги перевезли в год процесса над Крюгером 2381 миллион человек. Общее число легковых автомашин достигало 88 000, число авиапассажиров составило 21 000. В те времена на всей планете стали придавать серьезное значение техническому прогрессу, а также развитию и усовершенствованию различных видов транспорта. И все же транспорт развивался в соответствии с нуждами военной касты и требованиями промышленников и банкиров. Из 11 269 имевшихся на всем земном шаре самолетов 874 предназначались для пассажирского сообщения, 1126 — для обучения пилотов и 9669 самолетов входили в состав военной авиации.

В большом почете были физические упражнения, нацеленные главным образом на установление рекордов. В подготовке способных спортсменов преобладала узкая специализация. Особый интерес проявляли к боксу — виду спорта, в котором отлично натренированные и физически очень сильные люди избивали друг друга в согласии с определенными правилами. Приобрели популярность и «шестидневные гонки» — соревнования, в ходе которых отдельные люди шесть дней подряд на довольно

примитивных машинах, приводимых в движение ногами, на специальном автодроме одолевали как можно больше километров. Эти профессиональные спортсмены не в состоянии были долго заниматься избранным ими видом спорта. Чрезмерная сила, выработанная беспрестанными тренировками, пожирала самое себя. Спортсмены быстро старились и преждевременно умирали.

Просвещение того времени следовало в основном идеалам эпохи Возрождения, опираясь на греческую и латинскую литературу, трактуемую с гуманистических позиций. О мудрости Востока, нашедшей свое отражение в книгах, произведениях искусства, в истории и в образе жизни, среди белых было известно лишь узкому кругу исследователей. Официальная этика нецветных народов основывалась на взглядах, изложенных евреями в их древних книгах. Однако правители комментировали и приспосабливали эти этические воззрения к своим экономическим, военным и национальным интересам. Большая часть знаний, преподносимых детям в школе, была в практической жизни бесполезна. События прошлого классифицировались на основе малопонятных принципов, в зависимости от войн, дат рождения и вступления на престол особ королевской крови и тому подобных событий. Влияние экономических факторов на те или иные события от учащихся вообще утаивалось. В противоположность этому сторонники модного революционного течения стремились свести все происходящее на земле к социологическим и экономическим понятиям, то есть последователи этого учения в своем мировоззрении целиком и полностью исходили из социологических либо экономических факторов. На одной шестой части земного шара начали даже на базе учения социологов Маркса и Ленина создавать государство, именуемое СССР, Союз Советских Социалистических Республик, которое обычно называют Россией.

Важным средством познания для наиболее светлых умов того времени стал психоанализ — хитроумный метод постижения человеческой души, предложенный венцем Зигмундом Фрейдом. Другими понятиями, с помощью которых люди пытались познать явления жизни, исходя из научного мировоззрения, были — понятие относительности, физические основы которого заложил немецкий профессор по имени Эйнштейн, а также понятие расы, продиктованное чувством и меняющееся в зависимости от изменения групповых аффектов, и весьма важное понятие типизации и стандартизации. Применение этого последнего понятия к сфере экономики и промышленности оказалось довольно плодотворным, и его попробовали перенести на все

сферы практической деятельности разума. Обосновать это понятие попытались даже с помощью фотографии. Фрэнсис Гальтон сфотографировал «лицо эпохи». Он сделал в одном и том же ракурсе десять фотопортретов современников совершенно одинакового размера. Затем по этим отдельным фотографиям изготовил новый негатив, в результате чего получил средний портрет, вобравший в себя характерные черты среднего стандартного типа. Американский исследователь Бодвиг при соответственно укороченной экспозиции на одну и ту же пластинку снимал целый ряд объектов, «накладывая» их друг на друга. Таким образом общие черты усиливались и закреплялись, а индивидуальные — сглаживались. С документальной точностью создавался стандартный тип человека той эпохи. Полученный таким образом средний облик человека был, по сложившимся в тот период представлениям, более красив, нежели облик индивидуума.

Если еще совсем недавно у белокожих принято было считать сексуальные вопросы решающими в душевной жизни человека, то теперь они отошли на задний план, уступив главное место проблемам социальным, экономическим и политическим. Законодательство охраняло и стимулировало моногамию, поощряло и одновременно преследовало проституцию, препятствовало предупреждению беременности, запрещало аборты, принимало малопонятные меры по опеке незаконнорожденных, карало за нарушение супружеской верности. В действительности же большая часть населения с молчаливого согласия правительств стремилась к сокращению рождаемости, прибегала к противозачаточным средствам и истребляла нежелательный плод. В действительности среди белых повсюду царила сильнейшая сексуальная анархия и беспорядочные связи. Ни в одной области между законом и жизнью не было такого вопиющего несоответствия, как в области половых отношений. Все комедиографы того времени черпали материал для своих пьес из контраста между естественным влечением и общепринятыми обычаями, с одной стороны, и законодательством и официальной моралью — с другой.

Уклад жизни был нелепым и неустойчивым. Специальная комиссия при одном из американских институтов прикладной психологии выяснила, что на каждую тысячу человек, отобранных предельно однородно по своему классовому составу, приходится: в Китае — 4 невежливых, в Скандинавии — 88, в Англии — 124, в Америке — 204, в Германии — 412, в Баварии — 632.

Что же до политики белокожих, то страны с низким про-

центом неграмотности предпочитали демократические формы правления, а страны с высоким процентом неграмотности — диктатуру. В Германии, стране с демократической формой правления, сторонники феодальной концепции неограниченной власти, объединенные в правые партии, численно несколько превосходили сторонников государственного устройства с более ярко выраженной социальной направленностью, объединенных в левые партии. Лица, материально менее состоятельные, преимущественно входили в левые партии, менее состоятельные духовно — в правые. Среди писателей, писавших на немецком языке и получивших известность также за пределами своей страны, было 27 человек левого направления и один — правого. При выборах в рейхстаг в округе Верхняя Бавария — Швабия левые партии получили 19,2 процента всех голосов, в Берлине — 61,7 процента. На газеты правого направления из каждых ста мюнхенских студентов подписывалось 57, из каждых ста мюнхенских офицеров — 91, из каждых ста гамбургских рабочих — 2, из каждых ста официально зарегистрированных берлинских проституток — 37. На газеты левого направления из каждых ста мюнхенских студентов подписывалось — 19, из каждых ста мюнхенских офицеров — 2, из каждых ста гамбургских рабочих — 52, из каждых ста официально зарегистрированных берлинских проституток — 5.

Идиотов и кретинов от рождения в Германии было 36 461, из них в Баварии — 11 209. Военные расходы германского государства составляли 338 миллионов золотых марок, расходы на литературу — 3 тысячи марок, на борьбу с венерическими болезнями — 189 тысяч марок.

Правосудие в Германии тех лет очень слабо отвечало требованиям практической жизни и совсем не отвечало мировоззрению эпохи. Оно покоилось частично на правовых нормах, сформулированных четырнадцать столетий тому назад в кодексе римлян, частично на заповедях, изложенных две тысячи лет тому назад в канонических книгах иудеев. Кроме государственных законов, существовало еще 257 432 полицейских предписания, частью изданных в шестнадцатом веке, незнание которых грозило штрафом каждому, кто проживал на территории Германии.

В год процесса над Крюгером в Германии насчитывалось 9361 судей, в Баварии — 1427. По всей стране за ложную присягу было осуждено 1251 человек, за профессиональную проституцию — 3439, за нанесение другим лицам опасных для жизни телесных повреждений — 24 971, за аборт — 3677 человек. Из

всех германских земель наиболее высокий процент тяжких преступлений приходился на Баварию. Что же касается мест заключения, то большую заботу там проявляли о душе осужденных, нежели об их плоти. При 1732 тюрьмах германского государства священников было гораздо больше, чем врачей; штатных тюремных священников было 125, а штатных врачей — 36.

Во всех странах бледнокожих, и особенно старательно в Соединенных Штатах Америки, собирали статистические данные об этих и всевозможных других вещах, и результаты исследований публиковались в пухлых ежегодниках, но каких-либо практических выводов не делалось.

Вот что представляли собой белокожие люди, которые вращались вместе с нашей планетой в мировом пространстве и составляли в то время две пятых ее населения.

15
КОМИК ГИРЛЬ И ЕГО НАРОД

Просторный зал общедоступного варьете «Минерва», расположенного неподалеку от Центрального вокзала, был переполнен; и это потому, что комик Бальтазар Гирль, выступавший в тот день после долгого перерыва, был весьма популярен. В зале по большей части сидели мещане, люди среднего сословия, «трехчетвертьлитровые рантье», которых так называли потому, что на целый литр пива денег у них не хватало. Лампы зауряднного, украшенного фресками на патриотические либо мифологические сюжеты зала бросали резкий свет на всех этих людей, которые дымили сигарами или трубками, а в антрактах слушали игру большого духового оркестра. Во время представления они ели и пили. Этот вечер должен был вознаградить их за целую неделю лишений. И потому они ели, ели сосиски всевозможных сортов: белые без кожицы; сочные, на которых лопалась кожица; коричневато-красные, толстые, тонкие. Ели также жареную телятину, приготовленную без всяких затей, жареные почки, жаркое с картофельным салатом. Уминали огромные клецки из муки и печенки, огромные тушеные телячьи ножки, соленые крендели, редьку. Многие женщины пили кофе, макая в него «хворост» — либо в виде трубочки, пышный, со вздутыми краями, либо тонкий, в виде лапши, ели пузатые, сочащиеся жиром, посыпанные сахарной пудрой пончики. Все это подавалось на посуде фирмы «Южногерманская керамика Людвиг Гесрейтер и сын», чаще всего с популярным синим узором — горечавка и эдельвейс.

Зал был полон дыма, мерного, не слишком громкого гула, запаха пивных испарений, людского пота. Пожилые бюргеры расположились поудобнее, влюбленные парочки сидели сзади и блаженствовали. Там и сям в этом царстве мелких буржуа попадались крупные чиновники и другие «большеголовые»: комик Гирль соглашался выступать лишь в простонародных увеселительных заведениях.

Иоганна Крайн, сидя рядом с Гесрейтером и адвокатом доктором Гейером за круглым столиком, покрытым красной в шашечку скатертью, испытывала чувство мирной радости. Поездка в Гармиш была не самым плохим эпизодом в ее жизни, да и для дела она, верно, окажется полезной. Но сейчас было так хорошо сидеть здесь, в тесном соседстве с тремя толстыми, непрерывно болтающими, курящими и жующими бюргерами, и есть просто приготовленный шницель, прежде чем завтра утром отправиться в одельсбергскую тюрьму, чтобы там в три часа дня обрести право впредь именоваться «фрау Иоганна Крюгер».

Когда она прочитала в газете о бесславном конце шофера Ратценбергера, то не почувствовала ни злорадства, ни облегчения. Скорее она увидела в этом знак свыше. Поездка в Гармиш, даже если она и окажется полезной для дела Крюгера, бездумное веселье зимнего курорта, наигранный интерес к спорту, значение, придаваемое одежде, отели, «Пудреница», г-н Гесрейтер, пустой шалопай Эрих Борнхаак — все это вызывало у нее нарастающее раздражение и тоску.

Поэтому, прочитав заметку о смерти своего антагониста на процессе, она еще энергичнее занялась приготовлениями к обручению с Крюгером и, к большому удивлению тетушки Аметсридер, поспешно собралась в дорогу. Пауль Гесрейтер, несмотря на ее возражения, вызвался ее сопровождать. И вот теперь она сидит здесь и слушает комика Гирля — пробыть весь вечер одной, томясь ожиданием, было бы слишком тяжело. Завтра она выйдет замуж за Мартина Крюгера.

На второй день после возвращения Иоганны в Мюнхен пришло известие, что дело по обвинению ее в шарлатанстве приостановлено. Власти, вероятно, никогда не придавали этому обвинению серьезного значения, но Иоганне их отступление показалось не случайным. Здесь, в Мюнхене, дело Крюгера представлялось в ином свете, чем в атмосфере беспечного веселья, царившего в Гармише. Здесь оно уже не казалось объектом безобидной политической игры, и еще меньше оно выглядело делом, которым ей, Иоганне, следует заниматься лишь ради спортивного интереса либо из упрямства. Скорее оно было для нее свое-

образным нравственным обязательством, гнетом, и это мучительное чувство долга терзало и грызло ее даже в самые светлые минуты. Какая досада, что рядом не было Жака Тювердена, в тот день ей очень не хватало его прямоты и тонкого остроумия.

Она разглядывала лица окружающих, тупые, невозмутимые лица обывателей. В сущности, добродушные. Могло сложиться впечатление, что будет совсем нетрудно вырвать у них из лап ни в чем не повинного Крюгера. Но она слишком хорошо знала этих людей — ведь она была одной с ними породы. Она знала, какими они бывают твердолобыми. Внезапно на них нападало необъяснимое раздражение, и тогда уже ничем невозможно было пробить их тупое, бессмысленное упрямство.

На эстраде появился комик Бальтазар Гирль. Позади него висел потрепанный бархатный занавес — красный, расшитый золотом, аляповатый и невероятно грязный. Перед занавесом сидело несколько оркестрантов и среди них — долговязый, тощий, печальный комик Гирль. Карикатурно загримированный, с неестественно белым, похожим на огурец носом и двумя ярко-красными клоунскими пятнами на щеках, он, словно муха, приклеился к колченогому стулу. Своими тощими ногами, нелепо торчавшими из огромных башмаков, он искусно обвил ножки стула.

Бальтазар Гирль разыгрывал сценку — репетиция оркестра. Сначала комик играл на скрипке, но так как не явился один из музыкантов, Гирль взялся исполнять и его партию на литаврах. Это было сложным делом. Вся жизнь — сложное дело. Безобидного, доброго человека повсюду подстерегают каверзы и гнусные соблазны, с которыми приходится бороться. Вот, к примеру, у дирижера сбился набок галстук, ему надо как-то намекнуть, но это трудно сделать во время игры. Можно было, правда, быстро и выразительно ткнуть в направлении галстука смычком, но дирижер, увы, намека не понял. Оставалось лишь прервать игру. Но тогда сразу сбился с ритма весь оркестр; пришлось начинать все сначала. И тут у дирижера снова сполз набок галстук. И вообще, людям так трудно понять друг друга! Самая простая вещь сразу же превращается в неразрешимую проблему. Человеческих слов уже не хватало, а тут еще приходится играть сразу на двух инструментах. Не хватает рук, не хватает ног, не хватает языка. Нелегко жить в этом мире. Человеку остается лишь печально и устало тащиться по жизни и, быть может, с привычным упорством делать что-то. Он обо всем судит по-своему и, разумеется, правильно! Но другие либо его не понимают, либо не желают с ним считаться. Например, ему пришла в голову мысль

о велосипеде. И вот мимо действительно пронесся велосипедист. Разве это не удивительно? Но другие не хотят видеть в этом ничего удивительного. Да, говорят они, если б ты, мой милый, вдруг подумал о самолете, и тут же над тобой пролетел самолет, это, пожалуй, и вправду было бы удивительно. Но, уважаемые господа, ведь это был не самолет, а велосипедист. А тут еще эти музыкальные инструменты,— приходится бить в литавры как раз тогда, когда надо играть на скрипке, да еще неумелый оркестрант терзает барабан, как тут оставишь его без советов и помощи, ну и, понятно, галстук дирижера все время съезжает набок, а этого нельзя допустить, и ко всему еще мысли, которые все-таки нужно как-то выразить — тихо, упрямо и твердо, без надежды на то, что тебя поймут. И еще проблема с велосипедистом, которую никак не удается разрешить. Ведь все-таки это не самолет, а велосипедист. А теперь началось нечто совсем невообразимое. Оркестр заиграл увертюру к «Поэту и крестьянину». И в столь стремительном темпе, что музыканты сразу сбились. Но он, Бальтазар Гирль, человек добросовестный; водрузив очки на свой белый нос-огурец, он уткнулся в потные листы и сразу же попал в бурный поток, барахтался, изо всех сил пытался выплыть, захлебывался, тонул в этом потоке. Остальные обгоняли его, неслись дальше. Однако он не сдавался, честно отрабатывал свой хлеб, трудился за троих. И все-таки это был не самолет, а велосипедист. И галстук снова съезжает набок. Сущий кошмар! Невероятно серьезный, тощий, совершенно отчаявшийся, обхватив ногами ножки стула, он, с печальным упорством, старательно и добросовестно трудился. Публика кричала, вопила, покатывалась со смеху, падала со стульев, задыхалась, захлебываясь пивом и давясь едой.

Было странно видеть, как под воздействием грубоватого искусства комика Гирля стирались грани между зрителями, исчезали все их личные заботы, личные радости. Иоганна уже не думала больше о Мартине Крюгере, господин Гесрейтер — о безвкусных длиннобородых гномах и исполинских мухоморах, выпускаемых его фабрикой, министр Кленк — о некоторых серьезных перемещениях, которые в ближайшее время предстояло произвести в его министерстве, тайный советник Каленеггер не думал сейчас о все нарастающих яростных нападках на его теорию о слоне из коллекции зоологического музея. И так же, как их головы двигались в такт равномерным движениям актера на сцене, их сердца с таким же злорадством ликовали над тщетностью усилий этого хмурого человека на сцене. Да, все прочие помыслы тысячи зрителей в битком набитом зале тонули в об-

щем громовом восторге после каждой новой неудачи нелепо загримированного шута, с угрюмым видом изнурявшего себя работой.

В зале один лишь доктор Гейер не утратил способности мыслить критически. С пренебрежительным видом сидел он, то и дело досадливо постукивал по полу своей элегантной палкой и страдальчески морщился. Все эти репризы он находил на редкость глупыми, вполне отвечавшими душевной недоразвитости народа, среди которого подлая судьба судила ему родиться. Его умные глаза за толстыми стеклами очков то впивались в угрюмого человека на сцене, то в министра Кленка, который, небрежно рассевшись и не вынимая изо рта трубки, извергал из широкой груди раскаты хохота, особенно громоздкий в своей грубошерстной куртке. Взгляд и мысли доктора Гейера уже не возвращались на эстраду, они сосредоточились на хохочущем человеке в зрительном зале. Партия предложила ему, Гейеру, мандат депутата рейхстага. Его чрезмерная активность доставляла коллегам одни неудобства, и от него решили избавиться. Впрочем, его самого привлекал Берлин, большой, оживленный город. И все же ему трудно было расстаться с Мюнхеном, оставить в покое врага, наслаждавшегося своим триумфом.

Какая наглость! Кленк еще и насмехается. Здоровается, смеет здороваться с ним, Гейером, поднимает бокал и пьет за его здоровье. Дряхлый тайный советник Каленеггер, проследив тупым бессмысленным взглядом за министром, тоже поздоровался издали и поднял бокал.

Зрители, теснящиеся в зале, следят теперь за следующей сценкой, которую разыгрывает комик Гирль. Горит дом, и на место происшествия прибывает пожарная команда. Пожарные беспрестанно забывают, что им надлежит тушить пожар. Они увлечены разговором о том, что представляется им куда более важными,— установлением степени родства: является ли Хубер, о котором упомянул один из пожарных (дочь этого Хубера учится играть на фортепьяно), тем самым Хубером, которого имеет в виду другой пожарный. Даже сам владелец горящего дома живо интересуется этими сложными изысканиями. Детально обсуждаются и тут же демонстрируются достоинства пожарного насоса, и, пока этот превосходный насос демонстрируется и потому не приводится в действие, горящий рядом дом рушится. Зал сотрясается от восторга и бурного ликования, министр тоже оглушительно хохочет. Тайный советник Каленеггер, сидя за одним столиком с министром и совершенно незнакомыми ему бюргерами, длинными штампованными фразами

объясняет антропологический базис юмора комика Гирля. Он говорит о галечном человеке, с давних пор жившем в галечном треугольнике между Швабингом и Зендлингом (это и была его настоящая родина), о лёссовом — на Востоке и Западе страны, об альпийском человеке на Юге, о болотном — на Севере, в Дахау. И так же как существует мюнхенская лёссовая флора, существует и мюнхенский лёссовый человек, характер которого обусловлен почвой и выразителем которого является комик Бальтазар Гирль... Мюнхенским обывателям объяснения Каленеггера кажутся больно уж запутанными и мудреными, они бесстрастно слушают тайного советника, время от времени вставляя: «Да, да, господин хороший».

Духовой оркестр исполнил заключительный марш «Побывайте, друзья, в ресторане». Господин Гесрейтер довез Иоганну до ее дома на Штейнсдорфштрассе. Почти всю дорогу он молчал. До последней минуты надеялся, что Иоганна откажется от своего решения выйти замуж за Крюгера. Он не считал себя знатоком человеческой души, но прекрасно видел, что это решение продиктовано не чувством глубокой привязанности к Мартину Крюгеру, а упрямством: «Захотела и сделала». Но поговорить об этом с Иоганной откровенно у него не хватало духу. Он мог выразить свое отношение к ее поступку лишь натянутым молчанием и мрачным настроением, которое передалось и ей. Предложение отвезти ее в Одельсберг на машине Иоганна решительно отклонила.

До чего противно, как все осторожничают и чего-то недоговаривают, когда дело касается ее отношений с Мартином Крюгером. Ох уж эта проклятая деликатность! Как хорошо было бы, если б вместо осанистого, дипломатичного, всеядного Гесрейтера рядом с ней сидел резкий, категоричный Тюверлен! Они не виделись с тех самых пор, когда, возмущенная его циничными парадоксами, она встала из-за столика и ушла. Он бы не стал хранить тактичное молчание насчет ее намерений. Никто еще не привел ни одного веского довода против ее замужества. Хоть бы этот Гесрейтер привел какой-нибудь убедительный аргумент.

Но г-н Гесрейтер сидел рядом с ней туманный, занятый своими мыслями, выделывая тростью с набалдашником из слоновой кости какие-то странные кругообразные движения, словно помешивал кашу. Машина как раз проезжала мимо Галереи полководцев, и Гесрейтер бросил полный ненависти взгляд на высившиеся там чудовища, хотя из-за темноты они были почти неразличимы. Быть может, Иоганна не принимает его всерьез из-за керамической фабрики? Из-за безвкусицы, которую он

выпускает? Но ведь у него, Гесрейтера, есть кое-какие оправдания. Он бережно собирает подлинные произведения искусства, не держит у себя дома буквально ничего из продукции собственной фабрики. И он сам, и светское общество не видят ничего дурного в его образе жизни. Так неужели нужно передать дело другому? Иоганна — женщина благоразумная, она наверняка поймет его. Он мысленно прикинул, стоит ли показать ей свою фабрику, своих рабочих, свои машины. Какие у него основания стыдиться чего-либо? У него даже есть основания для гордости. Он не утаит от нее ни длиннобородых гномов, ни исполинских мухоморов, зато покажет ей и серию «Бой быков». Он из тех людей, которые не боятся держать ответ за свои поступки. Приняв решение, он сразу повеселел, пригладил бачки, стал гораздо разговорчивее.

Тем временем комик Бальтазар Гирль в артистической уборной снимал с себя грим. Хмуро сидя на простом табурете, он при помощи вазелина удалял с носа белила, придававшие ему такой жалкий вид, а со щек — ярко-красные румяна. При этом он негромко ворчал, что пиво недостаточно теплое: он страдал несварением желудка и потому мог пить только подогретое пиво. Его спутница жизни, бойкая особа, изображавшая на сцене брандмейстера и еще не успевшая снять форму пожарного, старалась его успокоить. Комик Гирль был человеком трудным, он всегда пребывал в угнетенном состоянии. Она уверяла его, что пиво как раз той температуры, что предписана врачом. Но он сердито продолжал что-то бубнить себе под нос о глупых бабах, которые всегда норовят оставить последнее слово за собой. Ему, разумеется, передали, какая солидная публика собралась в тот вечер послушать его, и он, при всем своем напускном безразличии, внимательно следил за малейшей реакцией зала и приходил в бешенство, если самая ничтожная крупица его остроумия пропадала зря. А сейчас он злобно ругал этих кретинов, восхищавшихся его игрой. Ему-то от этого какой прок? Неужели эти люди воображают, что ему самому его собственные шутки доставляют удовольствие? Чепуха! Он до краев полон любви к своему Мюнхену. И мечтает о настоящей комедии, в которой смог бы выразить себя, родной Мюнхен и весь мир. Но им этого не понять, этим идиотам, пустоголовым баранам! Этого они ему не позволят.

Мрачный, жалкий, со скучающим выражением лица, невероятно худой, с впалыми щеками, стоял он посреди уборной, пил пиво, поглядывая на свою подругу, негромко бранился; длинные подштанники болтались на нем, как на скелете. Наконец,

поддерживаемый под руку спутницей жизни, он поплелся к трамвайной остановке — он был скуп и, несмотря на хорошие сборы, не позволял себе такой роскоши, как такси. На площадке вагона, страшась прикосновения чужих людей, он крепко прижался к своей подруге.

16

СВАДЬБА В ОДЕЛЬСБЕРГЕ

На этот раз Иоганна отправилась в тюрьму Одельсберг поездом. Поездка была утомительная, пришлось дважды делать пересадку. Вагоны этих медленно ползущих, переполненных составов были старые и замызганные. Инженер Каспар Прекль, так же как прежде Гесрейтер, предложил отвезти ее до места на машине. Но хотя путешествие по железной дороге оказалось очень тяжелым, Иоганна в глубине души радовалась, что из-за скверной погоды не поехала на машине. И даже была довольна, что тюремное начальство не разрешило Каспару Прсклю быть свидетелем при бракосочетании. Она не испытывала сейчас никакого желания находиться в обществе этого фанатичного молодого человека с дурными манерами и неудобным характером. Правда, она оказалась совершенно беззащитной перед лицом нескольких назойливых журналистов. Не сумев выудить у нее никаких пикантных подробностей, они в отместку нагло пялились на нее, громко обсуждали ее внешность, щелкали фотоаппаратами.

И вот наконец голая дорога, ведущая в тюрьму. Вокруг плоская, унылая равнина, чем-то напоминающая непокрытый стол. Обнаженный, безобразный куб тюрьмы, с равномерно выколотыми крохотными глазницами окон, не столько скрадывавшими, сколько подчеркивавшими высоту стен. Огромные, тяжелые ворота, охрана, комната проверки документов, длинные затхлые коридоры. Вид во двор с замурованными деревцами.

Иоганну провели в кабинет начальника тюрьмы. На кроличьей мордочке старшего советника Фертча была написана важность, усики быстро шевелились в такт движению губ, торчащие из носа волосики вздрагивали, весь вид господина начальника тюрьмы говорил о судорожной работе мысли. Он напряженно размышлял над тем, что кроется за этим браком, какими хитроумными мотивами были вызваны и первоначальный отказ, и вообще все это кривлянье, бравада и выверты заключенного

номер 2478. Но ответа на эту загадку так и не нашел. Где-то тут, это господин Фертч чуял безошибочно, кроется возможность выжать нечто полезное для его, Фертча, карьеры. Во всяком случае, эта свадьба пахнет сенсацией, и хорошо бы это использовать. И он решил держать себя просто и благосклонно-покровительственно. Он даже заранее придумал парочку острот, которые при случае могут стать достоянием печати. «Так вот, значит, какие дела»,— с мимолетной улыбкой, обнажавшей гнилые зубы, обратился он к Иоганне. В кабинете находились еще полный, застенчивый человек в длиннополом черном сюртуке и с внушительной цепочкой от часов на животе — бургомистр близлежащего поселка, который должен был выполнить формальности, предусмотренные обрядом бракосочетания, и учитель, которому предстояло сделать запись в регистрационной книге. Он тоже чувствовал себя очень неуверенно и сильно потел. Репортеры, приехавшие вместе с Иоганной, стояли вдоль стен. Иоганна, медленно поворачиваясь к ним, досадливо переводила глаза с одного на другого.

«Могу я сначала повидаться с Крюгером?» — деловито осведомилась она.— «К сожалению, это абсолютно исключено,— ответил начальник тюрьмы.— Мы и так уже сделали вам все мыслимые послабления. В аналогичном случае заключенному после венчания было разрешено получасовое свидание, я же не возражаю против целого часа. Надеюсь, вы успеете вдоволь наговориться». Иоганна ничего не ответила, и в маленьком помещении воцарилась тишина. На стенах висели докторский диплом начальника тюрьмы, фотография господина Фертча в офицерской форме, портрет фельдмаршала Гинденбурга. У стены в выжидающих позах стояло несколько тюремных служащих, с фуражками в руках. После долгих переговоров Крюгеру разрешили взять в свидетели при бракосочетании заключенного Леонгарда Ренкмайера, его товарища по прогулкам между шестью замурованными деревьями. Вторым свидетелем был назначен надзиратель, человек с квадратным, спокойным и совсем не злым лицом. Он подошел к Иоганне, представился, дружелюбно протянул ей руку. «Пожалуй, пора начинать»,— сказал бургомистр и, хотя на стене висели большие часы, посмотрел на свои допотопные, карманные. «Да, пора,— подтвердил начальник.— Введите этого,— он сделал паузу,— жениха». Репортеры ухмыльнулись, все разом громко заговорили. «Мужайтесь»,— неожиданно сказал Иоганне надзиратель, выбранный администрацией тюрьмы в свидетели, сказал тихо, чтобы не услышали другие.

Когда в комнату ввели Мартина Крюгера и Леонгарда Ренкмайера, наступила минутная неловкость, и все стали смущенно откашливаться. По столь торжественному случаю Мартину Крюгеру разрешили снять арестантскую одежду. Когда его доставили в одельсбергскую тюрьму, он был в сером летнем костюме; этот костюм и был на нем сейчас. Но за это время Крюгер сильно похудел и опустился, и теперь зимой, в стенах Одельсберга, производил странное, неприятное впечатление в прежде элегантном летнем костюме. Свидетель же Леонгард Ренкмайер был в обычной серо-коричневой арестантской одежде. В сильнейшем возбуждении он торопливо оглядел собравшихся и проворно отвесил несколько поклонов. Словоохотливый и тщеславный, он сразу учуял сенсацию, инстинкт подсказывал ему, что господа, стоявшие вдоль стен,— репортеры. То был для него большой день. Каждое движение, каждый взгляд в эти короткие минуты были несметным богатством, которое этот общительный человек будет без конца перебирать долгие, унылые месяцы. «Итак, приступим, господин бургомистр»,— сказал начальник тюрьмы. «Да, конечно»,— ответил толстый бургомистр и слегка одернул длинный, черный сюртук. Учитель отер капли пота с верхней губы и степенно раскрыл пухлую книгу. Бургомистр задал вступающим в брак вопрос, готовы ли они связать друг с другом свою жизнь. Мартин Крюгер обвел взглядом присутствующих, начальника тюрьмы, надзирателей, Леонгарда Ренкмайера, стоявших вдоль стен репортеров, пристально посмотрел на Иоганну и заметил, что ее широкоскулое лицо сильно загорело. Затем сказал: «Да». Иоганна тоже четко и ясно сказала: «Да» — и закусила верхнюю губу. Учитель вежливо попросил вступающих в брак и свидетелей поставить свои подписи в его пухлой книге. «Простите, не вашу девичью фамилию, а фамилию вашего супруга»,— сказал он Иоганне. Репортеры при словах «вашего супруга» язвительно хохотнули. Леонгард Ренкмайер быстро и изящно, без нажима вывел свою фамилию, упиваясь сладостным чувством, что все взгляды обращены сейчас на него и что газеты подробно опишут это его действие. Иоганна Крайн-Крюгер, стоя в окружении надзирателей, державших в руках фуражки, начальника тюрьмы и бургомистра, остро ощущала, какой в этой маленькой комнате спертый воздух, и машинально, только бы отвлечься, следила за ложившимися на бумагу буквами, торопливыми, широкими и тонкими у Ренкмайера, убористыми, неуклюжими и жирными у надзирателя. Но на подпись Мартина она взглянуть почему-то не решалась.

Присутствующие обступили новобрачных, пожимали им руки, поздравляли. Мартин Крюгер принимал эти поздравления спокойно, с любезным видом. Репортеры при всем желании не могли уловить в его поведении ни ожесточенности, ни признаков отчаяния, вообще ничего такого, что можно было бы использовать для статьи. Леонгард Ренкмайер, наоборот, тут же попытался вступить с ними в беседу. Однако после первых же фраз вежливо, но решительно вмешался начальник тюрьмы Фертч, и на этом великий день Леонгарда Ренкмайера закончился.

Мартина Крюгера и его жену отвели в приемную, где Крюгеру в присутствии надзирателя дозволено было целый час беседовать с супругой. Один из репортеров спросил у начальника тюрьмы, будет ли Крюгеру предоставлена возможность насладиться только что состоявшейся женитьбой. Старший советник Фертч заранее предвкушал, как Мартин или Иоганна обратятся к нему с такого рода просьбой, и был разочарован, что этого не произошло. Он специально на этот случай заранее приготовил несколько остроумных ответов. И теперь, быстро шевеля губами, поторопился, пусть хоть репортерам, выложить свои любовно подготовленные остроты.

Разговор Иоганны с Мартином протекал вяло, с длинными паузами. Хотя доброжелательно настроенный надзиратель не прислушивался к их беседе, но время шло, а о самом важном не было сказано ни слова. О своих личных делах они почти не говорили. Иоганне было стыдно, что она держится так холодно. Но что она могла сказать этому человеку, который смотрел на нее, как взрослый на ребенка, улыбаясь мудрой, доброй улыбкой? Что, собственно, их связывает? «Как ты загорела, Иоганна»,— сказал он дружелюбно, наверняка без всякой обиды, скорее даже шутливо. Но Иоганне, и без того смятенной, почудился в его словах легкий упрек. Под конец она стала рассказывать ему про теорию Каспара Прекля о влиянии кино, движущегося изображения, на живопись и о том, как сильно впечатление от движущегося изображения должно повлиять на восприятие зрителем картины художника. Мартин без видимой связи с предыдущим сказал, что единственное, чего ему действительно недостает, так это возможности увидеть некоторые фильмы. Особенно ему хотелось бы посмотреть фильмы о животных. Рассказал ей, что с интересом читает «Жизнь животных» Брема. Рассказал о леммингах, этой породе плотных, короткохвостых полевых мышей с маленькими, густо поросшими шерстью ушами, передвигающихся быстрыми семенящими шажками, об их загадоч-

ных миграциях: о том, как они несметными полчищами, точно свалившись с неба, внезапно появляются в городах северной равнины и ни реки, ни озера, ни даже моря не становятся неодолимой преградой на их пути. Эти порождавшие столько споров таинственные миграции, во время которых почти все лемминги гибнут из-за неблагоприятной погоды, чумы, волков, лисиц, хорьков, куниц, собак и сов,— миграции, причины которых до сих пор не раскрыты,— очень его, Мартина, заинтересовали. По мнению Брема, улыбнувшись, заметил он, безусловно, неверно думать, будто эти «переселения народов» происходят из-за недостатка пищи или по каким-либо другим «экономическим» причинам. Затем он несколько снисходительно заговорил о теориях Каспара Прекля. Надзиратель, прислушавшись к его словам, был поражен тем, что в такие минуты муж говорит с женой о подобных вещах.

Потом Мартин рассказал ей о своем замысле написать большую книгу о картине «Иосиф и его братья». На примере этой картины он хотел развить свои взгляды на истинное назначение искусства в наш век. Он также рассказал Иоганне, что недавно у него родилась новая грандиозная идея, настолько новая и необычная, что сейчас она вряд ли будет понята. И все-таки ему очень хотелось высказать ее, «бросить» в будущее, как моряки бросают в море закупоренную в бутылку записку, чтобы ее нашел кто-нибудь из потомков. Но именно в тот момент, когда он набрел на свою идею, ему в виде наказания запретили писать. У него не было бумаги, и он не мог зафиксировать эту свою идею. А она была органически связана со словесной формулировкой, с точным словом. И умирала без этого точного слова, как умирает улитка без своей раковины. Он чувствует, что идея постепенно ускользает от него. Вначале она была ему совершенно ясна, а теперь потерялась, и он не скоро вновь ее отыщет. Все это он рассказывал миролюбиво, без гнева и сожаления, с такой бесплотной и безвольной мягкостью, что Иоганну словно обдало холодом. Надзиратель в полнейшем изумлении стоял рядом.

Иоганна испытала облегчение, когда кончился час свидания и можно было распрощаться. Она шла по коридорам все быстрее и быстрее, а под конец почти бежала. Тяжело дыша, она выскочила на улицу, с благодарностью вдохнула холодный воздух и почти весело, точно сбросив с себя тяжкий груз, зашагала к вокзалу по дороге, покрытой лужами и месивом тающего снега.

17

ЗАВЕТНЫЙ ЛАРЕЦ КАЭТАНА ЛЕХНЕРА

Антиквар Каэтан Лехнер, бывший присяжный заседатель на процессе Крюгера, ехал в голубом трамвайном вагоне из центра города к себе домой, на Унтерангер. На лице этого пятидесятилетнего человека, тучного, с круглой головой, светло-рыжими бачками и зобом, заметны озабоченность и досада, он энергично сморкается в свой пестрый в синюю клетку платок, ворчит, что нынче чертовски холодно, и, шевеля пальцами, пытается согреть руки в шерстяных перчатках и ноги, обутые в резиновые сапоги. Поверх черного долгополого сюртука, который вот уже много лет верно служит ему в торжественных случаях, на нем коричневое пальто. А при всем параде он потому, что возвращается после очень важной деловой встречи, да к тому же еще с иностранцем, из Голландии. Он долго колебался, не надеть ли еще и цилиндр. Но после долгих раздумий решил, что в цилиндре будет выглядеть слишком торжественно. Так что в конце концов остановился на своей будничной зеленой фетровой шляпе, украшенной сзади, по местному обычаю, кисточкой из шерсти дикой серны.

Дома он обнаружил, что никого из детей нет. Снял мокрые резиновые сапоги, надел домашние туфли, добротный праздничный сюртук сменил на вязаный жилет. Анни, конечно, у своего чужака, у господина инженера, этого гнусного Прекля. Ну а Бени, верно, торчит, как обычно, на заседании своего идиотского заводского комитета. «Красная собака, пес красный»,— бурчит Лехнер себе под нос, пододвигая ближе к печке черное, глубокое кресло, которое он починил собственноручно. Он был вдовец и испытывал потребность излить кому-то душу. Особенно в такой день, после разговора с голландцем. А тут сиди себе один. Так всегда — растишь детей, растишь, а когда в кои веки захочешь с кем-нибудь из них словом перемолвиться, никого нет.

Сделка с голландцем, заветный ларец, «комодик», полмиллиона. Ерунда. Хватит. Он не желает больше думать об этом. Имеет он право немного отдохнуть? В голову лезла всякая чушь, и чтобы избавиться от этого наваждения, он мысленно представил себе лица детей. Если хорошенько разобраться, Бени довольно быстро встал на ноги после тюрьмы. В сущности, все это было лишь мальчишеской выходкой, ошибкой молодости, как справедливо заметил священник. Да и вообще вся история произошла из-за того, что мальчишка мечтал научиться играть на рояле. Иначе этот сопляк никогда бы не примкнул к «Красной

семерке». По своему характеру он совсем не политический горлодёр. Он и на суде, конечно же, сказал правду — в этот коммунистический кружок он попал только потому, что в задней комнате «Хундскугеля», где собиралась «Красная семерка», стоял рояль и ему разрешили на нем играть. О покушении с применением взрывчатых веществ, за которое потом чрезвычайный суд приговорил всех членов кружка к каторжным работам, его мальчик наверняка даже не подозревал.

Похоже, Бени понемногу приходит в себя, особенно после того, как по просьбе его преподобия мальчику сократили срок наказания больше чем наполовину. Он даже неплохую работу получил на «Баварских автомобильных заводах» и лекции слушает в Высшей технической школе. Тюрьмой они его не сломили, только того добились, что теперь он стал настоящим большевиком, этот поганец.

Анни тоже прилично зарабатывает. Она девушка аккуратная, самостоятельная. А что она себе дружка завела, так это здесь принято, о том тужить не приходится. Только почему им оказался именно Каспар Прекль, чужак. Вот что до смерти обидно.

Антиквар Лехнер со вздохом встал и, шаркая ногами, заходил по комнате. На стенах висели снимки, сделанные им еще в молодости,— резные кресла, столы, ярко освещенная зеркальная галерея, цепочка от часов с множеством брелоков. От фотографа не ускользнула ни малейшая деталь. Помимо своей воли, Каэтан Лехнер снова вспомнил о делах. «Чертов голландец»,— буркнул он.

Потому что на сей раз, это он знал точно, дело было нешуточное. Если он и теперь не продаст ларца, то уж никогда его не продаст. Тогда, значит, Роза, покойница, была неправа, и он просто растяпа. И, выходит, правы дети, которые хотя и не смеются в глаза, но смотрят на него недоверчиво и хмуро, когда он уверяет, что еще выбьется в люди. Если он и на сей раз не продаст ларец, то никогда ему не купить дома, того яично-желтого дома на Барерштрассе, о котором он так давно мечтает.

Правда, на дела ему грех жаловаться, даже если он и не продаст «комодик». Он подмазал портье в гостиницах, и кое-кто из богатых иностранцев наведывается по их совету на Унтерангер и потом не жалеет, что проделал такой дальний путь. Теперь, во времена инфляции, в Мюнхен понаехала тьма иностранцев, а он, Каэтан Лехнер, себе на уме, он запрашивает с них бешеные деньги. Да только судьба-то еще хитрее, и даже если ты каждый день повышаешь цену втрое, то деньги, которые ты получил, за

это же время падают в цене вчетверо. Каэтан Лехнер сердито фыркнул, высморкался, подержал руки у огня и подложил еще дров, хотя ему и без того было изрядно жарко. Верно, иностранцы хорошо платят, но он привязан к своим вещам, ему трудно с ними расставаться. Сколько труда, беготни и пота они ему стоили. Он выискивал их на ярмарках, на толкучках, на базарах, где продаются старые вещи, заглядывал в квартиры многих мюнхенских обывателей и в дома окрестных крестьян. У него есть вещи — кресла, столы, стулья, горки, комоды, к которым он просто прикипел душой. Некоторые из этих вещей, казалось бы, пришедшие в полную негодность, он чинил так же любовно и бережно, как хирург оперирует больного, которого другие врачи признали безнадежным. А тут заявляются эти дурацкие иностранцы и соблазняют его все более крупными суммами. И вот теперь за ночь, за короткие двенадцать часов, он должен решить — распроститься ли ему навсегда со своим сокровищем, с «комодиком», который он не уступил даже художнику Ленбаху.

Каэтану Лехнеру тяжело дышать в чересчур натопленной комнате. Его сердце уже перестало быть надежным механизмом. Большое, ожиревшее, расширенное от злоупотребления пивом, оно одряхлело от горестей, доставляемых ему детьми, и от тщетных попыток выбиться в люди. Да и зоб — не подарок. Каэтан Лехнер сидит согнувшись, положив руки на колени, тяжело сопя; внезапно резким движением он хватает порыжевшее пальто, торопливо набрасывает его на плечи и направляется из теплой комнаты в холодную лавку.

Вот он ларец, хорошая вещица, на редкость красивая, можно сказать, единственная в своем роде. Был он сделан — но этого антиквар Лехнер не знал — в Сицилии, норманскими мастерами, чье творчество было обогащено искусством сарацинов. Впоследствии его приобрел германский король Карл Четвертый, Карл Люксембург-Богемский, для мощей какого-то святого — король этот обожал мощи. Затем «комодик» стоял в одной богемской церкви. В нем хранились обломки костей и железные щипцы. По уверениям торговца, кости в те далекие времена, когда на них еще было мясо, принадлежали некоему святому, чье имя упоминается в календаре и которому язычники переломали кости за приверженность вере, а железными щипцами повыдирали у него из тела куски мяса. В день этого святого его мощи показывали верующим. Их свято чтили, к ним прикладывались губами, они творили чудеса. Когда вспыхнуло восстание гуситов, священники, прихватив ларец, бежали на Запад. В дороге щипцы затерялись, кости рассыпались. Сам ларец по-

бывал во многих руках. Сделан он был мастерски и отличался простотой и изяществом. Тонкая работа — львиные лапы из бронзы, искусно врезанные в дерево, металл с красивым матовым оттенком. В семнадцатом веке, не догадываясь о его прежнем предназначении, вместе с другими предметами неизвестного происхождения ларец купил еврей по имени Мендель Гирш. Когда ларец был опознан как собственность церкви, еврея заточили в тюрьму, подвергли пыткам и сожгли за осквернение христианских святынь. За право владения его наследством вели тяжбу церковные власти и курфюрст. Наконец договорились, что ларец останется у светских властей. Курфюрст Карл-Теодор подарил его одной из своих любовниц, танцовщице Грациелле, которая хранила в нем свои драгоценности. Когда она впала в немилость и разорилась, ларец приобрел придворный кондитер Плайхенедер. Позднее его наследники ларец продали. Вместе с другим хламом ларец попал на ярмарку в мюнхенском предместье Ау, где торговали всяким старьем. Там его двадцать два года назад углядел и купил антиквар Каэтан Лехнер.

И вот теперь он стоит здесь, в его лавке на Унтерангере. Повсюду громоздится старая мебель, светильники, изваяния мадонны, деревенские украшения, оленьи рога, большие рамы от картин, старинные холсты, огромные ботфорты. Но Каэтан Лехнер не видит ни одной из этих вещей. Взгляд его водянисто-голубых глаз, беспомощный и тоскливый, прикован к ларцу. Он смотрит на ларец влюбленно, но внутренне готов уже совершить предательство. Потому что ничего другого ему, Каэтану Лехнеру, не остается. Этот чертов голландец не отставал, хоть умри, не отставал. Он, Каэтан Лехнер, заломил такую чудовищно высокую цену, что сам испугался. Полмиллиона марок. Но и это не помогло, голландец все равно согласился. Возможно, он тут же сообразил, что полмиллиона марок в переводе на голландские деньги составляют всего пять тысяч гульденов. А он, услышав «беру» этого проклятущего голландца, лишился дара речи. Чуть не подавившись большой рыбьей костью, отер пот со лба и в ответ на вопрос настойчивого голландца что-то невнятно промычал. Тогда потерявший терпение голландец недвусмысленно заявил, что либо господин Лехнер завтра не позднее десяти часов утра привезет ларец в гостиницу, либо сделка не состоится.

Ночью в лавке было необычно тихо и очень холодно. Но Каэтан Лехнер не замечал холода. Он включил все лампы, ларец был теперь хорошо освещен, и, тщательно вытерев красные, потрескавшиеся руки, погладил свое любимое сокровище. Пол-

миллиона — большие деньги. Но и ларец — вещь ценная. Собственно, вся его, Каэтана Лехнера, жизнь связана с этим ларцом. Он вспомнил о том, как намеревался посвятить жизнь искусству, добывать средства к существованию художественной фотографией. В своем честолюбии он не удовлетворялся фотографированием только крупных предметов: мебели, человеческих лиц. Нет, его мечтой было запечатлеть мелочи — поллитровую пивную кружку, коллекцию жуков, «Безделки с живой душой», как называл все это художник Ленбах. С такими вещицами он, Лехнер, готов был возиться бесконечно и не успокаивался до тех пор, пока взорам зрителей не открывались их мельчайшие особенности, навсегда западая в душу. И в том, что искусство не стало содержанием его жизни, был повинен ларец.

Он наткнулся на него примерно через полгода после того, как встретился с Розой Хубер, молчаливой, набожной девушкой, истой католичкой с твердыми взглядами. Обслуживая в трактире самых разных посетителей, она хорошо узнала, что такое жизнь. Не девушка, а сущий клад... Что ни скажет, все толково, умно. Он, Каэтан Лехнер, с первой же их встречи задался целью создать вместе с нею домашний очаг. А сопротивление Розы, недоверчиво относившейся к планам Лехнера посвятить свою жизнь искусству и твердо решившей выйти замуж лишь за человека самостоятельного, только распаляло его мужицко-баварское упорство. Она охотно встречалась с ним, и он ей, несомненно, нравился. С грустью вспоминал он сейчас о тех чудесных утренних часах в «Китайской башне», колоритном ресторанчике в Английском саду. Как он в танце кружил свою Розу в веселой толпе простолюдинов — служанок, кучеров, белошвеек, дворников, почтальонов, которые, прежде чем отправиться к мессе, с утра пораньше отплясывали здесь под громкие звуки духового оркестра... Роза охотно ходила с ним на танцы и на всякие увеселения, но выйти за него замуж до тех пор, пока он не займется чем-либо серьезным, основательным, не соглашалась. Так обстояло дело до того дня, когда он, Каэтан Лехнер, углядел на ярмарке среди всякой рухляди и прочего хлама «комодик». Тогда сердце у него еще было крепкое. И все-таки он лишь с трудом скрыл свой восторг от многоопытной и зоркой старьевщицы. Но только когда «комодик» уже стоял у него в комнате, стал его собственностью и когда пришел еврей-антиквар и предложил за ларец восемьсот марок, тогда у Розы наконец открылись на него, Каэтана Лехнера, глаза. Она согласилась выйти за него и все свои сбережения вложила в его лавку на Унтерангере. И он сказал себе: «Эх, бог с ним, с искусством».

С тех пор у него часто появлялось искушение продать ларец. Но он устоял, считал эту вещь талисманом, приносящим счастье. В лавке появлялись и вскоре исчезали статуи богоматери, расшитые женские головные уборы, сундуки, кресла, старые мундиры, но, радуя глаз знатоков, неизменно стоял на своем месте чудесный старинный ларец. Потом Роза умерла. Теперь он часто думал — может, это и к лучшему, что она умерла, не дожила до последних лет с их мерзкой едой и еще более мерзким «военным» пивом, не мучилась из-за идиотской связи Анни с чужаком и, особенно, из-за этой истории с мальчиком.

Сплошное свинство. Когда он, Каэтан Лехнер, вспоминал о травле, которой подвергли его сына, металлическая отделка ларца казалась ему темнее, а красное дерево — грязным. Каэтан Лехнер был консерватор, он стоял за спокойствие и порядок. Но ведь ясно как божий день, что правительству нужен был убедительный довод в пользу сохранения «гражданской самообороны». Ради этого они и упекли его мальчика в каторжную тюрьму. В молодости Каэтан Лехнер не был чересчур уж ревностным католиком и ходил в церковь больше ради Розы. «Эй, старуха, не дури»,— крутя зобастой шеей и добродушно похлопывая жену по заду, неизменно повторял он припев немудреной народной песенки всякий раз, когда его Роза впадала в чрезмерную набожность. После осуждения сына, несмотря на то, что вызволить его из тюрьмы помог духовный отец, вера Каэтана Лехнера и вовсе пошатнулась. Нет, на бога тоже нельзя положиться, и священник не сумел дать вразумительный ответ на его, Лехнера, вопрос, как ему поступить — продать «комодик» или оставить у себя. Полмиллиона — большие деньги. Если уж ему не повезло с детьми, то хоть яично-желтый дом господь бог должен ему «пожаловать во владение». Очень уж этот дом ему приглянулся, он не может его не купить... Должен же он, наконец, выбиться в люди. Если дело не выгорит — просто беда. Он почти с угрозой посмотрел на висевшее рядом с ларцом грубое деревянное распятие. Нет, он должен стать домовладельцем, хозяином большого яично-желтого дома на Барерштрассе. Нынешний владелец Пернрейтер — бессовестный скряга, но перед полмиллионом ему не устоять. Сегодня, раньше чем отправиться к голландцу, он, Лехнер, снова ходил смотреть на свой будущий дом, долго стоял у подъезда, простукал стены, ощупал старинную бронзовую надпись на воротах. Поднялся по ступенькам пологой лестницы, поглаживая перила, рассмотрел таблички с фамилиями жильцов — четыре фарфоровые, две эма-

левые, две медные — пристально, как прежде рассматривал предметы, которые собирался фотографировать.

Далеко уже не молодой человек в домашних туфлях и порыжевшем пальто, среди ночи стоявший в освещенной лавке перед ларцом, продрог. И все-таки он не спешил погасить свет. Поглаживал свои светло-рыжие бачки и растерянно-сердито смотрел на ларец водянистыми голубыми глазами. Вот и завтра вечером он будет стоять здесь же в лавке на Унтерангере, но «комодика» на прежнем месте уже не будет. От этой мысли ему стало не по себе. Домов на свете много, в одном только Мюнхене их пятьдесят две тысячи. А «комодик» один, другого такого нет. «Чертов голландец, пес проклятый»,— проворчал он, тяжко вздохнул и поплелся назад, в теплую комнату.

И вот он опять сидит в глубоком кресле и в который раз взвешивает все за и против, хоть уже давно все взвесил. Если он сейчас продаст «комодик», то радости от этого будет немного, если не продаст, тоже радости мало. Он подумал: «Да, нелегкое нужно принять решение, а времени в обрез». Завтра рано утром он должен пойти к голландцу либо расстаться с мечтой о яично-желтом доме на Барерштрассе. Он подумал также, что утро вечера мудренее, и что другой такой возможности разбогатеть может и не быть, и что он уже не молод. И еще о том, что тот не накопит талера, кто не хранит пфеннига. Он живо представил себе, как в черном сюртуке из добротного сукна впервые предстанет перед жильцами своего дома в качестве нового владельца. И еще — как он сообщит о своей покупке приятелям по «Клубу любителей игры в кегли». Они станут насмехаться над ним, но сами будут здорово злиться; он им во всей красотище распишет свой новый дом, и они будут помирать от зависти.

Антиквар Каэтан Лехнер поднялся и, кряхтя, стал одеваться. Вот она радость от детей! Жаждешь близкому человеку душу излить, а приходится, на ночь глядя, в зимнюю стужу тащиться куда-то. Он отправился в «Клуб любителей игры в кегли», твердо решив не рассказывать там ни о «комодике», ни о покупке дома: если он проговорится, они станут над ним потешаться.

Но потом не удержался, обо всем рассказал приятелям, и они потешались над ним.

В тот вечер он изрядно выпил и по пути домой на чем свет стоит честил своего сынка Бени, этого подонка, красного пса. Войдя в переднюю, он услышал ровное дыхание спящего сына. И хоть Каэтан Лехнер был сильно пьян, он, не зажигая света,

снял резиновые сапоги и осторожно, чтобы не разбудить мальчика, добрался до своей кровати. И уже в полусне тихонько напевал давно забытую песенку. «Эй, старуха, не дури».

18

КЕРАМИЧЕСКАЯ ФАБРИКА

Вернувшись в Мюнхен после бракосочетания с Крюгером, Иоганна попыталась заняться графологией. В Гармише у нее иногда появлялась неодолимая потребность вновь сидеть перед своим аппаратом и со страхом ждать того мига, когда в очертаниях букв выкристаллизуется характер писавшего. Но теперь, очутившись у себя в комнате, сидя за письменным столом и глядя на окружавшие ее предметы, на книги по специальности, она не находила во всем этом ни смысла, ни радости. И прежде всего в себе самой. Она вспомнила, как Гейер действовавшим ей на нервы голосом спросил: «Да, на каком основании?» Вспомнилась его дурацкая манера моргать глазами. И ее опрометчивый ответ: «Я выйду за него замуж». Она попыталась представить себе лицо Жака Тюверлена, тетушки Амстсридер, лица знакомых из гармишского Палас-отеля, когда они прочтут в газетах о ее замужестве. «Похоже, я сделала глупость, сделала глупость»,— повторяла она про себя, и на лбу у нее обозначались три вертикальные морщинки. «Похоже, я сделала редкую глупость»,— произнесла она неожиданно громко, вслух. В следующие два дня она, собственно, без всяких причин, отказалась от нескольких заказов и без большой охоты занялась теоретическими вопросами графологии. И когда г-н Гесрейтер вторично предложил ей осмотреть его фабрику, она подумала, что это очень кстати. Фабрика «Южногерманская керамика Людвиг Гесрейтер и сын» находилась в пригороде Мюнхена. Это был огромный, красный и отвратительный на вид корпус. Гесрейтер водил Иоганну по чертежным залам, конторским помещениям, машинному отделению, мастерским. На фабрике г-на Гесрейтера в большинстве своем работали девушки, пятнадцати-семнадцатилетние заморыши. Все здание было пропитано кисловатым запахом. В мастерских этот запах был таким сильным и стойким, что Иоганна невольно спрашивала себя, смогут ли эти люди хоть когда-нибудь вытравить его из одежды и тела. Во время осмотра фабрики Гесрейтер говорил без умолку, шутил. И хотя было жарко, так и не снял шубы,

Рабочие его любили. Он говорил с ними на диалекте, беседовал о всякой всячине. Они охотно отрывались от дела, чтобы поболтать с ним, и вообще относились к нему с симпатией, особенно девушки. А вот в конторе его встретили куда менее приветливо. Когда хозяин и его гостья собрались уходить, служащие конторы даже не пытались скрыть своей радости.

Напоследок г-н Гесрейтер показал Иоганне складские помещения. Тут штабелями стояла художественная продукция фабрики, предназначенная на экспорт: девушки, черпающие кувшинами воду из ручья, олени и косули, длиннобородые гномы, огромных размеров трилистники, приютившие нагих, непорочных дев со стрекозьими крылышками за спиной, аисты в натуральную величину, стоящие перед пещерами — ящиками для цветов. Исполинские мухоморы с красными и белыми шляпками. Каждая вещь в сотнях, в тысячах экземпляров — скопище чудищ, источавших кисловато-терпкий запах. Иоганна огляделась вокруг, неприятный запах буквально бил в нос, от вида всех этих уродцев и отвратительного запаха у нее перехватило дыхание, к горлу подступила тошнота. А г-н Гесрейтер все говорил и говорил, подшучивая над изделиями собственной фабрики, красочно живописал, как они будут выглядеть в гостиной какого-нибудь добропорядочного провинциала либо среди разноцветных стеклянных шаров в саду американского фермера. Тростью с набалдашником из слоновой кости он показывал то на одно, то на другое «творение». Его замечания отличались тонким юмором — лучше высмеять все эти «предметы искусства» не смог бы и сам Мартин Крюгер.

После осмотра фабрики Иоганна собралась было домой, но Гесрейтер решительно запротестовал. Он непременно должен сначала показать ей несколько эскизов, смелые проекты одного неизвестного молодого художника, и особенно серию «Бой быков». Техника производства этих вещей довольно сложна, объяснил он. И бизнеса на них, разумеется, не сделаешь. Гесрейтер воодушевился и принялся с увлечением рассказывать, что его привлекает в этих проектах. Он добьется признания молодого скульптора, непременно добьется, заявил Гесрейтер своей спутнице. Но до чего обидно, что на девяносто девять убогих поделок приходится всего один такой шедевр, да и тот удается пробить с великим трудом. Иоганна больше молчала и на обратном пути ограничилась лишь несколькими короткими, ни к чему не обязывающими фразами. Она просто не в силах была воспринимать это огромное строение с его лжеискусством и затхлым запахом, от которого перехватывало дыхание, столь же легко-

мысленно весело, как г-н Гесрейтер. Вероятно, для этого ей недоставало чувства юмора. Что-то от кисловатого запаха своей фабрики впитал в себя и сам Гесрейтер.

Она обрадовалась, когда, вернувшись домой, нашла телеграмму от доктора Пфистерера, сообщавшего, что кронпринц Максимилиан в ближайшие дни должен прибыть в Гармиш. Пфистерер советовал ей не упускать столь благоприятного случая. В тот же день она выехала в Гармиш. Прибыла туда вечером, и сразу же у нее произошло короткое, но весьма неприятное объяснение с тетушкой Аметсридер, которая узнала о ее замужестве из газет; Иоганна поужинала у себя в комнате одна.

На другое утро на катке (Иоганна любила кататься на коньках, хотя это получалось у нее не очень хорошо) она встретила Жака Тюверлена. «Алло!» — окликнул он ее, делая вид, будто того вечера в ресторане Пфаундлера, когда она в гневе встала из-за стола и ушла, не было вовсе. Как ни в чем не бывало пригласил ее позавтракать вместе. Иоганна тоже ни словом не обмолвилась о том вечере и сразу же согласилась. Оживленная сидела она с ним рядом, а он, лукаво щурясь, глядел на нее своими почти лишенными ресниц глазами. В маленьком кафе гармишского катка они в полном согласии завершили трапезу, начатую тогда в мюнхенском ресторане.

Возможно, у г-на Гесрейтера есть свои достоинства, но в нем есть что-то неопределенное, мутное, что ее отталкивает; да тут еще воспоминания о фабрике, неотделимые от противного, кисловатого запаха. А вот с ним, с Тюверленом, когда она глядела на его голое, забавное лицо, гибкую, мускулистую фигуру и худые, поросшие рыжеватым пушком руки, ей легко было говорить обо всем на свете. Перед ней был настоящий, свободный от предрассудков человек, они понимали друг друга с полуслова. Как приятно после такого долгого перерыва снова сидеть с ним рядом и чувствовать родственную душу.

Ему приходится улаживать кое-какие неприятные дела, рассказывал он, с аппетитом уплетая завтрак и добродушно щурясь на солнце. У него с братом вышла тяжба из-за доли в женевском отеле, который перешел к ним по наследству. Брат явно его надул. Теперь уж он, вероятно, не сможет в материальном отношении жить столь же беззаботно, как прежде. Но его это, очевидно, не слишком огорчало. Пока что, продолжал Тюверлен, он устроился в небольшом домике, который стоит на горе, прямо в лесу. Часто он спускается вниз на лыжах, нередко и по вечерам, в смокинге либо во фраке, закинув лакированные

туфли за плечи. О всех своих злоключениях он рассказывал звонким, скрипучим фальцетом, ни на что не сетуя, с наслаждением попивая вермут. Взгляд смелых, серых глаз Иоганны был полон веселой решимости. Она ему очень нравилась, и он сказал ей об этом.

Жак Тюверлен стал усиленно тренироваться на лыжной поляне у подножья Гохэка. Он хорошо ходил на лыжах, но техникой бега не владел. Теперь он стремился освоить стиль «арльбергской школы», постичь его преимущества. Он упорно и азартно спорил с тренером, на снежной поляне то и дело слышался его скрипучий смех. Никто так весело не потешался над его бесчисленными падениями, как он сам.

Иоганна чувствовала себя превосходно. Одельсберг был позади. Остались позади и поникший, вызывавший щемящую жалость Мартин Крюгер, и фанатичный Гейер. Грустно-загадочный Гесрейтер при встречах укоризненно глядел на нее своими томными глазами; у нее почти не оставалось для него времени. Она каталась на лыжах с Жаком Тюверленом, ходила с ним в «Пудреницу», бывала в его маленьком лесном домике, нередко они обедали вместе в отеле, к неудовольствию тетушки Аметсридер. Они часто и откровенно беседовали, но о деле Крюгера она с ним не говорила. Не упомянула она и о том, что вышла замуж за Крюгера, и не знала, читал ли об этом Тюверлен.

19
ДАВИД ИГРАЕТ ПЕРЕД ЦАРЕМ САУЛОМ

Инженер Каспар Прекль, угрюмый, небритый, утопая в месиве из снега, дождя и грязи, шагал в своих совсем не подходящих для такой погоды ботинках по главной улице зимнего курорта Гармиш-Партенкирхен. Нет, газеты не лгали: когда вокруг царит беспросветная нужда, что, кроме возмущения, может вызвать этот курорт — воплощение роскоши и праздности? Лишь после полудня с большим трудом добрался он сюда по скользким, размокшим от тающего снега дорогам. В пути у него случилась пустяковая, дурацкая поломка, пришлось в Вейльхейме чинить машину, и там у него вышла дикая ссора с механиком. Если б вейльхеймовец не подобрел, услышав баварский диалект Прекля, то проучил бы этого странного мрачного типа с костлявым, не баварским лицом.

Вообще вся эта поездка была полным идиотизмом. Директор «Баварских автомобильных заводов» Отто с довольно кис-

лым видом передал ему, что барон Рейндль желает поговорить с ним и просил его, Прекля, при случае заглянуть в Гармиш, в Палас-отель, где барон остановится дней на восемь — десять. Так неужели он, Прекль, обязан был тотчас же нестись сюда в Гармиш, точно собака по свистку хозяина, точно какой-нибудь лизоблюд? Темнее тучи, привлекая всеобщее внимание своим неряшливым видом, Каспар Прекль в наступающих сумерках тяжело шагал по фешенебельному, уютному курорту. Электрические дуговые фонари, отражаясь на снегу, светили каким-то неприятным светом. Из кафе и ресторанов доносилась джазовая музыка: для обитателей Гармиша это был час послеобеденного чая и танцев. Когда он справился о бароне Рейндле, обслуживающий персонал и рассыльные Палас-отеля с издевкой и любопытством уставились на подозрительного субъекта в порванной и замусоленной кожаной куртке.

Но барон Рейндль оказался у себя в номере и — надо же! — сразу принял этого типа. Здесь, в Гармише,— доверительно, прямо-таки дружески поведал барон Рейндль молодому инженеру,— он ведет переговоры кое с кем из французских и американских промышленников. Сейчас появилась некоторая надежда на то, что он сможет приступить к выпуску серийных автомобилей Прекля. Пятый евангелист, изрядно расплывшийся, расхаживал по комнате в роскошном домашнем фиолетовом халате и тонких кожаных туфлях без каблуков. Огромная голова с иссиня-черными волосами, казалось, покоилась прямо на фиолетовой ткани халата, круглые, карие глаза смотрели пристально. В комнате было жарко. Фон Рейндль посоветовал Преклю снять куртку. Позвонил, велел принести чай. Прилег на диван, и теперь его и Прекля разделял изящный столик. В неестественной, неловкой позе сидел инженер Прекль напротив массивного человека, возлежавшего на диване.

Слушая торопливые объяснения о важнейших технических особенностях новой машины, фон Рейндль помешивал ложечкой чай, небрежно кивал в ответ на невежливое «понятно?», листал какую-то толстую книгу, разглядывал свои руки, с внешней стороны — очень узкие, а ладони — мясистые, крошил печенье, даже не давая себе труда сделать вид, будто слушает. Прекля бесило полнейшее безразличие со стороны шефа.

— Вы собираетесь читать или слушать меня? — не выдержав, резко спросил он.— Собираюсь пить чай,— не откладывая книги в сторону, вежливо ответил г-н фон Рейндль. Он позвонил и велел горничной потушить несколько ламп,— в комнате было слишком светло. Прекля возмутило, что этот человек

даже такой пустяк поленился сделать сам. С минуту Прекль сидел молча. Фон Рейндль отпил из чашки сладкий чай; Прекль хоть и изрядно продрог с дороги, к чаю даже не притронулся. И вдруг Пятый евангелист, необычайно оживившись, спросил: «Послушайте, вы не согласитесь спеть мне несколько ваших баллад?»

Как ни странно, но Прекль не рассердился. Даже не сказал: «Вы что, для этого так спешно вызвали меня?» Или что-нибудь в этом роде. Больше того, казалось, он только этого и ждал и в Гармиш приехал лишь затем, чтобы спеть свои баллады Пятому евангелисту.

Он только и сумел сказать: «Ничего не выйдет. Для этого нужно банджо или какой-нибудь другой инструмент». «Ну, это пустяки»,— живо ответил фон Рейндль. И тотчас же приказал принести банджо. Те десять минут, пока искали инструмент, Прекль и Рейндль сидели молча, сгорая от нетерпеливого ожидания.

Когда наконец принесли банджо, Прекль подошел к двери и включил полный свет. Потом стал посреди комнаты и звенящим резким голосом, на сочном диалекте, очень громко и дерзко стал исполнять свои баллады, аккомпанируя себе на банджо. Эти бунтарские баллады тонко, зло, беспечно, с большим напостроением повествовали о маленьком человеке, затерянном в большом городе, о его жизни и серых буднях, увиденных и услышанных совершенно необычно — по-новому. Человек в фиолетовом халате лежал на диване, внимая каждому слову баллады; он то оттопыривал верхнюю губу, опушенную иссиня-черными усами, то его одутловатое лицо утрачивало обычное напряженное выражение, и на нем тогда отражались одновременно негодование, ирония, одобрение, досада и удовольствие. Каспар Прекль, впившись в него взглядом, выкрикивал прямо в это холеное, жирное лицо свои непристойно дерзкие, крамольные стихи. Потом взял смешной позолоченный стульчик, выдвинул его на середину комнаты и, в своей грязной одежде, с мальчишеским вызовом уселся на него верхом. В ярком свете ламп отчетливо проступала каждая щетинка на небритом, худом лице Прекля, резиновые подметки разбитых коричневых ботинок с налипшей на них грязью оставляли следы на ковре. Человек в фиолетовом халате слушал не двигаясь, лишь мускулы его лица то напрягались, то расслаблялись, когда он смотрел своими круглыми глазами на этого чудака с большим кадыком на тонкой шее, выступавшей из-под мягкого цветного воротничка.

Раздался стук в дверь. Фон Рейндль даже не пошевелился. А Каспар Прекль продолжал непринужденно выкрикивать свои стихи. Человек в фиолетовом халате, прервав его на полуслове, тихо, но отчетливо и внятно произнес: «Пожалуйста, убавьте свет!» Инженер Прекль мгновенно умолк, но остался сидеть на стуле. «А вы позвоните горничной»,— сказал он. «Благодарю»,— ответил г-н фон Рейндль. «Так вы думаете выпускать мою серийную машину?» — после недолгого молчания спросил Каспар Прекль. «Нет, не думаю»,— дружеским тоном, приподнявшись и с милой улыбкой глядя на Прекля, ответил г-н фон Рейндль. «Тогда прошу меня уволить»,— сказал инженер Прекль. «Вы уволены,— ответил Пятый евангелист.— Но вы даже не притронулись к чаю,— с мягким укором прибавил он.— Надеюсь, вы отужинаете со мной?» «Не думаю»,— ответил Каспар Прекль. Он бережно поставил инструмент в угол. «Где моя куртка?» — спросил он. Г-н фон Рейндль позвонил. Портье сообщил, что куртка г-на инженера висит в гардеробе. Г-н фон Рейндль встал, пружинящим шагом подошел к шкафу, достал увесистый том в кожаном переплете. Это было роскошное издание сонетов Шекспира. «Разрешите вам подарить»,— обратился он к Преклю. Каспар Прекль без долгих разговоров взял толстую книгу. «Вы издавали свои баллады?» — поинтересовался г-н фон Рейндль. «Да, в двадцати экземплярах»,— ответил Прекль. «Могу ли я получить экземпляр? — спросил г-н фон Рейндль.— Предлагаю вам за него сто английских фунтов». В тот день 100 английских фунтов соответствовали 107 068 маркам. В Мюнхене батон хлеба стоил тогда 8 марок, фунт какао — 24 марки, отличная грубошерстная куртка — 350 марок, простой скромный костюм от 375 до 725 марок, дамское пальто можно было купить за 190 марок; за 100 английских фунтов можно было приобрести дом. Человек в фиолетовом халате неподвижно лежал на диване и, устремив на Прекля непроницаемый взгляд карих глаз, ждал ответа. Но Каспар Прекль ушел, так ничего и не ответив.

Досадуя на самого себя, сидел он в холле гостиницы. Он вернулся бы в Мюнхен в тот же вечер, но дороги прихватило льдом, и ехать по ним было небезопасно. А так как денег у него кот наплакал, придется переночевать в этом до омерзения фешенебельном Палас-отеле, потому что здесь за него платит г-н фон Рейндль. Он поступил как настоящий кретин, когда заговорил об увольнении. Анни, его подружка, только руками всплеснет, узнав, какую он сделал глупость. Раз он ушел с работы, то и машину придется вернуть, мог бы взять хотя бы те сто фунтов! Что ж, он пошлет Рейндлю оттиск баллад и вместо

ста фунтов оставит за собой машину. Его раздражали все эти полуобнаженные дамы, увешанные драгоценностями, которых хватило бы на пропитание целой семьи. Глубоко запавшими глазами он исподлобья смотрел на мужчин в обязательных для господ из общества черных вечерних костюмах. Эти господа всячески пыжились и вытягивали шеи из-под воротников неудобных белоснежных накрахмаленных рубашек, столь вредных для здоровья. Он решил было повидать Иоганну Крайн. Но, заметив ее издали, когда она шла через холл, опираясь на руку одного из этих господ в черно-белом, напудренная и одетая, как и другие дамы, в роскошное вечернее платье, он потерял всякую охоту говорить с ней, благо она его не заметила.

Он поужинал в небольшом, напоминавшем пивнушку зале, при Палас-отеле, так называемом «погребке», куда заглядывали по большей части местные жители. Там он крупно поскандалил: ему не хотели верить, что за него платит барон Рейндль. После этой стычки настроение у него поднялось, и он завернул в какое-то кафе, уселся там и закурил. Потом решил почитать газету. Потребовал «Роте Фане», крайне оппозиционную берлинскую газету. К его большому удивлению, «Роте Фане» в кафе получали. Но, как объяснил кельнер, в данный момент ее читает вон тот господин в противоположном углу. Каспар Прекль увидел, что господин в углу читает какую-то другую газету, но на его столике лежит целая стопка газет. Прекль подошел и спросил, свободна ли «Роте Фане». «Нет»,— ответил незнакомец высоким, скрипучим голосом. «Когда она освободится?» — спросил Каспар Прекль. Незнакомец, прищурившись, взглянул на него и весело ответил: «Может, через час, а может, через два». Каспар Прекль, оглядев незнакомца, отметил про себя, что этот рыжеволосый человек с морщинистым, странно оголенным лицом и продолговатой головой, плечист и крепок. Но Каспар Прекль пребывал в сильнейшем раздражении и нуждался в разрядке; и потому, невзирая на очевидную опасность, разворошил стопку газет и отыскал «Роте Фане». Тут незнакомец свободной рукой ухватился за палку с подшивкой газет с другого конца. Каспар Прекль одной рукой крепко держал палку, а другую занес над головой незнакомца. «Я бы вам не советовал,— своим скрипучим голосом весело сказал господин, внимательно наблюдая за Каспаром Преклем.— Если вы не владеете приемами джиу-джитсу, ваше дело гиблое». Еще раз взглянув на незнакомца, Каспар Прекль подумал, что тот прав. «Кстати, зачем вам нужна «Роте Фане»? — продолжал незнакомец.— Если вы всерьез интересуетесь политикой, можете сесть за мой сто-

лик и прочесть газету здесь». Каспару Преклю этот человек понравился, и он присел за столик. Господин вежливо протянул ему «Роте Фане», прищурясь, посмотрел, что именно Каспар Прекль читает, и увидел, что то была статья о значении художественных музеев в большевистском государстве.

— Вам не кажется, что этот тип пишет чушь? — спросил господин.

— Боюсь, не найдется и десяти человек, способных сказать по этому поводу что-либо путное,— нелюбезно ответил Прекль.— Это область совершенно неизученная.

— Я потерял целый год,— весело проскрипел незнакомец,— пока не пришел к выводу, что марксизм имеет для меня смысл, а затем — еще год, прежде чем обнаружил, что он не имеет для меня никакого смысла.— Каспар Прекль быстро, испытующе взглянул на него своим глубоко запавшими глазами и снова погрузился в чтение «Роте Фане».

— Трудность для меня заключается в том,— продолжал Тюверлен,— что я занимаю межклассовую позицию. Ведь я все-таки писатель...

— Дадите вы мне наконец спокойно читать? — зло, но тихо произнес Каспар Прекль.

— В настоящее время,— весело продолжал скрипеть господин,— я убежден, что побудительной причиной моих действий является удовольствие. Только удовольствие. Понимаете? Одна из античных пьес — сплошная апология удовольствия. В этой пьесе удовольствие воспринимается, в сущности, как симбиоз цивилизующего разума с естественным инстинктом. Пьеса эта была создана человеком по имени Еврипид, и называется она «Вакханки». Вы ее, случайно, не читали?

— Нет, не читал,— ответил Прекль, откладывая в сторону газету,— но я согласен с вами, эта статья — сплошная ахинея.— Он более внимательно посмотрел на своего соседа по столу.— Кстати, что за чушь вы тут несли насчет удовольствия и социологии?

Вот с этого и начался горячий спор о марксизме писателя Тюверлена и инженера Каспара Прекля. «Вы самый нелогичный человек из всех, с кем мне доводилось встречаться»,— с уважением сказал в конце спора Жак Тюверлен. Он заказал довольно много крепкого пива и пил с явным удовольствием. Прекль, против обыкновения, от него не отставал. Оба они говорили очень громко, Прекль своим пронзительным, резким голосом, Тюверлен — скрипучим, так что остальные посетители поглядывали на них, кто неодобрительно, раздраженно, а кто со сни-

сходительной усмешкой. Прекль то и дело ударял по мраморному столику толстым, в кожаном переплете, томом сонетов Шекспира, подарком капиталиста Рейндля. Они говорили о материалистическом мировоззрении, о буржуазной и пролетарской идеологии, о паразитарном существовании художника в современном обществе, об усиливающемся переселении народов, о смешении европейской цивилизации и азиатской культуры, об истоках ошибок в образе мышления, учитывающего лишь социологическую основу фактов. Они спорили горячо, с азартом и выпили немало пива; случалось, один даже выслушивал доводы другого. В заключение г-н Тюверлен потребовал почтовую открытку, и на мокром, липком мраморном столике кафе «Верденфельс» Жак Тюверлен, в данное время проживавший в Гармиш-Партенкирхене, написал господину Жаку Тюверлену, в данное время проживавшему в Гармиш-Партенкирхене, в Палас-отеле, открытку следующего содержания: «Дорогой господин Жак Тюверлен, не забывайте, что вы независимы и потому не обязаны обладать классовым сознанием. Никогда не забывайте, что вы существуете на свете только для самовыражения. С искренним уважением ваш преданнейший друг Жак Тюверлен». Когда кафе закрылось, выяснилось, что оба живут в одной и той же гостинице: Жаку Тюверлену в конце концов надоело каждый день спускаться из своего домика на горе и потом снова тащиться в гору. Он пригласил Прекля к себе в номер. Морозной ночью они вместе отправились в гостиницу, которая была совсем рядом. Дойдя до места, Жак Тюверлен вынужден был вернуться немного назад: он забыл по дороге опустить открытку. В комнате Тюверлена они еще долго спорили, пока соседи все более решительно не стали выражать свое возмущение их криками. Оба собеседника вели полемику с редким ожесточением, но так ни до чего не договорились. Прощаясь с Тюверленом, Каспар Прекль, собиравшийся вначале выехать в Мюнхен рано утром, решил задержаться в Гармише до полудня и условился снова встретиться с писателем, чтобы продолжить разговор.

20

И ВСЕ ЖЕ — НИЧТО НЕ ГНИЛО В БАВАРСКОМ ГОСУДАРСТВЕ

Доктор Иозеф Пфистерер, писатель, мюнхенец, проживавший в ту пору в Гармише, пятидесяти четырех лет от роду, католик, автор двадцати трех внушительного размера романов, че-

тырех пьес и тридцати восьми солидных повестей, отправив Иоганне телеграмму о предстоящем прибытии на курорт кронпринца Максимилиана, надеялся, что теперь он сможет, здесь в Гармише, часто с ней видеться. Между тем он постоянно встречал ее в обществе этого циника Жака Тюверлена. Доктор Пфистерер охотно отдавал должное другим людям, но Жак Тюверлен был ему неприятен. Эмоционального баварца раздражало уже само голое, морщинистое лицо этого уроженца Западной Швейцарии. Этот тип с его привычкой вечно щуриться, одним своим присутствием отравлял ему, Пфистереру, всю радость от встреч с Иоганной. Были и другие причины, подтачивавшие его дотоле стойкий оптимизм. При ближайшем рассмотрении дело Крюгера все более настораживало. Его трудно было истолковать иначе, как умышленное нарушение законности. Пфистерер верил в свой народ, в своих баварцев, и уже одна мысль о возможной необъективности обходительного председателя земельного суда Гартля причиняла ему боль. Ну а Кленк, который возвышается над всеми, словно утес, неужели он действительно гнусный преступник, способный упрятать в тюрьму искусствоведа с большими заслугами только за то, что его, Кленка, не устраивает программа этого человека?! Уму непостижимо! И тем не менее он уже не мог думать иначе, не мог отделаться от всех этих мыслей. Он упрямо наклонял шею, точно большой курчавой головой собирался боднуть невидимого врага. Сердце у него и раньше пошаливало, теперь же его особенно часто мучила одышка. Он утратил вкус к жизни.

У него по-прежнему происходили резкие столкновения с доктором Маттеи. Этому тяжеловесному человеку в пенсне, с исполосованным рубцами, злым, бульдожьим лицом было в Гармише неуютно. Его тянуло домой на Тегернзее, к своей охоте, собакам, оленьим рогам на стенах, к своим трубкам, лесничему, медлительным, хитрым крестьянам. Но удерживала Инсарова. Одно время он изучал медицину и в своем весьма материалистическом отношении к женщинам признавал лишь грубую физиологию, по поводу любой эротической связи он отпускал сальные остроты. Хрупкая русская женщина глядела на него своими раскосыми глазами, облизывала язычком уголки рта, говорила какую-нибудь колкость, которую баварец воспринимал как жеманную, дурного пошиба остроту. И все никак не уезжал. Посмеиваясь над собой, посылал танцовщице шоколад, цветы, фрукты. Злился на весь свет. Всячески третировал Пфаундлера, устраивал ему отвратительные сцены за то, что тот недостаточно рекламирует Инсарову.

Обычно миролюбивый, Пфистерер прямо-таки искал ссоры с Маттеи. Оба всячески чернили жизнь, творчество, успехи, тело и душу соперника. В своих остротах доктор Маттеи был грубее и злее, но и Пфистерер отлично знал самое уязвимое место противника. Он рассказывал ему, будто кругом предлагают пари, что Маттеи ничего не добьется от Инсаровой. И хотя многие уже добились от нее всего, никто не соглашался принять пари. Доктор Маттеи допивал пиво и, дымя трубкой прямо в лицо своему врагу, отвечал, что, даже если Крюгера и выпустят из тюрьмы, Пфистереру все равно не попасть в постель к Иоганне Крайн. Двое пожилых, апоплексического вида мужчин сидели друг против друга, тяжело дыша и по-бычьи наклонив головы.

Пфистерера слова Маттеи ранили в самое сердце — неужели люди могут подумать, что он добивается справедливости в отношении Крюгера из желания обладать его женой! Подолгу просиживал он над своей рукописью. Обычно он писал легко, слова шли из самого сердца. Радовался, когда события в романе стремительно нарастали, изящно и тонко переплетаясь друг с другом. Но сейчас события развивались по своей собственной логике, и зло упорно не желало сдаваться. И человеческую подлость никак не удавалось сдунуть, словно пылинку. Вот и судьба белокурой крестьянской девушки Врони, которая волею обстоятельств была заброшена в город, перенесла много незаслуженных обид, но в конце концов встретила там художника, по достоинству оценившего ее большой талант, получила заслуженное признание и стала женой этого художника, никак не находила обычного, легкого, убедительного и счастливого завершения. Широкоскулое, смуглое лицо Иоганны с тремя морщинками над вздернутым выразительным носом, ее серые, гневные глаза заслоняли облик Врони. Нет, к несчастью, дело Крюгера тревожило его само по себе — женщина была тут ни при чем. Ему было бы легче, если б он сам оказался не на высоте. В этом можно было бы покаяться, и с этим он бы справился. Но не на высоте оказался не он, а его страна. Сомнения, овладевшие им, еще когда его славные баварцы устроили вдруг революцию, терзали его теперь все сильнее. В мире восторжествовала несправедливость, восторжествовала она и в его Баварии. Она не таилась и даже, как выразился кто-то, спокойно грелась на солнце. Несправедливость возвысила голос, и никто не пытался ее урезонить. Нет, он должен объявить ей войну...

Его аппетит ухудшался, а одышка усиливалась. Он ходил озабоченный, хмурый и так грубо набрасывался на свою при-

ветливую, заботливую жену, что эта пухленькая дама совершенно терялась.

Все они, снова собравшись в Гармише,— он, Маттеи, Гесрейтер — одинаково злились на Тюверлена. Их, баварцев, выводила из себя его врожденная элегантность, его легкомыслие, переменчивость, грошовая терпимость, позволявшая ему спокойно отказываться от своей точки зрения, если она не устраивала собеседника. Они называли его блохой, легковесной, скачущей блохой. Гесрейтер был уязвлен неудачей своей затеи — ведь осмотр керамической фабрики явно не дал желаемого результата. Он стал менее общительным, неразговорчивым, дулся на Иоганну за то, что она предпочитает ему Тюверлена. Она просто неблагодарная женщина. Он снова сблизился с г-жой Радольной, которая очень эффектно смотрелась на фоне гармишской зимы. Статная, раскрасневшаяся на морозе, она в своем красивом лыжном костюме тренировалась на спортивных площадках, спокойная, знающая себе цену. Вечерами на танцах в залах лучших отелей либо в «Пудренице» она неизменно была в центре внимания. На нее падали и лучи славы кронпринца, с удовольствием бывавшего в ее обществе. Наделенная большим природным умом, она, как и прежде, покровительствовала Иоганне Крайн. Обе женщины встречались каждый день. Они выгодно оттеняли друг друга: невозмутимая пышная красота медноволосой Катарины и свежая, полная внутренней энергии красота Иоганны только выигрывали от сравнения.

Доктору Пфистереру и г-же Радольной понадобилось больше недели, прежде чем они убедили кронпринца Максимилиана принять Иоганну. Вместе с Пфистерером она отправилась на виллу кронпринца, не строя, впрочем, особых иллюзий. И тем приятнее была удивлена, когда кронпринц откровенно и просто выразил ей свое сочувствие. Они сидели рядом, три баварца,— принц, женщина и писатель,— и все трое на своем родном диалекте обсуждали, как вызволить человека, близкого одному из них, из довольно-таки трудного положения. Сердце Пфистерера наполнялось счастьем, когда он смотрел на этих двух своих земляков — смелую женщину и по-княжески великодушного мужчину. И дышать становилось легче. Исчезали его тревоги. Революция была скверным временем для Баварии, но сейчас, глядя на этих людей, он начинал верить, что то время подходит к концу и все снова будет хорошо. Он чувствовал, что завтра сумеет завершить благополучным финалом все злоключения белокурой, жизнелюбивой Врони.

Возвращаясь домой, Иоганна сияла от радости не меньше,

чем Пфистерер. Ей не терпелось рассказать об этой бесспорно удачной встрече Жаку Тюверлену. Она до сих пор ни разу не говорила с ним о Мартине Крюгере, о своих планах на будущее, о прошениях, хлопотах, о беседе с министром Гейнродтом; даже о своем браке с Крюгером она не обмолвилась ни словом. Вполне вероятно, что Тюверлен ничего об этом не знал. Возможно, она молчала, потому что сама себе казалась смешной со всеми своими бесплодными попытками облегчить участь Крюгера. Не ведет ли она эту борьбу слишком по-дилетантски? Так или иначе, но говорить об этом с Тюверленом она собиралась лишь после того, как сможет сообщить ему что-либо весомое, обнадеживающее. Теперь, после беседы с кронпринцем, ее борьба за Крюгера утратила налет наивной романтики, в чем Тюверлен до этого не без оснований ее упрекал. Теперь она ощутила под ногами твердую почву. И ей даже приятно будет откровенно поговорить с этим швейцарцем об ее отношениях с Мартином.

Она даже самой себе не признавалась в том, что, возможно, и кое-что другое мешало ей до сих пор объясниться с Тюверленом. В жизни Иоганны Мартин не был первым мужчиной. Жак Тюверлен ей нравился. Когда она смотрела на его широкие плечи, узкие бедра, на его сильные, поросшие рыжеватым пушком руки, умное, насмешливое, светлевшее при виде ее лицо, единственное, что ее останавливало, была мысль о Мартине Крюгере. Во время танца, когда она ощущала прикосновения Тюверлена, в минуту встречи и расставания, когда он задерживал ее руку в своей, ее не оставляла мысль о человеке за решеткой. Она знала, что Мартину Крюгеру само понятие физической верности показалось бы несущественным, возможно, даже абсурдным, но образ человека в Одельсберге мучительно мешал ей всякий раз, когда у нее возникало желание сойтись с Тюверленом. После того как она чего-то добилась для Мартина, у нее появилось такое чувство, словно она уплатила часть долга. До сих пор, когда Иоганна бывала с Тюверленом, она казалась себе должником, без счета дающим деньги третьему лицу в то самое время, когда ее кредитор задыхается в нужде. Отныне мысль о человеке среди замурованных деревьев уже не была для нее помехой.

Возвратившись домой после беседы с кронпринцем, она отделалась от Пфистерера и постаралась не попасться на глаза тетушке Аметсридер. Сразу отправилась на поиски Жака Тюверлена. Искала его в гостинице, на тренировочной поляне. И чем дольше ей не удавалось его найти, тем больше ей хотелось до конца объясниться с Жаком насчет Крюгера. Выйдя

замуж, она совершила глупость, но то была необходимая глупость, которая давала ей большую свободу. Все это она непременно должна объяснить Тюверлену. Куда он запропастился? Его не было ни на катке, ни в маленьком кафе «Верденфельс», где он имел обыкновение читать газеты. Кто-то припомнил, что видел г-на Тюверлена с каким-то человеком на шоссе; Иоганна вышла на шоссе, встретила там знакомых и тут же без стеснения избавилась от них. Добралась до окраины курорта и в конце концов зашла в кондитерскую «Альпийская роза». Она сидела за чашкой светлого шоколада с молоком среди вьющихся гирлянд альпийских роз, на фоне отбивавших чечетку парней в зеленых шляпах и девиц в широких юбках, и ждала Жака Тюверлена.

21
ДОЛГ ПИСАТЕЛЯ

Тем временем писатель Жак Тюверлен брел по шоссе с инженером Преклем. От них до кондитерской «Альпийская роза» было теперь уже с час ходьбы. Они яростно спорили, почти не обращая внимания на красоту прославленного зимнего пейзажа, их ноги то и дело скользили на утрамбованном промерзшем снегу. Жак Тюверлен — в широких, ниже колен лыжных штанах, оставлявших открытыми икры, в прошитых тройным швом, не пропускающих воду и снег высоких ботинках, подбитых гвоздями, Прекль, наоборот,— в длинных брюках и в ботинках на резиновой подошве, не очень-то пригодных для зимы в горах. Голоса обоих мужчин — звонкий, резкий Каспара Прекля и протяжный, скрипучий Тюверлена — разносились в морозном воздухе, умолкая лишь, когда один из них поскальзывался, и тут же раздаваясь снова; очень уж они были захвачены спором!

Инженер Прекль безоговорочно требовал от Тюверлена, чтобы тот либо создавал политически-активную, оказывающую революционное воздействие литературу, либо вообще не брался за перо. Имеет ли смысл в момент величайшей перестройки всего мира фиксировать пошлые, ничтожные переживания отмирающего общества? Воспевать бездумную жизнь в санаториях и на зимних курортах в то время, как планету раздирает классовая борьба?! Если у него, Тюверлена, спросят: «А что вы делали в те годы?» — что он тогда ответит? Покажет свои заумные, пропитанные запахом вышедших из моды духов эротические пустячки, сверхмодные сейчас, но которые уже через десять лет

никому не будут понятны. И тогда выяснится, что суть эпохи он не понял. В то самое время, когда мир был объят пламенем, он наблюдал мельчайшие движения души каких-то домашних зверушек. Чтобы творчество писателя обрело долгую жизнь, он должен опережать свое время. Иначе оно очень скоро будет забыто. Писатель обязан создавать документы эпохи. Это его долг. Иначе само его существование лишено всякого смысла.

Все это инженер Каспар Прекль излагал, шагая по шоссе, ведущему на юг от Гармиш-Партенкирхена, с писателем Жаком Тюверленом в своей пропотевшей, слишком легкой для зимы кожаной куртке. Он был настроен весьма воинственно и выкрикивал свои требования прямо в лицо Жаку Тюверлену, то и дело скользя, и лишь прыжок в грязные придорожные сугробы спасал его от встречных либо обгонявших их саней.

Тюверлен внимательно слушал собеседника, дал ему выговориться и даже не воспользовался для возражений двумя короткими паузами. И лишь затем осторожно заговорил сам. Итак, по мнению г-на Прекля, долг писателя заключается в создании документов, отражающих эпоху, фиксирующих наиболее важные события, все, что влияет на ход истории. Но какими критериями руководствуется его собеседник? Что касается его лично, то он не так самоуверен, чтобы считать непреложной свою точку зрения на факторы, определяющие ход истории. Разумеется, взгляды Прекля кажутся ему еще менее непреложными. Неужели он, Прекль, столь одержим своими теориями и даже не допускает, что кто-нибудь другой может мыслить иными категориями при определении движущих сил истории?! Например, ему, Тюверлену, столкновение древней азиатской культуры с более молодой, варварской культурой Европы, и в немалой мере обусловленная большей простотой передвижения новая миграция народов со всеми сопутствующими ей явлениями, представляются куда более существенными, чем социальное расслоение в Европе. Он убедительно рекомендует своему оппоненту как-нибудь на досуге взглянуть на нынешнее десятилетие не с точки зрения столь милого его сердцу экономического преобразования Европы, а с точки зрения переселения народов и смешения культур. Он убедительно рекомендует ему и в своей работе придерживаться этой, и только этой, точки зрения.

Все это он высказал своим скрипучим, довольно забавным голосом, но достаточно твердо. И еще он хотел бы добавить вот что. Точно так же, как Прекль наверняка отвергнет его совет, он безоговорочно отвергает за кем бы то ни было пра-

во навязывать ему позицию, которая определяла бы его, Тюверлена, видение мира. Он никому не навязывает своих взглядов, они обязательны только для него самого. Но для него они обязательны. Было бы весьма самонадеянно оспаривать его право иметь собственные взгляды. Он лично не столь самонадеян, чтобы объявлять свои представления о судьбах эпохи обязательными также и для других. Подобные притязания он оставляет сильным мира сего, политикам, священникам, глупцам.

Собственно, эти соображения он и хотел высказать Преклю, но не успел. Они уже дошли почти до самой окраины курорта. Дорога тут была узкая, и когда на них внезапно, звеня колокольцами, чуть было не наехали сани, Тюверлен едва успел отскочить в сторону, а Каспар Прекль на противоположной стороне дороги чудом сумел втиснуться во входную дверь какого-то дома. Когда они снова оказались рядом, Прекль уже не в силах был сдержать свое раздражение, не мог больше слушать весь этот вздор, он должен был тут же опровергнуть эту беспардонную галиматью. Он язвительно заметил, что едва ли добьется чего-либо, если последует дружескому совету Тюверлена придерживаться в своей работе релятивистски-эстетских воззрений. Потому что он, с позволения своего собеседника, проектирует автомобили. И черта с два ему поможет, если он в своей работе будет исходить из столкновения китайской и англосаксонской культур. Кстати, его зовут Прекль, Каспар Прекль, и до недавнего времени он работал на «Баварских автомобильных заводах». «А меня зовут Тюверлен, Жак Тюверлен»,— фальцетом сказал его собеседник. «Вот как!» — примирительно и даже дружелюбно произнес Прекль, которому это имя было знакомо. Никто не требует, без всякого перехода резко продолжал он, чтобы он, Прекль, или г-н Тюверлен заняли четкую позицию в вопросе об отношениях Азии и Европы. Ни он, ни Тюверлен при занимаемом ими положении не могут тут что-либо изменить или чему-либо воспрепятствовать. Зато другая, экономическая концепция плодотворна для них обоих. К примеру он, Прекль, исходя из этого, создал конструкцию автомобиля, доступного маленькому человеку. Он полагает, что и Тюверлен, если он будет исходить из марксистских концепций, станет работать свободнее, легче, рациональнее. Столкновение Европы и Азии — тема для эстетской беседы во время чаепития. Между тем другая борьба, экономическая, актуальна для каждого, она — реальность, настигающая вас в любом месте и в любой час. Окружающие вас люди расколоты на два противоборствующих лагеря. Идет гражданская война. Эта гражданская война — естествен-

ная для писателя тема, и нечего трусливо закрывать глаза на этот факт. Он, Прекль, не может глубокомысленно созерцать китайский фарфор, когда вокруг строчат пулеметы... «Родос здесь, здесь и прыгайте!» — требовал он. И в то время, как встречный возница, поглядев на него, покачал головой и проворчал «Ну и осел, ну и болван»,— он пронзительным голосом все повторял: «Родос здесь, здесь и прыгайте!»

Тюверлен мог бы ему кое-что возразить: скажем, что он по натуре своей человек отнюдь не воинственный, свойство, роднящее его с примерно четырьмястами миллионами азиатов, что, в сущности, экономическими проблемами он интересуется меньше, чем проблемой, выспренно именуемой «идеологическая надстройка», и что он вовсе не собирается здесь прыгать. Но тут он заметил, что Каспар Прекль вообще его не слушает. Внезапно худое лицо инженера исказилось от бешенства, и он с ненавистью уставился на встречные сани, в которых сидел грузный, расплывшийся господин в меховой шубе. Он вежливо кивнул инженеру своею крупной головой, надежно защищенной от холода меховой шапкой. Прекль, не ответив на полупоклон, продолжал неотрывно, с тем же выражением ненависти на лице, смотреть на грузного господина с иссиня-черными усами. А когда сани проехали мимо, мрачно объявил Тюверлену, что ему пора возвращаться. В такую отвратную погоду даже днем нелегко добраться до Мюнхена, так что ему самое время ехать.

На обратном пути в гостиницу Прекль то и дело отпускал злые, грубые замечания по адресу попадавшихся им навстречу элегантных женщин в модных спортивных костюмах.

«Прелестный край, порочная долина»,— с мрачным цинизмом произнес он, и Тюверлен так и не понял, строки ли это из великолепно изданных сонетов Шекспира, которые Прекль накануне, как ни странно, держал в руках, или же слова эти принадлежали одному из его любимых лирических поэтов.

Каспар Прекль вывел из гаража машину. Она и сама по себе была какого-то неприятного цвета, да еще вся заляпана грязью, так как Прекль не догадался сказать, чтобы ее помыли. Он поднялся к себе в номер, взял вещи: завернутые в газету расческу, губку, зубную щетку. А также роскошное издание сонетов Шекспира. Жак Тюверлен ожидал, что молодой инженер, очень его заинтересовавший, заговорит о новой встрече в Мюнхене. Но Каспар Прекль угрюмо молчал, думая о чем-то своем. Заводя мотор, он задавал себе вопрос, какого дьявола его понесло в Гармиш. С его проектом серийной машины ничего не вышло. И даже с Иоганной он не сумел поговорить. Он просто кре-

тин, что не взял те сто фунтов. Анни имеет полное право его отругать. Выходит, он приезжал в Гармиш только для того, чтобы спеть г-ну фон Рейндлю свои баллады. А домой привезет лишь увольнение и сонеты Шекспира.

Прошло довольно много времени, прежде чем удалось на таком морозе завести мотор. Жак Тюверлен, непринужденный, элегантный, в широких ниже колен штанах, стоял у машины и со знанием дела давал технические советы — ему самому часто случалось ездить по зимним дорогам.

Наконец мотор завелся. Трогаясь с места, Каспар Прекль вдруг заметил резким наставительным тоном, что, между прочим, учение Будды — не что иное, как примитивный, научно еще недостаточно обоснованный марксизм.

Возбужденный спором Тюверлен той же дорогой возвращался назад, полный живительных мыслей. Проходя мимо кондитерской «Альпийская роза», он увидел сидевшую за столиком Иоганну Крайн. Обрадовался, что с ней, вдумчивой собеседницей, сможет продолжить неоконченный разговор с Преклем. Вошел в кондитерскую. Своей небрежной, развинченной походкой подошел к рослой, цветущей женщине в сером костюме, которая сидела распахнув меховую куртку и листала иллюстрированный журнал.

Иоганна сидела так уже больше часа под сенью вьющихся альпийских роз, среди лакомившихся сбитыми сливками обывателей. Молочный шоколад, который она пила редкими глотками, был невкусен. И все-таки на дне чашки уже проступил излюбленный узор фабрики «Южногерманская керамика Людвиг Гесрейтер и сын» — горечавка и эдельвейс. Она ждала Тюверлена, бездумно рассматривая переплетение линий привычного рисунка, вновь и вновь перелистывая скучные иллюстрированные журналы. Ее переполняла радость от своего успеха у кронпринца, и едва Тюверлен подошел, она, захлебываясь, начала рассказывать. Он слушал ее не слишком внимательно, поддакивал, изредка отпуская добродушно-пренебрежительные реплики по адресу кронпринца: его переполняли впечатления от спора с Каспаром Преклем. Когда он увидел Иоганну, красивую, рослую, цветущую, ему очень уж захотелось поделиться своими противоречивыми мыслями и чувствами, которые вызвал у него напористый молодой инженер.

— Попробуйте понять этого парня! — воскликнул он.— Задора у него во сто крат больше, чем у всех окружающих, вместе взятых, и, вот, надо же, при всем своем остром, живом уме упрся в одну точку! Потребуй от него медик или, скажем, юрист,

чтобы он смотрел на мир исключительно с медицинской либо юридической точки зрения, он наверняка влепил бы этому типу пощечину. А когда этого требует экономист, он соглашается. Не хочет понять, что подлинное мировоззрение начинается там, где кончается классовая зависимость. Разве не испытываешь изумительное чувство свободы, взирая со стороны на пленников всех этих модных классовых теорий? Между тем этот парень, вовсе не нуждаясь ни в каких рамках, добровольно в них себя заключает.

У Иоганны комок подступил к горлу.

— Вмешательство кронпринца всего лишь вопрос времени,— сказала она.— У меня по делу Крюгера было не меньше двух десятков так называемых важных бесед, а на поверку вышла одна болтовня. Теперь я наконец-то почувствовала почву под ногами. Вы понимаете, Тюверлен, как это для меня важно?

— Знаете,— сказал Тюверлен, так сильно покачивая бокал с вермутом, что в нем зазвенели льдинки,— я еще понимаю, когда человек бездарен. Но я безошибочно чувствую, что молокосос талантлив. Угораздило же этого глупца забить себе голову всеми этими удобными, расхожими теориями. Я, разумеется, не отношусь к числу людей впечатлительных, но, признаюсь вам, Иоганна, разговор меня задел за живое. Он, видите ли, не желает сидеть на подпиленном суку буржуазного общества. А с меня, сказал я этому Преклю, вполне достаточно, если какая-нибудь идея, человек или событие обостряют мое восприятие жизни, тогда я могу передать его другим. Но он считает все это буржуазной ленью. Он-де не может так легко решать подобные вопросы. Сначала должен убедиться, выдержит ли почва тяжесть будущего. Самоуверенный мальчишка!

Иоганна страшно обрадовалась Тюверлену, она ждала его больше часу. Собственно, с первого дня приезда в Гармиш она искала случая, чтобы поговорить с Жаком Тюверленом о Крюгере, о своем поступке, который был вызван — этого она и сама толком не понимала — упрямством или мужеством, глупостью или порядочностью. Неужели он ничего не замечает? Ведь он смотрит на нее. Говорит, глядя ей прямо в лицо. Неужели не замечает, что она предлагает ему себя? Что пожелай он этого, и она бросилась бы ему на шею? Неужели он так глуп, что ничего не видит!

Да, он так глуп, потому что он писатель. Все возражения, которые он не сумел высказать Преклю,— потому ли, что они не пришли ему тогда на ум, потому ли, что в тот момент не су-

мел их хорошенько сформулировать, или потому, что второстепенное заслоняло тогда более важное, но только все эти возражения он теперь четко, в резкой форме излагал молчаливой, обиженной, ушедшей в себя Иоганне. Он находил все более удачные обороты, оживился и заметно повеселел, потом стал рассказывать о своих планах — вскоре он опубликует книгу «Маркс и Дизраэли», острую, вероятно, очень спорную. Он нарисовал образы этих двух людей, живших в одно и то же время, в одном и том же городе, переживших одни и те же события. Эти происходившие вокруг них исторические события он изобразил с предельной объективностью, а затем показал, как по-разному они воспринимались этими людьми. А еще он работает над черновым вариантом радиопьесы «Страшный суд». Некое довольно странное судилище расследует случаи из жизни так называемых «великих мира сего». Пьеса начинается спором между людьми одной и той же эпохи, но они в силу только им присущих свойств характера настолько разнятся по возрасту, что один мог бы быть старше другого на тридцать тысяч лет. Никто не чувствует за собой вины, все уверены в собственной правоте, каждый по-своему прав, а затем выясняется, что перед «Страшным судом» правота каждого представляется весьма сомнительной.

Тюверлен рассказывал о своей радиопьесе образно и живо, без обычной сдержанности и скепсиса, позволяя себе резкие выпады против инженера Прекля, которого, впрочем, назвал единственной личностью «с человеческим лицом» из всех, кого он встретил на этом зимнем курорте. Но его собеседница оставалась очень мрачной. Сейчас Иоганну не интересовала его работа, рассказ о которой в другое время она слушала бы с огромным интересом. Она смотрела на волосатые руки Тюверлена и находила их отвратительными, смотрела на оживленное, все в мелких морщинках лицо и находила его похожим на маску клоуна.

Она пыталась понять его. Этот человек умеет провести четкую грань между своим творчеством — делом — и своим отношением к женщине, он способен, пока работа целиком захватывает его, отстранить от себя женщину. Это так, и она это понимала. Понимала, но ничего не могла с собой поделать — она невольно закусила верхнюю губу, а ее серые глаза наполнились гневом. Как плохо, что она совершенно не умеет притворяться!

Она злилась на этого человека, не проявлявшего ни малейшего интереса к ней и к ее успеху. Злилась на себя за то, что участие именно этого человека было для нее важнее всего. И од-

новременно злилась на себя и на него за то, что оба сидят рядом, но каждый занят только собой.

Вдруг она увидела вошедших в «Альпийскую розу» Гесрейтера и Пфаундлера. Раздраженно и холодно, как-то по-глупому прервала Тюверлена: «Простите, но я мало смыслю в таких вещах»,— встала и направилась к Гесрейтеру. Тот от Пфистерера уже знал об успехе Иоганны у принца, искал ее по всему курорту и теперь весьма церемонно поздравил с удачей. Он был чрезвычайно горд, что она оставила Тюверлена одного, и окружил ее вниманием, поклонением и теплом — всем тем, в чем отказал ей Тюверлен. И она забыла о керамической фабрике с ее гномами и мухоморами и уже не ощущала кисловатый запах, исходивший от Гесрейтера.

Тюверлен, когда Иоганна так внезапно покинула его, сначала очень удивился. Ах да, она ведь рассказывала ему о своем визите к этому сиятельному болвану, а он, видно, слушал ее не слишком внимательно. Пожалуй, следовало проявить больше интереса к ее делам. На нее приятно смотреть, она нравилась ему. все в ней нравилось ему, даже ее негодование, хотя оно, конечно, неуместно. Но разве она уже однажды не оставила его одного? Он улыбнулся и сразу же забыл о ней. Он был разгорячен спором и сейчас не чувствовал себя покинутым — с ним были его планы.

Господин Пфаундлер заметил ушедшего в свои мысли Тюверлена. Пфаундлер давно уже подумывал, не поставить ли в Мюнхене грандиозное ревю — в стиле тех, что были популярны в эти годы. С деловой точки зрения затея была сущей бессмыслицей — Мюнхен не был мировым центром, он вообще не был крупным городом. Но с другой стороны — старинные художественные традиции, общепризнанный художественный вкус его земляков. Как было бы здорово эстрадному обозрению, уже завоевавшему мировую сцену, придать именно здесь, в Мюнхене, благородные черты. Эта мечта согревала его сердце. Он изрядно заработал на растущей инфляции и уже несколько месяцев колебался, вложить ли ему деньги в такое «облагороженное» ревю или в фильм о страстях господних. Сейчас, увидев Тюверлена, он окончательно решился. У него был безошибочный нюх. Он с первого взгляда определил — Тюверлен как раз тот человек, что ему нужен. Этот космополитствующий безалаберный господин словно создан для того, чтобы написать ревю: он рассудочен и в то же время не лишен воображения. Г-н Пфаундлер подошел к нему, попросил разрешения сесть за его столик, заказал и для себя рюмку вермута. Заговорил с начинен-

ным всякими литературными планами Тюверленом о предполагаемом обозрении, и Тюверлен, обуреваемый мучительными и радостными творческими замыслами, заинтересовался. Он давно уже вынашивал идею обозрения, а у этого Пфаундлера предприимчивости хоть отбавляй. Он спросил у Пфаундлера, может ли обозрение иметь политическую окраску. Пфаундлер ответил, что может, но, разумеется, в меру, лишь в самых общих чертах. Улыбнувшись, Тюверлен набросал план обозрения по мотивам пьес Аристофана — разговор с Преклем не прошел для него бесследно. Главную роль он предложил поручить мюнхенскому комику Бальтазару Гирлю. Г-н Пфаундлер с радостью согласился; он, Бальтазар Гирль и башковитый Тюверлен, все вместе они «сварганят» чертовски любопытное ревю. Таким ревю можно и берлинцев за пояс заткнуть! Тюверлен сказал, что его привлекает тема «Касперль и классовая борьба». Такая идея не очень-то вдохновляла Пфаундлера — он предпочел бы нечто вроде «Выше некуда», что относилось бы прежде всего к женским юбкам. Но он был человек опытный и знал, что художник требует к себе бережного отношения. Поэтому он предложил оставить оба названия — «Касперль и классовая борьба», или «Выше некуда», рассчитывая, что при своем упорстве и настойчивости сумеет потихоньку избавиться от мотива «Касперль и классовая борьба». Он заказал вторую, а затем и третью рюмку вермута, но не для себя, а уже для Тюверлена. Он всячески старался замесить Тюверлена на дрожжах своих желаний. Тюверлен видел его насквозь и примирительно замешивал в свое тесто и желания Пфаундлера. Он покинул кондитерскую «Альпийская роза» в обществе Пфаундлера, готовый написать ревю.

Иоганна, к радости Гесрейтера, необычно сердечно и откровенно беседовавшая с ним, поглядела вслед обоим мужчинам и вновь замкнулась в молчании.

22

ШОФЕР РАТЦЕНБЕРГЕР В ЧИСТИЛИЩЕ

В те зимние дни, когда курс доллара на берлинской бирже поднялся со 186,75 до 220 марок, все шире стали распространяться слухи, будто шофер Ратценбергер перед смертью признался, что дал на процессе Крюгера ложные показания. Дело в том, что умерший шофер, хотя над его могилой вот-вот должны были воздвигнуть роскошный памятник, никак не находил успокоения. Бедняга все чаще являлся во сне своей вдове Крес-

ценции. Кресценция Ратценбергер была родом из деревни, и ей частенько приходилось слушать красноречивые проповеди о чистилище, а также видеть картинки, на которых красочно были изображены грешники, корчившиеся в адском пламени. Но не с опаленными волосами, ресницами и усами, не с шипящим жиром и волдырями на розовой коже, как это изображалось на картинках, являлся ей Франц Ксавер. Он представал перед ней в куда более зловещем виде — целый и невредимый посреди адского пламени, но невыразимо жалкий, всегда с простертыми к ней руками, словно из розоватого воска. Тихим, неестественно-стеклянным голосом он скулил и плакался, что дал тогда на суде ложную клятву и теперь ему до тех пор гореть в огне и серном пламени, пока кто-нибудь не разоблачит его лживые показания.

Вдова Кресценция лежала в холодном поту, и сердце ее сжималось от тоски. С кем могла она поделиться своим горем? Ее четырнадцатилетняя дочь Кати была тихой, безобидной девочкой. Она часто смеялась и таяла от счастья, когда ее водили к реке, могла часами с доброй, бессмысленной улыбкой смотреть на зеленый Изар, в который однажды с криком «Адью, чудный край» прыгнул ее отец. Но она была тронутая, блаженная и была неспособна душой и сердцем понять терзания Кресценции Ратценбергер. Сын Людвиг также был глух к страданиям матери. Он стал теперь важной персоной. Фюрер «истинных германцев» Руперт Кутцнер, которому партия, с каждым днем пополнявшая свою казну, предоставила в полное распоряжение машину, взял красивого, стройного юношу к себе в шоферы. И вот, в ожидании Руперта Кутцнера, этот мальчишка красовался за рулем серой машины, которую уже знал весь город. Отблеск славы великого наставника падал и на него, Людвига. Он сидел неподвижно под взглядами толпы, преисполненный сознания величия фюрера и своего собственного. Хотя сын еще жил вместе с матерью, но когда она робко заговоривала с ним о своих душевных муках, он, уверенный в особой миссии и геройском мученичестве отца, грубо обрывал ее. Происки врагов, вопил он, подлая клевета евреев и иезуитов задурили ей голову. Ее видения он, не долго думая, назвал несусветной чушью. Священник говорил ей примерно то же самое, но, как человек вежливый и образованный, вместо простонародного «чушь» употреблял ученое слово «галлюцинации». Он называл кощунственной саму мысль, будто ей могут являться видения, и спросил ее, уж не считает ли она себя умней его, а под конец повелительным тоном велел отслужить мессу, это, мол, облегчит ее страдания.

Но духовный отец ошибся. Мессы не облегчили ее страданий. Шофер Ратценбергер не находил в чистилище успокоения. Он все чаще являлся вдове — страшный, в языках пламени, но невредимый, словно розовая восковая кукла, и неестественным, стеклянным голосом повторял одно и то же, да еще обзывал свою вдову дурой и, как нередко бывало при жизни, со злостью ударял ее кулаком по заду.

А слухи, что шофер признался в лжесвидетельстве, все ширились. В ресторанчике «Гайсгартен» часто бывал некий Зёльхмайер, неулыбчивый ученик наборщика из типографии Гшвендтнера. Управляющий типографией невзлюбил его, всячески придирался к нему и как мог изводил. Зёльхмайер перенес свою нелюбовь к управляющему на газету Кутцнера, которую набирал. Относился к пей все более критически, и когда его в конце концов выгнали из типографии, он перебрался в «Хундскугель», где по-прежнему собиралась «Красная семерка». Точнее, «Красная семерка» возродилась, но теперь уже под другим названием. Она крепла и процветала. Кругом царили инфляция, нужда, вот почему, несмотря на кровавые расправы после уничтожения Баварской советской республики и несмотря на все правительственные меры, ряды коммунистов непрерывно пополнялись. Самым уважаемым человеком в «Красной семерке» был электромонтер Бенно Лехнер с «Баварских автомобильных заводов», хотя в партии он никакого официального поста не занимал. Молодой, красивый, с открытым загорелым лицом и щегольскими усиками, он никогда не повышал голоса, не грозил зря, как другие. Ему совсем недавно исполнилось двадцать лет, он был типичным верхнебаварцем и, однако, всегда оставался спокойным, рассудительным, серьезным. Недавняя гнусная история с игрой на рояле в «Красной семерке» и пребывание в каторжной тюрьме, куда Лехнера упек чрезвычайный суд, не превратили его в злобного брюзгу. В тюрьме у него было время поразмыслить над несправедливостью, царящей в мире, он прочитал немало книг, стал серьезным, вдумчивым. Если он угодил в тюрьму лишь за одно желание научиться играть на рояле, то виноваты в этом не отдельные люди, а прежде всего социальный строй. И тут бесполезно шуметь, стучать по столу кулаком. Он редко высказывал свое мнение в «Хундскугеле», но если уж начинал говорить, то все прислушивались к его словам. Многие считали, что если мюнхенским коммунистам и удавалось организовать что-либо путное, то это благодаря молодому Бенно Лехнеру.

К нему с собачьей преданностью привязался ученик наборщика Зёльхмайер. Он-то и рассказал Лехнеру про разговоры в

ресторанчике «Гайсгартен» о ложной присяге шофера Ратценбергера. Бенно Лехнер весь обратился в слух. Он дружил с Каспаром Преклем, знал, что такое тюрьма, и был рад возможности помочь Мартину Крюгеру, другу Прекля. Вместе с товарищем Зёльхмайером он немедля отправился к вдове Кресценции Ратценбергер.

Вдова Кресценция, раз уж сам усопший Франц Ксавер послал к ней двух этих людей, дабы они прямо сказали ей, что его тогдашние показания были ложными, облегченно вздохнула. Испытывая священный трепет перед лицом этого нового знамения, она вновь обрела силы, чтобы сбросить с себя тяжкое бремя. Бенно Лехнеру не пришлось долго объяснять вдове, что по вине шофера Ратценбергера в тюрьме томится невинный человек и что ее долг помочь живому, восстановив истину. Вдова Кресценция разрыдалась и сказала, что да, господа сказали сущую правду — покойный Франц Ксавер и ей самой не раз говорил, что дал на суде ложную присягу. К несчастью, в эту минуту, прежде чем они успели получить от вдовы Кресценции письменное подтверждение, нагрянул молодой Людвиг Ратценбергер. Он поднял шум и полез в драку, в которой откусил Зёльхмайеру мочку уха.

А слухи о признании покойного шофера Ратценбергера все ширились. После того, как вдова Кресценция подтвердила их достоверность Зёльхмайеру и Лехнеру, они стали известны и Каспару Преклю. Отвезя Зёльхмайера в больницу на левом берегу реки Изар, Бенно Лехнер сразу же поспешил к своему другу Каспару Преклю. Затем они уже вместе сообщили эту новость доктору Гейеру. Доктор Гейер отнесся к новости скептически. Часто моргая, он неприятным, срывающимся голосом принялся растолковывать им, что добиться пересмотра дела вообще весьма сложно, а в данном случае — невозможно. Согласно параграфу 367 уголовного кодекса рассматривать ходатайство о пересмотре дела может лишь тот суд, решение которого этим ходатайством оспаривается. Стало быть, в данном случае — тот самый баварский суд, который вынес Крюгеру обвинительный приговор. Необходимо доказать, что свидетель Ратценбергер, подтвердив под присягой свои показания на суде, преднамеренно либо по недомыслию нарушил закон о присяге. Но обычно суды лишь в том случае признают факт дачи ложных показаний, если бывает осужден сам лжесвидетель. К сожалению, свидетель Ратценбергер отправился на тот свет, не дождавшись своего осуждения. Неужели Прекль и Лехнер думают, что председатель земельного суда Гартль сочтет все, что они

ему сообщат, даже если им и удастся подкрепить это письменным заявлением вдовы Ратценбергер, достаточно законным основанием для пересмотра дела? В любом случае пройдет некоторое время, прежде чем они сумеют собрать материал, позволяющий вполне убедительно с юридической точки зрения обосновать соответствующее ходатайство. Он, Гейер, предоставляет Каспару Преклю самому решить вопрос, следует ли уже сейчас поставить обо всем в известность Мартина и Иоганну Крюгер.

После драки с коммунистами Людвиг Ратценбергер окончательно ушел от матери. Вдова Кресценция осталась одна со своей блаженной дочкой, однако ее утешало, что теперь покойный супруг хоть и по-прежнему являлся, объятый пламенем, но уже не скулил и не хныкал, а даже слегка улыбался. Она еще не решалась письменно подтвердить свои слова, но и не отказывала наотрез, все обнадеживала, обещая сделать это когда-нибудь потом.

А слухи о признании покойного шофера Ратценбергера все ширились. Каспар Прекль отправился в Одельсберг.

За это время отношение старшего советника Фертча к заключенному Крюгеру и соответственно обращение с ним несколько раз менялись. Без какой-либо видимой причины Крюгеру то делали поблажки, то столь же неожиданно их лишали. А объяснялись эти изменения зигзагами политического курса. По ряду соображений правящая клерикальная партия считала допустимым союз с националистическими партиями, особенно она заигрывала (и прежде всего министр Флаухер) с крайне шовинистической партией некогда монтера, а ныне политического писателя Руперта Кутцнера, фюрера «истинных германцев». Но поскольку руководители этой партии, в большинстве своем люди очень молодые и совершенно беспардонные, норовили откусить всю руку, едва им протягивали палец, то многие, и особенно министр Кленк, считали, что время от времени их не мешает ставить на место. Начальник тюрьмы, старший советник Фертч напряженно ловил малейшее дуновение ветерка, долетавшего из кабинета министров, и любая перемена немедленно отражалась на судьбе Мартина Крюгера. Малейшее изменение в ориентации кабинета тотчас влияло на качество еды, часы сна, право на свидания, на длительность прогулок и возможность писать.

Некоторое время Мартин Крюгер находился в одной камере с Леонгардом Ренкмайером, но затем его вдруг снова перевели в одиночку. Эта была все та же, очень хорошо ему знакомая

камера: белая параша, брошюрка-инструкция по борьбе с туберкулезом, коричневое пятно в подклеенном «Дополнении к прогрессивной шкале наказаний». И в самом низу стены, возле плинтуса, заключенный, сидевший в этой камере, пока Крюгер сидел в другой, нацарапал едва заметный крохотный похабный рисунок, а в противоположном углу — строку из молитвы.

Мартин Крюгер внимательно, ибо времени у него было хоть отбавляй, разглядывал распятие, фабричную подделку в стиле средневековых изображений распятого Христа, датируемых пятнадцатым веком. Он мысленно сравнил его с «Распятием» Грейдерера и улыбнулся. Хорошо еще, что здесь висит фабричная подделка, а не картина Грейдерера. Посидев на табурете, он с полчаса шагал по камере взад и вперед. Ему, то ли в наказание, то ли в виде поблажки, не дали никакой работы. Мысли его текли неторопливо, размеренно, безмятежно, умиротворенно.

Когда же ему вернули его рукописи, он от счастья был на седьмом небе. Репродукция картины «Иосиф и его братья» уже была не нужна, он восстановил ее в памяти до мельчайших подробностей. Вот только лицо одного из братьев оставалось туманным, хоть и запомнилось добродушным, застенчивым и вместе с тем упрямым. Хотелось бы взглянуть на картину, а еще больше — на самого художника, но он и так был вполне удовлетворен и отнюдь не жаждал ночных телефонных звонков. Он знал: если кто и способен разузнать что-либо о художнике, так это Каспар Прекль. Для него, Мартина Крюгера, эта картина давно уже стала неизмеримо большим, чем только произведение искусства. Душевный покой, примиренность со своей судьбой он обрел под сильнейшим впечатлением от этой картины.

Чудесно, когда есть возможность писать так, как он пишет сейчас. Никто не ждет его рукописи, никому нет дела до того, что он пишет. Это важно лишь для него самого. Часто ему за целый день удавалось написать всего одну фразу. Хорошо, когда у тебя много времени. Пишешь только то, что является твоим убеждением, мыслью, подлинной жизнью. Гонишь от себя случайные соображения, неспособные преодолеть барьер, отделяющий их от глубоких мыслей. Коротко остриженный человек в серо-коричневой тюремной одежде сидел на табурете, окруженный тишиной, картинами, образами, мыслями. Или тяжело ступал по снегу, меж шести деревьев. Видел бездушное, вечно что-то выслеживающее лицо начальника. Слушал болтовню говорливого Ренкмайера. Ел. Писал.

О, эти беззвучно-тихие часы в камере, когда нет ничего, кроме покоя, часы, наполненные зарождающимися мыслями, ко-

торые не надо торопить, а можно дать им вызреть, без спешки, в обманчивом покое, столь благоприятном для созерцания и творчества. Так он сидел, не напрягая ни мускулы, ни мозг, безмятежный, готовый ко всему.

И вот эту умиротворенность взорвал Каспар Прекль, ибо то, что инженер, без конца прерываемый надзирателем и потому вынужденный говорить намеками, рассказал ему о признании шофера Ратценбергера, вновь настежь распахнуло перед ним двери камеры, снова вернуло человека в серо-коричневой арестантской одежде в те времена, когда он еще занимался изучением творчества Алонсо Кано из Кадиса, тонкого художника-портретиста семнадцатого века. Эта новость буквально потрясла Мартина. До сих пор на все рассказы Гейера, Прекля, Иоганны об их попытках добиться его освобождения он отвечал доброй, отрешенной улыбкой. Эти разговоры совершенно его не трогали. Но последняя новость вдруг разорвала толстый слой ваты, которым он себя окутал. Внезапно перед ним предстала прежняя жизнь — путешествия, картины, море, солнце, женщины, успех, танцевальные залы, памятники архитектуры, театр, книги. Инженера Каспара Прекля, который явно переоценил внешнюю отрешенность Крюгера и считал, что теперь тот сумеет избавиться от своего сибаритствующего отношения к работе и к жизни и встанет на его, Прекля, позиции — твердые, бескомпромиссные, и в конце концов отыщет путь к истине, испугало глубочайшее смятение, охватившее Мартина.. Нет, Крюгер остался тем же. Иначе столь незначительный шанс на освобождение не мог бы так сильно его взволновать. И Каспар Прекль, которому и без того мешал надзиратель, перевел разговор на другое, рассказал, каких трудов ему стоило разыскать картину художника Ландхольцера «Иосиф и его братья». Кстати, истинная фамилия художника вовсе не Ландхольцер, он лишь выступал под чужим именем. На самом деле его зовут Фриц Ойген Бренделъ, он инженер. Теперь ему удалось напасть на след этого Бренделя, и он его в конце концов непременно разыщет.

В другое время эта новость вызвала бы у Мартина Крюгера живейший интерес, но в тот день она оставила его равнодушным. Им овладело глубочайшее смятение, и Прекль пожалел, что рассказал ему о признании шофера Ратценбергера. От умиротворенности последних безмятежных недель не осталось и следа. Крюгер не в состоянии был усидеть на месте, рукопись уже не интересовала его. Он беспрерывно мерил шагами камеру, то снимая, то вновь надевая серо-коричневую тюремную куртку.

Он думал об Иоганне Крайн, и его бесило, что она развлекается в Гармише в то самое время, когда он торчит здесь. Еда снова казалась ему отвратительной, а от привкуса соды, которую туда добавляли, чтобы ослабить плотские желания заключенных, его поташнивало. Его захлестнула тоска по Иоганне, он видел ее перед собой обнаженной, ощущал прикосновение ее крепких, грубоватых, по-детски маленьких ладоней. Он кусал себе руки, испытывая отвращение к своему телу, к тому, что он так опустился, к исходившему от него запаху. Его лицо на какой-то миг приобрело было прежнее надменное выражение, но тут же странным образом стало похоже на жалкую маску беспомощного старика. Он начал писать Иоганне письмо — смесь сладострастия, горечи, нежности, оскорблений. Он сидел на полу, грыз ногти, проклинал и шофера Ратценбергера, и инженера Прекля. То был самый черный день за все время его заключения. Он порвал письмо к Иоганне Крайн — недреманное око начальника тюрьмы никогда его не пропустит! Стал подсчитывать, сколько ему еще придется пробыть в этих стенах. Оставалось еще много месяцев, очень много недель, бесконечно много дней. В ту ночь он не сомкнул глаз. Сочинял письмо к Иоганне.

На другой день он много часов подряд бился над несколькими фразами письма, стараясь составить их так, чтобы они миновали тюремную цензуру. Читая это необычное письмо, старший советник Фертч получил огромное удовольствие, его кроличья мордочка все время дергалась. Он перечитал письмо несколько раз, выучил наизусть отдельные обороты, чтобы потом поразить ими самых уважаемых граждан соседнего поселка, с которыми он встречался два раза в неделю. Затем пометил на письме: «Отправлять не дозволено»,— и приложил его к делу.

23
«НОЧНЫЕ БРОДЯГИ»

Господин Пфаундлер, как он ни мечтал сделать свою «Пудреницу» экстравагантным увеселительным заведением, привлекающим и свою и заграничную публику, все же считал необходимым в какие-то дни придавать ей истинно баварский колорит. Подобно тому как только в Мюнхене умели делать настоящее пиво, что зависело во многом и от свойства воздуха и воды, так только в Мюнхене умели устраивать празднества без суеты и манерничанья, создавать настроение, веселиться до упаду, что объяснялось особенностями характера мюнхенцев. Г-н Пфаун-

длер часто устраивал безыскусные, грубовато-простодушные, истинно мюнхенские костюмированные балы. Эти маскарады всякий раз проходили под новым девизом, впрочем, совершенно не обязательным, так что никто не чувствовал себя связанным и каждый имел полную свободу выбора.

Идея этих скромных балов имела успех. Иностранцы с восторгом принимали в них участие. К оформлению этих празднеств Пфаундлер привлекал художника Грейдерера и автора серии «Бой быков», решавших свою задачу старательно и со вкусом. Тут г-н Пфаундлер не скупился: эти празднества были его любимым детищем. Он специально выписывал из Мюнхена всевозможных безвестных художников, ремесленников-умельцев, всяких «поросят», молодых людей, умевших веселиться от всей души, не переходя границ дозволенного. Он за свой счет привозил их в Гармиш и оплачивал их пребывание там.

В этот раз девиз гласил: «Ночные бродяги». Удачный девиз. Кто только не бродит по ночам! Тот, кто не хотел особенно ломать себе голову над костюмом, мог прийти просто в пижаме, благо в те годы было очень модно появляться на маскарадах в таком виде.

Бог ты мой, во что только господа художники превратили «Пудреницу»! Куда девался восемнадцатый век, изысканная кафельная облицовка, вся эта светская утонченность. Сегодня здесь, под небесным сводом, искусно расписанным звездами и подсвеченным зелеными и красными фонарями, раскинулась астрологическая лаборатория, танцевальная площадка для ведьм, внушавшая трепет и страх своими буйными чертями, в просторечии называемыми «бесенятами», и наивно-бесстыдными, соблазнительными ведьмами, и чистилище, где желтые и красные бумажные змеи изображали грозное пламя. Было тут и подземное царство с рекой Стикс и мерно покачивающимся на волнах челном. (Переправа для местных жителей — двадцать марок, для иностранцев — десять центов.) Боковая гостиная превратилась в лунную страну с ее величественно пустынными, причудливым, романтическим ландшафтом, а стены зала украсились забористыми баварскими поговорками. Если же у вас появлялось желание приятно и недорого отдохнуть от всех этих ужасов, достаточно было зайти в погребок, который художник Грейдерер оформил с особой любовью. Полотнища, расписанные сине-белыми ромбами баварского герба, образовали гостеприимный шатер. Внутри шатра много зелени, развевающихся флажков, вымпелов. Смешные рисунки, наивно-простодушные изречения радовали сердца.

Уже спустя час после начала празднества в «Пудренице» негде было яблоку упасть. В общем, картина была впечатляющая. Не было недостатка и в той умеренной дозе порочности, каковую Пфаундлер охотно добавлял для услады любителей «клубнички». Черное, закрытое, с длинным шлейфом платье, плотно облегавшее хрупкое, покорное тело Инсаровой, счел бы благопристойным даже самый придирчивый ревнитель нравственности, и тем не менее оно действовало так, что даже мышиные глазки на шишковатом лице Пфаундлера загорелись восторженно похотливым огнем, хотя ему-то уж были отлично известны все уловки его танцовщицы. Фон Дельмайер и его приятель в костюмах «дам сомнительного поведения» производили соответствующее впечатление как раз благодаря своим наигранно скромным манерам.

Однако таких костюмов было немного. На празднестве почти безраздельно властвовали простота нравов, беззаботное веселье, безудержный баварский разгул.

Казалось бы, все складывалось так, как этого хотел г-н Пфаундлер, однако он заметно нервничал и был необычно груб, особенно со своими любимцами. Например, с г-ном Друкзейсом, изобретателем шумовых инструментов и всевозможных любопытных игрушек, создавшим в своей области совершенно уникальные вещи, скажем, рулон туалетной бумаги, который, едва отрывали листок, начинал исполнять народные мелодии «Ты сердцем верен будь и прям» и «В прохладном тихом гроте».

Господин Пфаундлер даже мысли не допускал, чтобы солидное, хорошо организованное празднество могло обойтись без Друкзейса, и потому поручил ему для бала «ночных бродяг» создать хитроумные инструменты, исполняющие самые неожиданные музыкальные мелодии. Тем не менее он резко оборвал почтенного изобретателя, задавшего ему какой-то безобидный деловой вопрос.

На празднество явилось много именитых и высокопоставленных гостей, но один — отсутствовал, что и было причиной плохого настроения г-на Пфаундлера. Он пошел даже на то, что собственноручно послал этому человеку письменное приглашение, хотя писать для него было пыткой. Однако Пятый евангелист не приехал в прошлый раз и сегодня тоже не пожелал приехать. Это задевало г-на Пфаундлера за живое. Он грубо накинулся на озадаченного изобретателя, потом вслух обругал байбака Гесрейтера и толстуху фон Радольную. Эти люди, способные всю жизнь просидеть на собственном заду, вечно опаздывают.

Когда эта парочка, изрядно опоздав, наконец прибыла, то оказалось, что они задержались по весьма серьезным обстоятельствам. Они надеялись, что в этот раз смогут привезти с собой кронпринца Максимилиана. Но тому в последний момент совершенно неожиданно пришлось уехать в Мюнхен. «Политическая ситуация»,— туманно и многозначительно, с таинственным видом, объяснил г-н Гесрейтер. Насколько г-ну Пфаундлеру удалось понять, вожди оппозиции на тайном совещании решили добиваться референдума по вопросу о конфискации имущества владетельных князей, и принц после долгих телефонных переговоров с графом Ротенкампом и главой партии землевладельцев Бихлером тем же вечером отбыл в Мюнхен.

Пфаундлер провел г-на Гесрейтера и его подругу к их столику. Он то и дело поглядывал на г-жу фон Радольную. Разве она не получает ренту, подпадающую под понятие «имущественных прав, подлежащих отмене»? Разве ее лично не затрагивает решение левых партий? Но по ее виду ничего нельзя было понять. Невозмутимая, царственно величественная, окруженная всеобщим почитанием, сидела она за столиком, ее медно-рыжие волосы обрамляли крупное лицо, полные руки были обнажены; в черном платье, буквально усыпанном драгоценными камнями, она была поистине великолепна. В этот раз она изображала экзотическую богиню ночи. Принимала участие в светской беседе, дружелюбно и с достоинством отвечала на многочисленные приветствия знакомых в шумном, охваченном весельем зале.

Но на душе у нее было очень тревожно. Закон о конфискации. Она спокойно перенесла революцию, втайне преисполненная презрения к этим тупым ниспровергателям, готовым удовлетвориться сменой вывески и не посмевшим посягнуть,— надо же быть такими кретинами,— на подлинную власть, на собственность. И вот теперь, по прошествии долгого времени, они вдруг спохватились. Неужели это возможно? Неужели они решатся на такой шаг? Всерьез покуситься на собственность, на священное право частной собственности! И это в Германии, в ее Баварии! Уже сама идея конфискации была вызовом, неслыханной наглостью. Пышнотелая, цветущая, она, словно на троне, невозмутимо восседала, отвечала на почтительные поклоны, спокойно шутила, но в душе ее была полная опустошенность и растерянность. Не заметил ли кто-нибудь перемену в ней? Не пошли ли уже всякие толки? Она знала свет. Неудачника все сразу покидали, и она находила это естественным.

Она внимательно посмотрела на Гесрейтера, сидевшего сбоку от нее. Он был одет во все черное: черные атласные панталоны, длинные черные чулки, черный камзол, высокий, закрывавший шею воротничок, заколотый огромной жемчужной булавкой. Он объявил, что изображает всего-навсего ночь, и старался походить на героя одного из рассказов Эрнста Теодора Амадея Гофмана, высоко чтимого им немецкого писателя, умершего сто лет назад. А похож он был на хотя и довольно тучное, но изысканное привидение. Он не мог скрыть своей нервозности. Г-жа фон Радольная хорошо изучила его и понимала, что тому причиной отнюдь не наглая политическая кампания этих кретинов из оппозиции. Он искал кого-то, но безуспешно. Вообще-то она была женщина выдержанная и прощала ему мимолетные увлечения, но сейчас это ее злило. Бессовестно с его стороны волноваться из-за Иоганны Крайн, а вовсе не из-за закона о конфискации имущества. Невозмутимо, словно идол, сидела она за столиком, блистая великолепием своего наряда. Едва взгляды окружающих обращались на нее, она нарочито медленно поправляла драгоценный аграф в медно-рыжих волосах и поворачивала красивое лицо с волевым ртом и крупным носом к доктору Пфистереру. А тот вместо маскарадного костюма лишь накинул поверх несколько старомодного фрака венецианский плащ. Было нечто трогательное в том, как он, привыкший к грубошерстной куртке и жестким кожаным штанам, пытался приноровиться к этому церемонному одеянию.

— Кстати, вы не видели госпожу Иоганну Крайн? — спросила она у него.— Вы не в курсе, приедет ли она сегодня на вечер?

Ее вопрос всех удивил: г-жа Радольная и Иоганна Крайн были в дружеских отношениях. Если кто-нибудь и был посвящен в планы Иоганны на сегодня, так это г-жа фон Радольная. К тому же г-н Гесрейтер знал, что она обсуждала с Иоганной свой бальный наряд. Что же тогда означает этот коварный вопрос?

Бросив на г-жу Радольную удивленный, недоумевающий взгляд, Пфистерер не нашелся что ответить, так он был озадачен.

— Вы же с госпожой Крюгер большие друзья, не так ли? — продолжала г-жа Радольная своим грудным голосом.

— А разве вы не друзья с ней? — спросил наконец Пфистерер, немного смешавшись.— Я полагаю, мы все здесь ее друзья,— добавил он, воинственно оглядываясь вокруг.

Катарина фон Радольная, продолжая мирно улыбаться, сказала, что недавно снова прочла в одном американском журнале статью с резкими выпадами против Иоганны, которая, мол, развлекается на зимних курортах в то самое время, как муж ее сидит в тюрьме. Она полагает, добродушным тоном продолжала г-жа фон Радольная, что именно подобного рода суждения и не позволили Иоганне прийти на сегодняшний вечер.

Сидевший рядом г-н Гесрейтер чувствовал, что в нем поднимается неприязнь к Катарине. Чего, собственно, она добивалась? Разговор с ничего не подозревавшим Пфистерером преследовал, очевидно, одну-единственную цель — продемонстрировать ему и всем остальным, что она больше не поддерживает Иоганну. Вероятно, это как-то связано с идиотской «политической ситуацией». Но если у Катарины и есть причины не поддерживать больше Иоганну, то почему это надо выражать в столь бестактной форме? Вообще-то это не в ее характере. Неужели она поступала так ему назло? Он залпом осушил бокал.

— Вы, вероятно, забыли, Катарина,— с расстановкой произнес он, не глядя на нее,— ведь госпожа Крюгер ясно сказала вам, что придет. Пойду взгляну, здесь ли она,— добавил он хрипловатым голосом, вскинув на Катарину свои глаза с поволокой. Тяжело поднялся и отошел.

Нет, в огромном главном зале с его звездным небосводом и множеством красных и зеленых лун Иоганны определенно не было. Он заглянул во все ложи и «укромные гнездышки». Приподняв трость с набалдашником из слоновой кости, тяжеловесно элегантный, он в черном костюме ночи медленно пробирался меж танцующих пар, озабоченный и раздраженный, чем-то напоминающий тучное, изысканное привидение. Впервые за все время их многолетней связи он испытывал к Катарине недоброе чувство. Прежде он никогда не замечал в ней такой затаенной, обдуманной мстительности. Он тосковал по Иоганне, ему все казалось, что он в чем-то перед ней виноват.

Он машинально отвечал на дружеские приветствия, на шутливые замечания насчет его костюма. С привычной, заученной сердечностью рассеянно обменивался рукопожатиями и продолжал искать глазами Иоганну. Он искал ее на «танцплощадке ведьм», в «чистилище». В «подземном царстве» кто-то хлопнул его по плечу — какой-то мужлан, полуодетый, украшенный цветами, с немыслимым венком на большой голове, окруженный весьма обнаженными вульгарными девицами. В зубах он сжи-

мал губную гармонику, а в руках — палку от метлы, увенчанную еловой шишкой.

— Привет,— обратился к нему этот тип. Это был художник Грейдерер. Он уверял, что он Орфей, Орфей в аду. Окружавшие его простоватые девицы-«курочки» на этот вечер превратились в нимф. Художник Грейдерер объявил, что чувствует себя превосходно. Он сыграл несколько тактов на губной гармонике и, в подражание Дионису, похлопал палкой от метлы, заменявшей ему тирс, по задам свои «курочек».

Приготовления к празднеству и царившее вокруг веселье оказались для художника Грейдерера как нельзя более кстати. Он искал повод, чтобы забыться. Его мучили заботы. Широкий образ жизни в духе Возрождения, подобающий крупному художнику, давался ему с большим трудом. Компаньонке и шоферу его престарелой матушки жалованье с некоторых пор выплачивалось нерегулярно. Все свои старые картины он продал, остались лишь случайные, не слишком удачные, слабые работы. Его акции постепенно падали. А новых идей у него почти не появлялось. Бурная жизнь не пошла ему на пользу. Временами его хитрое, изборожденное глубокими морщинами мужицкое лицо бывало очень усталым. Он верил в судьбу. Вначале ему не везло — потом повезло! Если ему сейчас не везет,— что ж, потом снова повезет. В неразрывную связь между качеством своих картин и их успехом у публики он не верил. Во всяком случае, пока дела его идут не так уж плохо. Так почему же не воспользоваться этим?

К нему подошел профессор фон Остернахер, внушительный и эффектный в черном костюме испанского гранда. Судьба художника Грейдерера, которого Мартин Крюгер восхвалял, а его, Остернахера, называл декоратором, служила ему источником глубокого морального удовлетворения. Они уселись рядом — полуодетый баварский Орфей со своими простоватыми девицами, и внушительный баварский гранд в черном бархатном одеянии. Гранд усадил одну из девиц к себе на колени, влил ей в рот шампанского и поинтересовался творческими планами коллеги. Грейдерер стал плакаться. Самый большой спрос сейчас на птичьи дворы и распятья. А ему хотелось бы написать совсем иное. Он задумал, например, изобразить одного из персонажей баварского деревенского театра, ну, скажем, оберфернбахского апостола, нечто подлинно крестьянское и одновременно патетически библейское. Это было бы синтезом птичьего двора и распятия. Не кажется ли уважаемому коллеге, что этот сюжет отвечает его, Грейдерера, творческой манере? Профессор Бальта-

зар фон Остернахер неторопливо спустил «курочку» с колен, помолчал. Действительно, этот сюжет, размышлял он вслух, мог бы ему, Грейдереру, удаться. Насколько он, Остернахер, его знает, мог бы его вдохновить. Господин фон Остернахер крякнул, поерзал на месте, отпил вина, помолчал в задумчивости.

— Да, театр...— мечтательно произнес он.— Мы, баварцы, всегда питали слабость к комедии.— Он подумал о возможностях, которые открылись бы перед крупным художником-реалистом, в самом деле отважившимся изобразить деревенского актера, с его наивным, искренним пафосом и убогим, школярским представлением о возвышенном, и тщательно вытер свой бархатный плащ гранда, испачканный подвыпившим коллегой.

Тем временем г-н Гесрейтер, пробираясь через всю неузнаваемо преображенную «Пудрениду», продолжал искать Иоганну среди суматошной толпы крупных буржуа в маскарадных либо обычных костюмах, искателей приключений, состоятельных дам, известных и безвестных проституток, наряженных в красные фраки музыкантов, обливающихся по́том под масками деревенских чертей, среди кельнеров, наемных танцоров, у которых сегодня был горячий денек, среди хитроумных инструментов изобретателя Друкзейса, среди флиртующих парочек, шумного баварского веселья, северогерманской брани, серпантина, пилящих скрипок, среди всевозможной сверкающей мишуры, среди негромких женских вскриков, истеричных, грубых и смачных развлечений.

Когда он наконец увидел Иоганну, его больно кольнуло в сердце. Она сидела в том самом малом игорном зале, где он недавно шел ради нее ва-банк и который сегодня превратился в гротескную луну с ее пустынным пейзажем. Там в уголке, в самом «укромном гнездышке», увенчанном надписью «На земле — сплошной разбой, на луне — королевский баварский покой», сидела Иоганна в обществе двух молодых людей, один из которых был г-ну Гесрейтеру знаком. Это был присяжный заседатель фон Дельмайер — пустопорожний фон Дельмайер, страховой агент и инициатор многих мелких, весьма сомнительных предприятий. Второй был очень на него похож, разве что лет на восемь моложе, совсем еще юнец,— то же паясничанье, те же вызывающие манеры, такие же бесцветные глаза. Хотя нет, у второго глаза были, пожалуй, немного иными. Внезапно они становились сосредоточенными, пытливыми, проницательными. Где он однажды уже видел эти глаза?

Как могла Иоганна сидеть за одним столиком с этими типами? Как она могла с ними болтать, смеяться, терпеть их

пошлые остроты и дешевые потуги на светскость! Такая женщина, как она! Точно гимназист, он жадно и восторженно разглядывал ее широкоскулое, открытое лицо, на котором отражалось малейшее движение души. Она была личностью, умела с фанатическим упорством отстаивать свое дело, естественно, без всякого надлома. Настоящая мюнхенка, землячка, которой можно гордиться. Упорная, наделенная глубокой внутренней порядочностью, неподдельная в своем гневе, который был не позерством, а выражением твердой убежденности. Густые, пушистые брови, резко выделявшиеся на широком лице. Маленькие крепкие грубоватые руки. Продолговатые, серые глаза, смотревшие твердо и решительно. Она вовсе не стремилась привлечь к себе внимание необычным костюмом. Простое черное платье еще больше оттеняло ее стройную фигуру, приятную полноту и прекрасную кожу. Г-ну Гесрейтеру страстно захотелось пожать ее руку, встретиться взглядом с ее серыми глазами. Но его удерживала неприязнь к ее собеседникам. Он решил пройти мимо. Если она, увидев его, обрадуется, он подсядет к ним.

Иоганна ограничилась небрежно-приветливым кивком. Он оскорбленно прошел мимо.

Да, Иоганне было приятно слушать болтовню своих легкомысленных поклонников. Это были веселые, беспечные ребята, они болтали о всяких пустяках, неизменно скользя по поверхности. В другое время ее, верно, не позабавили бы непристойные костюмы буфетчиц из бара, в которые нарядились эти два нагловатых дружка. Но сегодня она радовалась любому, самому ничтожному поводу, чтобы отвлечься. Конечно, неплохо быть самостоятельной женщиной, но иной раз, скажем, когда на тебя обрушивается волна мутных газетных сплетен, все-таки приятно, если есть с кем поговорить без острых, четких, обязывающих слов. Это бал «ночных бродяг», так неужели она и тут должна думать, кто сидит с ней рядом? Она пила вино, слушала хвастливые разглагольствования обоих сидевших в обнимку молодых людей, подмалевавших лица с нарочитым бесстыдством. По их разговорам нетрудно было представить себе их жизнь и характеры. Они подружились в окопах: старший — фон Дельмайер и младший — белолицый Эрих Борнхаак. Их называли «неразлучными», а еще «Кастор и Поллукс». Очень скоро они поняли, что их обманули. Совершали подвиги, но скорее от скуки. Во всем разуверились. Бисмарк, бог, черно-бело-красное, Ленин, национальные требования, бойскауты, экспрессионизм, классовая борьба,— все сплошной обман. Жрать, пить, блудить,

иногда ресторан, иногда кино, езда в машине на бешеной скорости, модного покроя смокинг, розыгрыш почтенных граждан, новый танец, новый шлягер, их дружба — это и есть жизнь! Все остальное, о чем любят долдонить,— газетные передовицы. Несмотря на разницу в целых восемь лет, они были похожи друг на друга как близнецы, оба долговязые, бледные, с бесцветными, неопределенными, заостренными книзу лицами. Георг фон Дельмайер смеялся резким, свистящим смехом, у Эриха Борнхаака взгляд внезапно становился проницательным. В остальном они мало чем отличались друг от друга. Они так и сыпали короткими, похабными анекдотами. Они сами, их приятели, город Мюнхен, страна, война, весь мир в их рассказах превращался в жалкий муравейник, в пустую, утонченно похотливую, совершенно бессмысленную возню. Они то и дело предавали друг друга и готовы были один ради другого дать разрубить себя на куски. Они сидели картинно обнявшись в своих костюмах буфетчиц из бара. Трудно было представить себе, как они могли прожить один без другого хоть день. Перебивая друг друга, они деловито излагали свои взгляды. Рослая, красивая Иоганна сидела рядом и не без любопытства слушала их с легкой, пренебрежительной улыбкой.

Неожиданно они заговорили о процессе Крюгера, с холодным безразличием и подловато доброжелательной бесцеремонностью. Иоганну точно током ударило. Омерзительно было слушать, как эта падаль жует и выплевывает своим зловонным ртом дорогое тебе дело. Но она осталась сидеть. Доверчивыми, смелыми глазами она вглядывалась в лица этих молодых людей, откровенно и бесстыдно порочных. Удивительно: эти двое так молоды — и уже ни во что не верят. На этом мелком, закоренелом цинизме уже ничто не могло произрасти или пустить побеги — ни чувство, ни мысль.

— Если дело взялся вести такой адвокат, как господин Гейер,— внезапно произнес Эрих Борнхаак, разглядывая крашеные, наманикюренные ногти своей тонкокожей руки,— заранее можно сказать, что ничего хорошего ждать не приходится.

— А вы знаете,— вдруг добавил он, впившись в Иоганну пронизательным взглядом,— что по документам доктор Гейер — мой отец? — Иоганна так ошеломленно поглядела в глаза Эриха, что господин фон Дельмайер без стеснения разразился своим пошлым свистящим смехом.

Во всяком случае, с иронией продолжал Эрих высоким голосом, доктор Гейер давал кое-какие деньги на его воспита-

ние. Впрочем, сам он не верит в отцовство Гейера, у него достаточно причин, чтобы совершенно этому не верить.

Это было уже слишком. Она словно задыхалась без свежего воздуха. Нет, она не могла больше здесь оставаться,— скорее прочь отсюда, подальше от этого мертвящего «лунного» ландшафта, ей нужно сейчас же поговорить с Жаком Тюверленом.

Между тем Тюверлен попал в цепкие руки г-на Пфаундлера. А этот великий устроитель всяких празднеств, преисполненный жаждой деятельности, настойчиво пытался внушить Тюверлену свой замысел ревю, из которого было бы вытравлено все радикальное, политическое. Конечно, неплохо сделать и бесхитростно пышный фильм о страстях господних с дальним прицелом на американского зрителя, но сейчас в голове у него гвоздем засела мысль о мюнхенском ревю. Он уже ясно представляет себе, как это будет. «Касперль и классовая борьба» — понятно, нелепость. Другое дело — «Выше некуда». Тут сразу чувствуешь нечто уютное, истинно мюнхенское, ощущаешь плеск волн зеленого Изара, вкус пива и ливерных сосисок. Это могло послужить основой для облагороженного ревю. К тому же, если замысел «Выше некуда» распространить и на женские туалеты, то в ревю удастся привнести оттенок волнующей чувственности. А старое мюнхенское изречение: «Строить — не скупиться, пить, так уж напиться, в луже извозиться» — должно придать ревю особый неповторимый колорит. Так г-н Пфаундлер отеческим тоном настойчиво пытался обратить писателя Тюверлена в свою веру.

Жак Тюверлен не любил все эти маскарадные переодевания! В отличие от других, он был в безукоризненном смокинге, с безукоризненно накрахмаленным воротничком, оттенявшим его лицо в мелких морщинках, с лукаво прищуренными глазами. Г-н Пфаундлер, наоборот, выглядел довольно-таки диковинно. На его жирной груди болталась цепь распорядителя празднества. На шишковатой голове пройдохи красовалась бумажная корона. Его мышиные, глубоко посаженные глазки блестели: он выпил сегодня прозрачного мартовского пива, хотя обычно предпочитал вино. Рядом с ним, зябко поеживаясь, сидела Инсарова, покорная и порочная в скромном великолепии своего сверкающего, наглухо закрытого платья, плотно облегающего тело.

Пфаундлер ласково похлопывал Тюверлена по плечу. Терпеливо, словно больного ребенка, уговаривал его. Пора ему отказаться от своих политических выкрутас и создать приличное обозрение. Такое обозрение способен написать только он один.

У него, Пфаундлера, нюх верный, и он давно это понял. Художник должен стоять над партиями — это старая истина. «Не валяйте дурака,— внушал он Тюверлену.— Будьте выше всех этих партий. Ну, смелее же!»

Инсарова раскосыми глазами взглянула на морщинистое, безбровое лицо Тюверлена и незаметно отодвинулась подальше от Пфаундлера. Тюверлен отвечал, что политика его мало интересует. Он хотел лишь воспользоваться исключительно благоприятной возможностью: создать для комика Бальтазара Гирля ситуацию, достойную его незаурядного таланта — эффектную, злободневную, насыщенную классовой борьбой. В этом он видит источник оправданного, искреннего веселья. Однако г-н Пфаундлер отнесся к его словам скептически. Комик Бальтазар Гирль великолепен лишь как гарнир, как приправа. Важно подать не только горчицу, но и колбасу. В любом ревю, включая и облагороженное мюнхенское, самое главное — голые девицы.

Эстетические рассуждения господина Пфаундлера были прерваны звуками музыки, приглашавшей гостей к французу. Тюверлен, прервав спор, пригласил Инсарову на танец.

Франсез был групповым танцем, во всей остальной Германии давно вышедшим из моды. Но в Баварии он сохранился, став самым популярным танцем, украшением всех мюнхенских балов. Танцующие длинной цепочкой выстраивались друг против друга, а затем обе цепи, держась за руки, сближались, мужчины и женщины кланялись своим визави, обнимались и, тесно прижавшись друг к другу, вихрем кружились на одном месте. Мужчины с громким криком высоко поднимали женщин на скрещенных руках, тут же начинали кружить свою визави, затем свою соседку, все быстрее и быстрее, хрипло выкрикивая па сложного танца. У всех горели глаза, все обливались потом, женщины взвизгивали от восторга. Опьянение буйного танца — женские бедра на скрещенных руках, кольцо женских рук вокруг шеи. Все целовались, прижимались друг к другу, жадно пили шампанское, захлестнутые музыкой огромного оркестра.

Стихия танца увлекла всех баварцев до единого. Даже Пфаундлер и тот не удержался. Его бумажная корона съехала набок, цепь подпрыгивала на жирной груди. Но мышиные глазки, прятавшиеся под шишковатым лбом, что-то быстро прикидывая, зорко следили за Тюверленом и Инсаровой, которая немного растерялась в незнакомом танце. Художник Бальтазар фон Остернахер уверенно, с изяществом кружил свою партершу, теннисистку Фанси де Лукку. Много глаз было приковано

к этой прославленной паре. В объятиях чернобархатного гранда чемпионка по теннису казалась еще более изящной, решительной и порочной. Одетая в темно-красное платье, она изображала орхидею, распускающуюся, как она утверждала, лишь по ночам, что, однако, всеми единодушно оспаривалось. Временами она негромко вскрикивала от страха или удовольствия, склоняясь к партнеру своим гордым, радостным похотливым горбоносым лицом. Г-н Гесрейтер танцевал франсез с г-жой фон Радольной несколько торжественно, задумчиво и церемонно. Оба были довольно молчаливы. Танцевало франсез и много иностранцев, они очень старались не спутать сложных фигур и подбрасывали вверх женщин хоть и неловко, но с азартом. В своих утрированных костюмах буфетчиц из бара с высокомерно презрительной улыбкой на лицах танцевали франсез господа Эрих Борнхаак и фон Дельмайер. Танцевал и председатель земельного суда доктор Гартль, честолюбивый судья, снискавший известность процессом Крюгера. Он был человеком состоятельным и обычно проводил конец недели на собственной вилле в Гармише. В эти годы инфляции, когда чиновникам, вынужденным довольствоваться одним только жалованьем, жилось нелегко, он приглашал к себе на виллу кое-кого из коллег. Сегодня трех своих гостей он привел на бал «ночных бродяг». Все четверо высоких государственных чиновников тоже танцевали франсез, ибо это был достойный танец, получивший признание еще во времена монархии. Доктор Прантль из верховного суда при каждом поклоне произносил: «Кончил дело — гуляй смело», на что его визави отвечал: «Горек труд — сладок плод». Доктор Гартль, танцуя, объяснял своей даме, что в нынешние времена поголовной распущенности, при всей его терпимости, поневоле приходится проявлять строгость. За последние годы он и трое его коллег приговорили различных обвиняемых в общей сложности к двум тысячам тремстам пятидесяти восьми годам тюремного заключения.

Фортиссимо всего оркестра, громкие крики. Ликующие возгласы «ночных бродяг». Пролитое вино. Кельнеры у опустевших столиков, выливающие, чтобы нагнать счет, шампанское в ведерки со льдом. Духота, увядающие цветы. Запах кушаний, потеющих мужчин, разгоряченных женских тел, растаявшей косметики, исступленная игра музыкантов. Изобретатель Друкзейс, приводящий в действие свои хитроумные инструменты, расставленные во всех углах. За столиком в одиночестве, с «курочкой» на коленях, что-то бормоча себе под нос и отбивая такт ногой,

сидел увитый виноградной лозой Орфей — Грейдерер, все сильнее накачиваясь вином.

Внезапно Тюверлен очутился лицом к лицу с Иоганной. Она чуть сбоку от него танцевала с Пфистерером. Он даже не пытался скрыть радостного удивления. Со времени того разговора в кондитерской «Альпийская роза» он почти не виделся с Иоганной. Тогда он не совсем понял, почему она, собственно, обиделась. Наверно, он не проявил должного интереса к бессмысленной аудиенции у кронпринца, значение которой она так преувеличивала. Допустим, но ведь он пришел после любопытного разговора с Преклем и очень хотел продолжить его с ней, Иоганной. Неужели это достаточное основание для обиды? Он попытался убедить ее здравыми доводами. Однако Иоганна, обычно признававшая только справедливость, на этот раз не желала внять голосу разума. «На нет и суда нет»,— решил он, пожимая плечами. Его волновал спор с инженером Преклем, его литературные планы, обозрение для Пфаундлера, да к тому же неустроенные денежные дела: махинации брата грозили ему потерей всей его доли наследства. Его жизнь была заполнена до предела.

Теперь, оказавшись напротив Иоганны и, как принято в этом танце, обнимая ее, чувствуя прикосновение ее тела, он понял, как сильно ему недоставало ее. Теперь он исправит то глупое недоразумение, наладит прежние отношения. Разве он для нее всего лишь «кавалер»? Неужели его можно упрекнуть в гордыне и позерстве? Нет, его нимало не пугает, если она гневно наморщит лоб, вновь его оттолкнет. Он почти забыл о своей русской партнерше, а все положенные фигуры с Иоганной затягивал до неприличия.

Между тем франсез продолжался. Танцевали его последнюю часть, когда под затихающие звуки музыки танцующие, взявшись за руки, образуют длинную цепь, чтобы затем, когда оркестр грянет «форте», быстрым шагом двинуться навстречу другой цепи. Музыка неистовствовала. Гранд в черном бархате больше не был старым. Во время всей этой финальной части танца он, высоко вскинув свою партнершу, темно-красную орхидею Фанси де Лукку, словно одержимый, со вздувшимися от напряжения венами, беспрестанно кружил ее над головой, а она хохотала, болтала ногами, визжала, задыхалась. Зал сотрясал сплошной, непрекращающийся, ликующий вопль. Иоганна больше не противилась Тюверлену. У нее было такое ощущение, будто не покидавшее ее чувство ожидания постепенно растворяется, и ее переполняло счастье. Весь вечер, а вернее, с момента своего разговора с кронпринцем, она непрерывно ду-

мала о Тюверлене, ждала его. И когда он после франсеза, просто-напросто отвернувшись от Инсаровой, увлек ее в одно из многочисленных «укромных гнездышек», она не стала возражать.

Она сидела возбужденная танцем, жарой, празднеством, присутствием мужчин, и особенно мужчины, сидящего сейчас перед ней. Куда-то исчезли все мысли о Мартине Крюгере — и о дурашливом, жизнерадостном человеке, каким он был четыре года назад, и об арестанте с серым лицом. Она смотрела на удивительно умное, все в мелких морщинках лицо Жака Тюверлена с выступающей вперед верхней челюстью, на его сильные, поросшие рыжеватым пушком веснушчатые руки; небрежно-элегантный, естественный и вместе с тем напряженный, сидел он в своем смокинге; он страстно желал ее. Его мальчишеское, голое, точно у клоуна, лицо было само чистосердечие, и лишь иногда в нем проглядывала легкая ирония. Иоганна ощущала себя очень близкой ему, знала, что вот теперь она сможет поговорить с ним не таясь.

Тут мимо них, ухмыляясь, прошли два молодых вертопраха.

И сразу нахлынули прежние, еще мгновенье назад бесконечно далекие мысли: газетная клевета, нескончаемая, безнадежная борьба за Мартина Крюгера, отныне ее мужа. Видение было почти осязаемым, оно сидело с ними за столом. И столь внезапно оборвалась внутренняя связь с Тюверленом, что тот, не отличаясь в области чувств особой наблюдательностью, вздрогнул и поднял на нее глаза.

Ей больше всего хотелось сейчас уйти с Тюверленом,— куда угодно, подальше от Гармиша, в большой ли город, в затерянное ли, заснеженное селение, к нему домой, в его постель,— а вместо этого она стала говорить ему колкости, лишь бы побольнее его задеть. Против собственной воли. Но она ничего не могла с собой поделать. Тот, кто незримо сидел третьим за столом, не допускал ничего другого.

Однажды Тюверлен рассказал ей о тяжбе с братом из-за наследства. Разве не смешно, когда человек берется сурово судить всех окружающих, их дела, порядки в государстве, разве не смешно, говорила она, что этот человек оказывается до того беспомощным, что не может навести порядок в своих собственных делах? Разве не смешно, когда человек, гордящийся своим здравым смыслом, лишь тогда спохватывается и вспоминает о своих денежных делах, когда уже слишком поздно? Она никак не могла остановиться. У нее было такое чувство, точно все мысли, скажем, мысль о Мартине Крюгере, словом, все, что не-

зримо сидело с ними за столом, улетучивается, когда она вот так, зло, нападает на Тюверлена.

— В свое время,— продолжала она,— когда вы, сосредоточившись на четверть часа, могли сохранить сотни тысяч, вы не позаботились о своих деньгах. А еще толкуете о непрактичности других! А что делали вы сами? Допустим даже, это не снобизм, не притворство или аффектация, но, уж во всяком случае, куда большее легкомыслие, чем у других! Тем, другим, нелегко приходится. Им остается лишь сидеть и смотреть, как из-за инфляции тает их состояние. А вам, Тюверлен, с вашей иностранной валютой жилось куда легче, но вели вы себя глупее, чем кто бы то ни было. Другие справляются с государственными делами, а вы даже с собственным братом не в состоянии справиться. Вы, Тюверлен-литератор, сноб и зазнайка. В самом пустячном, практическом деле любой шофер такси заткнет вас за пояс.

Тюверлен все это выслушивал, лишь изредка осторожно вставляя мягкие, дружелюбные замечания. Он страстно желал ее, с удовольствием бы ее избил, адски на нее злился.

Она и сама страдала от своей нелепой ярости, но ничего не могла с собой поделать. Мало того, стала нападать на него с еще большей злостью. Он тоже не остался у нее в долгу. В ожесточении сидели они друг против друга, выискивая самые уязвимые места, чтобы побольнее ранить. Припомнили все, что знали друг о друге. Добрались и до дела Крюгера. Выяснилось, что Тюверлен был прекрасно осведомлен о состоянии ее дел и, само собой разумеется, знал о ее замужестве. Он принялся иронизировать над «этим сентиментальным жестом». Колол ее такими поступками, о которых она наверняка только ему одному и рассказывала.

— Бесполезно обманывать себя, Иоганна Крайн,— сказал он,— мученик Крюгер давно уже превратился для вас в неудачника, безразличного, чужого вам человека, почерк которого вы боитесь исследовать, страшась разочарования в самой себе.— Не дожидаясь ответа, подозвал кельнера, велел принести еще одну бутылку шампанского, сказал, что должен поговорить с Пфаундлером, расплатился, встал и ушел, оставив ее наедине с шампанским.

Тем временем писатель доктор Пфистерер, весь во власти мрачных дум, злой, озабоченный, словно неприкаянный, бродил по залу. Разговор с кронпринцем укрепил его пошатнувшуюся было веру в славный баварский народ. Но потом кронпринц уехал. Такой милый, порядочный человек — и все-таки, если го-

ворить откровенно, не сдержал своего королевского слова. Как и у всех остальных, у него для Иоганны нашлись одни лишь ничего не значащие слова. Творится беззаконие, и все молчат, мирятся с ним, покрывают его. Наклонив свою большую, рыжеватую с проседью голову, этот коренастый человек уныло бродил по залу. Фрак на его неуклюжей фигуре сидел нескладно, он непрерывно путался в складках нелепого венецианского плаща. Его маленькая, пухленькая, заботливая жена обеспокоенно хлопотала и суетилась вокруг него. Он тяжело дышал и не получал никакого удовольствия от этого бала, но и домой его тоже не тянуло. Там все эти жизнелюбивые Ценци, Зеппли, Врони ждали, когда он в последний раз коснется их рукою мастера. Конечно же, все у него получится, как и было задумано,— рука у него набита. Но сегодня это его не радовало.

Наконец он забрел в «погребок» и очутился за столиком Орфея — Грейдерера. Тот икнул и уважительно назвал Пфистерера «главным поставщиком баварского уюта». Показал на бело-синие ромбики полотнищ, которыми были задрапированы стены. «Белое и синее — цвета Баварии»,— убежденно и важно объявил он. Оба они стали превозносить друг друга до небес. Художник Грейдерер доверительно сообщил собеседнику, как скучно работать на потребу обывателя. Г-н Пфистерер задумчиво кивнул головой в знак согласия. Но как раз это согласие вдруг вывело Грейдерера из себя. Настроение его резко изменилось, он разозлился, его маленькие глазки на мужицком, в глубоких морщинах, лице радостно загорелись мстительным огнем. Каркающим, недружелюбным голосом он тихо, со скрытым подвохом сказал: «Видите ли, господин хороший,— есть два вида воздействия: вширь и вглубь». Он повторил это несколько раз, беспрестанно полхопывая по коленке вконец растерявшегося Пфистерера, пока тот окончательно не впал в меланхолию.

Затем художник Грейдерер отправился в туалет. Он стоял, качаясь из стороны в сторону, костюм Орфея пришел в полный беспорядок. Держась за палку от метлы, увенчанную еловой шишкой, начал блевать. В перерывах между приступами рвоты он настойчиво в чем-то убеждал председателя земельного суда Гартля. Ему, Грейдереру, известно, что «большеголовые» всегда терпеть его не могли. Но теперь к нему пришел успех, и придется им быть полюбезнее. Бело-синее — это цвета Баварии, а зеленым гадят майские жуки. Уважаемый господин судья — тонкая бестия, он должен еще выпить шампанского с ним, Грейдерером, и с «курочками». Доктор Гартль слушал — он тоже был в подпитии — и с философски грустной усмешкой

смотрел на развращенность этой республиканской эпохи. «Cacatum non est pictum» [1],— одернул он художника.

Иоганна, после ухода Тюверлена оставшись одна, сидела бледная, закусив верхнюю губу. Ведь она вовсе не хотела с ним ссориться. Она так ждала этого вечера, была уверена, что непременно уладит то дурацкое недоразумение и восстановит прежние отношения с Тюверленом. И вот теперь по собственной безмерной глупости она все бесповоротно испортила. И, что совсем обидно, прав-то ведь он. Она сама себе была противна из-за своего невероятно глупого поведения, а он был ей противен своей правотой! Кстати, как обстоят ее собственные денежные дела? Намного более скверно и запутанно, чем его.

В переполнявшие ее ярость, стыд, раскаяние осторожно вкралось черное, изысканное, слегка расплывшееся привидение, г-н Гесрейтер. Тогда, показывая ей «Южногерманскую керамику», он допустил ошибку. Он сознает это, во всем был виноват он один. И вот сейчас она сидит здесь явно чем-то расстроенная, нуждающаяся в утешении. Какой удобный случай исправить свою ошибку. У него сразу потеплело на душе, когда он увидел ее сидящей в одиночестве. Он с радостью понял, что чувство, испытываемое им к Иоганне, куда сильнее мимолетного желания, которое, едва он проводил ночь с женщиной, слабело и утихало. Он был уже немолод, жизнь жуира притупила его чувства, охладила их. Он потерял почти всякую надежду, что сможет когда-нибудь воспылать подлинной страстью. Сейчас он с сердечной нежностью стал ухаживать за Иоганной, бережно, трепетно. Она же после резких, беспощадных слов Тюверлена с удовольствием принимала его деликатную заботу. Он был любезен без навязчивости и несколько по-старомодному остроумен и забавен.

Катарина рассердила его своей необъяснимой враждебностью к Иоганне. Как никогда за все долгие годы их связи, он чувствовал, какая глубокая пропасть отчуждения пролегла между ними. Он нарочно прошел мимо г-жи фон Радольной, с преувеличенной сердечностью обняв Иоганну и что-то интимно нашептывая ей. Катарина все это видела. Она видела также, что это увлечение не мимолетно, не на один вечер. Она сидела царственно-великолепная в своем одеянии идола и теперь насмешливо улыбнулась, улыбнулась горько, почти с удовлетворением. Значит, и Пауль оставляет ее. Он тоже, непроизвольно подчиняясь инстинкту, повелевающему держаться подальше от

[1] Нагадить — не значит написать картину *(лат.)*.

неудачников, покинул ее, едва ее рента оказалась под угрозой.

К Иоганне и Гесрейтеру присоединились Фанси де Лукка и Пфистерер. Фанси де Лукка упивалась своим успехом, она была счастлива. Костюм орхидеи произвел желаемое впечатление. Спорт, тренировки, бесчисленные требования, предъявляемые к чемпионке, отнимали все силы, оставляя очень мало времени, чтобы заботиться о своей женственности. Но сегодня вечером она насладилась сознанием того, что стоит ей только захотеть, и она будет привлекательна и чисто по-женски. Ее волнующее, неуловимо эротическое сходство с орхидеей возбуждающе действовало на мужчин. Но заходить дальше этого она не хотела: такой роскоши она себе позволить не могла.

В зале с «лунным ландшафтом» они вчетвером уединились в одном из пфаундлеровских укромных гнездышек, в том самом, где Иоганна еще недавно сидела с двумя молодыми вертопрахами. Меланхоличный, особенно сердечный с Иоганной, утерявший свой неизменный оптимизм Пфистерер, упоенная, насытившаяся успехом чемпионка по теннису, понемногу приходившая в себя в обществе Гесрейтера Иоганна, осчастливленный ласковым тоном Иоганны Гесрейтер сидели среди все сильнее расходившихся «ночных бродяг» обособившимся, тихим кружком. «Лунный ландшафт» уже не казался Иоганне таким безвкусным. Они почти не разговаривали, им было приятно, что они собрались все вместе.

Фанси де Лукка машинально включила радиоприемник. Случилось так, что в это самое время передавали последние известия. Голос диктора сообщал о какой-то важной конференции, о парламентских прениях, о локауте, о железнодорожной катастрофе. Затем тот же голос сообщил, что адвокат доктор Гейер возбудил ходатайство о пересмотре дела Мартина Крюгера, так как шофер Ратценбергер в присутствии многих свидетелей неоднократно заявлял, что его показания о лжесвидетельстве Мартина Крюгера были ложными. После этого голос диктора сообщил об обвале плотины, о потерпевшем аварию самолете, о предстоящем повышении почтово-телеграфного и железнодорожного тарифа.

Едва диктор заговорил о процессе Крюгера, Иоганна вся обратилась в слух. Остальные тоже. Никто хорошенько не понял, что означало это сообщение. Однако если доктор Гейер, до сих пор настроенный весьма скептически, теперь решительно и во всеуслышанье объявил о подаче прошения, то, значит, есть какие-то шансы, и это шаг вперед, определенный успех. Тут не

могло быть никаких сомнений. Иоганна раскраснелась, просияла, слегка привстала с места. Голос диктора по-прежнему звучал в радиоприемнике, сейчас он передавал спортивные новости, но никто уже не слушал. Фанси де Лукка порывисто, с искренней симпатией протянула Иоганне свою оливково-коричневую руку. Пфистерер, очень радостно, словно избавившись вдруг от своих сомнений, воскликнул: «Черт побери! Наконец-то! Да ведь это успех!», Гесрейтер с важным видом подтвердил, что это несомненный успех. Иоганна выпрямилась во весь рост. Она стояла среди симпатичных лунных призраков художника Грейдерера, под плакатом с изречением о луне и королевском баварском покое, и ее широкое лицо выражало сильнейшее волнение. Она кивнула всем трем и с просиявшим лицом стремительно вышла из комнаты. Теперь все будет хорошо, теперь она чувствует под ногами твердую почву. Все изменилось. Она должна поделиться этой новостью с Тюверленом.

Но Тюверлен уже ушел к себе в отель. Раздеваясь, он все думал, не поселиться ли ему снова наверху, в маленьком домике на лесной опушке.

А Иоганна нетерпеливо пробирается по залу. Она вся под впечатлением этой счастливой перемены в ее деле. Ее лицо сияет. Ищет, так же как полтора часа назад господин Гесрейтер искал ее, в «башне астролога», на «танцплощадке ведьм», в «чистилище». Пока наконец не сталкивается с г-жой фон Радольной. Та с привычной спокойной уверенностью любезничает с профессором фон Остернахером. Иоганна порывисто прерывает ее. После Тюверлена, Катарина больше всех остальных порадуется ее удаче. Иоганна, захлебываясь, сбивчиво и даже немного бестолково, выкладывает ей чудесную новость. Катарина, схватывающая все на лету, сразу улавливает суть. Она взирает на Иоганну с высоты своего идолоподобного величия, спокойно, с любопытством. И произносит: «Вот как? Что ж, поздравляю. Будем надеяться на удачный исход дела». И снова поворачивается к Остернахеру, гранду в чернобархатном одеянии. Иоганна смотрит на Катарину, ее широкое, без единой морщинки смуглое лицо передергивается. «Дело будет пересмотрено»,— негромко повторяет она. «Да, да, я поняла»,— с едва заметным нетерпением роняет г-жа фон Радольная своим звучным голосом. «Будем надеяться на удачный исход дела»,— повторяет она подчеркнуто безразличным тоном. «Скажите, дорогой профессор...»,— вновь обращается она к чернобархатному гранду.

Да, г-жа фон Радольная четко уяснила себе, какой ей следует придерживаться тактики, и заняла определенную позицию.

Она вышла из самых низов, с трудом выбилась в люди,— это было совсем не просто,— и очень не любит вспоминать об этом. Теперь она наверху, а тут вновь собираются отнять все, что ей удалось нажить. О, она будет защищаться! Нет, она никогда не была злой, всегда проявляла терпимость. Но когда у тебя собираются отнять твои кровные деньги, тут уж не до терпимости. Отныне каждый, кто принадлежит к этой банде, посягнувшей на ее деньги,— враг. Мартин Крюгер — враг. Иоганна — враг. Отнять у нее ренту! Против Иоганны она ничего не имеет. Хотя, откровенно говоря, это не совсем так. С сегодняшнего вечера, с той самой минуты, когда Гесрейтер с видом страстно влюбленного прошел с Иоганной мимо нее, она кое-что против этой штучки имеет. Всякий, кто покушается на ее собственность,— враг. Свои отношения с Паулем она тоже выяснит. Насколько возможно, она избегает сцен, и, несмотря на его раздражающую мягкотелость, они всегда прекрасно ладили. Но теперь она хочет вовремя внести полную ясность в их с Паулем взаимоотношения. Так или иначе, она, Катарина фон Радольная, сейчас вовсе не заинтересована в пересмотре дела Крюгера, нисколечко не заинтересована, вот так, моя милочка. Она отпила из бокала смешанное с красным вином шампанское и окинула благосклонным взглядом слегка уставшую от буйного веселья толпу.

Иоганна, когда г-жа фон Радольная столь недвусмысленно выказала ей свое небрежение, вначале ничего не поняла. Она даже не сжала, как обычно, губы, на лбу у нее не прорезались гневные морщинки. Она отступила на два шага, не сводя взгляда с ложи, затем медленно повернулась и поплелась по залу, ничего не видя, пошатываясь, точно выпила лишнего. Г-н Гесрейтер, неизменно торжественный в своем изысканном костюме призрака, робко плелся рядом, опасаясь, что она вот-вот упадет.

Между тем новость о возможном пересмотре дела уже успела облететь зал. Гесрейтер без устали рассказывает об этом всем и каждому. Однако его сообщение встречается довольно холодно. Реакция г-жи фон Радольной уже возымела действие. Многие выслушивают новость смущенно, с безучастной улыбкой, с вымученными равнодушными репликами, в духе: «Так, так, поздравляю!» Иоганна чувствует себя несчастной. Почему они глумятся над ее успехом, почему так безжалостно ставят его под сомнение? А ведь прежде все желали ей успеха. Она была как в тумане, испытывала сейчас глубокое отвращение к окружавшим ее малодушным, ленивым людишкам в дурацких маскарадных костюмах, которые из кожи лезли вон, чтобы казаться веселыми.

Господин Гесрейтер в чем-то осторожно и тихо убеждает ее, преисполненный сострадания, нежности, страстного желания. И когда она, ни с кем не попрощавшись, бросилась к выходу, пошел за ней.

Швейцар выпустил их через вертящуюся дверь из ресторана, и они, закутанные поверх своих причудливых костюмов в шубы, вдруг очутились вдвоем под чистым, холодным небом с застывшим в вышине полумесяцем и бесстрастными звездами.

У входа стояли санп. Гесрейтера внезапно осенило. Он стал горячо уговаривать Иоганну не ехать сразу домой, а сначала немного покататься в эту тихую ночь, провстриться после всей недавней сутолоки и духоты. Он говорил очень серьезно, для вящей убедительности загребая руками. Но он зря так усердствовал. В ответ она просто кивнула и села в сани.

В санях он всячески проявлял свою заботу, порою даже излишнюю. Она сидела, тепло укутанная широкой меховой полостью, понемногу приходя в себя, испытывая приятное чувство защищенности. Неслышно и в меру быстро скользили сани по снежному насту. Полукружье гор, безучастных и первозданных, четко обрисовывалось в ровном свете полумесяца, и после беспорядочного шума и гама в «Пудренице» эта незыблемость действовала благотворно. Крупы лошадей мерно колыхались за широкой спиной возницы. Пауль Гесрейтер молчал. Слышно было лишь его дыхание, из полного, полуоткрытого рта вырывались клубы пара. Чуть скосив карие с поволокой глаза, он нежно поглядывал на молодую женщину.

Дорога змеилась по краю карниза, над глубокой пропастью — Чертовым ущельем. Внизу по дну ущелья были виртуозно проложены дороги: скрепленные между собой скобами доски, крутая лесенка, прорубленная в зловеще-высоких выщербленных скалах, проложенные сквозь камень туннели, осыпаемые брызгами низвергающегося вниз водопада. Сейчас все это было схвачено льдом, перила во многих местах сломались, зима сделала непроходимыми эти рискованные, хитроумные пути через ущелье. Но их необходимо было срочно восстановить для приезжих. На завтра, после зимнего перерыва, было назначено торжественное открытие ущелья. И для того, чтобы открытие состоялось в срок, сейчас, среди ночи, здесь трудилось множество рабочих. В зыбком свете ручных фонарей они висели над обледеневшими выступами, рискуя при малейшем неверном шаге сорваться в пропасть. Одни висели на ремнях, других поддерживали товарищи, третьи цеплялись за скалы «кошками», все что-то прибивали, сваривали, крепили, чтобы на следующий

день господа туристы между ленчем и полдневным чаем с танцами снова могли без риска пройтись по обледеневшему, диковинному ущелью.

Рабочие махали руками и весело подшучивали над запоздалыми путниками. Они не видели в своей работе ничего необычного. Гесрейтер отвечал им шутками в том же духе и на том же местном наречии. А сам все это время терзался страхом, не захочет ли Иоганна повернуть назад, прежде чем они доберутся до Гризау. Она зябла, была разбита и опустошена беспрестанной сменой надежд и разочарований, всем пережитым. Он нежно привлек ее к себе. Она тут же прислонилась головой к его плечу. Его дыхание участилось, он почувствовал, как сильнее забилось сердце. Окрыленный ее близостью, он дал волю фантазии. Размечтался о грандиозном расширении своего предприятия; он непременно отправится с Иоганной в деловую поездку по югу Франции, осмотрит тамошние керамические фабрики. Инфляция в Германии привела к тому, что труд как художников, так и рабочих стоит дешево, и это позволит ему сбывать свои изделия по демпинговым ценам. Он завоюет американский Запад. Каждому фермеру — мюнхенскую керамику! Он осуществит замыслы создателя серии «Бой быков». За счет расширения сбыта ходовой продукции он сможет выпускать и подлинно художественные вещи. Сфера влияния «Южногерманской керамики Людвиг Гесрейтер и сын» будет простираться от Москвы до Нью-Йорка.

Но вот и Гризау. Возница спросил, поворачивать ли ему обратно. В глубине широкой, заснеженной долины виднелась погруженная во тьму гостиница. Гесрейтер взглянул на уставшую женщину, прижавшуюся к его плечу. Немного неуверенно, но деланно бодрым тоном, словно это само собой разумеется, он велел вознице позвонить. После долгих минут ожидания появился заспанный слуга, весьма недовольный тем, что его разбудили посреди ночи, да вдобавок даже не американцы, расплачивающиеся полноценной валютой. Но щедрые чаевые Гесрейтера сделали его более сговорчивым. Конечно, господа могут получить горячий чай. Иоганна ни единым словом не выразила своего одобрения или недовольства поведением Гесрейтера. Слуга включил лишь несколько ламп, и в их свете огромный зал казался непривычно безжизненным. Они сидели в этом огромном, скупо освещенном зале, затерявшись в уголке, и чувствовали себя как-то ближе друг другу. После долгой езды по морозу здесь, в тепле, приятно стали отходить окоченевшие руки и ноги. Нет, не имело никакого смысла сразу же возвращаться назад. Госпо-

дин Гесрейтер заказал комнаты. Иоганна смотрела на него устало, обезоруженно, она ведь точно знала, что будет дальше.

Принесли чай, он теплой волной разлился по телу. Гесрейтер некоторое время весело болтал, потом умолк, глаза его стали еще более томными. Иоганна мысленно сравнивала сидевшего рядом человека, странно притихшего, изящного, окружавшего ее нежной заботой, страстно ее желавшего, но не позволявшего себе ни малейшей вольности, погруженного сейчас в какие-то мучительные раздумья, с порывистым, резким Тюверленом. «Какого вы мнения о Тюверлене?» — внезапно спросила она. Господин Гесрейтер от неожиданности вздрогнул, от прямого ответа уклонился. Иоганна настаивала.

Выяснилось, что г-н Тюверлен не очень симпатичен г-ну Гесрейтеру. Он мялся, что-то недоговаривал, восполняя недомолвки широкими взмахами рук. Он даже вспотел. Наконец выспренно и туманно объяснил, что думал, будто Иоганна дружна с Тюверленом.

— Дружна? Как это понимать?

— Ну, дружна.

Он сидел пристыженный, виноватый, не зная, как выйти из положения. Внезапно Иоганна почувствовала жалость к этому вспотевшему от неловкости человеку, смотревшему на нее томным взглядом. Так, значит, он считал, что она спит с тем, другим. Но он и виду не подавал, был предупредителен, безропотно, как ни в чем не бывало хлопотал вокруг нее, счастливый одним ее присутствием. Богатый, влиятельный человек, избалованный женщинами. Единственный, кто сделал для нее хоть что-то реальное. Без красивых жестов, чуть ли не стесняясь ее. Она вдруг растрогалась, его доброта потрясла ее. Забыла о мухоморах и гномах, пропал куда-то и кисловатый запах. Она взяла его пухлую, холеную руку в свою — крепкую и грубоватую, и погладила. И тогда этот грузный человек задрожал всем телом и окончательно умолк. Они сидели в уголке скупо освещенного, неуютного зала. Было немного прохладно, чай был жидкий, плохо заваренный. В своем диковинном костюме, после целой ночи танцев и огорчений, после двадцати бессонных часов, сидя в этом зале, он, Гесрейтер, уже на перепаде лет, ощутил себя счастливым и смущенным, точно юноша, до глубины души захваченный чувством к любимой женщине. Ради этой сидевшей рядом женщины с ее цветущим, жарким телом и смелыми, правдивыми, серыми глазами он готов был пожертвовать многим и, если понадобится, даже отказаться от спокойной, устроенной жизни. Третий раз за свою жизнь он испытывал

подлинную страсть, такую же, как в дни своей юности, и потом — когда встретился с Катариной. Он чувствовал: больше такое не повторится. Трепетно, исполненный благодарности, он бережно ответил на прикосновение ее руки.

В дверях появился слуга. Доложил, что комнаты готовы, проводил их наверх. Они поднялись по устланной грубой красной дорожкой лестнице, которой, казалось, не будет конца. Молча простились легким кивком головы. Как только слуга исчез, она позволила ему войти к ней в комнату.

В то самое время, как писатель Жак Тюверлен после недолгих раздумий над обозрением «Касперль и классовая борьба» крепко и без сновидений спал в Палас-отеле Гармиша, а Мартин Крюгер, вялый, с землистым лицом, лежал в камере одельсбергской тюрьмы (в эту ночь сны его не мучили);

в то самое время, как министр Кленк, крепкий, здоровый, со спокойной совестью слегка похрапывал, а доктор Гейер, скорчившись в неудобной, неловкой позе, откинув одеяло, терся покрасневшим лицом о скомканные подушки;

в то время, как г-н Пфаундлер, усталый и довольный, ворчливо проверял отчеты своих кассиров;

в то время, как заканчивались последние приготовления к открытию дороги через Чертово ущелье и инженеры с удовлетворением отмечали, что за все девять дней работы произошло лишь два несчастных случая, причем только один со смертельным исходом,—

в это время Иоганна Крайн-Крюгер лежала рядом с Гесрейтером. Рот у него был приоткрыт, он дышал ровно. Лицо его во сне было безмятежным и даже счастливым.

Иоганна чувствовала себя спокойной, удовлетворенной, разомлевшей. Она лежала на спине и, нежась в постели, еле слышно, почти не разжимая губ, не очень музыкально, без устали мурлыкала все те же несколько тактов старомодной песенки. Проплывали какие-то неясные, но приятные мысли, чаще других — о Мартине Крюгере и Жаке Тюверлене.

Рано утром, когда горничные отеля «Почта» в Гризау только-только пробуждались от звонка будильника и, охая и чертыхаясь, вставали с постелей, полупроснулся и Пауль Гесрейтер. Он потянулся и остался лежать с закрытыми глазами, сонный, счастливый, снова перебирая в памяти события минувшей ночи. Каким глубоким и полным было испытываемое им сейчас чувство удовлетворения, тогда как обычно после мимолетной близости с женщиной он ощущал одну только опустошенность и

желание выспаться, радуясь тому, что полученное удовольствие, чем-то похожее на выполнение долга, уже позади. Осторожно, чтобы не потревожить Иоганну, лег повыше, прислушался к ее тихому дыханию. Нет, на этот раз произошло нечто совсем иное. Сейчас он почувствовал это еще острее и радостнее, чем прежде. Он любит ее. Громкое, глупое слово — любовь. Но точное. Хорошо, что Катарина невольно помогла ему. Теперь он отправится с Иоганной в длительную деловую поездку, преследующую и художественные цели, и ее делом тоже займется всерьез. Делом Мартина Крюгера, за которым она,— тут он усмехнулся,— замужем.

Она проснулась, когда за окном уже забрезжило раннее зимнее утро, и задумчиво посмотрела вокруг, без смущения, без улыбки, серьезно, не стесняясь того, что произошло. Вот и хорошо, что все так случилось. Лучше чем с Тюверленом? Быть может.

Обняв ее за шею и в полумраке нежно прижавшись к ней, Гесрейтер лениво, подавив зевок, спросил, правда ли, что Мартин Крюгер дал ложную присягу.

Вопрос до того поразил Иоганну, что у нее на миг захватило дыхание. Она даже не рассердилась на Гесрейтера. Так, значит, этот человек, обнимающий ее сейчас своей пухлой рукой, добрый и наверняка искренне влюбленный, никогда не верил в правоту своего и ее дела? Он вступился за нее, потому что его привлекала ее фигура, кожа, голос. И его почти не интересовало, в самом ли деле невиновен человек, за освобождение которого он боролся энергично и даже страстно. Он спрашивал об этом после близости, чуть ли не зевая. Таковы, значит, эти влиятельные люди и их судьи!

Однако Гесрейтер превратно истолковал ее молчание. «Если это секрет,— успокоил он ее,— то пусть им и останется». И он снова погладил ее, крепче привлек к себе.

Позднее ей пришло на ум, что, даже если б Мартин Крюгер дал ложную клятву, она все равно бы стала его защищать.

Гесрейтер спустился вниз позвонить по телефону в Гармиш, чтобы им прислали в Гризау носильные вещи. Тем временем Иоганна лежала и оглядывала неприбранный, душный, неудобный гостиничный номер. Она теплее и мягче, чем обычно, подумала о Мартине Крюгере. Теперь она поведет за него борьбу более осмотрительно, рано или поздно добьется победы.

Вернулся Гесрейтер. В ожидании прибытия вещей они сели завтракать. Гесрейтер улыбался, глядя на валявшиеся кругом

маскарадные костюмы. Иоганна их не замечала вовсе. Она ела спокойно, непринужденно, с аппетитом.

Теребя бачки, он стал пространно и витиевато рассказывать о поездке, которую намеревался совершить. Обстановка сейчас благоприятная, и он хотел бы расширить свое предприятие. Пора наконец ему самому лично посмотреть, как далеко за послевоенный период шагнуло заграничное керамическое производство. Вначале он поедет в Париж. Ему представляется, добавил он, не глядя на нее и осторожно беря ножом кусочек масла, что и Иоганна в настоящий момент могла бы за границей добиться для своего дела большего, чем в Мюнхене. Он слыхал, например, что тайный советник Бихлер в скором времени отправится в Париж. А когда этот фактический правитель Баварии путешествует, к нему легче бывает подступиться. Он предлагает ей, закончил он, намазав наконец кусочек масла на булочку, поехать вместе с ним. И умолк, смущенно ожидая ответа.

Иоганна, не раздумывая, согласилась.

КНИГА ТРЕТЬЯ

УДОВОЛЬСТВИЕ. СПОРТ. ИГРА

1. Бой быков
2. Базарец в Париже
3. «Касперль и классовая борьба»
4. Проект кошачьей фермы
5. Кленк это Кленк и пишется Кленк
6. Собачьи маски
7. Шесть деревьев становятся садом
8. О чувстве собственного достоинства
9. Сто пятьдесят живых кукол и один живой человек
10. Баварские жизнеописания
11. Разве так выглядит убийца?
12. Монарх в сердце своего народа
13. Баварцы на одре болезни
14. Иоганна Крайн наряжается по случаю некоего торжества
15. Мистерия в Оберфернбахе
16. Касперль и тореро
17. Совещание в присутствии невидимки
18. У всякого своя дурь в голове
19. Человек у руля
20. О смирении
21. Господин Гесрейтер ужинает в Берлине
22. Иоганна Крайн беспричинно смеется
23. Довоенный отец и послевоенный сын
24. Иоганна Крайн купается в Изаре
25. Картины изобретателя Бренделя-Ландхольцера
26. О том, как хорошо на все смотреть со стороны

1

БОЙ БЫКОВ

Все билеты на корриду — дешевые места на солнце, дорогие в тени — были распроданы чуть ли не за неделю. Люди съехались отовсюду из провинции, чтобы посмотреть утром процессию, а под вечер — бой быков. Потому что в программе этой корриды, устроенной, кстати, в пользу такой гуманной организации, как международный Красный Крест, стояло имя матадора Монтильи Второго, снискавшего славу одного из лучших тореадоров страны и, после диктатора, самого знаменитого человека в Испании.

Художник Грейдерер, знавший по-испански всего несколько слов, в сильном возбуждении пытался завести доверительный разговор со своим соседом. Тот с живостью ему отвечал. Баварец и испанец, толком не понимая друг друга, горячо спорили, размахивая руками, довольные каждый интересом со стороны другого. Для Грейдерера, чрезвычайно восприимчивого к любым народным зрелищам, бой быков был главным событием его путешествия по Испании, которое он позволил себе, пока его картины еще пользовались успехом. Он был наслышан о крови, вспоротых лошадиных брюхах и прочих ужасах, и теперь ждал, полный любопытства и нетерпения.

Утренняя процессия произвела на него большое впечатление. Наблюдая мюнхенские процессии в дни праздника тела Христова, он постепенно стал знатоком и ценителем подобных зрелищ и теперь не упускал ни малейшей подробности. Нескончаемой чередой проплывали мимо него тяжелые, красочные одеяния священнослужителей, с варварской роскошью изукрашенные сверкающими драгоценностями святые, которых несли

на носилках скрытые от глаз публики мужчины, чьи равномерные шаги тоже действовали возбуждающе; расшитые золотом мундиры офицеров и чиновников, хоругви, неиссякаемые сокровища кафедрального собора; помпезные воинские колонны. Люди, кони, орудия. И все это шествовало по цветам, густо устилавшим мостовую, под протянувшимися над улицами тентами, надежно защищавшими от жгучего солнца, среди ковров, свисавших с балконов и окон. Художник Грейдерер неотрывно глядел на все это великолепие.

Теперь, после полудня, все эти тысячи участников процессии завладели цирком. Они заполнили белые каменные ряды, уходящие высоко-высоко в ослепительно-синее небо, перекинули через перила пестрые платки и после ладана, мучеников и утренней святости страстно жаждали увидеть кровь быков, распоротые лошадиные брюха, поддетых на рога и растоптанных людей. Громкие голоса разносчиков, предлагавших пиво, сладости, фрукты, программы, веера. Скамьи, усеянные рекламными листками. Серые, с широкими полями касторовые цилиндры мужчин, напоминающие пироги, праздничные шали женщин. Шум, ожидание, пот, общее возбуждение.

Но вот на арену выступила квадрилья. Стремительно, под бравурные звуки оркестра участники корриды промаршировали по арене в своих пестро расшитых курточках. Затем каждый быстро занял свое место на светлом песке. Вот на арене появляется бык. Его много часов подряд продержали в темном загоне, и теперь, очутившись на залитой ярким светом арене перед бушующей толпой, он замирает, настороженно озираясь. Бодает головой ускользающие мулеты. А вот и лошади — жалкие клячи с завязанными глазами. Просунув ноги в широченные стремена, на них восседают пикадоры. Бык, черный, массивный, опустив голову, поддевает тощую лошаденку на рога и странно медлительно перекидывает ее вместе со всадником через себя. Вся эта сцена разыгрывается совсем близко от Грейдерера, сидящего внизу, в одном из первых рядов. Он видит суровое лицо разряженного пикадора. Слышен хруст и треск, когда бык вонзает рога в бок лошади; Грейдедер видит, как он роется в лошадином брюхе, как вытаскивает залитые кровью и опутанные кишками рога, снова вонзает их лошади в бок, вытаскивает. Черт побери, уважаемый коллега, это вам не салонные керамические безделушки серии «Бой быков»! Возбуждение, охватившее тринадцать тысяч зрителей, передалось и баварскому художнику Андреасу Грейдереру, захлестнуло и его.

Бык, отвлеченный было мулетами пестро разодетых парней,

поворачивается к другой лошади, только что появившейся на арене. Всадник пикой вырывает у него кусок мяса и черной кожи. Бык опрокидывает лошадь. Но ее, дрожащую, залитую кровью и экскрементами, принуждают встать и снова гонят быку навстречу. На этот раз бык поддевает ее на рога и рвет на куски. Всадник, прихрамывая, удаляется. Лошадь стонет, ржет, снова пытается подняться, пока человек в красной куртке не приканчивает ее.

Парни с бандерильями, украшенными разноцветными лентами, выстраиваются перед быком. Очень изящные, они, раззадорив быка насмешливыми выкриками, по одному бросаются прямо навстречу его пышущим жаром ноздрям, увертываясь в последний миг, и втыкают ему в тело украшенные лентами бандерильи так, что они остаются там торчать. И оттого, насколько ловко проделывают все это бандерильерос, толпа встречает каждое их движение либо оглушительными рукоплесканиями, либо бешеными неодобрительными криками. Бык, исколотый пестрыми пиками, причиняющими ему боль, истекающий кровью, носится по арене, настигаемый то одним, то другим из своих преследователей. Одного из них ему удается сбить и ранить, но не тяжело.

Но вот появляется на арене человек, останавливается перед ложей префекта, снимает треугольную шляпу — это тот, кто должен убить быка. Конечно, он не Монтилья Второй, но все же матадор с именем, и ему хорошо платят. Он останавливает быка. В левой руке он держит мулету, в правой — шпагу. Подойдя к быку почти вплотную, мулетой манит животное к себе — на цыпочках, сомкнув ноги, непринужденно и хладнокровно, слегка отстраняется, и животное проскакивает мимо, пронзив рогами пустоту. И все начинается сначала. Он управляет разъяренным быком, словно марионеткой на проволоке, малейшее неверное движение грозит ему смертельной опасностью. Каждый поворот сопровождается восторженным ревом тринадцати тысяч глоток: повороты следуют один за другим, туда и обратно, с очень короткими интервалами, и огромный амфитеатр сотрясается от коротких ритмичных хлопков и восторженных завываний.

Поединок близится к концу. Матадор стоит, напрягши плечи, прямо против быка, невысокий, изящный, держа шпагу у самой щеки. То ли ему не повезло, то ли он допустил оплошность, но шпага не пронзила сердце быка, и тот стряхивает ее. Толпа свистит, неистовствует.

Художник Грейдерер не понимает ни ликования зрителей, ни их ярости. Сосед пытается объяснить ему правила, по кото-

рым положено убивать быка. Грейдерер, толком ничего понять не может, но тоже захвачен зрелищем. Вместе с орущей, свистящей, ликующей толпой он весь дрожит от возбуждения. И когда прославленный матадор в конце концов по всем правилам искусства закалывает быка и совершает по арене круг почета, а его сосед и другие бесчисленные зрители бросают свои шляпы под ноги матадора, художник Грейдерер из Мюнхена тоже швыряет на арену свою только что купленную испанскую шляпу, стоившую ему двадцать пять песет, что равняется тысяче ста двадцати семи маркам.

Четвертого по счету быка освистали. Он оказался трусом. Почувствовав приближение смерти, животное захотело — какая подлость — спокойно умереть. Оно не обращало внимания ни на раззадоривающие мулеты, ни на презрительные выкрики. Оно выросло на ферме неподалеку от Кордовы, на плоской равнине с сочной прохладной травой, под высоким небом с парящими в нем аистами. Оно выросло до цены в три тысячи пятьсот песет. А теперь бык стоит под взорами тысячной толпы, исколотый пестрыми пиками, залитый кровью, глухо и жалобно мычащий, пускающий мочу, жаждущий смерти. Он жмется к ограде, люди ему безразличны, и даже порох и огонь, которым его пугают, не способны сдвинуть его с места. Он не хочет возвращаться на песок, под лучи солнца. Он хочет остаться у ограды и тут, в тени, умереть.

Художник Грейдерер смотрел на быка, забыв обо всем на свете. Его хитрое, изборожденное глубокими морщинами мужицкое лицо побледнело от жалости. Он не понимает, что происходит, почему люди вопят, подбадривая то быка, то матадора. Он много раз видел, как умирали люди — дома, в своей постели, на войне, во время уличных боев в Мюнхене, в драке. Но это зрелище, песок, кровь и солнце, этот подчиненный строгим правилам бессмысленный поединок, это великолепное и отвратительное зрелище, когда на потеху зрителям ужасно и непритворно умирали жалкие клячи, могучие быки, а иногда и кое-кто из этих изящно фехтующих людей, потрясло его жадную до зрелищ душу сильнее, чем любая другая виденная им смерть.

Он возвращался к себе в гостиницу по оживленным, вечерним улицам. Дети играли в бой быков. Один из них изображал быка и, нагнув голову, несся на другого, который размахивал платком. Но быку не понравились выпады тореадора, и он его поколотил. Художник Грейдерер сидел в экипаже мрачный, в глубоком раздумье.

«Гнусное отребье, поганые скоты!» — ворчал он, вспоминая

керамическую серию «Бой быков» своего коллеги. Отныне в мозгу художника Грейдерера навсегда запечатлелся образ живого быка, прижавшегося к изгороди, пускающего мочу, безразличного к людям, шпагам, пестрым платкам, жаждущего лишь одного — умереть в тени.

2
БАВАРЕЦ В ПАРИЖЕ

Иоганна сидела в Париже. Ждала. Приезд тайного советника Бихлера во Францию все откладывался. Могущественный баварец был весьма своенравен. К тому же он любил окружать себя ореолом загадочности. Никто не знал точно день его прибытия.

Тем временем г-н Гесрейтер развил кипучую деятельность: осматривал фабрики, устраивал конференции, много разъезжал. Он старался свести Иоганну с самыми различными людьми: может быть, кто-нибудь из них окажется ей полезным. Но она относилась к этому скептически и предпочитала по возможности бывать одна.

Итак, она сошлась с г-ном Гесрейтером. Трудно быть неучтивой по отношению к этому обходительному, ласковому и заботливому человеку. Предупредительный, чуткий, он старался предугадать малейшее ее желание. И тем не менее,— и это было несправедливо,— он часто раздражал ее. Способен ли он вообще безоглядно отдаться чувству? Ни разу, кроме той первой ночи, она этого не ощутила.

В Париже жизнь Иоганны текла спокойно, благополучно, размеренно. Она хорошо, вкусно ела, хорошо спала, к вечеру уставала, а утром снова чувствовала себя свежей. И все же порой ей казалось, что она живет словно личинка в коконе, что это лишь преддверие жизни, сонное прозябание.

Она вновь стала играть в теннис, просто так, для себя. Сейчас в этот период ожидания, небогатого значительными событиями, это были, пожалуй, ее лучшие часы. От теннисиста, по понятиям тех лет, требовались быстрота, выносливость, выдержка, умение мгновенно оценить обстановку. У Иоганны было хорошо натренированное тело, она была выносliва и без суетливости подвижна. Но ей недоставало быстроты реакции, она знала, что никогда не станет большим мастером, да и не стремилась к этому. С нее достаточно было ощущать свое тело, свою силу, свои возможности. После тренировки она бывала бодра,

весела, любила дурачиться и проказничать, как в добрые старые времена до процесса Крюгера.

Господин Гесрейтер всегда стремился в эти часы быть с нею рядом. Глядя на эту рослую девушку, он каждый раз испытывал гордость оттого, что еще не утратил свежести чувств и радостного восприятия жизни. Он признавался самому себе, что Катарина была более удобной подругой, и тем не менее он предпочел ей Иоганну и очень этим гордился.

Как-то раз на парижский турнир приехала Фанси де Лукка. Сплошной комок тщеславия, беспрестанно ищущая все новых побед, она любила общество Иоганны. Утомленная истеричными почитателями, прославленная теннисистка отдыхала душой в обществе спокойной, сдержанной Иоганны.

Как-то Иоганна заглянула к Фанси сразу же после игры. Фанси де Лукка встречалась с американской спортсменкой довольно высокого класса, но все же не настолько высокого, чтобы кто-нибудь хоть на минуту усомнился в победе Фанси. Так что это была не слишком трудная игра. Фанси действительно разгромила соперницу. И все-таки, когда Иоганна после игры зашла в кабину и увидела, что ее подруга лежит в полнейшем изнеможении, она испугалась. Какого же неимоверного напряжения стоило ей собрать в кулак все свои силы, если после игры она свалилась точно подкошенная. И теперь, глядя, как массируют, купают и обтирают смуглое, измученное тело подруги, Иоганна испытывала к ней огромную нежность. Что же будет, если Фанси придется встретиться с более серьезной соперницей, например, с той молодой мантуанкой, встречи с которой она, не признаваясь в этом даже себе самой, до сих пор избегала. Но, допустим, она даже одержит победу над мантуанкой, мыслимо ли предположить, что ей удастся сохранить чемпионский титул больше двух-трех лет? Она уже ничего не способна была приобрести, а могла лишь потерять. Незавидная это участь — стать к двадцати девяти годам знаменитостью и знать при этом, что завоеванная ценой непрерывной борьбы и лишений слава теперь уже недолго будет сопровождать тебя.

Фанси де Лукка снова умчалась куда-то на край света. Иоганна осталась в Париже, продолжая жить в том же размеренном ритме. Ела, пила, спала, мечтала. До того самого дня, пока Гесрейтер не узнал, что землевладелец Бихлер находится в Париже.

Попасть к господину Бихлеру было не так-то просто. Он вместе с секретарем остановился в небольшом отеле. В Париж он приехал, чтобы посоветоваться с врачом-специалистом по по-

воду своей слепоты. Было известно, что старик все еще надеется вернуть себе зрение, однако предполагали, хотя сам он это решительно отрицал, что в Париж его привели и другие дела.

Баварцы не всегда чувствовали себя немцами. Их первый король служил Франции, и своего сына, будущего короля Людвига Первого назвал так в честь своего французского суверена. Их последний король Людвиг Третий со времен войны между Баварией и Пруссией и до самой смерти носил в бедре застрявшую там прусскую пулю. Немногим более ста лет назад один баварский ученый, состоявший на государственной службе, желая этнологическими соображениями обосновать вступление Баварии в наполеоновский рейнский союз, составил меморандум о том, что баварцы по своему происхождению будто бы кельты и с Францией связаны гораздо более крепкими внутренними узами, чем с Пруссией. В последнее время вновь всплыли планы создания рейнского союза. С целью побольше выжать из общегерманского правительства в некоторых кругах весьма искусно манипулировали идеей создания конфедерации, которая, кроме Франции, включала бы в себя также Южную Германию, Чехословакию и Польшу. Разве Франция не имеет в Мюнхене своего собственного пышного посольства, хотя согласно конституции внешняя политика находится исключительно в ведении Берлина? Истинная цель поездки тайного советника Бихлера в Париж была покрыта мраком неизвестности, но на нее при малейших трениях всякий раз со скрытой угрозой намекали встревоженным представителям имперского правительства.

Портье небольшого парижского отеля, где остановился слепой старец, получил строжайшее распоряжение никого к нему не пускать и ни о ком не докладывать. И вообще никакой Бихлер в отеле не проживает. Он никого не принимал. С интересовавшими его людьми он встречался во дворцах высших духовных сановников. Этого грузного человека, который пережевывал бессвязные обрывки фраз, раскатисто хохотал, иссиня-красными узловатыми руками вминал трость в мягкие ковры, можно было встретить и в домах националистических главарей.

Иоганне пришлось долго ждать, пока она не получила от секретаря Бихлера известие о том, что может встретиться с тайным советником в ресторане Орвилье. Она отправилась в знаменитый ресторан. Он был переполнен. В коридорах и у гардероба посетители ждали, когда назовут их номер, чтобы получить место в зале. За столиком Бихлера было оставлено место для Иоганны. Грузный человек уже сидел за столом, он сегодня был

хорошо выбрит, и его квадратное, полное лицо не выглядело старым. Но в его позе, в одежде, в манере держаться,— во всем была видна неряшливость. Он сидел обернутый салфетками и жадно заглатывал изысканные кушанья, приготовленные с тончайшим искусством. Его кормил секретарь. С губ и подбородка тайного советника стекал соус, он чавкал, иссиня-красными пальцами запихивал в рот куски, жевал, глотал, издавал какие-то хрюкающие звуки, выражающие одобрение или неудовольствие, отхлебывал из бокала вино, часто проливая мимо. Вокруг стояли официанты, привычно угодливые, но не умевшие до конца скрыть своего удивления и отвращения к этому дикарю.

Когда секретарь сказал Бихлеру, кто сел за их стол, тот вначале пробормотал нечто невразумительное. Иоганна, не знавшая, говорит ли он по-немецки или по-французски, лишь немного спустя сообразила, что это баварский диалект. Бихлер сопел, бессвязно и сердито бурчал что-то себе под нос. Он знает, кто она такая. Разумеется, знает. Что ей, собственно, от него надо?

Иоганна объяснила, что подвластные доктору Кленку судебные органы преступно медлят с пересмотром дела ее мужа, Мартина Крюгера. Они не отклоняют ходатайства о пересмотре дела, но и не дают ему хода. Вот уже несколько месяцев они занимаются лишь уточнением данных.

Почему она обратилась с этим делом к нему? — проворчал старик. Уж не поверила ли она газетным сплетням, будто он, старый, слепой крестьянин, очень интересуется политикой? Всякие прохвосты не дают ему прохода, пялятся на него, словно на дрессированного зверя. Иоганна молчала. Старик ее заинтересовал. Он принюхивался, точно желая по запаху составить себе представление о ней. «Бабам,— сказал он,— нечего лезть в политику». Тут политика ни при чем, объяснила она. Просто она хочет вернуть себе мужа, своего мужа, которого ни за что посадили в тюрьму. «Ни за что!» — язвительно повторил он, обсасывая куриную косточку.— Сидел бы себе смирно! Уж что-нибудь он наверняка натворил!» Ну а чем он здесь может помочь? Он что, министр? И какое ему дело до правосудия? Но после того, как он огромный кусок мяса запил огромным глотком вина, он совсем другим, благожелательным тоном заметил, что все обстоит не так уж скверно. Он против того, чтобы мучить людей. Он добрый христианин, это всем известно. Вот помиловать виновного в ближайшую амнистию — это в его правилах. Он готов заявить об этом во всеуслышанье. Понятно, если к его словам захотят прислушаться. В газетах упоминалось

о предстоящей амнистии, но как раз поэтому он мало в нее верит.

После этого он как-то сразу замкнулся. Все его внимание снова было поглощено едой. О Мартине Крюгере из него не удалось больше вытянуть ни слова. Иоганна поспешно ушла в тот самый момент, когда секретарь стал вытирать ему салфеткой рот.

Она всячески убеждала себя, что этот доктор Бихлер не так уж отвратителен. А в том, что она не смогла добиться от него большего, виновата одна она с ее необъяснимой скованностью и душевной леностью.

3
«КАСПЕРЛЬ И КЛАССОВАЯ БОРЬБА»

Жак Тювердлен сказал секретарше, когда г-н Пфаундлер уже входил в комнату:

— Не впускайте ко мне этого Пфаундлера! Гоните его прочь. Он мне не нужен!

Пфаундлер, нимало не смущаясь, достал из кармана несколько рукописных листков и заявил:

— Вы свинья, Тювердлен. Сначала вы делаете вид, будто со всем согласны, а потом подсовываете мне ту же самую дрянь.

— Теперь, когда вы, Пфаундлер, столь недвусмысленно высказали свое мнение, можете убираться,— сказал Тювердлен, поворачиваясь к секретарше, в ожидании сидевшей за машинкой.

— Барские замашки! — разбушевался Пфаундлер.— Это на вас похоже! Без конца возитесь с «Касперлем и классовой борьбой». А где же «Выше некуда»? Если вы до субботы не сдадите мне «Выше некуда», я плюну на аванс, который выдал вам, и обозрение напишет другой.— И он швырнул на письменный стол листы рукописи.

Тювердлен невозмутимо продолжал диктовать. Г-н Пфаундлер послушал несколько фраз, высоко вскинул брови и застыл на месте.

— Позвольте, но ведь это даже не «Касперль и классовая борьба»! — воскликнул он с неподдельным возмущением.— Это вообще не обозрение, а черт знает что.

Его мышиные глазки под шишковатым лбом гневно блеснули. Тювердлен не отвечал. Г-н Пфаундлер еще немного покричал, но в конце концов, сознавая свое бессилие, пробормотал, оставляя путь к отступлению:

— Свой ультиматум я вам подтвержу еще и заказным письмом!

Когда Пфаундлер вышел, Жак Тюверлен с плутоватым видом взглянул на секретаршу.

— Он по-своему прав,— и продолжал диктовать. Все, что он сейчас диктовал, никак не было связано с обозрением, так что замечание Пфаундлера было совершенно справедливо. И все-таки определенная связь существовала. Чтобы замысел получил удачное воплощение, Тюверлен должен был вначале уяснить для себя некоторые теоретические проблемы. Вызывало сомнение, осталось ли у театра хоть что-нибудь общее с искусством. Спорным был и сам вопрос о том, можно ли рассматривать искусство как достойное человека занятие. К примеру, инженер Каспар Прекль в этом сомневался, и его сомнения, как бы решительно Тюверлен их ни отвергал, беспокоили его, ему не терпелось опровергнуть доводы Прекля своими контрдоводами. Они много спорили.

Работа захватывала Жака Тюверлена всего, без остатка. Ему не мешали ни посетители, ни частые телефонные звонки, ни сновавшие вокруг него, словно у почтового окошка, люди. Его не заботило, получится ли что-нибудь из его работы. Он не испытывал благоговейного трепета перед творением, для него удовольствием был сам процесс работы, ему нравилось беспрестанно исправлять и переделывать написанное. Его увлекала мысль дать новую сценическую жизнь древнему Аристофану в современном театре, столь чуждом произведениям великого грека. Импульсивность драматурга, мгновенные переходы от пафоса к непристойным остротам, гибкость протагониста, только что выступавшего великим обличителем и молниеносно превратившегося в шута, и прежде всего — свободная композиция, позволяющая вносить любые добавления, не меняя основных сюжетных коллизий,— все это привлекало Тюверлена.

Комик Бальтазар Гирль и инженер Прекль помогали ему советами, высказывали свои суждения и критические замечания. Все трое подолгу просиживали вместе за работой. Комик Гирль чаще всего угрюмо молчал. Иногда хмыканьем выражал сомнение, иногда кивал большой, грушевидной головой, что означало высшее одобрение, более определенного выражения чувств от него невозможно было добиться. Иногда он желчно говорил: «Ерунда!» Но с живейшим интересом ловил каждое слово Тюверлена и жадно впитывал в себя его идеи. Тюверлена и Прекля больше всего интересовали технические возможности работы, а не производимое впечатление, не сам по себе успех

обозрения. Фанатичный инженер, угрюмый актер и неугомонный писатель сидели с видом заговорщиков и, словно алхимики, бились над задачей, как извлечь огонь искусства из эпохи, не имевшей ни однородного общества, ни единой религии, ни однородных форм жизни.

Жак Тюверлен, страстно увлеченный работой, но вечно разбрасывающийся, то и дело отвлекался от своей главной задачи. Он одновременно работал над окончательной редакцией «Маркса и Дизраэли», над вариантом пьесы для радио «Страшный суд», над обозрением. В радостном возбуждении он носился взад и вперед по своей неубранной, роскошно обставленной комнате, за машинкой в ожидании сидела безукоризненно чистенькая секретарша, играл граммофон, а он скрипучим голосом выкрикивал стихи, громко смеялся над удавшейся остротой.

Как это здорово — работать! Испытывать чувство полета, когда люди и вещи, все, что ты видел, пережил, о чем думал, читал, получали воплощение. Полезны даже ярость, горечь, заминки, препятствия, полезно, когда выясняется, что в твоем творении что-то не ладится. А огромное удовлетворение потом, когда все вновь налаживается и становится ясно, что идея была и в самом деле плодотворной, полной сложностей и противоречий! Как прекрасно было работать за пишущей машинкой, когда буквы обрушивались на бумагу, воплощались в художественное произведение, становились осязаемыми. А ошеломляющая радость внезапного рождения мысли — в ванне, за едой, за чтением газеты, среди пустого разговора.

Благословенно и то мрачное состояние, когда сидишь взаперти, проклиная все на свете, ощетинившись, словно еж, потому что бесповоротно решил: хоть убей, ничего не получается. Впереди гора, и тебе на нее никогда не взобраться. Правы те, что смеются над тобой... У тебя не хватает сил, ты слишком много на себя берешь. Ты — жалкий ремесленник. А затем чувство удрученности и одновременно боевого задора, когда углубляешься в произведения тех, кто, вопреки всему, одолел гору. Когда в этих книгах оживает жизнь людей, давно канувших в Лету, сливаясь с твоей собственной жизнью. Сидишь над бесподобным древним Аристофаном и смеешься так же, как смеялся *он,* когда придумал эту остроту, вот этот скромный трюк, с помощью которого он сумел одолеть точно такую же трудность!

Что значат комфорт, женщины, путешествия, деловые и политические удачи, да и сам успех в сравнении с этим упоением работой? Как все это ничтожно перед вдесятеро более под-

линной, удесятеренной во времени и пространстве жизнью человека, создававшего пьесы, образы, притчи.

Довольно-таки забавны были нравы этого общества, да и оно само, обычно взимавшее высокую плату за любое удовольствие, но вот в случае с ним еще и платившее человеку, который сам себе доставлял удовольствие. Запрети оно ему вдруг писать, разве бы он не согласился заплатить ценою самой черной работы за право писать снова?

Он, словно аист, вышагивал по комнате, носился по ней, бродил по улицам с озабоченно-плутоватым выражением на испещренном мелкими морщинками лице, ездил на машине в горы, гулял с инженером Преклем по лесам долины Изара и по берегу Аммерзее. В то время он много занимался спортом, плавал, хотя ранней весной вода в озере была еще очень холодная, колесил на машине по труднодоступным, крутым проселочным дорогам. Совершенствовался в боксе и джиу-джитсу. Его узкие бедра стали более гибкими, он раздался в груди и плечах.

С кем бы он ни встречался, заговаривал о своей работе. Выслушивал любое замечание, причем замечания людей непосвященных — охотнее, чем так называемых знатоков. Если критика бывала резонной, без сожаления отказывался от плодов напряженного труда. В споре размахивал руками, поросшими рыжеватым пушком. Его глаза на странно оголенном, в мелких морщинках лице хитро щурились.

Он пытался растолковать колючему скептику Каспару Преклю, почему именно над темой Мюнхена работает с таким увлечением. Ему отлично видна вся беспросветная тупость этого чванливого города, но он, Тюверлен, любит его таким, каков он есть. Не потому ли Сервантес увековечил Дон-Кихота, что, отвергая его разумом, принимал сердцем? Он, Тюверлен, прекрасно знает жителя Баварского плоскогорья со всеми его недостатками. Однако всем сердцем к нему привязан. Он любит этого человека, умеющего воспринимать пятью органами чувств лишь то, чему можно найти практическое применение, но неспособного мыслить отвлеченно. Любит это существо, которое по своим умственным способностям отстало от большинства белокожих, но сохранило больше первобытных инстинктов. Совершенно верно, ему, писателю Тюверлену, по душе этот лишь слегка цивилизованный житель лесов и полей, который зубами и когтями защищает свою добычу и встречает все новое глухим, подозрительным ворчанием. И разве он не великолепен в своей эгоистической ограниченности, этот житель Баварского плоскогорья? Как он восхваляет свои недостатки, выдавая их за

племенные особенности. С какой убежденностью он именует свою атавистическую неотесанность — патриархальной, свою грубость — упорством, тупую ярость против всего нового — верностью традициям. Это же просто поразительно, как он хвастается своей дикарской драчливостью, выдавая ее за истинно-баварскую львиную храбрость. Он, Тюверлен, далек от того, чтобы высмеивать эти «племенные особенности». Наоборот, он охотнее всего превратил бы в национальный заповедник Баварское плоскогорье со всеми его жителями, которые пьянствуют, распутничают, коленопреклоненно стоят в церквах, дерутся, творят правосудие, политику, картины, карнавалы и детей,— он с радостью сделал бы заповедником всю эту страну с ее горами, реками, озерами, с ее двуногим и четвероногим зверьем. И, уж во всяком случае, он хочет запечатлеть на бумаге эту колоритную, допотопную жизнь, показать ее со всех сторон, во всем ее своеобразии. С помощью комика Гирля он стремится по-аристофановски пластично передать это в обозрении «Касперль и классовая борьба».

Работой Тюверлена весьма интересовалась г-жа фон Радольная. Всякий раз, когда она бывала в Мюнхене, она не упускала случая навестить Тюверлена, несколько раз ей даже удалось затащить его к себе в Луитпольдсбрун. Ей необходимо было отвлечься, нужны были Пфаундлер, обозрение, Тюверлен. Она была глубоко недовольна собой — впервые за много лет. Тогда на балу «Ночных бродяг» она вела себя неумно и бестактно. Изменила своему принципу — не принимать важных решений вечером, а отложить их на утро. Как и всякий опрометчивый поступок, и этот имел последствия. Какую чепуху она вбила себе в голову! Мартин Крюгер — враг ей, Иоганна Крайн — тоже. Какая ерунда! Но потом выяснилось, что скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Во всяком случае, в Баварии весть о возможной конфискации имущества бывших владетельных князей была встречена довольно спокойно. Сильное впечатление произвели, пожалуй, лишь слухи о том, как искусно последний, ныне покойный король сбывал продукты из своего поместья, и особенно слухи о необычайно высоких ценах, по которым он продавал эти продукты во время войны. Людям хотелось бы видеть своего короля в ореоле величия. Будучи сами по-крестьянски расчетливыми, они считали крестьянские повадки недостойными монарха, ругали его за жадность и любовь к наживе, насмешливо называли «молочником». И тем не менее никогда не удастся собрать абсолютное большинство голосов, необходимое для принятия закона о кон-

фискации имущества. Не было серьезных оснований для паники, охватившей ее, Катарину, когда она услышала эту новость. Она сморозила порядочную глупость.

К тому же ей недоставало Гесрейтера больше, чем она ожидала. Она злилась на себя за то, что непростительно глупым поведением сама, своими руками толкнула его к Иоганне.

И, что случалось с ней редко, не знала, как вести себя дальше. При первом же удобном случае написала Гесрейтеру любезное деловое письмо, не слишком теплое и не слишком холодное, так, будто ничего не произошло. Долго колебалась, не написать ли и Иоганне. Но ее удерживало воспоминание о первой содеянной глупости, а когда от Гесрейтера пришел витиеватый, уклончивый ответ на одни лишь деловые вопросы, она и вовсе раздумала писать Иоганне.

На первый взгляд, в ее жизни ничего не изменилось. Но она чувствовала, что стареет, находила морщинки на своем красивом полном лице. Во всей ее фигуре сквозила усталость, теперь она уже далеко не всегда приковывала к себе на вечерах всеобщее внимание. Она старалась не задумываться над тем, кто в этом виноват, другие или она, сомневаются окружающие в прочности ее положения или же в ней самой. Во всяком случае, она искала общества Тюверлена.

А ему нравилась пышнотелая, цветущая дама, которая, принадлежа прошлому, была неразрывно связана и с настоящим. Ему импонировала та естественность, с какой она принимала ухаживания и с какой она, истая баварка, смотрела на мир, как устрица на свою раковину. Его интересовали и ее суждения. Это были суждения, характерные для определенного социального слоя — правда, того самого, который совершил величайшую глупость, развязав большую войну, но прежде заложил фундамент этой все же приятной эпохи. Пусть недовольные проклинают это время, он, Тюверлен, не знает из прежних эпох ни одной другой, в которой предпочел бы жить!

Высказанные вскользь успокоительные заверения Каспара Прекля в том, что в марксистском государстве при полном социальном равенстве личная жизнь каждого не будет стеснена, не слишком-то его убеждали.

Поэтому он вполне доброжелательно относился к частым визитам спокойной и рассудительной дамы, уверенный, правда, что ее суждения об обозрении имеют лишь весьма относительную ценность. Иной раз он заговаривал с ней о Гесрейтере и Иоганне. Как ему казалось, умно, без всякой заинтересованности. Но она лучше его самого понимала, как сильно ему

недостает Иоганны. Она понимала, что, едва он закончит работу, все его помыслы обратятся к Иоганне. И старалась перетянуть его на свою сторону. Он ей нравился. К тому же она надеялась при удобном случае вернуть его Иоганне, так сказать, в обмен на Гесрейтера. А пока она сидела у него, пышная, медноволосая, дружески участливая, ведущая незаметную борьбу, улыбающаяся, несчастливая.

4
ПРОЕКТ КОШАЧЬЕЙ ФЕРМЫ

Закинув за голову тонкокожие руки, доктор Зигберт Гейер лежал в просторном, обтрепанном домашнем халате на оттоманке, покрытой рваным, толстым пледом. Лицо его за последнее время немного округлилось. Глаза были закрыты. О чем-то размышляя, он двигал челюстью, точно жевал бутерброд, отчего его плохо выбритые щеки равномерно подрагивали. Комната была обставлена убого и безвкусно. На письменном столе, несуразно большом, что вечно его раздражало, в беспорядке валялись бумаги, рукописные листы, вырезки из газет.

От ведения адвокатских дел Гейер почти совсем отказался, мало занимался политикой, редко выходил из дому. Ел то, что подавала экономка Агнесса. Работал над рукописью «История беззаконий в Баварии с момента заключения перемирия 1918 года до наших дней». Он работал теперь над книгой с той бешеной одержимостью, с какой прежде занимался адвокатскими делами. А в награду себе обещал, что, если закончит книгу и останется ею доволен, снова вернется к своему любимому детищу «Политика, право, история». Драгоценную папку он положил на самую верхнюю полку над письменным столом, до которой невозможно было дотянуться. Оттуда, сверху, эта папка глядела на него, придавая ему новые силы.

Со страстным упорством отбирал он «судебные случаи» для «Истории беззаконий». Не подходил к телефону, экономке Агнессе велено было его не звать. Отдыхал за чтением Тацита и Маколея. Целая стопка газет вот уже вторую неделю лежала непрочитанная. Факты старался излагать с классическим бесстрастием, а гнев и жар души оставались скрытыми от посторонних глаз. Строго научно, с неумолимой логичностью препарировал беззаконие и произвол. Он знал: баварское беззаконие тех лет было лишь малой толикой беззаконий, творившихся повсюду в Германии и во всем мире. Однако баварское беззако-

ние он ощущал острее, чем любое другое. За ним стояло крупное, властное лицо ненавистного ему Кленка. На столе валялось несколько книг, росли стопки нераспечатанных писем и непрочитанных газет, все было засыпано пеплом от сигарет, а он работал до изнеможения, наедине со своими мыслями, лишь изредка позволяя себе послушать по радио немного музыки. Оттачивал каждое слово, добиваясь классически ясного стиля для своей «Истории беззаконий». О деле Крюгера не упомянул: на фоне высоченной горы фактов оно было всего лишь холмиком.

Для экономки Агнессы настала счастливая пора. Эта растрепанная женщина с изможденным желтым лицом ходила вокруг на цыпочках, с собачьей преданностью стараясь угадать малейшее желание хозяина. Он покорно позволил ей наводить видимость порядка. Теперь она могла убирать комнаты, заставляла его вовремя поесть. Отныне этот человек принадлежал ей одной. С огромной радостью она выполняла его поручение — оберегать его от всего, что мешало ему работать. Она замуровала его в четырех стенах. Уже две недели он не видел ни одного человека,— разве что случайно выглянет в окно. В своем рвении экономка Агнесса зашла так далеко, что сама разбирала почту, занималась его денежными делами. Поскольку он без толку торчал дома, вместо того чтобы делать деньги, ей самой приходилось изворачиваться. Времена были тяжелые, из-за беспрерывного роста цен сбережения быстро таяли. Доллар стоил уже триста марок. Домашним хозяйкам, вынужденным заботиться о бесчисленных мелочах плохо организованного быта, приходилось трудиться изо всех сил. Возможности доставать продукты и другие предметы первой необходимости были ограничены, и каждым удобным случаем нужно было пользоваться быстро и с умом. Не потратишь деньги в эту неделю, так в следующую на них купишь ровно половину. Ненадежные отечественные деньги торговцы брать не хотели и многие товары продавали лишь на иностранную валюту. Чтобы раздобыть для своего хозяина приличную еду, Агнесса с помощью лести и всяких уловок доставала у темных сельских спекулянтов дефицитные продукты, выискивала новые и новые возможности. Все это требовало нервов, организаторского таланта, быстроты решений и постоянной бдительности. Ради своего доктора она даже стала спекулировать на бирже; кассиры небольших банковских филиалов, где она заключала сделки, побаивались ее хриплого, возбужденного голоса.

К тому же несносного доктора ни на минуту нельзя было оставить одного. Кто подойдет к телефону, откроет дверь, поза-

ботится о домашних делах, пока она бегает за покупками и в банк, пока охотится за съестным?

Между тем адвокат целиком погрузился в работу. Четкость логических постулатов, строгая последовательность в рассуждениях доставляла ему радость. Он доверял мыслителю, утверждавшему этику геометрическими построениями. Окрыленный своим умением излагать одно, десять, тысячу дел так, что и слепцу становилась очевидна система — ненавистная, лживая система, выдающая насилие, произвол, стремление к наживе, политиканство за этику, убеждения, христианство, право, законность, он ни разу в жизни не чувствовал себя таким счастливым, как сейчас.

Он писал, улыбался. Вычеркнул лишнюю фразу. Стало ли после этого изложение более ясным? Проверил снова. И в то самое время, когда он перечитывал про себя абзац, в прихожей раздался звонок. Он не обратил на это внимания, восстановил весь контекст, еще раз проверил. Вычеркнул из старого предложения пять слов, снова его перечитал. Звонок продолжал звонить настойчиво, беспрерывно. Ну, вот, никто о нем не позаботится. Эта разгильдяйка Агнесса вечно забывает о своих обязанностях. Мешать ему она умеет, а когда нужна, ее где-то черт носит. Кряхтя, ворча, шаркая ногами, он поплелся в темную прихожую. Открыл дверь.

Отпрянул. Перед ним стоял молодой человек, наглый, легкомысленный, с едкой усмешкой на ярко-красных губах. Адвокат судорожно глотнул. Ему показалось, будто вся кровь мгновенно прилила к голове. Пошатнулся, жадно ловя ртом воздух. А юноша продолжал стоять на пороге, все с той же усмешкой на губах.

— Могу я войти? — спросил наконец Эрих. Адвокат отступил от двери. Эрих осторожно, бесшумно затворил ее и пошел за адвокатом в его неприбранную комнату.

Огляделся. Заметил книги, беспорядок, убогую, кое-как расставленную мебель, неуют. Даже не попытался скрыть презрения. Он пришел сюда впервые. До сих пор адвокат сам отыскивал его. То, что мальчик пришел к нему, было для доктора Гейера большим, просто огромным событием. Куда более важным, чем «История беззаконий»,— важнее всего на свете. Какое ужасное невезение, что приход мальчика застал его врасплох. Он так часто представлял себе, как это произойдет, так часто повторял слова, которые скажет мальчику, и ласковые и злые. Но теперь все вылетело у него из головы. Оробевший, растерянный, неряшливо одетый, беспредельно жалкий стоял он перед своим мальчиком, который впервые сам к нему пришел.

— Может быть, присядем? — сказал наконец Эрих.— Если только нам это удастся,— добавил он, бросив вокруг вызывающе презрительный взгляд.

— Да, здесь немного неуютно,— чуть ли не извиняясь, сказал адвокат. Ни одному из посетителей он не говорил ничего подобного. А юноша сидел, закинув ногу на ногу: ни дать ни взять — светский господин. Он тотчас же захватил инициативу. Говорил уверенно, с северогерманским столичным акцентом, а Гейер примостился на краешке стула и, покорный, осунувшийся, беспомощный, ждал.

— Ты, очевидно, удивлен, что я заглянул к тебе? — перешел наконец Эрих к делу.— Ведь ты знаешь, я не очень-то люблю с тобой встречаться. Тем более тут.

— Знаю,— ответил доктор Гейер.

— Но больно уж выгодное дельце подвернулось,— продолжал молодой человек,— так что я, несмотря на понятную неприязнь, не мог не прийти к тебе. Хочу перехватить у тебя кое-какую мелочишку, без нее мне не обернуться.

И он стал излагать фантастическую историю о некоей кошачьей ферме, которую он решил завести, чтобы потом сделать баснословный бизнес на кошачьих шкурках. Кошки будут кормиться крысами, одной кошке, чтобы наесться, хватает четырех крыс. А крыс будут кормить трупами кошек, с которых содрали шкурку. Каждая кошка за год принесет по двенадцать котят, крысы размножаются в четыре раза быстрее. Так что ферма автоматически прокормит сама себя. Кошки будут пожирать крыс, а крысы — кошек. Ну, а предпринимателям достанутся шкурки. Короче, дело верное, как, должно быть, уже понял доктор Гейер. Все время, пока мальчик развивал свой прожект, уверенно, не только не скрывая его фантастической нелепости, а даже с какой-то издевкой подчеркивая ее, Гейер разглядывал брюки, облегавшие его скрещенные ноги. Потому что взглянуть ему в лицо он отваживался лишь изредка. Брюки были из плотного английского материала, тщательно отутюженные. Гейер подумал, что сам он, пожалуй, никогда не носил таких хороших брюк. Широкие, свободные, но благодаря отутюженной складке элегантные. Из-под них матово поблескивали тонкие носки. Туфли ладно сидели на ногах — конечно, сделаны на заказ.

Неряшливо одетый, сидя в неудобной позе, доктор Гейер избегал смотреть мальчику в лицо. Он невольно отводил глаза и принимался разглядывать пол. К фантастически нелепым небылицам, которые с откровенной издевкой плел ему Эрих, он не

очень-то прислушивался. Нет, он думал о том, что сказала бы мать, что сказала бы Эллис Борнхаак, ведь мальчик, вопреки всему, сидит перед ним, в его доме, и нуждается в его, Гейера, помощи. Перед глазами встала рослая девушка, такая, какой он впервые увидел ее в то самое время, когда после успешно сданных экзаменов проводил две недели в Австрии на берегу озера. Должно быть, он был тогда очень окрылен, остроумен, настойчив, охвачен особым чувством, которое быстро передавалось другому. В сущности, для него и по сей день осталось загадкой, как ему удалось тогда так быстро увлечь эту рослую красивую девушку. От нее веяло свежестью: гладкая кожа, плотно сбитое, стройное тело, красивое, смелое, не слишком умное лицо. Нередко, глядя на Иоганну Крайн, он невольно вспоминал о ней. Вспоминал теплые ночи на озере, когда они лежали рядом, разомлевшие, счастливые, посмеиваясь над зловредностью круживших в воздухе докучливой мошкары и коношившимися во мху жучками и муравьями. Неужели это он тогда лежал в лесу с той девушкой? Ну а потом, когда возникли осложнения, когда она забеременела и сомневалась, оставить ли ей ребенка... Ссора с ее нетерпимой, мещанской семьей. Вспомнил, как тогда она все-таки приняла его сторону, и он был счастлив, отдавая ей свои скромные сбережения. Как она колебалась, выходить ли ей за него замуж. Вначале отказалась, потом согласилась и в конце концов решительно отказалась. Как потом,— он до сих пор не знал почему,— возненавидела его, с холодной злобой издевалась над его непрактичностью и рассеянностью, над его мигающими глазами. Как он совершенно растерялся перед этой все растущей, испепеляющей ненавистью. С каким презрением она отвергала его настойчивые просьбы выйти за него замуж. Как в конце концов, в то самое время, когда он начал хорошо зарабатывать, вовсе отказалась от его денег. Перебралась в Северную Германию, окончательно порвала со своей семьей, перестала отвечать на его письма. Сильно нуждалась, с трудом зарабатывала на жизнь. Воспитала ребенка в ненависти к нему, Гейеру, к этому еврею, которого любила несколько недель, а затем возненавидела, словно какое-то вонючее, отвратительное животное. Как затем Эрих, видно, потому, что ему опротивела серая, будничная жизнь в постоянной нужде, и потому, что в гимназию его не приняли, добровольно, совсем еще мальчишкой, ушел на фронт. Как его мать умерла от гриппа. Как мальчик вернулся с войны, изломанный, пустой, неспособный к серьезному труду. Как родители покойной Эллис вначале хоть и неохотно, но кое в чем помогли мальчику, а затем вовсе

от него отвернулись. Как он, Гейер, предлагал ему свою помощь, с каждым разом настойчивее, и каждый раз Эрих от нее отказывался. Как мальчик связался с этим своим гнусным фронтовым дружком, который, хоть и был на восемь лет старше Эриха, был на него очень похож, с этим отвратительным фон Дельмайером. Как он, Гейер, виделся с мальчиком на нейтральной почве, всячески старался ему помочь. Как непонятная, глухая ненависть матери, унаследованная сыном, всякий раз обрушивалась на него, Гейера, и он совершенно терялся. Как мальчик снова и снова глумился над ним, прячась только от него одного.

Все это успел передумать, мысленно увидеть и вновь пережить адвокат Гейер, пока Эрих, никчемный юнец в превосходно отутюженных брюках и безукоризненных, точно по ноге ботинках, сидел перед ним, излагая идиотский проект кошачьей фермы.

— Господин фон Дельмайер тоже участвует в деле? — внезапно спросил Гейер.

— Само собой. Ты что-нибудь имеешь против? — с вызовом ответил Эрих.

Нет, адвокат Гейер ничего не имел против. Что он мог против этого иметь?

Тут Эрих сказал, что кошачья ферма — лишь одно из многих дел, которыми они думают заняться. Сейчас,— понятно, не для немощных стариков, а для молодых, энергичных людей,— настали хорошие времена. Если из этой затеи с кошачьей фермой ничего не получится, тогда они возьмутся за какое-нибудь другое выгодное дельце. К примеру, он в курсе целого ряда классных политических начинаний, для которых позарез нужны надежные парни. У него, Эриха, отличные связи. Он назвал несколько имен. Главари правых организаций, главари ландскнехтов, Тони Ридлер и тому подобные герои нелегальных союзов и корпораций. У адвоката Гейера их имена вызывали физическое отвращение и презрение — наспльники, принадлежащие к низшей людской породе, некоей разновидности животных. И вот со всеми этими субъектами Эрих и его друг фон Дельмайер водили дружбу. Политических комбинаций полно, только выбирай. Сорвется затея с кошачьей фермой, тогда они займутся этими делами. Торопливо выкладывая свои планы, он глядел на Гейера дерзко, зло и пренебрежительно. Но адвокат Гейер сидел, уставившись в пол. Молчал. И похоже, даже не слушал его.

Внезапно мальчик заявил, что у него мало времени. Пусть адвокат решает, готов ли он участвовать в деле?

Гейер поднял глаза. Точно в тумане, припомнил, что тогда,

во время нападения, ему показалось, будто перед ним мелькнуло пустое лицо страхового агента фон Дельмайера. Он с трудом поднялся. Немного прихрамывая, заковылял по комнате. Взял палку. Прихрамывая, снова прошелся взад и вперед. Вынул сигарету. Предложил мальчику. Тот помедлил, затем взял.

— Сколько тебе нужно денег? — спросил адвокат.

Юноша назвал не очень большую сумму. Гейер, шаркая ногами, вышел. Юноша остался в комнате, покурил, встал, бесцеремонно полистал рукопись, снял с полки книгу. Из соседней комнаты доносился голос адвоката и другой — высокий, сиплый, плаксивый, о чем-то умолявший его. Долго, бесконечно долго длился за дверью этот ожесточенный спор.

У юноши был хороший слух, и, хотя спорили шепотом, он сумел кое-что расслышать. Он себя погубит,— убеждал Гейера плаксивый голос, если даст хоть пфенниг этому гнусному попрошайке. Того потом не отвадишь. А у них и так нет денег, ведь доктор больше не занимается делами, за которые платят. Ей еле-еле удается раздобыть кое-какие гроши, чтобы прилично его кормить. Как же можно выбрасывать на ветер последние деньги?

Хозяин дома вернулся, держа в руке несколько скомканных иностранных банкнот и немного немецких денег. Эрих внимательно рассмотрел иностранные банкноты, тщательно их разгладил и положил в карман. Господин адвокат выгодно поместил свои деньги, сказал Эрих, пусть он не думает, что делает ему одолжение, и пусть не рассчитывает на благодарность. Просто они заключили сделку. Очень выгодную сделку. Понятно, некоторый риск тут есть, но где его нет в нынешнее время. С этими словами он ушел.

Вдогонку ему еще долго бранилась и причитала экономка Агнесса. Доктор Гейер сидел в своей неприбранной компате. Машинально поднял брошенный мальчиком окурок и положил в пепельницу. Почувствовал голод. Однако Агнесса, верно, чтобы наказать его, не приносила ему поесть. Значит, они занимаются политикой! В этом виноват Кленк. И в этом тоже. Он снова принялся было за «Историю беззаконий». Но сидел над рукописью опустошенный, вялый. Сидел, курил, перед ним проплывали картины прошлого, ему не работалось.

Велел приготовить ванну, уже несколько дней он не принимал ванны. Расслабившись, лежал в теплой воде. Разве то, что мальчик пришел к нему, само по себе уже не было победой? Он подумал об его матери, об Эллис Борнхаак. Всякий раз, когда мальчик испытывал в чем-либо серьезную нужду, он обращался

не к ее родителям, а приходил к нему. Улыбаясь, Гейер слегка покачивался в теплой воде. Спору нет, у мальчика дикие привычки и манеры, да и характер трудный. Но виноваты в этом порядки в стране, виноват Кленк. Как бы то ни было, а мальчик пришел к нему.

Гейер вылез из ванны, неторопливо оделся, к удивлению не устававшей браниться и причитать экономки Агнессы, с необычной тщательностью. Он отправился в лучший городской ресторан, ресторан Пфаундлера, вкусно поел, выпил вина. Вступил там в оживленную беседу с некоторыми знакомыми. Вечером, откупорив бутылку дорогого вина, прочел главу из Тацита и главу из Маколея. Этот день запомнился ему как праздник.

5

КЛЕНК ЭТО КЛЕНК И ПИШЕТСЯ КЛЕНК

Когда г-н фон Дитрам ушел, Кленк потянулся, довольно заурчал и принялся насвистывать благозвучный классический мотив. Этот осторожный господин фон Дитрам, аристократ из окружения утонченного, выдержанного Ротенкампа, глава нового кабинета, реорганизованного, согласно его, Кленка, пожеланиям, делает все, что он ему велит. Завтра новый кабинет будет представлен ландтагу. Он, Кленк, только что окончательно отшлифовал правительственное заявление, и Дитрам согласился с малейшими его замечаниями. Итак, с этим он справился. С прежним премьером, с этим старым болваном Зиглем невозможно было договориться. Вечно стучал кулаком по столу, да и этот хамский тон в отношении Пруссии и имперского правительства! Так тоже не годится. Ему, Кленку, стало невмоготу и дальше сидеть на одной министерской скамье с такими свиньями. Хорошо, что он поставил подлинных закулисных правителей перед выбором: либо выделить наконец в правительство кого-нибудь из авторитетных людей, либо принять его, Кленка, отставку. Этот новый, Дитрам, с неба звезд не хватает, отнюдь. Идея выдвинуть его на пост премьера пришла в голову Рейндлю, и он выставил его кандидатуру на обсуждение. Он, Кленк, не любит этого Пятого евангелиста. Больно уж он себе на уме, да и корчит из себя невесть что, будто он сам бог-отец или король Людвиг Второй. Однако снова ввести в игру старого Дитрама — это была неплохая идея. Пусть он не блещет умом, зато прекрасно воспитан. При принце-регенте Луитпольде он был пос-

лом в Ватикане. Он беспрекословно выполнит все, что Кленк сочтет необходимым.

Все это потребовало от него, Кленка, немалых усилий. Совещания с руководителями партии, телефонные переговоры с негласными правителями страны, бесконечные разъезды — преневприятный закулисный торг. Эта история тянулась целую неделю. Ему пришлось пропустить два концерта, которых он с нетерпением ждал, он даже не смог урвать полчаса, чтобы в такую прекрасную погоду съездить за город. Но теперь все позади, все кончилось наилучшим образом. Он, Кленк, показал им, где раки зимуют. Он еще кое-что значит, и это наверняка уже уразумели и все остальные. Кленк это Кленк и пишется Кленк.

Сейчас около девяти. Он имеет полное моральное право сегодня вечером отдохнуть. Хоть раз потешит себя, отведет душу. Он улыбается, кривит в усмешке крупный, волевой рот. За кого ему приняться — за Гартля или за Флаухера? Он накинул плащ, сунул в рот трубку, нахлобучил на череп огромную фетровую шляпу. А может, за *обоих* сразу, за Флаухера и за Гартля?

Короткий путь он проделал пешком. Для начала отправился не в «Тирольский кабачок», а в ресторан «Братвурстглёкель». Старинный ресторан примостился в тупичке у подножия собора, и в нем было еще более накурено и сумрачно, чем в «Тирольском кабачке». Когда Кленк, распахнув внутреннюю стеклянную дверь, вошел в зал с низким потолком, откуда свисали, почти касаясь его головы, старинная утварь и светильники, он со стороны мог показаться великаном. Он осмотрелся: прошло несколько секунд, прежде чем он сквозь дым и чад разглядел отдельные лица. Посетители сидели вплотную друг к другу, ели жареные сосиски, очень маленькие и сморщенные, тушеную капусту с тмином, соленые крендельки, запивая все это пивом.

Ага, вон там сидит человек, которого он ищет, председатель земельного суда доктор Гартль. Можно было заранее угадать, что сегодня он будет тут, за столом завсегдатаев, на котором в виде эмблемы стоит бронзовый трубач в старинной одежде, держа в руках флажок с надписью: «Занято». Господин Гартль сидел в компании своих коллег — юристов. Кленк хорошо их знал: там были председатель сената Мессершмидт и несколько других юристов и судей.

Министр сразу почувствовал, что все уже знают, какое положение он занял в новом кабинете. Его, привыкшего к знакам

внимания, сегодня встретили с особым уважением. Он с удовлетворением отметил: они уже все сообразили что к чему.

Лавируя между столиками, за которыми сидели посетители «Братвурстглёкеля», люди с высшим образованием — учителя гимназии, редакторы газет, высокопоставленные чиновники, знакомые друг с другом уже по многу лет, он сквозь чад разглядывал стол, за которым сидели чиновники его министерства. Вид у них был неважный: кислые физиономии, потрепанная, поношенная одежда. В этом не было ничего странного: жалованье они получали мизерное, у каждого были жена, дети, а в эти годы инфляции с едой и одеждой приходилось туго. Некоторые уже подошли к пенсионному возрасту. До войны они занимали видное положение и могли твердо рассчитывать на солидную пенсию и обеспеченную старость. Теперь даже обычный вечер в «Братвурстглёкеле» был для них роскошью. Прежде чем выкурить дорогую сигару, они должны были десять раз подумать. В довершение всего у них и работы стало намного больше. Ну а повинен в этом, как и во всем плохом, был новый государственный строй. Он разрушил нравственные устои, способствовал росту преступности. А кому от этого прибавилось работы? Им. Отныне каждому из них приходилось разбирать в три-четыре раза больше дел, каждому завтра предстояло провести восемь — десять судебных заседаний.

Пока они сдвигали стулья, чтобы освободить для него место, Кленк мысленно представил себе обвиняемых на этих судебных заседаниях. Этой ночью им наверняка будет не до сна. С каким волнением они ждут утра, до мельчайших деталей отрабатывают каждый жест, каждое слово, полные страха, пытаются предугадать выражение лица и настроение людей, которые призваны расследовать, взвешивать и судить их поступки. Они и не подозревают, как мало у этих господ времени для них, как мало желания проникнуть в души людей, над которыми они вершат правосудие. Да, им, его судьям, сейчас чертовски трудно приходится, у них от собственных проблем голова идет кругом. Тьма работы, скудное жалованье, и к тому же вечно недовольная публика и дурацкая пресса. Авторитет безвозвратно утерян. Общественность стала относиться к судье так же, как в прежние времена относились к палачу.

Сам факт появления Кленка за их столом был важным событием, подлинной демонстрацией. И они радовались этому. Кстати, сидевший сегодня за этим столом председатель земельного суда доктор Гартль, тот самый ловкий судья, который вел процесс Крюгера, на поверку все же оказался не таким уж лов-

ким. Слишком уверенно он себя чувствовал и в итоге споткнулся. Споткнулся, собственно, на простейшем деле, на деле Пфанненшмидта. Этого Пфанненшмидта, владельца кожевенной фабрики в небольшом верхнебаварском городке, его недруги обвинили в измене родине, грязных махинациях, в растлении малолетних, утверждали, что он болен сифилисом,— и все только за то, что он был республиканцем. Высосанными из пальца клеветническими измышлениями они довели его чуть ли не до полного разорения. Пфанненшмидт подал официальную жалобу, но так ничего и не добился. Недруги продолжали свои нападки. Жители городка его бойкотировали, открыто выражали ему свое презрение, и тогда Пфанненшмидт, сорвавшись, наделал глупостей. Дело дошло до драк, до «нарушения общественного порядка», до судебного процесса, на котором председатель земельного суда доктор Гартль хорошенько «продубил этого красного дубильщика», как не без свойственного этой стране юмора констатировала благонамеренная печать. Однако доктор Гартль отнесся к делу чересчур легкомысленно, его уверенность в своей полной неуязвимости сыграла с ним злую шутку. Если уж ты нарушаешь закон, то, по крайней мере, соблюдай необходимые формальности. Председатель земельного суда доктор Гартль проявил в этом смысле недостаточную осторожность. Ему, Кленку, пришлось официально в известной мере отмежеваться от него. Неофициально же он написал Гартлю шутливое, полное юмора письмо, на которое тот ответил столь же любезно и остроумно. Так что все бы преспокойно уладилось, но Гартлю в этом деле с Пфанненшмидтом положительно не везло. Он не смог отказать себе в удовольствии дать интервью, в котором вежливо, со снисходительной улыбкой, но в сущности довольно бесцеремонно иронизировал над Кленком, почти дословно приводя отрывки из его письма. Кленк нашел интервью весьма забавным и не рассердился. Но не мог же он допустить подобную фамильярность. Он сделал Гартлю официальное предупреждение. А неофициально распорядился выяснить у Гартля, не хочет ли тот перейти на службу в министерство. Он предложил ему место референта по делам о помиловании, которое вскоре должно было освободиться. В глубине души Кленк недолюбливал Гартля, и тот платил ему той же монетой. В отношениях между обоими мужчинами присутствовал элемент дружеского, однако далеко не безобидного взаимного подтрунивания. В водовороте последних дней история с Гартлем показалась Кленку своего рода отдушиной. Теперь он пришел к выводу, что разрешил ее вполне удачно. Всяким горлопанам из рядов оппо-

зиции он заткнул глотку и заодно приструнил Гартля, наложив на него взыскание. Но в то же самое время, приструнив оппозицию, он заткнул глотку Гартлю, ведь это взыскание чертовски походило на повышение по службе. Во всяком случае, со стороны это выглядело как демонстрация, а его самого забавляло, что после официального министерского предупреждения председателю земельного суда Гартлю частное лицо Кленк усаживается за стол завсегдатаев в «Братвурстглёкеле», чтобы провести приятный вечер с частным лицом Гартлем.

Однако сейчас в «Братвурстглёкеле» ему совсем не было весело. Мужчины поднимали тяжелые пивные кружки, восклицали: «Ваше здоровье, Гартль! Ваше здоровье, господин министр». Нет, не нравились они ему, его судьи. И председатель земельного суда доктор Гартль не нравился: чванливый, важный, он до такой степени был Кленку неприятен, что ему не доставляло никакого удовольствия обмениваться с ним «любезностями». Противный тип, этот Гартль, со своей богатой женой-иностранкой, иностранной валютой, с виллой в Гармише, со своей независимостью, которую он нагло выставляет напоказ, и дешевой популярностью. Уверенность в себе — вещь неплохая, но Гартль перебарщивал. Это льстивое, увертливое, наглое высокомерие, эта язвительно вежливая ирония. Не следовало возиться с этим типом, незачем было предлагать ему место референта по делам о помиловании — теперь придется постоянно с ним сталкиваться.

Настроение у Кленка испортилось. Он стал разглядывать лица сидящих за столом. Фертч, этот субъект с кроличьей мордочкой, которого он, Кленк, назначил начальником одельсбергской тюрьмы, конечно, примчался для того, чтобы разнюхать, откуда ветер дует. И теперь он это понял. Они все до единого повылезали из своих щелей и приехали в город, чтобы разведать, какова ситуация. Что он, Кленк, на коне, что он теперь — сила,— это они уразумели. Неужто так трудно было сообразить, чего он добивается? Разве его политика, его программа, хотя он и не рекламировал их громогласно, не были и раньше достаточно четкими? Любой высокопоставленный баварский чиновник сразу должен был бы сообразить, что прошло время, когда можно было стучать кулаком по столу, что теперь делают уступки в малом, дабы урвать кусок пожирнее в крупном.

Присутствие министра и столь ловко и остроумно «наказанного» повышением по службе доктора Гартля внесло оживление в застольную беседу. Доктор Гартль не делал тайны из своего назначения в министерство, Кленк — тоже. Выяснилось, и при-

сутствие за столом завсегдатаев министра Кленка это лишний раз подтверждало, что юстиция застрахована от идиотских нападок и что в нынешнем непрочном государстве она — единственно твердая, непоколебимая власть. Конечно, времена были тяжелые, и они, судьи, бесспорно выглядели немного потрепанными. Но они сохранили независимость, были несменяемы, держали ответ только перед собственной совестью, могли оправдать либо осудить, заковать в цепи либо помиловать. Никто не смел привлечь их к ответственности. Проклятые бунтовщики, весь этот сброд, забыли об этом, когда пытались построить новое государство на клятвопреступлениях и государственной измене. Но их, судей, столпов, главную опору старого порядка, эти болваны не тронули. Можно по-разному относиться к Кленку, но он словно бы создан для охраны их священных прав. Теперь это подтвердилось и тем, как он повел себя в деле с Гартлем, и тем, как он сидел, огромный, широкоплечий, рядом со своим оклеветанным судьей. Это чувство уверенности подняло настроение у стареющих господ и, несмотря на их затрапезный вид, согревало сердца и выпрямляло спины. Они развеселились, стали вспоминать студенческие годы. «Ваше здоровье, старый адмирал озера Штарнбергского!» — провозгласил один, откопав изъеденное молью воспоминание юности. «Помнишь, тогда с Мали в Оберланцинге»,— мечтательно произнес другой, перед которым стояли маленькие сморщенные свиные сосиски. «Это был для меня самый настоящий праздник». «Ваше здоровье, мой лейбфукс!» — прошамкал третий, совсем уже старик, обращаясь к соседу примерно одного с ним возраста. Они раскатисто хохотали, громко кричали, перебивая друг друга, вытирали влажные усы, снова заказывали пиво. «Видно, они втайне надеются,— подумал министр,— что сегодня по случаю своего повышения за всех заплатит богач Гартль».

Лишь председатель сената Антон фон Мессершмидт не принимал участия в общем веселье. Тугодум, обычно немного медлительный, он был хорошим юристом. Статный мужчина с крупным красным лицом, обрамленным старомодной окладистой холеной бородой, и с огромными глазами навыкате, он без улыбки слушал россказни тайного советника и шутки соседей по столу. Мессершмидт сильнее других страдал в это трудное время. Его некогда солидное состояние сильно подтаяло из-за инфляции. Чтобы приобрести для себя и жены подобающую их положению одежду, он продавал дорогие его сердцу вещи из своей коллекции баварских древностей. Однако дело было даже не в денежных затруднениях. Главная сложность заключалась

в том, что Мессершмидты были маниакально честны. Председатель сената был одним из немногих, кто в голодные военные годы считал своим долгом обходиться установленным пайком. Один из его братьев, Людвиг фон Мессершмидт, капитан минного тральщика, погиб потому, что, попав в плен к англичанам и находясь на английском корабле, не проронил ни слова, когда тот шел на минное поле, им самим поставленное. Антона фон Мессершмидта мучили мысли о состоянии баварского правосудия. Он многого не понимал. Его тревожили бесчисленные приговоры, юридически обоснованные, но противоречащие элементарным понятиям о справедливости, вся практика юриспруденции, которая мало-помалу из средства защиты превращалась для простого человека в ловушку. Он охотно оставил бы свой пост и вместе с женой зажил бы тихо-мирно в окружении баварских древностей и музыки. Однако присущее Мессершмидтам чувство долга не позволяло ему подать в отставку.

Ему было совсем невесело в этом шумном застолье. И злые остроты, которые отпускали коллеги по адресу выжившего из ума Каленеггера, были ему не по душе. Не нравилось ему и повышение по службе этого богача Гартля, повышение в виде наказанья, что было явным вызовом. Кленка он тоже терпеть не мог. У того, правда, были известные достоинства, он отличался умом и был настоящим патриотом. Но ему недоставало подлинного внутреннего равновесия, столь важного в это трудное время. Нет, председателю сената Мессершмидту в этот вечер было совсем невесело.

Для Кленка старик Мессершмидт был далеко не худшим из всех. Конечно, он тугодум, вернее, просто «тюфяк». Но он человек прямой и с ним, по крайней мере, можно хоть изредка поговорить о баварских древностях. Но остальные! Что за безнадежные тупицы! Вот они уже снова заговорили о разрядах жалованья, о ценах на уголь. Этим да несколькими параграфами уголовного кодекса ограничивается их представление о мире. Он, Кленк, любил свою страну, свой народ, но к отдельным лицам умел относиться критически, а сегодня вообще презирал всех этих людей. Взять хотя бы Фертча, субъекта с кроличьей мордочкой, которого он назначил начальником одельсбергской тюрьмы. До чего пугливо ловит он каждое его слово, чтоб потом, в зависимости от его, Кленка, выражения лица, содержать Мартина Крюгера более строго или же посвободнее. А Гартль, этот самонадеянный, любующийся собою фат! Все эти председатели земельных судов и советники, эти унылые, ограниченные служаки, эти самонадеянные тупицы, как жалко выглядит их веселье!

Кленка охватило чувство беспредельного отвращения, все усиливающейся скуки. Ему даже посмеяться над ними расхотелось. Да, жаль потерянного вечера. Внезапно он ужасно громко, бесцеремонно зевнул и, сказав: «Прошу прощения, господа», огромный, в своей фетровой шляпе, шумно направился к выходу, оставив судей в полной растерянности.

Итак, эту часть вечера можно считать потерянной. Остается надеяться, что встреча с Флаухером сложится позанятнее. Иначе для чего же он оставил в правительстве этого гнусного брюзгу? В самом деле, почему он не послал его ко всем чертям?

Собственно, у него, Кленка, нет никого, с кем бы он мог поговорить о своих делах. А человеку нужно с кем-то поделиться своими заботами. Его жена, жалкая, высохшая коза, не имеет ни малейшего представления о том, сколько он дел переделал за эти дни, и еще меньше о том, что ему пришлось пережить. А может, она кое о чем и догадывается? Последние дни она словно тень бродила по дому, еще более несчастная и прибитая, чем обычно. Ну а его сынок, Симон? Он давно уже не вспоминал об этом пареньке. Его мать, Вероника, бабенка, что ведет хозяйство в Бертхольдсцеле, помалкивает, держит язык за зубами. Но ему, Кленку, все сообщают. Из банка в Аллертсхаузене, куда он пристроил паренька, а также из других мест. Неплохо он себя ведет, этот мальчишка. Порядочный бездельник, да и дикарь. Необузданный какой-то, делает одну глупость за другой. Теперь он и вовсе спутался с людьми Кутцнера, с «истинными германцами», с этими болванами. Ну да скоро эта дурь у него пройдет. Между прочим, чем старше становится Симон, тем заметнее сходство с ним, Кленком. Вероятно, ему следовало бы больше им заниматься. Ерунда! Человека бессмысленно учить чему-либо. Каждый должен учиться на собственных ошибках, опыт приходит с годами. Если паренек пойдет в него, это будет совсем не так плохо. Уж тогда он сумеет урвать свой кусок пирога.

Наконец он добрался до «Тирольского кабачка». Похоже, тут он сможет отыграться за бездарно потерянное время. Здесь сидели Грейдерер и Остернахер. Было забавно наблюдать за ними. Грейдерер занял прочное место среди здешних знаменитостей, и странная тесная дружба связывала теперь маститого, утвердившегося в истории искусства профессора Остернахера с быстро опустившимся после недолгого успеха автором «Распятия». Остернахер, человек изысканного вкуса, обычно весьма разборчивый в отношении женщин, которых он готов был тер-

петь возле себя, этот художник, писавший исключительно богатых, экстравагантных дам высшего света Европы и Америки, спокойно переносил доступных «курочек» Грейдерера и все его вульгарные развлечения. Грейдереру очень льстила эта дружба. Остернахер вел с ним долгие беседы об искусстве. Никто, кроме Остернахера, не удосуживался вникнуть в сбивчивые, напыщенные рассуждения мужиковатого баварца, и лишь один Остернахер понимал его. У Грейдерера, несомненно, были любопытные замыслы. В его творчестве была та же страстность, что и у самого Остернахера в прежние времена. И Грейдерер творчески развивал те идеи, на которых он, Остернахер, застыл. Бывший новатор Остернахер внимательно прислушивался, осторожно прощупывая и вызнавая, над чем работает его собеседник и особенно над чем он собирается работать. Примеривался. И чем больше Грейдерером овладевали вялость и лень, тем больший прилив энергии ощущал Остернахер. Собирал воедино множество обрывочных, фрагментарных замыслов Грейдерера. Тщательно подбирал и склеивал осколки идей своих и своего нового друга. Черт побери, он, Остернахер, еще себя покажет!

Кленк подсел к обоим приятелям. Он догадывался о причинах, заставлявших Остернахера нянчиться с этим простолюдином. Ему не терпелось посмотреть, как будет изворачиваться этот утопченный г-н фон Остернахер. Он спровоцировал простодушного Грейдерера на весьма компрометирующие высказывания, и Остернахеру против воли пришлось с ними согласиться. Своими одобрительными возгласами Кленк подстрекал Грейдерера ко все более резким выпадам против «господства в искусстве могущественной клики и фарисейства этих людей», а Остернахер вынужден был поддерживать все эти оскорбления, которые вполне можно было отнести и на его счет.

Только после этой разминки Кленк не торопясь, с приветливой улыбкой перебрался к Флаухеру. Тот сидел вместе с депутатом от избирательного округа Оберланцинг Себастьяном Кастпером. Вражда с Кленком стала для Флаухера столь же жизненно необходимой, как редька, пиво, политика, такса Вальдман. Он побаивался и одновременно страстно жаждал схватиться с Кленком.

Он ворчливо спросил Кленка, что тот думает относительно дурацкой истории у Галереи полководцев. Теперь там собираются установить новый памятный камень,— правда, на этот раз уже не в заставленной Галерее, а рядом, на улице. По этому поводу «истинные германцы» устроили демонстрацию и заодно избили какого-то американца, приняв его за еврея. Произошло

неприятное объяснение с американской миссией. Флаухер находил домогательства Руперта Кутцнера, который в этой истории вел себя крайне вызывающе, хотя и чрезмерными, но оправданными. Депутат от Оберланцинга, смиренно внимая каждому слову великого поборника баварской автономии, усердно и одновременно почтительно поддакивал ему. Кленк же, наоборот, высмеивал Кутцнера, его глиняное величие, его жалкую болтовню. Здесь у Кленка с Флаухером были принципиальные расхождения. Министр Флаухер поддерживал «истинных германцев», а Кленк, всячески используя движение в своих интересах, считал, однако, что Кутцнера надо осаживать каждый раз, когда он в силу своего характера слишком наглеет.

— Боюсь,— выбивая трубку, заключил он,— что однажды нам придется подвергнуть этого Кутцнера психиатрической экспертизе.

Флаухер с минуту помолчал, потом вдруг необычно тихим голосом, глядя Кленку прямо в глаза, произнес:

— Скажите, Кленк, зачем же вы оставили меня в правительстве, если все время издеваетесь надо мной?

Он говорил довольно тихо, но вполне отчетливо. По-собачьи преданного ему Себастьяна Кастнера он не стеснялся. У депутата от избирательного округа Оберланцинг, столь неожиданно ставшего свидетелем спора двух могущественных властителей, душа ушла в пятки. Ему, в общем-то маленькому человеку, это грозило большими неприятностями. Он встал, несколько раз пробормотал, заикаясь: «Простите, господа»,— и нетвердыми шагами, без всякой надобности, направился к уборную. Флаухер, вытянув шею и вскинув шишковатую, квадратную голову, повторил, стараясь глядеть Кленку прямо в глаза:

— Почему вы оставили меня в министерстве?

Кленк слегка наклонился, искоса взглянул на рассвирепевшего человека напротив и сказал:

— Видите ли, Флаухер, я и сам иногда задаю себе тот же вопрос.

И тогда Флаухер ответил:

— Для меня, Кленк, работать вместе с вами — удовольствие маленькое,— и сердито оттолкнул таксу Вальдман, которая терлась о его ногу.

— Зато для меня, Флаухер, огромное,— продолжая выбивать трубку, сказал Кленк.

Обхватив узловатыми пальцами бокал граненого стекла, Флаухер мучительно придумывал ответ, который мог бы задеть врага за живое. Он взглянул на свою потертую манжету: она

была туго накрахмалена и натирала на сгибе руку. Он вспомнил об изматывающем страхе и мучительных треволнениях последней недели. Вспомнил, как впервые услышал о предстоящих изменениях в составе кабинета и что все будет зависеть от Кленка. Как вначале не хотел этому верить. Как потом узнал, что так оно и есть. Как дрожал от страха и ярости, что теперь навсегда уплывет все, чего он добился ценою стольких унижений и пота. Как его душила злоба на Кленка. Как он подумывал, не подать ли ему в отставку,— все равно Кленк его прогонит, так уж лучше уйти самому. Как он так и не решился на это, а сидел и ждал, когда Кленк нанесет удар. Как затем, вопреки всем ожиданиям, именно его оставили в правительстве. Как он облегченно вздохнул. Как затем, именно потому что его пощадили, ярость против Кленка вспыхнула в нем с особой силой. Они постоянно обменивались колкостями, причем всегда последнее слово оставалось за Кленком. Однако никогда еще они не высказывали своего мнения один о другом так резко, как сейчас. А поскольку Флаухер был убежден в своей правоте, в святости дела, которое он отстаивал, то в ответ на чудовищную наглость Кленка, в ответ на циничное признание, будто он только для собственного развлечения оставил на ответственном государственном посту человека, по его мнению совершенно неспособного,— должен же господь в ответ на эту дикую наглость ниспослать ему, Флаухеру, слова, которые унизили бы врага. Уставившись на потертые манжеты, выступавшие из рукавов его немодного, сшитого из грубого сукна костюма, и по-прежнему сжимая в руке бокал граненого стекла, он торопливо, беспомощно и мучительно искал ответа. Но так ничего и не придумал, и наконец без злобы, а скорее даже печально сказал:

— До чего же вы суетный человек, Кленк.

Кленк ожидал услышать какую-нибудь беззубую колкость. Как ни странно, но бесстрастное замечание этого болвана Флаухера задело его. Да, ничего лучшего Флаухер придумать не мог. Кленк это Кленк и пишется Кленк, он — министр юстиции и безраздельный владыка земли Баварии. Казалось бы, ему плевать на мнение о нем Флаухера, да и вообще, что это означает: «Такой-то — суетный человек». И все-таки пикировка с Флаухером на этот раз не доставила ему никакой радости. Такса Вальдман зевнула. Вино в бокале по цвету напоминало мочу. Кленк понял, что и от вечера в «Тирольском кабачке» он не получит никакого удовольствия.

Он поднялся и вышел. Раздосадованный, направился в находившееся неподалеку кабаре Пфаундлера. Там он подсел к

г-же фон Радольной и барону Тони Ридлеру, предводителю местных ландскнехтов. Здесь, за бутылкой красного вина особо тонкого букета, которое подавалось у Пфаундлера, он понемногу забыл о Флаухере. Небрежно поглядывая на эстраду, попивая вино, с медлительным добродушием спорил с г-жой фон Радольной, которая, вопреки своему убеждению, утверждала, что считает принятие закона об отчуждении имущества бывших влиятельных князей вполне реальным. Побеседовал о делах с Пфаундлером, поддел Тони Ридлера насчет спортивного обмундирования его нелегальных отрядов ландскнехтов.

Вдруг, словно выследив крупную дичь, заинтересованно спросил, невольно потянувшись к маленькой эстраде:

— Что это за девица?

На эстраде скользящими, какими-то клейкими шажками танцевало хрупкое создание с раскосыми, покорными, порочными глазами.

— Она сегодня не в настроении,— заметил Пфаундлер.— Придется снова ее пропесочить.

— Собственно говоря, закон о конфискации имущества вас, Кленк, должен волновать не меньше, чем меня. Скорее даже больше: ведь вы честолюбивы! — заметила г-жа фон Радольная.

— Как ее зовут? — спросил Кленк.

— Инсарова,— ответил Пфаундлер,— вы что, о ней не слыхали?

Нет, Кленк прежде ни разу ее не видел. Танец кончился, публика вяло поаплодировала. Разговор перешел на другие темы.

— Она будет еще выступать сегодня? — немного спустя поинтересовался Кленк.

— Кто? — спросил Пфаундлер.

— Ну эта, как ее там зовут? Эта ваша русская?

— Нет,— ответил Пфаундлер.— К сожалению, в двенадцать кабаре закрывается. Но она будет рядом, в «Клубе полуночников».

— Шикарная женщина, не правда ли? — с улыбкой собственника на красивом, наглом лице произнес предводитель ландскнехтов Тони Ридлер.

Кленк заговорил с г-жой фон Радольной. Чуть позже он обратился к предводителю ландскнехтов:

— Кстати, вы оказали бы услугу всем нам, да и себе тоже, если б перестали столь явно афишировать пребывание майора фон Гюнтера в вашем поместье.

— Майора фон Гюнтера? — переспросил Тони Ридлер.— Дорогой Кленк, каким образом вы намерены помешать Гюнтеру открыто находиться в моем поместье, если мне это приятно?

Он нагло уставился на Кленка своими карими глазами, белки которых отливали желтизной.

— Человека можно, к примеру, арестовать за лжесвидетельство,— довольно холодно сказал Кленк.

Надменное лицо барона Ридлера побагровело.

— Хотел бы я посмотреть, как кто-нибудь посмеет арестовать Гюнтера прежде Страшного суда! — воскликнул он.

— Вы пойдете в «Клуб полуночников»? — спросила г-жа фон Радольная.

— Да, конечно,— ответил Кленк.

Предводитель ландскнехтов тоже присоединился к ним.

«Клуб полуночников» оказался небольшим, квадратным, плохо освещенным залом с теми же посетителями, теми же эстрадными номерами и кельнерами, что и пфаундлеровское кабаре. К их столику подошла Инсарова.

— Хуже вы танцевать не могли? — набросился на нее Пфаундлер.— Вы работали сегодня как ленивая свинья.

— Простите, как кто? — переспросила Инсарова.

Кленк одобрительно улыбнулся ей.

— Как вы обращаетесь со своими подчиненными, Пфаундлер! — воскликнул он.— Придется принять соответствующие меры.

— Я сегодня нездорова,— жеманно произнесла Инсарова слабым голосом. Она окинула Кленка бесцеремонно испытующим взглядом, после чего снова повернулась к предводителю ландскнехтов, открыто давая понять, что он нравится ей больше. Однако Кленк не утратил хорошего расположения духа, острил, рассыпался бисером перед русской танцовщицей, которая принимала его комплименты с легким любопытством, без улыбки, довольно равнодушно.

И на пути домой Кленк не утратил отличного расположения духа. Довольный вечером, он решил на ближайшем же совещании совета министров потребовать принятия более крутых мер против движения Кутцнера. Решил тщательнее проследить за действиями Тони Ридлера и его спортивных объединений, а также за майором фон Гюнтером, давшим ложную присягу. Он уже давно собирался это сделать.

В это самое время возвращался домой и Флаухер в сопровождении депутата Себастьяна Кастнера. Когда последний вернулся после длительного отсутствия к столу, он, к своему

изумлению, нашел одного Флаухера да спящую на полу таксу. У Флаухера был чрезвычайно довольный вид, похоже, он крепко уязвил этого Кленка. Депутат от избирательного округа Оберланцинг попросил дозволения проводить господина министра. Не замечая путавшейся под ногами надоедливой таксы, он все время почтительно следовал на четверть шага позади Флаухера, всем сердцем радуясь, что старомодный образ мыслей порядочного человека восторжествовал над амбициозными стремлениями Кленка к новшествам, и испытывая приятное сознание, что завтра сможет вернуться с этой успокоительной вестью в горы к своим избирателям.

Посетители «Нюрнбергского Братвурстглёкеля» также стали расходиться. Кое-кому из господ судей было по пути до самого Богенхаузена. Дорога шла через Английский сад. Как они и надеялись, Гартль уплатил за всех. Демонстративная поддержка министром их коллеги Гартля во имя независимости судейского сословия окрылила их, вознесла высоко над тяготами будней. Настроение у них было приподнятое. Они брели по темному парку в своих хотя и немного потертых, но вполне приличных костюмах. Сейчас они не думали о том, с каким трудом на следующий день их женам предстоит доставать еду и все необходимое для дома. Не думали они и о делах, которые должны будут разбирать следующим утром, ни о живых людях, стоявших за этими делами, ни о двух тысячах трехстах пятидесяти восьми годах тюрьмы, к которым четверо из них приговорили своих подсудимых. Нет, они вспоминали о корпорантских шапочках, о лентах, о пиве, о фехтовальных залах, о публичных домах, о блаженных годах юности, и с подъемом и удалью, на какую только были способны их стареющие голоса, пели латинскую песню: «Будем веселиться, пока мы молоды, после бурной молодости и после унылой старости всех нас примет сырая земля». Вместе с остальными ее пели и двое судей-протестантов, позабыв, что из соображений экономии давно уже вступили в общество сторонников кремации и внесли предварительный взнос.

6

СОБАЧЬИ МАСКИ

Когда спустя несколько дней после беседы с доктором Бихлером Иоганна проходила мимо кафе возле Оперы, ей поклонился какой-то молодой человек, он поднялся и с фамильярной бесцеремонностью подошел к ней. Он был в светлом, свободного

покроя костюме, на бледном, дерзком и легкомысленном лице выделялись ярко-красные губы. Молодой человек попросил Иоганну составить ему компанию. Секунду она пребывала в нерешительности, потом все же села за его столик.

Из разговора выяснилось, что Эрих Борнхаак часто бывал в Париже и хорошо знал город. Одно время он даже работал здесь гидом и легко и свободно говорил по-французски. Не поводить ли ее по городу? Он мог бы показать ей многое такое, чего она без него никогда не увидит. Глядя на нее, он все время щурился, вид у него был довольно скверный.

— Впрочем, с тех пор прошла целая вечность,— засмеявшись, сказал он.— Теперь у меня другие дела, посложнее.

При всей своей порочности его лицо вдруг стало совсем мальчишеским. Он принялся настойчиво приглашать ее к себе в гости. Сказал, что у него в Кламаре чудесная квартирка. Есть и машина. Словом, у него очень приятно и даже найдется кое-что любопытное.

Она пришла к нему. Крохотная квартирка Эриха в домике, утопавшем в зелени, была обставлена небрежно, игрушечной дорогой мебелью. На стенах висело множество разнообразных гипсовых масок, снятых с собачьих морд: с терьеров, догов, спаниелей,— каких только тут не было. Эрих Борнхаак с неизменной насмешливой улыбкой расхаживал по комнате, элегантный, развязный, распространяя слабый запах кожи и сена. Она не спросила его, что означают эти странные собачьи маски — не хотела делать ему приятное. Он заговорил о своих политических делах.

— При желании я мог бы кое-кому подпортить карьеру! — сказал он. И назвал имена. Доверительно поведал ей о своих надеждах и планах, впрочем, возможно, и неосуществимых.

«Разве мы с ним сообщники?» — подумала Иоганна и сама удивилась, почему ей вдруг пришло на ум это полузабытое слово.

— Собственно говоря — мы политические противники,— внезапно сказал он.— Но я уважаю и чужие взгляды.

Он с небрежным самодовольством отдавал себя в ее руки.

«Чего он добивается? К чему он говорит мне все это?» — недоумевала Иоганна.

Эрих с ног до головы оглядывал рослую девушку, манерно держа сигарету тонкими, холеными пальцами. «Волнующе-броской ее не назовешь,— подумал он.— С Лоретой мы смотримся куда лучше. Но полежать с ней в постели было бы занятно. В ней что-то есть. И она, наверно, сентиментальна».

— Моя миссия,— продолжал он,— пожалуй, даже заманчива, насколько вообще что-либо может быть заманчивым в этом скучнейшем из миров. По понятиям обывателей, наши действия, вероятно, называются шпионажем, а краснобаи стали бы разглагольствовать о «тайном судилище». Мне наплевать на ярлыки. Что плохого в шпионаже? Ведь перехитрить человека труднее, чем зверя. Боксера ценят выше, чем тореадора.

— Как вам нравится господин фон Дельмайер? — внезапно спросил он. Сам он считает его человеком замечательным. Иоганна вспомнила, как они в Гармише высмеивали один другого. А теперь Эрих отзывался о своем друге восторженно и, как ей показалось, делал это вполне искренне. «Мы работаем с ним в полном согласии,— пояснил Эрих.— Один остается дома, другой в это время разъезжает. У нас много всяких дел, и не только политических»,— добавил он. Показал ей статьи левых газет, с нападками на полицию за нежелание серьезно расследовать обстоятельства гибели г-на Г., депутата от левой партии, убитого в Мюнхене прямо на улице. Власти так и не смогли напасть на след преступников. Газеты недвусмысленно указывали, куда ведут следы, и намекали, что некий г-н Д., мог бы, очевидно, сообщить кое-какие подробности. Далее приводилось описание наружности г-на Д., и было очевидно, что имелся в виду фон Дельмайер, что именно его считали убийцей.

— Что это значит? — воскликнула Иоганна, и ее лоб прорезали три морщинки.

Она вскочила, швырнула газеты на стол, гневно взглянула на Эриха серыми глазами. Он продолжал сидеть и веселым тоном, с дерзким выражением на мальчишеском лице, обнажив белые зубы, ответил:

— На войне нас называли героями, теперь — убийцами. Я нахожу это нечестным и нелогичным.

Затем без всякого перехода заговорил о своей любви к Парижу, о сексуальных талантах парижских девиц легкого поведения.

Все, что говорил этот человек, было лишено малейшего чувства и вызывало у Иоганны отвращение. Она больше не слушала его, смотрела в открытое окно на светло-зеленые деревья и напряженно старалась понять, зачем пришла сюда и почему, собственно, не уходит. Она чувствовала, что оцепенение, овладевшее ею в последнее время, прошло. Злилась на этого человека, возмущалась, значит, ожила.

Когда она снова стала его слушать, он рассказывал об описи собак. Рассказывал образно, пересыпая свою речь циничными

замечаниями. Однако при этом не сводил с Иоганны острого, проницательного взгляда, напоминавшего ей взгляд доктора Гейера. В Германии растут нужда и голод, доллар уже стоит четыреста восемь марок. Каравай хлеба стоит в Мюнхене пятнадцать марок двадцать пфеннигов, фунт какао — пятьдесят восемь марок, грубошерстная куртка — тысячу сто марок, скромный костюм — от девятисот двадцати пяти до трех тысяч двухсот марок. Многие уже не в состоянии платить налог за содержание собак. Эти люди привязаны к своим собакам, но где взять денег? Они придумывают тысячи уловок, осыпают сборщика налогов проклятиями, заклинают, плачут.

Все это Эрих Борнхаак рассказывал очень живо, сидя в низком кресле. Сигарета его потухла. За его словами зримо вставали отупевшие, затаившие молчаливую угрозу мужчины, плачущие женщины и дети, мальчишки, в груди которых клокочут затаенная ярость и боль. Прильнувшие к стеклам лица людей, глядящих вслед уводимой собаке. Почти все женщины повторяли одно и то же. «Нам нельзя иметь ничего своего,— безнадежно говорили они.— Если ты беден, у тебя отнимают последнее». Ему самому довелось несколько раз бывать при этом. Ведь он занимается и разведением собак. И даже получал призы. Душою этого дела был фон Дельмайер. Просто отличный парень!

— Между прочим, чем вам так не понравились мои газеты?

Пристально глядя на Иоганну и нагло улыбаясь, он взял со стола газеты с отчетами об убийстве депутата Г., тщательно сложил их и спрятал в ящик. Снова закурил.

— Я знаю людей, которым опись собак всю душу переворачивает. Чудесное зрелище, лучше всякого кино. Не понимаю, почему бы этим несчастным самим не слопать своих собак, раз уж такое дело. Хотя все-таки понимаю: ведь я и сам люблю собак.

Он показал на собачьи маски, стал рассказывать о способе их изготовления. Слепки были сняты с живых собак — разумеется, под наркозом. Тут требуются особые приемы. Обычные не годились из-за шерсти.

— Ну разве маски не выразительны как раз благодаря закрытым глазам?

Без всякого перехода он заговорил о ее профессии. Как видно, она свою графологию забросила. Вообще-то он подумывал о том, чтобы всерьез заняться снятием масок с людей, он находит это дело интересным. Кое в чем оно сродни ее профессии. Во всяком случае, это дело стоящее. Бесконечные фотографии всем уже здорово надоели. Надо бы открыть большую контору, сни-

мать с клиентов гипсовые слепки и затем давать им характеристики на основании масок и почерка. Ее такая контора не интересует?

И вот уже он снова начал строить планы. Да, он любит строить планы. Возможно, это свойство — плод окопной скуки. Геройская жизнь на фронте, она даже представить себе не может, до чего это муторно и скучно! Но кое-какие проекты он в конце концов осуществил. Например, эта затея с собаками. Он засмеялся своим порочным мальчишеским смехом.

Домой Иоганна возвращалась, охваченная двойственным чувством. Она отклонила его предложение отвезти ее в Париж на машине. Этого фатоватого парня она отвергала всего, целиком. Но ей невольно запомнились интонация его голоса, его лицо и белоснежные зубы. Убийство депутата Г., собачьи описи, этот «отличный» парень фон Дельмайер, походы с иностранцами по ночному Парижу, с напятыми для этого апашами. Слабый запах сена и кожи. Странные морды терьеров, догов, спаниелей, такс, овчарок, борзых.

Когда он вторично пригласил ее к себе, она отказалась. И в третий раз — тоже. В четвертый — она встретилась с ним в кафе. На этот раз он был любезен и сдержан. Почти не говорил о своих делах, с пониманием и подлинным участием слушал рассказ Иоганны о ее борьбе за Мартина Крюгера.

Вскоре после этого Гесрейтер стал поговаривать о том, что жить в гостинице не слишком удобно. Еда, правда, неплохая, но жить так долгое время — неуютно. К тому же Иоганна недостаточно заботится о себе, она как ребенок, и нужно, чтобы кто-нибудь присматривал за ней. Иоганна молча, ничего не возразив, взглянула на него.

Со времени ее разговора с тайным советником Бихлером она не сумела почти ничего сделать для Мартина Крюгера. Два или три раза она встречалась с влиятельными журналистами, но ей не удалось их расшевелить. И теперь она вдруг стала замечать, что без всякого ее участия во Франции пробудился интерес к доктору Мартину Крюгеру, к человеку, к его судьбе и, прежде всего, к его работам. Начало этому интересу положила большая статья искусствоведа Жана Леклерка. У Иоганны взяли интервью, имя Мартина Крюгера все чаще стало появляться в парижской печати. Разбирали его теории, переводили его статьи, одно солидное издательство объявило о предстоящем издании «Трех книг об испанской живописи». Кто-то, безусловно, немало потрудился, чтобы пробудить и поддерживать этот сочувственный интерес к Мартину, но кто именно, Иоганне узнать

не удавалось. Не знал этого и Гесрейтер, раздосадованный тем, что не он содействовал этой счастливой перемене.

Спустя два дня после того, как он снова подробно объяснил Иоганне, как неуютно жить в гостинице, он предложил ей снять квартиру и вызвать тетушку Аметсридер. Иоганна без обиняков ответила, что ей в гостинице совсем неплохо, она рада, что избавилась от тетушки, и не собирается ее звать. К тому же незачем сейчас, во время инфляции, при парижской дороговизне тащить сюда еще и третьего человека. На это господин Гесрейтер дружеским тоном возразил, что ей незачем беспокоиться: его дела идут отлично. Выяснилось, что квартиру он уже снял и тетушке Аметсридер написал. Впервые между ними дело дошло до ссоры. Гесрейтер выслушал ее колкости спокойно, со снисходительной улыбкой.

Оставшись одна, она задумалась, не порвать ли ей с Гесрейтером. Зачем ему нужна в Париже тетушка Аметсридер? О встречах с Эрихом Борнхааком она ему не рассказывала и не знала, известно ли ему, что этот шалопай сейчас в Париже. Уж не ревнует ли он? Не хочет ли приставить к ней надзирательницу? Он был мягок, мил, но упорен и, когда дело касалось его интересов, достаточно неразборчив в выборе средств. Она ощутила кисловатый запах его фабрики.

Иоганна серьезно заколебалась, не вернуться ли ей к графологии. Вспомнила о собачьих масках шалопая. Его предложение было не таким уж глупым. И вообще он не глуп, этот мальчишка. Маски были чем-то более солидным и куда более осязаемым, чем смутные, в той или иной мере произвольные анализы почерка. Она припомнила, что Эрих Борнхаак рассказывал ей о своем способе изготовления масок. Он считал, что научиться этому вовсе не трудно.

Пропащий человек. Не без способностей. Рассказывая ей, как уводили собак, он был искренне взволнован. Она достала записку с его последним приглашением. Стала анализировать почерк. Здесь все было ясно с первого взгляда. Она всматривалась в легкие, неровные, волнистые линии. Изменчивый, впечатлительный, безответственный, никудышный человек. Подлые, гнусные, бессердечные намеки на убийство депутата. Изменчивый, неустойчивый. Во время их последней встречи он говорил с ней точно брат, готовый прийти на помощь. Спокойно, рассудительно. Куда более определенно, чем когда-либо Гесрейтер. Быть может, ей удастся все-таки добраться здесь до твердой почвы.

Не порвать ли ей с Гесрейтером?

Пришел Гесрейтер. Он вел себя так, будто между ними и не было никакой ссоры. Был нежен, внимателен. Нелегко будет отвыкнуть от этой постоянной заботы. Нелегко будет снова тяжким трудом добывать деньги. Да и бороться за Мартина Крюгера без Гесрейтера будет куда труднее.

После того как было окончательно решено перебраться на квартиру и вызвать тетушку Аметсридер, Иоганна встретилась с Эрихом Борнхааком в кафе. И снова он вел себя просто, сдержанно. Когда она упомянула о неожиданном интересе, проявленном к Мартину Крюгеру парижскими газетами, он сказал, что его это радует. Значит, он правильно поступил, обратив внимание господина Леклерка на книги Крюгера. Иоганна от удивления умолкла, не зная, верить ли ему. Мыслимо ли, чтобы шалопай имел какое-то влияние на знаменитого художественного критика? Он ограничился сказанными вскользь словами и больше к этой теме не возвращался.

При расставании они условились, что в один из ближайших дней он отвезет ее в своем маленьком автомобиле к морю. По дороге домой она еле слышно, почти не разжимая губ, что-то мурлыкала, сильно фальшивя, задумчивая, довольная.

7

ШЕСТЬ ДЕРЕВЬЕВ СТАНОВЯТСЯ САДОМ

Старший советник Фертч, человек внешне добродушный, лично ничего не имел против заключенного номер 2478. А теперь, поскольку всесильный Кленк явно стоял за более мягкие условия содержания заключенных, светлая полоска, появившаяся по воле Фертча на горизонте Мартина Крюгера, становилась все шире. Г-н Фертч старался облегчить заключенному дни его тюремной жизни.

С той поры, как парижская пресса открыла искусствоведа Крюгера, его корреспонденция непрерывно росла. Попадались и интересные письма. Передавая Крюгеру почту, начальник тюрьмы Фертч заводил с ним долгие, мирные беседы. Поздравлял Мартина с растущей популярностью, интересовался его мнением о том или ином художнике. Нет, этот человек с кроличьей мордочкой отнюдь не был ограниченным, закоснелым чиновником, круг его интересов был весьма широк. Он даже читал кое-что из работ Крюгера. Однажды он попросил человека в серо-коричневой одежде надписать ему одну из своих

книг. Иногда он беззлобно подтрунивал над обилием писем от женщин. Потому что теперь многие вспомнили о Крюгере, и наряду с письмами от заграничных поклонниц он получал письма и от немецких женщин, вспоминавших о днях, ночах и неделях, проведенных ими с этим блестящим человеком, ныне попавшим в беду.

Человек в серо-коричневой одежде беседовал с начальником тюрьмы вежливо, довольно охотно. «Теперь он угомонился»,— рассказывал человек с кроличьей мордочкой своим неизменным любопытствующим соседям по столу в трактире — священнику, бургомистру, учителю, помещикам. Все интересовались заключенным, о котором ходило столько слухов. Особенно жены именитых граждан Одельсберга. Старший советник пообещал, что при случае он, возможно, покажет им Крюгера во время его прогулки по двору. «Он человек безобидный, если, конечно, обходиться с ним по-умному»,— объяснял он.

Мартин Крюгер в самом деле стал другим человеком с тех пор, как узнал, что благодаря показаниям Кресценции Ратценбергер его положение изменилось к лучшему, и даже слова адвоката о том, что от ходатайства о пересмотре дела до его пересмотра — путь чрезвычайно долгий, часто вообще непреодолимый, не повергли его в прежнее состояние подавленности. Он не просиживал больше целыми днями над рукописью. Читал и перечитывал приходившие на его имя письма. Читал и изучал рецензии на свои работы и, превратившись в дотошного бухгалтера собственной славы, чуть ли не наизусть выучивал статьи, написанные о нем поверхностно и цветисто каким-нибудь щелкопером. Он нетерпеливо ждал часа раздачи почты — единственного связующего звена с внешним миром. При каждом удобном случае заводил разговор с надзирателями, товарищами по заключению, начальником тюрьмы о полученных им письмах, о женщинах, чьи любовные послания преследовали его даже в тюрьме, о своих успехах и своей популярности.

Но чаще всего он беседовал об этом с заключенным, которого одновременно с ним выводили на прогулку, с Леонгардом Ренкмайером. Суетливый, юркий Ренкмайер гордился дружескими отношениями с таким великим человеком, как доктор Крюгер. Обращаясь к нему, неизменно употреблял это слово «доктор». И по мере того, как за пределами тюрьмы росла известность Мартина Крюгера, он, Ренкмайер, возвышался в собственных глазах. О нет, он, Леонгард Ренкмайер, несмотря на молодость, тоже не был безвестным существом. В свое время, попав в плен, он под дулом пистолета сообщил вражескому офицеру не имев-

шие никакого значения данные о расположении какой-то батареи. После войны, вернувшись на родину, он разболтал об этом. Один националистически настроенный фельдфебель донес на него, и он был осужден на пятнадцать лет за «изменнические действия в период войны». И хотя лица, совершившие преступления военного характера, подлежали амнистии, власти Баварии издали указ о том, что под амнистию не подпадают военные преступления, совершенные из низменных побуждений. Баварский суд приписал Ренкмайеру «бесчестные побуждения». Поскольку к такому выводу удалось прийти лишь путем весьма надуманных умозаключений, этот случай привлек большое внимание. Депутат доктор Гейер произнес по этому поводу гневную речь в парламенте, все левые газеты возмущались тем, что преступление, связанное с войной, оставалось наказуемым много лет спустя после ее окончания. Заключенный Ренкмайер очень гордился этим взрывом возмущения. Сознание того, что об учиненной над ним несправедливости столько говорят, поддерживало его жизненную энергию. Он упивался своим несчастьем, жил им. Долговязый, худой, светловолосый, с высоким лбом, острым носом, тонкой бледной кожей и редкими волосами, он, казалось, весь был сделан из промокательной бумаги. Бесцветным голосом он без устали, взахлеб, рассказывал Крюгеру о своем деле. Добивался, чтобы Мартин Крюгер понял и оценил по достоинству наиболее интересные факты. Мартин Крюгер так и делал. Он шел навстречу просьбам этого болтливого, тщеславного человека и долгими тюремными ночами обдумывал слова и оценки Ренкмайера, а на следующий день высказывал свои соображения. В знак благодарности Леонгард Ренкмайер с благоговейным вниманием выслушивал рассказы доктора. Они неторопливо брели по двору — блестящий Мартин Крюгер и бесцветный, жалкий Ренкмайер, выказывали друг другу участие, подбадривали один другого. То были хорошие часы, когда они вместе кружили по крохотному, освещенному солнцем дворику, среди шести замурованных деревьев. Шесть деревьев превращались в сад.

Прошли лето и осень, зима и весна, настало новое лето, а Мартин Крюгер все еще сидел в Одельсберге. Иоганна Крайн побывала в Гармише, потом обвенчалась с Мартином, а теперь жила во Франции с коммерции советником Гесрейтером. За это время были созданы новые самолеты, совершен перелет через океан, воздушные волны доносили теперь в каждый дом музыку и всевозможные лекции. Были открыты новые законы природы и социологии, написаны картины и книги; его, Крюгера, соб-

ственные книги, безнадежно устаревшие, ставшие ему чужими, успели завоевать Францию, Испанию. Большая часть верхнесилезского промышленного района отошла к Польше. Император Карл Габсбургский предпринял трагикомическую попытку вернуть себе престол и умер на острове Мадейра. Расколовшаяся социал-демократическая партия Германии снова объединилась. Ирландия добилась самоуправления. В Каннах, а затем в Генуе Германия вела со странами-победительницами переговоры о возмещении ущерба, нанесенного войной. Был отменен английский протекторат над Египтом. В России укрепилась власть Советов, в Рапалло был подписан договор между Германией и Советским Союзом. Марка еще больше упала в цене, чуть ли не до одной сотой своего золотого паритета, а вместе с ней понизился и жизненный уровень немцев. Пятьдесят пять из шестидесяти миллионов немецких граждан недоедали и испытывали нужду в одежде и предметах первой необходимости.

Мартин Крюгер мало что знал обо всех этих событиях и ощущал их воздействие лишь косвенно.

Сейчас, ранним летом, к нему вернулась какая-то часть утраченного им блеска. В те дни трудно было устоять перед его обаянием. Его страстная любовь к жизни не была отталкивающей, его тоска не была жалкой, уверенность, что он добьется своего, окрыляла его. Он проявлял живейший интерес ко всему, что происходило вокруг. Был любезен, остроумен, умел искренне, от души смеяться. Его примиренность с судьбой передавалась другим, поднимала их настроение. От этого человека в серо-коричневой одежде исходило какое-то сияние, и это чувствовали все: врач, надзиратели и даже «небесно-голубые», срок заключения которых был так же бесконечен, как голубое небо,— приговоренные к пожизненному заключению.

Правда, ночь этот блеск гасила. Ночи начинались с того, что вечером, еще засветло, нужно было сложить одежду у дверей камеры. Заключенному оставалось лишь лежать на койке в одной короткой рубахе, едва прикрывавшей стыд. Долгая тюремная ночь длилась двенадцать часов. Если за день ты почти не двигался, проспать подряд двенадцать часов просто немыслимо. Самым приятным было время до полуночи: нет-нет да донесутся еле слышные звуки из поселка Одельсберг: людские голоса, собачий лай, далекий шум граммофона или радио, треск автомашины. А затем — лишь слабый шум, производимый надзирателем — монотонная одноголосая пьеса. По звукам угадываешь, что происходит там, за дверью: вот надзиратель сел на скамью, вот он раскуривает трубку, вот потянулась и зевнула

собака. Сейчас она уснет. Она натаскана на человека, хорошая собака, только немного старовата. Ага, вот уже собака посапывает носом. Теперь наступает полная тишина. Зимой узник ждет не дождется лета, чтобы раньше светало, чтобы какое-нибудь насекомое с жужжанием ткнулось в стекло. Летом ждет не дождется зимы, чтобы можно было прислушиваться к гудению в трубах парового отопления.

Когда наступает полная тишина, узника начинают терзать мысли о том, что от созданного им, от успеха, выпавшего на его долю, от женщин, которыми он обладал, не осталось ничего, кроме клочка исписанной либо отпечатанной на машинке бумаги. Какими изумительными вещами он владел. Его мучает раскаянье, что он так мало их ценил, пока владел ими. Когда он, Мартин Крюгер, выйдет на свободу, он сумеет насладиться ими куда лучше, чем прежде. Стоять перед картиной, смаковать ее, знать, что это неповторимое ощущение ты можешь передать другим. Расхаживать по красиво обставленному кабинету, диктовать аппетитной, сообразительной секретарше, которая радуется каждой твоей удавшейся фразе. Путешествовать, наслаждаться эффектом, который производит твое имя, ибо теперь ты не только крупный искусствовед, но и мученик, пострадавший за свои эстетические убеждения. Сидеть в красивом зале, вкусно есть, пить изысканные вина. Спать в удобной кровати с хорошо сложенной, благоухающей женщиной. Он изнемогал от страстного желания владеть всеми этими благами, рисовал их в своем воображении. Обливался потом, тяжело дышал.

В эти послеполуночные часы, когда наступает полная тишина, терзания плоти становятся просто нестерпимыми. В этом здании все страдают от неутоленного вожделения. Чтобы ослабить чувственные желания, в пищу добавляют соду. Это отнимает у еды всякий вкус, но не помогает. Во всех камерах происходит одно и то же. Каждая вторая выстукиваемая через стенку весть — об этом. Стараясь хоть как-то избавиться от мук плоти, заключенные додумываются до всяких дикостей. Из носовых платков, из клочков одежды делают кукол, жалкие подобия женщин. Любой орнамент, даже буквы превращаются в чувственный образ. Безмолвными, бессонными ночами заключенный силой воображения создает себе женщин. По письмам, которые он получал от женщин, Крюгер мысленно представлял себе их тела. Все, что относилось к половому влечению, причудливо разрасталось, искажалось судорожным, страстным вожделением. По ночам перед Мартином Крюгером в бешеной пляске

проносились все наслаждения его прежних ночей. Однако вода, выпитая годы назад, сегодняшней жажды не утоляет.

Наконец-то светает. Теперь осталось только четыре, три, два часа до побудки. Ага, вот и пронзительный звонок, начинается день, теперь все будет хорошо. Быстро, один за другим с оглушительным грохотом отскакивают стальные засовы камер, долго еще отдаваясь эхом в пустых, каменных переходах. Первое время этот внезапный, противный переход от мертвой тишины ночи к грохоту дня действовал ему на нервы. Теперь он радуется наступлению нового дня. Больше того, он почти рад, что еще некоторое время будет лишен прежних радостей. Тем большее блаженство испытает он, оказавшись на свободе.

Он чувствовал себя бодрым и не считал, что в тюрьме его здоровье пошатнулось. Вначале он прямо-таки заболевал от ужасного воздуха в камере, от вони параши. В первые тюремные дни, выходя из отвратительной, мрачной камеры на чистый воздух, он несколько раз падал и терял сознание. Теперь его легкие и кожа приспособились к условиям тюрьмы. Вот только сердце иной раз пошаливает. Он подробно описал врачу, как иногда его охватывает чувство невыносимой тяжести, и хоть приступ длится недолго, бывает такое ощущение, будто это конец. Доктор Фердинанд Гзель выслушал заключенного. В тюрьме он работал по совместительству, у него была частная практика, четырнадцатичасовой рабочий день. Ему было хорошо известно, что тюремная жизнь не способствует укреплению здоровья. И то, что большинство «пансионеров» старшего советника Фертча первое время жалуются на недомогание, не было для него новостью. К этому постепенно привыкают. Он выстукал и выслушал Крюгера, благожелательно, с профессиональным превосходством сказал, что в сердце никаких отклонений от нормы не находит. Взглянул на часы,— он очень торопился. Уже стоя в дверях, заметил, что если все же с сердцем что-нибудь и не так, то пациенту пребывание в Одельсберге полезнее, чем полная волнений жизнь вне этих стен. Оба, и Крюгер и врач, весело посмеялись над этой шуткой.

Хотя Мартин Крюгер и обрел прежнюю одухотворенность, его письма к Иоганне оставались невыразительными, вялыми. Он испытывал огромную потребность написать ей так, как сам чувствовал: приподнято, с душой. Но так у него не получалось. Вкрадывались фразы, для которых, как он ни бился, не мог подыскать нужных слов, а найди он их — начальник тюрьмы никогда бы такое не пропустил.

Сейчас Мартин Крюгер был охвачен лихорадочной жаждой

деятельности. Картина «Иосиф и его братья» отошла на задний план, не занимался он больше и изысканным художником Алонсо Кано. Зато стал работать над заметками, которые набросал для большой книги об испанце Франсиско Хосе де Гойя. Ему удалось получить книги с репродукциями картин и рисунков Гойи. Он жадно вбирал в себя историю этого сильного, жизнелюбивого человека, которому были хорошо знакомы ужасы церкви, войны и правосудия. Вбирал в себя страстные мечты испанца, состарившегося, утратившего слух, но только не жизнелюбие, его «Сны» и «Капричос». Он вглядывался в листы, запечатлевшие закованных в цепи заключенных, безмозглых «ленивцев» с закрытыми глазами и заткнутыми ушами, у которых зато на боку висит меч, а на груди — панцирь с гербом. Картины, рисунки, фрески, которыми удивительный, неугомонный старик украсил свой дом: встающий из тумана гигант, пожирающий живого человека; крестьяне, уже по колено увязшие в болоте, но продолжающие дубасить друг друга из-за межевого камня; уносимая потоком собака, расстрел мадридских повстанцев, поля сражений, тюрьма, дом умалишенных. Никто до Мартина Крюгера не сумел так глубоко постичь богатырски-бунтарский дух, пронизывающий эти полотна. Здесь, в тюрьме, когда он смотрел на репродукции, первое давнее впечатление от подлинника вспыхивало с удесятеренной силой. Он вспоминал вещи, годами лежавшие совершенно забытыми в его памяти, вспоминал залы и кабинеты мадридского музея Прадо, растрескавшиеся плитки паркета, скрипевшие под его ногами, когда он рассматривал картину, изображавшую королевскую семью с крошечными, как булавочная головка, застывшими глазами привидений. Он машинально пытался воспроизвести удивительные подписи испанца под его картинами. Испугался, заметив, что целыми днями и ночами только этим и занимается. Ночью он снова и снова выводил в воздухе слова «Я это видел», начертанные Гойей под офортами об ужасах войны. Он воспроизводил подпись испанца «Ничто», а также подпись под жутким рисунком трупов «Вот для чего вы рождены». Терзания плоти отступали перед диким упоением бунтом. Он так вжился в почерк Гойи, что постепенно присвоил его и теперь выводил немецкие слова, как вывел бы их великий испанец. Тогда он и создал для книги о Гойе главу «Доколе?», пять страниц прозы, с тех пор вошедшие во все революционные учебники. Тем же словом глухой старик некогда подписал лист с изображением огромной головы мученика, кишащей трупными муравьями.

Как-то старший советник Фертч попросил Мартина прочесть ему, что он тут пишет. Человек с кроличьей мордочкой мало что понял, но не на шутку перепугался. Хотел наложить на рукопись цензурный запрет, уже приоткрыл было рот, потом снова закрыл. Побоявшись оскандалиться, удалился, пожимая плечами.

Теперь, когда Иоганна путешествовала за границей, для Мартина самым близким из посетителей был Каспар Прекль. После увольнения характер у молодого инженера стал еще более тяжелым. Перемена в Крюгере огорчала его. На какое-то время Мартин Крюгер нащупал было твердую почву под ногами, а теперь этот сластолюбец от искусства снова легко, беспечно скользит по поверхности, не вникая в суть, впустую растрачивая свой бесспорный талант. Судьба явно бросила его в тюрьму для того, чтобы он наконец-то добрался до глубинных явлений. Но ленивый, беззаботный Мартин пренебрег этой возможностью. Даже в тюрьме он умудрился располнеть и лоснился от жира. Каспар Прекль обрушился на него. Камня на камне не оставил от того, что сделал Мартин Крюгер за последнее время, всячески побуждал его заняться тем, что он называл подлинными проблемами, доказывал Мартину, что тот обленился. Мартин Крюгер, довольный собой, окрылепный, испытывая душевный подъем, вначале просто не принимал всерьез его замечания, но в конце концов в нем заговорил человек искусства. Он стал защищаться, а затем, рассердившись, перешел в атаку.

— Вы попались на удочку коммунизма потому,— заявил он Преклю,— что вы от природы наделены крайне слабым социальным инстинктом. То, что другие чувствуют инстинктивно, воспринимают как само собой разумеющееся, как пройденный этап, поражает вас своей новизной, своей псевдонаучностью. Вы несчастный человек, вы не умеете проникнуться чувствами другого, не способны сопереживать с другими людьми и поэтому пытаетесь добиться этого искусственно. Вы сидите за стенами в десять раз более толстыми, чем те, что окружают меня. Вы патологически эгоцентричны, ваш предельный эгоизм — тюрьма куда более гнусная, чем Одельсберг. В довершение всего вы пуританин. Вам недостает важнейших человеческих качеств: способности к наслаждению и сострадающего сердца.

Франсиско Гойя, продолжал он, так как сейчас этот художник был ему ближе всего, безусловно был революционером, но именно потому, что он острее всех других испытывал сострадание к людям и умел наслаждаться жизнью. В нем не было ни-

чего от пуританизма нынешних коммунистов, от их убогой лжеучености. И он прочел Преклю главу «Доколе?».

Каспар Прекль побледнел от ярости, так как, вопреки желанию, страницы о Гойе взволновали его.

— Чего вы добиваетесь? — воскликнул он наконец, на диалекте, глядя на Крюгера в упор запавшими, горящими от гнева глазами.— В революции, в настоящем Гойе вы ни черта не смыслите, даже Гойя для вас — лакомое блюдо, которое вы способны лишь отведать.

И тут Мартин Крюгер засмеялся. Он смеялся до того искренне и весело, что надзиратель удивленно взглянул на него — так здесь смеялись очень редко.

— Милый вы мой мальчик,— сказал человек в серо-коричневой тюремной одежде,— милый вы мой мальчик.— Он снова засмеялся громко и весело и похлопал Прекля по плечу.

Однако Каспар Прекль ушел раздосадованный, не дожидаясь, пока истечет отведенное для свиданий время.

8

О ЧУВСТВЕ СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА

С Каспаром Преклем творилось что-то неладное. Вынужденное безделье после увольнения с «Баварских автомобильных заводов» явно не шло ему на пользу. Жизнь теряла для него смысл без настоящей работы, ему необходимо было возиться с моделями машин, беспрестанно что-то мастерить. Ему не хватало богатого заводского оборудования, он никак не мог привыкнуть к скудному набору инструментов на своем чертежном столе. Хватался за самые разные дела, с головой окунулся в партийные дискуссии, в споры с Тюверленом о его обозрении, снова занялся энергичными поисками художника Ландхольцера. Работал также над циклом баллад, которые в простых, бесхитростных образах должны были передать постепенное превращение отдельной личности в составную часть коллектива. Но все это не могло заменить ему настоящей работы.

Он стал раздражителен, вспыльчив. Не умея глубоко разобраться во взглядах и образе жизни своих соотечественников, он вступал в острые споры с незнакомыми людьми в трамвае, в кафе, конфликтовал с квартирными хозяевами, с приходящей прислугой. Несмотря на свою непритязательность и на то, что он почти не обращал внимания на грязь, спертый воздух

и невкусную еду в пансионах, ему за последнее время неоднократно пришлось менять квартиру, и нигде он не мог обосноваться надолго. Многих отталкивали его замкнутость и деспотизм. Но зато находились и такие люди, которых этот странный человек с низко заросшим черными волосами лбом, сильно выступающими скулами, горящими, глубоко запавшими глазами, неудержимо притягивал к себе с первой же минуты. Скажем, Анни Лехнер,— вот уже два года она не расставалась с ним, хотя многие смеялись, встречая миловидную, крепкую девушку с этим неряшливым, плохо одетым парнем. Жизнерадостная, приятной наружности, чуть полноватая, всегда аккуратно одетая, она гораздо больше времени проводила в квартире-ателье на Габельсбергерштрассе, которую снимал сейчас Прекль, чем в отцовском доме, на Уптерангере. Улаживала все недоразумения с хозяевами, с другими жильцами, с поставщиками. Всячески старалась навести в комнате какой-то уют и, несмотря на его протесты, поддерживать чистоту. Заботилась, хотя и без особого успеха, о его внешнем виде.

Каспар Прекль был вспыльчив, требовал многого, а сам не давал ничего. Неужели Анни способна была разглядеть и понять его достоинства — одержимость, с какой он верил в себя и в свои идеи, яростный натиск его интеллекта, своеобразие его таланта — соединение исконно народного примитивизма и яркой индивидуальности. Во всяком случае, она была ему предана. Старый Лехнер ворчал, ее брат Бени, хоть и был сильно привязан к Преклю, морщился, подруги подтрунивали над ней. Но Анни не оставляла своего несговорчивого друга. Она служила в большой конторе, вела хозяйство отца, ее день был заполнен до предела. И все же она находила время, чтобы улаживать все неприятности в неустроенной жизни Каспара Прекля.

В этот ясный июльский день, когда ртутный столбик термометра поднялся до тридцати трех градусов, а берлинский курс доллара до пятисот двадцати семи марок, она отправилась с Преклем на озеро Зимзее. Прекль ехал быстро, чтобы сильная струя встречного ветра как-то облегчала жару. Он был мрачно настроен и почти не разговаривал со своей подругой. Политические события последнего времени всерьез отравляли ему жизнь в родном городе. Министр иностранных дел Германии был предательски убит националистами. Это убийство вызвало такое сильное возмущение широких слоев населения, что главари партий и группировок, которые призывали к устранению ненавистного им министра, на время затаились и примолкли. Однако многим, особенно в Баварии, убийство министра-еврея пришлось

весьма по вкусу. Они вполне недвусмысленно потребовали устранения и других неугодных им лиц. Когда правительство Германии внесло в парламент законопроект об охране безопасности государства и руководящих деятелей республики, официальные власти Баварии стали всячески увиливать от принятия конкретных мер. Цинизм, с каким это было обставлено, то, как саботировались демонстрации протеста против убийства и поощрялись демонстрации противоположного характера, подлые письма тех, кто одобрял убийство,— все это было противно молодому инженеру. Он любил город Мюнхен, его реку, горы, чистый воздух, его музей техники, картинные галереи. Но теперь он стал серьезно подумывать, не переехать ли ему в Россию.

Навстречу его маленькой, изрядно обшарпанной машине шел большой автомобиль. Завидев Прекля, водитель большого автомобиля сбавил ход. Анни заметила, что, верно, пассажирам автомобиля что-то от него нужно. Прекль еще больше помрачнел и, не поднимая глаз, продолжал ехать с прежней скоростью. Спустя несколько минут тот же самый большой автомобиль обогнал их, очевидно, он сразу же повернул назад. Автомобиль встал поперек дороги, так что Преклю пришлось остановиться. Из машины вышел представительный мужчина в легком белом пальто, с густыми, распушенными, иссиня-черными усами на одутловатом лице и удивительно легким шагом подошел к Преклю. Высоким, властным голосом, с подкупающей простотой сказал на диалекте, что, мол, они так давно не виделись, как же не воспользоваться таким удобным случаем. Попросил представить его даме, поцеловал Анни руку.

Господин фон Рейндль высказал вслух примерно то же, о чем молчаливый Прекль думал про себя. Хоть он и презирал людей, был уроженцем Верхней Баварии и отлично знал свою страну, его все же поражала та тупая мелкотравчатость, с какой официальный Мюнхен реагировал на убийство общегерманского министра иностранных дел и на произведенное этим убийством впечатление. Он приветливо и доверительно беседовал со своим бывшим инженером, обняв его за плечи, что было очень приятно Анни.

Говорил о политике. Упомянул о возникших трудностях. С одной стороны Франция угрожает конфискацией гарантийных богатств — рудников, железных дорог, лесов, земель, с другой — Рапалльский договор с большевиками. Солидному промышленнику, не утратившему чувства ответственности, приходится нелегко. Хотя лично его дела как раз при данной ситуации складываются вполне прилично. В ближайшее время ему предстоит

немало поездок: в Нью-Йорк, в Париж. И, совершенно точно, на будущей неделе — в Москву. Он спросил Прекля, как тот представляет себе реальное значение отдельных статей Рапалльского договора. Прекль покраснел. Оказалось, что он не имеет ни малейшего представления о подробностях договора с русскими. Рейндль примирительно, не настаивая на ответе, спросил, не хочет ли г-н Прекль поехать с ним в Москву. Возможно, там удастся предпринять что-либо относительно серийной автомашины. Он советует Преклю хорошенько подумать над его предложением. Не дожидаясь ответа, обратился к Анни с вопросом, слышала ли она баллады Прекля. Отличные стихи. Однажды Прекль их ему исполнил.

А Прекль стоял в пропотевшей кожаной куртке под лучами полуденного солнца, посреди пыльной дороги. Предложение Рейндля поехать с ним вместе в Москву взбудоражило молодого инженера, оно было для него большим искушением. Капиталист питал к нему слабость. Он, Прекль, глупец, что еще раньше ею не воспользовался. Вообще-то он давно избавился от мещанских предрассудков, «чувства собственного достоинства» и тому подобной ерунды. Почему же именно перед этой свиньей Рейндлем он изображает оскорбленное достоинство, словно какой-нибудь древнеримский кретин! Такое почти полное отсутствие цинизма граничит уже с патологией. Последние недели он только и делал, что ломал голову над тем, каким образом лучше всего устроить поездку в Москву. Отказаться сейчас от предложения Рейндля будет преступлением.

Тем временем Рейндль снял огромные автомобильные очки и галантно улыбнулся Анни. Удивительно, до чего у него большое, бледное лицо. На снимках в газетах оно казалось спесивым и надменным — типичной мордой «большеголового». Между тем вблизи Пятый евангелист был вполне приятным господином. Он умел тонко, без лишних слов делать комплименты. Анни знала, что, несмотря на дешевый летний костюм, выглядит изящной и миловидной.

Рейндль дал ей понять, что она ему нравится. А она подумала: этот человек, бесспорно, настоящий руководитель промышленности и при этом ничего из себя не строит. И еще, что он, видно, дорожит Каспаром. «Неплохо было бы его задобрить»,— подумала она. Он ей понравился, а своим Каспаром она от души гордилась.

Пятый евангелист, поговорив еще немного о всяких пустяках, спросил, что же все-таки Прекль решил, едет ли он с ним в Россию? Если Прекль согласен, то и он сам наверняка поедет

в Москву. Он насмешливо взглянул Преклю прямо в глаза. «Подлая собака, провокатор»,— подумал Прекль и резко ответил:

— Нет!

Рейндль повернул к нему свое одутловатое лицо и любезно произнес:

— Horror sanguinis? [1]

Анни поспешила сгладить неловкость: Каспар еще подумает. Не может же человек, собравшись в Кроттенмюль, вдруг с полдороги повернуть и отправиться в Москву. И засмеялась весело, задорно. От ее освещенного солнцем приветливого лица с живыми глазами под белой шапочкой веяло теплом и здоровьем. Рейндль ответил, что несколько дней подождать можно. Пусть г-н Прекль до субботы позвонит ему.

Когда Пятый евангелист уехал, Анни стала мягко выговаривать Преклю за то, что он грубо обошелся с всесильным человеком: такой удобный случай может и не повториться. Преклю все-таки было приятно, что Рейндль в присутствии Анни показал, как высоко он его ценит. Но он оставался угрюмым, непреклонным. Если он захочет ехать, то и без Рейндля сумеет попасть в Москву. Уж как-нибудь наскребет нужную сумму. Анни благоразумно промолчала. Она знала — когда Каспара начинает заносить, надо терпеливо дожидаться благоприятной минуты. Вообще-то ей самой не хотелось, чтобы он уезжал в Москву, но нельзя же быть таким упрямым ослом и ссориться с Рейндлем. В это трудное время так сложно доставать еду и одежду. Одним классовым сознанием и маленькой машиной тут не прокрутишься. Было бы неплохо заручиться поддержкой такого вот «большеголового».

Они искупались в тихом озере у самого подножья гор. Прекль развеселился, стал дурачиться и кричать, точно мальчишка, словом, вечер прошел чудесно. На обратном пути она снова осторожно завела разговор о том, надумал ли он ехать в Москву. Он сердито буркнул, что уже все сказал. Она заметила, что никак не возьмет в толк, чем им всем не угодил Рейндль. Если б Бени только захотел, он мог бы и не увольняться с «Баварских автомобильных заводов». Наверняка сам во всем виноват.

Прекль сжал тонкие губы. Он не знал, что Бени ушел от Рейндля. Как ни странно, Бени ничего ему об этом не сказал. Он разозлился. До чего же скрытный этот Бени! Но если уж Бени такой, продолжала Анни, то хоть он, Прекль, мог бы

---

[1] Здесь — природное отвращение? *(лат.)*

поговорить с Рейндлем. Прекль заносчиво ответил, что Бенно сам знает, что делает. Ей этого не понять.

Когда они приехали на Габельсбергерштрассе, то, к своему удивлению, увидели возле дома ожидавшего их Бенно Лехнера. Молодой электромонтер, как ни был он привязан к Преклю, довольно редко заходил к нему, особенно в то время, когда мог встретить сестру. Если же такое случалось, оба они испытывали какую-то странную неловкость. Но сегодня у Бени были важные новости. Анни нерешительно пригласила его войти, и он поднялся за ними наверх.

Приход брата обрадовал Анни, она спросила, хочет ли он чаю или пива, ласково заговорила с ним. Прекль хранил молчание. Ему было обидно, что Бенно из гордости ничего не сказал ему о своем увольнении с «Баварских автомобильных заводов». В основном говорила Анни. Спросила, как ему нравится новый абажур. Посетовала на тяжелые времена. Упомянула об отце. С ним трудно стало ладить. С тех пор как он продал свой знаменитый ларец, он целые дни проводит в компании подозрительных банковских дельцов, маклеров по продаже земельных участков и всяких прочих проходимцев; из сил выбивается, и все ради этого яично-желтого дома. Но дело явно застопорилось, видно, яично-желтый дом уплывет-таки из его рук. А он остается с кучей бумажных денег.

Бенно беспокоило, что Прекль может счесть его назойливым, но он не хотел начинать разговор при Анни. А Анни не умолкала ни на минуту, она буквально рта не закрывала. В конце концов Каспар Прекль не выдержал.

— Вечно ты повторяешь одно и то же,— невежливо оборвал он ее.

Бенно сделал неопределенный жест рукой и сказал, что ему нужно сообщить товарищу Преклю важную новость. Собственно, он для этого и пришел. Он замолчал, Прекль тоже не говорил ни слова. Наконец Анни с легкой обидой сказала, что раз так, она может выйти в другую комнату. Ни тот, ни другой не стали ее удерживать.

Оставшись с Преклем наедине, Бенно Лехнер сообщил ему, что Кленк назначил председателя земельного суда доктора Гартля референтом по делам о помиловании, очевидно, в виде ответной меры на новый закон общегерманского правительства об охране безопасности государства.

К этой новости он ничего не добавил, ждал, что скажет Прекль. А тот помешивал ложечкой чай. Перед Бенно Анни еще раньше поставила стакан пива, Бенно к нему почти не при-

тронулся, хотя шапка пены уже осела. Сам по себе факт назначения Кленком для разбора дел о помиловании главным образом политических заключенных такого консервативного человека, как Гартль, был явным вызовом. Как это назначение отразится в дальнейшем на положении Крюгера, пока предугадать было невозможно. Как это ни парадоксально, уголовно-процессуальный кодекс предусматривал, что вопрос о пересмотре дела решает тот же суд, который вынес приговор. То, что Гартль ушел со своего прежнего поста, вне всякого сомнения, непосредственно касалось друга Прекля, поэтому Бенно Лехнер и поторопился сообщить ему эту новость.

Но Прекль молчал и даже не поблагодарил его. Это известие привело его в замешательство. Он от души желал Крюгеру поскорее выбраться на свободу. С другой стороны, хотя тюрьма и заставила Крюгера многое пересмотреть, но далеко еще не все, так что, быть может, ему даже полезно будет, если теперь на его пути встанет Гартль.

Электромонтер Бенно Лехнер был очень привязан к товарищу Преклю, поэтому не обижался на него за молчание и не мешал ему думать. Но когда Прекль, просидев молча минут десять, встал, несколько раз прошелся по комнате, а затем углубился в свои чертежи, Бенно Лехнер заметил, что, насколько ему известно, Гартль бывает в «Мужском клубе», значит, он хорошо знаком с Рейндлем. Возможно, товарищ Прекль сможет уломать Рейндля, чтобы тот поговорил с Гартлем. Но Прекль воспринял это предложение безо всякого энтузиазма. Неужели ему так и придется постоянно зависеть от этого проклятого Пятого евангелиста? Он с досадой ответил, что нет, не станет он снова говорить с Рейндлем, это бесполезно.

После ухода Бенно Лехнера Прекль сел за чертежный стол и занялся одним из своих проектов. Анни вернулась в комнату, заварила чай. Спустя какое-то время Каспар Прекль вдруг резко сказал, что нельзя допустить, чтобы Бенно ходил без работы. Он поговорит с Тюверленом. Бенно увлекается проблемами театрального освещения. Тюверлен наверняка сможет пристроить его у Пфаундлера в обозрении. Анни согласилась, что это было бы замечательно. В остальном она проявила завидное благоразумие и даже не полюбопытствовала, что именно Бени хотел ему сообщить. Позднее, вечером, она спросила, почему Рейндля называют Пятым евангелистом. Каспар Прекль не без сарказма объяснил: четыре евангелия туманны и производят сильное впечатление именно потому, что пятое, которое могло бы все прояснить, отсутствует. Таким образом сила воз-

действия четырех евангелий — в отсутствии пятого. Точно так же в баварской политике все становится ясным, когда поймешь, что вершат ее не те, кто официально руководят ею. Очевидно, поэтому,— с ненавистью заключил он,— Рейндля и называют Пятым евангелистом. Анни слушала внимательно, но трудно было определить, все ли она поняла.

Уже совсем поздно вечером она спросила, что́ он решил насчет Москвы. Каспар грубо ответил, что ему осточертели все эти разговоры. Он сам знает, что делать.

Анни подумала, что таким путем она легче всего добьется, чтобы он никуда не уезжал. Больше она не настаивала, зевнула, решила вернуться к этому разговору на следующий день.

9

СТО ПЯТЬДЕСЯТ ЖИВЫХ КУКОЛ И ОДИН ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК

К Жаку Тюверлёну явился бесцветный человек с портфелем, сразу же прошел в комнату, негромко спросил: «Вы будете господин Жак Тюверлен?» — с трудом и неправильно выговаривая необычное имя. Уселся за стол, извлек из нагрудного кармана вечное перо и стал молча, долго и обстоятельно что-то писать. Жак Тюверлен наблюдал за ним. Затем бесцветный человек сказал:

— Я судебный исполнитель,— и предъявил удостоверение.

Тюверлен кивнул.

Бесцветный человек сказал:

— Вам предъявляется счет в размере двадцати четырех тысяч трехсот двенадцати марок. Желаете уплатить?

— Почему бы нет? — сказал Тюверлен.

— Тогда прошу вас,— строго произнес бесцветный человек.

Жак Тюверлен порылся в ящиках стола. Этим ранним утром он, как обычно, был в пижаме, секретарша еще не приходила. Он нашел три черно-зеленые долларовые бумажки.

— Боюсь, этого не хватит,— вслух подумал он. Действительно, этого не могло хватить. В тот день доллар стоил восемьсот двадцать три марки.

— Кажется, таких денег у меня не найдется,— с сожалением констатировал Тюверлен.

— В таком случае мне придется приступить к описи имущества,— сказал бесцветный человек, занес что-то в протокол,

пытливо оглядел комнату, спросил Тюверлена, принадлежат ли ему те или иные вещи, на некоторые наклеил ярлычки с изображением крохотного герба. Тюверлен неотступно наблюдал за ним, его голое, в мелких морщинках лицо то и дело подергивалось, внезапно он громко засмеялся.

— Прошу вас вести себя пристойно,— строго сказал бесцветный человечек и удалился.

Жак Тюверлен рассказал секретарше о нежданном госте, обсудил с ней свое финансовое положение. Поскольку он проиграл процесс против брата, оно было отнюдь не блестящее. Но он не пал духом: он не очень-то дорожил материальным благополучием. У него еще оставалось несколько хороших вещей плюс маленькая машина. А денег, полученных от Пфаундлера, пока хватало.

Господин Пфаундлер, едва он пронюхал о положении Тюверлена, сразу решил этим воспользоваться. Толстыми пальцами он принялся черкать рукопись, и очень скоро Аристофан улетучился вовсе. Касперль, превратившийся в безобидного шута, вынужден был довольствоваться беззубыми остротами.

Тюверлен охотнее всего швырнул бы Пфаундлеру эту работу и занялся бы радиопьесой «Страшный суд». Но разве он не назвал форму обозрения серьезнейшим жанром современного искусства? Имел ли он право теперь, когда ему представилась возможность претворить свои взгляды в жизнь, трусливо отказаться от всего? Написать либретто это еще полдела. Главное, воплотить слова в образы, сцены, воздействовать ими на зрителей. Его внутреннее восприятие не зависит от успеха или неуспеха. Но на войне, в политике, в экономике и в театре в конечном счете значение имело лишь произведенное впечатление, успех. Стать на эту точку зрения означает признать правила игры, признать мерилом ценности успех. Представление, которое не производит впечатления, все равно что бездействующий автомобиль. Неприятно сознавать, что много месяцев творчества были отданы делу, которое себя не оправдало. Насмешливо наблюдая за исходом поединка, Каспар Прекль особенно упирал на эту сторону вопроса.

— Мне любопытно,— едко и деловито заявил он,— кто победит: Пфаундлер или Аристофан.— Сам Тюверлен любопытства больше не проявлял.

Часто при спорах с Пфаундлером присутствовал и комик Бальтазар Гирль. Он стоял, опустив большую грушевидную голову, фыркал носом, недовольный, скорбный. Говорил мало, разве что сделает какое-нибудь замечание, нередко вздыхал.

Когда спрашивали его мнение, он отделывался неопределенным «гм», «конечно, господин хороший», «непростая задача» — либо столь же невразумительными ответами. Наедине со своей подругой он зверски ругал этих безнадежных тупиц, которые ни черта не смыслят в настоящей комедии: все наверняка окончится провалом. А когда она спрашивала, почему он не бросит эту затею, Гирль бурчал в ответ что-то непонятное. Объяснялось это тем, что Гирль внимательно приглядывался ко всему, что делал Тюверлен. Он убедился, что Тюверлен — толковый малый и в плане художественном всю эту банду заткнет за пояс. Многие из идей и замечаний Тюверлена продолжали зреть в нем, наводили его на новые мысли. Многое из того, что он сейчас решительно отвергал, Гирль в дальнейшем собирался использовать в залах «Минервы». В то же время он опасался, что многочисленные побочные мотивы обозрения отодвинут его на второй план. Тюверлен казался ему слишком категоричным. Ему самому многое не нравилось в его родном городе Мюнхене, он часто бывал им недоволен, он только и делал, что с подмостков высмеивал его недостатки. Но такое было дозволено *ему*, Гирлю, *он* имел право обзывать свою матушку «старой свиньей», но обзови ее так кто-нибудь другой, он залепил бы тому пощечину. Тюверлен говорил об этом ясно и четко, а он тем не менее не давал ему пощечины. Вот это и выводило из себя комика Гирля.

Когда пришло время воплотить либретто Тюверлена на сцене, возникла тьма препятствий и всяких осложнений. Необходимо было занять в обозрении приятельниц компаньонов Пфаундлера, каждая из них требовала роль. Г-жа фон Радольная тонко намекнула, что она, собственно, надеялась поддержать Тюверлена своим участием в обозрении и просила дать ей роль. Пфаундлер хотел услужить Клепку, который по-прежнему был увлечен русской танцовщицей и требовал роли для нее. Новый текст, еще один текст. Текст, текст, текст, текст просили художники, музыканты, портные, декораторы. Поток просьб, заклинаний, угроз все ширился. Все эти невыполнимые, наглые требования Тюверлен объединил под общим названием «претензии». Каждого, с кем ему приходилось иметь дело, он с вызовом спрашивал: «А у вас какие претензии?» С Пфаундлером у него происходили все более ожесточенные споры, которые тот обычно заканчивал самонадеянно и торжествующе: «Кто кому платит?» Для обозрения «Выше некуда» ему нужны были сто пятьдесят голых девиц. Неделю подряд в театр являлись толпы девиц, которые дефилировали перед помощником режиссера, ассистентом

художественного совета, главной художницей костюмерного цеха. Обливаясь потом, изнывая от скуки, эти девицы с пустыми кукольными лицами и невыразительными телами, с наигранно деловым видом теснились в коридоре, глупо хихикая и обмениваясь скабрезными анекдотами, а проходившие мимо мужчины бесстыдно тискали их. Среди девушек были и совсем юные. Если они попадут в обозрение, они избавятся от родительского дома, от нищенского жилища, полного людей, скверного запаха и брани. Стать «герлз» означало для них освобождение, шанс на успех, входной билет в достойную человека жизнь. Некоторые из них пришли вместе с матерями. Они не хотели повторить жизнь матерей, они мечтали о лучшей доле, они хотели стать «герлз».

Но и в этих юных, полных надежд существах уже не было обаяния. Тюверлен никогда бы не поверил, что юное тело может быть столь непривлекательным и бесцветным, словно оно из папье-маше, а женские прелести могут производить столь жалкое впечатление. В помещении стоял запах пота, косметики, человеческого тела. Тюверлену припомнился полузабытый медицинский осмотр «человеческого материала» во время войны.

В довершение всего на репетициях толпился народ, не имевший почти никакого отношения к Тюверлену и его обозрению: акробаты, труппа лилипутов, какой-то субъект с павианом, играющим на рояле. Среди всех этих людей стоял скептически настроенный, всем недовольный, мрачный комик Гирль. Он оглядывал голых девиц, говорил им: «Сколько же вам отвалят, душенька?» Спрашивал он это тем же тоном, каким по совету Тюверлена должен был исполнять роль Касперля. Гирль — Касперль живо интересовался материальным положением окружающих. Каждому он задавал вопрос: «Сколько же вам за это отвалят, господин хороший?» Однажды он попросил растолковать ему основу коммунистического мировоззрения. Его собеседник старался, объяснял изо всех сил, Касперль задумчиво говорил: «Ага», спросил: «А сколько вам за это отвалят?» и, наконец, заявил, что станет коммунистом. Но как только он заимеет деньжат, ядовито добавил он, пусть уж дядя изображает из себя коммуниста. В следующей картине он вместе с другим актером разыгрывал сцену поединка быка с тореро. В разгаре схватки бык вдруг принимал упрямо-флегматичную позу, излюбленную позу Касперля в течение всего обозрения, и спрашивал у тореро, который должен убить его: «Сколько же вам за это отвалят, господин хороший?» Когда репетировались эти картины, Бальтазар Гирль бывал в ударе. А вот почти во всех остальных картинах

он стоял, недовольно набычившись, кислый, упрямый, сковывая своей пассивностью партнеров.

С каждой новой репетицией становилось все яснее, что Пфаундлер оставил в обозрении ничтожную часть того, что создал Тюверлен. По сути дела из сорока двух картин Тюверлена Пфаундлер не тронул лишь одну: ту, в которой Касперль — Гирль изображал быка. Эта сцена доставляла Тюверлену радость и в рукописи, и во время репетиций.

В остальном же вся эта мешанина с каждым днем все больше походила на обычное обозрение тех лет — на лишенную всякого смысла рекламу мишуры, блестящих тканей, обнаженного человеческого тела. Тюверлен пережил несколько чудесных месяцев творческого подъема. Не совершил ли он страшную ошибку, вложив все свое вдохновение в эту работу? Он подумал об Иоганне. Когда он расскажет ей об этом, у нее на лбу прорежутся три морщинки. Собственно, он и рад был бы рассказать ей обо всем. Какая глупость, что они тогда расстались. Он отчетливо представил себе рослую девушку. После ста пятидесяти живых кукол, просмотренных им за день, она одна была человеком. Самое умное было бы плюнуть на эту неудачную затею. Может, написать ей?

Но он не написал. Вместо этого сел за стол и стал отшлифовывать картину боя с быком.

10
БАВАРСКИЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЯ

а) Игнац Моосхубер

Игнац Моосхубер, землевладелец из Райнмохингена, родился там же в семье землевладельцев Михаэля и Марии Моосхубер. Семь лет он посещал Райнмохингенскую школу, научился читать и кое-как писать. Затем, отслужив в армии, унаследовал от отца небольшое хозяйство. В годы своего расцвета он владел: четырьмя лошадьми, двумя плугами, одной женой, четырьмя законными и тремя незаконными детьми, одной Библией, одним катехизисом, одним «Христианско-католическим крестьянским календарем», тремя изображениями святых, одной олеографией, изображавшей короля Людвига Второго, одной фотографией, изображавшей его самого в военной форме, одной центрифугой для приготовления масла, семью свиньями, несколькими силка-

ми и западнями для дичи, одной сберегательной книжкой, тремя шкатулками, набитыми обесцененными деньгами, двадцатью тремя швейными машинами, купленными для того, чтобы хоть часть этих бумажных денег превратить в реальную ценность, двумя велосипедами, одним граммофоном. Его словарный запас состоял из шестисот двенадцати слов. В среднем он двадцать три раза в году участвовал в драках. В общей сложности двести четыре раза влезал через окно в каморки служанок. Четырнадцати девушкам, а точнее, женщинам, по его вине пришлось прибегнуть к аборту. Он был девять раз ранен, причем три раза ножом в частных домах, два раза пулями на войне, четыре раза осколками пивных кружек в трактире. Девять раз в году он мыл ноги, два раза — мылся целиком. За свою жизнь выпил две тысячи сто тридцать семь литров воды и сорок семь тысяч восемьсот двенадцать литров пива. Он семнадцать раз давал клятву, из них девять раз заведомо ложную, при этом загибал три пальца левой руки, что, по местному поверью, избавляет от ответственности перед богом и людьми. Трижды пережил он мрачные часы. Первый раз во время войны, когда узнал, что из-за нехватки продуктов пиво отныне будет менее крепким, второй раз, когда его по суду заставили платить алименты на содержание внебрачного сына Бальтазара Анцингера, и третий раз — когда почувствовал приближение смерти. Любимая его песня начиналась словами: «На вершине, где тропа кончается, армия баварская сражается». В его похоронах участвовало сто девяносто два человека, ибо он пользовался уважением и был членом правления общины. Над его могилой была исполнена песня «Был у меня товарищ». В знак траура было также произведено несколько выстрелов. Так как одна из мортир дала осечку, то во время поминок возникли расхождения во взглядах, в результате чего одному из участников пришлось ампутировать руку и удалить ребро.

б) Антон фон Казелла

Антон фон Казелла, генерал-майор из Мюнхена, воспитывался в пажеском корпусе, закрытом учебном заведении для детей дворян. Он сделал головокружительную карьеру, выступив свидетелем защиты по одному скандальному сексуальному делу, в котором был замешан член королевской семьи и расследование которого было вскоре прекращено. Его словарный запас состоял из четырехсот двенадцати слов. Его любимая песня начиналась словами «Граф Люксембург все деньги промотал». Он

владел одной картиной, писанной масляными красками и изображавшей баварского курфюрста Макса-Эммануила на войне с турками, копией с картины «Отелло рассказывает, сидя у ног Дездемоны», а также портретом маслом короля Людвига Второго. Он похвалялся тем, что со времени окончания школы ни разу не брал в руки книги, и охотно употреблял два изречения: «Не так быстро пруссаки стреляют» и «Не каждая девушка невинна». Читал он исключительно «Мюнхенскую газету», «Военный вестник» и «Лисбахские новости». Он девять раз приносил клятву и все девять — ложную. У него была любовная связь с одной субреткой венской оперетты. Одними и теми же словами он рассказывал жене две тысячи триста двенадцать раз, а любовнице три тысячи сто четырнадцать раз в общей сложности двенадцать смешных анекдотов об одном баварском принце. Когда его любовница в возрасте пятидесяти двух лет умерла, он обнаружил, что у нее были вставные зубы. Выведенный этим открытием из равновесия, он перестал соблюдать дисту, которая была ему предписана ввиду болезни почек, в результате чего погиб смертью героя, поскольку это произошло во время войны. В его похоронах приняло участие семьсот шесть человек. Была исполнена песня «Был у меня товарищ».

в) Иозеф Куфмюллер

Иозеф Куфмюллер — агент по перевозке пива в Ингольштадте, ребенком посещал народную школу своего родного города, научился читать, кое-как писать, вызубрил годы царствования баварских королей, точные даты сражений франко-прусской войны 1870—1871 годов. В его доме висела олеография, изображавшая коронование Наполеона папой Пием, портрет баварского короля Людвига Второго и красочная реклама с изображением пивоваренного завода ингольштадтского акционерного общества. Его словарный запас состоял из семисот двадцати четырех слов. Его любимая песня начиналась словами: «В Мантуе, в оковах», которая прославляла тирольского народного героя Андреаса Гофера, расстрелянного баварцами. В среднем он перевозил за год шесть миллионов двенадцать тысяч литров пива, и неизменно носил зеленую шляпу и бархатный жилет со множеством пуговиц. Во время войны ему удалось продать на сторону изрядное количество вагонов крепкого пива, предназначавшегося для госпиталей, а деньги положить себе в карман. Эта махинация позволила ему устроить брак своей дочери Кати с коммивояжером по продаже товаров каучуковой и асбестовой

промышленности, а сына своего обучить латинскому языку, что открыло тому путь к карьере высшего чиновника. Он любил играть в карты, особенно в «гаферльтарок». При этом он имел обыкновение сброс карт сопровождать прибаутками, часто рифмованными, вроде «скажите, если вы не дураки, как в Калабрии писают индюки», либо речениями, плодами народной мудрости, вроде: «Деньги счет любят». Он давал присягу девять раз, из них дважды заведомо ложную, не забыв, однако, загнуть три пальца левой руки. В его похоронах приняло участие восемьдесят четыре человека. Над его могилой была исполнена песня «Был у меня товарищ». На этих похоронах зять его столь сильно простудился, что не смог продать значительное количество товаров каучуковой и асбестовой промышленности, из-за чего почти на три года пришлось отложить запланированную покупку пианино.

г) Иоганн Мария Хубер

Иоганн Мария Хубер, директор департамента из города Мюнхена, четыре года посещал начальную школу и десять лет гимназию. В одном из классов он просидел два года. Его словарный запас состоял из тысячи четырехсот пятидесяти трех немецких, ста трех латинских, двадцати двух французских, двенадцати английских и одного русского слова. Он посетил двести двадцать один раз концерты, семнадцать раз театр и четыре тысячи сто восемнадцать раз церковь. Он владел гравюрой, изображавшей вступление Тилли в горящий Магдебург, портретом баварского короля Людвига Второго, зеленой маской с лица Бетховена, репродукцией, изображавшей храм в Пестуме. Его любимым блюдом было сладкое из яиц, масла и муки, так называемые «зальцбургские клецки». В одной из его любимых песен утверждалось, что еще «не прошли дни цветения роз», а в другой, русской народной песне рассказывалось о «матушке» и «красном сарафане». Две эти песни служили музыкальным сопровождением его деятельности в министерстве просвещения и вероисповеданий. Он очень увлекался радиолюбительством и изделиями баварской фарфоровой промышленности, состоял членом правления баварского общества кролиководства, а также баварской народной партии. Желая выразить удивление, охотно употреблял слово «шлаппердибикс», позаимствованное им из старинного комедийного представления. Самые тяжкие душевные сомнения выпали на его долю во время инфляции, когда он ночью бодрствовал у тела умершего отца. Он должен был решить вопрос: следует ли ради того, чтобы устроить замужество дочери, вытащить изо рта

покойника золотые коронки, которые в период инфляции и дороговизны приобрели особую ценность. Он принес девять присяг, из них три — заведомо ложные. Однако, поскольку с формальной точки зрения и они были безупречны, он не счел нужным загибать пальцы левой руки. В его похоронах приняло участие пятьсот четырнадцать человек. Была исполнена песня «Был у меня товарищ».

11
РАЗВЕ ТАК ВЫГЛЯДИТ УБИЙЦА?

Доктор Гейер подробно написал Иоганне в Париж, какие изменения произошли в деле Крюгера. Никаких изменений не произошло. Попытки добиться пересмотра дела не дали никаких результатов. Доктор Гейер считал, что Иоганне следует оставаться в Париже и оттуда вести борьбу; разумнее подстегивать общественное мнение цивилизованного мира, натравливать газеты, чем просиживать в Мюнхене в приемных всяких министерских советников и председателей земельных судов, саботирующих пересмотр дела.

Иоганна осталась с Гесрейтером и вела теперь довольно безрадостную жизнь. Итак, через пять дней они переедут в небольшую квартиру, которую он снял. Но, право же, ей было почти безразлично, жить ли в гостинице или снимать квартиру, приедет ли тетушка Аметсридер или нет. И все-таки после той ссоры с Гесрейтером порвалась последняя, связующая их нить.

Гесрейтер недоумевал: «Слишком уж она спокойна, что-то тут не так. Она больше ни разу не вышла из себя, да и в ресторан ее вечером не вытащить. Один лишь теннис еще способен ее зажечь. Им она интересуется больше, чем мной».

Господина Гесрейтера в этот период волновало множество проектов. Он вел переговоры с французскими предпринимателями и американскими банкирами. Часто вспоминал Рейндля и все собирался «показать ему». Но в последний момент неизменно отступал. «Южногерманская керамика Людвиг Гесрейтер и сын» была солидным предприятием, на котором прочно и неколебимо покоилось благополучие коммерции советника Пауля Гесрейтера и его роскошного дома на Зеештрассе. Умеренные сделки с заграничными фирмами давали вполне приличную прибыль, да и риска тут большого не было. Если же он отважится

на новые крупные соглашения, его захлестнет мощный, бушующий поток. Конечно, очень заманчиво, очертя голову, ринуться в него, тогда он был бы у себя дома не только в Баварии, но и во всем мире. Но тогда прощай спокойная жизнь. Г-н Гесрейтер с важным видом прикидывал, взвешивал все «за» и «против», в последний момент отказывался от сделки, снова взвешивал все «за» и «против». До сих пор единственным зримым результатом этих раздумий были непрерывно укорачивающиеся бачки.

Как-то в Париж приехал старинный друг г-на Гесрейтера по аристократическому мюнхенскому «Мужскому клубу» тайный советник Дингхардер, один из совладельцев «Капуцинербрауэрей». Он рассказал о мюнхенских новостях. Председатель земельного суда Гартль после смерти тещи унаследовал весьма изрядный капитал в иностранной валюте и теперь и в «Мужском клубе», и в зале суда строит из себя невесть что. Генерал Феземан купил в Мюнхене дом и окончательно обосновался там, что делает город центром движения «истинных германцев». Пятый евангелист расширил сферу своего влияния. Он стал столь всемогущ, что его начали побаиваться. Магистрат выделил дополнительные средства на украшение Галереи полководцев. Г-н Пфаундлер приступил к репетиции грандиозного обозрения.

Гесрейтера охватила тоска. Он затосковал по своему дому, по Английскому саду, по «Тирольскому кабачку», по горам, по репетициям пфаундлеровского обозрения. В глубине души, не признаваясь в этом даже самому себе, он давно решил не ставить на карту свою обеспеченную мюнхенскую жизнь ради заманчивых, но рискованных шансов на успех, которые сулил ему выход на мировые рынки. И если он все-таки оставался на чужбине, то лишь потому, что не считал себя вправе упустить многочисленные возможности, открывающиеся в это безумное время инфляции. Он вынашивал всякие планы, проводил совещания, внушительно, с таинственным видом говорил о предстоящих крупных и важных переменах. Уж коль скоро ты не плывешь в бурном потоке, то все же приятно, стоя на берегу, хотя бы повторять движения пловцов.

За два дня до приезда тетушки Аметсридер Иоганна, как они условились, вместе с Эрихом Борнхааком отправилась к морю. День был прохладный, солнечный и ясный. Шалопай, сидя за рулем своего маленького автомобиля, был по-мальчишески весел. Иоганна задумчиво сидела рядом, ей было хорошо и спокойно. Он вовсе не был таким легкомысленным маль-

чишкой, каким старался казаться. Как страстно отдавался он вождению машины, с каким неприторным интересом следил за прыжками белки! Не оставалось никаких сомнений: пустота и порочность, которыми он бравировал в Германии и при встречах с ней в Париже, были всего лишь рисовкой. Стоило ли вмешаться, пытаться что-то изменить? Можно ли убедить его начать жизнь заново, по-хорошему?

За все время пути он ни словом не обмолвился о своем бурном прошлом, которым прежде с таким удовольствием хвастал. Но когда они прогуливались по чудесному солнечному пляжу курорта, сейчас, перед началом сезона, еще почти безлюдного, он словно невзначай, с наигранно-лукавым, циничным и одновременно огорченным выражением обронил: «К сожалению, я не могу оставаться в Париже еще две недели, как предполагал раньше». Она чуть вздрогнула.

— Почему? — спросила она после короткой паузы.

— Да потому, что ни одного человека нельзя оставлять в одиночестве,— ответил он глубокомысленно, тоном взрослого.

Он рассказал отвратительную запутанную историю. Как ей известно, он вместе с г-ном фон Дельмайером занимается разведением собак. Главный доход приносит им вывоз собак в Америку. Но собаки существа нежные, нежнее многих людей, и частенько многие собаки ценных пород во время плаванья через океан погибали. Поэтому они стали страховать собак перед отправкой. Такой выход из положения напрашивался сам собой, ведь г-н фон Дельмайер сам был страховым агентом. Но поскольку их дела шли преотлично, разъяренные конкуренты не останавливались ни перед чем, лишь бы навредить им. А теперь взяли и донесли на г-на фон Дельмайера, будто он страховал собак на сумму, превышающую их истинную стоимость, а для того, чтобы присвоить разницу, перед погрузкой давал собакам медленно действующий яд.

Все это он рассказывал, глядя прямо перед собой, как всегда, наглым, небрежным и насмешливым тоном. Иоганна остановилась и стала внимательно слушать. Он тоже остановился. Они смотрели на море. Дул свежий ветерок, легкие белые волны неслись по стеклянно-зеленой глади прямо на них. Они не смотрели друг на друга. Иоганна, смущенная, взволнованная, закусила верхнюю губу. Он продолжал рассказывать. Как печально, что молодым людям, испытывающим потребность провести иногда вечер в обществе хорошо одетых людей, приходится заниматься отравлением собак. Вопрос о

том, зависит ли это от характера или от времени, он оставляет открытым.

Иоганна стояла, не двигаясь, над ее выразительным вздернутым носом прорезались три вертикальные морщинки. Какой у этого мальчишки возмутительно заносчивый, насмешливо сентиментальный топ! Слабый запах кожи и сена. Противоестественное удовольствие, с каким он выворачивал себя перед ней наизнанку. Прочь от этого негодяя! Сейчас же уйти от него!

Но она не ушла. Больше того, посмотрела на него, подняв к нему лицо, и с усилием, осевшим голосом спросила:

— А как обстоит дело с убийством депутата Г.? Есть какие-нибудь новости?

— С убийством депутата Г.? — переспросил Эрих Борнхаак.— Честно говоря, меня это занимает меньше, чем история с собаками. Такой вот депутат имеет свои взгляды, произносит речи. Он провозглашает: справедливость, гуманность, цивилизация, пацифизм. Не исключено даже, что он во все это верит. Почему бы ему и не произносить речей? Но когда он кричит слишком громко, это начинает надоедать, он становится помехой. Когда вы увлечены работой, а кто-то барабанит на рояле, разве у вас не возникает желания заставить пианиста замолчать?

— Ну, а как назвать тех, кто идет на это? — спросила Иоганна все тем же сухим, лишенным интонации голосом.

Эрих Борнхаак улыбнулся понимающей, фатальной улыбкой.

— Эти так называемые изверги, право же, подчас бывают очень приятными людьми. Наверняка требуется больше решимости, чтобы убить породистую собаку, чем какого-нибудь жирного, спесивого краснобая. Если предположить, что господин фон Дельмайер отправил на тот свет депутата Г. и дога Туснельду, то, надо думать, его скорее лишила сна Туснельда, чем господин депутат. На реке Ганг,— добавил он, так как Иоганна по-прежнему молчала,— культура более древняя, чем на реке Изар. Я думаю, что на Ганге иному человеку труднее убить некоторых животных, чем некоторых людей.

Иоганна шла рядом с развинченным молодым человеком, оглушенная, почти парализованная. Непрерывный поток его слов проникал ей в уши, действуя, словно наркотик. Дул свежий ветерок, море было приветливым. Эрих Борнхаак продолжал оживленно, без всяких пауз рассказывать. С этими поли-

тическими убийствами всегда бывает морока. Как-то его пригласили погостить в поместье в Химгау. Незадолго до его приезда там как раз укокошили лидера левой партии, и так называемый убийца не был пойман. В том поместье, поди уж там разбери почему, за убийцу приняли *его*. И это сразу придало ему огромную притягательную силу, все молодые дамы буквально вешались ему на шею. Он хорошо помнит одно катанье по озеру. Он со своей дамой заехал в камыши, окружавшие один из островов. Не будь он таким ярым противником брачных уз, он мог бы сделать отличную партию; денег у этой дамочки было хоть отбавляй. Между прочим, она была молода и весьма недурна собой.

На обратном пути Иоганна все время молчала. Когда они приехали в Париж, попрощалась с ним сухо, поспешно.

На следующее утро, стоило ей поиграть в теннис, как мысли о собаках и убитом человеке куда-то улетучились. Она чувствовала себя веселой, бодрой. Но вскоре ее воображением против воли снова завладел образ юноши. Эти его фамильярные жесты, наигранная небрежность слов. Ей казалось, будто весь воздух вокруг пропитан слабым запахом сена и кожи. Что этому мальчишке нужно от нее? К чему ей все его откровения? Не хочет ли он взвалить на нее часть своих забот? В тот вечер она была рассеянна и нелюбезна с Гесрейтером.

На другой день, после неоднократных телеграмм о предстоящем прибытии и затем о том, что приезд откладывается, в дом решительным шагом вступила тетушка Аметсридер. Вскинув крупную мужеподобную голову, она уверенно несла свое дородное тело по маленькой, тихой квартире, чрезвычайно довольная тем, что ее вызвали. Ее задело за живое, что в свое время Иоганна столь спокойно с ней рассталась. И вот теперь выяснилось, что все же без нее не обойтись! Однако вскоре выяснилось, что это не так. Иоганна не испытывала ни малейшего раскаяния, воспринимала присутствие тетушки как нечто само собой разумеющееся, а временами даже обременительное. Так же, как и прежде в Мюнхене, она с ней не делилась своими заботами, а тетушке хотелось помочь Иоганне в ее личных делах своим опытом и советами. Франциске Аметсридер пришлось удовольствоваться заботой о еде, перестановкой мебели и другими домашними делами.

Гесрейтер был достаточно опытен и понимал, что человеческие чувства не остаются неизменно сильными. И все-таки небрежная приветливость Иоганны обижала его. В одном игорном клубе он познакомился с миниатюрной экзотич-

ной дамой из французского Индокитая, приятным, не слишком привередливым существом, привлекшим его своей кротостью и мягкостью манер. Он бывал у нее через день. Вероятно, он был не единственным, кто бывал у нее, но это его не трогало.

Как и следовало ожидать, об этих его посещениях молодой аннамитки стало известно и в квартире Гесрейтера. Иоганна отнеслась к этому совершенно спокойно, но тетушка Аметсридер, молчаливостью и равнодушием Иоганны обреченная на отчаянную скуку, усмотрела тут удобный случай проявить свою энергию. Она решила призвать чужеземку к ответу. Это уж слишком! Она считала Гесрейтера без пяти минут зятем. Нет, она живо покончит с этим китайским безобразием.

И вот однажды утром она явилась в маленькую, светлую квартирку мадам Митсу. Во французском словаре она отыскала слова, которые могли понадобиться ей, чтобы ясно и недвусмысленно высказать китаянке все, что она о ней думает. Вежливая служанка попросила ее обождать, мадам в ванной, минут через пять она ее примет. Дородная и решительная, восседала Франциска Аметсридер в уютной комнатке, вертя своей крупной, коротко остриженной, мужеподобной головой и заглядывая во все углы, пытаясь высмотреть что-либо, способное пробудить настоящую ярость против этого желтолицего воплощения порока. Но так ничего и не обнаружила: комната была опрятная и все в ней дышало добродетелью. Вошла мадам Митсу, мягкая, любезная, несколько удивленная. Ей очень хотелось быть полезной этой воинственно настроенной даме, но она не могла понять, чего та добивается. Наконец поняла. Речь идет о полном приветливом господине. С ним что-нибудь случилось? Он просит прийти к нему? Перед кротким, нежным, словно юная луна, нравом мадам Митсу все слова, которые тетушка Аметсридер нашла в словаре, оказались бесполезными. В конце концов госпожа Аметсридер заговорила о ценах на продукты и на другие вещи первой необходимости, причем мадам Митсу выказала себя весьма сведущей в этих вопросах. Чтобы не уйти вовсе ни с чем, тетушка Аметсридер попросила дать ей адрес портнихи, которая сшила мадам Митсу поистине очаровательное кимоно. Она вознамерилась убедить Иоганну сделать себе точно такое же. С этим адресом, написанным на листе бумаги крупным, неумелым детским почерком мадам Митсу, и вернулась к обеду в квартиру Гесрейтера тетушка Аметсридер.

12

МОНАРХ В СЕРДЦЕ СВОЕГО НАРОДА

У церковного портала большие фиолетовые плакаты огромными золотыми буквами провозглашали: «Лишь одно важно — спасти душу свою». Многие откликались на этот призыв: молодые и старые, мужчины и женщины, люди хорошо одетые и оборванные. Потому что нужда была велика. Еще не успевал остыть хлеб, который по баснословным ценам продавали ворчащим покупателям, как цены снова подскакивали. Булка стоила три марки, килограмм маргарина — четыреста сорок марок, за стрижку волос брали восемьдесят марок. Этой порой нужды и голода церковь воспользовалась для генерального наступления на сердце народа, для осуществления своей священной миссии. На целый месяц были мобилизованы все сколько-нибудь известные проповедники, с тем чтобы в каждой церкви проповедь читал человек, хорошо знавший местных прихожан.

Наибольшую популярность среди верующих завоевал священник-иезуит, моложавый, изящный человек с благородным, выразительным лицом. Хорошо поставленным голосом он льстил и мягко увещевал, вкрадчиво пугал, метал громы и молнии. Плавная немецкая речь проповедника звучала особенно проникновенно благодаря едва заметному местному выговору, родному для всех молящихся. В церковь набилось столько народу, что многие, дойдя до дверей, вынуждены были повернуть обратно. Полиция утихомиривала возмущенных, громко бранившихся людей. Вдохновенный голос пастыря проникал в уши озабоченных домашних хозяек, не знавших, как раздобыть самое необходимое на завтрашний день, и «трехчетвертьлитровых» рантье, которые с трудом сводили концы с концами лишь благодаря мелкой трусливой спекуляции и связям с крестьянами. Он проникал и в сердца измученных людей, получавших твердый оклад и ожидавших от бога совета в биржевой игре, которая помогла бы им продержаться ближайшие две недели. Западал в души и тучных перекупщиков, готовых пожертвовать церкви солидную часть доходов, которые сегодня росли, как снежный ком, а завтра мгновенно таяли — при условии, конечно, если это упрочит их финансовое положение. Проникал он и в души старых, обедневших, но по-прежнему рьяных чиновников, укрепляя их решимость противостоять новым веяниям. Взгляды всех этих тесно прижатых друг к другу, обливающихся потом людей, преданно, с тупым благо-

говением были прикованы к благородному лицу проповедника с чуть изогнутым римским носом и выпуклыми карими глазами. Задыхаясь от жары, они стояли либо сидели в светлой, приветливой, пропахшей ладаном церкви, заполнив ее до отказа. Глаза каждого из них были обращены к скромной белой кафедре, на которой стоял иезуит. Ибо он был опытный проповедник, отлично подготовленный, мгновенно улавливающий малейшее впечатление от своих слов; мгновенно подмечающий малейшую перемену в настроении паствы. Он выбирал отдельные лица, проверяя на них, какой эффект производят его слова. Долго смотреть в глаза одному и тому же человеку он избегал — знал, что это приводит верующего в замешательство. Он предпочитал устремлять взгляд своих выпуклых глаз на лоб слушателя или на нос. Сейчас он с удовольствием наблюдал за тем, какое благоговение и вера отражались на широком, приятном лице опрятно одетой женщины среднего роста. Женщиной этой была кассирша Ценци из «Тирольского кабачка». Она верила в идеалы. Она по-прежнему отшивала состоятельных кавалеров и все свои помыслы сосредоточила на Бени, молодом человеке, обычно сидевшем в главном зале. Теперь он чаще заходил в «Тирольский кабачок», чем в «Хундскугель», но ей никак не удавалось заманить его за один из ее столиков в аристократической боковой комнате. Он упрямо предпочитал оставаться в большом зале и вообще все еще уделял ей слишком мало внимания. Правда, теперь, когда у нее бывал выходной, он довольно часто проводил с ней время, ходил в кино, на выступления народных певцов, в рестораны, где она могла сравнивать свою работу с работой других кельнерш. И, конечно, спал с ней. Однако все это было далеко не той приятной, прочной связью, которая кончается свадьбой и здоровыми детьми. А виной тому подозрительные, крамольные взгляды Бени, его дружба с Преклем, этим чужаком, этим противным типом. Но сейчас, похоже, появился проблеск надежды. Им обоим, Бени и Преклю, здорово не везло в последнее время, они вылетели с «Баварских автомобильных заводов». Правда, Бени утверждает, что сам ушел с работы. Но она ему не верит. Теперь он работает в театре у Пфаундлера, а у того дело куда как ненадежное. А вот ее дела шли хорошо. При посредстве одного мелкого банкира, завсегдатая «Тирольского кабачка», она удачно играла на бирже и имела долю в коммерческих сделках своих клиентов, вкладывавших деньги в дома, товары, автомашины. Если ее дела и дальше пойдут не хуже, она предложит Бени за ее счет закончить

Высшую техническую школу. В этом нет ничего особенного. Так многие делают. Бени парень с головой, он еще пойдет в гору, как он сам иногда говорит. А что он однажды сидел в тюрьме, лишь еще больше подстегивало ее. Наставить такого человека на путь истинный — дело доброе. Несмотря на свой коммунизм, он парень душевный. Она уже представляла себя с ним рядом в уютной четырехкомнатной квартире; после рабочего дня, принесшего хороший заработок, они читают «Генеральанцейгер» и под звуки радио с аппетитом поедают вкусный ужин. Она своего добьется. Ценци была набожна, с благоговением внимала проповеднику — бог не оставит своей заботой благочестивую католичку. И когда проповедник остановил на ней острый проницательный взгляд, она, словно невинная школьница, посмотрела на него со скромной покорностью.

Священник говорил теперь об охватившей людей в последние годы жажде наслаждений и наживы. Многие прятали продукты, вздували цены, зная, что тем самым обрекают ближних своих на голод, саботировали справедливые и мудрые распоряжения властей, спекулировали, чтобы ублажить свое брюхо. Он приводил примеры из жизни, свидетельствовавшие о том, что ему хорошо известны все способы наживы в эти безумные послевоенные годы, бюргерская алчность и крестьянская твердолобость его прихожан. Теперь он остановил взгляд своих выпуклых глаз на квадратной голове пожилого человека, который с радостным одобрением взирал на его тонкое, гладкое лицо. Да, министр Франц Флаухер почтительно ловил своими большими, волосатыми ушами каждое слово священника. Ему казалось, что проповедник обращается именно к нему. Кленк заявил ему, что в такое время, когда в мире происходит перегруппировка общественных сил и борьба за уголь, нефть, железо,— в такое время в Баварии есть дела поважнее, чем тяжба с общегерманским правительством за право в нарушение конституции самим присваивать титулы или же поиски благовидного предлога для оказания денежной поддержки враждебным стране боевым отрядам «истинных германцев» за счет государства. Сейчас, во время проповеди иезуита, эти принципы Кленка казались Флаухеру вдвойне греховными. Все реки Германии текут с юга на север, но Майн — с востока на запад, а Дунай — с запада на восток. Сам господь своею дланью провел четкие границы между Баварией и остальной Германией. А вот Кленк стремится выйти за пределы этой сферы, перешагнуть рубежи, начертанные самим всевышним. Все они поставлены сюда — он, Флаухер, Кленк и остальные — защищать

интересы Баварии. Что значат железо, уголь, нефть, когда речь идет о баварской чести, о богоугодной независимости Баварии. К счастью, Кленк вовсе не так всемогущ, как он о себе возомнил. Здоровье его пошатнулось, он часто прихварывает, что-то его гложет, его мучает какой-то тайный недуг. Он, Флаухер, это отлично видит по глазам Кленка, его не проведешь; он болен, этот большеголовый Кленк, его назойливая въедливость и проклятая новомодная неуемность мстят за себя. А может, виной тому и его распутный образ жизни. Господь указует на него перстом. Во всяком случае, болезнь часто мешает ему теперь вмешиваться во все, как он того хотел бы. Теперь можно распоряжаться, не боясь его неусыпного наблюдения. Министр Флаухер, благоговейно глядя в рот проповеднику, молил всевышнего полностью обезвредить этого крикуна Кленка и давал обет действовать в пределах родной Баварии согласно древним, незыблемым традициям, ad majorem Dei gloriam [1], саботировать все, что исходит от общегерманских властей.

Между тем проповедник заговорил о разнузданной похоти, характерной для нынешней эпохи, и выказал себя и в этой области порока не менее сведущим, чем в других. Паства в полнейшей тишине внимала его словам о пагубном стремлении избежать зачатия. Принимать для этой позорной цели какие-либо меры — смертный грех, каждая погубленная этим сатанинским способом душа вопиет к всевышнему, дабы он покарал жестоких родителей муками ада. Он упомянул о женщинах, совершавших это преступление из греховной суетности только ради того, чтобы сохранить фигуру, и о тех, кто совершал его из лености, из греховного страха перед болью. Говорил он и о мужчинах, шедших на это преступление из-за непрочности их веры, из страха перед нуждой, и славил господа, который и птиц небесных питает, и одевает траву полевую. Он живописал, как любезно господу богу исполнение супружеских обязанностей во имя продолжения рода и как оно превращается в страшный грех, если совершается не ради этой цели. Образно, волнующе-красочно, со знанием дела рисовал угодное богу чувственное влечение к собственной жене и дьявольское влечение к распутной женщине.

Священник надеялся, что эта часть проповеди произведет наибольшее впечатление. И был разочарован, заметив на лице, на которое он устремил сейчас взгляд, определенное равноду-

---

[1] К вящей славе божьей *(лат.)*.

шие. Но проповедник выхватил из толпы верующих совсем не то лицо. Среди всех слушателей красочная картина, нарисованная священником, пожалуй, меньше всего впечатлила именно боксера Алоиса Кутцнера, хоть он и был одним из самых благочестивых и смиренных прихожан. Он искал совсем другого. Что до внешних успехов, то он достиг всего, на что был способен: он стал первоклассным боксером. Но этого ему было мало. Он жаждал озарения, стремился к жизни духовной. Вот его брату, вождю Руперту Кутцнеру, тому повезло. Озарение посетило его, он нашел свое предназначение и теперь носил в себе своего германского бога. Алоис охотно бывал на его собраниях, как и тысячи других, легко давал себя увлечь торжественным победоносно-громовыми речами брата. Было отрадно видеть, как брат светом своим озаряет тьму вокруг, как постепенно весь Мюнхен начинает прислушиваться к каждому его слову. Алоис Кутцнер не завидовал брату. Он без сожаления отказался бы и от блеска боксерской славы, лишь бы только отыскать свой собственный свет. Он искал, искал неустанно, но найти так и не мог. Заклинания проповедника ничего не говорили его душе. Женщины никогда не были для него проблемой. Воздержание, которого требовал от него тренер, давалось ему без труда. В свободные от тренировок дни он с голодной жадностью набрасывался на первую попавшуюся женщину и быстро удовлетворял похоть. Он стремился совсем к иному.

Правда в последнее время появился проблеск надежды. Недавно он познакомился в редакции «Фатерлендишер анцейгер» с одним молодым человеком, и они разговорились. Потом он отправился с этим щеголеватым пареньком, настоящим франтом, в ресторан, и там его новый знакомый, некий Эрих Борнхаак, намекнул ему на одну возможность. Но откровенничать не стал, а ограничился одними намеками,— он, конечно, не слишком доверял ему, Алоису, да это ведь и понятно. Позднее Эрих прислал к нему другого паренька, некоего Людвига Ратценбергера, совсем еще юнца, даже слишком юного. Но для дела, которое затеяли эти ребята, требовалась огромная смелость, а значит, и молодость. Насколько он понял, речь шла о том, что в слухах, которые уже больше тридцати пяти лет не давали спокойно спать баварцам, была большая доля правды. Молва гласила, что обожаемый народом король Людвиг Второй — жив. Этот король Людвиг, исполненный сознания своей суверенной власти, уподобившись Людовику Четырнадцатому французскому, повелел воздвигнуть в труднодоступных ме-

стах великолепные, дорогостоящие замки, щедрой рукой мецената поощрял необычные формы искусства, словно фараон, держался вдали от народа, чем и завоевал его фанатичную любовь. Когда он умер, народ не захотел этому поверить. Газеты и школьные учебники утверждали, что король в припадке безумия утопился в озере неподалеку от Мюнхена. Но народ считал, что это всего лишь лживые выдумки, распространенные врагами, чтобы завладеть престолом. Вокруг имени покойного короля складывались все более причудливые легенды. Враги короля, во главе с правителем страны принцем-регентом, якобы заточили его в темницу. Молва была живуча, не отступала. Она пережила смерть принца-регента, войну, революцию, пережила смерть низложенного короля Людвига Третьего. Облик Людвига Второго — исполинская фигура, розовое лицо, черная клинышком бородка, кудри, голубые глаза — жил в народной фантазии. Бесчисленные изображения короля, в пурпурном одеянии и горностае, в расшитом золотом мундире и в серебряных латах, в запряженном лебедями челне висели в домах крестьян и мелких буржуа рядом с олеографиями святых. Импозантный король завладел воображением Алоиса Кутцнера еще с юных лет. Не раз, стоя перед портретом короля-исполина, он думал о том, какой превосходный боксер мог бы получиться из этого представителя династии Виттельсбахов. Он воздвиг ему в своем сердце вечный памятник. И как же он просиял, когда парeньки намекнули ему, что да, Людвиг Второй жив и удалось напасть на его след, выяснить, в какой темнице он заточен. И он, Алоис, до тех пор одолевал недоверчивых юнцов просьбами и мольбами, пока не выудил у них еще кое-какие подробности. Он узнал от них, что во времена монархии немыслимо было и думать об освобождении короля. Но теперь, когда бог допустил, чтобы власть захватили евреи и коммунисты, даже у тюремщиков короля заговорила совесть. И теперь можно, наконец, подумать об освобождении истинного короля Баварии. Едва он объявится, как весь порабощенный народ пойдет за ним, чтобы под водительством монарха свергнуть власть Иуды. Король стар, очень стар, у него большущая седая волнистая борода, а брови такие густые и кустистые, что приходится закреплять их серебряными заколками, чтобы они не закрывали ему глаза. При теперешнем положении попытка освободить короля, повторяли они, может увенчаться успехом. Пусть он, Кутцнер, подумает, желает ли он принять участие в этом деле; оно требует отваги, силы, мужества и очень больших денег.

Все это юнцы растолковали Алоису Кутцнеру. Их рассказ потряс его, к нему пришло то внутреннее озарение, которого он так долго ждал. И теперь, слушая, как иезуит с амвона проповедовал о грехе сладострастия, Алоис Кутцнер страстно обращал свои помыслы к богу, смиренно моля удостоить его чести принять участие в освобождении короля и, если потребуется, во имя успеха дела, взять и его жизнь.

В глубокой задумчивости покидал Алоис Кутцнер церковь после окончания проповеди. И хотя он был погружен в свои мечты, не забывал крепкими тумаками прокладывать себе путь в толпе. Возбуждение людей, по-разному воспринявших проповедь, его не затронуло. Некоторые были не согласны с проповедником. Они даже называли его увещевания самым настоящим свинством — лучше бы власти позаботились о дешевом хлебе, чем о дешевых, благочестивых сентенциях. Подобная наглость побудила верующих с помощью кулаков и здоровенных ножей преподать безбожникам урок приличия. В конце концов полиции удалось уладить этот инцидент. Священный гнев ревнителей веры обрушился и на Инсарову. Возвращаясь с прогулки по Английскому саду, она столкнулась с толпой, хлынувшей из церкви. Тогда она прижалась к стене, а затем продолжала путь своими скользящими шажками, короткая юбка открывала стройные, красивые ноги. Но дорогу ей преградила какая-то сморщенная старуха, заорала на нее беззубым ртом и, сплюнув, завопила: «У тебя, у грязной свиньи, дома, что ли, ни одной юбки нет?» Инсарова, не поняв хорошенько слов старухи, хотела было подать ей милостыню. И тут толпа, особенно женщины, дружно набросилась на нее, и она еле спаслась, вскочив в такси.

Тем временем боксер Алоис Кутцнер, не обращая внимания на шум и крики вокруг, отправился на Румфордштрассе, где он очень скромно жил вместе с матерью. Его мать, высохшую, желтолицую старушку, в жилах которой, как у многих жителей плоскогорья, текла и чешская кровь, буквально распирало от горделивой любви к своим двум сыновьям. Она с одинаковой радостью читала об успехах своего сына Руперта в большой политике и об успехах второго сына Алоиса на ринге. Но она была стара, измучена всякими заботами, беспрестанной работой, память отказывалась ей служить, и в голове у нее все перепуталось: хук, Пуанкаре, истинно германский образ мыслей, победа по очкам, Иуда и Рим, нокаут и многое другое. Пока мать готовила еду, Алоис накрыл на стол, расставил пестрые тарелки и миски со знакомым рисунком горечавки и эдель-

вейса фирмы «Южногерманская керамика». В этот раз на обед, кроме тушеного картофеля, было сильно прокопченное мясо. В тот голодный год это считалось изысканным блюдом, и, конечно же, к обеду заявился родственник, дядюшка Ксавер, который за километр чуял вкусный запах съестного. В былые времена дядюшка Ксавер был преуспевающим коммерсантом. Он торговал студенческими принадлежностями — значками, шапочками, фехтовальным оружием, брелоками и порнографическими открытками. Сколотив порядочный капиталец, ушел на покой. Но поток инфляции унес все его сбережения, превратил их в ничто. Такого потрясения дядюшка Ксавер не вынес. Он по-прежнему продолжал копить обесцененные бумажки, с важным видом разглаживал их, складывал в пачки. Усердно наведывался в студенческие городки. Со своими толстенными пачками бумажного хлама собирался делать крупные дела. Студенты, привыкшие к старику, шутки ради вели с ним деловые переговоры, частенько зло потешались над беднягой. Он стал необыкновенно прожорлив и поедал все, что попадалось ему под руку. Студенты в своих корпорантских шапочках, с исполосованными шрамами лицами устраивали себе забаву из его слабоумия: кидали ему остатки пищи, приказывали, точно собаке, «апорт», гоготали и хлопали в ладоши, когда он дрался с собаками из-за костей.

Все трое — матушка Кутцнер, дядюшка Ксавер и боксер Алоис — мирно поедали тушеный картофель и копченое мясо. Они обращались друг к другу, но едва ли друг друга слушали и часто отвечали невпопад. Ибо каждый из них был поглощен собственными мыслями. Дядюшка Ксавер думал о грандиозных сделках, которые он завтра уж непременно совершит, мамаша Кутцнер — об одном обеде многолетней давности, когда они тоже ели копченое мясо. Тогда ее сын Руперт был еще совсем маленьким, в тот день его так и не дождались к обеду. Оказалось, что одному из своих товарищей по классу он подставил ножку, и тот, грохнувшись об пол, сильно разбился. Руперт убежал и боялся вернуться домой. Но, сильно проголодавшись, в конце концов все же явился. А вот теперь он стал таким большим человеком, что нокаутировал француза Пуанкаре. А боксер Алоис Кутцнер думал о том, как вызволить короля Людвига Второго из темницы. Так они и сидели вместе, степенно беседовали, ели, пока на дне тарелок и мисок не показались горечавка и эдельвейс.

13

БАВАРЦЫ НА ОДРЕ БОЛЕЗНИ

Писатель доктор Лоренц Маттеи решил проведать писателя доктора Иозефа Пфистерера. У того был удар, с тех пор он непрерывно болел и, судя по всему, доживал последние месяцы. По дороге доктор Маттеи размышлял о том, до чего же, в сущности, хлипки его дюжие баварцы. Крепыш Пфистерер плох, гигант Кленк и того хуже, да и сам Маттеи не в лучшем виде.

Когда он пришел, Пфистерер сидел в глубоком покойном кресле; несмотря на жару, ноги больного были укутаны одеялом из верблюжьей шерсти, рыжеватая с проседью борода и густые кудрявые волосы покрылись каким-то пепельным налетом. Доктор Маттеи силился изобразить на своем злом, бульдожьем лице участие, смягчить грубый голос. Пухленькая, заботливая г-жа Пфистерер то выходила из комнаты, то снова входила, не закрывая рта, болтала, от всех ждала сочувствия и ободрения. Пфистерер бунтовал против этой удушливой больничной обстановки. Он не очень-то верил врачам. Даже когда многоопытный мюнхенский терапевт, умный и суровый доктор Мориц Бернайс, без всяких околичностей объяснил всю серьезность его болезни, Пфистерер отмахнулся от слов врача. Нет, его уложили в постель отнюдь не физиологические неполадки. Истинная причина — Пфистереру трудно было формулировать свое ощущение, но оно не покидало его, владело им, особенно по ночам, когда в одиночестве он все думал, думал и размышлял,— истинная причина крылась в невыносимом сознании, что он дожил до пятидесяти лет слепцом, что на его родине властвует несправедливость, да и вообще мир не такое уютное местечко, каким он рисовал его и самому себе, и своим читателям.

Так что если Маттеи напускал на себя участливую мягкость, Пфистерер проявлял агрессивность, несвойственную ему, когда он был здоров. Он не желает, чтобы ему в нос все время шпбало больницей, кричал он надтреснутым голосом. Не собирается жить под колпаком. Сегодня он все утро писал и диктовал. Работал над воспоминаниями — он назвал их «Солнечная орбита одной жизни». Пфистерер не собирался разводить сантименты по поводу смерти. Смерть и рождение неразрывно связаны, и среди множества реальностей бытия смерть отнюдь не самая примечательная. Тут он принялся рассказывать потешные истории о том, как умирают баварские крестьяне,— он или был очевидцем этих смертей, или знал о них понаслышке. Например, был у него знакомый крестьянин, который, начав чихать,

потом никак не мог остановиться. Особенность малоприятная, но его домашние притерпелись к ней. Стоило папаше расчихаться, как все восемь отпрысков начинали считать, сколько раз он чихнет: сорок два, сорок четыре или сорок пять. Пфистерер присутствовал при кончине этого крестьянина. На смертном одре старика снова одолел чих. У кровати умирающего стояли все домочадцы и, по обычаю, считали, а так как в этот день старик превзошел самого себя, они начали гоготать. Еще бы! Пфистерер тоже не удержался от смеха. Чихнув восемьдесят второй раз, крестьянин под громовой хохот отдал богу душу.

Больной разговаривал так бодро, что и доктор Маттеи перестал деликатничать, сбросил маску тошнотворно торжественной мягкости. По давней своей привычке, приятели начали осыпать друг друга отборной бранью. Доктор Маттеи заявил, что «Солнечная орбита одной жизни» наверняка окажется такой же вонючей дрянью, как и все прочие Пфистереровы засахаренные испражнения. А может, особенно солнечным Пфистереру кажется то обстоятельство, что не сегодня завтра он сыграет в ящик, так и не выцарапав Крюгера из тюрьмы и ни разу не переспав с Иоганной Крайн? Больной ответил в не менее крепких выражениях, и добродушная г-жа Пфистерер, только что снова вошедшая в комнату, воспряла духом и преисполнилась надежды на полное выздоровление мужа. Но как только за доктором Маттеи закрылась дверь, Пфистерер опять ушел в себя, и лицо у него стало таким изможденным, что трудно было поверить, будто его жизнь катится по солнечной орбите.

А доктор Маттеи, выйдя от собрата по перу, почувствовал себя на редкость освеженным. Полезно лишний раз отхаркнуть мокроту, облегчить душу хорошей порцией брани. Но кто это идет там, по противоположному тротуару? Ну конечно, Инсарова — у кого еще такая тоненькая, юркая фигурка! Он торопливо перешел на другую сторону и, привлекая внимание прохожих, неуклюже бросился ей вдогонку. Как всегда, она приветствовала его залпом колких острот, от которых он совсем растерялся. Инсарова торопилась, ей надо было поспеть на репетицию, а до этого она еще хотела навестить министра Кленка — он, по слухам, не в шутку расхворался. Пока Маттеи решал вопрос, стоит ли ее проводить, она распростилась и ушла. У Маттеи в глазах позеленело от злости на стервеца Кленка. Какой позор — министр юстиции спутался с какой-то танцоркой, к тому же наверняка большевичкой, и открыто, среди бела дня, принимает у себя любовницу! Пора Кленка за ушко да на солнышко! Нет, этот человек сидит не на месте. Уж слишком он стал мяг-

котел. Он идет на поводу у имперского правительства, погоня за удовольствиями превратила его в настоящий студень.

Кленка пора убрать.

Надо будет поговорить об этом с Бихлером, с приятелями — членами «Мужского клуба». В следующем же номере его, Маттеи, журнала Кленк прочтет о себе такие стихи, что у него глаза на лоб полезут.

Тем временем Инсарова торопливо шла к Кленку. Перед уходом, следуя моде того времени, она напудрилась и нарумянилась, но не так вызывающе, как обычно. Танцовщица привыкла класть косметику куда гуще, но что поделаешь, Кленку это не нравится. Она шла, улыбаясь, пританцовывая, не замечая, что прохожие оглядываются на нее, как на сумасшедшую. А она просто ног под собой не чуяла от радости, была в восторге от себя. Ей удалось окончательно прибрать Кленка к рукам, и как ловко она это проделала!

Сперва она долго морочила ему голову. Потом все же пригласила зайти к ней вечером, а когда Кленк стал отнекиваться, настояла на его визите. Честно говоря, он ей не слишком нравился, но все же вечер прошел мило и весело. Когда Кленк в ударе, он мужчина хоть куда. Теперь-то ей понятно, почему он не хотел прийти тогда: ему нездоровилось, он простудился — в такую жару! — и чувствовал, что у него вот-вот начнется приступ невыносимых почечных болей. В тот вечер Кленк неумеренно пил, да и во всем прочем излишествовал, потому, наверное, и свалился. Да, да, Кленк заболел только из-за нее, из-за того, что она настояла на его приходе. Это льстило Инсаровой. Ей казалось — теперь Кленк прочно в ее сетях. Стоило танцовщице подумать о своей мудрой тактике, как ее заливала нежность к Кленку.

У министра ее провели в просторную приемную и предложили обождать. Комната была обставлена красивой массивной мебелью, дисгармонию вносили только оленьи рога, развешанные по стенам. Немного погодя вошла горничная и от имени г-жи Кленк сказала, что господин министр не может принять посетительницу. Даже предлога не потрудились придумать. Инсарова сразу съежилась, потускнела. Она продолжала сидеть, а горничная стояла и ждала, когда же та уберется. Еще на лестнице Инсарова начала всхлипывать, она, как школьница, хныкала и в такси, по дороге на репетицию, но это не помешало ей вынуть пудреницу, губную помаду и быстрыми, привычными движениями густо напудриться и ярко накрасить губы.

А Кленк пластом лежал в постели. Впрочем, в утренние часы он чувствовал себя не так уж плохо. Омерзительный туман в голове рассеивался, не было гнусной слабости, бессилия, отяжелевшие веки не смыкались сами собой. Когда доложили об Инсаровой, он и на долю секунды не обрадовался, что на этот раз она сама пришла к нему. Только еще сильнее обозлился на себя — зачем тогда уступил ее идиотскому капризу. Он же чувствовал, что расклеивается. Но когда услышал по телефону это кошачье мяуканье, этот тоненький, жалкий, смиренный голосок, вдруг одурел. Захотел, видите ли, доказать, что он настоящий мужчина. Вел себя не умнее, чем какой-нибудь гимназистишка. Вот и получил за глупость, что причитается, сам уложил себя на обе лопатки и теперь должен созерцать, сложа руки, как вся эта шваль, пользуясь его болезнью и вынужденной бездеятельностью, старается его спихнуть. И виновата во всем русская сука. А ведь с другими она не ломалась — взять хотя бы Тони Рпдлера. Поэтому, когда ему доложили о приходе русской, он раскричался, стал грубо ругаться: черт знает что, какая-то мразь лезет к нему в дом, выгнать ее взашей. Этим предательством он облегчил себе душу. Г-жа Кленк, тощая, ссохшаяся коза, бесцельно бродившая по комнате, обошла молчанием и приход русской, и вспышку мужа. Кленк не считал нужным таиться, не такой он был человек; сплетни, разумеется, дошли и до его жены, большевичка причинила ей немало страданий. Но сейчас она ничем себя не выдала, только чуть дрогнула бескровная рука, протягивавшая ему лимонад. Но как г-жа Кленк торжествовала в эту минуту!

Выгнав русскую, Кленк лежал ослабевший, довольный, и в мозгу у него проносились обрывки бессвязных мыслей. Он вспомнил свой кабинет в министерстве, переговоры, которые собирался провести с вюртембергским коллегой, тайного советника Бихлера, сыночка Симона, славного своего паренька, быстро делавшего карьеру. Давненько он не видел Симона. Вот бы заполучить его сюда. Конечно, тот не смог бы так бесшумно и неустанно ухаживать за ним, как ухаживает жена. Но насколько же было бы приятнее, если бы возле кровати топали сейчас сильные ноги сына, а не семенила бы на цыпочках, затаив дыхание, эта бледная немочь. Кленк бросил недобрый взгляд в сторону жены.

Пришел врач — немногословный, суровый доктор Бернайс. Маленький человечек в затрапезном костюме молча осмотрел больного, подтвердил прежние предписания — строгая диета, постельный режим, покой. На сердитый вопрос Кленка, пони-

мает ли доктор Бернайс, как неисполнимы его советы, тот сухо ответил, что его это не касается. Министр спросил, когда же наконец он выздоровеет, но врач только пожал плечами. Когда он ушел, Кленк тоскливо подумал, что назначил на это утро прием еще двоим: элегантному, увертливому Гартлю и строптивому наглецу Тони Ридлеру. Тоскливо не потому, что боялся развольноваться,— нет, просто он чувствовал, что ослабел от болезни и ему не справиться с такими коварными противниками. Но не принять их, показать, как тяжко он болен, Кленк не хотел.

И вот Гартль уже сидит у его постели и с напранным оптимизмом болтает о Кленковой болезни. Потом переходит к делам, и тут Кленк обнаруживает, что все же не представлял себе глубину бесстыдства этой гадины. Гартль отстаивает как раз противоположное тому, что считает разумным Кленк. В каждом его предложении сквозит стремление к политической самостоятельности, столь неприкрытой, что она свела бы на нет все тонкие ухищрения Кленковой политики. Кленк пропускает мимо ушей половину осторожных, полувопросительных замечаний референта. Он напряженно думает: чего, собственно, добивается этот тип? Почему, скажем, он так противится помилованию Крюгера? Это же простейший способ избежать пересмотра дела. Помилованный Крюгер навсегда снимается с повестки дня. А Гартль все говорит и говорит. Больной продолжает сосредоточенно размышлять. Ага, так вот в чем дело, теперь ясно, куда клонит хитрая лиса: хочет, чтобы кабинет, воспользовавшись болезнью министра, снова изменил курс, вернулся к прежней шапкозакидательской политике, чтобы здоровый Флаухер вытурил больного Кленка. Он готовит почву, этот самый Гартль, надеясь стать его преемником, демонстрирует свое умение стукнуть кулаком по столу, постоять за права баварцев, как надлежит настоящему министру юстиции. Кленк приходит в неистовство: «Черта с два, голубчик, на нас еще рано ставить крест! Но сейчас мы и бровью не поведем, сейчас мы будем благоразумны». Он мирно выслушивает дурацкую болтовню Гартля, возражает обдуманно, по существу. Ни единым жестом не выдает, что раскусил его. С виду это учтивая, можно даже сказать, задушевная беседа министра с референтом.

После ухода Гартля Кленк лежит совершенно обессиленный. Будь она проклята, эта русская! Эх, отдохнуть бы сейчас. Закрыть глаза, ни о чем не думать — ну, разве что о том, что стоишь где-нибудь на горе в лесу и подстерегаешь дичь. Но он и этого не может себе позволить. С минуты на минуту должен прийти барон Тони Ридлер. До чего они обнаглели, эти молод-

чики из партии «патриотов», пора прижать их к ногтю. Не успел он заболеть, как они буквально гадят ему на голову. Из-за сволочной болезни почек летит вверх тормашками вся баварская политика. Флаухер и этот его протеже, болван Руперт Кутцнер, развивают бурную деятельность, пробиваются к власти.

Где только что сидел Гартль, теперь сидит, развалившись, грубовато элегантный барон Тони Ридлер. Он прячет в усах улыбку, и глаза его с желтоватыми белками иронически и самоуверенно сверлят больного. Кленк чувствует, что в голове у него муть, что лучшая часть дня уже позади. Только бы не взорваться, не наговорить лишнего.

Тони Ридлер рассказывал, как он с приятелями охотился в прошлую субботу; жаль, с ними не было Кленка. Кленк глотнул лимонаду и сказал, что понимает, как на руку этим господам его болезнь. Но пусть не слишком дают себе волю, не лезут на рожон: судя по всему, он уже на будущей неделе вернется в свой рабочий кабинет. А понадобится, так, и не вставая с постели, можно отдать соответствующий приказ. Ему хотелось сказать что-нибудь позабористей, но ничего не приходило в голову. Ох, Инсарова, проклятая тварь! Где же тут справедливость — он по ее милости валяется с почечным приступом, а этот молодчик Ридлер, с которым она, не ломаясь, сразу легла в постель, сидит у его кровати и измывается над ним.

Тони Ридлер ответил, что ему неясно, куда клонит Кленк. Даже малому ребенку очевидно, что корабль «истинных германцев» дождался попутного ветра. За Кутцнером идет весь Мюнхен, вся страна. Иначе и быть не может. Он не понимает тактики Кленка, тактики выжидания. «Меньше всего в этом непонимании виновата тактика»,— отрезал Кленк. Он еще раз предупреждает Ридлера — его спортивные общества будут считаться таковыми, только если прекратят агрессивные, провокационные выступления.

— Что это значит — прекратят агрессивные, провокационные выступления? — с ленивой, насмешливой учтивостью спросил барон Ридлер.

— А то, к примеру, если будет отменен парад в Кольберхофе,— так же учтиво ответил Кленк.— Что же касается майора фон Гюнтера, он вообще должен исчезнуть.

— Не понимаю, о ком вы говорите,— сказал Тони Ридлер и с ненавистью поглядел на Кленка.

— И чтобы через трое суток он уже был за границей,— приказал Кленк.— Передайте ему, что я ознакомился с его де-

лом. Передайте, что он мерзавец. Передайте, что, если бы речь шла не о таком благом начинании, я и за границу его не выпустил бы. Скажите ему это от моего имени и пожелайте счастливого пути.

— А если через трое суток он по-прежнему будет здесь? — со злобной издевкой спросил Тони Ридлер.— Откроете военные действия?

— Да, открою военные действия,— приподнимаясь, ответил Кленк.

— Вы, я вижу, серьезно больны,— проговорил Тони Ридлер.

Потом, уже в одиночестве, министр чуть не задохся от злости на Инсарову. Он не сомневался, что Ридлер спровадит майора за границу. Но все равно нужно было говорить совсем не так, куда сильнее щелкнуть молодчика по носу. А виновата во всем эта тварь. Ее вкрадчивые ухватки, раскосые глаза. Немного погодя, такой ослабевший, что ему казалось — его закутали не то в вату, не то в перегретые облака,— он с нежностью стал думать о своей жене, об этой тощей, ссохшейся козе, о своем поместье, и с особенной нежностью — о паренька Симоне, своем сыночке. Всего бы лучше было уехать сейчас в Берхтольдсцель, ходить на охоту, почитывать книжки, а юстиция вместе с Инсаровой пусть себе остаются в Мюнхене, пусть себе гниют и воняют в собственном дерьме.

Тем временем Тони Ридлер ехал обедать в ресторан Пфаундлера. Он думал: «Кленка пора убрать». Он твердил это затем и в Мюнхене, и в Кольберхофе. Твердил Кутцнеру и членам «Мужского клуба». Написал в Париж тайному совстнику Бихлеру.

Гартль тоже твердил: «Кленка пора убрать». Твердил это и Флаухер, твердили и многие другие.

14
ИОГАННА КРАЙН НАРЯЖАЕТСЯ ПО СЛУЧАЮ НЕКОЕГО ТОРЖЕСТВА

В канун своего двадцатишестилетия Иоганна Крайн никак не могла уснуть. Не затворяя окна, она опустила жалюзи — может, это лунный свет ей мешает. Но лунный свет был ни при чем, сон по-прежнему не приходил. Иоганна думала о своих знакомых, о том, чем они, по всей вероятности, занимались, пока

она играла в теннис в Париже и ездила к морю. Думала о суховатом, занятном, едком Тюверлене — его обозрение уже начали репетировать. Вот бы приехать ему в Париж и рассказать ей, как идут репетиции. Порою Тюверлен невыносимо раздражал ее, но во многом он все-таки был прав. Думала с неприязнью о своей глупой матери. Думала о заключенном Крюгере — о нем она почти ничего не знала, его невыразительные письма были скорее умолчанием, чем рассказом. Думала об издерганном адвокате, докторе Гейере, о его умных, наблюдательных глазах. Тут мысли ее незаметно пошли по другому руслу, но она сразу же взяла себя в руки. Прогнала образ шалопая, стала думать о Каспаре Прекле, благо вспомнилось его имя. Долго размышляла о нем. Однажды он рассказал ей, почему сделался марксистом. Отнюдь не из сострадания к угнетенным, не из дурацкой сентиментальности, о нет. Дело было совсем в другом. До того, как стать марксистом, он никак не мог найти себя, работал то там, то тут и все не чувствовал почвы под ногами, на которой можно было бы утвердиться. И не было у него четкого мировоззрения. Вся история человеческого общества, все его устройство начисто лишены смысла, если подходить к ним с мерками старых философских теорий. Но стоило Преклю применить принципы научного марксизма — и во мгновение ока все стало на свои места, причины и следствия прояснились, механизм пришел в движение. Ощущение было такое, будто до той поры он кнутом и вожжами понукал упрямо стоящий на месте автомобиль, а потом вдруг уразумел устройство автомобильного двигателя. Иоганна размышляла о фанатичной одержимости речей Прекля, о его угловатых, неловких повадках и невольно улыбалась. Она зажгла свет, взяла книгу — ведь все равно сна не было ни в одном глазу. В эти тревожные для нее недели Иоганна часто искала прибежища в чтении. Но современные романы не задевали ее. Их авторы, исходившие из представлений и предрассудков буржуазного общества, тратили ворохи бумаги на то, чтобы привести своих героев к успеху, или, напротив, к краху, или просто в постель к женщине. С недавнего времени она стала выписывать книги, трактующие вопросы социализма; узнав об этом, г-н Гесрейтер добродушно усмехнулся. Иоганна не раз слышала, что, усвоив учение о прибавочной стоимости и о накоплении капитала, а также основы материалистического понимания истории, она немедленно уяснит себе и законы, управляющие человеческими судьбами. Судьбы рурских рабочих, и далай-лам, и бретонских рыбаков, и последнего германского кайзера, и кантонских кули подчинены

все той же столь очевидной экономической необходимости. «Стоит вам уразуметь эти законы,— повторял ей Каспар Прекль,— и вы сразу поймете смысл и цель ваших поступков и либо примиритесь, либо, напротив, вступите в борьбу со своей судьбой».

Иоганна читала живую, остроумную книгу о распределении доходов в масштабе всего человечества, о классовой борьбе, о зависимости поведения людей от экономики. Но книга не помогала ей, никак не объясняла ее собственных обстоятельств, антипатий и пристрастий, ее обыденной жизни, полной радостей и тревог. Глаза Иоганны то и дело отрывались от строчек, перед ней внезапно возникали загнанные в глубь сознания образы. Эрих всего-навсего шалопай, безответственный и на удивление пустопорожний. Заполнима ли эта пустота? Задайся она, Иоганна, такой целью, быть может, ее жизнь обрела бы смысл? Но тут же она сказала себе, что это чепуха, самообман, нечего ей дурачить себя, такая «задача» совсем в стиле современных дурацких романов. Просто ей хочется быть с этим человеком, лежать с ним в постели, спать с ним,— вот и все. Тюверлен далеко, он ей не пишет. Она вела себя с ним плохо и глупо — зачем же он стал бы ей писать? Но жаль, очень жаль.

Завтра день ее рождения, и Гесрейтеру захотелось поужинать с ней в ресторане Орвилье. Фанси де Лукка сейчас в Парже, но Гесрейтер настоял на ужине вдвоем. Зачем она приехала с ним сюда, когда любой другой был бы ей приятнее? Иоганну разбирала злость на г-на Гесрейтера. Она вдруг так остро ощутила кислый запах, которым была пропитана его фабрика, что, вскочив с постели, далеко высунулась в окно и вдохнула ночной воздух. Ей претил Гесрейтер, претило его равнодушие ко всему на свете, его церемонная учтивость, его серия «Бой быков»,— чем эти быки лучше бородатых гномов и гигантских мухоморов?

На следующее утро Иоганна вместе с де Луккой отправилась в Медон, и там, гуляя в лесу возле пруда, который французы называют Etang de Trivaux, они откровенно поговорили. Рядом с крепко сколоченной, ширококостной Иоганной стройная горбоносая Фанси казалась девочкой. Обняв подругу, она сказала, словно в ответ на молчаливый вопрос:

— Очень скоро, может, в этом году, а может, в будущем, я проиграю и перестану быть чемпионкой. Потом выступлю в соревновании еще раз, и, может, мне еще раз повезет, а может, не повезет. И в недалеком будущем станет ясно, что пора кончать.

Она говорила спокойно, вовсе не рассчитывая разжалобить собеседницу.

Иоганна рано начала готовиться к ужину с Гесрейтером. Долго не могла решить, какой выбрать туалет, останавливалась то на одном, то на другом. Уже сидя в ванне, вдруг вспомнила, что в одной из прочитанных ею книг о социализме она наткнулась на фразу, которая ее очень рассердила. Стоя в купальном халате, она перелистала всю книгу в поисках этой фразы, не нашла и начала одеваться. Но фраза не выходила у нее из головы, и Иоганна снова принялась листать книгу. В одной сорочке, закусив верхнюю губу, нахмурившись так, что над переносьем легли три морщинки, она сидела и проглядывала «Справочник по социализму и капитализму (Для разумной женщины)» Бернарда Шоу, прославленного писателя тех времен. Запомнившейся фразы она так и не нашла, зато набрела на другую: «Я знавал умных и деятельных женщин, которые были убеждены, что люди, движимые благими намерениями, даже действуя в одиночку, могут исправить мир». Иоганна подумала, что эти слова полностью относятся к ней, и пожала плечами — как проверить, кто прав, она или писатель Бернард Шоу? Зазвонил телефон: Гесрейтер спрашивал, готова ли она. Не спеша, Иоганна закончила туалет.

Вдруг ей пришло в голову: она вступила в полосу ожидания и жить иначе, чем живет, пока что не может. И как неотвратимо близится ужин, к которому она сейчас наряжается, так же неотвратимо близится то главное, все осмысляющее событие, к которому готовится ее душа.

Они ужинали в небольшом отдельном кабинете модного ресторана Орвилье. Г-н Гесрейтер преподнес Иоганне выбранные с отменным вкусом подарки, заботливо составил меню. Им попеременно подавали острые, возбуждающие закуски, соусы, рыбу, устриц, говядину, дичь, птицу, овощи и фрукты, сладкие блюда из молока и взбитых яиц. Все это было приготовлено с искусством, которое дается лишь многовековым опытом, хитроумно сдобрено специями, с немалыми хлопотами привезено из дальних уголков земли. Г-н Гесрейтер ел немного, но с аппетитом и удовольствием, с не меньшим удовольствием смаковал вина, полагающиеся к каждой перемене. Он был в ударе, приятно, добродушно острил. Иоганна старалась попасть ему в тон, внешне тоже была оживлена и любезна. Но внутренне все больше ощетинивалась. Она говорила себе, что несправедлива к нему, но все в нем действовало ей на нервы,— безукоризненный фрак, и пухлое лицо с маленьким ртом, и запонки, и аппетит, и церемонная речь. Когда она заговорила о книгах, недавно ею прочитанных, он проявил полную терпимость и признал, что

многое в них справедливо; но эта мягкотелая всеядность так контрастировала с острой полемичностью книг, о которых шла речь, что ее раздражение удвоилось. Все-таки она сдержалась, по-прежнему была мила, смеялась его шуткам. Но г-н Гесрейтер, чувствительный к колебаниям душевной атмосферы, не скрыл от себя, что праздничный вечер не удался. Прощаясь, он особенно учтиво поцеловал Иоганне руку, и каждый подумал, что это — конец.

На воскресенье в Германии был назначен плебисцит по вопросу о конфискации имущества владетельных князей. Чтобы результаты голосования обрели силу закона, в нем должно было принять участие не меньше половины правомочных граждан. Обычно, какие бы вопросы ни ставились на голосование, многие избиратели предпочитали отсиживаться дома. Противники конфискации прибегли к весьма незатейливой хитрости — предложили своим единомышленникам не являться на голосование; уловка удалась, конфискация была отклонена, хотя за нее стояло большинство немцев.

О результатах голосования г-н Гесрейтер и Иоганна узнали в понедельник из утренних газет. Эту тему они обошли молчанием.

В тот же день Иоганна получила коротенькое письмо от доктора Гейера. Он писал, что в связи с назначением председателя земельного суда Гартля референтом по делам о помиловании положение Мартина Крюгера несколько меняется. Разумеется, особых надежд на пересмотр дела возлагать не стоит, поскольку место Гартля занял судья из той же клики доктора Кленка, однако назначение Гартля в министерство дает им возможность применить новую тактику — ему, Гейеру, малосимпатичную, но не вовсе безнадежную. Он просит Иоганну встретиться с ним и поговорить об этом.

Читая письмо адвоката, Иоганна вдруг поняла, что еще до его получения решила вернуться домой.

Она сказала об этом Гесрейтеру, и тот учтиво поддакнул ей. Он и сам подумывает о возвращении, ну, скажем, через недельку. Иоганна возразила, что для нее неделя слишком долгий срок. Столь же учтиво он осведомился, на какой день заказать ей билет. Она твердо ответила, что на послезавтра.

Гесрейтер отвез ее на вокзал. Иоганна поглядела на него из окна вагона и с удивлением отметила, что он почти начисто сбрил баки. Когда поезд тронулся, г-н Гесрейтер еще секунду помедлил на перроне. Потом глубоко, облегченно вздохнул, улыбнулся, замурлыкал песенку, которую еле слышно, почти не

разжимая губ, любила нашевать Иоганна, сильно стукнул по платформе тростью с набалдашником из слоновой кости и, нащупав в кармане трогательное и растрогавшее его письмо г-жи фон Радольной, зашагал к мадам Митсу.

15

МИСТЕРИЯ В ОБЕРФЕРНБАХЕ

В «Американском баре» горного селения Оберфернбах играл джазбанд; за столиками сидело несколько умилительно длиннобородых местных жителей и множество мюнхенцев; были там и художник Грейдерер, и профессор Остернахер. В изысканно убранном, вполне современном заведении не осталось ни единого свободного места. В этом году шла только учебная постановка мистерии «Страсти господни», и все же в селение, прославленное этими мистериями, съехалась тьма народу. В минувшие времена баварские предки нынешних оберфернбахцев ставили литургические драмы потому, что, с одной стороны, были преисполнены простосердечной веры, а с другой — от души наслаждались игрой; теперь бесхитростное религиозное действо стало налаженным и выгодным предприятием. На доходы с него жители селения построили железнодорожную ветку, получили возможность сбывать резные деревянные изделия, обзавелись канализацией, гостиницами. А уж этот год, год инфляции, стал для них поистине золотым дном: за право посмотреть бесхитростное религиозное действо они брали полноценной иностранной валютой.

Художник Грейдерер наслаждался атмосферой святого селения. Ему все было по душе: горы, опрятные дома, приторно-благочестивые крестьяне, и в праздник и в будни разгуливавшие в сандалиях, их патриархально-длинные волосы и пышные бороды, их ханжеские, книжные речи. Но «Американский бар» не утолял его жажды впечатлений. К черту! Кому нужен этот дурацкий джаз? Он желает послушать, как местное трио играет на цитрах, посмотреть, как пляшет Рохус Дайзенбергер. Вот это, говорят, потрясающее зрелище. Смешное и жутковатое.

Рохус Дайзенбергер с лукаво-довольным видом ждал, когда настанет его черед. Он был уже в летах, долговязый и тощий, с проседью в черной бороде, длинноволосый, расчесанный на пробор, золотозубый. Нос у него загибался, как у ястреба, маленькие, глубоко посаженные глазки, казались особенно синими по

контрасту с очень темными бровями. Он щеголял в сандалиях и солидном черном сюртуке, под стать своей солидной роли в мистерии — он играл апостола Петра, который отрекается от Спасителя.

Требование Грейдерера было уважено, и вот уже Рохус Дайзенбергер пошел в пляс под аккомпанемент цитры. Но сперва он, не торопясь, переобулся, сменил сандалии на крепкие, подбитые гвоздями башмаки. Отплясывал Дайзенбергер местный танец: отбивал дробь, хлопал себя по заду, подпрыгивал, хлопал себя по подошвам. Пригласил какую-то девицу, начал плясать вокруг нее, она закинула руку за голову, а он прыгал, отбивал дробь, токовал, как глухарь. Его синие, лукавые, глубоко посаженные глазки сияли безмерным наслаждением, апостольская борода растрепалась, фалды длинного черного чопорного сюртука комично взлетали, когда он хлопал себя по заду и подошвам. Все замолчали и уставились на старика, на его веселое, бесноватое, простодушно-срамное неистовство. К своей партнерше он повернулся спиной, она села на место, а он, все время пританцовывая, стал приближаться к изящной приезжей даме. В ответ на его поклон та смущенно улыбнулась, помедлила в нерешительности. Потом встала и начала выделывать несложные, легко запоминающиеся па, а долговязый апостол бешено носился вокруг нее, выделывая все новые и новые коленца. Пресыщенные чужаки не спускали с него глаз.

Назавтра все набились в наскоро сколоченный балаган смотреть мистерию. Играли из рук вон плохо, безжизненно, скучно, вяло, натянуто, казенно. Г-н Пфаундлер лишний раз убедился, какое у него тонкое чутье. Конечно, здесь загребают немалые деньги, меж тем как священники рады-радешеньки, когда прихожане снисходят до посещения церкви, где с них не берут ни гроша. И все-таки, отказавшись от постановки фильма «Страсти господни», решив поставить обозрение «Выше некуда», он проявил незаурядный нюх. Чем дальше, тем убийственнее скучали зрители. Как ни силился министр Флаухер найти черты прекрасного в столь благочестивом, истинно народном зрелище, даже он все чаще оттягивал пальцем воротничок и с трудом подавлял зевоту. Уж на что был привычен к парадам и военной дисциплине кронпринц Максимилиан, но и ему нелегко давалась подобающая случаю внимательно оживленная мина. Сидя среди своих приближенных, он старался не терять выправки, но его отяжелевшие веки то и дело смыкались, а плечи сутулились. Кое-кто из публики, махнув рукой на благочестивое зрелище, украдкой закусывал или разминал затекшие руки и ноги. А как

все оживлялись, когда над открытой сценой пролетала птица или начинала порхать бабочка!

Но стоило появиться на подмостках возчику Рохусу Дайзенбергеру, и зрители насторожились. Остальные актеры монотонно бубнили заученные реплики. А Рохус Дайзенбергер и в роли апостола Петра оставался тем же буйным Дайзенбергером, сиял глубоко посаженными синими глазами, обнажал в улыбке золотые зубы, отвоевывал себе подходящее местечко под солнцем. Иисус, которого натужно играл столяр Грегор Кипфельбергер, сказал ему: «Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь». Но Петр — Дайзенбергер убежденно ответил: «Если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус же сказал: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня». Но возчик Дайзенбергер подошел к невысокому Иисусу — Кипфельбергеру и, положив ему руку на плечо, сияя глазами, проговорил с поразительной простотой и верой: «Хотя бы мне и надлежало умереть с Тобой, не отрекусь от Тебя». Он тряхнул длинными, расчесанными на пробор волосами, от всей души улыбнулся золотозубым ртом. Зрители, все как один, поверили ему, и больше всех поверил себе возчик Дайзенбергер.

Но Иисуса — Кипфельбергера грубо схватила стража и отвела во дворец к первосвященнику. Возчик Дайзенбергер следовал за ними издали до самого дворца, потом вошел во двор и сел с прислужниками, чтобы узнать, как обернется дело. Дело обернулось плохо, под конец все закричали: «Повинен смерти!» — и с полной натуральностью стали плевать в Иисуса, и заушать, и бить по ланитам. Возчик Дайзенбергер сидел в это время во дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином». Возчик Дайзенбергер посмотрел на служанку, на этот раз его глазки не сияли. Он пожал плечами, поежился, потом сказал: «Не знаю, что ты говоришь». И попытался ускользнуть. Но его увидела другая и сказала бывшим там: «И этот был с Иисусом Назареем». Тогда возчик Дайзенбергер еще раз пожал плечами и соблазнился о Иисусе, и отрекся от Него с клятвою, и стал браниться: «Не знаю, чего вы все, собаки, хотите от меня. Не знаю я сего». Немного спустя еще один сказал: «Точно, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». И тогда он весь насупился, и стал отмахиваться от них руками, и браниться: «Разрази меня гром, не знаю я Его».

И вдруг запел петух.

И тогда все зрители поняли, что Петр — Дайзенбергер сразу вспомнил слова Иисуса: «Прежде, нежели пропоет петух,

трижды отречешься от Меня». И они замерли, эти сотни людей, набившиеся в большой деревянный балаган. Стояла напряженная тишина, тут уже никто не скучал. Они не спускали глаз с человека, который отрекся от своего учителя. Не думали в этот миг о тех, кого сами предали, не думали и о тех, кто предал их. Один только боксер Алоис Кутцнер, тронутый, быть может, глубже всех, подумал о преданном и заточенном в тюрьму короле Людвиге Втором.

А со сцены уходил апостол Петр — Дайзенбергер и плакал — горько, навзрыд, не скрываясь, от всей души, как от всей души плясал накануне вечером.

Большинство зрителей разъехались в тот же день, но Остернахер и Грейдерер со своей «курочкой» задержались в Оберфернбахе: Грейдереру хотелось написать портрет Петра — Дайзенбергера. Он решил изобразить апостола сидящим, одной рукой он сжимает огромный ключ, другой поглаживает бороду, благостный, сияющий лукавыми, глубоко посаженными синими глазками. Возчик Дайзенбергер позировать согласился, но потребовал мзды, притом в иностранной валюте. Сперва он попросил доллар, но когда Грейдерер начал азартно торговаться, потребовал два. Тут поспешил вмешаться Остернахер и выложил деньги.

— Сами видите, почтеннейшие господа,— сказал апостол Петр, дружелюбно сияя и приветливо улыбаясь во весь свой золотозубый рот,— когда получаешь, что просишь, значит, запросил правильную цену.

И уселся, как ему сказали, сжимая в руке огромный ключ. Сразу же, с завидной прямотой, принялся рассказывать о себе. Вырос он на конюшне, очень любит коней. В те годы даже разговаривал с ними, понимал лошадиный язык. А так как и Спаситель родился в хлеву и лежал в яслях, Дайзенбергер считал себя осененным божьей благодатью. Жаль, что извозный промысел вымирает. Впрочем, он пристроил к конюшне гараж, научился водить машину, стал искусным механиком. Но, что ни говори, гараж не такое святое место, как ясли. А еще он мастер готовить всякие растирания и травяные настойки, и не только для скотины, но и для людей. Вообще знает всякие тайности, а от его плясок, ухваток да повадок односельчан прямо в дрожь бросает. Притом он человек богобоязненный, Библию знает назубок, так что под него не подкопаешься.

Возчик немедленно начал заигрывать с «курочкой», и та не осталась равнодушна к его чарам. Он сидел в указанной ему позе, но не как перед фотографом, а естественно, непринуж-

денно — хитрец, полный чувства собственного достоинства. С наивной откровенностью рассказывал о себе. Рассказывал без обиняков, как во время войны помогал сыновьям отсиживаться в тылу. Рассказывал о своих любовных делишках. Видно, женщины так и липли к нему. Не умолчал о том, что, судя по всему, скоро распрощается с деревней. В такие времена божий избранник и в Мюнхене не пропадет с голоду.

Тем временем Грейдерер трудился над эскизом к картине «Деревенский апостол Петр». Трудился без особого вдохновения. Накануне вечером он здорово выпил. Грейдерер злился на деревенского ловкача, выторговавшего два доллара, злился и на «курочку» за ее бесстыдное кокетство с этим хряком. Г-н Остернахер настойчиво пытался привлечь его внимание к эскизу. Давал советы. Грейдерер чаще всего отвергал их и объяснял, как всегда, сумбурно и нечленораздельно, какой ему видится будущая картина. Получалось маловразумительно, но Остернахер ловил каждое его слово, жадно вглядывался в эскиз.

Художника одолевала лень. Эскиз начал было получаться, но черт его побери, какая это все морока. В жарко натопленной горнице руки сами собой опускались. Апостол Петр понимающе улыбался. Г-н Грейдерер прав, о чем тут говорить. Поспешишь — людей насмешишь. Коли дело доброе, его и через неделю можно кончить. Главное, не поддаваться нынешнему поветрию,— этой вечной гонке. Грейдерер одобрительно кивал, потом сыграл какой-то мотив на губной гармонике и вместе с «курочкой» отправился в гостиницу.

Господин фон Остернахер пошел в одиночестве бродить по селу, сосредоточенно, неотрывно о чем-то размышляя. Полазив по окрестным холмам, вернулся к дому Рохуса Дайзенбергера. Аккуратно записал его адрес и пригласил польщенного апостола в гости, когда тот будет в городе.

16
КАСПЕРЛЬ И ТОРЕРО

Когда с улицы, раскаленной послеполуденным августовским зноем, Жак Тюверлен вошел в театр, его сразу охватила затхлая прохлада. Он недовольно повел носом — воздух пропах плесенью. Плюшевые кресла, облупившаяся позолота балюстрад, лепная отделка рампы — как мерзко все это выглядело в большом пустынном зале! И как гнусно воняло! От репетиций никакой радости. Ему бы работать сейчас над «Страшным судом», а он

околачивается здесь, в толпе потертых первых любовников, бесталанных, унылых комиков, истомившихся девиц, которые торчали во всех закоулках, голые под своими убогими пальтишками, жалкие, несчастные. Наверное, он был не в своем уме, когда впутался в эту историю.

Репетировали одну из картин обозрения — «Тутанхамон». Совсем недавно была обнаружена и вскрыта гробница египетского фараона Тутанхамона, и стиль той эпохи быстро вошел в моду, особенно во всем, что касалось женских туалетов. В картине «Тутанхамон» девушки двигались по сцене все время в профиль к зрителям, сохраняя иератические позы, и сочетание египетского барельефа с автомобилями, теннисом, футболом, негритянскими плясками производило бы сильное впечатление, если бы не безнадежно тупые лица «герлз». Древние обрядовые танцы и современность, связанные воедино неплохой музыкой, создавали свежее, интересное зрелище, но стихи Тюверлена г-н Пфаундлер нашел чересчур мудреными и заменил их стряпней модного опереточного либреттиста — веселенькими, пошлыми, вульгарными куплетами. При чем же здесь Тюверлен?

Господин Пфаундлер что-то орал в рупор, вскакивал на подмостки, сцеплялся с режиссером, давал новые указания, отменял их, опять бежал в зрительный зал и становился за освещенный режиссерский пульт, опять бранился зычным начальственным голосом, который вылетал из мегафона, неузнаваемо искаженный.

Во время репетиций г-н Пфаундлер был невыносим. У него действительно было множество мелких неприятностей. Например, у дрессированного павиана, умевшего играть на рояле, разболелся живот. Пфаундлер считал, что это вранье, просто владелец обезьяны получил более выгодное предложение. Но театральный врач разобиделся и заявил, что нет оснований не доверять свидетельству ветеринара, представленному владельцем павиана. Примерно то же случилось и с труппой лилипутов. Пфаундлеру удалось заключить с ними на редкость выгодный контракт. Как потом выяснилось, лилипуты подписали его только потому, что английское министерство труда запретило им въезд в Англию, оберегая отечественных лилипутов от опасных соперников. Потом запрет был снят, и коварные малыши применили тактику пассивного сопротивления, добиваясь либо расторжения контракта, либо более приемлемых условий. Но эти булавочные уколы только царапали Пфаундлера; по-настоящему же его терзала тайная злость на себя за то, что он связался с чертовым Тюверленом. Старый болван! При его-то опыте попасться

на удочку такой дребедени, как болтовня о «художественной ценности»! Он не способен был признаться даже себе, что замысел поставить обозрение, действительно имеющее художественную ценность, сам по себе превосходен, но осуществим только в Берлине, а если сейчас он обречен на провал, то виновато в этом его, Пфаундлера, слепое пристрастие к Мюнхену. Настроение у него было прескверное: все ему было не по вкусу, любой в любую минуту мог нарваться на неожиданную, ничем не вызванную грубость. Особенную ярость вызывал в нем Тюверлен.

А Тюверлен, постояв и послушав вопли Пфаундлера, пошел в буфет. Он подсел к акробату Бьянкини Первому — их связывала сдержанная, молчаливая приязнь. Взгляды на жизнь этого немногословного человека давным-давно установились. Он работал с совсем еще молодым акробатом, и все в театре знали: у младшего успех, у старшего талант. Искусство Бьянкини Первого требовало многолетнего труда и незаурядной одаренности, а юноша был просто хорошо обученной живой марионеткой: для того чтобы обучиться его фокусам, довольно было двух-трех лет. Но Бьянкини Первый относился к этому философски. Обычная история, есть о чем говорить! Успех всегда выпадает на долю менее достойного. Разве зрители способны понять, что четыре-пять сальто прямо с помоста куда труднее, чем пятьдесят с трамплина? Они даже не видят разницы между «резиновым человеком», делающим сальто назад, и ремесленником, делающим обыкновенное сальто. Удовольствие от красивой работы получает только сам мастер да несколько знатоков. А зрители ничего не смыслят. Судьба Бьянкини Первого живо интересовала Жака Тюверлена — ведь и в других областях искусства дело обстоит так же, разве что примеры не столь разительны. С глубоким сочувствием следил он за тем, как акробат добивается все большего совершенства в работе, хотя и знает, что публика этого не оценит. Бьянкини Первый не проявлял ни малейшей зависти к удачнику, к своему молодому партнеру. Странно только, что он никогда не разговаривал с Бьянкини Вторым и даже уборную делил не с ним, а с имитатором музыкальных инструментов, Бобом Рихардсом. В отношениях между двумя Бьянкини было что-то затаенное, невысказанное, Тюверлен угадывал в них привкус страдания.

К их столику подсел Боб Рихардс, тот самый, который делил уборную с акробатом. В отличие от обоих Бьянкини, он был большой говорун и, прочитав кое-какие писания Тюверлена, однажды вступил в спор с автором, твердо, хотя и почтительно от-

ставая свою точку зрения. В детстве его прочили в раввины, он изучал Талмуд в Черновицах и в какой-то галицийской школе. Потом удрал с бродячей цирковой труппой, выступал в качестве художника-моменталиста, пользовался успехом. Однажды ему в нос попала краска, вызвавшая тяжелое заражение крови. Ему сделали операцию, изуродовали лицо, особенно нос, но и наградили новым талантом — умением, пуская в ход этот искореженный нос, подражать музыкальным инструментам. Рихардс так усовершенствовал нежданно приобретенный дар, что имитировал четырнадцать инструментов, начиная с саксофона-баса, включая струнные и кончая флейтой-пикколо,— все с помощью своего огромного искореженного носа. Он приобрел известность, получал немалые деньги, был обеспечен, спокоен за будущее. Программа у него всегда была одна и та же, так что особой тренировки ему не требовалось. Свободного времени у него хватало, и он целиком посвящал его любимому занятию — чтению трудов по кабалистике и по вопросам социализма: по каким-то малопонятным соображениям он считал, что эти столь различные отрасли человеческого знания тесно связаны между собой. Рихардс вел бесконечные, но миролюбивые споры с Бенно Лехнером, которого Тюверлен, по просьбе Каспара Прекля, временно устроил осветителем у Пфаундлера: тяжеловесные, спокойные рассуждения Бенно очень нравились имитатору.

Комик Бальтазар Гирль в буфет не заглядывал, почти безвыходно сидел у себя в уборной в обществе своей подруги и все время ворчал и брюзжал. Какой кретинизм — поддаться уговорам, уйти из «Минервы», впутаться в это дурацкое обозрение, где он — пришей кобыле хвост. Правда, во время репетиций он нашел в образе Касперля еще какие-то занятные черточки. Тюверлен не превратил Касперля в гнусную карикатуру, напротив, наградил и обаянием, и умением выходить сухим из воды. Его частенько били, но еще чаще бил он. Молотил всех по головам, молотил до тех пор, пока «большеголовые», эти умники-разумники, не падали замертво. Невредим был только он, тупой, самонадеянный, победоносный Касперль, наивно вопрошающий: «А сколько вам за это отвалят, господин хороший?» Терпели поражение все — и ветрогоны и вояки,— торжествовал один Касперль, простодушный, упрямый, тугодумный хитрец, всеми своими победами обязанный этой своей неуклюжей, тугодумной хитрости. Комик Гирль не понимал символического смысла Касперля, зато чувствовал нутром, что сможет воплотить на сцене его сущность — сущность истого баварца. Честно говоря, он был в этой роли как рыба в воде. Но Гирль уже извлек из нее все, что

ему могло пригодиться, что он когда-нибудь использует в своих собственных выступлениях, рассчитанных на широкую публику, где Тюверлена *не будет*. В залах «Минервы» Гирль главный, там его не оттесняет на задний план всякая шушера из труппы «Волшебного театра», твари из зверинца, прилизанные франты и голые потаскухи. Постановка обозрения не нравилась ему, не внушала доверия. Как и Пфаундлер — а уж у него тонкий нюх! — он предчувствовал неудачу, провал. И выступать в обозрении не собирался.

Разумеется, Гирль не признавался в этом никому — даже своей подруге, даже самому себе. Зато все время брюзжал, что опять ему плохо подогрели пиво, что при такой дирекции талантливому актеру и издохнуть недолго, что никто не заботится о его больном желудке, что болван он будет, если не расплюется с этим обозрением. Выпив пива, он выходил в коридор или за кулисы, молча стоял там, порою изрекал: «Ладно, ладно, девочка, еще рано загадывать»,— и на лице у него было написано такое уныние, что коллеги участливо спрашивали, какая у него стряслась беда.

Когда Тюверлен вернулся в зрительный зал, там репетировали картину «Голая истина». Некий молодой богач покупает в Тибете изваяние богини Кванон, обладающее удивительным свойством: если в его присутствии кто-нибудь лжет, оно начинает двигаться, но видит это только владелец статуи. Чем беззастенчивее ложь, тем стремительнее движение богини. Молодой человек устраивает званый вечер, собирается довольно много народу, гости болтают друг с другом, как заведено на таких сборищах. Богиня вздрагивает, начинает двигаться, ее движения все убыстряются, она пускается в пляс. Тибетскую богиню играла г-жа фон Радольная. Она добивалась этой роли с обычным своим невозмутимым упорством — и добилась. Ей удалось создать гротескный образ, не лишенный тяжеловесного обаяния. Но Пфаундлер был недоволен, Катарина никак не могла ему угодить. Тем не менее она сохраняла невозмутимое спокойствие. Впрочем, Тюверлен видел, что дается ей это нелегко. Ему была понятна подоплека пфаундлеровских придирок: шум, поднятый вокруг вопроса о конфискации имущества владетельных князей, неведомо почему повредил одной только г-же фон Радольной. Требования народа не были удовлетворены, г-жа фон Радольная продолжала на законном основании владеть поместьем Луитпольдсбрун и получать ренту, но, в то время как все прочие нисколько не пострадали от потоков грязи, которыми их обливали в оппозиционной прессе, репутация Катарины была

погублена. Без видимых оснований лишь она и была замарана. Друзья из придворных кругов, в свое время многим обязанные Катарине, теперь отвернулись от нее. Фортуна ей изменила, это чувствовали все. Чувствовал и Пфаундлер. Не щадил Катарину. Роль тибетской Кванон ей удалась. Когда бы не злобные газетные нападки и общественное неодобрение, он, конечно, хвалил бы ее. Г-жа фон Радольная понимала это, понимала и другое: он бранит ее сейчас вовсе не из-за какой-то особенной зловредности, нет, ему действительно не нравится ее игра. Катарина достаточно пожила на свете, знала людей, да и сама считала, что чем больше изменяет человеку успех, тем строже его следует судить. Г-н Пфаундлер придирался к ней, его начальственный голос, искаженный рупором, был визглив, как у младенца-великана. Г-жа фон Радольная вновь и вновь невозмутимо репетировала картину, пока г-н Пфаундлер, выйдя из-за режиссерского пульта, не взобрался на подмостки и, сердито глядя на актрису, не сказал с тихой угрозой, что придется, как видно, эту картину из обозрения выкинуть. Но тут взорвался Тюверлен. Он скрипуче крикнул из темноты зрительного зала, что выкидывать надо не эту картину, а нечто совсем другое. Пфаундлер по-прежнему на подмостках, по-прежнему в лучах прожектора, освещавших его толстую физиономию, обернулся в сторону темноты, хотел было завопить, но сдержался и только сказал, что еще не время решать. Подсев к Тюверлену, акробат Бьянкини Первый заметил полушепотом:

— Вы совершенно правы, господин Тюверлен.

Тот промолчал. Молчал он и во время репетиции других картин. Г-н Пфаундлер не пожалел воды. В сценическом варианте все потускнело, стало беззубым, невыразительным. Тюверлен видел — его старания пошли прахом. Обозрение не будет иметь успеха, но не это его волновало: он горевал из-за попусту потраченного года. Может быть, инженер Прекль прав,—в такие времена искусство обречено на вымирание. Тюверлен не выходил из себя, не вступал в перепалку с Пфаундлером, который ждал новых воплей негодования, как только начиналась новая картина,— еще бы, совесть у него была нечиста, он в душе отлично понимал, насколько лучше был первоначальный вариант. Но воплей не было, просто чем дальше, тем больше сутулился Тюверлен.

— Очень устали? — спросил его акробат Бьянкини Первый.

— Есть у вас какие-нибудь замечания, господин Тюверлен? — то и дело, словно между прочим, спрашивал г-н Пфаундлер. Нет, у г-на Тюверлена замечаний не было.

— Продолжайте, пожалуйста, репетицию,— говорил он. Сегодня его голос был особенно скрипуч.

Боб Рихардс, имитатор музыкальных инструментов, рассказал анекдот про обозрение, которое шло пятьсот раз. Все актеры выдержали эти пятьсот представлений, только слон на двухсотом издох.

Началась репетиция картины «Бой быков» — последней, где что-то еще сохранилось от духа и сути обозрения. По замыслу Тюверлена, бык был существом затравленным и туповатым, обреченным на гибель, несмотря на могучую силу и даже своеобразную привлекательность; ему не хватало главного — ловкости, а в эту эпоху только ловкачи и процветали. Тореадоров изображали полуголые девицы. Они потрясали копьями и пиками, на которых развевались флажки, из коротеньких распитых курточек соблазнительно выглядывали груди. Матадора играла Клере Хольц. Написанные для этой роли стихи удались Тюверлену, были остроумны и едки, их одобрили даже Прскль и Бенно Лехнер. Клере Хольц произносила их с большим подъемом. Напрасные старания: Пфаундлер с вечной своей осторожностью испортил и эту картину. Политические намеки были выброшены, вся острота и едкость убиты. Осталась пустая буффонада. Да, конечно, публика будет смеяться. Касперль — Гирль, с помощью материи и папье-маше превращенный в быка, был и впрямь очень забавен, искусно, великолепно передавал все оттенки бычьих реакций, смешил, трогал, веселил, развлекал своей тупоумной хитростью. И Пфаундлер тоже постарался: при всей парочитой тяжеловесности, картина получилась живая и яркая. Но тем не менее выхолощенная: ее завуалированный, но очевидный смысл начисто исчез. Теперь в обозрении уже ничего не осталось от Тюверлена.

В конце картины он собрался было уходить, не столько возмущенный, сколько смертельно усталый, как вдруг в оркестре возникла мелодия, легкая, вызывающая мелодия марша — и Тюверлен остался. Удивительно вобравшая в себя черты испанской и негритянской музыки, по-мавритански жгучая и по-испански изысканная, скачущая, напряженная, как сам бой быков, где так картинно позирует жажда убийства,— эта мелодия не была связана ни с его текстом, ни с замыслом, но с шумным и пошлым музыкальным сопровождением она тоже не имела ничего общего. По-другому выглядела теперь сцена, по-другому выглядел бык, ожили, перестали казаться автоматами стройные тела девушек. Легкая мелодия набирала силу, ширилась. Крикливые и вульгарные женские голоса слились в жгучем, изыскан-

ном напеве. И опять обозрение обрело смысл. Задорное ликование двух повторяющихся тактов наполняло слух и кровь, выпрямляло ссутулившиеся спины, меняло ритм движений и сердец.

В последнем ряду зрительного зала, одетый в театральный костюм цыгана, сидел сочинитель этой мелодии, тот бывший революционер, а теперь музыкальный клоун, который когда-то провозглашал независимость музыкантов-исполнителей. Эти два такта он подслушал в Санкт-Паули, портовом квартале Гамбурга: их гнусавила тамошняя шлюха, мать которой была родом с юга. Искусно изменив ритм, он придал мелодии новое звучание. Оба композитора, которые значились авторами музыки к обозрению и должны были украсить своими именами афишу, косились на него. А бывший революционер сидел в темноте, и придирчиво слушал, и был счастлив. Он знал — не пройдет и года, а его мелодия зазвучит на всем земном шаре, ее разнесут пять тысяч джазов, триста тысяч пластинок, все радиоприемники, и под ее ритм будут ежедневно трудиться миллионы людей. Он преждевременно состарился, опустился. За свою часть музыкального сопровождения он получил ничтожный гонорар, успех мелодии не улучшит его нищенской судьбы. Но композитор не горевал. Напротив, улыбался. Всех в этом зале взволновала легкая мелодия, но он сам — в этом-то и было его торжество — уже к ней остыл.

Конец картины актеры сыграли одушевленно и уверенно. С радостью согласились немедленно ее повторить. Но тут к рампе подошел комик Бальтазар Гирль, тихий и скорбный, и объявил, что уходит домой. И не придет ни завтра, ни послезавтра, и на премьеру тоже не придет. Он болен. Сколько раз он просил, чтобы ему как следует подогревали пиво, и вот он расхворался, и чувствует, что это всерьез, и поэтому уходит домой. Ошеломленные актеры окружили его, костюмер, державший наготове бычий зад из папье-маше, застыл на месте, разинув рот. Все вопросительно поглядывали на Пфаундлера. Он, волоча ноги, что-то обдумывая на ходу, поднялся по мосткам на сцену, стал шепотом многословно уговаривать Гирля. Тот почти не отвечал ему. Слушал красноречивые тирады Пфаундлера и все с тем же скорбным, замкнутым лицом пожимал плечами. Изредка говорил: «У меня, видите ли, другая точка зрения», или: «В общем, я ухожу». И ушел.

Тюверлен не произнес ни единого слова. Он давно раскусил комика Гирля, его этот номер не застал врасплох. Пожалуй, он даже радовался, что теперь затею с обозрением можно считать

конченой. Со своей стороны, г-н Пфаундлер тоже не горевал, хотя в лице комика Гирля терял краеугольный камень, который скреплял всю постройку. Теперь-то он со спокойной совестью вычеркнет гнусное название «Касперль и классовая борьба», сама судьба хочет, чтобы осталось только «Выше некуда». Еще не кончив разговора с Гирлем, он мысленно настрочил соответствующую статейку в газеты. Энергичный, решительный, сразу набросился на помощника режиссера, который стоял рядом в полной растерянности,— в чем дело, почему не начинают репетировать следующую картину? Бранился, порол горячку. Начали менять декорации; словно в вихре, закружились рабочие сцены, кулисы, актеры, бутафория, музыканты, какие-то личности в белых халатах. В пять минут были установлены декорации следующей картины — «Натюрморт»,— где голые девицы изображали различные яства. Они стояли наготове, ожидая сигнала, чтобы церемонным маршем под идиотскую музыку выйти на сцену. У одной вместо рук были клешни омара, у другой заднее место украшали огромные фазаньи перья, третья хлопала створками устричной раковины; не считая этих украшений, девицы были в чем мать родила. В финале картины они влезали на грандиозный, соблазнительно убранный стол и застывали там — голые женщины среди колоссальных макетов всевозможных лакомств. Эта картина, истинно в стиле «Выше некуда», вполне отвечала вкусу г-на Пфаундлера. Пора было приступать к репетиции.

— Давайте,— сказал г-н Пфаундлер, и помощник режиссера зазвонил в звонок.

К тому времени Тюверлен уже ушел. Ленивый, полусонный, он бесцельно брел по раскаленным улицам, держа шляпу в руке, подставляя свое голое лицо летнему ветерку. Он радовался, что все произошло именно так, и снова готов был признать, что мир не так уж плохо устроен. Его мысли постоянно обращались к Иоганне. Не в том дело, что ему хотелось спать с ней, вернее, не только в том: и спать хотелось, и, главное, все время быть с ней. Бранить ее, себя, других. Послушать, что она скажет, что посоветует. Тюверлен подумал, что к его чувству подошли бы смешные, затасканные слова, вроде «душевность», «доверие». И еще подумал — как было бы приятно, если бы она шла сейчас рядом с ним.

Иоганна приехала в Мюнхен накануне. Как раз в эту минуту она проезжала мимо Тюверлена в закрытом такси II А 8763. Но он этого не знал.

17

СОВЕЩАНИЕ В ПРИСУТСТВИИ НЕВИДИМКИ

Вернувшись в Мюнхен, Иоганна долго ходила по своей просторной, оклеенной красивыми светлыми обоями комнате, смотрела на массивную мебель, на аккуратно прибранные книжные полки, на графологический аппарат, на необъятный письменный стол, где стояла пишущая машинка. Из окон видна была набережная, за ней струился светло-зеленый веселый Изар.

Она избегала мюнхенских знакомых, работала. Доктор Гейер на несколько дней уехал на север — в Берлин, в Лейпциг,— его ждали в начале будущей недели. Иоганна радовалась, что может побыть наедине с собой. Чувствовала, что вернулась домой не просто, а как-то по-особенному. И зачем ей понадобилась эта дурно пахнувшая выдумка насчет «светских связей»! Все началось с Гесрейтера, а привело прямиком к шалопаю. Нет, она не создана для пустой, душной светской жизни, задыхается в ней. Пока длилась ее связь с Гесрейтером, она ходила как под наркозом, в каком-то странном оцепенении. А сейчас проснулась и вышла на солнечный свет. Иоганна хрустнула пальцами, довольно улыбнулась, почувствовала, что ей до смерти хочется засесть за работу. Заказов хоть отбавляй, хватит на три месяца, стоит только пожелать.

Ее ногти все еще были миндалевидной формы, но она так много работала, что уже не могла ухаживать за ними с той же тщательностью, как во Франции. Машинка портила и ногти, и кожу вокруг них: с таким трудом обретенный прозрачный, молочный глянец понемногу исчезал, нежная кожица ногтевого ложа огрубела. Для светской жизни надо уметь вести беседу, отвечать, не думая, на любые вопросы. Теперь Иоганна вернулась к прежней манере отвечать не сразу, порой после довольно долгой паузы, ни с того ни с сего возобновлять разговор, исчерпанный полчаса назад, словно эти полчаса для нее не существовали. И одеваться стала, как прежде: здесь, в Мюнхене, где тон задавали люди, наехавшие из деревень, ее модные парижские платья выглядели бы нелепо.

Иоганна работала. Прежде она верила в наитие. Высшей наградой за труд было грозное, желанное и мучительное мгновение, когда она вдруг прозревала истину. Теперь Иоганна работала усидчивее, менее озаренно, но с большей серьезностью. Иной раз она думала, что научилась лучше понимать людей.

Так она прожила в Мюнхене шесть дней — с удовольствием работая, почти не выходя из дому. Отлично спала. На седьмую

ночь вдруг ясно ощутила, что зашла в тупик, стараясь ускользнуть от преследовавшего ее образа,— и испугалась своей судьбы.

Она снова позвонила — словно выплачивала часть долга кредитору-невидимке — в контору адвоката. Да, он сегодня вернулся. С непривычной готовностью, даже с радостью, назначил ей встречу в тот же день, через час.

Доктор Гейер снова все свое время посвящал адвокатской практике. Он вел множество запутанных дел, зарабатывал большие деньги, не обесцененные, а в иностранной валюте. Он и прежде был неутомим, но теперь его служащие только руками разводили — столько сложнейших дел он вел одновременно. Экономка Агнесса из себя выходила от бессильного негодования. Она-то точно знала день и час, когда началась эта сумасшедшая гонка. С посещения юнца, паразита, кровососа, вымогателя. Для себя доктору деньги не нужны. А теперь он гонится за ними, загребает обеими руками, носится по банкам. И живет при этом, можно сказать, впроголодь, проверяет каждый грош, который она тратит на его еду, на стирку. Лицо у экономки Агнессы пожелтело, глаза блуждали, она беспокойно, как одичалая, бродила по дому. Заявила, что отказывается от места. Адвокат промолчал.

Мальчик больше не приходил. Доктор Гейер даже след его потерял. Хотел было обратиться в частную сыскную контору, поручить произвести розыски, но поборол это желание. Рукописи его книг — «История беззаконий» и «Право, политика, история» — лежали на полке, аккуратно сложенные и связанные. Зарастали пылью. Адвокат ждал. Вел дела, сложные дела. Инфляция, ежедневное чудовищное обесценение всего, что вчера еще имело цену, порождало бешеную спекуляцию и вносило такую сумятицу, такой хаос во все вопросы, связанные с правом собственности, что у любого набившего руку адвоката не было отбоя от дел. За несколько недель доктор Гейер разбогател. Если мальчик придет еще раз, можно будет не скупиться. Адвокат знал, что в истории с отравлением собак замешан фон Дельмайер. Он то терял надежду, то снова начинал надеяться. Может быть, мальчик все-таки придет к нему сейчас, снова потребует у него помощи,— так, между прочим, в своей обычной пренебрежительной, вызывающей и такой неотразимой манере. Доктор Гейер ждал. Но мальчик не приходил, как сквозь землю провалился. Возможно, нет, безусловно, потому, что и он был связан с делом об отравлении. Оно было окружено какой-то зловещей таинственностью. Адвокату не удалось выяснить ни-

каких подробностей. Казалось, там, наверху, никак не могут решить — то ли вообще замять это дело, то ли, напротив, раздуть. Тут явно была замешана политика. С тех пор как в министерстве юстиции сидит Кленк, все, связанное с политикой, стало темно и неясно.

Доктор Гейер совсем перестал думать о себе, слишком много курил, ел, когда придется, мало спал. После покушения он отпустил рыжеватую бородку, почти не прихрамывал, совсем избавился от нервного подергивания век. Напряженно, тревожно следил за политикой Кленка. Да, справедливость требует признать, что сегодня в Баварии больше организованности и порядка, чем раньше, отношения с имперским правительством наладились, дурацким выходкам «патриотов» положен предел, крикливые манифестации не в чести. Но это ненадолго и добром не кончится. Мир, растоптанный диктатурой и насилием, мир, где нет справедливости, немыслим, он не имеет права на существование.

Напряжение адвоката еще возросло, когда болезнь свалила Кленка в постель. Сперва на несколько дней, потом на такой срок, что зашатался весь установленный им режим. Адвокат собрался, напружился, готовый к прыжку, продолжая ожидать. С помощью каких-то сложных софизмов он убедил себя, что политика Кленка, дело об отравлении собак и судьба его мальчика теснейшим образом связаны. Все, связанное с Кленком, связано и с Эрихом. Все, происходящее в мире, имело касательство к Эриху.

Как раз в такую минуту напряженного ожидания ему позвонила Иоганна. В этой баварке он всегда улавливал какое-то сходство с Эллис Борнхаак: сейчас ее голос, точно резкий толчок, пробудил в нем глубоко затаенные чувства. Они с Эрихом так отчуждены друг от друга только из-за его собственной индифферентности. Он с головой ушел в теоретические изыскания, стал индифферентен к беззакониям в реальной жизни. Взять хотя бы дело Крюгера. Из каких-то глубин поднялись суеверные мысли о вине и расплате. Вся история с мальчиком только справедливое возмездие за то, что он недостаточно энергично хлопотал о Крюгере.

Поэтому к телефонному звонку Иоганны адвокат отнесся как к знаку свыше. Пригласил Иоганну к себе домой, принял в сумрачной комнате, где на столе среди груды газет и судебных дел стояла тарелка с объедками. Она села на тот самый стул, где не так давно сидел его мальчик. Адвокат внимательно посмотрел на нее и отметил про себя, что ее твердость уже не так

тверда, уверенность не так уверенна. Да и он сам был менее официален, даже попросил у нее позволения закурить; оба почему-то чувствовали себя неловко.

Взглянув в его голубые умные глаза, Иоганна немедленно вспомнила другого и с большим трудом заставила себя думать о деле, ради которого пришла. Она сказала, что, послушавшись его совета, пыталась пустить в ход «светские связи». Обращалась и к богу и к черту. И задумчиво, с горечью, повторила: «Да, и к богу и к черту»,— перебирая про себя имена Тюверлена, Пфистерера, министра юстиции Гейнродта, г-жи фон Радольной, кронпринца Максимилиана, тайного советника Бихлера, историка искусства Леклерка, Гесрейтера, шалопая. Потом, закусив верхнюю губу, замолчала, замкнулась. Адвокат опустил глаза, посмотрел на ее ноги — сильные, в светлых чулках и прочных, добротных туфлях, далеко не таких элегантных и изящных, как туфли молодого коммерсанта Эриха Борнхаака.

— Пользы не было никакой? — помолчав, спросил он.

— Никакой,— подтвердила Иоганна.

— Вы любите животных? — внезапно, без всякой связи, спросил он.— Я терпеть не могу собак и кошек. Не понимаю, как можно обзаводиться этими тварями. Сейчас назревает страшный скандал,— он не смотрел ей в глаза,— что-то там с отравлением собак.

Иоганна смотрела на его рот, затененный рыжеватой бородкой,— он закрывался и открывался, словно жил самостоятельной жизнью, отдельной от человека, произносившего слова.

— И тут тоже замешана политика,— сказал адвокат Гейер.

Прерывисто вздохнув, проглотив слюну, Иоганна спросила:

— Убийство депутата Г.?

Побелев, адвокат наклонился к ней:

— С чего вы это взяли?

Иоганне стало страшно, она помолчала, потом, обдумывая каждое слово, ответила:

— Наверное, только потому, что и об отравлении, и об убийстве депутата Г. прочла одновременно в одной и той же газете.

— Только поэтому? — спросил адвокат.— А в какой газете?

— Уже не помню,— сказала Иоганна.— Кажется, в какой-то парижской.

— Да,— промолвил адвокат,— вы тогда тоже были в Париже.

Наконец он перешел к делу Крюгера. Долго объяснял,— возможно, для успокоения собственной совести, неумолимо подумала Иоганна,— какие трудности надо преодолеть, чтобы до-

биться пересмотра дела. Данное под присягой письменное показание вдовы Ратценбергер, с таким трудом вырванное у нее, ровным счетом ничего не стоит. Ее устные показания были абсолютно недвусмысленны, но когда дело дошло до их записи, она со страху так все запутала, что рассказ о признании покойного шофера вполне можно истолковать, как бред невменяемой женщины. Он уже и раньше говорил Иоганне, как ничтожны шансы на то, что ходатайству о пересмотре дела будет дан ход. Как неблагоприятен этому закон, какими формальностями обставлен каждый шаг, как сложно найти зацепки, которые удовлетворяли бы требованиям судопроизводства, как недоброжелательно настроены судьи. Он очень рекомендовал ей для лучшего понимания вопроса прочесть труд его коллеги Альсберга «Судебные ошибки и пересмотры дел», классическую работу, которая, к несчастью, по сию пору никак не повлияла на законодательство. К тому же, если при пересмотре дела Крюгер будет оправдан, он может потребовать восстановления на государственной службе, с которой был незаконно уволен. Так вот, неужели она надеется, что, борясь за справедливость, одержит победу над этим подлым баварским правительством, которое по суду оспаривает право на пенсию у вдовы преступно убитого премьер-министра, покрывает убийцу, позволяя ему возглавлять акционерную компанию, субсидируемую этим самым правительством?

Три морщинки прорезали лоб Иоганны, она взяла из рук доктора Гейера толстый том адвоката Альсберга и крепко его сжала. Помолчав, спросила, не считает ли он, что новое назначение председателя земельного суда Гартля благоприятно для дела Крюгера? Если она не ошибается, доктор Гейер говорил ей, что, согласно идиотской статье уголовного кодекса, разрешение на пересмотр дела дает именно тот суд, который вынес приговор. Так что сейчас, когда Гартль уже на новом месте...

— И вы думаете,— с яростной издевкой прервал ее адвокат,— что преемник доктора Гартля захочет повесить на своего могущественного предшественника судебную ошибку? — Он замолчал, тонкокожие руки дрожали, жара, очевидно, совсем доконала его.— Тем не менее,— снова заговорил он, и Иоганна видела, что слова буквально застревают у него в горле,— я уже писал вам, что этот гнусный перевод Гартля на другую должность открывает нам новый путь. Если дать ему понять, что мы заберем назад ходатайство о пересмотре дела, может быть, он оценит такое подобострастие. Он ведь как раз назначен референтом по делам о помиловании. Отказ от попытки добиться пересмотра дела, реабилитации, до некоторой степени означает согласие с

приговором; может быть, тогда Гартль поддержит прошение о помиловании. Сделка унизительная, но если вы действительно хотите этого, я позондирую Гартля.

Иоганна понимала, какую внутреннюю борьбу выдержал адвокат прежде, чем предложить ей это, как он сейчас терзается. Она напряженно думала. Да, чего же она действительно хочет? Сперва хотела бороться. Как, вероятно, адвокат хотел одолеть и растоптать несправедливость, так она хотела, чтобы Мартин вышел из этой грязи, из этого дерьма незапятнанный. Хочет ли она сейчас одного-единственного, чтобы Мартин как можно скорее очутился на свободе? Она силилась вспомнить его лицо, походку, руки. Но память упрямилась, на прежнего Мартина накладывался серо-коричневый. Да, она так давно не видела Крюгера, что забыла его лицо. Иоганна смущенно потупилась. Взглянула на свои руки. Внезапно почувствовала острый стыд из-за того, что слишком тщательно ухаживала за ними в Париже.

— Но вы ведь отлично знали, что я тоже была в Париже,— неожиданно сказала она с вызовом, не сознавая, что говорит вслух.

Адвокат изумленно взглянул на нее. Иоганна покраснела.

— Простите меня,— сказала она.— Помилование или реабилитация — тут разбирать не приходится. Если говорить о моем желании, то, конечно, я не хочу, чтобы Мартин просидел еще два года среди шести деревьев.— Иоганна сказала — «среди шести деревьев», и хотя адвокат не заметил этих шести одельсбергских деревьев, он сразу понял, что́ она имеет в виду.— Я очень хочу, чтобы Мартин как можно скорее освободился,— сказала она ясным, проникновенным голосом. Подняла к адвокату лицо и большими серыми глазами посмотрела ему прямо в глаза. Тот быстро-быстро замигал и даже слегка растерялся.

— Что ж,— сказал он,— в таком случае я поговорю с директором департамента министерства юстиции Гартлем.

— Благодарю вас,— сказала Иоганна.— Я поняла все, что вы мне объяснили,— и протянула ему руку.

Перед тем, как распрощаться, они еще немного постояли, без слов понимая, о чем думает другой.

— Хорошо было в Париже? — несмело спросил наконец адвокат.

— Как вам сказать... Не очень,— ответила Иоганна. Она взяла пухлый том по юриспруденции и ушла. Адвокат смотрел ей вслед, стоя у окна так, чтобы она не увидела его, если случайно оглянется. Лишняя предосторожность: она не оглянулась.

Спустя два дня адвокат шел по Людвигштрассе вместе со

своим клиентом, чешским дельцом, который, пользуясь инфляцией, по дешевке скупал в Германии дома и земельные участки. Им навстречу шла машина, в ней сидел молодой человек, франтовато одетый шалопай; он небрежно, свысока кивнул, улыбаясь ярко-красным ртом. Адвокат осекся на полуслове, нервно глотнул, быстро замигал, обернулся вслед машине.

— Что с вами? — недоуменно спросил чех: они обсуждали запутанный правовой вопрос, речь шла о больших деньгах. Но адвокат уже не мог продолжать разговор. Щеки у него пошли пятнами, и он попросил удивленного и негодующего иностранца отложить консультацию на завтра.

18

У ВСЯКОГО СВОЯ ДУРЬ В ГОЛОВЕ

Сидя за квадратным столом, Каспар Прекль сочинял и тут же печатал на маленькой ветхой пишущей машинке статью «О роли искусства в марксистском государстве». Работа не клеилась. Не только заедало буквы «е» и «х», но и роль искусства при вышеупомянутом строе была не очень ясна; пытаясь сформулировать мысли, Каспар Прекль то и дело спотыкался о какие-то противоречия, хотя раньше ему казалось, что он обдумал этот вопрос основательнейшим образом. Он отчетливо понимал, какова эта роль, вернее, отчетливо видел. Прекль думал образами, поэтому все шло как по маслу, пока он и на бумаге прибегал к их помощи,— например, в балладах. Но если пытался облечь мысли в обыкновенные слова, в сухую прозу, получалась сплошная невнятица. Во всяком случае, статья о роли искусства шла из рук вон плохо.

Все шло из рук вон плохо. Ему вспомнились недавние переговоры с вдовой Ратценбергер. Он ушел от заключенного Крюгера совершенно взбешенный — тем сильнее ему теперь хотелось помочь его освобождению. Прекль действовал с необыкновенной энергией и, вместе с товарищами Зёльхмайером и Лехнером, несколько раз посетил вдову клятвопреступного шофера, невзирая на выходки молодого негодяя Людвига Ратценбергера. Переговоры были малоприятны. Придурковатая девчонка Кати, забившись в угол, испуганно и злобно таращилась на них, а вдова монотонно повторяла все те же глупости. В конце концов Прекль вышел из себя и прикрикнул на нее, и тогда она еще больше заартачилась. Все же им удалось вытянуть из нее письменные показания, но, по мнению доктора Гейера, они мало чего

стоили. Нет, из его попытки помочь Мартину Крюгеру ничего не получилось. Так же, как из проекта «автомобиля по дешевке». Так же, как из поездки в Москву. Из ничего ничего и не получается. С того дня, как он расплевался с Рейндлем, все у него идет вкривь и вкось.

Он встал из-за стола, плюхнулся на диван. В ателье было по-летнему жарко. Весь взмокший, он пошел на кухню, приготовил себе лимонаду и залпом выпил. Снова разлегся на диване, сцепив руки над головой,— худое, побагровевшее лицо, острый выступающий кадык, плотно сжатый большой топкогубый рот, прищуренные, ушедшие в себя глаза. Даже в минуты отдыха ершистый, всем недовольный.

Та его статья о пороках немецкой автомобильной промышленности была слишком добренькая. Сейчас — с прискорбным опозданием — он придумал на эту тему парочку весьма красочных и забористых фраз. Ладно, ему все же удалось напечатать статью в популярной берлинской газете, откровенно выложить свое мнение на этот счет. Непреложно доказать, как немыслимо отстала в годы войны немецкая автомобильная промышленность. Вся загвоздка в конструкторах. Кто не хотел холуйствовать, покорно уступать своих изобретений хозяевам, требовал повышения оплаты, тот немедленно получал расчет, и, в результате, его отправляли на фронт. А если он оставался в живых и возвращался, то обнаруживал, что все стоящие места заняты нестоящими людьми. Устроиться на должность инженера-испытателя уже было везением. Всюду кастовость, между главным инженером и инженером-испытателем, между этим последним и рабочим непреодолимые преграды. Всем заправляет, пожинает лавры и снимает сливки некто, существующий только для декорации: так называемый инженер по связям. Он устраивает конкурсы на самую красивую машину, представительствует в обществе. В блестяще организованной немецкой автомобильной промышленности не хватает малости — конструктора. Все сплошь модернизировано, кроме пульта управления. Вместо нескольких первоклассных инженеров сидят бессчетные посредственности, вместо нескольких боевиков рынок наводнен множеством бездарных моделей. Продукция Америки — сто семнадцать моделей на два миллиона машин, продукция Германии — двадцать семь тысяч машин на сто пятьдесят две модели.

Чтобы не испарилась ни единая капля накопившейся горечи, Каспар Прекль полез в ящик стола за телеграммой от Рейндля — он получил ее сразу после опубликования статьи: «Поздравляю попали в яблочко радуюсь вашему желанию спо-

ва быть со мной вернись все прощу привет Рейндль». Текст телеграммы, этой полоски с печатными буквами, Прекль знал наизусть, но перечитал ее сейчас с волнением не меньшим, чем в первый раз. Разумеется, он на нее не ответил, никому о ней не заикнулся. Не рассказал о ней даже Анни — она обязательно стала бы уговаривать его вернуться к Рейндлю. Зудила бы его, пуская в ход свой пресловутый здравый смысл. Он сам сторонник здравого смысла, но Рейндль — бесстыжая бестия. «Horror sanguinis»? Здравый смысл играл в мировоззрении Каспара Прекля не меньшую роль, чем желток в белке, но стоило ему вспомнить бледное, одутловатое лицо Пятого евангелиста, и он переполнялся таким гневом и чувством собственного достоинства, что от здравого смысла и следа не оставалось. Он снова сунул телеграмму в ящик и сразу его запер.

Прекль был не в состоянии работать, не в состоянии и разговаривать с Анни, а она с минуты на минуту могла прийти. Единственное, чего, пожалуй, ему хотелось, это ворчливой, отрывистой беседы. Он решил заглянуть в «Хундскугель» — может, туда придет и Бенно Лехнер.

Но Бенно Лехнер не пришел в «Хундскугель». В этот вечер репетиция обозрения кончилась необычно рано, и Бенно поджидал Анни у конторы, где она работала,— ему хотелось пройтись с сестрой по вечерним улицам, даже, быть может, закусить с ней где-нибудь на свежем воздухе. Он решил разок поговорить с ней с глазу на глаз, без товарища Прекля. Бепи не был в обиде на товарища Прекля, хотя тот в последнее время стал еще менее общителен, чем раньше, но вот Анни, которая, можно сказать, дневала и ночевала у него, наверняка порой очень страдает. Ей ли, с ее мещанскими предрассудками, до конца понять Прекля, оценить, какой он человек и товарищ? Большой плюс в ее пользу уже то, что она продолжает его любить, ухитряется ладить с ним. Анни вполне заслуживает дружеской поддержки, ободряющих слов.

Анни работала на северной окраине города, в заводской конторе. Бенни ждал, солнце уже заходило, через пять минут появится Анни. Марксистские книги и беседы с товарищем Преклем утвердили Бенно Лехнера в мысли, что вопросы пола — дело десятое. Любовь и все, что наворочено вокруг нее,— выдумка буржуазии, которой во что бы то ни стало надо отвлечь внимание масс от главного, от экономики. Теоретически это все, разумеется, правильно, но ведь есть тут и другая сторона дела. Взять, к примеру, хотя бы его самого: как ему было бы больно, если бы из его жизни вдруг исчезла кассирша Ценци. Особым

умом она не блещет, правильному мировоззрению ее, как ни старайся, не научишь, зато надежна и практична. Попади он в переделку, она его в беде не оставит.

Наконец служащие начали выходить из конторы. Анни сразу согласилась пойти в Английский сад и поужинать вместе с Бенно. Они медленно шли, разморенные этим летним вечером,— хорошенькая девушка в легком, светлом платье и ее крепко сколоченный белокурый брат.

Бенни рассказывал о себе. Работа театрального осветителя ему нравится. Правда, приходится в страшной спешке делать то одно, то другое, не работа, а форменная лихорадка,— бывает, целый день бьешь баклуши, а потом ночь напролет не передохнешь,— конечно, хорошего в этом мало. С другой стороны, у него есть возможность мастерить, придумывать, техника театрального освещения покамест в самом зачатке, перешенных задач целый воз. Он кое-что придумал, сделал настоящее изобретение, может, в скором времени даже удастся взять патент. Работа интересная, тут ничего не скажешь. Большой плюс в пользу товарища Прекля, что он его туда устроил.

Да, очень мило, сдержанно согласилась Анни. В душе она гордилась Каспаром. Но он стал ужасно ерпистый, сказала она. У него была куча неприятностей. Теперь-то все более или менее приходит в порядок, так что она уже может спокойно говорить об этом,— и Анни весело затараторила о нескончаемых раздорах Каспара с квартирными хозяевами, особенно с некой Бабеттой Финк, которая всюду трезвонила, что Каспар якобы отец ее ребенка, и приставала к нему с нахальными требованиями. Он совершенно пасовал перед этой гнусной дурой. Написал отличную балладу о ней, на том и успокоился. Пришлось ей, Анни, самой вмешаться в это дело. А на днях между ней и Каспаром произошел крупный разговор. Конечно, она Каспара очень уважает и так далее, но все же не могла не съязвить — странно, мол, что человек, совершенно неспособный устроить собственную жизнь, так самоуверенно решает за других, как им лучше устроить свою. Каспар стал очень обидчивый, ну, у них и вышла настоящая баталия из-за ее мировоззрения. Но она твердо стояла на своем. Для нее это вопрос решенный: может, кто-нибудь и верит в научный коммунизм, но, по ее мнению, это такая же чепуха, такая же дурь, как вера в непорочное зачатие или в непогрешимость папы римского. Одни в это верят, другие нет. Так вот, она из неверующих.

Бени начал спокойно и пространно объяснять ей позицию Каспара Прекля, который стал коммунистом не из какого-то там

человеколюбия, а из трезвого убеждения, что для всего человечества и, следовательно, для него, Прекля, такое общественное устройство разумно, желательно, полезно. На это Анни возразила, что Каспар Прекль умнейший человек, умнее она не встречала, и когда он поет свои баллады, она просто с ума по нему сходит. Но верить в то, во что верит Каспар, она не может, и тут ее не переубедить. Потом задумчиво добавила, что вот и она сама, и ее брат, да и все, кто имеет дело с ним, твердят, что он гений. А в чем его гениальность, никто объяснить не может. Не мог объяснить и Бени.

Но самое главное, это что Бени так доволен работой театрального осветителя,— снова повеселев, решительным тоном заявила Анни. И к тому же он собирается получить патент на изобретение! Вот здорово! Он еще выбьется в люди. Тут оба улыбнулись — Анни бессознательно повторила любимую фразу отца, крепко засевшую в памяти всех членов семьи.

Сидя под тенистыми каштанами какого-то ресторанчика, молча и задумчиво глядя перед собой, брат и сестра вспоминали отца. Ели они что-то безвкусное, но немыслимо дорогое. И не удивительно — доллар снова безмерно подорожал. Слово «валюта», еще год назад никому не ведомое, теперь стало привычнейшим словом на обоих берегах Изара, по всему Баварскому плоскогорью. Крестьяне продавали продукты только за иностранную валюту. Обрекали горожан на голод. Везде разгуливали субъекты, разбогатевшие на спекуляции продовольствием,— жирные, кичливые господа в роскошных, кричащих, облегающих костюмах, они раскуривали сигары глянцевитыми коричневыми тысячемарковыми ассигнациями, новехонькими, прямо с печатного двора, еще пахнувшими типографской краской. Бени сказал, что страна катится прямо в пропасть. Многие товарищи готовы, очертя голову, перейти в наступление; больше того, есть и такие, которые переметнулись к «истинным германцам»,— те только и делают, что вопят о наступлении, к тому же предлагают нечто осязаемое — своего фюрера, Руперта Кутцнера. По мнению Бени, Кутцнер — жалкое ничтожество, луженая глотка и пустая голова. Анни сказала, что ровным счетом ничего не понимает в политике. Она своими глазами видела, что та самая пятидесятитысячная толпа, которая, хныча, шла за гробом убитого вождя революционеров Эйснера, точно с таким же хныканьем провожала на кладбище короля Людвига Третьего, свергнутого с помощью этого Эйснера. Мюнхенцы, утверждала она, славные люди, но в политике смыслят не больше, чем она. Им просто необходимо верить, что вот наконец у

них появился настоящий вождь. А уж кто он — дело чистого случая. Сегодня это Эйснер, еврей-социалист, завтра Кутцнер, «истинный германец», послезавтра, возможно, их избранником будет кронпринц Максимилиан. А почему бы и нет? У всякого своя дурь в голове: у нее Каспар, у Бени коммунизм, у отца яично-желтый дом.

Бени проводил тараторку-сестру до дверей ателье Прекля на Габельсбергерштрассе и отправился на Унтерангер. Как ни обрадовался сыну старик Каэтан Лехнер, он напустил на себя суровость, заворчал. Подумать только, какая честь! Соизволили домой явиться!

Старику не везло. Он несколько недель сряду вел переговоры с Пернрейтером, владельцем яично-желтого дома, с посредниками и маклерами, с настоящими стряпчими и с темными дельцами, а кончилось тем, что яично-желтый дом купил какой-то иностранец, прямо из-под носа утащил. К тому же галицийский еврей. Выходит, прав этот Кутцнер и его «истинные германцы». И, уж во всяком случае, то, что он говорит, понятно всякому, не в пример Бепи с его дурацкой брехней. Ну, словом, капитализм ли виноват или виноваты евреи, а «комодик» Каэтан Лехнер продал, яично-желтый дом так и не заполучил, и от его мечты, от его дури остался один пшик.

Он долго раздумывал и колебался, но в конце концов все-таки купил дом на Унтерангере, где жил до тех пор и где помещалась его лавка старинной мебели. Надо сознаться, посещение кадастровой комиссии и деловитое оформление документов на куплю-продажу дома несколько утешило Каэтана Лехнера. Но когда он объявил жильцам, что теперь у них новый домовладелец и представился им в качестве такового, его опять постигло тяжкое разочарование. Они не только отнеслись к новости равнодушно, но и не проявили никаких почтительных чувств. Обход четырех квартир он совершил, облаченный в черный долгополый сюртук. Тем не менее жильцы так и не пожелали взять в толк, что теперешний Каэтан Лехнер не тот, кем был вчера. Например, Гаутсенедер с третьего этажа заявил, что раз Лехнер теперь хозяин, пусть соизволит заняться починкой отхожего места, а когда Лехнер сказал ему, что не потерпит такого тона, этот Гаутсенедер, пес бесстыжий, прямо-таки вытолкал его за дверь. И это в его собственном доме! Лехнер решил судиться с жильцом, но стряпчий отсоветовал ему — он, мол, только повесит себе на шею бесконечную тяжбу с сомнительным исходом. В эти подлые времена, когда крысы социализма со всех сторон подтачивают священное право собственности, домохозяева со-

вершенно бесправны, поэтому Лехнеру надо прежде всего вступить в союз домовладельцев. Каэтан Лехнер вконец разбранился тогда с Бени. Кто как не он и его милейшие дружки виноваты в том, что человеку какают на голову в его собственном доме?

Он вступил в союз домовладельцев, но там царило глубокое уныние. Хозяева тратили на содержание и ремонт домов больше, чем получали от жильцов,— государство поддерживало квартплату на самом низком уровне. Сволочное время, всем заправляют болваны. Какой смысл сидеть на деньгах, когда они сами собой уплывают из-под задницы? Каэтан Лехнер был не дурак, он ловчил, сразу старался реализовать деньги, скупал у подпольных воротил акции, спекулировал. Но «комодик» был продан, деньги Лехнера, если перевести их на доллары, все более обесценивались. Вот он уже и домовладелец, а в люди так и не выбился. Похоже, остаться ему до скончания веков «трехчетвертьлитровым» рантье. Лехнер очень рассчитывал, что на перевыборах правления клуба игроков в кегли, членом которого он состоял, его выберут председателем. Но и тут его оттеснили. Домовладельца Лехнера выбрали только вице-председателем, хотя он и пожертвовал клубу новое знамя.

Поэтому, как только пришел Бени, старый Каэтан остервенело накинулся на него. Во всем виноваты они, красные братцы, красные псы. Он поносил Анни и ее Прекля, этого чужака, клялся, что обязательно вступит в партию «истинных германцев». Бени отвечал спокойно, разъяснял суть дела короткими, понятными фразами. Обычно такие логические объяснения приводили старика в ярость. Но сегодня он довольно быстро успокоился. Дело в том, что у него была тайна, наполнявшая его радостью. Видя, что деньги все больше обесцениваются, он решил купить себе билет в Голландию и обратно, действительный в течение двух месяцев. Написал голландцу, что хотел бы еще разок лично для себя сфотографировать «комодик», на что голландец ответил согласием, с одним лишь условием, чтобы г-н Лехнер не помещал фотографий в прессе. Так что в кармане у него лежали и письмо, и железнодорожный билет в Голландию и обратно, и бумага, выправленная кадастровой комиссией, свидетельствующая, что дом на Унтерангере принадлежит ему. Старик испытывал некий душевный подъем — что там ни говори, а только человек, достигший известного положения, может просто так, за здорово живешь, взять и прокатиться в Голландию. Поэтому он облегчил душу сравнительно короткой очередью брани и пришел в миролюбивое настроение. За крендельками, пивом и редькой отец с сыном провели вполне дружный вечер.

19

ЧЕЛОВЕК У РУЛЯ

Доктор Гартль, новый директор департамента министерства юстиции, разъяснял всем и каждому в «Мужском клубе», почему, в отличие от министра Кленка, он не поддерживает прошения о помиловании доктора Крюгера и вообще стоит за более жесткую линию поведения относительно имперского правительства, за политику, по духу своему близкую к политике «истинных германцев».

Выделяясь элегантностью среди не слишком отесанных завсегдатаев клуба, этот честолюбец оживленно излагал убедительные для слушателей доводы, то и дело поглаживая плешь белыми холеными пальцами.

Все отлично понимали, почему гордец Гартль с такой готовностью рассказывает им о своей нынешней политической ориентации: надеется стать преемником Кленка. В большинстве своем они были на стороне Гартля и следили за его стараниями с благожелательным интересом. Слушателей у него набралось много — в этот день в клубе было не протолкнуться от народа. Днем па́рило, к вечеру наконец пошел дождь; теперь он равномерно струился с темно-серого вечернего неба, вливаясь прохладой в настежь открытые окна. Разморенные дневным зноем господа понемногу приходили в себя, охотно высказывали свои соображения, охотно выслушивали чужие.

В кружке возле Гартля был и Пятый евангелист, и доктор Зонтаг, главный редактор «Генеральанцейгера». Доктор Зонтаг то снимал пенсне, то снова надевал, беспокойно дергал его за шнурок, пытаясь хоть что-нибудь прочесть на лице Рейндля. А тот с каким-то противным упорством не сводил круглых глаз с Гартля, и доктор Зонтаг не обнаруживал на его бесстрастном лице ни одобрения, ни недовольства. Слушал Гартля и осторожный, элегантный г-н фон Дитрам. Новый премьер-министр уже довольно прочно обосновался на своем посту, пустил хотя и тонкие, но крепкие корни. Он не любил привлекать к себе внимания, и его друзья повторяли, что хорош только тот премьер-министр, которого не видно и не слышно. Пока красноречивый Гартль разглагольствовал, он осторожно, исподтишка тоже поглядывал на Пятого евангелиста. Фон Дитрам понимал — песенка Кленка спета. Недаром Гартль — а он знает, что к чему! — говорит таким тоном, точно уже сидит в министерском кресле.

Когда директор департамента министерства юстиции сделал паузу, чтобы перевести дух, Пятый евангелист перешел к другому столу. Там тоже обсуждали болезнь Кленка. Не повезло этому самому Кленку. Могучий, как дуб, а не успел дорваться до власти и, надо же, свалился! Сыпались анекдоты, насмешки. Прямодушный Мессершмидт, председатель сената, не вынес такого злоречия. Он и сам терпеть не мог Кленка. Но до чего же это гнусно — стоило человеку пошатнуться, и с каким низкопробным удовольствием все накинулись на него! А все потому, что он одаренней их. Мессершмидт, статный краснолицый мужчина со старомодной, окладистой, тщательно расчесанной бородой и глазами навыкате, слушал пошлую, брюзгливую болтовню, неуклюже поворачиваясь то к одному сплетнику, то к другому. Потом вдруг сам вмешался в разговор и произнес речь о незаурядной музыкальности Кленка. Контратака была странноватая, но не такая уж слабая. Старика Мессершмидта слушали несколько насмешливо, но не без сочувствия. Г-н фон Дитрам тоже перешел к этому столу. Его, как магнитом, влекло к Рейндлю. Он ждал, что тот хоть как-то проявит свое отношение к перемещениям в министерстве юстиции.

Как только Мессершмидт заговорил, круглые карие глаза Рейндля впились в старика. Он подумал — смотрите-ка, этот Мессершмидт вполне приличный человек. Подумал — жаль, что Прекль не пожелал ехать в Россию. Подумал — пожалуй, сейчас самое время намекнуть доктору Зонтагу, чтобы тот начал кампанию в защиту Крюгера. Подумал — непонятно, почему столько людей, к примеру, он сам, так любят Мюнхен, хотя там живут мюнхенцы. И Прекль привязан к Мюнхену, и Пфаундлер, и Маттеи, и Клере Хольц, люди, непохожие друг на друга и отнюдь не кретины.

Мессершмидт замолчал, молчали и остальные. Им было неуютно из-за Рейндля, который сидел среди них, словно воды в рот набрал. Очень он неуютный человек. Да, конечно, он из старинной мюнхенской семьи, и стоило ему заговорить, как начиналось настоящее извержение местного наречия, такого мюнхенского диалекта, что красочнее не услышишь на обоих берегах Изара. Если кто-нибудь выражал сомнение в экономических талантах южнобаварского населения, мюнхенцы хвастливо говорили: «А что вы скажете о нашем Пятом евангелисте?» Но факт оставался фактом, страшноватый он был человек, этот Пятый евангелист. И выглядел, и думал, и поступал решительно не по-мюнхенски, и было бы совсем неплохо, если бы он вдруг провалился сквозь землю.

А Пятый евангелист продолжал молчать. И особенно громкими казались веселые голоса игроков в старинную франконскую игру гаферльтарок, со всего размаху хлопавших картами об стол в соседней комнате и сопровождавших каждый ход солеными шутками.

За столом, где сидел Рейндль, разговор перешел на «истинных германцев». Их движение распространялось с быстротой ветра, они уже формировали регулярные военные отряды, открыто проводили военные учения. Был у них и штаб — настоящее верховное командование. Возглавлял его, разумеется, Руперт Кутцнер. Его везде так и называли — фюрер. Кутцнера окружали приверженцы — старики и юноши, бедняки и богачи, они жаждали лицезреть спасителя, жертвовали деньги, кадили ему. Тайный советник Дингхардер, один из совладельцев пивоваренного завода, рассказывал, что особенно льнут к Кутцнеру женщины — их с ума сводили его крошечные усики, молодцеватый вид, безукоризненно ровный пробор. Тайного советника поразила старуха генеральша Шпёрер; дребезжащим голосом она воскликнула, что день, когда она увидела фюрера, был счастливейшим в ее жизни. Все единодушно признавали, что никто и никогда не был так популярен в Баварии, как Руперт Кутцнер.

Господин фон Рейндль слушал эту болтовню, равномерно однозвучную, как дождь за окном. Еще бы Дингхардеру не расхваливать Кутцнера! Кутцнеровские собрания происходили в пивных погребках, потребление пива резко возросло в последнее время. У Рейндля стало так невкусно во рту, словно он всю ночь пьянствовал. Он заговорил — кто-кто, а он мог себе позволить выложить этим людишкам все, что о них думает. Авось исчезнет мерзопакостный вкус во рту.

— Вполне понятно, почему за Кутцнером бегут молокососы,— сказал он.— Им хочется приключений, хочется играть в полицейских и воров. Они в восторге, когда их ублажают цацками, позволяют красоваться в мундирах, дают в руки огнестрельные игрушки и загадочные открытки, на которых резиновые дубинки и винтовки именуются «резинками» и «пугачами». А если еще вбить им в головы, что это не игры, а патриотические деяния и что на их стороне все благомыслящие граждане, они и вовсе полезут за вами в огонь и в воду.

На это тайный советник Дингхардер с некоторой запальчивостью возразил, что за Кутцнером идут не только молокососы. Рейндль миролюбиво согласился, что да, действительно, в Мюнхене среди сторонников Кутцнера немало и совершеннолетних.

Взрослых мелких буржуа. Мелкий буржуа втайне всегда жаждет сильной власти, вождя, которому он мог бы бездумно подчиняться. По сути дела он никогда и не был настоящим демократом. А сейчас, чем больше обесцениваются деньги мелкого буржуа, тем сильнее линяет и его демократизм. В своем нынешнем бедственном положении он хватается за Кутцнера, как за последний оплот, якорь спасения: Кутцнер — герой мелкого буржуа, фюрер в лучистом озарении славы, изрекающий благозвучные словеса, которым так отрадно повиноваться.

— И вы полагаете, что, если удастся справиться с инфляцией, «истинным германцам» придет конец? — как всегда, мягко и сдержанно спросил фон Дитрам.

Бледное, одутловатое лицо Пятого евангелиста обратилось к премьер-министру.

— Конечно,— благожелательно сказал он, глянув на того круглыми глазами.— Но пока немецкая тяжелая индустрия не наладит связей с международной, никакое правительство не справится с обесценением денег.

Все с молчаливым вниманием слушали любезно высокомерное объяснение Рейндля.

— Вы считаете Мюнхен мелкобуржуазным городом, господин барон? — снова спросил г-н фон Дитрам.

— В Мюнхене половина населения — выходцы из деревни, так что он прямо просится стать центром мелкобуржуазной диктатуры,— ответил тот.

— Что вы разумеете под словом «мелкобуржуазный»? — с той же учтивостью продолжал спрашивать фон Дитрам, меж тем как за окном все так же журчали струи дождя, а в соседней комнате кто-то из игроков в гаферльтарок повторял: «Карте место!»

— Что такое «мелкобуржуазный»? — задумчиво повторил фон Рейндль. С заносчивой любезностью он повернулся к сидящим за столом.— Представьте себе такое отношение к миру, которое продиктовано твердым месячным доходом от двухсот до тысячи золотых марок. Люди, которые от рождения присуждены к такому взгляду на мир, и есть мелкие буржуа.— Своими круглыми глазами он одного за другим оглядел почтенных господ.

Они напряженно слушали его. Все молчали, дождь продолжал струиться, в соседней комнате один из игроков насвистывал гимн Мюнхена — песенку об уюте и благообразии мюнхенской жизни. Мало кто из этих чиновников, врачей, отставных военных получал больше тысячи золотых марок даже и в спокойные вре-

мена. Смеется он над ними, что ли, этот наглец, который произносит такие сомнительные речи? Но эти речи были облачены в столь закругленные периоды, что толком и не понять, что он все-таки имеет в виду.

— А впрочем, я и сам поддерживаю этого Кутцнера деньгами,— неожиданно закончил он, и все облегченно вздохнули: значит, им нет надобности давать ему отпор. Рейндль ответил улыбкой на улыбку фон Дитрама.

Дитрам и главный редактор Зонтаг тоже втайне перевели дух. Наконец-то Рейндль сказал что-то вразумительное. Если он поддерживает деньгами Кутцнера, значит, недоволен Кленком и не будет возражать против его замены другим министром юстиции. Кто-то из сидевших за столом так прямо и спросил, почему это Кленк, человек, несомненно, способный и ловкий, пришелся не ко двору в баварском правительстве? Как там ни верти, а все же он коренной баварец.

— А потому, что он не понимает правил игры,— ответил Рейндль.

— Каких таких правил? — удивился задавший вопрос.

— Чтобы усидеть в Баварии у власти, нужно понимать эти правила,— продолжал Рейндль.— В Баварии, чтобы вовремя взбудораживать и утихомиривать народную душу, надо пускать в ход средства куда более простые, чем во всем остальном мире. Везде, управляя народом, надо вилять, а в Баварии — идти напролом.

— Позволяю себе думать, что министр Кленк отлично знает эти правила,— с непривычной твердостью внезапно заявил фон Дитрам.

— Что ж,— елейно улыбнулся Рейндль,— значит, ему придется расплачиваться за то, что *не пожелал* их соблюдать.

Глубокомысленное молчание. Тишину нарушали только хлопки карт по столу в смежной комнате да бодрый, торжествующий голос Гартля за соседним столом.

Рейндль почти сразу ушел, и тогда кто-то спросил, почему, собственно, этого господина именуют Пятым евангелистом?

— А потому, что он так же ни к чему людям, как пятое Евангелие,— злобно отрезал тот, к кому был обращен вопрос, и все дружно согласились с ним.

Тем временем главный редактор Зонтаг, вместе с премьер-министром провожая Рейндля, юлил вокруг него, пытаясь вытянуть хотя бы парочку директив.

— Читали вы мою последнюю передовицу об «истинных германцах», господин барон? — угодливо спросил он.

— Дражайший Зонтаг,— с елейной улыбкой протянул Рейндль,— пишите, что вам на ум взбредет, но если взбредет не то, что следует, лишитесь места.

Редактор предпочел принять это за шутку и, улыбаясь, ретировался. Оставшись с глазу на глаз с Рейндлем, г-н фон Дитрам вплотную подошел к нему и, когда тот был уже на пороге, спросил:

— А что вы скажете о докторе Гартле, барон? Приятный человек, не так ли?

— Да, иной раз он бывает занятен,— холодно отозвался Рейндль.

— Если болезнь доктора Кленка окажется затяжной, кого бы вы сочли наиболее желательным преемником?

С задумчивым, слегка скучающим видом Рейндль окинул взглядом комнату.

— Ну, скажем, председателя сената Мессершмидта,— лениво произнес он.

И, храня обычное свое бесстрастие, ушел. За его спиной продолжал звучать бодрый, самоуверенный голос Гартля, не знавшего, что его кандидатура отклонена раньше, чем он успел ее выдвинуть. А премьер-министр все с той же угодливой учтивостью продолжал смотреть вслед человеку, который стоял у руля управления, отверг кандидатуру Гартля и раздумывал, не помиловать ли Кюргера, запрятанного этим самым Гартлем в тюрьму, когда тот стал неудобен.

20
О СМИРЕНИИ

В приемной доктора Бернайса сидела танцовщица Ольга Инсарова, тоненькая, слишком броско одетая женщина с кукольным личиком. Она листала захватанные ежемесячники, журналы с пестрыми иллюстрациями, медицинские журналы; ее взгляд на секунду задержался сперва на цветном схематическом изображении легких с сетью кровеносных сосудов, потом на портрете женщины в купальном костюме, держащей на поводке собаку. Инсаровой назначили прийти в четыре, но она ждала уже около часу, и, судя по всему, доктор должен был до нее принять еще двух пациентов. Она было совсем собралась уйти — ей действовала на нервы безличность приемной, тоскливая напряженность других пациентов. Но не ушла и в четвертый раз стала перелистывать все те же журналы.

В последнее время танцовщице Инсаровой очень нездоровилось. Но она плыла по воле волн, боялась показаться серьезному врачу. Друзья Инсаровой почти насильно заставили ее пойти к многоопытному мюнхенскому врачу, доктору Бернайсу.

Прежде доктор Бернайс был главным врачом городской больницы, считался самым авторитетным специалистом в своей области, внушал всем уважение, страх, любовь. Но он вел себя в высшей степени странно. Сажал истощенных недоеданием рабочих на диету, состоящую из устриц, икры, скобленого мяса высших сортов, ранних овощей, запрещал подавать им блюда, приготовленные на маргарине и прочих эрзацах. Сперва начальство сочло это шуткой и посмеялось. Но когда он с полной серьезностью повторил свои предписания десять, двадцать, сто раз, администрации пришлось вмешаться. В ответ на недоуменные вопросы начальства доктор Бернайс сослался на учебники, рекомендовавшие при данных заболеваниях именно такую диету, а также на своих коллег, которые предписывали ее богатым пациентам. Ему намекнули на предопределенные волей господней различия в имущественном положении, но он с видом простачка спокойно сказал, что эти проблемы касаются экономистов, политических деятелей, возможно, даже богословов, а долг врача — исследовать больного, не прикрытого ни одеждой, ни бумажником. И так как он твердо стоял на своем, пришлось предложить ему подать в отставку. Впрочем, несмотря на эту историю, возмутительную с точки зрения власть имущих, и грубоватые повадки, он пользовался отличной репутацией в кругах «большеголовых» и имел обширную практику.

Задав несколько вопросов танцовщице, доктор Бернайс учтиво, но деловито и без обиняков сказал, что недуг принял серьезную форму и ей необходимо поскорей уехать в туберкулезный санаторий. Инсарова медленно оделась, медленно побрела по залитой солнцем улице; щеки у нее ввалились, мысли путались, ноги прилипали к тротуару. Ею владело какое-то сладостное оцепенение, она словно радовалась тому, что, должно быть, скоро умрет и может наконец спокойно плыть по течению.

В театре во время репетиций она была мягка и смиренно-печальна. Загадочно повторяла: «Если бы вы знали...» — и умолкала, не отвечая на расспросы. Пфаундлер требовал, чтобы она перестала кривляться, спрашивал, что за дурь на нее нашла. Он снова стал придираться к ней, так как уже не было сомнений, что Кленк вышел из игры. Инсарова продолжала отмалчиваться, со всем смирялась, никому не рассказывала о своей болезни.

Но с Кленком она все же решила поговорить. Снова пришла к нему, и снова ей отказали в приеме. На этот раз Инсарова не возмутилась, молча снесла отказ. Судьба наносит ей удар за ударом — что ж, чем хуже, тем лучше. На все у нее был один ответ — тихая, смиренная улыбка, которая ее очень красила. Однажды она написала Кленку письмо, в котором обстоятельно рассказала о смерти детеныша орангутанга в зоологическом саду,— его в порыве нежности задушила собственная мамаша. Как только солнце начинало клониться к закату, Инсарова, что ни день, отправлялась в зоологический сад и от души привязалась к прелестному маленькому страшилищу. У обезьяненка было сломано пять ребер. В приписке она сообщала, что доктор Бернайс признал у нее запущенный костный туберкулез.

Кленк лежал в постели уже четвертую неделю, ослабевший, в каком-то смутном оцепенении. Он выгнал многоопытного доктора Бернайса, так ему опротивела лаконичная деловитость врача. Но г-жа Кленк только тогда успокоилась, когда этот антипатичный человек снова стал лечить ее мужа. Врач без лишних слов предписал прежнюю диету. Доктор Бернайс был убежден, хотя и не говорил этого, что болезнь Кленка затягивается из-за его неукротимого нрава. Кленк непрерывно терзался. Он отлично видел, какие интриги плетутся против него, но был бессилен бороться. Это же надо — такое дьявольское невезение: валяться в постели, утратив подвижность тела и сохранив ясность ума, меж тем как эти безмозглые тупицы уничтожают все, им созданное, поливают его помоями, оттесняют от власти. Все торопятся выкинуть его на свалку. Старик Бихлер знает, что означает уход Кленка и какая это потеря для баварской политики, но и он хочет избавиться от министра юстиции, потому что тот оказался недостаточно ручным. Маттеи просто ревнует к нему эту тварь Инсарову. Может взять ее себе со всеми потрохами, похотливый козел! У каждого свои основания — и у Гартля, и у Тони Ридлера, и у прочих. Взять хотя бы принца Максимилиана — Кленк не угодничал перед ним, вот и впал в немилость. Он, само собой, монархист и ничего не имеет против кронпринца, но в первую очередь — он сторонник реальной политики, а пока и думать не приходится о восстановлении Виттельсбахов на троне. Но главное было в том, что, со свойственной всем баварцам демократической спесью, а также склонностью дразнить людей, Кленк при каждой встрече с кронпринцем не отказывал себе в удовольствии дать тому понять, что теперь у власти стоит не Максимилиан, а он, Кленк. Слишком у него

увесистые кулаки и буйные мозги. Поэтому он и встал всем поперек горла, и они из кожи вон лезут, чтобы избавиться от него.

Неделю назад он сказал себе, что, если еще через неделю не сможет прийти в свой министерский кабинет, у его врагов окажется чересчур много преимуществ и они съедят его. И вот эта неделя прошла. Сердцем он, пожалуй, еще надеялся, головой — нет.

А когда, беспомощно распростертый в постели, перестал надеяться и сердцем, им овладела неистовая ярость. Он никого не подпускал к себе, три дня ни с кем не разговаривал. Все время стонал, рычал, вопил таким страшным голосом, что жена холодела от страха.

На четвертый день его навестил доктор Франц Флаухер. К полному изумлению г-жи Кленк, он принял министра просвещения и вероисповеданий. Тот привел с собою таксу, был исполнен торжественной и благочестивой кротости. Не расположенный подыгрывать ему, Клепк сразу перешел на деловой тон, сказал, что не имеет понятия, каково положение дел, с невинным видом осведомился у коллеги, кто сейчас первая скрипка в министерстве юстиции. Флаухер прикинулся, будто не понимает вопроса, попытался перевести разговор на другое. Видимо, Гартль, не сдавался Кленк. Оттягивая пальцем воротничок, Флаухер выдавил из себя, что нет, по его впечатлению, это Мессершмидт.

Кленк расхохотался. Хохотал, хотя от хохота сотрясались его внутренности и усиливалась боль. Хохотал долго — выходит, Гартлю все-таки не удалось вылезти вперед.

Сбитый с толку, но по-прежнему благочестиво кроткий Флаухер пробормотал, что не следовало бы коллеге Кленку так безбожно смеяться. Судьба шлет нам испытания, дабы человек подумал о своей душе и раскаялся. Во всяком случае, такие чувства волновали его, когда дважды в жизни он долго и тяжко болел. Сперва Кленк не прерывал Флаухера, но когда тот в третий раз упомянул о смирении, сказал негромко, но отчетливо:

— Знаете что, Флаухер, вы довольно скоро станете премьер-министром и будете тогда лизать мне задницу.

Затем повернулся лицом к стене, так что министру просвещения и вероисповеданий ничего не осталось, как удалиться в сопровождении таксы Вальдман, покачивая головой и сокрушаясь при виде такой гордыни и приверженности к низменным удовольствиям.

21

ГОСПОДИН ГЕСРЕЙТЕР УЖИНАЕТ В БЕРЛИНЕ

Господин Гесрейтер с наслаждением вдохнул воздух мюнхенского Центрального вокзала. Право, даже дым и копоть пахли здесь лучше, чем во всем остальном мире. Сдав вещи на хранение, он вышел на площадь. Трость с набалдашником из слоновой кости звонко и весело застучала по мостовой. Он был в пальто, другое, не уместившееся в чемодан, перекинул через руку. Г-н Гесрейтер не стал вызывать на вокзал своего шофера с машиной: ему казалось забавнее вернуться домой вот так — в ярко-голубом вагоне городского трамвая. Он полной грудью дышал воздухом Баварского плоскогорья, одобрительно смотрел на круглоголовых мюнхенцев, одобрительно прислушивался к характерному диалекту кондуктора. Нарочито слегка толкнул соседа, только чтобы сказать: «Извиняйте, господин хороший».

Дома г-н Гесрейтер обошел все свои уютные, тесно заставленные мебелью комнаты. Такую мебель люди заказывали себе лет сто назад, когда царил так называемый стиль бидермейер. Столы были загромождены всякой чепухой, гротескными масками, уродцами. Были там и модели кораблей, и заспиртованный эмбрион, и череп крокодила, и марионетки из старинного кукольного театра, и давно вышедшие из употребления музыкальные инструменты, и даже орудия пыток. Стены были впритык увешаны картинами невзыскательного вкуса, гравюрами в прадедовских черных и коричневых рамах; висели они и в отхожем месте вкупе с эоловой арфой, которая нежным звоном оповещала о приходе и уходе посетителя. Повсюду глаз натыкался на изделия мюнхенской старины — на густо затканные золотом женские головные уборы столетней давности, на модели зданий, в том числе и большую модель собора, чьи недостроенные башни были наспех завершены куполами,— того самого собора, что составлял как бы особую примету города Мюнхена. Строги и изысканны были только комнаты, отведенные под книги и ценные картины.

Итак, г-н Гесрейтер обходил дозором свой обожаемый дом, касался дверей, всего, что подвертывалось под руку, освещал картины то под одним углом, то под другим, садился то в одно, то в другое уютное кресло, наслаждаясь их удобством. Облачился в просторный, фиолетового цвета халат, поглядел на себя в зеркало — на свое пухлое лицо, уже не украшенное бачками, на маленький чувственный рот. Он потянулся, сладко, с удовольствием зевнул, подвигал руками. Какое блаженство — вернуться

к себе, в свой собственный дом, снова увидеть собственные картины и мебель, войти в местечко с эоловой арфой. Ничто на свете не сравнится с радостью возвращения домой, слияния со своим отрадным, благодатным прошлым.

Вечер г-н Гесрейтер решил провести в «Мужском клубе». Он заранее предвкушал встречу с друзьями и знакомыми после долгого заграничного путешествия, свои рассказы о путевых впечатлениях, значительный вид, с каким он будет сравнивать обычаи Мюнхена с обычаями всего остального мира. Разумеется, после долгой отлучки смотришь на родной город особенно критически, но по существу эта критика — лишь замаскированная горячая хвала.

Действительно, первые четверть часа в клубе г-н Гесрейтер был совершенно счастлив. Пока не случилась непредвиденная неприятность. По дороге в клуб ему повстречался отряд «истинных германцев», которые шагали с барабанным боем под кроваво-красными знаменами. Все еще под впечатлением слышанных за границей разговоров, г-н Гесрейтер считал эти патриотические общества со всей их бутафорией смехотворной комедией и отпустил в клубе какую-то шуточку на этот счет. К полному изумлению Гесрейтера, его собеседник, хорошо осведомленный, всегда бодро-оживленный директор департамента министерства юстиции г-н Гартль сразу словно защелкнул лицо на замок и сказал, что придерживается другого мнения. Еще больше изумился Гесрейтер, когда и велпчавый г-н фон Дитрам, мягко и вместе с тем решительно осудил его невинную шутку, а художник Бальтазар фон Остернахер заявил, что к Руперту Кутцнеру и его движению можно относиться как угодно, только не как к веселой комедии. А барон Тони Ридлер напрямик заявил, что кому не ко двору «истинные германцы», тот сам не ко двору в этой стране, и его лицо вдруг стало устрашающе свирепым. Сбитый с толку, г-н Гесрейтер спросил, каково в таком случае отношение к «патриотам» министра Кленка? К своему вящему изумлению, он услышал в ответ, что точка зрения г-на Кленка никого не интересует, после чего по адресу министра посыпались весьма ядовитые остроты. Г-н Гесрейтер остолбенел. Значит, Кленк уже не бесспорный диктатор Южной Германии? Выходит, он впал в немилость? Бедный, растерявшийся г-н Гесрейтер! Он заблудился в своем родном городе. «Пока зеленый Изар стены города омывает, будет в наших домах царить благообразный уют»,— поется в старинном мюнхенском гимне. В этот вечер г-н Гесрейтер ощутил, что с благообразным уютом стало неблагополучно. Он рано ушел домой.

Сперва пешком. Дойдя до Галереи полководцев, обнаружил — и это открытие отнюдь не исправило его настроения — что уже не на Галерее, а на самой улице собираются установить очередное страшилище, очередного каменного урода. Как он будет выглядеть, пока еще нельзя было разобрать ни в целом, ни в частностях. Но что помешает движению, сомневаться не приходилось.

Говоря по правде, г-н Гесрейтер намеревался в тот же вечер позвонить г-же фон Радольной. Теперь ему что-то расхотелось. Он зажег свет во всех комнатах, однако встреча с моделями кораблей, эловой арфой, книгами была омрачена.

Вконец огорченный, он улегся на свою кровать из благородных сортов дерева, широкую, низкую, в стиле бидермейер, украшенную позолоченными изображениями экзотических зверей. Эту первую ночь после возвращения домой он спал плохо. Огорчение сменялось негодованием, негодование — приливом энергии. Ворочаясь на бидермейеровской кровати, коммерции советник Гесрейтер жаждал что-то немедленно предпринять, строил проект за проектом. Идиотское чесание языков в «Мужском клубе». Его французские планы расширения предприятий «Южногерманской керамики». Новый урод возле Галереи полководцев. Серия «Бой быков». Выпуск по-настоящему художественной керамики. Кутцнер с его знаменами, со всей его шайкой. Он, Гесрейтер, когда-нибудь опять бросит вызов, устроит демонстрацию протеста, и такую, что у господ мюнхенцев глаза на лоб повылезают. Впрочем, как только он вспомнил свирепое лицо Ридлера, у него по спине поползли мурашки.

Утром он совсем было решился позвонить г-же фон Радольной, но снова передумал. После вчерашнего вечера, после бессонной ночи г-н Гесрейтер как-то потерял уверенность в себе. Атмосфера города менялась с поразительной быстротой. Он уже не понимал, как ему следует держаться с г-жой фон Радольной, и решил сперва разузнать, что же все-таки происходит. Для этого он надумал пообедать с г-ном Пфаундлером. У него тонкое чутье, осведомленнее человека не сыщешь. Пфаундлер сразу сообщил, что Кленк вышел из игры. Его это не радовало. Для обозрения, да и для прочих пфаундлеровских предприятий было бы весьма недурно, чтобы у власти стоял человек с железным кулаком и хотя бы намеком на мозги, а не круглый болван, какими тут кишмя кишит. Но, будучи дальновидным дельцом, Пфаундлер принял меры и на случай перемены власти: подарил отрядам Кутцнера знамена, знаки различия, всякую патриотическую бутафорию. К тому же он считал, что часть вины ле-

жит и на самом Кленке. Не должен человек, занимающий такое положение, министр, валять дурака из-за бабенки, из-за этой Инсаровой,— может быть, г-н Гесрейтер ее помнит.

В ответ на осторожный вопрос Гесрейтера он рассказал, как обстоят дела у г-жи фон Радольной. Да, она тоже потерпела крушение. Пфаундлер заявил это так уверенно, что сомневаться в его правоте не приходилось. Как же случилось, что именно она, наименее запятнанная, стала мишенью грязных сплетен о мюнхенском королевском дворе, наводнивших город, когда встал вопрос о конфискации имущества владетельных князей? После долгой отлучки г-н Гесрейтер просто отказывался понять свой родной город. Но так или иначе репутация Катарины погублена. Впрочем, она разумная женщина, отдал ей должное г-н Пфаундлер, она подчинилась обстоятельствам, собирается уехать куда-нибудь, даже предполагает продать свое поместье Луитпольдсбруп. Он всячески поддержит ее, особенно если она добьется успеха в обозрении. Кстати, быть может, г-на Гесрейтера заинтересует предложение — совместно с ним купить Луитпольдсбрун и открыть там гостиницу, или санаторий, или еще что-нибудь в этом роде?

Господин Гесрейтер совсем растерялся. Внезапный и печальный поворот в судьбе Катарины глубоко взволновал его золотое мюнхенское сердце. Вот бы сию секупду броситься к ней, прижать к своей всепрощающей груди, доказать на деле, что коммерции советник Пауль Гесрейтер — несокрушимый оплот в беде. Но шалишь, он стреляный воробей, хватит с него демонстраций, сейчас ему нельзя поддаваться порывам чувств. Прощаясь с г-ном Пфаундлером, он вдруг заявил,— и сам при этом удивился,— что завтра уезжает по делам в Берлин самое малое на неделю. Берлин даст ему возможность обдумать на свободе изменившееся положение в Мюнхене и отсрочить встречу с г-жой фон Радольной — впрочем, эти мысли он таил даже от себя.

Господин Гесрейтер давно не был в Берлине, и огромный город его поразил. Он проехал по улицам, ведущим из центра в западную часть — по Леннештрассе, по Тиргартенштрассе, по Гитцигштрассе, по Курфюрстендам. Глядел на поток машин, который то неодолимо катился вперед, то вдруг замирал, чтобы через мгновение снова хлынуть. Наблюдал, как бесперебойно работает все, что управляет этим движением,— автоматические сигналы остановки, «зебры», регулировщики, световые сигналы — желтый, красный, желтый, зеленый. Бесцельно сел в вагон надземной железной дороги и отправился на ту площадь в центре города, где скрещиваются бессчетные рельсовые пути, где, один

над другим, один под другим, поезда то пересекают путь друг другу, то друг друга обгоняют. Выйдя из вагона метро, увидел дома, дома, людей, людей без конца и краю. По длинному тоннелю, пролегающему под центром города, всегда бежала толпа озабоченных людей, спешивших на поезд в другом конце тоннеля. Увидел, что миллионы жителей этого города не останавливаются на перекрестках, чтобы обменяться сплетнями, а сосредоточенно, но без напускной важности несутся по своим надобностям. Увидел людные рабочие кварталы, подрагивающие автобусы, универсальные магазины. Грандиозные, зазывно освещенные дворцы увеселений — кафе, театры, кинематографы,— десятки, сотни, тысячи этих дворцов, битком набитых людьми. Демонстрации крайне правых в окружении полиции — все участники в спортивных куртках и головных уборах, многочисленные отряды со знаменами, шествующие военным строем. Бесчисленные демонстрации крайне левых в окружении полиции, несущие эмблему Союза пролетарских республик России — пятиконечную звезду, серп и молот. Увидел улицы, ведущие за город, к цепи озер, в чахлые, застроенные многоэтажными домами перелески, и все они кишели людьми, автомобилями, автобусами. Легко приходящий в восторг, он с наслаждением впитывал разноликую жизнь кипучего, остро ощущающего свое бытие огромного города, его протяженность, четкую работу всех его органов.

Вечером, вместе с тысячью себе подобных, он ужинал в одном из роскошных, хотя и довольно безвкусных заведений в западной части города. Выбор блюд был неслыханно велик, приготовлены они были не слишком старательно, но вполне сносно, не очень дешевые, не очень дорогие. Сервировка броская, шикарная. Никто не устраивал долгих совещаний с кельнером, люди просто ели, пили, потом расплачивались. Тысяча человек набивали себе желудки прилежно, но безрадостно. Они перебрасывались репликами, заключали сделки, читали газеты, поглощая еду, но не наслаждаясь ею. Г-н Гесрейтер сел за столик, где ужинал какой-то мужчина. Он попытался заговорить с ним. Тот удивился, но ответил — вполне вежливо, хотя и лаконично; г-н Гесрейтер понял, что об уютной застольной беседе и думать нечего. Он рассеянно принялся есть устриц, суп, вареного угря — ему уши прожужжали этим угрем, мол, настоящее берлинское блюдо. Артишоки. Большую порцию зажаренного на рашпере мяса. Потом заказал сыру, фруктов в охлажденных сливках, черный кофе. Люди входили, выходили. Он думал о четырех миллионах жителей этого города, о том, как целеустремленно и компетентно они днем занимаются делами, а вечером

так же целеустремленно, но менее компетентно развлекаются. Вздыхая, сравнивал Берлин, подхваченный потоком современности, со своим Мюнхеном. Увы, рóссказни насчет культурного Мюнхена и тупоумного Берлина вздорны и нелепы. В склонном к фантазиям, хотя и подернутом жирком мозгу этого жителя Верхней Баварии переливалась красками романтичная картина кусочка земной поверхности, который расположен на 13°23′ восточной долготы и 52°30′ северной широты, на высоте семидесяти трех метров над уровнем моря, некогда был населен славянами и ныне именуется Берлином; теперь там под землей миллионы туннелей, труб, проводов, на земле множество зданий и толпы людей, в воздухе антенны, телеграфные провода, световые рекламы, радиомачты, самолеты. И такое впечатление произвела на него эта картина Берлина, что, несмотря на обильный ужин, он шествовал по улицам погруженный в глубокую задумчивость, даже не замечая бесчисленных проституток, пытавшихся привлечь внимание внушительного и явно денежного провинциала.

22

ИОГАННА КРАЙН БЕСПРИЧИННО СМЕЕТСЯ

На первой странице газеты крупным шрифтом было напечатано сообщение о том, что застрелилась Фанси де Лукка, чемпионка по теннису; три дня назад она сломала ногу и, по мнению врачей, уже никогда не вернулась бы на корт. Иоганна прочла эту заметку утром за завтраком, еще не сняв пижамы; она нахмурилась, и три морщинки пересекли ей лоб над самой переносицей. Не стала перечитывать сообщение: оно и без того сразу отпечаталось у нее в мозгу — и крупный шрифт, и смазанная буква «е». Иоганна сложила газету, осторожно опустила на стол. Но ее передернуло от слишком ощутимой близости к печатному известию о смерти. Она порывисто швырнула газету на пол.

Иоганна была привязана к горбоносой Фанси де Лукке, та к ней, они хорошо понимали друг друга. Пусть все прочие, знавшие, как тяжко приходится де Лукке, какого напряжения душевных и физических сил стоят вечные старания сохранить форму, пусть они говорят, что Фанси вовремя ушла из жизни, не утратив титула чемпионки, не пережив неизбежного и горького поражения: не в пример этим людям, Иоганна знала, что в душе Фанси де Лукки хватало горечи и во времена триумфов. Она помнила, каким тоном та сказала о своем решении уйти: трезво, без пышных фраз и позы, между прочим, словно речь шла о

недалекой поездке. В тот день Иоганна горячо любила подругу, но ее решения не понимала.

Опустошенная, бесконечно усталая, Иоганна томилась по человеческому слову, по возможности говорить и слушать. До чего же она гнусно одинока. Вот будь с ней сейчас Мартин Крюгер... В ее памяти всплыл его образ, на этот раз светло и нежно. Но ему нельзя было написать обо всем, что ее переполняло, да и ответ пришел бы не раньше, чем через три недели, а кто знает, в каком она будет тогда настроении. Зато Жак Тюверлен был совсем близко, в десяти минутах ходьбы, не больше. Она не дала ему знать о своем возвращении только по глупости и упрямству. Иоганна набрала номер его телефона. Трубку сняла секретарша, сказала, что г-н Тюверлен ушел минут пять назад, спросила, кто говорит и что передать. Но Иоганна не назвалась.

Утро было неизъяснимо пустынное. У нее не хватало воли привести себя в порядок, привести в порядок свои мысли. Она попробовала работать, но какая уж тут работа.

Нежданно-негаданно пришла гостья — тучная, бойкая женщина, г-жа Элизабет Крайн-Ледерер, мать Иоганны. Стареющая дама жадно зашныряла глазами кругом, пренебрежительно и осуждающе отметила про себя беспорядок в комнате, по-утреннему небрежный костюм дочери — чужачка, да и только. Она уже несколько лет не была у Иоганны и теперь пришла с самыми добрыми намерениями. Размягченная какой-то кинокартиной, решила помириться с дочерью. Три дня сряду, распивая с приятельницами послеобеденный кофе, рассказывала им о своем намерении. И вот восседала сейчас в квартире Иоганны на Штейнсдорфштрассе, ни на минуту не забывая о цели прихода,— внушительная, самоуверенная дама с двойным подбородком, лежащим на шее, и безапелляционными ухватками. Она говорила и говорила, не закрывая круглого, с мелкими зубами ротика. Иоганна, все время запахивая пижаму и поправляя готовую развалиться прическу, старалась определить, какие повадки она унаследовала от матери. Она-то знала, что решительная манера этой женщины только маска, скрывающая ограниченную, вечно охающую эгоистку, убежденную, что все на свете обязаны заботиться о ней. Без неприязни, скорее с любознательностью естествоиспытателя скользили серые глаза Иоганны Крайн по лицу и фигуре матери. Есть ли между ними хоть какая-то связь, какая-то общность? С холодным интересом изучала она эту рыхлую болтливую женщину. Впервые отметила, что та во время разговора слегка опирается о ляжку, что поднимает лицо и глядит прямо в глаза собеседнику. Да, ей, Иоганне,

свойственны те же манеры. Вероятно, она переняла от матери и многое другое, слишком многое. Вероятно, сходство между ними с годами будет все расти. Лет этак через двадцать — тридцать она тоже будет вот так восседать, настороженная, наигранно-самоуверенная, внушительная, с двойным подбородком.

А пока она раздумывала об этом, на нее нескончаемым потоком лились слова матери, сетования, обличения, мольбы, воззвания к родственным чувствам, к душевности, напоминания о позоре. Подумать только, как она живет! Распустеха распустехой, никто за ней не присматривает. Она должна развестись и выйти замуж за солидного человека. Или, если уж связалась с таким мужчиной, как Гесрейтер, пусть хотя бы заставит его как следует позаботиться о ее будущем. И можно ли ходить в таком виде — до сих пор не обстригла волос! Сама себя старит на десять лет, не меньше. Ей необходим серьезный покровитель. Она женщина пожилая, знает жизнь, желает Иоганне только добра. Старается ей помочь.

Иоганна слушала эти словесные извержения, и ей все больше становилось не по себе. Стыдно и за мать, и за самое себя. Не в силах смотреть на это самоуверенное круглое лицо, она отвела глаза, полуприкрыла веки. Остро захотелось тишины, внутри возникло неприятное чувство, которое она испытывала, когда слышала шум водопада. Неожиданно для обеих, сухо сказала,— что ж, если матери так этого хочется, она когда-нибудь ее навестит. Иоганна надеялась, что после этого мать уйдет. Но г-жу Ледерер задело, что ее добросердечие не встретило достойной оценки. Как любая уроженка Баварского плоскогорья, она обожала театральность и теперь страдала оттого, что встреча с дочерью прошла так прозаично, совсем иначе, нежели в кинокартине, которая и навела ее на мысль о примирении. Иоганна еще долго не могла ее спровадить.

Когда наконец та убралась, она села, совершенно опустошенная, неспособная даже сердиться. Нет возле нее человеческого существа, с которым можно было бы перекинуться человеческими словами. Вот и Фанси де Лукка ушла. Если бы Жак Тюверлен еще помнил о ней, он почувствовал бы, как она сейчас нуждается в нем.

Она обрадовалась, когда эти бессмысленные раздумья прервал телефонный звонок. В трубке зазвучал голос Эриха Борнхаака. Молодой человек напоминал ей, что в Париже она обещала ему позволить снять с нее маску. Он пробудет в Мюнхене еще несколько недель. Когда они могут встретиться? Иоганна много думала о том, что эта встреча неизбежна, и не раз да-

вала себе слово держаться с ним холодно, порвать знакомство. Никудышный человек, пустельга, ничтожество. Она занималась самообманом, когда внушала себе, что есть в нем иское твердое ядро. Но услышала его голос в телефоне — и поняла, что ее решение тоже было попыткой обмануть себя. Иоганна молча слушала, наслаждаясь звучанием этого голоса, пусть даже искаженного телефоном. Ее невидящие глаза сосредоточились на газетном листе с известием о смерти Фанси де Лукки, сердце и все чувства — на голосе в телефонной трубке.

Когда Эрих Борнхаак замолчал, она просто, не ломаясь, сказала, что придет к нему во вторую половину дня.

Значит, так тому и быть. В общем, она этому рада. Она замурлыкала песенку, почти не разжимая губ, мысленно вдыхая запах сена и кожи. Не раздумывая, точно исполняя давнее намерение, отправилась к парикмахеру. В одном ее мать права — нелепо ходить с такими вот длинными волосами, когда все кругом давно остриглись. Эрих тоже смеялся над ее упрямой старомодностью. Она сидела в светлом салоне, смотрела на блестящие никелированные краны, инструменты, белые умывальники, на проворно скользящие мимо нее белые халаты, которые облекали учтивых мужчин и девушек. Холодное прикосновение стальной машинки, игра ножниц в волосах, зеркало, поданное ей, чтобы она видела себя со всех сторон. Темно-каштановые волосы ложились на белизну окутавшей ее простыни. Голове становилось все прохладней, все легче.

Ей вспомнились разговоры о взаимоотношениях полов — сколько таких разговоров она слышала, а порой и вела: в те времена люди любили порассуждать на эти темы. Вдруг вспомнилось нечто, пережитое давным-давно, в детстве, изредка маячившее в сознании, как неотчетливый, кошмарный сон. Вспомнилась и фраза Жака Тюверлена о том, что в пышнее десятилетие люди особенно склонны к трем порокам: пить, не испытывая жажды, писать, не чувствуя вдохновения, спать с женщиной, не испытывая к ней нежности. Она так задумалась, что не сразу поняла обращенный к ней вопрос — не сделать ли ей маникюр. Нет, маникюра делать не надо. Кожа на ее руках снова загрубела, стала пористой, ногти уже не овальные, ну и ладно!

Полная вожделения, ничего не прикрашивая, не обольщаясь, не радуясь, шла Иоганна к Эриху Борнхааку. Шла по Зеештрассе, мимо дома Пауля Гесрейтера, даже не вспомнив, что существует такой человек — Пауль Гесрейтер.

У Эриха Борнхаака была отличная квартира-ателье в Швабинге. Каким образом во время жесточайшего квартирного кри-

зиса ему удалось найти такое удобное жилье, оставалось загадкой. По стенам висели маски, снятые с собак, несколько хороших, не совсем пристойных картин, фотография генерала Феземана, собственноручно им подписанная, нахально повешенная между масками борзой и бульдога, портрет Руперта Кутцнера с дарственной надписью.

Эрих встретил Иоганну с нескрываемым, мальчишеским торжеством, восхищенно и заносчиво, как подросток, оценил взглядом подчеркнутый стрижкой смелый очерк ее лица. Эрих был красив и строен в светлой домашней куртке военного покроя, на манер тужурки. Он сказал, что ему опять везет. Все сложности позади. О депутате Г. уже и не вспоминают, история с отравлением собак тоже более или менее улаживается. Вчера из тюрьмы под залог освободили его друга фон Дельмайера; кстати, он скоро придет, поможет снять с нее маску. Патриотическое движение ширится, а для него, Эриха, это по многим причинам очень важно. Настали веселые, бурные, увлекательные времена, как будто специально созданные для таких людей, как он, смышленых и с чувством юмора. Эрих вел себя как гостеприимный хозяин, ухаживал за Иоганной, включил электрический чайник, все время улыбался красными губами, обнажая два ряда белоснежных зубов.

Пришел фон Дельмайер. Радуясь его освобождению, оба перестали разыгрывать пресыщенность, по-мальчишески веселились. Наконец решили, что пора снять с Иоганны маску. Тут выяснилось, что нет каких-то приспособлений, чтобы сделать это разработанным ими новым способом. Иоганна не возражала и против старого. Ей предложили смазать лицо вазелином, потом лечь на оттоманку. Вставили в ноздри бумажные трубочки, попросили закрыть глаза. Ловкими, привычными движениями наложили на лицо слой холодной массы. Она лежала, скрытая гипсовой маской, безразличная, оцепеневшая, ее физиономия окаменела, глаза были залеплены, губы стиснуты. В мозгу мелькали обрывки мыслей. Лежишь тут, как в могиле, придавленная сырым землистым покровом, задохлась бы, не будь этих тоненьких бумажных трубочек. А те двое расхаживают по комнате, болтают вполголоса, посмеиваются. Она сейчас целиком в их руках — наверно, отпускают на ее счет непристойные шуточки. Впрочем, нет, она вдруг, слово за словом, услышала их разговор. Дельмайер рассказывал — напугать ее хотел, что ли? — гротескную и жестокую историю о том, как он снимал маску с умершего актера. Он никак не мог отодрать гипс с лица покойника, ну никак, хоть тресни! Форма словно приклеилась, при-

росла. А все потому, что Дельмайеру захотелось сделать слепок и с шеи, с кадыка. Уж он тянул и так и эдак, но загнутые края под челюстью стали как железные. Наконец рванул с такой силой, что отодрал маску. Но одновременно вывихнул мертвецу нижнюю челюсть. Язык вывалился до самой шеи. Из разинутой пасти вырвался вздох. Г-н фон Дельмайер всякого навидался во время войны, но тут и он струхнул. Впрочем, ничего сверхъестественного в этом не было: просто в трахее застоялся воздух и теперь он вышел через голосовую щель.

Погребенная под гипсом, Иоганна слушала историю Дельмайера, слушала смех молодых людей и твердила себе: «Лежи спокойно. Не вздумай подавать знаки свободной рукой. Им только этого и надо». Усилием воли она замкнула слух, ушла в себя, ее мысли стали сбиваться. Гипс нагрелся, давил на лицо, сжимал его. Голоса молодых людей долетали до нее из бесконечной дали. Если она умрет, позаботится ли кто-нибудь о заключенном Крюгере? Кто-то, наклонившись над ней, проверил, достаточно ли затвердел гипс. В окружавшей ее темноте плясали яркие пятна. «Еще две минуты»,— раздался голос шалопая, гулкий, хотя и не громкий. Потом она услышала высокий, свистящий смех фон Дельмайера, и снова, уже не над ней, а вдалеке, что-то сказал шалопай. В пестрой темноте возникло его лицо, оно, как лица на полотне экрана, все приближалось, становилось нечеловечески огромным. Стояло перед ее закрытыми глазами, дерзкое, бесстыдно-порочное.

Прошло десять нескончаемых минут прежде, чем с нее сняли гипс. Иоганна глубоко вдохнула воздух, села, еще раз вздохнула. Те двое, в одних рубашках, возились со слепком. Приходя в себя, она думала, что реальное лицо Эриха ничуть не похоже на возникшее перед ней, когда глаза ей ослепил гипс. Цветущее, прекрасное мальчишеское лицо. Умываясь, она думала о том, как меняется картина мира, стоит человеку погрузиться во мрак и ощутить на своем лице самую ничтожную тяжесть. Сколько ей причудилось нелепиц. Жизнь несложная штука, а у кого она сложна, тот сам и виноват. Она хочет этого мальчика, этого Эриха Борнхаака, а он хочет ее. У него красивое лицо, живой, быстрый ум, опыт, нажитый в годы военных испытаний. В ту минуту она была полна огромной, необъятной нежности к нему.

Фон Дельмайер предложил заглянуть в ресторанчик «Гайсгартен»: там их ждал молодой Людвиг Ратценбергер. В «Гайсгартене», где собираются «патриоты», всегда весело. Иоганна должна хоть разок взглянуть на это своими глазами, тем более что Людвиг Ратценбергер шикарный парень. Но Иоганне не

терпелось остаться наедине с Эрихом. Она сослалась на усталость. Фон Дельмайер был ей отвратителен. Но как в детстве Иоганне непреодолимо хотелось незатейливых лакомств из гуммми и сахара, так называемых сахарных змеек, которые считались вредными и поэтому были ей запрещены, так сейчас ее непреодолимо тянуло к шалопаю Эриху Борнхааку. Наконец тот сказал, что ладно, он проводит Иоганну домой, а потом присоединится к Дельмайеру и Ратценбергеру в «Гайсгартене».

Они шли вдвоем и молчали, и стоило Эриху заикнуться, как Иоганна пригласила его к себе.

Когда он взял ее, она облегченно застонала. Иоганна давно уже понимала, что все произойдет именно так, что наслаждение будет острым, но безрадостным. Лежа в его объятиях, она ни на минуту не забывала, что ее любовник — пустопорожний шалопай.

Он уснул, а она лежала рядом с ним, успокоенная, ничуть не пристыженная. Его красивое, порочное лицо стало во сне совсем детским, с очень красных губ слетало легкое, свежее дыхание. Иоганна думала о том, с каким сознанием собственной правоты поносили бы ее почти все жители этого города, этой страны, да и вообще все ее современники, узнай они, что она спит с подобным молодчиком в то время, как заключенный Мартин Крюгер заперт в тюремной камере. Думала о самоубийстве своей подруги, Фанси де Лукки, о котором узнала из газетной заметки со смазанной буквой «е». Думала о том, как все-таки удивительно, что именно в этот день шалопай стал ее любовником. Как удивительно, что можно в здравом уме и твердой памяти окунуться вот в такую грязь и, в особенности, как удивителен сам человек — это двуногое существо, которое стоит по колено в дерьме, а головой касается небес, которое при пустом брюхе и неутоленной похоти способно лишь на пошлейшие мыслишки об удовлетворении естественных надобностей, а набив брюхо хлебом и утолив похоть, немедленно возносит к облакам утонченные помыслы и чувства. С брезгливой нежностью она загрубелой рукой погладила спящего по голове, еле слышно, почти не разжимая губ, замурлыкала песенку. Он проснулся и доверчиво, чуть нагловато улыбнулся ей.

У него хватило ума и проницательности сразу почувствовать, что своими объятьями он почти не тронул ее сердца. Это его задело. Он пустил в ход нежности — она осталась холодна. Начал сентиментальничать — она рассмеялась. Разозлившись и желая ее уязвить, Эрих спросил, сколько у нее было любовников. Она поглядела на него, как на дурно воспитанного маль-

чишку, с добродушной, всепонимающей иронией, чем еще больше его разобидела. Тогда он принялся рассказывать о своей жизни, о мелких и крупных, грязных и жестоких мошенничествах. Ничуть не огорчившись, она сказала, что таким его и представляла себе. Он снова стал ее целовать. Иоганна наслаждалась близостью шалопая, отвечала на его ласки. Но и в самые интимные минуты почти не скрывала презрения.

Она продолжала лежать в постели, а он встал, с подчеркнутой вежливостью попросил позволения закурить, начал одеваться, одновременно рассказывая о затее, придуманной им вместе с фон Дельмайером и Людвигом Ратценбергером, отличным парнем, которого он очень любит. Эта затея связана с покойным королем Людвигом Вторым: в Баварии можно добиться чего угодно, пользуясь его именем, как в Северной Германии — именем старого Фрица. Ради успеха этой затеи он жертвует одной добродушной скотинкой. Эрих ходил по комнате, дымил папиросой, одевался. Мода того времени была и неудобна и нелепа. Мужчины обертывали шею пристегнутыми к рубашке крахмальными воротничками — жесткими, ненужными, безобразными,— а в воротнички зачем-то закладывали длинные полосы материи, так называемые галстуки, и с великим трудом завязывали их узлом. Пока Эрих искусно накидывал себе на шею и завязывал эту петлю, рассказывая о том, как они собираются провернуть дельце, касающееся покойного короля, Иоганна внимательно слушала, не спуская с него глаз. Большинство современных условностей, относятся ли они к внешнему поведению людей или к их внутренней жизни, так же непонятны, как обычай душить себя галстуком. К примеру, этот юнец сейчас наверняка думает, что одержал бог весть какую победу, переспав с ней. Он ею обладал. Что за бессмыслица — кем-то обладать. Впрочем, он как будто не так уж уверен в своей победе, иначе не старался бы раздразнить ее идиотскими рассказами о покойном короле. Сколько в мире недоразумений, сколько неразумения! Заключенный Крюгер в тюремной камере. Шалопай Эрих Борнхаак, который прикончил депутата Г., отравил несколько собак, переспал с ней и вот завязывает замысловатым узлом матерчатую полоску, засунутую в крахмальный воротничок. Чемпионка по теннису Фанси де Лукка, сломавшая себе ногу, а потом застрелившаяся. Богатый буржуа Гесрейтер, который одну ночь всем сердцем и всеми чувствами любил ее, а теперь пытается в серии статуэток под названием «Бой быков» найти спасение от мухоморов, длиннобородых гномов и прочих житейских бессмыслиц. И все они сейчас собрались в ее спальне на Штейнсдорфштрассе.

К недоумению и досаде Эриха, Иоганна Крайн вдруг рассмеялась. Рассмеялась не громко, но и не тихо, не зло, но и никак не добродушно. Молодой человек был слишком самонадеян, чтобы принять этот смех на свой счет, но что-то все-таки смутило его, и он спросил, над чем это ей вздумалось смеяться. Ответа не последовало. Иоганна не стала объяснять ему, что смеется над многими мучительными нелепостями, которые придуманы людьми и кажутся им разумными и приятными,— над половой моралью, над войнами и правосудием, а пуще всего над собой и своим удовлетворенным желанием переспать с шалопаем.

Эрих не понимал упорного молчания Иоганны. Он привык к нежным словам или к мольбам, рыданиям, клятвам. Ее невозмутимость казалась ему глупой и оскорбительной. Эрих был разочарован. Он рассчитывал на душевное тепло, на рвущееся из сердца обожание. А эта женщина просто холодная распутница, и получила она от него больше, чем дала. Эрих чувствовал себя так, будто его обсчитали. Он снова закурил, подкрасил губы. Так как, очевидно, ее тупое равнодушие было непробиваемо, он в конце концов сказал, что теперь пойдет в «Гайсгартен»,— Людвиг Ратценбергер, должно быть, еще там. Она и не подумала его удерживать. Небрежно простившись, он ушел, насвистывая модный негритянский танец.

И тут Иоганна снова засмеялась. На этот раз свободно и легко. Распахнула окно, чтобы скорее выветрился табачный дым и чуть слышный запах сена и кожи. Хорошо, что все уже позади, навсегда исчерпанное. Она стала под душ, под холодные колкие струйки, то съеживаясь, то распрямляясь. Вода лилась ей на голову, теперь коротко остриженную, это было забавно и с каждой минутой все приятнее. Потом Иоганна вернулась в спальню, прошла мимо газеты со смазанной буквой «е», легла сперва на спину, затем на бок, свернулась калачиком, уснула крепчайшим сном. В ту ночь ей ничего не снилось.

23
ДОВОЕННЫЙ ОТЕЦ И ПОСЛЕВОЕННЫЙ СЫН

Пиво на столике перед доктором Гейером стало совсем теплое, он почти и не дотронулся до него. Чтобы не обидеть хозяина, с трудом проглотил несколько кусочков свинины: еда не лезла ему в горло.

Он был завален делами, опять втянулся в политику, еле справлялся с бесчисленными процессами, не успевал прочитывать документы, спал не больше шести часов в сутки и все же

многие драгоценные вечера просиживал в ресторанчике «Хундскугель». Тощий, нервно сжимая и разжимая тонкие пальцы, сидел он в некрасивой, угловатой позе среди рабочих, профсоюзных функционеров, фанатичных и бесцеремонных литераторов в этом убогом заведении, прокуренном, гудящем от бестолковых споров. На его лице была написана брезгливость, хотя он всеми силами старался ее скрыть.

Стоило двери ресторанчика открыться, как он тотчас оборачивался. В нем тлела слабая, неосознанная надежда, иначе разве стал бы он терять время в таком неприятном окружении. В «Хундскугель» нередко заходили «патриоты», как в «Гайсгартен» — коммунисты, они осыпали друг друга насмешками и задирали до тех пор, пока не начиналась потасовка, в которой можно было отвести душу. Особенно отличался в таких случаях Людвиг Ратценбергер, порою с меланхолическим видом ввязывался в драку популярный боксер Алоис Кутцнер, а за ними — и двое молодчиков северогерманской внешности, некто Эрих Борнхаак и другой, именующий себя фон Дельмайером.

Рожденная этими сведениями слабая надежда и побуждала адвоката вечера напролет упрямо просиживать, скрывая брезгливость, за невкусным пивом и едой, от которой его воротило. И все-таки он растерялся, когда однажды в «Хундскугеле» действительно появились Эрих и Людвиг Ратценбергер. Страхового агента фон Дельмайера с ними на этот раз почему-то не было. Вызывающе элегантный, сидел Эрих в продымленном заведении, на колченогом простом табурете, за некрашеным деревянным столиком. Его осыпали насмешками и угрозами, впрочем, довольно добродушно. Он нагло отвечал, улыбаясь очень красным ртом, явно хотел затеять драку, был в этот вечер настроен особенно воинственно. В последнее время ему опять дьявольски не везло. Взять хотя бы эту Иоганну Крайн — она смахнула его, как грязь с платья. И фон Дельмайера ему не удалось оградить от неприятностей. Каким соловьем он разливался перед Рупертом Кутцнером, внушая тому, что во имя престижа партия должна взять дело фон Дельмайера в свои руки. Фоп Дельмайера, действительно, выпустили, но сейчас над ним снова нависла угроза тюрьмы. По настоянию Кутцнера, Гартль освободил фон Дельмайера. Однако Кленк был непреклонен, бушевал, требовал, чтобы все документы доставили к нему домой. Возможно, накануне отставки он решил воспользоваться случаем и показать «патриотам», что покамест все решает он. С минуты на минуту фон Дельмайера могут снова запрятать в тюрьму. Эрих сидел злой как черт, подзуживал Людвига Ратценбергера, и без того

рвущегося в бой. Адвокат, у которого сразу пересохло во рту, смотрел на мальчика, не решаясь подойти к нему, зная наперед, что тот наговорит ему дерзостей.

А Эрих, как только увидел адвоката, сразу изменил тактику. До сих пор он подзадоривал Людвига Ратценбергера, и вот теперь, когда страсти накалились, стал его успокаивать. При всем своем боевом пыле молодой шофер повиновался Эриху с непонятной покорностью. Так что долгожданная драка не состоялась. Оба вскоре ушли, отказавшись от первоначального намерения, к глубокому разочарованию большинства завсегдатаев кабачка. Проходя мимо адвоката и слегка поклонившись ему, Эрих на ходу бросил фразу, явно заготовленную заранее:

— Завтра загляну к тебе — надо кое о чем поговорить.

На следующий день, сказавшись больным, доктор Гейер не пошел ни к себе в контору, ни в суд. Велел никого не принимать и не звать его к телефону,— экономка с вероломным удовольствием так и говорила всем звонившим. Доктор Гейер ждал. Шаркающей походкой бродил по комнатам, сильно припадая на больную ногу. Впервые за долгое время взял с полки перевязанную шнурком рукопись книги «Право, политика, история». Прошло утро, прошел полдень, потекли послеполуденные часы. Адвокат достал банковские чеки, пачки иностранных банкнот, которые он хранил дома. Сумма была немалая, особенно для Германии тех лет. Адвокат сосчитал, подвел итог, отодвинул деньги. Он ждал. В дверь позвонили. Он внутренне приготовился.

Разбранившись с экономкой, пустив в ход силу, к нему ворвался управляющий конторой. У него было важное, безотлагательное дело. Он даже почти не извинился за такое вторжение. Георг Рутц, депутат рейхстага от социал-демократов, избирательный округ Мюнхен II, погиб при автомобильной катастрофе. Доктор Гейер стоит в списке кандидатов первым, он теперь член рейхстага.

Когда управляющий ушел, доктор Гейер облизал пересохшие губы, замигал, глубоко вздохнул, почувствовал боль в сердце. Вот он и дождался. Можно будет уехать из косного, стоячего, как болото, Мюнхена в кипучий Берлин. Чего не сделал он сам, сделала за него судьба. Почти насильно она бросает его туда, где он будет себя чувствовать как рыба в воде. Сколько лет он мечтал о Берлине, надеялся на депутатский мандат, уговаривал и убеждал себя, что только в рейхстаге он окажется на месте. Он прошелся по комнате, затем растянулся на оттоманке, закрыл под толстыми стеклами очков тонкие воспаленные веки

и, закинув руки за голову, принялся лихорадочно фантазировать. Представил себе, как, стоя на трибуне самого высокого учреждения в государстве, скажет и свое слово о том, что происходит в Баварии,— язвительное, клеймящее слово. Но картина, которой втайне он так часто наслаждался, не согрела ему сердца.

Лежа на спине с закинутыми за голову тонкими руками, с плотно сомкнутыми покрасневшими веками, адвокат от мыслей о рейхстаге, о мальчике, о Кленке незаметно перешел к мыслям о некой девушке по имени Эллис Борнхаак, об озере в Австрии, о лесной тропинке, по которой он когда-то поднимался с ней в гору. Отчетливо увидел, как петляла эта тропка, открывая то озерную заводь, то деревню. Как же эта деревня называлась? Пока он силился вспомнить ее название, пришел мальчик.

Эрих Борнхаак сел и без околичностей заговорил о цели своего прихода.

— Как ни жаль,— сказал он,— а затея с кошачьей фермой провалилась. Только из-за того, что ты пожалел денег, дал мне так смехотворно мало. Разве с такой ничтожной суммой можно начать хоть какое-то дело? — В его тоне звучало осуждение.— Даже Наполеон не выиграл бы войны, будь в его распоряжении всего одна рота.

— К несчастью, у меня тогда больше не было,— тихо ответил адвокат.— Сегодня я могу дать больше.

— Весьма обязан, но сегодня мне деньги не нужны,— сказал мальчик.— Нашлись люди, которые щедро отваливают мне деньги, да и дела у меня более прибыльные.— Он умолк. На этот раз в его наглости, в его нахальстве было что-то наигранное. Адвоката умилило, что его так мучительно любимому сыну было все-таки совестно произнести вслух, чего он хочет.

— Тебе надо поговорить о господине фон Дельмайере? — пришел он на помощь Эриху.

Да, о г-не фон Дельмайере. Похоже на то, что его положение ухудшилось. Не возьмется ли адвокат за это дело?

Доктор Гейер догадывался, о чем пойдет речь, был готов к разговору. Этот фон Дельмайер безмозглый, никчемный тип с преступными наклонностями, и его просто необходимо обезвредить. Адвокат ни в коем случае не хотел его защищать. У него сейчас были деньги, он с радостью отдал бы их мальчику. С такой суммой можно взяться за любое крупное дело, мальчик ведь очень смышлен. Но сперва пусть он порвет с Дельмайером. Это же перст судьбы, что сцапали Дельмайера, а не его. Мальчик должен это понять. Сейчас он ему все скажет, а сказать нужно многое и лучшего случая не найти.

Эрих сидел, стараясь изобразить полную безмятежность. В житейских делах доктор Гейер не был знатоком человеческой психологии, но и он понимал, что эта безмятежность — всего лишь маска, что, по всей вероятности, мальчик плевал решительно на все на свете, кроме одного: участи беспутника и подлеца фон Дельмайера. Адвокат взглянул на брюки Эриха, на его туфли и гетры. Да, он был в гетрах, они уже месяца два как вошли в моду, но вот что удивительно: дела у него якобы идут отлично, а на правой гетре не хватает пуговки. Адвокат обратил на это внимание, пока собирался с духом, чтобы изложить свою точку зрения, убедить мальчика пойти на разрыв с фон Дельмайером. Но так и не собрался, так ничего и не изложил. Более того: сказал, что с удовольствием взялся бы за дело фон Дельмайера, еще вчера взялся бы. Но неожиданно умер депутат Рутц, ему необходимо ехать в рейхстаг, так что теперь ничего не получится. Он говорил неискренне, принужденно, фальшиво, сам слышал, до какой степени фальшиво.

Откуда было адвокату знать, какой удар он нанес Эриху, отказав ему именно сегодня. Молодому человеку казалось, что никогда еще у него не бывало такой полосы невезения, и он вдруг утратил прежнюю наглую уверенность в своей способности обольстить кого угодно и когда угодно, почувствовал себя слабым и ничтожным. Щелчок, полученный от Иоганны Крайн. Невозможность оградить от неприятностей фон Дельмайера. А сейчас даже этот жалкий человечишка дал ему по носу, отказал в просьбе.

Адвокат увидел, что лицо мальчика исказила гримаса холодного, гадливого презрения. Увидел, что он встает со стула, идет к двери. Вот сейчас, сию минуту уйдет и, быть может, уже никогда не вернется. Доктор Гейер пытался найти слова, такие слова, которые остановили бы мальчика, но в голове у него было пусто. Он ловил эти неотразимые слова, неотразимую фразу, как ловят во сне что-то все время ускользающее. Между тем лицо мальчика еще больше исказилось от безмерного презрения, глаза издевательски блеснули, голос, уже не наглый, но полный ненависти, прозвучал совсем по-мальчишески:

— Мне заранее следовало знать, что уж если я попрошу тебя о серьезной услуге, ты обязательно откажешь.

Он уже отворял дверь, и тут адвокат хрипло сказал:

— Я не отказываю, мне просто надо еще подумать. Дай мне три дня на размышление.

— Три дня? — насмешливо переспросил тот.— Ты бы уж лучше сказал — год.

— Подожди хоть одни сутки,— тихо попросил адвокат.

Наутро, чуть свет, он написал мальчику мягкое, даже смиренное письмо, обещал вести дело фон Дельмайера, выражал сожаление, что не сразу согласился. Ответ Эриха Борнхаака пришел в тот же день: помощи доктора Гейера не требуется, г-н фон Дельмайер обойдется и без него. Тон ответа объяснялся тем, что Отто Кленк уже не мог заняться делом Дельмайера, ему пришлось подать в отставку. Ожидалось, что министром будет назначен Гартль, а уж этот сделает для Дельмайера все, что ему прикажут «патриоты». Черные дни Эриха кончились, он снова был на коне, так что не грех дать старику пинка под зад.

Адвокат доктор Гейер не пошел в контору и в этот день. Дела, не терпящие отлагательства, лежали без движения, клиенты неистовствовали. К нему опять пришел управляющий, принес на подпись бумаги, сказал, что какие-то вопросы необходимо решить *немедленно*. Добавил, что звонили из комитета партии, просили передать, что много раз пытались связаться с ним по его домашнему телефону, но безуспешно; пусть доктор Гейер сообщит, согласен ли он занять освободившееся место в рейхстаге,— если да, ему в ближайшее время нужно подтвердить это официально.

— Подтвердите,— рассеянно сказал адвокат.

— Без вашей подписи это невозможно,— с явным неодобрением в голосе возразил управляющий. Адвокат взял чистый лист бумаги и машинально, буква за буквой, вывел внизу подпись.

— Я сообщу, что в конце недели вы выедете в Берлин,— сказал управляющий.

Адвокат промолчал. Управляющий аккуратно сложил подписанный лист и, всем своим видом выражая осуждение, ушел.

24
ИОГАННА КРАЙН КУПАЕТСЯ В ИЗАРЕ

Иоганна поехала в одельсбергскую исправительную тюрьму. Ее серые глаза оживленно и весело скользили по однообразному равнинному ландшафту, неудобств поездки она не замечала. Париж, г-н Гесрейтер, шалопай — как далеко позади осталось ее недавнее прошлое. Она ни в чем не раскаивалась, забыла — и точка. Эрих Борнхаак — кто это такой? Однажды поздно вечером он ей позвонил, она повесила трубку, почти не вспоминала о нем, ни разу даже мимолетно не потянулась к нему. Как будто наконец развязалась с тягостным долгом.

До той ночи, когда она сошлась с шалопаем, Иоганна чувствовала какую-то неловкость при мысли о встрече с Мартином Крюгером, оттягивала ее. В последний раз она была у него еще до поездки во Францию. А теперь с нетерпением ждала этого свидания, люто ненавидела врагов Мартина, была полна нежности к нему.

На подвижном лице Мартина Крюгера каждое душевное движение отражалось с не меньшей непосредственностью, чем на лице ребенка. И сейчас, когда он увидел Иоганну, его посеревшее, немного отекшее лицо мгновенно так осветилось, что ее пронзило горестное недоумение — как это она могла так долго его не видеть? В нем не осталось и тени манерности, слащавости. Исчез тот, давний Мартин, исчез и другой, отупелый, ушедший в себя. Родился новый человек — открытый, обаятельный, живой, без всякой рисовки.

Между тем положение его в одельсбергской тюрьме отнюдь не улучшилось. Человек с кроличьей мордочкой стал сам не свой, все время держал нос по ветру, но унюхать ничего не мог. Столько перемен среди министерского начальства, а у него почти не осталось времени. Вдруг о нем забудут? Беда, если придется выйти в отставку с пенсией по двенадцатому разряду. Конечно, Гартль влиятелен, но покамест делами в министерстве заправляет Мессершмидт. Будущее темно, ох как темно! «Истинные германцы» создали свое, параллельное правительство, очень сильное. Но кто знает, что из всего этого получится? Стрелка политического барометра все время колебалась, вместе с ней колебался и человек с кроличьей мордочкой.

Стоило этой стрелке чуть-чуть дрогнуть, стоило начальнику исправительной тюрьмы Фертчу немного изменить точку зрения на расстановку сил в министерстве — и Мартин Крюгер немедленно чувствовал это на собственной шкуре. Но постоянная борьба, постоянные перемены не подавляли его, а, напротив, вливали новые силы. Пусть у него отняли работу, книги, но способность мыслить, способность к внезапному озарению отнять нельзя. Как нельзя отнять все более глубокого и проникновенного понимания творений мятежника Гойи. Мартин Крюгер жил. В стенах дисциплинарной тюрьмы жил напряженней и многогранней, чем когда-то на свободе.

При виде Иоганны он просиял. Стал разглядывать ее загорелое, пышущее жизнью лицо, чьи смелые очертания подчеркивала стрижка, ее упругую спортивную фигуру. Мартин Крюгер увидел, что она красива, и сказал ей об этом. Она почему-то покраснела.

Улыбаясь и вполне дружелюбно он рассказал ей о стычке с Каспаром Преклем. Посмеиваясь над собой, рассказал о тех неделях, когда жил только письмами. Он вовсе не хотел уязвить Иоганну, но ей стало до боли стыдно, что ее письма к нему были такие бесцветные. Благожелательно, колоритно, занятно рассказал о других заключенных, о Леонгарде Ренкмайере. Ярко, без ложного пафоса — о художнике Франсиско Гойе.

Чувствовал он себя, видимо, неплохо. Лицо было серое, но уже не отсутствующее. Правда, пошаливало сердце. Он описал ей это отвратительное чувство уничтожения. Глаза затягивает серая пелена, что-то давит на грудь, сжимает ее, теснит. Словно какие-то механизмы входят один в другой, а ты попал между ними, словно весь каменеешь изнутри. Выдыхаешь, а вдохнуть не можешь. Голова кружится, руки судорожно поднимаются, пытаешься глотнуть воздух. И длится это целую вечность. Потом отпускает, но все равно, если рядом кто-то есть, хватаешь его за руку, вцепляешься в него. И трудно поверить, когда тебе говорят, что весь приступ длился считанные секунды. Окружающие видят только, что человек вдруг посерел, зашатался, иногда — упал как подкошенный. Куда хуже, если отпустит, а около тебя ни души. Когда познаешь вкус уничтожения, а потом вынырнешь на поверхность, хочешь одного — почувствовать рядом что-то живое. Однажды его схватило среди ночи: какое облегчение принесли ему тогда шаги надзирателя! Он так рассказывал об этом, что Иоганне казалось, будто приступ случился с ней самой. Таких приступов у него было четыре. Но Мартин Крюгер не оплакивал своей судьбы, не жалел себя, надеялся на будущее.

Потом он сказал, что уже совсем не представляет себе картины «Иосиф и его братья». Очень обидно. Ни фотографии, ни его собственные писания об этой картине не воссоздают ее в памяти. Что ж, зато с ним Гойя.

Уже к концу свидания Иоганна заметила, что Мартина мучительно волнует ее тело. Глаза его потускнели, он хотел что-то сказать, не мог, тяжело задышал, глотнул, обхватил ее. Она не отстранилась, не оттолкнула его. Но изо всех сил сжала, стиснула в кулак свободную правую руку, огромным напряжением воли подавила отвращение. Надзиратель был тут же, тупо смотрел на них. Она уже шла к выходу, а Мартин все еще не пришел в себя. С трудом ворочая языком, он бессвязно бормотал какую-то невнятицу.

Иоганна возвращалась домой в полном смятении. Последние минуты свидания она просто вычеркнула из памяти. Зачем

ей было помнить лицо заключенного Крюгера, которое стало вдруг так разительно похоже на лицо шалопая? Но тем сильнее было впечатление от перемены в нем, замеченной Иоганной в начале свидания.

У нее было обязательство в жизни — во что бы то ни стало добиться освобождения Мартина Крюгера. Иоганна и не пыталась скрыть от себя, что порою, даже часто оно ее тяготило. Заключенный Крюгер перестал быть живым человеком, стал бесплотным, отвлеченным понятием. Теперь он снова ожил для нее, вошел в ее внутренний мир, обновленный, незабываемый.

Незабываемый? А где тот порывистый, сумасбродный молодой человек былых лет? Где тихий мужчина в серо-коричневой одежде? Иоганна была полна доброй и крепкой дружеской приязни к новому Мартину, твердо решила быть с ним заодно.

Незабываемый? Помимо ее воли, перед ней возникло его лицо, каким оно было перед концом свидания, жадно вожделеющее, и оно взволновало ее, вызвало ответное вожделение. Придется ли ей когда-нибудь опять путешествовать с Мартином, спать с ним? Она отогнала от себя это лицо. Сквозь стук колес услышала его спокойные слова, полные твердой уверенности, что уже очень скоро над ним снова будет свободное небо. Все равно, она должна была говорить с ним нежнее, влить в него силы. Иоганна злилась на себя за душевную апатию, несобранность. Как мало она сказала — времени было в обрез, она не находила нужных слов, ловила, но не могла поймать. Теперь уж она ему напишет, напишет так, что слова не иссохнут в дороге. И тут же начала сочинять это письмо и так погрузилась в себя, что соседи по купе стали недоуменно поглядывать на нее.

В эту ночь, под самое утро, Иоганна проснулась от крепкого, каменного сна с таким ощущением, точно кто-то дотронулся до нее. В комнате не видно было ни зги, Иоганна не понимала, где она. Лежала в абсолютной пустоте, в пустоте мироздания. Ее внезапно бросили в эту огромность, тьму, пустоту, она одна, безымянная, разобщенная даже с собою, беспамятная, бесчувственная, безответственная. Закинутая в неведомый мир, заново в нем рожденная. Она знала, что о пространстве и времени создано много философских теорий. Но сейчас они не могли бы ей помочь. Она была полностью предоставлена самой себе, полностью свободна. От такой свободы ее бросило в дрожь. Она с ужасом почувствовала, что поток ее жизни прервался: так, встретившись с препятствиями, река уже не катит воды вперед, а разбивается на множество рукавов. Великое изумление сменил всепоглощающий страх. Нежданно ей приходится брать в руки соб-

ственную судьбу. И все решать самой, без поддержки, в полном одиночестве.

Она распахнула окно. Внизу простиралась пустынная, залитая электричеством набережная, плескалась река. Иоганна жадно вдохнула воздух, уже по-утреннему свежий.

Она больше не личинка, ей во владение дана новая жизнь. Прошлого словно и не бывало. Оно ни к чему не обязывало, но и не давало никаких прав ни ей самой, ни другим на нее. Теперь только от Иоганны зависело, начать ли борьбу за Мартина. Выбор был за ней. Она выбрала. Выбрала борьбу.

Когда рассвело, она оделась, по утренним, необычно пустынным улицам прошла через весь город, миновала его. Увидела непритязательную купальню. Появился старик сторож, отпер ей дверь. Словно эта купальня и была целью ее дальней прогулки, Иоганна вошла в нее, натянула взятый напрокат выгоревший купальный костюм, выплыла на середину быстрой прохладной реки. Ей никогда не приходило в голову вкладывать в свои поступки символический смысл. Не раздумывая, зачем и почему, она смыла с себя в Изаре прежнюю Иоганну. Накрапывало, утро дышало прохладой, она была одна. Сторож ничему не удивлялся. Она ехала назад, омытая и освеженная, твердо, неколебимо зная, что́ ей теперь делать, не сомневаясь, что все будет хорошо, все станет на свои места. Она отправится теперь к этому Тюверлену, рука об руку пройдет с ним немалую часть пути. Иоганна вернулась домой — повзрослевшая, умудренная опытом женщина, дочь своего времени, которая ставит себе лишь достижимые цели, добивается лишь того, что принадлежит ей по праву, жизнерадостная и настойчивая.

25
КАРТИНЫ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ БРЕНДЕЛЯ-ЛАНДХОЛЬЦЕРА

Каспар Прекль редко так волновался, был в таком напряжении, как сейчас, когда он ехал в Нидертанхаузен. Там он должен был встретиться с художником Францем Ландхольцером — ради этой встречи он тщательно оделся и побрился. Прекль мечтал о ней с той самой минуты, как узнал, что художник Ландхольцер, автор картины «Иосиф и его братья», и запрятанный в сумасшедший дом инженер-путеец Фриц Ойген Брендель — один и тот же человек.

Когда Прекль писал цикл баллад о личности, которая постепенно становится частью коллектива,— ему все было ясно, об-

раз и знание сливались воедино. Но кто обладает истинным знанием, тот обязан найти для него точные слова. Только тогда оно становится предметом обсуждения. Его баллады волновали слушателей, пока он их пел, но стоило ему умолкнуть — и впечатление сразу тускнело. Они не давали материала для споров, не меняли ничьих убеждений. И Каспар Прекль все больше сомневался, можно ли в нынешнюю эпоху считать искусство разумным и достойным занятием для серьезного человека.

Единственной опорой среди этих колебаний была картина «Иосиф и его братья». Гнев и насмешка, сквозившие в ней, ее внутренняя значительность, глубина темы при сдержанности формальных приемов потрясли Каспара Прекля до самых глубин существа. Разве можно свести такую живопись только к холсту и краскам? Что-то и обнадеживающее, и грозное было для Прекля в том, что автор картины, выставленной в музее на востоке России, сидит в нидертанхаузенской психиатрической больнице. Он должен повидать художника. Необходимо повидать его. Необходимо поговорить с ним. Куда ни ступишь, всюду осыпь или топь. А тут — твердая почва.

Каспар Прекль ехал по унылым местам. Разбитые, давно не чиненные дороги. Он потратил не одну неделю на переписку, пока наконец добился позволения посетить художника в Нидертанхаузене. И так велико было его нетерпение, что казалось — машина не движется, стоит на месте.

Когда этот беспокойный человек добрался до больницы, ему еще пришлось выдержать искус ожиданием. А пока он ждал, чтобы его отвели к художнику Ландхольцеру, им завладел старший ассистент доктор Дитценбрун, долговязый и разболтанный блондин лет сорока, с обветренным лицом, носом в мелких морщинках, срезанным подбородком, бугристым лбом и водянисто-голубыми щелками глаз. Врач подошел к нему и стал рассказывать о всякой всячине. О разных течениях в психиатрии, о границе, отделяющей гениальность от безумия, о докторе Гансе Принцхорне, который тогда считался самым знающим психиатром. В другое время Каспар Прекль слушал бы его с немалым интересом, но сегодня он приехал только, чтобы повидать художника Ландхольцера, замечательного человека, одного из немногих, в кого он верил. Психиатр продолжал трещать, что-то одобрял, над чем-то насмехался. Перебирал длинной, красной, в светлых волосках рукой толстую пачку бумаг, где, кроме всякой писанины — заключений врачей, отчетов о состоянии больного, отзывов начальства,— было и несколько рисунков пациента.

Доктор Дитценбрун, видимо, не слишком ценил картины

душевнобольного Фрица Ойгена Бренделя, которые тот подписывал фамилией Ландхольцер. Что касается полотна «Иосиф и его братья», о нем болтливый доктор вообще не сказал ни слова.

Но о прошлом Ландхольцера Каспар Прекль все-таки кое-что узнал. Художнику уже исполнилось сорок семь лет, семья у него была состоятельная, родом из Бадена. Одно время он преподавал в высшей технической школе, имел звание приват-доцента, много работал над проблемой составления точных карт на основе аэрофотосъемки. В эти исследования вколотил уйму денег, все свое состояние, отказался от доцентуры, поступил чертежником в государственное железнодорожное управление, кое-как зарабатывал на жизнь. В годы войны сделал изобретение, которое, как он считал, должно было совершить переворот в области геодезических измерений, попытался взять на него патент. Но военные власти, ссылаясь на требования государственной безопасности, наложили на патент запрет, а приборы Бренделя-Ландхольцера реквизировали. Война кончилась, и он воспрянул духом, надеясь, что его изобретение будет теперь применено на практике. Но пока он добивался снятия запрета со своего патента, другие техники, использовав чертежи Бренделя, сконструировали новые приборы. За эти годы у многих была возможность ознакомиться с патентом — у офицеров, у военных чиновников. Он подал в суд. Дело тянулось несколько лет. Брендель попал в лапы к каким-то жуликам, запутался в сомнительных махинациях. Постепенно окружающие — сослуживцы, знакомые, начальство — стали замечать, что он болтает несуразности, что у него появились непонятные, нелепые причуды. Он пугал их внезапными и бурными вспышками ничем, казалось, не вызванного, необъяснимого раздражения. Ему предоставили годичный отпуск — Брендель провел его в полном одиночестве, жил первобытной жизнью в заброшенной лачуге. Тогда-то и была написана картина «Иосиф и его братья», но это врач обошел молчанием. Вернувшись, Брендель-Ландхольцер стал всем показывать весьма странную карикатуру, которую он именовал «Страшный суд». Художник изобразил, сохранив разительное сходство, начальника своего отдела и сослуживцев за непотребными, гнусными занятиями. Жертвы не подняли шума — они жалели беднягу. Тогда он стал рассылать им вызовы в суд, написанные причудливым слогом, где канцелярские обороты чередовались с поносными куплетами в фольклорном стиле. Кончилось тем, что однажды он вывесил на черной доске для служебных объявлений декларацию, в которой требовал, чтобы министры путей сообщения и юстиции вступили в открытую ди-

скуссию с ним на тему о первородном грехе, патентном законодательстве и железнодорожном расписании. Тут уже всем стало ясно, что он повредился в уме.

Когда Каспар Прекль узнал, что художник Ландхольцер содержится в сумасшедшем доме, он стал вспоминать страшные рассказы о здоровых людях, посаженных в психиатрические больницы происками тех, кому это было выгодно. Особенно сильное впечатление произвели на него упорно ходившие по Мюнхену слухи об очень одаренном и вполне здравом писателе Панница,— власти сгноили его в сумасшедшем доме за антиклерикальные выступления. Но сейчас, когда доктор Дитценбрун показал Преклю декларацию художника Ландхольцера, подписанную «Фриц Ойген Брендель, наместник господа бога и железнодорожного управления на воде и на суше», он уже больше не сомневался, что на этот раз в сумасшедшем доме сидит действительно сумасшедший.

Врач рассказывал, как все усиливались у Фрица Ойгена Бренделя симптомы мании преследования. Ему чудилось, что в него стреляют из окон, пытаются отравить, пропускают электрический ток, чтобы подменить ему желудочный сок и спинной мозг. Сейчас врачи диагностировали у Бренделя начальную, тихую стадию шизофрении, которая, к счастью, развивается довольно медленно. Доктор Дитценбрун встал и принялся расхаживать по комнате, как аист поднимая ноги и сыпля медицинскими терминами.

Наконец он повел Каспара Прекля к больному. Стараясь представить себе, какой будет его встреча с художником, Прекль до того разволновался, что у него пересохло во рту, задрожали колени, нервы напряглись до последнего предела.

Художник сидел в углу, прижавшись к стене, и угрюмо, исподлобья, смотрел на посетителей. Они сделали несколько шагов к нему, и он еще больше вжался в стену, еще ниже опустил голову с шапкой нечесаных волос. Врач заговорил с ним, быстро и как-то слишком уверенно, больной отвечал отрывисто, сердито, твердым, даже звонким голосом. Вопрос, был ли у него сегодня приступ болей, неожиданно вывел его из себя. Доктор Дитценбрун и сам отлично знает, что над ним все время производят опыты, щекочут электрическим током пятки, прокалывают десны, с помощью дальнодействующих передатчиков отравляют трупной, рвотной, сивушной вонью, нарочно умертвили кожу и мясо, так что он теперь как ободранный. Когда кладет руку на стол, у него всякий раз такое чувство, точно он касается дерева обнаженной костью. С трудом улавливая смысл его слов, Каспар

Прекль не сводил с него глаз, стараясь навсегда запомнить облик этого человека, его исхудалое лицо, черную всклокоченную бороду, мясистый нос, запавшие сверкающие загнанные глаза, от которых становилось не по себе.

Так же внезапно, как вспылил, художник Ландхольцер успокоился и в свою очередь начал внимательно разглядывать Каспара Прекля. Пристально, неотрывно смотрел на него снизу вверх безумными, запавшими, трагическими, по-прежнему недоверчивыми глазами. Потом вскочил и вплотную подошел к нему. Тот, отнюдь не робкого десятка, чуть было не попятился. Но овладел собой и продолжал неподвижно стоять.

— Почему вы не представились мне, молодой человек? — резко спросил художник Ландхольцер. Теперь, когда они стояли рядом, обнаружилось, что ростом он гораздо выше своего гостя — долговязый, весь трясущийся человек.— Вас от этого не убыло бы,— добавил он, и Каспар Прекль отметил про себя, что говор у него коренного баденца.

— Меня зовут Каспар Прекль,— сказал молодой человек.— По профессии я инженер.

Больной все еще стоял так близко от Прекля, что тот чувствовал его острый запах, слышал мучительно трудное дыхание. Внезапно художник отошел в сторону и вполне спокойно сказал:

— Так, так, значит, тоже инженер,— и прошелся по палате.

Врач сказал, что, видимо, присутствие Каспара Прекля не очень тревожит больного. Пожалуй, их можно оставить наедине. Приблизительно через час санитар поведет Бренделя на прогулку. Если Прекль захочет, он может пойти с ними. Врач ушел.

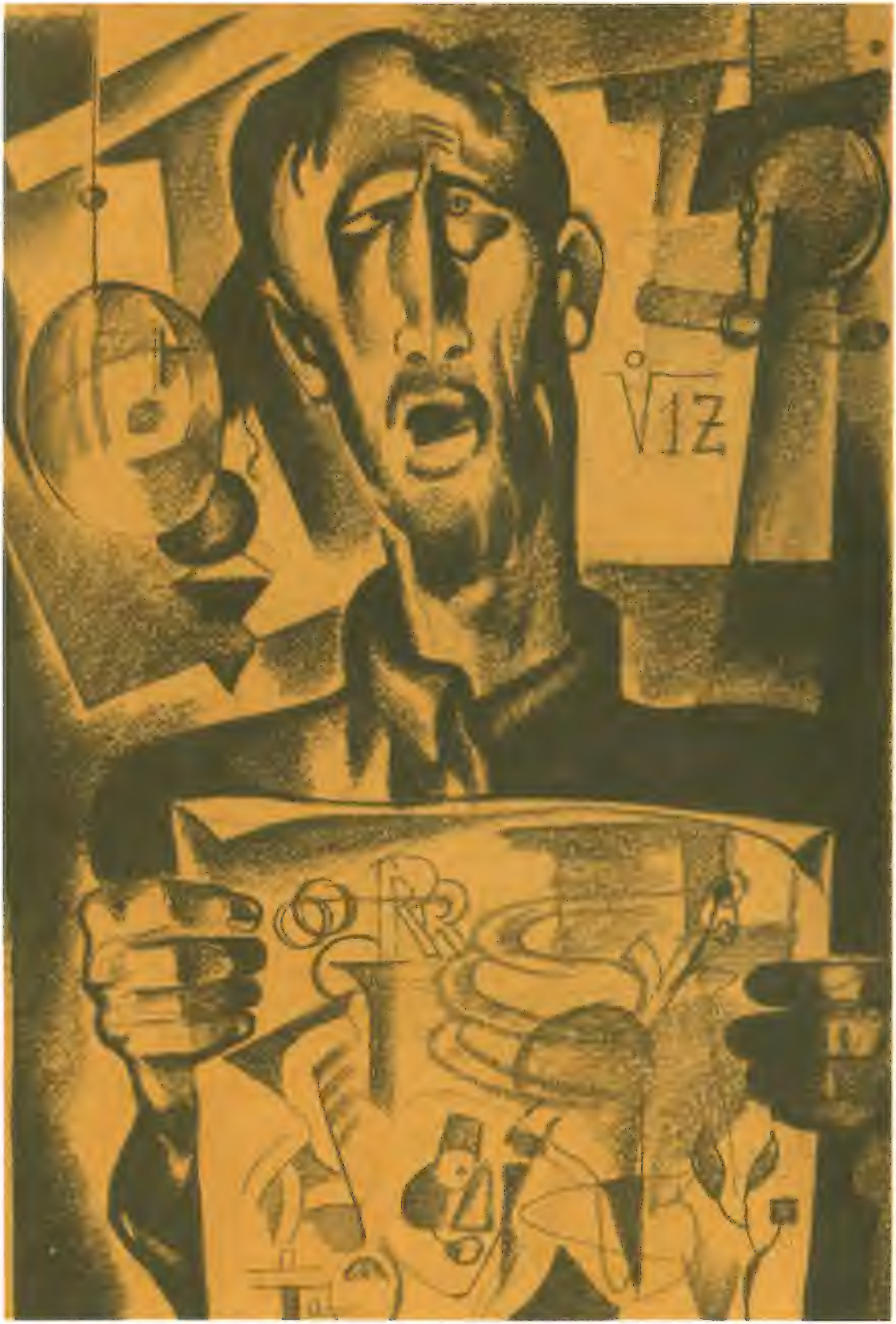
Художник Ландхольцер подскочил к двери, поглядел в замочную скважину вслед врачу, подскочил к окну и, провожая взглядом удаляющуюся фигуру, стал делать магические пассы, словно кого-то заклинал и отталкивал от себя. Убедившись, что врач действительно ушел, он с веселой, лукавой улыбкой предложил Преклю сесть. И все тем же твердым, звонким голосом деловито спросил:

— Вас удивляет, молодой человек, что я сижу в сумасшедшем доме?

Опасливая скрытность, понятная у такого обездоленного человека, вызвала бы сострадание у Прекля, горечь и возмущение пробудили бы ответный порыв; но от этой деловитости он похолодел.

— Пожалуйста, говорите, господин Ландхольцер,— попросил он.

— Я не Ландхольцер,— резко перебил его больной.— Меня


√17

зовут Фриц Ойген Брендель, я инженер железнодорожного управления, изобретатель приборов для аэрофотосъемки, автор «Смиренного животного», Лазарь из Назарета, наместник господа бога и железнодорожного управления на воде и на суше, а также наместник всех военно-воздушных сил. В семи инстанциях людского судилища был гнусно лишен своего изобретения.— Он встал, запрыгал на одной ноге по комнате, лукаво заулыбался.— Но теперь я затаился в сумасшедшем доме. Это было нелегко, пришлось пойти на хитрости. Конечно, не очень-то приятно, когда вас держат под электрическим током и заражают трупной и больничной вонью, кишечными газами, тошнотой, как после похмелья. Но зато теперь я спокойно жду Страшного суда и окончательного приговора. Тогда все начнут делать измерения только моими приборами и агнец будет пастись рядом с начальниками аэрофотосъемки.— Он немного отступил и, склоняя голову то направо, то налево, стал разглядывать Прекля, словно тот был картиной. Потом сказал: — А вы на вид приятный человек. Заслуживаете права стать нормальным. Не хотите посидеть в Нидертанхаузене? Тут вроде ангара. Советую попробовать. Конечно, симуляция не простое дело. Врачи страшно подозрительны. Нужна большая сила воли, чтобы много лет подряд симулировать шизофрению в тихой стадии. Раздвоение личности, аффективную амбивалентность. Впрочем, человек ко всему привыкает. Только надо остерегаться комплекса неполноценности. Послушайте, вы действительно не считаете меня сумасшедшим? Ну, вот видите. А себя?

Каспар Прекль устал, мысли у него путались. Иногда ему даже начинало казаться, что его разыгрывает шутник с весьма мрачным чувством юмора. Но неужели найдется такой человек, который готов многие годы просидеть в сумасшедшем доме, только бы иметь возможность разыгрывать ближних? Он протянул художнику репродукцию картины «Иосиф и его братья».

— Не согласитесь ли вы кое-что объяснить мне в вашей картине? — внезапно охрипнув, попросил он.

Тот бросил на него пронзительный, недоверчивый взгляд.

— Дрянь картина,— ворчливо заметил он.— Написана в годы ненормальности.— И вдруг крикнул: — Сейчас же уберите ее!

— Быть может, вы покажете мне картины, которые были написаны здесь? — непривычно подобострастным тоном произнес Каспар Прекль. Он был точно в вакууме, вне пространства и времени. До сих пор, с кем бы ему ни довелось встречаться, он втайне всегда был уверен в собственном превосходстве. И те-

перь был угнетен сознанием, что безумен его собеседник или нет, он, Каспар Прекль, смотрит на него снизу вверх.

Тот встал и снова подошел к продолжавшему сидеть Преклю.

— Значит, желаете посмотреть на мои картины,— проговорил он.— Имейте в виду, это небезопасно. Я могу вскрыть человеку сердечную сумку и продержать его в таком виде семь тысяч лет. Предупреждаю, мне уже не раз приходилось спускать людей в уборную. Так что если вас привело ко мне пустое любопытство, спущу и вас туда же. И тогда вы будете неважно выглядеть на Страшном суде.

— Нельзя ли мне закурить трубку перед тем, как вы начнете показывать картины? — опять попросил Каспар Прекль.

Эта просьба пришлась, очевидно, по душе художнику Ландхольцеру. Пока Каспар Прекль раскуривал трубку, он перебирал картины, повернутые лицом к стене. Доставал с полок, из ящиков большие, перевязанные шнурками пакеты. С помощью причудливого на вид механизма спустил такие же пакеты с потолка. Лукаво погрозив Преклю, стал под конец на колени: оказалось, что и под половицами у него лежат свернутые в трубку рисунки. Казалось, видения художника Ландхольцера заполонили всю комнату. Уложив пакеты в ряд, один подле другого, он уселся. Точно и не собирался их развертывать.

— Вы обещали мне показать ваши картины,— обождав немного, сказал Каспар Прекль. Художник Ландхольцер, хитро прищурившись, жестом приказал ему молчать, проверил задвижки на окнах и двери, стал перекладывать с места на место пакеты. Наконец один развязал.

То, что инженер Каспар Прекль увидел в тот день, он до конца жизни сохранил в памяти. Вперемежку с миниатюрными моделями, с чертежами машин и геометрических фигур, в пакете были наброски и картины, сделанные свинцовым карандашом, тушью, пером, углем, маслом, акварелью. Были там и скульптуры, вырезанные из дерева, из каких-то обломков мебели, вылепленные из жеваного хлеба. В иных картинах даже самый предубежденный человек не обнаружил бы и тени безумия, но были и другие, подсказанные больным рассудком. Крошечные наброски и большие законченные картины.

«СТРАШНЫЙ СУД»

Одна папка была озаглавлена «Страшный суд». Судьи становились подсудимыми, подсудимые судьями. Тут же были и орудия пыток; один и тот же человек был попеременно то па-

лачом, то жертвой; вокруг стояли обвинители, их лица, явно списанные с натуры, застыли, как маски. Зловещие орудия художник нарисовал с какой-то садистической точностью; на полях были выписаны технические расчеты и способы употребления. Судьи в мантиях восседали на тронах. У иных сердечные сумки были вскрыты и заполнены изогнутыми знаками параграфов, орудиями пыток, статьями законов, геометрическими формулами.

— Стар становлюсь,— тихо и горестно сказал художник в то время, как Каспар Прекль рассматривал рисунки.— Мне уже не хочется карать. А надо, не то все рухнет.

«СОТВОРЕНИЕ МИРА»

Сияя от удовольствия, художник раскрыл папку с надписью «Сотворение мира». На каждом листе был изображен испражняющийся человек. Из его экскрементов возникали города и тучи, целые народы и отдельные люди, машины, самолеты, император Наполеон, пирамиды, какие-то фабрики, звери и растения, престол, и над ним корона, Будда на лотосе. Задумчиво и внимательно смотрел человек на то, что возникало из его испражнений. Ошеломленный Каспар Прекль взглянул на художника Ландхольцера, и тот сказал, не совсем к месту употребляя термины, которые в ходу у живописцев:

— Да, это здорово сделано. Возможно, следовало бы подсинить. Но в перспективе все правильно.

«МИЛИТАРИЗМ»

Потом он показал деревянную скульптуру — она вся щетинилась оружием и снаряжением различных армий, и даже совсем неискушенный зритель понял бы, что это — аллегория милитаризма. Скульптура была четырехлика: в глаза сразу бросалось сходство двух ее лиц с лицами полководцев, ставших известными во время мировой войны — Людендорфа и Гинденбурга. У всех четырех пасти были разинуты, усы взъерошены, глаза выкачены, языки высунуты. Инструментом мастера водила ненависть.

«ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ»

Улыбаясь, он показал Каспару Преклю на большую картину, прислоненную к стене. То была своеобразная «Тайная вечеря», и при первом взгляде на нее становилось ясно, что на-

писал ее тот же художник, который создал «Иосифа и его братьев». Но и в этой картине было много несуразностей: трапезу делили животные апостолов — лев Марка, бык Луки, орел Иоанна. Иуда был изображен дважды — справа и слева; у одного из них сердечная сумка и череп были вскрыты, отчетливо прорисованы все извилины и борозды мозга.

— Вот это нормальная картина,— сказал художник.— Разве можно ее сравнить с той, которую вы мне показали. Но когда выкладываешь всю правду, попадаешь в сумасшедший дом. Только в сумасшедшем доме можно выкладывать всю правду. Потому-то все здравомыслящие и хотят попасть в сумасшедший дом.

«СМИРЕННОЕ ЖИВОТНОЕ»

Каспар Прекль молчал. Он сидел в странном оцепенении, трубка у него погасла. Художник Ландхольцер порывисто повернул картину к стене, начал быстро и ловко завязывать рисунки. Потом сказал:

— Пора кончать. Мало ли кто может зайти. Теперь пусть меня побреют.

Каспар Прекль ни о чем не попросил, ничего не сказал, не сделал ни единого жеста. Но как раз это и подействовало на больного. Помолчав, он добавил:

— Еще одну штучку я вам все-таки покажу.

Художник Ландхольцер вытащил дощечку — плоский кусочек красного дерева светлого оттенка. На нем был вырезан несложный рельеф: животное неведомой породы с большой и широкой, сплющенной головой, глядящее на зрителя огромными глазами, странно лопоухое, комолое. Передние ноги были подогнуты — казалось, оно преклоняет колени.

— Вот это и есть «Смиренное животное»,— сказал больной.— Серна. Она принимает католичество.

Каспар Прекль держал деревяшку в руке. Сжав тонкие губы, неотрывно смотрел на нее глубоко запавшими глазами. Разглядывал коленопреклоненное животное на деревянной дощечке, а коленопреклоненное животное, это возникшее из небытия смиренное, бесконечно живое существо огромными глазами горестно, зловеще, загадочно, жалобно разглядывало его.

— Вот тут я и был посвящен в художники,— сказал больной. Лукаво улыбаясь, он несколько минут смотрел на Каспара Прекля.— Вам не стоит так долго глядеть на него,— заметил он наконец. Когда Каспар Прекль, поколебавшись, протянул ему дощечку, он равнодушно бросил: — Берите себе, если хотите.

Каспар Прекль просиял.

— Вы дарите мне это? Дарите?

— Да,— величественно и равнодушно подтвердил тот.— Берите, не стесняйтесь.— Дощечка с рельефом «Смиренного животного» лежала теперь на столе между Каспаром Преклем и художником Ландхольцером. Рядом с ней лежала трубка Прекля.— Вы должны понять, что я наковальня собственной судьбы,— сказал художник Ландхольцер.— Можете называть «Смиренное животное» еще и «Наковальня его судьбы» или «Обгаженный». Я его вырезал на обломке диванной спинки.

Он произнес это твердо и звонко, без тени жалобы, самосожаления. Как ни молод был Каспар Прекль, он в годы войны и революции вдоволь насмотрелся на смерть в самых уродливых ее обличьях, отнюдь не считал этот мир лучшим из возможных, не верил, что человек по своей сути хорош, с чем-то примирился, обрел опыт, не был склонен к сентиментальности, и все-таки ему стало жутко от деловитости, с которой страдавший шизофренией инженер-путеец Фриц Ойген Брендель пояснил мысль, заложенную в «Смиренном животном». Прекль хотел было спрятать дощечку в карман. Но передумал, взял со стола погасшую трубку, издал какой-то звук, похожий на икоту, и стал медленно, неловко раскуривать. И только раскурив трубку, положил дощечку в карман.

«АВТОПОРТРЕТ»

Художник Ландхольцер сосредоточенно следил за движениями Прекля. Как только «Смиренное животное» исчезло в кармане инженера, он с лукавой и довольной улыбкой показал ему небольшой рисунок, сделанный цветными карандашами.

— Сейчас я вот такой,— сказал он, протягивая Каспару Преклю лист кокетливым жестом, как торговец, выхваляющий свой товар. То был автопортрет, беспокойно-красочный, с преобладанием синего цвета, только лицо было глухого коричневого тона. Растрепанная борода, мясистый нос, косящие в сторону зрителя запавшие глаза, тревожные, горячечные, сверкающие, затравленные, хитрые. Каспар Прекль думал, что досконально разглядел художника; теперь он сконфуженно признался себе, что ничего не сумел увидеть.

Пока художник Ландхольцер показывал Преклю рисунок, пришел санитар и сказал, что время идти на прогулку. Больной торопливо убрал рисунок, начал перевязывать пакеты и класть их на прежние места. Санитар с профессиональным грубоватым добродушием попросил его не копаться. Больной сразу взбунто-

вался и, точно его подменили, стал кричать и ругаться. Вот еще, он и не подумает идти гулять в таком виде. Это же неслыханно, с ним пойдет его коллега, его друг, а он черт знает как зарос. Пусть сперва его побреют. Санитар не перечил больному.

Каспар Прекль был страшно горд тем, что художник Ландхольцер назвал его другом и коллегой. Когда пришел парикмахер, он сел в сторонку вместе с санитаром. Парикмахер занимался своим делом, а художник Ландхольцер мирно и лукаво улыбался, довольный всей этой процедурой. Сыпал высокопарными фразами. Да, он пришел к заключению, что ему следует сбрить бороду. Перемены всегда необходимы и благотворны. Перемены даруют людям юность. Каждые семь лет обновляются все до единой клетки человеческого тела.

Клочки спутанной бороды падали на пол, лицо больного все больше обнажалось. Парикмахер и санитар удивленно переводили глаза с него на посетителя, сидевшего в принужденной позе, переглядывались. Художник Ландхольцер потребовал зеркало, оглядел себя, потом Каспара Прекля, кивнул и лукаво, весело ухмыльнулся. Каспар Прекль продолжал неподвижно сидеть, и лицо у него было глупо-недоумевающее. Парикмахер, санитар и больной явно понимали что-то такое, что ускользало от него. Только когда бритва совсем обнажила и как бы обновила лицо Ландхольцера, он вдруг увидел — да ведь это его собственное лицо! Он похолодел от ужаса. Да, да, не слишком наблюдательные глаза санитара и парикмахера — и те отметили, что он, Прекль, и Ландхольцер похожи, как близнецы.

Потом они гуляли по огромному, великолепному нидертанхаузенскому лесу, без дороги бродили по мягкому мшистому покрову среди старых деревьев.

— Позвольте помочь вам, товарищ инженер,— сказал изобретатель-шизофреник Фриц Ойген Брендель, поддерживая Прекля, когда тот споткнулся о корень.

Они уселись на пнях, и художник Ландхольцер стал рисовать. Он рисовал двух неразличимо похожих людей, сидящих на двух неразличимо похожих пнях и косящихся друг на друга неразличимо похожими, горячечными, затравленными, хитрыми глазами. И этими людьми были инженер Каспар Прекль и художник Ландхольцер. Рисуя, художник молчал; молчал и Каспар Прекль. Неподалеку растянулся на земле санитар, сперва он читал газету, потом уснул. Кончив, художник Ландхольцер лукаво сказал:

— Кто хоть раз обмолвился правдой, тот уже навсегда вышел из доверия, сколько бы потом он ни врал.

Возвращение Каспара Прекля в Мюнхен напоминало не то бред, не то бегство, в таком он был душевном смятении. Он машинально вел автомобиль, машинально поглядывал на дорожные знаки, не замечал, по широкой дороге он едет или по узкой. Он не знал, полезна человечеству живопись художника Ландхольцера или вредна. Не знал, действительно ли в ее основе лежит месть. Но твердо знал, что люди и вещи, сотворенные художником Ландхольцером, навеки останутся такими, какими он их сотворил. Неважно, каковы на самом деле эти судьи, достойные они люди или нет, пойдут ли в гору и станут министрами или превратятся в бродяг и нищих: истинная их жизнь была раз навсегда изображена и запечатлена на листках из перевязанных шнурками пакетов, спрятанных в нидертанхаузенской психиатрической больнице.

«ЗАПАДНО-ВОСТОЧНЫЙ ДВОЙНИК»

На следующий день художник Ландхольцер поразил всех требованием, чтобы его побрили еще раз. После бритья он, улыбаясь, долго разглядывал себя в зеркало. Потом написал под рисунком, сделанным в лесу: «Западно-восточный двойник». Не без труда добился, чтобы ему дали кусок твердого картона и большой конверт, спросил у доктора Дитценбруна адрес Каспара Прекля, тщательно и бережно упаковал рисунок и отправил его своему вчерашнему посетителю. А днем старательно написал следующее:

«1. Конкурс. Государство есть основа справедливости. Кто укажет способ сделать его прозрачным и относительным, тот получит премию в размере 333 333 германских марок, что соответствует 33 бумажным маркам. Противодействие будет караться тюремным заключением от 27 до 9 лет, недоносительство — 33-мя днями отбытия свободы.

2. Приказ по министерству. В целях доказуемости все, соответствующее истине, следует писать в дальнейшем на желтой бумаге, все, от нее отступающее,— на белой.

Писано в Нидертанхаузене.
Наместник господа бога и железнодорожного
управления на воде и на суше

Фриц Ойген Брендель».

Этот манифест он торжественно вывесил в большом зале больницы. Написан он был на белой бумаге.

26

О ТОМ, КАК ХОРОШО НА ВСЕ СМОТРЕТЬ СО СТОРОНЫ

За полчаса до начала премьеры, когда и в конторе театра, и на сцене царили волнение, тревога, лихорадка, наигранное веселье, страх, от которого пересыхало во рту, когда в сотый раз были повторены указания, теперь уже бесполезные, и в сотый раз из-за пустяков начиналась паника, г-н Пфаундлер сохранял невозмутимое спокойствие и бодрость духа. Во время генеральной репетиции — а она длилась с вечера до утра — он то и дело приходил в неистовство, разражался бранью, за малейший промах гнал со сцены. Но сейчас его несдержанность пошла бы во вред, и он, инстинктивно преисполнившись фаталистическим оптимизмом, старался заразить актеров упрямой верой в успех. С видом доброго дядюшки, всеобщего утешителя и вдохновителя, переходил он из конторы на сцену и обратно, всех мирил и успокаивал, благодушно потешался над маловерами, разыгрывал безмерное восхищение красотой стареющей примадонны Клере Хольц, похлопывал бледного и потного композитора по плечу, а иных «герлз» — по лижкам, хвалил новые световые эффекты, придуманные неприятным ему Бенно Лехнером, в сотый раз проверял вместе с акробатами прочность снарядов. И каждый его жест казался искренним и сердечным. Был искренним. Г-н Пфаундлер прогнал тайные сомнения, забыл, что все время силился заменить искусство приманками плоти и мишурой. Чувствовал себя не дельцом, а меценатом. Разве он не служитель искусства и народа? В стране инфляция, ее сотрясают политические кризисы, но потребность в зрелищах не меньшая, чем потребность в хлебе. Г-н Пфаундлер был убежден, что он так же необходим своим согражданам, как пекарь или мясник.

Но, заражая всех верой и надеждой, он в глубине души знал, что с уходом комика Гирля ревю «Выше некуда» увяло на корню. Пожалуй, с такими же шансами на успех и, уж во всяком случае, с бóльшим удовольствием он мог бы продемонстрировать публике не эту дребедень, а настоящее искусство. Он понимал — чутье-то у него было! — что, еще не начавшись, игра проиграна.

Меж тем зрители все прибывали,— круглоголовые мюнхенцы и их опрятные, пухлые жены. Зал наполнился гулом уверенных, грубоватых голосов. Пришел художник Грейдерер с очередной «курочкой» и элегантным г-ном фон Остернахером. При-

шел бульдогоподобный доктор Маттеи с неизменным пенсне на носу, пришли импозантные на вид актеры из Национального театра, кое-кто из «Мужского клуба». Притащился даже патриарх, профессор фон Каленеггер, по-птичьи вращавший маленькой головкой на длинной шее: еще бы, ведь рекламы твердили, что этим обозрением Мюнхен, город процветающего искусства, бросает вызов материалистическому, некультурному Берлину. Настоящую сенсацию вызвало появление министра Отто Кленка, который, по слабости здоровья, недавно подал в отставку. Он сидел в ложе первого яруса, у всех на виду, бледный, отмеченный только что перенесенной болезнью. А вот Эрих Борнхаак никому не бросался в глаза — он сидел в партере сбоку. Сейчас у Эриха снова была полоса везения — за что он ни брался, все удавалось. И ему не терпелось узнать, кто окажется его соседом — наверное, и тут повезет. Но занавес поднялся, а сосед Эриха все не появлялся. Плохо выбритый Каспар Прекль был в обществе нарядной, сияющей Анни Лехнер. В зале было много и ничем не примечательных горожан, по-праздничному наряженных, очень взволнованных,— матерей, тетушек, дядюшек, двоюродных братьев и женихов голых девиц.

Для этих-то людей и было поставлено обозрение «Выше некуда», в первоначальном варианте — «Касперль и классовая борьба», то самое, на которое писатель Жак Тюверлен потратил изрядную толику своего драгоценного времени и незаурядного таланта.

Этот писатель, Жак Тюверлен, пришел в театр, когда спектакль уже начался. Да и то потому только, что его отсутствие выглядело бы дезертирством. Ничто не волновало его, не трогало — он заранее был уверен в неуспехе. Давно уже подвел итог, не обманывая себя, не жалея — даже инженер Прекль вряд ли судил бы его суровее. Что такое искусство? Что такое произведение искусства? Все, когда-либо созданное искусством, возникло из потребности в самовыражении, столь же присущей людям, как потребность в пище и продолжении рода. Кто знает, может быть, природа заложила в человеке эту потребность для того, чтобы свой индивидуальный опыт, свои знания он передал потомству по возможности непосредственно, в незамутненном виде. Он, Жак Тюверлен, использовал свои способности к самовыражению плохо и глупо. Не устоял перед искушением воплотить замысел не с помощью бумаги и пишущей машинки, а с помощью вместительного театрального зала и сотен людей. Пожертвовал могучей самодержавностью письменного стола и, глупец, вроде какого-нибудь Руперта Кутцнера, поддался дурацкому

желанию ради собственного удовольствия собрать воедино эти сотни людей.

Он прошел не в зрительный зал, а за кулисы. Все нервничали, он всем мешал. Кончилось тем, что акробат Бьянкини Первый пригласил его к себе в уборную. Он долго просидел там с Бьянкини Первым и Бобом Рихардсом, имитатором музыкальных инструментов, мирно и приятно беседуя, не вспоминая, что в нескольких метрах от этой уборной разыгрывается глупая, исковерканная пьеса, к которой, пока он ее писал, были прикованы все его помыслы.

Между тем на сцене, картина за картиной, шло обозрение «Выше некуда», внешне блестяще и хорошо слаженное и все-таки тягучее. Картины «Натюрморт» и «Тутанхамон» не произвели впечатления, и знатоки уже шептались о провале. Но обыкновенные зрители были полны добродушия и терпеливо ждали, что же будет дальше. При малейшем оживлении на сцене они начинали бурно веселиться, забыв, как томились и скучали минуту назад. Картина «Голая истина» прошла с несомненным успехом. Г-жу фон Радольную встретили шумными аплодисментами: большая, пышная, она была явно по вкусу публике. Зрителям импонировала, нравилась невозмутимость, с которой она демонстрировала округлость своих форм.

И все-таки обозрение провалилось бы уже в первый час, если бы не шумовые инструменты изобретателя Друкзейса. Когда они грянули, когда в оркестре раздалось мычание коров и хрюканье свиней, когда зазвучали гудки автомобилей, свистки паровозов, грохотанье грома, лай собак и топот марширующих войск, когда Боб Рихардс из Черновиц начал плаксиво подражать этой какофонии, когда разноголосый шум слился воедино и на его фоне возник мюнхенский гимн о зеленом Изаре и неиссякаемо благообразном уюте, когда он, в свою очередь, превратился в гимн бывшего баварского королевства и был подхвачен всем чудовищным ансамблем оглушительных шумовых инструментов, когда на сцене закружились голые «герлз» с бело-синими шарфами вокруг грудей и бедер, когда они принялись потрясать бело-синими баварскими флагами, когда в довершение всего на экране рядом с недостроенными башнями, ливерными сосисками, пивными кружками и символической фигурой мюнхенского мальчишки, обряженного монахом, появился баварский лев,— тогда от первоначального разочарования не осталось и следа. Зрители повскакали с мест, здоровенные ручищи захлопали, глотки подхватили гимн.

Усмехался Каспар Прекль, улыбался наверху, на своем

мостике, осветитель Бенно Лехнер. Никто не знал, кем задумана эта злая шутка — Тювердеком или Пфаундлером, и вообще была ли она задумана заранее. Даже Тювердек и тот улыбался. Все-таки хоть что-то да осталось в его обозрении от первоначального замысла. Эти зрители, которые с таким восторгом подхватывают гимн, исполняемый хрюкающими свиньями, мычащими быками и человеком с изуродованным носом, эти люди, в чьих сердцах и голосовых связках пародийная мелодия немедленно вызывает буйный расцвет глубоко вкоренившегося энтузиазма — поистине, они пришли сюда прямо из комедий Аристофана.

Едва зазвучали инструменты изобретателя Друкзейса, как лицо Отто Кленка засветилось злорадным удовольствием. Выделяясь бледностью среди толпы румяных здоровяков, в смокинге, уже не облегавшем его массивную фигуру, бывший министр сидел, слегка разочарованный спектаклем. Но стоило загреметь инструментам, появиться баварскому льву и публике восторженно зааплодировать, как он мгновенно ожил. Да, такой он и представлял себе ее — духовную почву, вскормившую его народ, и на ней он теперь построит свою потеху, свое удовольствие. Все верно, иначе не могло и быть — и то, что мычанию на сцене отвечает мычание в зрительном зале, и то, что никто не понимает, всерьез ли задуман этот лев или он пародия,— все это грандиозное шутовство, так вдохновенно разыгранное актерами. В роли министра юстиции он, пожалуй, с тревогой и даже печалью смотрел бы на своих мюнхенцев, впавших в такой постыдный, ни с чем не сообразный идиотизм. Но теперь ему это только кстати. Так, так, продолжайте. Он и сам от них не отстанет. Покажет кое-кому, кто он такой. «Падающего толкни» или что-то в этом роде сказано у некоего классика.

Между тем кто-то сел на свободное место рядом с Эрихом Борнхааком. Села дама. Иоганна.

С той ночи шалопай ни разу ее не видел. Однажды безуспешно пытался до нее дозвониться. Когда, по воле театрального кассира, она оказалась его соседкой, он небрежно поклонился, но как-то сразу растерял обычную развязность, не знал, как себя держать, порой обращался к ней с ироническими замечаниями по поводу обозрения. Иоганна отвечала односложно и сдержанно, он тоже стал заговаривать все реже, под конец совсем замолчал. Кого она из себя строит? Он же спал с ней — так какого черта? Он знавал баб лучше сложенных, чем она. И более умных, остроумных, элегантных. Они с ним не ло-

маются — выбирай любую. Особенно сейчас, когда он в полосе везения. У «истинных германцев» его с каждым днем все больше ценят. Да и старик прислал ему внушительную сумму в иностранной валюте. Хотел, видно, умаслить его после попытки увильнуть от защиты фон Дельмайера. Глуп как пробка старый хрыч. С какой гнусной покорностью он сносит любой пинок под зад. В общем, жизнь развлекательная штука. Развлекательна затея с боксером Алоисом, и прибыльна к тому же. Может быть, не совсем безопасна — как-никак Алоис брат Руперта Кутцнера. Зато развлекательно. И на удивление несложно. Он снова пытается что-то сказать Иоганне. Но она как будто даже не слышит — на сцене действительно стоит невообразимый шум. Он исподтишка смотрит на Иоганну. Было время, когда она казалась ему очень желанной. А почему, собственно? Что в ней такого привлекательного? Широкоскула. Нос вздернутый. Разыгрывает недотрогу, но волосы-то остригла только ради него. И какая она в постели, он тоже знает. Не бог весть что. Так в чем же дело? Другие негодуют, чего-то требуют. А она изображает удивление, вонючее безразличие. Ну, и на здоровье. Его это не задевает.

Его это очень задевало.

Между тем стоило ему умолкнуть, как Иоганна совершенно забывала о нем. Все ее мысли были обращены к Жаку Тюверлену. Она смотрела на сцену, и ее одолевало бешенство, равное которому она испытала только во время крюгеровского процесса, когда из газет узнала о чтении на суде писем покойной девицы Анны Элизабет Гайдер. Когда-то Жак Тюверлен восторженно рассказывал ей об Аристофане; в ту пору она не до конца поняла его замысел. Но что этот замысел не имел отношения к тому, что шло сейчас на сцене, что в нем все было добропорядочно и, с точки зрения искусства, достойно, в этом Иоганна не сомневалась. Жак Тюверлен не прочь был встать в позу циника, но профессионально он был в высшей степени чистоплотен, дорожил своей писательской совестью как зеницей ока. И можно себе представить, до чего он истерзался, глядя, как его выношенное детище превращают в такую абсурдную, дурного вкуса чепуху. Да, нелегкое у него было время, пока она жила в Париже. Что за несусветная тупость — путаться с Гесрейтером и вот с этим субъектом, который сидит рядом с ней, когда Тюверлен так мучился в Мюнхене. Она была полна глубокого, горячего чувства к человеку с морщинистым лицом и скрипучим голосом, который скрывался сейчас где-нибудь в глубине ложи или стоял за кулисами и острил,

хотя, конечно, ему было не до острот. И пока на сцене продолжался все тот же гнусный балаган, пока Катарина упивалась жалким, нищенским триумфом, пока инструменты изобретателя Друкзейса вызывали буйный восторг зрителей, Иоганна вдруг отчетливо поняла, какой дорогой ей предстоит идти. Она пойдет по ней с Тюверленом и не даст ему еще раз взяться за работу вроде этого обозрения.

А оно все не кончалось, тягучее, прилизанное. Публика встретила шумного баварского льва таким простосердечным одобрением, что актеры снова воспряли духом. Они пустили в ход все ресурсы своего ремесла, собрали все силы, чтобы удержать внимание публики до той последней перед антрактом картины, в которой они были уверены, до той легкой, вызывающей маршевой мелодии, напряженной, как сам бой быков, где так картинно позирует жажда убийства. Радостное волнение, охватившее актеров при звуках этой мелодии, заразило утомленных зрителей, разгорячило им кровь и снова вернулось к актерам. Актриса Клере Хольц воодушевилась, танцовщица Инсарова ожила. Даже осветитель Бенно Лехнер, там, наверху, на своем мостике, перепачканный, в темных очках, защищавших глаза от ослепительного света прожекторов, поглощенный своим делом, требующим неусыпного внимания и точности,— даже он стал тихонько подпевать. То, что из зрительного зала казалось блеском и великолепием, с его мостика выглядело как нагромождение досок, проволоки, картона, как неаппетитный слой пудры и белил на голых телах девушек; их соблазнительная пляска была для него лишь вонючим облаком пыли и пота. Но сейчас он наслаждался вызывающей, задорной, легкой мелодией. Пока она звучала, Бенно Лехнер не думал о своей тяжелой и, в общем, бесполезной работе. Думал о революции — когда-нибудь она забушует и здесь, и тогда он зальет светом прожекторов огромные городские площади, где многотысячные толпы людей хором грянут «Интернационал».

На зрителей картина «Бой быков» подействовала почти так же, как шумовые инструменты. Вызванные овацией толпы, на сцене стояли те два композитора, которые были обозначены на афише, вокруг них, взявшись за руки, тремя хороводами взад и вперед двигались девицы-тореадоры в коротких расшитых курточках, из которых чуть не вываливались голые груди. Занавес давали десять, двадцать, тридцать раз, а оба композитора все стояли на сцене в окружении девиц, жирные, потные, счастливые, почти забывшие о существовании третьего, глубоко неприятного им субъекта.

Эта картина перед антрактом создала для первого акта видимость успеха. Собираясь в кружки, зрители как-то неуверенно хвалили обозрение. Среди них резко выделялся своей внешностью долговязый человек в солидном старомодном сюртуке; у него была длинная волнистая борода и глубоко посаженные сияющие синие глазки. Увидев Остернахера и Грейдерера, он с полным простодушием немедленно уцепился за них. Мюнхен куда как хорош, обозрение такое, что лучше не бывает, здесь не поскупились, он в восторге. Да, апостол Петр приехал в Мюнхен из Оберфернбаха и не торопился с возвращением. Фон Остернахер знал о планах апостола Петра — тот уже успел побывать у него. Но Рохус Дайзенбергер был стреляный воробей и сразу заметил, что Остернахер утаил от Грейдерера этот визит. Старик решил, что и ему благоразумнее держать рот на замке, и стал разливаться по поводу обозрения, привлекая к себе внимание публики.

Направляясь к сцене, Кленк невозмутимо обменивался рукопожатиями со своими тайно злорадствующими, но немного робеющими врагами. Марш тореадоров взбодрил его. В мозгу беспорядочно проносились картины грандиозной мести, которую он обрушит на неблагодарных кретинов, населяющих его родной город. Раньше он старался поставить патриотическое движение на службу землякам; они отплатили ему тем, что прогнали, пустив в ход низменные, подлые уловки. И теперь он обратит это движение против них. Он свободен от всех обязательств, ему никто не указ. И он будет делать погоду, какая ему заблагорассудится, страшную погоду, убийственную, с такими вонючими ветрами, что многих эта вонь задушит и превратит в падаль. «Пусть их заживо сгниют!» — вспомнил он старинное баварское проклятие и подумал о Флаухере, о Гартле, о Тони Ридлере, о многих других, кому только что мимоходом, но благодушно жал руки.

Он прошел на сцену, отыскал уборную танцовщицы Инсаровой. В кимоно, накинутом на голое тело, она была воплощением хрупкости — дотронься и рассыплется! — прелести и порочности. Раскрасневшаяся от обычного на премьере волнения, она раскосыми глазами печально и насмешливо смотрела на гиганта, стоявшего перед ней, и ждала, что он скажет. В уборной пахло гримом, духами, женским потом. Она сидела сжавшись в крошечный комочек, а он своей тушей заполнял всю комнатушку. Его густой бас гудел, горячие карие глаза не отрывались от танцовщицы. Бывший министр даже старался быть любезным. Говорил, что на сцене она выглядела невыра-

зимо нежной, но, к несчастью, этим стриженым баранам по вкусу только грубость. Инсарова молчала, и он снова заговорил. О том, как ему сейчас хорошо — наконец-то у него появилось время, наконец-то он будет заниматься тем, к чему у него действительно лежит душа. Не поедет ли она с ним в его поместье Берхтольдсцель? Они бродили бы вдвоем по горам, охотились бы, катались, занимались греблей. Чудесно провели бы время. Жизнь на свежем воздухе, несомненно, пойдет ей на пользу. Он говорил долго.

Инсарова то подправляла грим на лице, то поглядывала на Кленка в зеркало и упрямо молчала. Он чуть было не вышел из себя, но сдержался. Кокетливо глядя в зеркало, она с наигранной грустью облизнула уголки губ, покачала головой. Она ведь писала ему о своей болезни. Такая уж у нее горькая судьба — влюбляться всегда невпопад. Если она кого-нибудь хочет, ей обязательно дают по носу. Обходятся с ней, как с глупенькой девчонкой. А она не девчонка. Доктор Бернайс настаивает, чтобы она уехала в английский санаторий — там ее спасут, если еще можно спасти. Больные там лежат в палатах, которые выходят на залитые солнцем деревья, на газоны, а сами они неподвижны, они в шинах. Лежат не недели, не месяцы, а годы. На это не легко решиться. Но она решилась. Будет лежать в корсете из кожи и металла, двигать только руками да головой по подушке. Ей рассказывали — впрочем, и без рассказов это легко себе представить,— как, отчаявшись, больные протягивают к врачам и сиделкам руки и умоляют освободить их или прикончить. И все-таки, даже зная это, она решилась уехать в Англию.

Инсарова говорила это недобро, словно наказывая Кленка. Он слушал, не прерывая. Она сидела спиной к нему, по-прежнему то подгримировывая лицо, то глядя на Кленка в зеркало. Думая о том, что и его подкосила болезнь, что он бледен, а сейчас еще больше побледнел от злости.

А он думал,— какая же она подлянка. Довела его до болезни, а когда он выздоровел, ни черта ему не дает. Кленк не верил ни одному ее слову, но понимал,— это конец. Он думал: что ж, хорошо, тем лучше. Больше останется времени, чтобы свести кое с кем счеты. Будто ему и в самом деле нужна эта баба. Сколько времени он уже собирается повидать своего сынка, паренька Симона, поглядеть, какой-то он стал.

Кленк стиснул зубами трубку и задымил, хотя Инсаровой это, видимо, было неприятно. Помолчав, он сказал, что надеется — лечение поставит ее на ноги. Но он порядочный человек,

поэтому предупреждает ее, что за такое долгое время его чувства могут измениться. В ответ она только улыбнулась. Прозвенел звонок к началу второго акта, и Кленк принужден был уйти. Он чувствовал себя так, точно его обобрали, был в ярости. А она радовалась. Вспоминала, как он побледнел, осунулся за время болезни, и досадовала, что мало его раздразнила. Вспоминала старинное проклятие, слышанное еще в детстве: «Да будет земля тебе пухом, чтобы псам легче было тебя достать».

Сразу после антракта с удивительной быстротой и необратимостью решилась судьба обозрения. Без Касперля — Бальтазара Гирля в спектакле не было смысла, станового хребта, и он как-то сам собой обрушился. Зрители зевали, томились, многие просто ушли. На сцене все сверкало, шумело, кружилось, но актеры чувствовали, как безнадежно скучает публика. Почувствовал эту скуку и Бенно Лехнер, хотя сверху, со своего мостика, он даже не видел зрительного зала. Бени надеялся, что хотя бы на полгода обеспечен твердым заработком. Провал того, что происходило внизу, означал для него безработицу в ближайшие месяцы и, скорее всего, необходимость принять помощь от кассирши Ценци. Нет, плохо устроен свинский капиталистический мир. «Сейчас он будет под моим прожектором, этот буржуазный мир»,— подумал Бени, сидя на высоком мостике в вонючем облаке грязи, пыли и пота, и направил луч во много тысяч свечей на актеров, выстроившихся внизу для финальной сцены: на девушек, прикрывавших наготу только хорошенькими барабанчиками, на лилипутов в фантастических одеяниях, на акробатов, на актрису Клере Хольц, на павиана, который уже оправился от желудочной колики. И в то время как они единой, радужно переливающейся группой двигались под занавес к авансцене, в то время как бесновались шумовые инструменты, осветитель Бенно Лехнер принялся ожесточенно и презрительно насвистывать «Интернационал». Мир голодных и рабов должен восстать, и это будет их решительный бой,— насвистывал он.

Господин Алоис Пфаундлер стоял в мрачном одиночестве. Пусть он и сознавал, что о триумфе и думать не приходится, но все-таки с неиссякаемым оптимизмом верил в него. И вот сейчас за считанные минуты он пережил провал бессчетных планов: роскошные гостиницы на берегах озер, карнавал, перенесенный из Мюнхена в Берлин. И самый дерзкий, самый заветный план, о котором он не заикался даже близким, таил про себя,— строительство автострады, ведущей в горы. Все, что

стало бы реальностью, имей ревю успех, теперь лопнуло, как мыльный пузырь. Мрачно стоял он, и все далеко обходили директора, старались не встречаться глазами с его злобно горевшими мышиными глазками. Разумеется, он знал, что во всем виноват он, и только он, но старался уверить себя, что другие виноваты куда больше. Придав походке воинственную твердость, он подошел к Тюверлену и зычным начальственным голосом произнес с ненавистью:

— Так вам и надо с вашей *литературой*. И почему только я не доверился своему нюху.— Сверкнул на него снизу вверх глазками, обдал величайшим презрением и удалился.

Занятно было недружелюбие, с каким смотрели теперь на Тюверлена все, даже люди, верившие в его талант. В нем была причина их неудачи, и на него обрушились их гнев, ненависть, презрение. Только имитатор музыкальных инструментов Боб Рихардс подошел к нему перед финальным выходом на сцену, оглядел скептически, снисходительно, сочувственно и пропел сквозь огромный искореженный нос, нежно и сладостно, как флейта:

— Да это же совсем не ваш жанр.

Жак Тюверлен даже не расслышал его. Он был погружен в себя. Старался честно разобраться в своих чувствах и дивился: он не испытывал ни малейшей досады. Впрочем, внутренне он покончил с этим уже два месяца назад; глупо только, что понадобилось целых два месяца, чтобы покончить и внешне, чтобы с этим вообще было покончено. Он не досадовал, но и не радовался; выходка Пфаундлера не разозлила его, но и не позабавила. Разобравшись в себе, он понял, что чего-то ждет.

Тут он увидел, что рядом с ним стоит Иоганна, и ничуть не удивился. Поразило его лишь одно — что она остриглась. Она внимательно смотрела на него. Он похудел, на лице прибавилось морщинок. Да, дорого стоила ему эта история. А Жак Тюверлен внимательно смотрел на нее, и она бесконечно ему нравилась, и он обзывал себя ослом за то, что так долго ей не писал. Оба понимали, что подвели черту под целым этапом жизни, далеко не лучшим, и с радостью готовы начать новый и лучший.

Обозрение все еще не кончилось. Пожалуй, было странно, что Иоганна пришла за кулисы до конца спектакля. Но Тюверлен ни о чем не спросил ее. Напротив, собрав в складки и без того морщинистое лицо, полусердито, полунасмешливо сказал:

— Наконец-то. Могли бы, кажется, прийти и пораньше.

И она покаянным тоном ответила:

— Вы правы, Тюверлен.

Не дождавшись конца обозрения, они ушли, очень довольные, не замечая всеобщей неприязни и презрительных взглядов, которыми их провожали даже пожарник и капельдинер.

На улице было свежо и чудесно, они радовались, что идут рядом.

— Вы плохо выглядите, Тюверлен, у вас совсем больной вид,— сказала Иоганна.— Надо бы вам пожить в тишине, на свежем воздухе.

— А я и собираюсь,— как всегда скрипуче, ответил тот.— Не думаете же вы, что я намерен присутствовать на всех представлениях этого шедевра.

— Куда мы, собственно, идем сейчас?— спросила Иоганна.

— Ко мне, разумеется,— ответил Тюверлен.

— Но я голодна, как волк,— сказала она.

— Ну, какая-нибудь завалящая сда найдется даже у такого горе-драматурга,— сказал Тюверлен.— Впрочем, после событий нынешнего вечера готовить ужин придется вам.

— Вот уж анализ вашего характера никого не поставит в тупик, Тюверлен,— сказал Иоганна.— В нем и слепая курица разберется.

— Какой же я? — спросил Тюверлен.

— Мальчишка-сорванец,— ответила Иоганна.

Пока они, болтая, шли к Тюверлену, обозрение «Выше некуда» пришло к концу. Публика шумно аплодировала, но все понимали, что и одобрительные возгласы, и аплодисменты в равной степени неискренни, ничего не значат. Лишь один человек не понимал этого, вопил, топал ногами, был в восторге. Человек примечательной внешности, с длинной, расчесанной на две стороны бородой и глубоко посаженными, сияющими, хитрыми синими глазками. Рохус Дайзенбергер, апостол Петр из Оберфернбаха.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА

1. *«Броненосец «Орлов»*
2. *Козерог*
3. *Жизнь на лоне природы*
4. *Старая Бавария*
5. *О семи ступенях людского счастья*
6. *Страну посещает доллар*
7. *Добрый вечер, крыса!*
8. *Еще не успеют зацвести деревья*
9. *Из истории города Мюнхена*
10. *Шапка-невидимка*
11. *Северный строй души*
12. *Умен или глуп, он мой город родной*
13. *Перчатка*
14. *О политике, поощряющей прирост населения*
15. *Помните о пекаре!*
16. *О честной игре*
17. *Каспар Прекль сжигает «Смиренное животное»*
18. *Некто бросается на решетку своей клетки*
19. *Незримая клетка*
20. *Река Рур*
21. *Господин Гесрейтер ужинает между Флиссингеном и Хариджем*
22. *Неординарные характеры*
23. *Калибан*
24. *Письмо в ночи*
25. *К + М + Б*
26. *Маска Иоганны Крайн*
27. *Адвокат Гейер кричит*
28. *Небесное знамение*
29. *Деревья зацвели*
30. *Желанный час Франца Флаухера*
31. *Просвет в тучах*
32. *De profundis*

1

«БРОНЕНОСЕЦ «ОРЛОВ»

До вечера еще далеко, берлинские кинотеатры или закрыты, или наполовину пусты, и только перед этим кино выстроились в ряд машины. Много полицейских. Зеваки. Фильм «Броненосец «Орлов» шел уже тридцать шесть раз, по четыре раза в день, его посмотрели тридцать шесть тысяч берлинцев. Но все взволнованы, словно им сейчас впервые покажут такое, чего ждет не дождется мир.

Кленк, который и сидя на голову выше своих соседей, не разделяет общего возбуждения. Он читал, что в фильме нет ни сюжета, ни действия, ни женщин, ни занимательности — одна тенденция. Но раз уж он в Берлине, можно и посмотреть. На удочку еврейских кинопрокатчиков, устроивших эту шумиху, он все равно не попадется.

Первые музыкальные такты, пронзительные, режущие, фортиссимо. Секретные документы из архива морского министерства: такого-то числа, такого-то месяца в виду города Одессы из-за недоброкачественной пищи взбунтовался экипаж броненосца «Орлов». Значит, матросы взбунтовались. Что ж, это бывало и раньше. Мальчишкой он взахлеб читал о подобных происшествиях. Интересно для подростков. Бывший министр Кленк ухмыляется.

Матросский кубрик. Подвесные койки, теснота. Матросы беспокойно спят, боцман настороженно шныряет между ними. Сделано, в общем, неплохо. Носом чуешь, какой там спертый воздух. Впечатление усугубляет приглушенная, щемящая музыка.

Утро. Матросы обступили висящий на крюке кусок говядины. Гневные лица. С каждой секундой людей все больше. Можно не принюхиваться — и без того ясно, что говядина протухла. Мясо крупным планом: оно кишит червями. Очевидно, матросов не впервые кормят тухлятиной. Брань. Ну еще бы! Приводят тщедушного человечка — это судовой врач. Он надевает пенсне и приступает к исполнению служебных обязанностей — осматривает говядину, находит, что она пригодна к употреблению. Ее закладывают в котел. Матросы отказываются есть это гнилье. Ругаются. Будничное событие, поданное просто, без курсива. Кусок червивого мяса, матросы, офицеры. Офицеры, судя по всему, не очень способные, но и не тупицы. Материал среднего качества. Примерно, как у нас, в Баварии. Занятно, что Кленка берут за живое эти обыкновенные люди и события.

Недовольство на броненосце растет, хотя, в чем оно выражается, сказать трудно. Но все чувствуют, что надвигается катастрофа, каждый зритель в зале это чувствует. Господа офицеры на полотне экрана относятся ко всему чересчур беспечно. Почему они так легкомысленны, почему не принимают решительных мер? Они же не слепые. Впрочем, в последний год войны мы тоже чувствовали, как оно надвигается, и тоже начали действовать слишком поздно. Но мы-то не слышали этой молотящей по мозгу музыки. Омерзительная музыка, но невольно подпадаешь под ее власть. Ну, разумеется, этот сволочной фильм надо запретить. Рафинированнейшая пропаганда, черт знает что. Выходит, из-за куска червивого мяса матросы смеют нарушать дисциплину? В годы войны мы еще и не то жрали, любезнейший. И все-таки Кленк стоит за матросов, а не за офицеров.

Молотящая, угрожающая мелодия ширится, возмущение нарастает. Капитан отдает приказ всему экипажу выстроиться на палубе. Спрашивает, кто недоволен пищей. Замешательство. Несколько человек выступают вперед. И мгновенно, каким-то неуловимым маневром, лучшие из матросов, зачинщики, бунтари, отрезаны от остальных. Между ними и их товарищами — широкая, неодолимая, грозная полоса отчуждения. Ну и ловкачи эти офицеры — одним махом прижали к ногтю мятежников, бунтовщиков. Остальные испуганно жмутся друг к другу. Кучка вожаков отделена канатом, загнана в угол. Вот они стоят — эти горлодеры, жалкая, трясущаяся горсточка людей. Их накрывают брезентом. Под ним — какое-то слабое, смешное копошение. На брезент направлены дула винтовок. Звучит

команда, спокойная, четкая. Лицо какого-то матроса, его широко раскрытый рот. Вопль. Раздается команда — «Пли!» Тишина. Винтовки молчат.

Людьми — и на экране, и перед экраном — овладевает головокружительный порыв. Зачем они так долго ждали? Но теперь это началось, теперь они восстают, теперь их не остановишь. И люди перед экраном ликуют, аплодируют людям на экране. Под звуки свирепой, торжествующей, молотящей, омерзительной музыки они аплодируют тому, что происходит на экране,— бешеной, смешной и жуткой охоте на офицеров, которых вытаскивают из самых неожиданных укрытий и бросают за борт, в беззаботно вздымающиеся волны, в том числе и тщедушного судового врача вместе с его пенсне.

Гигант Кленк сидит, затаив дыхание, тихий как мышь. Запретить это? А какой смысл? Это есть, люди вбирают это с каждым вдохом, это существует в мире, это само — целый мир, и отрицать это бессмысленно. На это нельзя не смотреть, эту музыку нельзя не слушать, это нельзя запретить.

Спускают флаг. При неистовом ликовании по флагштоку ползет другой, красный флаг. Теперь всем командуют матросы, но машина работает безотказно. Осененный красным флагом броненосец входит в порт города Одессы.

Горожане боязливо глазеют на красный флаг, изумленно разевают рты, радуются. Дыхание учащается, крик восторга рвется наружу. Люди стекаются к кораблю, сперва поодиночке, потом их становится все больше, потом весь город совершает паломничество к телу убитого матроса, перевезенного на берег, множество лодок кружат у корабля под красным флагом, жители делятся с матросами своими скудными припасами.

Кленк злится. Что же, другие так и будут сидеть сложа руки? Спокойно все стерпят? Он вовсе не на стороне других, он слишком живой человек, чтобы не заразиться могучим пафосом событий. Но его сердит, что этот фильм, такой правдивый вначале, перестает быть правдивым из-за подобного промаха. Он злится на фальшь.

Но смотрите-ка, никакой фальши нет. Появились и другие. Они не сидели сложа руки. Они появились.

Появилась лестница. Широкая грандиозная лестница, которой не видно конца. По ней безостановочно идут люди — они несут свое сочувствие восставшим. Но вот уже на лестнице и те, другие. По ней спускаются казаки, винтовки наперевес, спускаются медленно, грозно, неодолимо, занимают всю ширину лестницы. Словно дрожь пробегает по толпе. Люди уско-

ряют шаг, бегут, несутся, бегут прочь, спасаются. Иные еще ничего не успели заметить, ничего не понимают, удивленно медлят. Зрители видят солдатские сапоги, огромные, неторопливые, они ступень за ступенью спускаются по лестнице, зрители видят, как из винтовочных дул вылетают дымки. И теперь люди уже не бегут — они мчатся по лестнице во всю мочь своих ног и легких. А иные катятся вниз кувырком, но кувыркаются они не по своей воле, не по воле своих ног и легких, а по закону тяготения: они мертвы. И так же новозмутимо шагают казачьи сапоги, и все больше тех, кто кувыркается и катится. Женщина, которая везла детскую коляску, уже не везет ее, кто знает, где она, здесь ее больше нет; а коляска продолжает свой путь — ступень, еще одна, и еще, шестая, десятая, и, наконец, коляска останавливается. А за ней — огромный, неторопливый казачий сапог.

И на флоте тоже не сидят сложа руки. К броненосцу стягиваются другие суда, колоссальные, мощные. «Орлов» окружен. Корабль под красным флагом приведен в боевую готовность. Стволы орудий, зеркально-гладкие, громадные, устрашающие мифические звери, наводят на цель, они поднимаются, опускаются, стрéлки измерительных приборов лихорадочно скачут. Все у́же круг стальных смертоносных существ, до последней мелочи выверенных организмов. «Орлов» держит курс на них. Его окружают, ему грозят суда того же класса, что он, их шесть, восемь, десять ему подобных. Надежды прорваться нет — орудия «Орлова» не более дальнобойны, чем орудия врагов. Победить он не может, но может, погибая, нанести смертельный удар неприятелю. И по мере того как гигантские суда медленно сжимают кольцо вокруг «Орлова», на экране и перед экраном нарастает глухое, невыносимое напряжение.

И тут обреченный корабль начинает подавать сигналы. Пестрые флажки взлетают, опускаются. Трепещут. «Орлов» сигнализирует: «Братцы, не стреляйте». Медленно приближается к врагам, сигнализируя: «Не стреляйте». Слышно тяжелое дыхание людей перед экраном, ожидание становится нестерпимым. «Не стреляйте!» — надеются, молят, заклинают всеми силами души восемьсот человек в берлинском кинотеатре. Мягкий ли, миролюбивый ли человек бывший министр Кленк? Отнюдь нет, он расхохотался бы, сочти его кто-нибудь таковым: он груб, заносчив, не подвержен сентиментальности. Какие же мысли проносятся у него в голове, пока броненосец с мятежниками плывет навстречу наведенным на него оруди-

ям? Он тоже всеми силами своей необузданной души молит и заклинает: «Не стреляйте!»

Безмерное ликование переполняет сердца, когда неприятельские суда пропускают «Орлова», когда, невредимый, он входит в нейтральный порт.

Нахлобучив фетровую шляпу на огромную голову, накинув на плечи грубошерстный непромокаемый плащ, министр Кленк вышел из душной темноты кинотеатра на залитую солнцем широкую улицу. Он был в непонятно угнетенном настроении. Как же так? Разве он сам не отдал бы приказа стрелять в мятежников? Почему же в таком случае он заклинал: «Не стреляйте?» Да, выходит, это действительно существует и, запрещай не запрещай, будет существовать, и незачем закрывать на это глаза.

Он видит в витрине свое лицо, видит на нем непривычное выражение беспомощности. Он похож сейчас на зверя в капкане. Что же случилось? С чего вдруг такая перемена? Кленк принужденно смеется. Подзывает такси, выколачивает трубку, раскуривает ее. И напряжением воли снова придает лицу обычное неукротимое, самодовольное и самоуверенное выражение.

2
КОЗЕРОГ

Бывший баварский министр юстиции Кленк стоял в одиночестве, прислонившись к буфету, и смотрел на веселую толпу гостей, собиравшихся у главы рейхстага на «пивной вечер». С момента своей отставки он как-то яснее стал понимать людей и ход событий, город Берлин и город Мюнхен. Раньше, когда Берлин заявлял, что Бавария — тяжкое бремя для всей Германии, что она вредит стране, задерживая ее развитие и нанося ущерб престижу, он считал это вздорной брехней, цель которой — подорвать кредит южной соперницы. Теперь, к великому своему огорчению, ему пришлось признать: для Берлина Бавария действительно отсталый и упрямый ребенок, которого приходится волоком тащить по трудной и чреватой опасностями дороге.

Прислонившись к буфету, он машинально, одну за другой, ел булочки. Правильно ли он поступил, сразу после отставки связавшись с «истинными германцами»? Все были поражены, что человек такого масштаба докатился до роли агента этих «пат-

риотов». Чего они стоят, он, разумеется, знал не хуже спесивых берлинцев. Вдохновленный свыше Руперт Кутцнер был отнюдь не Орлеанской девственницей. Превосходный организатор, отличный барабанщик, но от рождения законченный осел. Другой светоч «патриотов», генерал Феземан, тронулся, потерпев поражение на войне. Вот уже восемь лет, считая с начала войны, в грандиозной европейской трагедии «истинные германцы» выступают в качестве комических персонажей. Все это очевидно, как суп с клецками. И вместе с тем патриотическое движение привлекало его даже тогда, когда он боролся с ним, а по многолетнему опыту он знал, что в политике куда полезнее следовать не разуму, а чутью.

Но, так или иначе, до чего это приятно — не нести никакой ответственности. Сейчас он такой полновластный диктатор, как никогда в жизни. Когда Кленк соглашается показаться на люди вместе с Кутцнером, тот млеет от удовольствия. При всех своих властолюбивых замашках, генерал Феземан, поворчав немного для порядка, делает все, что предлагает бывший министр юстиции. Омерзительный Тони Ридлер сведен к нулю, ничтожен и жалок. Как же не порадоваться этому. Но всего приятнее наблюдать за бывшими коллегами, за животным страхом, охватившим их, когда он присоединился к «патриотам». Они спихнули его, говнюки, подлое отродье. «Пусть их заживо сгниют!» — вспомнил он старинное проклятие своих земляков, и в его ушах зазвучали такты из увертюры, сочиненной некогда великим немецким композитором к великой трагедии,— странно волнующие, перемежающиеся паузами глухие удары литавр. Он уже давно не слышал этой музыки, не вспоминал о ней. Но в эти последние недели она всегда была в нем. Роковые удары литавр, достойная интродукция к трагедии, герой которой, полководец Древнего Рима, одаренный великим талантом и еще более великим высокомерием, свергнут народом и по собственной воле, разгневанный, уходит в изгнание, откуда шлет проклятия отчизне.

Он сунул в рот пятую булочку, поглядел на толпу в зале. Эти людишки думают, что он корчит из себя оскорбленную невинность, этакого баварского Катилину: мол, порядочные люди отвернулись от него, вот он и свел компанию с подонками, с тупицами и поджигателями. Может, и впрямь то, что его принудили связаться с подонками, повредит Баварии, которую он так любит. А может, если он приложит к этому делу свои немалые силы, все обернется к лучшему и даже тупость пойдет стране во благо.

И все равно он черт знает как сглупил, когда влез в эту историю. Теперь ради какого-то Кутцнера ему приходится обивать пороги у северногерманских промышленников. Гоже ли такому человеку, как он, лизать зады всякой швали? Не разумнее ли закатиться месяца на три в Берхтольдсцель, охотиться сутками напролет, прочесть парочку хороших книг? Да и невредно заняться своим драгоценным отпрыском, Симоном, пареньком.

Отто Кленк вдруг оживился и деловой походкой, словно спешил сообщить кому-то весть первостепенной важности, направился в другой конец зала. Там, забившись в угол, одиноко сидел погруженный в себя, сумрачный, небрежно одетый человек. Он вздрогнул, увидев гиганта Кленка, потом тоже оживился и из-под прикрытия очков с толстыми стеклами впился в него умными, настороженными, проницательными глазами.

Массивный Кленк уселся рядом с хрупким доктором Гейером, который даже и не старался скрыть волнение, перебирал пальцами, нервно моргал. Кленк заговорил вполне миролюбиво. Как понравился господину депутату Берлин? Доволен ли он, что перебрался сюда? Он, Кленк, ожидал, что доктор Гейер будет куда резче нападать на баварскую юстицию.

Кленк наступил на больную мозоль. Доктор Гейер стал в Берлине на удивление беззуб. Его выступления на пленумах рейхстага и в комиссиях были совершенно бесцветны. Знаменитый адвокат оказался пустышкой. Едва он уехал из Мюнхена, его словно разбил паралич. Все его выступления были вымученны, монотонны, неубедительны.

Адвокат внимательно смотрел на врага. Тот бодрился, но выглядел неважно. Куртка на нем болталась, черты крупного худого лица стали еще резче. Адвокат отмечал про себя мельчайшие следы перенесенного Кленком недуга. С чувством далеко не простым. Его ошеломило известие, что Кленк вступил в организацию «патриотов». Кленк отнюдь не глуп, Кленк любит Баварию. Как же, должно быть, выбили этого человека из седла болезнь и отставка, если он предал интересы родины и стал некоронованным королем этой смехотворной партии. Доктор Гейер страдал от мысли, что сидевший напротив него враг так сдал.

Кленк думал иначе. Весь день он никак не мог побороть какой-то отвратительной подавленности. Он всегда был уверен в себе, а сейчас в этом проклятом здравомыслящем Берлине вдруг с горечью почувствовал, до чего непочтенно-сомнителен его нынешний путаный политический курс. Не так уж приятно

ходить деревенским, баварским дурачком среди берлинских мудрецов. И стоило мучительного напряжения напускать на себя при этом самоуверенное благодушие. Но этого человека он знал вдоль и поперек и сразу овладел собой. Вот он сидит перед ним, его враг. Пусть он сейчас вошел в силу, но внутренне ничтожен и слаб, и вполне естественно противопоставить его взглядам свои собственные.

— Известно ли вам, доктор Гейер,— заговорил он,— что в Мюнхене все жалеют о вашем отъезде? С такими пешками, как эти господа Грунер и Винингер, и схватываться неинтересно. На них и дунуть не успеешь, как они и с копыт долой. Жаль, жаль, что мы вас потеряли.

Адвокату и самому было жаль. Он тосковал по проклятому городу. Не только потому, что там остался мальчик, что там остался Кленк, враг; с тех пор как он переехал в Берлин, ему стало не хватать и многого другого. С какой радостью он проводил бы воскресные дни в том самом «Тирольском кабачке», где когда-то сидел среди врагов и друзей, испытывая только неудовольствие! Что поделаешь, человек легко привыкает ко всему, даже к тому, что претит.

Он давно уже мечтал о встрече с Клеиком, обдумывая, что ему скажет, чем уязвит. Но когда адвокат оказался лицом к лицу с поверженным врагом, язык прилип у него к гортани. Ответы его звучали вяло. Найдутся люди, которые заменят его. С тех пор как в Мюнхене орудует господин Кутцнер, от приезжих, вероятно, отбоя нет. Всякая гнусь, которой больше нигде нет места, устремляется в Мюнхен, рассчитывая на тупоумие баварцев. Сорняки, отовсюду выкорчеванные, приживаются на берегах Изара. Еще бы! Баварская земля хорошо унавожена.

Кленк подумал о генерале Феземане и решил, что в словах адвоката есть доля истины. И еще он подумал, что тот говорит без всякого подъема и вообще, судя по всему, не в лучшей форме. Но вслух этого не сказал. Зато, свергнутый с былой высоты, мгновенно нащупал единственное уязвимое место противника. Начал Кленк с того, что вот как они нынче мирно беседуют. Очень отрадно, когда при совершенно разных политических платформах люди доброжелательны друг к другу. Теперь он частное лицо, старается спокойно разобраться в политике, и ему нередко случается беседовать у «патриотов» с молодым человеком, близким, насколько он знает, депутату Гейеру. Так что, как всегда, круг замкнулся.

Когда Кленк произнес эти слова, сердце доктора Гейера сжалось, подступило к горлу. Значит, удар опять нанесен от-

туда. Значит, теперь они объединились против него — его враг и мальчик. И все равно ему хотелось задать Кленку нелепый вопрос — как обстоят дела у мальчика. Но он не позволил себе этого, как не позволил себе унизить противника намеком на его падение. Не спрашивал, не уязвлял. Просто смотрел на Кленка и видел, что тот продолжает говорить. А когда до адвоката снова начал доходить смысл слов, понял, что Кленк говорит не столько для него, сколько для себя. Говорил он о детях, о сыновьях. О том, что проблемы наследственности — зыбкая почва, что и наука не дает никакой твердой опоры. Зато, с точки зрения чувства, тут все проще простого. Человек хочет себя продолжить, не может смириться с тем, что когда-нибудь его не станет. Потому-то мы и видим в детях самих себя, потому и хотим, чтобы они были нашим образом и подобием. Приблизив крупное, жесткое лицо к тонкому, нервному лицу адвоката, понизив до шепота густой бас, он доверительно сказал, что, как ни удивительно, этот юноша, Эрих Борнхаак, считается самым рьяным из «патриотов». Но сказал это не как враг и тут же заговорил о собственном сыне, о Симоне, о своем пареньке, который тоже порядочное дрянцо. И все-таки хорошо, что он существует на свете.

Почти сразу после этого Кленк встал и начал прощаться. Перед самым уходом благожелательно сказал:

— А знаете, доктор Гейер, пробудь я на своем посту еще хоть неделю, я амнистировал бы вашего пресловутого доктора Крюгера.

Адвокат, продолжая сидеть, смотрел на стоявшего перед ним гиганта. Он видел, что тот не лжет. Да и зачем ему было лгать? Жаль, что враг расстался со своим министерским креслом. Жаль, что он, Гейер, не сказал ему всего, что должен был бы сказать. Жаль, что не нанес удара такого же меткого, какой был нанесен ему. Но Кленк попрощался, Кленк ушел, нежданной встречи уже не вернуть.

Все последующие дни Кленк совещался с банкирами и промышленниками, на поддержку которых рассчитывали «истинные германцы». Часы, проведенные с этими людьми, никак нельзя было назвать приятными. Достопочтенные господа разглагольствовали насчет родины, германского духа, нравственного обновления. Но Кленк отлично понимал, что деньги «патриотам» они дают только в надежде расколоть ряды красных, противопоставить их организациям организации белых. Когда речь заходила о цифрах, они мгновенно переставали интересоваться идеями и требовали гарантий, что на их день-

ги «истинные германцы» создадут надежный оплот в борьбе с рабочими и их требованиями. Кленка одинаково воротило и от высокопарной болтовни, и от торговли по поводу расходов на каждую ячейку, на каждый военизированный отряд. Со злостью он отмечал про себя и то, что все эти господа неизменно справлялись о позиции, которую занимает Рейндль. Кленк терпеть не мог Пятого евангелиста. Ему нередко казалось, что тот водит за нос и его, и всю партию. С досадой видел он сейчас, как велико влияние этого человека.

И все-таки Кленк не мог пожаловаться на неуспех. Его самоуверенность и благодушие невольно действовали на господ промышленников. Но, снова и снова убеждаясь, что понятия родины и чистогана сливаются для них в единую и нераздельную нравственную категорию, он ощущал мучительное, гнетущее чувство одиночества. Он вспомнил, как однажды стоял над мертвым козерогом,— ему удалось подстрелить эту редкую дичину, когда он гостил у высокопоставленного приятеля. Козероги удивительные, старомодные животные, они не желали приручаться и были обречены на вымирание или неволю в зоологических садах. Они жили гордо и одиноко. С поразительной ловкостью взбирались на отвесные скалы, спокойно переносили жесточайшие холода. Выискивали высокие горные пики и там подолгу стояли, одинокие, неподвижные, как изваяния. Отмораживали себе уши, но не замечали этого. Были безмерно драчливы. Приручению поддавались только совсем маленькие козлята. Взрослые козероги были сумрачные и недобрые существа, до того упрямые, что с ними не мог сладить ни один сторож. Вот о таком, убитом в итальянских Альпах, козероге и вспоминал бывший министр Кленк, когда вел переговоры с промышленниками, единодушными, целеустремленными, учтивыми, здраво скаредными, здраво патриотичными.

В Мюнхен Кленк возвращался самолетом. Если смотреть на землю сверху, сразу видно, до чего ничтожно пространство, занимаемое людскими поселениями. Внизу поля, леса, реки, как и тысячелетия назад. Города, которые кажутся людям невесть чем, а на самом деле просто кучки грязи среди необозримого простора. Если бы тысячелетия назад человек поднялся в воздух, он увидел бы землю почти такой, какой видел ее сейчас Кленк, несмотря на все громкие речи о великих городах, о промышленности, прогрессе, социальных переменах.

Когда самолет летел над Дунаем, Кленк думал, что, судя по всему, некоторые виды живых существ самим ходом вещей обречены стать ручными и цивилизованными. Может ли чело-

век утверждать, что волк более отсталое животное, чем собака? Во всяком случае, он, Кленк, прирожденный козерог и не предполагает сделаться симпатичным и потешным домашним козликом. Останется козерогом, даже с риском отморозить себе уши. И Симона, паренька, воспитает козерогом.

3

ЖИЗНЬ НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ

Они лежали на лесистом склоне, под ними были коричнево-красные листья, внизу наискосок — озеро, над ними — пронизанное светом небо. Осень на Баварском плоскогорье была неизъяснимо прекрасна, один день следовал за другим, ясный и блистающий. Они купались в прозрачных волнах огромного озера, вылезали из прохладной воды, разминали руки и ноги, стараясь согреться, нежились в теплых лучах солнца. Сидели в большом фруктовом саду за красиво накрытым столом, глядя то на деревню, широко раскинувшуюся на другом берегу, то на юг, где тонко и остро выступали на фоне неба горные зубцы. Всего час езды в машине на северо-восток — и вот он, Мюнхен, с его семисоттысячным населением, занятым сейчас только одной мыслью — как бы раздобыть хоть немного еды и одежды на деньги, которые каждый день и каждый час все больше обесценивались. Потому что доллар уже стоил тысячу шестьсот шестьдесят пять марок, за центнер картошки запрашивали тысячу сто марок, за самое дрянное зимнее пальто — не меньше тысячи двухсот семидесяти марок. К тому же цены так фантастически не соответствовали одна другой, что голова шла кругом. Можно было за недорогую плату снять квартиру, за баснословно дешевую цену проехать по железной дороге шестьсот пятьдесят три километра от Мюнхена до Берлина, но восемь фунтов яблок стоили столько же, сколько эта поездка, а пятнадцать — не меньше, чем трехмесячная плата за трехкомнатную квартиру. И, валяясь на берегу тихого озера, как было представить себе, что всего в часе езды люди вырывают друг у друга из рук газеты и, лихорадочно впиваясь в них, стараются высчитать, какой цифрой выражается в эту минуту их состояние?

Иоганна и Жак Тюверлен плохо представляли себе это. Сразу после премьеры обозрения Тюверлен предложил Иоганне провести с ним осень на лоне природы, и она тут же согла-

силась. Не спрашивая, куда он повезет ее, села к нему в машину, и вот они на берегу прозрачного, тихого Аммерзее. Вместе с злополучным обозрением для Тюверлена словно бы кончилась и полоса невезения. Одна из его книг неожиданно имела успех за границей, принесла гонорар в иностранной валюте, а в Германии, при царившей там инфляции, это означало много месяцев безбедного существования.

Города́ лихорадило, а они вдвоем, уйдя в свою скорлупу, мирно жили день за днем. Они сняли скромный, но вместительный дом — виллу «Озерный уголок», которая привлекла Тюверлена уютностью названия. У них был свой собственный кусочек берега, купальня, лодка, большой фруктовый сад. После тягостной работы в пфаундлеровском театре Тюверлен с радостью, с наслаждением засел за радиопьесу «Страшный суд». Разыскивал материалы, собирал их, накапливал. Иоганну тоже засадил за работу, не щадил ни ее, ни себя. Увлеченно и педантично прочитывал тома писем, газеты, документы, бросающие свет и на отдельных людей, и на культуру эпохи. Вникал в так называемую действительность, в свидетельства очевидцев, во все, в чем эта действительность проявлялась. Разве для получения ничтожного количества радия не приходится тратить целые горы сырья? Вот и он, чтобы извлечь хоть немного истинной реальности, должен дистиллировать бесконечное количество сырой, неочищенной действительности.

К полному недоумению Иоганны, Тюверлен использовал лишь крохи материала, более того, иной раз совершенно его переиначивал. Она даже сердилась на него из-за этого. Зачем, спрашивала она, так менять подробности, известные всему свету, что они начинают выглядеть досадными промахами? Зачем он заставляет своих персонажей слушать радио, хотя они живут в годы, когда радио еще не вошло в быт? Зачем, отлично зная в лицо министра юстиции Кленка, он заменяет его выдуманным министром Преннингером? Весело щурясь, Тюверлен вглядывался в силуэты далеких гор.

— Видишь «Коричневую стену»? — спросил он.

— Конечно,— ответила Иоганна.

— А «Девять зубцов»?

— Их отсюда не видно,— удивленно возразила она.

— Но если проехать еще сорок километров, ты сможешь их сфотографировать. А «Коричневая стена» скроется из виду. Я не хочу фотографировать подробности того или другого года, а хочу нарисовать картину целого десятилетия. Потому и меняю подробности, которые сегодня вполне правдивы, но с рас-

стояния пятидесяти или даже двадцати лет покажутся выдуманными. Историческая правда глубоко отлична от нотариально заверенной действительности. Возможно, через двадцать лет радио будет казаться реальной и необходимой подробностью нашего десятилетия, хотя в году таком-то оно еще не вошло в быт. Теперь тебе понятно, почему я действительно существующего министра Кленка заменил выдуманным министром Преннингером?

— Нет,— сказала Иоганна.

А в общем, это было хорошее для нее время. Глядя, как упорно, сосредоточенно и радостно работает этот человек, она ни разу не усомнилась — есть ли смысл в том, что он делает? И нужное ли это дело? А если нужное, то для кого? Тюверлен трудился с такой же бессознательной уверенностью, с какой зверь устраивает себе логово. Однажды она спросила, какую высшую реальность мог бы он извлечь из ее действительности? Они лежали рядом под ярким солнцем на мостках, далеко вдававшихся в озеро. Прищурившись, Тюверлен оглядел ее; на его коричнево-красном от загара, голом лице особенно четко выделялись редкие светлые волоски. Потом своим скрипучим фальцетом заявил, что ему лень отвечать. Но Иоганна настаивала, и он сказал, что уже знает, как придать ей и ее судьбе высшую реальность. Например, показать, что борьба даже во имя справедливого дела порою превращает хорошего человека в плохого. Снова искоса поглядел на нее прищуренными глазами. Она промолчала, только взглянула на свои ногти, уже не блестящие и миндалевидные, а квадратные и тусклые.

Может быть, они стали такими потому, что Тюверлен научил ее править машиной. Она отдалась новому спорту энергично, целеустремленно, и оба при этом много смеялись. В свободное от работы время они катались на лодке, бродили по лесистым склонам, уезжали далеко в горы. Вода в озере была уже холодная, но, когда они плавали наперегонки, Иоганна почти не уступала Тюверлену. Несколько раз даже оказалась выносливее, чем он.

Однажды, без всякой причины, Тюверлен вдруг забросил радиопьесу «Страшный суд» и взялся за какую-то новую вещь. Целую неделю он ожесточенно и сосредоточенно трудился. Иоганна не спрашивала, что он сейчас пишет, а Тюверлен, обычно такой откровенный с ней, на этот раз молчал. Даже за столом он иногда сидел с необычайно мрачным и таинственным видом. Иоганна относилась к этой работе Тюверлена с суеверным страхом и очень его любила.

Потом, когда на шестой день они в лодке плыли по озеру, Тюверлен, как во время их первой загородной поездки шестнадцать месяцев назад, прочитал написанное. А написал он тот самый посвященный делу Крюгера очерк, который и сегодня можно считать образцовым — с такой четкостью излагались в нем ход процесса и его предыстория, с такой пронзительной отстраненностью описывалась чудовищно устарелая машина правосудия тех лет. После чтения очерка, эпиграфом к которому были взяты слова Канта о том, что между правом и этикой нет ни малейшей связи, они заговорили о заключенном Крюгере и его судьбе. Тюверлен относился к Мартину Крюгеру все так же неприязненно. Ему не нравились его книги, не нравился и он сам. Сколько вокруг людей, попавших в беду и более достойных сочувствия, чем Крюгер. Но помочь ему необходимо, это яснее ясного. Он, Тюверлен, не любитель пышных фраз и разглагольствований об этике, о социальной солидарности. Чтобы жить в мире с собой, ему достаточно некоторой чистоплотности. Его социализм начинается с собственных домашних дел. Иоганна снова налегла на весла: она была в смятении, не знала, что сказать. Не понимала человека, которого любила. Почему, никем не прошенный, взялся он вызволять из-за решетки своего соперника?

— Немного попрактиковавшись,— скрипуче говорил Тюверлен,— любой негодяй может разыграть роль этичного человека. Перед собой и всеми на свете. А я такой этике предпочитаю честную игру.

Когда в последний раз вспоминала Иоганна Мартина Крюгера? Вчера? Позавчера? Так или иначе, после разговора с Тюверленом она написала несколько писем: адвокату Лёвенмаулю, который после отъезда Гейера в Берлин вел дело Крюгера, самому Гейеру, Пфистереру и даже кронпринцу Максимилиану. Адвокат Лёвенмауль в ответном письме подробно излагал все, что им было сделано, все за и против в вопросе о пересмотре дела. Из этих одиннадцати напечатанных на машинке страниц Иоганна извлекла только одно: дело Крюгера застыло на мертвой точке. Адвокат Гейер объяснял ей, что это дело теснейшим образом связано с общеполитическими вопросами. Его письмо было написано с блеском, с обдуманной иронией, исполнено оптимизма, непререкаемо логично. Внизу следовала приписка от руки, и даже не будь Иоганна графологом, она и то поняла бы, что ей писал человек, потерявший почву под ногами. Из канцелярии претендента на престол пришло учтивое, уклончивое, бессодержательное послание. Зато доктор Пфистерер, боль-

ной и, видимо, писавший с большим трудом, настрочил ей письмо от руки, подробное, сочувственное, полное обобщений и неистребимой надежды на то, что, быть может, человек все-таки благороден, благожелателен и добр.

Успех Тюверлена за границей рос и рос. Умножалась слава, умножались деньги. Он подарил Иоганне автомобиль.

Порою Иоганна думала — хорошо бы иметь ребенка от Тюверлена. Она завела с ним разговор, намекнула на свое желание. Он не понял намека. Она замолчала.

Они жили скромно. Тюверлен дал своей экономке отпуск, хозяйством занималась вечно сонная, неразговорчивая девушка из ближней деревни. Но однажды она заговорила: сказала Иоганне, что беременна. Тот мерзавец, который виноват в этом, не желает себя связывать и, уж конечно, присягнет, что он тут ни при чем. В Мюнхене есть доктор, к которому всегда в таких случаях обращаются местные девушки, он охотно и за небольшую плату освобождает их от плода. В те времена врачам, делавшим аборты, грозило суровое наказание. Промышленные магнаты стремились усилить государство, увеличив народонаселение; не слушая благоразумных предупреждений, они добились введения строгих мер против всех, кто как-либо способствовал ограничению рождаемости. Если из-за болезни или нужды женщина не желала иметь детей, ей приходилось делать аборт в строжайшей тайне и, главное, за большие деньги. Служанка просила Иоганну дать ей взаймы.

Как только Тюверлен оторвался от работы, Иоганна, взволнованная и полная сочувствия к девушке, рассказала ему эту историю. Неужели он не поймет, что попутно она говорит и о другом, о самой себе? Он не понял. Досадливо попенял на то, что не успел привыкнуть к глупой физиономии служанки и вот, извольте радоваться, надо привыкать к новой. Впрочем, он надеется, что в Мюнхене удастся провернуть это дело за два-три дня. И с этими словами протянул Иоганне несколько черно-зеленых долларовых бумажек. Потом они снова углубились в работу над радиопьесой «Страшный суд».

4
СТАРАЯ БАВАРИЯ

Старая Бавария была небогата. Четыре горных хребта пересекали ее территорию. Некогда они причиняли ей много бед, потом земля поуспокоилась, перестала колебаться. Но ее сокро-

вища — каменный уголь, натуральные цементы оказались на такой глубине, что добраться до них не было возможности.

Старая Бавария — каменистый, угловатый кусочек нашей планеты. Уже в начале нынешней геологической эры она лежала меж двух миров, подобная клину и, стиснутая ими, была отделена от северных краев и не слишком связана с южными.

В стране были высоты и низины, горы, озера, реки. Небо над ней сияло голубизной, воздух был так чист, что все краски как бы светились. Этот уголок земного шара, спускающийся с Альп к Дунаю, радовал людские глаза.

С незапамятных времен обитатели Баварии занимались сельским хозяйством и не терпели больших городов. Они любили свою землю, были выносливы и сильны, отличались остротою зрения и близорукостью ума. Умели обходиться малым, но за свою собственность держались руками, зубами, когтями. Неторопливые, не слишком сообразительные, не желавшие гнуть спину ради будущего, они ценили только покой и примитивные радости. Любили свое вчера, были довольны своим сегодня, ненавидели свое завтра. Давали деревням звучные имена, строили дома, на которые приятно было смотреть, украшали их добротной резьбою. Любили прикладное искусство, обожали пестрые одежды, пирушки, игрища, пышные молебствия, процессии, обильное застолье, буйные драки. Любили бродить по горам, охотиться. Но всего больше хотели, чтобы их оставили в покое, чтобы жизнь текла по заведенному порядку, потому что все новое внушало им страх.

Столицей Баварии был Мюнхен, город провинциальный, с неразвитой промышленностью. В нем была тонкая подвижная прослойка феодальной знати и крупной буржуазии, не очень много пролетариев и много мелких буржуа, еще не порвавших с деревней. Город был красив; владетельные князья выстроили там богатые музеи, отличные здания, дворцы, убранные с изысканным вкусом и роскошью, церкви, где высокая духовность соседствовала с приветливой задушевностью. В Мюнхене было много зелени и пивных погребков, окруженных садами, откуда открывался чудесный вид на горы и реку. Красивые магазины были набиты старинными вещами, дедовской удобной мебелью, всевозможным, трогающим сердце хламом. Экономику города определяли его пивные и рудно-обогатительные заводы, ремесла, банки, торговля лесом, зерном и южными фруктами. Мюнхен славился хорошей домашней утварью и лучшим в мире пивом. А в общем, промышленность была бедна. Кто хотел широкого поля деятельности, тот уезжал; городское население

пополнялось за счет младших крестьянских сыновей, которые, по старинному обычаю, не имели права наследования. После свержения монархии понемногу стала разъезжаться и феодальная аристократия — Арко-Валлей, Оттинген-Валлерштейны, Кастель-Кастели, Пошингеры и Тёрринги. Богачей тоже осталось немного. На каждые десять тысяч душ населения только один человек платил налог с дохода в миллион марок и больше. Но город продолжал жить своеобразной, шумной и привольной жизнью, заботясь только о животных удовольствиях и об уюте. Он был вполне доволен собой. «Строить — не лениться, пить — так уж напиться, в луже извозиться» — таков был его девиз.

Четыре столетия назад историк Иоганн Турмайр, известный под именем Авентинус, писал о своих земляках-баварцах, что они люди честные, богобоязненные, домоседы, ездить по белу свету не склонны. Охочи выпить, чадородны. Землеробы, скотоводы, военного ремесла не жалуют. Нрава сурового, своевольного, упрямого. Купцов не терпят, потому у них и торговля в загоне. Заурядный баварец живет, как ему хочется, сутки напролет просиживает за кружкой пива, орет, распевает песни, пляшет, картежничает. Любит, чтобы при нем был длинный нож или еще что-нибудь, чем можно пырнуть в драке. Свадьбы справляет богато и пышно, на поминки и церковные праздники тоже не жалеет денег, таков обычай. В двадцатом столетии баварский историк Дёберль отмечал: характер баварцев никак не назовешь мягким, утонченным, располагающим к себе. Речь у них медлительная, повадки тоже, при этом они склонны к жестокости и насилию, а также к грубо-чувственным наслаждениям, замкнуты и подозрительны, когда имеют дело с инородцами.

С давних времен баварцы хотели одного — чтобы их оставили в покое. В двадцатом веке их в покое уже не оставляли. До этого времени они продавали те сельскохозяйственные продукты, которые были у них в избытке, и покупали все, что им требовалось при их изобильной жизни и невзыскательных вкусах. И вдруг пошли разговоры, что хозяйство в Баварии ведется нерационально. С помощью машин и разумных методов можно куда лучше обрабатывать землю. И где сейчас нужны двое работников, там хватит одного. Железнодорожная сеть расширилась, фрахт стал дешевле. Баварцам начали наглядно доказывать, что чем разумнее обработана и плодороднее земля в стране, тем лучше и дешевле продукты, которые эта страна вывозит. Вдруг оказалось, что от Баварии никто не зависит, зато Бавария зависит от многих.

Баварцы возмущались — что такое стряслось? Всегда все шло как по маслу, почему же впредь не может идти как по маслу? Они не хотели смотреть правде в глаза, но в мире действительно что-то изменилось. Земля давала прежние урожаи, но доходы с них стали ненадежны. И этих доходов попросту не хватало, а почему — непонятно, и все чаще приходилось отказываться от чего-то, имевшегося у других, желанного и прежде вполне доступного, стоило только продать излишки урожая. Оказалось, что без других не обойтись, другие необходимы, и волей-неволей, ворча, пришлось искать спасения от голода в Мюнхене, на фабриках и заводах. При этом дальновидные люди утверждали, что, как сейчас ни плохо, а будет еще хуже. Окостенело-аграрная Бавария мало что значит среди индустриальных стран Центральной Европы. Как автомобиль свел на нет извозчичьи дрожки, так рационально организованное мировое хозяйство постепенно сведет на нет баварское земледелие. Государство только потому поддерживает такое нерентабельное, слишком дорогое хлебопашество, устанавливая высокие пошлины на хлеб и другими способами благотворительствуя Баварии, что в случае войны будет нуждаться в собственных сельскохозяйственных продуктах. Но война — метод устарелый, отмирающий. Сторонники этой точки зрения уже сейчас разрабатывают планы, как понизить пошлины, рационально вести хозяйство, пересоздать всю Европу по разумному образцу. Если планы станут реальностью, если Германия откроет свои границы, сельскому хозяйству Баварии придет конец. И тогда баварец лишится присущих ему крестьянских, своеобычных черт и станет самым обыкновенным человеком.

Баварцы брюзжали, отказывались заглядывать так далеко вперед, им было наплевать на разумно устроенную Европу. Они хотели жить, как жили до сих пор в своем прекрасном краю, просторно и шумно, немного заниматься искусством, немного музицировать, и чтобы вдоволь было мяса, и пива, и женщин, и не слишком редко какой-нибудь праздник, и по воскресеньям хорошая потасовка. Им нравилось жить, как они жили до сих пор. Пусть оставят их в покое эти приезжие, эти чужаки, эти прусские свиньи, эти тухлые окорока!

Их не оставляли в покое. С далекого моря везли в огромных количествах рыбу, из-за моря — мороженое мясо, словно им своей жратвы не хватало. Появились автомобили, появились фабрики, в сияющем небе гудели самолеты. Уже лезла на одну из самых высоких баварских гор первая железная дорога, но баварцы не очень-то спешили, и тогда другая железная дорога,

уже с австрийской стороны, добралась до вершины самой их высокой горы, Цугшпице, и там загрохотала. Вода в их реках стала превращаться в электричество, стройные, серые, блестящие, изысканно тонкие мачты электропередач рисовались на фоне светлого неба. Их чудесное сумрачное озеро, Вальхензее, было изуродовано махиной, которая давала свет дуговым фонарям и двигала трамваи. Облик страны менялся.

Но вот настала великая передышка — инфляция. Достояние крестьян не уплывало у них из-под зада, как у городских жителей, обесцененными деньгами они покрыли все свои недоимки. За продукты питания им платили, точно в самые голодные военные годы, и крестьянам шло на пользу это дурное время. Денег у них было вволю, они сорили ими направо и налево. Многие зажили так роскошно, как в прежние времена крестьянам и не снилось. Кулак Грейндльбергер катил в Мюнхен по грязной улице своей деревни Энглышалькинг в элегантном лимузине с ливрейным шофером. Сам он в коричневой бархатной куртке, в зеленой шапке с кисточкой восседал на подушках. Владелец сыроварни Ирльбек завел у себя в Вейльхейме скаковую конюшню, стал обладателем скакунов Лиры, Лучше-не-бывает, Бродяги, Банко, кровной кобылы Quelques fleurs, жеребят Титании и Happy-End. Крестьяне считали себя обездоленными, если в конюшне у них не было автомобиля или скакуна.

Но при всем изобилии, принесенном инфляцией, они чувствовали, что все идет вкривь и вкось. Разумеется, кое-кто не желал ничего видеть, зажмуривал глаза, да еще закрывал их руками, словно солнце тогда и впрямь переставало светить. Но большинство понимало — стародавнему хозяйству приходит конец. Их особое государство обходится слишком дорого, придется приноравливаться к общегерманскому государству, политические и культурные «особые сосиски» уже не по карману Баварии. Баварцы инстинктивно были националистами, нюхом чуя, что спасти крестьян может только война, несущая с собой потребность в их продуктах. Помесь славян с романскими племенами, они инстинктивно были поборниками чистоты германской крови, смутно надеясь оборонить таким путем оседлое крестьянство от кочевников-инородцев, которые легче приспосабливались к переменам.

Они были несильны в метафизике, но внутренний голос подсказывал им, что их поколение — последнее, которому еще удается так жить на этом клочке земли, как более тысячи лет жили их предки. Это смутное понимание мешало им как сле-

дует насладиться даже инфляцией. Нередко, рыгая после сытной жратвы, отдыхая в постели после возни с ядреной бабенкой, расправляя суставы после знатной драки, баварец ни с того ни с сего вдруг вздыхал: «Будь они прокляты, бараны тупоголовые!»

5

О СЕМИ СТУПЕНЯХ ЛЮДСКОГО СЧАСТЬЯ

Жак Тюверлен застрял на каком-то не дававшемся ему месте в пьесе, и Иоганна в одиночестве носилась в машине по окрестностям. Она изъездила их вдоль и поперек,— везде были леса, озера, реки, на горизонте всегда высились горы. Везде крестьянские дома, усадьбы, поселки, ярко окрашенные, чистенькие, уютные. Прекрасный край!

Иоганна как бы целиком слилась с проворным автомобильчиком — подарком Тюверлена. Она управляла им с бездумной уверенностью, как собственным телом. Край был прекрасен, но суров,— шагу не ступишь по ровному месту, все вверх и вниз, долгая зима, короткое лето, прохладный, терпкий воздух. Легкие и мышцы этой молодой женщины, Иоганны Крайн, были словно созданы для такого края: его свежие ветры, пропитанные дыханием снежных вершин, его подъемы и спуски шли ей впрок.

Шел ей впрок и Тюверлен. С ним было нелегко. Он плохо разбирался в людях, был отвратительно непрактичен, ненаблюдателен, вечно делал промахи. Но, сделав, не пытался оправдываться. Более того, говорил: «Тридцать пять лет прожил на свете и все такой же осел». Другие были другими. Другие настаивали на своей правоте, даже когда были неправы. Ему это казалось диким. Была у него неприятная манера — незлобно, но беспощадно подсмеиваться над людьми. А люди не всегда были в настроении сносить его добродушные и все-таки жалящие остроты. Это жало многих заставляло кривиться от боли.

Заговори она с ним о ребенке, он еще сильней сморщил бы лицо, начал бы смешно подергивать носом. И, вероятно, было бы очень трудно вытянуть из него прямой ответ, хочет ли он иметь ребенка. Даже если бы она и решилась поговорить с ним об этом, все кончилось бы спором о политике, поощряющей прирост населения и прочее в этом роде.

Насколько легче было бы вести такой разговор с Мартином Крюгером. Тот умел подлаживаться к собеседнику. С тем мож-

но было не бояться, что покажешься сентиментальной, когда на самом деле только хочешь услышать определенное «да», или «нет», или «сделай то-то и то-то».

В годы связи с Мартином Крюгером она путешествовала с ним, делила все хорошее и плохое. Путешествовала и с Паулем Гесрейтером. Но так делить жизнь, работу, постель, еду и мысли, как с этим Жаком Тюверленом, ей не приходилось ни с одним мужчиной. Ох, уж этот Жак, с ним никогда не знаешь, на каком ты свете. Родной брат с редкостным бесстыдством обвел его вокруг пальца. А сейчас вот уже сколько дней он не замечает, что ей надо с ним поговорить. Настоящий осел. И все-таки мнение этого человека было для нее важнее мнения всех прочих, вместе взятых.

Она въехала на невысокую гору. Внезапно открылся широкий кругозор. Иоганна не первый раз приезжала сюда, не первый раз любовалась видом, но всегда, будто впервые, удивлялась, как близко вдруг подступали горы. Они замыкали горизонт, темно-синие внизу, снежно-белые наверху, исчерченные глубокими тенями, испятнанные слепящим светом. Вершина за вершиной, одна возле другой, одна над другой, теснились они, вдаваясь в Тироль, уходя за итальянскую границу.

Иоганна остановилась на нешироком плато и, прислонясь к машине, долго смотрела на вздымавшиеся перед ней горные кряжи. Нет, даже и подумать нельзя о том, чтобы снова начать одинокую жизнь без Жака Тюверлена. Нельзя представить себе, что это когда-нибудь исчерпается. *Любовь* — дурацкое слово. Лицо Жака Тюверлена, наверное, сморщилось бы в неприятную гримасу, вздумай она сказать, что любит его. И все-таки, ничего не попишешь, никаких других слов не подберешь: она его любит.

Иоганна подумала — какой он смешной, когда лежит в постели, по-аистиному подогнув ногу, и лицо у него тогда как у подростка, такое лицо, что, видит бог, глядя на него, ни за что не поверишь, сколько у него за спиной пережитого и передуманного. Она стала сравнивать его с другими мужчинами, когда-то ей близкими. Его широкую волосатую грудь, узкие бедра, голое, некрасивое, нелепое лицо, которое и во сне порой морщилось. Нелепый, глупый, некрасивый — и всех красивее, всех умнее, всех на свете любимее. Нет, пусть уж он сам, черт его дери, додумается, чего ей от него нужно.

Здесь, наверху, было великолепное безлюдье. Сезон автомобильных вылазок в горы уже кончился, стало слишком про-

хладно. Да и эта окольная дорога очень выбита, по ней ездят только те, кто по-настоящему любит страну.

У нее застыли ноги, она стала ходить взад и вперед, стараясь согреться. Однажды ей показалось, что в ее жизни все просто,— это было в тот раз, когда возле купальни в предместье Мюнхена она плыла по зеленому Изару. А сейчас все замечательно, но совсем не просто. Что будет, когда Крюгер освободится из одельсбергской тюрьмы? Три морщинки прорезали ее лоб над вздернутым носом. Хорошо было бы, если бы она не повстречалась с шалопаем, хорошо было бы, если бы Мартин Крюгер никогда...

Может быть, это очень дурно, что у нее такие мысли? Но как дышать этим прозрачным воздухом, если внутри все затхло? Совесть весьма относительная штука. Лучше всего мы очищаем нутро, когда из темноты выходим на свет и все, что скрываем в себе, называем своими именами. Есть ли у нее предрассудки? Жить с человеком, которого любишь,— великое счастье. И тут ни при чем, что когда-то жила с другим. Ни при чем, что Мартин сидит в одельсбергской тюрьме. Каждый час подвластен своему собственному закону. Что казалось плохим когда-то, теперь, когда она это делает, становится хорошим. Ей нелегко давалось учение, но, выучив что-нибудь, она уже не забывала. К иным людям зрелость приходит с опозданием. Борьба даже во имя справедливого дела, сказал как-то Жак, тоже может сделать человека плохим. А за кого она сейчас борется? За Крюгера? Или за Тюверлена? Никогда она не расстанется с этим Тюверленом и с его до идиотизма добросовестной работой.

Не Тюверлен, другой рассказал ей однажды о семи ступенях людского счастья. Это было в парке, шел дождь, Мартин сидел на деревянном звере и объяснял ей. Для него на третьей ступени стоят женщины, для нее, значит, мужчины. На ступень выше — успех. Еще выше — друг, Каспар Прекль, и она. Значит, для нее — он? Нет, конечно же, не он, а Тюверлен. Выше всего стоит работа. И для Тюверлена работа всего выше, куда выше, чем для Мартина. У нее нет работы. Такой, для которой она была бы создана. Для нее — Тюверлен, а выше уже ничего.

Воспоминания — весьма противная штука. Что прошло, то прошло. Она не намерена бичевать себя ими. Она сделает для Мартина все, что в человеческих силах. Даже больше. Будет вести честную игру. Даже подумать о шести деревьях — и то страшно. А когда Мартин выйдет из тюрьмы, как он будет

жить? Но какой смысл ломать над этим голову? Надо положиться на наитие — ведь в своей работе она тоже только так добивалась успеха. Хорошо было бы, если бы прошлого не было, если бы можно было все начать заново.

Тюверлен не понял бы ее угрызений. Его поступки представляются ему единственно возможными. До сих пор, когда что-нибудь было плохо, она ни в чем не раскаивалась,— неужели же станет раскаиваться теперь, когда все хорошо?

Так думала эта молодая баварка, стоя в самом сердце своей страны. Она сняла шляпу, ветерок приятно холодил ей лоб. Ее любовника посадили в тюрьму, она сошлась с другим, любит его, хочет иметь от него ребенка, но решается сказать ему об этом. Считает, что попала в сложное положение.

Внезапно она чувствует, что до смерти проголодалась. В двадцати минутах езды есть кабачок с уютной террасой — оттуда открывается чудесный вид. Вспомнив об этом кабачке, она садится в машину и едет туда.

В кабачке «У старой почты» сидят возчики, крестьяне. Они играют в тарок, их разговор неспешен и добродушно-шумлив. Иоганна заказывает наваристый суп из потрохов, жареную телятину, картофельный салат, большую кружку пива. Ест, пьет пиво.

6

СТРАНУ ПОСЕЩАЕТ ДОЛЛАР

Тогда в ходу были доллары двух видов — серебряные и бумажные. На серебряных была выгравирована голова Свободы. Над ней — латинская надпись: «Из многого — одно». На обороте — орел. Над ним — английская надпись: «Уповаем на господа». Внизу другая — «1 доллар». Иной раз надпись «Уповаем на господа» стояла под головой Свободы, а «Из многого — одно» — над орлом. Долларовые бумажки были продолговатые, с одной стороны зеленые, с другой черные. Их украшало изображение президента Вашингтона, или президента Линкольна, или Гранта. На иных красовался тот же орел или корабль, на котором стоял человек в старинной одежде, вокруг него теснились его сподвижники, и все они возводили глаза к небу: видимо, Колумб, только что открывший Америку. Этот доллар обладал наибольшей покупательной силой. Казалось, она не поколеблется до скончания веков.

У г-на Дениеля Вашингтона Поттера было много долларов. В Соединенных Штатах его прозвали «Денни Тридцатилетка», потому что он вел дела с дальним прицелом. В Европе ему дали прозвище «Калифорнийский Мамонт». Но повадки у него были не мамонта, а открытого общительного человека. Он любил поразвлечься, легко со всеми ладил, только от репортеров держался подальше. Дениель Вашингтон Поттер был любознателен, живо интересовался людьми и странами, круговоротом искусства и политики. Но больше всего — переменой отношения к земельной собственности, вызванной развитием промышленности.

Перемена эта объяснялась тем, что во многих местах нашей планеты владение пахотной землей уже не давало чувства уверенности. Земля по-прежнему рожала хлеб, но хлебопашец не был сыт и доволен. Для ее обработки требовалось все меньше людей — машины вытесняли и человека и коня. Если в окрестных деревнях хлеба не хватало или он стоил слишком дорого, город без труда закупал его в других краях, благо пути сообщения вели теперь как угодно далеко. Кругозор людей расширился, они все быстрее передвигались по земному шару, отчетливее видели промахи тех, кто жил вблизи, достижения тех, кто жил вдали, старались перенять все, что считали разумным в чужеземных обычаях и образе жизни. Началось новое переселение народов, менее хаотичное и кровавое, чем прежнее, пятнадцативековой давности, но более затяжное и грандиозное. Если некогда оседлый землепашец презрительно взирал на кочевника, шатуна, бродягу, теперь судьба планеты зависела от таких вот поворотливых, легко снимавшихся с места людей. Люди оседлые, крестьяне, утратили влияние: их труд обесценивался, роль и вес в жизни общества все уменьшались.

Денни Тридцатилетка интересовался этим процессом. Он неустанно разнюхивал, в каком месте планеты такая перемена стала особенно разительна. Первой крупной операцией американца была операция с пшеницей, причем интересовала его не только сделка, но и сама пшеница. Он побывал во множестве стран, беседовал со множеством людей в учреждениях, на заводах, в полях. Иной раз вынимал записную книжку и делал в ней заметки. Иной раз вынимал ее и молча, сосредоточенно что-то подсчитывал, потом заключал контракт, расходовал часть своих долларов. Он был долговяз, близорук, носил очки с толстыми стеклами и мешковатые костюмы; над тонкогубым ртом с длинными торчащими зубами нависал большой мясистый нос. Усевшись где придется, в небрежной позе, дымя трубкой, он весь превращался в глаза и уши. Понимал чужие шутки, любил и сам

пошутить. При случае, напрямик, без околичностей, выкладывал свои взгляды, почти всегда основательно аргументированные.

Сейчас Денни Тридцатилетка возвращался с Востока. Он знакомился с Россией — последним огромным вместилищем на белом континенте, где еще не исчерпалось крестьянство. Американца очень интересовал эксперимент, которым занималась там кучка людей, основываясь на социологических теориях К. Маркса и В. И. Ленина. Он обнаружил, что в стране под землей была нефть, на земле — хлеб, фрукты, вино, скот, в горах — металл, в лачугах и домах — люди, в реках и морях — рыба, и всего этого, можно сказать, непочатый край. Калифорнийский Мамонт пришел в Кремль, изложил свою точку зрения. Он готов был вложить в их предприятие свои доллары. Люди в Кремле внимательно выслушали его, но они не пришлись друг другу по душе. Люди в Кремле поставили ему свои условия, он им — свои, вынул записную книжку, что-то подсчитал. Люди в Кремле были осмотрительны, г-н Дениель Вашингтон Поттер тоже был осмотрителен, так что сделка, в общем, не состоялась.

Теперь, на обратном пути, Калифорнийский Мамонт располагал временем и решил ознакомиться с Баварией. С юношеских лет он знал одного баварца, который и ныне жил там, некоего г-на фон Рейндля. Он сообщил Рейндлю о своем приезде, и тот с готовностью согласился показать ему страну.

Когда г-н фон Рейндль получил телеграмму американца, он задумался. Дениель В. Поттер держался в тени, в газетах о нем почти не писали, еще реже помещали его фотографии, однако г-н фон Рейндль не сомневался, что этот заурядный на вид человек — один из тех трехсот, которые совместно решают, быть на земле миру или войне и не настала ли пора прекратить русский, индийский, китайский эксперименты.

Поэтому, получив телеграмму, г-н фон Рейндль позвонил по телефону г-ну фон Грюберу. Тайный советник Себастьян фон Грюбер занимался превращением мощи горных баварских рек в электроэнергию. Упрямо, без шума и с успехом. Так же упрямо создавал он в Мюнхене Музей техники. Г-н фон Рейндль выпускал автомашины и газеты, строил суда, открывал гостиницы, добывал железо и уголь, покупал картины и женщин, был знатоком людей, изысканных блюд, искусства; о нем много говорили в печати. Г-н фон Грюбер занимался только музеем и электричеством, и о нем никто ничего не знал. У этих двух людей было мало общего. Но кое-что все же было: у обоих в руках была власть, оба любили свою Баварию, оба знали, что эта немецкая провинция со всем населением, и стадами, и деревнями,

и главным городом, и лесами, и полями, и тем, что в них водится, должна измениться до основания, притом в самое ближайшее время. Этого требует экономика всего государства, всей этой части света. И Рейндль и Грюбер любили крестьянский облик своей страны, но не станут же они сложа руки смотреть, как иноземцы навязывают Баварии промышленность, без которой ей не обойтись. Чем впускать этих пришельцев, лучше самим содействовать развитию, которому все равно нельзя помешать. И оба прилежно занимались индустриализацией Баварии — Рейндль, выпуская машины, Грюбер, строя электростанции.

Так что, получив телеграмму американца, Рейндль позвонил по телефону г-ну фон Грюберу. Он был умен и отлично отдавал себе отчет, что Грюбер сделал для страны не меньше, чем он, Рейндль. Потому что моторизация Баварии была важна, но еще важнее была электрификация, освобождавшая ее от угля других немецких областей, превращавшая в одну из экономически развитых провинций. Г-ну фон Грюберу удалось добиться очень многого. Поверхностный наблюдатель решил бы, что Бавария по-прежнему барахтается в своем устарелом сельском хозяйстве. Но этот любитель экспериментов, этот американец, разумеется, сразу поймет, сколько возможностей кроется в уголке Центральной Европы, именуемом Баварией. Придется показать ему и кое-что недоделанное: это еще сильнее его распалит. Да, Рейндль был настоящий баварец и ради удовольствия задвинуть Грюбера в тень не собирался отказаться от выгод, которые сулил приезд Мамонта.

Рейндль пригласил Денни Тридцатилетку пообедать с ним. Они сидели в ресторане Пфаундлера — длиннозубый господин в мешковатом костюме и бледный, одутловатый Рейндль. Благодушно настроенные, они много ели, пили, смеялись. Мюнхенцы не отличались осведомленностью в мировой экономике. Кое-кто, может быть, и догадался бы, что длиннозубый господин — американец. Но если бы им сказали, что непрезентабельному собеседнику Пятого евангелиста отведена бóльшая роль в истории города Мюнхена, чем самому́ Руперту Кутцнеру, они все засмеяли бы такого безмозглого болвана.

Приятели меж тем освежали общие воспоминания. В давние годы они много путешествовали вместе. Однажды провели приятный месяц на морском побережье. В другой раз целую неделю жили в одной палатке — это было в Севилье во время фиесты. С тех пор прошло много лет. Денни Тридцатилетка отметил про себя, что Рейндль безбожно растолстел и отнюдь не похож на прежнего покорителя сердец. Рейндль отметил про

себя, что этот Поттер стал обыкновенным денежным пузырем, а ведь был когда-то человеком своеобычным и очень компанейским.

Но когда Рейндль с Грюбером повезли Мамонта по Баварии, когда начали показывать ему поля, и живописные дома, и неторопливых жителей, и величавые горы, и мощные реки, тогда выяснилось, что Денни Тридцатилетка сохранил всю прежнюю своеобычность. Он безмолвно делал отметки в записной книжке. Просил остановить машину там, где оба баварца не видели решительно ничего интересного. Охотно болтал и откровенно высказывал свою точку зрения. Внимательно вглядывался во все, что ему показывали, и еще внимательней — в то, что пытались скрыть. Беседовал с местными жителями и, если чего-нибудь не понимал, без стеснения переспрашивал во второй и в третий раз. Да, он был умен: Рейндль и Грюбер дорого бы дали, чтобы прочесть его записи, еще дороже — чтобы прочесть мысли. Хуже всего было то, что его честность была вне подозрений. На любой вопрос он отвечал с полной готовностью и прямотой. Несомненно, говорил только то, что думал, но также несомненно, что говорил отнюдь не все. В конце концов Рейндль махнул рукой на дипломатические ухищрения и стал просто любоваться ландшафтом. Ему захотелось есть — время уже близилось к полудню. Он приказал остановить машину у деревенского кабачка, на вид довольно убогого. Г-н фон Грюбер удивился про себя. Пятый евангелист предложил своим спутникам закусить в этом кабачке: он заметил, что там сидит какой-то батрак и ест так называемые ливерные клецки — вареные шарики из печеночного фарша с мукой. У него сразу разгорелись глаза и зубы. Так что теперь уже четверо уплетали ливерные клецки — трое путешественников и батрак.

Через два дня Пятый евангелист устроил небольшой прием в честь мистера Поттера. Он долго обдумывал, с кем бы стоило познакомить любознательного американца, повидавшего на своем веку столько стран и людей. Наконец решил пригласить Грюбера, Пфаундлера и Каспара Прекля. Затащить последнего было делом нелегким. С недавних пор Рейндль затеял построить автомобильный завод в Нижнем Новгороде и даже начал вести кое с кем переговоры. Но, чтобы заставить Каспара Прекля прийти, он прибег не к этому предлогу, а к помощи их общей приятельницы, актрисы Клере Хольц. Она так расписала американца, что Преклю захотелось посмотреть Калифорнийского Мамонта с близкого расстояния.

Вечер начался не слишком удачно. Прекль старался скрыть смущение подчеркнутой грубостью. Пфаундлер был сперва польщен приглашением, но быстро почуял,-- чутья ему было не занимать стать! — что его демонстрируют этому американскому денежному пузырю, как зверя из зоосада. Даже сам Пятый евангелист чувствовал себя не в своей тарелке: он с легкостью справился бы с одним сложным характером, но тут их было два: сложный Прекль и сложный Денни.

Вполне доволен был только тайный советник фон Грюбер. Денежный пузырь оказался вполне разумным человеком, и Грюбер имел все основания рассчитывать, что тот не откажется вложить деньги в такую перспективную страну, как Бавария. Мамонт видел грюберовский Музей техники, понял принцип его устройства, оценил изобретательность, с какой были разрешены многие трудности.

Американцу Себастьян фон Грюбер тоже понравился. Он был одновременно и баварец, и гражданин мира, был такой, какими могли бы стать все жители этой страны, если бы выбить из них пристрастие к медлительной, идиотически неподвижной сельской жизни. Баварцы хитрые и сильные люди; пока что их настойчивость смахивает на ослиное упрямство, но, направленная на разумную цель, она скорее всего окажется рентабельной. Из неторопливости, спокойствия и здорового эгоизма баварцев можно будет извлечь приличный доход, но сперва надо заставить их заниматься не только земледелием и скотоводством. Относились ведь пренебрежительно и к зулусам, и к другим африканским народностям, а теперь всем известно, что и они годны в дело. Да зачем далеко ходить: разве этот Грюбер не лучший пример того, каким становится баварец, если его научить уму-разуму?

Гостиная у Рейндля была роскошная, весь дом на Каролиненплац был импозантен и роскошен. На стене висел портрет г-на Рейндля-старшего, написанный в броской манере мюнхенских художников недавнего прошлого. Американец сказал, что большинству его соотечественников этот портрет, вероятно, очень понравился бы, но ему самому было бы неприятно видеть у себя на стене собственного отца в столь прикрашенном виде. Он предпочитает искусство более острое, безжалостное, реалистическое. Тут выяснилось, что он слышал о Мартине Крюгере и даже читал книгу писателя Тюверлена.

Господин Поттер отлично чувствовал себя в своем мешковатом костюме, много смеялся, просил растолковать, если не понимал какого-нибудь баварского выражения, держался в высшей

степени непринужденно. Спросил у Каспара Прекля, почему, собственно, его дорогого друга Рейндля здесь величают Пятым евангелистом. Должно быть, потому, ядовито ответил Прекль, что он создал пятое Евангелие, которое учит, как присвоить жену ближнего, и его осла, и его автомобиль.

— Благодарю вас, теперь я в курсе дела,— промолвил г-н Поттер.

Господин фон Грюбер от души расхохотался.

Господин Пфаундлер сказал, что, не считаясь с расходами, поставил обозрение Тюверлена. Как и г-н Поттер, он высокого мнения об этом писателе. Как и г-н Поттер, считает, что Мюнхен должен стать городом туристов, городом, где процветают искусства — другого будущего у Мюнхена нет. Он, Пфаундлер, наделен тонким чутьем. Многие годы он потратил на то, чтобы создать увеселительные зрелища, которые вместе с тем были бы настоящим искусством. Потому и решил поставить обозрение совместно с писателем Тюверленом. К сожалению, публика не очень-то ходит на него, мюнхенцы, видно, еще не доросли до таких вещей. Чтобы возбудить интерес к обозрению у жителей окрестных городков и сел, он организовал передачу по радио сегодня вечером. Мистер Поттер заинтересовался передачей. Включили радио.

Из громкоговорителей понеслись слова диалогов и песенок обозрения «Выше некуда». Шел второй акт; текст и музыка, не подкрепленные действием, звучали довольно глупо. Всем стало как-то совестно перед американцем. Но тот слушал очень внимательно, с живым интересом, просил объяснить, если чего-нибудь не понимал, старался из обрывков воссоздать целое. И вышло так, что этот человек, приплывший из-за океана в страну баварских крестьян, извлек с помощью одного только непредубежденного, здравого смысла из обезображенного, обездушенного, искаженного текста то, что первоначально вложил в него Жак Тюверлен. На него повеяло духом Аристофана. В его восприятии обозрение «Выше некуда» опять стало обозрением «Касперль и классовая борьба».

Пфаундлер не знал, то ли ему радоваться, то ли злиться. Его терзало сомнение — а вдруг спектакль не провалился бы, сохрани он первоначальный замысел Тюверлена? Прекль, сумрачный и напряженный, следил за стараниями американца ухватить суть обозрения и, несмотря на жестокие разногласия с Тюверленом, порою отчетливо и ясно ощущал страстную веру того в человеческий разум.

Но вот началась картина «Бой быков», зазвучал марш, зазвучала легкая вызывающая мелодия. Как в десятках тысяч домов на всем Баварском плоскогорье, так и в роскошной гостиной виллы Рейндля она покорила слушателей, целиком завладела ими. И как под ее воздействием коммунисты становились еще коммунистичнее, «истинные германцы» еще патриотичнее, преступники еще преступнее, фанатики еще фанатичнее, сластолюбцы еще сластолюбивее, так Прекль, слушая ее, еще неудержимее стремился в Москву, г-н Пфаундлер еще горячее клялся себе, что вернет Мюнхену его былой международный престиж города искусств, а Денни Тридцатилетка впервые после обеда вынул трубку изо рта, встал и подошел к громкоговорителю; в эту минуту он был очень смешон — ни дать ни взять, пес с известной рекламы, который прислушивается к голосу хозяина, вылетающему из трубы граммофона. Потом американец во весь рот улыбнулся.

— Я слышал этот мотив в Кремле, во время самых ответственных переговоров. Значит, и он из обозрения Жака Тюверлена?

Каспара Прекля передернуло. Разумеется, он понимал, что люди в Москве не только изучают теорию и применяют ее на практике, но время от времени еще и едят, пьют, спят с женщинами, слушают вот такую обыкновенную музыку, как этот марш тореадоров. И все-таки ему казалось кощунством утверждение, будто переговоры между русским политическим вождем и крупным американским финансистом, жизненно важные для страны марксизма, протекали под звуки столь легкой и вызывающей мелодии.

— Кто там разговаривал с вами? — резко спросил он.

Мамонт снова сунул трубку в рот и спокойно, с любопытством начал разглядывать молодого человека, его худое, скуластое лицо с запавшими, лихорадочно блестевшими глазами.

— Я вас не понял,— сказал он наконец.

— Кто разговаривал с вами? — раздельно и грубо повторил Каспар Прекль.

Американец проронил пять-шесть имен: то были известнейшие люди, особенно почитаемые Каспаром Преклем. Потом, с видимостью беспристрастия, мистер Поттер стал делиться впечатлениями о России. К вящему удивлению молодого инженера, выяснилось, что он не только изучил хозяйственное положение, особенности страны и населения Советской Республики, но и осведомлен в теории. Каспар Прекль даже испугался: неужели

на свете существуют люди, которые знают эту теорию и не соглашаются с ней? Денежный пузырь не дурак, он не выдает себя, не высказывается ни за, ни против и все-таки, понимая теорию, ее не принимает. Каспар Прекль страстно напал на него, много раз грубо спрашивал: «Понятно вам?» Кое-чего Мамонт действительно не понимал, но потому лишь, что Прекль говорил на диалекте. Остальные внимательно слушали их спор, и, как ни заразителен был фанатичный пафос Каспара Прекля, сухие доводы, которые небрежно ронял американец, звучали для них убедительней.

Когда обозрение кончилось, из театра приехала актриса Клере Хольц. Пфаундлер стал просить ее спеть песенку тореадоров, но она отказалась, говоря, что без музыки и хора это невозможно. Ей рассказали о споре Каспара Прекля с американцем. Она искусно завладела вниманием молодого инженера, надеясь, что уговорит его спеть баллады. После встречи с художником Ландхольцером Прекль ни разу не пел. Сейчас он заколебался. Ему очень хотелось петь, но было противно выступать перед этими людьми. Все же Клере Хольц добилась своего. Прекль таил надежду переубедить американца: кто знает, может быть, то, чего не случилось, когда Поттер увидел реальную Россию, случится сейчас, когда он услышит эти баллады, может быть, денежный пузырь хоть на несколько минут поверит в учение Маркса и Ленина. После Гармиша Пятый евангелист не слышал баллад, и ему тоже не терпелось услышать их. Каспар Прекль пел, как всегда, пел звонко, мятежно, убежденно эти свои удивительные баллады о будничной жизни и о маленьком человеке, тонкие, злые, как бы исторгнутые из народных недр большого города, вызывающие, непосредственные. Исполнял он и новые песни, они были еще лучше, острее прежних, и Каспар Прекль пел их не хуже, чем всегда, даже с бо́льшим подъемом. Но на этот раз они почему-то никого не взволновали: возможно, из-за Денни Тридцатилетки, который слушал, не выпуская трубки изо рта, с любопытством, пониманием и полнейшим бесстрастием. Каспар Прекль отложил банджо, наступило тягостное молчание. Потом американец вежливо зааплодировал и произнес:

— Очень славно. Благодарю вас.

И после небольшой паузы добавил, что, раз г-жа Хольц отказывается петь, недурно было бы раздобыть пластинку с маршем тореадоров. Словно по щучьему велению, появилась пластинка. Под звуки легкой мелодии г-н Поттер, один из трехсот, решавших, быть на земле миру или войне, мору или здра-

вию, голоду или изобилию, начал танцевать с актрисой Клере Хольц.

Остальные четверо молча смотрели на них. Г-н фон Грюбер размышлял при этом, вложит ли американец часть своих долларов в электростанции прекрасного баварского края. Он ждал новых вопросов мистера Поттера. Но Мамонт только спросил, по-прежнему ли писатель Тюверлен живет в Мюнхене. Ему хотелось бы познакомиться с ним, поговорить.

— По душам. Как с вами, старик,— сказал он Рейндлю.

Пятый евангелист так и не понял, говорит ли тот всерьез или издевается над ним.

7

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КРЫСА!

С того дня, как во всем разуверившийся начальник тюрьмы Фертч узнал, кто преемник Кленка, для Мартина Крюгера начались девять мрачнейших в его жизни месяцев. При Гартле человек с кроличьей мордочкой, несомненно, получил бы повышение, но министром стал Мессершмидт, и, значит, все его надежды и труды снова пошли насмарку. Впервые за многие годы смиренного приспособления к переменчивому нраву начальства Фертч потерял терпение. Он взбунтовался и перешел на сторону параллельного правительства, настоящего правительства — на сторону «истинных германцев».

Заключенный Крюгер не мог не заметить перемены политического курса человека с кроличьей мордочкой,— ему внезапно, без объяснений снова запретили писать. Заключенный номер 2478 и начальник тюрьмы вступили в жестокую борьбу, и Мартин понимал, что кончится она лишь в том случае, если Фертч получит оклад по тринадцатому разряду. В прежние времена тот быстро уложил бы его на обе лопатки. Тогда он не умел обуздывать себя, не умел принудить к молчанию ни гордость, ни рот. Но теперь, глубоко проникнув в мир картин мятежника Гойи, он нашел более разумный способ разрядки, стал умнее. Да, он стал умным мятежником и твердо решил при любых обстоятельствах держать себя в руках. За шестнадцать месяцев тюремного заключения Крюгер научился покорствовать, уклоняться, стоять на своем.

Пока Мартин Крюгер сидел в тюрьме, наступило лето, лето сменилось осенью, осень — зимой. За это время был убит германский министр иностранных дел, Бенито Муссолини стал дик-

татором Италии, турки наголову разбили греков, свободная Ирландия получила конституцию. Французские промышленники никак не могли договориться с немецкими, поэтому Франция грозилась в виде залога занять Рурскую область. Множество немцев успело превратиться в миллионеров, но в миллионеров-бедняков: кто владел миллионом марок, тот располагал всего-навсего ста двадцатью пятью долларами.

Пока происходили эти события, голая камера Мартина Крюгера не менялась, зато он сам переменился. Сперва он бушевал, потом надолго притих, ушел в себя, как бы уснул, потом воскрес, начал неистово работать, а теперь обрел стойкость и упорство. У него бывали сердечные припадки, но, в общем, он чувствовал себя сносно. Он привык к тому, что еда всегда была одного и того же вкуса — она состояла главным образом из сушеных овощей, гороха, бобов, чечевицы, крупы, картошки, однообразная, плохо приготовленная, тошнотворно отдающая содой. Чистоплотный брезгливец, он перестал замечать, что его обступила и облепила грязь, что белая параша воняет, что тюремный воздух тяжел и омерзителен. Этим его уже нельзя было раздавить, к этому он уже приноровился. Чтобы не распуститься, изобрел сложную систему гимнастики. Нет, Крюгер не пал духом.

Быстро, одну за другой, Фертч отнял у него все былые льготы. Письма он снова получал только раз в три месяца. Свидания ему запретили. Во время прогулок среди шести деревьев больше не с кем было поговорить — Леонгард Ренкмайер куда-то исчез. Уже никто не называл Крюгера господином доктором. Вместо того чтобы писать о мятежнике Гойе, он клеил кульки, теребил пеньку, ставил заплаты на мешки, от которых так смердило, что выворачивало внутренности. Крюгера полностью изолировали от внешнего мира: даже когда его брил тюремный парикмахер, тоже арестант, рядом торчали двое надзирателей и следили, чтобы они не перемолвились хотя бы двумя словами. Но Крюгер стал изворотлив, он перестукивался с другими заключенными, находил множество способов поддерживать с ними связь.

Никакие провокации Фертча не действовали на него. Как тот ни старался его унизить, он не позволял себе ни единого жеста, который мог бы повлечь за собой наказание. Подавлял вспышки гнева, терпел до той минуты, когда оставался в камере наедине с собой.

Иногда во время прогулки Мартин замечал, что из окон коридора на него глазеют женщины. Человек с кроличьей мор-

дочкой, уже не стесняясь, показывал женам своих приятелей арестанта, получившего такую громкую известность. Он демонстрировал его, как сторож в зоологическом саду — диковинного зверя. Мартина Крюгера это не оскорбляло. Он давно махнул рукой на чувство собственного достоинства. Просто глядел на существа в окне. У них были груди, бедра, женские тела. Он много месяцев не видел женщин.

Всего тяжелее давалось Крюгеру плотское воздержание. Он знал, что и в других камерах неумолчно кричит похоть, что ее нисколько не умеряет сода, которую добавляли во всякую еду. Арестанты даже перестукивались почти всегда о том, что так или иначе было связано с полом. Чего только они не изобретали, чтобы хоть немного усмирить вожделение. Из носовых платков, из суконных лоскутьев мастерили подобия женщин. Кто был поискуснее, тот из теста, сала, волос изготовлял всякие непотребства, продавал их. Мартину Крюгеру бесконечно долгими ночами виделись все те же сладострастные видения. Перед ним возникал автопортрет умершей девушки, Анны Элизабет Гайдер. Какой же он был осел, что не сошелся с ней! Он вспоминал Гойю, «Маху обнаженную», «Маху одетую». Однажды из поселка Одельсберг до него донеслась еле слышная музыка — далекие звуки граммофона или, быть может, радиопередачи,— и Крюгеру показалось, что он узнает ту старинную песенку, которую тихонько, почти не разжимая губ, напевала Иоганна. Он с нестерпимой силой захотел ее. Начал сравнивать тело Иоганны с телом на автопортрете Гайдер. Воспоминания о махах испанца переплетались с воспоминаниями об Иоганне. Крегер кусал себе пальцы, колени. Сходил с ума от желания почувствовать ее живую рядом с собой.

Лежа ночью на койке, он видел на потолке камеры четкую тень зарешеченного окна — ее отбрасывал висевший снаружи электрический фонарь. Крюгер сохранил привычку почерком Гойи чертить в воздухе слова и короткие фразы. На теневой решетке он выводил теневые буквы, они вспыхивали и гасли, как на экране в кино,— то были имена Иоганны, его собственное, Фертча. Теневым карандашом набрасывал на потолке непристойные рисунки. Теневые буквы складывались в слова, порой добрые и мудрые, но чаще — негодующие, грязные, злобные.

Он пристально следил за всеми перипетиями пересмотра своего дела. Узнав о назначении Мессершмидта на пост министра юстиции, стал с надеждой думать об этом человеке, чье имя слышал впервые. Мессершмидт — кующий ножи — удиви-

тельное имя. Для кого это он кует их? Для него, Крюгера? Или для его тюремщиков? Он рассчитывал, взвешивал, размышлял. Старался выяснить, не уменьшились ли его шансы, не увеличились ли. Тревожился — а вдруг там, на воле, забудут сделать что-нибудь важное? Верил Каспару Преклю, полагался на Иоганну. И все-таки боялся, что она упустит удобный момент. Он-то ничего не упустил бы. Ведь здесь, в одельсбергской тюрьме, сидел не кто-нибудь, а он сам. Как ни велико сочувствие к узнику, к его страданиям даже и верного друга, даже и любящей подруги, но разве оно сравнится с терзаниями самого узника?

Крюгер напряженно ждал свидания с Иоганной. Это свидание сократят до минимума, в лучшем случае до положенного по закону получаса, а может, сославшись на нехватку надзирателей, до двадцати или даже десяти минут. Он считал часы, оставшиеся до этой встречи. Представлял себе Иоганну такой, какой видел ее здесь в последний раз, обдумывал вопросы, которые задаст ей, изобретал формулировки, которые не дали бы надзирателю повода придраться к ним. Три месяца — это две тысячи двести восемь часов, а свидание длится тридцать минут, даже меньше. Драгоценные минуты, их должно хватить на следующие две тысячи двести восемь часов. Каждая секунда должна быть наполнена до краев, надо умело насладиться ею, надо заранее решить, как себя вести, чтобы не потратить зря ни единой из этих волнующих секунд.

И вот перед ним реальная Иоганна, цветущая, живая, во плоти, она говорит реальным громким голосом. Он до мелочей продумал все, что должен ей сказать, представил все, что она ответит. И вот она отвечает. Произносит добрые, полные нежности слова. Он действительно слышит ее голос, чувствует готовность помочь ему, видит волевое широкоскулое лицо. Но с каждой секундой она становится все менее реальной, все более расплывчатой. По-настоящему реальной она была, когда он ее ждал. Тогда его сердце ширилось от напряженной радости, теперь оно сморщилось, как порожний мешок.

Иоганна не находила подступа к Мартину. Нет, она не относилась к его страданиям с водянистой трезвостью Тюверлена. Пусть Тюверлен прав, пусть для Мартина делается все, что в человеческих силах, но ей хотелось дать ему не только то, на что он был вправе притязать. Она пришла, полная горячей нежности. Но сейчас сидела напротив него, и в ее словах не было одушевления, было только дружеское сочувствие. И она корила себя за то, что в эти считанные минуты думает не об одном Мартине.

Иоганне вспомнилось обещание Тюверлена показать на ее собственном примере, как борьба даже за благое дело порою превращает хорошего человека в плохого. Она чуть было не задала Мартину бестактный вопрос — лучше ли становится человек от страданий,— но сдержалась. И вдруг, когда свидание подходило к концу, когда она слушала Крюгера лишь краем уха, он сказал, словно ударил ее камнем:

— Говорят, борьба и страдания делают человека лучше. Может быть, но только под свободным небом.

Спокойствие, с которым он это произнес, его бесцветный голос пронзили ее до глубины души. И сразу исчез Тюверлен, исчезло все на свете, она целиком была с Крюгером. И сразу почувствовала, как много важного должна ему сказать. Но время уже истекло, и она была в отчаянье, потому что растратила его на пустые, неуместные мысли. Против нее сидел Мартин Крюгер, опустошенный, разочарованный. Он так готовился к свиданию с Иоганной, она еще здесь, еще не ушла, а он до последней капли исчерпан.

Всю ночь он терзался тем, что слишком мало извлек для себя из этой встречи. Ужасная ночь, когда человек один на один со своим гневом, сознанием бессилия, вожделением и раскаянием!

И сколько еще было таких ночей! Мартин Крюгер начал их бояться. «Доколе?» — спрашивал он, и его громкий голос дико звучал в одиночестве камеры. «Доколе?» — повторял он на всех известных ему языках. «Доколе?» — писал он почерком Гойи в клетках теневой решетки.

В одну из таких ночей его навестила крыса. Он вспомнил прочитанную когда-то историю, рассказ шута, брошенного в темницу г-жой де Помпадур, которой взбрело в голову, что тот ее оскорбил. Шут поведал о том, как, сидя в каменном мешке, который наверняка был хуже камеры Мартина, он приручал крыс. На следующую ночь Крюгер с робким нетерпением ожидал прихода крысы. Он разбросал по полу собранные за день объедки. Подумать только, крыса пришла. Он сказал: «Добрый вечер, крыса»,— и, подумать только, она не убежала. С тех пор крыса стала часто захаживать в камеру, и заключенный Крюгер вел с ней беседы. Он рассказывал, каким блестящим человеком был некогда, и как сейчас сражается с начальником тюрьмы Фертчем, и как отчаивается, и как надеется, и опять и опять спрашивал: «Доколе?» Она дарила ему отраду и великое утешение. А потом дыру забили, замазали, и заключенный Крюгер снова остался в одиночестве.

8

ЕЩЕ НЕ УСПЕЮТ ЗАЦВЕСТИ ДЕРЕВЬЯ

Лет за шестьдесят до этих событий немецкий археолог Шлиман произвел раскопки на том месте, где в древности стоял город Троя, и обнаружил множество разнообразных предметов. В том числе сотни веретен. На многих ученый увидел один и тот же знак: крест с загнутыми под прямым углом концами. Знак этот был известен во многих странах: люди с желтой кожей видели в нем символ счастья, индийцы — эмблему плодородия. Но Генрих Шлиман этого не знал. Он обратился за разъяснениями к французскому археологу Эмилю Бюрнуфу — что может означать удивительный крест? Г-н Бюрнуф, шутник, наделенный богатой фантазией, объяснил доверчивому немцу, что древние арийцы делали в таком кресте углубление, формой напоминавшее женское влагалище, вставляли в него пест и, вращая, добывали священный огонь. Простодушный Шлиман принял на веру выдумку веселого г-на Бюрнуфа. Сообщил, что крест с загнутыми концами чисто арийский знак. Германские «патриоты» на этой основе построили всю свою расовую теорию, избрали своей политической эмблемой индийскую эмблему плодородия. Некий лейпцигский делец выпустил марки с изображением этого креста и девизом: «Кровь арийская красна, // Сорта высшего она».

Марки имели успех. Школьники наклеивали их в альбомы, мелкие торговцы — на деловые письма. Хозяева галантерейных магазинов, исполненные патриотического пыла, наводнили рынок галстучными булавками в форме креста с загнутыми концами. Исходя из этой эмблемы, патриоты-этнологи стали строить этические и эстетические теории, решали неясные вопросы. Чем больше ширилось движение «истинных германцев», тем бóльшую известность приобретал крест-свастика, до тех пор украшавший только японские и китайские игорные дома и индийские храмы, посвященные многоруким божествам, так что в конце концов он стал не менее популярен среди мюнхенцев, чем башни недостроенного собора и мальчик в монашеском облачении.

Свастика неизменно красовалась на больших, кроваво-красных знаменах «истинных германцев». Свастику постоянно чертили жители Баварского плоскогорья на стенах, в особенности на стенах уборных. Свастику чеканили на кольцах, на брошках, а кое-кто щеголял татуировкой в виде свастики. Под знаком свастики мюнхенцы шествовали на собрания, где выступал Ру-

перт Кутцнер. Каждый понедельник, сперва в «Капуцинербрей», а потом и в других крупных пивных заведениях фюрер обращался к своему народу.

Все упорнее становились слухи, что недалек час, когда «патриоты» нанесут решительный удар. Каждый понедельник поклонники Кутцнера ждали, что вот сегодня он обязательно назначит день. На собрания стекалось все больше народу, и чиновники и служащие требовали, чтобы по понедельникам их отпускали пораньше, иначе все места за столиками уже оказывались занятыми. Люди боялись пропустить собрание,— а вдруг на нем будет возвещено о дне освобождения.

В одном из голубых вагонов трамвая, который шел мимо пивного заведения «Капуцинербрей», стоял, стиснутый прочими жаждущими попасть на кутцнеровское собрание, антиквар Каэтан Лехнер. Он успел уже побывать в Голландии и снова посмотреть на «комодик». Голландец пригласил его к обеду. Еды было вдоволь, к тому же вкусно приготовленной, но Лехнера так смутило количество вилок, и ножей, и прислуги, что он, можно сказать, ни к чему не притронулся. Потом на все корки бранил голландца, этого скрягу, жадюгу, который морит людей голодом. Но «комодик» он все-таки сфотографировал, и так удачно, что до́ма часто стоял и смотрел на фотографии, и сердце у него переполнялось нежностью к «комодику» и негодованием на правительство, которое сперва заставило его расстаться с ним, а потом допустило, чтобы какой-то галицийский еврей прямо у него из-под носа перехватил яично-желтый дом. Он перешел на сторону Кутцнера, убежденный, что фюрер отомстит за него и поможет наконец выбиться в люди.

Когда он выбирался из трамвая, кто-то грубо толкнул его и тут же сказал: «Извиняйте, господин хороший». Оказалось, это его жилец с Унтерангера Гаутсенедер. Лехнер его ненавидел и до сих пор судился с ним — никак не мог простить, что тот выставил его, нового домохозяина, из своей квартиры. Теперь они бок о бок общими усилиями старались пробиться вперед, все еще немного злясь и косо поглядывая друг на друга. Но толпа одновременно впихнула их в зал, и они оказались за одним столиком. Как же тут было не завязать пусть ворчливую, но все же беседу?

До начала оставалось не меньше получаса, но зал уже был битком набит. Табачный дым густыми клубами окутывал помидорно-красные головы, лица, украшенные щетинистыми усами, серые пивные кружки. Газетчики выкрикивали: «Запрещенный номер «Фатерлендишер ацейгер»!» Власти время от вре-

мени запрещали какой-нибудь номер этой газеты, но смотрели сквозь пальцы на то, что их запреты не исполняются. Собравшиеся терпеливо ждали, развлекаясь бранью в адрес правительства за чинимые несправедливости. Например, г-жа Тереза Гаутсенедер на собственной шкуре испытала полную негодность нынешнего режима. Она купила в рассрочку у коммивояжера пылесос марки «Аполлон». Другой коммивояжер продал ей, тоже в рассрочку, но немного дешевле пылесос марки «Триумф», уверив, что договорится с первым коммивояжером и что все будет в порядке. Но, разумеется, и не подумал договориться, так что теперь она должна была платить за оба пылесоса. Г-н Гаутсенедер, целые дни гнувший спину на зендлинговской линолеумной фабрике, заявил, что не собирается выбрасывать четырехмесячное жалованье на ее идиотские прихоти, и вообще она дура дурой, и он попросту с ней разведется. Г-жа Гаутсенедер, со своей стороны, выразила желание броситься в Изар. Дело дошло до суда, началась бесконечная волокита. Адвокаты бубнили о заведомом обмане, о неправомочности жены и прочее. В результате было вынесено невразумительное постановление о мировой, которое никого не удовлетворило, и недовольные существующим строем г-н и г-жа Гаутсенедеры, а также оба коммивояжера вступили в ряды «истинных германцев».

В ожидании прибытия фюрера люди рассказывали друг другу о многих подобных несправедливостях. Все возмущались каждодневным нелепым падением марки, все возлагали ответственность за это на евреев и правительство, все надеялись, что Кутцнер принесет им освобождение. Отставной государственный чиновник Эрзингер был страстным поборником гигиены. В эти жалкие времена поддерживать в чистоте тело и душу, квартиру и одежду стало тяжким делом. Он был человек миролюбивый, законопослушный, почитал власти, даже если их законность была сомнительна. Но когда его жена повесила в уборной вместо привычной туалетной бумаги нарезанные листки газеты, он вышел из себя и стал сторонником Кутцнера. У десятника-строителя Брукнера убили на войне трех сыновей — одного в битве при Сомме, другого — при Эне, третьего — при Изонцо, четвертый пропал без вести в Карпатах. Старик негодовал, а в церкви, вместо утешения, ему долдонили, что господь бог подвергает испытанию своих возлюбленных чад. У Кутцнера десятник Брукнер обрел более действенное утешение. Надворная советница Берадт избавилась наконец от ненавистной жилицы Анны Элизабет Гайдер, поскольку та покончила с собой. Но и сменившие Гайдер жильцы всевозможными спосо-

бами досаждали ей, шумели, принимали весьма подозрительных знакомых, готовили тайком еду на запрещенных электроприборах. Так что же, прикажете почтенной вдове все это терпеть? Приходилось терпеть. Она не смела избавиться от этого сброда, а кто виноват? Правительство с его безбожным законом о правах квартирантов. Она надеялась, что и в этом деле фюрер наведет порядок. Г-н Иозеф Фейхтингер, учитель луитпольдской гимназии, пересел с трамвая на трамвай не на Штахусе, а на Изарторплац — ему там нужно было кое-что купить. Таким образом он ехал не самым кратчайшим путем, как полагается при пересадочном билете, и за это его оштрафовали. Он сорок два года беспорочно прожил на свете, но при этом правительстве человека штрафуют только за то, что ему нужно купить на Изарторплац две синих тетрадки. Он стал сторонником Кутцнера.

Все гуще становились клубы табачного дыма, все удушливее запах пота, все нестерпимее жара, все расплывчатее серые пивные кружки, все краснее лица. Антиквар Каэтан Лехнер все чаще выхватывал из кармана клетчатый носовой платок. И вот, под сенью знамен, при ликующих кликах толпы, четко шагая в такт гремящему духовому оркестру, задрав голову с безукоризненным пробором, совершил свой выход Руперт Кутцнер.

Он говорил о позорном Версальском мире, о наглых адвокатских выходках француза Пуанкаре, о международном заговоре, о масонах и Талмуде. В его речи не было ничего нового, но так естественно были построены фразы, так убедительны ораторские приемы, что слушателям она казалась откровением. Потом он перешел к рассказу — и в голосе его зазвучало благоговейное восхищение — об итальянском фюрере Муссолини, о том, как отважно он завладел Римом, а потом и всем Апеннинским полуостровом. Кутцнер призывал баварцев вдохновиться столь блистательным примером мужества, измывался над имперским правительством, предрекал поход на Берлин. Расписывал, как без единого удара мечом, сдастся «истинным германцам» этот прогнивший город, как его обитатели, при одном взгляде на подлинных сынов народа, тут же наложат в штаны. Когда он заговорил о походе на Берлин, в зале все притаили дыхание. Ждали, что он назначит день похода. Каэтан Лехнер даже не до конца высморкал нос, боясь помешать фюреру. Но тот не собирался выражать мысли в ясной и грубой форме, подобающей разве что бюллетеню о курсе доллара, прозе он предпочитал поэзию.

— Еще не успеют зацвести деревья,— воскликнул он, указывая на знамена с экзотическим знаком свастики,— а эти знамена уже оправдают наши надежды!

Еще не успеют зацвести деревья. Столь многообещающая весть запечатлелась у всех в сердцах. Люди выслушали ее безмолвно и блаженно. Они были во власти живой мимики Руперта Кутцнера, его великолепного голоса. Сразу позабыли, что их тоненькие пачки ценных бумаг уже ничего не стоят, что напрасны были их старания обеспечить себе безбедную старость. Как умело облекал этот человек их мечты в слова! Каким широким жестом взлетали его руки, с какой силой ударяли по кафедре, как пародийно жестикулировали, когда фюрер, вслед за невзыскательными юмористическими журнальчиками, изображал евреев. Собравшиеся самозабвенно следили за каждым его движением, их большие руки с бережной осторожностью опускали на столики глиняные кружки, дабы ни единым звуком не заглушить его бесценных слов. Порою фюрер возвышал голос — это означало, что пришло время аплодировать. А пока гремели аплодисменты, он, пользуясь возможностью, вытирал взмокший лоб и, все тем же широким жестом подняв пивную кружку, осушал ее до дна.

Он снова заговорил о берлинском правительстве, до того ничтожном, что, в ответ на законное возмущение народа, оно не нашло ничего лучшего, чем издать чрезвычайные законы.

— Будь у власти мы, «истинные германцы»,— воскликнул он,— нам не понадобились бы чрезвычайные законы!

— А что бы вы сделали? — раздался чей-то красивый, звучный голос.

Руперт Кутцнер на мгновение умолк. Потом негромко, с мечтательной улыбкой произнес среди напряженного молчания:

— Взяли бы да и повесили наших врагов.

А составляли «истинные германцы» четыре процента от населения Германии. Тридцать четыре процента занимали нейтральную позицию, шестьдесят два были им враждебны.

В зале все улыбались такой же задумчивой улыбкой, как фюрер. Они уже представляли себе, как их враги, высунув синие языки, болтаются на виселицах и деревьях, Лехнер представлял себе галицийца, купившего яично-желтый дом, г-жа Гаутсенедер — обоих коммивояжеров, продавших ей пылесосы, оба коммивояжера — г-жу Гаутсенедер, и все с полным удовольствием осушали большие серые пивные кружки.

Рохус Дайзенбергер тоже представлял себе, как болтаются на деревьях кое-какие людишки из оберфернбахской общины, те самые, которые отобрали у него роль в мистерии, плуты чертовы! Он представлял себе, как их вешают, как он сам помогает их вешать. Он и в Оберфернбахе давал Иуде разумные советы. Да, апостол Петр переехал в Мюнхен. Внутренний голос не солгал ему: ежели в собственной деревне пророка не чтут, ладно, теперь такие времена, что ему и в Мюнхене найдется, что делать. Он продал своих обожаемых коней и открыл гараж в городе. Коли нет под рукой лучшего собеседника, можно и с мотором поговорить по душам, мотор тоже ведь божья тварь. Времена были трудные, но дела в гараже шли вполне прилично. Рохус Дайзенбергер пришелся ко двору «патриотам», стал, можно сказать, одним из столпов партии, вся связь с деревней шла через него.

Меж тем Руперт Кутцнер продолжал метать громы и молнии. Ему не мешал табачный дым, не мешала духота. Легкие у него были отменные. Неутомимые, как машина, сокровище партии — фюрер ими очень дорожил. На каждом его выступлении обязан был присутствовать придворный актер Конрад Штольцинг. Прошло тридцать лет с тех пор, как он потрясал мюнхенцев в роли Ромео, одного из действующих лиц драматурга Шекспира, в роли Фердинанда фон Вальтера, одного из действующих лиц драматурга Шиллера. Пятнадцать лет назад он перешел на характерные роли, а с недавнего времени занимался только художественным воспитанием молодежи. Счастливый случай свел государственного деятеля Руперта Кутцнера с актером Штольцингом. А разве сто двадцать лет назад прославленный французский вождь не брал уроков у некоего актера по имени Тальма? Конрад Штольцинг вложил в своего великого ученика всю душу. Учил его, как проходить по переполненному ресторанному залу с безразличным видом, с полной естественностью, словно не замечая множества любопытных взглядов, как придавать достоинство походке — для этого ногу надо ставить не на пятку, а на носок. Учил правильному дыханию, учил раскатисто произносить букву «р», чтобы речь была отчетливее. Посвятил его в искусство сочетать изящество с достоинством. Ученик был так способен и усерден, что старик млел от радости. Сколько бы у фюрера ни было дел, он ежедневно занимался с актером. Теперь он уже мог говорить восемь часов, не умолкая, не теряя голоса, не нарушая ни единого правила. Старик с внушительной головой римлянина сидел на каждом его выступлении и следил, как он дышит,

как произносит букву «р», как движется, пьет, говорит, сочетает изящество с достоинством.

Сейчас ему абсолютно не к чему было придраться. Несмотря на табачный дым, голос Кутцнера гремел. Все было отлично, все *работало*. Вопрос о том, как «истинные германцы» разделаются с врагами, задал он, Штольцинг. Старый актер заранее разучил с Кутцнером ответ — и многозначительную паузу, и мечтательную улыбку. Двадцать пять лет назад так улыбался он сам, играя Гамлета, принца датского — одного из действующих лиц драматурга Шекспира. Улыбка *работала*, она произвела не меньшее впечатление, чем двадцать пять лет назад.

Фюрер произнес эту речь еще в трех больших пивных заведениях: в «Шпатенбрейкеллер», в «Мюнхнер Киндлькеллер» и в «Арцбергеркеллер». Трижды торжественно шествовал он, окруженный ближайшими соратниками, по залам, где клубились пивные испарения и гремели приветствия. Трижды актер обращался к нему с вопросом, и Руперт Кутцнер улыбался, как некогда улыбался Гамлет — Штольцинг на сцене мюнхенского придворного театра. Трижды, указывая на знамена со свастикой, предрекал, что «еще не успеют зацвести деревья», а «истинные германцы» уже пойдут походом на Берлин. «Еще не успеют зацвести деревья!» — грозно, радостно, соблазнительно звенели эти слова в ушах двенадцати тысяч мюнхенцев. «Еще не успеют зацвести деревья!» — врезáлись они в сердца двенадцати тысяч мюнхенцев.

9

ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДА МЮНХЕНА

В те годы популярнейшим способом доказательства неправоты политического противника было убийство. В Германии к такому роду доводов чаще всего прибегали правые, владевшие оружием духовной борьбы хуже, чем вожди левых партий.

Особенно горячими поборниками убийства левых в качестве опровержения их аргументации были деятели города Мюнхена. Седьмого ноября, в последний год войны, в Мюнхене произошла революция; вождем восставших был уроженец Берлина, еврей по национальности, известный писатель Курт Эйснер. Этот Эйснер, избранный на пост премьер-министра Баварии, навел порядок в стране и был убит двадцать первого февраля

следующего года неким графом Арко, молодым лейтенантом, ревностным читателем клерикальных газет. Случилось это, когда Эйснер направлялся в парламент, собираясь подать в отставку. Солдаты составили пирамидой винтовки, украшенные цветами, и оградили место на каменной мостовой, залитое кровью убитого. Многие плакали. Пятьдесят тысяч мюнхенцев провожали убитого на кладбище. Не прошло и восьми месяцев, как убийца уже стал очень популярен. Сперва его приговорили к смертной казни, потом высшую меру наказания заменили заключением в крепость и послали работать практикантом в поместье неподалеку от Ландсберга. Предоставили в его распоряжение самолет. Прошло еще немного времени — и он стал одним из директоров акционерной компании, субсидируемой правительством.

После убийства Эйснера у власти в Мюнхене стали представители левых партий. Их свергли правые, пустив в ход оружие. Когда стало известно, что и подступающие к городу войска консерваторов ставят к стенке всех взятых в плен красных, красные солдаты в Мюнхене, в виде возмездия, расстреляли без суда шестерых членов националистического союза, подделавших печать красных властей, и еще четверых арестованных. Со своей стороны, правые, вступив в город, отметили так называемое освобождение Мюнхена расстрелом пятисот сорока семи человек — таковы официальные сведения. Социалисты утверждали, что эта цифра не соответствует действительности: по их данным она колеблется от восьмисот двенадцати до тысячи семисот сорока восьми человек. Правительственных солдат было убито сорок восемь человек. Сверх того, опять-таки по официальным данным, во время боев в самом Мюнхене жертвами «несчастных случаев» пали сто восемьдесят четыре человека гражданского населения. Многие жертвы расстрелов, убийств и «несчастных случаев» были, в довершение всего, раздеты и ограблены.

Через год правые во главе с неким Каппом захватили власть и в Берлине. Впрочем, этот путч точно так же потерпел поражение, как год назад — путч левых в Мюнхене. Семьсот пять государственных преступников, принявших открытое участие в путче правых, были приговорены в общей сложности к пяти годам тюремного заключения. Сто двенадцать государственных преступников, принявших открытое участие в баварском левом путче, получили в общей сложности четыреста восемьдесят лет и восемь месяцев тюремного заключения, а двое были расстреляны. Столь скромная цифра приговоренных

участников левого путча объясняется тем, что бóльшая часть восставших была застрелена, убита или погибла «в результате несчастного случая» во время городских боев. Меж тем когда путч правых провалился и к власти вернулось прежнее правительство, никаких «несчастных случаев» не произошло.

Среди погибших «от несчастного случая» при освобождении консерваторами Мюнхена был и социалист Густав Ландауер, один из видных писателей того времени. Очевидцы сообщили обстоятельства, при которых он погиб. Писатель-пацифист Ландауер был взят под стражу вблизи Мюнхена, немедленно доставлен в штарнбергский городской суд и затем на грузовике отправлен через форстенридский парк в тюрьму городка Штадельхейма, неподалеку от Мюнхена. В Штадельхейме Ландауера и всех арестованных вместе с ним окружил отряд солдат. Писатель сказал что-то неодобрительное о милитаризме как правых, так и левых. Солдаты до полусмерти избили его, а некий майор фон Гагерн ударил по лицу рукояткой хлыста. Солдат, имя которого неизвестно, и другой, по имени Дигеле, выстрелили из пистолетов в спину Ландауеру, после чего он упал. Но так как он все еще шевелился, его затоптали ногами. Один из друзей Ландауера добился выдачи трупа и обнаружил, что к тому времени с покойника были сняты пиджак, брюки, ботинки, пальто, часы. Мюнхенский суд приговорил майора фон Гагерна к штрафу в сумме трехсот марок, что равнялось сорока восьми золотым маркам. Фрейбургский военный суд признал рядового Дигеле, который выстрелил в Ландауера, а затем снял с него часы, невиновным в убийстве, поскольку Дигеле только исполнял приказ начальства, а за кражу часов приговорил его к пяти неделям тюрьмы с зачетом предварительного заключения; затем его произвели в унтер-офицеры.

Доктор Карл Горн, профессор математики и физики, был задержан двумя солдатами консерваторов, но отпущен, причем ему была выдана справка о его невиновности. Назавтра его снова арестовали двое военных и доставили к дежурному по штабу лейтенанту Дингельрейтеру, который, не допросив арестованного, распорядился: «В штадельхеймскую тюрьму», куда в сопровождении трех конвойных он и был отправлен. Он предъявил выданную ему справку, но безрезультатно. На поляне по дороге в Штадельхейм конвойные убили его выстрелами в спину. Спустя несколько часов вдова и девятилетний сын нашли его труп — он валялся прямо на дорожке. Карманы костюма были вывернуты наизнанку и пусты, ботинки, часы с цепочкой и брелоками исчезли. Ни лейтенант, ни солдаты

наказания не понесли. Как мюнхенский городской, так и земельный суды отклонили иск вдовы на том основании, что погибший «в результате несчастного случая» был социалист и бунтовщик и, значит, сам повинен в нарушении солдатами дисциплины.

Георг Клинг и его дочь Мария Клинг добровольно работали санитарами у левых. Марию Клинг судил военно-полевой суд и оправдал; на следующий день ее должны были выпустить из тюрьмы. Когда отец пришел за ней, выяснилось, что она переведена в штадельхеймскую тюрьму и там превращена в стрелковую мишень. Сперва ей прострелили голеностопный сустав, потом икру, потом бедро, потом голову. Так как все относящиеся к делу документы в суде куда-то запропастились, никто не понес никакого наказания.

Когда отряды консерваторов, входившие в добровольческий корпус Лютцова, вступили в городок Перлах вблизи Мюнхена, солдаты вытащили из постелей и арестовали двенадцать рабочих, беспартийных или правых социалистов. Ни один из них не принимал участия в военных действиях, ни у одного не нашли оружия. Перлахский трактирщик хотел напоить их кофе, но ему сказали, что кофе им больше не понадобится. Арестованные умоляли пощадить их, но были расстреляны по два-три человека в прием на угольной куче во дворе погребка «Гофбрейкеллер»; все их документы и сколько-нибудь ценные вещи исчезли. Совершившие это деяние не понесли наказания. Иск, предъявленный двенадцатью вдовами и тридцатью пятью детьми, был оставлен без внимания.

Сохранились показания многих свидетелей несостоявшейся, хотя и подготовленной казни человека по имени Шлейзингер, родом из Штарнберга, что под Мюнхеном. Этого Шлейзингера вместе с двумя десятками других молодых людей уже везли на казнь. Впереди ехал большой серый грузовик с хлорной известью и карболкой. Осужденных высадили на поляне, ограниченной с одной стороны полотном железной дороги. Поодаль, метрах в ста, собралась толпа зевак. Приговоренных к расстрелу поставили спиной к насыпи, в восьми метрах от них выстроились солдаты. В последнюю минуту один из смертников, прорвав цепь солдат, бросился бежать. Ему вдогонку полетели пули. Побежали солдаты. В смертельном страхе беглец мчался как ветер по направлению к болоту, сбил с ног кого-то, кто пытался его перехватить, достиг зарослей высокого камыша. Разъяренный офицер, командовавший отрядом, решил, что «зачинщик» Шлейзингер должен до собственной казни

стать свидетелем казни своих сообщников. Тот попытался отвернуться, но ему приставили к вискам по револьверу, принуждая смотреть, как один за другим, точно мешки, валятся на землю его товарищи. Когда очередь уже дошла до Шлейзингера, вдали показался стремительно бегущий человек, который размахивал листком бумаги: то был местный староста. Прочитав бумагу, глубоко разочарованный офицер приказал отвезти Шлейзингера назад в тюрьму. Последний поседел за этот день и с тех пор болен нервным расстройством; по остальные мертвы.

Были убиты и члены консервативной партии — ни много ни мало двадцать один человек. Через несколько дней после «освобождения» Мюнхена союз ремесленников-католиков устроил собрание по поводу постановки какой-то благочестивой пьесы. Некто — вполне возможно, любитель веселых шуток — донес, что это большевистское собрание. Капитан фон Альт-Зуттерхейм приказал немедленно арестовать собравшихся. Их привезли на Каролиненплац, красивую, тихую, благородной архитектуры площадь, где стоит тридцатидвухметровый обелиск в память тридцати тысяч баварцев, убитых во время похода Наполеона на Россию,— эту цену Бавария заплатила французскому императору за право называться королевством. Пятерых католиков расстреляли перед обелиском, остальных шестнадцать отвели в погреб. Там солдаты устроили такую бойню, что у одного даже погнулся штык. Все убитые были ограблены, у кого-то был начисто снесен затылок, кому-то растоптали нос. Солдаты отплясывали на трупах вошедший тогда в моду негритянский танец. Затем они подали начальству рапорт о расстреле двадцати одного большевика. Вот имена убитых: И. Лахенмайер, И. Штадтлер, Ф. Адлер, И. Баххубер, С. Балдат, А. Бузингер, И. Фишер, М. Фишер, Ф. Грамман, М. Грюнбауер, И. Гамбергер, И. Крапф, И. Ланг, Б. Пихлер, П. Прахтль, Л. Рут, К. Замбергер, Ф. Шёнбергер, А. Штадтлер, Ф. Штёгер, К. Виммер. Так как на этот раз жертвами «несчастного случая» были члены правящей католической партии, виновных в указанном «несчастном случае» приговорили к длительному тюремному заключению. Истинные же виновники, офицеры гвардейской дивизии, никакого наказания не понесли.

Гимн города Мюнхена остался неизменным и после всех этих происшествий: «Пока зеленый Изар стены города омывает, будет в наших домах царить благообразный уют».

10

ШАПКА-НЕВИДИМКА

Когда бывший министр Кленк позвонил по телефону г-ну фон Рейндлю и сказал, что ему нужно с ним побеседовать, тот с возмутительным благодушием ответил, что Кленк, надо думать, не сочтет неучтивостью, если их беседа произойдет в присутствии массажиста,— у него, Рейндля, совсем нет свободного времени. Кленк взбесился от такой наглости, тем не менее она ему чем-то импонировала.

— Что нам с вами церемониться, соседушка,— сказал он.

На следующее утро он пешком, благо путь был недалек, отправился к Рейндлю на Каролиненплац, хваля себя по дороге за то, что не дал тому сдачи за нахальство. «Истинные германцы» нуждались в деньгах. Деньги он из этой скотины выколотит, что и требуется доказать. Важен успех, остальное приложится. Но какой все-таки пакостный тип, этот Пятый евангелист! Кокетничает находчивостью, сыплет дешевыми остротами. И к тому же сибарит. В общем, весьма подозрительная личность, даром что морда у него сине-белая — как ни три, не слиняет. Но он, Кленк, ему еще покажет.

Да, Кленк снова жил в полном согласии с собою: неуверенность в правильности пути, появившаяся было в Берлине, теперь исчезла. Вернувшись в Мюнхен, он с места в карьер пустил в ход всю свою ловкость, все дипломатические таланты ради победы «истинных германцев». Это единственно правильное решение, только так он добьется, чего хочет. Пусть себе Кутцнер считается главой движения, да он и впрямь сокровище партии: не легкие, а мехи, глотка луженая, и в способностях организатора ему не откажешь. А военными делами пусть заправляют генерал Феземан и командир ландскнехтов Тони Ридлер — Кленк в это не вмешивается. В свое время он довольно насладился гласностью, теперь видимость власти его не прельщает, ему подавай настоящую власть. И власть у него в руках. Он указывает путь, подает идеи.

И на него смотрят, как на истинного вождя движения,— это сразу видно, стоит ему прийти в «Мужской клуб» и встретиться с бывшими своими врагами и коллегами. До чего же приятно наблюдать, как все они — Дитрам, Флаухер, Гартль — лебезят перед ним, с какой натянутой, трусливой улыбочкой обхаживают его. Дитрам уже сдержанно намекал — мол, теперь, к счастью, Кленк опять здоров и бодр, так нет ли надеж-

ды на сотрудничество достопочтенного коллеги, если окажется, что Мессершмидту пост министра юстиции не по плечу?

Дрянное создание человек. Думая о бывших коллегах по кабинету, Кленк удовлетворенно и лукаво улыбался. Что говорить, всего разумнее управлять, оставаясь в тени, не вылезая вперед. Так и поступают умные клерикалы,— эти всему знают цену. Но Отто Кленк тоже не дурак: плевать ему на видимость. А Рейндль пусть принимает его хоть в отхожем месте — Кленка от этого не убудет. Придет день, они еще расквитаются. Пока массажист разминал телеса Рейндля, тот доброжелательным тоном объяснял Кленку, что если учесть, какие деньги промышленники вкладывают в патриотическое движение, его можно было бы организовать куда лучше. Стоит лишь припомнить, как используют деньги своих промышленников итальянцы, и ореол г-на Кутцнера сразу начинает тускнеть.

— Сразу тускнеет,— повторил он, сладострастно кряхтя под сильными руками массажиста.

А все оттого, возразил Кленк, что хотя партия пользуется неслыханной популярностью в народе, но из влиятельных людей, которые симпатизируют движению «истинных германцев», лишь очень немногие набрались духу открыто заявить себя их сторонниками. Разумеется, достоин всяческой похвалы энтузиазм, с каким агитирует за патриотов мюнхенский ставленник Рейндля, главный редактор Зонтаг, но поразителен тот факт, что северогерманские газеты г-на Рейндля печатают сугубо черно-красно-куринодерьмовую писанину, и уж никак не патриотическую. Эпитет «черно-красно-куринодерьмовый» был в Баварии ходячей заменой «черно-красно-золотого», то есть цветов общегерманского государственного флага. Г-н фон Рейндль пожал плечами, а так как он лежал на животе, получилось очень выразительно. Разумный человек применяется к климату, сказал он. Что в Мюнхене дает ростки, то в Берлине может и не привиться. Надо долго принюхиваться, пока решишь, что лучше подходит к местности — азотная фабрика или климатологический курорт.

Оба рассмеялись, засмеялся угодливо и массажист, но про себя Кленк не переставал возмущаться цинизмом, с которым Рейндль излагал свои принципы. В грубошерстной куртке, подчеркивавшей его массивность, этот властолюбец сидел в изножье кровати на хрупкой, обитой плюшем банкетке, а со стены смотрела на него томно-бессмысленными глазами «Леда с лебедем» — копия художника Ленбаха с итальянского оригинала. Во всяком случае, патриотическому движению мюнхен-

ский воздух весьма полезен, ответил он, делая вид, что не понял двусмысленного сравнения Пятого евангелиста.

— Вы правы,— заметил Рейндль, меж тем как его обмазанная кремом спина все больше пунцовела под опытными руками массажиста,— хотя это и непонятно, если вспомнить, как противопоказан нашему характеру ваш прусский милитаризм.

Пришлось Кленку проглотить и то, что Рейндль корчит из себя этакий эталон баварца.

— Мы, баварцы,— раздельно сказал он своим могучим басом,— мы потому покровительствуем национализму, что нет лучшего средства натянуть нос красным. Мы поддерживаем тех, кто переходит к «патриотам», и таким образом раскалываем ряды революционеров.

Массажист Цвельфингер усмехнулся про себя — как внушительно они возвещают истину, что снег белый; даже он знал, что «большеголовые» поддерживают «истинных германцев» только из ненависти к соци.

— Святая правда,— покровительственно согласился Рейндль, поворачивая голову и снизу вверх круглыми глазами глядя на Кленка.— Святая правда,— повторил он и с бесстыжей прямотой добавил: — Зачем бы нам было поддерживать Кутцнера, как не для того, чтобы расколоть социалистов?

Затем он деловым тоном сказал, что будет рад помочь «патриотам» раздобыть деньги. Скорее всего, ему удастся уговорить некоторые организации оказать финансовую помощь «истинным германцам». Кленк немедленно спросил, не согласится ли он сам...

Нет, Пятый евангелист отнюдь не собирался самолично давать деньги г-ну Кленку и его партии. Он приподнялся, и массажист испуганно отскочил. Бледный, рыхлый человек с кожей, блестящей от крема, и его кирпичнолицый гигант-собеседник смотрели друг другу в глаза. В том-то и вся штука, к тому-то все и сводилось: не к деньгам Рейндля, а к его имени — могучему подспорью движения, за которое ратовал Кленк.

— Вот что, Кленк,— сказал Рейндль, всей своей мясистой тушей источая издевательское благодушие,— вы, разумеется, как подобает доброму «истинному германцу», читали старинные германские саги. И наверняка обращали внимание на то, что герои этих прекрасных сказаний частенько бывали обязаны успехом некоему волшебному приспособлению, которое делало человека невидимым — так называемой шапке-невидимке. Идеологи вашей партии именуют это, если я не ошибаюсь, «се-

верной хитростью». Я, современный промышленник, должен признать, что ваши древние германские писатели держались весьма разумного принципа,— он не устарел и по сей день. Не будь шапки-невидимки, Гунтеру не удалось бы получить Брунгильду, да и я, если только дозволено сравнивать столь малое со столь великим, я тоже без шапки-невидимки многого не получил бы. Не привлекать внимания, не болтать лишнего, не проталкиваться вперед — разве это не золотое житейское правило? Если я верно представляю себе ситуацию, вы ведь теперь и сами придерживаетесь того же правила. Так на каком основании вы ждете, что изменю ему я?

Что ж, Пятый евангелист прав. Он, Кленк, старается держаться в тени, выталкивает вперед Кутцнера и Феземана,— так современную гостиницу украшают своеобразным гербом — старинной вывеской, на которой намалеван белый бык. Он ведь даже и не вступил в партию. Этот Рейндль так часто бывает прав, что прямо с души воротит. Но придется сложить оружие. Все равно никакими силами из него не вырвешь прямого «да» или «нет». Он симпатизирует, но его имя не должно нигде фигурировать.

А человек, не желавший, чтобы его имя где-нибудь фигурировало, лежал на животе и, повернувшись к Кленку спиной, которую все еще массировал г-н Цвельфингер, явно наслаждался. Нет, убедить его повернуться лицом к публике — предприятие безнадежное.

Кленк ушел, получив от Пятого евангелиста обещание, что в тот же день некая организация с ничего не говорящим и ни к чему не обязывающим названием поддержит движение «истинных германцев» весьма солидным денежным чеком. Был ли Кленк уязвлен, что деньги дает опять какая-то анонимная организация, а не Рейндль? Конечно, он бранился про себя, спускаясь по широкой лестнице мимо картины «Умирающий Аретино» — огромного полотна, где были изображены пышно разодетые красотки и богато убранный стол, и среди всего этого великолепия падал навзничь внушительный, увенчанный цветами старец. «Чванливый стервец, спесивец!» — думал Кленк. Всякий раз обязательно подпустит какую-нибудь шпильку насчет того, что «истинные германцы» просто банда безмозглых идиотов. Он и тут прав, о чем говорить. Дерьмовое невезение, что ему, Кленку, пришлось связаться с такой идиотской партией. Эх, будь он помоложе! Тогда бездумно окунулся бы в этот вонючий поток — просто из-за его стремительности. И тут Кленк подумал, что надо бы выписать в Мюнхен паренька

Симона, сыночка. Он здорово дерет глотку в Аллертсхаузене, восхищается своим папашей, восхищается Кутцнером. И прав, что дерет, не может не драть. Молод, значит, имеет право быть ослом.

При всем том Кленку и в голову не приходило швырнуть Рейндлю в лицо чек. Он, в общем, даже не злился на Пятого евангелиста за его правоту. «У него тебе не грех и поучиться, Отто Кленк»,— подумал он. «Шапка-невидимка!» — подумал он. С каждой минутой настроение у него все улучшалось. «Он настанет, мой день»,— подумал он, и где-то в самой глубине его существа прозвучали глухие удары литавр из той увертюры.

11

СЕВЕРНЫЙ СТРОЙ ДУШИ

Эрих Борнхаак с неутомимой энергией работал в секретариате штаба «истинных германцев». Внешнеполитическое положение страны день от дня становилось все напряженней, законные власти все бессильней, «истинные германцы» все влиятельней. Еще не успеют зацвести деревья, провозглашал Кутцнер, а он уже возьмет власть в свои руки. Но до этого надо было многое сделать. Ни Кленк, ни Кутцнер не снисходили до мелочей; будничная работа целиком лежала на Эрихе.

В штаб приходили самые разнообразные люди. Например, приходил Рохус Дайзенбергер, предъявлял счета к оплате. Он ничуть не изменился — та же борода с проседью, те же длинные, расчесанные на пробор волосы, тот же солидный черный сюртук. В грандиозном спектакле, затеянном «истинными германцами», он вдохновенно играл роль апостола. И результаты были отличные. Особенно в деревнях. Крестьяне ни в чем не нуждались, выплачивали недоимки обесцененными деньгами, жили припеваючи, лучше, чем когда бы то ни было. А долговязый человек с лукавыми глазками убеждал их, что «истинные германцы» уничтожат еврейских капиталистов-грабителей и навеки упрочат нынешнее изобилие. Его речи были хитроумны и патетичны. Они производили такое впечатление, что после его проповедей народ валом валил в партию. Но святой агитатор стоил немалых денег. Объездив окрестные деревни, он предъявлял внушительные счета, а машины, которые он давал напро-

кат или продавал партии, стоили дороже, чем в любом другом автомобильном парке. Эрик Борнхаак ограничивался тем, что ради проформы вычеркивал из его счетов одну-две статьи расходов. Денег в партийной кассе было хоть отбавляй. Германские промышленники, да и некоторые заграничные организации жертвовали щедрой рукой. Эрих не возражал против того, чтобы святой пройдоха пожил в свое удовольствие.

Заходил и профессор Бальтазар фон Остернахер. Ему импонировала бутафория патриотического движения: знамена, мундиры, воинственный блеск, экзотическая эмблема плодородия, ораторские жесты Кутцнера, его голос. Он писал портрет фюрера в стиле художников Возрождения, который должен был украсить зал собраний «Союза Эдды».

Часто захаживал в секретариат и г-н Пфаундлер. Сперва он относился к «истинным германцам» с недоверием, но живо перестроился, когда они стали устраивать торжественные процессии. «Патриотизм немыслим без увеселений, увеселения немыслимы без патриотизма»,— был его нынешний лозунг. Он мечтал о грандиозном освящении знамен, о том, что возьмет на себя праздничное оформление улиц, торжественных шествий.

Покончив с делами в штабе, Эрих поехал к Кутцнеру. Как только он остался один, веселость слиняла с него, словно дрянная краска. Он сидел в машине глубоко угнетенный. Будь оно все проклято! Дела его друга Дельмайера шли из рук вон плохо. История с отравлением собак снова всплыла на поверхность, никак не удавалось предать ее забвению. Чертов Мессершмидт с его непробиваемой честностью! Вперился в это дело своими бычьими глазищами, и ничем его не отвлечешь. Опять засадил фон Дельмайера за решетку, держит его там и не выпускает. Эрих потому и работал в штабе партии с таким рвением, что надеялся — Кутцнер и Феземан вызволят его друга из тюрьмы. Он уже кое-чего добился, дело фон Дельмайера постепенно перерастает в вопрос престижа, в единоборство «истинных германцев» с их последним противником в правительстве.

В приемной Кутцнера сидела его секретарша — Инсарова. Хрупкая русская танцовщица не послушалась многоопытного доктора Бернайса, не уехала в английский санаторий, не проявила героизма, не улеглась в целительную гипсовую постель. Вместо этого, дождавшись конца собрания, где выступал Кутцнер, она подошла к нему и стала так безудержно превозносить, что польщенный фюрер, в ответ на просьбу Инсаровой дать ей работу в аппарате партии, взял ее к себе в качестве личной секретарши. С тех пор она сидела у него в приемной, станови-

лась все тоньше, прозрачней, болезненней на вид, плела мелкие интриги, была довольна жизнью.

Эрих потребовал, чтобы она сию секунду устроила ему свидание с фюрером и чтобы никакие помехи — посетители, телефонные звонки, телеграммы — не прерывали его беседы с этим вечно взвинченным, занятым одновременно десятью делами человеком. Он собирался повести решительную атаку на Кутцнера и добиться обещания, что тот в ближайший же понедельник поставит на собрании вопрос об освобождении Дельмайера, как о чем-то личном, глубоко затрагивающем его, фюрера «истинных германцев».

Сперва Инсарова отказалась пропустить Эриха к Кутцнеру. Конечно, молодой человек ей нравился, она кокетничала с ним и охотно оказала бы ему услугу. Но фюрер был так занят, некто влиятельный дал знать, что вот-вот прибудет на прием, кроме того, с минуты на минуту должны позвонить из Берлина для важного делового разговора. Она твердила свое, он настаивал. В конце концов Инсарова сдалась.

Эрих знал, как обходиться с Кутцнером, умел заговаривать ему зубы, ловко добивался всего, чего хотел. Он так искусно подбрасывал фюреру всевозможные идеи, что тот считал их собственным изобретением. Правительство только потому арестовало фон Дельмайера, твердил он Кутцнеру, что хотело лишить «патриотов» одного из самых неколебимых членов. Состряпать дело против этого достойнейшего человека можно было лишь с помощью гнусно формального римского права, навязанного немецкому народу попами и евреями. Да ведь невинность фон Дельмайера написана у него на лице — с этим согласится любой непредубежденный человек. Единственное его преступление состоит в приверженности идеалу «патриотов». Отравитель собак! Он, фон Дельмайер! Такого бесстыдства это поповское правительство еще ни разу себе не позволяло. Освобождение фон Дельмайера — дело чести партии. Эрих видел, что его слова действуют на фюрера. Пустое, похожее на маску лицо начало одушевляться, мышцы пришли в движение, словно он уже произносил речь. Эрих ушел, унося с собой твердое обещание фюрера в ближайший же понедельник произнести речь о деле фон Дельмайера и уверенность, что из его, Эриха, доводов тот приготовит весьма пикантное блюдо.

Разве не везло этому молодому человеку, Эриху Борнхааку? В то время как большинству его соотечественников жилось из рук вон плохо, у него были и деньги и положение. Девушки вешались ему на шею, его внешность всех располагала к себе,

он уже не был желторотым юнцом, во всяком случае, не был шалопаем. Прошел через войну и многие другие испытания, закален жизнью. Смерть вместе с ним ложилась спать, вместе с ним просыпалась, какая только гнусность не липла к нему: что же еще может с ним стрястись? Теперь он уверен, что вытащит из тюрьмы своего друга Георга, это вопрос недель, не больше. У кого же, будь оно все проклято, больше оснований чувствовать себя по-свински счастливым?

Он не был по-свински счастлив. Скучно, томительно текли дни. Стоило ему остаться в одиночестве — сразу тянуло к приятелям, стоило встретиться с приятелями — сразу становилось противно. Верховая езда не радовала. Деньги, дела, мистификация боксера Алоиса не радовали. Неизвестно, обрадуется ли он, когда ему удастся вытащить Георга из тюрьмы. По утрам Эрих просыпался с таким ощущением, точно всю ночь глушил омерзительную сивуху и возился с тошнотворными бабами. Какой ему прок от того, что Кутцнер как воск в его руках? Что Ипсарова строит ему глазки? Пусть молодые ослы-«патриоты» и бабы восхищаются им — ему на это начхать.

Черт знает что — давать волю таким настроеньицам. Точно он кинозвезда.

Все началось с той ночи, когда эта сволочная шлюха, Иоганна Крайн, вдруг рассмеялась. Нет, вранье. Все началось с того дня, когда он прочел в газете о самоубийстве профессорского сынка Егера — парень застрелился от стыда за своего бесстыжего «истинно германского» папашу.

Отцовство, кровное родство. Какие такие открытия сделала наука в области этого самого кровного родства? Да никаких. Даже не смогла установить, наследуются ли благоприобретенные свойства. Наука о крови совершенно не разработана. Правда, научились различать четыре группы крови и установили, что у большинства европейцев кровь группы «А», у большинства азиатов — группы «О». Но больше никакими данными о связи между составом крови и расовой принадлежностью ученые не располагали. Не ведали, как распределяются остальные две группы крови, как влияет на кровь среда, как происходит процесс естественного отбора, в результате которого в определенных климатических условиях вырабатывается определенный состав крови. Эрих Борнхаак много размышлял о том, как важно для изучения расовых особенностей это разделение крови на группы. Читал труды Дунгерна, Вальтера Шейдта, Гиршфельда, поглощал горы книг, касавшихся этого вопроса. Вывод: существуют четыре группы крови. Точка.

«Патриоты» не утруждали себя раздумьями. Пробелы, оставленные наукой, они легко и просто заполняли догадками. Французы и англосаксы создали доктрину, согласно которой люди северной, германской расы — прирожденные владыки мира. Жонглировали понятиями «высшая культура», «раса господ», «южная раса», «восточная раса». В любом вопросе — оценки, основанные на интуиции. Разветвленная мифология, столь же прочно обоснованная, как построенные детьми на морском берегу песчаные домики. Никакого твердого научного фундамента. Стоило внимательно приглядеться к этому пресловутому северному строю души — и получался пшик. Потому что не существовало научного критерия, с помощью которого можно бы разделить людей на расы в зависимости от свойств их крови, мозга, характера.

И, однако, были евреи, обреченные смерти за то, что они не «арийцы», был юный студент Егер, покончивший с собой из-за своего отца, остервенелого «истинного германца».

Он, Эрих, был более белокур и голубоглаз, чем большинство «истинных германцев»; многие из них не пожалели бы даже долларов, только бы стать такими же белокурыми и голубоглазыми, как он. Если бы все решалось одними внешними признаками, их у него столько, что хватит на двух представителей северной расы. Что за собачья чушь, будто они — залог творческих талантов. И, разумеется, такую дурацкую теорию создали как раз те, кто только этими внешними признаками и мог похвалиться. Творческие таланты, способность к героической ненависти и героической любви и тому подобное, словом, все, что считается особенностями северной души,— разве не присуще все это и коричневым людям, и желтым, разве не существует на берегах Тихого и Индийского океанов, равно как и на берегах Атлантики?

Дьявольщина! Его ведь и привлекало в этой теории как раз то, что она отменяла логику и взывала к вере. Было так заманчиво ублажать себя мечтой о «северном строе души», героической верой. Напитать ею свой тайный голод по мистике. Все в жизни решалось так просто, если человечество действительно делилось на героев, на расу господ, самой природой предназначенных к владычеству, и на трусов, рабов, предназначенных к повиновению.

Он был весел и дерзок, против него не в силах были устоять ни женщины, ни мужчины. Кто-кто, а он принадлежал к народу-владыке, творцу мировой культуры. Разве мог он быть

сыном этого дергающегося истерика, этого Гейера? Да никогда в жизни! Всем нутром он презирал старика, которого с такой великолепной северной хитростью облапошила его, Эриха, мать.

И все-таки хотелось бы внести в это окончательную ясность. Случалось, он ловил себя на жестах, на неуловимых повадках, которые в свое время замечал у старика. Возможно, то был результат бессознательного подражания, обычная переимчивость. Надо бы хорошенько проанализировать это сходство со стариком. Профессор Цангемейстер из Кенигсберга изобрел фотометр со шкалой, отмечавшей малейшие реакции крови. Стоит смешать кровяную сыворотку двух людей, и сразу получается помутнение или осветление. С помощью фотометра можно определить их степень, вычертить кривую. За единицу времени смесь сывороток двух кровно близких людей дает такое-то помутнение, двух чужих — такое-то осветление. Этим способом можно доказать многое. Но как заставить старика сделать кенигсбергскую пробу крови?

Женщины вроде Инсаровой млеют от него, а Иоганна Крайн смеялась. Гнусная штука — оказаться родным сыном такого вот доктора Гейера. Она типичная баварка. Ортодоксальные расисты считают баварцев неполноценными. Они круглоголовы, homines alpini, принадлежат к динарской расе, к тому же испортили свою кровь, смешиваясь с римлянами и вендами.

Студент Егер покончил с собой, потому что стыдился отца.

Когда Эриху случалось рассказывать в партийных кругах о сплетнях, будто доктор Гейер его отец, все начинали ржать. Можно ли было поверить, что у этого молодцеватого, подтянутого юноши подобный родитель? Его осыпали грубовато-добродушными насмешками.

Недавно у него на квартире, увешанной слепками с собачьих морд, собралось много народу; все пили, валяли дурака, и Эрих Борнхаак, решив повеселить компанию, поставил граммофонные пластинки с еврейскими песнями. Сперва гости покатывались со смеху, потом им наскучило слушать. Под конец уже слушал один Эрих, остальные занимались кто чем. Песни были задушевные, трогательные, экзальтированные. Тоска по матери, радость, когда было чему радоваться, плач по убитым во время погрома.

Совсем поздно пришел Кленк — это была большая честь. Узнав, что Эрих устроил концерт из еврейских песен, он во всю глотку захохотал и потребовал повторения. Сперва Эрих под

всякими предлогами отнекивался, а когда Кленк стал настаивать — наотрез отказался.

В понедельник Руперт Кутцнер выступил с речью о деле фон Дельмайера. Он был в ударе, очень картинно расписывал низменные способы, какими враги «истинных германцев» стараются уничтожить лучших борцов движения. Много невинных людей сидело тогда в немецких тюрьмах, Мартин Крюгер отнюдь не был исключением: что ни день, в газетах появлялись сообщения о судебных беззакониях, возмущавших большинство баварцев. Но пока Кутцнер изливал потоки гнева на гнусных преследователей фон Дельмайера, ни один человек из многих сотен его слушателей не подумал о тех осужденных, о которых писали в газетах. Пока в священной ярости Кутцнер громил подлых угнетателей невинного, не подумал и антиквар Лехнер о Мартине Крюгере, в чьей виновности он вовсе не был уверен. Нет, для них для всех поруганная невинность воплотилась в образе патриота Георга фон Дельмайера. Набившиеся в огромном зале люди, воспламененные речью фюрера, вопили от возмущения, свистели, выкрикивали угрозы в адрес министра Мессершмидта. А когда на экране появилась физиономия страхового агента фон Дельмайера и Руперт Кутцнер, широким жестом указывая на него, возопил: «Верите ли вы, что человек с таким лицом — отравитель собак?» — все повскакали с мест, стали стучать серыми кружками по деревянным столам и в тысячу глоток заорали: «Нет!», после чего знамена со свастикой склонились перед фотографией фон Дельмайера. Точно таким же жестом четверть века назад актер Конрад Штольцинг указывал римлянам на труп Гая Юлия Цезаря — он тогда играл роль Марка Антония, одного из действующих лиц в трагедии английского драматурга Шекспира.

Еще на трех сборищах говорил в этот вечер Руперт Кутцнер о деле фон Дельмайера. Говорил о германской верности, о германской справедливости, о германском чувстве товарищества, клеймил огненными словами бесстыдную наглость врагов, которые осмелились человека чистейшей германской крови обвинить в отравлении столь верного животного, как собака. Еще трижды вскипала возмущением толпа, еще трижды склонялись перед фотографией фон Дельмайера знамена с экзотической эмблемой плодородия.

Эрих был на всех четырех сборищах, и сердце его бурно билось. Он почти что полюбил Кутцнера,

12

УМЕН ИЛИ ГЛУП, ОН МОЙ ГОРОД РОДНОЙ

Впечатлительный г-н Гесрейтер, обольщенный разнообразной и кипучей жизнью большого города, долго не мог расстаться с Берлином. Все же эта бурная, стремительная жизнь постепенно стала его угнетать. Ежедневно иметь дело с людьми, лишенными воображения, рассчитывать каждое слово, всегда держать ухо востро — нет, такое существование не подобает человеку утонченной культуры, у которого собственная вилла неподалеку от Английского сада. Он все сильнее тосковал по своему Мюнхену, по Людвигштрассе, по «Тирольскому кабачку», по своему дому в Швабинге, по Изару, по горам, по «Мужскому клубу». Вначале, проходя по людным берлинским улицам, он с сожалением думал о флегматичности своих земляков, а теперь уже эта флегма представлялась ему мудрым спокойствием. Их грубость он мысленно называл непосредственностью, неумение логически рассуждать — поэтичностью, склонностью к романтике.

Он завязал интрижку с третьеразрядной берлинской актрисой. Но этот город и ее заразил лихорадкой, и ее подстегивал дни напролет охотиться за деньгами, полезными знакомствами, выгодными ангажементами, ролями, ответственной ролью. Она уделяла г-ну Гесрейтеру мало времени, не проявляла интереса к его будничной жизни, не понимала ее.

Как-то вечером, когда она в очередной раз отложила свидание с ним из-за каких-то дурацких театральных дел, он с особенной остротой почувствовал пустынность своего берлинского существования. Ему так захотелось услышать хотя бы мюнхенский говор, что он отправился на Ангальтский вокзал к отходу мюнхенского поезда. Он стоял и смотрел вслед выезжавшим из-под сводов дебаркадера вагонам и вдруг понял, что́ ему следует немедленно сделать. Перед ним возник образ г-жи фон Радольной — невозмутимой, большой, как-то особенно обаятельной.

И как это он раньше не сообразил! Ведь от него одного зависит помирить город Мюнхен с ней, природной мюнхенкой, прекратить нелепый бойкот. Г-н Гесрейтер помчался в контору по продаже железнодорожных билетов, заказал спальное место на завтрашний вечер. Он быстро приведет все в порядок, защитит Катарину от нападок дурацкого города.

После возвращения из-за границы г-н Гесрейтер ни разу не видел г-жу фон Радольную. И сейчас он тоже не станет предупреждать ее о своем приезде, свалится как снег на голову.

Он дотронулся до коротких бачек — вот уже две недели, как г-н Гесрейтер стал их отращивать. Да, он будет бороться за Катарину, не жалея сил. Когда на следующий вечер г-н Гесрейтер выехал из Берлина, его так распирала жажда деятельности, что спальное купе казалось ему слишком тесным. «Когда бодрый дух полнит мужеством грудь»,— повторял он в такт перестуку колес. Сна не было ни в одном глазу, пришлось принять снотворное.

Вернувшись в Мюнхен, он в тот же вечер отправился в пфаундлеровский театр — там шло обозрение «Выше некуда». После всех дурных отзывов о спектакле, г-н Гесрейтер был приятно удивлен, обнаружив в нем много удачных находок. Он до упаду смеялся над имитатором музыкальных инструментов Бобом Рихардсом, над шумовыми инструментами г-на Друкзейса. Громко стучал о пол тростью с набалдашником из слоновой кости — после поездки во Францию г-н Гесрейтер всегда появлялся в театрах с этой тростью,— а «Бой быков» привел его в неистовый восторг. Но особенно согрела ему сердце картина «Голая истина». По-молодому взволнованный, любовался он невозмутимой плотской прелестью своей подруги Катарины и вспоминал известные полотна фламандского художника П. П. Рубенса.

В антракте он отправился в уборную г-жи фон Радольной. Она, все еще в костюме тибетской богини, с завидным аппетитом уписывала ливерные сосиски. Конечно, мелодраматическая встреча, которую он заранее рисовал себе, была этими сосисками испорчена, но и то, как все получилось, было хорошо. С удовольствием ощущал он, что совсем близко от него сидит эта пышная, розовая, радующая глаз женщина. Катарина была разумна: она не показала ему ни своего удивления, ни радости, ни разу не упрекнула, но и не проявила особенного восторга, словно они в полном душевном согласии расстались накануне вечером. Гесрейтеру сразу стало тепло, по-домашнему уютно. И было непонятно — зачем ему понадобился такой длинный окольный путь через Берлин. Он забыл Иоганну, парижский ресторан Орвилье, керамические фабрики Южной Франции, мадам Митсу, деловые переговоры в берлинских конторах, людское мельтешение на Курфюрстендам. Все исчезло, развеянное дыханием женщины, которая, продолжая жевать сосиски, мирно и ласково, как встарь, разговаривала с ним.

Господин Пфаундлер тоже узнал о возвращении Гесрейтера, и, когда спектакль окончился, они поужинали втроем. Ужин прошел на редкость приятно. Г-н Гесрейтер сравнивал изящно отделанный ресторан г-на Пфаундлера с берлинскими огромными заведениями, где люди целеустремленно, но безрадостно наби-

вают себе желудки не слишком старательно приготовленной едой. Мужчины бранили Берлин, Катарина время от времени невозмутимо соглашалась с ними. Во впечатлительном, хотя и подернутом жирком мозгу Гесрейтера, этого истинного жителя Верхней Баварии, уже померкла романтическая картина большого города, который так импонировал ему миллионами своих проводов, туннелей, труб под землей, множеством зданий и толпами людей на земле, антеннами, световыми рекламами, самолетами в воздухе. Сейчас он поносил этих северян, их равнодушие, необщительность, торопливый и трезвый образ жизни, их природу,— песок, сосны, жалкие, наполовину пересохшие грязные лужи, пышно именуемые озерами. Г-н Пфаундлер был полностью с ним согласен. Как великолепен по сравнению с этой природой ландшафт мюнхенских окрестностей, настоящие горы, настоящие озера — тут г-н Пфаундлер искусным маневром перевел разговор на поместье Луитпольдсбрун. Но когда он деликатно намекнул Катарине на ее намерение продать Луитпольдсбрун и свой проект купить его, она изобразила ледяное недоумение. Как, разве она это говорила? Что-то ей такой разговор не припоминается. Г-н Гесрейтер тоже недоуменно покачивал головой по поводу столь странного проекта, так что г-н Пфаундлер счел за благо снова вспомнить обозрение и осыпать г-жу фон Радольную похвалами. Покаянное и безоговорочное возвращение коммерции советника Гесрейтера означало для Катарины реабилитацию в глазах общества и надежду на то, что со временем она снова займет прежнее положение.

После ужина г-н Гесрейтер и Катарина поехали к нему на Зеептрассе. Там и помирились, ни звуком не напомнив друг другу о прошлом. Вот теперь г-н Гесрейтер по-настоящему почувствовал, что вернулся на родину. Наслаждаясь уютом своего чудесного дома не в одиночестве, а вдвоем с такой всепонимающей подругой, он еще больше оценил этот уют. И в счастливую ночь примирения еще нежнее привязался к моделям кораблей, и к марионеткам, и к черепу крокодила, и к орудиям пыток, и к прочим безделушкам. Даже эолова арфа пела сейчас по-иному, ибо она услаждала слух его задушевной подруги.

Вспоминая Иоганну — после долгого перерыва г-н Гесрейтер снова вспомнил о ней,— он ни о чем не жалел. Париж, Иоганна, что же, это было хорошее время, но только как эпизод, интермедия. Его связь с Катариной куда более крепкая, можно сказать, кровная. И нет в ней места тем непонятным пустотам, которые возникали в его отношениях с Иоганной. Но г-н Гесрейтер был человек порядочный и понимал, что такое честная игра.

Само собой разумеется, он и впредь будет способствовать освобождению Мартина Крюгера. Не из той он породы, чтобы, взявшись за что-то, не довести дело до конца.

Господин Гесрейтер с удовольствием думал об этом, лежа рядом со спящей Катариной на широкой кровати черного дерева, украшенной фигурами экзотических зверей. Теперь он понял, что у него двойное призвание: быть гражданином Мюнхена и в то же время гражданином мира. Он превратит фабрику «Южногерманская керамика» в предприятие мирового значения. Все уже подготовлено для этого, надо только дождаться благоприятной минуты. Свою деятельность он распространит и за океан. Может быть, начнет изготовлять керамическую утварь для России. Почему бы русским не оценить узора из цветов горечавки и эдельвейса? Он, этот родной, любимый город, во многом по-ослиному глуп, но в конце концов всегда выбирается на правильную дорогу. Что и говорить, жить стоит только в Мюнхене. Г-н Гесрейтер потянулся, блаженно хрюкнул. «Умен или глуп, он мой отчий град»,— вспомнилось ему.

На другой день он разгуливал по улицам, радуясь им, заново знакомясь с ними. Обнаружил, что город еще красивее, чем представлялся ему в воспоминаниях: весь сверкающий, чистый, будто только что вымытый. Но как человек, многое повидавший, г-н Гесрейтер замечал и темные пятна. Стоя у Галереи полководцев, он разглядывал полководцев Тилли и Вреде, важно выступающих львов, огромную скульптурную группу мускулистых нагих тел, гигантскую надпись: «Господи, освободи нас!», венки и жестяные щиты с названием провинций, утраченных за время войны. Громоздкий, преградивший путь уличному движению памятный камень был за время его отсутствия открыт. Г-н Гесрейтер обошел его кругом, подыскивая меткое определение потрясающей глупости своих соотечественников. «Они превращают прекрасное творение в универсальный магазин воинственных надежд»,— придумал он наконец, и эти слова наполнили его сердце приятной злостью.

Вскоре ему стало ясно: город не изменился. С горечью понял: восстановить положение его подруги Катарины будет не так-то легко. «А надо бы немедленно, без отлагательств»,— подумал он и даже поиграл с мыслью жениться на ней. Она была разумная женщина, не дергала его, не торопила, умела ждать.

К великому прискорбию, не только не прошли, но, напротив, усилились дурацкие шовинистические и милитаристические настроения его сограждан: на улицах, в «Мужском клубе», везде он сталкивался с этой нелепостью. Люди таинственно перешеп-

тывались: «Не успеют зацвести деревья...» Точно заговорщики, они передавали друг другу идущие из «Союза Эдды» сведения о том, как молниеносно вооружаются отряды «истинных германцев». Г-н Гесрейтер, либеральный патриций, оторванный от крестьянского населения страны, никак не мог взять в толк, с чего это его земляки вдруг стали так воинственны и прямо-таки бредят свастикой.

Его план сделать из мюнхенцев не только граждан города Мюнхена, но и мира был сейчас явно неуместен. Но складывать оружия г-н Гесрейтер не собирался. Он научился уму-разуму, он стреляный воробей и не станет раньше времени распускать язык. Зачем попусту растрачивать силы, прошибать лбом стену? Главное — это дождаться благоприятной минуты. Он не упустит ее, чтобы расширить «Южногерманскую керамику», чтобы вышвырнуть на свалку эти побрякушки, эти кресты с загнутыми концами. Деревья зацветут еще не скоро. Он бросит вызов, но только в благоприятную минуту.

А пока что г-н Гесрейтер наслаждался всеми прелестями родных мест. Умен или глуп, он мой отчий край.

ПЕРЧАТКА

Не один г-н Гесрейтер относился к Кутцнеру без энтузиазма.

Социал-демократы оказывали «истинным германцам» упорное сопротивление. С баварским твердокаменным упрямством, с «бело-синим» ожесточением давали они отпор все усиливающемуся натиску противника. Осмотрительные Амброс Грунер и Иозеф Винингер с каждым днем становились все тверже и непреклоннее. Писали и печатали у себя в газете смелые, бескомпромиссные статьи, называли вещи своими именами, приводили документальные данные о росте беззаконий, громили в ландтаге правительство за его позорное попустительство, не уклонялись от уличных стычек с «патриотами». А это требовало мужества, потому что власти бесстыдно закрывали глаза, если зачинщиками оказывались «патриоты», более того — становились на их сторону. Во время одной из устроенных социал-демократами демонстраций полицейские в зеленых мундирах отобрали у знаменосцев знамена цветов республики, изломали древки, изорвали полотнища. Неподалеку от Центрального вокзала, перед Гале-

реей полководцев, «истинные германцы» устроили настоящую облаву на всех, кто, с их точки зрения, выглядел недостаточно патриотично. В тот день больницы были переполнены ранеными. Социал-демократы не сдавались. Но борьба была неравная. Полиция отбирала у них оружие, а «патриоты» открыто пускали в ход палки, резиновые дубинки, револьверы,— так называемые «резинки» и «пугачи».

Старый лис Грюбер, всю жизнь с баварской настойчивостью добивавшийся, чтобы его Мюнхен «шел в ногу с веком», терзался, глядя на нынешнее падение города. Слепой доктор Бихлер, только что вернувшийся из Парижа, так ничего там и не добившись, считал патриотическую шумиху затеей тупиц-пруссаков и относился к ней с глубокой брезгливостью. Он даже стал подумывать, не войти ли ему самому в правительство, чтобы покончить с этим идиотизмом. Доктор Маттеи тоже злился на своих земляков за их ослиную глупость. В довершение всего к этим болванам переметнулась и русская сука Инсарова. Он печатал в своем журнале пропитанные горечью стихи.

Не упускал случая выступить против «патриотов» и автор «Распятия». Он совсем опустился, этот Грейдерер. Его «курочки» становились все низкопробнее. Мать художника давно уже вернулась в деревню. Да и он сам не раз говорил себе, что лучше бы ему жить среди крестьян, но никак не мог расстаться с городом. От прежней роскоши у него сохранился лишь темно-зеленый автомобиль, который давно превратился в разбитый драндулет, замызганный, исцарапанный, облупленный. Когда Остернахер изъявлял желание встретиться с Грейдерером, тот обязательно сажал своего приятеля в эту непрезентабельную колымагу и катал его по улицам. После того, как профессор Бальтазар фон Остернахер написал картину «Деревенский апостол Петр», он быстро пошел в гору, явно вступил в новый период расцвета, и ему, столь известному в городе лицу, не доставляло никакого удовольствия разъезжать в грейдереровской дребезжащей консервной банке. Он предложил приятелю денег, чтобы тот покрасил машину, но вместо благодарности получил отповедь. Грейдерер пристально следил, как под кистью Остернахера возникала картина «Деревенский апостол Петр», эскизы к которой сам он забросил по свойственной ему лени, и от злости зеленел в тон своей машине. Он стал очень язвителен. О картине Остернахера не сказал ничего членораздельного, но все время под видом шуточек весьма колко проходился по поводу остернахеровского патриотизма. Профессор предпочел бы откровенную грубость — пропускать мимо ушей эти скрытые и недобрые намеки было не

так уж приятно. Но он был не в силах порвать с Грейдерером. Куда больше, чем самые злобные остроты, его терзали недомолвки Грейдерера о какой-то его таинственной работе. И действительно, Грейдерер сейчас что-то писал, это было очевидно. Остернахер дорого заплатил бы, чтобы узнать, какой же грандиозный замысел пытается воплотить художник на холсте. Но тот стал необычайно скрытен, наотрез отказывался показать начатое, с многозначительным видом оглядывал приятеля со всех сторон, то спереди, то сзади, злорадно хихикал.

Тверже и непримиримее всех выступал против «патриотов» новый министр юстиции Антон фон Мессершмидт. В публично произнесенной речи он с возмущением сказал, что теперь ни один порядочный человек не чувствует себя безопасно в этой стране. Все, кто еще сохранил традиции былого демократического Мюнхена, надеялись только на него — прямого, честного человека, не бросавшего слова́ на ветер. Если не он, то кто же справится с этим неслыханным кретинизмом? Сколько людей, ему неведомых, встречаясь с ним, срывали шляпу. Они не кричали ему «Хайль!», как кутцнеровские приверженцы при виде серой машины фюрера, нет, они просто оборачивались и взволнованно смотрели ему вслед. Потому что немало мюнхенцев болели душой, глядя, как дичает, дуреет, разлагается их город,— ведь в нем все еще жили, как в былые времена, мирные, вполне человечные люди, которые рисовали картины, писали книги, собирали коллекции, любовались природой, зданиями, произведениями искусства в государственных музеях. Для них растление города было мучительно, как смерть живого существа.

Комик Гирль решил, что пришло время прозвучать голосу народа, то есть его собственному голосу. Слова, которые произнес этот голос, были не очень вразумительны, но произвели большое впечатление и отнюдь не в пользу Кутцнера. Может быть, до репетиций обозрения «Выше некуда» Бальтазар Гирль высказался бы за Кутцнера. С тех пор он как будто не изменился, но тем не менее проникся идеями Тюверлена. Остался тем же и все-таки стал другим — острее, возвышеннее. Играл не только самого себя, но и всех своих сограждан, все хорошее, что было в них заложено.

Бальтазар Гирль вместе со своей партнершей показал зрителям скетч «Перчатка (не по Шиллеру)». Он приходит к своей подружке Рези, довольный, ухмыляясь во весь рот: дело в том, что он собирается преподнести ей драгоценный подарок,—

два пригласительных билета на вечер «Союза Эдды». Зрители отлично понимали, о чем идет речь. В «Союз Эдды», аристократический клуб, входили сливки «истинных германцев». Там Руперт Кутцнер произносил свои самые вдохновенные речи, там открыто и подробно обсуждался поход на Берлин. Собравшиеся заранее рисовали себе приятные картины того, что произойдет в недалеком будущем, когда «еще не зацветут деревья». Хотя все знали о собраниях «Союза Эдды», их окружала атмосфера таинственности, значительности, торжественности. Многие мечтали попасть на них, но для этого надо было преодолеть многочисленные рогатки. Комик Гирль изображал «трехчетвертьлитрового рантье», который нашел на улице два пригласительных билета и решил отправиться на вечер со своей подружкой Рези. Там будет Руперт Кутцнер собственной персоной, и, разумеется, он произнесет речь, а это что-нибудь да значит. Бальтазар Гирль и Рези наряжаются, предвкушая предстоящее им удовольствие. Комик Гирль видел Кутцнера только позавчера — тот ехал в своей серой машине; он был в касторовом котелке, а рыжего цвета перчатки аристократически держал в руке. Рези мечтательно говорит, что сегодня вечером в таком изысканном обществе Кутцнер, конечно, произнесет речь, не снимая перчаток. Комик Гирль не соглашается с ней: перчатки мешают красноречию. Рези остается при своем мнении, комик Гирль при своем. Перепалка быстро перерастает в обсуждение мировых проблем: высшей культуры, северного строя души, иудейского племени, папы римского. Наморщив лоб, комик Гирль пытается решить вопрос, можно ли считать человека антисемитом на том основании, что аппетитную христианскую девушку вроде Рези он предпочитает старому галицийскому еврею. Польщенная таким изящным комплиментом, Рези забывает о рыжих перчатках фюрера и снова начинает прихорашиваться. Но стоит ей спросить, что надеть сегодня вечером, как опять всплывает тема перчаток. Опять разгорается спор, в перчатках ли будет произносить речь Кутцнер, и если да, то в каких. А время идет, собрание «Союза Эдды» уже с полчаса как началось. Меж тем, так и не закончив туалета, комик Гирль и Рези продолжают ожесточенную дискуссию. Они уже не раз попрекнули друг друга низменными чертами характера и постыдными подробностями биографии, а вопрос о перчатках все еще не решен. Уязвленный неисправимым упрямством Рези, Гирль дает ей затрещину, она в ответ рвет на нем сюртук и галстук. Он, в свою очередь, раздирает на ней блузку, и Рези, хлюпая носом, начинает ее чи-

нить. Дело близится к ночи. Нужно поторапливаться, пока еще не зацвели деревья. Без такси не обойтись. В машине спор разгорается с новой силой. Крики пассажиров действуют на нервы шоферу, он налетает на что-то, и Рези вся исцарапана осколками стекла. Окровавленные и грязные, они все же добираются наконец до того дома, где происходят собрания «Союза Эдды». Но собрание уже кончилось, и комик Гирль с Рези только и успевают, что присоединиться к толпе, провожающей серую машину фюрера криками: «Хайль!» Они начинают расспрашивать, в рыжих ли перчатках или без оных произносил речь Кутцнер. Спрошенные пытаются припомнить. Одни говорят «да», другие — «нет». Каждый стоит на своем. Все больше народу ввязывается в спор, он превращается во всеобщую потасовку. Но вот мимо проходит еврей, дерущиеся единодушно решают, что он-то и есть единственный виновник драки, и накидываются на него с кулаками.

Зрители веселились. Почти все они были придавлены грузом будничных забот, могли позволить себе лишь несколько глотков пива в день, да и то за счет хлеба и колбасы; чем дальше, тем меньше становилось этих глотков. Но человек на сцене был из того же теста, что и они, у них были общие чувства, общий язык. Так же медленно складывались их убеждения, все равно какие, а сложившись, были так же непробиваемо тверды. У этих людей теплело в груди, когда они смотрели на тощего человека с грушевидной головой и скорбными глазами, спокойного, неторопливого. «А я говорю, он был в перчатках»,— твердил человек на сцене — точь в точь, как они.

Был среди зрителей Друкзейс, неистощимый на выдумку изобретатель шумовых инструментов. Он пришел на спектакль очень озабоченный, хотя шумовые инструменты пользовались успехом не только в пфаундлеровском обозрении, но и среди «патриотов», которые с немалой пользой для себя пускали их в ход на собраниях и манифестациях. И все-таки Друкзейс не стал сторонником «истинных германцев»: он боялся, что они начнут гонения на карнавалы, а как раз карнавалы и давали ему возможность рекламировать свой товар. Впрочем, сейчас он не ломал себе голову, агитировала «Перчатка» за «патриотов» или против. С той же легкостью и быстротой отдаваясь примитивным чувствам, как и все, кто сидел в этом зале, он восторгался игрой комика Гирля.

Сотни обывателей, ремесленников, художников, студентов надрывали животы со смеха. В том числе и престарелый тайный советник Каленеггер, ярый противник «истинных герман-

цев». Как-то раз он заявил, что furor teutonicus [1], внушавший римлянам и страх и восхищение, означает вовсе не германскую воинственность, а французское молодечество, поскольку тевтоны были предками французов. С того времени «патриоты» люто возненавидели старца, даже образовали единый фронт с хулителями его книги о слонах. «Propter invidiam»,— возмущенно брюзжал Каленеггер,— все из зависти, из той самой зависти, которую подметил у германцев еще Тацит. После этого тайный советник проникся глубоким отвращением к «истинным германцам». Он слушал шутки этого клоуна Гирля, и глубоко в горле у него клокотал старческий смешок.

Пришли на спектакль и головорезы из числа «патриотов» — все, разумеется, члены «Союза Эдды», пришел и Эрих Борнхаак, и убийца главы первого революционного баварского правительства. Так как Эрих Борнхаак аплодировал комику Гирлю с совершенно мальчишеским пылом, прочие друзья Кутцнера тоже дали себе волю и забавлялись наравне со всеми остальными.

Господин Гесрейтер был в восторге от «Перчатки». Вот это, действительно, достойно Мюнхена. Не какой-то истерический вопль, а спокойно высказанная точка зрения, спокойно выраженное неприятие. Нечто специфически мюнхенское, некое позитивное утверждение, под которым подписался бы весь мир. Так как г-жа фон Радольная была занята в обозрении и не могла пойти с г-ном Гесрейтером на скетч, он пересказал ей сюжет, до небес превознося гений актера и даже пытаясь воспроизвести его игру. Г-жа фон Радольная молча слушала и вспоминала о репетициях обозрения «Касперль и классовая борьба», о том, что специфически мюнхенское произросло из западно-швейцарско-тюверленовской почвы. Но она была разумная женщина и не стала отравлять удовольствие своему Гесрейтеру. Сдержанно посоветовала ему своим звучным голосом не слишком демонстрировать неприязнь к «патриотам». Последует он ее совету — что ж, отлично. Не последует — тоже неплохо. Попавший в беду из-за чрезмерной принципиальности Гесрейтер будет воском в ее руках.

На представлении «Перчатки» перебывал весь Мюнхен. Доктор Маттеи рассказал о новом скетче Бальтазара Гирля угасающему Пфистереру. Он теперь ежедневно навещал больного. Об этом его попросила заботливая г-жа Пфистерер, потому что,

---

[1] Тевтонское неистовство *(лат.)*.

по ее словам, только перебранки с доктором Маттеи еще вливают в него силы. Увидев страстный интерес своего вечного друга-врага к скетчу Гирля, Маттеи с великим трудом уговорил комика сыграть «Перчатку» на дому у Пфистерера, у его постели. На этом представлении присутствовало только три человека: обреченный Пфистерер, его жена и бульдогоподобный Маттеи. Перед ними и разыграли Бальтазар Гирль с партнершей скетч «Перчатка (не по Шиллеру)». И Гирль, который всегда плохо себя чувствовал в непривычной обстановке, на этот раз играл даже лучше, чем на вечерних спектаклях.

Пфистерер был счастлив. В комике Гирле он увидел олицетворение Мюнхена и лишний раз убедился, что этот милый его сердцу город не так уж глуп и, вопреки ожиданиям противников Пфистерера, не дается в обман первому встречному кретину. Больному трудно было двигаться, трудно было говорить, трудно было сосредоточиться, но все видели, как горячо восхищается этот полупарализованный человек тончайшими оттенками интонаций, еле заметными жестами актера. Когда Гирль ушел, Пфистерер не преминул сцепиться с Маттеи.

На следующее утро, после того как Пфистерер два часа подряд диктовал главы из своей книги «Солнечная орбита одной жизни», его разбил второй удар, и он скончался. Все понимали, что писателя свели в могилу «истинные германцы», растлившие его родную Баварию. В день похорон Руперт Кутцнер заявил в очередной речи, что этот великий человек умер, потому что не в силах был вынести осквернения своей родины евреями.

14
О ПОЛИТИКЕ, ПООЩРЯЮЩЕЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ

Иоганна всем сердцем привязалась к Тюверлену. Встретилась с ним она поздно и ни с одним человеком не была так счастлива. Они вместе работали, и работа давала им удовлетворение. Их отношения были свободны и радостны.

Но воспоминание об Одельсберге висело над ними, как черная туча. Время от времени Тюверлен заговаривал о судьбе Крюгера. Бесстрастно, как о человеческой судьбе, входящей звеном в общую цепь событий. Его способность смотреть на Крюгера так отчужденно, так со стороны больно задевала Иоганну. Как не умела она сразу, без размышлений, отвечать на вопро-

сы, так не сумела сразу после свидания с Крюгером осознать всю глубину его страданий. Но с каждым днем все отчетливее видела его таким, каким он был в последние двадцать минут до ее ухода. Видела его затравленные, потускневшие глаза, его неловкие, тягостные попытки сказать больше, чем он смел, бессилие этих попыток, слышала его фразу: «Говорят, борьба и страдания делают людей лучше. Может быть, но только под свободным небом». Слышала интонацию, с которой он произнес — «под свободным небом»,— всю ее безнадежность. Так слепой говорит о свете, который существует для него только в воспоминании и уже никогда не станет реальностью. Напряженно восстанавливала в памяти все его слова, обдумывала их, старалась добраться до их истинного значения. Теперь она понимала, как тщательно он готовился к этому разговору, чтобы ей легче было уловить его мысль. Понимала, что нанесла ему тяжкий удар своей тупостью. Иоганна терзала, казнила себя за свое счастье, угрызалась из-за него.

Какая чепуха! Не казнилась и не угрызалась. Она по совести делала все, что один человек может сделать для другого. Выходит, если Мартин несчастен, не имеет права на счастье и она, Иоганна? Мысли о нем только потому отравляют ей жизнь, что она заражена отвратительными предрассудками. Он первый пожал бы плечами, если бы узнал о ее теперешнем смятении. Стоит здраво подумать об этом — и нелепое чувство вины немедленно исчезнет.

Рядом был Тюверлен, довольный, бодрый, умный. Он и отдаленно не догадывался, какой ненужный груз она тащит на себе. Чтобы сбросить эту ношу, Иоганна еще сильнее хотела ребенка от Тюверлена. Он и отдаленно не догадывался об этом.

Однажды он изложил ей свой взгляд на политику, поощряющую прирост населения. Давно уже вошло в привычку насмехаться над учением священника Томаса Роберта Мальтуса; националистически настроенный немецкий экономист Франц Оппенгеймер объявил, что до отвращения нелогично считать, будто рост народонаселения ведет к уменьшению количества продуктов питания. Но он, Жак Тюверлен, убежден, что презрительное отношение к Мальтусу следует пересмотреть. Так как санитарные условия улучшились и смертность уменьшилась, немалая часть планеты уже и сейчас перенаселена. На двух третях территории Китая и во многих районах Индии не осталось ни единого клочка необработанной земли. Ширина дорог, пролегающих через рисовые поля, не превышает девяноста санти-

метров, но и от этих узких троп крестьяне отгрызают по кусочкам, пока подрытые дороги окончательно не осыпаются. Даже в необъятной России, где, согласно советской морали, рождаемость ничем не ограничена, даже там есть угрожающие признаки, что через два поколения людям не хватит земли. Несмотря на это, промышленные магнаты и политические деятели-империалисты стоят за прирост населения. Их цели требуют многих жизней, притом дешевых. И жизнь дешева. Если, например, кто-то финансирует перелет через океан, или добровольческий корпус, или что-нибудь в этом роде, у него нет отбоя от охотников, согласных рискнуть собой,— на худой конец хотя бы ради жалкой суммы денег или однодневной славы. Тювердлен видел воочию, как три года назад во время уличных боев в Берлине голодные женщины рисковали жизнью ради котлет стоимостью в две-три марки, под пулями бросались на туши убитых лошадей. Да и государство делает все, от него зависящее, чтобы свести на нет ценность человеческой жизни. Его правосудие, не отвергающее смертной казни, но оставляющее безнаказанными политических убийц, его способы взращивать дурно понятый патриотизм и воинственность — все это сводит на нет идею ценности человеческой жизни. Но если государство весьма мало дорожит жизнью уже существующей, оно рьяно предохраняет от предохранительных средств жизнь, еще не родившуюся.

Иоганна терпеть не могла эти теоретические разглагольствования Тювердлена. Однажды она даже прямо спросила, неужели ему совсем не хочется иметь детей? Он собрал в складки и без того изрезанное мелкими морщинками голое лицо, сощурился. Обхватил ее за плечи сильными, веснушчатыми руками, повернул к себе, посмотрел в глаза. Потом громко, весело засмеявшись, отпустил и сухо произнес:

— Нет, я не испытываю ни малейшей потребности иметь детей.

На следующий день за утренним завтраком Тювердлен уже серьезно попытался объяснить ей, почему он не хочет иметь детей. Искусство, сказал он, возникло из потребности человека в самовыражении. Эта потребность, видимо, связана с инстинктом, заложенным в людях, дабы из рода в род передавались житейские знания и опыт, накопленные каждой особью. Потребность в самовыражении, по существу, ничем не отличается от инстинкта продолжения рода. Иоганна предпочла бы услышать рассуждения не столь общие, более личного свойства.

Прошло несколько дней, и Тюверлен весело сказал Иоганне, что в четверг виллу «Озерный уголок» собирается посетить мистер Дениель В. Поттер. Познакомила его с американцем актриса Клере Хольц. Тюверлен обнаружил в Калифорнийском Мамонте большой запас знаний, методично и глубоко продуманных. Он увлеченно рассказывал Иоганне об американце, заранее предвкушая беседу с ним.

Иоганна ревниво огорчалась из-за каждой минуты, проведенной Тюверленом с посторонними. Она надеялась улучить время, когда ей удастся сказать единственно правильные слова и разбить последнюю прозрачную преграду, все еще стоящую между ними. Жак написал очерк о деле Крюгера, откровенно говорил с Иоганной решительно обо всем — и о ней, и о себе самом,— взгляды его всегда были отчетливы, слова обдуманны, мысли вытекали одна из другой. А ее собственные мысли теснили одна другую, в них не было четкости, они не укладывались в слова, не находили себе места среди крепко спаянных мыслей Жака. Но должен, обязательно должен существовать способ передать Тюверлену вот эти ее подспудные ощущения.

Приезд американца был ей совсем некстати. Дни шли за днями, а она все не находила случая поговорить с Жаком о самом главном, и вот приезжает этот американец и крадет у нее еще один день.

С другой стороны, мистер Поттер человек известный и влиятельный. И, по словам Жака, у него дела с баварским правительством. Может быть, он возьмется помочь Мартину.

Впрочем, что толку от таких разговоров. Сколько их она уже вела, всякий раз веря, что ее гнев, ее негодование заразят собеседника. Но сейчас ведет их только из чувства долга, ни на что не надеясь, наперед зная, чем все кончится. Она обратится к этому г-ну Поттеру. Г-н Поттер, человек, конечно, умный, выслушает ее с умным видом, потом скажет — надо подумать, что тут можно сделать, он будет иметь это в виду, как же, как же, помочь невинному — великая радость, да, он поговорит в соответствующих сферах. Этим все и ограничится, на следующий день он забудет даже имя Крюгера. Вот оно, самое гнусное: кричишь, бьешься головой о стену. Бесполезно — людское равнодушие непробиваемо, непроницаемо. Пока ты кричишь, люди, может быть, даже прислушиваются к тебе, но завтра уже ни о чем не помнят. Ведь у них столько сегодняшних забот. Ты говоришь с человеком, а он уже думает о следующем, с кем ему придется говорить, потом поворачивается к тебе спиной — и твой голос, твоя просьба тут же испаряются из его памяти.

Неужели ни разу, ни единого раза в жизни она не встретит человека, которого не надо обхаживать, не надо убеждать, пуская в ход хитроумные уловки? Ни разу не столкнется с тем, кому можно крикнуть: «Да как же такие вещи мыслимы?» Кому можно бросить в лицо обвинение — да как же они смеют существовать? Нет, она обязательно найдет такого человека и крикнет ему в лицо, в его омерзительное, виноватое лицо, что все виноватые в этом — свиньи, что свиньи все, кто имел возможность помочь и не пришел на помощь.

Но крикнуть это американцу было бы не слишком умно. Она должна взять себя в руки. Должна серьезно посоветоваться с Тюверленом, что и как ему сказать. Какая это будет мука! Она больше не в состоянии логично, пункт за пунктом, обсуждать дело Крюгера.

В понедельник Тюверлен сказал ей, что американец приедет в четверг, а во вторник позвонил из Мюнхена адвокат Лёвенмауль и сообщил, что министр юстиции Мессершмидт согласился принять ее в тот же четверг. Ужасно, что она не сможет из-за этого поговорить с американцем. Но так или иначе, а разумнее жаловаться на несправедливый приговор баварского суда баварскому министру юстиции, чем какому-то американцу!

Но теперь она хотя бы избавлена от необходимости еще раз говорить с Тюверленом о Мартине Крюгере. У нее сжимались кулаки уже и тогда, когда он рассуждал о политике, поощряющей прирост населения. Она всей душой привязалась к этому самому Жаку, любит его, восхищается им, но не выносит его хладнокровных разглагольствований о Мартине Крюгере.

Сегодня непосредственно отвечает за судьбу Мартина Крюгера министр Антон фон Мессершмидт. Его-то она и призовет к ответу. Может быть, изольет все свое негодование; может быть, если этот Мессершмидт — человек, ее гневного лица будет достаточно, чтобы он устыдился и исполнил ее требование.

В среду вечером она вскользь сообщила, что завтра едет в Мюнхен. Тюверлен огорчился — значит, она не сможет познакомиться с американцем. Спросил — поездом она поедет или машиной. Иоганна ждала вопроса, какие у нее дела в городе. Но он его не задал, промолчала и она. Тюверлену очень хотелось знать, зачем она едет, но не в его привычках было спрашивать, если ему чего-то не говорят.

Утро в четверг было пасмурное, туманное. Иоганна поехала поездом, раздраженная, негодующая, полная решимости.

15

ПОМНИТЕ О ПЕКАРЕ!

Итак, в том самом кресле, за тем самым столом с телефонным аппаратом и грудой папок с бумагами, где прежде сидел Кленк, теперь сидел министр юстиции Антон фон Мессершмидт. Пока Иоганна ехала поездом в Мюнхен, перед министром стоял второй товарищ прокурора Иоганн Штрассер и докладывал о деле жандармского вахмистра Банцера. Члены нелегального ридлеровского союза, возвращаясь со сбора, где было вволю выпито бесплатного ридлеровского пива, напали на отряд «Рейхсфронта»,— организации, сохранившей верность конституции,— и одного рейхсфронтовца убили, а девятерых ранили. Были ранены и двое ридлеровцев,— к слову сказать, все они были вооружены, в отличие от своих противников. Таким образом, налицо было нарушение общественного порядка. В первую очередь надо было установить, кого считать зачинщиком, а кого потерпевшим. Разумеется, следствие пришло к выводу, которого все и ожидали, а именно, что во всем виноваты рейхсфронтовцы, ненавистные баварскому правительству за приверженность к конституции. Но по каким-то непостижимым мотивам упомянутый выше жандармский вахмистр Банцер показал под присягой на следствии, что нападающей стороной были ридлеровцы. С чего он решил, что собственным глазам следует доверять больше, чем глубокомысленным выкладкам начальства, не могли понять ни его сослуживцы, ни жена, а позднее, вероятно, и он сам. Естественно, его показания попросту замолчали. Но подобного рода проступок не мог остаться безнаказанным, и жандармский вахмистр Банцер, несший службу в городке Кольберхофе, неподалеку от поместья Ридлера, после своих показаний был занесен в черный список. Однажды вечером у него дома перегорела электрическая лампочка. Банцер взял лампочку на службе и ввернул ее у себя. И этим решил свою судьбу. Он использовал казенное имущество в личных целях, и второй товарищ прокурора Иоганн Штрассер начал против него дело по обвинению в краже. Вахмистр клялся, что собирался на следующий же день заменить унесенную лампочку новой, но ему поверили не больше, чем показаниям о том, что рейхсфронтовцы только защищались. Строптивца подвели под статью. Но тут случилось непредвиденное: жандармский вахмистр, не сомневаясь, что его засудят, бросят в тюрьму, выкинут со службы, пустил себе пулю в лоб — для того, видимо, чтобы обеспечить жене и ребенку хотя бы

пенсию. Левая печать подняла шум вокруг этого случая, и вот теперь второй товарищ прокурора Штрассер докладывал о деле Банцера высокому начальству.

Прокурор Штрассер был еще молод, упрям, и лицо его украшали два рубца, два почетных шрама, для приобретения которых студенты в ту эпоху вызывали друг друга на дуэль,— так им нравились эти украшения. Министр Мессершмидт был стар, упрям и украшен такими же почетными шрамами. Прокурор считал, что его долг, не считаясь с законом, оберегать репутацию государства; министр твердо держался устарелого принципа, гласившего, что любой правовой вопрос следует решать на основе писаного закона.

Министр был вне себя от возмущения. Он не сомневался, что г-н Штрассер поднял дело против жандармского вахмистра только из-за его недавних показаний. Глаза старика прямо-таки выкатывались из орбит, лицо, окаймленное седеющей бородой, побагровело. Лицо второго товарища прокурора тоже налилось кровью, почетные шрамы тоже потемнели, но он владел собой, не собирался делать глупости. Хотя угодничать тоже не собирался. Штрассер знал — как ни бесится старый чурбан, все равно он не может позволить себе прибавить к делу Дельмайера еще и дело Штрассера. И без того он еле держится на своем месте. Еще не зацветут деревья, а ему уже придется ретироваться, еще не зацветут деревья, а ему придется написать на дверной дощечке «министр в отставке».

Чем больше кипятился министр, тем немногословней становился второй товарищ прокурора Штрассер. Он был так уверен в себе, что даже начал скучать. Чтобы не вспылить и не наговорить лишнего, стал разглядывать надпись, выведенную по приказанию Мессершмидта крупным шрифтом над письменным столом. Так вот она какова, эта нелепая итальянская надпись, над которой смеется вся страна. Она гласила: «Помни о пекаре!» Этого самого пекаря несправедливо приговорили к смертной казни в Венецианской республике, и с тех пор, пока существовала республика, перед началом каждого судебного заседания специальный глашатай выкрикивал: «Помни о пекаре!»

Господин фон Мессершмидт видел, на чем сосредоточен взгляд Штрассера. Он видел насквозь этого молодчика, и тот еще не успел уйти, а он уже пожалел, что дал себе волю. Разве что-нибудь изменится, если он учинит расправу над этим ничтожеством? Нет, не изменится. Везде и всюду анархия. Везде и всюду произвол. Когда неурядица и беспорядок явление не единичное, а общее, борьба с ними обречена на провал.

Отпуская Штрассера, он уже не сердился. Как только тот ушел, Мессершмидт провел рукой по столешнице, словно смахивал какую-то мерзость. Потом раздвинул деловые бумаги и, подперев массивную голову красными волосатыми руками, беспомощно уставился в пространство. Еще будучи председателем сената, он видел много такого, что ему очень не нравилось. Но вечные вопли оппозиционных газет о кризисе доверия, о прогнившем правосудии, отданном на откуп политиканам, он считал брехней, истерическим преувеличением, недостойным внимания. Теперь, став министром юстиции, Мессершмидт понял: газеты не преувеличивали, а преуменьшали. Полиция состояла на службе у «истинных германцев»; ее начальник собственноручно выдал фальшивый паспорт одному из главарей ландскнехтов, против которого имперское правительство возбудило дело по поводу совершенного им гнусного преступления. Буйно расцвела исконная склонность баварцев к потасовкам. Ежедневно поступали сведения о нападениях на мирных граждан. В Ингольштадте, в Пассау шовинистически настроенная чернь избила иностранных дипломатов, находившихся при исполнении служебных обязанностей. Кутцнеровские бандиты учиняли насилие над всяким, кто был им не по нраву. И непрерывно — оправдания или приговоры, больше похожие на признание заслуг, нежели на осуждение. Что бы ни творили «патриоты» — убийства, беспорядки, любые хулиганские выходки, любой произвол,— все сходило им с рук.

Глубоко честный Мессершмидт не старался увильнуть от ответственности. Где мог, наводил порядок. Почти не спал. Забросил свою страстно любимую коллекцию баварских редкостей, целиком предоставил жене решать, какой экспонат продать, чтобы вести жизнь, подобающую его положению.

У него теперь заботы посерьезнее. Министр знает, почему они давят на него таким тяжким грузом, почему он бессилен сладить со своими чиновниками. Его судьи, его прокуроры судят неправедным судом, но убеждены, что они в своем праве. Сколько раз его самого одолевало искушение. Военные тоже мало чего стоят, военные тоже не способны оградить порядок. Вот и выходит, что они, судьи,— последний оплот старого доброго строя. Антон фон Мессершмидт постепенно прозрел, его судьи по-прежнему незрячи. Оберегают старую омертвелую кожу, когда под ней давно уже наросла новая и живая.

Нет, ему с ними не справиться. Он понимает, что ему придется уйти со своего нынешнего поста раньше, чем кончится это безумие, что ему не выдержать непрестанной глухой борьбы с

коллегами и подчиненными. Взять хотя бы Гартля, который так умело придумывает основания, чтобы требовать помилования отъявленным мерзавцам и преступникам. Прямолинейная честность Мессершмидта разбивается о хитроумную диалектику этого изящно-язвительного господина. По стране быстро разнеслось, что Антон фон Мессершмидт справедлив. Сперва все очень удивлялись, потом в министерство посыпались бессчетные прошения и жалобы. Министр понимал, что расследования ведутся отнюдь не беспристрастно, но мог ли он один справиться с этим потоком? Прямодушный человек, он терзался из-за того, что происходит в стране, особенно в Баварии. Считал это бедствием, которое по тяжести и гибельным последствиям можно сравнить только с войной и поражением.

До прихода г-жи Крюгер оставалось еще двадцать минут. Он взялся за бумаги, писал на них резолюции четко и обстоятельно, чтобы в низших инстанциях нельзя было их переиначить или саботировать. Все, что ему удается сделать, ничтожно, капля в море. Но он сюда поставлен и здесь обязан работать. Кто стоит на этом посту, обречен на гибель, мы, Мессершмидты, обречены в этом столетии стоять на гиблых постах. Его брат тоже стоял на гиблом посту, там, на судне «Queen Elizabeth», когда направил его на им же расставленные мины.

Теперь вот эта идиотская история с генералом Феземаном. Он провокационно, наперекор закону, появился в военном мундире. «Патриоты» злорадно выжидают, осмелится ли правосудие наказать генерала.

Наказать. Пожалуй, тут требуется другое. Недавно, на званом обеде, где Мессершмидт сидел напротив генерала Феземана, кельнер чем-то не потрафил тому. Генерал злобно отчитал кельнера, а когда бедняга покорно и испуганно отошел, он посмотрел ему вслед бешеными глазами. Тут-то в первый раз Мессершмидт и обратил внимание на эти глаза. То, что он прочитал в них, было очевидно и недвусмысленно. Прочитал, что человек, многие годы диктаторски управлявший Германией, человек, в чьей власти была жизнь и смерть миллионов людей, чья воля заставила весь мир продолжать войну, хотя ее исход был давно предрешен, этот человек по имени Феземан ненормален. Такие глаза были у буйвола из зоологического сада — он взбесился в неволе, и его пришлось пристрелить. Да, несомненно: когда этот человек смотрел вслед кельнеру, устало, затравленно и одержимо, глаза у него были точь-в-точь, как у того буйвола. И, поняв это, министр юстиции Мессершмидт вдруг так испугался, что у

него задрожали колени и побледнело сизое лицо, окаймленное седеющей бородой. Генерал был в свое время героем, но потом,— быть может, еще до окончания войны,— тронулся в уме. Германией в самые ее роковые часы правил безумец. И после войны этого безумца не прогнали, не упрятали в надежное место. Безумец продолжает сидеть здесь, в Мюнхене, и поддерживает того, чей разум тоже оставляет желать лучшего. И эти двое, притча во языцех всей Германии, сейчас вожди отчизны Мессершмидта, Баварии.

Вспоминая минуту, когда он понял это, старик стонет. Из давнего прошлого, из гимназических лет, к нему приходят видения: Калигула, Нерон. Его сотрудники посмеялись бы таким уподоблениям. Они восхваляют старый строй, но мало что знают о старине. Образованность теперь не в чести. Мессершмидт часто вспоминает гимназические годы. Ему приходилось подолгу потеть над книгами,— знания нелегко укладывались в его массивной голове. Но держались в ней крепко. Он и сейчас при случае цитирует латинских авторов. Его сотрудники выслушивают эти цитаты, но какое им дело до латинских авторов.

Антон фон Мессершмидт не сводит глаз с надписи над письменным столом. Выходит, они смеются и над надписью. Кретины смеются над тем, что у Мессершмидта всегда перед глазами напоминание о безвинно казненном пекаре. А может, это и впрямь смешно. Может, он-то и есть главный кретин.

Он снова погружается в чтение бумаг. Ему положили на стол газетные вырезки с отчетами о собраниях «истинных германцев», посвященных делу фон Дельмайера. Да, тут он проявил твердость. Отменил приказ об освобождении мерзавца. До чего этот сброд обнаглел, просто неслыханно обнаглел: обыкновенное мошенничество какого-то гнусного страхового агента они стараются превратить в дело государственной важности. Пристают с требованиями к нему, к следователю, к прокурору. Пишут идиотские анонимки — пора, мол, ему составлять завещание, самое время. И он вполне допускает, что это не просто угроза. Страна заболела паршой, прекрасная Бавария запаршивела, а раз страна в парше, можно допустить что угодно. Его коллеги по кабинету в таком страхе, что из них хоть веревки вей. Сдержанный Дитрам настойчиво спрашивал его, нельзя ли выпустить Дельмайера из предварительного заключения хотя бы до той поры, когда атмосфера немного разрядится. Флаухер не столь осмотрителен: он ругается и проклинает,— неужто всей

Баварии катиться к черту на рога из-за каких-то подхших дворняг? Но Мессершмидт и не подумает доставить им такое удовольствие. Ошибаются, голубчики. Он не выпустит этого гнуса.

Звонит телефон. Министру докладывают, что пришла г-жа Крюгер. Значит, придется ему теперь принимать эту самую г-жу Крюгер. А какой в этом смысл? Сколько уже раз дело ее мужа пережевывали — десятки раз в парламенте, сотни — в газетах. Зачем ему тратить время, силы, нервы на безнадежное дело? Когда так много дел незаконченных, требующих немедленного вмешательства? С делом Крюгера решено и покончено. И только эта женщина все еще бегает повсюду и вопит, что в тюрьме сидит невиновный.

Так думал, сидя в кресле, министр юстиции Мессершмидт, когда вошла Иоганна, твердо решившая призвать его к ответу.

Перед ней за столом сидел человек огромного роста. Перед ней на стене была удивительная надпись. Иоганна слышала об этой надписи, но уже забыла, что она означает.

Иоганна заговорила, и, когда начала говорить, последнее свидание в одельсбергской тюрьме стало для нее бо́льшей реальностью, чем нынешняя встреча в министерстве юстиции. С бо́льшей отчетливостью, чем тогда, с бо́льшей отчетливостью, чем на вилле «Озерный уголок», видела она Мартина Крюгера, сидящего перед ней здесь, в кабинете министра юстиции, слышала интонацию, с которой он произнес слова: «под свободным небом».

Она говорила. Не кричала и совсем не чувствовала того горького облегчения, на которое надеялась. Зато мгновенно поняла, что вот наконец встретила человека, который не отнесется к ее негодующим словам, как к вспышке умалишенной, снисходительно, но слегка нетерпеливо. Она говорила долго, и он слушал ее и, уж конечно, не обдумывал, что бы ей такое ответить, как когда-то имперский министр юстиции Гейнродт. Этому человеку можно было сказать, что думаешь, и твердо знать, что слушает он не только умом, но и сердцем.

Господин фон Мессершмидт со своей стороны приготовился к нескончаемым жалобам, к возмущенным нападкам. Крюгер был чужак, это не вызывало сомнений, утверждение, что он невиновен, казалось малоправдоподобным, а начальник тюрьмы Фертч, на которого так негодовала Иоганна, слыл примерным службистом. Разумеется, эта женщина все преувеличивала, а об юридической стороне вопроса она говорила явно с голоса адво-

ката. Но ему было приятно смотреть, как независимо она сидит перед ним, как тверда линия ее рта, произносящего решительные слова. Она была полна неколебимой веры, непосредственного возмущения. Кто же прав? Засудивший Крюгера первоклассный юрист Гартль или г-жа Иоганна Крюгер с ее не слишком логичными доводами? Усталые, навыкате, старческие глаза пристально глядели в смелые серые глаза женщины. Он насквозь видел эту молодую баварку. Она рождена для разумной жизни, для забот о муже и детях. Но не для борьбы с баварским правосудием — кто лучше, чем он, знал механику этого правосудия? И вот она сидит перед ним, и произносит затверженные слова, и ведет борьбу за директора государственных музеев Крюгера, за чужака, который повесил в галерее сомнительные картины и был приговорен к тюремному заключению за лжесвидетельство. Нелегкую ношу она взвалила на себя.

Господин фон Мессершмидт дал ей выговориться, почти не прерывая вопросами, изредка что-то записывая. Когда она кончила, он не стал, как боялась Иоганна, растекаться в общих местах, а просто сказал, что в течение двух месяцев она получит ответ насчет пересмотра дела. Иоганна смотрела ему прямо в глаза. С сомнением в голосе сказала, что председатель земельного суда, от которого зависит пересмотр дела, отказался назначить ей определенный срок. Заявил, что не может связывать себя такими обещаниями.

— Через два месяца вы получите ответ,— отрезал г-н фон Мессершмидт.— Раньше, чем зацветут деревья,— ворчливо добавил он и кивнул ей.

Иоганна хотела спросить еще что-то, но его ворчливый тон и особенно кивок успокоили ее, наполнили уверенностью, и она промолчала.

Так молча они сидели друг против друга — старик и Иоганна. Это безмолвие было красноречивее, чем все сказанные слова. Иоганна хотела, чтобы когда-нибудь, хоть раз в жизни, ей довелось посидеть в таком многозначащем молчании с Жаком Тюверленом. Перед уходом она чуть было не начала утешать старика.

Господин фон Мессершмидт вызвал к себе старшего советника Фертча. Человек с кроличьей мордочкой привез кипу документов, был угодлив, полон готовности дать исчерпывающий ответ на любой вопрос. Министр говорил мало, нехотя, старший советник так и сыпал словами. Глядя, как быстро поднимаются и опускаются щетинистые усики Фертча, г-н фон Мессершмидт думал — какая же это комедия, что такое вот суще-

ство призвано обществом превратить Крюгера в законопослушного гражданина. Так как доклад Фертча не давал никаких оснований для придирок, министр сказал только, что придает большое значение особо гуманному режиму в одельсбергской исправительной тюрьме. Он заявил это тоном, не терпящим возражений, потом повторил уже почти просительно. Человек с кроличьей мордочкой держался все так же скромно, даже благоговейно. Он убедился в том, что знал и раньше,— дни старого чурбана, который так незаслуженно восседает в этом кресле, сочтены. Он, человек с кроличьей мордочкой, делал ставку на «патриотов», только на «патриотов» и на их приспешника Гартля. Он откланялся смиренно, с обычным раболепием, хладнокровно думая при этом — «начхать на старую задницу»,— затем, то и дело подпуская шуточки, пересказал весь свой разговор с министром директору департамента Гартлю.

16

О ЧЕСТНОЙ ИГРЕ

В это время мистер Дениель В. Поттер сидел, развалившись в стареньком кресле-качалке на вилле «Озерный уголок». Жак Тюверлен пригласил в этот день и инженера Каспара Прекля, предвкушая долгие, интересные споры. Тот, как всегда беспокойный, как всегда угловатый, то шагал взад и вперед по просторной комнате, то прислонялся к стене.

Накануне у мистера Поттера было столкновение с «истинными германцами». Он рассказывал о нем, посмеиваясь. Мюнхенский ку-клукс-клан, говорил он, состоит, видимо, из молодежи, которая еще не усвоила, что, если матч закончен, его не принято начинать сначала. Они выиграли несколько сражений и на этом основании отказываются признать, что проиграли войну. Итог всем очевиден, а они порываются начать новый раунд. Какая-то удивительная неспособность отдавать себе отчет в истинном положении вещей. Он немного знаком с устройством человеческого мозга и думает, что такой изъян в умственных способностях объясняется атрофией второго речевого центра Вернике.

Тюверлен считал, что вторжение германских варваров в греко-римские культурные области отбросило цивилизацию бе-

лой расы на тысячу лет назад. Сейчас, когда с великими трудами на нее наложили заплату в виде четырех сотен лет, творческие усилия цивилизованных людей вот-вот будут прерваны новым нашествием людей недоразвитых. Одной из фаз этого нашествия и является «патриотическое» движение. В любом уголке земного шара встречаются особи, у которых инстинкт убийства так и не был подавлен занятиями спортом. А необходимость держать этих людей под непрерывным медицинским надзором до сих пор не осознана. Почему, например, врачи-психиатры не присутствуют на кутцнеровских сборищах?

Каспар Прекль с жаром возразил, что даже и такое проявление гнева достаточно мотивировано загниванием общественного строя. Конечно, в данном случае гнев направлен не на тех, на кого следовало бы. И все-таки люди, которые возмущаются этой всесветной гнилью, приносят больше пользы роду человеческому, чем другие, которые апатично приемлют ее или твердят, что вообще не видят никакой гнили.

Развалившись в удобном кресле-качалке, Мамонт под прикрытием очков с толстыми стеклами хитро и весело поблескивал глазами, посапывал мясистым носом, покуривал трубку, сжимая ее длинными зубами. То и дело что-то отмечал в записной книжке. Склонность к мятежам, склонность к революционным переменам идет от пустого желудка,— ответил он Каспару Преклю. Но голодная, пораженная инфляцией Германия еще не весь мир. Статистика показывает, что белое население земного шара в большинстве своем состоит из сытых людей. К тому же молодому человеку не следует забывать, что голодные тоже голодны не всегда, а только время от времени. Люди делятся на три класса: сытых, голодных и ненасытных. И ему непонятно, почему для рода человеческого так уж полезна политика, исходящая из интересов одних только голодных людей.

Тюверлен темпераментно защищал эти весьма сомнительного качества рассуждения американца. Им очень хотелось вызвать Прекля на спор, но тот был погружен в сумрачные размышления о художнике Ландхольцере и не снисходил до возражений на такие пошлости.

За обедом заговорили о населении Баварского плоскогорья, о его биологических и социальных особенностях. Живут себе эти баварцы среди своих гор, упрямо набычившись, далеко отстав в развитии от соседей, невольно творят всякие безобразия, становятся игрушкой в руках любого здоровенного, горластого, малоумного проходимца. Не сомневаясь в своей правоте, Тюверлен

и Поттер многословно рассуждали об особой людской породе — Homo alpinus. Тюверлен любил народ, среди которого жил. Да, этот высокоинтеллектуальный человек любил своих неповоротливых, несообразительных, безотчетно преданных музам баварцев, любил со страстью истинного писателя, вся жизнь которого — в горячей любви и ненависти к тому, что он познал холодным рассудком. Со своей стороны американец, как заправский коллекционер умевший находить прелесть в каждом редком экспонате, ценил неповторимые особенности этого тяжеловесного народа,— примитивную доверчивость, легко переходящую в озлобленность, мечтательное, уютное варварство. Он даже собирался вложить капитал в Баварию и тем самым продвинуть ее по пути прогресса. Поттер считал, что вряд ли удастся ее индустриализировать. Мюнхену и его окрестностям, со всех сторон окруженным огромными промышленными территориями, составляющими Центральную Европу, Мамонт отводил в будущем роль ме́ста отдыха, где люди захотят жить на склоне дней — нечто вроде курорта для всей Центральной Европы.

По какому-то поводу Тюверлен спросил г-на Поттера, чем объяснить неприязнь к немцам за границей. Тот ответил, что лично он весьма расположен к немцам. Если же говорить о делах, то немцы ему доверия не внушают. Тюверлен поинтересовался — почему? Американец замялся, сказал, что обобщения — вещь весьма рискованная. Тюверлен стал настаивать, и тогда г-н Поттер, не скупясь на оговорки, стал объяснять, в чем разница между его английскими, французскими и немецкими деловыми знакомыми. От англичанина достаточно получить устное заверение; у француза необходимо добиться подписи — это очень и очень нелегко, зато, получив ее, можно спать спокойно; большинство его немецких деловых друзей с необычайной легкостью подписываются под чем угодно, но если дело почему-либо принимает дурной оборот, они начинают вкривь и вкось толковать подписанный документ и в совершенно ясных формулировках находят какие-то метафизические сложности. Каспар Прекль еще больше насупился, и Поттер снова подчеркнул, что не собирается делать обобщений.

Тюверлен усмехнулся про себя — забавно, что немец-интернационалист Каспар Прекль так злится, когда кто-то высказывает сомнение в честности немцев-дельцов. Вслух он сказал, что нелюбовь многих немцев к выполнению обязательств, собственноручно ими подписанных, вытекает, видимо, из их чрезмерной воинственности. Воинственный дух не уживается с уважением к чужому праву и логике. Достаточно вспомнить прославленную

немецкую средневековую поэму «Гильдебранд и Гадубранд». Отец встречает сына, утаивает от него их родство, потом они схватываются, подстрекаемые одной только любовью к дракам, и убивают друг друга. Многие современные немцы — кое-кто из студентов, например,— все еще ставят себе за образец Гильдебранда и Гадубранда и из чистой воинственности наносят друг другу колотые и рваные раны. Люди с таким мироощущением будут из себя выходить при мысли, что какая-то бумажонка может оказаться сильнее пушек. Стоит возникнуть спору — и они требуют, чтобы его решили войной, и так до тех пор, пока не одержат победы. Людей этой породы везде много, но сейчас они становятся все менее влиятельны в Германии. Г-н Поттер не должен переоценивать значения их воплей.

Но тут Каспар Прекль уже не мог сдержаться. Случалось, он и не так честил своих земляков, но слушать, как их поносят этот швейцарец и этот американский денежный пузырь, было свыше его сил. Он сердито заявил, что утверждение г-на Поттера, будто немцы неэтичный народ, так же справедливо, как утверждение, что белое черно. Они чересчур этичны, до идиотизма этичны. Потому-то, взывая к этике, угнетатели подчиняют себе угнетенных, потому, прикрываясь этикой, держат их в узде. Ни один народ на земле так не терзал себя всякими этическими тонкостями, как немецкий. Где другие идут прямой дорогой, там немцы из-за этой своей этики идут в обход. Не успели начать революцию, и уже стоп машина: им, изволите ли видеть, надо сперва выяснить, достаточно ли это честная игра.

Все это г-н Прекль выложил в очень резкой форме. Г-н Тюверлен и г-н Поттер переглянулись. Не засмеялись, нет, для этого они были слишком цивилизованны. Он ни в коем случае не хотел бы задеть г-на Прекля и его родину, с обманчиво-мягким благодушием возразил г-н Тюверлен, но при всем желании не может назвать этичным, ну, скажем, тот маневр, свидетелями которого они все являются, тот способ, которым государство и промышленность с помощью инфляции перекачивают деньги из карманов обывателей в свои собственные кассы. Г-н Тюверлен и сам не считал свой довод слишком убедительным; еще не договорив, он уже понял, что Каспар Прекль с полным правом может сказать ему, что маневр этот совершен не целым народом, а немногочисленной правящей верхушкой. Но случилось неожиданное: тот самый инженер Каспар Прекль, который обычно бичевал наглое вероломство капиталистов так метко и ядовито, на этот раз ответил, словно бы защищая это веролом-

ство, что считает бессмысленным рассуждать о том, честной ли игрой занимались глетчеры, когда после ледникового периода вдруг взяли и растаяли. Его собеседники так удивились, что некоторое время молчали.

— Инфляция — нечестная игра,— после паузы негромко и раздумчиво заметил Мамонт.— Но очень выгодная. Будь я на месте вашего министра финансов, я тоже играл бы в нее.

Тут все трое невольно рассмеялись. Инженер Прекль втайне готов был сквозь землю провалиться от стыда и клялся себе, что обязательно напишет балладу о честной игре.

Почти сразу после обеда Каспар Прекль уехал. Его никто не удерживал. Он был неразговорчив, с любой точки зрения узок, занимал мало места, в отличие от Тюверлена и американца; но когда этот фанатик ушел, в большой комнате стало почему-то пустынно. Разговор сразу увял.

— Каспар Прекль очень утомителен,— помолчав, сказал Тюверлен.

— Мне жаль таких людей,— тоже помолчав, лениво произнес американец.

Потом они гуляли по берегу прозрачного озера, озаренного лучами зимнего послеполуденного солнца. Денни Тридцатилетка перевел разговор на обозрение. Тюверлен стал рассказывать про свой первоначальный замысел, американец тотчас уловил его мысль, понял ее, подхватил. Сказал, что, на его взгляд, патриотическое движение, весь этот воинственный дух — как бы последние судороги первобытного человека. Ему давно уже видится картина, которую можно бы использовать то ли в пьесе, то ли в фильме: последние люди на исходе каменного века разбивают свои орудия и берутся за бронзовые. Тюверлен согласился, что идея неплоха, но заметил, улыбаясь, что ее трудно было бы обыграть в обозрении «Касперль и классовая борьба». Г-н Поттер, не выпуская изо рта трубки, не поворачиваясь к Тюверлену, предложил написать новое обозрение в духе Аристофана для постановки в Нью-Йорке. Он с радостью поможет пристроить его. Тюверлен лучше разбирается в книгах, а он, возможно, лучше разбирается в людях. Он с радостью займется этим делом, словно мимоходом повторил Поттер.

Пораженный Тюверлен спросил, чего он ожидает от такого обозрения? Ведь даже если оно удастся автору, его вряд ли поймут зрители. Денни Тридцатилетка вынул записную книжку, начал молча подсчитывать. Потом сказал, что всего серьезнее он говорит о вещах, которые могут его развлечь. И пригласил

Тюверлена приехать в Америку. Тот задумчиво ответил, что об этом стоит поразмыслить.

Когда они вернулись в «Озерный уголок», Мамонт сказал, что ведет переговоры с г-ном фон Грюбером по поводу займа на электрификацию Баварии. Теперь такое время, что и относительно небольшая сумма очень существенна для маленькой страны.

— Чтобы получить сравнительно небольшую сумму, люди идут на большие уступки,— добавил он.

Тюверлен прищурился, долго молчал.

— А вы собираетесь требовать уступок от моих баварцев? — спросил он, когда г-н Поттер уже заговорил о чем-то другом.

— Просто не знаю, чего бы мне от них потребовать,— признался тот.

— А вот я отлично знал бы, чего потребовать от баварского правительства,— бросил пробный шар Тюверлен. Он думал о том, что это правительство вложило немалый капитал в предприятия Грюбера.

— Что-нибудь очень серьезное? — спросил г-н Поттер.

— Что вы! Всего-навсего амнистии человеку, которого я считаю невиновным,— ответил Тюверлен.

— Мы еще вернемся к этой теме,— сказал г-н Поттер.— Приезжайте в Штаты, господин Тюверлен,— повторил он свое приглашение.

— Думаю, что приеду,— сказал Тюверлен.

Американец уехал, и почти сразу вернулась из Мюнхена после беседы с Мессершмидтом Иоганна. Тюверлен встретил ее очень довольный. Ему понравился Мамонт, к тому же радовала возможность побывать в Америке, возможность добиться амнистии Крюгеру.

Он размышлял, стоит ли рассказать Иоганне об этой новой возможности. Решил, что не стоит,— ей и без того приходилось слишком часто разочаровываться. Лучше рассказать тогда, когда возможность станет реальностью. Тюверлен шел рядом с Иоганной, она молчала, а он озорно, по-мальчишески косился на нее, и его скрипучий фальцет ни на минуту не умолкал.

Она злилась на него за то, что он, видимо, даже и не попытался заинтересовать Мамонта судьбой Мартина Крюгера. А ведь не мог не знать, как ей это важно. Она любила Тюверлена, но до чего же горько сознавать — вот он идет рядом с ней и не догадывается, что́ ей сейчас всего нужнее.

17

КАСПАР ПРЕКЛЬ СЖИГАЕТ «СМИРЕННОЕ ЖИВОТНОЕ»

Бенно Лехнеру предстояло принять нелегкое решение. Кассирша Ценци узнала, что можно по случаю купить хорошо оборудованную электротехническую мастерскую на полном ходу. Она решила, что приобретет ее, а заправлять делом будет Бени. Ценци отлично зарабатывала, отложила кругленькую сумму про черный день и по тем тяжелым временам была, можно сказать, богачкой. Хватит с нее «Тирольского кабачка», хватит работать кассиршей. Она уже подорвала там здоровье, страдает плоскостопием, как все ее товарки по профессии, ноги болят с каждым днем все сильнее. Пора выйти замуж, обзавестись семьей, родить законного ребенка. А случай купить такую мастерскую бывает раз в жизни. Бени стоил ей немалых денег — кто, как не она, дала ему возможность выучиться полезному ремеслу в Высшей технической школе. Остается довести дело до конца: купить мастерскую для Бени и выйти за него замуж.

Бени знал,— Ценци слова на ветер не бросает. Ему претило, что она настаивает на законном браке. Он терпеть не мог всю эту буржуазную формалистику, не говоря уже о том, что современные законы о браке — сплошной идиотизм. С другой стороны, хорошо было бы зажить вместе с человеком, на которого можно положиться. Смертельно надоело брюзжание старика, хотелось под благовидным предлогом уехать от него. Иметь ребенка от Ценци тоже неплохо. Продолжить себя, обзавестись сыном, который будет жить в лучшие времена, в бесклассовом пролетарском обществе,— за это стоит заплатить даже такой ценой, как согласие на гнусный и лживый буржуазный брак.

Довольно тошнотворная перспектива — стоять в черном костюме на Петерсберге рядом с Ценци под белой фатой. Товарищ Прекль и все прочие поднимут его на смех и будут правы.

Но Петерсберг, брачная церемония, свадьба не так неприятны, как второе требование Ценци — согласиться на покупку мастерской и тем самым сделаться предпринимателем.

Вот если бы удалось как следует устроиться, найти хорошую постоянную работу! Тогда и Ценци угомонилась бы, оставила бы его в покое. Например, если бы он числился не временным, а штатным осветителем Государственного театра. Там его очень ценят. Бенно пригласили туда сразу после постановки обозрения «Выше некуда»,— его световые эффекты на всех про-

извели впечатление. В Государственном театре были особенно модны вагнеровские оперы: они льстили духу националистического романтизма, который в то время расцвел пышным цветом. Когда в былые годы король-романтик Людвиг Второй задумал построить в Мюнхене оперный театр для Рихарда Вагнера, мюнхенцы изгнали этого композитора из города, считая, что у него в голове слишком много дури. Прошло полвека, слава Вагнера достигла вершины, и тут мюнхенцы притворились, будто первые оценили его музыку, ради своих местных патриотических целей стали всюду его прославлять и даже построили театр имени Вагнера — правда, не без нажима со стороны некоего театрального дельца, спекулировавшего земельными участками. Вагнеровские оперы требовали сложной театральной техники, мюнхенцы желали, чтобы их театр был на высоте, световые эффекты из обозрения «Выше некуда» отлично подходили для этих опер. Заведующий осветительным отделом Государственного театра пришел в такой восторг от изобретательности Бенно Лехнера, что взял его себе в помощники. Но как ни ценил Бени заведующий, вряд ли его возьмут на постоянную работу в Баварский государственный театр, а Ценци только с такой работой и примирится. Театр очень консервативен. Там всё решают старики, придворные певцы и актеры: они не станут возражать, чтобы коммунист разок-другой осветил их, но чтобы освещал всегда — ни за что. Нет, работы, которая удовлетворила бы Ценци, ему там не получить.

Так что же Бени делать? Ценци торопит его, оглашение должно появиться в газетах самое большее через три недели. Откладывать покупку мастерской на более длительный срок невозможно. Значит, к этому времени ему надо на что-то решиться. А нет — ну, что ж, не гневайтесь, господин хороший, придется ей с ним расстаться. На этот случай у нее есть еще трое на примете. Гори все ясным огнем, а весной она уйдет из «Тирольского кабачка». Еще не зацветут деревья, а Ценци в подвенечном платье будет стоять на Петерсберге. И, уж конечно, не с каким-нибудь чужаком.

Ну и переплет! Бенно Лехнеру был необходим совет человека, с чьим мнением он считался. Он пошел на Габельсбергерштрассе к Каспару Преклю.

Но Прекль был в настроении, отнюдь не располагавшем к душевному разговору. Хотя его мучила неприятность в сущности пустяковая, да и случилась она уже несколько дней назад, тем не менее Каспар Прекль никак не мог успокоиться. А заключалась эта неприятность в следующем. Анни Лехнер,

проходя мимо магазинной витрины, увидела там зимнее пальто и стала его разглядывать. Оно было дорогое и наверняка не такое хорошее, каким казалось с улицы. Но уже начались холода, и Анни позарез нужно было зимнее пальто. Должно быть, она простояла у витрины очень долго, потому что какой-то незнакомый человек спросил, что она там увидела такое интересное. Незнакомец был весел, остроумен, произвел на нее приятное впечатление, да и она тоже как будто очень ему понравилась. Они заговорили о ценах. Оказалось, он иностранец и у него есть швейцарские франки. На покупку пальто надо было всего пятнадцать таких франков, и он согласился продать их по курсу, который, по правде говоря, существует только для очень хорошеньких девушек. Но когда Анни Лехнер стала расплачиваться за понравившееся ей пальто, выяснилось, что франки любезного господина фальшивые. Обозленный хозяин вызвал полицию. Анни провела несколько очень неприятных часов в участке, откуда ее вызволил, разбранив на все корки, старик Лехнер.

Когда Каспар Прекль узнал об этой истории, он стал браниться еще яростнее, чем папаша Лехнер. Но тут уже потеряла терпение и Анни. Каспар недурно устроился. Разыгрывает этакого чистоплюя. Сделал красивый жест, отказавшись от работы у Пятого евангелиста. Но кто-то ведь должен платить за квартиру и покупать еду. Конечно, какому-нибудь Рейндлю обмен двенадцати тысяч марок на пятнадцать франков может показаться плёвым делом, но для Анни он означал зимнее пальто и, значит, двести часов тепла, сухое платье и сухой нос. Да, ее обвели вокруг пальца, но ведь Каспар Прекль не очень-то заботился о том, чтобы она поближе познакомилась с иностранной валютой.

Конечно, Каспар Прекль как следует намылил ей шею. Но все дело в том, что Анни наступила ему, так сказать, на любимую мозоль, хотя он и себе в этом не признавался. Он терзался из-за того, что Анни уже не такая цветущая, как раньше, что порою она плохо выглядит, что, очевидно, недоедает, что ей не на что купить себе платье. Она не жаловалась, но, при всей своей ненаблюдательности, он видел, как она обносилась. Нет, так себя вести он больше не может. Его чувство собственного достоинства — блажь, его цикл баллад о личности и коллективе, с которым он до сих пор возится,— блажь. А через два месяца ему стукнет тридцать, и блажь уже не по возрасту. Он сделал красивый жест, отказавшись от предложения Рейндля ехать в Москву. Теперь, чтобы как-то устроиться, придется идти на поклон к тому же Рейндлю. А это черт знает как неприятно.

В таком малоприветливом настроении был Каспар Прекль, когда Бенно Лехнер пришел к нему со своими огорчениями. Он сразу увидел, что Каспар не в духе, стал что-то мямлить, попытался завязать разговор на отвлеченные темы. Но Каспар так бушевал, что уж лучше было слушать его, а самому помалкивать. Инженер всех бранил и развивал теории не столько убедительные, сколько воинственные.

Бенно совсем оробел и решил держаться подальше от теорий. Но когда он заикнулся о своих сомнениях, товарищ Прекль, злившийся больше на себя, чем на Бени, резко оборвал его: не желает он слушать о какой-то там отдельной судьбе, время отдельных конфликтов миновало, ему тоже не нужно никакой отдельной судьбы, нужно только слияние с массами. Странно прозвучали эти слова в устах такого неуживчивого, угловатого человека. Бенно Лехнер усмотрел в них лишь высокомерие, насупился, несмотря на глубочайшее восхищение Преклем, и в ответ на осторожные попытки того загладить свою вспышку, упрямо и угрюмо молчал.

Оба молчальника с облегчением вздохнули, когда пришла говорливая Анни. Более чуткая, чем Каспар, она сразу поняла, что брат чем-то озабочен, сказала, что хочет разок вместе с ним навестить отца, и они вдвоем отправились на Унтерангер. Бенно Лехнер начал рассказывать о себе уже не Преклю, а сестре. Внимательно выслушав его, Анни сразу стала на сторону кассирши Ценци: та правильно делает, когда ставит перед ним вопрос ребром. Все так шатко нынче, что для Бени будет истинным благом встать обеими ногами на твердую почву. Она многословно уговаривала его согласиться и заранее радовалась тому, что будет крестной матерью племяннику.

Попутно она рассказала ему кое-что и о себе. Она забеременела от Каспара. Но не заикнулась ему об этом — он, конечно, очень умен, но не в таких делах. Она просто пошла к врачу и избавилась от ребенка. Что говорить, она предпочла бы его родить. Но ведь родить мало, надо еще прокормить и воспитать, а как это сделать в такое гнусное время? Скверная сейчас жизнь — инфляция, и прочая гадость, и надо лезть из кожи вон, чтобы не сдохнуть с голоду. С врачом тоже оказалось не просто: тот, которого ей рекомендовали, не человек, а золото, сделал бы аборт даром такой нищей девчонке, как она, но именно поэтому подлецы-конкуренты донесли на него. А он красный, он социалист, вот его и упрятали в тюрьму. Пришлось обратиться к врачу, который пользует «большеголовых». Тот был мил и любезен,

но потребовал плату в иностранной валюте. Она потому так и обмишулилась с этим пальто, что очень уж ей круто пришлось.

Бени слушал сестру. Почти ничего не говорил. Но про себя удивлялся, что Анни, совсем еще девчонка, так мужественно справляется со своими заботами. Она меж тем искоса поглядывала на брата и улыбалась. Он, видно, год уже не стригся. С ласковой насмешкой она подумала, что с таким вот намеком на бачки он очень похож на старика Лехнера.

Они дошли до Унтерангера. Каэтан Лехнер отремонтировал дом, но старый дом — не старинная мебель, и тут Лехнеру изменил вкус. Новая окраска не удалась, в прежнем своем немного обшарпанном виде дом был привлекательнее. Старик обрадовался, что наконец-то видит обоих детей вместе, но немедленно заворчал — не часто они удостаивают его этой чести. Он очень переменился, связавшись с «истинными германцами», стал задирать нос. Он всегда говорил, что еще выбьется в люди, но раньше его слова звучали так, словно он просил прощения за то, что все еще не выбился. А теперь он произносил эту фразу тоном необычайно значительным. Каэтан Лехнер втайне свято верил, что рано или поздно «патриоты» помогут ему заполучить яично-желтый дом; ну, а когда произойдет национальное обновление и во имя великой Германии мы начнем войну с Голландией, тогда, может быть, ему удастся вынудить голландца вернуть «комодик». С тех пор как Каэтан Лехнер стал посещать кутцнеровский балаган, он совсем одурел, и разговаривать с ним стало немыслимо. И вместе с тем он требовал, чтобы с ним разговаривали, не мог уснуть, предварительно не разделав под орех Бени, этого красного пса. Зобастый старик с длинными баками и молодой человек с намеком на бачки сидели бок о бок, и молодой молча выслушивал стариковскую брань. Он был согласен на Петерсберг, на увенчанное фронтоном здание, где регистрировались браки, лишь бы потом его оставили в покое.

А Каспар Прекль тем временем злился на себя за мальчишески спесивый выпад против Бенно Лехнера. Мысль его была верна, но в какую дурацкую, высокопарную форму он ее облек. Каспар Прекль искренне тяготился своей индивидуальностью. Ему хотелось освободиться от нее, хотелось стать атомом в ряду подобных же атомов. А получалось так, что какая-то часть его «я» все время заносилась над другими. Нет, он не может примириться с этим своим свойством, должен от него избавиться.

Ему было неприятно, что Бени ушел такой разобиженный. Прекль достал цикл своих баллад и стал сочинять новую — «О бедности». В стихах его мысли звучали куда убедительнее,

чем в прозе, где нужна логика, последовательность. На вилле «Озерный уголок» он разыграл дурака перед этим Калифорнийским Мамонтом. Тот разговаривал с ним как с несмышленышем и был прав — этот Мамонт вовсе не глуп. Глупо было то, что говорил он, Прекль. А вот баллада «О честной игре» удалась. Каспар Прекль взял банджо, стал тихонько наигрывать. Стихи приходили к нему всегда вместе с мелодией. Удалась и баллада «О бедности».

Он вполголоса промурлыкал ее и остался доволен. Один в просторном ателье снова пропел ее, на этот раз звонко, во весь голос. Прекль был гордец. После неудачного выступления перед денежным пузырем он совсем перестал петь баллады на людях, даже для Анни не пел. И вообще у него появились тайны от нее.

Хитро улыбаясь, он на цыпочках подошел к столу и отпер ящик. Совсем как художник Ландхольцер, оглянулся на дверь, запер ее на задвижку. Вынул из ящика рисунок «Западно-восточный двойник», манифест «О правде», деревянную дощечку с рельефом «Смиренного животного».

Стал их по очереди разглядывать,— рисунок, барельеф, манифест,— разглядывать с нежностью, с горячностью, со страстью. Окинул взглядом чертежный стол, на котором громоздились эскизы, рабочие чертежи. Громко, презрительно расхохотался. И опять начал звонко выкрикивать только что сочиненную балладу «О бедности». И опять она ему понравилась.

Он был доволен. А, собственно говоря, чем? Определение этого древнего буржуа Аристотеля по-прежнему самое точное: смысл искусства — в очищении от страха и сострадания. Психоанализ — одна из уловок гибнущей буржуазии. Старик Аристотель отлично разбирался в психоанализе. Искусство — наилучший способ очиститься, избавиться от таких опасных чувств, как страх, сострадание, угрызения совести. Отличный, ловкий, удобный способ. Только не слишком ли ловкий, удобный, буржуазный?

В общем, он свинья. Сейчас не время для такой роскоши, как сложная личная жизнь. Неординарные характеры вышли из моды. Вот он наорал на беднягу Бенно Лехнера — мол, личные беды сейчас никому не интересны, а сам сидит и цацкается со своей неординарностью. И его сумрачные запавшие глаза впились в сумрачные запавшие глаза «Западно-восточного двойника», в его костистый нос, выпирающий кадык, резко очерченные скулы.

Да, искусство — бессовестно дешевый способ обезопасить себя от опасных страстей. Старик Платон, разумеется, «больше-

головый», разумеется, он аристократ из аристократов, но при том умен как черт и не зря изгнал поэтов из своего государства. Что говорить, обязательства перед обществом всего дешевле оплатить с помощью эстетики. Чересчур дешево, друг любезный. Такие полезные чувства, как жажда борьбы, негодование, жажда убийства, отвращение, угрызения совести, очень неудобны. Но для того они и даны человеку, чтобы он не сидел сложа руки. Избавиться от них, претворив их в искусство, проще простого. Только этот номер не пройдет. Эти чувства нужно использовать в реальной жизни, то есть в классовой борьбе.

Слишком вы все себе облегчаете, господин инженер Каспар Прекль. От других требуете, чтобы они отказались от личной жизни. А вы-то сами отказались от вашего пресловутого чувства собственного достоинства? Попытались приноровиться к господину Рейндлю? Уехали в Россию? Нет, отсиживаетесь в приятной отъединенности за запертой дверью. Предпочитаете сочинять баллады, заниматься искусством. Захлебываться искусством. А кто вам дал на это право?

Это позволительно, пожалуй, доктору Мартину Крюгеру, потому что он сидит за решеткой, в малоприятных условиях. Или человеку, который нашел пристанище в сумасшедшем доме. Да, художнику Ландхольцеру это, пожалуй, позволительно. А как быть с писателем Жаком Тюверленом, который сидит на вилле «Озерный уголок» с женой Мартина Крюгера и пишет радиопьесу «Страшный суд», за которую, между прочим, получит кругленькую сумму в долларах? Какая мерзость.

Не желает он уподобляться писателю Жаку Тюверлену.

Он сел за пишущую машинку, в которой по-прежнему были неисправны буквы «е» и «х», и написал следующее:

«Приказ от 19 декабря Каспару Преклю, большевику, о выступлении в поход.

1. Вам надлежит явиться к капиталисту Андреасу Рейндлю и любыми способами добиться отправки в качестве старшего конструктора в Нижний Новгород;

2. Вам надлежит любыми способами, в первую очередь используя вышепоименованного капиталиста Рейндля, добиться освобождения приговоренного к тюремному заключению Мартина Крюгера;

3. Вам надлежит выяснить у девицы Анни Лехнер, согласна ли она вступить в партию и ехать с вами в Россию?»

Печатая этот приказ, инженер Каспар Прекль не вспомнил о том, что однажды в его присутствии ненавистный ему пи-

сатель Жак Тюверлен послал самому себе открытку с директивой, какой эстетической позиции он должен держаться.

Прекль открыл дверцу железной печки, полной угля — об этом перед уходом позаботилась Анни. Бросил туда листки с текстом баллад. Потом — манифест художника Ландхольцера, рисунок «Западно-восточный двойник» и напоследок — деревянную дощечку с рельефом «Смиренного животного». Не удостоив взглядом вспыхнувший огонь, сел за стол и принялся чертить.

18

НЕКТО БРОСАЕТСЯ НА РЕШЕТКУ СВОЕЙ КЛЕТКИ

Одельсбергская тюрьма помещалась в бывшем монастыре; в трапезной устроили церковь. В сочельник туда привели заключенных, и они, сидя на скамьях, распевали псалмы, а начальник произнес речь. Зажгли свечи на елке. Сзади толпились жители Одельсберга, главным образом, женщины и девушки. Серо-коричневые поглядывали на них, радуясь, что наконец-то довелось увидеть женщин. Речь начальника состояла из общих мест, хор звучал нестройно, елка и свечи выглядели убого. Но арестанты были взволнованы, многие плакали. Был взволнован и Мартин Крюгер. Потом его мучил стыд за то, что он был взволнован. На ужин им выдали по добавочному куску сыра. Швейцарского сыра, твердого, острого. Мартин Крюгер ел его маленькими кусочками и наслаждался.

Он был подавлен. Лучше всего он чувствовал себя, когда писал о мятежнике Гойе. Собственный его мятеж состоял из дурацких стычек с маленьким тюремным чинушей, стычек изнурительных, безнадежных.

Время подточило его здравый смысл. Однажды человеку с кроличьей мордочкой удалось найти предлог, чтобы подвергнуть Крюгера наказанию. Он объявил ему об этом деловито, лаконично, тоном военного приказа. Волосики у него в ноздрях подрагивали, словно он похотливо принюхивался к лакомому куску. И тут Мартин Крюгер поднял руку и дал ему оплеуху. И почувствовал огромное удовлетворение. Но за это пришлось расплачиваться. Начальник тюрьмы, не в пример своему подопечному наделенный здравым смыслом, сдержался, решил отнестись к пощечине, как к выходке сумасшедшего, и отправил Крюгера в карцер «для буйных».

Карцер, похожий на тесную клетку, был устроен в тюремном подвале. Мартина Крюгера раздели, оставив на нем одну рубаху. Потом пинками заставили спуститься по скользким каменным ступеням. В нос ему ударила острая вонь от экскрементов тех, кто сидел в карцере до него. На улице был белый день, а в подвале непроглядная тьма. Он стал ощупывать стены, прутья решетки, неровный, в выбоинах земляной пол. На нем была только короткая рубаха, и холод пронизывал до костей; он окоченел, с трудом двигался. Затолкали его в карцер часов около четырех, прошло совсем немного времени, а он уже не знал, день сейчас или ночь. К вони он быстро привык. По клетке бегали крысы, беседовать с ними Мартину Крюгеру не хотелось. Он лег на землю, надеясь, что замерзнет: ему рассказывали, что это — приятная смерть. Но улежать не смог — мешали крысы. А может, он не уснул потому, что был голоден. Он стал кричать, но его не услышали или не захотели услышать. Потом он уже только скулил. Прошло сколько-то времени, и ему бросили матрац и кусок хлеба.

Порою он терял представление, где он, чувствовал только, что хочет есть, что ему холодно, что кругом тьма, вонь и крысы. Мечтал о своей камере. Вдруг подумал, что живет в Центральной Европе, в двадцатом столетии, что в этом столетии и в этом уголке земли люди убеждены в своем превосходстве над первобытными племенами первобытных времен. Вспомнил людей, повисших на проволочных заграждениях,— он видел их собственными глазами,— отравленных газами, до смерти забитых «освободителями» Мюнхена. Пытался найти утешение в мысли, что их судьба еще страшнее, чем его; но он лгал себе — она не была страшнее. Вспомнил стихи средневекового поэта по имени Данте Алигьери, стихи, где речь шла об аде, о тех, кого терзает голод, терзает огонь, и рассмеялся — до чего убога была фантазия этого поэта. Потом встал, пошатываясь, каждой клеточкой ощущая режущий холод, и попытался в темной клетке проделать свои обычные упражнения. Это было мучительно: все кости, все мышцы сопротивлялись движениям. Кончилось тем, что, обессилев, он упал и, должно быть, уснул.

Проснувшись, он почувствовал, что ему не так уж плохо, порадовался своей слабости, с удовольствием прислушался к возне крыс. Огорчало одно — он никак не мог вспомнить нужной ему строчки из поэмы этого Данте. Он сказал: «Dante era un trecentista» [1]. Сказал: «Всего же лучше — не родиться». Сказал:

---

[1] Данте жил в четырнадцатом веке *(итал.)*.

«Доколе?» Ему казалось — он кричит, а на самом деле шептал так тихо, что его не слышали даже крысы. Он стал вспоминать людей, которых знал когда-то. Нумеровал их. Понимал, что все время кого-то пропускает. И сбивался в нумерации. Решил восстановить в памяти свой кабинет. Комнату в целом увидел очень отчетливо, но подробности ускользали — то одна, то другая. Он злился на себя. Странно, что на земле одновременно существует столько разного. Она совсем маленькая — в самом деле, много ли это — сорок тысяч километров? И так удивительно — где-то на этой земле кто-то читает сейчас давным-давно написанную им фразу о таком-то и таком-то оттенке цвета, а он валяется здесь, и по нему бегают крысы.

Плохо не то, что он валяется здесь. Плохо не то, что судья засадил его в тюрьму. Плохо не то, что кто-то бросил его сюда, обрек семи казням египетским — голоду, и нечисти, и тьме. Плохо то, что на воле ходят люди, которые знают об этом и мирятся с этим. Люди думают о миллионе разных вещей, но о нем не вспоминают, газеты печатают речи политических деятелей, описания картин, отчеты о скорости хода судов, о траектории полета теннисных мячей, но о нем не вспоминают. Он лежал, чувствуя бесконечную слабость, вдыхал зловонный воздух и ненавидел Иоганну.

Он не знал, сколько времени прошло с тех пор, как ему швырнули матрац и кусок хлеба. Вдруг подумал, что о нем забыли, и чуть не умер от страха. Однажды он решил осмотреть подземную пещеру в Унтерсберге. Пещера была огромная, с многими ответвлениями, с круто уходящими вверх стенами, чем дальше, тем более холодная, немая, как гробница. Он пошел вместе с каким-то знакомым, без проводника — дурацкое легкомыслие. Если бы батарейка карманного фонаря отказала — им был бы конец. Батарейка отказала. У него словно земля ушла из-под ног, и он пережил ужас, равного которому никогда прежде не испытывал. Приятель почти сразу нашел его,— через минуту, не больше,— но ему казалось — протекла вечность. Страшнее ощущения он не знал. Порою, не слишком часто, он вспоминал об этом случае. И начинал дрожать. Такой же удушливый страх овладел им и сейчас. О нем забыли, он издохнет здесь, под крысами, в чужом дерьме, в короткой рубахе.

Но через тридцать шесть часов Крюгера освободили из клетки.

Осмотрев его после этого, доктор Гзель удовлетворенно отметил, что заключенный на редкость спокоен, ни на что не жалуется, отвечает учтиво и здраво, пытается шутить в тон врачу

— Седины, конечно, прибавилось,— посмеивался врач,— но она нам к лицу. А с этой легкой слабостью мы быстро справимся.

Крюгер поглядел на него потухшими глазами.

— Да, господин доктор,— проговорил он,— мы с ней быстро справимся. Я когда-нибудь выйду отсюда, *вы* останетесь здесь навсегда.

Он сказал это мягко и, разумеется, без намерения ранить, но врач был глубоко задет. Не по охоте работал он в Одельсберге. Когда-то доктор Гзель мечтал о карьере университетского ученого. Еще будучи студентом, он увлеченно и рьяно занимался исследованием особенностей состава крови у людей различной расовой принадлежности, и две его публикации на эту тему упоминались наряду с трудами таких светил, как Дунгерн, фон Шейдт, Гиршфельд. Однажды ему показалось, что он попал в точку, нашел ключ к определению этих особенностей. Но вскоре пришло разочарование: его метод был ошибочен. Он, как и многие его современники, так и не открыл способа определять расовую принадлежность людей по составу их крови. И все-таки ближе других подошел к решению проблемы; казалось, вот-вот — и он добьется успеха. Но обстоятельства обернулись против него: его мать разорилась, невеста, дочь известного профессора, порвала с ним, пришлось отказаться и от надежд на доцентуру, и от продолжения исследовательской работы. И вот он, старый холостяк, жил в Одельсберге, занимался частной практикой, ему неинтересной, тянул лямку тюремного врача, ему тягостную. Четырнадцатичасовый рабочий день, дурацкая служба, не требовавшая никаких талантов, отвлекала его от дела, для которого он был создан.

Доктор Гзель не стал вымещать на пациенте накипевшую горечь. Он не любил врачебной практики, но врач был недурной, с наметанным глазом, ловкими руками. И к заключенным он относился довольно гуманно. Но служба в тюрьме притупляет людские чувства. Доктор Гзель привык не доверять жалобам заключенных. Почти все они озлобленны и строптивы. Он говорил с ними шутливым тоном, утешал. Но сердился, если они упорствовали.

Когда Крюгера привезли в тюрьму, доктор Гзель, как всегда, первым делом взял у него кровь на исследование. Судя по внешности заключенного — кельтский тип с небольшой примесью семитических черт,— его кровь должна была бы принадлежать к группе «А». К великому разочарованию доктора Гзеля, она принадлежала к группе «АБ», но он был человек добродуш-

ный и простил это Крюгеру. И когда тот пожаловался на боли в сердце, тоже не рассердился, выстукал его, ничего не нашел, ободрил шуткой. Ничего опасного у него нет. По наблюдениям Гзеля, люди этого типа достаточно выносливы. Когда Крюгер обратился к нему второй раз с теми же жалобами, он снисходительно осмотрел его второй раз и снова ничего не обнаружил. Но когда Крюгер пришел в третий раз, доктор Гзель выразил недовольство. Понятно, что заключенный номер 2478 не прочь с помощью врача устроить себе легкую жизнь, но пусть он в таком случае изобретет что-нибудь более правдоподобное. Боли в сердце. Вечная, излюбленнейшая их жалоба. Припадки случаются по ночам, в одиночной камере, когда нет свидетелей? Ну, разумеется! Когда господин пациент не один, припадков у него не бывает? Знаем, знаем. Господин доктор Крюгер метит на отправку в больницу с предположительным диагнозом angina pectoris [1]. Ошибаетесь, голубчик. Мы не попадемся на удочку вашей сердечной хвори. После шестнадцати месяцев тюремного заключения человек, само собой, немного слабеет. Он жил в роскоши, потом попал к нам, находит нашу обстановку чересчур спартанской, в его организме происходят некоторые изменения, на нервной почве возникают желудочные заболевания, расстройства пищеварения, отечность, похудание, серый цвет кожи. Ничего страшного в этом нет. Обычная история. Со временем пройдет. Angina pectoris. Ловко придумано. Все они ловкачи.

Так этот врач относился к заключенным: без особого доверия, но с готовностью при случае помочь. Поэтому, когда после тридцатишестичасового пребывания в карцере Крюгер сказал, что он-то выйдет отсюда, а вот доктор Гзель нет, его слова больно уязвили врача. Но он не попомнил зла человеку, и впрямь ослабевшему, даже выписал ему дополнительный паек и освободил от работы.

Прошло несколько дней, и Крюгер снова явился к нему с жалобами на очередной сердечный припадок, на мучительное чувство полного уничтожения, на боязнь одиночества, на беспомощность. Припадки теперь участились. Он умолял врача провести к нему в камеру звонок, все равно что, только бы он мог позвать на помощь: ему страшно, что он умрет один во время такого припадка. Но тут доктор Гзель уже при всем желании не мог сохранить благодушие. Он, не долго думая, обозвал Крюгера зазнайкой и симулянтом.

---

[1] Грудная жаба *(лат.)*.

Но Мартин Крюгер не был симулянтом.

После того как его выпустили из карцера, между ним и начальником тюрьмы установилось нечто вроде перемирия. Пусть Фертч хоть из кожи вон вылезет, Мартин больше не позволит себе взорваться.

Ему необходимо было слышать хоть чей-то голос, и он стал теперь разговаривать сам с собой — негромко, чтобы не нажаловался надзиратель. Но если в коридоре дежурил кто-нибудь из благоволящих к нему, он давал себе волю. Особенно любил читать на память одну из глав книги о Гойе. Бесконечными ночами Крюгер упивался картинами грандиозной мести. Мечтал отравить весь город Мюнхен, всех двуногих и четвероногих тварей. В мельчайших подробностях представлял себе убитых, отравленных, груды трупов. В памяти возникали давно забытые легенды и сказания. Если в Мюнхене наберется хоть пятеро праведников, господь отведет от этого города карающую руку. Но пяти праведников там не наберется. Он, Мартин, так долго прожил в Мюнхене, что обязательно набрел бы хоть на одного из пяти. Все же он начал торговаться с богом насчет числа праведников. Ладно, пусть милует этот город, но только если их окажется десять человек,— однажды он уже так сделал. Бог был благосклонен к Крюгеру, он все понимал и соглашался исполнить его просьбу. Мартин Крюгер злобно и торжествующе смеялся. Теперь-то с дерьмовым городом будет покончено. Десяти праведников в нем не найдется, это точно.

Когда Иоганна снова приехала к нему на свидание, она волновалась больше, чем он. На этот раз он не обдумывал заранее, что ей сказать. Пересмотр дела, досрочное освобождение, амнистия — он днем и ночью только о том и думал. Несмотря на слабость, держался, но уже ни на что не надеялся. Да, разумеется, на свете существуют и пересмотры дел, и амнистии. Но точно так же существуют моря, которые можно переплыть на пароходе, пересечь на самолете. Существует планета Марс, и, возможно, когда-нибудь люди высадятся на ней. Но он-то здесь при чем? Для него существует только его камера — два метра в ширину, четыре в длину, а планета Марс и улицы, женщины, моря, пересмотры дел к ней не относятся. Он говорил с Иоганной спокойно и просто. Нужные слова приходили сами собой. На ее нетерпеливые, тревожные вопросы отвечал ясно и образно. Говорил о своей болезни, о чувстве уничтожения, об удушливой, давящей боли, о том, что врач ничего у него не нашел. Может быть, все это действительно только плод воображения. У него ведь был припадок буйства, он дал начальнику тюрьмы поще-

чину, а разумный человек никогда не сделал бы этого, понимал бы, что такое короткое удовольствие не идет в сравнение с длительным и тяжким наказанием. Но Иоганна не поверила, что чувство уничтожения только плод его фантазии: она видела серо-коричневого человека, видела так пронзительно и отчетливо, что потом его образ уже без всякого усилия возникал перед ней, и, видя его, понимала, что ошибается не Мартин Крюгер, а врач. При этом у нее даже не было ощущения, что врач действовал по злому умыслу, утверждая, будто Мартин здоров,— нет, он страшно, губительно ошибался, и она ломала себе голову, как эту ошибку исправить. Как могло случиться, что она была счастлива в то время, когда Мартина терзал такой припадок? Что лежала рядом с Тюверленом, когда Мартин боролся с чувством уничтожения?

Она должна припереть к стенке человека с кроличьей мордочкой, должна поговорить с врачом. Необходимо вызвать к Мартину врача-сердечника. Надо написать доктору Гейеру и безотлагательно, безотлагательно встретиться с министром Мессершмидтом. Здесь убивают человека, и никто, кроме нее, за него не вступится. Дорог каждый день, она же видит, как от свидания к свиданию он все больше ссыхается, тает, куда-то уходит. Все это пронеслось у нее в голове мгновенно, одно за другим, предстали сотни возможностей — обращения к врачам, письма к пяти негласным правителям Баварии. Она даже представить себе не могла, что они ей откажут,— ведь речь идет о болезни, факте очевидном и не имеющем отношения к политике.

А Мартин Крюгер продолжал рассказывать. Он рассказывал о своих припадках так подробно и образно, как когда-то о картинах. Иоганна смотрела на его некогда полные губы, на покрытый беловатым налетом язык, на желтые зубы и бескровные десны, на густые, совсем поседевшие брови над тусклыми глазами. Он сказал: «Понимаешь, это бывает так»,— и его рассказ длился не больше двух минут, но Иоганне эти минуты показались бесконечными.

Врача на месте не оказалось, ей удалось поговорить только с начальником тюрьмы. Тот хладнокровно выслушал ее негодующую речь, вежливо попросил держать себя в руках, нисколько не испугался угрозы, что она обратится к министру Мессершмидту.

Весь свой неистовый гнев Иоганна обрушила на Тюверлена, поносила его, обзывала самыми грубыми словами за то, что он, мужчина, стоит в стороне и спокойно смотрит на медленное убийство ни в чем не повинного человека. Тюверлен выслушал

ее очень внимательно, попросил кое-что повторить, кивнул. Сделал какие-то заметки в записной книжке. Точь-в-точь, как американец. Тюверлен перенял у него эту манеру.

Иоганна его ненавидела.

19

НЕЗРИМАЯ КЛЕТКА

После разговора Иоганны с Тюверленом о болезни Мартина Крюгера улетучилось то блаженное чувство надежности, которое придавало такую незыблемость месяцам жизни на вилле «Озерный уголок». Тюверлен делал заметки в записной книжке, точно биржевой маклер или тот американец, о котором он столько рассказывал, а Иоганна предпочла бы не слышать. Кажется, Как тогда даже усмехнулся? Да, он усмехнулся. Подумай Иоганна об этом здраво, она поняла бы, что не мог смеяться над страданиями Мартина Крюгера человек, написавший о его деле такой пронзительный, обжигающе холодный очерк. Но она не могла думать здраво. Все заслоняло воспоминание об этих голых, улыбающихся губах.

Иоганна больше ни единым словом не заикнулась Тюверлену о Мартине. На свой страх и риск, неустанно, горячо, необдуманно, начала отчаянную борьбу за Крюгера. Слала письма всем без разбора. Несколько раз резко писала адвокату Гейеру, не дожидаясь ответа, телеграфировала ему.

Она второй раз побывала у г-на фон Мессершмидта. И снова, поговорив со стариком, успокоилась, обрела какую-то уверенность. Г-н фон Мессершмидт сказал ей с обычной своей неторопливостью, что немедленно проверит, почему тюремный врач не обращает внимания на болезнь Крюгера.

— Я вам обещал,— добавил он,— что еще не зацветут деревья, а вы уже получите ответ по поводу пересмотра дела. Пересмотра или амнистии. Я сказал — через два месяца. Осталось сорок восемь дней. Мессершмидт свои обещания помнит.

Но об этом Иоганна не рассказала Тюверлену. Они вместе жили. Вместе ели и спали, гуляли, занимались спортом, отдыхали. Он был в радужном настроении. Почти закончил радиопьесу «Страшный суд». Впервые ее передадут в эфир из Нью-Йорка. Хорошая пьеса. Иоганна понимала это. Понимала, какой сильный заряд в этой пьесе. Но нисколько не радовалась.

Логика тут была ни при чем: идиотское чувство вины терзало ее, как не дающий передышки недуг. Внутри все время что-

то свербило, грызло. Иногда немного отпускало, иногда нестерпимо мучило, но никогда не покидало совсем. От этой нелепой муки некуда было деться. О чем бы она ни думала, что бы ни делала, все кончалось мыслями о Мартине. Иоганна была заключена в них, как в клетку. Только потому, что она целиком погрузилась в свое счастье с Тюверленом, тот, другой, был так болен и истерзан. Напрасно она твердила себе: сердце заключенного из одельсбергской тюрьмы всего-навсего кусок мяса, оно состоит из крови, мышц, тканей, сосудов, его работа не улучшается и не ухудшается от того, любит Иоганна Тюверлена или нет. Все это верно и в то же время неверно. Но так или иначе, ей не быть счастливой с Тюверленом, пока тот, другой, сидит в тюрьме. Никогда уже не быть счастливой с Тюверленом. В ту минуту, когда страдания заключенного Крюгера вызвали улыбку у Жака, пришел конец ее близости с ним.

Она теперь в любой миг могла так отчетливо представить себе эти страдания, что из Иоганны Крайн превращалась в заключенного Крюгера. Она сидела, подперев руками широкоскулое лицо со вздернутым толстоватым носом, глядя прямо перед собой продолговатыми серыми глазами, наморщив обычно гладкий лоб. Сидела в вилле «Озерный уголок» и одновременно — в камере одельсбергской тюрьмы, где ни разу не была. Она была заключенным Мартином Крюгером и, как он, ненавидела человека с кроличьей мордочкой, город Мюнхен, всю Баварию, и, как он, ощущала каменную тяжесть, придавившую сердце, и, как к нему, к ней подступало это страшное, давящее чувство уничтожения. Она целиком переселялась в Крюгера. Такая живость чувств в сочетании с неповоротливостью разума свойственна многим жителям Баварского плоскогорья.

Рядом с ней был Тюверлен, его голос весело поскрипывал. Правда ведь, ему здорово удалась радиопьеса «Страшный суд»? Он сиял. Его успех за границей все рос. Приходили деньги — для Германии того времени огромные. Чего Иоганне хочется? Может быть, купить ей эту виллу, лес, озеро? Они с Мамонтом переписывались, слали друг другу телеграммы. Было решено, что через несколько дней он на пароходе «Калифорния» отплывет в Америку. Сообщив Иоганне дату отъезда, он сказал, что перевел на ее имя деньги в дрезденский банк. Сказал, что очень рад перспективе написать обозрение для Мамонта, увидеть Америку, да и самого Мамонта. Озорными глазами часто косился на Иоганну, еще чаще улыбался.

— Теперь уже скоро появится мой очерк о Крюгере,— с улыбкой сказал он.

Перед отъездом он был необычайно разговорчив, весело и остроумно шутил, болтал обо всем на свете. Только не о том, о чем ей хотелось, о чем ей необходимо было услышать,— о своем возвращении из Америки и о Мартине Крюгере. Молчал он и о том, что дело Крюгера близится к благополучному разрешению. Когда тайный советник фон Грюбер рассказал в министерстве финансов и в правлении Баварского государственного банка о намеке мистера Поттера, там сперва страшно удивились, произнесли высокопарные слова о независимости правосудия в этой стране, но тут же заверили, что немедленно сообщат в соответствующие инстанции о пожелании американца. Тюверлен намеревался во время своего пребывания в Америке еще нажать на Мамонта. Он радовался благополучному обороту дела Крюгера, улыбался при мысли, что наконец-то Иоганна свободно вздохнет. Но решил, что скажет ей обо всем только, когда баварское правительство даст на этот счет недвусмысленный ответ.

В последние дни перед отъездом Тюверлена Иоганна как будто немного повеселела и успокоилась. Как раз в это время она получила длиннейшее письмо от матери. Чем больше обесценивались деньги, тем лучше шли дела колбасника Ледерера: он даже купил четыре новых лавки. Г-жа Крайн-Ледерер очень расстраивалась из-за своей неудачной дочери. Г-н Ледерер был председателем районного комитета «истинных германцев». Падчерица портила ему репутацию. Г-жа Крайн-Ледерер решила сделать еще одну попытку примириться с Иоганной. Дочь должна развестись с арестантом, прекратить сожительство с чужаком. Мать в последний раз предлагает ей вернуться в лоно семьи.

В это же время на виллу «Озерный уголок» внезапно нагрянула тетушка Аметсридер. Иоганна радовалась, глядя на нее, на то, как бодро она расхаживает по дому, как прямо несет свое дородное тело и крупную мужеподобную голову, изрекая сентенции, полные житейского здравого смысла. Тюверлен весело ухмылялся. Тетушка заявила, что ей надо поговорить с племянницей. Иоганна внимательно ее слушала — она так устала, что была рада появлению человека, который все знал о ее делах. По мнению тетушки, Иоганна сделала для Мартина Крюгера решительно все, что один человек может сделать для другого. Ну, а теперь хватит. Надо взять развод и выйти замуж за этого Тюверлена. Он, конечно, изрядная блоха, но она, тетушка Аметсридер, поможет Иоганне прибрать его к рукам. Если Иоганна не возражает, она поговорит с Тюверленом, не то как бы он не ускакал в Америку.

Когда до отъезда Тюверлена в Гамбург, где он должен был сесть на пароход «Калифорния», осталось всего два дня, Иоганна вдруг с ошеломляющей ясностью поняла, чем станет ее жизнь без Жака. Просторная вилла «Озерный уголок» опустеет, замрет. Не переехать ли ей в Мюнхен, к тетушке Аметсридер? Пожалуй, она снова возьмется за графологию. И, может быть, наконец наберется мужества и проанализирует почерк Мартина Крюгера.

«Мессершмидт свои обещания помнит»,— сказал ей этот самый Мессершмидт в Мюнхене. «Осталось сорок восемь дней»,— сказал он ей тогда. С тех пор прошло еще пять дней. Когда Тюверлен уедет, останется сорок один день. Но что с ними со всеми будет, если Крюгера освободят раньше, чем вернется Тюверлен? Жак не должен был уезжать сейчас. Как он этого не понимает?

Он не понимал.

Жизнь за городом пошла ему на пользу больше, чем ей. Он был воплощением здоровья — широкоплечий, узкобедрый; его лицо, все в мелких морщинках, с резкими чертами, загорело, обветрилось. Он искоса поглядывал на Иоганну и улыбался — а ей казалось, что издевательски ухмыляется. Его скрипучий голос не умолкал. Тюверлен сиял от радости. Уехал, сияя, а она осталась в своей клетке.

20

РЕКА РУР

Девятого января репарационная комиссия пришла к заключению, что Германия не выполняет обязательств, возложенных на нее Версальским договором. Она преднамеренно поставила меньше угля и леса, чем было предусмотрено. Недоставленные лес и уголь составляли полтора процента от общего количества поставок. Основываясь на этом, французский премьер-министр Пуанкаре послал в Рурскую область техническую комиссию во главе с инженером Костом, дабы устранить причины, повлекшие за собой подобное нарушение договора. Комиссии были приданы в качестве охраны войска — семь французских и две бельгийские дивизии в полном боевом снаряжении, численностью в шестьдесят одну тысячу триста восемьдесят девять человек под общим командованием генерала Дегута. Одиннадцатого января в девять тридцать утра авангард французских войск вступил в город Эссен, пятнадцатого были оккупированы Гельзенкирхен и Бохум, шестнадцатого — Дортмунд и Херде. Французские

войска заняли прусские государственные горнорудные предприятия и банки. Владельцы и генеральные директоры предприятий — Тиссен, Шпиндлер, Тенгельман, Вюстенгофер, Кестен, отказавшиеся поставлять репарационный уголь, были арестованы.

Рурская область была богатейшей частью Германии. Под землей таились огромные залежи угля и железной руды, на земле раскинулись прекрасно оснащенные, великолепно организованные металло- и углеобрабатывающие предприятия, а также густая сеть железных дорог для перевозки их продукции. Германия — промышленная страна, Рур — сердце ее промышленности. Кто владел Рурской областью, владел сердцем Германии.

Но владеть им имело смысл лишь до тех пор, пока оно билось. Германское правительство, после поражения в войне лишенное военной мощи, предложило населению оказывать оккупантам пассивное сопротивление. Власти в этой густо населенной области и железнодорожные чиновники отказывались повиноваться приказам оккупационного начальства. Правительственные чиновники, бургомистры, директоры банков, железных дорог, крупных предприятий были арестованы, высланы. Оккупационные войска попытались сами обслуживать железные дороги. Безуспешно. Военные эшелоны терпели крушения, во время которых погибло немало солдат. Военные власти, ожесточившись, стали применять суровые меры против демонстрантов и вообще против всех, кто им казался подозрительным. Чуть что, начиналась стрельба, было много раненых, были и убитые. Действовали военные суды, на города, где погиб кто-нибудь из французов, накладывали большие денежные контрибуции. К первым числам февраля восемьсот километров железных дорог были забиты неподвижными составами. Паровозы и рельсы ржавели, уголь невозможно было вывезти, кучи его росли, превращались в горы, расползались по полям, потому что высоту этих гор все же приходилось ограничивать из-за опасности самовозгорания.

В Старой Баварии мало кто знал, что такое Рур. Многие полагали, что это какая-то неаппетитная болезнь. Газеты не без труда объяснили баварцам, что Рур — это река, протекающая по богатой промышленной области, и что у них есть все основания возмущаться. Когда баварцы это усвоили, они возмутились очень бурно.

«Истинным германцам» оккупация Рура принесла огромное число новых членов. Всяческие авантюристы и профессиональные военные, после заключения мира шатавшиеся по всей стране и, чем дальше, тем туже затягивавшие пояса, теперь облег-

чепно вздохнули. Везде только и говорили, что об ответном ударе французам и об освободительной войне. Начали объединяться давнишние военизированные организации и добровольческие отряды — «Гражданская оборона», «Союз по охране порядка», «Вервольф», «Орка», «Оргеш» и прочие и прочие. Повсюду шныряли вербовщики, агитировали безработных и бездельников вступать в добровольческие отряды. Для властей эти многочисленные отряды, съезжавшиеся со всех концов страны, значились под рубрикой «беженцев из Рурской области». Они изводили недобрыми шутками железнодорожных служащих. Например, у одного из вооруженных отрядов, ехавшего в экстренном поезде, в качестве пропуска была сопроводительная бумага следующего содержания: «Четыреста тридцать мальчиков старше десяти лет».

«Истинные германцы» купались в деньгах. Крупные промышленники, которые использовали патриотическое движение и как заслон от требований рабочих, и как орудие давления на неприятеля, были на редкость щедры. Давали деньги и граждане, возмущенные оккупацией и сочувствовавшие «патриотам». Так, лакей одного из князей Виттельсбахов, похитивший крупную сумму денег, показал на суде, что львиную долю добычи пожертвовал в кассу «патриотов». Помогали «истинным германцам» и зарубежные почитатели. Что касается Франции, там эта буйная вспышка реваншизма была встречена не без удовольствия: она лишь подтверждала необходимость гарантий в виде земельных захватов.

Руперт Кутцнер твердил в своих речах, что единый народный фронт, провозглашенный правительством,— вонючее дерьмо, бесстыжий обман. К победе приведут только прямые действия. А пока не наступило время идти на французов, надо заняться внутренним врагом. Стоит расправиться с ним — и Германия сразу же снова займет место в кругу великих держав. Расправа с ноябрьскими подонками — вот задача номер один. И уж тут сентиментальность неуместна, тут надо дать волю ненависти. К черту полумеры! Пассивное сопротивление — чушь. Пора устроить «сицилийскую вечерню». Долой все революционные говорильни! Германии нужны народные трибуналы, у которых только два приговора: оправдание или смерть. Надо ввести всеобщую воинскую повинность, надо персонал контрольных комиссий врага задерживать в качестве заложников. На пороге — великое национальное обновление. Еще не зацветут деревья, а оно уж начнется. Восстань, народ, разразись, гроза!

Сошки помельче были еще кровожадней. Министерские головы полетят с плеч. «Патриоты» только тогда успокоятся, когда

на всех фонарях будут болтаться красные ноябрьские свиньи. Когда выпустят кишки у всех берлинских правителей-евреев.

Открыто, с воем и барабанным боем, шествовали отряды «истинных германцев» по улицам. Да, конечно, туда вербовали совсем еще зеленых юнцов, даже двенадцатилетних школьников. Да, конечно, там было немало жулья и всякого сброда, и, при всей приверженности властей к «патриотам», им приходилось время от времени, под напором министра Мессершмидта, сажать в тюрьму то одного, то другого за тяжкие нарушения законов о собственности. И все-таки отряды Кутцнера были так многочисленны и хорошо вооружены, что представляли собой серьезную опасность. Парады принимал сам фюрер. Прислонившись к своей машине, он холодно взирал на марширующие мимо него отряды. Скрестив руки, в позе, в которой стоял Конрад Штольцинг, когда играл Наполеона, одного из действующих лиц комедии «По приказу императора» французского драматурга Скриба.

По всей стране гремело — «Еще не зацветут деревья!» В Мюнхен стекалось все больше людей с зелеными мешками, так называемыми рюкзаками, на спине, в шапочках, украшенных хвостиками серны, похожими на кисточки для бритья: то были крестьяне из окрестных деревень, которые жаждали принять участие во втором «освобождении» Мюнхена. На Штахусе кучки людей вечно о чем-то оживленно спорили. «Еще не зацветут деревья!» — орали «патриоты» и набрасывались на каждого, кто казался им инакомыслящим. По проезжей дороге из Шлирзее в Мисбах шли два ремесленника и пели «Прекрасен стан ее, глаза лучисты». «Еще не зацветут деревья!» — заорали шедшие им навстречу «патриоты» и кинулись на них: им показалось, что ремесленники поют: «Мы, красноштанные, за коммунистов».

Противники иной раз давали им сдачи. «Патриоты» были куда лучше вооружены, и все же не раз доставалось и им. Австрийские рабочие обыскали поезд, в котором ехал в Вену, на свидание со своими единомышленниками Феземан; генералу пришлось отсиживаться в уборной своего купе и пережить там несколько малоприятных часов. В рейхстаге, в баварском ландтаге, в своих партийных организациях социал-демократы произносили негодующие речи по поводу возмутительных выходок «истинных германцев». Безрезультатно. Только Мессершмидту удавалось иногда добиться несколько более суровых наказаний распоясавшимся «патриотам». Кабинет в целом колебался. Кутцнер уже много раз грозил путчем, но деревья зацветут еще не

скоро, а пока суть да дело, он был самым действенным орудием против красных.

Тем временем население все больше нищало. Выход из строя Рурской области затормозил работу всего государственного механизма. Правда, деревня расквиталась с недоимками, нажилась на инфляции: все новые и новые крестьяне обзаводились автомобилями и кровными рысаками. Но в городах рыскал голод. Как в годы войны, хлеб становился все хуже. Росло число желудочных заболеваний. Школьники не получали завтраков, на уроках падали в обморок. Туберкулез стал обычным заболеванием, а средства, которые ландтаг отпускал на борьбу с ним, были в сто двадцать раз меньше, чем средства на борьбу с ящуром. Увеличилась смертность и среди грудных детей. Молодые матери принуждены были отнимать их от груди и поступать на работу. Люди снова селились в сырых лачугах, за отсутствием белья обертывались газетами, детей укладывали в картонные коробки. Зима выдалась суровая. На полях Рурской области продолжали расти горы угля, но их постепенно скрывала пелена снега, а большинство немцев дрожало в нетопленных помещениях. Доллар стоил двадцать тысяч восемьсот пятнадцать марок, булочка — семьдесят пять, фунт хлеба — семьсот, фунт сахару — тысячу триста. Заработная плата не поспевала за ростом цен. Кардинал-архиепископ Мюнхенский сказал, что доро-
говизна и спекуляция пищевыми продуктами производят бóльшие опустошения, чем избиение младенцев в Вифлееме и самые голодные годы, о которых повествуется в Библии.

Меж тем «истинные германцы» одевали своих людей в теплые и прочные суконные костюмы и кормили до отвала. Кутцнеровцы пели:

Ночью балуюсь с милой в кроватке,
Днем расправу чиню над жидами,
Потому я и толстый, и гладкий,
Черно-бело-красно мое знамя.

Они пели:

Пусть нам подметки мажут жидки хотя бы салом,
Мы все равно, мы все равно покончим с их кагалом.
Тьфу на тебя, республика жидов!

Они пели:

Нынче, завтра
Буду брать,
Пить и жрать.
Патриот всем счастье принесет.

21

ГОСПОДИН ГЕСРЕЙТЕР УЖИНАЕТ МЕЖДУ ФЛИССИНГЕНОМ И ХАРИДЖЕМ

Андреас фон Рейндль помолодел. Круглые карие глаза уже не глядели на мир с таким надменным бесстрастием, быстрая, легкая походка стала непринужденней. С момента оккупации Рурской области деловые операции ширились со сказочной быстротой, становились такими волнующе яркими, как те огромные, полные бурного движения полотна, которые особенно нравились Рейндлю. Что это такое — капитализм? До сих пор он был пустым словом, знаком, понятием, за которым ничего не стояло. А сейчас понятие вдруг облеклось в плоть и кровь, сейчас люди вдруг увидели, услышали, раскусили, что такое капитализм. Сейчас падение марки, отнюдь не подстроенное какими-нибудь ловкими пройдохами, оказалось гениальным трюком, с помощью которого и промышленность, и сельское хозяйство, да и государство, их представляющее, выпутались из всех своих долгов. Этот самый капитализм прыгнул выше собственной головы. Еще недавно он был голой абстракцией, постигаемой только учеными-экономистами, да и то с помощью множества вспомогательных понятий, а ныне явился народу во всей своей несмешной конкретности: его видели все и для этого не требовалось очков.

То, как представлял себе капиталистическую систему Пятый евангелист, так же напоминало представление об этой системе его друга мистера Поттера, как, скажем, картина художника Петера Пауля Рубенса напоминает геометрический чертеж. Думающий образами г-н фон Рейндль при словах «капиталистическая система» видел огромное копошащееся существо, некую живую гору, которая, все время покрываясь новыми впадинами, выступами, шипами, кувырком неслась по земному шару.

Просто поразительно, с какой тропической, первобытной мощью росла эта безумная кувыркающаяся тварь. Бледное лицо Пятого евангелиста, украшенное иссиня-черными усами, морщилось от удовольствия. Гора давила только мелких буржуа и пролетариев, зато дела больших людей, дела его, Рейндля, жирели день ото дня.

К тому же все шло само собой. Стоило протянуть руку — и в горсти оказывалось золото. Правда, на западе заводы и фабрики бездействовали, но убытки возмещало государство. Чтобы рурская промышленность выстояла, государство открыло кре-

дит. Грандиозный кредит — подарок, поскольку покрывался он обесцененными бумажками. Денежный дождь обильно проливался на немногочисленных владельцев рудников, шахт, доменных печей, копей. Благо тебе, Рейндль, ибо ты успел отхватить солидный кус. Надо иметь толковую голову на плечах, чтобы, вовремя размещая деньги, превращать эту текучую воду в новые предприятия, новые заводы, новую земельную собственность. Что делать с таким количеством денег? Ведь даже если купить целое немецкое княжество, их все равно не станет меньше. Рурские коллеги Рейндля могли с легким сердцем отсиживать свой недолгий срок в тюрьме: отечество выплачивало мученикам отличные проценты.

Пятый евангелист был просто создан для таких времен. Он непрерывно разъезжал — то в Париж, то в Лондон, то в Берлин, то в Прагу. Речь шла ни много ни мало, как о переделе европейских промышленных областей. Политики произносили речи, но дергали их за веревочки, сидя в своих кабинетах, деловые люди. На конференции этих деловых людей ездил и г-н фон Рейндль.

Потом он возвращался в Мюнхен и, не считая, тратил деньги. Сохраняя инкогнито, кормил, одевал, вооружал «истинных германцев». Когда едущий в машине Руперт Кутцнер встречал едущего в машине Пятого евангелиста, он приказывал притормозить и отрывисто, по всей военно-студенческой форме, приветствовал того — один великий человек другого великого человека.

Поток кредитов, изливаемых государством на Рурскую область, докатился по разным каналам до г-на Гесрейтера. Неожиданно его с головой захлестнула волна богатства. То в Луитпольдсбруне, то у себя на Зеештрассе он, расхаживая и жестикулируя, рассказывал г-же фон Радольной о неслыханном и невообразимом денежном половодье. Таинственно намекал на то, что теперь и он среди тех, кто управляет течением потока. Катарина невозмутимо слушала, односложно отвечала. Однажды бросила вскользь, что всего разумнее было бы обеспечить за собой эту негаданную благодать, не то как бы она нежданно не выскользнула из рук.

Пауль Гесрейтер расхохотался. Его сотрапезники по «Мужскому клубу» очень одобрили бы подобный совет. Что ж, пусть они свою долю благодати помещают в полновесную иностранную валюту. Пауль Гесрейтер не такой простачок. «Когда бодрый дух полнит мужеством грудь»,— пели у него в душе стихи короля Людвига Первого. «Поставщик его величества» — звучало у

него в мозгу. Мелькали великолепные картины, фантастические видения. Особенно часто возникал образ, поразивший его воображение еще в пору детства, навсегда застрявший в его баварской голове — образ могущественного купца эпохи Возрождения, какого-нибудь Фуггера или Вельзера, одного из тех разряженных в бархат господ, которые на глазах у монарха небрежным жестом бросают в камин разорванные векселя, подписанные этим самым монархом.

Картина была заманчива, но и таила в себе опасность. Г-н Гесрейтер чуял эту опасность — недаром он был потомком людей, испокон веков более всего почитавших спокойную обеспеченность. Ему частенько хотелось поделиться своей удачей и своими планами с Иоганной. Несмотря на романтическую затею вызволить из-за решетки злополучного Крюгера, эта Иоганна Крайн отличалась какой-то привлекательной ясностью и душевной силой. Будь она рядом с ним, он отчетливее видел бы, близок другой берег или далек.

Господин Гесрейтер остановился перед автопортретом Анны Элизабет Гайдер. Женщина потерянно и вместе с тем напряженно смотрела куда-то вдаль, ее шея была беспомощно и жалостно вытянута. В тот раз он не побоялся продемонстрировать своим землякам, какой он молодчина. Продемонстрирует и сейчас. До сих пор он, как пловец, загребал руками, но стоял при этом на берегу, а теперь очертя голову ринется в поток.

Учтиво, в самых изысканных выражениях, он пригласил на ужин к себе, в дом на Зеештрассе, директоров «Южногерманской керамики Людвиг Гесрейтер и сын», писателя Маттеи, скульптора серии «Бой быков», г-на Пфаундлера, г-жу фон Радольную, самых близких своих друзей. Долго обдумывал, стоит ли пригласить Иоганну. Ему было бы приятно, если бы она присутствовала при этом его столь решительном шаге. В конце концов он послал ей любезное, милое, составленное по всем правилам этикета приглашение.

Пришли все. Кроме Иоганны.

Это был дурной знак, но г-н Гесрейтер скрыл его даже от самого себя. Когда все остальные собрались, он произнес высокопарную, но маловразумительную речь, потом, загребая руками, словно собираясь пуститься вплавь, подвел гостей к красивой конторке в стиле бидермейер. На ней лежало соглашение, по поводу которого он вел переговоры во время путешествия с Иоганной,— соглашение, касавшееся объединения его предприятия с несколькими южнофранцузскими фабриками. Г-н Гес-

рейтер тут же подписал его тем самым гусиным пером, которым несколько столетий назад пользовался всемогущий купец Якоб Фуггер.

После ужина, оставшись наедине с г-жой фон Радольной, г-н Гесрейтер принялся разыгрывать роль промышленного магната. Расхаживая по комнате среди расшитых женских головных уборов, моделей кораблей и прочего своего возлюбленного хлама, которым был набит дом на Зеештрассе, он говорил о том, что его дела приобрели огромный размах, вышли далеко за пределы Баварии, имеют сейчас международное значение. Где им до него, этим мюнхенским крохоборам, у них ведь нет ни капли воображения. За отсутствием другой аудитории, он выплескивал перед Катариной всю красочно-романтическую мешанину, наполнявшую его истинно баварские мозги. Она молча слушала. Катарина собиралась расширить Луитпольдсбрун, модернизировать поместье, нуждалась в деньгах. Едва она намекнула на это, как г-н Гесрейтер выложил ей нужную сумму. Она отказалась принять деньги иначе, нежели в долг — точь-в-точь рурские промышленники, получающие кредит у государства.

Теперь г-н Гесрейтер ворочал такими делами, которые действительно требовали сосредоточенного внимания. И все-таки он, как добропорядочный мюнхенец, исполнял свой гражданский долг. Так, например, «истинные германцы» решили по случаю освящения их знамен установить на Одеонсплац громадную деревянную статую Руперта Кутцнера, а затем сверху донизу обить ее железными гвоздями. Кто воспротивился этому, как не Пауль Гесрейтер? Или грандиозное всенародное зрелище — «Кровавый сочельник в Зендлинге», которым г-н Пфаундлер решил возместить карнавал, отмененный в этом году ввиду напряженной обстановки. Кто, как не г-н Гесрейтер, обещал помочь ему воплотить этот замысел? Он уже представлял себе, как на колеснице, влекомой львами, появится в финале г-жа фон Радольная, вся в белом, с обнаженными могучими руками — настоящее олицетворение Баварии.

Господин Гесрейтер прямо-таки разрывался между мюнхенскими заботами и международными деловыми операциями. Взять, к примеру, историю с «Гекер» — гессенской керамической фабрикой, принадлежащей акционерному обществу. Представлялась возможность скупить бо́льшую половину акций общества. Отнюдь не по дешевке: «Гекер» была старинная фабрика с безукоризненной репутацией. Г-н Гесрейтер не был уверен, что ему стоит брать на себя такие серьезные финансовые обя-

зательства. Директоры «Южногерманской керамики» очень отговаривали его от покупки акций. Для заграницы изделия «Гекер» был чересчур тяжеловесны, а немцы, которым такая продукция нравилась, не покупали ее по безденежью. Но тут появился некий г-н Кертис Ленг, лондонец, заинтересованный в «Гекер». Он был не прочь вступить в долю с г-ном Гесрейтером.

Обменявшись телеграммами с г-ном Ленгом, г-н Гесрейтер решил съездить в Лондон. В светло-сером касторовом пальто, в широкополой дорожной шляпе, сидел в поезде г-н Гесрейтер, отрастивший уже порядочные бачки, и, преисполненный сознания собственной значительности, грустил, что нет здесь ни единой знакомой души, с которой можно было бы поделиться своими проектами.

Кого же встретил он на пароходе, по пути из Флиссингена в Харидж? Да, господин с бледным, одутловатым лицом и густыми, иссиня-черными усами — не кто иной, как Пятый евангелист. Г-н Гесрейтер был вне себя от радости — пусть этот спесивец удостоверится, что не только он ведет дела с заграницей. Стоит ли заговорить с ним? В общем, было бы естественно при подобных обстоятельствах двум землякам, старым знакомцам, подойти друг к другу. Однако г-н Гесрейтер все-таки колебался — он был самолюбив.

Но смотрите-ка! Г-н фон Рейндль сам подошел к нему. И он отнюдь не смотрел сквозь г-на Гесрейтера, как иной раз бывало в «Мужском клубе» или в театре. Напротив, пожал ему руку и был явно рад встрече. И вовсе он не такой высокомерный зазнайка, как о нем рассказывают.

Они вместе закусили. Баварский говор так уютно звучал на фоне французской и английской речи; время текло незаметно. Г-н Гесрейтер изящно и остроумно говорил о политике, искусстве, промышленности, Мюнхене — обо всем на свете. Пятый евангелист был явно в восторге от него. Например, когда о свинстве, творимом с Галереей полководцев, Гесрейтер сказал, что мюнхенцы стремятся превратить это великолепное здание в универсальный магазин воинственных надежд, Рейндль, улыбаясь, поднял бокал и выпил за его здоровье. Правда, потом г-н Гесрейтер вдруг подумал, что Рейндль смотрит на собеседника очень уж странным взглядом: от такого взгляда прямо мурашки бегут по коже. Но, господи боже, у кого из нас нет чудачеств! Главное ведь в том, что с Рейндлем можно поговорить. И г-н Гесрейтер говорил. Судя по всему, эти промышленные магнаты отлично понимали друг друга.

— Вы в Лондон по делам? — немного спустя вежливо осведомился г-н фон Рейндль.

«Представьте, что по делам, господин хороший,— подумал г-н Гесрейтер.— Не только «большеголовые», имена которых ежедневно поминаются во всех коммерческих отделах всех газет, другие тоже расширяют свое влияние, делают дела, не дают маху, не сидят на месте как пришитые». Но вслух он этого не сказал. Напротив, небрежно бросил, что да, едет по делам. Рейндль не стал расспрашивать, и тогда г-н Гесрейтер доверительным тоном сообщил, что вместе с мистером Кертисом Ленгом собирается купить акции общества «Гекер».

Господин Рейндль сказал, что знает мистера Кертиса Ленга. Порядочный человек, безупречный, но нерешительный, чересчур осторожный.

— «Гекер», хм-хм. Прекрасный фарфор, дорогой фарфор. Нужна толстая прокладка, чтобы не разбить такой дорогой фарфор,— заметил он с задумчивой улыбкой.

«Что за странная манера выражаться у этого Рейндля. Можно сказать, наглая. Уж не думает ли он, что у меня прокладки не хватит? Вот нарочно возьму и куплю «Гекер». Возьму и куплю, даже если этот чертов англичанин пойдет на попятный».

Англичанин пошел на попятный. Из Дармштадта летели телеграммы, владельцы акций торопили с решением. «Когда бодрый дух полнит мужеством грудь»,— звучало в душе г-на Гесрейтера. «Поставщик его величества»,— звучало в его мозгу. Он распорядился купить акции.

Господин Гесрейтер вернулся в Мюнхен очень довольный собой. Как бы мимоходом рассказал г-же фон Радольной, г-ну Пфаундлеру, своим приятелям из «Мужского клуба», что встретил на пути в Лондон Пятого евангелиста. Любезный человек, вовсе не такой чванный, как о нем говорят. Впрочем, у Гесрейтера у самого теперь дела нешуточного размаха. Г-жа фон Радольная, узнав, что г-н Гесрейтер купил акции «Гекер», проявила некоторую озабоченность. Услышав эту новость, г-н Пфаундлер тоже смерил г-на Гесрейтера с головы до пят своими быстрыми мышиными глазками. Поймав его взгляд, г-н Гесрейтер без всякой связи подумал об Иоганне Крайн. Но г-н Пфаундлер промолчал, ограничился пожеланием удачи г-ну Гесрейтеру.

Марка все падала и падала, доллар лез в поднебесье. Крупные предприятия хватали на лету куски, чавкали, давились, не

успевали переваривать проглоченное. «Гекер» процветала, «Южногерманская керамика» расширялась. Все безудержнее кувыркалась гора, все яростнее вздувался поток. Г-н Гесрейтер ринулся в него, загребал руками, как заправский пловец. И смотрите-ка! — он держался на поверхности, он плыл.

22

НЕОРДИНАРНЫЕ ХАРАКТЕРЫ

Оккупация Рурской области полностью оправдала Кленка в собственных глазах. Теперь уже никто не станет сомневаться, что прекраснодушные речи о мирном улаживании конфликтов просто гнусная брехня для отвода глаз. Из-за такой малости, как недоданные полтора процента, враг идет на неслыханный акт насилия. У Кленка всегда была при себе фотография: французские солдаты в Эссене, они стоят перед броневиками, руки в карманах, разухабистые, наглые невежи, в чьей власти жизнь и смерть побежденных. Этой возмутительной фотографией он мутил и собственное сердце, и сердца других.

Теперь он уже открыто отдал в распоряжение «истинных германцев» всю свою неукротимую энергию. Пассивное сопротивление — дерьмовый лозунг правительства, оторванного от жизни и зашедшего в тупик. Оно насквозь трухляво, это берлинское правительство, и скоро рассыплется. Кленк уже и сам верил, что Мюнхен принесет Германии обновление. Бывший министр юстиции ожил, силы его утроились. При этом способности анализировать ход событий он не потерял. «Еще не успеют зацвести деревья» — эта поэтическая фраза хороша для бурлящей народной души. А на деле идти в наступление следует лишь тогда, когда экономическая и политическая ситуации сложатся настолько благоприятно, что на пятьдесят один процент гарантируют успех. Задача Кленка — уловить такой момент.

Кленк расцвел. От этого гиганта-баварца исходило теперь такое могучее обаяние, что оно действовало и на врагов. Даже с женой, с этой тощей, ссохшейся козой, он стал грубовато нежен. Стараясь подчинить фюрера своей воле и считая, что тут любое средство не лишнее, мимоходом снова сошелся с Инсаровой. На этот раз никакие почки не заставят его свернуть с дороги. Вызвал в Мюнхен и своего сына Симона, паренька, при-

строил его в штаб «истинных германцев». Симон Штаудахер восторженно взирал на папашу. На новой службе он часто сталкивался с двумя молодыми людьми — Эрихом Борнхааком и Людвигом Ратценбергером. Они подружились, всюду бывали вместе.

Потом случилась история с товарищем Зёльхмайером, и Симон Штаудахер сразу стал одним из популярнейших вождей молодежной организации «патриотов». Однажды вечером в купальне Гайдхаузена Симон Штаудахер увидел молодого человека, на левой руке которого была вытатуирована индийская эмблема плодородия, присвоенная «патриотам», а на правой — серп и молот, эмблема коммунистов. Среди «патриотов» насчитывалось немало бывших коммунистов. Очевидно, этот парень слишком понадеялся на неизменность своих взглядов, а поскольку взгляды легче сменить, нежели кожу, он и стал таким «крапчатым». Симон сказал ему по этому поводу несколько крепких словечек. Но тут оказалось, что парень переметнулся не слева направо, а справа налево. Этого Симон не мог стерпеть, оставить безнаказанным. Он схватил парня в охапку, но тот продолжал орать свое, и тогда Симон стал окунать его в воду. Когда Симон Штаудахер брался за что-нибудь, он делал это добросовестно. Товарищ Зёльхмайер состоял в коммунистическом спортивном обществе пловцов-любителей «Красные морские черти», тем не менее знакомство с Симоном Штаудахером кончилось для него плохо. Его отвезли в больницу на левом берегу Изара, где он однажды уже лежал, опять-таки расплачиваясь за свои убеждения: Людвиг Ратценбергер откусил ему мочку уха. Когда выяснилось, что товарищ Штаудахер и товарищ Ратценбергер изукрасили одного и того же типа, «патриоты» чуть животы себе не надорвали от смеха,— такой это был веселый случай в невеселые времена. Даже сам фюрер — немецкий склад души тем и отличается, что в самые трудные часы ему не чужд юмор,— даже он, произнося в ближайший понедельник речь в «Капуцинербрёй», не упустил случая обыграть историю с принудительным купанием. Громовым голосом он пообещал, что такая участь ждет всех предателей и подлых перебежчиков. Власти удовлетворенно потирали руки. Когда адвокат Лёвенмауль подал в суд на Штаудахера, прокурорский надзор вынес постановление, что поскольку типографский подмастерье Зёльхмайер однажды уже был замешан в кровопролитной драке, значит, виновной стороной является он, и против больного парня тут же было возбуждено дело.

Кленк покатывался со смеху, слушая рассказы о подвигах своего сынка, этого пострела. С таким сорванцом можно перевернуть весь мир — и он позвал его к себе домой. И вот Симон появился в комнате, обставленной тяжелой дорогой мебелью и увешанной оленьими рогами. Здоровый, живой, непринужденный, он был очень похож на отца. Жена Кленка не хотела выходить к нему, но выйти пришлось: г-н бывший министр не очень-то с ней церемонился. Сияя от гордости, он представил г-же Кленк своего удачного сыночка. Ссохшаяся женщина сидела меж двух гигантов, и до конца вечера с ее лица так и не сошло выражение испуга.

Где бы Кленк ни появлялся, вокруг него сразу возникала атмосфера добродушного веселья. Он жалел Эриха Борнхаака — у того постоянно был угнетенный вид. Речи Кутцнера по поводу дела Дельмайера были полны пафоса, но они сотрясали воздух, не трогая упрямца Мессершмидта. Тот стоял на своем. «Патриоты» отправили к нему делегацию, но он ее даже не принял. Тем не менее Эрих твердо знал — освободить его друга может один только Кутцнер. Но как заставить фюрера довести это дело до конца? Вначале тот всегда развивал бешеную энергию, но, получив отпор, тщеславный человек обычно умывал руки. Если Эрих не сможет выдвинуть какого-нибудь сокрушительного довода, фюрер, несмотря на всю свою великолепную декламацию, не станет еще раз связываться с таким несговорчивым противником, как Мессершмидт. Каким способом подвигнуть фюрера на то, что ему, Эриху, необходимо? — спросил он у Кленка.

Кленк задумался. Потом сказал, что впечатление на фюрера производит не заслуга, а слава. Эриху нужно прославиться среди «патриотов».

— Чем прославиться? — спросил Эрих.

— Каким-нибудь из ряда вон выходящим поступком,— ответил Кленк. И так как Эрих, видимо, не очень понимал, что Кленк хочет сказать, тот пояснил свою мысль: Эрих должен совершить поступок пусть бесполезный, пусть безрассудный, но обязательно из ряда вон выходящий. Пусть дурацкий, но все равно из ряда вон выходящий. И еще важно, чтобы этот поступок устрашал. Отважный, опасный, исполненный северного величия и героизма поступок: устрашающий и из ряда вон выходящий.

Эрих Борнхаак поблагодарил Кленка. Стал придумывать устрашающий и из ряда вон выходящий поступок.

23

КАЛИБАН

Служанка Амалия Зандхубер, дочь безземельного крестьянина, родилась в деревне, неподалеку от Мюнхена. Еще совсем девчонкой, она удрала от скудной домашней жизни в город и поступила в услужение. С ранних лет начала путаться с мужчинами. Была любопытна, добродушна, легковерна, чувствительна. Первый ребенок у нее родился мертвый, второй прожил совсем недолго. После этого горького опыта она стала вести дневник, записывала, когда и с каким мужчиной встречалась. Записи были такого рода: «Альфонс Гштетнер, Буттермельхерштрассе 141, была с ним во второе воскресенье июля месяца в Английском саду за Молочным домиком». Очень гордилась своей хитроумной выдумкой. Служила у четы актеров, вместе с ними переехала в Северную Германию. Переменила несколько мест, пока не попала в услужение к Клёкнерам. Когда Амалия поступила к ним, г-н Клёкнер был в чине полковника, но вскоре его произвели в генералы. Амалии нравилось работать у такого важного военного, его отрывистые приказания и резкий голос волновали ей душу. Хозяину она была рабски предана и в его присутствии держалась благоговейно, как в церкви.

Всю войну она прожила у генеральши. После поражения Германии генерал Клёкнер, подобно генералу Феземану, несколько недель не выходил из дому. Когда Феземан переехал в Мюнхен, Клёкнер последовал за своим глубоко почитаемым другом. Так вернулась в Мюнхен служанка Амалия Зандхубер. Она была уже не первой молодости, ей шел тридцать шестой год. Было приятно после долгого отсутствия услышать родной баварский говор,— она всех понимала, и все понимали ее. Понимали и мужчины: она была бабенка ядреная, бойкая и очень сговорчивая.

К генералу Клёкнеру приходили многие вожди «истинных германцев». Они разговаривали на удивление откровенно, нисколько не остерегались прислуги, а уж такой преданной служанки, как Амалия Зандхубер, и подавно. Речь шла об организациях, восстаниях, приказах, демонстрациях, складах оружия. Амалия Зандхубер в их разговоры не вникала, а если что-нибудь и слышала, то ничего не понимала.

В это время она сошлась с приказчиком из мясной лавки, здоровенным мужчиной лет тридцати. Он явно влюбился в нее, водил по воскресеньям гулять, эта связь длилась дольше, чем все ее былые связи. Амалия была счастлива. Жалела только,

что встречи такие редкие. Ей давали свободные дни дважды в месяц по воскресеньям, в другие дни побыть вместе без помех хоть несколько минут было не так-то просто. Правда, в последние недели у генерала все время было необычайно людно и оживленно. Генеральша куда-то уехала, и, если заранее удавалось узнать, что придут такие-то и такие-то, можно было вечером спокойно отлучиться на часок-другой. Чтобы не пропустить свидания, приказчик просил ее заблаговременно сообщать ему, когда придут такие-то и такие-то. Амалии это не составляло труда. Свидания пропускать не приходилось.

«Истинные германцы» обнаружили, что левые отлично осведомлены, кто и когда собирается у генерала Клёкнера. Никакой опасностью это «патриотам» не грозило: генерал был волен встречаться, с кем хотел. Но факт оставался фактом,— в генеральском доме завелся предатель. Слово «предатель» было в большом ходу у «истинных германцев». Один из пунктов их романтического устава гласил: «Предателей приговаривает к смерти тайное судилище». Тайное судилище, «феме», существовало в Германии в средние века, и единственной его целью была замена неповоротливой официальной судебной машины скорым и более близким народному духу судом. Патриотическое движение возродило феме, но под влиянием приключенческих романов, рассчитанных на подростков, придало ему жутковато-романтический характер: по приказу непонятно каких начальников оно имело право устранять всякого, кто был ему неудобен. Это зловещее судилище «истинных германцев» уничтожило уже несколько сот человек. Кое-кто из «патриотов» стал поговаривать, что обо всем происходящем в доме генерала доносит левым служанка Амалия Зандхубер, что она виновна в предательстве. А когда после очередного собрания у Клёкнера властям стало известно о подпольном складе оружия «истинных германцев» и работавшие в полиции агенты «патриотов» лишь с большим трудом спасли это столь необходимое партии оружие, тайное судилище приговорило служанку Амалию Зандхубер к смерти. Генералу решили об этом не сообщать: ее видели в обществе приказчика из мясной лавки, коммуниста, какие тут еще нужны доказательства.

Все чаще исчезали люди, приговоренные тайным судилищем, все больше было об этом разговоров. В левой печати появились негодующие статьи, и власти дали понять «истинным германцам», что впредь уже не смогут смотреть на их подвиги сквозь пальцы. Поэтому исполнение приговора над служанкой было делом несколько рискованным. Таким образом, Эриху

Борнхааку представилась возможность совершить из ряда вон выходящий и устрашающий поступок. Он предложил, что рассчитается с приговоренной, соблюдая тайну, но вместе с тем таким способом, чтобы всем предателям стало неповадно.

У генерала Клёкнера было несколько собак, и служанка Амалия Зандхубер выводила их на прогулку. Кроме того, любопытная и болтливая бабенка пользовалась каждым случаем и предлогом, чтобы хоть ненадолго выскочить на улицу. Генерал жил в районе особняков, в тихой, аристократической части города. Окруженные садами дома стояли поодаль друг от друга, улица была безлюдна, каждый новый человек сразу бросался в глаза. В последние дни Амалии стал часто встречаться красивый парень в кожаной шоферской куртке. Стоило ей выйти на улицу, он прямо как из-под земли вырастал, ходил вокруг да около, а заговорить, видно, не решался. Она стала ему улыбаться для ободрения, и он действительно заговорил — правда, не очень развязно, зато обходительно. Нарушая местные обычаи, он не взял быка за рога, дни шли, а он все еще ничего не предпринимал. Служанке его поведение казалось необыкновенно аристократичным, к тому же она чувствовала своеобразную материнскую нежность к юнцу, совсем, видно, неопытному в любовных делах. Мясник предупреждал ее, что у парня противная рожа, ни дать ни взять «истинный германец», пусть поостережется, от таких добра не жди. Думается ему, что этот пес липнет к ней с какой-то целью, и вовсе не с такой, какая мечтается Амалии. Но та считала, что в приказчике говорит одна ревность, радовалась, что все еще нравится мужскому полу, так что, когда молодой человек в кожаной куртке пригласил ее в ближайший вечер прокатиться в машине до Штарнберга, она с радостью согласилась.

К сожалению, в машине они были не одни. Парню в кожаной куртке — его звали Людвиг, очень подходящее имя — пришлось прихватить с собой на прогулку двух приятелей, так как они-то и помогли ему раздобыть машину. Один был шикарный молодой человек, одет с иголочки, кавалер что надо. Другой понравился Амалии куда меньше: неуклюжий увалень мрачно оглядел ее и едва кивнул головой, когда их знакомили, а вот шикарный кавалер поцеловал ей руку, чем даже вогнал в краску.

Выехали поздно вечером. Дул южный ветер, фён, погода была совсем не декабрьская. Почти весь снег стаял. Приятели Людвига сели впереди, он с Амалией устроились на заднем сиденье машины, отличного лимузина, и Амалия была в восторге и от Людвига, и от поездки, хотя в меньшем, чем если бы они

ехали вдвоем. Конечно, очень приятно, что Людвиг не такой нахал и приставала, как другие, но все-таки мог бы и поразговорчивей быть. Впрочем, те, впереди, совсем как воды в рот набрали. Ехали медленно, все время на юг, по предместью Зендлинг, в сторону негустого, просторного и пустынного форстенридского парка.

Да, сидевшим впереди — Эриху Борнхааку, который вел машину, и боксеру Алоису Кутцнеру — говорить было не о чем. Все уже было переговорено. Боксер тупо глядел на полоску дороги, которую выхватывали из темноты автомобильные фары. Стоял декабрь, а он обливался потом, от фёна у него спирало дыхание. Он был доволен, что наконец можно сделать нечто реальное, осязаемое. Слишком долго тянулось это дело с королем Людвигом Вторым. Юнцы болтали, не скупились на обещания, а дряхлый монарх все еще томился в унизительном, гнусном заточении. Боксер Алоис с готовностью согласился, когда Эрих предложил ему принять участие в наказании предателя. Хотя и неясно, с кого начинать: все они виноваты, что король сидит за решеткой, вся эта шайка предателей. Хорошо, что наконец что-то можно будет сделать, что понадобился и он, Кутцнер Алоис, его сила, его руки. Схватить кого-то за глотку, выпустить из него юшку — от одной этой мысли становилось спокойнее, легче на душе.

Тем временем Амалия Зандхубер, сидя рядом со своим Людвигом, взяла его за руку, но он даже не ответил на ее пожатие. Очень застенчивый молодой человек. Сегодня Людвиг был особенно молчалив. Потому, вероятно, что вспомнил отца, вспомнил, как в детстве тот катал его по этому самому лесу, распугивая во мраке королевских кабанов. Но откуда Амалии было знать об этом?

— Жалко, что эти увязались с нами,— сказала она.

— Чем больше компания, тем веселее,— уклончиво ответил тот.

— Что верно, то верно,— согласилась она.— Но все равно жалко.

Ровная асфальтированная дорога была пустынна этим зимним вечером — очень уж действовал людям на нервы отвратительный фён. Редко-редко проносилась встречная машина, проезжал велосипедист. Они миновали дом лесничего и почти сразу свернули с шоссе на узкую дорогу, раскисшую от талого снега. Машина прыгала на ухабах, разбрызгивая грязь.

— Куда это он? — спросила девушка.— Мы же собирались в Штарнберг.

— Эта дорога прямее,— сказал Людвиг.

— А вдруг он застрянет? — снова спросила Амалия. И он действительно застрял, машина остановилась. Сидевшие спереди вылезли.— Что там стряслось? Я им сразу бы сказала, что они здесь не проедут.

— Захотим, так проедем,— пробурчал неуклюжий увалень; чем дальше, тем меньше он нравился Амалии. Второй промолчал.

— Так за чем дело стало? — не унималась Амалия.— Давайте воротимся на шоссе, иначе нам не поспеть в Штарнберг.

— А ну его, Штарнберг! — сказал боксер, с горечью вспоминая озеро, в которое якобы бросился его король.

— Вылезайте-ка все из машины! — весело крикнул шикарный.— Здесь куда приятнее, сейчас вы сами увидите, барышня.

— Да,— подтвердил и ее Людвиг.— Здесь нам будет в самый раз.

— Что же здесь приятного? — Она растерянно оглянулась по сторонам.— По-моему, так здесь ужасно неприятно. Кругом грязища, нигде не присядешь. И шагу ступить нельзя, сразу наберешь полные туфли воды и всякой дряни.

— А у меня в пяти минутах ходьбы отсюда охотничий домик,— сказал шикарный и белозубо улыбнулся красными губами.— И все готово для легкого ужина. Я буду просто счастлив, если вы окажете мне такую честь.— Он нагло, в упор посмотрел на нее голубыми, жесткими глазами. Уже почти побежденная столь рыцарственными манерами, Амалия все же нерешительно взглянула на Людвига; впрочем, в ее взгляде было больше кокетства, чем колебания.

— Пошли,— сказал Людвиг,— что тут долго разговаривать.— И вылез из машины.

Она тоже вылезла, поскользнулась на снегу, жеманно взвизгнула и недовольно сказала, что это не погода, а свинство.

Шикарный и Людвиг с двух сторон взяли ее под руки. Увалень тяжело топал сзади. По узкой тропинке они углубились в лес. Темные густые облака быстро неслись по небу, сильными порывами то справа, то слева налетал теплый ветер. Над верхушками деревьев узким серпом взошел месяц. Сверху капало, текло, ноги скользили по земле, тускло поблескивали грязно-белые лужи растаявшего снега. Если лужа была большая, шикарный и Людвиг приподнимали Амалию и перескакивали вместе с нею, и она даже начала веселиться.

— Ну и мускулы у вас у обоих, господа хорошие,— похвалила Амалия.— Но пять минут уже прошло, далеко еще до вашей виллы?

— Нет, уже близко,— сказал шикарный.

Тропа кончилась, теперь они продирались прямо сквозь кустарник.

— Да ведь тут нет никакой дороги,— сказала Амалия. Они подхватили ее на руки и понесли, сучья немного царапали ее, и все равно это было страшно весело — плыть на руках у двух сильных мужчин по лесу, когда в лицо дует теплый ветер.— Тут нет никакой дороги,— повторила она.— Как вы доберетесь до своей виллы?

— Где есть вилла, там и дорога найдется,— сказал шикарный и с улыбкой поглядел на нее. Какие у ее Людвига образованные друзья!

С той минуты, как они вступили в кустарник, увалень прошел вперед, он раздвигал ветки, наклонял их, вел себя, словно глава отряда. Эриху Борнхааку все это порядочно надоело. Фён раздражал его, почти как трескотня этой дурищи, сидевшей на руках у него и у Людвига. Но боксер Алоис даже не замечал ветра. Он был полон темной жажды действия.

Они вышли на прогалину. Мужчины спустили Амалию с рук.

— Это и есть ваша вилла? — глупо спросила она. Мужчины молчали.— Ага, наверно, вы все-таки устали нести меня. Хотите передохнуть.

— Не мы, кто-то другой скоро передохнет,— буркнул боксер.

— Что это вы такие странные? — спросила она мужчин, молча стоявших перед ней.

Людвиг вытащил из кармана кожаной куртки какую-то бумагу и вслух прочитал:

— «Служанка Амалия Зандхубер выдала тайны государственной важности. Она приговорена судом феме».

Амалия смотрела на него, ничего не понимая. Ей казалось — это шутка, и притом глупая. К тому же кругом была такая сырость и грязь, что если сейчас же не обсушиться в теплом месте, завтра обеспечен отчаянный насморк.

— По-моему, пора уже нам или добраться до вашей виллы, или ехать в Штарнберг; от свежего воздуха у меня аппетит разыгрался.

Такой цинизм возмутил боксера Алоиса.

— Я полагаю,— напыщенно сказал он, словно что-то цити-

руя,— не должно человеку оставаться столь нераскаянным перед лицом смерти...

— Ну и шутник ваш приятель,— сказала Амалия, растерянно переводя глаза с одного на другого, но они отводили глаза в сторону. Больше ей не суждено было встретить человеческий взгляд, и последнее, что она увидела, было лицо Алоиса Кутцнера, который подскочил к ней и, прежде чем она успела крикнуть, даже прежде, чем успела испугаться, ударил тяжелой подковой,— все последнее время он носил с собой эту подкову на счастье. Потом он опустился возле Амалии на колени, скороговоркой прочел «Отче наш», попросил бога дать ему силы быстро прикончить ее и задушил.

Она лежала в грязи, в луже тающего снега. Для автомобильной поездки она прифрантилась, надела коротенькую, по моде того времени, юбку. Юбка задралась, приоткрыв полоску кожи над коленом и край белых, из грубой материи панталон. Сильные ноги были обуты в чересчур легкие туфельки. Шляпа съехала набок, обрамленное стриженными жесткими волосами лицо стало лилового цвета, язык вывалился.

Эрих закурил, переминаясь с ноги на ногу. Самое бóльшее через две недели, да, самое бóльшее через две недели он должен добиться своего, должен освободить Георга, говорил он себе и внезапно долгим недобрым взглядом посмотрел на мертвую. Людвиг Ратценбергер с удовлетворением подумал, что дело заняло не так уж много времени и он как раз успеет заехать к половине одиннадцатого в ресторан Пфаундлера за своим господином, Рупертом Кутцнером. Боксер Алоис стряхнул с колен снег и грязь.

— Всем им туда дорога, сволочам,— буркнул он и воткнул в землю около трупа сухую ветку. На ветку он наколол лист бумаги с неумело намалеванной черной рукой и надписью: «Предатели, берегитесь!» Сделал он это потому, что устав феме гласил: «Предателей следует предавать казни и при этом оставлять знак, дабы не было сомнений, какое преступление навлекло на них кару».

— Ну нет, это не так делается,— не одобрил его Людвиг Ратценбергер. Он вынул из кармана отпечатанный на машинке приговор и наколол его на сухую ветку вместо бумажки боксера. Но тот запротестовал: прозаический печатный шрифт никак не отвечал смыслу того, что он совершил, и Алоис стал настаивать, чтобы возле трупа остался лист бумаги с изображением черной руки. Эрих Борнхаак решил спор, предложив оставить и то и другое. Это удовлетворило всех, так они и сделали.

24

ПИСЬМО В НОЧИ

Несмотря на политические и экономические бури, бушевавшие в стране, убийство служанки Амалии Зандхубер привлекло к себе всеобщее внимание. Правда, в полицейском отчете сообщалось только о том, что обнаружено мертвое тело, и большинство мюнхенских газет напечатало это сообщение без комментариев. В ответ на запросы полицейские власти разъяснили, что преступники оставили возле трупа записку с целью скрыть истинные мотивы убийства, явно личного характера. Убитая вступала в беспорядочные связи с мужчинами, и есть все основания подозревать, что какой-то из любовников заманил ее в лес с целью ограбления. Приказчик из мясной лавки, с которым ее в последнее время часто встречали, был арестован и несколько дней просидел в тюрьме. Но мюнхенская левая печать твердо стояла на том, что убийство было совершено исключительно по политическим мотивам. Появились возмущенные статьи и в берлинских газетах. В них утверждалось, что псевдоромантическая, пошлая обстановка убийства с несомненностью указывает на «патриотов». Газеты требовали, чтобы имперское правительство приняло меры против этих кровавых бесчинств, поскольку сами баварцы не способны положить им предел. Ожидали, что в ближайшее время в рейхстаге будет сделан запрос по баварским делам и что сделает его доктор Гейер.

«Патриоты» отлично знали, что убийство Амалии Зандхубер организовал Эрих Борнхаак. По их мнению, он провернул это дело с размахом и шиком. Убить какую-то дуру не так уж трудно, зато нужна отвага, чтобы ясно и недвусмысленно бросить в лицо противникам: это сделали мы. Ведь кто мог заранее знать, что полиция сожрет и это?

Почтительный шепот, встречавший теперь Эриха, подогревал его надежды. Вместе с Симоном Штаудахером он ездил верхом по Английскому саду. Бойко выступал на партийном секретариате. Инсарова, приоткрыв рот, поедала его глазами, смиренная и вожделеющая.

Когда до Эриха дошел слух, что запрос в рейхстаге сделает доктор Гейер, он удовлетворенно усмехнулся про себя. Раз эта история задела старика, значит, все правильно. Вечером Эрих остался дома — ему уже начало надоедать восхищение товарищей. Бродил по комнате, увешанной фотографиями фон Дельмайера, Феземана, Кутцнера, собачьими масками. При случае,

пожалуй, стоит снять маску и с Инсаровой. А почему он так и не повесил маску той женщины, Иоганны Крайн? Из скромности? Сентиментальная чушь!

Он вытащил маску, стал разглядывать белое лицо. Широкоскулое, со вздернутым носом, поразительно строгое: видно, когда он снимал с нее маску, она была в целомудренном стихе. Но попозже вечером от целомудрия и следа не осталось. Пусть себе смеется дурацким смехом, пусть поднимает брови хоть до макушки, факт остается фактом: он ею обладал.

Что бы она сказала, если бы узнала, что это он убил Амалию Зандхубер? Его рассказ насчет депутата Г. как будто пощекотал ей нервы. Такие вещи всех баб распаляют. А поглядишь на маску — самому не верится, что эта особа так с места в карьер легла с ним в постель.

По безглазой маске нельзя правильно судить о человеке. Разве представишь себе, глядя на это белое лицо, что некая Иоганна Крайн амурничала в Париже с неким г-ном Гесрейтером, да и с ним самим не очень-то ломалась? Должно быть, она сошла с рельс из-за всей этой ерунды с заключенным Крюгером. Пора бы ей открыть гляделки, может, у нее прочистились бы мозги и она поняла бы, что творится на белом свете. *Он* своего Георга вызволит, а вот вызволит ли она своего Крюгера? Чей сейчас черед смеяться — ее или его? Держись она за него подольше, может, он вызволил бы и Крюгера. За всякое дело надо браться умеючи.

Характерное баварское лицо с обычной примесью славянских черт. Тут никому не придет в голову спрашивать, а не жидовской ли она породы.

А не написать ли письмишко некоему доктору Гейеру, депутату берлинского рейхстага, который собирается сделать запрос насчет происшествия в форстенридском лесу?

Что ж, напишем.

Он уселся за стол, начал писать — не на машинке, от руки. Долго писал. Когда поднимал глаза, видел белую маску. Порою зачеркивал какое-нибудь слово, самодовольно улыбался. Несколько раз переписал все с начала до конца, наслаждаясь каждой фразой. Получилось отличное письмо, до чего же было приятно писать его. Так провел он два часа наедине с собой, в ночи. Перед тем как запечатать письмо, прочел его вслух. Надписывая адрес, облизывая марку, наклеивая ее на конверт, опуская конверт в почтовый ящик, он всякий раз заново наслаждался своим произведением.

На следующий день он упаковал маску, отправил ее Иоганне Крайн. У него было такое чувство, будто белое лицо вобрало каждое слово его письма, запечатлело в себе и теперь повторит их этой Иоганне Крайн. Он улыбался, думая, как Иоганна примет его посылку.

25
К + М + Б

На этот раз Антон фон Мессершмидт вышел из себя. Выпрямился во весь рост, грозно приказал своим подчиненным расследовать убийство в лесу под Мюнхеном. Несколько лет назад это омерзительное тайное судилище как будто подохло, захлебнувшись собственным дерьмом, а теперь грязные псы опять взялись за старое. Испоганили преступлением лес, но это никого не трогает. Посвятили убийству целых семь строк в отделе «местных происшествий». Ничего особенного не произошло — просто пять-шесть преступных юнцов уничтожили человека — какую-то безобидную дуру-потаскушку, которая имеет такое же отношение к государственной измене, как кочерга к сосискам. Мессершмидт яростно рычал: он не допустит, чтобы и это убийство замяли, не бывать тому!

Он поставил этот вопрос на следующем же заседании кабинета. Потребовал, чтобы ему помогли и другие ведомства, чтобы в полном контакте с министерством юстиции работала полиция. И, разумеется, чтобы вмешалось министерство внутренних дел. Он, со своей стороны, решил назначить большую денежную награду за поимку убийц. В те годы обстановка в Баварии была вообще неблагоприятна для подобного выступления, но момент, избранный фон Мессершмидтом, был наименее благоприятный из возможных. Оккупация Рурской области вызвала бурю возмущения даже среди самых мирно настроенных слоев населения. В такое время нарушение национального единства из-за мелочи, вроде убийства какой-то служанки, граничило с преступлением. Все козыри были в руках у «истинных германцев», и вступать правительству с ними в конфликт было бы чистейшим безумием.

Так считали все члены кабинета. В таком духе и выступали — одни обстоятельно и уклончиво, другие лаконично и напрямик; даже мягко стелющий г-н фон Дитрам рискнул произнести несколько резких слов. Короче говоря, они скопом

накинулись на Мессершмидта. Молчал только один человек — Флаухер.

Мессершмидт всех выслушал. Он отлично понимал, что в эту минуту его коллег куда больше интересует французский премьер-министр Пуанкаре, нежели убитая служанка Амалия Зандхубер, и что в высшей степени неразумно именно сейчас требовать от них поддержки. Но Мессершмидт не мог промолчать — таков уж он был, этот смешной чудак. Он сидел, облаченный в длинный черный сюртук, его сизые щеки, обрамленные густой, грязно-белой бородой, вздрагивали, глаза, под которыми набухли мешки, как-то глуповато поглядывали то на одного, то на другого; дольше всего они задержались на тяжелом лице Флаухера, неподвижного, до сих пор не проронившего ни одного слова. Когда Мессершмидт заговорил, голос его звучал хрипло.

— Я не представлял себе, господа, что вы так отнесетесь к этому, а следовало бы. Вы совершенно правы, это убийство ничем не примечательно, и газета «Генеральанцейгер» тоже права, посвятив ему всего семь строк, а манифестации «истинных германцев» — четыреста, и наутро — еще четыреста, и вечером — еще четыреста. Случались у нас убийства и более примечательные, им посвящалось больше строк. На этом все и кончалось. Вы правы, это непримечательное убийство, и глупо в столь грозный для отечества час тратить на него наше время. Но говорю вам, господа, я больше не намерен покрывать и непримечательные убийства. У меня собран кое-какой цифровой материал, но вы не беспокойтесь, я его разглашать не стану, он сохранится только для нашего внутреннего употребления. За последние два года «истинные германцы» совершили три тысячи двести восемь преступлений, и, соблюдай мы законность, нам следовало бы провести восемьсот сорок девять судебных процессов.— До этой минуты он говорил сидя, но теперь встал и, переводя взгляд с одного на другого, продолжал, понизив голос: — Восемьсот сорок девять судебных процессов. А мы провели только девяносто два и в лучшем случае проведем еще шестьдесят — семьдесят, и никакого результата они не дадут. Эти люди убивали, и грабили, и все перевернули вверх дном, так что теперь никто уже не понимает, что хорошо и что плохо. Они пакостят на памятниках, они напиваются и потом идут на еврейское кладбище и блюют на надгробья. Считайте, что я сентиментален, но стоит мне вспомнить об этих надгробьях — и я уже не могу уснуть. Они загадили их своими нечистотами, оставили на них, как подобает преступникам, свои визитные кар-

точки. И поэтому имейте в виду, я не собираюсь покрывать это непримечательное убийство. И не покрою! — выкрикнул он еще раз и стукнул кулаком по столу.

В красивом зале с великолепной старинной мебелью на Променадеплац стояла угрюмая тишина. Г-н фон Дитрам только что вернулся из Берлина— там происходила конференция всех премьер-министров германских союзных государств; сегодня кабинет собрался только для того, чтобы выслушать отчет фон Дитрама о конференции и принять решения общенационального значения. И на тебе! — неугомонный Мессершмидт снова вылез с этой историей. Они переглядывались, г-н фон Дитрам покашливал, у всех был растерянный вид. Только Флаухер, оттягивая пальцем воротничок, улыбался.

Но Мессершмидт, увидев его улыбку, сразу притих и ссутулился.

Потом, как и предполагалось, кабинет принял решения общенационального значения, а три дня спустя он был распущен. Незаметно исчез со сцены г-н фон Мессершмидт. Так же незаметно почему-то исчез и тихий г-н фон Дитрам. Формирование нового кабинета было поручено доктору Францу Флаухеру.

Господин фон Мессершмидт днем узнал о своей отставке, а вечером пошел в «Мужской клуб». Стоило ему там появиться, как все замолчали, и дальше разговор уже не клеился. Он видел ухмылки, слышал шепоток, один раз кто-то отчетливо произнес: «Помните о пекаре!» Старик знал, что он одинок, что его обвиняют в старческом упрямстве, иначе он давно освободил бы место, где только вредил своей стране. И все равно, увидев, как его третируют, почувствовал словно удар в грудь.

Он уселся в огромное кожаное кресло. Теперь фон Мессершмидт не заполнял его. Борода бывшего министра уже не казалась такой холеной, лицо исхудало, и на этом нездорово-багровом лице глаза навыкате были мутны и тусклы. Он взял газету, но читать не мог. Его душила горечь. «Выбросили, как стоптанную туфлю»,— думал старик. Украдкой оглядывал присутствующих. Гартль заносчиво улыбался — а как же, ведь его акции лезут вверх. Флаухер сидел тяжеловесный, квадратный, торжествующе поблескивал глазками. Водить собак в «Мужской клуб» было запрещено, тем не менее у его ног растянулась такса Вальдман. Флаухер теперь мог себе это позволить. Для четвертого сына секретаря королевского нотариуса из Ландсхута он сделал неплохую карьеру. Придвинув к нему стул, что-то шептал ему на ухо Себастьян Кастнер, депутат от оберланцингского округа, верный из верных. Мессершмидт сидел

совсем один, подставляя большую голову под град издевок, насыщая сердце сознанием правоты и горечью. Он свой долг исполнил. Как хорошо, что больше не придется копаться в этом свинстве, что можно будет заниматься только баварскими редкостями. С весны он ни разу не заглядывал в Национальный музей, где хранились собрания любимых им вещей. «Otium cum dignitate procul negotiis» [1],— думал он. Но мудрая просветленность быстро исчезла, наглые издевательские лица остались.

В дверях появился человек, массивный с виду, но с нарочито легкой походкой. До сих пор этот человек всегда проявлял к нему симпатию. А сегодня?..

И, смотрите-ка! — он подошел к нему. Уселся рядом с ним. Все следили за малейшими движениями этого человека. Депутат Кастнер замолчал на полуслове. Даже такса Вальдман насторожилась.

Рейндль смотрел па унылое лицо Мессершмидта. Недавно, трудно даже поверить, как недавно, все они насмехались над Кленком. Нет, старику не пошло впрок, что он тогда похвалил Кленка за музыкальность. Не будь этой похвалы, Рейндль вряд ли сделал бы Мессершмидта министром юстиции. Теперь все они лижут задницу Кленку; похвалит ли хоть один из них Мессершмидта за то, что он понимает толк в баварском прикладном искусстве?

Рейндль отлично знал, как выпихнули старика. Как тот наваливал на себя мучительную и безнадежную работу. Как обеими руками выгребал навоз, как, не успевал он справиться с одним возом, ему наваливали еще десяток. И еще Рейндль знал, как подчиненные умеют по-чиновничьи добросовестно принять приказ к сведению, а потом его саботировать. Что ж, теперь старик уйдет на покой. На этот раз он, Рейндль, не станет заниматься формированием кабинета. Кто бы ни были новые министры, все они — соломенные чучела на ветру.

А он сидит там, где создается этот ветер. Размах деловых операций Рейндля, как могучий, победоносный вихрь, взметнул его на огромную высоту. Благожелательный, полный искреннего сочувствия, смотрел он на Мессершмидта, оживленно разговаривал с ним о баварском прикладном искусстве, предлагал обменяться кое-какими образцами с явной выгодой для старика. А тот расцветал от слов Пятого евангелиста, и все с завистью косились на него, и, возвращаясь домой, он терзался только одним — тем, что не довел до конца дело Крюгера.

---

[1] «Достойный отдых вдали от дел» *(лат.)*.

Назавтра доктор Франц Флаухер позвонил доктору Кленку и предложил ему войти в кабинет в качестве министра юстиции. Он считал, что, обходясь столь великодушно с противником, совершает благочестивый, смиренный, истинно христианский поступок. Но какой ответ он услышал от этого суетного человека?

— Я сижу в отличном кресле, Флаухер, зачем же мне пересаживаться на стульчак в вашем министерстве? И не подумаю.— И он расхохотался. Обычный громовой и веселый кленковский хохот отозвался на этот раз в заросших волосами флаухеровских ушах таким греховным звуком, что он бросил трубку, словно она была раскалена.

Тогда министерство юстиции было предложено, как все и предполагали, доктору Гартлю. Министерство, которое прежде возглавлял сам Флаухер, он поручил своему преданному приверженцу, депутату от оберланцингского избирательного округа, Себастьяну Кастнеру.

Надо признать, что кабинет в целом получился более единомыслящим и мог сейчас работать без сучка и задоринки. Многие с облегчением вздохнули, узнав, что осторожного Дитрама сменил твердый Флаухер, истинный баварец, а упрямого, беспокойного Мессершмидта — податливый, обтекаемый Гартль.

Сформировав кабинет, доктор Флаухер отправился в свою нынешнюю резиденцию — маленький желтый дворец в стиле бидермейер. Уже стемнело, никого, кроме швейцара, не было. Флаухер долго сидел в отныне принадлежащем ему кабинете в обществе одной только таксы Вальдман, смиренно и горделиво ощущая всю важность своего призвания. Потом взял большой кусок мела. Крещение уже прошло, но никогда не поздно совершить священный обряд. Старательно вывел он на дверях кабинета буквы К + М + Б — инициалы имен трех волхвов, Каспара, Мельхиора и Бальтазара, а над ними — узор из цифр текущего года. Кроме того, в этот тяжкий час призвания новый премьер-министр дал обет совершить паломничество в альтёттингский храм Божьей матери,— в алтаре этого храма хранились сердца баварских королей. Исполненный благоговения, он духовным взором отчетливо увидел священный городок Альтёттинг, его церкви, где творились чудеса и совершались подвиги милосердия — лучшее удобрение для человеческих душ, его фабрики, где изготовлялся кальций — лучшее удобрение для родной земли.

Он был взволнован, ему хотелось музыки. Обычно в этот час по радио всегда передавали музыку. Флаухер не верил в приметы и все-таки был полон нетерпеливого желания услы-

шать и принять услышанное за знамение свыше — разумеется, если оно окажется благоприятно. Он включил громкоговоритель, и в его заросших волосами ушах зазвучал низкий и бархатный женский голос, которому мягко аккомпанировали звуки скрипок и колокольный перезвон. То была издавна знакомая песня, некогда сочиненная немецким композитором:

О приди, мой час желанный,
Брезжи, день желанный мой!

Глубоко растроганный, Флаухер слушал, впивал песню, смиренно полнил душу верой в господа бога и самого себя.

Под окнами дворца проходила демонстрация «истинных германцев». Иностранные консульства были окружены многочисленными отрядами полиции, так что власти не тревожились: иностранных дипломатов «патриоты» не изобьют. Сейчас они мирно шагали по Променадеплац, направляясь в «Гайсгартен», и распевали любимую песню:

Рабочие подонки, прячьтесь по углам,
Отряды Тони Ридлера всыплют перцу вам.
На ваших шкурах драных поставим мы клеймо
И рассчитаемся с тобой, рабочее дерьмо.

26
МАСКА ИОГАННЫ КРАЙН

Когда Иоганна Крайн прочла в газете о перемене в составе кабинета, она сперва не сообразила, что это значит. Ощущение было такое, словно ее стукнули по голове. Она перечитала сообщение второй, третий раз и только тогда поняла, что старик Мессершмидт, который представлялся ей монументом честности, тоже бросил ее на произвол судьбы. Он тоже заморочил ей голову красивыми фразами.

Еще хорошо, что она ничего не сказала Мартину о разговоре с Мессершмидтом, о его твердом обещании пересмотреть дело или досрочно освободить Крюгера. Мартин не пережил бы такого удара.

Выходит, старик не стерпел, послал все к черту. А останься он на посту министра юстиции, наверняка сдержал бы слово. Еще двадцать шесть дней. Неужели он не мог потерпеть двадцать шесть дней и только потом послать все к черту? А вот она бросить не может, не имеет права.

Она шагала взад и вперед по просторной комнате на Штейндорфштрассе. Вечно на столе валяется какая-нибудь гнусная газетенка, от которой у нее все переворачивается внутри. Не надо больше выписывать газет. Все, что в ее жизни было мучительного, она узнавала из газет. Дурной поворот дела Мартина Крюгера, мерзкие измышления о ней самой, убийство депутата Г., смерть Фанси де Лукки — все это воняло газетами. Перемены в составе кабинета. Если бы ей пришлось иметь дело с живыми людьми — с Мессершмидтом, с Кленком, даже с Гейнродтом,— с ними она справилась бы. Но всегда она наталкивается на нечто неосязаемое: на перемену в составе кабинета, на политическую ситуацию, правосудие, государство — в общем, на безликую невнятицу. Как же справиться женщине с этой невнятицей?

И снова ее заливает жгучее негодование на Тюверлена. Он не должен был оставлять ее одну. Не должен был допускать, чтобы она справлялась со всем этим в одиночку.

Со своими собственными делами она и без него отлично справится. Тюверлен оставил ей деньги, но она не взяла ни единого доллара. С работой ей везет, у нее много иностранных клиентов, просто какое-то издевательство, что ей так везет.

Она невылазно сидит в своей просторной комнате, эта крупная, сильная девушка. С ней ее книги, аппарат. По квартире величественно расхаживает тетушка Аметсридер: присутствие человека, так прочно стоящего на ногах, как-то умиротворяет душу. Жак Тюверлен тоже прочно стоит на ногах — газеты полны сообщений о его успехах. Тетушка долбит, что нужно Иоганне поскорее выходить за него замуж, что она поможет племяннице обстряпать это дело. Было бы неплохо, если бы тетушка меньше приставала к ней. От Тюверлена приходят короткие, довольные, ласковые письма. И всегда на один и тот же адрес: Вилла «Озерный уголок», Аммерзее. Он словно и не замечает, что ее ответы нечасты и сухи, что она перебралась в Мюнхен. Тюверлен купил виллу «Озерный уголок». «Для тебя это подходящая скорлупка»,— написал он ей. Какая низость оставить ее одну.

В один из этих дней Иоганна получила тяжелый пакет — в нем оказалась снятая с нее маска. Имя отправителя отсутствовало. Уже много месяцев она даже мельком не вспоминала о шалопае. Иоганна села перед установленной на столе маской — простым гипсовым слепком, незаглаженным, неподкрашенным, со всеми порами и шероховатостями — и начала ее разглядывать. Вздернутый нос и закрытые глаза придавали широкоскулому сильному лицу глубокое спокойствие — глыба земли, да и

только. Нет, у нее не такое лицо. Возможно, когда-нибудь и станет таким — но только после смерти. Будь она такой, Иоганна не сразу нашла нужное слово, такой просветленной, разве мужчины бегали бы за ней?

Если через несколько столетий археологу захочется классифицировать этот слепок, он скорее всего напишет: «Молодая крестьянка из старой Баварии, начало двадцатого столетия». Разве она хоть чем-нибудь отличается от других? Хоть чем-нибудь их превосходит? Как же она смеет при таком заурядном лице чего-то требовать, верить, что стоит ей открыть рот — и все развесят уши, станут ей помогать?

Может ли эта девушка с заурядным лицом, эта Иоганна Крайн одна-одинешенька справиться со всей Баварией? Такая задача была бы по силам только человеку, наделенному незаурядным хитроумием, прирожденному интригану. Неразумно было вступать в открытую борьбу с бюрократической Баварией, следовало все время держаться в тени. Дело ведь не в том, права она или нет, а в том, амнистируют ли Мартина, выпустят ли его досрочно. Уже ее показания на суде были возмутительной глупостью. Доктор Гейер умный человек, он не зря отговаривал ее тогда.

Сражаться приходится с машиной-невидимкой, с коварным и бессовестным механизмом, который умеет так ловко увертываться, что его никак не ухватить. Человек выдыхается, выходит из строя, а механизм из строя не выходит. С одной стороны — она, Иоганна, с другой — вся огромная и сложная бюрократическая машина. Никто ни разу не сказал ей «нет», не утратил учтивости, даже когда она была груба. Ей не отказывали, а только говорили, что об этом следует подумать, это следует взвесить, в этом надо разобраться.

Ей больше никто не верит. Вот на виду у всех стоит обозленная женщина и, как сумасшедшая, молотит кулаками по чему-то невидимому.

Мессершмидт обязан был потерпеть еще двадцать шесть дней. И тогда она приехала бы в Одельсберг на автомобиле. Наверное, на автомобиле Каспара Прекля, Прекль сам отвез бы ее туда. Она тут же представила себе, как стоит на пустынной улице у ворот одельсбергской тюрьмы и ждет Мартина.

Нет, нет, она другая, у нее не такое тупое лицо, как у этого слепка. Борьба даже во имя справедливого дела порою превращает хорошего человека в дурного,— сказал ей некто. Но она еще не дошла до такой тупости, кожа у нее еще не совсем задубела. Ерунда. Она выкапывает старый номер газеты со своим

портретом,— его набросал художник из «Берлинер иллюстрирте», когда она стояла перед судом присяжных. Поза, поворот головы, негодующий взгляд в сторону прокурора — все это нарочито и явно шаржировано и все равно гораздо правдивее мертвой белой маски.

Какой это был праведный гнев. Тем горше, что, и праведный, он выдохся за каких-нибудь два года. Нельзя положить гнев на полку и доставать его оттуда, когда понадобится. Каждый раз приходится заново взвинчивать себя, и с каждым разом это все труднее.

Кто-то должен ей помочь. Но не адвокат Лёвенмауль, не политиканы, не умники-разумники. Она пойдет к Каспару Преклю.

Каспар Прекль был как будто еще глубже погружен в себя, чем прежде. Но мгновенно ожил, стоило ему понять, что теперь, когда в кабинете произошли перемены, надежда на освобождение Мартина Крюгера снова рухнула. Он заявил — да, да, надо немедленно что-то предпринять. Казалось, он только и ждал ее прихода. Мгновенно бросился к телефону, позвонил в управление фирмы «Баварские автомобильные заводы», попросил соединить его с Пятым евангелистом. Пришел в неистовство, начал требовать. Успокоился, только когда сам директор Отто заверил его, что г-н фон Рейндль действительно в отъезде. Иоганна не заметила, как облегченно вздохнул Прекль.

Но он не сложил оружия. Побежал к вдове Ратценбергер. Многие уже пытались туманные показания г-жи Кресценции Ратценбергер облечь в такую четкую форму, чтобы самый недружелюбно настроенный судья не мог от них отмахнуться. Но вдова Ратценбергер не шла ни на какие уговоры. Да, ее Франц Ксавер все еще горел в пламени чистилища, но страх перед Людвигом пересиливал в ней тревогу за покойника, который с ее помощью все-таки стал намного ближе к вечному блаженству, чем раньше. Так что она и на этот раз отнекивалась и увиливала. Но Каспар Прекль продолжал настаивать. Она не поддалась ни мягким уговорам, ни угрозам, не поддалась даже голосу совести, но не выдержала зловещей мрачности Прекля, еще более зловещей, чем мрачность грубияна Людвига. Больная, слабоумная девочка Кати заревела в голос, так она испугалась худющего, злого мужчины, который сердито разговаривал с ее матерью. Чтобы как-нибудь успокоить ее, вдове Ратценбергер пришлось пустить воду из водопроводного крана. Каспар

Прекль был неумолим. Под тихое и жалобное пение Кати, под бульканье и журчание воды из крана он заставил вдову Ратценбергер подписать показания куда более ясные и определенные, чем она давала прежде.

27
АДВОКАТ ГЕЙЕР КРИЧИТ

Экономка Агнесса в длинном, до пят платье, шаркая шлепанцами, беспокойно бродила по большой, темной, холодной квартире, которую сняла в Берлине для доктора Гейера в квартале, где смыкаются два района — центральный и северный, рабочий. Мебель, перевезенная Гейером из Мюнхена, выглядела в новой квартире еще неряшливее и обшарпаннее, чем в прежней. Но желтолицая радовалась, что она в Берлине. Холодное, запущенное жилье нравилось ей своей просторностью. Нравилось ей и то, что дом был густо населен и никто никого не знал в лицо. К тому же почти рядом находилось отделение банка, где можно было заниматься биржевыми спекуляциями.

Сперва ее мучил страх, что в Берлине адвокат развернется во всю ширь, будет везде блистать,— Агнесса не сомневалась, что ему это проще простого, стоит только захотеть. И, действительно, поначалу казалось, что он этого хочет. Его приезда ожидали с нетерпением, первое выступление адвоката в рейхстаге произвело отличное впечатление, комментировалось в самых лестных выражениях. Но он быстро впал в прежнее непонятное оцепенение, редко появлялся в парламенте, старался не иметь дела с газетами, по целым дням не выходил из дому, иногда начинал копаться в рукописях своих трудов «История беззаконий» и «Политика, право, история», но работать не работал. Потом внезапно убегал из дому и часами бродил по улицам фабричного района, не замечая прохожих, шагавших бок о бок с ним. Заглядывал в какой-нибудь кабачок, жадно съедал сардельку с картофельным салатом, не чувствуя при этом вкуса еды. Экономка Агнесса точно знала, с какого числа он забросил работу. С того самого, когда у главы рейхстага был «пивной вечер».

Потом произошла эта мерзкая история, в связи с которой имя депутата снова стало фигурировать во всех газетах. Но на этот раз с нелестными комментариями. Доктор Гейер сидел в пивном погребке, один за столиком, и чертил на столешнице какие-то знаки и линии. За соседним столиком двое мужчин

громко разговаривали на политические темы, высказываясь в откровенно «патриотическом» духе. Доктор Гейер волей-неволей слушал их разговор и, возможно, раз-другой взглянул на них. Так или иначе, один из этих мужчин вдруг подошел к доктору Гейеру и громко, нагло, на все заведение, потребовал, чтобы тот перестал так ехидно ему подмигивать. Доктор Гейер пробормотал что-то невнятное: он, мол, и не думал никого оскорблять. Но когда тот стал настаивать, чтобы перед ним извинились, адвокат не выдержал и ответил резкостью. Дальше — больше. Мужчина, чиновник государственного страхового ведомства, повторял, что не позволит себя оскорблять. Доктор Гейер, в качестве депутата рейхстага пользовавшийся правом неприкосновенности, не пожелал к нему прибегнуть. Судебный процесс о нанесении оскорбления. Чиновник страхового ведомства вел, дескать, невинную застольную беседу, а депутат Гейер оскорбил его вызывающими, насмешливыми подмигиваниями. Доктор Гейер представил медицинское свидетельство о том, что его подмигивание не имеет целью кого-то оскорбить, поскольку является следствием болезненного расстройства лицевых нервов. Суд его оправдал. Правые газеты не преминули напечатать подробнейшие отчеты об этом деле. С тех пор стоило назвать имя депутата Гейера,— и все начинали улыбаться.

Нельзя сказать, чтобы это берлинское происшествие не доставило удовольствия экономке Агнессе. Присмиревший, ко всему равнодушный, опустившийся доктор Гейер целиком принадлежал ей. Но после того, как пришло некое письмо, с адвокатом стало твориться такое, что это было уже чересчур и встревожило даже ее.

Письмо пришло с пачкой другой корреспонденции. Экономка Агнесса отнесла всю пачку доктору Гейеру и занялась в кухне приготовлением ужина. Вдруг из хозяйского кабинета донесся пронзительный крик. Крик не умолкал, ни на секунду не прерывался; вбежав в кабинет, она увидела, что адвокат стоит у дверей, все так же визгливо завывая, как животное или наказанный ребенок, и равномерно бьется головой о дверной косяк.

Глазастая экономка ухитрилась прочесть письмо, которое так потрясло адвоката. Отправлено оно было из Мюнхена, написано очень туманно, внизу стояла только буква Э. Но желтолицая сразу догадалась, кто его писал,— тот подонок, кровопийца,— и хотя не могла бы ясно и последовательно пересказать содержание, но все же главное в нем ухватила и поняла, почему кричал депутат Гейер. Г-н Э. писал, что до него дошли слухи, будто доктор Гейер собирается от имени социал-демократиче-

ской партии сделать запрос в рейхстаге по поводу убийства служанки Амалии Зандхубер. Говоря по совести, ему начхать на все, что предпримет берлинское правительство,— он в Мюнхене чувствует себя в полной безопасности. Но, любя ясность во всем и желая, чтобы г-н депутат располагал полной информацией, доводит до его сведения, что некие денежные суммы, предоставленные доктором Гейером в распоряжение лица, пишущего эти строки, были истрачены на совершение того самого акта, о котором шла речь, и, по мнению Э., разумно истрачены. Следующая фраза начиналась с красной строки. Э. писал, что, судя по всему, доктор Гейер не только не сочтет, что они были истрачены разумно, но, напротив, решит, что выброшены на ветер. Э. считает, что у людей со столь различными взглядами не может течь в жилах *одинаковая* кровь. К сожалению, пока чертовски мало способов установить это с полной очевидностью. Но один способ все же есть, и при определенных условиях он дает несомненные результаты. И дальше Э. излагал метод кенигсбергского профессора Цангемейстера и предлагал доктору Гейеру сделать кенигсбергскую пробу крови.

Вот что прочитала экономка Агнесса в письме, адресованном доктору Гейеру. Написано оно было туманнее и длиннее, чем изложено здесь, но она догадалась, о чем идет речь. А этого было достаточно, чтобы понять, почему кричал доктор Гейер.

С момента получения этого письма экономка начала замечать разительную перемену в поведении своего хозяина. До этого он всегда проявлял мужество — во всяком случае, трусом никогда не был. Даже покушение в Мюнхене во время процесса Крюгера никак на нем не отразилось, не оставило следа, не считая легкой хромоты, результата ранения. А сейчас он вдруг стал бояться этого давнего покушения, хотя с тех пор прошло много месяцев. Однажды Агнесса застала его у входных дверей: он стоял, шатаясь, пепельно-серый, и никак не мог нащупать замок. Ему чудилось, что кто-то крадется за ним и вот-вот ударит сзади. В другой раз он глубокой ночью вызвал Агнессу к себе в спальню. Доктор Гейер буквально обливался потом. Пришлось ей вместе с ним обыскивать квартиру: он был твердо уверен, что где-то в комнате прячется министр Кленк.

Он не ответил на то мюнхенское письмо. Запрос тоже пока был отложен. Постепенно доктор Гейер успокоился, меньше терзался страхами. Возбуждение улеглось.

Он набросился на работу. Устраивал совещания с товарищами по партии, накупал газеты, собирал материалы, рылся в них. Звонил по телефону, посылал телеграммы мюнхенским

политическим единомышленникам. Прошла неделя, вторая, и только тогда социал-демократы сделали давно ожидаемый запрос по поводу положения дел в Баварии. Впрочем, запрос касался не убийства служанки Амалии Зандхубер, а так называемого зендлинговского сражения.

В то время во всей Баварии хозяйничали вооруженные отряды «истинных германцев» — они «наводили порядок» и «карали неблагонадежных» — короче говоря, устраивали нечто вроде репетиций перед настоящей расправой с «внутренним врагом». Вооруженные отряды под началом обер-лейтенанта Вебера и капитанов Мюллера и Эстрейхера предприняли карательную экспедицию против рабочих электростанции на Вальхензее, организовавших свои «сотни», чтобы обороняться от нападений «истинных германцев». В окрестности Вальхензее были заранее отправлены отряды велосипедистов и санитаров. Но когда главные силы карательной экспедиции собирались погрузиться в специальные поезда, стоявшие наготове на мюнхенском вокзале Изарталь, железнодорожники наотрез отказались везти этих до зубов вооруженных людей. Разочарованные и жаждущие прямых действий отряды «истинных германцев» решили напасть хотя бы на южные рабочие окраины Мюнхена — Зендлинг, Талькирхен, Брудермюльфиртель, Нейхофен, Оберфельд. Они забаррикадировали улицы, приказали жителям сидеть по домам и не выглядывать из окон, поставили часовых у входных дверей и на крышах, остановили трамвайное движение, устроили опорные пункты и начали палить во всех, кто попадался им на глаза. Особенно жестоко они обстреливали железный мостик, соединявший эту часть города с другим берегом Изара. Полицейские, слишком малочисленные, чтобы оказать сопротивление, заперлись в своих участках. Когда наконец к ним пришло подкрепление, командиры отрядов заявили, что вооруженные силы «истинных германцев» не что иное, как «добровольческая полиция». Никто не помешал «патриотам» спокойно убраться восвояси. Власти сочли за благо арестовать нескольких рабочих из этого района, обвинив их в нарушении общественного порядка.

На имперском правительстве лежал в то время тяжкий груз забот. Рурские события, инфляция, диктатура заправил тяжелой промышленности, их требования силой оружия раздавить ненавистные красные правительства в Саксонии и Тюрингии — эти грозные проблемы требовали срочного решения. По сравнению с ними дурацкое «зендлинговское сражение» представлялось мелочью. Что скрывать, конечно, «истинные германцы» получали часть оружия из запасов рейхсвера. Так

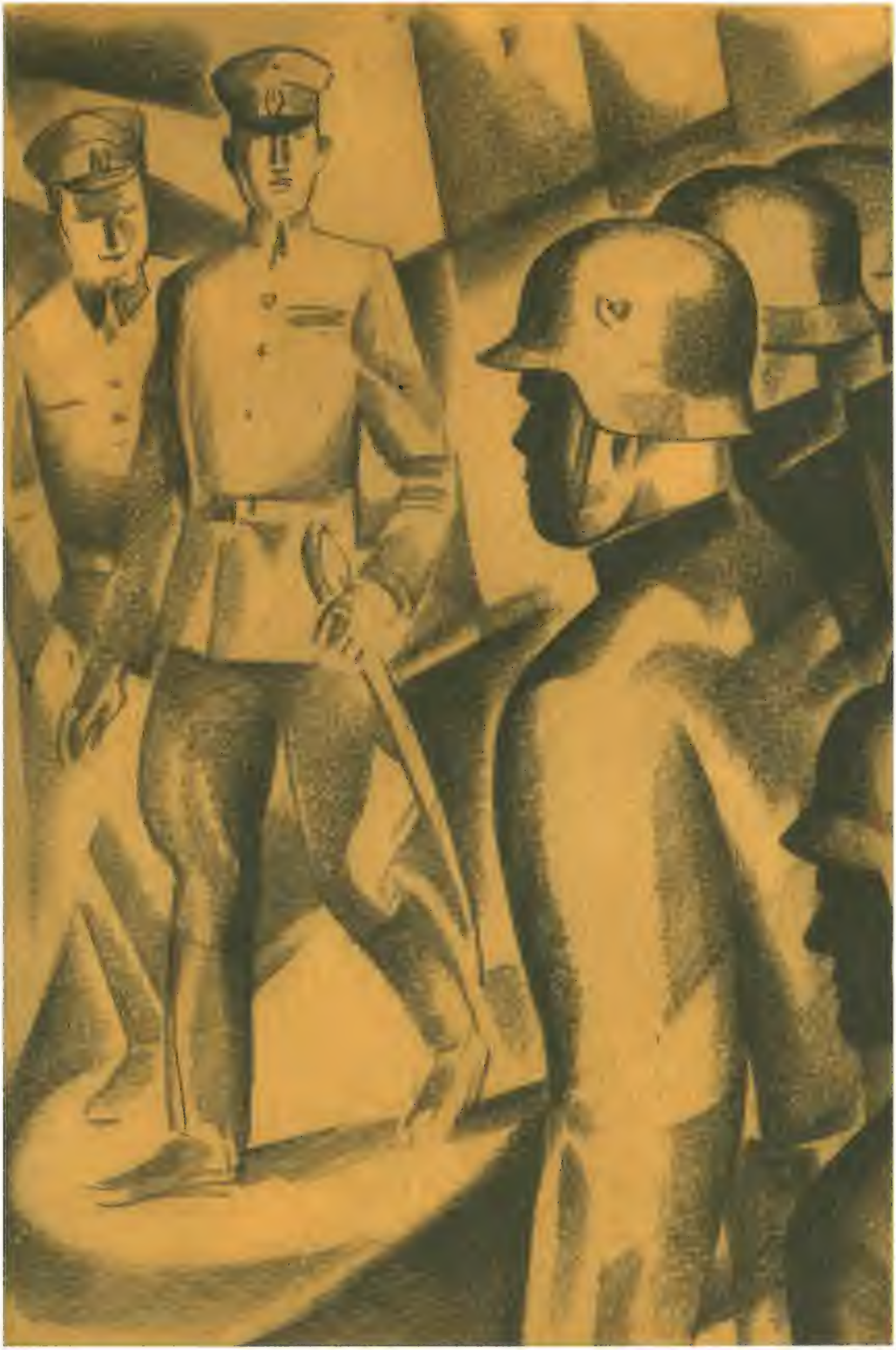
что у правительства были все основания принять против них решительные меры. Но все знали, что в последние месяцы в Баварии произошли куда более серьезные акты анархии. И все привыкли, что к любым представлениям имперского правительства Бавария относится с наглым безразличием. Да, никого уже не тревожило, что эта провинция безмерно упряма, что там непрерывно нарушаются статьи конституции, что в рейхстаге чуть не ежемесячно возникают дебаты на этот счет. Так что к запросу социал-демократов никто особого интереса не проявлял. Да и они сами мало чего ждали от него, иначе не поручили бы выступить доктору Гейеру, чье имя теперь фатально вызывало насмешливые улыбочки.

Поднимаясь на трибуну, доктор Гейер не хромал. И не мигал, не перебирал пальцами, владел голосом. Его давняя мечта исполнилась, он стоял на трибуне рейхстага в огромном зале, старомодном, роскошном и безвкусном, стоял и говорил для всей Германии.

Он описал «зендлинговское сражение», привел статистические данные о численности военных организаций «патриотов», о их вооружении. Как и в своей «Истории беззаконий», все время ссылаясь на документы, перечислил самые вопиющие из безобразий, учиненных «истинными германцами» и оставшихся безнаказанными. Нападения на мирных прохожих, разгон собраний, раненые и убитые депутаты из враждебных «патриотам» партий, оскорбления имперского правительства, гнусные издевки в адрес главы государства, сожжение государственного флага. Он нанизывал дату на дату, цифру на цифру. Говорил остро, но полностью владел собой, не позволяя себе ни единой ораторской уловки.

Начал он в полупустом зале. Немногие сидевшие там переговаривались между собой, газетчики зевали во весь рот, депутаты от коммунистов и «патриотов» прерывали доктора Гейера насмешливыми замечаниями. Но постепенно огромный зал стал наполняться, разговоры умолкли, корреспонденты проснулись, если оратора и прерывали, то уже отнюдь не шутками. Многие депутаты подошли к самой трибуне, чтобы ничего не упустить. На скамье правых сидел сморщенный старикашка, он встал, оперся обеими руками на пюпитр и не двигаясь простоял много минут, напряженно вслушиваясь в речь оратора.

Перечисляя преступления «патриотов», доктор Гейер не упомянул об убийстве служанки Зандхубер, не назвал он и министра Кленка, который был в ответе за многое из того, о чем он говорил. Но его сухое изложение лишь потому так волновало



слушателей, что в эти минуты он видел не лица депутатов, не безвкусную роскошь зала пленарных заседаний, а редкий лесок и в нем двух человек — белозубого с очень красным ртом и кирпичнолицего гиганта с издевательской ухмылкой и трубкой в уголку рта.

Только речью в рейхстаге и ответил доктор Гейер на письмо Эриха Борнхаака. Да еще денежным переводом. Он был убежден, что рано или поздно, но придет день, когда преступления, подобные убийству Амалии Зандхубер, нельзя будет оставлять безнаказанными даже в Баварии, и тогда Эриху Борнхааку понадобятся деньги, чтобы перебраться за границу.

28
НЕБЕСНОЕ ЗНАМЕНИЕ

Чем дальше, тем сильнее становилось брожение среди жителей города Мюнхена. Доллар уже стоил двадцать четыре тысячи шестьсот тринадцать марок, фунт мяса — три тысячи пятьсот, кружка пива — тысячу двадцать марок. В деревнях все больше крестьян обзаводилось скаковыми лошадьми и автомашинами, в городах все больше разрушались и без того убогие жилища. Число туберкулезных больных росло, росла и детская смертность. Многие «трехчетвертьлитровые рантье» уже не могли позволить себе даже четверти литра пива. Голодные, кружили они по большим пивным заведениям, где когда-то приятно коротали вечера, подбирали хлебные и сырные корки, довольствовались чужими опивками. Ослабевшие духом, питались надеждами, жили бессмысленными слухами. Каждый день приносил новые вести: имперское правительство якобы готовит карательную экспедицию в Баварию, Саксония и Тюрингия якобы собираются объявить ей войну. Но особенно много разговоров было о нападении на Рурскую область. Террористические акты германских патриотов над иноземными захватчиками вызывали всеобщий восторг. Необычайно торжественны были похоронные шествия в честь человека, устроившего крушение поезда и расстрелянного за это французами. Его именем называли улицы, военные отряды. Его имя выкрикивали, громя редакцию левой газеты, «истинные германцы», выдававшие себя за беженцев из Рура. Кутцнер в пламенных речах требовал, чтобы правительство следовало примеру рурского террориста, чтобы нация отдалась пьянящему безумию, чтобы на всех фонарях болтались

ноябрьские преступники. Души в дрожащих от холода и голода телах воспламенялись и бурлили.

На Штахусе, оживленной площади, где и во времена прежних революций кипела уличная политическая жизнь, сейчас, что ни вечер, толпился народ. Ораторы азартно и безвозмездно поясняли всем и каждому политическое положение. А к концу зимы произошло нечто поистине сенсационное. В розовато-сером небе над возбужденной, издерганной толпой появился самолет. Покружив над запруженной людьми площадью, он клубами дыма — и не один, а много раз — вывел на вечернем небе колоссальный знак, знак «истинных германцев», индийскую эмблему плодородия. На нее уставились тысячи расширенных, изумленных, полных веры глаз. Запрокинулись головы, побледнели напряженные лица. Человек в зеленой шапочке, с рюкзаком за плечами, как открыл рот, так с полминуты не закрывал его. И только тогда сказал соседу: «Вот это да!»

Ораторы с удвоенным пылом припялись вдалбливать в слушателей то, что уже заронило в них небесное знамение. Больше всего народу окружало долговязого человека, который произносил речь, стоя на крыше автомобиля. Длинные, расчесанные на пробор волосы ниспадали на черный солидный сюртук. Оратор то и дело поглаживал черную с проседью бороду, его синие глазки лукаво и дружелюбно сияли, нос загибался, как у ястреба, золотозубый рот энергично открывался и закрывался. Речь этого человека была доходчива и увлекала слушателей. Он рассказывал о том, как однажды вроде бы совсем скапутился, доктора из больницы посчитали его покойником, но тут случилось чудо, откуда ни возьмись профессор Нусбаум, и ну его трясти, и тискать, и мять. И тут все увидели, что он живехонек. Вот и фюрер вроде того профессора Нусбаума. Как его тряс профессор Нусбаум, так Кутцнер трясет немецкий народ. Немцы тоже вроде бы совсем скапутились, но еще не зацветут деревья, и они снова станут живехоньки.

Большинство, взбудораженное и потрясенное небесным знамением, слушало его с полным доверием. Слушал Дайзенбергера и боксер Алоис Кутцнер. Апостол нравился ему, трогал своей речью, но истинного облегчения не приносил.

У боксера Алоиса Кутцнера все сильнее томилась душа. Он больше не появлялся в «Гайсгартене»,— ему претили безбожные речи, все чаще звучавшие там. Вспоминался ужасный случай, которому Алоис был свидетелем в детстве: причащаясь, брат Руперт из озорства выплюнул облатку и сунул ее в карман. Он заплатил за это дорогой ценой — исключением из реального

училища. После войны Руперта прямо не узнать. Он говорит, словно вдохновленный свыше,— правда, на какой-то особый манер,— и от брани, к которой был привержен с юности, тоже стал отвыкать. Но теперь почему-то опять начал кощунствовать, как мальчишка-подросток, а вслед за ним распустили языки и его приверженцы. Алоису было не по себе в «Гайсгартене». Он предпочитал кабачок «Метцгербрей», что на улице Имталь. Там собирались мюнхенские спортсмены. Гремел духовой оркестр, и под его звуки молодые силачи упражнялись в борьбе и поднятии тяжестей. Сидя верхом на стуле и опираясь руками о его спинку, Алоис смотрел сквозь клубы табачного дыма на упражнения молодых, порою крякал то одобрительно, то недовольно. На стенах и по углам висели и стояли реликвии, связанные со Штейрер-Гансом, великим предшественником Алоиса, невероятно мускулистым мужчиной с огромными усищами и бесчисленными орденами на широченной обнаженной груди. Глядя на фотографию Штейрер-Ганса, держащего на поднятых руках то гимнаста на турнике, то трех велосипедистов на велосипеде, Алоис чувствовал прилив сил. Сердце его наполнялось гордостью при виде металлических тростей и сорокавосьмифунтовой табакерки, которыми в былые времена пользовался этот баварский Геракл. Вот кто наверняка бы нашел способ освободить короля из заточения.

Но он давно спит на Южном кладбище. А Алоису эта великая задача не по плечу. Конечно, тут скупиться не приходится, но если все пойдет и дальше, как шло до сих пор, он очень скоро сядет на мель, а дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Инфляция пожирает его сбережения с не меньшей быстротой, чем сбережения всех прочих. И своим ремеслом ему уже много не заработать. Алоиса оттеснили боксеры помоложе, посноровистей: теперь и на ринге требовалось шевелить мозгами. Порою, измученный тоской, он шел во двор бывшей королевской резиденции и подолгу стоял перед гигантским, прикованным цепями черным камнем, который должен был напоминать потомкам о том, как высоко и далеко забросил некогда эту громадину баварский герцог Кристоф. Боксер мечтательно созерцал вещественное доказательство спортивных свершений одного из Виттельсбахов: вот какие они были замечательные государи! Иной раз ему даже начинало казаться, что король заточен именно здесь, в своей бывшей резиденции. И, кто знает, может быть, несчастный старец монарх чует, что где-то совсем рядом стоит его подданный и страстно жаждет ему помочь?

Алоис и нынче вечером пошел в «Метцгербрей». Ветер изменил направление, дул теперь с юга, и хотя в нем и чувствовалось веянье весны, он наливал все тело свинцовой тяжестью. Растаявший снег, как жидкая каша, набирался в обувь. Алоис, сердито ворча, шел по улицам, продуваемым теплым ветром, и его все сильнее одолевала тоска. Наконец он добрался до «Метцгербрей». Там царило ликование — несколько молодых спортсменов добились отличных результатов в жиме. По этому поводу все и веселились. В густом табачном дыму под гром духового оркестра и оглушительные крики одобрения отплясывал чечетку человек на протезе. Зрелище было необычайное. Но Алоис по-прежнему не находил покоя. Как ни старались приятели удержать его, им пришлось отступиться. Он рано ушел из кабачка.

Но не домой, а в ближайший полицейский участок. Там потребовал, чтобы его проводили к комиссару, и заявил, что он и есть убийца Амалии Зандхубер. Комиссар внимательно посмотрел на него — лицо этого человека было ему смутно знакомо. Он вспомнил, что тот как-то связан с Рупертом Кутцнером, подумал, что неприятностей будет не обобраться, стал соображать, как ему выпутаться из этой истории. Лихорадочно перебирал в уме, кому бы ему позвонить — своему ли начальству, в министерство ли внутренних дел, в штаб ли «истинных германцев», в больницу ли для умалишенных «Эгльфинг»,— и вдруг ему пришла в голову блестящая идея. Он выпрямился и строго уставился на Алоиса Кутцнера.

— Удостоверение личности при вас? — Алоис Кутцнер растерялся, начал шарить по карманам, что-то бормотать. Нет, при нем не было удостоверения личности.— Ах так! — воскликнул комиссар.— Даже и удостоверения нет? Откуда же мне знать, кто вы такой?

И Алоис Кутцнер пристыженно поплелся домой, чувствуя, что так просто ему это дело не уладить.

29
ДЕРЕВЬЯ ЗАЦВЕЛИ

Отто Кленк, точно опытный повар, пробовал бурлящую народную душу — дошла ли она до готовности. Дошла. Время приспело. Кленку нужен был пятьдесят один процент уверенности — что ж, пятьдесят один процент был в наличии.

В «Мужском клубе» среди общей толчеи он встретил Пятого евангелиста. Все говорили о том, что душа народа бурлит,

что взрыв неизбежен, что терпение «истинных германцев» истощилось. По своему обыкновению, Рейндль отмалчивался. Полузадумчиво-полумечтательно поглядывал круглыми глазами то на одного, то на другого и улыбался краешком губ. Кленк был не робкого десятка, но от этой улыбки стало не по себе даже ему. Он не совсем представлял себе, в какой мере экономика влияла на события в Руре, но чутье подсказывало ему, что германская индустрия вот-вот договорится с французской. А когда договорится — рурский инцидент мгновенно будет улажен. И «истинные германцы» упустят удобный момент, и псу под хвост полетит пятьдесят один процент, и никакой Рейндль уже не станет их снаряжать для похода на Берлин.

На следующий день Кленк начал переговоры с Кутцнером. Он был очень настойчив. «Патриоты» уже сколько времени и во всю глотку вопят о дне освобождения. А баварские города не сегодня завтра окажутся в настоящей блокаде: крестьяне больше не желают продавать продукты за обесцененные деньги. Так чего же еще ждать? Надо воспользоваться съездом партии и торжественным освящением знамен, о котором на весь мир раструбил Кутцнер, и нанести решительный удар. Если его отложить и на этот раз, народ окончательно во всем разуверится. Время приспело. И скоро зацветут деревья. Больше нельзя топтаться на месте. Надо взять разбег и прыгнуть.

Кутцнер слушал его с большим вниманием, одобрительно кивал головой. Но чем больше настаивал Кленк, тем более вялым, каким-то бескостным становился фюрер. Раньше он и сам собирался воспользоваться съездом партии для нанесения удара — поэтому столько говорил о нем. Но теперь он передумал. Решил устроить из освящения знамен нечто вроде генеральной репетиции. Пытался объяснить такую перемену программы политической ситуацией. Но в настоящей причине не сознавался даже себе.

Настоящую причину следовало искать в некоем вечернем происшествии на Румфордштрассе — на этой улице жила мать Кутцнера. Фюреру вовсе не было свойственно зазнайство. Он глубоко почитал свою седовласую матушку. К ее дому он подъезжал в серой машине, исполненный величия, но потом совсем как обыкновенный человек сидел рядом с ней за столом в обществе Алоиса, а иногда и придурковатого дядюшки Ксавера, который порол несусветную дичь. Велеречивые тирады сына о том, что он призван свыше, что, будучи фюрером, несет ни с чем не сравнимую ответственность, старуха слушала затаив дыхание, как проповедь в церкви. Случалось, она путала его успехи с

успехами Алоиса на ринге, но Руперт Кутцнер не таил на нее обиды,— уж очень она была стара. Но в тот вечер, перед самым уходом Руперта, когда он на секунду прервал поток красноречия, старуха вдруг надрывно зарыдала. Иссохшая и желтолицая, она горько плакала и хлюпала приплюснутым славянским носом. Невозможно было добиться, что ее так расстроило. Но когда Руперт все-таки собрался уходить — фюрер человек занятой,— мать повисла на нем и заговорила напыщенно, как священник. Плохо кончает тот, кто так высоко возносится, и она уже видит его в Штадельхейме, видит, как люди вываливают в нечистотах ее сына Руперта. Пуанкаре дьявол во плоти и сучий сын, он уже стольких людей на тот свет отправил, он не успокоится, пока не отправит на тот свет и ее сына Руперта. Старуха продолжала нести неведомо что, и Руперт в конце концов вышел из себя. Схватил тарелку из красивого сервиза, украшенного узором из синих цветов горечавки и эдельвейса, швырнул ее на пол и заорал: «Разобью к черту Иуду и Рим, как эту тарелку». После чего выскочил из комнаты и уехал на своей серой машине. Алоис, который терпеть не мог, когда что-нибудь разбивалось и портилось, бережно подобрал осколки и с немалым трудом склеил тарелку.

Хотя фюрер сделал под занавес такой шикарный жест, все-таки рыдания старухи расстроили ему нервы. А разве у других фюреров нервы были крепче? Наполеон, например,— а может, это был Цезарь? — не выносил петушиного кукареканья. Так или иначе, предостережения старухи, ее галлюцинации запечатлелись в его душе. Руперту Кутцнеру необходимо было чувствовать всеобщее одушевление и уверенность; если у его приверженцев появлялась хоть тень сомнения, он сразу сникал.

И теперь, когда Кленк требовал назначить определенный день, фюрер хотел только одного — отодвинуть его на возможно дальний срок. Он принялся разглагольствовать о том, что внутренний враг с каждым днем все больше загнивает — через неделю-другую малый ребенок шутя его сдунет. Он истратил на Кленка столько красноречия, словно выступал в битком набитом зале. Но Кленку это было ни к чему. Что враг разложился и довольно одной победы, чтобы его доконать, это Кленк и сам знал. Ему нужен был точно разработанный план действий, данные о том, какой корпус и к какому часу должен занять такое-то здание, кого следует арестовать, а кого пустить в расход, кто должен войти в состав директории обновленного государства. Кутцнер увильнул от ответа. Кленк стал еще больше нажимать. Кленк изверг каскад слов, Кутцнер — целый водопад. В комнате не

хватало места для их голосов — басового гудения Кленка и слегка гундосой трескотни Кутцнера — и энергичной жестикуляции. Кленк не отставал от Кутцнера, требовал подробных инструкций, и тогда тот с важным и таинственным видом указал на ящик письменного стола. По его словам, в этом ящике лежал разработанный до мельчайших деталей план организации новой Германии. Придет время — и фюрер воплотит его в жизнь. Кленк не поверил ему, но сказать вслух об этом не решился, так великолепен был жест Кутцнера. Он добился только одного: обещания, что ко дню освящения знамен все будет приведено в такой порядок, будто выступление действительно должно состояться.

Кленк развил бурную деятельность. Он рассчитывал, что если все привести в боевую готовность, то даже у дерьмового Кутцнера можно будет вырвать приказ о выступлении. Те вооруженные отряды, которые были не слишком необходимы в сельских местностях, стягивались ко дню освящения знамен в Мюнхен. Командование рейхсвера, благосклонное к «истинным германцам», обнадежило их обещанием дать помещение под вооруженные отряды и снабдить артиллерией. Тыловые части должны были разместиться в городке Розенхейме. Вечером в канун дня освящения знамен было назначено четырнадцать грандиозных митингов. Стены пестрели огромными кроваво-красными плакатами. Пфаундлер и Друкзейс из кожи вон лезли, чтобы достойно оформить день освобождения.

В красивом желтом дворце в стиле бидермейер, навострив уши и подобравшись, сидел доктор Франц Флаухер, новый премьер-министр. В свое время он первый из всего кабинета министров выступил на стороне «истинных германцев». Ему с самого начала было ясно: для дела «патриоты» полезны. Они отбивали людей у красных, держали в постоянном страхе Берлин, их Кутцнер был первостатейным барабанщиком. Но не менее ясно было Флаухеру и то, что Кутцнер стал забывать свое место, слишком пыжился, наливался спесью. Флаухера это не тревожило. У него вообще не было страха перед «истинными германцами». Чем они становились самонадеяннее, тем увереннее он себя чувствовал. Он представил себе Кутцнера, его густо напомаженную, задранную голову. «Господь ожесточил сердце фараоново и был облаком и мраком для глаз его»,— подумал он.

И когда Кутцнер громогласно назначил день съезда партии и освящения знамен, когда кроваво-красные плакаты возвестили о четырнадцати митингах, когда в Мюнхен хлынул поток приезжих со всей Баварии и даже из Северной Германии, Флаухер почувствовал, что его день настал. Побаловались, и

хватит, господин хороший. Поболтали о деревьях и цветочках, и ладно. Деревья, конечно, зацветут, но все будет чуть-чуть иначе, нежели задумали ваши спесивые мозги. Министр Флаухер принял вызов «истинных германцев» и объявил им войну: наложил запрет на митинги под открытым небом.

Ход был рискованный. «Истинные германцы» публично заявили, что освящение знамен все равно состоится, плевать они хотят на запрет. Казалось, кровопролитие и гражданская война неизбежны.

Но выяснилось, что господь бог на стороне Флаухера. Господь бог склонил к нему свой лик и дал ему в руки неотразимый козырь. Козырь этот, в виде весьма содержательной телеграммы из Сан-Франциско, лежал сейчас на письменном столе Флаухера. Там сообщалось, что переговоры г-на фон Грюбера с неким представителем Калифорнийского сельскохозяйственного банка увенчались успехом. Этот американский банк предоставлял г-ну фон Грюберу крупный заем на строительство электростанций, в котором было весьма заинтересовано баварское государство. В те тяжелые для германской экономики времена такой заем был блистательным успехом баварской политики. Имея в запасе подобный козырь, можно было не стесняться.

Флаухер созвал всех министров на заседание. Он и не думал сообщать им о договоре с американцами. О нем знал только министр финансов. Министры говорили, а Флаухер сидел с загадочным лицом. Почти все старались уклониться от какого бы то ни было решения. Потом взял слово министр Себастьян Кастнер. Он сказал, что в такое смутное время необходимо, чтобы власть была сосредоточена в одних руках. Отвечать за все должен один человек, испытанный и сильный,— тут Кастнер посмотрел на Флаухера собачьими глазами.

Флаухер был поражен. О своем могучем козыре он не заикнулся даже преданному Себастьяну Кастнеру. Хорошо все-таки иметь подручного, который так точно угадывает желания хозяина. Кастнер смотрел ему в рот. Остальные шестеро молча выжидали. Флаухер встал, медлительный, массивный, поворачивая ко всем по очереди квадратное лицо.

Заявил: до сего дня правительство проявляло по отношению к господину Кутцнеру и его единомышленникам неслыханное терпение. Но теперь «истинные германцы» открыто грозят насилием. Они заявили: запрещенное освящение знамен состоится во что бы то ни стало, сколько бы войск и полиции ни послало правительство. Если правительство прикажет стрелять — фюрер станет во главе своих отрядов, пусть стреляют в него. Но первый

же выстрел откроет шлюзы, и хлынет алый поток, а что из этого выйдет, будет видно. Он, Флаухер, считает, что это уже слишком. Он считает, что правительство прикажет стрелять, *оно должно* на опыте проверить, что́ последует за первым выстрелом. Он предлагает объявить в стране чрезвычайное положение.

Себастьян Кастнер просиял. Вот наконец тот подвиг, которого он всегда ждал от Флаухера. Гартль недовольно сморщился. Министр финансов хитро сощурился. Министры сельского хозяйства, внутренних дел, социального обеспечения и торговли сидели в глубоком смущении, потрясенные столь грубым требованием насильственных действий. Раздавались неуверенные голоса. Отговорки, сомнения.

Флаухер всех выслушал. Потом сказал, что уже обменялся мнениями с тайным советником Бихлером, с кардиналом-архиепископом, с Берхтесгаденом. Разумеется, закулисных правителей Баварии он поставил в известность насчет телеграммы из Америки. Эти высокие особы одобряют его предложение, сказал он своим коллегам. Те, услышав это, замолчали.

Потом Флаухер поставил вопрос на голосование: двое воздержались, Гартль голосовал против, остальные за предложение Флаухера. Таким образом на основании статьи сорок восьмой, параграфа четвертого имперской конституции и статьи шестьдесят четвертой баварской конституции правительство объявило чрезвычайное положение в той части Баварии, которая лежит по правую сторону Рейна. Доктор Франц Флаухер был назначен генеральным государственным комиссаром.

30

ЖЕЛАННЫЙ ЧАС ФРАНЦА ФЛАУХЕРА

На следующий день к желтому дворцу в стиле бидермейер подъехала машина Руперта Кутцнера. Кутцнер был до основания потрясен спокойным и решительным тоном правительственного указа. Его седовласая мать оказалась провидицей; ему следовало прислушаться к своему внутреннему голосу, следовало дать отпор властной настойчивости Клепка. А теперь придется пустить в ход дипломатию. Надо найти лазейку для стратегического отступления, дабы его гордое знамя со свастикой не показалось людям тряпкой, глупейшей ребяческой забавой.

Генеральный государственный комиссар Флаухер принял Кутцнера. Беседа этих политических деятелей протекала в спокойных, вполне учтивых тонах. Кутцнер был совсем ручной и

смирный, не отрицал, что его помощники переборщили, особенно не одобрял доктора Кленка, клялся, что сам он и не помышлял о насильственных действиях. Раздувшись от сознания своей победы, Флаухер сделал великодушный жест и из четырнадцати митингов разрешил семь. Но на грандиозное освящение знамен под открытым небом наложил запрет. Кутцнер настойчиво и торжественно стал заверять честью и жизнью, что освящение пройдет без единого инцидента. Но на чаше весов был авторитет правительства: Флаухер стоял на своем. Обстоятельно, как учитель ученику, объяснял он свои мотивы фюреру. Тот ничего не желал слушать. Повторял одно и то же, просил, угрожал, молил. После какой-то особенно красиво закрученной фразы вдруг опустился на колено, слегка воздев руки к Флаухеру. И в такой позе снова стал умолять комиссара не портить ему освящения знамен. Так на сцене придворного театра опускался на колени перед королем Филиппом Вторым и молил даровать свободу мысли Конрад Штольцинг в роли маркиза Позы, одного из действующих лиц трагедии немецкого драматурга Шиллера.

Доктор Флаухер пришел в некоторое смятение, когда долговязый Кутцнер так неожиданно опустился перед ним на колено. До сих пор он видел коленопреклоненных людей только в церкви. Ему было не по себе, сидя в кресле, созерцать рослого мужчину в элегантном полувоенном, полуспортивном костюме, который, преклонив колено, смиренно демонстрировал собеседнику широкие ноздри.

— На место, Вальдман! — цыкнул он на таксу, испуганно высунувшую нос из-под письменного стола. Безмерное торжество наполняло сердце генерального государственного комиссара. Он поставил на колени человека, не желавшего признавать угодный господу порядок, он поверг его во прах. Об одном он жалел сейчас — что нет тут Кленка, что тот не присутствует при этом зрелище. И тут в дверь постучали, и вошел министр Кастнер. Кутцнер вскочил с колена и стал стряхивать пыль с брюк. Поздно. Теперь у Флаухера был свидетель его триумфа.

— Мне очень жаль, господин Кутцнер,— холодно, непреклонно, истинно бюрократическим тоном произнес Флаухер,— но эту вашу просьбу я исполнить не могу. Мой коллега,— добавил он, указывая на Кастнера,— целиком разделяет мою точку зрения.

Себастьян Кастнер поспешно кивнул. Кутцнер направился к двери — разговор был исчерпан. Но уйти, ничего не сказав,— нет, это было свыше его сил.

— Боюсь,— проронил он,— что в этот час посеяны зловещие для Германии семена.— Отрывисто, по-военному наклонил голову и вышел. Его последние слова прозвучали скорбно, угрожающе, достойно, но и актеру Штольцингу пришлось бы признать, что ушел он со сцены без всякого блеска.

Победа размягчила Флаухера. Он даже запретил «Обществу свободомыслящих» объявить о докладе известного ученого на тему «Анимизм у папуасов», дабы не обидеть «истинных германцев».

Днем в желтый дворец в стиле бидермейер явился Отто Кленк. Он не был записан на прием, тем не менее Флаухер принял его незамедлительно.

— Чем могу служить, коллега? — спросил он.

— Я думаю, Флаухер,— или, может, вас надо величать «господин генеральный государственный комиссар»? — так вот, я думаю, что ваш пышный указ — всего-навсего красивый жест. Мы нисколько не возражаем против вашего титула, господин генеральный государственный комиссар, но, что касается существа дела, ни на какие компромиссы идти не можем. Съезд партии состоится, освящение знамен состоится.— Кленк сидел в своей обычной грубошерстной куртке, гигант с властными карими глазами; Флаухер, массивный, с квадратным лицом, казался рядом с ним коротышкой. Кленк рассчитывал, что Флаухер вспылит, и заранее радовался. Но тот только оттянул пальцем воротничок — и все. Его невыразительные, в красных жилках глаза спокойно смотрели на несдержанного противника. Он предложил ему министерство юстиции, но этот суетный человек не ударил по подставленной левой ланите.

— Сегодня утром у меня был ваш господин Кутцнер,— сказал он, и торжество придало его хриплому голосу тихую мелодичность.— Он просил меня о том же, что и вы, Кленк. Но есть пределы, которые я не могу преступить, даже когда меня умоляют на коленях.

— Кто это вас умоляет на коленях? — Кленк тоже невольно умерил свой громовой голос; от этого он зазвучал вдвойне угрожающе, так что победоносному Флаухеру стало жутковато. Но тут же он вспомнил о буквах К + М + Б на двери кабинета, вспомнил о своей миссии.

— Было время, Кленк,— храбро сказал он,— когда вы твердили об умеренности.

— Не увиливайте, Флаухер,— проворчал Кленк.— Вас кто-нибудь умолял на коленях?

— Да, кто-то умолял,— подтвердил Флаухер.— Господь поверг высокомерного предо мной во прах. Я преисполнился отцовских чувств к нему. Но позволить ему освящение знамен все равно не мог.

Кленк грубо выругался про себя. Этот Кутцнер, этот болван, это дерьмо! За что ни возьмется, все испоганит.

— Но ко мне вы преисполнитесь братских чувств и не откажете в моей просьбе,— сказал он на этот раз с обычным властным благодушием.

Флаухер решил, что самое страшное позади.

— Я и был исполнен братских чувств к вам,— елейно произнес он.— Быть может, вы припомните, что я предложил вам место рядом с собой. Я всегда был вам добрым соседом, Кленк.

— Значит, освящение знамен состоится? — коротко, как бы подводя итог разговору, спросил Кленк.

— Нет,— еще короче ответил Флаухер. И хотя он знал — надо спокойно сидеть в кресле, но не выдержал. Встал, торжествующий, массивный.

Кленк продолжал сидеть.

— Тем не менее оно состоится,— сказал он.

— Сомневаюсь,— сказал Флаухер.— Думаю, вы от него откажетесь. С вашим Кутцнером у вас ничего не выйдет,— добавил он, хладнокровно взвешивая каждое слово и чуть раздвигая губы в улыбке.

— Должно быть, у вас сильный козырь в руках, Флаухер, иначе вы не разговаривали бы так нагло,— сказал Кленк. Он напряженно ждал ответа. Решил,— если тот сейчас выйдет из себя, распалится, тогда и он даст себе волю, сделает решительный шаг, и плевать ему на дерьмового Кутцнера.

Но Флаухер из себя не вышел. Флаухер остался елейным, таким елейным, что Кленку вся кровь ударила в голову. Флаухер только и сказал:

— Возможно, у меня и впрямь в руках сильный козырь.

Он поглядел на противника, и противник поглядел на него, и, как ни бесился в эту минуту Кленк, он понял, что Флаухер не болтает по-пустому. Теперь встал и он. С высоты своего гигантского роста посмотрел на Флаухера и с тихой угрозой произнес:

— Вы больны манией величия. Я оставил вас тогда на вашем посту, и вы заболели манией величия.

Флаухер больше ничего не сказал. Это был лучший день в его жизни. Ничто не должно было нарушить его благостного, гордого покоя. Зазвучали, все удаляясь, шаги Кленка, им в такт

в душе у Флаухера зазвучал низкий женский голос, которому вторили колокола и скрипки:

О приди, мой час желанный,
Брезжи, день желанный мой!

Зеленый от злости, Кленк помчался к Кутцнеру. Он твердо знал — такое стечение обстоятельств больше не повторится. Если «истинные германцы» не нанесут удара сейчас, не воспользуются для этого освящением знамен, тогда, можно считать, им крышка. Флаухер неспроста так обнаглел — в Рурской области, несомненно, идет какая-то закулисная возня. Он вспомнил тестообразную рожу Пятого евангелиста и снова затрясся от бешенства. Уже тогда, глядя на его физиономию, он понял, что этот тип их облапошит. Утонченный промышленный магнат собирался использовать «патриотов», как некогда римский полководец использовал быков: приказал привязать им горящие пучки соломы под хвосты, чтобы они ринулись вперед и распугали врагов. Но если сейчас спустить «патриотов» с привязи, они, надо думать, ринутся совсем не в том направлении, которое угодно владыкам Рура. И тех, надо думать, ожидает тогда большой сюрприз. И еще неизвестно, господин хороший, кто тогда останется в дураках.

Все так. Но для этого необходима мелочь: немедленный и решительный удар. Распроклятый Кутцнер! Днем и ночью он готов был драть глотку. А когда дошло до дела, захлопнул пасть и наложил в штаны. Теперь, теперь время драть глотку. Даром ему, что ли, деньги платят, даром он, что ли, фюрером считается? Он вошел к Кутцнеру, начиненный злобой.

Но тот заартачился с не меньшей злобой. Весь свой позор, всю горечь унижения перед Флаухером он с истерической яростью обрушил сейчас на Кленка. Он был столь же тверд в своей штабквартире на Шеллингштрассе, как раболепен на Променадеплац перед лицом противника. Кленк стал грозить, что нанесет удар на свой страх и риск. Кутцнер только рассмеялся: кто-кто, а он-то знает, что без него партия сразу скиснет. Кленк заявил, что немедленно прекратит работать на партию. Кутцнер пожал плечами. Но все же стал урезонивать Кленка. К этой угрозе он отнесся серьезно. Кутцнер уважал Кленка и не хотел его терять. Он просил, угрожал, умолял. Говорил, что все руководители партии единодушно считают нынешний момент неподходящим для выступления; даже генерал Феземан согласен на отсрочку. Но Кленк не был согласен. Заявляя, что перестанет работать на партию, он не просто пугал Кутцнера. Кленк поте-

рял веру в успех. На этого жалкого истерика нельзя положиться. Он решил уехать в Берхтольдсцель. Значит, все единодушно стоят за то, чтобы отложить выступление? Что ж, откладывайте, только он, Кленк, умывает руки.

— Quod Siculis placuit, sola Sperlinga negavit[1],— мрачно пробасил он. А так как Кутцнер не был знатоком ни латыни, ни истории, Кленк перевел ему цитату и рассказал, что от участия в Сицилийской вечерне отказался один-единственный городишко Сперлинга; с тех пор в его гербе красуется эта латинская надпись.

В тот же день Кленк укатил в Берхтольдсцель. Хотя Кутцнер и решил отложить день освобождения, отбоя он пока что не бил, собираясь в день освящения знамен устроить нечто вроде генеральной репетиции.

В этот день город с утра пришел в великое волнение. По сигналу тревоги был поднят на ноги 1-й полк «патриотов» численностью около десяти тысяч человек. Пришли в движение отряды «истинных германцев», вооруженные ручными гранатами, пулеметные расчеты, заработал беспроволочный телеграф, приготовились к вылету самолеты. Батарея легких двенадцатисантиметровых полевых гаубиц взяла на прицел пункты, где обычно собирались рабочие. Отряды «патриотов» патрулировали чуть ли не все улицы. Один из таких отрядов, около трех тысяч человек, стоял в полной боевой готовности в Английском саду, неподалеку от увеселительного заведения «Тиволи». Главные силы «патриотов» с утра начали наступление на Обервизенфельд. Еще не было восьми, а они уже овладели батареями и пулеметами мюнхенского рейхсвера, которые были сданы им без всякого сопротивления.

Но баварские власти знали не хуже, чем руководители партии «истинных германцев», что все это — пустое времяпрепровождение, ребяческая потеха. Правительство заранее вызвало иногородние воинские силы. Они охраняли общественные здания, они окружили Обервизенфельд, отрезав его от города и оставив *единственный* путь отступления — к Вюрмканалу. Начиная с восьми утра мюнхенский рейхсвер также прекратил сдачу оружия «патриотам». Полиция конфисковала пушку, переправленную в Мюнхен Оберландским добровольческим корпусом, стоявшим в Тёльце. Боевое орудие выглядело довольно комично во дворе полицейского участка на Этштрассе, где его недоуменно разглядывали зеваки.

---

[1] Одна Сперлинга отвергла то, что пришлось по душе всей Сицилии *(лат.)*.

В центре города бесчинствовали отряды «истинных германцев». Отряд добровольческого корпуса имени Блюхера и Росбаха отбил у рабочих красное знамя, поджег его и под звуки оркестра начал таскать по улицам. Другой отряд схватил двух рабочих и, связав им руки за спиной, поволок по Людвигштрассе. Кроме того, «патриоты» завладели барабаном какой-то рабочей организации и изрезали его в куски. На этом их победы и кончились. Переминаясь с ноги на ногу, стояли главные силы «истинных германцев» возле «Тиволи» и в Обервизенфельде. Ждали. Порою орали: «Хайль!» В полдень сварили себе обед. Солнце начало склоняться к западу, а они все стояли, орали: «Хайль!» — и ждали. Их пыл угасал. В четыре часа пополудни они начали отступление по улицам, оставленным рейхсвером свободными. Нет, успеха они не добились. Пришло время цвести деревьям, но не пришел день освобождения.

Правительство с издевательским великодушием заявило, что так как приказ о запрещении «патриотам» освящать знамена запоздал, то оно готово частично возместить расходы по устройству празднества, а так как устраивал его наторелый и ловкий г-н Пфаундлер, то эти расходы выражались в изрядной сумме.

На собрании руководителей Руперт Кутцнер выступил с речью, в которой изложил положение дел. Он заявил, что генеральная репетиция удалась блестяще. Съезд прошел необычайно успешно, о нем говорили во всей стране. Выслушав эту речь, Кленк немедленно отправил фюреру цветную французскую открытку. На ней была изображена крошечная собачонка, поднявшая лапку у фонарного столба, и рядом — грандиозная лужа. Внизу было написано по-французски: «Нет, вы только подумайте, это все — моя работа!» Кленк предусмотрительно перевел для фюрера надпись на немецкий язык.

31
ПРОСВЕТ В ТУЧАХ

Доктор Гейер написал Иоганне письмо, в котором объяснял, почему, выступая в рейхстаге о положении в Баварии, он ничего не сказал о деле Крюгера. Недавно в печати появился тот самый очерк Тюверлена, такой пронзительный и обжигающе холодный, что после него уже никто из современников не может добавить по поводу этого дела ни единого слова. В приписке, сделанной от руки, Гейер сообщал, что недавно встретил бывшего министра юстиции Кленка. Тот сказал ему, что, пробудь он

еще какое-то время на своем посту, наверняка освободил бы Крюгера из одельсбергской тюрьмы. Приписка кончалась следующими словами: «По справедливости должен сказать, что этому заявлению доктора Кленка я верю. Слишком рано ушел со своего поста Кленк. Слишком рано ушел со своего поста Мессершмидт. Так что вам тоже не везет, Иоганна Крайн».

Иоганна долго сидела и думала над этим письмом; три морщинки прорезали ее лоб. Она прочитала речь Гейера. Прочитала очерк Тюверлена — вслух, громким голосом. Гейер произнес хорошую речь. Нельзя было пронзительнее, холоднее, сильнее написать о деле Крюгера, чем написал в своем очерке Тюверлен. Если эти двое так ничего и не добились, то как могла она, Иоганна, убедить весь мир в невиновности Крюгера?

Этажом ниже завели граммофон, до Иоганны донеслись звуки песенки тореадоров из обозрения «Выше некуда». Да, ей не везет. И это вовсе не попытка оправдать собственную никчемность: статью Жака никак не назовешь никчемной, но ведь и он ничего ею не добился. Часто говорят, что человек рождается везучим или невезучим. Но почему в таком случае Жаку повезло с этой дурацкой песенкой и не повезло с очерком?

Очерк был, конечно, поразительный. Если ей надо было пришпорить себя, сызнова зарядить, ничто так не действовало на нее, как эти холодные, язвительные слова. Она вспомнила, как в то время, когда они жили у озера, Жак вдруг забросил работу над радиопьесой «Страшный суд», ушел в какую-то новую работу, а в какую — она не знала, как потом в лодке прочел ей этот очерк. Надо было быть круглой дурой, чтобы не понять сразу, насколько больше он вложил в дело Мартина, чем все остальные, вместе взятые!

С чего это она взяла, что он ухмылялся во время ее рассказа о болезни Мартина? Какой идиотизм. Но теперь она уже во всем разобралась. Давно пора. Она встала, начала ходить по комнате, радуясь, что наконец разобралась. Тосковала по Тюверлену, по его сильным, в рыжеватом пушке рукам, по морщинистому, голому лицу, похожему на лицо клоуна. Почти не разжимая губ, еле слышно мурлыкала старинную песенку. Так изменилась, что тетушка Аметсридер спросила — что с ней стряслось? Иоганна с жаром принялась рассказывать о Жаке Тюверлене и о его успехах.

На следующий день от Тюверлена пришла телеграмма. Он сообщал, что в ответ на дружественный интерес к электрификации Баварии, проявленный мистером Поттером и подтвержденный займом, баварское правительство выразило готовность ам-

нистировать Крюгера. Не позже чем через три месяца он будет на свободе.

Иоганна была счастлива. Плясала. Рассердилась на тетушку Аметсридер за то, что она недостаточно восторженно приняла новость. Завела граммофон и поставила пластинку «Песенка тореадоров».

Как благородна телеграмма Жака Тюверлена! Ни звука о своей роли, только радостная весть. Так что же это — везение? Случайность? И Жак тут совсем ни при чем? Иоганна так гордилась Тюверленом.

Она позвонила Каспару Преклю. Повесила трубку прежде, чем тот успел подойти к телефону. Телеграфировала Мартину, хотя и знала, что телеграмму ему передадут не раньше, чем министр официально распорядится освободить заключенного Крюгера. Позвонила адвокату Лёвенмаулю и попросила немедленно выхлопотать ей свидание с Мартином. Лёвенмауль еще ничего не знал. Он очень обрадовался, хотя в этой радости и была кислинка, поскольку не он добился освобождения своего подзащитного.

Ночью Иоганна начала разбираться во всей путанице происшедшего. Что она ни делала, все оказывалось ненужным и бессмысленным. События шли своим чередом, словно она ничего и не предпринимала. Почему Мартина выпускают из тюрьмы? Потому что Жак пришелся по душе какому-то американцу. Нет, даже и не поэтому. Его выпускают из тюрьмы, потому что американцу понравилась песенка тореадоров из обозрения «Выше некуда». Тюверлен с полной ясностью растолковал ей, что, не будь этой песенки, вряд ли он познакомился бы с мистером Поттером. Итак: Гесрейтер, Гейер, Гейнродт, Мессершмидт, Кленк, Пфистерер, Катарина, шалопай, претендент на престол Максимилиан, г-н Леклерк — все, что они делали или не делали, не имело никакого значения, все это было ни к чему. И даже пронзительный очерк Жака Тюверлена ничего не решил в ее правом деле. Решили его несколько музыкальных тактов неведомого композитора — Иоганна даже имени его не знала.

Нет, решило его то обстоятельство, что денежный пузырь дал доллары баварскому правительству.

Но не будь этих нескольких тактов, вряд ли он расщедрился бы.

Мысли вихрем неслись и скакали у нее в голове. Все это слишком сложно; без Тюверлена ей не разобраться.

Видит бог, теперь уже невозможно говорить, что Жаку не везет. Да оно и естественно — победу над правительством мо-

жет одержать только такой человек, как Тюверлен, но уж никак не заурядная женщина, например, она, Иоганна Крайн. И если хорошенько подумать, есть какой-то смысл в том, что Жак написал это идиотское обозрение; даже в глупейшей песенке тореадоров — и то есть смысл. И человек рождается везучим или невезучим.

Ее ночное видение — она стоит в ожидании на пустынной дороге, ведущей в Одельсберг,— скоро станет реальностью. Взять ли ей с собой костюм для Мартина? Еще три месяца — и наступит лето, и он сможет надеть серый костюм, в котором его привезли в Одельсберг. А что будет, когда он освободится? В Мюнхене на него все накинутся, как коршуны. Пока не будет покончено с этим Кутцнером, и со свастикой, и с ежедневными беззакониями, Мартину в Мюнхене не место. Придется ей уехать с ним.

Ну, а как же быть с Жаком? В телеграмме нет ни слова о его возвращении. Нехорошо получится, если Мартина выпустят, а Жака в это время здесь не будет. И как сложится ее жизнь, если Жак вернется, когда она уедет?

Ей-то что даст освобождение Мартина? Ведь он стоит ей поперек дороги.

Иоганна пришла в ужас от собственных мыслей. Тут же подавила их. Она радовалась освобождению Мартина. Тщательно, хотя и не без надрыва обдумывала, что надо сделать, чтобы он легче и незаметнее перешел к свободному существованию.

Но пусть Иоганна сразу прогнала те мысли, все же они промелькнули у нее в голове и дошли до сознания. И потом она никогда не старалась скрыть от себя, что они у нее были.

32
DE PROFUNDIS

Напрасно Иоганна ужасалась, думая, как сложится ее жизнь, когда заключенный Крюгер выйдет на свободу. Потому что заключенный Крюгер на свободу не вышел.

Иоганна получила телеграмму Тюверлена днем. Ночью Крюгер никак не мог уснуть. Он лежал на койке, слушал завывание южного ветра за стенами огромного тюремного здания, в подвалах, трубах, дымоходах.

Самые черные дни Крюгера остались позади. Как только Гартль стал министром юстиции, человека с кроличьей мордоч-

кой заверили, что он скоро получит повышение, которого так долго ждал. Фертч весь светился, озаряя лучами счастья и своих «пансионеров». Вернул он и Мартину Крюгеру кое-какие из прежде отнятых льгот.

Во время прогулок среди шести деревьев у Мартина был теперь новый товарищ, часовщик Трибшенер. Часовщика Трибшенера не слишком огорчило, что министр Кленк в свое время отказал ему в помиловании. Густые, пепельного цвета волосы обрамляли по-детски розовую физиономию этого человека, который всем своим видом говорил, что искренне доволен жизнью и примирился с судьбой. Хуго Трибшенер пожил на свете, его уже нельзя было ничем прошибить, вызвать на бунт. Тот, кого прозвали «королем побегов», больше и не помышлял о том, чтобы развлечь читателей газет новым побегом. Всю кипучую жизненную энергию он вложил теперь в свое ремесло, радуясь, что и в тюрьме ему дозволено заниматься любимым делом. Этот розовощекий человек, семеня рядом с серолицым Крюгером, втолковывал ему, до чего приятно так собрать все колесики и пружинки, чтобы они точно сцепились друг с другом, зубчиками вошли друг в друга. Когда старые, ржавые, никуда не годные часы вдруг возьмут да и затикают, тогда, друг любезный, начинаешь понимать, что ты — живая душа. Если в них все запрыгало, зазвякало, зазвонило, а у тебя и рука не дрогнула, и в глотке не запершило, и сердце не зашлось, значит, ты не человек, ты скотина. Он, Трибшенер, починил мюнхенские башенные часы, очистил от четырехсотлетней ржавчины — и вот в ту секунду, когда их стрелки задвигались, ему стало понятно, что есть смысл в жизни. Так-то, друг любезный. Старый император Карл весь мир держал в порядке, а вот часы, как ни старался, не умел держать в порядке, и тут Трибшенер мог бы ему помочь. Соизволили бы наши правители хоть одним глазком посмотреть, как работает Хуго Трибшенер, многое в нашем государстве пошло бы по-другому. В мире должен быть порядок, а если твои часы идут неправильно, порядка быть не может. Ну да, ну да, всем нам в конце концов придется кормить червей, так людям на роду написано, но если ты сделаешь что-нибудь такое, что потом и без твоей помощи будет ходить и ходить, тогда, друг любезный, ты знаешь, что не зря жил на свете. Мартин Крюгер семенил рядом с часовщиком, слушал его, кивал.

Стояла весна. Южный ветер доносил до Одельсберга тонкий аромат Италии. Трибшенеру еще зимой дали починить большие карманные часы — старинные, редкостные, собственность Краеведческого музея,— и он все время возился с ними. Он любил

давать часам имена; эти часовщик окрестил Кларой. Клара была дьявольски строптива, но он ее укротит.

— Еще не успеют зацвести деревья,— добавлял он и смеялся.

Крюгер искоса на него поглядывал: неужели этот человек старше его на двадцать лет?

Итак, заключенный Крюгер не мог уснуть. В камере было нестерпимо жарко. К полуночи станет прохладнее, но в эти часы просто нечем дышать. Из поселка Одельсберг доносился смутный шум. Весной там до глубокой ночи все никак не могут угомониться.

Часовщик Трибшенер, вероятно, укрощает сейчас свою Клару. «В жизни есть смысл, друг любезный». В жизни нет смысла, друг любезный. Да почини хоть миллион испорченных часов, что тебе это даст? Вот, ты смотришь на часы и видишь — прошла минута; но что ты при этом узнаешь? Узнаешь ли, как долго длится минута? Никто этого не знает. Тут вступает в игру, дорогой господин Трибшенер, известная и вам относительность времени.

Я, например, пишу книги. Их просматривает столько-то людей, а потом они решают, какую цену уплатить за картину такого-то и такого-то художника. И, скорее всего, попадают пальцем в небо. Знали бы вы, господин Трибшенер, как всем начхать, правильно ли идут ваши часы.

Что будет, когда он освободится? По-прежнему станет писать книги? Даже и подумать об этом мерзко. Не будь в камере так невыносимо жарко, охотнее всего, пожалуй, он навсегда остался бы здесь. Что произойдет с ним на воле? Можно, конечно, поехать в Россию. Но если бы ему сейчас сказали: «Поезжай в Москву, проедешь ночь, потом вторую и увидишь картину «Иосиф и его братья»,— нет, он и этим бы не прельстился. Можно поехать в Мадрид, пойти в Прадо. Но что такого особенного в картинах Гойи? Краски, размазанные по холсту, вот и все. Дерьмо. В его прошлом нет решительно ничего, что он мог бы связать с настоящим. Что с ним будет, когда он освободится? Повиснет между небом и землей. Тоже одна из новомодных фразочек. Он представил себя висящим между небом и землей и рассмеялся.

Вот, например, Каспар Прекль. В каждом его слове страстная убежденность. И, может быть, он прав. Но какой в этом толк ему, Мартину Крюгеру? Он висит между небом и землей. Есть еще некая девушка, Иоганна Крайн. В ней чересчур много

плоти, мяса. Она широкоскулая, большеногая, руки грубоватые. Она тоже говорила весьма решительно. Но тоже ничего не добилась. Он по-прежнему сидит здесь, несмотря на ее решительные словеса. И зачем только он верил этим словесам? Зачем тратил на нее столько времени? Страшно подумать, сколько женщин он упустил из-за этой Иоганны Крайн. Болван. Что в ней такого особенного?

На сердце тяжесть, дыхание спирает, но это из-за жары. Он заставляет себя думать, о чем придется. Даже если они не выпустят его досрочно, все равно он проведет в Одельсберге еще только одну весну. Большую часть срока он уже отбыл. Теперь вполне можно отсчитывать оставшиеся дни. Их меньше пятисот, так что вполне можно отсчитывать.

Он гордится собой — имена, которые так и не вспомнил, когда сидел в карцере, теперь снова всплыли у него в мозгу. И номера, тогда хаотично пронесившиеся перед ним, теперь стоят стройными рядами. Он устанавливает в две шеренги женщин — в одну тех, с которыми он спал, в другую — с которыми мог бы спать. Выносит приговоры — такая-то красива, такая-то не очень; впрочем, разве существуют некрасивые? Он отдал бы год жизни за самую невзрачную, лишь бы она очутилась сейчас возле него.

За любую, кроме одной. Он горько раскаивается, что спал с ней. Его тошнит от нее. Если ему доведется выйти отсюда, он пальцем до нее не дотронется. Даже в ее сторону не посмотрит.

По отопительным трубам до него доносится приглушенный, еле слышный стук. Это его зовет Трибшенер. Он счастлив. Они затикали. Часы из Краеведческого музея, часы по имени Клара затикали.

Вот и отлично. Поздравляю. Но какой смысл в том, что они тикают?

Он вспоминает, как впервые осознал, что жадно хочет женщину. Она была служанка, толстая блондинка. Он отчетливо видит ее, видит каждое ее движение. Видит, как она сидит на корточках перед печкой, ее туго обтянутый платьем зад. Непонятно, как он мог отказаться от стольких женщин из-за этой Иоганны Крайн.

Он только потому чувствует себя так мерзко, что в камере невыносимая жара. Распирает живот. Чем они сегодня кормили? Суп был не хуже, чем всегда; сушеные овощи такие же, как всегда. Мог бы уже привыкнуть к их жратве. Видно, слишком баловал свои кишки. Скоро будет не так жарко. У него давно не было сердечных припадков. И сейчас припадка не будет. Он

не позволит ему начаться. После полуночи температура станет совсем сносная. Он встает, дышит. Диафрагмой, всей грудью.

В ушах обрывок какого-то музыкального мотива. Должно быть, донесся до него из Одельсберга, но очень неразборчиво. Все-таки жаль, что теперь уже совсем ничего не доносится. Он мурлычет мелодию, звучащую в ушах, еле слышно, почти не разжимая губ — привычка, перенятая у Иоганны. Музыкальные такты незаметно складываются в глупейшую, когда-то модную песенку. В Одельсберге играли песенку тореадоров, но до его камеры она долетала совсем приглушенно, а прежде он ее ни разу не слышал.

Он ходил по камере, делал дыхательную гимнастику, нетрудные упражнения. Стало немного легче. Еще четыреста двадцать семь дней. Если человек выдержал шестьсот шестьдесят девять дней, не окочурится он и в оставшийся не такой уж долгий срок. Первый год самый трудный, это все знают. А сейчас он уже приспособился. В карцер они его во второй раз не засунут. Этого с ним больше не случится. По правде говоря, ему здорово повезло. Мог нарваться на кого-нибудь похуже, чем этот с кроличьей мордочкой.

Не ехать в Испанию? Что за чушь лезет ему в голову. Как выйдет отсюда, так первым же самолетом улетит в Испанию. Он понятия не имеет, как обстоят его денежные дела, но сколько-то можно будет наскрести. Иоганна наскребет. Он встанет перед картинами Гойи и будет смотреть. Заскрипит паркет, но он даже не услышит. Будет впитывать в себя Гойю. Он очень хорошо написал о нем, но нужна спокойная обстановка, чтобы все это отшлифовать. Осталось четыреста двадцать семь дней, а шестьсот шестьдесят девять уже прошли. Четыреста двадцать семь к шестистам шестидесяти девяти — сколько это получится? Он производит в уме сложные вычисления. Нет, так ничего не получается. Он пишет теневые цифры на потолке. Это неплохой способ, когда к нему привыкаешь.

В камере все такая же адская жара. Обычно в это время температура уже вполне сносная. А Иоганна замечательная женщина. Как непосредственно и яростно она негодует, когда что-нибудь не в порядке. Говоря по чести, только благодаря Иоганне он написал книгу о Гойе. Не будет никаких четырехсот двадцати семи дней. Иоганна все сделает, чтобы не было четырехсот двадцати семи дней. Но если он выйдет на волю, например, тридцать первого августа, все его вычисления окажутся неправильными. Какую часть срока он тогда отсидит? Он снова начинает вычислять.

Слышно, как в коридоре усаживается надзиратель. Он припадает на левую ногу, значит, это Покорный. Сегодня ночью дежурит Покорный. Мартин Крюгер прислушивается к тому, как тот зевает, шуршит газетой. Покорный уже старик, скоро выйдет на пенсию. Он старик и тупица, его ничем не проймешь.

Ему, Мартину, только что исполнилось четырнадцать лет, когда он смотрел, как сидит на корточках перед печкой белокурая служанка. Всего слабее в книге о Гойе глава о бое быков. Ее надо всю переделать. Нет, ему и четырнадцати тогда еще не было.

Это не из-за сердца, но все равно ему очень плохо. Если бы вырвало, может быть, стало бы лучше. Он поднимает руки. Вывернув их ладонями кверху, шатаясь, как пьяный, бредет к параше. Господи, как далеко до параши. Идешь, и все конца нет. Сколько это продолжается — три секунды или четыреста двадцать семь дней? Вот когда пригодились бы часы Трибшенера. Время, где жало твое? Трибшенер, где часы твои? Если вырвет прямо на пол, тоже ничего страшного. Но лучше бы добраться до параши. Не то будет всю ночь вонять.

Это не из-за сердца, не из-за сердца, не из-за сердца. Не хочу, чтобы это было из-за сердца. Осталось только четыреста двадцать семь дней, а если все пойдет как надо, то всего двадцать семь дней, а если сорвется, сколько потрачено труда и хлопот. Ужасно у меня расшатались зубы, вот-вот выпадут. Но все номера я вспомнил. Восстановить каталог по памяти дьявольски трудно, а вот я восстановил.

Видите, господин Трибшенер, я все-таки добрался до параши. Еще бы мне не выдержать. Жалко, что мне больше не хочется блевать. Сяду на парашу, отдохну немного. Если сорвется, сколько труда и хлопот. Дышать, спокойно дышать, равномерно дышать. Диафрагмой, всей грудью. Это не из-за сердца. Вдох. Закрыть рот. Выдох. Открыть рот. Это не из-за сердца. Равномерно. Не хочу, чтобы это было из-за сердца. Я выдержу. Диафрагмой, всей грудью. Вдох. Выдох. В себя. Из себя. Равномерно.

Покачивается его тело, покачивается голова. Смешно — тень от головы то закрывает тень решетки на потолке, то снова открывает. Шестьсот шестьдесят девять к четыреста двадцати семи — нет, все еще не получается. Надо начать сначала. Он должен все точно вычислить. Он все точно вычислит. Может ли человек в его положении чего-то добиться, если он не все себе уяснил? Он вычисляет. Вписывает цифры в теневую решетку. Пишет и пишет бескровной рукой. Почему «бескровной»? Он

забыл правильное слово. А врач-то был прав: дело не в сердце. Это не из-за сердца.

Анна Элизабет Гайдер. Он пишет: Анна Элизабет Гайдер. Еще раз: Анна Элизабет Гайдер. Вот кто во всем виноват. И в мелочах, и в главном. Не повесь он ее портрета в Галерее, все было бы в порядке. Отказался бы давать показания во время ее идиотского процесса, все было бы в порядке. Вот кто во всем виноват. А он ни разу не переспал с ней. Какой идиотизм, что он так ни разу и не переспал с ней. Зачем он сидит здесь, на этой вонючей параше, когда он ни разу не переспал с ней? Он дрожит от ярости. Какой он идиот, какой безнадежный, тупой чурбан, что ни разу не переспал с ней. Идиот, идиот, стократ идиот...

Это была последняя мысль заключенного Мартина Крюгера, которую еще можно передать словами. Потом он привстал с параши. Издал странный звук. Может быть, хотел позвать надзирателя Покорного, все равно кого. Но не позвал... Только поднял руки, вывернув их ладонями кверху. Потом грохнулся наземь, наискось, ничком, опрокинув парашу.

Опрокинувшись, она загремела. Надзиратель Покорный услышал шум. Но он был туп, и, так как шум сразу утих, Покорный зевнул еще раз и продолжал сидеть.

Так лежал Мартин Крюгер, выбросив вперед руки, в одной рубахе. Вонючая жижа из параши медленно текла вокруг него, потом и она застыла в неподвижности.

Меж тем пополз слух — может быть, он добрался из Америки,— что заключенного Крюгера скоро выпустят на волю. Это вызвало новую волну интереса к нему. Искусствоведы писали о нем и о его теориях. Женщины извлекали на свет божий его письма. Люди, интересовавшиеся живописью, читали его книги. Некий референт из министерства юстиции ломал себе голову, под каким соусом лучше подать его амнистию. Много людей думало о судьбе Мартина Крюгера, о его истории, о его книгах, много бумажных страниц, много проводов, опутывавших землю, были полны вестями, гипотезами, раздумьями о нем и о его будущем, а тем временем его холодеющее тело лежало на полу в темной камере одельсбергской тюрьмы, беспомощно и немного гротескно выбросив вперед руки, в вонючей жиже из опрокинутой параши.

КНИГА ПЯТАЯ

УСПЕХ

1. Путешествие к полюсу
2. Пусть мертвецы держат язык за зубами
3. Немецкая психология
4. Opus ultimum
5. Маршал и его барабанщик
6. Кориолан
7. Северная хитрость против северной хитрости
8. Самый черный день в жизни Каэтана Лехнера
9. Случайность и необходимость
10. Пари на рассвете
11. Как вянет трава
12. Бык мочится
13. Музей Иоганны Крайн
14. Господин Гесрейтер ужинает на «юххе»
15. Каспар Прекль держит путь на восток
16. Семейство Лехнер выбивается в люди
17. Вы все еще здесь?
18. У Жака Тювердена новый заказ
19. Объяснить мир — значит его переделать
20. Воспоминания Отто Кленка
21. Вмешивается тетушка Аметсридер
22. «Книга о Баварии»
23. Я это видела

1

ПУТЕШЕСТВИЕ К ПОЛЮСУ

Четырнадцатилетний мальчик, уроженец северной страны, прочитал о том, как тяжело пришлось полярной экспедиции исследователя сэра Джона Франклина, как много недель путешественники питались только костями, найденными на покинутой стоянке индейцев, как потом начали варить и есть кожаную обувь. В юном читателе проснулось честолюбивое желание победить такие же трудности. Он был скрытный мальчик. Ни с кем не поделившись своими планами, он с фанатичным упорством стал тренироваться, выжимая из мышц и нервов все, что они могли дать. Он знал, что на плоскогорье неподалеку от его родного города зимой никогда не ступала нога человека. Когда ему исполнился двадцать один год, он в январе пересек это плоскогорье и не умер голодной смертью лишь потому, что обладал неслыханной выносливостью; однажды он примерз к обледеневшему снегу, в который с вечера зарылся для ночевки.

Выносливый, методичный, он набивал себя знаниями, необходимыми полярному исследователю, изучал все, что было известно о морях и о воздухе. Выдержав государственный экзамен, пустился в плавания по самым суровым морям, чтобы проникнуть в малые и большие тайны навигации во льдах. Месяцами терпел голод и холод, болел цингой и постепенно превратился в сурового молчальника, хранил знания и опыт в собственном мозгу, как в банковском сейфе, не радовался людскому обществу, полагался на одного себя.

Не отличаясь щепетильностью в денежных делах, он сколачивает сумму, необходимую, чтобы оснастить первую само-

стоятельную экспедицию. Пересекает Северный Ледовитый океан по трассе, им первым проложенной. Три долгих года тратит на то, чтобы проложить Северо-Западный морской путь — предприятие, которое только ему и оказалось по плечу. Весь мир прославляет этот подвиг. Он сам — больше всех. Неутомимый глашатай собственных свершений, он взвешивает и подсчитывает, насколько его успех больше успехов предшественников и современников.

Окрыленный удачей, он отправляется к Северному полюсу. Но его опережает другой. Не колеблясь, он поворачивает назад. Делает попытку добраться до Южного полюса. Но и тут впереди другой. Он вступает с ним в чудовищное соревнование. Северянин хладнокровно пускает в ход весь накопленный и тщательно обдуманный опыт. Нет ли в снаряжении соперника какого-нибудь просчета, которым можно воспользоваться? И он находит такой просчет, главный просчет. Тот взял с собой лошадей, а он все строит на выносливости и мясе собак — они и средство передвижения, и одновременно пища. Тот со своими пони гибнет, а он возвращается с победой. И так как соперник потерпел поражение и мертв, он громогласно восхищается им. Но не забывает подчеркнуть, что догадался взять с собой собак и поэтому победил. Тут дело в заслуге, а не в каком-то везении.

Проходит немного времени — и его осеняет блестящая, важнейшая в его жизни идея: добраться до полюса, пользуясь новым, куда более совершенным средством сообщения — воздушным кораблем. Попытки осуществить эту идею и раздобыть воздушный корабль для полета на полюс сводят его с неким южанином. Завоевав успех, северянин стал еще суровее, надменнее, сумрачнее, жестче, своевольнее. Его лицо изрезано глубокими морщинами, как ствол старого оливкового дерева, рот всегда кривится. Нет, он малопривлекательный человек, с этим не стала бы спорить и родная мать. Почти всех людей он считает презренными тварями, многих ненавидит с каким-то ледяным пылом, никого не любит, от всех требует безоговорочного поклонения. Южанин, с которым он теперь связан общим делом, во всём ему противоположен: обаятелен, гибок, беспечен, по-мальчишески верит в свою звезду, неразумно кичится, когда на его долю выпадает успех, впадает в отчаянье, когда постигает неудача.

Живой, всех к себе располагающий южанин и сумрачный, несгибаемый северянин принюхиваются друг к другу. Каждый считает, что другой плохо пахнет. Оба одержимы яростным тще-

славием, оба властолюбивы и не гнушаются никакими средствами. Они вступают в переговоры и сразу начинают препираться, но к полюсу, к славе только *один* путь, и он ведóм лишь северянину. И есть только *один* воздушный корабль, оснащенный для полета к полюсу, и он в руках своего строителя — южанина. Южанин сконструировал этот корабль, он отличный пилот. Северянин осилил Северо-Западный морской путь, он знаток Арктики и Антарктики. Очень отважен должен быть тот, кто, не пройдя в жизни и двух шагов на лыжах, теперь вверяет свою судьбу другому и отправляется с ним в страну вечного льда. Очень отважен должен быть тот, кто, ни разу до этого не поднявшись в воздух, теперь вверяет свою судьбу другому и на его воздушном корабле летит в неведомую пустыню, где малейшая ошибка грозит смертью. Одинаковая нужда друг в друге, одинаковая цель связали воедино этих столь разных людей. Каждый хочет, чтобы успех достался ему одному. Каждый надеется отнять у другого его долю.

И подумать только! — воздушный корабль достигает цели. Он пролетает над полюсом.

Кто же из двоих добился успеха?

Северянину принадлежит сама мысль о воздушной экспедиции, определение и разработка маршрута. За его плечами тридцать лет труднейших, систематичнейших полярных экспедиций. Другой полгода назад знал о полюсе одно: там холодно. А теперь ничтожный подручный надеется захватить часть славы, может быть, даже ее бóльшую часть. Северянин рычит, обзывает другого пустышкой, бабой, истеричным хлыщом, обуянным ребяческой манией величия. Мир слушает доводы северянина, находит их основательными, дарит его неприязненным восхищением. Но и все. Мир его не поддерживает, не дает ему средств на новые деяния. Впрочем, северянин сам ставит себе палки в колеса. Он предусмотрителен до педантизма. Его правило — заранее учесть любую, могущую возникнуть ситуацию, исключить возможность случайностей. А это стоит немалых денег, стоит очень больших денег. Так или иначе, надменному, угрюмому человеку безотказно платят славой, но средств на новую экспедицию не дают.

Южанину везет куда больше. Он посмеивается над северянином, над этим мрачным, невыносимым, патологически эгоистичным болваном. Итак, всю славу полета над полюсом он желает приписать одному себе? Господи, ну как тут не смеяться? Даже несмышленому ребенку ясно, что пролететь над полюсом без пилота невозможно, а северянин знает об

авиамоторе одно: он гудит. Южанину не мешают смеяться. Ему симпатизирует весь мир, он такой блестящий человек.

Да, он умеет блистать в любом положении. Северянину он запретил брать с собой шубы — нельзя перегружать корабль. Но сам тайком везет с собой военный мундир — у себя на родине он имеет звание офицера. На обратном пути, уже перелетев полярный круг и вновь оказавшись в цивилизованном мире, члены экспедиции выходят из корабля на аэродром в затрапезной, но удобной одежде, а он внезапно появляется в великолепном мундире. Маленькая девочка из толпы, встречавшей путешественников, подносит цветы не насупленному северянину, некрасиво и простецки одетому, а неотразимому офицеру.

Не только сердце ребенка — к нему летят сердца всех его легко воспламеняющихся соотечественников. Он делает головокружительную карьеру, совсем молодым произведен в генералы. И так как он снова собирается лететь к полюсу, его страна строит ему воздушный корабль — в точности такой, какой он заказывает. Высота корабля — двадцать пять метров, длина — сто пятнадцать метров, емкость — девятнадцать тысяч кубических метров, четыре гондолы. Баки вмещают горючего на семьдесят пять часов, моторы — семьсот двадцать лошадиных сил. Обо всем остальном южанин не слишком заботится. Он не корпит над книгами о снеге, льдах, зиме. Разве у него не лучший в мире дирижабль для полета к полюсу? Не самый надежный экипаж, не самая совершенная аппаратура? Он верит в свою звезду.

Почетный караул, перезвон колоколов, музыка. Его воздушный корабль летит. Всего две посадки, потом третья — уже на Крайнем Севере. Остается последний, решающий бросок. Южанин сообщает по радио затаившему дыхание миру, что он на пути к полюсу. Вот он уже над Гренландией, миновал Гренландию. Радирует, что через двадцать минут будет над Северным полюсом.

Он над полюсом. Два часа подряд кружит над белой влекущей пустыней. Из граммофона льется гимн его страны. На полюс сброшен флаг его страны и огромный, освященный папой крест. Южанин сообщает по радио своему королю, папе, диктатору, что с божьей помощью достиг полюса. Да здравствует его страна!

Северянин сидит в своем родном городе на отлично оборудованной радиостанции, и глаза у него еще непроницаемее, искривленный рот сжат еще крепче обычного. Слушая радио, он

представляет себе, как его соперник, этот жалкий невежда, достигает полюса, как кружит над ним, как весь мир восхищается своим любимчиком. А он во имя той же цели потратил бессчетные годы, полные упорного труда, бессчетные ночи, полные смертельных опасностей. Теперь его деяния обесценены, слава затоптана. Без всяких усилий, почти не готовясь, расточая, как фигляр, улыбки и поклоны, другой добивается того, к чему всю жизнь стремился он.

Будь это его дирижабль! Как обдуманно, тщательно, усердно готовил бы он экспедицию. Тот, его соперник, мало чего стоит и как пилот. Он сразу понял это, почувствовал безошибочным, глубинным чутьем ненависти. Слишком беспечно пустился тот в путь, слишком беспечно кружит надо льдами, ничего о них не зная. Но на стороне того везенье. На стороне того внешность, пленившая весь мир, великолепный воздушный корабль, великолепные механизмы, великолепная аппаратура. У *него* выносливость и знания, у того — дирижабль и везенье.

Он сидит на радиостанции и напряженно слушает. Он мужчина, у него хватит духу до конца выслушать сообщения о том, как повезло его сопернику. Радист передает, что дирижабль взял курс на Большую Землю. Ну, разумеется, все идет как по маслу. На борту все здоровы. Туман, это верно, но подумаешь, велика важность. Туман сгущается, плотные слои тумана. Надо полагать, радист соперника слегка сгущает краски. Встречный ветер, плохая видимость. Так что, молодой человек, не все идет как по маслу, но на твоей стороне беспечность, слепое легкомыслие, везенье. Вернешься на Большую Землю как ни в чем не бывало. А я все-таки дослушаю, дождусь, пока ты вернешься. Он сидит, ждет, хочет испить чашу горечи до последней капли.

Так, так! Трудности возрастают. Не в порядке руль высоты. Дирижабль дрейфует в сплошном тумане. Один мотор отказал. Радист успеваст еще раз сообщить — на борту все здоровы. И больше уже ничего не сообщает.

Северянин пришел на радиостанцию ранним вечером. Теперь ночь на исходе, персонал трижды сменился. Он весь окостенел от долгого сидения, не чувствует голода, продолжает сидеть и ждать известия: соперник вернулся в полном здравии.

Полдень. Никаких известий. Может быть, дирижабль дрейфует в тумане, может быть, совершил вынужденную посадку, может быть, вышла из строя рация. Так или иначе, сегодня, видимо, тот уже не вернется. Северянин встает, окостенелый

после стольких часов неподвижного сидения, с трудом разгибает спину, идет домой.

Назавтра в эфире по-прежнему молчание. У южанина горючего на семьдесят пять часов. Прошло пятьдесят часов, шестьдесят, прошел семьдесят пятый час. Дирижабль пропал без вести.

Проходят дни, проходят ночи. О южанине никаких известий. Из оставшихся в живых северянин теперь единственный, кто на воздушном корабле пролетел над Ледовитым океаном.

Проходят дни, проходят ночи. И вот заговорила рация южанина. Его дирижабль взорвался, он с немногими оставшимися в живых членами экипажа дрейфует на льдине в ста пятидесяти километрах от мыса Северный.

Весь мир в лихорадке: как спасти южанина? Сколько времени он еще продержится? Не расколется ли льдина? Есть ли у него запас продуктов? Куда относит льдину? Шлют на помощь суда, самолеты.

Родина северянина с надеждой глядит на него, весь мир глядит на него. Правительство его страны обращается к нему с просьбой помочь потерпевшим аварию. Если не он, то кто спасет погибающих?

Он привык к скрупулезно-тщательной подготовке, привык долго вычислять, какой момент следует считать самым удачным для начала экспедиции. Все, им достигнутое, достигнуто благодаря предусмотрительности, а никак не везенью. И вот он должен вылететь не сегодня завтра на спешно доставленном и наскоро оборудованном для поисков самолете. Но ведь он — первооткрыватель, а слава обязывает. И какое это будет сумрачное торжество — подобрать на свой самолет этого умника-разумника, который возмечтал, что он равен ему, что превзошел его! Северянин соглашается лететь. Фотографы запечатлевают его в ту минуту, когда он садится в самолет,— рот у него, как всегда, кривится, глаза ничуть не смягчились.

Это — последняя его фотография. Он не подобрал соперника на свой самолет. Он не вернулся.

Вернулся его соперник.

Тому пришлось нелегко. Нога у него была сломана, он неподвижно сидел на дрейфующей льдине, окруженный членами экипажа, считавшими его виновником их несчастья, и смотрел в глаза надвигающейся смерти. Единственный из его спутников, имевший опыт полярных путешествий, погиб. Решил вместе с двумя другими добраться по льду до твердой земли. Где-то в пути не то замерз, не то умер с голоду, не то был

съеден своими товарищами, этого никто не знал. Зато знали, что южанина спасли раньше, чем всех остальных, и он — капитан экспедиции! — согласился на это, что он — виновник гибели северянина и восьмерых других, что оставшиеся в живых своим спасением обязаны ледоколу страны, которая и в культурном, и в политическом отношении была жесточайшей противницей его родины.

Он первый пролетел над Арктикой на дирижаблях, им сконструированных, построенных, ведомых. Всего несколько недель назад весь мир пел ему такие дифирамбы, которых он не заслужил, которых никогда не слышал северянин. Теперь он стал во всеобщем мнении трусом, позорищем своей страны, достойным осмеяния и ненависти.

Другой погиб, погиб из-за него, стремясь спасти его. А он выжил, он был единственный из живых, кто провел воздушный корабль над Арктикой. Но велик был другой, а он лишь смехотворен; даже родина — и та отреклась от него.

2

ПУСТЬ МЕРТВЕЦЫ ДЕРЖАТ ЯЗЫК ЗА ЗУБАМИ

В семь утра заключенные Трибшенер и Ренкмайер были вызваны явно растерянным надзирателем к старшему советнику Фертчу. Человек с кроличьей мордочкой кусал мелкими гнилыми зубами губу, волосики, торчащие у него из ноздрей, вздрагивали.

— Должен сообщить вам печальную весть,— сказал он.— Ваш товарищ по заключению Мартин Крюгер сегодня ночью тихо опочил.

Леонгард Ренкмайер бессмысленно вытаращил водянисто-голубые глаза. Хуго Трибшенер сказал:

— Быстро бедняга отправился кормить червей. Только вчера поздравил меня с тем, что Клара затикала.

— Он уже сколько времени жаловался, что ему нехорошо,— сказал Леонгард Ренкмайер.

Хуго Трибшенер подтвердил:

— Да, у Крюгера весь механизм разболтался.

При этих словах сидевший в углу человек дернулся. Они его сперва не заметили. То был доктор Гзель. Его подняли с постели, но он уже мог только констатировать смерть заклю-

ченного номер 2478. И вот он сидел в кабинете Фертча, небритый и нечесаный, в незастегнутом жилете, в криво повязанном галстуке.

Фертч слушал, как товарищи Крюгера, сами того не подозревая, обвиняют врача, и радовался. Но это была лишь капля меда в огромной бочке дегтя. Он получил тринадцатый разряд. Оставались считанные недели до того дня, когда он сдаст эту распроклятую тюрьму своему преемнику и уедет в Мюнхен. Там еще несколько лет будет занимать какую-нибудь пристойную должность, а потом наступит обеспеченная старость, облагороженная почетом и пенсией по высшему разряду. И опять, в который раз, все повисло на волоске. Он слышал, что вопрос об амнистии Крюгера решен, что это дело дней. Надо же, чтобы так не везло, чтобы этот тип подох, пока он, Фертч, все еще начальник тюрьмы. Он прямо кожей чувствовал, как из всех щелей огромного здания к нему ползут боязливое недоумение, упреки, возмущение, ликующее злорадство, торжествующая ненависть. А в углу, растерянный и угрюмый, сидит этот кусок дерьма, этот невежда Гзель. Злобно косясь в сторону врача, Фертч отрывисто бросал ему короткие, полные сдержанной ярости замечания.

— Очевидно, этот Крюгер вовсе не был симулянт,— сказал он в пятый или шестой раз.

Мертвец лежал на койке, небритый, рука у него свешивалась. Фертч понимал, что посещения посторонних неизбежны, и решил, что все это никуда не годится. Трун не надо переносить — здесь он у себя дома, да и голые безмолвные стены придают всему какое-то достоинство. Но пусть его укроют приличным одеялом, уложат как следует, хорошенько побреют. Немедленно привели парикмахера из заключенных. Но он был трус каких мало, боялся покойников. Пришлось пообещать, что до конца недели ему ежедневно будут выдавать по кружке пива. Когда он немного повернул голову умершего, чтобы побрить вторую щеку, в горле у того заклокотало. До обморока перепуганный парикмахер уронил бритву и удрал. Его долго улещивали, пока он наконец не согласился добрить с условием, чтобы его ни на минуту не оставляли одного.

Иоганне послали телеграмму. К полудню она уже была в Одельсберге. И вот она наедине с покойным. Приблизив к нему широкоскулое лицо, пристально смотрела на него. Им многое надо было выяснить. Она знала — если не удастся выяснить сейчас, то уже не удастся никогда, и ей до конца жизни придется сидеть в незримой клетке. Стоя вплотную к койке, она

вглядывалась в желто-серое лицо, окаймленное красным одеялом. Оно было чисто выбрито, это они проделали отлично. Но мало что выиграли — лицо не стало смиреннее. Нет, черт бы их всех побрал, оно не было благожелательно. Иоганна поняла — ей будет нелегко все объяснить этому человеку.

До сих пор ей не позволяли навестить его в камере, и, представляя себе жилье Мартина, она считала, что там очень холодно. Теперь ее поразило, как там было жарко. Да, тюрьму топили на совесть, в трубах что-то урчало. Иоганна внимательно оглядела камеру, оконце, забранное снаружи железными прутьями,— пять вертикальных, два продольных. Стены — бледно-зеленые внизу, беленые сверху, дырки от вытащенных гвоздей. Термометр, пресловутая белая параша. В углу четыре брошюры. Она взяла одну — руководство для вкладчиков сберегательных касс — и машинально перелистала. На столе лежал ломтик хлеба — уборщик-заключенный не решился его забрать. Иоганна подержала ломтик в руке: он был очень черствый.

Двадцать два месяца, шестьсот семьдесят дней — она точно сосчитала в машине — прожил здесь этот человек. За шестьсот семьдесят дней он, должно быть, изжил здесь все, каждый кубический сантиметр маленькой камеры, где ей уже через минуту стало невмочь. Мартин всегда был жаден до новых впечатлений. Здесь новых впечатлений не было. Может ли человек жить, не получая ежедневно хотя бы одного нового впечатления?

Он один из крупнейших историков искусства, с него, разумеется, снимут маску. Но она и без маски наизусть знает все в этом лице. До последнего своего вздоха будет помнить каждую его клеточку. Волосы коротко острижены, и все равно видно, что они уже не черные и блестящие, а с проседью и тусклые. Мясистый нос желт и карикатурно велик, от носа ко рту залегли глубокие складки. Губы сжаты в тонкую полоску. Лицо большое и словно бы обмякшее. Но не надо заблуждаться: с этим человеком так просто не договоришься. Особенно злобно-угрюм широкий, низко заросший волосами лоб. Жесткое лицо. Покойник не согласен ни на какие сделки.

Вот если бы увидеть его глаза. Если бы это лицо освещали серые, живые глаза, все сразу стало бы по-другому. Она изо всех сил пытается представить себе прежнего Мартина. Тот любил разговоры и споры, выяснения отношений, патетические сцены. Но нет больше громкоголосого, впечатлительного человека, осталась только жесткая, желто-серая, недобрая маска.

Она должна всмотреться в нее, должна подойти еще ближе, и вот маска надвигается на нее, такая же тяжелая, горячая, перехватывающая дыхание, как тогда сырой гипс у нее на лице. Она словно парализована, словно в оковах, ей как будто предъявлен гигантский счет, с которым уже никогда не расплатиться. Иоганну охватывает холодная ярость. Она не позволит снять с него маску. Пусть это желто-серое лицо бесследно исчезнет. Пусть и он, и его лицо сгорят в огне. Но Иоганна понимает,— ничто от этого не изменится. До конца жизни ей будет казаться, что желто-серая, жесткая маска надвигается на нее, застилает глаза, затыкает рот и нос.

Лихорадочно пытается Иоганна вспомнить, была ли у нее хоть какая-то возможность сообщить Мартину, что ему уже не придется сидеть четыреста двадцать шесть дней в этом зеленоватом тюремном склепе, что теперь ему осталось потерпеть самые пустяки. Да, такая возможность у нее была, но не хватило доброй воли, но помешали гордыня и упрямство. Достаточно было бы напрямик поговорить с Тюверленом перед его отъездом. В тот день, когда Мартин рассказывал ей о чувстве уничтожения, она как будто пережила его сама. Другие — нет, но она пережила. Достаточно было бы поговорить с Тюверленом. Не он виноват, виновата она, она, она.

Смерть есть смерть. И судебному делу Крюгера подведен итог. И пересмотру этого дела уже не бывать. И осуждена Иоганна Крайн.

Потом в конторе ее стали умасливать Фертч и Гзель. Врач твердил, что angina pectoris почти не поддается раннему распознаванию, да и распознанная, она неизлечима. Иоганна молчала, глядя на них потемневшими серыми глазами, прикусив верхнюю губу, олицетворение ледяного гнева. Всю дорогу в машине, подпрыгивая на ухабах, она повторяла: не терять самообладания, держать себя в руках. Фертч, пытаясь скрыть неловкость, без умолку говорил. Произносил затверженные, затасканные фразы. На разные лады их варьировал. Сказал, что после умершего осталось много рукописей — солидное литературное наследство, как он выразился. Доктор Гзель снова стал излагать свои теории насчет angina pectoris, Иоганна по-прежнему молчала, глядя прямо в глаза тому, кто говорил в эту минуту. Наконец, ни словом не ответив на множество сказанных ей слов, точно они и не были произнесены, заявила, что хочет возможно скорее забрать труп из тюрьмы. И еще попросила позволения взять со стола в камере ломтик хлеба. Когда она уехала, Фертч и Гзель облегченно вздохнули.

Смерть историка искусства Крюгера произвела удручающее впечатление за границей. Уже не в первый раз в немецкой тюрьме погибал человек с именем, погибал при обстоятельствах, компрометировавших в общественном мнении тюремного врача. Лига защиты прав человека выступила с официальным заявлением, в котором обвиняла доктора Гзеля в преступной небрежности, приведшей к смерти его пациента; многочисленные левые организации поддержали это заявление. Заключенные одельсбергской тюрьмы отказались впредь прибегать к его услугам. Тогда он сам потребовал расследования обстоятельств смерти заключенного Крюгера. Дабы пресечь разговоры и слухи, прокуратура распорядилась произвести вскрытие трупа. Его производил компетентный судебный врач. Он засвидетельствовал, что самый опытный медик не мог бы ни предусмотреть, ни предотвратить смерть упомянутого Крюгера. После чего прокурор прекратил дело.

Баварское правительство относилось с полным хладнокровием к этой шумихе. Оно давным-давно привыкло к нападкам на свой судебный аппарат. Договор с калифорнийским сельскохозяйственным банком был подписан. С точки зрения документации, к смерти Крюгера не придерешься. Министр юстиции Гартль был просто счастлив. Из-за американского займа ему чуть было не пришлось амнистировать человека, которого он же и засудил. А сейчас его приговор, можно сказать, подтвержден самим небом, самим всевидящим провидением.

«Перст божий»,— думали и присяжные, когда-то вынесшие приговор Крюгеру: учитель гимназии Фейхтингер, владелец перчаточной лавки Дирмозер. Они вспоминали, как нагло и непочтительно держал себя на суде обвиняемый. «Больное сердце»,— повторял почтальон Кортези и старался подсчитать, сколько почтальонов страдают этим недугом из-за постоянных хождений по лестницам.

Решение Иоганны кремировать покойного натолкнулось на препятствия. Церковные власти, ссылаясь на Библию, требовали, чтобы усопших предавали земле, а не огню, и в этом их поддерживало правительство. Иоганну обязали представить письменное распоряжение Крюгера или хотя бы данное под присягой свидетельство двух человек, что Мартин Крюгер при них изъявлял желание быть кремированным после смерти. Каспар Прекль никогда не слышал от покойного о таком его желании, но немедленно дал Иоганне свидетельство. Кого же еще могла она попросить об этом? Без долгих размышлений

обратилась к Паулю Гесрейтеру. Тот был очень удручен вестью о смерти Крюгера. В свое время он принял участие в его судьбе, так что столь внезапная и прискорбная развязка дела была до некоторой степени его личной неудачей. Он обрадовался звонку Иоганны. Г-н Гесрейтер был знаком с Крюгером только шапочно и, разумеется, понятия не имел, как этот человек хотел, чтобы его хоронили, тем не менее сразу же подписал скрепленное присягой свидетельство.

Левые организации пожелали принять участие в похоронах Крюгера; к ним присоединились многие музеи и общества поощрения искусств, как немецкие, так и иностранные. Отстранились только мюнхенские галереи, высшие учебные заведения и официальные организации. Начальник полиции издал приказ, смысл которого заключался в том, что он не допустит превращения похорон в публичную демонстрацию. Прошел слух, что некий ответственный правительственный чиновник бросил фразу: «Пусть мертвецы держат язык за зубами».

Иоганна поехала на Восточное кладбище, сопровождаемая Каспаром Преклем и тетушкой Аметсридер. Улицы были запружены народом. Многочисленные полицейские отряды патрулировали мосты — Людвигсбрюкке, Корнелиусбрюкке, Рейхенбахбрюкке — и прилегающие к кладбищу улицы.

Иоганна, вся в черном, с неподвижным смугло-бледным лицом, с прикушенной верхней губой, стояла в большом приемном зале кладбищенской конторы. Там было битком набито людьми. Перед Иоганной мелькали лица, венки, лица, венки. Она стояла, застывшая, окаменевшая. Речи, возложение венков. Иоганна глядела на людей, слушала речи. Стояла все такая же застывшая, ни к чему не причастная. Когда люди взглядывали на это широкоскулое неподвижное лицо, им становилось не по себе.

А он лежал, и на нем лежала груда цветов,— хозяева цветочных магазинов отлично заработали в этот день. Всякие знаменитости произносили речи — наверное, они тщательно к ним готовились. Все говорили о том, как много сделал покойный, о его книгах, о его трудах. Совсем мало — о его трагическом конце. И никто ни слова не сказал о том, как несправедливо с ним поступили: это ведь было запрещено. «Пусть мертвецы держат язык за зубами»,— приказал некто. Иоганна стояла, смотрела, слушала, она ничего не видела, ничего не слышала. «Пусть мертвецы держат язык за зубами». Она была полна негодования. Возмутительно, что кто-то смеет отдавать такой приказ.

Этого нельзя терпеть, это необходимо изменить. Она стала думать, что тут можно сделать. Словно человек, который во сне пытается решить задачу и не может, но, твердо зная, что любой ценой должен решить, изобретает тысячи способов и не успокаивается на тысячном, так Иоганна, пока произносились речи и возлагались венки, напрягала все свои умственные способности, выворачивала наизнанку мозг, стараясь придумать, как же ей добиться того, чтобы мертвый заговорил.

Люди произносили речи, возлагали венки, пели. Иоганна думала — это будет совсем не просто, это будет дьявольски трудно, но я обязана добиться, чтобы он заговорил. Венки, речи. Обязана добиться, твердо сказала она себе. На этот раз мертвец не станет держать язык за зубами. Она не допустит этого, вот увидите, господа Гартль и Флаухер, он заговорит.

Когда гроб вынесли и люди понемногу стали расходиться, Иоганна обнаружила, что на похоронах присутствуют доктор Гзель и старший советник Фертч. Да, ни секунды не сомневаясь в неколебимости своего положения и в своей невиновности, они решили продемонстрировать, что им тоже известны правила хорошего тона. При жизни заключенного Крюгера они уделяли ему больше внимания, чем того требовал их служебный долг. Теперь тело его должно было превратиться в пепел — как же они могли пропустить такую церемонию?

В смерти Мартина Иоганна винила себя. Не притворялась перед собой, призналась в своей вине желто-серому лицу, когда была с ним наедине. Нет, она не убегала от ответственности, все последствия брала на себя. Но этот гнус Фертч знал о болезни Крюгера, она вовремя его предупредила, и надо было быть бесстыжим наглецом, чтобы явиться сюда, и она слишком долго сдерживалась, и больше не желала. Когда она подошла к ним, в ее лице под черной шляпой без вуали не было ни кровинки. Она взглянула на доктора Гзеля, но не сказала ему ни слова. Потом посмотрела на человека с кроличьей мордочкой, посмотрела прямо ему в глаза и сказала негромко, но отчетливо:

— Вы негодяй и подлец, господин Фертч.

Кругом стояло много людей, они смотрели на нее, слышали ее слова. Человек с кроличьей мордочкой что-то забормотал.

— Замолчите,— сказала Иоганна. Потом отчеканила так, что услышали все:

— Вы мерзавец, господин Фертч.

3

НЕМЕЦКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Пробудь американец на четыре недели меньше в России, поговори он с Жаком на четыре недели раньше — все было бы в порядке, Мартин Крюгер остался бы жив и вышел бы на свободу. Поговори с ней Жак перед отъездом — все было бы в порядке, Мартин вышел бы на свободу. Не повесь он автопортрета Анны Элизабет Гайдер в Галерее, не оккупируй французы Рур, не организуй кутцеровские ослы параллельного правительства, не слети министр Кленк со своего поста, не будь министр Мессершмидт вынужден подать в отставку на двадцать шесть дней раньше назначенного им срока, имей кто-нибудь возможность предотвратить хотя бы одно из этого множества событий — все было бы в порядке, Мартин вышел бы на свободу. В чем смысл этих событий,— и счастливых, и роковых?

Все, что она делала, оказалось ненужным. Но не делай она ничего, не произошло бы того, что помогло Мартину. К несчастью, ему ничего не помогло. Но только потому не помогло, что у него истощились силы. Нет, потому, что *она* приложила недостаточно сил, проявила недостаточно настойчивости. Но разве до всей этой истории она не говорила Мартину, чтобы он держался подальше от Анны Элизабет Гайдер? У нее тогда было правильное чутье, это у *него* не хватило чутья.

Бессонными ночами Иоганна вела спор с мертвым Крюгером. Она стояла в тесной камере, в трубах отопления что-то урчало, она добивалась ответа от серо-желтого лица. Старалась убедить безжизненный труп, вымогала подтверждение, что не она виновата в его плачевном конце. Но серо-желтое лицо застыло, на нем было все то же выражение непримиренного покоя.

Дело было не в ней и не в нем. Дело в том, что любой человеческий поступок, самозабвенный или вяло-равнодушный, противоречащий натуре того, кто его совершил, или ей соответствующий, по самой своей сути всегда слеп, он просто один из тридцати шести номеров рулетки. И невозможно предугадать, благотворен он будет или зловреден.

Шаги, предпринятые Иоганной, не были полезны, не были вредны, они были нейтральны, безразличны, безрезультатны. Не сделай она их, ничего бы не изменилось. Она обивала пороги законников, судей и адвокатов, если надо — говорила правду, если надо — лгала, завязывала претившие ей «светские

связи», вываливалась в грязи, когда, по ее мнению, это могло сослужить службу, умоляла и осыпала упреками официальных и закулисных правителей страны, делала все, что только возможно сделать, но механизм был сильнее, чем она, машина не прекращала своей работы. Но так как Жак написал для г-на Пфаундлера обозрение, а композитор, чье имя сй было неизвестно, сочинил для этого обозрения популярную песенку, а проезжему денежному пузырю эта песенка пришлась по вкусу, и болтовня Жака ему тоже пришлась по вкусу, а Жаку пришлось по вкусу ее широкоскулое лицо и вздернутый нос — в результате всего этого Мартин чуть было не вышел на свободу. Чуть было — но все-таки не вышел. Тем не менее этот композитор, этот американец, этот Жак без всяких трудов и усилий добились бóльшего, чем она, столько думавшая о Мартине, прилагавшая столько месяцев так много усилий. С одной стороны невезение, с другой — удача: при чем же тут вина?

Но все равно вина была. Существовал такой счет, где успех или неуспех ничего не значил. Значили только силы и старания, вложенные человеком в свои действия. Пусть благоразумные люди твердят — Мартин Крюгер умер оттого, что судопроизводство никуда не годится, а условия отбытия наказания варварские. Пусть благоразумные люди твердят — Мартин Крюгер умер оттого, что состав крови и сердечная мышца у него были такие-то, а не иные. Иоганна знала — он не умер бы, вложи она в свои действия больше сил и воли.

Тем временем с запада на большом океанском пароходе возвращался из Америки писатель Жак Тюверлен. Незадолго до отъезда он узнал о смерти Мартина Крюгера. Как тут было не задуматься о судьбе, случайности, успехе?

Жак Тюверлен перечитал свой очерк о Крюгере. В нем он раскрыл связь между этой судьбой и социальными условиями времени, но не исключил и возможности более глубокого толкования. Под всем этим он подписался бы и сейчас, когда Мартин Крюгер умер. В своем поведении по отношению к нему он при самом тщательном анализе также не находил ничего предосудительного. Этот человек был ему неприятен. Их судьбы пересеклись, но он не отстранился, напротив того, попытался развязать эти ненужные отношения самым пристойным образом. Вел с покойным честную игру.

Не в его обычае было предаваться бесполезным, пустым сожалениям. И все-таки теперь, когда уже ничего нельзя было изменить в этой судьбе, она не давала ему покоя. Подобно Иоганне Крайн, он против собственной воли проводил бессон-

ные ночи в объяснениях с Мартином Крюгером. Оправдывался перед умершим, с полной неоспоримостью доказывал, что невозможно было сделать для него больше, чем все они сделали.

Жаку Тюверлену шел сороковой год, а на вид можно было дать не больше тридцати. Он был строен, подвижен, в отличной форме. В Америке он увидел много неожиданного, узнал о существовании новых для него проблем и вопросов, упражнял мозг, сердце, тело. У него был солидный текущий счет в банке и репутация одного из крупнейших писателей своего времени. Он плыл через океан, переполненный картинами и образами, битком набитый планами, готовый спокойно ждать, пока один из них не созреет, радостно торопящий встречу с Европой, с Баварией, с Иоганной Крайн.

Единственным темным пятном была неожиданная развязка дела Крюгера. В ней мучительно переплелись для него вопросы общие и глубоко интимные. Когда Мамонт потребовал от баварского правительства освобождения Мартина Крюгера, Тюверлен развлекался мыслями об удивительных путях, которые порой избирает судьба. Он только потому ничего не рассказывал в свое время Иоганне, что не любил хвалиться урожаем, пока зерно еще не ссыпано в закрома. И все-таки возможно, что главную роль тут играло тщеславие. Ему приятно было думать, что вот он вернется, добрый, улыбчивый дядюшка, который одним взмахом руки счастливо разрешил все трудности. Сюрприз получился чересчур мрачный. С этим спорить не приходится. Поделом ему.

Но не поделом Мартину Крюгеру. Тюверлен возмущался. Должен же быть какой-то смысл в этой явной бессмыслице. Конечно, всего удобнее вера в провидение, каким бы именем его ни называть, богом или законом экономики. Но в этих дебрях человек сам должен прорубать себе дорогу. Во всяком случае, он не различает пути там, где другие якобы отчетливо его видят. И полагается только на собственный нюх. Да, помочь ему может лишь его нос, а не благие советы господ Гегеля и Маркса.

Явная бессмыслица дела Крюгера выводила Тюверлена из себя. Его стараниями заключенный Крюгер чуть было не вышел на волю. Преодолей Жак это свое ни на чем не основанное чувство превосходства, расскажи вовремя обо всем Иоганне — и этот человек наверняка увидел бы свободное небо. Желание понять смысл происшедшего, этого «чуть было» и конечного «нет», мучило Тюверлена, как мучает желание

отыскать единственное неразгаданное слово в решенном кроссворде. Что убило Крюгера? Автопортрет Анны Элизабет Гайдер? Политика? Социологические закономерности? Двадцать три столетия назад на эту тему написали бы трагедию рока. Доказывать, что заключенный Крюгер пал жертвой экономических закономерностей, значило бы написать ту же трагедию рока, но в банальном варианте.

Так плыл через океан писатель Жак Тюверлен, нагруженный немалой славой и многими новыми знаниями, но глубоко растревоженный некоторыми проблемами, связанными с неприятным окончанием дела Крюгера. Он плыл семь дней и семь ночей, высадился на берег в городе Гамбурге, потом ехал по равнине и по горам, переправлялся через реки, в том числе через реку Рейн и реку Дунай, добрался до старинной страны Баварии и предстал перед Иоганной Крайн. И, увидев ее, сразу понял, что его раздумья имели не только академический интерес. Смерть Крюгера еще не означала конца дела Крюгера. Смерть Крюгера весьма непосредственно касалась его, Тюверлена.

Иоганна стояла перед ним в своей просторной комнате на Штейнсдорфштрассе. Прошло немного месяцев с тех пор, как она в последний раз смотрела на это все в острых углах и мелких морщинках лицо с крупными крепкими зубами и выступающей верхней челюстью, но ей казалось, что прошло много месяцев, и она бесконечно любила этого человека. Он держал ее за руки сильными веснушчатыми руками и скрипучим голосом говорил что-то веселое. С удовольствием отметил, что она снова отрастила волосы. Значит, решила опять закалывать их узлом? Да, ей это очень к лицу, просто замечательно. Они оживленно болтали о тысяче пустяков,— казалось, за время их разлуки ничего и не произошло, кроме пустяков. Но за это время он чуть было не освободил Мартина Крюгера, а Мартин Крюгер взял да умер. И Иоганна знала, что при всей бесконечной любви к этому человеку, при том, что поставленная ею между ними преграда была нелепой и сумасбродной выдумкой, все равно она уже никогда не сможет быть с ним близкой.

Полвека назад немецкий философ Ницше учил, что истинным мерилом чистоплотности или нечистоплотности народа может быть только психология. У немцев психологическая неопрятность превратилась в своего рода инстинкт. Жак Тюверлен твердо усвоил это положение. Конечно, ничего приятного в утверждении философа не было, но человек, наделенный

разумом, обязан смотреть правде в глаза и делать подобающие выводы.

Жак Тюверлен понял, что происходит с Иоганной.

— Жаль, что ты ничего не рассказал мне перед отъездом,— сказала она.

Она была права. Он допустил ошибку. Должен был все ей рассказать, лучше видеть, лучше понимать, чего она ждет от него. Он допустил ошибку. Не смел не знать, что эти долгие месяцы и постоянная тревога истерзают ее, что его тщеславное молчание может обернуться бедой для Крюгера. Он допустил ошибку. Когда она сказала — жаль, что он промолчал перед отъездом,— Тюверлен даже не попытался объяснить, почему так получилось. Просто подтвердил:

— Да, жаль.

Он видел, что этой женщине безмерно тяжело, что никакие здравые слова, никакие доводы рассудка не облегчат ей этой тяжести. Она стояла перед ним, ничему не внемлющая, как ее родина, упрямая, бесконечно любимая.

Между ними выросла глухая, бессмысленная преграда. Она сама воздвигла ее, выдумала без смысла и разума. Но ему от этого не было легче. Поступок может быть нелогичен, но значит ли это, что он плох? И не всегда он хорош только потому, что логичен. Он, Тюверлен, всегда исходил из себя, из своего миропонимания. Это ошибка. Между ними стояла преграда. Виноват он один. Тюверлен пенял только на себя.

4
OPUS ULTIMUM[1]

Иоганна получила из управления одельсбергской исправительной тюрьмы рукописи Мартина Крюгера. Там были связанные в пачки листы, тетрадки с правленными и переправленными страницами, заметки, наброски, стенографические записи, которые трудно было расшифровать. Иоганна попросила Жака Тюверлена вместе с каким-нибудь специалистом подготовить к печати литературное наследие Крюгера. Тюверлен решил, что лучше всего будет привлечь к этому делу не специалиста, а Каспара Прекля.

Они теперь просиживали вместе долгие часы, как во времена, когда Тюверлен писал обозрение. И спорили еще ярост-

[1] Последнее творение *(лат.)*.

нес. Писателя Тюверлена не интересовал человек, написавший все это, его интересовало написанное. Покойному Крюгеру повезло — все, что он способен был создать, он создал. Спокойная, мягко светящаяся статья о картине «Иосиф и его братья» великолепно дополняла неистовое, мятежное исследование, посвященное Гойе. Иным людям, с ярким, но неуравновешенным дарованием, удается создать только наброски, на законченное творение их не хватает. Поэтому человек меньшего дарования порою создает вещь более значительную, чем талантливый неудачник. Мартин Крюгер был из породы таких вот счастливцев, которые при некрупном таланте наделены умением все отпущенные им капли вина собирать в единый сосуд. Этим взглядом на Крюгера и руководствовался Тюверлен, стараясь отшлифовать, придать законченность его литературному наследию.

Инженера Каспара Прекля теории Тюверлена совершенно выводили из себя. Это же ересь, что творение выражает своего творца; в лучшем случае оно выражает время, в которое было создано. Удастся или нет отдельному человеку создать произведение искусства, зависит не от его одаренности или трудолюбия, а в первую голову от эпохи, от экономических и социальных условий. С точки зрения Прекля, статья о картине «Иосиф и его братья» была вычурной безделкой, и охотнее всего он бы ее вообще изъял. Творчество художника Ландхольцера и его биография — вот лучший пример того, к чему приводит сегодня художника индивидуалистическая тенденция: к раздвоению личности, к шизофрении, к сумасшедшему дому. Прекля мало заботило, будет ли отшлифовано литературное наследие Мартина Крюгера, ему было важно одно — чтобы эти страницы дышали тем мятежным, тем революционным духом, который родился в Крюгере под конец жизни. Разве Крюгер умер эдаким просветленным, кротким святошей? Нет, он погиб в муках, в грязи и крови, как истинный мятежник. Вершиной творчества Крюгера, его естественным завершением является не статья о картине «Иосиф и его братья», а исследование о Гойе.

Нельзя сказать, чтобы Каспар Прекль целиком принимал «Опыт исследования творчества Гойи». «Опыт» тоже не вполне отвечает задаче,— слишком уж много в нем блеска. Революция не блистает, она трудна, медлительна, лишена патетики, жестока. Тем не менее работа о Гойе — мятежная работа, в ней сказалось все, что по-настоящему ценно и существенно в Мартине Крюгере. Горячо убеждая Тюверлена в достоинствах

«Опыта о Гойе», пытаясь затушевать его ложный блеск и подчеркнуть в нем самое важное, Прекль по сути дела занимался самобичеванием, старался искупить свою вину. Он не сумел помочь заключенному Крюгеру отыскать путь к истине. Потерпел поражение, оказался несостоятельным. И теперь старался хотя бы писания Крюгера пересоздать на собственный манер.

Он все время боролся с собой. Перед ним все время маячил серо-коричневый человек, он упрекал Прекля, говорил, что у него отсутствуют две важнейших способности,— к наслаждению и к состраданию. До сих пор в ушах Каспара Прекля звучал голос умершего, интонация, с которой тот в приемной тюрьмы вслух читал главу «Доколе?». До сих пор в его ушах звенел смех Крюгера, искренне потешавшегося над ним. Он и сегодня все еще возражал мертвецу, спорил, раздраженно отбивался. Вранье, что он пуританин. Знал бы покойник, какого труда стоило Преклю подчинить всяческие сантименты ясному, безжалостному разуму. Часто во время чтения полированных и лакированных страниц Крюгера или споров с Тюверленом, когда тот сбивал его с толку и ослеплял афоризмами, он думал — а не юркнуть ли в убежище, откуда ему будет куда легче отражать удары противника? Но Прекль стойко держался, не позволял себе схватить банджо, взяться за сочинение баллад.

Он негодовал на Тюверлена. Признавая за ним талант, все же мысленно стриг писателя Тюверлена под гребенку типичного представителя загнивающей буржуазии. Прекль относился с глубочайшим недоверием ко всему, имеющему хотя бы видимость успеха. Если произведение искусства или человек пользовались успехом, они тем самым уже становились для него подозрительны. А так как Тюверлен имел успех, значит, он был подозрителен. Ибо мог ли в капиталистическом обществе пользоваться успехом тот, кто не работает на пользу господствующему классу, не помогает ему обеспечить и увеличить доходы? Разумеется, у Тюверлена не было сознательного намерения своими книгами способствовать росту прибылей правящего класса, но бессознательно оно в нем всегда присутствовало. Он и сам не ведает, что его пером водит капитал, зачеркивая все, что, быть может, было бы действительно ценно. Тюверлен — частица правящего класса, так может ли он освободиться от буржуазной идеологии? Он — представитель гнилой, гурманской, легковесной Европы, которую Каспар Прекль

теперь покидает, дабы принять участие в строительстве лучшего общества.

Тюверлен не отказывал себе в удовольствии подразнить Прекля и развивал теории, в которые и сам не слишком верил. Однажды он стал утверждать, будто тот потому сделался марксистом, что таковы особенности его темперамента. Подобная ересь с примесью правды приводила молодого инженера в полное неистовство. Он начинал пронзительно и грубо кричать на Жака Тюверлена, а Жак Тюверлен скрипуче парировал его удары. И тут же они снова брались за работу, легко находя общий язык в любых практических вопросах.

Иоганна сидела возле них и молча переводила глаза с одного на другого. Вероятно, Жак был прав в своих рассуждениях о творчестве Крюгера, но она отчетливее видела лицо Мартина, когда бушевал Каспар Прекль. При всем том споры этих двух, знания Тюверлена и мятежный дух Прекля, шли не во вред работе. Последние произведения Мартина Крюгера дополняли то, что было издано при его жизни, новыми оттенками смысла, более широким размахом.

Иоганна наблюдала за тем, как принимали все более четкую форму эти новые произведения. Листки, исписанные почерком Мартина, сперва четким, а потом все более неверным, пока еще были связаны с ним пуповиной, хранили частицу его жизни. По начертанию букв можно было судить, написаны они в часы веры в будущее или в часы утраты надежд. Сейчас по всему этому проходил утюг, толчея прихотливых значков превращалась в неподвижные, аккуратные строки машинописи, в творение.

Оно определялось, росло. Но Иоганну мучило, что человек все больше скрывался за творением. Творение заслоняло человека.

5
МАРШАЛ И ЕГО БАРАБАНЩИК

Берлинское правительство принуждено было отказаться от пассивного сопротивления оккупации Рурской области. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Промышленные магнаты до тех пор давили на берлинский кабинет, пока он не отдал приказа о военных действиях против конституционно законных рабочих правительств Саксонии и Тюрингии. Импер-

ские войска вступили в Дрезден и Веймар, социалистические правительства были объявлены незаконными, министров прогнали штыками с их постов. Иные из крупных промышленников и военных выступили в роли диктаторов. Германия была во власти неразберихи, произвола, смятения, нищеты. Курс доллара выражался уже в таких цифрах, которые для немецкого обывателя были пустым звуком. Фунт хлеба стоил миллиарды.

Мюнхенские «истинные германцы» торжествовали. Не они ли предсказывали, что методы берлинского правительства обрекают страну на хаос? Кутцнер снова воспрял духом, забыв и думать о весеннем провале. Чутье не обмануло его, недаром он прирожденный фюрер: только сейчас приходит время наступать на Берлин. Время первого снегопада, а не цветения деревьев.

Из своего дворца на Променадеплац Франц Флаухер внимательно следил за событиями. Этот Кутцнер как будто опять начинает зарываться? Неужто он так и не понял, кто здесь маршал, а кто барабанщик? Что ж, надо признаться, американский заем оказался не таким верным средством, как рассчитывал государственный комиссар, но все же его подспудное влияние ощущалось до сих пор. С помощью этого займа Флаухер стал диктатором, а став диктатором, еще больше укрепил свое положение.

Он с большим пылом вел открытую борьбу с Берлином, но еще с бо́льшим пылом — тайную борьбу со своим мятежным барабанщиком. Итак, «истинные германцы» собираются использовать слабость имперского правительства в собственных целях? Ну нет, не вздумайте тягаться с Флаухером, у него это лучше получается. И верно — он с чисто крестьянской хитростью присвоил эффектнейшие пункты программы «истинных германцев». Перебежал им дорогу. Пока они лили потоки красноречия насчет предстоящего похода на Берлин, он действовал. Чрезвычайное положение, объявленное берлинским правительством, он отменил, зато ввел свое собственное, баварское чрезвычайное положение. Управлял и лез напролом. Задержал золотые запасы, которые Государственный банк решил перевезти из Нюрнберга в другие казначейства. Понизил цены на пиво. Невзирая на возражения имперского министра, выселил из Мюнхена многих евреев, издавна там проживавших. Имперское правительство не решилось вмешаться: у него хватало хлопот с обнищавшими тюрингскими и саксонскими рабочими. А за Баварию горой стояли могущественные силы объ-

единившейся реакции. Видя бездеятельность Берлина, Флаухер в конце концов так осмелел, что вообще перестал считать распоряжения имперского правительства обязательными для Баварии. В ответ на гнусные нападки газеты мюнхенских «патриотов», «Фатерлендишер Анцейгер», общегерманское военное министерство запретило эту газету и потребовало от командующего мюнхенским военным округом, чтобы он проследил за исполнением приказа. По распоряжению Флаухера баварский генерал просто выбросил приказ берлинского начальства в мусорную корзину. Берлин отрешил генерала от должности. Не был исполнен и этот приказ.

Уверенный в бессилии Берлина, Флаухер нанес решительный и сокрушающий удар: генерала, снятого Берлином с поста, назначил главнокомандующим баварскими военными силами и приказал привести войска к присяге ему, Флаухеру. Объявил всему свету по радио, что имперское правительство, порабощенное марксистами, поставило себе целью уничтожение политической независимости союзного Баварского государства и что уже много лет оно подавляет его национальную свободу. Бавария, оплот истерзанной Германии, больше не желает мириться с таким положением и вступает в борьбу, навязанную ей Берлином. На следующий день он по всей форме принял присягу войск, находившихся на баварской территории. Присягу баварскому правительству, как верному стражу всей Германии.

В его массивной квадратной голове звучали ликующие слова: «Te Deum laudamus!» [1]. Кутцнер во имя национальной идеи болтал языком, а Флаухер во имя той же идеи создал армию. Так кто же из них маршал, а кто барабанщик?

Кутцнер бесновался. Мало того, что этот Флаухер, пес поганый, уворовал его лозунги, он еще собирается утащить у него из-под носа венец всего замысла — националистический путч. Ну погоди, друг любезный. Так просто Кутцнер Руперт не сдастся. Мы еще посмотрим, кто первый откроет военные действия. Кутцнер устроил совещание со своими воспачальниками. Тянуть незачем, они, можно сказать, в полной боевой готовности. Снова был назначен день «освобождения», на этот раз уже не в качестве генеральной репетиции. Девятого ноября пять лет назад красные псы подорвали старую империю, девятого ноября этого года она восстанет из пепла.

Из своего желтого дворца на Променадеплац Флаухер вин-

---

[1] Тебя, бога, хвалим! *(лат.)*

мательно следил за событиями и посмеивался. Пусть Кутцнер спокойненько готовится, пусть дожидается, что армия перейдет на его сторону. Долго ему придется ждать у моря погоды: он, Флаухер, позаботился об этом. Когда наступит решительный час, не армия перейдет на сторону Кутцнера, а с таким трудом сколоченные кутцнеровские отряды перейдут на сторону Флаухера. Посмеиваясь, уверенный в победе, следил государственный комиссар, как «истинные германцы» снаряжаются для похода на Берлин. Ядром национального обновления по-прежнему была армия, а ею распоряжался он. И она была сильнее, чем казалось: не зря с ней заигрывают шесть дивизий рейхсвера. Если дело дойдет до прямого столкновения, пусть господа берлинцы не очень-то рассчитывают на свои войска. Уже сейчас главнокомандующий рейхсвером отдал тайный приказ, в котором панически заклинал своих командиров немедленно удалять всех офицеров, причастных к политике. Флаухер совсем расплылся в улыбке. Этот октябрь был благосклонен к нему, наградил его и улыбками, и уверенностью в победе.

В некий ноябрьский вечер направление ветра вдруг изменилось. Флаухер почуял это, столкнувшись в «Мужском клубе» с Пятым евангелистом.

— Мне говорили,— сказал тот своим высоким властным голосом,— мне говорили, господин государственный комиссар, что вам теперь уже не очень по вкусу физиономия господина Кутцнера. Знаете, я тоже решил больше не вкладывать денег в этого господина.

Оттягивая пальцем воротничок, Флаухер с раболепной преданностью смотрел в плотоядный рот Рейндля. Он мало смыслил в экономике, но зато отлично знал, что замечание, мимоходом брошенное этим треклятым Рейндлем, стоит в тысячу раз больше тысячи кутцнеровских демонстраций. Видно, вопрос насчет Рура улажен, немецкие промышленники договорились с французскими, у них пропала охота устраивать путчи. Капитал брезгливо отстранился от поборников государственного переворота и бряцателей оружием. Флаухер напряженно размышлял, так напряженно, что его квадратное лицо стало поразительно глупым. Если деньги бьют отбой, тут не поможет никакая армия, придется и ему, как Кутцнеру, пережить свое «цветение деревьев». «Я тоже решил больше не вкладывать денег в этого господина». Если сопоставить сей дружеский толчок в бок с некоторыми донесениями о берлинских настроениях,

которые он до сих пор оставлял без внимания, то, пожалуй, уже не покажется таким паническим тайный приказ главнокомандующего рейхсвером.

Вот так история. Он перегнул палку, слишком много лозунгов позаимствовал у «истинных германцев». Если сейчас эта скотина Кутцнер вздумает выступить, виноватым окажется Флаухер, и он, маршал, полетит вверх тормашками вместе со своим барабанщиком. Фу-ты черт, в какую переделку попал. Всю ночь шагал он по своим низким комнатам среди обитой плюшем мебели, сопровождаемый таксой Вальдман, тяжко стонал и сильно потел. Он же вовсе не был обуян гордыней, он старался только во славу Баварии и всевышнего. Не может быть, чтобы провидение оставило его в час столь сурового испытания. Он был глубоко подавлен.

И, подумать только, провидение его не оставило, оно подсказало ему некий план. Он не станет устраивать путч и призовет к порядку барабанщика Кутцнера. Но сделает это не задаром. Даже из поражения извлечет выгоду для Баварии. Продаст имперскому правительству свой отказ от путча. Выторгует для страны такие льготы, которые укрепят ее находящуюся под угрозой государственную самостоятельность. Возрадовавшись, он лег в постель и уснул спокойно, сном праведника.

Наутро он немедленно взялся за дело. Отставить свой собственный путч было несложно: баварская армия была у него в руках. Как она не отказалась бы устроить путч вместе с ним, так не отказалась и вернуться в лоно имперского правительства. Куда труднее было загнать назад, в будку, кутцнеровцев — самого барабанщика и его приспешников. Те сорвались с цепи, жаждали драки, не подчинялись указке. К тому же времени у Флаухера было в обрез. Он не знал, на какой день назначено выступление, но не сомневался, что это должно произойти не сегодня завтра. Выиграть время, выиграть время, сейчас все сводилось к этому.

Он решил пойти на хитрость и созвал у себя совещание всех командиров боевых отрядов. Твердил, что у него та же цель, что и у них. Но и проявлял озабоченность берлинской ситуацией. Разумеется, имперские войска можно будет перетянуть на сторону восставших, но пока что они недостаточно подготовлены к этому. Все можно будет уладить за совсем короткий срок, но отсрочка нужна, отсрочка *необходима*.

Кутцнеровцы ответили ему издевками. Господин генеральный государственный комиссар однажды уже стал им, как

кость, поперек горла. Они не забыли весеннего цветения деревьев. Что ж, выходит, им и на этот раз поджать хвост? Да ведь у него та же цель, что у господ командиров, снова заныл Флаухер, но вот ситуация неподходящая. Необходима оттяжка, хотя бы недельная оттяжка.

Командир вооруженных сил «патриотов» Тони Ридлер отвечал Флаухеру со злобным упрямством, его гаулейтер Эрих Борихаак — с насмешкой. Если все подготовлено к девятому, какого черта откладывать выступление на шестнадцатое? «Хотя бы три дня отсрочки»,— умолял Флаухер.

Во время совещания Кутцнер был на удивление молчалив, сидел скрестив руки на груди, выражением лица и позой подчеркивая роковое значение этого часа. Но вот он встал со стула. Что ж, сказал он, они подождут еще три дня. Его соратники шумно запротестовали. Подождут до двенадцатого ноября, тоном, не допускающим возражений, подвел черту фюрер.

В ту же ночь он созвал всех командиров на военный совет. Пока Флаухер переливал из пустого в порожнее, его, Кутцнера, осенило свыше. На восьмое ноября Флаухер назначил многолюдное собрание в «Капуцинербрей» — он собирается выступить с программной речью о нынешнем политическом положении. Вот на этом собрании Кутцнер объявит во всеуслышание о начале национальной революции. С оружием в руках принудит Флаухера сказать «да» или «нет». Если государственный комиссар искренне хочет народного обновления, ему помогут совершить этот прыжок. Правда, он, Кутцнер, полагает, доверительно добавил фюрер, что Флаухер только для того просил об оттяжке, чтобы провести за нос «истинных германцев», обскакать их. Но Кутцнера не проведешь. Нет, шалишь. Он и не подумает снова идти на попятный. А что он обещал отложить выступление до двенадцатого, так это просто северная хитрость, не только допустимая, но даже обязательная, когда дело идет о благе отечества.

Проникновенным голосом он еще раз спросил, все ли готово. Командиры не менее проникновенно заверили, что да, все готово. Кто-то заметил, что если и с политической точки зрения все в таком же порядке, как с военной, то победа им обеспечена. Кутцнер укоризненно поглядел на дерзкого. Не удостоил ответа. Просто взмахнул рукой и с таинственным видом указал на ящик стола, где под замком хранил планы. Все встали. Фюрер еще раз заявил, что в ночь с восьмого на девятое он перейдет Рубикон.

6

КОРИОЛАН

В полном одиночестве сидел Отто Кленк в своем охотничьем домике. Он выдержал характер, ни летом, ни осенью не появлялся в Мюнхене. Заперся в Берхтольдсцеле в общество матери Симона, стареющей экономки Вероники. Жене приказал стеречь их мюнхенскую квартиру — он не желал видеть ее в поместье. Все же, если бы полгода назад ему сказали, что день своего пятидесятилетия он просидит один в охотничьем домике,— ни за что не поверил бы этому. Уж скорее думал бы, что вся Германия будет справлять славный юбилей своего спасителя.

И вот он сидит среди повитых туманом гор, попыхивает короткой тирольской трубочкой, усмехается. В такой день хорошо подводить итоги. Если бы его сейчас хватил кондрашка и предстояло бы отправиться на тот свет, о многом ли упущенном за полвека пришлось бы ему жалеть, во многом ли раскаиваться? Да ни в чем он не стал бы раскаиваться. Как там ни верти, а он прожил отличную жизнь и может кричать об этом на всех перекрестках. Он настоящий баварец, уроженец Альп. Баварцы и современность плохо уживаются друг с другом,— что ж, тем хуже для современности. Кленк это Кленк и пишется Кленк. И он от души рад, что не имеет отношения ко всяким склизким тварям, которыми кишмя кишит этот мир.

Его книги, горы, леса, егерь, он сам — какое еще общество ему нужно? Одиночество неплохая штука. Он снова вспомнил охоту в итальянских горах. Да, козерог — умнейшее животное. Разумеется, Кленку было бы приятно, если бы здесь, рядом с ним, сидел некий юнец по имени Симон. Но зазывать его к себе — нет, на это он не способен. Когда Кленк окончательно расплевался с «патриотами», он решил и Симона забрать с собой сюда, в Берхтольдсцель, подальше от «патриотов». Но Симон, этот пострел, наотрез отказался. Ему нравилось в Мюнхене, он не желал киснуть в деревне. Кленк вспылил и приказал ему не валять дурака, но тот тоже вспылил и уперся. Резко и непреклонно заявил, что силой его никто и ни к чему не принудит. Если старик намерен разыгрывать оскорбленную невинность, это его частное дело. Кленк было замахнулся на него, но в последнюю минуту одумался. Он был в бешенстве и все-таки радовался, что его отпрыск так похож на него: то же кирпично-красное лицо, те же глаза с желтоватыми белками, то же властолюбие.

Вот он стоит на своей горе, гигант Кленк в потрепанной охотничьей куртке, надетой поверх белоснежного белья, откинув лысеющую костистую голову,— ни дать ни взять, новый Кориолан. Он ждет, что родина призовет его, что «патриоты» призовут его, и заранее торжествует, представляя себе, как всем покажет кукиш. С напряженным вниманием следит за борьбой Флаухера с Берлином, за борьбой Кутцнера с Флаухером. Опоздали, мои любезные, Рейндль не стал вас дожидаться. Его теперь и след простыл: рурская история улажена, вы опоздали на поезд. Надо было раньше соображать, любезнейшие.

Кленк вышел из лесу и направился домой, в Берхтольдсцель. Изразцовая печь была жарко натоплена, тепло от нее волнами ходило по большой, просто убранной горнице. Кленк сел на деревянную скамью, задымил трубкой, включил радио и стал слушать последние известия. Вероника накрыла на стол. Он сытно, с удовольствием пообедал. Выпил. Переселившись в Берхтольдсцель, он забыл и думать о почках. После обеда Кленк долго сидел за столом, подремывал. Никто не звонил ему по телефону? Никто не спрашивал? Нет, никто не звонил, ни Флаухер, ни Кутцнер не посылали за ним.

Одиночество хорошая штука, но ведь невозможно дни напролет сидеть и ждать краха «истинных германцев». Кленк наорал на Веронику. Взял книгу и отправился в лес. Уселся на пень и прочел несколько страниц из книги о праве и о логике культурно-исторического процесса, задумался, снова начал читать, делал на полях язвительные пометки.

Но кто эти двое, которые все ближе подходят к нему, подтянутый господин и хрупкая дама? Ох, черт возьми! У него в ушах зазвучали глухие удары литавр из той увертюры. Вот уж это действительно роскошный подарок ко дню рождения. С каким наслаждением он хлестнет этого гнуса своим «нет».

Да, фюрер решил канун путча провести на лоне природы. Разве у него в ящике письменного стола не лежит подробно разработанный план действий? Значит, нужно одно — перед решительным ударом успокоить нервы. Вот он и укатил за город вместе со своей секретаршей Инсаровой, но даже ей не сказал, куда направляется. Назвал шоферу Берхтольдсцель, только когда они выехали из города. Раз у него оказалось свободное время, почему бы ему не попробовать договориться с Кленком? Кленк неглуп и должен понять, что, когда зацвели деревья, прав был не он, а фюрер. Кутцнер был сейчас очень благорасположен к Кленку. Он собирался сделать все, от себя зависящее, чтобы

втянуть и его в игру,— Кленк был ему позарез нужен. Все пойдет кувырком, если Кленк останется в стороне.

Услышав, куда они едут, Инсарова страшно обрадовалась. В последнее время она весьма близко сошлась с Эрихом Борнхааком. С тех пор как Кленк порвал с «истинными германцами», Эрих все больше забирал власть в свои руки. Он как безумный работал, как одержимый гнался за наслаждениями. Жег свечу с обоих концов, и это восхищало Инсарову, как восхищала и веселая, циничная небрежность, с которой он ее брал. Она заранее радовалась возможности подразнить Кленка, разжечь в нем ревность к Эриху.

При виде гостей Кленк встал. А Кутцнер, сказав несколько ничего не значащих фраз, принялся ораторствовать. Он чувствовал, что в ударе, что его речь полна огня и задушевности. Кленк между тем думал: «На это он мастак!» Выпрямившись во весь свой гигантский рост, бывший министр слушал невозмутимо, вполне учтиво: здесь, в своем лесу, он чувствовал себя на десять голов выше этого ничтожества, этого Кутцнера. Фюрер и Инсарова озябли во время длинной поездки, им хотелось обогреться в теплой комнате. Исхудавшее лицо русской пряталось в пушистом меху серой шубки. Она переступала с ноги на ногу — хрупкая, изящная зверушка, дрожащая на морозе. Хотя эта падаль и была причиной его почечного приступа и всего, что затем последовало, Кленк дал бы ей возможность обогреться. Но очень уж было приятно как следует поморозить Кутцнера. И он его поморозил.

Подогревая себя, фюрер заговорил с удвоенным пылом. Быстро шевелились его крошечные усики, внушительно двигался вверх и вниз утиный нос. Кленк думал: «Опоздал, голубчик. С твоих деревьев весь цвет пообletел». Он как знаток оценивал картинные позы фюрера, смаковал его длинные увещевания.

Прошло много времени, пока он соизволил пригласить гостей в дом, накормить и напоить их, продрогших до костей. Притворился, будто ничего еще не решил, и был в восторге, когда фюрер, ухватившись за это, снова начал разглагольствовать. Теперь Кутцнер ораторствовал по поводу ящика письменного стола и запертого в нем великого плана. Когда он заговорил о плане в первый раз, на Кленка его слова произвели немалое впечатление. Собственно говоря, только это одно и произвело. Много раз с тех пор его живое воображение рисовало ему кутцнеровский грандиозный план,— запертый в ящике, никому неведомый всеобщий двигатель. Когда Кутцнер и сейчас с таинственным видом стал развивать эту тему, Кленк, не то шутя,

не то всерьез, как бы между прочим, сказал, что и он пишет некое произведение, которое не скоро увидит свет. Фюрер, до этого сосредоточенно рассматривавший костяные пуговицы на охотничьей куртке Кленка, насторожился и заглянул в его хитрые, веселые карие глаза. Да, он пишет воспоминания, пояснил Кленк. Фюрер несколько минут молчал и, не переставая жевать, что-то обдумывал. Потом, стараясь скрыть под наигранным оживлением явное беспокойство, спросил, будет ли в этих воспоминаниях отведено место и ему, Кутцнеру?

— А как же, господин хороший! — ответил Кленк.

Инсаровой очень понравился Кленк, его умные глаза, крупная костистая голова, обветренная кожа, весь он — спокойный, массивный, хозяин в своем доме и в своем лесу. Теперь она не понимала себя — зачем ей было все лето ограничиваться одним Эрихом Борнхааком? Она не собиралась следовать совету многоопытного доктора Бернайса. Пусть ее дни сочтены, но ведь в этом есть и свои преимущества: кому, как не ей, наслаждаться каждым оставшимся днем? Поэтому, стоило Кленку намекнуть, что хорошо было бы, если бы она как-нибудь приехала к нему одна, Инсарова сразу согласилась.

— Когда? — спросил Кленк.

— Завтра вечером,— решительно сказала она. Завтра вечером должен свершиться прыжок; Эриха заденет за живое, если она не придет полюбоваться им.

7

СЕВЕРНАЯ ХИТРОСТЬ ПРОТИВ СЕВЕРНОЙ ХИТРОСТИ

Государственный комиссар доктор Флаухер усердно трудился над осуществлением своего плана. Сам господь бог внушил ему мысль подать свою вынужденную измену «истинным германцам» как добровольный разрыв с ними и получить за это от имперского правительства признание прав Баварии на самостоятельность. Ему до смерти хотелось, чтобы Кленк узнал, какое драгоценное яичко он, Флаухер, ухитрился снести. Узнай Кленк о его идее, поистине достойной государственного мужа, он наконец отнесся бы к Флаухеру как к равному. Но Кленку нельзя довериться: где гарантия, что он не пойдет и не растрезвонит о его плане? Увы, придется Флаухеру еще несколько дней мириться с тем, что Кленк считает его чурбаном.

Подготовку к своему новому курсу он всл энергично и продуманно. Девятого ноября должен был появиться приказ о мерах против «истинных германцев». Восьмого ноября Флаухер собирался выступить с речью о своем разрыве с ними, который он хотел обосновать различиями в мировоззрении. Эта речь была задумана как отречение от «патриотов» и аванс Берлину.

Чтобы убаюкать подозрительность «истинных германцев», восьмого ноября во вторую половину дня он еще раз пригласил их к себе. Встреча прошла в самой дружественной обстановке, обе стороны заверили друг друга, что конечные цели у них общие. Да, восьмого ноября Флаухер, собиравшийся вечером нанести «патриотам» удар, с истинно северной хитростью твердил, что двенадцатого выступит вместе с ними. «Патриоты», которые, со своей стороны, в этот же вечер собирались устроить путч, с истинно северной хитростью обещали Флаухеру, что до двенадцатого ничего не предпримут. Они расстались в полном согласии.

Вечером в помещении «Капуцинербрей» генеральный государственный комиссар Флаухер выступил с долгожданной обширной речью о положении в стране. Были приглашены все националистические объединения, в огромном зале не осталось ни единого свободного места. Начал Флаухер с тирады о разлагающем влиянии марксизма. Бороться с ним можно только соблюдением порядка, железной дисциплины. Тут он возвысил голос, собираясь перейти к главному своему тезису: все, в том числе и благомыслящие патриоты, обязаны беспрекословно подчиняться богоданным властям — правительству и государственному комиссару Флаухеру.

Но в этом самом ответственном месте речь Флаухера была прервана весьма неприятным шумом у входной двери. Кто-то выкрикивал слова команды, кто-то орал, кто-то выстрелил. И вот на трибуне рядом с Флаухером стоит фюрер Руперт Кутцнер, и в руке у него дымится пистолет. На фюрере новый, полувоенный-полуспортивный костюм строгого покроя. Очень высокий белоснежный воротничок туго накрахмален, пробор в волосах проложен до самого затылка. На груди у него железный крест — военный орден, которого удостаивались люди или очень высокопоставленные, или очень богатые, или действительно совершившие подвиг. В высоко поднятой руке — пистолет. Так на сцене мюнхенского придворного театра, возвещая генуэзской знати о падении тирании, стоял актер Конрад Штольцинг в роли графа Фиеско ди Лаванья, действующего лица в пьесе драматурга Шиллера.

Небрежным жестом Руперт Кутцнер отстранил потрясенного, негодующего Флаухера. Громоподобным голосом возвестил затаившему дыхание залу:

— Национальная революция началась. Помещение окружено шестью сотнями вооруженных патриотов. На подходе перешедшие на нашу сторону имперские войска и отряды баварской полиции. Баварское и имперское правительства отрешены от власти. Формируется временное имперское правительство со мной во главе. Утренняя заря прольет свои лучи или на истинно национальное германское правительство, или на мой труп. — Он зычно крикнул: «Кружку!» — и выпил залпом.

Грохнули рукоплескания. У многих увлажнились глаза. Собравшиеся взирали на Руперта Кутцнера с теми же чувствами, с какими в любимейшей своей опере «Лоэнгрин» взирали на того, кто в последний миг выплывает на серебристом лебеде, неся избавление от всех невзгод.

Как только раздался выстрел, как только на трибуне появился человек с крохотными усиками, расчесанный на пробор и держащий в руке пистолет, как только этот человек обратился громоподобным голосом к собранию, Флаухер во мгновение ока понял, что сорвался и второй его план. Прашивый пес одурачил его клятвенными заверениями в лояльности, паршивый пес опередил его. Скорее всего он предложит теперь Флаухеру принять участие в походе, который сам и возглавит. Рассудку вопреки, это весьма заманчиво. Конечно, не пройдет и двух недель, как их авантюра провалится, конечно, она не выйдет за пределы Баварии, но какой соблазн — две недели выступать в роли народного героя, а потом пасть, как баварский лев, сражаясь с Берлином, стать героем легенды наподобие кохельского кузнеца, приобщиться к баварской Вальгалле. Его собственный план лопнул, жизнь испакощена, такой патетический финал был бы для него наилучшим. Но не для Баварии. Перспективы путча равны нолю целых, нолю десятых. Против «истинных германцев» северогерманский рейхсвер, против них промышленные магнаты, путч не выйдет за пределы Баварии, он *не может не провалиться* в самое короткое время. Если Флаухер присоединится к Кутцнеру, если этой же ночью не задушит путч в самом зародыше, тогда скорее всего повторится печальной памяти 1866 год и ненавистная Пруссия проглотит Южную Германию.

Все это Флаухер успел подумать, пока в руке у Кутцнера еще дымился пистолет. Не успел рассеяться дым, а от флаухеровского негодования не осталось и следа. Не было и страха

перед пистолетом, равно как и перед молодчиками в спортивных куртках, со знаками свастики и ручными гранатами. Не прошло и минуты, никто не успел бы сосчитать до шестидесяти, а этот старик баварец уразумел больше, чем за всю свою прошлую жизнь. Он зазнался, его победа была дутая, его божественная миссия — выдуманная. В минуту горя, разочарования, краха, напряжения всех душевных сил четвертый сын нотариуса из Ландсхута стал поистине велик. Он отчетливо понял, что куда легче дойти до границы и там умереть, чем задушить этот путч и затем волей-неволей пойти по тернистой, бесславной и омерзительно грязной дороге. Но он зазнался, он не пресек этой истории, пока мог пресечь, он виновен. И его долг все исправить. Он принесет себя в жертву.

На все это — на отчетливое понимание и на твердое решение — несчастному Флаухеру была отпущена одна минута. Но крестьянская сметка подсказала ему одновременно с решением и тот единственный способ — раз уж он все равно приносит себя в жертву,— которым можно спасти от кровопролития город и страну. В первую очередь ему надо получить свободу передвижения. Для этого он сделает вид, будто подчиняется кретину-фюреру. А выбравшись отсюда, позвонит в Берхтесгаден и в архиепископский дворец, получит одобрение своим дальнейшим шагам. Потом вместе с командующим войсками пойдет в казармы, выступит по радио, разошлет телеграммы, прикажет бить отбой. Если ему это удастся, он до скончания века будет заклеймен не только как старый чурбан, но и как подлец. Люди, которые извлекут пользу из его жертвы, негласные правители страны, не то что не поблагодарят его, нет, они сразу от него отрекутся. Ни одна собака не придет к нему на помощь. С ним будет покончено. Но и с путчем тоже. Если Флаухеру удастся все задуманное, путч лопнет, не выходя из стен Мюнхена, не добравшись до границы, и таким образом будет предотвращено страшное кровопролитие и жестокое унижение Баварии.

Поэтому, следуя настойчивому приглашению Кутцнера, он с видом полного удовлетворения прошел в соседнюю комнату, где уже расхаживал военный руководитель путча, генерал Феземан. В эту комнату, вслед за Флаухером, ввели командующего баварской армией и начальника местной полиции. Кутцнер предложил им ответственные посты в правительстве, им возглавляемом; в частности, Флаухера он прочил на пост баварского наместника. Они *обязаны* дать согласие на эти посты. В этой штуке — тут Кутцнер потряс пистолетом — четыре пули,

три предназначены им, если они откажутся сотрудничать с фюрером, четвертую он оставит для себя. Незаметно мигнув двум другим, Флаухер ответил заранее приготовленной фразой, по-крестьянски лукаво и вместе с тем уныло:

— Господин Кутцнер, сейчас совсем неважно, застрелите вы меня или нет. Я пекусь только о благе отчизны — и, значит, иду с вами.

И в его словах было больше правды, чем подозревал Кутцнер.

Кутцнер и Флаухер вернулись в зал и, встреченные овацией, взошли на трибуну для оглашения совместной декларации. Кутцнер заявил, что новое временное правительство намерено спасти немецкий народ и идти походом на твердыню порока — Берлин. Во главе правительства станет он сам, во главе армии — генерал Феземан. Доктор Флаухер будет наместником Баварии. Флаухер сказал, что принимает этот пост, хотя и с сокрушением, ибо в душе всегда считал себя слугой монархии. После этого они подали друг другу руки,— Кутцнер жесткой, с длинными ногтями, потной рукой сжал жесткую, с набрякшими венами, потную руку Флаухера,— и застыли в такой позе.

— Клятва на Рютли! — раздается из зала звучный голос — голос Конрада Штольцинга.— «Народ сольется в единенье братском»,— взволнованно декламирует он, и зал взволнованно подхватывает: «В час испытанья непреклонно тверд».

Флаухер стоит на трибуне рука об руку с фюрером, одеревенелый, неловкий. Он прикидывает: если до полуночи ему удастся выбраться отсюда, тогда игра еще не проиграна, тогда у него хватит времени, тогда он все устроит так, что родина будет спасена. Ему смертельно хочется освободить руку, но ситуация для этого неподходящая, к тому же Кутцнер прямо вцепился в него.

— «Подобно предкам, мы свободны будем»,— декламирует внизу все тот же звучный голос, и зал опять подхватывает: «И пусть умрем, но в рабстве жить не станем!»

«Ну и голосище у этого типа. Как бы узнать, который теперь час? Черт знает, какая она длинная, эта клятва на Рютли. И Кутцнер невыносимо потеет».

Наконец наместник Баварии Флаухер получает возможность спуститься с трибуны и юркнуть в вестибюль. Он забегает в уборную, смотрит на часы. Восемнадцать минут одиннадцатого. Слава создателю, еще есть время. Он выходит на улицу, его никто не останавливает. Жадно вдыхает холодный воздух. Теперь он уже не наместник милостью монтера Руперт-

та Кутцнера, теперь он опять добропорядочный баварский чиновник, каким был тридцать лет подряд.

Он влезает в машину, бессознательно вытирает руку о мягкое сиденье. Плечи у него ссутулились, но лицо выражает жесткую решимость. Долг требует, чтобы он сейчас проглотил кучу дерьма. Это невкусно, но баварский чиновник исполнит свой долг.

8

САМЫЙ ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ КАЭТАНА ЛЕХНЕРА

Торговец старинной утварью Каэтан Лехнер был в «Капуцинербрей», когда там началась революция. Собственными ушами слышал исторический выстрел и речь Кутцнера, собственными глазами видел, как фюрер и государственный комиссар стояли на трибуне, взявшись за руки. В нем взыграло ретивое. Он сразу представил себе, что «комодик» возвращен на родину и отдан ему, вообразил, что яично-желтый дом отнят у иноплеменного захватчика. Лехнер оглушительно высморкался в голубой клетчатый платок, во всю мочь зобастой глотки заорал: «Хайль!» Немало кружек пива опрокинул он в себя в этот исторический вечер. Его ликование было омрачено лишь тем, что при нем не было фотографического аппарата, что он не мог запечатлеть для потомства на художественной фотографии ту серую глиняную кружку, из которой фюрер черпал новые силы после того, как провозгласил национальное единство, или руки Кутцнера и Флаухера, соединенные клятвой верности.

И вот наступила ночь. На улицах под барабанный бой шагали отряды. Носились ординарцы и кельнерши с приказами и пивом. Старик притомился. Но домой не пошел, а вместе с множеством других мюнхенцев лег спать тут же, в зале «Капуцинербрей», который был похож сейчас на настоящий военный лагерь.

Но вожди не спали. Они бодрствовали, они управляли страной. Свой главный штаб Кутцнер устроил во втором этаже. Все прошло отлично, Кленк не понадобился, фюрер блестяще доказал, как несостоятельны пророчества старого брюзги. Он трудился в поте лица, выпускал прокламации, ввел осадное положение, учредил верховный военный трибунал.

Меж тем в городе «истинные германцы» торжествовали легкую победу. Устроили разгром ненавистной левой газеты,

разграбили помещение редакции, разбили типографские машины и наборные кассы, с дикими воплями выкинули из окон бюсты социалистических вождей. Сверяясь с черным списком, начали арестовывать партийных врагов, левых депутатов и членов городского совета, влиятельных евреев. Таскали их по улицам, развлекая долгими и обстоятельными рассуждениями на тему, где и как с ними расправиться — повесить ли на этом дереве или на том фонаре, шлепнуть пулей у этой стены или у той кучи песка. Тех, кто навлек на себя особую ненависть, избивали, оплевывали, раздевали догола. Устроили военный совет, как быть с ними дальше, под угрозой автоматических пистолетов завели в ближний лесок, заявили, что теперь им крышка.

Тем временем в своем импровизированном штабе Кутцнер и Феземан продолжали выпускать прокламации. Ночь была на исходе, а из казармы все еще не было никаких вестей. Вожди звонили по телефону Флаухеру, командующему войсками, слали курьеров, просили, требовали, приказывали. А те как в воду канули. Пополз слух о каком-то заявлении Флаухера, в котором он якобы отмежевывался от участников путча, утверждал, что согласие поддержать путч у него вырвали силой оружия. Пошли разговоры и о том, что рейхсвер подчиняется приказам Флаухера, что к городу стягиваются отряды иногородней полиции, иногородних войск. Кутцнер отказывался верить этим сообщениям, гордо заявлял, что готов сражаться и умереть. Но это были только красивые фразы. Радость вышла из него, как воздух из проколотой шины. Зато вернулось давнее чувство оцепенения, вспомнился ужин на Румфордштрассе, вспомнились причитания и вопли матери.

Антиквар Каэтан Лехнер никак не мог уснуть в большом зале пивного заведения. Все кругом пропахло табаком, людским потом, пивными испарениями. Стало светать, ныли старые кости. Но тут ему выдали чашку кофе и винтовку. Вернулась уверенность, поднялось настроение. Пробило восемь, десять часов, люди продолжали ждать, дождались пива и ливерных сосисок. Наконец им объявили, что теперь пора. Сейчас они выступят. Их построят в колонны, и демонстрация двинется к центру города, к Мариенплац.

Мысль насчет демонстрации пришла в голову гаулейтеру Эриху Борнхааку. Чистый идиотизм — болтаться здесь, в «Капуцинербрей», ограничиться завоеванием пивного заведения, плясать под дудку Флаухера. Начхать, перебежчик он или нет, а если перебежчик, то можно ли его снова переманить на сторону

путчистов. Город ликует, большая часть рейхсвера на их стороне, нередко наперекор приказам начальства. Демонстрация против Флаухера сразу прояснит, кто с ними, а кто против них.

Демонстрация была внушительная,— правда, состояла она главным образом из зеленой молодежи. Возглавляли ее Кутцнер и Феземан, оба в штатском. Вождей с двух сторон охраняли солдаты; штыки их винтовок были примкнуты. Демонстрантов построили по двенадцать человек в ряд. Каэтан Лехнер шел в четырнадцатом ряду. Его седые усы, огромный зоб и седеющие баки являли странное зрелище среди молодых лиц и подтянутых фигур, но и он был еще хоть куда. В брюхе у них кофе, и пиво, и сосиски, они шагают, возглавляемые Феземаном и Кутцнером, и, шагая, побеждают. Сегодня они завоюют Мюнхен, завтра Баварию, через неделю всю Германию, через месяц весь мир. На тротуарах теснились люди, махали им, кричали: «Хайль!» Каэтан Лехнер разглядел надворную советницу Берадт, ту старуху, которая выступала на процессе Крюгера. Она раздавала астры и сигары, и воздух вокруг нее прямо дрожал от воплей «хайль!» и «ура!».

У Людвигсбрюкке стояла полиция. От силы двенадцать человек. Один из офицеров свистнул — и первые два ряда «истинных германцев» набросились на них, оплевали, обезоружили, окружили и увели. Старик Лехнер самозабвенно глядел на это: так вот, значит, как оно выглядит, когда побеждают. Он бодро зашагал дальше, к центру города. Цвайбрюккенштрассе, Театинерштрассе, Мариенплац. Воззвания нового правительства сорваны со стен, остались одни клочки. Возле этих клочков другие воззвания — то прокламации Флаухера: они гласят, что в его руках по-прежнему вся исполнительная власть, что все, кто присоединится к Кутцнеру и Феземану, будут рассматриваться как государственные изменники. К чертовой матери гнусные бумажки! Не иначе как это евреи гадят. Вперед! По Перузаштрассе, к королевскому замку, к Галерее полководцев.

Что? В замке засела полиция? Хотят их отрезать? Вот так так! Пусть попробуют, мерзавцы, скоты! Ряды замедляют шаг, демонстранты орут, жестикулируют. Антиквар Лехнер все не может понять, что же произошло. Но отчетливо видит: из-за Галереи полководцев появляются отряды рейхсвера. За нас они или за тех?

Треск. Они и вправду стреляют. Кто стреляет? Люди падают. Господи, спаси и помилуй, ранили их, что ли? Один упал и выпятил брюхо, словно решил заняться гимнастикой. И дру-

гие тоже ложатся на мостовую, хотя с ними как будто ничего не стряслось. Да и он сам, старый Лехнер, ложится прямо в какую-то мерзость, несмотря на парадный костюм.

Многим приходилось наблюдать, как лиса, спасаясь от смертельной опасности, на бегу перекусывает горло гусю и тащит его с собой. Старик Лехнер лежит в дерьме на Резиденцштрассе возле Галереи полководцев, лихорадочно придумывает способы, как бы выбраться из опасного места, озирается, смотрит, что происходит и что делают другие, и все-таки находит время размышлять о всевозможных вещах. Вот так-то, дражайший мой, вот что такое война, и сражение, и атака, и отечество, и революция. Очень неуютно, господин хороший. Черт-те что. Он видит серую машину фюрера, видит, как она вдруг резко разворачивается и, дав полный газ, врезается в густые ряды демонстрантов и исчезает. Эх, сидеть бы Лехнеру в этой машине. Снова треск выстрелов. Он лежит на земле и снизу вверх смотрит, как пули отскакивают от стен. Жаль, нет при нем фотоаппарата. Кое-кто вскакивает на ноги и бежит прочь, низко пригнув голову. Бегущие топчут Лехнера. Иисусе Христе, это же его собственная рука! Сволочи, неужели они продолжают стрелять? Сюда бы стену. От стен пули отскакивают. Ему необходима этакая крепкая каменная стена, которую не пробьет никая пуля. Вот опять кто-то бежит по его спине. Пес паршивый, хулиган! Разве так можно? Снова пуля — для кого? Для тебя или для меня? Сукины дети, мерзавцы! Он с трудом дышит, все нутро у него болит и словно размякло.

Надо поскорее выбираться отсюда. Уносить ноги. Вроде бы притихло, все это длилось совсем недолго. Теперь многие встают с мостовой, оглядываются и пускаются наутек. Вокруг Лехнера уже никого нет. Повсюду валяется оружие. Пресвятая дева Мария, да они же затопчут его! Вот и он встает на ноги. Его сразу увлекает толпа бегущих, выносит с собой в ближайший переулок.

Слава богу, здесь тихо, здесь пули не летают, здесь хорошо. Только сейчас Лехнер замечает, как ему худо, и везде больно, и какой он весь ватный.

Стрельба не продолжалась и двух минут. Ряды демонстрантов расстроились при первых же выстрелах. Но не все выбрались из переделки так благополучно, как Каэтан Лехнер, не все удрали невредимые. На Одеонсплац осталось лежать много раненых и восемнадцать убитых.

Среди них учитель гимназии Фейхтингер. Он приложил руку к осуждению Мартина Крюгера. Потом ему понадобилось купить две синих тетрадки, для этого он сошел с трамвая не на

Штахусе, а на Изарторплац, был за это оштрафован, возмегодовал и сделался сторонником Кутцнера. Теперь он лежал возле Галереи полководцев. Всю жизнь он гордился тем, что ни разу не разбил очков. Очки и теперь не разбились, но учитель Фейхтингер был мертв.

Был убит и один из вождей движения. Мало кто из демонстрантов столько раз в жизни слышал свист пуль, как шалопай; он их не боялся, умел укрываться от них. Три года он провел в местах, где пуль было не меньше, чем дождевых капель. И вот пуля настигла его здесь, на уютной Одеонсплац. Он лежал у ног сомнительных полководцев, и губы его, минуту назад такие красные, теперь были бескровны, и он уже не радовал ничьих глаз.

Антиквар Каэтан Лехнер стоял в переулке. Он дрожал, чувствовал себя выпотрошенным, но он был жив. Люди напирали на него со всех сторон, толкали его. Притиснули к массивной двустворчатой двери. Что от нее проку, наверняка заперта. Все-таки он кое-как нащупал ручку, нажал на нее. И, подумать только, одна створка поддалась. Он оказался в просторном, светлом вестибюле. Машинально сразу закрыл за собой дверь. Зачем, чтобы и здесь была давка.

Дверь была прочная, ее не пробьет никакая пуля. Если бы только у него за плечом не болталась так нелепо винтовка. Он отдал бы все на свете, лишь бы от нее избавиться. Тогда с этой историей было бы покончено, и он никогда больше не имел бы отношения к пулям. По пологим каменным ступенькам он начал подниматься во второй этаж. Там на входной двери висела дощечка: «Д-р Генрих Баум, д-р Зигфрид Гинзбургер, адвокаты». Лехнер позвонил. Без всякой надежды на то, что откроют. Но, подумать только, открыла девушка. Спросила, кто ему нужен. Он машинально ответил, что хотел бы поговорить с господином адвокатом. Его впустили. Нестарый человек, худощавый и очкастый, довольно приветливо спросил, чем может служить.

— Сейчас... сейчас...— Он снял болтавшуюся за плечом винтовку, попытался прислонить ее к полке с деловыми бумагами. Но винтовка все время валилась набок. Он осторожно поворачивал ее то так, то этак и думал, что, если она упадет и загремит, все пропало. Кончилось тем, что он бережно и сосредоточенно уложил ее поперек письменного стола. Потом сказал: «Господин адвокат, у меня к вам просьба: мне бы надо кой-куда...»

Адвокат сам проводил его в уборную. Заперев дверь, Каэтан Лехнер с облегчением вздохнул. Скачки были нелегкие, но он одолел все препятствия и теперь в безопасности. Он сидел, переводил дух. Немного успокоившись, начал обстоятельно приводить себя в порядок. Задача оказалась сложной и не совсем ему удалась: он бог весть как изгадился.

Он долго пробыл в безопасности, защищенный запертой дверью. Медленно, все еще нетвердо держась на ногах, оделся. Сорвал с рукава повязку с индийской эмблемой плодородия, сунул ее в унитаз, спустил воду. Повязка никак не спускалась. Стоявшей в углу щеткой Лехнер протолкнул ее в трубу, присел еще на минутку. Потом, легонько вздохнув, встал.

Он хотел было улизнуть, но секретарша опять отвела его к адвокату.

— Чем же все-таки я могу вам служить? — доброжелательно спросил очкастый господин.

— Да больше, в общем, ничем,— ответил Каэтан Лехнер.— Простите, а сколько я вам должен? — добавил он просительно.

— Нисколько,— ответил адвокат.— Но что мне делать с винтовкой? — спросил он.

Каэтан Лехнер пожал плечами.

— Вы не возьмете ее с собой? — снова спросил адвокат.

— Нет, нет,— с ужасом отмахнулся обеими руками Лехнер.

Адвокат подошел к окну. С улицы уже почти не доносилось шума. Каэтан Лехнер молча сидел. Нигде и никогда в жизни он не чувствовал себя так уютно, как в этой большой, полупустой комнате; хотелось как можно дольше не уходить из нее.

— Стрельба как будто прекратилась,— сказал адвокат и медленно повернулся от окна к Лехнеру. Старик с трудом поднялся.

— Тогда я пойду,— сказал он.— И скажу: да вознаградит вас господь.— Он вышел. Долго стоял у двери и разглядывал белую дощечку с черной надписью «Д-р Генрих Баум, д-р Зигфрид Гинзбургер, адвокаты». «Евреи»,— решил он.

На улице было сумрачно, холодно. Каэтану Лехнеру все время казалось, что за плечом у него болтается проклятая винтовка. Он нетвердо держался на ногах, был голоден, мечтал как следует вымыться. Но идти домой на Унтерангер было стыдно. В ресторан он тоже не смел зайти — ему казалось, все сразу увидят, как мерзко он изгадился. Еле живой, брел по улицам. Добрался наконец до Изарау. Пошел дальше. Гарлахинг, Ментершвайге. Высоко над рекой повис изящный Гроссгесселоэский мост. Каэтан Лехнер сел на скамью и долго, не отрываясь,

глядел, как неутомимо катит река свои серо-зеленые воды. Он искренне верил, что Кутцнер поможет ему заполучить яично-желтый дом, а может, и «комодик». И вот оказалось, что Кутцнер дурак и дерьмо, да и он сам тоже не баварский лев, и вовсе он не выбился в люди, а еле дотащился до этой скамьи. Его тянул к себе Гроссгесселоэский мост. Он был такой высокий, что сделался настоящей приманкой для самоубийц: прыгнешь с него — и делу конец. Таким способом навсегда избавлялись от любовных горестей бесчисленные служанки, от голода и бед — бессчетные «трехчетвертьлитровые рантье». «Будь теперь лето,— размышлял Каэтан Лехнер,— можно было бы легко и просто войти в воду, а сейчас изволь прыгать». Потому что Каэтан Лехнер внезапно пришел к выводу, что он должен покончить со своей испоганенной жизнью. В газетах напечатают, что вчера с Гроссгесселоэского моста бросился в Изар всеми уважаемый антиквар Каэтан Лехнер. Стыд довел его до самоубийства.

Усталый, одеревеневший, он начал взбираться на мост. Уличные мальчишки, подростки двенадцати — четырнадцати лет, играли на мосту в Кутцнера и Флаухера. Превозмогая ломоту в костях, старый Каэтан Лехнер с трудом взгромоздился на перила. Было холодно. Он раскашлялся, вытащил голубой в клетку платок, высморкался. Мальчишки заметили его.

— Ребята, давай сюда! — крикнул один.— Сейчас этот тип сигапет с моста, есть на что посмотреть!

Они столпились возле старого Лехнера, выжидающе смотрели на него, с полным доброжелательством подбадривали.

Каэтан Лехнер продолжал сидеть на перилах — мальчишки мешали ему. Они так дурацки пялились, что невозможно было придумать ни одной благостно мудрой прощальной мысли.

— А ну, убирайтесь отсюда, сопляки! — крикнул он. Но те и не подумали уходить. Стояли и спорили, какой высоты мост и когда человек умирает — во время полета, разбившись о воздух, или уже упав и разбившись о воду. Они видели такое в кино, были хорошо осведомлены и теперь собирались проверить, так ли оно происходит в действительности.

Старик Лехнер по-прежнему сидел на перилах. Было дьявольски холодно, он совсем не чувствовал ног — так и поясницу застудить недолго. В общем, у него пропала охота прыгать. Но стыдно было перед мальчишками слезть с перил, так и не покончив с собой. Они, конечно, правы, он жалкий человечишка, ему только и остается, что прыгнуть в воду. Он старался разжечь себя, представляя всю глубину своего унижения. Маль-

чишки возмущались — что это он заставляет их так долго ждать? Но желание покончить с собой прошло у него не менее внезапно, чем возникло. И, значит, разжигать себя бесполезно: если у человека нет настроения, можно ли требовать, чтобы он взял и кинулся с моста в воду? Он мрачно поглядел на ребят водянисто-голубыми глазами, неловко слез с перил и закричал:

— Пащенки, поганцы, гнусняки! — и заковылял прочь.

— Трус, старая перечница, дрянь вонючая! — не остались в долгу мальчишки.

Он снова доплелся до скамейки, усталый до такой степени, что ему казалось, будто каждую свою косточку он несет отдельно. Сзади все еще вопили мальчишки:

— Старый козел, вонючка, трус, черт затрюханный, дохлятина!

Ему хотелось отсидеться на скамейке, невзирая на паршивцев-мальчишек. Но он вконец простудится, если сейчас же не уйдет отсюда.

Он опять поплелся в город. Прокламации Кутцнера везде были сорваны, остались только правительственные. Он прочитал одну из них, но ничего не понял. Вокруг него бранились: «Негодяй Флаухер, предатель, сволочь!» «Да, да»,— поддакивал Каэтан Лехнер. Стоило кому-нибудь посмотреть на него, и он видел в этом взгляде презрение, словно весь пропах своим позором.

Наконец, совсем ослабев, Каэтан Лехнер зашел в первый попавшийся кабачок. Заказал суп с ливерными клецками. Сперва ел машинально, хотя и жадно, потом вошел во вкус, заказал порцию легкого под кислым соусом и вдобавок еще порцию жареной телятины. Выпил кружку пива, потом вторую, потом чашку кофе. Долго сидел в прокуренном кабачке, наслаждаясь теплом, обильно потея. Тяжкий это был день. Все полетело в тартарары — и «комодик», и яично-желтый дом, и честь. Недостойный он человек, не так должен был вести себя домовладелец и вице-председатель «Клуба любителей игры в кегли».

До чего же приятно тут сидеть! Когда пули отскакивали от стен, было черт знает как жутко. А теперь у него в животе телячье жаркое и легкое под кислым соусом, и от винтовки он избавился, и от повязки тоже, а сейчас пойдет в городскую баню и помоется.

Он расплатился, оставил щедрые чаевые. В трамвае, по дороге в баню, опять чувствовал, что на него косятся. Но вот он улегся в ванну. Прищурившись, читал вывешенное на стене объявление, гласившее, что больше сорока пяти минут номер

занимать нельзя и что парикмахер при бане делает желающим педикюр. Жаль, что в номере можно оставаться так недолго. Лехнеру казалось, что с каждой минутой вода все больше смывает с него следы этой проклятой революции и его недостойного революционного прошлого. И вот уже время вылезать из водянисто-голубого тепла и напяливать на себя испакощенную одежду.

Лехнер ехал домой и вздыхал. Когда ему хотелось видеть детей, они куда-то исчезали, а сегодня, когда он надеялся, что в квартире никого нет, там сидела Анни и ожидала его. Она была в смертельном страхе. Столько убитых и раненых, а она ведь знала, что он пошел туда и не вернулся домой ни ночью, ни днем.

На ее расспросы он отвечал сердитой, невразумительной воркотней. Ему надо немедленно лечь в постель, хорошо, если он не подхватил ревматизма или в лучшем случае насморка, так что пусть она заварит ему бузинный чай. Пока Анни заваривала чай, он поспешно разделся и сунул белье подальше с глаз. Она принесла ему грелку и горячее питье. Каэтан Лехнер потел и блаженно мычал. Но, и пропотев, продолжал чувствовать всю свою недостойность, весь позор. Теперь Гаутсенедер может издеваться над ним, сколько хочет: у него уже нет охоты разыгрывать из себя домовладельца. И он никогда не забудет, как у него заболело и словно размякло нутро. И никогда больше не станет соваться в свары «большеголовых». Такие, как он, должны говорить спасибо, если им оставляют их пиво, и порцию легкого под кислым соусом, и спокойную жизнь. Он переборет себя и слова дурного не скажет, если в «Клубе любителей игры в кегли» выберут другого вице-председателя.

9
СЛУЧАЙНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ

Сразу после обеда Тюверлен уехал в Мюнхен, чтобы своими глазами посмотреть на национальную революцию — сбивчивые вести о ней дошли и до виллы «Озерный уголок» на Аммерзее. В городе повсюду были расклеены прокламации, в которых Флаухер отрекался от слов, вырванных у него силой, и клеймил Кутцнера и Феземана, называя их мятежниками. Но во всем этом была какая-то неясность. Иные глубокомысленные люди утверждали, что Флаухеровы прокламации — чистая про-

форма, уловка, чтобы усыпить Берлин и заграницу, а на самом деле Флаухер стоит за «патриотов». Ходили слухи, что в страну вот-вот вторгнутся войска извне. Откуда? Против кого? Никто толком не знал, что происходит.

Тюверлен медленно вел машину по улицам, запруженным возбужденной толпой. Днем на Одеонсплац стреляли, это все знали точно: там были и убитые, и раненые. Теперь площадь была уже убрана и оцеплена солдатами. По ней семенили голуби, удивляясь, куда делись прохожие и почему никто их не кормит. Лишь два баварских полководца, из которых один не был баварцем, а другой полководцем, бронзовыми глазами взирали на раскинувшееся у их ног опустевшее поле сражения. Неуклюжий памятный камень сегодня не был помехой движению. Новые слухи: Кутцнер пал, генерал Феземан пал. Яростные выкрики по адресу Флаухера, который вечером вместе с фюрером дал клятву на Рютли и тут же вонзил ему нож в спину.

Все стратегические пункты, все общественные здания охраняли правительственные войска и полицейские в зеленых мундирах. У часовых на лицах застыло глупое, напряженно-безразличное выражение. Прохожие брюзжали. На Амалиенштрассе, перед заведением, где обычно собирались «патриоты», стоял на часах одинокий полицейский в зеленом мундире. Тюверлен видел, как иссохшая старуха — то была надворная советница Берадт, но этого Тюверлен не знал — подбежала к часовому и плюнула ему в лицо, считая, очевидно, что проявила незаурядную отвагу. Видели это многие, они захлопали в ладоши, их лица исказило злобное торжество. Полицейский подпрыгнул, потом застыл на месте, потом покрутил головой и стер плевок рукавом.

— Еврейская сволочь, ноябрьский подонок, предатель, красный пес, Иуда! — вопила дама.

Она надеялась, что наконец-то наступит свобода, народ уничтожит подлые большевистские законы о правах квартирантов, и тут-то она и расправится со своими жильцами, с этими мерзавцами, как они того заслуживают. Но коварство и измена снова растоптали народные чаяния. Хоть на этом полицейском удалось ей выместить свое негодование. Задрав голову, расталкивая зрителей, она ушла под общие аплодисменты. Ее примеру решил последовать какой-то щуплый, бедно одетый, дрожащий от холода человечек. Но на этот раз полицейский не растерялся. Щуплому пришлось улепетывать во все лопатки. Полицейский гнался за ним, размахивая резиновой дубинкой. Щуплый бросился на землю у какой-то стены, прижался, вда-

вился в нее. Полицейский стал избивать его дубинкой. Толпа смотрела, бранилась, но держалась в почтительном отдалении, готовая в случае чего дать тягу.

Тюверлен решил собрать побольше информации и для этого объехать учреждения и редакции газет. Ему были открыты все двери,— он же писатель, значит, его можно не принимать всерьез, он имеет успех, значит, с ним лучше не ссориться. Но ни в редакциях, ни в министерствах никто ничего не знал. Тогда Тюверлен поехал в редакцию «Фатерлендишер анцейгер». Влиятельному чужеземцу позволили войти и туда. Помещение было наводнено полицией, зеленые полицейские охраняли вестибюль, лестницу, коридоры. У Тюверлена мелькнула мысль, что впустить-то они его впустят, но вот выпустят ли? Все-таки он вошел.

В комнатах секретариата было шумно и суетливо. Мигали сигнальные лампочки телефонов — красные, желтые, зеленые. Со всех концов города звонили взволнованные, растерянные люди, спрашивали о судьбе родных и знакомых, принимавших участие в демонстрации и не вернувшихся домой. Постепенно выяснилось, что́ произошло у Галереи полководцев и как постыдно, после первого же выстрела, провалился путч «патриотов». В то же время из провинциальных городков поступали сведения, что там национальная революция одержала победу.

Чиновники уголовной полиции, соблюдая вежливость и стараясь не очень мешать работе редакторов, делают обыск, роются в ящиках письменных столов. Вот они входят в кабинет фюрера. Обыскивают его письменный стол. Тюверлен стоит в дверях вместе с редакторами и стенографистками, смотрит во все глаза. Он тоже слышал о знаменитом ящике — о нем перешептывалась вся страна,— о том самом ящике, где, скрытые от всех, лежат планы переустройства государства. И вот дело доходит до знаменитого ящика. Тюверлен становится на цыпочки. Через плечи редакторов и служащих смотрит, как полицейские взламывают ящик.

В ящике — обрывки бумаги, пробка от бутылки шампанского. И все. Больше там ничего нет.

Когда полицейские позволили наконец Тюверлену уйти из редакции, он поехал в «Мужской клуб». Там теперь почти не осталось сторонников Кутцнера. Доллар стоил шестьсот тридцать миллиардов марок, но через несколько недель, а может, и дней, курс марки стабилизируется. Г-н Кутцнер уже не нужен, он опоздал, все издевались над постыдным провалом его путча. Обсуждали, что́ будет разумнее со стороны правительства — за-

садить Кутцнера в тюрьму или выслать за границу? Коварно перечисляли вслух всех скомпрометированных. А вот как обстоят дела с самим генеральным государственным комиссаром? Члены клуба шушукались. Впрямь ли обещание, данное Флаухером Кутцнеру, было только шахматным ходом? Впрямь ли он с самого начала решил подавить путч?

Лучше всех был осведомлен на этот счет министр Себастьян Кастнер. Да, стоя под дулом кутцнеровского пистолета, Флаухер уже твердо решил дать радиограмму с отказом от своего обещания, но и в этот свой героический час остался чиновником, не мог обойтись без согласия тех, кого считал богоданными владыками. Себастьян Кастнер вел от его имени телефонные переговоры с молчаливым г-ном Ротенкампом, с доверенным лицом Берхтесгадена, с доверенным лицом церкви. Разговоры были лаконичны. Промедление привело бы к гибели. Себастьян Кастнер восхищался поведением своего патрона Франца Флаухера в эту трудную для него ночь, восхищался ловкостью, с которой он провел Кутцнера и спас Баварию, да и все государство, от беды. Если есть на свете человек, который заслуживает названия «отец отечества», то, разумеется, это Флаухер. Молниеносность, с которой он принял решение, ловкость, с которой исполнил свой план, весь его образ действий Кастнер считал попросту гениальными. И этого человека ненавидит весь словно бы ослепший город, и этому человеку нельзя появляться на улицах иначе, как в бронированном автомобиле. Себастьян Кастнер из кожи вон лез, чтобы хоть здесь люди поняли происшедшее, приводил доводы, осыпал грубой бранью сьота Кутцнера и вонючего пруссака Феземана.

Члены клуба учтиво, недоверчиво и иронически слушали, как ярится неуклюжий приверженец Флаухера, как он восторгается, стараясь заразить своим восхищением и других. Возможно, один лишь Тюверлен понимал, что как раз с точки зрения этих господ поведение Флаухера было, действительно, гениально. Будь на его месте любой из нынешних скептиков, он наверняка не устоял бы перед соблазном хоть несколько дней поиграть в национального героя, а это неминуемо привело бы к гражданской войне и омерзительной бойне. Очевидно, только на границах Баварии удалось бы справиться с нелепым мятежом. Так что в этот роковой час самым подходящим для Баварии государственным деятелем действительно был не слишком одаренный Франц Флаухер.

Взволнованный до глубины души, Жак Тюверлен старался уяснить себе связь событий. Видимо, весь ход истории требовал,

чтобы индустриализация Центральной Европы шла умеренным темпом. И тут Бавария оказалась отличным тормозом. Та же историческая необходимость выдвинула группу людей, далеко отставших от своего времени,— Кутцнера и его приспешников. Но тормозная колодка слишком сильно давила, и ее пришлось снять. Это тоже было полезно, предотвращало возможность катастроф, в этом тоже сказалась историческая необходимость,— недаром путч был ликвидирован человеком, который сам всеми силами противился индустриализации. Так что даже в такой случайности, как дурацкий путч, организованный жалким ничтожеством Кутцнером и подавленный жалким ничтожеством Флаухером, были элементы необходимости. Если смотреть со стороны, действия обоих шли на благо Баварии.

Жак Тюверлен хотел было выступить в поддержку Себастьяна Кастнера, который, один против иронизирующих членов клуба, отбивал атаки на Флаухера, когда вошел человек, интересовавший Тюверлена куда больше, чем Кастнер, и давно исчезнувший с горизонта,— Отто Кленк.

ПАРИ НА РАССВЕТЕ

Во время путча Кленк сидел у себя в Берхтольдсцеле. К нему приехала танцовщица Инсарова, ужин прошел очень весело, она осталась ночевать у Кленка. Утром он позвонил в Мюнхен, но не дозвонился. Инсарова провела с ним все утро, была у него и в полдень, когда возле Галереи полководцев погиб Эрих Борнхаак. Так как в Мюнхен по-прежнему невозможно было дозвониться, Кленк сам повез танцовщицу в город.

Как раз в ту минуту, когда он завел машину, неподалеку от Берхтольдсцеля остановилась другая машина: в ней сидел Руперт Кутцнер, который надеялся в загородном доме одного из друзей укрыться от полиции.

Кленк приехал в город, попрощался с Инсаровой, услышал толки — сперва неясные, потом более ясные, наконец яснее ясного. Загоготал, узнав о позорном провале путча — поделом Кутцнеру, поделом Флаухеру. Услышал об убитых и раненых. Начал носиться по городу, разыскивая сына, Симона, паренька. Не нашел. Город гудел от слухов, среди убитых называли то одного, то другого. Скорей, скорей прочесть точный список

убитых — больше ни о чем Кленк не думал. Наконец прочел его, знакомого имени не увидел и радостно вздохнул. Но потом, наткнувшись на имя Эриха Борнхаака, разъярился и как-то растерялся. Вспомнил врага, который сейчас в Берлине. Пожалел, что тот не в Мюнхене. Будь он здесь, Кленк немедленно поехал бы к нему. Позлорадствовать из-за того, что Симон Штаудахер жив, а Эрих Борнхаак мертв? Нет, он не стал бы злорадствовать. Они посидели бы вместе, почти или даже совсем не разговаривая.

Он отправился в «Мужской клуб». Ему не терпелось выложить кое-какие истины по поводу этого девятого ноября. Вряд ли он встретит там господина генерального государственного комиссара — господин генеральный государственный комиссар не осмеливается появляться на улицах иначе, как в бронированном автомобиле. И вряд ли господину генеральному государственному комиссару так уж захочется немедленно прикатить в «Мужской клуб» в бронированном автомобиле. Тем не менее Кленк найдет там несколько пар ушей, в которые он с превеликим удовольствием накапает упомянутые истины.

Однако в клубе таких ушей оказалось мало. С точки зрения качества, единственным подходящим человеком был Тюверлен. Кленк знал его,— умный пес, ничего не скажешь. Обнюхаться с ним, посидеть вместе, обменяться замечаниями об этом девятом ноября — пожалуй, оно того стоило. Жак Тюверлен, со своей стороны, тоже как будто не возражал против этого. Когда-то Кленк разработал план кампании против Крюгера, доставив кучу неприятностей многим людям, в том числе и Тюверлену. Но это не значило, что последний не чувствовал симпатии к гиганту-баварцу.

В «Мужском клубе» невозможно было разговаривать — куда ни глянь, везде торчало чье-нибудь ослиное ухо. Поэтому Тюверлен охотно согласился на предложение Кленка отправиться в «Тирольский кабачок».

В боковой комнате, где за четверть литра вина брали на десять пфеннигов дороже, Рези, после ухода Ценци ставшая кассиршей, предупредила их, что как ни жаль, а через десять минут заведение придется закрыть — сегодня полицейский час начинается особенно рано. Но Кленк с Тюверленом уверили ее, что с удовольствием посидят и при спущенных железных шторах, при погашенном электричестве, при одних свечах.

Они основательно выпили — об этом позаботилась Рези — и поговорили по душам. Кленк с живым интересом читал книги

Тюверлена, но не одобрял их. Тюверлен с живым интересом следил за судебной деятельностью Кленка, но не одобрял ее. Они нравились друг другу. Выяснилось, что обоим нравятся одни и те же марки вин. Оба пришли к выводу, что от жизни человек получает только одно — самого себя, но этого вполне достаточно. Кленк это Кленк и пишется Кленк, а Тюверлен это Тюверлен.

—Зачем, собственно, вы пишете книги, господин Тюверлен? — спросил Кленк.

— Для меня это способ самовыражения,— сказал Тюверлен.

— Для меня способом самовыражения была судебная деятельность,— заметил Кленк.

— Вы не всегда удачно выражали себя, господин Кленк,— сказал Тюверлен.

— Какие у вас претензии к моей судебной деятельности? — спросил Кленк.

— Ее нельзя назвать честной игрой,— сказал Тюверлен.

— Что такое «честная игра»? — спросил Кленк.

— Решимость иной раз давать больше, чем должен, и брать меньше, чем можешь,— сказал Тюверлен.

— Вы чересчур многого требуете от простого смертного,— возразил Кленк.

— Скажите,— помолчав, спросил Тюверлен,— а приятно чувствовать себя этаким экземпляром вымирающей породы крупных млекопитающих?

— Великолепно,— убежденно сказал Кленк.

— Пожалуй, иной раз и впрямь великолепно,— не без зависти согласился Тюверлен.

— А знаете,— сказал Кленк,— я действительно помиловал бы вашего Мартина Крюгера. Никакой личной неприязни у меня к нему не было.

— Вспомните, пожалуйста, что в своем очерке я и не утверждал противного,— сказал Тюверлен.

— Вы написали отличный очерк,— признал Кленк.— Что ни слово, то вранье, но абсолютно правдоподобное. Ваше здоровье! Знаете что,— добавил он,— если ваша Иоганна похожа на вас, нам бы следовало послать ей открытку.

— Слава создателю, совсем непохожа,— ответил Тюверлен.

— Жаль,— сказал Кленк и стал размышлять, кому бы можно было послать сейчас открытку. Ясно, что не Флаухеру, не Кутцнеру и не Феземану.

До них донеслись громкие голоса: двое запоздалых посетителей требовали, чтобы их впустили. Наконец Рези сдалась. Вошли фон Дельмайер и Симон Штаудахер. Этот Симон, паренек, был, по мнению Кленка, всего лишь сопляк. Но при этом его собственный отпрыск. Кого-то уже нет в живых, а сопляк сидит тут во плоти. Кленк от души радовался.

Фон Дельмайер был глубоко потрясен смертью своего друга Эриха Борнхаака. Оставить его одного Симон Штаудахер не мог и полночи таскался с ним по уже закрытым кабакам. Фон Дельмайер многое испытал, но только известие о том, что Эриха больше нет на свете, задело его до самого нутра. Считай хоть до десяти, хоть до тысячи — на этот раз Эрих все равно уже не встанет.

— Он говорил по-французски, как заправский парижанин,— рассказывал фон Дельмайер.— В Париже мы как-то зашли с ним в бордель, так тамошние ребята приняли Эриха за своего.— Он громко, на всю комнату засмеялся свистящим смехом.— А какие у него были замечательные ногти — накрашенные, наманикюренные,— задумчиво добавил он.

Симон Штаудахер очень симпатизировал Эриху. Он злился на отца: сидит себе здесь, весь раздулся от важности — мол, оказался прав. Правым может оказаться любой осел. Не в правоте дело, а в отваге. Симон готов был стукнуть родителя бутылкой по облысевшему черепу. Как бы там ни было, а прав один фюрер, все остальные просто дерьмо.

— В уставе полевой службы сказано, что ошибка в выборе средств менее преступна, чем бездействие,— завопил он.

— А я сижу в Берхтольдсцеле и бездействую,— ухмыльнулся Кленк.

Голое лицо Тюверлена собралось в складки. До сих пор ему не доводилось слышать об этой инструкции, в которой военные мудрецы так откровенно признавали, что война предпочтительней мира.

Симон Штаудахер стал громовым голосом орать песни «патриотов», пренебрегая слезными просьбами Рези петь потише, чтобы не услышали на улице. Тюверлен отметил про себя удивительное сходство между обоими — Кленком и его отпрыском. Но сыну не хватало какой-то малости, которая и составляла обаяние отца. Симон сразу невзлюбил Тюверлена. Задирал его, пытался вывести из себя. Да, на этот раз кое-то из «истинных германцев» отправился на тот свет, что правда, то правда, но на тот свет отправились и многие другие: Карл Либкнехт и Роза Люксембург, имперский министр иностранных дел, служанка

Амалия Зандхубер, депутат Г., Мартин Крюгер, паршивый клятвопреступник. Кленк несколько раз приказывал своему сыну заткнуть глотку, но тот не унимался.

— Да заткни ты глотку,— примирительным тоном повторил Кленк.— Кто умер, тот мертв,— пробасил он, как бы подводя итог разговору.

— Не всякий, кто умер, мертв,— скрипучим фальцетом возразил ему писатель Тюверлен; возможно, он думал в эту минуту о литературном наследии покойного Крюгера.

— Ошибаетесь, почтеннейший,— закатился свистящим смехом страховой агент фон Дельмайер.— Когда вы издохнете, вам капут, и хотите не хотите, придется заткнуться.

— Нет, это вы заблуждаетесь,— сдержанно возразил Тюверлен.— Случается, что и у мертвых развязывается язык.

— Вы говорите о своем приятеле, Мартине Крюгере, Тюверлен? — спросил Кленк.

— Он никогда не был моим приятелем,— сказал Тюверлен.— Но, может быть, я говорю о нем.— Теперь он уже знал, что имеет в виду не литературное наследие Крюгера, а совсем другое.

— Не тешьте себя надеждой,— миролюбиво сказал Кленк.— Ваш мертвец будет крепко держать язык за зубами. На этот раз, как ни странно, Флаухер не ошибся.

— Нет, он заговорит,— учтиво сказал Тюверлен.

Симон Штаудахер так громко заржал, что пламя оплывших свечей заколебалось. Жак Тюверлен был широкоплеч и хорошо тренирован, но выглядел хрупким рядом с двумя гигантами.

— Хотите пари, что заговорит? — предложил он.

Страховой агент фон Дельмайер насторожил уши, кассирша Рези подошла ближе.

— Пари на что? — заинтересовался Кленк.

— Держу пари на весь доход от следующей моей книги против двух костяных пуговиц на вашей куртке, Кленк, что мертвый Мартин Крюгер не станет держать язык за зубами.

— И выступит против меня? — спросил Кленк.

— Да, против вас,— сказал Тюверлен.

Кленк от души расхохотался.

— К пуговицам я еще добавлю бутылку терланского,— заявил он.

— Согласен,— сказал Тюверлен.

— Это надо изобразить на бумаге,— сказал Симон Штаудахер, и они записали условие пари.

11
КАК ВЯНЕТ ТРАВА

Депутат Гейер жадно слушал вести о путче Руперта Кутцнера, доходившие из Мюнхена. Они были очень противоречивы, но через сутки все же не осталось сомнений, что путч провалился. И, судя по всему, весьма постыдно. Сердце Гейера было полно ликования. Он мысленно представлял себе наглое лицо Кленка, жующего сосиску, запивающего золотистым вином и с нахальной откровенностью утверждающего право на насилие,— и праздновал победу над этим лицом. Теперь мальчик убедится, что не все сходит человеку с рук, как ему до сих пор казалось, что наглость, произвол, несправедливость сами роют себе яму. Депутат Гейер лежал на софе, не сняв очков, зажмурив покрасневшие веки, подложив руки под голову, оскалив желтые зубы. Удовлетворенно, радостно улыбался.

Назавтра, уже к вечеру, он прочитал список погибших у Галереи полководцев. То были люди, убитые случайно, никому не известные имена. Феземан сдался властям, Кутцнер улизнул в своей серой машине. И тут доктор Гейер увидел имя Эриха Борнхаака.

Он купил газету на улице, неподалеку от дома. Пошел домой, сильно хромая, и дорога показалась ему нескончаемо длинной. Газету он нес в руке, уронил ее, нагнулся — на секунду ему показалось, что у него переломилась спина,— подобрал и запихнул в карман. До дома оставалось не больше ста шагов, но Гейер совершенно обессилел. Ему хотелось взять такси, но шофер начал бы ворчать, а этого он сейчас не вынес бы. Поднялся по лестнице, ступенька за ступенькой, и каждая была настоящей пыткой. Остановился у своих дверей. Придерживая правой рукой газету в кармане, левой старался отпереть замок. Это было сложно, а отпустить газету он не догадался. Потом кое-как доплелся до своей неуютной комнаты. Задернул шторы, чтобы не проникал свет с улицы, снял чехол с оттоманки, завесил зеркало. Начал что-то искать. Хотел было попросить экономку Агнессу помочь ему, но передумал. Наконец нашел то, что искал — большую свечу и вторую, сильно оплывшую. Зажег их и отправился в кухню. Экономка Агнесса удивленно спросила, что ему нужно? Он молча взял стоявшую в углу скамеечку и унес с собой. В комнате, где тускло горели свечи, стал перед занавешенным зеркалом и попытался разодрать на себе пиджак. Но руки у него были слабые, тон-

кокожие, а материал прочный, и у него ничего не получилось. Тогда он взял ножницы и начал надрезать пиджак, это тоже было нелегко, но с этой задачей он все-таки справился, затем разодрал пиджак сверху донизу. Сел на скамеечку. И замер.

Вошла экономка Агнесса. Он сидел, тупо глядя перед собой, очень старый, пришибленный. Должно быть, у него случилось несчастье, и, уж конечно, из-за того негодяя. Вот он и повредился в уме. Она стала ворчать себе под нос, но сказать что-нибудь громко не осмелилась и ушла, шаркая туфлями.

Прошло немного времени, и она услышала, что он расхаживает по комнате. Приоткрыла дверь и заглянула в щелку, но он уже опять сидел на скамеечке. На этот раз она заметила, что он разодрал на себе пиджак. Его голова свешивалась почти до колен — и как он умудряется сидеть в такой позе! Агнесса спросила, не хочет ли он есть, он не ответил, и она оставила его в покое.

В ту ночь экономка Агнесса не ложилась. Прислушивалась, что он делает. Он почти все время сидел на скамеечке, изредка начинал расхаживать. Свечи догорели, других у него не было. Он не стал зажигать электричество, сидел в темноте.

Мальчик положил тогда ногу на ногу. Брюки на нем были клетчатые, из отличного английского материала, тщательно отутюженные. У него самого, пожалуй, никогда не было таких хороших брюк. А тонкие носки матово поблескивали. И туфли ладно сидели на ногах — конечно, сделаны на заказ. Затея с кошачьей фермой была чистым безумием, но кто, кроме мальчика, мог бы придумать такое. Чем только мальчик не интересовался. Политика, исследования состава крови, деловые махинации, тряпки, отлично скроенные костюмы. На правой гетре почему-то не хватало пуговки. И был у него друг. Даже Кленк, и тот уважал мальчика. Поразительно способный. Там, у австрийского озера, случилось чудо. Такая рослая белокурая девушка. Виноват он один — мало помог Крюгеру. Помог бы больше — мальчика не убили бы. Он сидел на скамеечке и нюхал, нюхал — до него доносился запах сена и кожи.

Позже, когда рассвело, экономка Агнесса услышала, что доктор Гейер разговаривает сам с собой на непонятном языке. На древнееврейском. Депутат рейхстага Гейер бессознательно шевелил губами и повторял древнееврейские молитвы — заупокойные молитвы и благословения, отпечатавшиеся у него в памяти с детских лет. Доктор Гейер был родом из еврейской семьи, где соблюдали обряды и читали молитвы, а память у него была превосходная. Он говорил: «Как вянут цветы, как

жухнет трава, так вянем мы, уходя во тьму». Он положил руку на холодный абажур настольной лампы, как отец клал руку ему на голову, когда благословлял в пятницу вечером, и произнес: «И да будешь ты волею господней во всем подобен Ефрему и Манасии». И еще: «Мы помним, что мы всего только прах». Доктора Гейера мучило, что не было тут десяти человек, как велит закон. Мучило, что в праздник Нового года не исполнил обряда, не пошел к проточной воде, как велит закон, и не сбросил в нее своих грехов, чтобы поток унес их в море. Сделай он это, мальчика не убили бы.

Так сидел депутат Гейер до поздней ночи, не ел, и не умывался, и не брился, и не менял одежды. Он скорбел о сыне своем Эрихе Борнхааке, который совершал подвиги на войне, и низко пал на войне, и отравлял собак, и убивал людей, и немного скучал при этом, и предложил своему отцу сделать в Кенигсберге исследование крови, и был убит в Мюнхене возле Галереи полководцев, и оставил после себя только легкий запах сена и кожи да воспоминание о своей нелепой смерти.

Ночью доктор Гейер немного поспал. Проснувшись, встал и, сдвинув ступни, начал раскачиваться всем туловищем.

— Да будет имя его свято и прославлено.

Закон требовал, чтобы при этом присутствовало десять взрослых верующих евреев. А ему приходилось молиться в одиночестве.

И этот день он тоже просидел на скамеечке и ничего не ел. А вечером выехал в Мюнхен.

12

БЫК МОЧИТСЯ

Актер Конрад Штольцинг вернулся из пограничного с Швабией верхнебаварского городка, где в почетном заключении жил Руперт Кутцнер. Туда он ехал с грудой подарков для заключенного, будто Дед-Мороз на рождество. Но оказалось, что зря старался. Полные любви и рвения «патриоты» окружили сидящего под домашним арестом фюрера таким изобилием вещественных знаков внимания, что хватило бы на несколько товарных складов. Вокруг него высились горы пирогов, окороков, дичи, битой птицы, бутылок вина и шнапса, яиц, коробок конфет и сигар, шерстяных фуфаек с вывязанной на

них индийской эмблемой плодородия, обмоток, кальсон; были среди подарков и диктофон, и граммофонные пластинки, и две книги.

Актер цветисто и образно описывал друзьям душевное состояние царственного узника. Руперт Кутцнер был безмерно потрясен низменной хитростью и коварными уловками, пущенными в ход, дабы низринуть его в бездну. Рука об руку с ним перед ликующей толпой стоял и Флаухер, а потом тот же Флаухер постыдно его предал. Да, фюрер нарушил свое обещание Флаухеру отложить выступление, но сделал это во имя благородных идеалов. Меж тем поступок Флаухера вовсе не северная, а просто низменная хитрость. Подумать только — немец, и такое вероломство! Штольцинг рассказывал, что раненый герой (во время национальной революции Кутцнер вывихнул себе руку) дни напролет сидит, погруженный в сумрачное раздумье. Забывает есть и пить, твердит о самоубийстве. Он, Конрад Штольцинг, целых двадцать минут увещевал томящегося в клетке орла, пока не вырвал обещания, что тот все-таки сохранит себе жизнь ради национальной идеи и черно-бело-красной Германии.

Тем временем баварское правительство подготавливало суд над Кутцнером с оглядкой на новую политическую ситуацию. Положение имперского правительства снова упрочилось, курс марки стабилизировался, замысел создать Дунайскую федерацию под гегемонией Баварии провалился. Еще недавно «патриоты» казались баварским властям желанной опорой, а теперь стали ненужным бременем. На мюнхенское правительство сыпались обвинения в том, что, пока Кутцнер не попытался устроить путч, оно во главе с генеральным государственным комиссаром Флаухером было заодно с мятежным фюрером. И теперь баварскому кабинету министров необходимо было провести разбирательство дела Кутцнера так, чтобы не просто прикрыть всем очевидные факты, но и, вывернув их наизнанку, переложить ответственность на плечи «истинных германцев».

Таким образом, перед судом должны были предстать Кутцнер, Феземан и еще восемь партийных руководителей; Флаухера среди обвиняемых не было — ему отводилась роль свидетеля, притом связанного служебной тайной. Он, следовательно, получал возможность показывать под присягой все, что оправдывало баварское правительство, и в то же время мог отмалчиваться, прикрываясь этой самой тайной, когда обнаруживались обстоятельства, правительству невыгодные. Чтобы об-

легчить ему задачу, правительство поручило ведение дела лицу, тесно связанному с генеральным комиссаром. И не спешило начать процесс, давая Флаухеру время договориться с командующим баварскими войсками и согласовать с ним показания.

Суд происходил в уютном столовом зале бывшего военного училища. Публика была заранее отобрана и состояла главным образом из «истинных германцев» и лиц, сочувствовавших им,— среди последних было много дам. Процесс принял форму учтивой беседы. Барьеров не было, подсудимые удобно расселись за столами. Как только входил обвиняемый генерал Феземан, часовые брали на караул, присутствовавшие вставали.

Руперт Кутцнер уже несколько месяцев не выступал публично. Получив сейчас, после долгого воздержания, возможность произнести речь, почувствовав контакт с аудиторией, ее напряженное внимание, он взыграл духом, окрылился. Следуя совету актера Штольцинга, фюрер пришел на суд не в обычном своем спортивном костюме в обтяжку, а в более соответствующем трагической обстановке долгополом сюртуке, на котором красовался железный крест. Тюверлен вглядывался в него, смотрел, как поднимается и опускается его грудь, как оживляются пустые глаза, как багровеет чисто выбритое, припудренное лицо, как сопит утиный нос. Этот человек, несомненно, верил в свои слова, верил, что стал жертвой великой несправедливости. Все время варьируя фразы, Кутцнер с жаром утверждал, что не признает так называемой революции. Он не бунтовал, не устраивал мятежа, он хотел одного — восстановить прежний порядок, разрушенный настоящими бунтовщиками и мятежниками. Разве не был с ним заодно и генеральный государственный комиссар, разве не замышлял и он свергнуть имперское правительство, дабы заменить его враждебной парламентаризму директорией? Глава баварского правительства и говорил и делал как раз то, из-за чего он, Кутцнер, попал сейчас на скамью подсудимых. Почему он нанес удар, не дожидаясь Флаухера? Да потому, что именно он, Кутцнер, истинный, богом призванный фюрер. Умению управлять государством научиться нельзя. Когда человек твердо знает, что обладает неким талантом, он не должен оглядываться на кого-то, кто случайно оказался у власти, нет, тут скромничать не приходится. Он жаждал сослужить службу отечеству, исполнить свою историческую миссию. Ради этого многие его соратники пожертвовали жизнью, да и он сам вывихнул руку, а его сейчас судят, называют предателем. Кутцнер весь раскалился от праведного гнева.

Тюверлен обдумывал его слова. Вот она, проблема государственной измены. Неудачная попытка государственного переворота именуется государственной изменой, а удачная — законным актом, более того — она сама становится законом и прежних законных правителей превращает в государственных преступников. Этот Кутцнер не способен уразуметь, что республика — совершившийся факт. Он твердил, что революция в послевоенные годы не добилась успеха, и, исходя из этого, действовал.

Руперт Кутцнер говорил четыре часа подряд. Своей речью он наслаждался, как наслаждается струей свежего воздуха человек, который чуть было не задохся. Весь смысл его жизни был в произнесении речей. Вытянув шею, стиснутую высоким крахмальным воротничком, в своем долгополом сюртуке, застегнутом на все пуговицы, он стоял по стойке «смирно», как солдат, рапортующий начальству. Ни разу не потерял выправки. Изливая бурные потоки красноречия, ни разу не забыл привести полные титулы лиц, им упоминаемых. Видимо, ему льстило, что он привел в движение всех этих превосходительств — государственных комиссаров, генералов, министров.

Как ни пуста была речь Руперта Кутцнера, эти однообразные вариации все на ту же тему, он отнюдь не выглядел смешным. Напротив, способность этого человека украсить свой провал и падение такими широкими жестами и громоподобными словами была просто великолепна.

А вот свидетель Флаухер был и смешон и ничтожен. Он-то и был настоящий обвиняемый. В роковой час он постыдно предал Кутцнера, нанес великой идее удар из-за угла, а теперь сидит здесь и делает вид, что он ни при чем, и умывает руки. Таково было всеобщее мнение.

Процесс длился две недели. Две недели обвиняемые и их защитники терзали ехидными вопросами поверженного генерального государственного комиссара. Наперебой доказывали, что с Кутцнером или без него, но он задался целью насильственно свергнуть берлинское правительство и установить диктатуру Баварии. Что намеревался сделать то же, что и Кутцнер, но не девятого ноября, а двенадцатого. Что если действия Кутцнера — государственная измена, то и всю государственную деятельность Флаухера следует рассматривать как измену. Для них были недосягаемы те, кто дергал Флаухера за веревочку, закулисные правители Баварии; тем больше яда, ненависти, презрения выливали они на человека, который был вполне досягаем, на труса и предателя, на свидетеля Франца Флаухера.

«Почему,— спрашивали они,— вы не подвергали аресту людей, которых приказывало вам арестовать имперское правительство? Почему объявили общегерманские законы недействительными для Баварии? Почему удержали золото, принадлежавшее Государственному банку? По какому праву привели к присяге баварские войска, именуя себя при этом имперским наместником? Кто назначил вас имперским наместником?»

Флаухер сидел и угрюмо молчал или говорил, что не помнит такого-то факта, что отказывается отвечать на такой-то вопрос, что связан служебной тайной. Все пожимали плечами, презрительно смеялись. Он молчал.

За свою долгую служебную карьеру четвертый сын секретаря королевского нотариуса из Ландсхута перенес немало унижений — сперва, будучи студентом, от высокомерных товарищей по университету, потом, будучи чиновником, от самодуров-начальников, потом, сделавшись министром, от суетного и спесивого Кленка. Но он вышел победителем, Кутцнер стоял перед ним на коленях, настал его желанный час. Он понадеялся, что этот час оплачен всем, что было постыдного в его жизни, но оказалось, что расплата пришла только теперь. Велико было искушение здесь, в этом зале, хлестнуть наглых, осыпающих его издевками негодяев правдой о том, как оно было на самом деле, крикнуть им, что он — лишь верный солдат, исполняющий приказы начальников, что он и сейчас всего лишь наместник владык, поставленных самим богом. Но самим богом поставленные владыки как раз и требовали от него, чтобы он не распускал язык, чтобы принял на себя тот позор, который должен был бы запятнать их. Прежде он до конца наслаждался сладостью своей миссии, теперь до конца испил ее горечь.

Целых две недели сидел он на свидетельском месте, низко опустив массивную квадратную голову, молчаливый и беспомощный, то и дело оттягивая пальцем воротничок. Когда фюрер говорил о том, как постыдно его предали, присутствовавшие пронзали презрительными взглядами неуклюжего человека на свидетельском месте. Кое-кому это зрелище было даже интереснее, чем разглагольствования Руперта Кутцнера. Например, художник Грейдерер, поселившийся теперь в деревне, завел мотор своего разбитого зеленого драндулета, который слыл музейным дивом, потому что все еще был способен двигаться, и приехал в город, только чтобы взглянуть на свергнутого генерального государственного комиссара. На то, как он неподвижно сидит под градом язвительных, постыдных для него

вопросов,— подлинное воплощение невзгоды. Враги рвали его когтями, вонзали в него клыки — он даже не вздрагивал, он молчал. С жадностью изучал Грейдерер этого страдальца. Он работал сейчас над большим полотном, писал измученного, израненного быка, который мочится, стоя у ограды, и не желает возвращаться на арену. В зале пехотного училища, где происходил суд, Грейдерер нашел то, что ему было нужно. Ухватил множество важных оттенков. Две недели просидел на свидетельском месте Флаухер, угрюмый, ожесточенный, подставляя грудь под все стрелы, которые иначе вонзились бы в других.

Зато все солнечные лучи падали на лица Кутцнера и его приверженцев. Стоило кому-нибудь хотя бы мимоходом задеть обвиняемых, как они, не теряя внешнего миролюбия, начинали грозить разоблачениями. Суд был для них ярким прожектором. Общественный обвинитель на глазах уменьшался ростом. Все чаще бил отбой, умолкал, уступал поле сражения защитникам. Его обвинительная речь прозвучала скорее как панегирик патриотическим заслугам Кутцнера и Феземана, чем как осуждение их путча. Он потребовал, чтобы их приговорили к заключению в крепость — на очень краткий срок. В своем последнем слове все обвиняемые заявили, что при первой же возможности повторят попытку, на этот раз, к несчастью, неудавшуюся из-за того, что их единомышленник, честолюбец Флаухер, вероломно нарушил свое слово. Кутцнер сказал, что мировая история вынесет ему оправдательный приговор, генерал Феземан сказал, что мировая история пошлет тех, кто сражался за отечество, не в крепость, а в Вальгаллу.

Параграф восемьдесят первый германского уголовного кодекса гласит: «Любая попытка насильственного изменения политического строя германского государства или одной из земель, входящих в его состав, карается пожизненным заключением в тюрьму или в крепость». Генерала Феземана суд оправдал, других обвиняемых приговорили к заключению в крепость сроком от одного года до пяти лет условно, причем приговор вступал в силу не позже, чем через полгода. Руперт Кутцнер, сверх того, был приговорен к штрафу в размере двухсот марок.

Когда приговор был оглашен, присутствовавшие повскакали с мест и устроили овацию осужденным. С улицы доносились ликующие крики. Фюрер подошел к окну, чтобы почитатели увидели его воочию. Прямо из пехотного училища, где происходил суд, генерал Феземан отправился к себе,— а это неблизкий путь, так как вилла его была расположена в юж-

ном предместье города. Вдоль всех улиц, по которым он проезжал, сплошной стеной стояли люди и приветствовали его. Машина генерала была разукрашена гирляндами цветов, на радиаторе победно развевался флаг с индийской эмблемой плодородия.

13
МУЗЕЙ ИОГАННЫ КРАЙН

Со дня плачевной смерти заключенного Мартина Крюгера прошло одиннадцать месяцев, и вот опять наступила весна. Германия поуспокоилась, окрепла. Попытка Рейнской области обрести самостоятельность не удалась. Сражение с Францией за Рурскую область кончилось экономическим соглашением. Великие державы организовали комиссию экспертов во главе с неким генералом Дауэсом для выработки разумного плана выплаты репараций. Имперская марка стабилизировалась: доллар, как и до войны, стоил четыре марки двадцать пфеннигов.

Восстановился мир и в Баварии. Провал кутцнеровского путча не повлек за собой особых перемен. «Патриоты» чересчур распоясались, теперь они притихли, затаились. После судебного процесса правительство проявило милосердие к поверженному врагу. Владельцу «Капуцинербрей» оно возместило стоимость выпитого, но не оплаченного «патриотами» пива и съеденных, но также не оплаченных сосисок. К левым же партиям оно, как и прежде, было непримиримо. Пусть красные не думают, что могут безнаказанно драть глотки. Кутцнер недолго просидел в крепости, и это время было для него скорее передышкой, чем карой. А рабочие, которым «патриоты» навязали зендлинговское сражение, понесли суровое наказание и отбывали его по всей строгости закона.

Иоганна Крайн отзывалась на эти события лишь в той степени, в какой их можно было связать с борьбой за покойного Мартина Крюгера. Как она ни старалась, но постепенно эта борьба сходила на нет. Труды Мартина Крюгера были обширны и примечательны, о них говорило все больше людей. Но все меньше людей говорило о заключенном Крюгере, о его жизни и смерти, и один за другим исчезали те, что помогали ей в борьбе. И Иоганне пришлось признаться себе, что остался один-единственный человек, благодаря которому заключенный Крюгер все еще существовал на свете: она сама.

Только благодаря ей, ей одной, он *существовал.* Когда он жил, она была слишком апатична, так хотя бы теперь не будет апатична. Чем лихорадочней она старалась воскресить его образ, чем более сосредоточивалась на мыслях о нем, тем он становился реальнее. Она даже ощущала, как ползет от сердца к горлу и сжимает ей плечи то давящее чувство уничтожения.

«Я это видел» — подписано под несколькими «Капричос» Гойи, страшными из страшных. «Я это видел» — называется одна из глав книги Мартина Крюгера. Когда человек, в качестве довода, говорит, что сам это видел, его довод примитивен, но неопровержим. Кто видел то, что видела она, тот связан мучительным долгом рассказать о виденном.

Годовщину смерти Мартина Крюгера газета «истинных германцев» «Фатерлендишер анцейгер» отметила статьей, посвященной его делу. Пора уже наконец сказать во весь голос, писал автор статьи, что не всякий человек имеет право называться человеком. Судьба такого морально разложившегося выродка, как заключенный Мартин Крюгер, нисколько не занимает «истинных германцев». Берлинские газеты только потому подняли шумиху вокруг этого дела, что хотели дискредитировать немецкую юстицию. Им, «истинным германцам», смешны сии салонные апостолы, ни с того ни с сего возлюбившие этого человека. «Мы во всеуслышание, ясно и просто заявляем красным берлинским журналистам и прочим апостолам гуманности с Курфюрстендам — подавитесь вы вашим Мартином Крюгером».

Иоганна прочла эту статью. «Пусть мертвецы держат язык за зубами»,— сказал год назад некий ответственный чиновник. Эти выражаются еще прямее. Иоганна все больше утверждалась в своем решении: мертвец не станет держать язык за зубами. Она докажет, добудет доказательства, что он по-прежнему жив. Она чувствовала: если ей удастся заставить мертвеца заговорить, большая часть вины будет с нее снята.

Она ломала себе голову, как решить эту задачу. Одна возможность ей безусловно представлялась. Фертч подал на нее в суд за то, что однажды при большом стечении народа она в лицо обозвала его подлецом. Разбирательство все время откладывалось, но настанет день, когда его уже нельзя будет отложить. Когда-нибудь этот день настанет, и тогда она заговорит. Иоганна читала, что Кутцнер болтал, сколько хотел, его никто не прерывал. Она тоже будет говорить, пока у них в ушах не засвербит. Судьба Крюгера должна язвить людские сердца.

Она была одержима этим замыслом. Немота покойника терзала ее и вечером, когда она ложилась спать, и утром, когда вставала. Иоганна была женщина средних способностей и непримечательной внешности, но поглощенная одной-единственной мыслью. Она снова перестала подкрашивать губы, пудриться, закалывала волосы узлом. У нее было много заказов, она много работала. Разговаривая с посторонними, была очень спокойна. Но душевно до предела истерзана неистовым желанием выступить перед целым светом и закричать в голос.

Она видела, что с каждой неделей люди все больше говорят о книгах «Гойя» и «Испанские художники» и все меньше об Одельсберге. Но нельзя допустить, чтобы совершенная однажды подлость была предана забвению, исчезла из памяти. Этот человек убит Баварией. Его убили мы все, жители Баварии, будь она проклята. И об этом нельзя не говорить. Вся страна больна из-за проглоченных слов. Болезнь должна быть названа вслух. Она, Иоганна, обязана сказать об этом прямо и громко.

Теперь ее уже не одурчат. За два года — со дня ее двадцатишестилетия и до дня двадцативосьмилетия — она кое-что испытала. И у нее появились воспоминания, целый музей воспоминаний. Там была, к примеру, ее маска. Теннисная ракетка — она играла ею, когда «завязывала светские связи». Черствый ломтик хлеба из камеры одельсбергской тюрьмы — очень черствый, очень твердый, в отличной сохранности, первоклассный музейный экспонат. Пачка писем в шкатулке — перевязанные, подобранные по датам, написанные рукой, которая уже ничего больше не напишет. Была вырезка со смазанной буквой «е» из утренней газеты — сообщение о том, что Фанси де Лукка застрелилась, потому что больше не могла играть в теннис. Был флакончик, откуда почти выветрился запах сена и кожи,— его оставил у нее молодой человек, который бессмысленно прожил жизнь, внушил ей бессмысленную любовь, а потом бессмысленно погиб во время нелепого путча. Был серый летний костюм, некогда принадлежавший человеку, который испустил дух в слишком жарко натопленной камере, где лежал тот ломтик хлеба и не было ни одной живой души. Но украшением музея все же были сочинения Мартина Крюгера,— статья о картине «Иосиф и его братья» и две главы из книги, называвшиеся «Я это видел» и «Доколе?». Вот стоят четыре красивых пухлых тома с красными кожаными корешками, эти проклятые творения, которые скрыли от людских глаз человека и его судьбу.

Когда наконец начался затеянный Фертчем процесс, она отправилась в суд во всеоружии справедливого гнева, с ясной головой, с ощущением силы, как в лучшие свои дни. Не знала, что скажет, но знала, что ее речь будет убедительна и на всех произведет впечатление.

Руперт Кутцнер в течение двух недель, пока длился суд, выступал ежедневно, однажды — четыре часа подряд. Иоганне Крайн не дали говорить ни в течение двух недель, ни четырех часов, ни даже одной минуты. Судьи были любезны, слегка недоумевали. Чего, собственно, она добивается? Хочет доказать свою правоту? Какую? Она собственными глазами видела, что Мартину Крюгеру не было оказано достаточной медицинской помощи в Одельсберге? Но дисциплинарный суд над доктором Гзелем с достаточной очевидностью установил объективную картину, а в ее субъективной честности никто и не сомневается.

Ее адвокат обстоятельно и с соблюдением всех процессуальных форм просил о дозволении выступить и доказать обоснованность ее личных наблюдений. Суд удалился на совещание, через полминуты прерванное заседание возобновилось, в просьбе было отказано.

Когда решение суда было объявлено, в глазах у Иоганны потемнело от ярости. Вдруг исчез светлый, неуютный зал судебных заседаний. Перед ней возникла прокуренная кондитерская в Гармише. По стенам — сплошное сплетение альпийских роз, парни с девицами отбивают чечетку. Длиннобородый, с виду добродушный человек, макая печенье в кофе, мягко и проникновенно рассуждает о том, что подчас, во имя торжества законности и справедливости, следует несправедливо осудить безвинного.

Суд принял во внимание смягчающие вину обстоятельства и приговорил Иоганну лишь к незначительному штрафу. Она вернулась в свой музей, не склонив головы.

14
ГОСПОДИН ГЕСРЕЙТЕР УЖИНАЕТ НА «ЮХХЕ»

Оздоровление немецкой валюты, девальвация биллиона марок до одной марки, разумеется, прошли не без жертв. Куда быстрее, чем прилив денег, происходил их огромный отлив. Многие дельцы, пытаясь разделаться со срочными платежами, вдруг обнаруживали, что у них не хватает средств на затеян-

ные ими разветвленные и дорогостоящие предприятия. Терпели банкротство раздувшиеся концерны, акционерные общества с пышными названиями.

Аграрная Бавария пережила этот кризис не так болезненно, как большинство германских областей. Правда, среди закулисных властителей страны произошла некоторая перетасовка. Когда был подведен итог, оказалось, что Берхтесгаден, архиепископский дворец, тайный советник Бихлер уже не так могущественны. Но главные заправилы — Рейндль и Грюбер — выплыли из водоворота с крупной поживой.

К немногим, для которых изменение обстоятельств оказалось гибельным, принадлежал и коммерции советник Пауль Гесрейтер. Контракты с южнофранцузскими предприятиями требовали крупных платежей наличными, мюнхенские банки отказывали в займах, «Гекер» пришлось перепродать мистеру Кертису Ленгу, притом себе в убыток. Даже «Южногерманская керамика» с трудом сводила концы с концами. В кругу друзей г-н Гесрейтер по-прежнему разыгрывал безмятежного и уверенного в себе крупного промышленника, неподвластного колебаниям конъюнктуры, но в своей конторе он отчаянно барахтался, цеплялся за любую соломинку, задыхался.

Наступила пасха. Обычно в это время люди его круга уезжали на юг. Г-жа фон Радольная поинтересовалась, не думает ли и он куда-нибудь поехать? Ее дела были в порядке, рента приносила большие доходы, долги по поместью она выплатила, купила самоновейшие сельскохозяйственные машины. Ах, с какой радостью отправился бы г-н Гесрейтер путешествовать. Какими заманчивыми казались ему гостиницы на итальянских озерах, южнотирольские лавки, где часами можно копаться в любезном его сердцу хламе, выискивать что-нибудь для дома на Зеештрассе. Но перед ним маячили грозные вызовы в суд, собрания кредиторов. Ну, разумеется, они куда-нибудь поедут, ответил г-н Гесрейтер. Его лично привлекает озеро Комо, затем, пожалуй, стоит несколько дней пожить на Ривьере.

— Но ведь ты не можешь уехать,— невозмутимо сказала г-жа фон Радольная,— пока не договоришься с Пернрейтером.— Так звали самого несговорчивого из кредиторов г-на Гесрейтера.

Тот стал загребать руками, бормотать что-то несвязное, уклончивое. Но оказалось, что Катарина отлично обо всем осведомлена, все вынюхала, уяснила себе положение г-на Гесрейтера куда беспощаднее, чем он сам. Она сидела перед ним, большая, красивая, цветущая, медно-рыжая, ни в чем его не

упрекала и спокойно подсчитывала сумму его долгов. Весьма внушительную сумму.

Подведя итог, она сказала, что готова раздобыть для него эту сумму. И тогда можно будет поехать на озеро Комо. Но условия, на которых она достанет эти деньги, будут не из легких. Было неясно, кто ей даст эти деньги. Зато ясно, что поручительницей будет она, а залогом — ее поместье Луитпольдсбрун. Пауль знает, что она немало испытала в жизни, выбилась из низов, да и совсем недавно была свидетельницей того, какие удары обрушиваются на людей, казалось бы, огражденных от превратностей судьбы. Она постарается ему помочь, но он ведь понимает, что ей нужны определенные гарантии. От всяких художественных затей и прихотей, вроде серии «Бой быков» и прочей роскоши, «Южногерманской керамике» придется теперь отказаться. Да и самому г-ну Гесрейтеру следует жить не на такую широкую ногу. Всего правильнее было бы им объединить свои хозяйства. Разве недостаточно просторен отличный дом в Луитпольдсбруне? А для дома на Зеештрассе у нее уже есть на примете платежеспособный покупатель. И так как хозяйство у них будет общее, то их совместную жизнь надо будет узаконить, пойти на Петерсберг, в отдел регистрации браков. Это не так сложно, как кажется, вся процедура займет от силы несколько недель. И в Италию они успеют попасть до наступления жаркой поры. Она говорила невозмутимо и ласково, ее крупный рот произносил каждое слово так звучно, решительно и вместе с тем спокойно, словно речь шла о перемене служанки.

Когда Катарина начала говорить, г-н Гесрейтер расхаживал по комнате. Когда сказала, что достанет деньги, застыл на месте. Но потом стал отступать назад, с каждой новой фразой все дальше, пока не уперся в стену; его маленький рот глупо приоткрылся, карие с поволокой глаза неотрывно смотрели на красивое лицо сидевшей перед ним женщины. И пока она говорила, постепенно рассыпалась в прах вся его прошлая сорокачетырехлетняя жизнь. Охваченный настоящей паникой, он лихорадочно искал каких-то лазеек, пристойных отговорок. Но, подыскивая их, уже понимал, что все это вздор, что женщина права. И что он исполнит все ее требования. Каждая фраза была как удар по голове. Пусть он не такой замечательный человек, каким часто себе казался, но все-таки у него золотое мюнхенское сердце, и они ведь уже столько лет вместе, и невозможно понять, как эта женщина может быть такой жестокой.

Она замолчала. Г-н Гесрейтер стал постепенно приходить в себя, отошел от стены, заговорил. Говорил долго. Спокойный взгляд Катарины не отрывался от медленно расхаживавшего по комнате мужчины. Она молчала и, пока он говорил, даже ни разу не улыбнулась. И только тут г-н Гесрейтер по-настоящему отдал себе отчет, как горестно и неприглядно его положение. И за эти бесконечные секунды почувствовал, что он стар и сед.

Потом стал ее упрашивать, беспомощно и беззлобно. Одна мысль о том, чтобы поставить точку на искусстве в «Южногерманской керамике», приводит его в содрогание, но ладно, если ей этого так хочется, он пойдет на уступки, не будет спорить. Он не понимает, почему официальный брак принесет такую большую экономию, но если она считает, что без Петерсберга не обойтись, ладно, пусть будет Петерсберг. Но его дом, чудесный дом на Зеештрассе, нет, он просит прощения, тут он будет стоять на своем. Время, труд, вкус, жизнь, сердце,— он все вложил в этом дом, и можно ли это чем-нибудь возместить? Продать его — нет, это будет не просто несчастьем, но еще и величайшей глупостью. И как, собственно, она представляет себе их дальнейшую жизнь? Они не крестьяне, не могут обойтись без Мюнхена, не могут круглый год сидеть в деревне. Нет, об этом и говорить нечего.

Госпожа фон Радольная сказала, что вовсе не предлагает круглый год жить в деревне. Он может снять в Мюнхене квартиру-ателье, целый этаж, перевезти туда кое-что из дома на Зеештрассе. Что поделаешь, придется ему с божьей помощью как-то смириться.

— Мне тоже иной раз приходилось смиряться,— сказала она. Не повысила голоса, была по-прежнему ласкова и невозмутима, но так произнесла это «мне тоже иной раз приходилось смиряться», что г-н Гесрейтер понял,— дальше спорить бесполезно. Он не заблуждался — Катарина намекала не на то время, когда и у нее были денежные затруднения, а на то, когда она слала ему письма в Париж и в ответ получала холодно-дружеские записки.

Таким образом, г-жа фон Радольная все взяла в свои руки, и дело пошло быстро. Она продала дом на Зеештрассе кому-то, кто явно был подставным лицом. Г-н Гесрейтер понятия не имел, к кому сейчас перешел его дом. Оставалось снять квартиру, решить, на какие стены и улицы придется год за годом смотреть, какой воздух в себя вдыхать. Для этого надобно держать совет с самим собой, с друзьями, с людьми искусства, для

этого культурному человеку надобны месяцы и месяцы. Но г-жа фон Радольная и тут не стала мешкать. Вместо девяти больших и пяти маленьких комнат, не считая кладовок и чуланчиков, которые были в распоряжении г-на Гесрейтера на Зеештрассе, он теперь был обладателем одного ателье и одной спальни на Элизабетштрассе, в доходном доме, на пятом этаже, на «юххе». В Мюнхене словом «юххе» презрительно называли верхние этажи домов, потому что на такой высоте чувствуешь себя как на горной вершине и там вполне можно распевать тирольские песни и кричать «юххе». Но г-ну Гесрейтеру отнюдь не хотелось распевать тирольские песни. Он не слишком страдал оттого, что больше уже не принадлежит к крупным промышленникам, но бесконечно терзался из-за утраты своего дома, своей обстановки. Человеческое сердце не очень вместительно, поэтому достойно удивления обилие всевозможных предметов — письменных столов, кресел, диванов, кушеток, которые втиснулись в сердце г-на Гесрейтера. В его сердце, но не в ателье на Элизабетштрассе. Если поставить в спальню большую кровать с изображением экзотических зверей, там уже нельзя будет повернуться. А как быть с горками, с моделями кораблей, с «железной девой» — его излюбленным орудием пытки,— со всеми очаровательными, греющими душу безделками? Г-жа фон Радольная не пожелала взять в Луитпольдсбрун ни единой мелочи: все, что не уместится на Элизабетштрассе, он должен продать, пустить с молотка. Г-н Гесрейтер попробовал поднять бунт. Но быстро сдался.

Аукцион состоялся в конце апреля. Собралось множество народу — члены «Купеческого клуба», «Мужского клуба»; дом на Зеештрассе с трудом вмещал всех любопытных и покупателей.

Господин Гесрейтер не пришел на распродажу своих сокровищ. День был погожий, ясный, и он отправился в Английский сад. Шел небыстро, но пружиня шаг, помахивая тростью с набалдашником из слоновой кости. Думал — какое это все-таки свинство, какая непроходимая глупость — вот так, за здорово живешь, разбросать с великим трудом собранные им вещи по чужим рукам, равнодушным, неуклюжим. У него было искушение — смешаться с толпой любопытных, большей частью, вероятно, его добрых знакомых, поздравить новых владельцев веселым, хотя и не без горчинки тоном. Но он не поддался искушению. Все дальше уходил от Зеештрассе, добрался до Галереи полководцев. Возмущение по поводу мерзкого памятного

камня, которым эти олухи опять обесчестили прекрасную площадь, несколько облегчило ему сердце.

Тем временем на Зеештрассе шел аукцион и кипели страсти. Обстановка в стиле бидермейер и ампир, горки, все милые, занятные безделушки, вся утварь и посуда, предназначавшаяся для парадных приемов, костюмы, платки, картины, скульптура шли с одной, двумя, тремя надбавками. И не только равнодушные руки завладевали этими редкостями. Кое-кто из новых владельцев был вне себя от радости: у Маттеи, у Грейдерера, у старика Мессершмидта день выдался на славу.

Пошел с молотка и портрет Анны Элизабет Гайдер. Г-н Гесрейтер хотел взять его в новую квартиру, повесить у себя в спальне, но г-жа фон Радольная не согласилась. И вот аукционист выставил его на продажу, и умершая девушка, с трогательной беспомощностью вытянув шею, смотрела на собравшихся. Они жадно и недобро разглядывали вызвавший такую сенсацию портрет. Он стал причиной многих неприятностей, бед, скандала: художница, написавшая его, плохо кончила, этот Крюгер, который открыл картину и повесил в галерее, тоже плохо кончил, да и Гесрейтер, как сейчас выяснилось, отнюдь не процветает. Портрет принес удачу только торговцу картинами Новодному. Вот и сейчас он первый повысил на нее цену. Пытался отбить у него портрет только художник Грейдерер. Но довольно быстро победителем из борьбы вышел Новодный.

Госпожа фон Радольная знала, для кого он купил картину, знала, что приобрел ее тот самый человек, который приобрел и дом,— Пятый евангелист. С момента стабилизации марки Катарина очень подружилась с г-ном фон Рейндлем. Она внимательно следила, как умно и предусмотрительно готовился он к перемене обстоятельств. И ей импонировало, что, утвердив за собой нажитый капитал, он отошел от дел и, словно вспомнив молодость, занялся куда более интересными вещами.

Она бросила взгляд в его сторону. Он, казалось, был не слишком поглощен аукционом, как будто даже не обратил внимания на короткую схватку между торговцем картинами Новодным и художником Грейдерером. Г-н фон Рейндль сидел в кресле, заполнив его своей мясистой тушей, вытянув ноги, и в пол-уха прислушивался к словам стоявшего подле г-на Пфаундлера. Да, хотя Пфаундлер и не заслужил того, Катарина помогла ему установить вожделенный контакт с Пятым евангелистом. Как только прекратилась инфляция, в мюнхенцах снова ожила страсть к развлечениям. Г-н Пфаундлер был сейчас на коне.

Катарина, как и он, считала, что если нынешний карнавал устроить с прежней роскошью, размахом, блеском — город вновь станет центром немецких праздничных увеселений. Но чтобы придать карнавалу надлежащий блеск, в него надо было вложить немало стараний и очень много денег. Г-жа фон Радольная понимала Пфаундлера, который уже в мае старался заручиться поддержкой Рейндля для устройства зимнего карнавала.

В это время на продажу были выставлены модели кораблей. Г-н Пфаундлер вступил в торг. У него нашлось довольно много конкурентов, но он все набавлял цену. Восседая в кресле, Рейндль поглядывал на него снизу вверх, сонливо и насмешливо. Г-ну Пфаундлеру во что бы то ни стало хотелось заполучить кораблик — он видел в этом некий символ. Пфаундлер чувствовал себя великим завоевателем и строил планы куда более смелые, чем представляла себе г-жа фон Радольная. Если одна из двух мюнхенских достопримечательностей, то есть пиво, была предметом экспорта, то почему не стать таковым и второй достопримечательности, то есть мюнхенскому карнавалу? Кутцнеру не удался поход на Берлин, а ему, Пфаундлеру, удастся. Крупные мюнхенские пивовары уже открыли свои заведения в Берлине, уже устраивали там «пивные праздники». А он придаст этим праздникам неслыханный размах. Его грандиозное заведение будет находиться в самом центре ненавистного города. И будет не только называться «Бавария», но и сосредоточит в себе все, чем славна баварская земля. Горное селение, горное пастбище с живым стадом, деревенская пивная — все как настоящее, осенние праздники, гулянье на лугу, катанье с гор, тирольские песни, чечетка, и каждый вечер целый бык, зажаренный на вертеле, и каждый вечер — закат солнца в Альпах. И из вечера в вечер три тысячи человек в центре гнусной столицы пруссаков станут распевать «Пока наш старый Петер» и «Да здравствует наш уют». Уж он это дело осилит, он его провернет. И Рейндля в него втянет. Пфаундлер был полон энтузиазма. Модель корабля осталась за ним.

Катарина радовалась, глядя, как исчезают модели кораблей,— они так нелепо свешивались с потолка этой комнаты. Очень удачно, что теперь тут станет просторно, что Рейндль обоснуется в этом доме, что г-н Гесрейтер займет место покойного г-на фон Радольного. За моделями кораблей последовали огромные, неуклюжие глобусы, за глобусами — куклы. Маттеи и старик Мессершмидт накупили столько, что у них не

хватило денег расплатиться. В доме на Зеештрассе становилось просторно.

А прогулка г-на Гесрейтера тем временем пришла к концу. Катарина предложила ему провести вечер и ночь в Луитпольдсбруне, но он был разобижен, погружен в меланхолию и намеревался эту гневную скорбь вкусить, как оно и подобало, в полном одиночестве. Он теперь нищий, а у нищеты свои законы. И в подчинении этим законам он черпал мрачную радость. По сему поводу г-н Гесрейтер купил булку и печеночный паштет — кушанье, приготовленное из муки и молотой печенки. Наслаждаясь тяжестью подъема, по многочисленным ступенькам взобрался в свою новую квартиру на «юххе». Не стал накрывать стол скатертью, не взял ни вилки, ни тарелки. Поужинал на голом столе, на бумаге, в которую был завернут паштет. Стол, надо сказать, был очень красивый, в стиле ампир, на аукционе за него дали бы хорошие деньги, так что г-н Гесрейтер ел с большой осторожностью, чтобы его не испачкать.

Потом он улегся на низкую широкую кровать в стиле бидермейер. Не удержался и осторожно погладил позолоченные фигуры экзотических зверей. Хоть это ему удалось отстоять! Г-н Гесрейтер взялся за книгу. Но его раздражал запах бумаги из-под паштета, оставленной на столе. Он встал, взял бумагу и спустил ее в уборную. Зазвенела эолова арфа. Она почти не занимала места и разделила с ним его нищету.

15
КАСПАР ПРЕКЛЬ ДЕРЖИТ ПУТЬ НА ВОСТОК

Инженер Каспар Прекль приколол кнопками над кроватью тот приказ самому себе, который он написал в день сожжения «Смиренного животного». Приказ был переведен на русский язык, чтобы его не прочла Анни. Пункт первый, насчет капиталиста Рейндля, был уже выполнен. Акционерное общество «Баварские автомобильные заводы» строило завод в Нижнем Новгороде, и Прекль, назначенный туда главным инженером, в ближайшее время собирался выехать в Россию — подписанный договор был уже у него в кармане. Так что пункт первый можно было вычеркнуть. Пункт второй насчет заключенного Мартина Крюгера, к несчастью, решился сам собой прежде, чем Каспару удалось помочь ему отыскать путь к

истине. Так или иначе, но и этот пункт был вычеркнут. А вот пункт третий, насчет девицы Анни Лехнер, покамест вычеркнуть нельзя. Следуя программе, Каспар спросил ее, согласна ли она вступить в партию и уехать с ним в Россию. Он волновался. Какие там теории ни развивай, а его с этой девушкой связывало нечто большее, чем совместная еда и постель. Он боялся мещанской сцены, попреков, уговоров, охов и вздохов, а под конец издевки и категорического «нет». Боялся напрасно. Анни посидела и помолчала, потом вполне здраво ответила, что такие вещи с бухты-барахты не решаются. Пусть он потерпит, она все обдумает и заблаговременно даст ему ответ.

Теперь, уже зная, что скоро и навсегда расстанется с Мюнхеном, Каспар Прекль смотрел на него другими глазами. Он родился в Мюнхене, ни разу далеко не уезжал. Ему казалось, что все реки похожи на Изар, природа — на Английский сад, движение везде такое, как на Штахусе, словом, весь мир ограничен башнями Фрауенкирхе. Он знал, что в Мюнхене преобладает крестьянское население, что это косный, глубоко реакционный город. Но знал это головой, а не сердцем. Сейчас он силился увидеть родной свой город убогой и жалкой провинцией, смехотворной по сравнению с грандиозными городами, созданными его фантазией. Безуспешно.

Он бродил по улицам, где в детстве играл с мальчишками цветными камешками, тираня товарищей, стремясь ими верховодить. Стоял перед домом, где родился, перед учреждением, куда заходил за отцом. В эти дни он много думал об отце. О том, что тот, сам ничего не добившись в жизни, все честолюбивые надежды перенес на сына. Он угнетал сына, но и гордился своим способным мальчиком. Отдал его в реальное училище, потом, несмотря на стесненные обстоятельства, настоял на том, чтобы тот поступил в Высшую техническую школу. Каспар Прекль вспомнил, как однажды, летним вечером, они все были на Штарнбергском озере и какой-то юноша в лодке играл на скрипке. Все ему аплодировали. Это так поразило отца, что он заявил — Каспар должен немедленно начать учиться игре на скрипке. В семье отец держался важным барином. Он был мелкий служащий в городской управе, сослуживцы и застольные приятели относились к нему свысока, поэтому, едва переступив порог своей убогой квартиры, он становился особенно спесив и требовал от жены и детей полного подчинения своему авторитету. В детские годы Каспару это импонировало. Он, как и отец, хотел первенствовать, но не в одной своей семье, а в целом мире. И сейчас он не только с усмешкой, но и с почте-

нием вспоминал, как утром, бреясь, отец с высокомерным пренебрежением рассуждал о делах служебных, городских, государственных, всемирных, а приниженная жена и боязливые дети почтительно ему внимали. Не папаша Прекль был плох — плохо было время, плоха среда. Что можно сказать о поколении, которое только и добилось, что поражения в войне? Каспар понимал сейчас, в чем была коренная ошибка. Когда он познакомился с учением Маркса, семена этого учения пали на благодарную почву.

В общем, последние недели, проведенные Каспаром Преклем в родном городе, были невеселые. У него хватало досуга для тягостных мыслей и чувств.

И пункт третий его приказа, насчет Анни Лехнер, решился в конце концов не так, как он ожидал. Все основательно обдумав, Анни дала ему ответ. Она училась жизни не по его книгам, а на собственном опыте. Люди, управляющие Баварией, обязаны заботиться, чтобы со страной не случилось худого, но, когда Кутцнер устроил этот гнусный путч, они стали кричать, что, мол, не ожидали такого поворота, и теперь преспокойно сидят на прежних местах — всякие там Гартли, Кастнеры и прочая дрянь. Ну, а если государство так тупо, что не спихивает этих людей с насиженных мест, значит, научить его, помочь ему можно только силой. Каспар оказался прав, и она вступит в партию.

Каспар Прекль уже сжился с мыслью, что в Россию Анни не поедет. Далось ему это нелегко. Так что ее слова о том, что она вступит в партию, принесли ему огромную и нежданную радость. Правда, тут же промелькнула мысль, что перемена в ней произошла под влиянием любви к нему, а не твердых убеждений. Но сразу выяснилось, что это неверно. Она сказала, что, как ни грустно, но ее решение ничего не меняет в том, как в дальнейшем сложатся их жизни. Она не закрывает глаза на то, что жить без него ей будет тяжко. Но в России она вообще не сможет жить. Да, она вступит в партию, но в Россию не поедет. Доживет свой век здесь, в Мюнхене, в пределах, замкнутых башнями Фрауенкирхе, среди баварских гор, и похоронят ее на Южном кладбище. Это решено, а теперь она заварит чай.

Каспар Прекль сидел и молчал. Этому горю ничем не поможешь: истинная мюнхенка мюнхенкой и останется, даже когда она товарищ по партии. А всего хуже было то, что он так хорошо понимал предубеждение Анни. И даже не мог сказать, у кого больше мужества — у нее, твердой в своем предубеж-

дении, или у него, твердого в убеждении. Но чтобы не заболеть шизофренией, как художник Ландхольцер, он должен жить в стране осуществленных марксистских идей. То есть в России.

Через несколько дней Прекль распрощался с Пятым евангелистом. Они условились встретиться в конторе акционерного общества «Баварские автомобильные заводы», но в последнюю минуту г-н фон Рейндль передал по телефону, что просит инженера Прекля зайти к нему домой на Каролиненплац. Каспар Прекль насупился. С каким облегчением он вздохнет, когда рожа этого господина перестанет мозолить ему глаза. Во всяком случае, если этот субъект посмеет коснуться не только деловых, но и каких-нибудь личных вопросов, ему не поздоровится. Но Пятый евангелист не коснулся личных вопросов, и Каспар Прекль разозлился еще больше.

— Я позволю себе напомнить вам только одно,— сказал г-н фон Рейндль.— Вы не обязаны согласовывать свои действия с убеждениями. Ваша обязанность — добиться успеха. И все.

Они поговорили еще о чем-то, но вяло, неинтересно. Спускаясь по роскошной лестнице мимо картины «Смерть Аретино», молодой инженер подумал: «Скорей бы этот Рейндль приехал в Россию и посмотрел на новый завод». И тут же стал придумывать, какие слова он швырнет в одутловатую физиономию этого типа.

Прошло два часа, и курьер вручил ему очень сердечную записку Рейндля вместе с прощальным подарком — великолепной зеленой кожаной курткой. Прекль стал ворчать — он и не подумает ехать в Россию таким франтом. Но Анни настояла, чтобы он взял куртку с собой.

В дальнее путешествие он отправился в новеньком автомобильчике. Весна уже наступила, но Анни надавала ему столько теплых вещей, словно он ехал на полюс. Денег, удостоверений, рекомендаций у него тоже было с избытком.

Писатель Тюверлен и Анни Лехнер поехали его провожать. Тюверлен простился с ним у реки Инн. Прекль обещал написать, как только обнаружит, где находится картина «Иосиф и его братья». Анни провожала его до Пассау, где Инн впадает в Дунай. Каспар Прекль посадил ее в мюнхенский поезд. Он был еще угрюмее обычного, разругался с соседями Анни по купе — те недостаточно быстро освободили место для ее вещей. Она смотрела на него из вагонного окна. Он заявил, что нет ничего глупей, чем торчать столбом на перроне и ждать отхода поезда, поэтому сразу попрощается с ней. Не сняв

автомобильной кожаной перчатки, протянул ей руку в окно. Но продолжал стоять, пока поезд не тронулся. Сорвал перчатку, еще раз пожал Анни руку, еще несколько минут постоял.

В тот же день поехал дальше, в зеленой куртке, с трубкой в зубах, один-одинешенек. Через Германию, все на восток, через Чехословакию и Польшу, через Краков и Москву, добрался до Нижнего Новгорода. Кого из тех, с кем он расстался в Европе, будет ему не хватать в России? Четырех человек. Сидящего на пне и пристально глядящего на него сумрачными, запавшими, сверкающими глазами, худого, как щепка, художника Ландхольцера. Развалившегося на оттоманке, жирного, фиолетового, сонливо прищурившегося на него Пятого евангелиста. Расхаживающего по комнате и что-то скрипуче и весело внушающего ему писателя Жака Тюверлена. Разливающей чай и ласково, хотя и безапелляционно выговаривающей ему за какой-то житейский пустяк девушки Анни Лехнер.

16

СЕМЕЙСТВО ЛЕХНЕР ВЫБИВАЕТСЯ В ЛЮДИ

А девушка Анни Лехнер, как только марка установилась в цене, уволилась с фабрики на северной окраине города и открыла бюро переписки. Занимаясь литературным наследием Мартина Крюгера, Каспар Прекль давал Анни перепечатывать кое-какие материалы. Тогда Жак Тюверлен и познакомился с нею. Ему понравилась решительная баварка, он предложил ей работать у него секретаршей, они отлично сработались. Сперва шутливо, потом всерьез Тюверлен вел с ней долгие споры о всяких стилистических погрешностях. Она сидела за машинкой, а он, расхаживая по комнате, произносил длинные монологи, разбирал достоинства и недостатки нынешней своей работы. Когда Каспар Прекль уехал, Тюверлен часто разговаривал с Анни о ее друге, громоздил довод на довод, осыпал ее упреками, хотя они явно предназначались не ей.

С отцом теперь Анни ладила. С тех пор, как она стала свидетельницей его позора, он ее немного стеснялся. И вообще был верен слову, которое дал себе в минуту душевного крушения,— держался тихо и кротко. Только одно обстоятельство по-прежнему выводило его из себя. Как раз наискосок от его дома на Унтерангере держал лавку еврей Зелигман — еще

отец этого Зелигмана был конкурентом Лехнера. Во время гонения на евреев при государственном комиссаре Флаухере Зелигмана чуть было не выслали. К несчастью, все-таки не выслали, все испортил сволочной путч, и еврей Зелигман продолжал нахально владеть магазином, как десятки лет назад. И многие покупатели-евреи игнорировали теперь лавку Лехнера, потому что Зелигман наболтал им, будто он принимал участие в художествах «истинных германцев» и вообще заядлый антисемит. При всем своем смирении, этого Лехнер стерпеть не мог.

— Вот же мерзавец! — бранился он.— Вот же скот проклятый! Смеет говорить, что я антисемит, жид поганый!

Лехнер очень гордился исцелением от гордыни. Любители игры в кегли снова хотели выбрать его вице-председателем клуба, но он отказывался. Они говорили, чтобы он перестал валять дурака, однако он упорно отклонял эту честь.

Если на дочь Анни старик все-таки затаил некоторую обиду, то от сына Бени он получал все больше радости. В тот день, когда, надев цилиндр, Каэтан Лехнер отправился на Петерсберг в качестве свидетеля со стороны жениха, он поставил крест на собственных честолюбивых надеждах. Ему уже не дождаться удачи, но вот его сын Бени обязательно выбьется в люди. Счастье, что он женился на кассирше Ценци. Под ее влиянием этот красный пес просто на глазах превращается в благопристойного человека. Старик расплывался от удовольствия, глядя, как с каждой неделей все больше отрастают Бенины бачки.

Окончательно сблизил отца с сыном случай, на первый взгляд несущественный. Когда время от времени между Каэтаном Лехнером и его детьми вспыхивали споры о деле Мартина Крюгера, старик весьма ядовито прохаживался насчет чужака. И только теперь, через год с лишним после смерти заключенного Крюгера и сожжения его останков, обнаружилось, что и Бени и Анни были убеждены в причастности старика к осуждению Крюгера. А между тем лишь он и Гесрейтер стояли за то, что Крюгер невиновен. Это выяснилось из какой-то фразы старика, сказанной между прочим и совершенно поразившей его детей. Но тут Каэтан Лехнер взорвался: ах так, значит, они его и за человека не считают? Его смирение как ветром сдуло. Он осыпал отборной фельдфебельской бранью нынешнюю молодежь, которая отца родного готова заподозрить в любой пакости. Эта вспышка пошла всем на пользу. Бени проникся искренним уважением к отцу, исчезла отчужден-

ность, отношения между ними стали доверчивыми и сердечными.

А Бени в этом очень нуждался. У него совсем не осталось приятелей. После его женитьбы на кассирше Ценци и покупки электротехнической мастерской товарищи из «Красной семерки» так измывались над ним, что и у ангела лопнуло бы терпение. Кто, как не Бени, сидел в тюрьме из-за своих симпатий к партии? Он ожесточился, ушел в себя, все реже появлялся в «Хундскугеле». И все больше сближался с Ценци. Что говорить, она понятия не имела об экономических предпосылках, прибавочной стоимости и классовой борьбе. Зато, надо отдать ей справедливость, отлично разбиралась в своей домашней экономике. Дела в мастерской шли хорошо, они ни в чем не нуждались.

Старик Каэтан Лехнер смотрел, как они живут, и душа у него радовалась. Сам он мало чего добился, но его семья быстро выбивалась в люди. И, главное, у Бени хватало времени на изобретение и опыты. В Национальном театре его не забыли, стоило чему-нибудь не заладиться, как немедленно посылали за богатым на выдумку осветителем. К этой работе сына старик проявлял особый интерес. Когда Бени рассказывал о ней, из зобастого горла Лехнера то и дело вырывались возгласы удивления и восторга: он был счастлив, что его склонность к искусству таким пышным цветом расцвела у сына. Гордый признанием отца, Бени сконструировал для «Клуба любителей игры в кегли» хитроумный прибор, который световыми сигналами автоматически отмечал число выбитых кеглей.

Меж тем семья Лехнер упорно выбивалась в люди. Когда кассирша Ценци произвела на свет зачатого в законном браке здорового мальчишку, между ней и Бени в последний раз разгорелась серьезная перепалка. Произошло это потому, что рождение сына воскресило в Бени революционный пыл. Его отпрыск должен носить имя Владимир — по основателю нового русского государства Владимиру Ильичу Ульянову, известному под псевдонимом Ленин. Ценци заявила, что не потерпит такого языческого имени. Она хотела, чтобы крестным отцом ее сына стал завсегдатай «Тирольского кабачка», тайный советник, «большеголовый» Иозеф Дингхардер, совладелец «Капуцинер-брауэрей». Он ее уважает и, конечно, окажет эту честь. Но тут встал на дыбы Бенно Лехнер. Много дней длилась эта междоусобица. Помирились на том, что крестным отцом будет старик Лехнер. А назвали мальчика Каэтан Владимир.

Старик Лехнер сиял. Фотографировал внука-крестника в са-

мых разнообразных позах. Сделал ему подарок, всем на зависть и удивление: продав свой дом на Унтерангере, купил на окраине города, в Швабинге, особнячок и записал его на имя младшего из Лехнеров. Он сам уже недостоин звания домовладельца, но все равно, пусть люди знают, что семья Лехнер выбилась в люди.

Особняк, вернее, старый крестьянский дом, каким-то чудом уцелел среди все дальше расползавшегося города. Во дворе, окруженном высокой каменной оградой, росли высокие каштаны. Каэтан Лехнер решил, что дом и впредь сохранит такой облик, словно в нем посредине города удобно расположился крестьянин, но внутри все должно быть устроено по последнему слову техники, электрифицировано от конька на крыше до погреба, при этом приборы надо тщательно замаскировать, чтобы не резали глаз. Оба Лехнера с головой ушли в работу, все время что-то мастерили, изобретали, ломали себе голову. Старый Лехнер несколько недель рыскал по городу в поисках подходящей мебели, добротной, стародедовской.

К середине мая все было готово. Старик, продавая дом, выговорил себе право пользоваться прежней своей квартирой и лавкой, а владелец электротехнической мастерской Бенно Лехнер, его жена Кресценция и младенец Каэтан Владимир переехали в дом на Швабинге. Ценци подробно описала свою новую резиденцию подруге, жившей в Вейльхейме, а внизу поставила следующую подпись: «Любящая тебя подруга Кресценция Лехнер, в девичестве Брейтмозер, проживающая по Фрёттингерскому шоссе 147, в собственном доме».

С тех пор, как Ценци вышла замуж, она и близко не подходила к «Тирольскому кабачку», где прежде работала. Но теперь пожелала поужинать там в обществе Бени. Тот начал ворчать, попытался увильнуть. Они повздорили, но все же отправились в кабачок. Уселись в боковой комнате, где вино стоило на десять пфеннигов дороже. Поистине бюргерский уют, деревянная обшивка стен, массивные, не покрытые скатертями столы, старинные, прочные, сколоченные для увесистых задов скамьи и стулья — все это Ценци знала наизусть и тем не менее словно увидела впервые. В помещении было сумрачно от дыма дорогих сигар, от испарений, которые клубились над жирными кушаньями. На привычных местах сидели люди с твердым положением и твердыми взглядами. Почти все знали Ценци, приветствовали ее возгласами, кивали весело и благожелательно, с подобающим уважением. Рези помогла ей снять пальто, принесла меню.

Госпожа Кресценция Лехнер, в девичестве Брейтмозер, уселась за угловым столом под карнизом, украшенным оловянными тарелками. Сидела как хозяйка там, где столько лет прислуживала, бегала от стола к столу, работала кассиршей. Была подобна картине, наконец-то оправленной в подходящую раму — ширококостная решительная женщина, которая крепко держится за обретенное право на хорошее обслуживание и вкусную еду, а рядом с ней — муж, отвоеванный ею и выведенный в люди. Она добилась всего, чего хотела, была довольна собой, день выдался отменный, лучший день в ее жизни.

17

ВЫ ВСЕ ЕЩЕ ЗДЕСЬ?

Писатель Жак Тюверлен, от души развлекаясь, слонялся по шумной майской ярмарке в Ау, восточном предместье Мюнхена. Война, революция, инфляция тяжело отразились и на этой традиционной ярмарке-толкучке, но вот жизнь начала входить в привычную колею, и толкучка стала еще оживленнее, чем прежде. Между лавчонками теснился весь Мюнхен и, уж конечно, дети и художники. Жак Тюверлен с не меньшим азартом, чем они, рылся в старье, надеясь отыскать какую-нибудь достопримечательность. Мюнхенцы любили мастерить, у них все шло в дело, они даже нарочно покупали хлам, чтобы из него сработать новую вещь. На ярмарке в Ау торговали большей частью предметами домашнего обихода: мебелью, одеждой, всякого рода безделушками, утварью, книгами, ночными горшками, игрушками, старинными документами, очками, кроватями, велосипедами, вставными челюстями. Эти отслужившие службу вещи все еще пахли той повседневной жизнью, частицу которой они составляли. Перебирать их в надежде наткнуться на что-нибудь стоящее было захватывающе интересно. Весело посмеиваясь, все пихали и давили друг друга, «толкли воду в ступе», и Тюверлен толок ее вместе со всеми.

Многих посетителей ярмарки он знал в лицо. Встретил уныло озабоченного г-на Гесрейтера и весело озабоченного г-на фон Мессершмидта. Тайный советник Каленеггер увлеченно разглядывал коллекцию баварских бабочек в стекляшном ящике. Каэтан Лехнер весь ушел в изучение старинной горки, такой трухлявой, что непонятно было, как она не рассыпается у него под

руками. Но как раз это и привлекало его, это и составляло ремесло Лехнера — искусно восстановить хрупкую, источенную червями вещь.

А кто это копается длинными тонкими пальцами в груде старья? Да, это он, комик Бальтазар Гирль. Жак Тюверлен прислушался к его яростной торговле с необъятной старьевщицей. Предметом торговли был огромный старый клистир: комик с нежностью и вожделением покачивал его худыми руками. Клистир был как нарочно создан для выступлений в залах «Минервы». Но, видно, старуха отличалась не меньшим упрямством, чем Гирль, и Тюверлен увидел, как тот удаляется, так и не купив клистира. Впрочем, завтра он, несомненно, вернется, и торг возобновится.

Вокруг была толчея и давка, люди повторяли — «извиняйте, господин хороший», смеялись. С затаенной страстью, ожесточенно, настойчиво продавцы и покупатели старались облапошить друг друга. Тюверлен ощущал в этом торге острый привкус крестьянской хитрости, потом и сам распалился и решил испробовать технику подобных сделок. Он присмотрел старинную гравюру — знакомый ландшафт, берег Аммерзее. Для отвода глаз стал приценяться к чему-то другому, но торговец сразу приметил, что покупатель украдкой поглядывает на гравюру. Про себя он с пренебрежительным удивлением подумал: «Зачем здравомыслящему человеку такая дрянь?» — но цену запросил неслыханную, целых десять марок. Тюверлен изобразил на лице возмущение. Призвал в свидетели стоявшего рядом мужчину,— пусть подтвердит, что картина ничего не стоит.

— Я и пятидесяти пфеннигов не дал бы за такую ерунду,— с полной искренностью согласился тот.

Втайне торговец был того же мнения.

— Зато какая рама, господа хорошие, вы только посмотрите на раму! — взывал он вслух.

— Хлам! И пятидесяти пфеннигов не стоит! — горячился свидетель.

— Зато рама! — стоял на своем торговец.

Тюверлен был очень горд, когда в конце концов выторговал гравюру за семь с половиной марок. Торговец с пренебрежительной жалостью посмотрел ему вслед, потом с уважительной нежностью окинул взглядом свои олеографии.

Тюверлен остановился у ларька, где толпилось особенно много народа. На прилавке, сложенные в пачки, лежали бумажные деньги времен инфляции — миллионы, миллиарды. Но осо-

бенным успехом пользовались коричневые тысячные бумажки, выпущенные еще до войны. Много рук с самозабвенной алчностью перебирало эти коричневые банкноты. «Предъявителю банкнота Государственный банк в Берлине выплачивает тысячу марок». Зря, что ли, были напечатаны на бумажке эти слова? Пачка из тысячи таких бумажек равнялась тринадцати с половиной сантиметрам в высоту, и обладатель такой пачки еще несколько лет назад мог почитать себя со всей своей семьей обеспеченным по гроб жизни. Многие так и не усвоили, что теперь эти бумажки гроша ломаного не стоят, поэтому торговля в ларьке шла очень бойко. Люди покупали дешевые тысячемарковые бумажки — миллион за пять марок — якобы для коллекции, потехи ради; но в каждом тайно теплилась надежда, что когда-нибудь они опять поднимутся в цене. С особенным почтением к ним относился какой-то явно придурковатый человек — то был дядюшка Ксавер. При нем была тачка, на которой он и увез свои сокровища.

Тюверлену показалось очень знакомым лицо одного из торговцев деньгами — острый подбородок, мелкие крысиные зубы, свистящий смех. И человек тоже узнал его, поздоровался с ним. Выхваляя и продавая свой товар, г-н фон Дельмайер одновременно болтал с Тюверленом по-французски. Жак Тюверлен сам видит, каким прибыльным и забавным делом он сейчас занимается — более прибыльным и забавным, чем политика. Тюверлену кто-то уже рассказывал, что после смерти Эриха Борнхаака страховой агент фон Дельмайер совсем опустился: из-за темных проделок с кассовой отчетностью «истинные германцы» выставили его из своей организации.

Беседуя с г-ном фон Дельмайером, Тюверлен вдруг услышал знакомый голос. Говоривший стоял у соседнего ларька — господин в светлом касторовом пальто, с живым, изборожденным глубокими морщинами мужицким лицом. Он с веселым хохотом украшал свою спутницу, пышную, громкоголосую даму, старинными орденами, знаками отличия, розетками. В этом ларьке торговали ношеным господским платьем, мундирами офицеров уже несуществующей армии, старыми судейскими и адвокатскими мантиями, но главным образом медалями и всевозможными значками. В близком соседстве лежали ордена германской монархии, советские пятиконечные звезды, кресты с загнутыми концами. Художник Грейдерер, громко хохоча, захватил пригоршню этих украшений и забавлялся, нацепляя на свою спутницу знаки почета и партийной принадлежности в самых причудливых комбинациях.

Он приветствовал Тюверлена церемонно, шумно и радостно. У него опять полоса удач, его выставка в Берлине имела сногсшибательный успех. Эти пруссаки-берлинцы, конечно, свиньи, но во вкусе им не откажешь: особым успехом пользовалась та самая картина, которую он от всех скрывал, а Остернахер во что бы то ни стало хотел увидеть. Пусть сейчас съездит в Берлин, полюбуется. Картина называется «Истинный германец», и изображен на ней некий вождь «патриотов» в парадной форме и во всем своем торжествующем ничтожестве. Этот вождь — друг-приятель и коллега по ремеслу Грейдерера — Бальтазар фон Остернахер. Вот это значит насолить человеку. Он многословно рассказывал Тюверлену о своей картине, хохотал, хлопал его по плечу, держал за пуговицу. Вытащил из карманов ворох берлинских рецензий. Уверял, что теперь будет купаться в деньгах. Но он уже научен уму-разуму и не переселится из деревни. Наезжать в город дважды в неделю — этого за глаза довольно. Тюверлен осведомился насчет зеленой машины,— по-прежнему ли она бегает. Еще как! Грейдерер заново выкрасил ее и подарил отставленной за ненадобностью «курочке». А для себя и нынешней своей подруги завел новую, роскошную, еще зеленее прежней.

Тюверлен побрел дальше. Купил себе бело-розовое липкое лакомство — так называемый турецкий мед. Увидел хнычущего карапуза, который провожал взглядом свой улетевший голубой воздушный шар. Тюверлен и на долю этого сопляка купил турецкого меду. Среди всеобщего гама он ощущал радость бытия. Куда ни глянь, везде в прозрачном воздухе Баварского плоскогорья пестрел многообразный, источенный червями хлам мюнхенской повседневности, торговцы и обыватели терпеливо, со скрытым коварством старались надуть друг друга.

Тюверлен обратил внимание на тощего человека с аккуратно расчесанной бородой, который стоял у лотка, где громоздились изображения младенца Иисуса в яслях, четки, распятия. Человек с елейным благоговением перебирал этот освященный хлам. Когда «истинные германцы» потерпели крах, дела Рохуса Дайзенбергера так ухудшились, что ему снова пришлось податься к церковникам и везде кричать о святости своего гаража. Сейчас он сосредоточил внимание на деревянном, необычайно жестоком распятии. Должно быть, оно когда-то стояло на дорожной обочине, надежно защищенное решеткой от богохульных рук и навесом — от дождя и снега, а у его подножья часто лежали полевые цветы. Теперь оно валялось на ярмарке в Ау, ничем не украшенное, сирое, и на него-то загляделся Рохус Дай-

зенбергер. Он решил дать приют бедняге Спасителю у себя в гараже, вернее, поставить гараж под покровительство деревянного распятия.

У груды богоугодного хлама стоял еще один человек — коренастый, на вид туповатый. Он уставился на металлический сосуд, формой напоминавший вазу.

— Что господину угодно? — спросила старьевщица.

— Вот эту штуку,— сказал тот и, не торгуясь, заплатил за вазу. Полная пестрых цветов, она будет красиво выглядеть на некой могиле третьего разряда на Южном кладбище. Он поставит ее у подножья небольшого деревянного креста, на котором черными печатными буквами написано: «Амалия Зандхубер». Когда-то Амалия Зандхубер лежала в грязи, на тающем снегу, лицо у нее полиловело, ноги были раскинуты. Теперь она покоится на Южном кладбище. Может, он прикончил ее не зря, но после всего происшедшего его стали одолевать сомнения, и захотелось украсить могилу этой вазой с цветами. Какая гнусность, что его тогда выставили из полицейского участка. Он исповедался, но исповедь не облегчила душу. Боксер Алоис смотрел, как торговка аккуратно завертывала вазу в старую газету. У него один выход, давно пора было это сделать, он больше не станет откладывать — пойдет в монастырь послушником. Хорошо было бы в сельский монастырь. Там на него возложат работу, тяжелую работу, он готов делать что угодно, только бы ему приказывали, а самому не думать, и тогда наконец он обретет покой. И по вечерам будет безмятежно похаживать во власянице. Ну, а не удастся попасть в сельский монастырь, пойдет в городской — св. Анны, например. Старьевщица протянула ему завернутую вазу. Значит, сейчас он отнесет ее на Южное кладбище, а потом сразу пойдет в монастырь св. Анны, узнает, как это делается.

— Будьте здоровы,— сказал он старьевщице на прощанье.

— Заходите еще, окажите милость,— ответила та.

Меж тем Тюверлен наткнулся на театр Касперля. Детишки шумели, нетерпеливо ждали начала. Тюверлен сел среди них, тоже полный нетерпения. Сейчас появится Касперль, и начнется представление. А вот и он — идет вдоль рампы, переваливается с боку на бок. У него багровый нос, на нем желтые штаны, зеленый жилет, красная курточка, белое жабо, зеленый колпак.

— Все ли вы здесь? — хриплым, пропитым голосом крикнул он.

— Да! — прозвучал в ответ ликующий хор, и представление началось. У Касперля невесть сколько врагов. Не успевает

он расправиться с одним, а уже тут как тут другой: хвастун-офицер, сборщик податей, зеленый жандарм, жирный, длиннобородый доктор-чудодей Цейлейс, американский боксер Демпси и в довершение всего сам черт собственной персоной. Снова и снова набрасываются они на Касперля, поодиночке, а то и по двое сразу. Он плюхается на землю. Охает, но тут же вскакивает на ноги. На него сыплются удары, но и он не остается в долгу, он то герой, то жалкий трус, все совсем как в настоящей жизни. Представление не такое уж длинное, но за это время удачливый Касперль успевает отправить на тот свет девятерых неприятелей. После восьмого убийства начинается сбор денег, каждый зритель должен заплатить пять пфеннигов. Касперль не какой-нибудь старый хрыч, он не лезет за словом в карман, когда его колотят, да и когда сам убивает, тоже не скупится на ядреные словечки, напутствия, поговорки и пословицы. Наконец Касперль разделывается с последним врагом, его пивное брюхо так и трясется от смеха. Представление окончилось, но скоро оно начнется снова, и Касперль снова спросит: «Все ли вы здесь?»

Внятно и громко звучит смех Тюверлена на фоне громкого детского смеха. Ему сейчас везет, он в отличном настроении, на коленях у него купленная за бесценок гравюра. Представление окончилось, но он не уходит, ждет следующего.

— Все ли вы здесь? — хрипит Касперль.

— Да! — вместе с детьми отвечает Тюверлен.

Там, на сцене, Касперль снова отвешивает затрещины, но Тюверлен уже не смеется. Все ли вы здесь? Он начинает разглядывать лица сидящих вокруг него детей. Да, как ни прискорбно, они все здесь. В облике детей сидят их родители, чьи черты отпечатались на детских лицах. Куда ни поглядишь, всё как было, они все еще здесь. Была война, была революция, было и последнее пятилетие, кровавое и нелепое, с «освобождением» Мюнхена в виде зачина, инфляцией посередке и кутцнеровским путчем на закуску. Но те же люди сидят и в министерских креслах, и в «Нюрнбергер братвурстглёкеле», и в «Мужском клубе», и в «Тирольском кабачке». Вместо Кленка — Симон Штаудахер, вместо Каэтана Лехнера — Бени. Год движется все по тому же кругу — карнавал, пасха, майский пивной праздник, майская ярмарка, осенние праздники, и вот уже снова карнавал. У Галереи полководцев появляются новые бронзовые и гранитные памятники, духовые оркестры медными голосами исполняют неизменные вагнеровские мелодии, голуби воркуют и нагуливают жир, студенты сдергивают цветные шапочки с украшенных шрамами голов, у ворот Дворцового парка красуется, окруженный

всеобщим почтением, идолоподобный генерал Феземан. Изар, как всегда, быстро несет свои зеленые волны, городской гимн гнусавит о старом Петере и неиссякаемом благообразном уюте. Крепкая крестьянская закваска, вековечный круговорот одного и того же. Город попросту отрицает существование последнего десятилетия, не желает помнить о нем, напускает на себя вид простачка, зажмуривает глаза и притворяется, будто ничего и не было. Надеется, что тогда и другие забудут обо всем, что было. Но город заблуждается.

В Тюверлене поднимается такое раздражение, какого до сих пор он в себе не знал. Больше десяти лет он был свидетелем всего, что тут происходило. Был сторонним свидетелем мюнхенской жизни, порою добродушным, порою осуждающим, но всегда сторонним. «Освобождение Мюнхена», дело Крюгера, дикость и гротеск кутцнеровского путча. Лица восьмилетних детишек, сквозь которые просвечивали лица их родителей, вдруг опротивели ему. Так же, как их смех, и смех Касперля, и даже лежавшая у него на коленях гравюра. Все, что накопилось в нем под влиянием дурацких и жестоких событий этих лет, внезапно прорвалось наружу.

Не просто дурное настроение или мимолетная злость. Возвращаясь с майской ярмарки, Тюверлен ощущал в себе новое и отнюдь не двусмысленное чувство. То была ненависть.

18

У ЖАКА ТЮВЕРЛЕНА НОВЫЙ ЗАКАЗ

Уже полгода миновало с тех пор, как провалился путч «истинных германцев». Самые тяжкие последствия инфляции, а затем и стабилизации марки были преодолены. Комиссия экспертов под председательством американца Дауэса, которой было поручено разработать более или менее разумный план выплаты Германией репараций, представила свои выводы на рассмотрение конференции заинтересованных держав; все понимали, что на этот раз они договорятся. В Англии к власти пришло лейбористское правительство во главе с Рамсеем Макдональдом. В Испании некий генерал Примо де Ривера стал диктатором страны. В Марокко коренные жители, берберы, руководимые Абд аль-Керимом, восстали против колонизаторов — французов и испанцев. Силыо уменьшившаяся в размерах, потерявшая все

европейские владения Турция сызнова заключила мир со своими победителями. В России умер создатель Советского государства В. И. Ленин. В Индии продолжались волнения. В Китае алчные генералы обирали вконец обнищавший народ и не переставали воевать друг с другом.

Май сменился июнем. Город Мюнхен и все Баварское плоскогорье совсем успокоились. В трудные годы минувшего десятилетия Жак Тюверлен мечтал о размеренной, прочно устоявшейся жизни, о возможности и жить ею, и наблюдать за ней. Теперь эта возможность появилась. Плоскогорье отдыхало, горы, озера, холмы, город Мюнхен наслаждались прославленным баварским покоем. Но Тюверлен терзался из-за того, что произошло здесь в последние годы, везде обнаруживал следы недавних событий, точно следы срамной болезни. И не понимал, почему он, которому открыт весь мир, душой и телом сросся с этим краем. Он носился в машине по стране, плавал в озерах, лазал по горам, вел споры с неглупыми мужчинами, спал с женщинами. Но ничто не приносило ему радости.

Тюверлен до сих пор не решил, за какой из многих замыслов ему теперь взяться. Он всегда больше всего любил первоначальный этап работы. Смысл будущего творения отчетлив и заманчив, трудности кажутся несущественными. Месишь, лепишь, очертания пока еще смазаны, тысячи прекрасных возможностей пока еще не использованы. Но сейчас, впервые в жизни, даже эта чудесная и безответственная работа не радовала Тюверлена. Им владело не испытанное прежде недовольство, чувство опустошенности. Потому ли, что с ним не было Каспара Прекля? Потому ли, что отношения с Иоганной стали такими бессмысленно холодными, отчужденными? Тюверлен злился на Прекля за то, что тот уехал, злился на Иоганну за то, что она так упрямa, злился на себя за то, что ему плохо работалось.

Седьмого июня исполнилось три года со дня осуждения Мартина Крюгера. Сегодня его освободили бы без всякой амнистии. Этой годовщины не отметила ни одна газета. Иоганна поняла, что заключенный Крюгер окончательно оттеснен своими произведениями. Она мучилась этим. Однажды чуть было не заговорила о Крюгере с Тюверленом, которого редко теперь видела. Но не заговорила — какой смысл в таком разговоре? Иоганна как-то съежилась, очерствела. Много работала.

Жак Тюверлен тоже не вспомнил бы о годовщине, не получи он письма из Берхтольдсцеля. Отто Кленк писал, что костяные пуговицы на его куртке уже почти оторвались, но он попросил пришить их покрепче, так как, судя по всему, шансов

на выигрыш у г-на Тюверлена почти нет. Заключая пари, они не условились, когда именно г-н Тюверлен должен исполнить обещанное — заставить мертвеца заговорить. Но Кленк, как и все прочие, знает, что Тюверлен всегда ведет честную игру, поэтому о сроке можно договориться и задним числом. Вот он и просит г-на Тюверлена приехать к нему в Берхтольдсцель.

Тюверлен уже много месяцев не вспоминал о той ночи, когда, перед самым рассветом, при оплывших свечах и запертых дверях, он заключил пари с двумя неотесанными баварцами. Сейчас он держал в руках письмо Кленка, разглядывал мелкий, уверенный, красивый почерк. У него исправилось настроение. Конечно, пари было идиотское, но что из того? Он человек слова. Поднатужится и постарается выиграть. Тюверлен решил немедленно выехать в Берхтольдсцель.

Он ехал прозрачным летним утром по скверным дорогам. Справа все время синели зубцы гор. Значит, он должен заставить заключенного Крюгера заговорить. Да, задача не из легких. Многие люди, изучившие дело Крюгера, утверждали, что в своем очерке он сказал абсолютно все и что очерк значительнее, чем само дело. Но ему этот ставший знаменитым очерк казался теперь холодным и сухим. Чтобы мертвец заговорил, теоретизированья мало, надо, чтобы в книге ожила вся Бавария. Очерку не развязать язык мертвецу.

Хорошо пахла могучая баварская земля, по которой проезжал писатель Тюверлен. Дороги, правда, были никудышные, сплошные ухабы. Мысли писателя Тюверлена прыгали в такт машине. Был министр юстиции Кленк, и был заключенный Крюгер, его судебный процесс, его нелепая неуравновешенность, его гротескный, но и трагический конец. А по какому праву он, Тюверлен, вот так, сверху вниз, взирает на дело Крюгера? То, что отталкивало от него Иоганну, было чисто баварским предрассудком, противоречило здравому смыслу. Но не будь у нее таких предрассудков, он, возможно, не любил бы ее. Его высокомерный очерк был куда глупее ее предрассудков — это ясно хотя бы из того, что, как оказалось, дело Крюгера представляло для него отнюдь не академический интерес, оно задевало его до самой печенки. Сегодня истинным мучеником процесса Крюгера стал он, Тюверлен.

И вот июньским утром, направляясь в Берхтольдсцель, Жак Тюверлен, к великому своему огорчению и к еще более великой радости, почувствовал, как от всех его замыслов отделился один, стал расти, шириться, вытеснять остальные. То был замысел «Книги о Баварии».

Машинально сворачивая вправо, когда навстречу ему катили другие машины, обгоняя одну телегу за другой, снова сворачивая при встрече с машинами, он в какие-то несколько секунд увидел всю свою книгу — перспективу, уходящие вглубь планы, зачин и развязку. Сперва были объективность и стороннее понимание, потом недовольство, опустошенность, потом понимание более глубокое и крепкий настой ненависти. Теперь пришло прозрение. Он получил заказ.

Тюверлен крутил руль, машинально то прибавляя газу, то убавляя. Громко, недобро, скрипуче смеялся. Вперялся во что-то неподвижным взглядом. Скрежетал зубами. Мурлыкал, почти не разжимая губ, какой-то мотив — эту привычку он перенял у Иоганны. Вел машину, а книга меж тем вставала перед ним все отчетливей. Он погружался в жизнь Баварии. До краев наполнялся ею.

Он еще не знал, будет ли его книга связана с умершим Крюгером и с пари, о котором ему напомнил Кленк. Но хорошая книга хороша сама по себе: она развяжет язык мертвецу.

Впереди какой-то крестьянин на телеге неуклюже пытался свернуть с середины дороги — обгоняя его, Тюверлен грубо выругался. На свежем ветру его голое лицо собиралось в складки, ухмылялось. Возникали образы, теснились мысли, переплетались, рождали новые мысли. Кто знает, может быть, когда утечет много воды, окажется, что его книга не только развязала мертвому язык, но сделала и еще кое-что. Сидя за рулем, подставляя лицо ветру, он насвистывал, напевал. И вот уже Берхтольдсцель.

19

ОБЪЯСНИТЬ МИР — ЗНАЧИТ ЕГО ПЕРЕДЕЛАТЬ

Кленк был не один, Тюверлен застал у него Симона Штаудахера. Они сидели за большим, не покрытым скатертью столом. Экономка Вероника подавала одно блюдо за другим — вкусные, незатейливо приготовленные кушанья, порции впору великанам. В этой обстановке Тюверлену особенно бросилось в глаза сходство между отцом и сыном. Как ни менялись обстоятельства, на всех баварцах лежала общая печать. Бенно Лехнер все больше напоминал своего родителя, Симон Штаудахер — своего.

Кленк, затаившийся у себя в логове, почти отвыкший от гостей, обрадовался посетителю. Он ругал Симона, упрямого осла, который прямо присох к «истинным германцам» и отговаривается всякими «вот погоди», «теперь уже наверняка» и прочее. В душе Кленку нравилась необузданность сынка. Сейчас парень занят чисткой партийных кадров. Сцепился с Тони Ридлером. Опасное предприятие — противники стоили друг друга. У Кленка, который сам столько раз воевал с командиром ландскнехтов, глаза вспыхнули боевым огнем при мысли, что сын продолжает его борьбу. Не стесняясь присутствия Тюверлена, он стал учить Симона, как прижать к ногтю Тони Ридлера. Тюверлену вспомнился умирающий царь Давид.

Кстати, вспомни для начала
Иоава, генерала.
. . .
Ты, мой милый сын, умен,
Веришь в бога и силен,
И твое святое право
Уничтожить Иоава.

Кленк приложил немало усилий, чтобы по Мюнхену разнесся слух о его мемуарах. Вспоминая, как перекосилась физиономия Кутцнера, когда он как бы вскользь сказал о них, бывший министр юстиции злорадно думал, что теперь эти мемуары, как грозовая туча, висят над многими головами, гонят сон от многих глаз. На своем жизненном пути он сталкивался с самыми разнообразными людьми, и, разумеется, никто из них не считает, что Кленк — кроткий агнец, что его воспоминания будут окрашены в розовые тона. Тюверлен не был уверен, что Кленк и впрямь что-то пишет. Если Кутцнер поддерживал мужество своих приверженцев пустым ящиком письменного стола, то почему бы Кленку не держать в страхе врагов таким же пустым ящиком и несуществующими мемуарами? Он собирался выяснить, есть ли в этих слухах хотя бы доля правды. Симон почти сразу уехал в Мюнхен. Оставшись наедине с Кленком, Тюверлен начал его выспрашивать. Но тот лаконично ответил — да, он работает над воспоминаниями.

Кленк охотно продолжил бы этот разговор. Дело в том, что Кутцнера он, действительно, только дразнил. Но потом ему до смерти захотелось досадить ближним, показать им где раки зимуют, так что теперь ящик письменного стола был почти доверху полон. Ничуть не страдая писательским честолюбием, он

тем не менее считал, что — себе на радость, другим на горе — сочинил нечто весьма забористое, и с удовольствием прочитал бы кое-что оттуда писателю Тюверлену. Но Кленк был гордец, поэтому ограничился коротким «да».

И сразу заговорил о другом. Спросил, не считает ли г-н Тюверлен, что стоит назначить определенный срок для исполнения условий небезызвестного ему пари. Тюверлен сидел за массивным некрашеным столом, щурясь, поглядывал на сидящего напротив Кленка. Подумав, сказал, что предлагает седьмое июня будущего года.

— Еще целый год,— что-то соображая, сказал Кленк.— В общем, получается девятнадцать месяцев.

— Девятнадцать месяцев не такой уж большой срок, чтобы развязать язык покойнику.

— Пожалуй, вы правы,— согласился Кленк, и вопрос был решен.

А нельзя ли узнать, благодушно полюбопытствовал бывший министр, что это за творение, которое г-н Тюверлен проиграл ему, можно сказать, на корню. Неторопливо действуя руками в рыжеватом пушку, тот отрезал ломоть темного, из непросеянной муки хлеба, намазал его маслом. Следуя местному обычаю, в точности как Кленк, тонко настругал редьку, посолил, подождал, пока она не пропиталась солью.

— Думаю, Кленк,— сказал, вернее, проскрипел он,— думаю, что вы дали маху. Думаю, моя книга развяжет язык мертвецу.

При этих словах рука Кленка с зажатым в ней хлебом опустилась на стол.

— Вы пишете книгу о Баварии? — спросил он.— Значит, тоже пишете воспоминания?

— Пожалуй, что и так,— дружелюбно согласился Тюверлен.— Занимаюсь самовыражением, как однажды уже имел честь вам докладывать.

— И надеетесь добиться успеха? — снова спросил Кленк.— Политического успеха? Каких-то перемен? — Его длинное, кирпично-красное лицо расплылось в улыбке.

Редька пропиталась солью в самый раз, Тюверлен уплетал ломтик за ломтиком.

— Великий человек, которого вы терпеть не можете, да и я недолюбливаю,— сказал он,— короче говоря, Карл Маркс заявил, что философы объясняли мир, а теперь его надо переделать. Но я считаю, что единственный способ переделать мир — это его объяснить. Кто убедительно объясняет, тот и переделы-

вает, притом без насилия, одним воздействием разума. А кто старается переделать насильственно, тот, значит, не сумел убедительно объяснить. Действуя наскоком, толку не добьешься, я больше верю в действия исподволь. Великие государства гибнут, хорошая книга остается. Я больше верю в бумагу, исписанную разумными словами, чем в пулеметы.

Кленк слушал внимательно, с той же тихой, веселой усмешкой.

— О чем же вы напишете в вашей книге? — спросил он.

— О Касперле и классовой борьбе,— ответил Тюверлен.— Можно сказать и иначе: об извечном повторении одного и того же. Все молотят Касперля по голове, но в конце концов он все равно вскакивает на ноги. Беда его в том, что он видит не дальше собственного носа. Однажды я написал на эту тему театральное обозрение. Тогда у меня ничего не получилось, потому что мне пришлось пригласить в помощь сотню партнеров. А теперь я напишу книгу в одиночку.

— И надеетесь, что, написав ее, заставите пересмотреть дело Крюгера? — спросил Кленк, давясь от смеха.

Тюверлен доел редьку. Живыми, лукавыми глазами оглядел сидящего напротив гиганта.

— Да,— сказал он.

20
ВОСПОМИНАНИЯ ОТТО КЛЕНКА

После разговора с Тюверленом Кленка одолело желание тоже написать о деле Крюгера, только на свой манер. В его воспоминаниях Мартину Крюгеру придется стать лицом к лицу не с каким-то там вымышленным, отвлеченным Касперлем, а с вполне реальным Флаухером и не менее реальным Кленком.

Теперь Кленк писал, забыв и думать о первоначальном своем намерении держать в страхе противников, он все сильнее интересовался судьбой людей, с которыми его столкнула жизнь, дальнейшей участью тех, с кем скрестилась его дорога. Его занимала дальнейшая участь часовщика Трибшенера, кочегара Горнауера, музыканта Водички. Доктор Гейер, так бессмысленно избитый «истинными германцами» на похоронах Эриха Борнхаака, скитался где-то за границей. Очень жаль. Живи он по-прежнему в Берлине, Кленк не поленился бы специально съездить к нему.

Через неделю после визита Тюверлена в Берхтольдсцелле появился доктор Маттеи. После смерти Пфистерера он превратился в тень прежнего Маттеи. Если рядом не было человека, с которым можно было бы затеять перепалку, он места себе не находил. Поэтому и навещал Кленка. Задора в том хоть отбавляй, гнусности тоже, так что Маттеи надеялся и сейчас изрядно побраниться. Но, как ни прискорбно, Кленк не пожелал браниться. Маттеи кусал его и так и этак, доходил до самых грубых выходок, но Кленк был кроток, как голубица.

Экономка Вероника убрала со стола. И вот сидят эти двое за кружкой пива, оба в грубошерстных куртках, оба дымят тирольскими трубочками. Всякий раз, отправляясь в Берхтольдсцель, Маттеи надеется отвести душу в словесной схватке. Но Кленк невозмутим и отвечает так односложно, что гостю становится не по себе. Вот и сегодня Кленк пресен, как мистерии в Оберфернбахе.

Маттеи ищет тему попикантней. Эти русские набальзамировали тело своего Ленина. Ребяческая затея, верно? Он говорит еще что-то, но уже скучным голосом: надежда раззадорить Кленка улетучилась. И вдруг Кленк встает, выпрямляется во весь свой гигантский рост, начинает расхаживать взад и вперед по скрипучему полу. Дьявол его разрази, он все-таки соблаговолил открыть пасть.

— Набальзамировали? — хохочет Кленк.— Поверьте, друг любезный, есть более совершенный способ сохранить человека для потомства.— И он многозначительно хлопает ладонью по письменному столу с множеством глубоких ящиков.

Маттеи весь напрягается. Ага, воспоминания. Он дрожит от желания узнать, что там написано, но держит себя в руках — боится спугнуть Кленка, когда тот наконец заговорил. Маттеи начинает протирать пенсне, молчит, опустив бульдожье, обрюзгшее, исполосованное шрамами яростное лицо, ждет.

Кленку не терпится показать кому-нибудь свое творение. Он уже исписал около трехсот листов большого формата. Так неужели им валяться в ящике, ведомым одному только автору? Если бы Тюверлен приехал сегодня, Кленк не устоял бы против искушения. «Какого черта,— думает он со злостью,— этот Маттеи держит рот на замке, почему не просит прочитать ему хоть кусочек?»

А Маттеи, в свою очередь, жаждет послушать. Но боится, что стоит ему заикнуться об этом, и Кленк пошлет его подальше. Поэтому он смирно сидит на деревянной скамье и ждет, а Кленк стоит у письменного стола и тоже ждет. Наконец, видя,

что Маттеи словно проглотил язык, Кленк неистовым рывком выдвигает ящик, хватает рукопись и начинает ее листать. Проходит минута, другая. Маттеи хранит молчание. Тогда, без всякого предисловия, Кленк начинает читать прямо с середины.

Воспоминания Отто Кленка состояли из ряда портретов. Обвинить бывшего министра юстиции в прекраснодушии было трудно, для эпитафий его характеристики не годились. Жизнь сталкивала его с множеством непохожих друг на друга людей, и все они, по его мнению, были скотами и негодяями. Но как энтомолог, посвятивший сотни страниц клопам, проникается любовью к предмету своего исследования, так Кленк, описывая людей, все больше приходил в какой-то веселый раж. Он был образованный юрист и, при желании, умел находить логическую связь между самыми сложными явлениями. Но сейчас он махнул рукой и на связь явлений, и на обоснованность суждений, описывал людей с пылкой непоследовательностью, наслаждаясь и негодуя. И как в баварской деревне мальчишка-сорванец, победив в драке, вдруг хватает ком навоза и запускает в убегающего неприятеля, так Кленк, уже охарактеризовав человека, строчил на полях еще парочку ядовитых замечаний и анекдотов. Он совсем распоясался, отплясывал дикий танец над трупами поверженных врагов, предавался буйному баварскому неистовству. Ликующий и яростный, не скупясь, наносил удары, топтал павших. Маттеи сидел не двигаясь, курил, настороженный, точно в засаде, глубоко заинтересованный. Он и сам когда-то мечтал о подобном сочинении как о высшем творческом идеале, но ему — увы! — выпала на долю роль литературного знаменосца, ему нельзя было позволять себе такое.

Кленку хотелось поскорей узнать, какое впечатление производят на Маттеи его воспоминания. Читая, он то и дело поглядывал на своего похожего на обрубок слушателя. Едва Кленк кончил, Маттеи сразу выпустил залп брани. Что за пресная, дилетантская брехня, что за нелепый, бессвязный, бессмысленный бред уязвленного тщеславия! И как плохо написано — произвольные словообразования, смехотворно пересыпанные суконными канцелярскими оборотами! Кленк с удовольствием слушал эту грубую ругань: видно, его писание здорово задело Маттеи. Оживившись, как уже давно не оживлялся, он яростно сцепился со своим гостем. Маттеи заявил, что баварцы должны сгореть со стыда,— подумать только, они годы терпели на посту министра юстиции человека, у которого атрофирована способность мыслить. На это Кленк ответил, что и о Маттеи у него написано кое-что забористое, но этого он ему сейчас не покажет. Эти

страницы он предназначает для будущего жизнеописания Маттеи и надеется, когда тот испустит дух, еще долго услаждаться этим жизнеописанием. Они распили бутылку пива, потом бутылку вина, потом еще одну, потом Вероника среди ночи жарила им яичницу и готовила салат.

Расстались они под утро, в отличном расположении духа, все еще не доспорив.

— Поскорей приезжайте! — крикнул Кленк вслед Маттеи.— Я еще кое-что добавлю в ваше жизнеописание.

Чтение еще сильнее разожгло интерес Кленка к развязке судеб тех людей, о которых он рассказывал в воспоминаниях. Особенно хотелось ему повидать доктора Гейера. Говорили, что тот купил себе дом в каком-то селении на южном побережье Франции. Кленк решил разыскать его там.

Он поехал в машине через швейцарские горные перевалы, где раннее лето было до краев полно сил и нетерпения.

Гейер жил в рыбачьем поселке. Темные лесистые холмы окаймляли берег, обрываясь у самого моря. Пинии, каштаны, пробковые дубы. После войны туда снова хлынул народ, особенно англичане. Склоны холмов над поселком были усеяны домиками. В одном из них и жил Гейер.

Кленк позвонил, в ответ громким лаем залилась собака. Вышла желтолицая экономка Агнесса и, подозрительно глядя на визитера, угрюмо буркнула, что господина нет дома, когда он вернется, ей неведомо, и вообще он никого не принимает. Кленк ушел, ему вслед неистово гавкала собака, злобно смотрела желтолицая.

Кленка это не смутило. Погода была великолепная, местность красивая. Гейер где-нибудь да гуляет, вот он и разыщет Гейера. Куда приятнее побеседовать с ним под открытым небом, среди этого чудесного приволья, чем в четырех душных стенах.

Кленк остановился в маленькой уютной гостинице. Узнал, что Гейер — спокойный господин, его не видно, не слышно, живет очень скромно. Целиком под башмаком мадам — то ли экономки, то ли жены, этого никто не знает.

К вечеру следующего дня, пробираясь напрямик сквозь густую поросль дрока, тимьяна, лаванды, Кленк увидел того, кого искал. Доктор Гейер сидел на каменной глыбе, неотрывно смотрел на синеющее море,— изможденный, опустившийся человек. Кленк первый заметил его. Увидев, что к нему приближается, топая сапожищами, гигантская фигура в грубошерстной куртке, адвокат побелел и задрожал. Кленк слышал, что во время поку-

шения и потом, когда случилась эта гадость на похоронах Эриха Борнхаака, Гейер держался в высшей степени пристойно. Но Кленк знал и другое: ужас, внезапно пережитый человеком, порой дает о себе знать с большим опозданием. Должно быть, при виде врага адвокатом овладел тот в свое время не осознанный страх.

Кленку это было неприятно. Он ведь приехал сюда не как враг. Ему хотелось узнать, что сталось с этим человеком, ну, может быть, немного поддеть его — вот и все. Эрих Борнхаак мертв, Симон, паренек, жив. А в остальном — что ж, теперь у них у обоих по стариковскому наделу — у Кленка его воспоминания, у Гейера книга «Право и история» или как там она называется. Враждовать с этим бесплотным адвокатом? Вот уж нет.

Он заговорил с доктором Гейером самым ласковым тоном, чтобы тот поскорей пришел в себя. Но тот не пришел в себя. Кленк почти сразу понял, что доктор Гейер уже никогда не придет в себя. Его обтянутое тонкой кожей лицо покраснело, глаза часто-часто мигали, не очень опрятный пиджак болтался на нем, чересчур длинные брюки были ободраны о кустарник,— как дисгармонировал с тихим, просторным ландшафтом этот безнадежно рассыпавшийся, разъятый человек. Неужели же он — тот самый, кого даже Кленк порой считал достойным противником? Нет, это уже не человек, это предмет.

Предмет по имени Гейер сидел на камне. Кленк что-то говорил предмету Гейеру, предмет Гейер следовал ходу мыслей минувших лет, и, если удавалось попасть в унисон с этими мыслями, предмет пытался ответить, иногда даже отвечал вразумительно и удобопонятно. Наконец Кленк вместе с предметом Гейером пошел домой и с ним поужинал. Назавтра он уехал в Берхтольдсцель.

Прекрасно было ехать по этим прекрасным местам, к тому же Кленк никогда ни в чем не раскаивался. Все-таки он не стал бы утверждать, что перемена, происшедшая в его враге Гейере, доставила ему радость. Он вымарал те страницы воспоминаний, где речь шла о депутате Гейере.

21
ВМЕШИВАЕТСЯ ТЕТУШКА АМЕТСРИДЕР

Тюверлен работал. В нем роились образы, они были ему дороги, требовали воплощения, но он избрал эту тяжелую, как свинец, отталкивающую тему о стране Баварии. Он получил заказ.

Благодаря обозрению он в свое время добился амнистии Крюгеру, но это было делом случая, удачи. Путь, выбранный им сейчас для воскрешения Крюгера, требовал упорной, методичной работы. Он работал. С разных сторон подбирался к материалу, брал его в клещи. Все отчетливее видел, как проявляется в этих людях одно и то же — беспощадное собственничество, тупая, исистовая злоба на неотвратимое — на промышленность, атакующую сельское хозяйство. Вглядывался в эти черты, извлекал их на свет божий. Потом перечитывал написанное, видел его четкие очертания, видел, что оно удалось.

Оно годилось только для мусорной корзины. Содержало констатацию, то есть все тот же очерк, не больше. Одной констатации мало: искусство рождается, лишь когда констатация сплавляется с любовью или ненавистью. Бавария не ожила на этих страницах. В них не было того, что привиделось ему на пути в Берхтольдсцель. Кленку не придется отрывать пуговицы от куртки.

В конце сентября, когда Тюверлен в четвертый раз переделывал книгу, ему нанесла чреватый последствиями визит тетушка Аметсридер.

Тетушка Аметсридер снова вела хозяйство племянницы. Посторонний счел бы, что там все обстоит благополучно. Иоганна мирно жила на Штейнсдорфштрассе, была завалена заказами, много зарабатывала, получала деньги и за книги Мартина Крюгера. Но тетушку Аметсридер не проведешь, она видела, что и это спокойствие, и это благополучие гроша ломаного не стоят. Девочка много пережила, испытала большую несправедливость, горькое разочарование. Если все это замкнуть в себе, оно разъест душу. Тетушка Аметсридер хорошо понимает, чего стоит так долго таить глубокий и справедливый гнев. А ведь захоти г-н Тюверлен, он, не сходя с места, придумал бы для Иоганны возможность открыто излить накопившуюся желчь. У него есть связи, да и голова неплохо варит, даром что он писатель. Но беда в том, что он ничегошеньки не замечает. Потому она и приехала к нему сюда и объясняет на чистом баварском языке, как обстоит дело. Неужели ему невдомек, что еще немного — и Иоганна просто не выдержит? Уже сколько лет девочка живет окруженная мертвым хламом — какими-то рукописями, маской, ломтем черствого хлеба,— и, вместо того чтобы швырнуть всему миру в физиономию свой здоровый баварский гнев, глотает его и давится им. С виду Тюверлен разумный человек, а не замечает, что девочка погибнет, если ей не помочь.

Писатель Тюверлен сосредоточенно слушал тетушку Аметс-

ридер. Да, она права, каждое ее слово — святая истина. Он как будто глубоко проанализировал и характер Иоганны, и свое отношение к ней, а вот главное прозевал. Вел себя, как осел, как бумажная крыса. Чем он ей помог? Написал глубокомысленное исследование — тот самый пресловутый очерк. Когда человек обезумел от боли и пытается крикнуть и не может, станет ли ему легче от статьи в энциклопедии, где описана его болезнь? Эта брызжущая энергией тетушка Аметсридер в десять раз разумнее, чем он. Иоганна живой человек, и когда ей больно, она должна кричать.

Нет, тетушке Аметсридер не пришлось тратить лишних слов, у ее собеседника быстро прочистились мозги. Он бегал по комнате, его голое, в мелких морщинках лицо то собиралось в складки, то разглаживалось. Он даже развеселился. Похлопал тетушку по плечу и благодарно сказал:

— Тетушка Аметсридер, вы умница.

Не будь она такой дородной и статной, Тюверлен завертел бы ее по комнате. А так ему только и оставалось, что от всей души пригласить эту исполненную решимости госпожу Баварию пойти вместе с ним на осеннее гулянье.

С облегченным сердцем тетушка Аметсридер уехала домой, а Жак Тюверлен отправился на длинную прогулку. С какой-то блаженной болью думал он о том, как все эти месяцы ему не хватало Иоганны. Жизнь была пуста без этой молодой баварки, без ее гнева, медлительного ума, сумрачности, силы. Она права, что хочет кричать. У него самого сжимается сердце, когда он вспоминает, как ей заткнули рот. И Тюверлен ломал голову, стараясь придумать, чем помочь Иоганне и самому себе. Было бы всего проще, если бы она, поддержанная им, рассказала и написала о судьбе Мартина Крюгера. Но она не примет такого предложения, напротив, еще больше уйдет в себя.

Ночью его вдруг осенило. Слава богу, еще далеко не исчерпаны уловки, помогающие духу в его борьбе с инерцией и косностью. Утром Тюверлен послал мистеру Поттеру длиннейшую телеграмму. Ответ пришел в тот же вечер. Анни Лехнер присутствовала при том, как, получив телеграмму, Тюверлен ее вскрыл, прочитал, долго глядел в пространство невидящими глазами, потом сказал:

— La montagne est passée [1].

Он взял рукопись «Книги о Баварии», с довольным видом хлопнул ею по столу, повторил:

---

[1] Гора преодолена *(франц.)*.

— La montagne est passée.

Упросил Анни поужинать с ним. Поставил на стол бутылку лучшего вина. Под граммофонную пластинку устроил для нее спортивное представление, был страшно горд тем, что семь раз подтянулся на руках. Потом, на им самим сочиненный и весьма прихотливый мотив, пропел с различными вариациями: «La montagne est passée».

Утром Тюверлен поехал к Иоганне. Сказал ей, что у мистера Поттера родилась блестящая идея. Книги Мартина Крюгера произвели в Америке большое впечатление. Мистер Поттер хочет, чтобы теперь он, Тюверлен, написал сценарий для фильма о жизни и смерти Мартина Крюгера. Мистер Поттер пустит в ход свои связи, чтобы разрекламировать этот фильм и таким образом дать Тюверлену возможность обратиться ко всему миру.

Он, щурясь, смотрел на Иоганну.

Иоганна молчала, но Тюверлен видел, как она вся напряглась. Он сидел с невинно-лукавым видом, прихлебывал чай. Она продолжала упрямо молчать, и он снова заговорил. В своем очерке он сказал о деле Крюгера все, что мог. Перечитав очерк, убедился, что, как он ни хорош, для целей мистера Поттера вряд ли годится. В нем нет огня, а огонь необходим, чтобы фильм дошел до всего мира — до чернокожих и желтокожих, до коричневых и белых, до дельцов и аскетов, до интеллигентов и политиков.

Иоганна все еще молчала. Говорить ли ему и дальше? Тюверлену очень хотелось. Подчинившись внутреннему запрету, он пересилил себя — и хорошо сделал.

Оглушенная, она сидела, закусив верхнюю губу. Ну, конечно, все, что он наговорил сейчас,— великодушная ложь. Его очерк полон огня, но не того, обыкновенного огня любви и ненависти, а совсем иного. Иоганна была растрогана, ее заливала нежность к человеку, который ради нее отрекался от своего творения. Наконец сказала:

— Может быть, для фильма действительно нужен какой-то другой огонь.

Он делал вид, что погружен в чаепитие, лицо собралось в морщинки и складки, даже малый ребенок догадался бы, что он хитрит, напускает на себя простодушие. Заметив это, она вдруг расхохоталась. Тогда он встал, пригласил и эту рослую девушку на осеннее гулянье, но сперва поцеловал.

В огромной бело-голубой палатке, где торговали пивом, среди толпы мюнхенцев, шумно наслаждавшихся жизнью, Иоганна Крайн спросила писателя Тюверлена, считает ли он возможным, чтобы в звуковом фильме мистера Поттера вместо него выступила она. Не дожидаясь ответа, выложила все, что накипело у нее на душе. Под аккомпанемент шумных разговоров и пьяных выкриков, стародавних песен о том, что «ох и ух, не поймаешь этих мух» и «для чего крестьянин шляпу заимел», под аккомпанемент духового оркестра, среди пивных испарений, среди запахов сосисок, кренделькoв, жаренной на вертеле рыбы, среди толчеи и смрада она рассказала ему, как эти месяцы мучилась тем, что ей не дали возможности говорить, что книги Крюгера заслонили судьбу замученного человека, и как важна для нее эта нежданно появившаяся надежда, что, может быть, теперь ей удастся все высказать вслух. Тюверлен, щурясь, глядел на нее, потом предложил «разорвать кренделек» — у жителей тех краев это было знаком особенной близости,— и они с двух сторон зацепили пальцами соленый кренделек и разорвали его. Духовой оркестр играл мюнхенский гимн «Пока зеленый Изар стены города омывает, будет в наших домах царить благообразный уют», потом мелодию из «Боя быков», потом снова «Да здравствует наш уют», Тюверлен пел вместе со всеми, и они с Иоганной пили из больших серых кружек.

22
«КНИГА О БАВАРИИ»

Иоганна работала. Шли съемки фильма «Мартин Крюгер». Какая негаданная, неповторимая возможность — фильмом, поддержанным деньгами и влиянием Калифорнийского Мамонта, попытаться воздействовать на чувства и совесть людей. Эту возможность надо было исчерпать до предела. Работа была изнуряющая. Иоганна стремилась не изменять правде, ее коллеги стремились — с полным основанием — добиться наибольшей силы воздействия, и эти стремления порою были несовместимы. Но поддавалось ли воплощению то, что она хотела воплотить? Можно ли с помощью киноаппаратов, объективов, операторов показать всю глубину горечи, неистовость возмущения? Можно ли сфотографировать душу?

Жак Тюверлен видел, что она изнемогает от усталости. Но, при всем желании помочь, никогда прямо не заговаривал о филь-

ме, который так ее выматывал. Она должна была все преодолеть сама — этого требовало дело. Тюверлен — сторонний наблюдатель, Иоганна — сколок с Баварии. Против Баварии должна свидетельствовать сама Бавария. Он научился наконец по-настоящему видеть и Иоганну Крайн, и ее страну, поэтому довольствовался молчаливой, ненавязчивой поддержкой — только такая поддержка не отпугивала ее. Бережно извлекал наружу долго таившийся в этой сильной женщине гнев. Расковывал ее. Постепенно исчезала ее судорожная сжатость. Она освобождалась из незримой клетки. Почти без слов между ними возникала небывалая до сих пор близость.

К своему удивлению, он обнаружил, что эта скрытая, бескорыстная помощь шла на пользу его книге. Матерьял зашевелился, задвигался, закружился, начал дышать; но среди ожившего матерьяла мертвым грузом лежало нечто, так и не вышедшее за границы констатации,— дело Крюгера. Вначале Жак Тюверлен вообще его отбросил — оно было несущественно для «Книги о Баварии»; потом ему загорелось добиться и этого — воскрешения Крюгера и его процесса. Все людские судьбы должны помогать восхождению рода человеческого на высшую ступень. Но только те избранники, кто умеет заставить других вновь пережить эти судьбы, сохранят их для грядущих поколений. Окажется ли отдельная судьба плодотворной для рода, зависит не от ее величия и значительности, не от ее носителя, а только от художника, который осознаёт ее и воплощает в творении искусства. С той секунды, как судьба Мартина Крюгера завладела сознанием Жака Тюверлена, мученичество этого человека обрело смысл, как обрели смысл горести Иоганны и самого Жака. Что-то понуждало его воплотить в искусстве заключенного Крюгера.

Ему мало помогало то, что по случайному стечению обстоятельств он хорошо знал жизнь Крюгера и даже как-то был связан с нею. Не имело значения, каковы в действительности были Мартин Крюгер и его судебное дело, да и вообще существовали ли они. Разве так уж важно, жил ли в действительности Иисус из Назарета? Существовал его образ, который озарил мир. В этом образе — и только в нем — была явлена истина. Важно было, чтобы образ Мартина Крюгера, пережитый Жаком Тюверленом, люди воспринимали как истинный.

Он все яснее понимал, что силы для осуществления этой задачи черпает в одном источнике — в глухом гневе Иоганны. Ее стремления каким-то таинственным образом переплетались

с его собственными, ее суровое негодование, переливаясь в его творение, зарождало в нем жизнь. Книга Тюверлена питалась страстным желанием Иоганны зажечь в людях сочувствие к мертвому Мартину Крюгеру. И ему порою казалось, что стоит ей сдаться, как сдастся и он.

В конце октября он получил из Нижнего Новгорода письмо от Каспара Прекля. То было его первое письмо Тюверлену. В нем он мало рассказывал о себе. Зато подробно описывал, как ему удалось разыскать картину «Иосиф и его братья». Она висела в музее маленького городка на границе европейской и азиатской России. Называлась теперь «Справедливость» — ее первое название было зачеркнуто. Когда Каспар Прекль увидел картину, перед ней стояли школьники, четырнадцатилетние мальчики и девочки, целый класс. Выслушав историю Иосифа,— до сих пор это библейское предание было им неизвестно,— они стали серьезно обсуждать, достаточно ли проникся художник духом коллективизма и очень ли он заражен индивидуалистическими воззрениями буржуазного мира.

Работая над новой книгой, Тюверлен особенно остро чувствовал, как ему не хватает перепалок с неукротимым Преклем. И радовался, что именно на этой стадии работы тот так насмешливо и отстраненно написал ему о художнике Ландхольцере и картине «Справедливость». Воодушевившись, Тюверлен бегал взад и вперед по комнате перед Анни Лехнер. Достал третий том «Капитала» Карла Маркса — миллионы людей считали этот том книгой из книг. За отсутствием Каспара Прекля накинулся на Анни. Победоносно, словно нанес Преклю сокрушительный удар, прокричал ей слова Маркса о том, что надо изобразить «окаменелые порядки» немецкого общества и заставить их пуститься в пляс, «напевая им их собственные мелодии», что «надо заставить народ *ужаснуться* себя самого, чтобы вдохнуть в него *отвагу*». Под конец, в качестве якобы неопровержимого довода против письма Прекля, отыскал открытку, написанную им самому себе во время очередного спора все с тем же Преклем: «Дорогой Жак Тюверлен, никогда не забывайте, что вы существуете на свете только для самовыражения. С искренним уважением ваш преданнейший друг Жак Тюверлен». Честя на все корки теории Каспара Прекля, кнопками прикрепил открытку к стене над самой пишущей машинкой. Затем с неподдельным интересом начал расспрашивать Анни Лехнер о том, что Каспар Прекль пишет ей о своем житье-бытье.

То ли под влиянием письма Каспара Прекля, то ли благо-

даря духовной близости с Иоганной, «Книга о Баварии» зазвучала по-новому: в ней появилось негодующее осуждение правосудия той эпохи. Тогда на всем земном шаре много говорили о кризисе доверия к правосудию. Понятие «справедливость» потеряло четкие очертания, обветшало. Люди слишком много уже знали о человеческой душе, чтобы понятия добра и зла сохранили прежний смысл, но недостаточно — чтобы обрели новый. Когда-то казнь преступника давала удовлетворение не только зрителям, но подчас и самому преступнику: кара означала торжество правопорядка, с которым весь народ чувствовал неразрывную внутреннюю связь. Теперь правосудие омертвело, превратилось в неодушевленное орудие власти, в средство ее защиты, поэтому любые его мероприятия казались проявлением слабости и произвола. Вероятно, баварское правосудие отличалось особенной недобросовестностью и пристрастностью, но по существу везде было одно и то же. До сих пор Тюверлен относился к такому положению вещей философски, с фаталистическим скепсисом, а теперь скепсис начал обретать активность, превратился в гнев. Несправедливость, чинимая в Баварии, обступала его со всех сторон, он видел ее собственными глазами, болел ею, потому что ею болела Иоганна. Чтобы воссоздать Баварию, он должен был воссоздать неправедность баварского правосудия. На обложке рукописи Анни Лехнер четким почерком написала: «Книга о Баварии». К этой надписи Тюверлен добавил: «Или Ярмарка правосудия».

Тюверлен придумал подзаголовок утром, а вечером впервые заговорил о своей книге с Иоганной. Ее поразили слова — «ярмарка правосудия», и так как она умела думать только образами, то сразу представила себе эту ярмарку, многолюдную и пеструю. Вокруг гигантской, источенной червями груды рухляди бродят люди, боязливо вглядываются, ищут, не найдется ли там хоть чего-нибудь нужного им, над каждой лавчонкой висит вывеска «Правосудие», у прилавков величаво стоят продавцы в черных мантиях.

Иоганна старалась сохранить в памяти этот образ во всей его свежести. Девчонкой она вычитала в приключенческих книжках, что, спасаясь от погони, арабы подгоняли коней неким заветным словом. Когда, подавленная киноаппаратурой, операторскими кранами, сложными конструкциями, ослепительными юпитерами, после десятка неудачных съемок Иоганна приходила в отчаянье, она повторяла слова «ярмарка правосудия» и обретала надежду.

23

Я ЭТО ВИДЕЛА

Мюнхен плясал. Наступил Новый год, начался карнавал. Крупные пивоваренные заводы задавали маскированные балы, бесчисленные клубы любителей игры в кегли и страховые общества устраивали вечеринки, где плясали обыватели, рабочие, крестьяне; на вечерах у художников и убийц из тайного судилища, на студенческих и офицерских балах плясали сливки общества. Г-н Пфаундлер пустил в ход все ресурсы своего изобретательного мозга, стараясь затмить щедрую веселость былых карнавалов. Каждый вечер он устраивал по два больших представления, в субботу их было пять, и на этот раз роскошное обозрение не было испорчено заумными тюверленовскими идеями.

Мюнхен плясал. Под буйную мелодию француза, под веселые и пьяные выкрики Мюнхен на скрещенных руках качал женщин, вскидывал их к потолку. Мюнхен нес в заклад носильное и постельное белье, только бы не остаться в стороне от карнавального изобилия. На рассвете, после бурного ночного веселья, Мюнхен растекался по дешевым кабакам — шоферы, торговки, мужчины во фраках, дамы в маскарадных костюмах, сверкающих мишурой, уборщики улиц, проститутки, все вперемешку, пили пиво и уплетали сосиски. Мюнхен, душа нараспашку, истекая блаженством, горланил любимые гимны: «Пока зеленый Изар» и «Да здравствует наш уют».

Господин фон Грюбер поглядывал на это с благожелательным пренебрежением. Г-н фон Рейндль, сонливо улыбаясь, плыл по течению карнавала. Г-н Пфаундлер торжествовал. Чутье и на этот раз его не подвело. В январе он снова завоевал Мюнхен, в декабре завоюет Берлин. Мюнхен опять набрался сил, этого не отрицает и Рейндль, город теперь ничуть не хуже, чем был когда-то. Неистребимо-жизнерадостный, восстал он из мерзости войны и революции, живая клетка, хранящая порядок в организме страны. Словно на баварские горы, опирался прекрасный город на свои могучие традиции.

Недели через две после премьеры нового мюнхенского обозрения в Берлине был впервые показан новый фирм «Мартин Крюгер».

Тюверлен поехал в Берлин. Он сидел на голубом стуле в ложе партера. В той же ложе сидели трое незнакомых ему мужчин. Нервы у него были до предела напряжены. О том, что будет сейчас показано на экране, он знал не больше своих соседей. Тюверлен ни разу не спросил Иоганну о фильме.

Погас свет, на экране появилась Иоганна Крайн. Она стояла на кафедре с низким пюпитром. Очень крупная женщина, но не такая широкоскулая, как в жизни. Тюверлен наизусть знал и эти волосы, заколотые узлом, и продолговатые глаза, и упрямый лоб, и манеру закусывать верхнюю губу. Но когда Иоганна заговорила, когда из аппарата зазвучал ее голос, негромкий и все-таки заполнивший весь зал, образ на экране показался ему до ужаса чужим. Тюверлен давно привык к аппаратуре, ко всей механике кино, знал суть этой механики, но сейчас впервые за много лет почувствовал страх перед ее способностью одушевлять тени призрачной жизнью.

Он ерзал на голубом стуле, нервно комкал программу. Успех всегда дело случая, это он усвоил давно, и все равно у него бегали мурашки по коже, так он волновался. Тюверлен твердил себе, что для дела Мартина Крюгера не имеет значения, понравится или нет сегодня публике эта звуковая картина. Но злился на людей, которые откашливались, негромко переговаривались, стучали откидными сиденьями. Ему казалось, что зрители пришли сюда, заранее решив игнорировать картину, что они нетерпеливо ждут второго фильма, который шел в один сеанс с «Мартином Крюгером». Его соседи обменивались пренебрежительными замечаниями. Что за ерунда! Вытащили какую-то допотопную историю о покойнике, о давным-давно забытом процессе. Кому это интересно! Тюверлен твердил себе, что, вероятно, и сам думал бы так же, будь он сторонний зритель, и все-таки сердился на болтливых соседей.

Глядя куда-то в сторону, женщина на экране заговорила:

— Многие из вас читали книги Мартина Крюгера. Читали главу, которая называется «Я это видел». Послушайте, я это видела. Видела Мартина Крюгера за сорок три дня до его смерти. Судебное расследование установило, что врачи оказывали ему необходимую помощь. Но только при очень большом недоброжелательстве к этому человеку можно было не заметить, что к нему подступает смерть. Прошу вас, поверьте мне. Я это видела.

Женщина на экране внезапно подняла голову и таким взглядом посмотрела в глаза Жаку Тюверлену, таким тоном сказала: «Прошу вас, поверьте мне»,— что он вонзил себе ногти в ладони. Потому что готов был вскочить и на весь зал крикнуть: «Да, да!» — или еще какую-нибудь бессмыслицу. Но надо было держать себя в руках. Он только позволил себе откашляться и что-то негромко промычать. Но и это мычание услышали все, потому что теперь в зале было очень тихо.

Меж тем женщина на экране рассказывала, как она боролась за Мартина Крюгера. Рассказывала, как обращалась к министру юстиции Кленку, потом к имперскому министру юстиции Гейнродту, рассказывала о министре Гартле и о министре Флаухере. Порой ее живое, с движущимися губами лицо исчезало, но голос не умолкал, а на экране одно за другим возникали лица тех, о ком она говорила. Обыкновенные баварские лица, их сколько угодно на любой улице,— разве что на удлиненном властном лице Кленка лежала печать незаурядности. Но так как эти лица были во много раз увеличены, а голос не прерывал рассказа о них, они выглядели по-иному, чем всегда. Массивная квадратная голова Франца Флаухера дергалась из стороны в сторону над слишком тесным воротничком, толстый смешной палец все время оттягивал его, но почему-то это было не смешно, а неприятно и даже страшно. Гладкое лицо доктора Гартля любезно улыбалось, но все видели, как холодна, как издевательски равнодушна эта любезность. Обрамленные пушистыми усами и бородой губы имперского министра юстиции Гейнродта открывались и закрывались, открывались и закрывались, произнося благожелательные общие места, но, как ни странно, его слова звучали отнюдь не благожелательно, напротив — злобно и оскорбительно. Появилось и лицо Руперта Кутцнера. Оно возникло, когда Иоганна рассказывала о статье в газете «истинных германцев», о их совете «апостолам гуманности с Курфюрстендам» подавиться своим Мартином Крюгером. Разинутый рот, крошечные усики и — увы! — совершенно срезанный затылок — и тут атмосфера в зале разрядилась, раздался громкий хохот. И снова зазвучал голос Иоганны Крайн, она рассказывала о своей встрече с министром Мессершмидтом, о том, что продержись Мессершмидт на своем посту еще двадцать шесть дней — и Мартин Крюгер был бы на свободе. И на экране — крупное, туповатое, с глазами навыкате лицо министра Мессершмидта, жалкое, раздражающе беспомощное. Так возникали они, одно лицо вслед за другим, много лиц, и некоторые были знакомы зрителям по иллюстрированным журналам. Но, огромные, занимающие почти весь экран, они были устрашающе непохожи на себя, а невидимая Иоганна все рассказывала, как она обращалась к этим лицам, к одному за другим, но всякий раз тщетно.

Речь Иоганны не была приглажена — обычные интонации, обычный баварский говор, трудно было не поддаться искренности ее тона. Многие в зале были, в общем, согласны с теми, чьи увеличенные лица возникали на экране, думали точь-в-точь, как они. Эти люди враждебно слушали неподдельный баварский го-

вор, поджав губы, смотрели на неприкрашенные баварские лица. Один из них не выдержал, вскочил, начал громко возмущаться, крикнул, обращаясь к говорящей тени:

— Ложь! Клевета! Вы бесстыжая клеветница!

Спор живого человека с озвученным изображением на экране мог бы вызвать улыбку, но зрители не хотели, чтобы им мешали, зрители хотели слушать не его, а говорящую тень. Негодующий человек еще несколько раз выкрикнул: «Хватит! Это наглость!» — и еще что-то невразумительное, но его заставили замолчать.

А тень все говорила и говорила. Теперь Иоганна рассказывала, как она получила сообщение о том, что Мартин Крюгер будет амнистирован, а еще через несколько часов — что он умер.

— Мне говорили,— рассказывала она,— что бывали случаи еще более вопиющей несправедливости, что в тюрьмах сидят ни в чем не повинные люди, куда более ценные для общества, чем ныне уже покойный Мартин Крюгер. Но мне это непостижимо, для меня Мартин Крюгер ценнее всего на свете. И не говорите мне, что ему уже ничем нельзя помочь. Я не ему хочу помочь, а себе. Я видела, как совершилась несправедливость. Я это видела, и с тех пор мне опостылели еда, и сон, и моя работа, и страна, где я живу и жила с рождения. Несправедливость, которая совершилась на моих глазах, не умерла вместе с Мартином Крюгером, она всегда здесь, она душит меня, она для меня страшнее всех других несправедливостей на свете. Я должна сказать о ней. Справедливость начинается с нашего собственного дома.

И тут она всплеснула руками, но, смутившись, сразу их опустила — в ее жесте была полная беспомощность, к тому же она по своей привычке закусила верхнюю губу, и это выглядело довольно смешно. Но никто не смеялся, пресыщенные зрители, не отрываясь, смотрели на решительный рот, ожидая, что он еще скажет.

Он больше ничего не сказал. На экране снова появились огромные лица. Они тоже ничего не говорили, они безмолвно собирались вокруг Иоганны, заключали ее в кольцо, безмолвное, угрожающее кольцо гигантских лиц. Женщина казалась очень маленькой среди этих колоссов, маленький человечек среди каменных громад, среди древних идолищ. Страшно было подумать, что такая малышка вступила в сражение с гороподобными лицами, ее борьба была обречена на провал, малышку раздавят горы. Но она возвысила голос и продолжала свой обвинительный акт.

— «Пусть мертвый держит язык за зубами»,— сказал один из этих людей. Но я не хочу, чтобы он держал язык за зубами. Мертвец должен заговорить.

И это видели все. «Пусть мертвый держит язык за зубами!» — безмолвно вопили угрожающе огромные лица. «Мертвец должен заговорить!» — требовала малышка.

И лица начали надвигаться на женщину, теснее смыкаться вокруг нее, они сближались, отплясывали дикий танец, кружились, гигантские, угрюмые, властные лица. Продолжалось это короткий миг, но он никому не показался коротким. Потом все вздохнули с облегчением — лица растаяли, теперь звучал только голос человека.

Голос говорил о ярмарке правосудия. И говорила этим голосом двадцативосьмилетняя женщина, не обладавшая никакими особенными дарованиями. Но тень так грозно протянула руки к зрителям, ее большие глаза наполнились таким гневом, что глаза многих живых людей невольно потупились.

— Мартин Крюгер,— говорила гневная тень,— попал на этой ярмарке в худшую из лавчонок. Не говорите — он умер, его дело никому не интересно. Ярмарка продолжается, и вы волей-неволей принуждены покупать на ней товар.

Должно быть, из-за пережитого волнения, Тюверлен чувствовал такую опустошенность, что ему казалось — он ни за что не сможет встать с голубого стула. Он весь покрылся испариной, да, да, он вспотел, когда женщина обратилась к гороподобным лицам. А когда они растаяли и остался только бестрепетный голос, писатель Жак Тюверлен потянулся и так громко засопел, что соседи по ложе непроизвольно зашикали на него. Но его это не тронуло. Главное было в том, что оно существовало, оно заняло свое место в мире — нестираемое изображение большого чувства. Он испытал великое счастье — быть в согласии, в единении с собственной судьбой.

Ему не требовалось одобрения публики. Несущественно, когда люди поймут это — сейчас или через десять лет. Лучше бы, разумеется, чтобы поняли сейчас. Когда фильм «Мартин Крюгер» окончился, в зале стояла тишина, лица у зрителей были взволнованные, растерянные, глуповатые, голоса звучали приглушенно. Картина шла всего лишь полчаса, но многие не стали дожидаться второго фильма, разошлись по домам.

Тюверлен телеграфировал Иоганне, что ей надо немедленно уезжать из Мюнхена — такое впечатление произвел фильм «Мартин Крюгер».

Он встретил ее на полпути между Мюнхеном и Берлином. Теперь Иоганна стала центром внимания, газеты были полны снимков и репортажей о ее фильме. Тюверлен ломал голову, придумывая, где бы им спокойно пожить хоть несколько месяцев. Задача была не из легких. Они перебрали все глухие поселки на балтийском побережье и в Южном Тироле. Наконец остановились на деревушке в Баварском лесу. Там, в горах, отделяющих Баварию от Чехословакии, в одном из самых старинных баварских поселений, не читают газет и не смотрят фильмов.

И там, среди пологих, оснеженных лесистых склонов, Жак Тюверлен с помощью Иоганны Крайн закончил книгу, которую назвал «Книга о Баварии, или Ярмарка правосудия». Она была сгустком всего, что он пережил, начиная с глубокой неприязни, возникшей в театре Касперля, кончая блаженным освобождением, испытанным, когда он смотрел фильм. Страна Бавария, какой он увидел ее на пути к Кленку, обрела бытие. Почти всю подготовительную работу Иоганна взяла на себя. Она твердо верила, что эта книга поможет ее соотечественникам разумнее устроить свою жизнь.

Когда книга пошла в печать, Тюверлен послал экземпляр рукописи Кленку.

Во вторую годовщину со дня смерти Мартина Крюгера в деревушку в Баварском лесу пришло письмо из Берхтольдсцеля. Бывший министр Кленк сухо сообщал писателю Тюверлену, что он прочел рукопись, видел и фильм «Мартин Крюгер». К письму были приложены две пуговицы от его куртки.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

Ни один из персонажей этой книги не жил в городе Мюнхене между 1921 и 1924 годами, но в совокупности все они там существовали. Во имя правдоподобия типических образов автор стер фотографически точные черты живых людей. Книга «Успех» населена людьми *исторически* реальными, хотя и *вымышленными*.

Подробные сведения об условиях содержания заключенных в немецких тюрьмах тех лет содержатся в записках писателей Феликса Фехенбаха, Макса Гельца, Эриха Мюзама, Эрнста Толлера, бывших узников этих тюрем.

Описание нравов и обычаев баварцев того времени можно найти в газете, выходившей тогда в баварском городке Мисбахе — «Мисбахер анцейгер». Два комплекта этой газеты хранятся — один в Британском музее, другой в Брюссельском исследовательском институте первобытных культур.

Л. Ф.

Мюнхен, март 1929 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

Роман «Успех» («Erfolg») вышел впервые в 1930 году в Берлине в издательстве Кипенхойер. В основу настоящего издания положен текст, выпущенный издательством Ауфбау (Берлин) в 1956 году.

Первый перевод романа на русский язык, осуществленный В. Вальдман, был опубликован в 1935 году и затем неоднократно переиздавался (Л. Фейхтвангер. Успех. М., Гослитиздат, 1958; Лион Фейхтвангер. Собр. соч. в двенадцати томах, тт. 3—4. М., ИХЛ, 1964).

Перевод М. Вершининой и Э. Линецкой публикуется впервые.

Стр. 57. *Галерея полководцев* — была построена в 1841—1844 гг. Гертнером в духе господствовавшего в ту эпоху классицизма.

Лоджия деи Ланци — выдающийся памятник флорентинской архитектуры XIV в., галерея с арками.

Тилли, граф Иоганн Церклес фон (1559—1632) — командовал во время Тридцатилетней войны войсками католической лиги. Уроженец испанских Нидерландов.

Вреде, князь Карл Филипп (1767—1838) — баварский фельдмаршал, второстепенный участник наполеоновских войн (сперва боролся на стороне Франции, с 1813 г.— против нее). Впоследствии — крупный дипломат, реакционер, представитель Баварии на Венском конгрессе.

...студентов в традиционных шапочках.— Речь идет о корпорантских шапочках — знаке принадлежности к тому или иному студенческому союзу (корпорации). Первоначально студенческие корпорации Германии преследовали главным образом спортивные цели, но постепенно большинство из них превратилось в организации с откровенно шовинистической программой.

Стр. 85. *«Томился в Мантуе, в оковах, верный Гофер».*— Андреас Гофер (1767—1810) — борец за свободу Тироля. В 1809 г. возглавил народное восстание против французского владычества. Вследствие предательства попал в руки врагов и был расстрелян в Мантуе.

Стр. 87. *Ранке* Леопольд фон (1795—1886) — известный немецкий историк, отличавшийся крайне консервативными воззрениями. Наиболее известны следующие труды Ранке: «Римские папы» (1834—1839) и «Немецкая история в эпоху реформации» (1839—1847). Баварский король Максимилиан II (годы правления — 1848—1864) сам прослушал у Ранке курс лекций.

Стр. 88. *Султан Сулейман Второй* (Великолепный) (годы правления — 1520—1566), значительно расширивший границы Османской империи, в 1526 г. завоевал Венгрию, а в 1529 г. дошел до Вены.

Максимилиан Второй (1527—1576) — император Священной Римской империи с 1564 г.

Альбрехт Пятый (1528—1579) — баварский герцог с 1550 г. Основал первый музей в Мюнхене («Антикварнум»).

Стр. 92. *Ли Бо* (701—762 гг.) — великий китайский поэт. Ли Бо высменвал мещанскую мораль, прославлял земные радости. Все его творчество проникнуто своеобразным демократизмом. Стихи Ли Бо неоднократно переводились на европейские языки.

Стр. 94. *Берхтесгаден* — курортный город в Верхней Баварии. Здесь обитали после революции 1918 г. члены баварской королевской семьи.

Стр. 95. *Гетерономия* — в философии права: повиновение чужой воле, признание законов, диктуемых извне; *автономия* — независимость, законодательство, не определяемое внешними факторами. *Теория естественного и договорного права* — два направления, господствовавшие до сих пор в буржуазной социологии. Согласно первой теории, отношения между людьми определяются естественным правом, которое установлено богом или от века присуще самой природе человека. Сторонники договорной теории отрицают божественное происхождение права и считают, что правовые нормы выработаны членами общества в процессе исторического развития и закреплены в общественном договоре.

Стр. 123. *Людвиг Первый* (1786—1868) — король Баварии. Вступил на престол в 1825 г. Сначала проводил умеренно-либеральную политику, впоследствии поддерживал крайних реакционеров и клерикалов. Людвиг I уделял большое внимание искусству, особенно архитектуре, и в его царствование за Мюнхеном окончательно закрепилось гордое наименование «город искусств». Сам писал стихи и издал два сборника своих произведений.

Стр. 159. *Джорджоне* (Джорджоно Барбарелли, 1478—1510) — выдающийся итальянский художник эпохи Возрождения. Считается наряду с Тицианом главой Венецианской школы. *Ленбах* Франц (1836—1904) — известный немецкий портретист.

Стр. 169. *Иммануил Кант* (1724—1804) — родился и прожил всю жизнь в Кенигсберге. Этика Канта определяется учением о категорическом императиве — абсолютном, раз навсегда данном нравственном за-

коне, которому обязаны подчинять свою свободную волю разумные существа. Фашисты и их приспешники противопоставили кантианской этике противоречивое эклектическое учение об относительности нравственных норм и о праве сильного. С таких же примерно позиций опровергает Канта Отто Кленк.

Стр. 179. *Баварское барокко.*— Барокко (от итальянского barocco — странный, причудливый) — художественный стиль, возникший к концу эпохи Возрождения. Отличается изобилием декоративных деталей, патетичностью, динамичностью. В Германии находит распространение главным образом в государствах католического юга. Архитектура некоторых баварских соборов и замков отмечена влиянием барокко.

Мэлескирхнер Габриэль — баварский художник XV в. Творчество Мэлескирхнера отмечено влиянием поздней готики.

Баварское рококо.— Рококо — художественный стиль, возникший в начале XVIII в. во Франции. Развившийся из барокко, этот стиль отличается от него утонченной, изысканной интимностью, изобилием декоративных элементов, полностью заслонивших основную конструкцию; стиль рококо особенно пышно расцвел в Германии. К наиболее известным памятникам баварского рококо относится замок Амалиенбург, расположенный в северо-западном районе Мюнхена.

Йорг Гангхофер — построил в 1470 г. Мюнхенскую ратушу, а затем — Кренцкирхе и Фрауенкирхе; эти памятники баварской готики сохранились до наших дней.

Крумпер Ганс (1570—1637) — родом из Вейльгейма, скульптор и архитектор; в мюнхенских церквах сохранились его скульптурные надгробия.

Братья Азам — Козьма Дамиан Азам (1686—1739) и Эгид Квирин Азам (1692—1750) — художники, ваятели и архитекторы. Представители позднего барокко. Наиболее известна совместная работа братьев Азам — собор святого Непомука в Мюнхене.

Стр. 206. *Гуго Прейс* (1860—1925) — известный юрист и политик. По убеждениям — буржуазный демократ. Разработал проект веймарской конституции.

Стр. 225. *«Поэт и крестьянин»* — оперетта австрийского композитора Франца фон Зуппе (1819—1895).

Стр. 227. *Галечный человек, лёссовый человек, болотный человек* и т. д.— принятые в буржуазной науке обозначения первобытного человека, найденного в Средней Европе. Буржуазные антропологи неоднократно предпринимали попытки истолковать в расистском духе достижения современной археологии. Перед нами одна из таких попыток. На самом деле предметы домашнего обихода, оружие и утварь первобытного человека, найденные археологами в болотах Северной Европы, по берегам европейских рек, в Альпах и в лёссовых пластах, отображают

лишь различные этапы в истории материальной культуры всего человечества и никак не подкрепляют теорию расовой обособленности.

Стр. 261. *Дизраэли* Бенджамин, лорд Биконсфильд (1804—1881) — известный английский государственный деятель и писатель. В качестве депутата от консервативной партии Дизраэли был избран в 1837 г. в парламент. В 1848 г. консерваторы признали Дизраэли своим лидером. С 1853 г. Дизраэли не раз занимал в английском правительстве пост министра, с 1874 по 1880 г. возглавлял кабинет министров.

...людей, живших в одно и то же время, в одном и том же городе...— С 1849 г. до смерти Маркс жил в Лондоне.

Стр. 263. *Касперль* — немецкий Петрушка, комический персонаж театра марионеток.

Стр. 305. *Людвиг Третий* (1845—1921) — последний король Баварии, свергнутый революцией 1918 г.

Стр. 313. *Маколей* (1800—1859) — известный английский буржуазный историк и государственный деятель. В 1830 г. был избран в парламент и скоро завоевал репутацию одного из лучших ораторов либеральной партии. Его перу принадлежит ряд трудов по истории Англии.

Стр. 315. *...мыслителю, утверждавшему этику геометрическими построениями.*— Речь идет о Спинозе (1632—1677). В своем капитальном труде «Этика» Спиноза широко применяет математические методы, устанавливает аксиомы и доказывает теоремы.

Стр. 320. *Людвиг Второй* — король Баварии. Родился в 1845 г., вступил на престол в 1864 г. Людвиг II постоянно чуждался общества, искал уединения и был одержим болезненной манией строить замки, поражавшие воображение странной, причудливой архитектурой. Поощрял музыкальные искания Рихарда Вагнера. Истощил государственную казну, отдавал приказы об аресте министров, пытавшихся протестовать. В 1886 г. был отстранен от управления и в состоянии тяжелого душевного расстройства утопился в Штарнбергском озере.

Стр. 474. *...увертюры, сочиненной некогда великим немецким композитором к великой трагедии...*— Имеется в виду увертюра «Кориолан» Бетховена, написанная к драме австрийского писателя Генриха фон Коллина, а не к трагедии Шекспира, как ошибочно полагает Фейхтвангер.

...этакого баварского Катилину...— Люций Сергий Катилина (108—62 гг. до н. э.) — разорившийся римский патриций, организовал в Риме заговор с целью государственного переворота. Опирался главным образом на обедневших патрициев и на деклассированные городские низы. Заговор Катилины был раскрыт и сорван Цицероном.

Стр. 500. *...был убит германский министр иностранных дел...*— Речь идет об убийстве Вальтера Ратенау (1867—1922), вызвавшего недоволь-

ство реакционных кругов своей политикой верности Версальскому договору и сближения с Советской Россией. Ратенау был убит членом националистической организации «Консул».

Стр. 501. *...турки наголову разбили греков...*— Речь идет о полном разгроме Греции турецкими войсками в 1921—1922 гг., вызвавшем свержение монархии в стране.

...свободная Ирландия получила конституцию...— В 1921 г. правительство Англии предоставило Ирландии права доминиона: этот акт был зарегистрирован Лигой Наций.

Стр. 508. *...об итальянском фюрере Муссолини, о том, как отважно он завладел Римом...*— В конце октября 1922 г. Муссолини двинул из Северной Италии в Рим фашистские отряды, которые вскоре заняли столицу. Буржуазное правительство и король, напуганные революционным движением, фактически не оказали сопротивления фашистам и охотно отдали власть в их руки. Этот эпизод фашисты именовали «походом на Рим», по этому образцу Кутцнер и замышляет свой «поход на Берлин».

Стр. 519. *Аретино* Пьетро (1492—1556) — итальянский поэт, известный своими сатирическими и эротическими стихами. По преданию, умер от смеха после того, как ему рассказали скабрезную историю. *«Умирающий Аретино»* — картина немецкого художника Ансельма Фейербаха (1829—1880).

Стр. 552. *«Гильдебранд и Гадубранд»* — древнейший памятник немецкой литературы, эпическое произведение в стихах. Дошло в рукописи VIII в.

Стр. 560. *Определение... Аристотеля... смысл искусства — в очищении от страха и сострадания.*— Прекль неверно цитирует и толкует Аристотеля, у которого речь идет о «катарсисе» — внутреннем очищении посредством страха и сострадания, испытываемых зрителем трагедии. Прекль толкует Аристотеля в духе психоанализа Фрейда, согласно учению которого смысл творчества — освобождение от мучающих человека неосознанных стремлений и ощущений.

Стр. 560—561. *...Платон... не зря изгнал поэтов из своего государства...*— В реакционной утопии Платона «Государство» философ объявляет чтение поэтических произведений изнеживающим и вредным для воспитания юношества.

Стр. 574. *«Сицилийская вечерня».*— Так принято называть народное восстание против французского владычества, происшедшее на острове Сицилия в 1282 г. Восстание началось в Палермо 30 марта во время пасхальной вечерни и завершилось полной победой восставших.

Стр. 579. *Фуггеры* — богатые аугсбургские купцы и банкиры. Семья Фуггеров играла большую роль в европейской торговле XV—XVI вв., императоры и папы брали у Фуггеров в долг крупные суммы денег.

Вельзеры — богатые аугсбургские купцы, торговавшие с Ближним Востоком и с Индией. Вершины своего могущества торговый и банкирский дом Вельзеров достигает в XVI в. Вельзеры были кредиторами императора Карла V.

Стр. 635. *Уроженец северной страны.*— Речь идет об известном полярном исследователе Роальде Амундсене (1872—1928). Амундсен пересек Северный Ледовитый океан в 1903—1906 гг. и достиг Южного полюса в 1911 г. В 1926 г. Амундсен предпринял путешествие к Северному полюсу на дирижабле «Норвегия». Погиб в 1928 г., пытаясь спасти экспедицию Умберто Нобиле.

Джон Франклин (1786—1847) — знаменитый английский полярный исследователь, отправившийся на Северный полюс и погибший со всей своей экспедицией на арктическом берегу Канады.

Стр. 636. *...его опережает другой.*— Другой — американский полярный исследователь Роберт Пири (1856—1920), определивший в 1900 г., что Гренландия — остров, и первым достигший Северного полюса в 1909 г.

Но и тут впереди другой.— Имеется в виду английский полярный исследователь Роберт Скотт (1868—1912), достигший Южного полюса 18 января 1912 г., то есть на четыре недели позже Амундсена, и погибший на обратном пути.

Южанин — Умберто Нобиле (род. в 1885 г.) — итальянский конструктор дирижаблей и полярный исследователь. В 1926 г. принимал участие в экспедиции, организованной Амундсеном, командуя дирижаблем собственной конструкции. В 1928 г. Нобиле сам организовал экспедицию к полюсу также на дирижабле, построенном по его проекту. Этот дирижабль потерпел на обратном пути катастрофу, после которой остались в живых девять из шестнадцати участников экспедиции. В розысках Нобиле и его спутников участвовали суда и самолеты разных стран. Наиболее успешны были действия советской полярной авиации. Нобиле первым был вывезен на самолете. Еще один участник его экспедиции — Мальмгрен погиб при попытке добраться до суши по льду. Другие участники экспедиции были спасены советским ледоколом «Красин».

Стр. 661. *Кориолан* Гай Марций (V в. до н. э.) — полулегендарный римский полководец, герой одноименной трагедии Шекспира. Патриций Кориолан, не желавший признать прав плебса, был изгнан римским народом. Объединившись с враждебным римлянам племенем вольсков, Кориолан опустошил область Рима и пощадил родной город, лишь уступив мольбам матери.

Стр. 666. *Кохельский кузнец.*— Согласно преданиям, кузнец Бальтес из верхнебаварской деревни Кохель отличился в битве при Зендлинге (1705), в которой восставшие баварские крестьяне разгромили австрийцев.

...повторится... 1866 год... — В 1866 г. Пруссия вела против Австрии войну, в которой Бавария выступила на стороне Австрии. Разгром в этой войне был для Баварии решающим этапом на пути к потере самостоятельности.

Стр. 668. *Клятва на Рютли* — эпизод из драмы Шиллера «Вильгельм Телль», из которой взяты и следующие цитаты. На лугу Рютли собрались представители швейцарских кантонов и дали клятву освободить свою родину от ига Австрии.

Стр. 718. *Макдональд* Джемс Рамсей (1866—1937) — английский политический деятель, социал-реформист, один из руководителей лейбористской партии. В течение ряда лет возглавлял английское правительство.

Примо де Ривера Мигель (1870—1930) — испанский генерал. В 1923 г. установил в Испании режим военной диктатуры, ниспровергнутый народными массами в 1930 г.

Абд аль-Керим — один из вождей национально-освободительного движения в Марокко. В 1921 г. одержал победу над испанцами. В 1925—1926 гг. войска Абд аль-Керима были разбиты французской армией, а сам Абд аль-Керим захвачен в плен. В 1947 г. Абд аль-Керим бежал в Египет.

уменьшившаяся в размерах... Турция... — В результате первой балканской войны (1912—1913) Турция лишилась большей части своих европейских владений. В первой империалистической войне Турция принимала участие на стороне Германии и по Севрскому мирному договору (1920) потеряла Аравию, Палестину и Месопотамию; западные районы Малой Азии оккупировала Греция. В 1923 г. Севрский договор был пересмотрен в Лозанне. Турции была возвращена Смирна и Восточная Фракия.

Стр. 719. *В Китае алчные генералы... не переставали воевать друг с другом.* — В 1916 г. Китай распался, и отдельные феодально-милитаристские клики, за спинами которых скрывались империалистические государства, беспрестанно воевали друг с другом.

Стр. 722. *«Кстати, вспомни для начала...»* — цитата из стихотворения Гейне «Царь Давид» (перевод Ю. Тынянова).

Стр. 734. *«Надо заставить народ ужаснуться себя самого...»* — Цитируемые слова Маркса взяты из работы «К критике гегелевской философии права» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Собрание сочинений. т. I, стр. 417), а не из «Капитала», как ошибочно указывает Фейхтвангер.

Стр. 742. *Феликс Фехенбах* (род. в 1894 г.) — немецкий журналист; в 1922 г. был приговорен баварским судом к одиннадцати годам каторжных работ за «государственную измену», заключавшуюся в том, что Фехенбах опубликовал телеграмму баварского посла фон Риттера, касавшуюся вопроса о репарациях.

Макс Гельц (1889—1933) — немецкий коммунист; за участие в выступлениях рабочих в 1920—1921 гг. был приговорен пожизненно к каторжным работам, но по состоянию здоровья освобожден в 1928 г. Его «Письма из тюрьмы» издал в 1927 г. Эгон Эрвин Киш.

Эрих Мюзам (1878—1934) — известный немецкий антифашистский писатель. Писал драмы, читал стихи в мюнхенских кабаре, издавал журнал «Каин», выступал против империалистической войны. В 1919 г. активно поддерживал советскую власть в Баварии, за что был приговорен к пятнадцати годам заключения в крепости. Эрих Мюзам вышел из тюрьмы в 1926 г. В ночь поджога рейхстага его арестовали фашисты и убили в концлагере Ораниенбург.

Эрнст Толлер (1893—1939) — немецкий писатель, автор стихов и экспрессионистских драм. Один из вождей баварской революции. Был приговорен после ее разгрома к пяти годам каторжной тюрьмы. В 1933 г. эмигрировал в Соединенные Штаты. Покончил жизнь самоубийством, разуверившись в победе демократических сил над фашизмом.

В. Микушевич

СОДЕРЖАНИЕ

Б. Сучков. Лион Фейхтвангер и его роман «Успех» 5

УСПЕХ

Книга первая. Правосудие. *Перевод М. Вершининой* 31

Книга вторая. Суета. *Перевод М. Вершининой* 143

Книга третья. Удовольствие. Спорт. Игра. *Перевод М. Вершининой* (1—12) и *Э. Линецкой* (13—26) 297

Книга четвертая. Политика и экономика. *Перевод Э. Линецкой* 467

Книга пятая. Успех. *Перевод Э. Линецкой* 633

Примечания *В. Микушевича* 743

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ТРЕТЬЯ
Том 191

Лион Фейхтвангер
УСПЕХ

*

Редактор С. Шлапоберск
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
Л. Титова
Корректоры
Р. Пунга и А. Юрьева

*

Сдано в набор 18/X 1972 г. Подписано к печати 2/III 1973 г. Бумага № 1 60×84¹/₁₆. 47,0 печ. л. 43,85 усл. печ. л. 45,17. уч.-изд. л. +1 вкл. + 8 нак.= 46,17 л. Тираж 303 000 экз. Заказ № 3313. Цена 2 р. 26 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28